This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

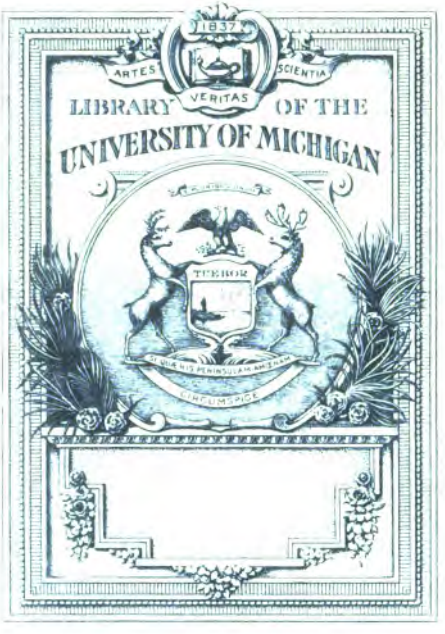
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

,896



1837
ARTES VERITAS SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

891.73
S59A
1934

15

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

подъ редакціею и съ критико-біографическимъ очеркомъ А. М. Скабичевскаго и съ приложеніемъ портрета Шеллера.

ТОМЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1905 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1905.

Comp. philology
Monolit
1-8-24
9581

ГРАЧОВЫ ИЗЪ ГРАЧОВКИ.

Конецъ 1859 и начало 1860 года я долженъ былъ, по совѣту доктора, провести въ Ниццѣ. Мнѣ было сказано, что я могу поправить свое здоровье только въ этомъ городѣ. Такимъ образомъ, онъ сдѣлался мѣстомъ моей временной ссылки.

Быть больнымъ, не имѣть около себя ни души знакомыхъ, избѣгать, по совѣту врача, усиленныхъ занятій и жить безвыѣздно въ чужомъ городѣ, вообще очень непріятно. Но это еще болѣе непріятно въ Ниццѣ, въ Ментонѣ, въ Кастеламарре,—въ этихъ скучнѣйшихъ изъ скучнѣйшихъ европейскихъ городовъ.

Мѣстное общество въ Ниццѣ не особенно охотно сходится съ иностранцами, да если бы оно и сближалось съ ними, то въ этомъ было бы не много утѣшительнаго. Всѣ эти мелкіе собственники, промышляющіе отдачею своихъ квартиръ за невозможно дорогую плату, всѣ эти изворотливые буржуа, торгующіе дорогими модными бездѣлушками, содержащіе гостиницы и кафе, всѣ эти безчисленные аббаты, заманивающіе въ свои храмы театральными декламаціями и устраивающіе по вечерамъ въ церквахъ нѣчто въ родѣ представленій, на которыхъ говорятся проповѣди то исключительно для дамъ, то исключительно для мужчинъ,—однимъ словомъ, всѣ эти люди, алчущіе и жаждущіе только иностранныхъ денегъ и денегъ, не могутъ особенно вызывать на знакомство. Общество же иностранцевъ состоитъ изъ англійскихъ лордовъ и леди, страдающихъ сплиномъ, да изъ разныхъ больныхъ душой и тѣломъ баръ, находящихся не у дѣлъ. Англичане составляютъ отдѣльный кружокъ и лѣчатся отъ своего сплина не столько воздухомъ, развлече-

ніями и сближеніемъ съ окружающимъ ихъ обществомъ, сколько періодическими поѣздками въ Монако, гдѣ они волнуютъ свою застывшую кровь и возбуждаютъ ослабѣвшіе нервы большими ставками на рулеткѣ. Больныя духомъ и тѣломъ, оставшіяся за штатомъ знаменитости разныхъ странъ живутъ тоже замкнуто, негодуя и распаляясь злобой на весь міръ за то, что онъ нашелъ для себя болѣе удобнымъ замѣнить ихъ новыми дѣятелями. Если же они и сходятся съ кѣмъ-нибудь, то только поселяютъ еще бо́льшее уныніе въ душѣ избранной ими жертвы, рисуя предъ нею все такими мрачными красками, какъ будто не сегодня, такъ завтра должно наступить свѣтопреставленіе.

Въ такой средѣ жизнь становится хотя сколько-нибудь сносною только для того, кто окруженъ своею семьею, кто можетъ дѣлать отдаленныя прогулки, наслаждаясь природой, кто имѣетъ возможность заняться изученіемъ какихъ-нибудь мѣстныхъ явленій. Къ несчастью, я, какъ я уже сказалъ, былъ одинъ, не могъ много ходить, не смѣлъ долго работать.

Меня томила невыносимая скука, и, уже просыпаясь, я ждалъ вечера, чтобы укрыться хотя въ театръ—единственное мѣсто, разгонявшее хотя отчасти эту скуку. Въ теченіе дня я перечитывалъ всѣ газеты, всѣ объявленія и пристальнѣе всего всматривался въ списки новоприѣзжихъ иностранцевъ, надѣясь найти въ нихъ хотя одно знакомое мнѣ имя. Но мои надежды были напрасны. Только однажды, среди десятка незнакомыхъ именъ, я увидалъ имена людей, которыхъ я зналъ когда-то.

«Княгиня Аврора Грачова, князь Антонъ Грачовъ, баронъ фонъ-Тифензее, докторъ Симоненко изъ Россіи»,—прочелъ я въ спискѣ новоприбывшихъ лицъ.

Сначала я очень обрадовался, прочитавъ эти фамиліи, и даже поспѣшилъ въ свой номеръ, чтобы переодѣться. Но, прежде чѣмъ я окончилъ свой туалетъ, въ моей головѣ возникли вопросы:

— Зачѣмъ я пойду къ этимъ людямъ? что общаго есть между нами? какими глазами встрѣтятъ они меня? можетъ-быть, они даже не узнаютъ меня?

Я сбросилъ съ себя свой парадный костюмъ, снова облекся въ свой обычный будничный нарядъ и медленно побрелъ гулять по направленію къ старой части города, гдѣ замѣчается хотя какое-нибудь движеніе, гдѣ слышится смутный шумъ и говоръ мелкихъ торговокъ и торгашей, среди ко-

тораго рѣзко и звонко подъ самымъ вашимъ ухомъ прорываются голоса женщинъ, продающихъ свѣжія сардинки.

Я бродилъ довольно долго, потомъ поднялся на террасу надъ кладбищемъ, усѣлся на скамьѣ, развернулъ газету. Но чтеніе какъ-то не шло на ладъ. Изъ моей головы не выходили прочитанныя мною знакомыя фамиліи.

Эти фамиліи перенесли мое воображеніе къ иной природѣ, въ среду иныхъ людей, нисколько не похожихъ на все окружавшее меня здѣсь. Мнѣ вдругъ вспомнился одинъ изъ уголковъ Новгородской губерніи: большая деревня, барскій домъ, барская семья и блѣдненькій, бѣлокурый, курчавый мальчикъ—кумиръ и душа этой семьи. Этотъ мальчикъ былъ Тоня Грачовъ. Какъ сейчасъ, помню я его маленькую, худенькую фигурку, утонувшую въ большомъ креслѣ большой гостиной. Онъ пристально читаетъ книгу, забывъ обо всемъ на свѣтѣ. Но вотъ, должно-быть, въ его головѣ зароились какіе-то вопросы, и онъ машинально подноситъ къ губамъ руку и начинаетъ грызть свои ногти.

— Ан-тонъ!—медленно и отчетливо раздается въ гостиной холодный и безстрастный женскій голосъ.

Мальчикъ весь вспыхиваетъ, торопливо опускаетъ руку и еще болѣе съеживается въ своемъ креслѣ, точно онъ хочетъ спрятаться отъ всего міра...

Prince Antoine Gratschoff, внесенный въ списокъ новоприѣзжихъ иностранцевъ, былъ, безъ сомнѣнія, не кто иной, какъ этотъ самый Тоня.

Но зачѣмъ онъ, этотъ двадцати-двухъ-лѣтній юноша, пріѣхалъ сюда, въ этотъ городъ полнѣйшей праздности и скуки? Неужели онъ такъ сильно боленъ, что долженъ лѣчиться здѣсь? Или не послали ли доктора сюда на излѣченіе его мать? Но неужели онъ не могъ оторваться отъ нея и рѣшился обречь себя на продолжительныя бездѣйствіе и скуку именно въ тѣ лучшіе годы жизни, когда умъ требуетъ пищи, руки—работы? Неужели онъ могъ равнодушно удалиться сюда въ то время, когда тамъ, на родинѣ, живымъ ключомъ бьется пробудившаяся жизнь? Можетъ-быть, что и такъ. Можетъ-быть, мать успѣла его настолько привязать къ себѣ, что онъ былъ не въ силахъ разлучиться съ ней. Я зналъ, что она безумно любила его. Да, она его любила именно безумно и притомъ любила, повидимому, только его одного. Впрочемъ, нѣтъ,—то чувство, которое она питала къ нему, даже нельзя и назвать любовью.

Въ моей памяти воскресли событія, случайнымъ свидѣтелемъ которыхъ былъ я.

Это было лѣтъ четырнадцать, пятнадцать тому назадъ. Я былъ приглашенъ въ качествѣ учителя къ дѣтямъ отставного корнета барона фонъ-Тифензее, проводившаго каждое лѣто въ деревнѣ князей Грачовыхъ. Фонъ-Тифензее былъ когда-то женатъ на двоюродной сестрѣ княгини Авроры Ѳедоровны Грачовой и былъ въ эту пору вдовцомъ. Онъ занималъ флигель въ деревенскомъ домѣ Грачовыхъ, то-есть собственно не онъ, а его двое дѣтей и я помѣщались въ этомъ флигелѣ. Самъ фонъ-Тифензее проводилъ цѣлые дни въ старинномъ деревенскомъ домѣ Грачовыхъ съ хозяйкой дома, должно-быть, скучавшей безъ мужа, который пріѣзжалъ въ деревню только раза два-три въ мѣсяцъ.

Князь Павелъ Петровичъ Грачовъ былъ полуслѣпой и полуглухой старый генералъ. Низенькій, худощавый, сутуловатый, съ всклоченными сѣдыми волосами, съ непомѣрно большими бакенбардами, въ которыхъ тонуло его сѣроватое, морщинистое и маленькое лицо, въ большихъ очкахъ съ четырьмя стеклами, онъ ходилъ постоянно задумчиво, сосредоточенно, казалось, пережевывалъ свою нижнюю губу. Въ сущности, онъ уже давно не имѣлъ никакихъ прямыхъ служебныхъ занятій, но, тѣмъ не менѣе, дѣла у него было крайне много, такъ какъ онъ числился членомъ разныхъ комиссій и комитетовъ, вольно-экономическаго и географическаго обществъ, нѣсколькихъ филантропическихъ учрежденій и двухъ или трехъ акціонерныхъ компаній. Если онъ и не приносилъ особенной пользы этимъ учрежденіямъ, то только потому, что онъ сдѣлался ихъ членомъ именно въ то время, когда онъ наполовину ослѣпъ и оглохъ. Кромѣ того, онъ дѣятельно занимался въ теченіе шести или семи лѣтъ составленіемъ какого-то спеціально-военнаго лексикона, отдѣльные тома котораго, не находя еще покупателей, занимали цѣлую комнату рядомъ съ его кабинетомъ, и придумывалъ новую систему ружей, образцы которыхъ, къ сожалѣнію, неудачные, онъ представлялъ почти ежегодно. Такимъ образомъ, Павелъ Петровичъ приносилъ семейную жизнь въ жертву общественной дѣятельности, и это не могло пройти безслѣдно для Авроры Ѳедоровны.

Княгиня Грачова была женщина лѣтъ тридцати; она была не дурна собой, но смотрѣла слишкомъ холодно, слишкомъ чинно, слишкомъ сухо. Оставшись очень рано безъ матери, она выросла въ домѣ своего стараго отца, гордаго и сухого

сстзейскаго барона, передъ которымъ трепетали всѣ подчиненные ему люди. Она съ дѣтскихъ лѣтъ привыкла къ рабской покорности окружающихъ и не терпѣла никакихъ противорѣчій. Теплыхъ сердечныхъ отношеній у нея не было, потому что матери она не помнила, а отецъ выражалъ свою любовь къ ней только тѣмъ, что предупреждалъ всѣ ея желанія, окружалъ ее роскошью и заставлялъ всѣхъ повиноваться ей. Высокая, стройная, съ продолговатымъ лицомъ, съ тонкими губами, съ спокойнымъ бѣлымъ лбомъ, съ сѣроватыми свинцовыми глазами, постоянно немного прищуренными, съ роскошными свѣтлыми волосами, она производила впечатлѣніе очень красивой и въ то же время крайне несимпатичной женщины. Она отталкивала человѣка сразу и, повидимому, не старалась сдѣлать ни малѣйшаго усилія, чтобы сгладить непріятное впечатлѣніе. Что-то безсердечное и недосягаемо-надменное было во всемъ ея существѣ. Казалось, что она считаетъ себя выше всѣхъ людей и не дорожитъ ими, презираетъ ихъ, хотя никто изъ этихъ людей не могъ бы сказать, что она была съ ними груба, что она не помогла имъ въ крайней нуждѣ, что она обошлась съ ними когда-нибудь невѣжливо. Бѣдняки изъ прихода нѣмецкой петропавловской церкви могли только благословлять ее за благодѣянія. Но эти благодѣянія оказывались такъ, что между княгинею и бѣдными не было никакой внутренней связи: она поручала ключницѣ Каролинѣ Карловнѣ—кругленькой и хитрой нѣмкѣ—разспросить о положеніи бѣдныхъ у дворниковъ, у сосѣдей; послѣ этого повальнаго обыска она посылала вспомоществованіе этимъ бѣднякамъ черезъ лакея, обязаннаго взять у нихъ расписку въ полученіи денегъ. Она не принимала лично этихъ бѣдняковъ даже и тогда, когда они шли къ ней не съ просьбами, а съ благодарностью. Съ прислугой она обходилась отлично,—она говорила каждому лакею *вы*, а не *ты*, но говоря ему *вы*, она какъ-то умѣла сдѣлать это такъ, что разница между нею и этими людьми сразу бросалась въ глаза. Она никогда не бранилась, не сердилась на прислугу, а просто отказывала слугѣ при первой его винѣ, безъ выговоровъ, безъ замѣчаній. Что-то леденящее было въ ея односложныхъ приказаніяхъ:

— Петръ, какъ вы подаете чай?—вскользь замѣчала она лакею, не смотря на него, и лакей терялся, конфузился и еще болѣе неловко исполнялъ свои обязанности.

— Вы невыносимы!—пожимала она плечами, вставая изъ-

за стола и проходя мимо провинившагося слуги, на котораго она даже не глядѣла.

Но эти простыя слова уже заставляли дрожать Петра. Онъ зналъ, что его выгонятъ вонъ. Аврора Ѳедоровна тотчасъ же по пріѣздѣ мужа въ деревню замѣчала ему за чаемъ на французскомъ языкѣ:

— Нужно взять другого лакея: Петръ подать подноса не умѣетъ.

Затѣмъ разговоръ перемѣнялся. Но черезъ нѣсколько дней являлся новый лакей, а старый отсылался безъ всякихъ разговоровъ на всѣ четыре стороны.

Даже отъ ея отношеній къ барону фонъ-Тифензее вѣяло такимъ же холодомъ. Правда, она была близка съ этимъ человѣкомъ, но тутъ не было ни любви, ни страсти. Онъ просто былъ ей нуженъ потому, что князь былъ старъ и постоянно сидѣлъ въ четырехъ стѣнахъ своего кабинета или засѣдалъ въ какой-нибудь комиссіи, въ какомъ-нибудь обществѣ. Ея выборъ остановился на баронѣ не потому, что баронъ нравился ей болѣе другихъ, но потому, что баронъ былъ еще здоровъ и не старъ, потому что онъ былъ человѣкомъ ея круга, потому что онъ, какъ дальній родственникъ, не могъ скомпрометировать ее своею близостью, потому, наконецъ, что онъ былъ молчаливъ и неспособенъ хвастать своими побѣдами. Она не ревновала его ни къ кому, она даже не интересовалась его сердечными дѣлами, потому что ей не было никакого дѣла, что творитъ баронъ на сторонѣ въ то время, когда онъ находится не съ нею.

— Это святая женщина! Какъ безропотно она несетъ свой крестъ!—говорили про нее въ свѣтѣ, намекая, должно быть, на старость ея мужа.

Но ярче всего обрисовывался характеръ княгини въ отношеніяхъ къ дядькѣ маленькаго Тони.

Старый дядька князька былъ вполнѣ оригинальной личностью.

Какъ сейчасъ помню я этого худощаваго, сморщеннаго, какъ печеное яблоко, старика. Ему шелъ семидесятый годъ. Его лицо приняло цвѣтъ высохшаго пергамента, составлявшій яркій контрастъ съ серебристыми, густыми и слегка волнистыми волосами. Онъ былъ высокъ ростомъ, немного сутуловатъ, ходилъ, опираясь на толстую палку, болѣе походившую на священническій посохъ, чѣмъ на обыкновенную трость. На немъ былъ постоянно надѣтъ двубортный

длиннополый сюртукъ, застегнутый почти до горла; его шея была всегда повязана широкимъ и густо накрахмаленнымъ бѣлымъ галстукомъ съ большимъ бантомъ подъ гладко выбритымъ подбородкомъ. На головѣ его красовался высокій картузъ изъ чернаго плюша съ широкимъ, угловатымъ козырькомъ на зеленой подкладкѣ. Онъ смотрѣлъ нѣсколько строго, говорилъ немного поучительнымъ тономъ и отличался ровностью движеній, не имѣвшихъ ничего общаго ни съ лакейскою развязностью, ни съ холопскою суетливостью.

Взглянувъ на эту степенную и отчасти торжественную фигуру, вы невольно подумали бы, что это важный баринъ, что это патріархъ семейства.

Вы были бы правы и неправы.

По лѣтамъ, по любви къ грачовской семьѣ, по дѣятельности—это былъ патріархъ семьи Грачовыхъ. По своему положенію, по своему рожденію, по отношенію къ нему семьи—это былъ послѣдній рабъ, послѣдній дворовый песъ семьи Грачовыхъ.

Люди, подобные ему, вымираютъ. Наши дѣти будутъ знать о нихъ только по нашимъ разсказамъ,—и слава Богу. Да, слава Богу за вымираніе этихъ людей, знавшихъ въ жизни только горе и невзгоды и хранившихъ когда-то насъ въ годы нашего дѣтства. Пора успокоиться и этимъ сторожевымъ псамъ, и въ зной, и въ стужу охранявшимъ насъ, когда мы спали въ нашихъ уютныхъ покояхъ на мягкихъ постеляхъ.

Когда-то—это было очень давно—Матвѣй Моисеевичъ, сынъ дворовой дѣвки Марины и неизвѣстнаго отца, оставшись сиротой, былъ взятъ въ домъ стараго князя Ивана Грачова, съ которымъ мальчикъ имѣлъ нѣкоторое сходство, и въ день Петра и Павла подаренъ въ полное владѣніе двѣнадцатилѣтнему князьку Петру Грачову. Мальчику, наряженному въ костюмъ «казачка», было тогда восемь лѣтъ. Иногда князь Петръ, обруганный самодуромъ отцомъ, вымещалъ на «Матюшкѣ» свой дѣтскій гнѣвъ, подбивая казачку глаза или надирая до-красна уши. Порою князь Петръ, не встрѣчая ни въ комъ ни привѣта, ни ласки, обнималъ, цѣловалъ «Мотю», какъ лучшаго друга, какъ любимаго брата. Бывали дни, когда князю Петру дѣлались противны всѣ люди, наполнявшіе домъ его отца, и онъ ни съ кѣмъ не говорилъ, кромѣ «Матюши». Матвѣй чистилъ князю Петру платье, Матвѣй спалъ на полу у постели

князя Петра, Матвѣй по цѣлымъ ночамъ ухаживалъ за княземъ Петромъ во время болѣзни послѣдняго, Матвѣя сѣкли, когда князь Петръ дурно учился или скверно велъ себя.

Все это такъ тѣсно связало двухъ мальчиковъ, что иногда четырнадцатилѣтній казачокъ капризничалъ передъ восемнадцатилѣтнимъ барчукомъ, какъ какая-нибудь избалованная красавица, и барчукъ заботливо и нѣжно старался ублажить и задобрить своего казачка, а порою восемнадцатилѣтній барчукъ награждалъ своего четырнадцатилѣтняго казачка десяткомъ безпощадныхъ пощечинъ, и казачокъ, какъ прибитая хозяиномъ собака, готовъ былъ валяться у ногъ барчука, чтобы вымолить себѣ прощенье и хотя мимолетно поцѣловать избившую его руку.

Они любили другъ друга, своеобразно, не по-человѣчески, но все же любили и, можетъ-быть, даже гораздо сильнѣе, чѣмъ любимъ мы своихъ друзей.

На двадцатомъ году князь Петръ влюбился,—шестнадцатилѣтній Матвѣй былъ повѣреннымъ князя Петра. Потомъ князь Петръ рѣшился жениться помимо воли родителей,—Матвѣй увезъ для него невѣсту, рискуя попасться и дорого поплатиться за продѣлку. Лѣтъ черезъ шесть послѣ женитьбы князь Петръ поѣхалъ въ походъ,—Матвѣй отправился съ нимъ. Въ первомъ же сраженіи князь Петръ былъ убитъ,—Матвѣй поскакалъ съ печальною вѣстью къ молодой вдовѣ. Горькая потеря, заботы о маленькихъ дѣтяхъ князя Петра, одиночество вдовы, находившейся въ ссорѣ съ отцомъ ея мужа и лишившейся своей матери года за два до смерти мужа, все это сблизило, сроднило Матвѣя съ вдовою князя Петра.

Мотя былъ пожалованъ въ дворецкіе, названъ Матвѣемъ Моисеевичемъ.

Насталъ короткій промежутокъ въ жизни Матвѣя Моисеевича, о которомъ онъ не говорилъ ни съ кѣмъ, о которомъ старался не вспоминать никто въ семьѣ Грачовыхъ. Сохранилось только темное преданіе, что Матвѣй Моисеевичъ слишкомъ близко сошелся съ молодой вдовой. Сохранился еще у Матвѣя Моисеевича отъ этого времени его портретъ и на этомъ портретѣ изображено такое полное красоты и свѣжести юношеское лицо, что легко повѣрить смутному преданію о романѣ его молодости. Матвѣй Моисеевичъ упрямо молчалъ обо всѣхъ событіяхъ этой поры своей жизни, но онъ постоянно посѣщалъ могилы своего барина и своей барыни, онъ всегда говорилъ о нихъ со

слезами. Извѣстно только то, что послѣ смерти барыни въ ея домъ пріѣхалъ старый князь Грачовъ; онъ прошелъ въ комнату внучатъ и велѣлъ прислугѣ отнести ихъ въ его экипажъ.

— А, и ты здѣсь, щеголь!—обратился онъ къ Матвѣю Моисеевичу.—Распоряжайся похоронами. Хоронить, какъ хоронили покойную мою жену. Помнишь? Да чтобы все цѣло было, указалъ онъ глазами на вещи,—а сочтемся послѣ.

Послѣ панихидъ и похоронъ, которыми распоряжался Матвѣй Моисеевичъ и на которыхъ аккуратно присутствовалъ старый князь, привозя съ собой дѣтей покойной княгини, старый баринъ принялъ въ свое владѣніе всѣ вещи, потомъ позвалъ къ себѣ въ кабинетъ Матвѣя Моисеевича и заперъ за нимъ на ключъ двери. Прислуга, находившаяся недалеко отъ кабинета, подслушала только отрывистыя, глухо произносимыя слова барина и едва слышный шопотъ дворецкаго.

— Что у васъ тамъ было? Говори!—слышался гнѣвный вопросъ.

— Ничего не было,—едва слышно раздавался отвѣтъ.

— Ничего?.. Теперь говоришь: ничего, а кто распустилъ слухи?.. Не ты бахвалился?

— Нечѣмъ бахвалиться было...

— Нечѣмъ? Откуда же пошли толки?

— Злодѣямъ на мертвыхъ-то наговаривать не трудно...

— Такъ, значитъ, это все выдумки?

— Выдумки...

— Ты это помни!.. Если ты кому-нибудь скажешь...

— Говорить-то мнѣ нечего.

— Ну, такъ ты это такъ и заруби себѣ на память, что говорить тебѣ нечего... И если ты хоть кому-нибудь одно слово... Во снѣ если проговоришься... На духу если скажешь... Съ лица земли сотру!..

И вслѣдъ за этими глухими звуками сыпалась непечатная брань и раздавался свистъ арапника и тяжелыхъ ударовъ, слѣдовавшихъ одинъ за другимъ.

Черезъ часъ изъ кабинета вышелъ Матвѣй Моисеевичъ съ окровавленнымъ лицомъ, въ разорванномъ сюртукѣ съ оборваннымъ воротомъ рубашки. Онъ прошелъ передъ прислугою, молча, съ поднятой головой, съ странной усмѣшкой на губахъ, и только его грудь дышала тяжело и прерывисто.

— Отошла, видно, коту масленица, настали и великій

ность,—говорили люди.—Погуляетъ теперь нашъ Матвѣй Моисеевичъ за сохою въ сѣромъ кафтанишкѣ. Жаль парня!

А Матвѣй Моисеевичъ, какъ ни въ чемъ не бывало, на другой же день велъ за руку на прогулку князя Павла, старшаго внука стараго князя Ивана Грачова.

Черезъ нѣсколько времени къ маленькому князьку взяли гувернера.

— Ты присматривай за французишкой,—замѣтилъ старый князь Иванъ Грачовъ Матвѣю Моисеевичу:—если какимъ-нибудь развратникомъ или мерзавцемъ окажется, скажи. Ты у меня за Павла отвѣчаешь!

Однажды французъ разсердился на Матвѣя Моисеевича за то, что тотъ по-своему держитъ князька, будитъ его въ шесть часовъ утра, позволяетъ ему бѣгать по комнатѣ босикомъ, водитъ его въ тонкой обуви по росистому саду, и пожаловался князю.

— Вы его оставьте: онъ знаетъ, какъ нужно держать русскаго ребенка,—замѣтилъ старый князь Иванъ Грачовъ гувернеру.—Матвѣй любитъ моего внука больше, чѣмъ я. Матвѣй не слуга, а мой пріемышъ.

Пріемышъ въ это время походилъ лицомъ, какъ двѣ капли воды, на своего воспитателя.

Матвѣй Моисеевичъ, а вмѣстѣ съ нимъ и всѣ въ домѣ сознавали, какъ сильно привязанъ старый князь къ дядькѣ маленькаго князька, хотя князь обращался съ Матвѣемъ Моисеевичемъ попрежнему строго, почти сурово, а Матвѣй Моисеевичъ почти не говорилъ въ присутствіи стараго князя и выслушивалъ всѣ его приказанія молча, наклонивъ голову. Чувства стараго князя къ Матвѣю сказались яснѣе только въ тотъ памятный день, когда юный князь Павелъ Грачовъ отправился въ походъ. Старый князь безъ счету обнималъ внука и благословлялъ его на прощанье; онъ боялся, что юношу постигнетъ роковая судьба его отца и что родъ князей Грачовыхъ угаснетъ.

— Ну, храни тебя Богъ!—произнесъ, наконецъ, дрогнувшимъ голосомъ стоящій на крыльцѣ старикъ, отрываясь отъ внука.

Князь Павелъ пошелъ къ экипажу, кланяясь толпившейся кругомъ дворнѣ. Матвѣй Моисеевичъ, стоявшій во все время прощанья въ сторонѣ съ опущенной головой, тоже очнулся и хотѣлъ идти за молодымъ барином.

— Ну, Матвѣй, береги Павлушу,—обратился къ нему старый князь.

Матвѣй Моисеевичъ молча наклонилъ голову.

— Прощай!—молвилъ старый князь и протянулъ Матвѣю Моисеевичу руку.

Матвѣй Моисеевичъ хотѣлъ ее поцѣловать, но князь просто пожалъ его руку и, взявъ другою рукою его за голову, поцѣловалъ его въ лобъ. Матвѣй схватилъ руку стараго князя и, покрывъ ее десяткомъ быстрыхъ, горячихъ поцѣлуевъ, бросился къ экипажу. Черезъ минуту экипажъ уже несся по большой дорогѣ, а старый князь все еще стоялъ на крыльцѣ съ поникшей головой и съ опущенною рукою, по которой еще текли оросившія ее слезы Матвѣя Моисеевича.

Князь Павелъ очень удачно окончилъ походъ, но уже не засталъ въ живыхъ стараго дѣда. Пріѣхавъ въ Петербургъ и принимая во владѣніе имѣніе, онъ призвалъ къ себѣ Матвѣя Моисеевича.

— Дѣдъ не забылъ и тебя, Матвѣй Моисеевичъ,—замѣтилъ онъ, передавая своему дядькѣ какую-то бумагу.

Матвѣй Моисеевичъ просмотрѣлъ бумагу, усмѣхнулся и положилъ ее въ карманъ.

— Княжнамъ прикажете отвести, ваше сіятельство, другіе покои или оставить ихъ во флигелѣ?—спросилъ Матвѣй Моисеевичъ.—Тамъ у нихъ все старенько уже, нужно бы исправить.

— Да, да, дѣдъ мало заботился о сестрахъ съ тѣхъ поръ, какъ онѣ вышли изъ института,—вздохнулъ князь.—Ты ужъ, другъ, распорядись.

— Слушаю-съ!

И Матвѣй Моисеевичъ началъ попрежнему хозяйничать въ домѣ, передѣлывать покои двухъ незамужнихъ сестеръ князя Павла, хлопотать объ устройствѣ половины самого князя Павла, заботиться о поправкѣ обветшалаго барскаго дома. О бумагѣ, переданной ему и выражавшей заботливость о немъ покойнаго князя Ивана, повидимому, забыли и князь Павелъ, и самъ Матвѣй Моисеевичъ, и трудно было сказать, что было написано въ этой бумагѣ: можетъ-быть, въ ней отказывался какой-нибудь капиталъ вѣрному слугѣ, можетъ-быть, въ ней поручалось ему не оставлять князя Павла, можетъ-быть, просто въ ней назначалась въ наслѣдство Матвѣю Моисеевичу та высокая палка князя Ивана, которою такъ часто бивали Матвѣя Моисеевича и съ которою онъ никогда не разлучался.

Дѣдъ князя Павла былъ человѣкъ гигантскихъ размѣровъ, пившій безъ мѣры на пирахъ и никогда не бывавшій пья-

нымъ, державшій десятки любовницъ, проводившій цѣлые дни на охотѣ, не слѣзая съ коня. Отецъ Павла Петровича былъ слабѣе своего отца, но и онъ былъ удалецъ, жившій чисто животною жизнью, хвалившійся кутежами и брестерствомъ. Но самъ князь Павелъ былъ довольно хилый отъ природы, запуганный съ малолѣтства самодуромъ-дѣдомъ человѣкъ, отличавшійся крайней добротой и очень недалекимъ умомъ. Получивъ, подобно дѣду и отцу, самое поверхностное образованіе, онъ рѣшился пополнить его и началъ заниматься изученіемъ разныхъ военныхъ сочиненій. Прочитавъ десятка два книгъ, онъ, какъ это часто бываетъ съ недалекими по уму самоучками, вообразилъ, что и онъ можетъ писать подобныя книги, что онъ можетъ сдѣлать разныя открытія, и засѣлъ въ своемъ кабинетѣ.

Онъ слылъ за примѣрнаго офицера, былъ извѣстенъ по своей громкой фамиліи и по своему богатству, и потому въ свѣтѣ многія маменьки взрослыхъ дочерей очень жалѣли, что его трудно залучить къ себѣ въ домъ. Не мало дѣлалось попытокъ и составлялось плановъ, чтобы поймать князя Павла Грачова въ женихи той или другой изъ свѣтскихъ барышень, когда всѣ эти попытки и планы рушились совершенно неожиданнымъ образомъ. На одномъ изъ торжественныхъ баловъ ближайшій начальникъ князя Грачова подвелъ его къ одной изъ знаменитыхъ свѣтскихъ красавицъ того времени и замѣтилъ вскользь, но многозначительнымъ тономъ:

— Прелестная была бы пара!

Черезъ мѣсяцъ послѣ этого бала князь Грачовъ былъ женатъ, а въ свѣтскихъ гостиныхъ, при появленіи его и жены, сталъ раздаваться какой-то двусмысленный шопотъ и замѣчались обидныя улыбки. Но князь Грачовъ скоро избавилъ себя отъ необходимости слушать этотъ шопотъ и смотрѣть на эти улыбки: онъ занялся еще усидчивѣе книгами и предоставилъ полную волю красавицѣ-княгинѣ, которая, въ пять-шесть лѣтъ на балахъ, на пикникахъ, на маскарадахъ, разстроила все имѣніе мужа и умерла послѣ одной изъ безумныхъ поѣздокъ на тройкѣ. Ея появленіе въ домъ Грачовыхъ походило на появленіе урагана, который пронесся надъ домомъ, изломалъ все, перевернулъ все вверхъ дномъ и кончился прежде, чѣмъ успѣли обитатели этого дома обдумать свое положеніе, принять свои мѣры противъ бури.

Плохое положеніе финансовъ и мысль, что древній ро

князей Грачовыхъ долженъ угаснуть, заставили князя очень скоро послѣ смерти жены подумать о второй женитьбѣ. Выборъ его палъ на Аврору Ѳедоровну фонъ-Шнель. Эта партія оказалась очень выгодною для обѣихъ сторонъ: Аврора Ѳедоровна жаждала мужа съ блестящимъ именемъ и крупнымъ чиномъ, князь нуждался въ богатой невѣстѣ. Аврора Ѳедоровна нашла въ князѣ именно то, чего жаждала она; князь, въ свою очередь, нашелъ въ Аврорѣ Ѳедоровнѣ то, чего недоставало ему. Они повѣнчались и зажили очень мирно: матеріальное положеніе князя улучшилось, онъ снова спокойно засѣлъ за свои великія кабинетныя занятія, княгиня царила въ свѣтѣ и въ домѣ, не стѣсняемая ни въ чемъ покладистымъ мужемъ. Къ довершенію ихъ супружескаго счастія, у нихъ родился сынъ, князь Антонъ.

Но если князь и княгиня были вполнѣ довольны своимъ положеніемъ, то далеко не такъ счастливы были остальныя лица въ домѣ. Безличныя, очень некрасивыя собою старыя дѣвы-княжны, сестры князя, еще болѣе стушевались и принизились передъ лицомъ надменной и холодной Авроры Ѳедоровны. Есть люди, которые, кажется, за тѣмъ только и являются на свѣтъ, чтобы всю жизнь стараться стушеваться, устраниться отъ глазъ ближнихъ, и, наконецъ, добиваются того, что, никѣмъ незамѣченные, сходятъ въ могилы. Посторонніе люди всегда забываютъ и путаютъ имена этихъ нищихъ духомъ и удивляются, слыша, что они еще живы, или узнавая, что они умерли. Таковы были сестры князя Павла. При первой же встрѣчѣ съ Авророй Ѳедоровной онѣ сконфузились, смутились передъ ея величественной фигурой и потомъ уже никогда не могли оправиться отъ этого смущенія. Впрочемъ, Аврора Ѳедоровна смутила не однѣхъ ихъ. Прислуга, распущенная добродушнымъ и недальновиднымъ княземъ и его вѣтреною первою женою, теперь должна была зорко слѣдить за собою, чтобы не лишиться мѣста и милостей ничего не прощавшей и безсердечно взыскательной княгини. Аврора Ѳедоровна, какъ истинная нѣмка, умѣла быть въ одно и то же время неприступной повелительницей и зоркою ключницей въ своемъ домѣ. Люди должны были поклоняться ей, но въ то же время они должны были и отдавать отчетъ, куда пропалъ десятокъ яицъ, не занесенный въ приходо-расходную книгу. Самъ Матвѣй Моисеевичъ почувствовалъ гнетъ этой жен-

щины и мало-по-малу началъ сознавать, что она далеко не такъ смотритъ на него, какъ смотрѣла на него семья князей Грачовыхъ.

Правда, онъ помнилъ, что многіе изъ семьи Грачовыхъ не только бранили, но даже и бивали его, Аврора же Ѳедоровна ни разу не сказала ему грубаго или рѣзкаго слова, и все-таки онъ чувствовалъ, что каждый членъ семьи князей Грачовыхъ считалъ его «своимъ», тогда какъ Аврора Ѳедоровна считала его «чужимъ» и настолько видѣла въ немъ слугу, низшее существо, что никогда не унизилась бы даже до того, чтобы раздражиться ради какого-нибудь изъ его поступковъ. Въ первые дни своего замужества она, нисколько того не замѣчая, успѣла оскорбить Матвѣя Моисеевича.

— Моисей,—сказала она однажды во время обѣда:—подайте мнѣ мою шаль.

Матвѣй Моисеевичъ не сразу понялъ, что княгиня обращается къ нему.

— Я вамъ говорю, — уже строго взглянула на него княгиня.

— Меня, ваше сіятельство, зовутъ Матвѣемъ,—замѣтилъ старикъ.

— Мнѣ все равно, какъ васъ зовутъ, — холодно отвѣтила княгиня. — Но такъ какъ здѣсь нѣтъ другого слуги, то вы должны понять, что мое приказаніе относится къ вамъ.

Матвѣй Моисеевичъ былъ уколотъ, хотя князья Грачовы очень часто называли его и «Мотькой», и «Матюшкой». Съ этой минуты между Матвѣемъ Моисеевичемъ и княгиней легла какая-то пропасть, и Матвѣй Моисеевичъ сталъ постоянно говорить:

— «Наши» и княгиня поѣхали на балъ. «Наши» и княгиня никого не принимаютъ сегодня. У «нашихъ» и княгини были гости.

«Наши» — это были князь Павелъ, старыя княжны, князь Антонъ; княгиня же никогда не входила въ число «нашихъ». Это была чужая, пришлая женщина, и Матвѣй Моисеевичъ инстинктивно ненавидѣлъ ее.

Впрочемъ, сама княгиня поддерживала эту ненависть, конечно, вовсе не думая о томъ и не задаваясь вопросами о томъ, любитъ или не любитъ ее какой-нибудь «крѣпостной» лакей. Княгиня въ сущности не обращала на него никакого вниманія, какъ на слугу, не связаннаго съ нею

никакими воспоминаніями, и притомъ слугу изъ русскихъ, изъ крѣпостныхъ. Она даже упрекала иногда покорныхъ и приниженныхъ сестеръ мужа за то, что онѣ обращаются слишкомъ фамильярно съ Матвѣемъ Моисеевичемъ. Она дѣлала холодный и пренебрежительный видъ, когда старые знакомые мужа любезно справлялись о Матвѣѣ Моисеевичѣ. Ей было непонятно, какъ могутъ порядочные люди интересоваться слугой. Матвѣй Моисеевичъ очень хорошо видѣлъ и сознавалъ все, и все болѣе и болѣе ненавидѣлъ княгиню, но выносилъ ея обращеніе съ свойственнымъ ему достоинствомъ. Онъ былъ крайне радъ, когда на его попеченіе сдали, наконецъ, князя Антона и избавили его отъ необходимости часто встрѣчаться съ княгинею.

Нечего и говорить, что старикъ былъ всею душою преданъ ребенку.

Когда я встрѣтился съ семьею князей Грачовыхъ, князю Антону шелъ уже седьмой годъ, Матвѣю Моисеевичу минулъ семидесятый.

Съ глубокою грустью смотрѣлъ я на этого старика, когда онъ проходилъ съ маленькимъ князькомъ по старому саду, полному, быть-можетъ, самыхъ сладкихъ воспоминаній для него. Здѣсь онъ былъ когда-то первымъ другомъ князя Петра Грачова, здѣсь онъ нѣкогда утѣшалъ вдову этого князя, здѣсь онъ самоотверженно слѣдилъ за развитіемъ князя Павла Грачова, здѣсь, можетъ-быть, были пережиты имъ такіе дни, такія ночи, какихъ не переживали сами князья Грачовы и о какихъ, конечно, не могла имѣть даже понятія холодная и черствая натура Авроры Ѳедоровны.

Все это прошло, и старикъ, склонивъ полную воспоминаній голову на грудь, медленно проходилъ по тѣнистымъ аллеямъ за рѣзвившимся мальчикомъ, сознавая, что это будетъ послѣдній грачовскій птенецъ, выросшій подъ его крыломъ. Положеніе Матвѣя Моисеевича въ домѣ княгини было тѣмъ печальнѣе, что онъ стоялъ въ сторонѣ отъ всей прислуги. Княгиня не любила русской и крѣпостной прислуги и считала невыгоднымъ держать большую дворню. Вслѣдствіе этого она отпустила дворовыхъ на оброкъ и наняла слугъ съ воли.

— Это какіе-то приживалки и дармоѣды,—говорила она про дворовыхъ.— Ихъ нужно бранить и наказывать, тогда они будутъ что-нибудь дѣлать. Наемная прислуга тѣмъ

лучше, что за первую ея вину можно ее отпустить, не волнуя себя и не унижаясь до дрязгъ съ этимъ народомъ. Да и русскій народъ—грязный народъ.

И, дѣйствительно, княгиня, какъ я сказалъ, не ссорилась съ наемною, вышколенною и ходившею по стрункѣ прислугою, которой платились хорошія деньги и отъ которой требовалась чисто-нѣмецкая аккуратность. Матвѣй Моисеевичъ не ненавидѣлъ эту прислугу, не гнушался ею, но видѣлъ въ ней «чужихъ людей», не связанныхъ ни съ нимъ, ни съ грачовскою семьею никакими прочными узами.

— Наемный народъ! — лаконически выражалъ онъ свой взглядъ на прислугу, когда кто-нибудь изъ ея среды оказывался виновнымъ въ чемъ-нибудь.

Въ этомъ выражалась вся разница, которую онъ видѣлъ между ними и собою: они были связаны съ семьею Грачовыхъ деньгами, онъ — любовью; ихъ можно было переманить на другое мѣсто, его нельзя было оторвать отъ семьи даже силою. Прислуга тоже косилась на него. Онъ былъ въ ея глазахъ такой же холопъ, но онъ держалъ высоко свою голову. Онъ былъ презираемъ княгинею, но онъ, повидимому, въ глубинѣ души былъ увѣренъ въ своемъ превосходствѣ надъ нею въ глазахъ грачовской семьи. Онъ былъ крѣпостной человѣкъ, но онъ смотрѣлъ свысока даже на нѣкоторыхъ изъ помѣщиковъ.

— Мы ихъ изъ грязи вытащили, — говорилъ онъ мнѣ однажды, когда я спросилъ его, знаетъ ли онъ одно изъ сосѣднихъ помѣщичьихъ семействъ, посѣщавшихъ княгиню.

Прислуга все это знала и не то насмѣхалась надъ нимъ, не то боялась его. Что-то глубоко-трагическое было въ положеніи этого старика.

Князь Антонъ былъ единственнымъ утѣшеніемъ старика. Мальчикъ иногда утомлялъ своего дядьку, который не поспѣвалъ слѣдить за ребенкомъ. Но все же дядька не давалъ никому права ходить за мальчикомъ. Онъ позволялъ ему рѣзвиться, онъ позволялъ ему бѣгать, и мальчикъ любилъ его. Иногда, когда Матвѣй Моисеевичъ приходилъ въ гостиную звать его спать, мальчикъ бросался къ нему на руки и обвивалъ руками его шею.

— Ан-тонъ, — медленно, ледянымъ тономъ произносила княгиня, и мальчикъ опускалъ руки.

Она обращалась къ дядькѣ:

— Онъ долженъ самъ ходить, не поднимайте его на руки.

Матвѣй Моисеевичъ, молча, ставилъ на полъ ребенка и

такъ же безмолвно выходилъ съ нимъ изъ комнаты. Но едва успѣвала закрыться дверь гостиной, какъ мальчикъ снова былъ на рукахъ старика, снова обнималъ своего любимца и покрывалъ поцѣлуями его доброе, морщинистое лицо.

Чудные дни провелъ Тоня съ этимъ старикомъ. Многому онъ научился отъ этого старика. Птица ли пѣла въ саду— старикъ разсказывалъ, какая это птица, какъ и когда она поетъ, гдѣ вьетъ гнѣзда, когда улетаетъ. Лошадь ли ковали въ кузницѣ, — старикъ объяснялъ, почему куютъ лошадей, какъ это дѣлается, изъ чего приготовляютъ подковы. Трава ли какая заинтересовывала мальчика — старикъ объяснялъ, какъ называютъ эту траву, когда она цвѣтетъ, на что она годится. Чисто-реальныя познанія и народныя повѣрья мѣшались здѣсь въ той странной связи, которая такъ нравится дѣтямъ.

Въ то лѣто, когда я впервые встрѣтился съ Матвѣемъ Моисеевичемъ, онъ былъ пораженъ сильнымъ горемъ: къ маленькому Тонѣ взяли гувернантку-англичанку, миссъ Дэвидсонъ. Миссъ Дэвидсонъ — женщина среднихъ лѣтъ, сухая, апатичная, чинная и холодная—свято исполняла свои обязанности, то-есть не давала ребенку возможности свободно вздохнуть въ теченіе цѣлаго дня. Уже и прежде его стѣсняли въ комнатахъ его матери, гдѣ ему поминутно дѣлали замѣчанія; теперь же эти замѣчанія дѣлались и внѣ этихъ комнатъ, въ саду, въ дѣтской. Матвѣй Моисеевичъ старался отвоевать себѣ хоть что-нибудь и доказать необходимость самолично ѣздить съ Тоней въ церковь, ходить на купанье. Несмотря на это, старикъ почувствовалъ, что у него отнимаютъ его значеніе, что впереди его становится наемный, чужой человѣкъ. Ему было тяжело. Онъ никакъ не могъ понять, почему Тоня не могъ расти такъ же, какъ росъ князь Петръ, вовсе не имѣвшій гувернера, или какъ росъ князь Павелъ, имѣвшій гувернера, подчинявшагося въ дѣлѣ воспитанія ему, Матвѣю Моисеевичу.

Теперь у Матвѣя Моисеевича оставалось столько свободныхъ часовъ, что онъ не зналъ, куда ихъ дѣвать. Посидитъ онъ, бывало, въ своей комнатѣ, потомъ гулять выйдетъ. А между прислугою идутъ язвительные толки.

— Нашъ Матвѣй Моисеевичъ отъ трудовъ великихъ отдохнуть изволили, теперь поразмяться пошли,—острятъ холопы.

Матвѣй Моисеевичъ видитъ насмѣшливыя улыбки и чутьемъ угадываетъ, что смѣются надъ нимъ. Его грызетъ тоска. За обѣдомъ прислуга не успѣетъ подать что-нибудь, княгиня спроситъ:

— Да гдѣ же Матвѣй?

— У себя-съ въ комнатѣ,—отвѣчаетъ лакей.

— Такъ вы бы хоть ему поручили что-нибудь сдѣлать, вѣдь онъ также безъ дѣла сидитъ.

— Они отдыхаютъ, — отвѣчалъ лакей съ едва уловимой усмѣшкой.

Княгиня молча пожимаетъ плечами.

— Я не понимаю, зачѣмъ его здѣсь держатъ!—вскользь замѣчаетъ она одной изъ сестеръ мужа, а та робко потупитъ глаза и начинаетъ перебирать бахрому своей шали.

Послѣ обѣда Матвѣя Моисеевича встрѣчаетъ лакей.

— Княгиня васъ спрашивала,—говоритъ онъ.—Сказала, что вы могли бы и намъ помочь таскать кушанье.

— Это не мое дѣло, — сухо отвѣчаетъ Матвѣй Моисеевичъ.

— А какое же ваше дѣло? — спроситъ мелкомъ лакей съ нахальной усмѣшкой.

Матвѣя Моисеевича всего передернетъ: онъ понимаетъ, что у него въ сущности нѣтъ дѣла, что онъ лишній въ грачовскомъ домѣ. Эта мысль была просто страшна для старика.

Матвѣй Моисеевичъ началъ дѣлаться какимъ-то страннымъ. Онъ ходилъ днемъ, какъ сонный, а вечеромъ далеко за полночь въ его каморкѣ теплился огонь. Неизвѣстно, для чего просиживалъ старикъ такъ долго. Это не ускользнуло отъ вниманія домашнихъ шпіоновъ. Имъ удалось, наконецъ, подсмотрѣть въ замочную скважину, что дѣлаетъ Матвѣй Моисеевичъ въ эти часы безсонницы. Они увидѣли, что онъ сидитъ въ своей комнаткѣ за бутылкой вина и что-то бормочетъ, погруженный въ свои думы. По дому быстро разнеслась вѣсть, что Матвѣй Моисеевичъ началъ пить. Вѣсть эта черезъ десятыя руки домашнихъ доносчиковъ дошла до княгини, и княгиня съ еще бо̀льшимъ презрѣніемъ начала глядѣть на Матвѣя Моисеевича. Она пристально глядѣла на него, когда онъ приходилъ за маленькимъ Тоней, точно желая убѣдиться, не пьянъ ли старикъ. Но Матвѣй Моисеевичъ, по обыкновенію чинный, серьезный, былъ всегда трезвъ. Княгиня это видѣла и отворачивалась отъ него, точно негодуя, что онъ не былъ пьянъ.

— Уходъ этого старика за Антономъ — это одинъ изъ пунктовъ помѣшательства князя, — говорила она барону фонъ-Тифензее. — Я давно сознаю, что Антону нуженъ гувернеръ и молодой лакей, а не такая, выжившая изъ ума, человѣческая развалина.

— Да, онъ уже старъ, — глубокомысленно соглашался, какъ всегда, важный и надутый баронъ.

— Притомъ же Антонъ по необходимости долженъ говорить съ нимъ по-русски и потому знаетъ не настолько хорошо французскій и нѣмецкій языки, насколько нужно.

— О, это совершенно вѣрно! — опять согласился баронъ и задумался, вѣроятно, о томъ, почему это, говоря постоянно по-русски съ дядькой, Антонъ отвыкалъ отъ иностранныхъ языковъ.

Баронъ любилъ задумываться надъ философскими вопросами и былъ сообразителенъ, какъ всѣ нѣмцы, если только ему удавалось употребить на соображенія нѣсколько часовъ, обдумывая, сколько получится перьевъ изъ одного пера и двухъ карандашей.

Несмотря на всѣ попытки княгини отстранить Матвѣя Моисеевича отъ Антона, ей не удавалось этого сдѣлать. Князь, покорный во всемъ и согласный со всѣми, особенно послѣ того, какъ онъ оглохъ, не соглашался съ женою только относительно отставки Матвѣя Моисеевича.

Такъ шло время, и неизвѣстно, долго ли протянулись бы эти отношенія барыни и стараго слуги, если бы не случилось одно совершенно неожиданное событіе.

Антонъ спалъ рядомъ съ комнатой одной изъ тетокъ, и она услышала однажды, что мальчикъ стонетъ. Она поспѣшила къ нему въ комнату; оказалось, что у мальчика сильно разболѣлась голова. Княжна позвала свою сестру, и обѣ не знали, что дѣлать: помочь мальчику домашними средствами, — но что скажетъ княгиня, если эти средства не помогутъ? Идти къ княгинѣ и позвать ее? — но можно ли войти къ княгинѣ въ этотъ часъ, когда она обыкновенно «занимается чтеніемъ» съ барономъ фонъ-Тифензее? Съ свойственною имъ робостью и неумѣлостью, княжны, послѣ очень долгаго совѣщанія, при которомъ всѣ планы сначала казались имъ превосходными, а потомъ никуда не годными, призвали, наконецъ, Матвѣя Моисеевича. Онъ сейчасъ же распорядился: велѣлъ сдѣлать горчичникъ и послать за домашнимъ докторомъ, который уѣхалъ верстъ за десять къ сосѣднимъ помѣщикамъ.

Эти хлопоты и бѣготня въ домѣ дошли и до слуха княгини. Она узнала, въ чемъ дѣло, и явилась въ комнату сына.

— Что это значитъ: мой ребенокъ боленъ и мнѣ не даютъ знать?— холодно спросила она, не обращаясь ни къ кому въ особенности.

Княжны потупили глаза и перебирали концы своихъ шалей.

— Я васъ спрашиваю, кто вамъ позволилъ распоряжаться, не доложивъ мнѣ?—обратилась она уже къ Матвѣю Моисеевичу, бросивъ на смущенныхъ сестеръ мужа полный глубокаго презрѣнія взглядъ.

— Возможности не было,—глухо отвѣтилъ Матвѣй Моисеевичъ.

— Что?--переспросила княгиня.—Не было возможности доложить мнѣ? Вы изъ ума выживаете или...

Княгиня не кончила фразы и какъ-то особенно взглянула на Матвѣя Моисеевича.

— Ваше сіятельство сами не приказали безпокоить васъ, когда вы изволите по ночамъ заниматься съ барономъ,— отвѣтилъ Матвѣй Моисеевичъ.

Княгиня все еще всматривалась въ него и, наконецъ, произнесла рѣшительнымъ тономъ:

— Отъ васъ виномъ пахнетъ, вы пьяны. Ступайте вонъ.

Матвѣй Моисеевичъ сдѣлался еще блѣднѣе.

— Я вамъ говорю, ступайте вонъ!—повторила княгиня.— У ребенка болитъ голова, а тутъ еще люди вносятъ спиртный запахъ. Тутъ и задохнуться не трудно.

Матвѣй Моисеевичъ, казалось, не вполнѣ ясно понималъ, что его дѣйствительно гонятъ изъ комнаты его князька, гонятъ въ ту минуту, когда этотъ князекъ боленъ. Старикъ не трогался съ мѣста.

— Отворите ему дверь,—обратилась княгиня къ лакею и, отвернувшись отъ Матвѣя Моисеевича, наклонилась надъ постелью сына.

Лакей отперъ дверь и съ усмѣшкой посмотрѣлъ на Матвѣя Моисеевича. Старикъ, какъ во снѣ, медленно побрелъ изъ комнаты.

На слѣдующій день отдано было распоряженіе не пускать Матвѣя Моисеевича къ больному. Старикъ попробовалъ пройти объясниться къ княгинѣ, но его не пустили къ ней.

Такъ прошло нѣсколько дней.

Старикъ осунулся, взглядъ его совершенно потускнѣлъ, онъ весь точно помертвѣлъ и бродилъ, какъ тѣнь, поджидая

пріѣзда князя. Но прежде чѣмъ пріѣхалъ князь, на его голову обрушился еще одинъ ударъ.

Старыя княжны, умѣвшія только безмолвно скорбѣть о всѣхъ угнетенныхъ, конечно, не могли ничѣмъ пособить и Матвѣю Моисеевичу, но въ то же время онѣ не могли удержаться отъ того, чтобы не предупредить старика о грозящей ему бѣдѣ, про которую онѣ узнали совершенно случайно. Дѣло въ томъ, что княгиня, на имя которой были переведены всѣ имѣнія князя, рѣшилась, наконецъ, безъ согласія мужа, дать старику «вольную».

— Ея сіятельство лучше бы прежде попросили, чтобы я ихъ крѣпостнымъ сдѣлался, да потомъ бы ужъ и писали мнѣ вольную,—хмуро замѣтилъ Матвѣй Моисеевичъ, выслушавъ княженъ.

— Тебѣ, Матвѣюшка, завтра и бумагу передадутъ,—печалились и вздыхали невинныя дѣвственницы, отирая глаза, уже давно лишенные дара слезъ.

Дѣйствительно, на слѣдующій день старика позвали къ княгинѣ, сидѣвшей за утреннимъ чаемъ въ обществѣ барона фонъ-Тифензее и старыхъ княженъ. Когда Матвѣй Моисеевичъ вошелъ въ комнату, сама княгиня была поражена происшедшей въ немъ перемѣной: онъ былъ похожъ на покойника.

— Мнѣ съ вами нужно поговорить,—произнесла княгиня, и ея голосъ, казалось, былъ мягче обыкновеннаго ея тона.—Вы уже очень стары и довольно поработали.

— Я, ваше сіятельство, никому не жаловался на усталость и никогда не отказывался отъ работы,—тихо произнесъ старикъ, и его голосъ былъ какъ-то особенно глухъ.

— Къ сожалѣнію, вы и не могли ни жаловаться, ни сидѣть, сложа руки, какъ крѣпостной человѣкъ,—мелькомъ замѣтила княгиня и прибавила:—Но вамъ нуженъ отдыхъ. Я даю вамъ пенсію и отпускную. Вы можете нанять себѣ комнату и жить на покоѣ.

— Я, ваше сіятельство, родился въ семействѣ моихъ господъ и желалъ бы умереть въ ихъ домѣ,—замѣтилъ Матвѣй Моисеевичъ.

— Вы знаете, что я не люблю лишнихъ людей въ домѣ и мнѣ пришлось бы превратить его въ богадѣльню, если бы я позволила доживать въ немъ вѣкъ всей дворнѣ,—проговорила княгиня, уже болѣе холоднымъ тономъ, начиная тяготиться разговоромъ съ слугой.—Вотъ ваша отпускная.

Княгиня передала Матвѣю Моисеевичу бумагу.

— Вы напрасно изволили безпокоиться, ваше сіятельство,—глухо проговорилъ старикъ.—Я никогда не былъ вашимъ крѣпостнымъ, я былъ крѣпостнымъ князей Грачовыхъ.

— Но крѣпостные князя сдѣлались моими крѣпостными. Впрочемъ, мнѣ нечего разсуждать съ вами объ этомъ,—уже совсѣмъ сухо и рѣзко промолвила княгиня.

— Только не я, ваше сіятельство, — отвѣтилъ Матвѣй Моисеевичъ.

Княгиня усмѣхнулась.

— Не вы?

— Не я, ваше сіятельство,—промолвилъ старикъ.—Я служилъ моимъ господамъ не потому, что я *долженъ* былъ служить, а потому, что я *хотѣлъ* имъ служить, потому что я любилъ ихъ. Вотъ вы эту бумагу писали, ваше сіятельство, а для меня она вотъ чего стоитъ.

Матвѣй Моисеевичъ медленно разорвалъ данную ему вольную.

— Вы забываетесь! — гнѣвно произнесла княгиня, и ея глаза сверкнули зловѣщимъ блескомъ.

— Я, ваше сіятельство, не былъ вашимъ крѣпостнымъ и не вамъ давать мнѣ вольную,—дрожащимъ голосомъ говорилъ старикъ, не обращая вниманія на гнѣвъ княгини.—Васъ еще на свѣтѣ не было, когда блаженной памяти княгиня Анна Дмитріевна Грачова, упокой, Господи, душу ея, дала мнѣ вольную. Я ее спряталъ подъ образа и остался, какъ сторожевая собака, около князя. Вы еще и княгиней, ваше сіятельство, не были, а просто фонъ-Шнелью прозывались, когда князь Иванъ Григорьевичъ Грачовъ, царство ему небесное, снова далъ мнѣ вольную, не зная, что я уже давно отпущенъ на волю, я и эту бумагу положилъ подъ образа и опять остался сторожить покой моего князя Павла Петровича. Вотъ эти бумаги.

Матвѣй Моисеевичъ дрожащею, какъ въ лихорадкѣ, рукою досталъ изъ кармана двѣ пожелтѣвшія отъ времени бумаги.

— Вотъ, ваще сіятельство, это моими законными господами писаныя бумаги, такъ что же мнѣ въ вашей-то, въ этой-то негодной бумагѣ?—глухо проговорилъ старикъ и толкнулъ ногою разорванную и брошенную имъ на полъ отпускную.

— Иди... сейчасъ иди!—скрипнувъ зубами и задыхаясь отъ гнѣва, произнесла княгиня, первый разъ раздражившись на слугу и говоря ему *ты*.

Матвѣй Моисеевичъ посмотрѣлъ на нее какимъ-то тусклымъ, свинцовымъ взглядомъ, съ трудомъ засунулъ въ кар-

манъ дрожащею рукою свои бумаги и повернулся, чтобы выйти изъ комнаты, но при первомъ же шагѣ онъ наткнулся на стулъ, торопливо протянулъ руку въ воздухъ, какъ бы стараясь схватиться за что-то, дернулъ другою рукою за галстукъ, точно желалъ освободить шею, шагнулъ еще разъ, но его нога быстро подвернулась подъ него, и онъ во весь ростъ, перевернувшись, навзничь упалъ на полъ.

— Убили!—въ одинъ голосъ крикнули княжны и бросились къ старику.

Княгиня вытянулась во весь ростъ на своемъ мѣстѣ, оперлась руками о столъ и, устремивъ неподвижный отъ ужаса взглядъ на старика, осталась стоять въ какомъ-то оцѣпенѣніи.

Гдѣ-то далеко въ это время слышался лошадиный топотъ и шумъ катившагося экипажа: это ѣхалъ домой князь Павелъ Петровичъ.

Всѣ эти лица и сцены воскресли въ моемъ воспоминаніи, и въ моей головѣ зароились вопросы:—Что сдѣлалось теперь съ Тоней? На кого онъ сталъ похожъ? Привились ли къ нему характерныя черты его матери? Развились ли въ немъ добрыя наклонности его, не далекаго по уму, отца?

Мнѣ опять захотѣлось отправиться къ Грачовымъ, но меня удерживала отъ исполненія этого желанія мысль, что я могу въ ихъ домѣ встрѣтиться съ княгиней. Эта женщина была настолько антипатична мнѣ, что я просто боялся встрѣчи съ нею. Послѣ долгаго раздумья, я окончательно бросилъ свои планы о визитѣ къ Грачовымъ.

— Что мнѣ въ нихъ? Что мнѣ за дѣло до того, чѣмъ сталъ князь Антонъ Павловичъ Грачовъ? По всей вѣроятности, изъ него выработалась вовсе не интересная, дюжинная личность. И что за роль разыграю я, если онъ меня даже не узнаетъ?

Рѣшивъ такимъ образомъ окончательно не дѣлать визита къ Грачовымъ, я мало-по-малу совершенно забылъ о нихъ, когда одинъ совершенно неожиданный случай напомнилъ мнѣ снова о ихъ существованіи.

Прошло уже довольно много времени со дня ихъ пріѣзда. Мое здоровье значительно поправилось, я уже предпринималъ болѣе отдаленныя прогулки и менѣе скучалъ, начавъ очень пристально слѣдить за политическими событіями, которыя представляли въ это время не малый интересъ. Побѣда, одержанная партіей соединенія Италіи и вопросъ о

присоединеніи къ Франціи Савойи и Ниццы составляли животрепещущій интересъ дня.

Однажды я пошелъ бродить по городу и былъ пораженъ необычайнымъ движеніемъ, которое сначала ускользнуло отъ моего вниманія. На улицахъ во многихъ мѣстахъ встрѣчались группы людей, сильно споривших и жестикулировавшихъ чисто по-итальянски. Въ двухъ-трехъ мѣстахъ спорящіе не ограничивались одною крупною перебранкою, но и показывали другъ другу кулаки. Въ одной группѣ слышались свистки и какія-то насмѣшливыя восклицанія, повидимому, относившіяся къ одному господину, спѣшившему удалиться отъ этой группы; когда этотъ господинъ проходилъ мимо меня, я замѣтилъ у него розетку ордена Почетнаго Легіона въ петлицѣ сюртука; очевидно, это былъ французъ.

— Что это за господинъ?—обратился я къ одному оборванному старику, стоявшему неподалеку отъ группы лицомъ къ солнцу и грѣвшему озябнувшія въ холодномъ жилищѣ руки.

— Агентъ,—лаконически отвѣтилъ старикъ ломанымъ французскимъ языкомъ.

— Да развѣ французскіе агенты уже появились?

— Еще бы! Этотъ пройдоха не опаздываетъ.

Слово «пройдоха», очевидно, относилось къ Наполеону III.

— А вы, значитъ, стоите за Италію?—спросилъ я у старика.

— Мы за себя,—отвѣтилъ онъ.

Я улыбнулся.

— Вотъ погодите, наши покажутъ себя во французскомъ театрѣ,—энергично произнесъ старикъ.

— Что же, тамъ манифестація готовится?

— Будетъ жарко!

«Вотъ и развлеченіе»,—промельнуло у меня въ головѣ. Я направился домой обѣдать и рѣшился вечеромъ непремѣнно быть въ театрѣ.

Вечеромъ, когда я входилъ въ первые нумерованные ряды партера, театръ былъ уже полонъ и шумѣлъ. Задніе, ненумерованные ряды партера и раекъ были набиты биткомъ. Публика шумно разговаривала внизу и иногда завязывала разговоры съ кѣмъ-нибудь сидѣвшимъ наверху. Порою изъ райка высовывалась какая-нибудь всклоченная и загорѣлая голова уличнаго мальчишки-ниццарда и раздавался возгласъ:

— Оге, Джузеппино!

— Ого, Беппо!—слышалось изъ партера.—Убѣжалъ отъ матери?

— Какъ же! Смотри!

Сверху высовывалась черезъ барьеръ грязная рука съ горстью каштановъ.

— Хо, хо!—слышался снизу одобрительный смѣхъ.

— Тише вы!—раздавался чей-то басъ.—Ахъ, ужъ эти мальчишки.

На минуту собесѣдники умолкали, потомъ перекличка завязывалась между зрителями противоположныхъ сторонъ райка.

Меня крайне занималъ весь этотъ гамъ и шумъ. Но, повидимому, онъ еще сильнѣе интересовалъ двухъ другихъ посѣтителей театра, сидѣвшихъ тоже въ переднемъ ряду партера, но на противоположномъ отъ меня концѣ. Эти личности были изъ иностранцевъ, что можно было заключить по ихъ изящному туалету, которымъ не отличаются ниццарды, посѣщающіе партеръ. Одинъ изъ этихъ иностранцевъ былъ лѣтъ двадцати, двадцати-двухъ. Его прелестная, крайне моложавая, бѣлокурая и курчавая голова невольно приковывала вниманіе. Голубые глаза, правильныя, темныя брови, длинныя рѣсницы, прекрасно очерченный ротъ и бѣлые, ровные зубы, все это дышало красотою. Но съ перваго же раза можно было сказать, что этотъ юноша боленъ и боленъ опасно: онъ былъ худъ, его щеки горѣли лихорадочнымъ румянцемъ, его грудь тяжело дышала, и онъ почти синѣлъ, начиная время-отъ-времени усиленно кашлять. Яркій контрастъ съ нимъ представлялъ его собесѣдникъ. Это былъ заплывшій жиромъ, сальный, если можно такъ выразиться, человѣкъ, съ широкою улыбкою, при которой открывался его необъятный ротъ, какъ бы предназначенный самою природою для истребленія невообразимыхъ запасовъ пищи. Молодой человѣкъ не могъ посидѣть спокойно на мѣстѣ ни одной минуты и какъ-то нервно двигался и смѣялся, тормоша за рукавъ своего сосѣда и передавая ему свои наблюденія. Толстякъ, напротивъ того, точно прилипъ къ своему мѣсту и съ сладостнымъ выраженіемъ полнаго блаженства только кивалъ головою въ отвѣтъ на всѣ замѣчанія своего подвижного собесѣдника.

Мнѣ показались эти лица почему-то знакомыми, но я не могъ сразу вспомнить, гдѣ я ихъ видѣлъ.

Шумъ, между тѣмъ, понемногу утихъ; подняли занавѣсъ и начали играть одинъ изъ нелѣпѣйшихъ пале-роялскихъ водевилей съ массою карикатурныхъ личностей и невообра-

зимо глупыхъ приключеній. Пьеса, очевидно, была разсчитана на вкусы толпы, и въ другое время она, вѣроятно, вызвала бы неудержимый хохотъ райка и партера. Но на этотъ разъ партеръ и раекъ встрѣтили начало пьесы въ гробовомъ молчаніи. Наконецъ, на сцену появилось главное дѣйствующее лицо, одѣтое въ какой-то невообразимый костюмъ: въ голубой фракъ и желтыя панталоны.

— Ого!—раздался почти дѣтскій голосъ въ райкѣ при появленіи артиста, и въ театрѣ пронесся шумный ропотъ неодобренія, относившійся къ артисту, а не къ крикуну-мальчугану.

Артистъ не растерялся и принялся за усердное исполненіе своей роли и бойко произнесъ первую плоскую остроту, которая должна была разсмѣшить толпу.

— А-чхи!—оглушительно чихнулъ кто-то въ партерѣ въ отвѣтъ на эту остроту, и въ ту же минуту въ райкѣ раздалось то же чиханье, но совершенно дѣтское.

Въ театрѣ послышался смѣхъ. Артисты были уже сконфужены и кое-какъ доиграли первый актъ.

— Что они насъ за дураковъ, что ли, считаютъ!

— Это полишинели, а не актеры!

— Какъ дѣтей, занимаютъ гримасничаньемъ!

— А ты славно чихнулъ!

— Оге, Беппо! не съѣлъ каштаны?

— Эге, вотъ они!

Эти толки и крики сливались въ одинъ неясный и неудержимый шумъ. Но вотъ началось второе дѣйствіе, и въ театрѣ снова настала тишина,—тишина необычайная въ театрѣ, гдѣ присутствуютъ итальянцы. Наконецъ, настала минута, когда водевильная путаница должна была перейти въ площадное, балаганное кривляньe съ паденіями героевъ пьесы на полъ, съ взаимными оплеухами актеровъ. Едва успѣла раздаться первая пощечина, какъ въ партерѣ раздался свистокъ.

— Вонъ французовъ! Не нужно французовъ!—послышалось въ ту же минуту со всѣхъ концовъ театра.

— Да здравствуетъ Франція!—грянулъ чей-то голосъ.

— Да здравствуетъ Италія! Да здравствуетъ нашъ Гарибальди!—грянулъ отвѣтъ.

— Къ намъ, Джузеппино! Вонъ французовъ!

Въ партерѣ началось смятеніе, изъ райка полетѣла на сцену горсть жареныхъ каштановъ. Я поднялъ голову наверхъ и увидалъ черномазаго Беппо, высунувшагося за барьеръ и чахавшаго изодранной шапкой съ крикомъ:

— Да здравствуетъ Италія!

— На сцену!—крикнулъ кто-то внизу.

— Гони ихъ!

Толпа ринулась какъ потокъ, прорвавшій плотину, на сцену,—партеръ опустѣлъ въ минуту. Я прижался къ стѣнѣ и видѣлъ, какъ толпа разбрасывала на сценѣ все попадавшееся ей подъ руку и дралась съ приверженцами присоединенія Ниццы къ Франціи. Въ эту минуту мнѣ ясно послышался прерывистый голосъ, говорившій по-русски:

— Да кричите же, докторъ: да здравствуетъ Италія! Вы настоящій тюлень!

— Вы знаете, что мнѣ вредны волненія послѣ обѣда,— юмористическимъ тономъ отвѣчалъ другой голосъ.

— Вредно, вредно! Ходячее брюхо!—сердито возразилъ первый голосъ и началъ кричать:—Да здравствуетъ Италія!

Я отыскалъ глазами собесѣдниковъ и узналъ въ нихъ болѣзненнаго юношу и толстяка. Юноша уже готовился бѣжать на сцену, гдѣ происходила свалка.

— Куда вы! куда вы! Васъ задавятъ!—кричалъ толстякъ, удерживая его.—Пойдемте домой.

— Домой?—нервно и желчно воскликнулъ юноша.—Тутъ надо воодушевлять, поддерживать, а вы зовете домой! Стыдитесь!

Онъ вырвался изъ рукъ толстяка и черезъ минуту былъ уже на сценѣ. Онъ весь сіялъ: его глаза и щеки горѣли огнемъ, его густые, курчавые волосы были откинуты назадъ, его голосъ звучалъ громче всѣхъ голосовъ.

— Солдаты! Полиція!—вдругъ крикнулъ кто-то.

— Гасите огни!—раздался крикъ толпы.

Черезъ минуту въ зрительной залѣ воцарилась полнѣйшая тьма.

— Князь, князь, гдѣ вы!—слышалъ я голосъ толстяка, и въ тонѣ этого голоса уже слышался испугъ.—Вѣдь вотъ я говорилъ, что это до добра не доведетъ. Чортъ знаетъ, и самъ не будетъ всю ночь спать, и мнѣ придется съ нимъ остаться безъ сна. Нѣтъ, это надо кончить. Этакая жизнь просто убьетъ меня,—ворчалъ толстякъ, спотыкаясь впотьмахъ о скамьи и ощупью отыскивая выходъ.

— Да здравствуетъ Италія! — гдѣ-то далеко пронесся молодой голосъ, въ которомъ легко было узнать голосъ русскаго юноши.

— Шальной, право, шальной!—пробормоталъ толстякъ.—

И гдѣ я его теперь отыщу? Чортъ знаетъ, куда забрался, точно съ того свѣта кричитъ...

Въ эту минуту кто-то схватилъ его за руку, и я услышалъ сухой приказъ:

— Задержите этого человѣка!

— Этого только недоставало! — плачевнымъ тономъ воскликнулъ толстякъ. — Въ кутузкѣ еще заставятъ провести ночь на голыхъ доскахъ. Не ожидалъ!

И онъ началъ торопливо что-то объяснять на ломаномъ французскомъ языкѣ задержавшимъ его полицейскимъ.

— Доктёръ... доктёръ Симоненко... Пти рюсь... пти рюсь!— раздавался его молящій голосъ, и мнѣ даже показалась, что онъ плачетъ.

Довольно долго не выходила у меня изъ головы сцена въ театрѣ. Образъ болѣзненнаго и нервнаго юноши съ его подвижными и торопливыми движеніями и эта заплывшая жиромъ, комическая фигура доктора носились передъ моими глазами. Не такимъ я представлялъ себѣ Антона Грачова, не такимъ воображалъ доктора Симоненко.

Доктбра Симоненко я зналъ еще тогда, когда онъ кончилъ курсъ въ медико-хирургической академіи и былъ рекомендованъ мною барону фонъ-Тифензее. Тогда это былъ худощавый бѣднякъ, плохо кормившійся и очень комично вздыхавшій, когда ему приходилось идти мимо какого-нибудь ресторана.

— Я вѣдь гастрономомъ созданъ. Взгляните на мой ротъ— и вы поймете, что я созданъ только для ѣды,—комично замѣчалъ онъ, показывая свою, дѣйствительно огромную пасть.

Мы смѣялись, потому что этотъ гастрономъ питался въ то время не лучше насъ. Теперь, повидимому, онъ попалъ на свой настоящій путь. «Но гдѣ же я встрѣчалъ его въ послѣднее время?» думалось мнѣ, такъ какъ эта толстая фигура, нисколько не напоминавшая прежняго Симоненко, была мнѣ знакома. Наконецъ, я вспомнилъ, что я видѣлъ его здѣсь раза два выходящимъ изъ кафе.

Меня опять заинтересовалъ вопросъ о визитѣ къ Грачовымъ, о возобновленіи знакомства съ Симоненко; но текущія событія настолько поглощали мое вниманіе, что я откладывалъ визитъ къ нимъ со дня на день. Въ городѣ происходилъ цѣлый рядъ демонстрацій, за которыми я, конечно, слѣдилъ съ напряженнымъ вниманіемъ.

Нѣкоторыя изъ этихъ демонстрацій имѣли чисто-комиче-

скій характеръ, другія оканчивались довольно грустно. Если театральная свалка окончилась безъ всякихъ послѣдствій, то сцена съ однимъ изъ французскихъ агентовъ, подкупавшихъ народъ, прошла далеко не такъ благополучно. Агента схватили на улицѣ, притащили къ старому мосту и сбросили въ потокъ. Кто знаетъ этотъ потокъ, раздѣляющій Ниццу на двѣ части, тотъ пойметъ, что паденіе въ потокъ не представляетъ никакой опасности въ зимнее время и можетъ окончиться развѣ только ушибомъ о сухое каменистое дно. Но совсѣмъ не такъ легко можно отдѣлаться, упавъ въ этотъ потокъ весною, когда съ горъ сбѣгаютъ снѣга, и потокъ, едва струящійся въ зимнее время, превращается теперь въ настоящую рѣку, быстро несущую свои мутныя, желтоватыя воды. Несчастному французскому агенту пришлось совершить путешествіе по рѣкѣ именно въ такое время таянія горныхъ снѣговъ, и не знаю уже, какимъ чудомъ ему удалось освободиться изъ волнъ прежде, чѣмъ онѣ донесли его до моря.

Насталъ, наконецъ, и день всеобщей подачи голосовъ, когда весь этотъ волновавшійся народъ, при помощи ловкихъ интригъ, подалъ голосъ за Францію.

— Продали родину за бутылку вина и пару сигаръ,—говорилъ мнѣ одинъ знакомый старикъ, смотря, какъ вступали въ городъ французскія войска.

Дѣйствительно, многимъ изъ подававшихъ голоса давалось по бутылкѣ сквернѣйшаго вина и по парѣ еще болѣе скверныхъ сигаръ.

Вступленіемъ въ городъ французскихъ войскъ оканчивался періодъ случайнаго оживленія Ниццы и наставала пора обычнаго затишья.

Весна вступала въ свои права, на улицахъ становилось жарко. На берегу, около рыбнаго рынка, уже давно купались десятки мальчишекъ; рисковали начать купанье и нѣкоторые изъ англичанъ. Настало время, когда уѣзжаютъ люди, зимовавшіе въ Ниццѣ.

Я тоже собирался въ путь.

Однажды, гуляя, я зашелъ въ одно изъ кафе, и первое, что мнѣ бросилось въ глаза, былъ Симоненко. Онъ сидѣлъ за отдѣльнымъ мраморнымъ столикомъ, передъ нимъ стояло блюдо съ ростбифомъ. Толстякъ пережевывалъ громадные куски мяса такъ громко, что его «чавканье» разносилось по всей комнатѣ; его лицо дышало выраженіемъ полнѣйшаго блаженства.

— Докторъ, возможно ли въ такую жару, въ Италіи, есть ростбифъ!—шутливо замѣтилъ я, подходя къ нему.

Онъ съ изумленіемъ откинулся на спинку стула и, переставъ жевать, съ заложеннымъ за щеку кускомъ мяса, смотрѣлъ на меня во всѣ глаза.

— Ба-ба!—произнесъ онъ и не могъ продолжать дальше, потому что кусокъ мяса засѣлъ у него въ горлѣ.

Онъ закашлялъ: засмѣялся, замахалъ руками и, наконецъ, проглотивъ роковой кусокъ и раскраснѣвшись до маковки облысѣлой головы, закричалъ мнѣ:

— Ну, вотъ, тысячу лѣтъ не видались и пришли уморить!

Потомъ его мягкая и нѣсколько влажная рука крѣпко стиснула мою руку, а черезъ минуту Симоненко уже уничтожалъ снова остатки ростбифа и тараторилъ, не умолкая. Разсказы, воспоминанія, анекдоты, плохіе каламбуры и сальныя остроты лились съ языка доктора неудержимымъ потокомъ.

Съ перваго раза онъ производилъ впечатлѣніе пустого и довольно недалекаго по уму болтуна. Но, всматриваясь въ него попристальнѣе, вы не могли не замѣтить его лукавыхъ черненькихъ глазъ, заплывшихъ жиромъ, но смотрѣвшихъ умно и зорко. Правда, онъ говорилъ много пошлостей и и глупостей, но при бо́льшей или меньшей наблюдательности можно было замѣтить, что онъ не такъ глупъ, чтобы придавать этимъ пошлымъ каламбурамъ и сальнымъ остротамъ серьезное значеніе; онъ, кажется, просто произносилъ ихъ и напиралъ на нихъ потому, что считалъ каждаго изъ своихъ собесѣдниковъ настолько глупымъ, что его разсмѣшатъ и эти каламбуры и остроты. Онъ не ошибался: каламбуры и остроты вызывали смѣхъ. Я еще наблюдалъ его, когда онъ, разсказывая о своихъ похожденіяхъ, воскликнулъ:

— Я вѣдь чревоугодникъ!

Я улыбнулся.

— Чего вы улыбаетесь?—спросилъ докторъ.

— Я только-что думалъ о томъ, что вы такое, и пришелъ къ заключенію, что вы человѣкъ себѣ на умѣ,—отвѣтилъ я.

— Да вѣдь я малороссъ,—добродушно пояснилъ Симоненко.

— Докторъ Симоненко... пти рюсь!—проговорилъ я, подражая его голосу.

Толстякъ залился смѣхомъ, какъ-то всхлипывая и задыхаясь.

— Такъ вы видѣли эту сцену?—говорилъ онъ.—Какъ же, какъ же, въ полицію хотѣли стащить... Едва отдѣлался... А вѣдь всему виноватъ его сіятельство Антонъ Павловичъ. «Кричите, говоритъ, да здравствуетъ Италія!» Да чортъ ли мнѣ, говорю, въ ея здоровьи, мнѣ свое дороже. «Какъ вамъ не стыдно, говоритъ: тутъ нужно воодушевлять, поддерживать народный патріотизмъ. Что бы вы сказали, говоритъ, если бы у Россіи насильно стали отрѣзывать чужіе люди какой-нибудь городъ?». И вѣдь говоритъ это, а самъ волнуется, нервничаетъ, точно капризная барыня.

— Скажите, пожалуйста, князь Антонъ нездоровъ?—спросилъ я.

— Кранкенъ, очень кранкенъ. Годъ, пожалуй, еще протянетъ, а дальше ни-ни!—вздохнулъ Симоненко и скорчилъ комично грустную гримасу.

— Вы его и лѣчите?

— Да. Я хотѣлъ съ его папахеномъ остаться.

— Да развѣ старикъ еще живъ?

— Живъ, живъ и княжны живы. Его сіятельство только совсѣмъ оглохло и ослѣпло, а живо и бодро. «Я, говоритъ, теперь все какой-то шумъ слышу и вижу только одну точку». Такъ теперь вся его жизнь и проходитъ въ слушаніи этого шума и въ смотрѣніи на эту точку.

— А княжны?

— Ничего, теперь въ жиръ пошли и совсѣмъ волоса потеряли. Фаншончиками и бантиками плѣшины прикрываютъ... Я вотъ съ ними и хотѣлъ остаться. Онѣ, знаете, ѣдятъ почеловѣчески,—кулебяки этакія у нихъ, бокъ какой-нибудь съ начинкой и сами-отъ все улыбаются да приговариваютъ: кушайте, кушайте!.. А вѣдь тутъ у княгини съ голоду помереть можно: княгиня, какъ всегда, талію боится испортить и питается нѣмецкими вассеръ-супами да люфтъ-супами; князь Антонъ нервничаетъ и только такъ, для блезиру, садится за столъ; баронъ—баронъ, какъ вы знаете, удовлетворяетъ всѣ свои потребности на сторонѣ, въ часы, свободные отъ служебныхъ занятій при княгинѣ.

Симоненко какъ-то двумысленно подмигнулъ мнѣ своими масляными глазками.

— Я все хотѣлъ заглянуть къ вамъ, да думалъ, что буду лишнимъ,—замѣтилъ я.

— Вы-то? Да Антонъ Павловичъ обрадовался бы вамъ, какъ лучшему другу. Его вѣдь тоска загрызла. Вотъ и теперь отъ тоски задумалъ спасаться: завтра собираемся въ путь-дорогу.

— Вы уже уѣзжаете?

— Да. Скучно здѣсь Антону Павловичу. «Подлецы, говоритъ, здѣсь люди, продали родной городъ...» Да это онъ только такъ. Что ему за дѣло, кому принадлежитъ Ницца— Франціи или Италіи! Просто радъ придраться къ случаю, чтобы обругать кого-нибудь. Онъ вѣдь на всѣхъ теперь набрасывается. А ужъ пуще всего княгинѣ достается.

— Княгинѣ?

— Да... Да она, по правдѣ сказать, и стоитъ того. Плохую тоже шутку сыграла.

— А что?

— Это цѣлая исторія.

— Тайна?

— Тайна, да только чужая, а не моя.

— И потому вы можете ее открыть за бутылкой добраго вина.

— И безъ бутылки могу открыть, но за бутылкой вдамся въ подробности.

— Ну, такъ ужъ потолкуемте за бутылкой.

Докторъ началъ мнѣ разсказывать исторію Антона Павловича, смакуя красное вино и поглощая чрезмѣрное количество ломтиковъ честера.

Исторія, разсказанная мнѣ докторомъ Симоненко и потомъ слышанная мною отъ другихъ лицъ, была не весела. Она вызывала невольное сожалѣніе къ князю Антону Павловичу.

Князь Антонъ получилъ домашнее воспитаніе. Онъ развивался безъ всякой системы, подъ вліяніемъ десятка гувернеровъ и учителей, и такъ какъ, по пословицѣ, «у семи нянекъ дитя бываетъ безъ глазъ», то и у князя Антона не могъ выработаться какой-нибудь твердый и стойкій характеръ подъ вліяніемъ крайне разнохарактерныхъ личностей. Одинъ гувернеръ примѣнялъ къ мальчику сухую нѣмецкую дисциплину; другой старался развить въ воспитанникѣ изящныя манеры; третій посвящалъ своего питомца въ тайны скабрезныхъ анекдотовъ и похожденій. Учителя произвели не меньшій сумбуръ въ головѣ ученика: учитель французскаго языка пробуждалъ въ немъ симпатіи къ своей grande nation; нѣмецкій учитель толковалъ о легкомысліи французовъ и о томъ, что только нѣмецъ можетъ быть «bieder und treu»; русскій учитель проповѣдывалъ, что «всѣ эти колбасники врутъ, потому что только у русскаго мужичка есть смекалка и онъ всѣхъ шапками забросаетъ». Сходились всѣ

учителя только въ одномъ: они очень снисходительно смотрѣли на лѣность мальчика и говорили, что онъ дѣлаетъ громадные успѣхи, такъ какъ «неуспѣшность» ученика могла лишить ихъ шестирублевой платы за часовые уроки. Вслѣдствіе этого мальчикъ усвоивалъ всѣ разсказы, всѣ мнѣнія учителей, но вовсе не усвоивалъ ихъ знаній, если только у нихъ были дѣйствительно какія-нибудь знанія. Правда, онъ хорошо говорилъ по-французски, по-нѣмецки, по-англійски, но этимъ и оканчивались его познанія.

Среди всего этого педагогическаго сумбура, Антонъ въ сущности подчинялся только одному вліянію—вліянію своей матери.

Аврора Ѳедоровна ничего не жалѣла для сына, предполагая почему-то, что изъ него выйдетъ замѣчательный дипломатическій дѣятель; она тратила баснословныя деньги на его воспитаніе, на его одежду, на его удовольствія; она исполняла всѣ его желанія; она просиживала надъ нимъ ночи во время его болѣзни. Но когда она произносила своимъ протяжнымъ, холоднымъ голосомъ: «Ан-тонъ, какъ ты сидишь?»—мальчикъ терялся и блѣднѣлъ или краснѣлъ отъ смущенія. Почему? Развѣ онъ не зналъ, что она его любитъ, что она готова для него сдѣлать все? Да, онъ зналъ это и все-таки онъ боялся ея.

Аврора Ѳедоровна была въ домѣ единственнымъ человѣкомъ, передъ которымъ склонялись всѣ, начиная съ послѣдняго выѣзднаго лакея и кончая глухимъ княземъ-отцомъ и надутымъ барономъ фонъ-Тифензее. Никто никогда не оспаривалъ ея мнѣній; ни отъ кого Антонъ не слыхалъ, что она говоритъ иногда вздоръ, что она очень часто ошибается, что у нея есть свои слабыя и смѣшныя стороны; ни одинъ человѣкъ не попробовалъ въ теченіе многихъ лѣтъ поколебать ея авторитетъ въ глазахъ ея сына. Такъ съ самой колыбели привыкъ Антонъ считать безошибочнымъ все то, что дѣлала, что говорила его мать. Онъ боялся сдѣлать какой бы то ни было шагъ, который могъ бы не понравиться ей. Но въ этомъ безусловномъ подчиненіи матери не было ни горячаго увлеченія, ни страстной любви, ни мягкой нѣжности. Аврора Ѳедоровна принадлежала къ числу тѣхъ узкихъ, ограниченныхъ и сухихъ натуръ, которыя не понимаютъ значенія ласки.

— У васъ, ma chère, все еще не прошла институтская сентиментальность,—говорила она которой-нибудь изъ старыхъ княженъ, когда та нѣсколько восторженно обнимала брата.

— Что это у нихъ за мѣщанскія манеры,— замѣтила она какъ-то, увидавъ, какъ одинъ молодой мужъ поцѣловалъ въ обществѣ руку своей жены.

— Ан-тонъ, ты мнешь мнѣ платье,—отстраняла она сына, когда тотъ, забывшись, бросался ее обнять.

Всѣ эти мелкія, неуловимыя замѣчанія пріучили Антона очень рано сдерживать свои порывы. Но, будучи постоянно на-сторожѣ въ сношеніяхъ съ матерью, не смѣя излить передъ нею вполнѣ искренно свои чувства, не рискуя даже пошалить, подурачиться съ нею, онъ, мало-по-малу, сталъ относиться къ ней, какъ къ какому-то божеству, которому можно молиться, передъ которымъ должно склонять колѣни, но къ которому можно приближаться только осторожно, чтобы приложиться къ нему холоднымъ, безстрастнымъ поцѣлуемъ. Нельзя сказать, чтобы Антонъ не любилъ мать, а только благоговѣлъ передъ нею, подчинялся ей. Нѣтъ, онъ любилъ ее, но осмотрительною любовью, выражавшеюся въ дозволенной любимымъ существомъ мѣрѣ. Антонъ, повидимому, могъ многаго добиться отъ матери, но онъ въ сущности не просилъ у нея ничего и, кажется, былъ убѣжденъ, что она сама лучше его знаетъ, что ему нужно. Разъ только ему встрѣтилась необходимость прибѣгнуть къ ней съ просьбой. Къ маленькому князю какъ-то пробрались три человѣка изъ прислуги и кинулись ему въ ноги: они просили барчонка вступиться за молодого лакея, которому княгиня отказывала отъ мѣста. Ходатаями были: самъ провинившійся, его тетка и его невѣста. Бѣдные люди плакали, цѣловали руки мальчика, обнимали его колѣни и успѣли тронуть его до того, что онъ, весь раскраснѣвшійся, дрожавшій отъ волненія, пошелъ къ матери. По мѣрѣ приближенія къ кабинету матери, мальчуганомъ все болѣе и болѣе овладѣвала робость. Когда онъ переступилъ порогъ этой комнаты, онъ уже готовъ былъ воротиться, но мать успѣла замѣтить его и удивилась, окинувъ холоднымъ и пристальнымъ взглядомъ встревоженную фигуру сына.

— Антонъ, что съ тобой?—спросила она.

— У меня...—началъ въ смущеніи мальчикъ:—у меня... есть просьба.

Мать молчала и ждала.

— Нельзя ли оставить... Ты, пожалуйста, не сердись... Мнѣ бы хотѣлось... нельзя ли оставить Андрея...

Мальчикъ путался и едва выговаривалъ слова.

— Андрей дурной слуга и потому его нельзя оставить,— спокойно отвѣчала княгиня.

— Онъ такъ плачетъ,—тихо произнесъ мальчикъ совершенно упавшимъ голосомъ.

— Я знаю. Онъ теряетъ хорошее мѣсто и потому понятно, что онъ плачетъ,—замѣтила княгиня и прямо устремила на сына свои проницательные и безстрастные глаза.— Но ты не знаешь, о чемъ ты просишь. Ты хочешь, чтобы я оставила дурного слугу? Да? Но если онъ останется, то на его мѣсто не въ состояніи будетъ поступить другой не дурной, а хорошій слуга. Ты видѣлъ слезы Андрея и тебѣ стало его жаль. Но тотъ, хорошій слуга, который просится на его мѣсто, точно такъ же плачетъ, потому что ему нечего ѣсть. Ты только не видалъ его слезъ и потому тебѣ не жаль его.

На минуту княгиня умолкла. Мальчикъ стоялъ въ полномъ смущеніи, съ поникшей головой. Княгиня поправила на столѣ бумагу и приготовилась продолжать свое занятіе— писаніе писемъ.

— Подумай, дурнымъ ли людямъ нужно давать кусокъ хлѣба или хорошимъ, — проговорила она, уже не глядя на сына. — Если люди будутъ оказывать покровительство дурнымъ, то, конечно, хорошихъ людей вовсе не будетъ: хорошіе увидятъ, что выгоднѣе поступать дурно. Впрочемъ, если ты хочешь непремѣнно обидѣть хорошаго слугу и поощрить дурного...

Княгиня снова подняла голову и взглянула пристально на сына.

— ...То я исполню твой капризъ,—окончила она съ холодной ироніей.

— Я не зналъ...—началъ растерянно мальчикъ.

— Теперь я занята,—перебила его княгиня.—Мы поговоримъ объ этомъ послѣ. Ступай!

Антонъ вышелъ изъ кабинета матери.

— Ну что, ваше сіятельство, заступникъ вы нашъ? — заговорили просители-слуги.

— Maman не согласилась, — едва слышно пробормоталъ мальчикъ и быстро скрылся въ свою комнату.

Онъ бросился тамъ на свою постель и заплакалъ. Ему было жаль несчастныхъ людей, просившихъ его помощи, и въ то же время онъ боялся сдѣлать поступокъ, который можетъ не понравиться его матери. Ему казалось, что оставленіе Андрея на мѣстѣ есть доброе, хорошее дѣло, и въ

то же время онъ думалъ, что мать не можетъ быть неправою, говоря, что нужно поступить иначе. Онъ сознавалъ, что рѣшеніе участи Андрея предоставлено вполнѣ ему, и въ то же время чувствовалъ, что онъ не *можетъ* рѣшить эту участь иначе, чѣмъ желаетъ его мать. Впервые въ этотъ день четырнадцатилѣтній мальчикъ понялъ, насколько онъ не самостоятеленъ и, что хуже всего, не самостоятеленъ, повидимому, по доброй волѣ. Мать говоритъ ему: дѣлай, какъ знаешь; онъ хочетъ поступить не такъ, какъ бы желала она; онъ получаетъ на это право, и все-таки поступаетъ не по своему, а по ея мнѣнію. Въ этомъ было что-то роковое: у его матери была сильная воля, у него вовсе не было воли; мать имѣла самостоятельный характеръ, у него вовсе не было характера; мать, можетъ-быть, и ошибалась, но она говорила съ достоинствомъ незыблемаго авторитета; онъ, можетъ-быть, и былъ правъ, но у него не хватало смѣлости твердо высказать свои возраженія. Мальчикъ плакалъ и бранилъ себя за то, что не пошелъ прямо къ Андрею и не сказалъ ему, что онъ, Андрей, остается на мѣстѣ. Впрочемъ, и теперь еще было не поздно. Да, но гдѣ же взять смѣлости сказать матери:

— Я рѣшился оставить Андрея.

Княгиня, между тѣмъ, позвала къ себѣ ключницу.

— Каролина Карловна, кто просилъ князя Антона за Андрея?—спросила она.

— Я...—начала ключница въ смущеніи.

— Я васъ спрашиваю, кто просилъ князя Антона за Андрея? — перебила ее княгиня, видя, что Каролина Карловна, по своему обыкновенію, желаетъ уклониться отъ прямого отвѣта.

— Самъ Андрей, его тетка и Маша,—покорно отвѣчала ключница, сконфуженно опуская хитрые глаза.

— Андрея отослать завтра, тетку его черезъ недѣлю, Машу черезъ двѣ недѣли,—распорядилась княгиня.

— Какъ сказать имъ, за что ихъ увольняютъ?—смиренно подняла ключница свои глаза на княгиню.

— За то, что я не довольна ими, — сухо отвѣтила княгиня.—А е-сли ко-гда-ни-будь,—начала она съ разстановкой, точно отчеканивая каждое слово: — кто-ни-будь изъ при-слуги по-проситъ о чемъ-ни-будь князя Ан-тона, то мѣста лишитесь вы.

— Я... — подобострастно начала оторопѣвшая ключница.

— Вы мнѣ больше не нужны,—произнесла княгиня, пристально углубившись въ свои занятія.

Каролина Карловна какъ-то торопливо сдѣлала книксенъ, точно кто-то сзади далъ ей пинка подъ колѣнки, и мелкими шажками выкатилась изъ комнаты.

Съ этихъ поръ прислуга не избирала болѣе Антона своимъ ходатаемъ, Антонъ не искалъ случая сдѣлаться ея заступникомъ. Онъ началъ пристальнѣе вглядываться въ поступки матери и иногда въ немъ болѣзненно шевелилось сознаніе, что она поступаетъ несправедливо, безсердечно, но у него не было силы не только для борьбы съ нею, но даже для простого возраженія ей. Въ такія минуты онъ только становился хмурымъ, задумчивымъ и, забывшись, по старой привычкѣ, грызъ свои ногти, покуда въ комнатѣ не раздавался протяжный и холодный голосъ:

— Ан-тонъ!

Юноша приходилъ въ себя, опускалъ руку и нервною походкою уходилъ изъ комнаты.

Годы, между тѣмъ, шли.

Самолюбіе Авроры Ѳедоровны было вполнѣ удовлетворено: она не только была богата, не только занимала видное мѣсто въ свѣтѣ, не только была членомъ десятка благотворительныхъ обществъ и слыла одною изъ умнѣйшихъ женщинъ своего муравейника, но она была матерью замѣчательнаго сына. Да, Антонъ былъ замѣчательный юноша. Свѣтская образованность, знаніе отрывковъ самыхъ разнообразныхъ наукъ, блестящія музыкальныя способности, прекрасный голосъ, нѣсколько идеальная красота, все это дѣлало его юношею, подающимъ надежды. Эти надежды получили еще болѣе основанія, когда Аврора Ѳедоровна заставила Антона поступить въ пятый классъ гимназіи.

— Мы должны поставить нашихъ дѣтей на высоту ихъ положенія, — говорила она свою любимую фразу, когда ее спрашивали, зачѣмъ она избрала гимназію для окончанія образованія сына.

Въ это время еще многіе люди изъ круга Авроры Ѳедоровны смотрѣли съ предубѣжденіемъ на гимназіи, гдѣ получали образованіе разные «мѣщане».

— Я могла бы отдать его въ пажи, въ лицей или въ училище правовѣдѣнія, — говорила княгиня: — но я хочу, чтобы онъ получилъ вполнѣ серьезное образованіе и окончилъ курсъ въ университетѣ.

И торжество ея было полное: Антонъ вышелъ изъ гимназіи съ первой медалью. Дома его учили въ это время тѣ самые учителя, которые преподавали и въ гимназіи; въ гимназію онъ ѣздилъ въ каретѣ; въ классахъ учителя и начальство спрашивали его о здоровьѣ его матушки и батюшки. Ученики относились къ нему не враждебно, но холодно; они почему-то боялись его, понимая, что если онъ и не имѣетъ способностей наушника, то имѣетъ полную возможность сдѣлаться наушникомъ; они старались не доставлять ему поводовъ взяться за эту роль. Кромѣ того, какъ ученикъ, поступившій прямо въ пятый классъ, онъ не могъ тѣсно сблизиться съ тѣми, которые сидѣли на однѣхъ и тѣхъ же скамьяхъ въ теченіе пяти-шести лѣтъ. Да и самъ Антонъ по своему характеру не искалъ сближенія. Онъ росъ слишкомъ одиноко и былъ дикаремъ.

Пробывъ одинокимъ среди толпы гимназистовъ, онъ очутился одинокимъ и въ университетѣ. Людей его круга было здѣсь тогда еще не много, съ людьми же изъ другихъ слоевъ общества ему было трудно сближаться. Онъ зналъ, что ихъ ждетъ неласковый пріемъ въ его семьѣ и не искалъ ихъ знакомства.

Въ обществѣ всѣ матери ставили его въ примѣръ своимъ дѣтямъ.

— Посмотрите, вѣдь ему восемнадцать лѣтъ, онъ богатъ, онъ свободенъ, а какъ онъ ведетъ себя, — говорили онѣ своимъ сыновьямъ, уже успѣвшимъ надѣлать долговъ изъ-за какой-нибудь Сюзетки. — Онъ могъ бы дѣлать все, что ему вздумается, а между тѣмъ, онъ скромнѣе самой скромной дѣвочки.

— Нѣмецкій философъ, — иронически отвѣчали сыновья, не имѣя даже утѣшительнаго права сказать, что Антонъ такъ нравственъ «по глупости»: они по своей умственной ограниченности были убѣждены, что онъ умнѣе и, во всякомъ случаѣ, образованнѣе ихъ.

Но ни они, ни ихъ матери не знали, что этотъ «нѣмецкій философъ» въ сущности былъ еще ребенокъ,—ребенокъ съ небольшими умственными способностями, не знавшій практической жизни, не имѣвшій своей воли, ходившій еще на помочахъ. О существованіи этихъ помочей знала только его мать, державшая ихъ въ своихъ рукахъ, да смутно чувствовалъ это онъ, не имѣя ни силъ, ни воли, чтобы разорвать ихъ. Иногда на него находили минуты безпредѣльной, гнетущей, зловѣщей хандры.

«Развѣ я человѣкъ?—думалъ онъ.—Я кусокъ глины, изъ котораго лѣпятъ все, что угодно, и лѣпятъ только для того, чтобы свѣтъ удивлялся геніальности художника. Мать меня не любитъ—она никого не любитъ. Она не для моего счастья старается вылѣпить изъ меня то, что ей хочется, а для удовлетворенія своего эгоистическаго самолюбія. Она убила во мнѣ всякую самостоятельность, она сдѣлала изъ меня жертву, которую она можетъ повести на закланіе, и не услышать ни протеста, ни укора. Мнѣ всѣ удивляются, но я презираю себя. И что это за жизнь, въ которой нѣтъ ни одного грѣющаго луча, ни одной ласки? Въ сущности, меня никто не любитъ—меня боятся любить».

И съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе поднималась горечь въ этой слабой и больной душѣ. Этотъ человѣкъ сталъ все болѣе и болѣе любить уединеніе и книги. «Разбойники», «Донъ-Карлосъ», «Коварство и Любовь», «Гамлетъ» сдѣлались любимыми друзьями юноши. Иногда онъ одинъ читалъ вслухъ монологи героевъ этихъ драмъ, и ему казалось, что эти люди ему сродни. Онъ страдалъ и проклиналъ вмѣстѣ съ ними.

Но и въ этой темной жизни нашелся свѣтлый лучъ.

Антонъ любилъ охоту,—любилъ ее, можетъ-быть, потому, что на охотѣ онъ оставался одинъ. Лѣтомъ, забравшись въ Грачовку, онъ часто уходилъ съ ружьемъ въ лѣсъ и по цѣлымъ часамъ бродилъ тамъ. Мимо него пролетали птицы—онъ не стрѣлялъ; его песъ нападалъ на слѣдъ, дѣлалъ стойку — онъ проходилъ мимо. Но ему было хорошо: онъ былъ одинокъ, онъ дышалъ вольнѣе, онъ не слышалъ ненавистнаго ему звука: «Ан-тонъ». Да, этотъ звукъ сталъ ему ненавистенъ. Юноша, кажется, возненавидѣлъ самое свое имя. Иногда онъ уходилъ версты за три въ Липовку, маленькую деревеньку мелкопомѣстнаго помѣщика, отставного лѣкаря Тузова. Небольшой, чистенькій помѣщичій домъ въ Липовкѣ, окрашенный свѣтло-сѣрою краскою, съ зелеными ставнями и бѣлыми украшеніями подъ навѣсомъ надворнаго крыльца, былъ окруженъ незатѣйливымъ садомъ. Садъ обрабатывался и украшался руками самого Тузова, стараго вдовца, забитаго судьбою, сѣденькаго, немного лысаго и вѣчно улыбающагося добряка съ дряблыми, румяными щеками и мигающими глазками. Съ каждымъ разомъ, когда Антонъ подходилъ къ этому дому, у него начинало все сильнѣе и сильнѣе биться сердце. Почему? Онъ, можетъ-

быть, не могъ бы отвѣтить на этотъ вопросъ, да, впрочемъ, онъ и не задавалъ себѣ этого вопроса.

Ему шелъ двадцатый годъ, когда онъ впервые, утомленный ходьбою и измученный лѣтнимъ жаромъ, зашелъ во дворъ къ Тузову. Антонъ отворилъ калитку и окинулъ глазами дворъ. Дворъ былъ почти пустъ, заботливо подметенъ и опрятенъ. Новое дерево сараевъ и хлѣвовъ весело блестѣло на солнцѣ. Чистенькій и свѣтлый помѣщичій домъ глядѣлъ какъ-то нарядно, по-праздничному. Этотъ домъ остановилъ вниманіе Антона. На крыльцѣ, подъ небольшимъ навѣсомъ съ бѣлыми украшеніями, сидѣла дѣвушка лѣтъ шестнадцати. Простое круглое лицо, съ гладко зачесанными и заплетенными въ двѣ длинныя косы русыми волосами, ясные сѣрые глаза, широко смотрѣвшіе на міръ, простое, свѣтлое ситцевое платье съ широкими рукавами, открывавшими до локтей бѣлыя, красивыя руки,—все было крайне просто въ этой дѣвушкѣ. Она сидѣла на крыльцѣ, на колѣняхъ у ней лежало оставленное шитье. Передъ нею суетливо отбивали другъ у друга кормъ желтенькіе цыплята и важно стоялъ пѣтухъ, тыкая отъ-времени до-времени носомъ въ землю и указывая своему молодому поколѣнію, гдѣ находится кормъ. Когда Антонъ отворилъ калитку и на него бросилась съ лаемъ маленькая, лохматая собачонка, дѣвушка неторопливо подняла на него свои большіе глаза и въ нихъ отразилось недоумѣніе.

— Извините меня, — проговорилъ въ замѣшательствѣ Антонъ:—я пришелъ попросить молока... Вы, вѣроятно...

— Я Маруся Тузова,—перебила его дѣвушка.—Я вамъ сейчасъ дамъ молока.

Она встала, ушла въ домъ. Антонъ осмотрѣлся кругомъ, а его неизмѣнный песъ уже обнюхалъ дворъ и знакомился съ вахластой собачонкой. Минутъ черезъ пять дѣвушка вынесла полную кружку холоднаго молока и кусокъ ржаного хлѣба. Антона удивила непривычная для него простота. Эта дѣвушка назвала себя «Марусей»; не спросила даже, кто онъ, и сама вынесла ему молоко.

— Вы позволите мнѣ присѣсть?— спросилъ Антонъ.

Дѣвушка разсмѣялась.

— А развѣ стоя можно ѣсть?—проговорила она и сѣла на прежнее мѣсто.

Въ тонѣ ея отвѣта было что-то дѣтское.

Антонъ помѣстился на выступѣ крыльца.

— А вашъ батюшка?—спросилъ онъ и крикнулъ погнавшейся за цыпленкомъ собакѣ:—«Тубо!»

— Отецъ на работѣ. Сѣнокосъ начался.

— Вы меня не знаете?.. Я думалъ вашего батюшку встрѣтить, мы съ нимъ немного знакомы. Я—Грачовъ.

Дѣвушка прямо посмотрѣла ему въ лицо.

— А отецъ говорилъ, что вы худенькій-худенькій,—проговорила она какимъ-то дѣтскимъ, жалобнымъ тономъ, точно ей было дѣйствительно жаль, что онъ, Антонъ Грачовъ, худенькій.

— Да, вашъ батюшка видѣлъ меня въ началѣ лѣта. Тогда я былъ худъ послѣ болѣзни. Теперь поздоровѣлъ.

— А я вѣдь съ вами родня,—проговорила дѣвушка.

Антонъ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на нее.

— Ваша тетя крестила меня,—пояснила дѣвушка.—Это вѣдь не близкая родня?

— Все равно какая,—все же родня!—засмѣялся Антонъ, допивая молоко.

— Хотите еще?—спросила его дѣвушка.

— Благодарю! Вы меня отлично накормили.

— А если бы отецъ былъ дома, вотъ-то забѣгалъ бы!—засмѣялась дѣвушка.—Разъ, знаете, ваша тетя пріѣхала,—она только разъ и была у насъ,—такъ отецъ не зналъ, что и дѣлать, совсѣмъ засуетился. Подставилъ вашей тетѣ стулъ, она сѣсть хотѣла, а онъ увидѣлъ, что на стулѣ пыль, и ну стирать ее рукою, тетя ваша не замѣтила и сѣла ему на руку.

Дѣвушка звонко засмѣялась.

— Вы не скучаете здѣсь?—спросилъ Антонъ.

— О чемъ?—въ свою очередь спросила она.

Антонъ не зналъ, что сказать.

— Вѣдь здѣсь нѣтъ общества, однообразіе, никакихъ развлеченій,—началъ онъ пояснять, путаясь и не находя словъ.

Дѣвушка смотрѣла на него съ удивленіемъ. Она родилась въ этомъ домѣ и никогда еще не выѣзжала изъ него никуда, кромѣ близкихъ сосѣдей.

— Вотъ когда тетя Оля умерла, мнѣ было скучно. Теперь насъ только трое: отецъ, тетя Катя и я.

— А гдѣ же ваша тетушка?

— Тетя Катя? Она къ попадьѣ ушла въ Чудово, тамъ сегодня именины. Я съ отцомъ вечеромъ тоже пойду туда. Тамъ теперь у отца Василья семинаристы гостятъ... Вотъ-

то неуклюжіе и смѣшные! Догоняютъ меня въ горѣлкахъ и кричатъ: «Ты, *братъ*, погоди, я тебя поймаю»,—проговорила Маруся, стараясь произносить слова басомъ и ударяя на *о*.—Только они очень добрые и умные. Они меня все учатъ лѣтомъ.

Въ это время въ дверяхъ показалась какая-то старуха, повязанная по-деревенски платкомъ.

— Марусенька, чай, пора на столъ собирать?—вопросительно проговорила она.

— Да, няня, я сейчасъ,—отозвалась дѣвушка.

— И мнѣ пора,—проговорилъ Антонъ, взглянувъ на часы и неохотно поднимаясь съ мѣста; ему было какъ-то особенно хорошо сидѣть здѣсь на крыльцѣ и слушать простодушную болтовню этой дѣвочки.—Передайте мой поклонъ вашему батюшкѣ.

— Вотъ-то онъ будетъ жалѣть, что не видалъ васъ!—замѣтила дѣвушка.

— Прощайте, Марья Владиміровна,—сказалъ Антонъ, протягивая ей руку.

— Что вы меня Марьей Владиміровной зовете,—засмѣялась дѣвушка.—Меня всѣ Марусей зовутъ. Вотъ когда я невѣстой сдѣлаюсь, тогда будутъ Марьей Владиміровной звать.

— Ну, если позволите, то и я буду звать васъ Марусей,—промолвилъ Антонъ съ улыбкой.

Молодые люди пожали другъ другу руку. Антонъ свистнулъ своему псу и направился по дорогѣ къ своему дому. Образъ этой дѣвочки не выходилъ у него изъ головы. Она была такъ не похожа на всѣхъ тѣхъ чопорныхъ и кокетливыхъ барышень, которыхъ онъ встрѣчалъ въ петербургскомъ обществѣ. Въ его памяти врѣзались самыя мельчайшія подробности этой встрѣчи. Онъ вспоминалъ, какъ хороша была ея улыбка въ ту минуту, когда, едва ступая и боясь на каждомъ шагу расплескать молоко, Маруся несла ему слишкомъ переполненную кружку. Онъ припоминалъ наивное выраженіе удивленія на ея лицѣ, когда онъ спросилъ ее, не скучаетъ ли она въ деревнѣ. Онъ слышалъ ея серебристый смѣхъ, раздававшійся во время ея разсказа о пріѣздѣ къ нимъ его тетки. Она казалась ему чуднымъ ребенкомъ.

Дня черезъ два онъ снова отправился на охоту и, уже не обращая никакого вниманія на дичь, направилъ свои шаги прямо къ дому Тузовыхъ. Пробираясь лѣсомъ къ Липовкѣ, онъ вдругъ услышалъ лай собаки и увидалъ шагахъ въ пяти отъ себя Волчка, вахластую собачонку, видѣнную

нимъ на дворѣ у Тузова. Собака не бросалась на него, но, стоя на одномъ мѣстѣ и добродушно виляя хвостомъ, какъ-то незлобливо тявкала, точно выражая, что она вовсе не сердится, а только исполняетъ свою обязанность. Антонъ позвалъ ее, но она не трогалась съ мѣста. Онъ сдѣлалъ шагъ впередъ и осмотрѣлся: сквозь вѣтви деревъ передъ нимъ мелькнуло что-то бѣлое.

— Это вы, Маруся?—крикнулъ онъ.

— Не ходите, я одѣваюсь!—раздался голосъ Маруси.— Я въ минуту буду готова.

Антонъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ противоположную сторону и присѣлъ на первый попавшійся пень. Минутъ черезъ пять онъ услышалъ шорохъ и веселый лай прыгавшаго Волчка, видимо довольнаго, что его служебныя сторожевыя обязанности окончились. Антонъ всталъ и обернулся: къ нему навстрѣчу шла Маруся, въ свѣтломъ ситцевомъ платьѣ, съ распущенными густыми волосами.

— Здравствуйте, Антонъ Павловичъ,—проговорила она, протягивая ему руку.

— Какъ это вы купаетесь здѣсь однѣ?—замѣтилъ онъ, пожимая ея руку.

— Да не съ кѣмъ! Тетя Катя не купается: увѣряетъ, что ее непремѣнно ракъ ущипнетъ.

— Но развѣ вы не боитесь?

— Чего же бояться?

— Мужчины могутъ придти.

— Я Волчка съ собою беру. Онъ дастъ знать, если кто-нибудь пройдетъ, я и закричу, чтобы не подходили.

— Да, но иной и не послушаетъ васъ.

— Какъ не послушаетъ? Ему же будетъ стыдно, если не послушаетъ. Здѣсь вѣдь все свои.

— А вотъ я первый хотѣлъ не послушать и подойти,— шутливо произнесъ Антонъ.

Маруся съ недоумѣніемъ посмотрѣла на него и какъ-то недовѣрчиво произнесла:

— Ну-у!

Антонъ сконфузился за свою шутку.

Молодые люди шли нѣсколько минутъ молча; въ лѣсу раздавался только лай Волчка, который лаялъ на каждую пролетавшую птицу.

— Такъ и видно, что не охотничья собака,—засмѣялся Антонъ, увидавъ, что Волчокъ лаетъ при каждомъ перепархиваніи птицъ съ вѣтки на вѣтку.

— Это онъ самъ пріучился лаять на птицъ. Онъ у насъ умный,— замѣтила Маруся.

— Ну, это еще не обозначаетъ его ума, если онъ на птицъ лаетъ.

— Нѣтъ, вы этого не говорите, — горячо вступилась Маруся за свою собаку:—покуда Волчокъ не лаялъ на птицъ, вороны таскали у насъ цыплятъ, а теперь, когда онъ сталъ лаять на птицъ, вороны боятся прилетать на нашъ дворъ.

Молодые люди подошли къ дому. На этотъ разъ и тетя Катя, и самъ Тузовъ были дома. Хозяинъ и его сестра засуетились, не зная, куда усадить и чѣмъ угостить неожиданнаго гостя. Тетя Катя была полная, низенькая старушка, съ сѣдыми волосами, въ бѣломъ чепцѣ, въ темномъ шерстяномъ платьѣ съ бѣлыми полотняными нарукавничками и такимъ же воротничкомъ. Она ходила съ перевальцемъ и потому Маруся назвала ее «уточкой». Она напоминала не то аккуратную старую классную даму, не то добродушную сестру милосердія, отдыхавшую послѣ трудныхъ походовъ. Антонъ замѣтилъ сразу, что и отецъ, и тетка души не слышатъ въ Марусѣ. Онъ подмѣтилъ, какъ горячо цѣловала Маруся тетку, какъ тайкомъ поднесла къ губамъ руку отца, какъ онъ поцѣловалъ ее въ лобъ. Всѣ эти ласки были просты и естественны. Антону сдѣлалось не то завидно, не то грустно при видѣ ихъ. Отношенія этой семьи вѣяли какимъ-то теплымъ миромъ и задушевностью; самое ихъ жилище поражало съ перваго взгляда уютностью и затишьемъ. Смотря на свѣтлую гостиную, на чистую, небогатую мебель, на бѣлыя тюлевыя занавѣски, на массу недорогихъ цвѣтовъ на окнахъ, Антонъ невольно замѣтилъ хозяину:

— Какъ у васъ здѣсь уютно!

— Да, это Марусино гнѣздышко!—отвѣтилъ, широко, улыбаясь, старикъ.—Я вѣдь, батюшка, Антонъ Павловичъ, былъ лѣтъ шестнадцать тому назадъ бѣднымъ полковымъ лѣкаришкой, а вотъ какъ настало время родиться Марусѣ—у меня и умеръ какой-то троюродный дядя. Я почти и не зналъ о его существованіи, и вдругъ получаю извѣстіе, что, такъ и такъ, мнѣ достается наслѣдство—эта самая Липовка. Съ неба свалилась. Вышелъ я это въ отставку и рѣшилъ съ женою, что это Богъ посылаетъ на нашего будущаго ребенка. Когда родилась Маруся, мы на нее и порѣшили записать имѣньице. Это вѣдь ея приданое. Тоже не бѣдная невѣста. Хе-хе-хе!

Старикъ вздохнулъ и замигалъ глазами.

— Только съ этой поры я и жить началъ, а то всего натерпѣлся въ былые годы, всего. Извѣстно, какъ и теперь живется бѣднымъ-то людямъ. А тогда, батюшка, еще круче приходилось. Суровая была пора... Вонъ тоже, посмотрите на сестрицу,—проговорилъ онъ, понизивъ голосъ и указывая глазами на удалявшуюся изъ комнаты тетю Катю:—толстенькая она, розовая старушка, а спросите, что она пережила? Тридцать лѣтъ гувернанткой третьяго сорта съ музыкой числилась, не хуже меня походы совершала. Нынче въ Оренбургъ ее судьба занесетъ, завтра въ Вологду, а потомъ хоть подъ открытымъ небомъ ночуй—скитальческая жизнь у нея была. Ужъ я ее звалъ, звалъ жить къ себѣ, такъ нѣтъ,—бывало, пишетъ: «вамъ, братецъ, и безъ меня не легко концы съ концами сводить, а я, покуда въ силѣ, дарового хлѣба ѣсть не хочу». Только когда моя покойница жена и ея сестра Ольга Петровна умерла, тогда мнѣ и удалось уговорить Катерину Петровну поселиться у насъ, такъ какъ она уже просто дѣлалась необходимою въ домѣ. Ну, и согласилась она, слава Богу. Вотъ теперь и отдохнула въ своей семьѣ, поздоровѣла, точно десятокъ лѣтъ съ плечъ скинула... Она вѣдь у меня и Марусю учитъ,—женщина она знающая, умная...

Старикъ говорилъ просто, безъ лишней горечи, безъ жалобъ на судьбу, но Антонъ понялъ, что люди, стоявшіе теперь передъ нимъ, прошли тяжелый жизненный путь. Эти люди влекли его къ себѣ неодолимою силою. Когда ему нужно было оставить ихъ и идти домой, ему стало тяжело.

— Заходите, когда будете въ нашей сторонѣ,—говорилъ ему старикъ Тузовъ на прощаньи.

— Непремѣнно, непремѣнно,—отвѣтилъ Антонъ, пожимая руки хозяевъ.

Съ этой поры Антонъ сдѣлался постояннымъ, хотя и недолгимъ гостемъ Тузовыхъ. Онъ часто уходилъ изъ дому часовъ въ одиннадцать утра и пропадалъ до четырехъ часовъ; иногда онъ объявлялъ послѣ обѣда дома, что онъ не такъ здоровъ и потому пролежитъ въ своей комнатѣ до чаю, и тайкомъ, замкнувъ свою комнату, ускользалъ къ Тузовымъ на весь вечеръ. Онъ обманывалъ и нѣмца-учителя, жившаго въ то время въ ихъ домѣ, и мать, и этотъ обманъ пробуждалъ въ немъ странныя чувства: то ему было весело, какъ ребенку, что онъ проводитъ за носъ своихъ тюремныхъ

сторожей, своихъ аргусовъ, то его грызла мысль о томъ, что онъ долженъ обманывать мать даже въ такихъ пустякахъ, какъ дѣло о его новомъ знакомствѣ. Но его отлучки, должно-быть, не остались вполнѣ незамѣченными. Какъ-то разъ княгиня замѣтила ему:

— Антонъ, ты нынче слишкомъ много ходишь.

Онъ вспыхнулъ и отвѣчалъ вопросомъ:

— Неужели ты хочешь, чтобы я и лѣтомъ сидѣлъ въ четырехъ стѣнахъ?

Мать не безъ удивленія вслушивалась въ нѣсколько рѣзкій тонъ его голоса.

— Отъ тебя никто не требуетъ этого, но излишняя ходьба можетъ повредить твоему здоровью: ты и безъ того такъ слабъ,—замѣтила она.

— Ахъ, что мое здоровье! Оно и безъ того настолько убито, что хуже не можетъ сдѣлаться,—нервно произнесъ онъ.

Мать пристально посмотрѣла на него: она все болѣе и болѣе начинала въ послѣднее время замѣчать, что въ отношеніяхъ къ ней сына является нѣчто необычайное, непривычное, новое. Теперь, казалось, ей хотѣлось прочесть на его лицѣ все то, что дѣлалось въ его душѣ. Но эта душа была для нея уже съ давнихъ поръ, а, можетъ-быть, и всегда, непроницаемою тайной. Мать замѣчала только, что, дѣйствительно, ея сынъ могъ бы быть полнѣе, что у него играетъ на щекахъ слишкомъ лихорадочный румянецъ, что его грудь крайне мало развита, что въ его движеніяхъ, въ его голосѣ черезчуръ много нервности.

— Развѣ ты нездоровъ?—спросила она, не спуская съ него глазъ.

— Нѣтъ,—односложно отвѣтилъ онъ.

— Но ты становишься какимъ-то нервнымъ,—замѣтила мать.

— Потому что мнѣ скучно,—произнесъ онъ кротко, но отчетливо.

Онъ всталъ и ушелъ въ свою комнату, а мать въ недоумѣніи проводила его глазами. Она не понимала, какъ можетъ скучать князь Антонъ Павловичъ Грачовъ. Она сама никогда не испытывала этого чувства, какъ не испытывала никогда гнетущаго горя, ни мрачнаго сомнѣнія въ самой себѣ, ни убійственныхъ угрызеній совѣсти. Она считала бы унизительными для своего достоинства всѣ подобныя чувства. Она была вполнѣ довольна собой и своею судьбой. Она сознавала, что она стоитъ очень высоко въ обществѣ,

что на ней не лежитъ ни одного пятна, что она не можетъ никогда пасть, что она пройдетъ вплоть до могилы среди почета, довольства и счастья. Она сознавала въ то же время, что она приноситъ жертву страждущему и плачущему человѣчеству, засѣдая въ благотворительныхъ обществахъ, раздавая сотни рублей на поддержаніе неимущихъ, переписываясь съ филантропами объ устройствѣ баловъ и лотерей въ пользу меньшихъ братій. Она могла застраховать себя отъ скуки уже однимъ созерцаніемъ своего собственнаго счастья, своего величія, своихъ достоинствъ. И вдругъ она слышитъ отъ своего сына, что ему «скучно». Но развѣ она, княгиня Аврора Ѳедоровна Грачова, не приложила всѣхъ стараній, «чтобы поставить своего сына на высоту его положенія?» Развѣ онъ не знаетъ, что она приготовила его къ тому, чтобы онъ могъ проходить жизненный путь, какъ проходила этотъ путь она, среди того же довольства, почестей и сознанія своихъ собственныхъ добродѣтелей? Развѣ можетъ скучать человѣкъ, когда онъ доволенъ собою и всѣ люди довольны имъ?

«Нѣтъ, онъ нездоровъ! — рѣшила она. — И откуда эта нервность? Отъ меня? Но развѣ я не умѣю владѣть собою, развѣ я не приложила всѣхъ стараній, чтобы не походить на тѣхъ нервныхъ мѣщанокъ, которыя хнычутъ при каждомъ удобномъ случаѣ, чтобы возбудить къ себѣ жалость? Отъ князя?»

При этой мысли по ея лицу скользнула презрительная улыбка: князь былъ глухъ, слѣпъ, сонливъ,—это былъ скорѣе ходячій манекенъ, чѣмъ человѣкъ съ нервами.

«Ужъ не отъ княженъ ли? — раздумывала она. — Эти пошлыя институтки дѣйствительно сентиментальны. Но вѣдь я такъ тщательно старалась удалить Антона отъ ихъ вліянія. Не начать ли его лѣчить? Или оставить его на свободѣ, пусть онъ гуляетъ, воздухъ укрѣпитъ его нервы, пусть онъ ходитъ къ...—Княгиня чего-то не договорила и вздохнула.— Да, это самое лучшее».

Княгиня подошла къ окну и безцѣльно устремила глаза вдаль. Въ ея головѣ смутно появилась какая-то странная для нея мысль,—мысль, которую, повидимому, даже не могла допустить княгиня.

«Онъ какъ будто охладѣлъ ко мнѣ»,—думала она.

И эта мысль, явившаяся помимо воли княгини, была такъ странна для нея, что она пожала плечами и усмѣхнулась.

— Нѣтъ, нервность, должно-быть, прилипчива,—проговорила она.—Онъ заразилъ и меня.

Въ это время раздался легкій стукъ въ дверь кабинета.

— Войдите,—отозвалась княгиня, машинально проводя рукой по лбу.

Въ комнату вошелъ баронъ фонъ-Тифензее.

— На что это вы смотрите?—спросилъ онъ, подходя къ княгинѣ и взглянувъ въ окно.

— Такъ, мечтаю,—улыбнулась княгиня.

Баронъ удивился и глубокомысленно усмѣхнулся.

— Вы? мечтали?—переспросилъ онъ и подумалъ, что княгиня просто не хочетъ сказать, на что она засмотрѣлась: онъ не могъ допустить даже мысли, что она станетъ глядѣть въ окно безъ цѣли, и еще менѣе вѣрилъ въ то, что княгиня можетъ мечтать.

— У меня, баронъ, отыскались нервы,—замѣтила она съ той же загадочной улыбкой.

— Нервы?—переспросилъ баронъ съ недоумѣніемъ и нѣсколько обезпокоился.

Ему почему-то показался не безопаснымъ новый, голубоглазый и черезчуръ скромный учитель музыки, жившій въ домѣ княгини. У этого учителя были такіе шелковистые кудри, которые онъ постоянно такъ граціозно отбрасывалъ рукою назадъ.

«Нервы! — думалъ баронъ: — знаю я, отчего могутъ у женщины этихъ лѣтъ отыскаться нервы».

Онъ озабоченно взглянулъ въ лицо княгини и взялъ ея руку.

— Но надѣюсь, что не случилось ничего особеннаго? — спросилъ онъ тѣмъ тономъ, которымъ спрашиваютъ дѣти: «мама, ты на меня не сердишься?»—и поднесъ ея руку къ губамъ.

Баронъ почему-то напоминалъ въ эту минуту очень большую и породистую собаку, поджавшую подъ себя хвостъ.

— О, ничего!—тоже не безъ удивленія отвѣтила княгиня, не знавшая, до какихъ предѣловъ можетъ простираться въ критическихъ обстоятельствахъ сообразительность барона.

Баронъ осторожно навелъ рѣчь на новаго учителя музыки.

— Онъ напоминаетъ амуровъ на плохихъ картинахъ, — замѣтила княгиня.

Баронъ вздохнулъ свободнѣе: ему, повидимому, не грозила отставка отъ должности, а все остальное до него нисколько не касалось. Онъ принялъ снова свой строгій и полный достоинства видъ.

Антонъ никогда не зналъ беззавѣтной дѣтской веселости,

безпечныхъ дѣтскихъ игръ. Шотландскіе, матросскіе, англійскіе и тому подобные дорогіе и модные, въ сущности шутовскіе костюмы, стѣсняли его въ дѣтствѣ. Въ нихъ было ему несвободно и неловко, онъ то боялся измять плоеные воротнички, то опасался запачкать бархатныя курточки. Иногда онъ игралъ съ дѣтьми барона въ воланы, въ серсо, въ обручи, но игралъ подъ надзоромъ гувернантокъ и гувернеровъ, чинно, скучно, точно по обязанности. Рѣзкія движенія, слишкомъ громкій смѣхъ, — все это вызывало замѣчанія. Лазить по деревьямъ было неприлично, ходить по влажной травѣ было нездорово, поиграть съ дѣтьми другого круга было совсѣмъ невозможно. Подъ этимъ гнетомъ даже языкъ Антона не походилъ на языкъ его предковъ, изобиловавшій чисто-народными оборотами рѣчи, чисто-русскими словами. У Антона не было ни бойкости, ни размашистости рѣчи; иногда онъ долженъ былъ подыскивать выраженія и говорилъ вяло, необразно, немѣтко.

Но какъ бы ни душилось кодексомъ приличій и надзоромъ разныхъ гувернантокъ и гувернеровъ желаніе искренней веселости и свободы, оно все-таки не было убито въ душѣ мальчика. Какъ-то инстинктивно, чутьемъ угадывалъ онъ, что не всѣ живутъ такъ скучно, какъ онъ.

Теперь, уже юношею, онъ увидалъ нѣсколько ближе, какъ живутъ другіе люди. Онъ слышалъ отъ Маруси, что у отца Василія въ Чудовѣ молодежь играетъ въ горѣлки, въ пятнашки, въ прятки, танцуетъ, наряжается на святкахъ. Онъ узналъ, что у управителя въ томъ же селѣ иногда зимою два-три дня подъ рядъ идутъ пиры, на которыхъ несмолкаемо звучитъ говоръ, смѣхъ и шумъ. Онъ, наконецъ, самъ раза два-три засталъ у Тузовыхъ нѣсколько молодыхъ людей, и эта молодежь шумѣла, смѣялась, бѣгала, играла. Онъ присоединился къ ней и часъ-два провелъ такъ, какъ не проводилъ никогда. Въ юношѣ проглянулъ ребенокъ. Посѣщая Тузовыхъ, Антонъ сталъ бѣгать и дурачиться съ Марусей, какъ малое дитя. Ему было весело, когда она пряталась отъ него въ саду, когда она кричала ему, что онъ ее не поймаетъ, когда она съ какой-нибудь подругой заставляла его «горѣть» или завязывала ему глаза, играя въ жмурки. И среди этихъ минутъ беззаботнаго веселья онъ вдругъ дѣлался тревоженъ, смотрѣлъ на часы и спѣшилъ удалиться. У него было свое memento mori—необходимость во-время возвратиться домой—и это memento mori — отравляло всякое веселье.

Какъ прошелъ конецъ лѣта Антонъ самъ не могъ отдать себѣ въ этомъ отчета. Это былъ сладкій сонъ, это было возвращеніе дѣтства, но не того, которое пережилъ онъ, а того, которое онъ могъ бы пережить при другой обстановкѣ, при другихъ условіяхъ. Ему было очень тяжело въ тотъ день, когда онъ долженъ былъ сказать Тузовымъ:

— Прощайте, до будущаго лѣта!

Въ городѣ настала для него обычная скучная жизнь съ выѣздами въ то время, когда хотѣлось бы сидѣть одному за книгой, съ уроками музыки и пѣнія въ тѣ часы, когда хотѣлось бы погулять, съ катаньемъ по Дворцовой набережной въ ту пору, когда хотѣлось бы пройтись пѣшкомъ, и съ чиннымъ хожденіемъ около четвертаго часа по одной и той же дорожкѣ Лѣтняго сада, когда являлось желаніе умчаться куда-нибудь за городъ. Эта жизнь, въ которой люди дѣлаютъ то, что принято, а не то, что имъ нравится, эти колодки, безъ всякой нужды и необходимости надѣваемыя людьми на себя ради приличій, холопская, рабская трусость передо всѣмъ оригинальнымъ, свободнымъ, самостоятельнымъ, не внесеннымъ въ кодексъ условныхъ правилъ свѣтской жизни,—все это тяготило Антона, надоѣдало ему, разстраивало его нервы.

— Я, право, не знаю ничего скучнѣе этихъ прогулокъ въ Лѣтнемъ саду по одной и той же дорожкѣ,—говорилъ онъ матери, пріѣзжая въ Лѣтній садъ. — Всѣ, точно бѣлки въ колесѣ, кругомъ вертятся.

— Сюда не для веселья ѣздятъ, а для моціону, — замѣчала мать.

— Хорошій моціонъ! Всѣ, точно сонныя мухи, едва двигаются.

— Нельзя же бѣгать.

— Но моціонъ только тогда и полезенъ, когда движенія быстры. Я думаю, что если кто-нибудь придумаетъ, что свѣтскимъ людямъ слѣдуетъ по часу стоять на одной ножкѣ на Дворцовой набережной, то мы и всѣ наши знакомые сейчасъ же послѣдуемъ этому правилу.

— Ты еще совсѣмъ мальчикъ и тебѣ рано разсуждать, что хорошо, что дурно.

— Странно: когда я начиналъ рѣзвиться, ты говорила, что я уже не мальчикъ, что я уже взрослый и потому долженъ вести себя серьезно; когда же я начинаю высказывать свои мысли, ты находишь, что я еще почти мальчикъ.

Съ каждымъ днемъ подобные разговоры между матерью и

сыномъ происходили все чаще и чаще. Когда-то Антонъ считалъ несомнѣнною истиною каждое слово матери, теперь онъ старался уловить въ самыхъ вѣрныхъ ея сужденіяхъ долю неправды, непослѣдовательности и лжи. Ему доставляли особенное удовольствіе тѣ минуты, когда мать не находилась, что отвѣчать на его возраженія; такъ пріятно бываетъ подавленному школьнику указать своему строгому учителю на сдѣланную послѣднимъ ошибку. Отъ холопства одинъ только шагъ къ самодурству, и превращеніе Подхалюзина въ Тита Титыча вполнѣ естественно.

Антонъ переживалъ именно такое переходное время. Ему хотѣлось порвать помочи, протестовать. Но подобно всѣмъ, лишеннымъ самостоятельности людямъ, онъ не могъ на первыхъ порахъ придумать какой-нибудь серьезный планъ своего полнаго освобожденія отъ гнета, а тратилъ свои силы на мелочные и жалкіе протесты, которые, въ сущности, не могли улучшить его положенія, а только раздражали Аврору Ѳедоровну. Такъ онъ сталъ отказываться отъ нѣкоторыхъ офиціальныхъ визитовъ, прогулокъ и вечеровъ. Онъ сталъ небрежнѣе одѣваться. Онъ сталъ вслухъ смѣяться надъ тѣми мелочами свѣтскаго этикета, которыя были дороги и святы княгинѣ. Онъ даже попробовалъ сойтись съ нѣкоторыми студентами другого круга. Княгиня съ ужасомъ узнала, что у ея сына тогда-то и тогда-то были въ гостяхъ какіе-то оборванцы. Одинъ разъ она встрѣтила своего сына на Дворцовой набережной, въ обществѣ такихъ оборванцевъ. Это окончательно возмутило ее.

— Антонъ, кто это былъ сегодня съ тобою?—спросила она сына за обѣдомъ послѣ этой встрѣчи.

— Мои товарищи,—отвѣтилъ Антонъ.

— Я тебя попрошу быть разборчивѣе въ выборѣ товарищей,—замѣтила мать.—Ты долженъ...

— Сойтись съ Пьеромъ Ломакинымъ и Жоржемъ Задонскимъ?—перебилъ сынъ.—Они, можетъ-быть, очень милые кутилы, но, къ сожалѣнію, вино вредно дѣйствуетъ на мое здоровье, да у меня и нѣтъ такихъ карманныхъ денегъ, на которыя я могъ бы кутить съ ними.

— Тебѣ никто не совѣтуетъ сходиться съ этими развратниками,—строго возразила мать: — но я также не допущу тебѣ сходиться Богъ знаетъ съ какими подозрительными и двусмысленными личностями.

— Въ такомъ случаѣ, ужъ не лучше ли мнѣ выйти изъ университета?—нервно засмѣялся сынъ. — Вѣдь позволишь

ты или не позволишь мнѣ сходиться съ этими личностями, а я все-таки въ университетѣ буду сидѣть съ ними рядомъ, пожимать имъ руки, обмѣниваться съ ними лекціями... Или ты сама будешь ѣздить со мною на лекціи, чтобы отстранять отъ меня паршивыхъ овецъ?

Княгиня нетерпѣливо пожала плечами.

— Да, но я не дозволю...—начала она.

— Ходить имъ изъ университета рядомъ со мною? Кланяться мнѣ на улицѣ? — засмѣялся своимъ болѣзненнымъ смѣхомъ сынъ.

— Я не позволю имъ ходить въ мой домъ,—рѣзко произнесла мать.

— Тѣмъ хуже. Мнѣ придется самому ходить въ ихъ углы за записками, за справками, и увѣряю тебя, что я буду ходить къ нимъ.

— Что у тебя за тонъ?—строго посмотрѣла Аврора Ѳедоровна на сына.

— Это твой тонъ,—смѣялся Антонъ.—Ты же всегда желала, чтобы я походилъ на тебя. Или теперь тебѣ хочется, чтобы я былъ похожъ на тѣхъ слезливыхъ институтокъ, на которыхъ ты всегда глядѣла съ презрѣніемъ?

Антонъ очень недвусмысленно указалъ матери глазами на тетокъ. Аврора Ѳедоровна сдѣлалась блѣднѣе обыкновеннаго.

— Разъ и навсегда я тебя прошу избавить меня отъ подобныхъ сценъ,—глухо, но отчетливо произнесла она.

— Можетъ-быть, и отъ моего присутствія?—бросилъ ей вопросъ сынъ.

Княгиня закусила губы, но сынъ не унимался.

— Что-жъ, я попрошу пріюта на половинѣ отца,—смѣялся онъ.

Старикъ князь ничего не отвѣтилъ на это, потому что онъ слышалъ только шумъ и созерцалъ одну и ту же точку.

Княгиня обратилась къ барону и начала другой разговоръ. Въ глубинѣ души она съ ужасомъ начала сознавать, что ей страшны эти мелкія сцены. Покорить этого отбивавшагося отъ рукъ «мальчика» она не умѣла; она чутьемъ угадывала, что у нея нѣтъ той нравственной силы надъ нимъ, которая заставила бы его попрежнему преклониться предъ нею. У нея были въ рукахъ только крутыя мѣры—угрозы выгнать его изъ дома, лишить наслѣдства, отречься отъ него. Но это значило не только сдѣлать скандалъ, но и потерять въ глазахъ свѣта значеніе примѣрной матери, воспитавшей примѣрнаго сына. Что скажутъ, когда узнаютъ,

что она не умѣла сдѣлать порядочнымъ человѣкомъ свое единственное дитя? Не лучше ли на нѣкоторое время дѣлать видъ, что она не видитъ странностей сына? Онъ еще почти мальчикъ, онъ уходится, успокоится, его легко ублажить бо́льшею щедростью, потѣшить призракомъ бо́льшей свободы. Княгиня рѣшилась поступать именно такъ. До одного только не могла никакъ додуматься княгиня—до того, что тѣ колодки, которыя называются свѣтскою жизнью, свѣтскими требованіями, свѣтскими приличіями, могутъ выноситься только тогда, когда у людей притупится всякая чувствительность. Эти колодки можно выдерживать такъ, какъ выдерживаютъ розги тѣ дѣти, которыхъ сѣкутъ ежедневно. Молодыя же и свѣжія натуры непремѣнно болѣзненно почувствуютъ весь гнетъ этихъ колодокъ и поспѣшатъ вырваться изъ нихъ такъ или иначе. Отсюда идутъ тѣ безобразные кутежи съ Сюзетками и Камилками, тѣ безумныя траты денегъ, тѣ поддѣлки векселей, тѣ скандалы судебныхъ преслѣдованій противъ измошенничавшихся юношей, тѣ малодушныя слезы безхарактернаго и неразвитаго кутилы-подсудимаго, который, можетъ-быть, еще вчера нагло давилъ рысакомъ тѣхъ же людей, передъ которыми онъ не смѣетъ громко говорить на судѣ, передъ которыми онъ плачетъ, разсказывая о своихъ мошенническихъ продѣлкахъ. Правда, потомъ эти люди остепеняются иногда и добровольно надѣваютъ на себя старыя колодки. Но періодъ стремленія къ свободѣ переживается ими всѣми. Антонъ пережилъ его тоже, но въ другой формѣ. Если бы у него были пріятели съ дѣтства, если бы у него было много карманныхъ денегъ—изъ него вышелъ бы одинъ изъ тѣхъ ограниченныхъ шалопаевъ большого свѣта, которыхъ мы встрѣчаемъ ежедневно на Невскомъ проспектѣ, на набережной Невы, въ первыхъ рядахъ креселъ, на пикникахъ въ Ташкентѣ, у Бореля, въ Татарскомъ ресторанѣ, въ ложахъ Сюзетъ и Камилъ, наконецъ, въ игрѣ, даже гдѣ есть рулетки и даже на скамьѣ подсудимыхъ, за содержаніе этихъ рулетокъ, за фальшивыя подписи на векселяхъ, за поддѣлку духовнаго завѣщанія.

Такъ протянулось время до весны.

Весною Антонъ былъ снова въ деревнѣ. Конечно, первою его мыслію была мысль о посѣщеніи Тузовыхъ. Встрѣча съ этою семьею была самая искренняя, самая теплая. Маруся радовалась отъ всей души.

— Ну, вотъ я и опять дышу свободно, говорилъ Антонъ, сидя на крыльцѣ ихъ дома и любуясь на залитый солнечнымъ свѣтомъ дворъ. — Какъ вы жили, что дѣлали, Маруся?

Маруся принялась разсказывать. Это былъ цѣлый потокъ деревенскихъ новостей. У чудовскаго управителя на святкахъ былъ вечеръ съ ряжеными; во время гаданья Марусѣ вышло, что она выйдетъ замужъ за Дормидонта; бѣдненькая тетя Катя была двѣ недѣли больна; Волчка чуть не загрызъ волкъ; у Маруси въ эту зиму училось десять человѣкъ крестьянскихъ дѣтей; сама Маруся готовится къ университетскому экзамену. Всѣ эти новости лились одна за другою, сопровождались смѣхомъ или печальнымъ вздохомъ. Антонъ слушалъ и не могъ наслушаться, не могъ насмотрѣться на лицо Маруси. Оно стало еще прекраснѣе. Антону самому показалось какъ-то странно, что онъ въ прошломъ году вовсе не обращалъ вниманія на красоту Маруси, а теперь, напротивъ того, ему прежде всего бросилась въ глаза эта красота.

— Ну, мы будемъ опять гулять попрежнему?—спросилъ онъ.

Маруся почему-то покраснѣла и, взглянувъ вопросительно на отца и на тетку, проговорила:

— Я думаю, ни папа, ни тетя не запретятъ этого.

Когда она встала, Антонъ замѣтилъ, что у нея новое платье было длиннѣе прошлогоднихъ платьевъ.

Маруся переживала тотъ чудный періодъ жизни, когда дѣвочка становится взрослой. Иногда она рѣзвилась, какъ дитя; иногда она начинала горячо спорить о серьезныхъ вопросахъ. Порою она безъ умолку болтала о «смѣшныхъ семинаристахъ», сыновьяхъ отца Василія; порой она съ увлеченіемъ говорила о тѣхъ книгахъ, которыя она прочла съ ними на Рождествѣ и на Святой, въ прошлую зиму. Разъ какъ-то Антонъ засталъ ее бѣгающею въ горѣлки съ подругами; въ другой разъ онъ увидалъ Марусю сидящею на крыльцѣ въ обществѣ молодежи и слушающею, какъ читалъ вслухъ одинъ изъ сыновей отца Василія.

— Садитесь,—шопотомъ сказала Маруся Антону, пожимая ему руку.—Вотъ-то чудесная книга!

Семинаристъ читалъ «Дѣтство и отрочество» графа Льва Толстого, одно изъ искреннѣйшихъ произведеній, сильно дѣйствующихъ на молодыя, свѣжія сердца.

Какъ-то разъ, подходя къ дому Тузовыхъ, Антонъ встрѣ-

тилъ на дорогѣ Марусю. Она почти бѣжала съ озабоченнымъ лицомъ и съ какими-то свертками въ рукахъ.

— Куда вы, Маруся?—окликнулъ ее Антонъ.

— Ахъ, это вы,—торопливо проговорила она.—Петя Сысоевъ ранилъ себя. Нужно помочь. Пойдемте.

Антонъ послѣдовалъ за нею.

— Какая досада, ни отца, ни тети Кати нѣтъ дома. Отецъ лучше меня умѣетъ дѣлать перевязки, — говорила она.—И вѣдь нужно же было случиться такому несчастію въ такое время. Работы теперь у всѣхъ по горло, а у Сысоевыхъ только и работниковъ, что сама Дарья да Петя.

Черезъ нѣсколько минутъ Антонъ и Маруся дошли до избы Сысоевыхъ. Въ избѣ столпились въ углу испуганныя дѣти; хозяйка Дарья стояла въ слезахъ около старшаго сына, лежавшаго на лавкѣ и, видимо, не знала, что дѣлать. Раненый былъ блѣденъ отъ потери крови. Это былъ рослый парень, лѣтъ пятнадцати, съ худымъ, но довольно симпатичнымъ лицомъ. Маруся быстро вошла въ избу и направилась къ больному. Рана, полученная имъ при паденіи съ сѣновала на какое-то заостренное желѣзо, находилась ниже колѣна,—это была разорванная, мучительная рана. Маруся, какъ опытный докторъ, принялась за перевязку и выказала энергію, которой и не подозрѣвалъ въ ней Антонъ. Ему было странно видѣть эту дѣвушку, эту барышню, обмывавшую кровь съ обнаженной ноги простого крестьянскаго парня и дѣлавшую очень искусно перевязку. Онъ не замѣтилъ на лицѣ Маруси ни страха, ни брезгливости. Она просто была озабочена и серьезно занята своимъ дѣломъ. Только, когда мальчикъ стоналъ отъ боли, она съ сожалѣніемъ бросала взглядъ на него и шептала:

— Потерпи, Петя, я сейчасъ кончу. Это пройдетъ!

Черезъ нѣсколько минутъ перевязка была окончена.

— Отецъ зайдетъ къ вамъ, какъ только пріѣдетъ съ работы,—сказала она Дарьѣ.—А ты теперь усни, Петя, да не шевелись покуда.

— Благодарствуйте, матушка-барышня, — говорила Дарья.—Ужъ я не знаю, что бы я стала дѣлать безъ васъ.

— Хорошо, хорошо, ты не бойся. Это скоро пройдетъ. Работы-то теперь, я думаю, у тебя много.

— Нѣтъ, почитай что все покуда передѣлали...

— На огородѣ еще одна грядка не засажена, около болотины,—тихо произнесъ больной.

— Ну ее! И безъ нея кое-какъ обойдемся, — замѣтила

Дарья.—Сами знаете, что тамъ родится, такъ ужъ только не бросаемъ эту самую грядку... а то что намъ въ ней...

— Все же годится,—шепталъ больной.

— Ну, прощайте,—промолвила Маруся и вышла въ сопровожденіи Антона.

— Ахъ, если бы отецъ былъ, онъ лучше бы сдѣлалъ перевязку,—говорила она дорогой.—Я первый разъ перевязывала сама такую серьезную рану. До сихъ поръ приходилось только мелкіе порѣзы лѣчить да помогать отцу при большихъ перевязкахъ.

— Вы, однако, сдѣлали перевязку, какъ опытный докторъ,—замѣтилъ Антонъ.

— Да это не трудно. Мнѣ было только досадно, что я медленно это дѣлала, тогда какъ отецъ сдѣлалъ бы это мигомъ. Онъ молодецъ на это.

— И часто къ вамъ обращаются больные?—спросилъ Антонъ.

— Да, у насъ здѣсь много людей болѣетъ,—отвѣтила Маруся.

— Но развѣ они всѣ идутъ къ вамъ?

— Къ кому же имъ идти? Отецъ вѣдь былъ когда-то врачомъ, я тоже могу отчасти помочь въ болѣзни. Отецъ меня многому научилъ.

— Я не думалъ, что вы такая рѣшительная.

— Какъ рѣшительная?—съ недоумѣніемъ произнесла Маруся.

— Я не думалъ, что вы способны перевязывать раны.

— Да. больше же некому здѣсь этого сдѣлать. Матушка-попадья, жена управляющаго,—мы всѣ здѣсь лѣчимъ понемногу... А вы развѣ не лѣчите своихъ крестьянъ?.. Да, впрочемъ, у васъ лѣкарь есть въ домѣ...

Маруся на минуту смолкла и вдругъ обратилась къ Антону съ вопросомъ:

— А вы рады, что крестьянъ освободятъ?

Антонъ не вдругъ отвѣтилъ на этотъ вопросъ: онъ, въ сущности, до сихъ поръ очень мало интересовался участью народа.

— Да,—отвѣтилъ онъ черезъ минуту:—я радъ вообще за тѣхъ, кому удается освободиться... Но вашъ батюшка, я думаю, не можетъ особенно радоваться освобожденію: это плохо отзовется на его денежныхъ дѣлахъ.

Маруся съ удивленіемъ посмотрѣла на Антона.

— Мой отецъ очень добрый человѣкъ,—отвѣтила она.—

Онъ и теперь живетъ на пенсію. Да у насъ и крестьянъ-то всего семь душъ...

Антонъ задумался: его мать объ эмансипаціи говорила съ худо скрытымъ неудовольствіемъ.

Среди этихъ то серьезныхъ, то дѣтски-безпечныхъ разговоровъ и встрѣчъ съ Марусею, Антонъ не столько слѣдилъ за смысломъ этихъ разговоровъ и за характеромъ этихъ встрѣчъ, сколько за самою Марусею. Съ каждымъ днемъ онъ все сильнѣе и сильнѣе увлекался ея красотою. Иногда онъ почти не спалъ по ночамъ, мечтая о ней. Порою всю ночь онъ видѣлъ ее во снѣ. Бывали минуты, когда онъ не слышалъ, не понималъ, что она говорила, и только впивался глазами въ это цвѣтущее лицо, въ эти дѣвственныя формы тонкаго и стройнаго стана, молодой груди, красивыхъ рукъ. Антонъ не только видѣлъ, что передъ нимъ стоитъ уже не прежняя наивная дѣвочка, но и чувствовалъ, что онъ самъ смотритъ на нее не прежними глазами, не какъ мальчикъ, а какъ юноша, впервые начавшій испытывать чувство любви. Сколько разъ въ прошломъ году онъ пожималъ ея руки, ловилъ ее за талію въ горѣлки, сталкивался съ нею лицомъ къ лицу, играя въ жмурки, и не обращалъ на это никакого вниманія. Теперь ему было особенно сладко пожать ей руку, взять ее подъ руку въ саду, сидѣть у ея ногъ на крыльцѣ и смотрѣть въ ея большіе откровенные глаза. Все чаще и чаще ему хотѣлось быть съ ней наединѣ. Зачѣмъ? Развѣ у нихъ были тайны? Развѣ вдвоемъ они не говорили о томъ же, о чемъ говорили при другихъ? Въ прошломъ году у нихъ почти не было предметовъ для разговоровъ; они просто разсказывали другъ другу свои дѣтскія впечатлѣнія. Теперь они много толковали, горячо спорили, часто расходились въ мнѣніяхъ. Въ прошломъ году, возвращаясь отъ Маруси, Антонъ думалъ:

«У нихъ, право, гораздо веселѣе, чѣмъ у насъ».

Теперь, медленно проходя по дорогѣ изъ Липовки въ Грачовку, онъ думалъ:

«О, если бы она была моею! Она такъ хороша собою. Она такъ добра, искренна. Она не способна ни тиранить, ни лгать. Я былъ бы съ нею счастливъ».

Бывали минуты, когда Антонъ, возвращаясь отъ Маруси, былъ безотчетно веселъ, но бывали и такія минуты, когда онъ плакалъ, какъ ребенокъ. Первое пробужденіе любви въ нервныхъ людяхъ всегда бываетъ болѣзненно. Они то страстно

вѣрятъ, то мучительно не вѣрятъ въ свое счастье. Они создаютъ себѣ причины для страданія, улавливаютъ холодный взглядъ, насмѣшливое слово, случайную невнимательность любимаго существа и мучатся. Они забѣгаютъ мысленно впередъ и терзаются Богъ знаетъ почему возникающимъ убѣжденіемъ, что имъ не удастся завоевать этого желаннаго счастья. Антонъ былъ именно такою болѣзненно-нервною личностью, и, сверхъ того, у него были основательныя причины бояться за будущность своей любви,—у него была мать княгиня Аврора Ѳедоровна Грачова.

Угадывала ли Маруся, что онъ ее любитъ?

Богъ знаетъ: они никогда не говорили о любви. Но она задумывалась, когда Антонъ не являлся два дня; она краснѣла до ушей, когда онъ приходилъ, не видавшись съ нею долѣе обыкновеннаго; иногда она, гуляя съ нимъ подъ руку по дорогѣ, вдругъ о чемъ-то задумывалась, не слышала, не видѣла ничего, и потомъ, опомнившись, вдругъ освобождала свою руку.

— Что съ вами, Маруся?—спрашивалъ онъ удивленнымъ тономъ.

— Такъ, жарко... и рукѣ тяжело,—въ смущеніи отвѣчала она.

Какъ-то Антонъ замѣтилъ ей:

— Мы точно братъ и сестра.

— Нѣтъ, мы люди разнаго круга,—отвѣтила она.

— Но вы же сами говорили прошлаго года, что мы родня.

— Я многаго тогда не понимала.

Одинъ разъ, совершенно неожиданно, она спросила:

— Антонъ Павловичъ, ваша матушка знаетъ, что вы бываете у насъ?

Антонъ смутился и не могъ вдругъ отвѣтить, а Маруся смотрѣла на него такимъ взоромъ, передъ которымъ нельзя было лгать.

— Нѣтъ,—отрывисто отвѣтилъ онъ.

— Я такъ и думала,—просто произнесла Маруся.

Въ другой разъ Маруся мелькомъ замѣтила ему:

— Для чего вы скрываете отъ своей матери, что вы знакомы съ нашею семьей?

Антонъ не вдругъ могъ найти отвѣтъ.

— Я не скрываю... а просто къ слову не приходилось,—проговорилъ, наконецъ, онъ.

Молодые люди помолчали.

— Я хотѣла бы видѣть, каковы вы у себя дома,—вдругъ произнесла Маруся.

Антонъ вздохнулъ, но промолчалъ. Ему показалась, что въ голосѣ Маруси послышалась иронія. «Неужели она подозрѣваетъ меня въ трусости?»—думалъ онъ.

Какъ-то они шли по лѣсу. Былъ жаркій іюльскій день. Въ природѣ все точно дремало въ сладкой нѣгѣ. Въ лѣсу все было тихо и вѣяло запахомъ смолы и цвѣтовъ. Молодые люди шли лѣниво и почти не говорили. Наконецъ, они вышли къ небольшой рѣчкѣ, почти ручью, съ крутымъ песчанымъ берегомъ, со старыми деревьями на берегу. Маруся сѣла на берегу, Антонъ легъ подлѣ нея. Она разбирала разложенные на платьѣ цвѣты; онъ, полулежа, старался какимъ-то сухимъ сучкомъ преградить путь какому-то муравью. Ни онъ, ни она не говорили ни слова. Прошло съ четверть часа. Вдругъ Антонъ отбросилъ сучокъ, приподнялся на локтѣ и посмотрѣлъ въ глаза Марусѣ. Эти глаза, большіе, открытые, искренніе, ласково обратились къ нему. Антонъ схватилъ ея руки и припалъ лицомъ къ ея колѣнямъ. Маруся не отрывала рукъ, не отталкивала его. Потомъ онъ поднялся, сѣлъ около нея и обвилъ рукою ея талію. Дѣвушка приклонила голову къ его груди.

— Маруся, любишь ли ты меня?—шопотомъ спросилъ онъ.

Она подняла свою голову съ его груди, взглянула ему прямо въ глаза и быстро обвила руками его шею. Онъ цѣловалъ ея глаза, ея губы, ея руки.

— Пойдемъ,—упавшимъ голосомъ прошептала она.

— Подожди,—умолялъ онъ.

Она поднялась и пошла впередъ. Они уже доходили до конца лѣса.

— Теперь ступай домой. Я одна пройду,—проговорила она, оборачиваясь къ нему.

— Одна?

— Да; прощай.

Онъ протянулъ ей руки, но она быстро взяла его за голову, поцѣловала его въ лобъ и, не оглядываясь, торопливо пошла впередъ.

Антонъ остался одинъ. Онъ и смѣялся, и плакалъ. Онъ любимъ. Маруся согласна быть его спутницей въ жизни.

А мать?

При этой мысли онъ торопливо взглянулъ на часы. Давно уже было время обѣда. Онъ поспѣшно освѣжилъ водою свое

лицо и пошелъ домой. Когда онъ входилъ въ столовую, мать взглянула на него какъ-то странно. Бросились ли ей въ глаза красные отъ слезъ глаза, поразило ли ее впервые появившееся на лицѣ сына выраженіе счастья, показался ли ей страненъ его слишкомъ поздній приходъ,—неизвѣстно. Но она видѣла что-то необычайное въ сынѣ.

— Антонъ, ты вѣрно спалъ въ лѣсу?—неожиданно спросила она.

— Я? Нѣтъ... то-есть да,—смутился онъ.

— Убилъ что-нибудь?—спросила она.

— Я? нѣтъ!.. я.. я не охотился,—пояснилъ онъ.

Аврора Ѳедоровна засмѣялась какъ-то странно.

— Ты сегодня преуморительный! Не правда ли, баронъ?—обратилась она къ барону.—Красные глаза, точно онъ плакалъ; сіяющее лицо, точно онъ видѣлъ сладкій сонъ, и смятые воротнички...

Антонъ вдругъ поблѣднѣлъ и какъ-то пугливо взглянулъ на мать, но она уже перемѣнила разговоръ.

— Каролина Карловна, какъ фамилія этихъ господъ, куда ходитъ Антонъ?

Съ этимъ вопросомъ обратилась княгиня на другой день утромъ къ своей ключницѣ, просматривая принесенные счета. Еще прошлаго года Каролина Карловна рѣшилась намекнуть Аврорѣ Ѳедоровнѣ, что Антонъ Павловичъ отдыхаетъ отъ охоты и отъ прогулокъ «въ одномъ домѣ». Но княгиня прервала начатую рѣчь словами: «Вы, кажется, не за этимъ пришли сюда. Я не люблю, когда говорятъ то, чего я не спрашиваю». Теперь она припомнила это или, вѣрнѣе сказать, она и не забывала этого. Она очень хорошо знала, что Каролинѣ Карловнѣ извѣстно все, что нужно знать ей самой, княгинѣ. Каролина Карловна вообще собирала самыя разнообразныя свѣдѣнія, чтобы имѣть возможность во всякое время отвѣчать на всевозможные вопросы княгини.

— Я, право...—начала Каролина Карловна, какъ она начинала всегда, стремленіемъ показать, что ей ничего неизвѣстно, что она невинное, ничего не знающее существо.

— Я васъ спрашиваю про ихъ фамилію, — повторила княгиня.

— Тузовы,—произнесла, потупивъ глазки, Каролина Карловна и вдругъ быстро заговорила:—старый господинъ—отставной лѣкарь, очень небогатый; у него живетъ старушка, сестра его покойной жены, eine alte Jungfer, бывшая прежде

гувернанткой; дочери его семнадцатый годъ, очень красивая барышня...

— У васъ не выставлено, сколько доставлено съ фермы масла,—замѣтила княгиня, переворачивая листъ счетной книги.

— Князь у нихъ каждый день бываетъ,—продолжала Каролина Карловна:—и въ послѣднее время ихъ...

— Я спрашиваю, отчего у васъ не выставлено, сколько доставлено съ фермы масла?—повторила княгиня.

Ее, повидимому, вовсе не интересовалъ вопросъ о какихъ-то Тузовыхъ. Каролина Карловна, по обыкновенію, скромно потупили глаза и начала отдавать хозяйственные отчеты.

Въ тотъ же день княгиня пригласила Антона сдѣлать съ нею утромъ визитъ къ однимъ изъ сосѣдей, а вечеромъ, такъ какъ во время поѣздки у нея разболѣлась голова, продержала его у себя въ кабинетѣ за чтеніемъ. На слѣдующій день, совершенно неожиданно для Антона, у нихъ былъ обѣдъ съ приглашенными гостями. Антонъ ходилъ эти два дня точно въ какомъ-то чаду. Онъ не могъ посѣтить Марусю, не могъ сдѣлать этого именно тогда, когда онъ сказалъ ей первое «люблю», когда онъ узналъ, что онъ любимъ. Когда на третій день онъ былъ, наконецъ, свободенъ и могъ отправиться къ Тузовымъ, онъ былъ очень разстроенъ.

«Что думаетъ Маруся?—думалось ему.—Какъ она меня встрѣтитъ? Что скажетъ?»

Онъ засталъ Марусю одну. Она бросилась къ нему съ видимымъ волненіемъ.

— Я ужъ думала, что ты боленъ,—прошептала она:—что ты... Богъ знаетъ, что я думала въ эти два дня.

— Я не могъ придти,—проговорилъ Антонъ, цѣлуя ея руки.—Мать задержала...

Маруся пристально взглянула на него.

— Ты ей сказалъ?—не безъ тревоги спросила она.

— Нѣтъ, она еще не знаетъ о нашемъ знакомствѣ,—отвѣтилъ онъ.

— Зачѣмъ ты скрываешь это отъ нея?

Антонъ опять смутился.

— Ты не знаешь моей матери,—грустно промолвилъ онъ.—Это женщина холодная, тщеславная, надменная... Она можетъ недоброжелательно взглянуть на наше знакомство.

Маруся задумалась.

— Можетъ недоброжелательно взглянуть на наше знакомство? — повторила она въ раздумьи.—А какъ же она взглянетъ на нашу любовь?

Антонъ побѣднѣлъ.

— Я надѣюсь,—началъ онъ въ замѣшательствѣ:—я подготовлю... надо на все время...

— Ты ея боишься? — совершенно неожиданно спросила Маруся.

Этотъ вопросъ былъ очень простъ. Маруся до сихъ поръ почти ничего не знала объ отношеніяхъ Антона къ матери и, можетъ-быть, только потому предложила этотъ вопросъ. Но Антону послышалось въ немъ что-то такое, что укололо его. Ему почему-то показалось, что Маруся станетъ презирать его, узнавъ его отношенія къ матери.

— Не боюсь, но не желаю до времени вызывать разныя семейныя сцены,—проговорилъ онъ, краснѣя.

Молодые люди вышли изъ дома. Маруся сѣла на верхнюю ступеньку завѣтнаго крыльца.

— Развѣ мы не пойдемъ гулять?—спросилъ Антонъ.

— Нѣтъ. Домъ нельзя оставить. Я одна, тетя Катя ушла на именины, отецъ на сѣнокосѣ. Нужно ждать его обѣдать,— отвѣтила Маруся.

Антонъ сѣлъ на нижнюю ступеньку крыльца около ногъ Маруси.

— А ты помнишь, какой сегодня день?—спросила она, проводя рукой по его вьющимся волосамъ.

— Еще бы! Сегодня годовщина нашей встрѣчи,—проговорилъ онъ и поднесъ къ губамъ ея руку.

— Да, годъ, а сколько произошло перемѣнъ,—задумчиво проговорила она.—Тогда мы походили на дѣтей, а теперь...

Она взглянула пристальнымъ, нѣжнымъ взглядомъ на Антона.

— Милый,—начала она тихо.—Давно я хотѣла спросить тебя объ одномъ...

— О чемъ, Маруся?—спросилъ онъ.

— Счастливъ ли ты?

Антонъ смутился.

— Развѣ я могу быть несчастливъ, когда я знаю, что ты любишь меня?—отвѣтилъ онъ вопросомъ.

— Я не о томъ,— продолжала она. — Счастливъ ли ты вообще? Еще годъ тому назадъ ты выглядѣлъ здоровѣе, безпечнѣе. Теперь ты постоянно какой-то странный, болѣзненный, нервный.

— Маруся, меня мучило сомнѣніе, любишь ли ты меня...

— А теперь? теперь ты знаешь, что я люблю тебя, но развѣ ты сталъ спокойнѣе? Взгляни на меня: во мнѣ все теперь стало ясно и свѣтло. А ты... Что съ тобою?

Послѣднія слова Маруся проговорила почти съ испугомъ. Ее поразила смертельная блѣдность, разлившаяся по лицу Антона, и выраженіе его взгляда, близкое къ ужасу. Казалось, передъ молодымъ человѣкомъ стояло привидѣніе и онъ былъ близокъ къ обмороку. Онъ вдругъ поднялся съ мѣста и невѣрною походкою сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ. Маруся оберпулась лицомъ къ воротамъ: въ калиткѣ стоялъ какой-то молодой человѣкъ съ фуражкою въ рукѣ.

— Ты зачѣмъ?—глухо спросилъ Антонъ.

— Письмо отъ княгини,—отвѣтилъ незнакомый Марусѣ человѣкъ.

Антонъ быстро вырвалъ изъ его рукъ записку и, прочитавъ ее, скомкалъ и бросилъ на землю.

Въ запискѣ было написано:

«Уходя изъ дому, ты забылъ, что сегодня нашъ почтовый день. Нѣтъ ли у тебя писемъ для отправки въ Петербургъ?»

— Ступай!—проговорилъ Антонъ.—Писемъ у меня нѣтъ!

Лакей поклонился и скрылся за воротами.

— Кто это?—спросила Маруся.

— Мой лакей,—глухо отвѣтилъ Антонъ.

— Развѣ ты ему сказалъ, что пошелъ къ намъ?

— Нѣтъ. Но пойми ты, что я окруженъ шпіонами, наушниками; они все выѣдываютъ, все знаютъ!—болѣзненно воскликнулъ Антонъ.

— Я тебѣ говорила, что нужно предупредить мать о нашемъ знакомствѣ.

— Предупредить мать! Но ты ея не знаешь! Я самъ сотни разъ хотѣлъ сдѣлать это. Но развѣ я могъ? Развѣ между мною и ею есть что-нибудь общаго, развѣ она пойметъ меня? Развѣ она полюбитъ ту, которую полюблю я?

Антонъ вдругъ испуганно умолкъ и закрылъ лицо руками. Онъ высказалъ то, что такъ долго, такъ тщательно скрывалъ отъ Маруси. Она смотрѣла на него какъ-то странно: ей было и жаль его, и непонятно, какъ можетъ человѣкъ его лѣтъ такъ бояться — и кого же? — матери. Развѣ она, Маруся, боялась своего отца, своей тетки? Развѣ она не знала, что они ее любятъ, что они простятъ

сей всякій проступокъ? Представить себѣ такую мать, съ которой боялся бы быть откровеннымъ родной сынъ, она не могла, она еще не знала жизни, не знала людей. Нервы Антона, между тѣмъ, не успокоились. Онъ уже не могъ хладнокровно оставаться съ Марусей. Ему нужно было скорѣе объясниться съ матерью, скорѣе излить все свое раздраженіе. Онъ всталъ.

— Я пойду домой,—проговорилъ онъ.

Маруся его не удерживала.

Когда онъ ушелъ, она осталась сидѣть на крыльцѣ въ какомъ-то забытьи, перебирая оборку своего широкаго рукава.

— Маруся, о чемъ задумалась? — послышался надъ ея ухомъ голосъ возвратившагося отца.

— Такъ, — отозвалась она, поднимая голову. — Антонъ Павловичъ былъ. Какой онъ несчастный, папа.

— Ты плакала? — спросилъ отецъ, взглянувъ на невысохшія слезы, катившіяся по ея щекамъ.

Маруся съ удивленіемъ посмотрѣла на него и поднесла руку къ глазамъ, они были влажны.

— Должно-быть, — грустно улыбнулась она. — Я и сама этого не замѣтила. Но онъ, право, показался мнѣ сегодня очень жалкимъ.

Отецъ задумался и пристально посмотрѣлъ на дочь.

— Ты вѣдь никогда ничего отъ меня не скрываешь? — спросилъ отецъ.

— Нѣтъ, папа, — отвѣтила дочь и начала накрывать на столъ.

Выраженіе ея лица было нѣсколько грустно, но на этомъ лицѣ не было слѣдовъ тревоги или страха.

— Мнѣ съ тобой нужно поговорить!

Съ этими словами вошелъ Антонъ въ комнату матери. Онъ былъ блѣденъ и взволнованъ. Княгиня сидѣла за пяльцами у отвореннаго и защищеннаго отъ солнца маркизою окна своего кабинета и вышивала. Въ комнатѣ пахло распустившимися цвѣтами дикаго жасмина и царствовалъ мягкій бѣлесоватый полусвѣтъ. Княгиня лѣниво откинулась на спинку кресла и едва уловимымъ взглядомъ окинула фигуру сына.

— Говори, если нужно,—отвѣтила она.

— Зачѣмъ ты посылала Франца къ Тузовымъ?

— Я же тебѣ писала, зачѣмъ.

— Но ты очень хорошо знаешь, что я почти никому не пишу въ Петербургъ. Ты просто хотѣла показать, что тебѣ извѣстно мое знакомство съ этой семьей.

— А развѣ это тайна?

Княгиня пристально взглянула на сына и улыбнулась.

— Ты очень неосторожень, мой другъ,—продолжала она, не дожидаясь его отвѣта. — Я понимаю, что въ твои лѣта очень естественны подобныя сближенія съ той или другой дѣвочкой. Но если ты считаешь почему-нибудь подобное сближеніе тайной, то нужно быть осторожнѣе.

— Ты, кажется, ошибаешься насчетъ моихъ отношеній къ этой семьѣ,—началъ Антонъ, и на его щекахъ выступили красныя пятна.

— Прежде всего я должна тебѣ замѣтить, что мнѣ нѣтъ никакого дѣла до твоихъ маленькихъ шалостей, — улыбнулась княгиня.

— Но ты ошибаешься, жестоко ошибаешься!—воскликнулъ сынъ.—Тутъ нѣтъ никакихъ шалостей. Я люблю эту дѣвушку.

— И прекрасно, я очень рада, что предметомъ твоего перваго увлеченія сдѣлалась эта дѣвушка, а не какое-нибудь совершенно падшее, ничтожное созданіе.

На лицѣ Антона выступилъ холодный потъ отъ бездушнаго цинизма матери.

— Это не увлеченіе, а любовь, — проговорилъ онъ: — серьезная любовь. Я избралъ эту дѣвушку и не откажусь отъ нея.

— Я не знаю, изъ-за чего ты волнуешься? Я тебѣ вовсе не противорѣчу.

— Но ты, кажется, думаешь, что я играю честью этой дѣвушки, что я брошу ее, не женившись на ней...

Мать засмѣялась.

— Не женившись? На комъ? На Тузовой?.. Ее, кажется, такъ зовутъ?..

— Ну да, такъ! На Тузовой! И я не понимаю, чему ты смѣешься. Чѣмъ фамилія Тузовыхъ смѣшнѣе фамиліи Грачовыхъ?

Княгиня продолжала смѣяться едва слышнымъ, дѣланнымъ смѣхомъ.

— Ну, хорошо, хорошо!—говорила она.—Ты женишься!.. Ахъ, какой ты ребенокъ!

— Я говорю серьезно, — раздражительно замѣтилъ Антонъ: — и мнѣ страненъ твой смѣхъ. Тутъ дѣло идетъ о чести дѣвушки.

— Да, не вѣдь я надѣюсь, что она добровольно отдалась тебѣ, зная очень хорошо, что ты не можешь жениться на ней...

— Ты ошибаешься, она никакъ не могла думать, что я *не могу* жениться на ней.

— Какъ? Значитъ, ты сказалъ, что ваши отношенія извѣстны мнѣ?

Антонъ снова поблѣднѣлъ.

— Нѣтъ, она знала, что тебѣ ничего неизвѣстно.

— Такъ какъ же она могла разсчитывать на замужество съ человѣкомъ, который боялся сказать своей матери даже о знакомствѣ съ нею, а не только что о любви къ ней?

Антонъ смѣшался.

— Она вовсе не думала, что я боюсь сказать тебѣ объ этомъ... Я не считалъ нужнымъ говорить объ этомъ до поры, до времени...

— И она тоже?.. Дѣвушка не считаетъ нужнымъ познакомиться съ матерью человѣка, котораго любитъ; дѣвушка сходится съ юношею, не зная, какъ взглянетъ на это его мать!.. Нѣтъ, мой другъ, кто разсчитываетъ на замужество, тотъ такъ не дѣлаетъ.

Нервы Антона не выдержали долѣе этого холоднаго тона: онъ взволновался и началъ горячиться.

— Мы вѣдь съ нѣкоторыхъ поръ смотримъ совершенно различно на вещи, — проговорилъ онъ: — и потому намъ трудно понять другъ друга. Но что бы ни случилось, какъ бы ты ни смотрѣла на дѣло, а я все-таки женюсь на ней.

— Да?—спросила княгиня, прищуривъ глаза.

— Да!—отвѣтилъ Антонъ, ходя въ волненіи по комнатѣ.

— Хочешь послѣдовать примѣру дѣда, князя Петра Ивановича? — произнесла княгиня и сдвинула брови. — Но ты жестоко ошибешься насчетъ своего положенія. Если князья Грачовы не умѣютъ сами заботиться о чести своей фамиліи, то я сумѣю охранить ее.

Антонъ хотѣлъ что-то сказать, но княгиня остановила его.

— Не думай, что я стану запугивать тебя лишеніемъ наслѣдства, не думай, что я стану дѣлать сцены этой дѣвчонкѣ. Я просто не позволю тебѣ жениться на дочери какого-то отставного лѣкаря, на дѣвушкѣ, которая думала тайкомъ отъ меня поймать тебя въ разставленныя ею сѣти.

Антонъ едва стоялъ на ногахъ. Лицо матери было страшно по своей холодной суровости.

— Да, Антонъ, я люблю тебя и горжусь тобою, — продолжала она:—и потому я не позволю тебѣ пасть. Не думай, что тебѣ удастся устроить свадьбу тайно. Тайнъ для меня въ твоей жизни нѣтъ и не будетъ. Я тебѣ не запрещаю ни видѣться съ этой дѣвочкой, ни любить ее. Я только остановлю тебя въ ту минуту, когда ты поведешь ее къ алтарю.

Антонъ опустился на первый попавшійся стулъ и закрылъ лицо руками. Онъ плакалъ.

— Знаешь ли, ты иногда становишься мнѣ жалокъ, какъ безхарактерное, слабое дитя, которое капризничаетъ, само не зная причины своихъ капризовъ.

— А вы... вы,—зарыдалъ Антонъ:—кажетесь мнѣ иногда...

— Ступай вонъ!—поднялась со своего мѣста княгиня и указала сыну на дверь.

Онъ, шатаясь, вышелъ изъ комнаты.

На другой день въ грачовскомъ барскомъ домѣ шла суматоха: вся прислуга перешептывалась о внезапной болѣзни Антона Павловича; разсказывали, что лакей молодого барина «накрылъ» его «обнявшись» съ тузовскою барышней, что потомъ молодой баринъ «битый часъ» объяснялся «по-французски» съ барыней, что послѣ его видѣли проходящимъ въ слезахъ, «ровно пьянаго», на свою половину, что къ ночи у него сдѣлался жаръ и бредъ и что докторъ объявилъ, что у него «открылась горячка».

Замѣчательное самоотверженіе выказала въ то время княгиня. Она не отходила ни днемъ, ни ночью отъ постели сына. Ее трудно было узнать, такъ она осунулась и похудѣла. Не разъ говорилъ ей докторъ, что она подвергаетъ опасности свое здоровье, но княгиня постоянно пожимала плечами въ отвѣтъ на эти слова и сухо замѣчала:

— Мѣсто матери у постели больного сына.

Княгиня вообще любила высокія истины.

Антонъ поправлялся медленно. У нервныхъ людей болѣзни бываютъ устойчивѣе. Тяжелые дни пережили обитатели грачовскаго дома. Но не менѣе тяжело отозвались эти дни и на другой семьѣ,—на семьѣ Тузовыхъ. Маруся ходила, какъ тѣнь. Она не имѣла даже утѣшенія хотя на минуту взглянуть на больного. И чего не передумала она въ эти дни!

— Останется ли живъ Антонъ? Лучше ли ему? Вспоминаетъ ли онъ о ней? Отчего онъ заболѣлъ?

Послѣдняя мысль все чаще и чаще возникала въ ея головѣ.

— Онъ былъ у насъ наканунѣ своей болѣзни. Мать прислала къ нему лакея. Она хотѣла дать знать ему, что ей извѣстно его знакомство со мною. Какъ онъ поблѣднѣлъ тогда! Онъ потомъ долго сидѣлъ съ лицомъ, закрытымъ руками. Онъ ушелъ въ волненіи. Очевидно, онъ хотѣлъ объясниться съ матерью. Но что же она ему сказала? Если бы она подала ему хотя какую-нибудь надежду на возможность его счастья, онъ пришелъ бы ко мнѣ. Но онъ захворалъ горячкою. Значитъ, было потрясеніе. Значитъ, она отказала. Переживетъ ли онъ это?.. Но что же мнѣ дѣлать, если онъ явится снова? Оттолкнуть его и нанести ему новый ударъ? Тѣшить его несбыточными мечтами? Но для чего, зачѣмъ, развѣ это честно?

Маруся терялась, но въ то же время она росла въ этой внутренней борьбѣ. Ребенокъ окончательно дѣлался взрослымъ.

— Маруся, пожалѣй ты себя, — говорилъ ей отецъ, заставая ее въ какомъ-то оцѣпенѣніи.

— Мнѣ, папа, его жаль,—шептала она.—О себѣ я теперь не думаю.

Дѣйствительно, она не думала о себѣ: ей казалось, что она переживетъ, перенесетъ все, что бы ни случилось.

«А онъ? — думалось ей. — Онъ и безъ того такъ слабъ, такъ несчастливъ».

А дни шли и шли своимъ чередомъ.

Однажды она сидѣла на крыльцѣ. Было теплое осеннее утро. Вдругъ вдали послышался конскій топотъ и звукъ колесъ. Она встала и торопливо пошла по направленію къ воротамъ. Экипажъ остановился и на дворѣ показалась исхудалая фигура Антона.

— Антонъ!—крикнула Маруся и упала къ нему на грудь.

Она забыла все, забыла, что ихъ видитъ кучеръ Гоачовыхъ, что ея отецъ и тетка сидятъ у окна.

— Я пріѣхалъ,—началъ онъ дрожащимъ, упавшимъ голосомъ:—проститься...

Маруся отступила отъ него и ухватилась за столбъ калитки.

— Мнѣ *велятъ* ѣхать за границу, — произнесъ онъ съ горькой усмѣшкой, дѣлая удареніе на словѣ *велятъ*.

Изъ дома вышли Тузовъ и тетя Катя.

— Здравствуйте, Антонъ Павловичъ; что же вы не вой-

дете къ намъ? — говорилъ старикъ, пожимая ему руку: — войдите и присядьте: не уносите покоя.

Антонъ уже хотѣлъ направиться къ дому.

Маруся какъ бы очнулась въ эту минуту.

— Ему нельзя, папа,—проговорила она довольно твердо.— Онъ мимоѣздомъ... торопится... Онъ пріѣхалъ проститься... уѣзжаетъ...

— Уѣзжаете? — спросилъ старикъ и испуганно посмотрѣлъ на дочь.

Она была блѣдна, она держалась за столбъ, но ея лицо казалось спокойнымъ.

— Да, лѣчиться,—пояснила она.—Это необходимо вамъ,— обратилась она къ Антону.—Дай Богъ вамъ выздоровѣть... поправиться... Тамъ хорошій воздухъ... развлеченія... Тамъ вы поправитесь... Ну... ну, прощайте, прощайте!..

Она быстро пожала руку Антона.

— Что-жъ, папа, ты не проводишь его... Видишь, Антонъ Павловичъ еще такъ слабъ...

Она говорила и сама не знала, что она говоритъ. Антонъ тоже не понималъ хорошо, что дѣлается вокругъ него. Онъ машинально пожалъ всѣмъ руки и пошелъ къ экипажу. Тузовъ и тетя Катя пошли его провожать. Экипажъ тронулся. Въ эту минуту на дворѣ раздался слабый крикъ и что-то тяжелое упало на песокъ. Старикъ и тетя Катя быстро вбѣжали на дворъ: около калитки безъ чувствъ, лицомъ къ землѣ, лежала Маруся.

Черезъ нѣсколько дней Антонъ писалъ Марусѣ:

«Маруся, я уѣзжаю сегодня — уѣзжаю потому, что мнѣ *велятъ* уѣхать, потому что у меня не хватитъ силы сказать: *я не хочу*. Я знаю, что, читая эти строки, ты почувствуешь если не презрѣніе, то снисходительную, обидную жалость къ тому, кого ты полюбила. Ты и прежде какъ-то странно смотрѣла на меня, когда я проговаривался, что я боюсь матери, что я *не умѣю* быть самостоятельнымъ. Тебѣ это непонятно, ты сама вполнѣ свободна въ своей семьѣ, ты не можешь понять, какъ можетъ человѣкъ сдѣлаться настолько рабомъ, чтобы блѣднѣть при мысли о борьбѣ и предпочитать ей свое рабство. Но обстоятельства сдѣлали меня именно такимъ: я могу быть рѣзкимъ, могу дойти до дерзости, могу будировать, но у меня не хватаетъ ни рѣшительности, ни силъ, когда нужно открытой борьбой добиться побѣды. Я знаю, что другой человѣкъ на моемъ

мѣстѣ нашелъ бы тысячи исходовъ и поставилъ бы на своемъ, а я — я схожу съ ума и все-таки ничего не могу придумать для своего спасенія. Да, я жалкій и ничтожный человѣкъ. Я сознаю, что я самъ разбиваю свою жизнь, свое счастье, свою любовь и между тѣмъ не могу поступить иначе. И все-таки я горячо, страстно, мучительно люблю тебя, моя первая и послѣдняя любовь. Ради Бога не забывай меня, не отворачивайся отъ меня, поддержи меня своими письмами, своимъ привѣтомъ. Я мысленно всегда нахожусь съ тобою, и только съ тобою, потому что ты единственный человѣкъ, любившій меня».

Странное чувство пробудили въ душѣ Маруси эти строки: она впервые видѣла передъ собою такого искалѣченнаго человѣка, и ей было жаль его до слезъ. Но она, бодрая и здоровая по натурѣ, не могла понять возможности подобнаго психическаго состоянія. Она писала, между прочимъ, Антону:

«Твое письмо полно упрековъ самому себѣ. Ты клевещешь на самого себя. Если бы я не знала и не вѣрила, что ты любишь меня, то я подумала бы, что ты умышленно хочешь уронить себя въ моихъ глазахъ. Но я вѣрю, что ты любишь меня, и потому не допускаю этой мысли. Ты просто еще не оправился отъ болѣзни, у тебя еще не успокоились нервы и ты упалъ духомъ. Это пройдетъ: ты молодъ, ты любишь, ты любимъ и не можетъ быть, чтобы ты не нашелъ исхода, который спасъ бы тебя. Я, по крайней мѣрѣ, не могу себѣ представить такого тяжелаго положенія, изъ котораго я не постаралась бы выйти. Ужъ лучше смерть, чѣмъ вѣчное страданіе. Правда, я еще совсѣмъ неопытна, но вѣдь борются же другіе люди,—значитъ, могу бороться и я. Рѣшить заранѣе, не испробовавъ своихъ силъ, что не можешь бороться, что будешь покоряться весь вѣкъ враждебнымъ обстоятельствамъ,—это значитъ не уважать себя. Я почти увѣрена, что пройдетъ мѣсяцъ, другой и ты самъ посмѣешься надъ теперешнею своею слабостью. Нужно только позаботиться о своемъ здоровьи, укрѣпиться».

Антонъ получилъ это письмо какъ разъ въ то время, когда у него уже начали открываться признаки чахотки. Онъ въ эту пору страдалъ отъ лихорадки. Слабый, исхудалый, раздраженный, читалъ онъ эти строки, и передъ нимъ носился молодой и бодрый образъ дѣвушки съ ясными глазами, съ румянымъ лицомъ, съ бойкой улыбкой. У него стѣснилось сердце.

«Ты стараешься ободрить меня, — писалъ онъ ей. — Но если бы ты увидала того, къ кому обращены были твои слова, то они замерли бы на твоихъ губахъ. Умирающихъ не ободряютъ серьезно: имъ только лгутъ слова надежды. Ты пишешь, что я точно умышленно стараюсь уронить себя въ твоихъ глазахъ. Но если бы тебя случайно теперь поставили рядомъ со мною, ты отшатнулась бы въ ужасѣ отъ меня. Ты—воплощенная молодость и здоровье, я — преждевременное старчество и безсиліе. Смотря на меня теперь, ты поняла бы, что моя жизнь кончена, что мнѣ не нужно ни ободреній, ни надеждъ. Говоря это, я подписываю смертный приговоръ своей любви, я это знаю, но лгать передъ тобою я не хочу. Да и зачѣмъ? Вѣдь если бы ты теперь встрѣтила меня, то ты не могла бы любить меня, — ты могла бы жалѣть меня, сочувствовать мнѣ,—не любить полумертвую человѣческую развалину — любить тою любовью, которою должны любить другъ друга влюбленные — нѣтъ, это невозможно. Я пишу тебѣ эти строки, а мнѣ чудится, что я поднимаю тяжелый молотъ и наношу ударъ за ударомъ той любви, которая привязывала тебя ко мнѣ»...

Дѣйствительно, Антонъ не лгалъ: ему жилось тяжело, и онъ старался забыть свое горе среди кутежей. Онъ—этотъ скромный нѣмецкій философъ—появлялся теперь на всѣхъ оргіяхъ знакомой ему молодежи. Въ слѣдующемъ письмѣ онъ писалъ Марусѣ:

«Иногда мнѣ становится яснымъ, что я такъ жалокъ, такъ ничтоженъ только потому, что мнѣ недостаетъ умственныхъ способностей. Да и откуда же имъ взяться? Говорятъ, что мой прадѣдъ былъ неимовѣрный силачъ и здоровякъ: онъ гнулъ подковы и никогда не могъ допиться до того, чтобы свалиться съ ногъ. Говорятъ, что мой дѣдъ хотя былъ менѣе силенъ и здоровъ, былъ все-таки удалецъ: онъ увезъ тайкомъ отъ родителей свою возлюбленную и считался храбрецомъ на войнѣ. Но мой отецъ уже не отличался ни силою, ни удальствомъ, ни твердымъ характеромъ: въ немъ первомъ изъ нашего рода появилась потребность умственной дѣятельности, но эта потребность выразилась уродливо, нелѣпо, потому что все прошлое нашего рода не приготовило его къ этой дѣятельности. Наконецъ, явился я; меня уже съ колыбели предназначали играть роль представителя умственной, а не физической силы, но на мою долю выпала горькая обязанность расплатиться за грѣхи предковъ. Я родился хилымъ и слабымъ и мои физическія

силы нужно было поддержать искусственными мѣрами. Но теперь грубая физическая сила вышла изъ моды въ нашемъ родѣ и потому наша семья такъ же пренебрегала моимъ физическимъ развитіемъ, какъ она пренебрегала прежде умственнымъ развитіемъ своихъ членовъ. Но, къ несчастью, она не умѣла правильно повести непривычное ей дѣло: едва ли можно ожидать, чтобы у одного изъ потомковъ никогда не жившихъ умственною жизнью Грачовыхъ былъ сильный и здоровый мозгъ. Чтобы развить этотъ мозгъ, нужно было употребить не мало серьезныхъ усилій и осмотрительности, а этого-то нельзя было ожидать отъ тѣхъ, кто распоряжался моею судьбою. И вотъ, они, вмѣсто развитія моихъ умственныхъ способностей, только нарушили мою умственную спячку, перевернули все вверхъ дномъ въ моей слабой головѣ и сдѣлали изъ меня не просто дурака, а дурака, который воображалъ себя и умнымъ, и ученымъ... Ты опять скажешь, что я понапрасно топчу себя въ грязь, что если я додумался до того, что мнѣ дано неправильное развитіе, то я могу, значитъ, и постараться стать на лучшую дорогу. Но ты ошибаешься: я даже и не додумался до этого, а просто пишу тебѣ чужія мысли. Я ихъ похитилъ у нашего домашняго доктора Симоненко. Это шутъ, умный, какъ всѣ шуты, и онъ-то, смѣясь и балагуря, высказалъ мнѣ эти взгляды на меня и постарался доказать, что я самымъ естественнымъ образомъ дошелъ до того состоянія, въ которомъ я нахожусь теперь... Знаешь ли, иногда мнѣ кажется, что я схожу съ ума или, лучше сказать, что я уже сошелъ съ ума и что только порою во мнѣ являются свѣтлые проблески сознанія. Нѣтъ, ты не можешь, ты не можешь любить меня!»

Тяжелый молотъ наносилъ все бо́льшіе и бо́льшіе удары любви Маруси. Еще въ одномъ изъ писемъ Антонъ писалъ:

«Ты говоришь, что все мое несчастіе заключается въ томъ, что я занимаюсь только собою и однимъ собою, что я похожъ на больного, который, вмѣсто лѣченія своихъ ранъ, сталъ бы поминутно разсматривать, трогать и бередить ихъ. Ты совѣтуешь мнѣ прежде всего серьезно заняться какимъ-нибудь дѣломъ, отдаться какому-нибудь занятію и забыть хотя отчасти о своихъ больныхъ мѣстахъ, потому что всякая болѣзнь кажется мучительнѣе, когда только о ней думаешь. Но что же мнѣ дѣлать, если меня научили ни о комъ и ни о чемъ не думать, кромѣ какъ о себѣ? Я ста-

раюсь увлечься хотя чѣмъ-нибудь, но этого увлеченія нѣтъ; мнѣ все чуждо, кромѣ мысли о своемъ собственномъ я».

Такихъ писемъ получалось отъ Антона не мало. Тутъ были мучительныя проклятія своему безсилію, своей слабости, и въ то же время полное сознаніе, что отъ этой слабости, отъ этого безсилія онъ никогда не освободится. Тутъ были болѣзненныя просьбы о помощи, объ указаніи пути къ спасенію, и въ то же время безпощадное признаніе того, что помощи не явится, что путь къ спасенію не будетъ указанъ. Маруся читала эти письма сначала съ чувствомъ болѣзненнаго состраданія, потомъ она ждала ихъ со страхомъ: передъ нею началъ рисоваться образъ полусумасшедшаго человѣка, и ей становилось страшно за себя. Вѣдь она любила этого человѣка, она была готова связать свою судьбу съ судьбою этого человѣка. Что будетъ, если онъ нѣсколько поправится за границей, если его мать, наконецъ, согласится на ихъ бракъ? Не будетъ ли этотъ бракъ источникомъ ея страданій, вызываемыхъ вѣчными жалобами и самобичеваніемъ мужа, вѣчнымъ нытьемъ и безсиліемъ этого человѣка? Не лучше ли будетъ сказать этому человѣку во-время: «я тебя не люблю болѣе»? Но перенесетъ ли онъ это? Неужели рѣшиться сдѣлаться причиною смерти когда-то любимаго существа?

Маруся терялась отъ этихъ думъ, а кругомъ ея шла все болѣе и болѣе дѣятельная, все болѣе и болѣе тревожная жизнь. Ея семья переѣхала въ Петербургъ, потому что Маруся должна была держать экзаменъ. Тѣ семинаристы, которыхъ она когда-то называла «смѣшными» и «неуклюжими», съ которыми она потомъ зачитывалась новыми русскими книгами и журналами, теперь были уже студентами и переживали ту эпоху, когда жизнь пробуждаетъ въ человѣкѣ всѣ молодыя силы и когда онъ готовъ, въ свою очередь, будить всѣхъ и каждаго. Ихъ всѣхъ, а вмѣстѣ съ ними и Марусю, гораздо болѣе занимали какой-нибудь диспутъ въ университетѣ, какая-нибудь новая политико-экономическая статья, какая-нибудь публичная лекція, какой-нибудь новый слухъ о совершавшейся крестьянской реформѣ, чѣмъ оханье и стоны о своемъ безсиліи, о своей тряпичности, раздававшіеся изъ устъ какого-нибудь князя Антона Павловича Грачова. Маруся не умѣла лгать и потому въ каждомъ ея новомъ письмѣ все яснѣе и яснѣе проглядывало, что передъ нею выдвигается все болѣе и болѣе на первый планъ дѣйствительная жизнь, съ ея общечеловѣче-

скими волненіями и тревогами, и все безпощадніе и безпощадніе заслоняетъ образъ одной человѣческой единицы, съ ея мелочными сомнѣніями и жалобами. Антонъ, какъ нервный, склонный къ подозрительности человѣкъ, чутьемъ угадалъ, что онъ почти уже не занимаетъ мѣста въ сердцѣ Маруси.

Наконецъ, онъ высказалъ это прямо.

«Ты меня больше не любишь,—писалъ онъ:—или, вѣрнѣе сказать, ты меня никогда не любила. Да, ты меня никогда не любила. Ты просто позволила мнѣ любить себя, поддавшись новому сладкому для тебя чувству, пробужденному впервые слышаннымъ тобою словомъ «люблю». Вѣдь твои семинаристы сперва только въ горѣлки съ тобою играли, а потомъ только умныя книжки читали. Они въ сношеніяхъ съ женщиною или хлопаютъ ее по плечу да говорятъ ей: «что ты, братъ, какъ баба какая, киснешь», или сближаются съ ней, какъ животныя, грубо, неожиданно, мимоходомъ. Имъ ли доставить женщинѣ удовольствіе посентиментальничать! Вотъ почему я былъ интересенъ для тебя. Ты не обманывала меня, но ты обманывалась сама относительно своихъ чувствъ. Я теперь понялъ это... Что-жъ! однимъ ударомъ больше, однимъ меньше—это все равно. Я иду быстрыми шагами къ могилѣ... Прости меня, если я заставилъ тебя на зарѣ твоей жизни перестрадать несчастную любовь, прости уже ради того, что я доставилъ тебѣ хотя минуту счастья».

Маруся читала эти строки и странно казалось ей, что онѣ уже не пробуждали въ ней ни угрызеній совѣсти за чужую разбитую жизнь, ни слезъ о потерянныхъ мечтахъ, о своемъ счастьи.

Ей казалось, что она читаетъ развязку не своего, а чьего-то чужого романа.

Прошло около года послѣ моей встрѣчи съ Антономъ въ театрѣ.

Мнѣ снова пришлось быть проѣздомъ въ Ниццѣ. День моего пріѣзда въ городъ совпалъ съ послѣднимъ днемъ карнавала, и я поспѣшилъ на бульваръ, гдѣ, главнымъ образомъ, сосредоточивается карнавальный праздникъ.

Кто видѣлъ карнавалы въ большихъ итальянскихъ городахъ, тому, безъ сомнѣнія, покажется жалокъ и убогъ карнавалъ въ Ниццѣ. Грошовые костюмы, жидкія толпы замаскированныхъ, отсутствіе смѣшныхъ дурачествъ и эксцен-

тическихъ выходокъ, — все это дѣлаетъ здѣсь карнавалъ просто пародіей на большіе карнавалы и въ концѣ-концовъ навѣваетъ скуку, вмѣсто того опьяненія, которое выносится съ подобныхъ праздниковъ въ другихъ итальянскихъ городахъ. Я не принималъ никакого участія въ бѣготнѣ перояженной толпы и смотрѣлъ на нее сверху, добывъ себѣ удобное мѣсто. Замаскированные люди бродили внизу, перекидываясь конфетами и букетами; среди взрослыхъ сновали толпы мальчишекъ, ожидая какой-нибудь поживы; красивыхъ, аллегорическихъ группъ почти не было видно и только нѣкогда знаменитая пѣвица К., вышедшая замужъ за барона В. и оставившая сцену, по обыкновенію, привлекла всеобщее вниманіе, появившись въ костюмѣ вакханки, въ тигровой кожѣ, въ гирляндахъ изъ виноградныхъ листьевъ и гроздьевъ, окруженная цѣлой толпой сатировъ и тому подобныхъ спутниковъ. Эта группа вызвала всеобщій восторгъ при первомъ своемъ появленіи, но въ концѣ-концовъ надоѣла и она, такъ какъ нельзя же было восхищаться одною и тою же группою въ теченіе нѣсколькихъ часовъ.

Я началъ отъ скуки разсматривать людей, тѣснившихся въ окнахъ противоположныхъ домовъ, и мое вниманіе остановилось на одномъ окнѣ.

Это окно приходилось какъ разъ противъ меня. Въ немъ виднѣлась сгорбленная, худая фигура молодого человѣка съ остриженными подъ гребенку волосами, съ впалыми глазами, съ провалившимися щеками, горѣвшими чахоточнымъ, зловѣщимъ румянцемъ. Этотъ почти умирающій человѣкъ бросалъ внизъ маленькіе свертки обсахаренныхъ конфетъ, стараясь попасть ими въ голову кого-нибудь изъ собравшихся внизу мальчишекъ и простолюдиновъ. Когда ему удавалось попасть въ цѣль, онъ начиналъ хохотать и прекращалъ на нѣсколько минутъ свои маневры, задыхаясь отъ кашля, пароксизмы котораго постоянно слѣдовали за смѣхомъ. Отдохнувъ отъ кашля, онъ снова бросалъ свертки, иногда горстями, чтобы возбудить драку подбиравшей его конфеты толпы. Въ его смѣхѣ, въ выраженіи его лица, когда онъ перевѣшивался черезъ окно, чтобы посмотрѣть на драку, было что-то злорадное, недоброе. Мнѣ стало какъ-то тяжело смотрѣть на эту сцену, и я готовъ былъ отвернуться, какъ вдругъ за этой изможденной фигурой появилась другая, сіявшая здоровьемъ и блиставшая жиромъ, личность громадныхъ размѣровъ. Это былъ Симо-

ненко. Онъ увидалъ меня и замахалъ руками. Нагнувшись къ болѣзненному юношѣ, онъ что-то шепнулъ ему, и тотъ сталъ отыскивать меня глазами. Наконецъ, послѣ долгаго разсматриванья и переговоровъ съ Симоненко, онъ отыскалъ меня и дружески кивнулъ мнѣ головою.

«Неужели это Антонъ?» — невольно подумалъ я и сталъ всматриваться въ болѣзненное лицо юноши.

Да, это былъ онъ. Но можно ли было узнать въ этой почти обритой и исхудалой головѣ то еще довольно круглое личико съ кудрявыми бѣлокурыми волосами, которымъ годъ тому назадъ я любовался во французскомъ театрѣ?

Антонъ высыпалъ послѣднюю горсть конфетъ и сталъ дѣлать мнѣ телеграфическіе знаки, приглашая меня къ себѣ. Я рѣшился перейти къ нимъ, хоть это было не совсѣмъ легко. Минутъ черезъ десять или черезъ пятнадцать я былъ въ комнатѣ, нанятой на этотъ день Грачовымъ.

— Хорошо вы помните своихъ знакомыхъ; жили здѣсь прошлый годъ и не зашли къ намъ,—встрѣтилъ онъ меня, едва переступая навстрѣчу ко мнѣ.

— Я полагалъ, что вы меня совершенно забыли,—отвѣтилъ я, здороваясь съ нимъ и съ Симоненко.

— Я никого и ничего не забываю, —замѣтилъ какъ-то раздражительно Антонъ.

— Да, да, князь злопамятенъ,—вмѣшался Симоненко.— Видѣли вы, какъ онъ мстилъ сегодня ниццардамъ за то, что они уступили родной городъ французамъ? Онъ имъ не только порядкомъ наколотилъ головы, но и доводилъ ихъ до междоусобія, бросая имъ, какъ яблоко раздора, горсти конфетъ, твердыхъ, какъ камни. Я думаю, многіе отъ этого угощенія лишатся зубовъ.

— Ха-ха-ха!—захохоталъ Антонъ и глаза его засверкали зловѣщимъ блескомъ.—Видѣли вы, какъ трепали этого чумазаго мальчишку, успѣвшаго захватить горсть конфетъ? Что за рожи онъ корчилъ отъ боли! Ха-ха-ха!

Князь залился не то смѣхомъ, не то кашлемъ.

— Я ужъ и то едва уговорилъ князя не бросать каменьевъ, обернутыхъ въ бумагу, а то онъ вздумалъ вчера завернуть въ конфетныя бумажки горсть голышей, чтобы больнѣе было ловящимъ.

— Не дешево отдѣлались бы вы за это, — замѣтилъ я.

— И я то же самое говорилъ,—подтвердилъ Симоненко.

— Не дешево?.. Что же, вы думаете, что мнѣ для своего удовольствія денегъ жаль!

— Ну, князь, можетъ-быть, не деньгами, а своими боками пришлось бы поплатиться. А бока у насъ съ вами нѣжные,—засмѣялся Симоненко.

— Что? Боками? — загорячился князь. — Эхъ, вы! Докторъ, практикъ, старше меня на десятокъ лѣтъ, а не знаете людей. Ругайте, бейте, унижайте ихъ, но платите имъ деньги, и они все снесутъ. Вы видѣли, эти люди дрались не на шутку изъ-за горсти конфетъ. Изъ-за горсти золота они перерѣзали бы своихъ собратій. А вы толкуете о какой-то расплатѣ боками за то, что въ эту сволочь бросишь камнемъ. Полноте!

Въ эту минуту мнѣ бросилось какое-то сходство между голосомъ князя и голосомъ его матери: въ немъ звучали презрѣніе и надменность, только у княгини эти чувства высказывались холодно, а у князя примѣшивалась къ нимъ страстность.

— Вы, однако, не особенно хорошаго мнѣнія объ этой толпѣ,—замѣтилъ я.

— Я обо всѣхъ того же мнѣнія,—отвѣчалъ онъ:—Люди—дрянь. Неподкупныхъ людей нѣтъ. Подкупить можно каждаго человѣка: одного рублемъ, другого милліономъ рублей; одного лаской, другого угрозами...

— И нужно прибавить къ этому, что, молъ, меня, князя Антона Грачова, нельзя подкупить ничѣмъ, — засмѣялся Симоненко.

— Меня? — отозвался князь. — Да я все, все отдалъ бы за десятокъ лѣтъ здоровья.

— Ну тотъ, кто можетъ дать здоровье, не станетъ подкупать,—вздохнулъ Симоненко.

Наступило какое-то неловкое молчаніе.

— Поѣдемте, я усталъ,—отрывисто сказалъ князь.

Я хотѣлъ распрощаться съ своими старыми знакомцами, но Антонъ удержалъ меня.

— Я васъ не отпущу, вы ночуете и пробудете завтрашній день у насъ,—сказалъ онъ.

— Пожалуй, я приду къ вамъ завтра,—отвѣтилъ я.—Но зачѣмъ мнѣ ночевать у васъ? Я здѣсь остановился въ отелѣ.

— Да вѣдь мы не здѣсь живемъ, а въ Ментонѣ.

— Въ Ментонѣ? Такъ это вы для карнавала сюда пріѣзжали.

— Князь все такъ дѣлаетъ: сегодня здѣсь, завтра въ другомъ мѣстѣ,—замѣтилъ Симоненко.—Посидѣть на мѣстѣ не можетъ.

— Но вѣдь такъ нельзя лѣчиться.

— Да кто же вамъ сказалъ, что я лѣчусь? Я просто доживаю послѣдніе дни,—сухо замѣтилъ князь.

Я далъ знать въ отель, гдѣ я остановился, что я не возвращусь до слѣдующаго вечера, и мы поѣхали. Вечеръ былъ не особенно теплый, и князь кутался въ пледъ. Всю дорогу онъ находился въ какомъ-то дремотномъ состояніи, полузакрывъ глаза. Эти глаза, сверкавшіе нѣсколько минутъ тому назадъ лихорадочнымъ блескомъ, были теперь тусклы и блѣдны, какъ глаза мертвеца. На него было страшно смотрѣть. Только изрѣдка онъ покашливалъ безсильнымъ, мучительнымъ кашлемъ.

— Скоро мы пріѣдемъ?—раза два спросилъ онъ.

— Вы устали? — замѣтилъ я, глядя съ сожалѣніемъ на его осунувшееся лицо. Зато крѣпче уснете..

— Я вовсе не сплю,—глухо отозвался онъ.

Дѣйствительно, когда мы пріѣхали въ Ментонъ и вошли въ комнаты, занимаемыя княземъ, онъ очнулся. Припадки кашля, довольно слабые во время дороги, теперь сдѣлались сильнѣе и мучительнѣе. Несмотря на это, князь курилъ папиросу за папиросой.

— Вамъ не вредно курить?—спросилъ я.

— Спросите доктора, что мнѣ не вредно, — отвѣтилъ онъ. — Курить вредно, кислое ѣсть вредно, много ходить вредно, утомлять себя чтеніемъ вредно — однимъ словомъ, мнѣ вредно жить.

Я понялъ, что съ нимъ почти невозможно говорить. Просидѣвъ часа два въ его кабинетѣ, я съ Симоненко отправился въ отведенную мнѣ комнату.

— Онъ очень плохъ?—спросилъ я у Симоненко.

— Швахъ, очень швахъ, а хуже всего, что у него на чердакѣ безпорядокъ,— отвѣчалъ Симоненко.

Я вопросительно посмотрѣлъ на доктора.

— Идеи разныя вбилъ себѣ въ голову,— пояснилъ толстякъ:—ну, и свихнулся. Грачовы, знаете, всѣ не изъ далекихъ по уму, тоже и ея сіятельство, хотя женщина породистая, съ гоноромъ и съ душкомъ, а все же въ сущности-то она Коробочка: ей говорятъ — продай мертвыя души, а она пеньку предлагаетъ; ну, вотъ Антонъ Павловичъ умственнаго-то богатства и получилъ на три копейки, а тутъ эти притаціи случились, послѣднія-то крохи ума и испарились изъ головы. И добро бы еще благопріобрѣтенное что-нибудь было, а то нѣтъ: гувернеры да гувернантки

разные только и научили парле франсе да шпрехенъ зи дейтшъ.

Докторъ махнулъ рукой.

— Ну, ужъ и каша же у него въ головѣ! — продолжалъ онъ. — И жить-то ему хочется, и умереть-то онъ поскорѣй стремится, и мать-то онъ презираетъ, и себя топчетъ въ грязь, и говоритъ, что угнетенные сами виноваты въ своемъ угнетеніи, и жалуется, что его жизнь и счастье заѣдены матерью. Иногда не вѣришь, что все это одинъ и тотъ же человѣкъ говоритъ. Если въ немъ и есть что-нибудь постоянное, такъ это ненависть къ достоуважаемой княгинѣ. Умѣлъ онъ насолить ей. И вѣдь знаете ли, что? Эта норовистая особа иногда по три дня не смѣетъ переступить порогъ его комнаты.

Въ эту минуту въ комнату вошелъ лакей.

— Князь проситъ васъ къ себѣ, — обратился онъ къ Симоненко.

— Иду, иду,—отвѣтилъ докторъ.

— Вѣрно ему хуже сдѣлалось?—спросилъ я.

— Нѣтъ-съ, разговаривать желаютъ! Это у насъ всегда такъ: придетъ ночь — извольте сидѣть и разговаривать, — вздохнулъ Симоненко.

— Что же дѣлать, онъ больной,— замѣтилъ я.

— Батенька, да развѣ я-то здоровый? Что вы на мое брюхо-то смотрите? Это не отъ здоровья. Ей-Богу! Мы всѣ больные. Эхъ, пойдемъ потерпимъ муки!

Докторъ пожалъ мнѣ руку и вышелъ.

На другой день, часовъ въ десять утра, я зашелъ къ князю. Онъ курилъ сигару и сидѣлъ въ тѣхъ же креслахъ, въ которыхъ я оставилъ его наканунѣ.

— Велите опустить жалюзи, — раздражительно обратился ко мнѣ больной, ножимая мою руку. — Вѣдь это проклятое солнце невыносимо со своимъ праздничнымъ блескомъ! И зачѣмъ меня привезли сюда, гдѣ все ослѣпительно цвѣтетъ, дышитъ полною жизнью? Видѣть это яркое солнце, это безграничное море, залитое блескомъ, и знать, что ты, молодой, такъ страстно жаждущій жизни, умрешь, долженъ умереть завтра,—это пытка... И для чего они меня рѣшились терзать до послѣдней минуты? Для чего не увезли въ наше новгородское имѣніе, гдѣ въ виду развалившихся избъ, въ виду оборванныхъ зипуновъ, подъ сѣренькимъ небомъ, я, можетъ-быть, умеръ бы спокойно, безъ сожалѣній, понявъ, что не стоитъ жить, что жизнь—страданье.

Больной былъ раздраженъ до послѣдней степени.

— Вамъ здѣсь воздухъ полезенъ, — замѣтилъ я, не находя никакого утѣшенія.

— Воздухъ полезенъ?—вскричалъ больной.—Этотъ воздухъ, который раздражаетъ мои нервы, который ослѣпляетъ мои глаза? Полноте! этотъ воздухъ бѣситъ, терзаетъ, убиваетъ меня,—понимаете, убиваетъ!

Больной замолкъ и, тяжело переводя дыханіе, неподвижно лежалъ въ креслѣ. Я, между тѣмъ, велѣлъ спустить жалюзи, и мы очутились въ полумракѣ. Въ комнатѣ было тихо. Я молчалъ, больной дышалъ все слабѣе и слабѣе. Я думалъ, что онъ задремалъ, и сидѣлъ, не шевелясь на мѣстѣ, желая уйти, какъ только онъ уснетъ. Среди этой мертвой тишины все яснѣе и яснѣе слышался однообразный шумъ моря. Оно своими волнами наносило на отлогій берегъ голыши и потомъ снова катило ихъ назадъ,—это была работа Сизифа, никогда не прекращающаяся, никогда не смолкающая. Въ этомъ шумѣ перекатывающихся, отшлифованныхъ камней было что-то убійственно-однообразное, безрадостное.

— И вотъ такъ-то оно шумитъ всю ночь,—внезапно раздался голосъ Антона.—Всю ночь, не умолкая ни на минуту! Вѣдь отъ этого одного можно сойти съ ума!

Я не зналъ, что говорить.

— И хорошъ городъ: здѣсь ширь моря, прекрасные дома, праздношатающіеся богачи, а тамъ — (онъ указалъ по направленію къ старой части города)—тѣсные переулки, душные углы, грязь, нищета и невѣжество. А еще наверху пріютились эти голяки, точно хотятъ взять приступомъ эту богатую часть города, да въ теченіе трехсотъ лѣтъ все не могутъ надуматься. Иногда, проѣзжая мимо этихъ людей, я радъ обдать грязью ихъ лица, рвануть колесомъ ихъ рубище, засмѣяться имъ въ лицо, когда они, изможденные и больные протягиваютъ ко мнѣ руку за подаяніемъ. Я ихъ ненавижу за то, что они до сихъ поръ нищіе. И какъ здѣсь бьетъ въ глаза при блескѣ солнца вся эта нищета со своими лохмотьями, со своею грязью!

Въ эту минуту послышался легкій стукъ въ двери.

— Идутъ справляться, не умеръ ли я,—съ ироніей проговорилъ Антонъ и крикнулъ раздражительнымъ тономъ: — Войдите!

Въ комнату вошла княгиня. Я изумился перемѣнѣ въ ея лицѣ. Оно было худо, блѣдно, нѣсколько сморщено. Ея глаза были замѣтно воспалены, точно ей приходилось много

плакать. На ней было надѣто черное платье, и въ немъ она казалась еще худощавѣе.

— А, ты уже приготовила и трауръ, — поздоровался съ нею Антонъ. — Рекомендую тебѣ Петра Николаевича Гринева. Ты его, конечно, не могла замѣтить въ былые годы, такъ какъ онъ тогда былъ только гувернеромъ у барона.

Аврора Ѳедоровна протянула мнѣ руку, и въ легкомъ, дрожащемъ пожатіи этой руки было что-то такое болѣзненное, точно она хотѣла извиниться передо мною за себя или за сына.

— Кстати! Вы теперь имѣете положеніе въ свѣтѣ? — спросилъ меня Антонъ.

Я слегка наклонилъ голову въ знакъ согласія.

— Ну, и отлично, а то maman не любитъ, когда въ ея домъ вторгаются люди безъ положенія въ свѣтѣ, — замѣтилъ Антонъ.

— Что твое здоровье?—спросила княгиня.

— Скверно, скверно и скверно! Это старая пѣсня! Какъ тебѣ не надоѣстъ спрашивать! Или эти слова—такая пріятная мелодія для тебя?

— Я надѣялась...—начала княгиня.

— Ахъ, полно, пожалуйста,—перебилъ Антонъ.—Ну, на что ты могла надѣяться? На мою смерть, что ли? Вѣдь ты очень хорошо знаешь, что я скоро умру и что спасенія нѣтъ. Для чего же лгать о какихъ-то надеждахъ? Все у васъ фразы, фразы и фразы.

Княгиня хотѣла что-то сказать, но Антонъ остановилъ ее.

— Оставь, пожалуйста, насъ однихъ. Я давно не видался съ Петромъ Николаевичемъ и мнѣ хочется съ нимъ поговорить, пока онъ не бѣжалъ отсюда.

Княгиня обратилась ко мнѣ и проговорила:

— Я надѣюсь, что вы пробудете у насъ нѣсколько времени.

Я поклонился и самъ не знаю что пробормоталъ ей въ отвѣтъ. Княгиня вышла.

Я не могъ долго оставаться въ этой комнатѣ лицомъ къ лицу съ этимъ раздраженнымъ, близкимъ къ помѣшательству человѣкомъ. Я собрался пройтись по городу. Въ это время вошелъ Симоненко.

— А вы, князь, поѣдете кататься?—спросилъ онъ.

— Никуда я сегодня не поѣду, мнѣ скверно, — отвѣтилъ князь.

Симоненко вздохнулъ.

— Вы ступайте, я подремлю,— сказалъ ему Антонъ.

Симоненко былъ, видимо, радъ возможности ускользнуть отъ князя.

Мы пошли. День былъ ясный, всѣ ментонскіе больные были на улицѣ. На взморьѣ шла усиленная работа рыбаковъ. Мускулистые, точно вылитые изъ бронзы, почти нагіе мальчуганы лѣтъ пятнадцати и шестнадцати и нѣсколько стариковъ ловили рыбу, стаскивали въ море лодки. Праздношатающаяся толпа пріѣзжихъ любовалась этимъ зрѣлищемъ. Дамы щурили глаза и подносили къ нимъ лорнеты, точно любуясь античными статуями, а не живыми обнаженными юношами. Впрочемъ и то сказать: эти юноши были изъ мужиковъ. Я вздохнулъ свободнѣе, выбравшись изъ полутемной комнаты князя.

— Онъ просто жалокъ, — невольно вырвалось у меня, когда мы вышли на улицу.

— Скоро капутъ!— отвѣтилъ Симоненко.

— Вы ужъ черезчуръ хладнокровно смотрите на это.

— Да чего-жъ тутъ особенно сокрушаться? Ему будетъ покойнѣе, когда сверпется, а міръ, право, ничего не потеряетъ, если онъ умретъ: убудетъ одно лишнее брюхо, вотъ и все. Вотъ если бы рѣчь шла объ этихъ — (докторъ указалъ глазами на рыбаковъ-мальчиковъ),—тогда дѣло другое. Тутъ смерть человѣка заставитъ, пожалуй, голодать цѣлую семью. А князь Антонъ — кому онъ нуженъ? Умеръ — и слава Богу.

Я молчалъ.

— Вѣдь тоже если бы онъ и могъ остаться въ живыхъ, такъ радости-то вышло бы не много: въ самомъ счастливомъ случаѣ вышелъ бы изъ него *типъ кровс* или самодуръ въ новѣйшемъ вкусѣ—и только. Это вѣдь выродившійся правнукъ того Ивана Грачова, который, говорятъ, подковы щутя разгибалъ, пилъ за десятерыхъ, съ коня по цѣлымъ днямъ не слѣзалъ на охотѣ, цѣлый гаремъ содержалъ и все-таки былъ здоровъ, какъ волъ. А этотъ что? къ животной жизни приготовлять его считали уже несовременнымъ, а для подготовки къ духовной, къ умственной жизни не нашлось ни умѣнья у распорядителей его жизни, ни здороваго мозга у него самого. Знаете вы, что онъ въ сущности такое?—вдругъ спросилъ Симоненко, и, не дожидаясь моего отвѣта, продолжалъ:— онъ тотъ же князь Павелъ Петровичъ, только изнервничавшійся, какъ женщина. Будь у него болѣе выносливые нервы — и жилъ бы онъ весь вѣкъ дуракомъ, слывя за

умнаго, дослужился бы до чиновъ извѣстныхъ и умеръ бы уважаемымъ человѣкомъ. Ну, а нервы все дѣло испортили. Ради нихъ изъ него и не вышелъ уважаемый человѣкъ... Его тщедушное тѣло вонъ даже и на удобреніе не пойдетъ,— уже смѣялся Симоненко.—Положатъ его косточки въ свинцовый гробъ, поставятъ его гробъ въ фамильный склепъ, и будетъ онъ тамъ тлѣть до второго пришествія.

— Вы, докторъ, философствовать начинаете,—замѣтилъ я.

— Да это потому, что перекусить еще сегодня не удалось.

— Ахъ да, я и забылъ, что настроеніе вашего духа и характеръ вашихъ взглядовъ зависитъ только отъ того или другого количества закуски.

— Ке феръ, ке феръ, монъ шеръ! — комично вздохнулъ докторъ: — я вѣдь покуда тоже только ходячее брюхо и больше ничего.

Прошло два года.

Посѣщая по дѣламъ одну изъ нашихъ тюремъ, я совершенно случайно наткнулся на одну важную барыню, принимавшую дѣятельное участіе въ положеніи тюрьмы. Это была высокая, худая, желтая особа съ крупными морщинами на лбу, съ потухшими, нѣсколько тупыми глазами, съ мягкимъ и ровнымъ голосомъ, въ которомъ опытный наблюдатель могъ замѣтить извѣстную долю дѣланной вкрадчивости и фарисейскаго смиренія. У нея въ рукахъ была постоянно записная книжечка, куда она заносила просьбы преступниковъ. Въ ея карманѣ можно было найти всегда маленькія книжечки или «Новаго Завѣта» или «Молитвенниковъ». Она по преимуществу интересовалась участью падшихъ женщинъ, дѣтей, крестьянъ. Я не обратилъ бы на нее никакого вниманія, если бы мнѣ не назвали ея фамиліи, — это была княгиня Грачова, но ее уже звали не Авророй, а Александрой Ѳедоровной, такъ какъ она приняла православіе, чтобы имѣть возможность лежать въ могилѣ рядомъ съ своимъ сыномъ.

Ея имя стало часто появляться въ газетахъ, о ней много говорили въ обществѣ. Она слыла одною изъ самыхъ щедрыхъ благотворительницъ. Она устраивала разныя филантропическія общества, принимала къ себѣ всевозможныхъ просителей, сама посѣщала бѣдныхъ, имѣла дѣятельныя сношенія съ духовенствомъ, обращала язычниковъ, католиковъ и евреевъ въ православіе, пользовалась сильнымъ

вліяніемъ въ офиціальномъ и финансовомъ мірѣ при помощи своихъ родственныхъ связей и своего богатства.

Однажды, встрѣтивъ доктора Симоненко, я узналъ, что онъ тоже принимаетъ участіе во всѣхъ обществахъ и учрежденіяхъ княгини, и разговорился о ней.

— Да, она очень благотворительная особа, — замѣтилъ онъ.—Ну, да ей можно бросать сотни и тысячи рублей. Ей вѣдь теперь приносятъ огромные доходы ея желѣзные заводы. Вотъ и посейчасъ сколько ей стоятъ хлопоты о пяти мужичкахъ, которые работали у нея на заводахъ да попались за грабежъ и теперь сидятъ здѣсь въ тюрьмѣ. Она ихъ уже почти довела до раскаянья.

Докторъ вздохнулъ.

— Да-съ, ей можно благотворить: она вонъ какую-нибудь концессію желѣзнодорожную выхлопочетъ, а глядишь, желѣзнодорожникъ внесетъ тысячи три въ одно изъ благотворительныхъ обществъ, гдѣ она участвуетъ.

— Теперь, значитъ, и вы уже не называете ее Коробочкой?—засмѣялся я.

— Напротивъ, теперь-то я и убѣдился вполнѣ, что она Коробочка, Коробочка-благотворительница.

— Но вѣдь вы же принимали участіе въ затѣяхъ этой Коробочки-благотворительницы!

— Эхъ вы! Зато я, батюшка, теперь модный докторъ, въ какихъ салонахъ бываю, съ какими тузами дѣла веду! Я вѣдь, батюшка, все попрежнему—ходячее брюхо.

— И только?

— И только, потому что мы въ такое время живемъ. Теперь нужно быть или человѣкомъ-брюхомъ, или Діогеномъ, подъ бочкой спать. Ну, а подъ бочкой спать у насъ не по климату.

МУЖЪ И ЖЕНА.

I.

«Да оставитъ человѣкъ отца и матерь свою и прилѣпится къ женѣ своей и будутъ два плоть едина». Къ этимъ словамъ я должна была прислушиваться въ ту минуту, когда я навсегда соединялась съ Максимомъ. Но я ихъ не слыхала тогда. Я только недавно прочла ихъ случайно, задумалась надъ ними. Только теперь я поняла ихъ глубокій смыслъ, только теперь я поняла, что все счастье супружеской жизни зависитъ отъ исполненія этой заповѣди, и что исполнитъ эту заповѣдь не могли ни Максимъ, ни я. Вотъ почему мы оба были несчастны. Впрочемъ, нѣтъ. Несчастна была только я, а онъ даже и не подозрѣвалъ о моемъ несчастіи...»

Часъ тому назадъ я прочиталъ эти строки въ тетради, исписанной мелкимъ почеркомъ моей жены.

Я прочиталъ ихъ совершенно случайно, отыскивая въ ея столѣ чистый конвертъ. Я прочелъ ихъ совершенно невольно, безъ задней мысли, безъ всякихъ подозрѣній.

Дочитавъ послѣднюю строку, я какъ-то безсмысленно положилъ тетрадь снова на старое мѣсто и хотѣлъ выйти изъ комнаты. Я дошелъ уже до дверей и, словно что-то внезапно вспомнивъ, опять вернулся назадъ, опять взялъ эту тетрадь и сталъ перелистывать ея страницы.

«Я не вдругъ поняла, что я не пара Максиму, что я не могу быть съ нимъ счастлива,—говорилось въ дневникѣ.— Онъ человѣкъ закаленный въ нуждѣ, нашедшій себѣ опредѣленное, полезное дѣло, а я вполнѣ дѣвочка, съ неопредѣлившимися стремленіями, съ какими-то смутными порывами.

Онъ цѣлый день занятъ своей практикой, посвященіемъ бѣдныхъ больныхъ, учеными изысканіями, а я—я цѣлый день остаюсь одна дома, не зная, что съ собою подѣлать. Выѣзжать въ общество одной, веселиться на балахъ, когда онъ трудится и для пользы человѣчества, и для поддержанія своей семьи,—мнѣ стыдно. Играть роль благотворительницы, ѣздить по филантропическимъ комитетамъ—я не могу: онъ пріучилъ меня не вѣрить въ пользу нашей филантропіи, да мнѣ и неловко было бы тратить на благотворенія его деньги, добываемыя упорнымъ трудомъ и нужныя на болѣе полезныя его предпріятія. Я могла бы заняться домашнею работою, работой жены и хозяйки, но развѣ я могу это сдѣлать? У него есть мать, у него есть тетка. Эти добрыя и честныя старушки давно уже посвятили ему всю свою жизнь и дѣлаютъ все, что нужно дѣлать въ домѣ. Отнять у нихъ право на эти хлопоты и заботы, лишить ихъ значенія хозяекъ было бы съ моей стороны безсердечіемъ,—да я и не сумѣла бы исполнить все то, что исполняютъ онѣ. Меня не пріучили ни къ чему: я была барышней и только; теперь я играю роль любовницы своего мужа, и не болѣе того. Да, я не жена, не хозяйка, а любовница своего мужа. Я живу у него на содержаніи и отплачиваю за это только тѣмъ, что позволяю ему ласкать себя въ то время, когда онъ свободенъ отъ занятій. Эти часы рѣдки. Иногда мнѣ даже кажется, что онъ могъ бы вовсе обойтись безъ этихъ ласкъ, такъ какъ онѣ уже не составляютъ для него необходимой потребности; онѣ, можетъ-быть, гораздо нужнѣе мнѣ, чѣмъ ему. И то сказать, я еще такъ молода, а онъ уже пожилъ, онъ уже почти отжилъ. Я чувствую иногда какое-то униженіе. Я краснѣю отъ стыда, когда порою я вхожу къ нему въ кабинетъ, обнимаю его, ласкаюсь къ нему, какъ ребенокъ, а онъ, цѣлуя меня нѣжно въ голову, говоритъ мнѣ:

«— Ну, голубка, у меня еще есть спѣшная работа...

«Я ухожу смущенная, сконфуженная; я мѣшаю ему своею любовью... Впрочемъ, я всѣмъ мѣшаю въ этомъ домѣ, и если меня здѣсь не оскорбляютъ, такъ это только потому, что всѣ люди здѣсь безконечно добры. Вмѣшиваясь въ хозяйство, я мѣшаю его матери; принимаясь за шитье, я мѣшаю его теткѣ; начиная скучать, я безпокою и тревожу всѣхъ, потому что они не понимаютъ ни моей тревоги, ни моей скуки и, любя меня, стараются доискаться причины моего недовольства жизнью, боятся за себя, полагая, что они сдѣлали какую-нибудь непріятность мнѣ... А я не могу

успокоить ихъ, сказавъ имъ правду, сказавъ имъ, что я стрекоза въ муравьиномъ гнѣздѣ, что для нашего общаго счастья нужно одно: мнѣ нужно уйти отъ нихъ».

Я читалъ, вдумывался въ каждую фразу, перечитывалъ каждое слово. Я, кажется, хотѣлъ заучить все написанное наизусть, какъ старается школьникъ заучить трудный урокъ.

Въ комнатѣ послышались чьи-то шаги... и я поспѣшно сунулъ тетрадь въ столъ. Въ моей головѣ мелькнула мысль, что это идетъ жена. Но я тотчасъ же горько усмѣхнулся, вспомнивъ, что моя жена не можетъ придти въ эту комнату теперь, что, можетъ-быть, она не придетъ сюда никогда.

— Отвѣтъ-съ будетъ?—раздался позади меня голосъ нашей горничной.

— Отвѣтъ? Что же я могу отвѣчать!—воскликнулъ я, не сознавая, что говорю.

— Такъ прикажете лакею идти?—спросила еще разъ горничная.

— Лакею?—пробормоталъ я, потирая лобъ и стараясь понять, въ чемъ дѣло.

— Вы приказали ему ждать вашего письма,—пояснила горничная.—Онъ уже часа два ждетъ.

— А! да, да!—вспомнилъ я.—Сейчасъ, сейчасъ... Я искалъ конверта...

Я взялъ конвертъ, надписалъ адресъ, вложилъ написанное мною письмо и отдалъ его горничной.

Я никакъ не думалъ, что провелъ въ кабинетѣ моей жены такъ много времени. Два часа! Мнѣ казалось, что это была одна минута, тяжелая, мучительная минута, въ теченіе которой я передумалъ обо всей нашей прошлой жизни. Да, эта тетрадь, какъ молнія, внезапно озарила предо мною картину моего прошлаго, и я съ ужасомъ отступилъ предъ этою картиною. Я въ ней не узналъ копіи съ моей мирной, счастливой, спокойной семейной жизни. А между тѣмъ, это была вполнѣ вѣрная, вполнѣ правдивая копія съ этой жизни. Гдѣ же у меня были глаза прежде? Почему я не видалъ прежде того, что я, увидалъ теперь? Отчего я не понималъ совершающейся въ моемъ домѣ драмы? И развѣ трудно было ее понять?

Вѣдь все совершившееся, все, о чемъ говорится въ запискахъ моей жены, было въ порядкѣ вещей, было неизбѣжно: если бы дѣла сложились иначе—это было бы чистою случайностью. Я долженъ былъ понять все это раньше. Но я не понялъ, не считалъ нужнымъ понимать, заниматься

этими мелочами жизни. Я, во что бы то ни стало, хотѣлъ быть счастливымъ; я хотѣлъ наслаждаться счастьемъ безъ думъ, безъ размышленій; я анализировалъ все постороннее мнѣ, судилъ обо всемъ не касавшемся нашей семейной жизни, являлся строгимъ критикомъ людскихъ отношеній и закрывалъ глаза только передъ тѣмъ, что совершалось у моего домашняго очага, закрывалъ ихъ такъ плотно, такъ упорно, что понадобились эти записки, чтобы я очнулся, чтобы я трезво взглянулъ на самого себя, на свое поведеніе. Конечно, все равно, самъ ли проснется человѣкъ, или его разбудятъ, но не все равно, въ какое время настанетъ пробужденіе. Иногда могутъ разбудить слишкомъ поздно. Это случилось и со мною: меня разбудили, быть-можетъ, слишкомъ поздно и хуже всего то, что я проснулся только для того, чтобы понять, что я почти убилъ любимое, дорогое мнѣ существо—свою жену. И съ какою чисто «мужскою», чисто «докторскою» тупостью, съ какою безсердечностью, съ какимъ отсутствіемъ всякой чуткости совершалъ я это дѣло! Я видѣлъ заплаканные глаза и говорилъ: «вѣрно нервы расходились», «ногода вліяетъ». Я видѣлъ блѣдность лица и ораторствовалъ «о недостаткѣ моціона», «о вредной привычкѣ женщинъ сидѣть дома», «о пользѣ рюмки краснаго вина за столомъ», «о необходимости сырой говядины», «о женщинахъ, по своей винѣ страдающихъ малокровіемъ», «объ узкихъ корсетахъ». Я слышалъ первые припадки кашля и сердился на легкіе наряды, въ которыхъ такъ не трудно простудиться послѣ бала, послѣ театра. Скажу болѣе, я ощущалъ даже какое-то радостное чувство, замѣтивъ однажды, что у жены являются какіе-то новые капризы, что ея лицо получило какой-то особенный цвѣтъ,— и осторожно старался вывѣдать, не объ испытываемыхъ женою страданіяхъ, а о томъ, не готовитъ ли судьба для меня новой радости, не буду ли я отцомъ. А внутренняя жизнь жены? О, о ней я не подумалъ, не спросилъ ни разу! И что было спрашивать? Жену всѣ любятъ, мы обожаемъ другъ друга, она не терпитъ недостатковъ, она полная хозяйка въ домѣ. Чего же спрашивать о ея внутренней жизни? Это свѣтлый рай. И вотъ теперь я узнаю, что этотъ свѣтлый рай былъ мрачнымъ адомъ для моей жены.

Она подробно описала эту жизнь, и это описаніе является обвинительнымъ актомъ въ отношеніи ко мнѣ. Я ничего не стану, не могу отрицать изъ того, въ чемъ обвиняетъ меня этотъ документъ. Я просто, какъ подсудимый, только раз-

скажу свою предшествовавшую жизнь,—разскажу ее, впрочемъ, не для того, чтобы получить прощеніе—тутъ дѣло не въ прощеніяхъ и наказаніяхъ—а для того, чтобы разсѣяться. Мнѣ тяжело молчать, мнѣ нужно говорить, разсказывать, бесѣдовать, иначе я сойду съ ума въ эти безсонныя, безмолвныя ночи, тишина которыхъ только изрѣдка прерывается хлопотами около постели моей жены, да рѣдкими вздохами моей матери и моей тетки, попеременно сидящихъ у постели больной. Сколько разъ пробовалъ я уговаривать старушекъ возложить на меня обязанность сидѣлки, но онѣ постоянно замѣчали мнѣ:

— Полно, голубчикъ, кому же и ходить за нею, какъ не намъ!.. Душу бы за нее отдали!..

Да, онѣ не лгутъ: онѣ, добрыя, простыя созданія, отдали бы за нее душу. Я боялся, что женѣ тяжело слышать, какъ иногда вырываются у нихъ изъ груди тяжелые, невольные вздохи, и спросилъ, не хочетъ ли она, чтобы у ея постели сидѣлъ кто-нибудь изъ прислуги, изъ ея родни, изъ постороннихъ.

— Нѣтъ, мой другъ, онѣ такія добрыя, онѣ такъ ухаживаютъ за мной!—говоритъ она.—И я такъ люблю ихъ.

И она не лжетъ. Да, мы всѣ любимъ другъ друга и, между тѣмъ, мы убили ее.

II.

Мой отецъ, Иванъ Дмитріевичъ Гридинъ, былъ жалкій, бѣдный чиновникъ, удаленный новымъ начальникомъ со службы за какую-то невѣрно переписанную бумагу. Впрочемъ, его сослуживцы говорили, что невѣрно переписанная бумага была тутъ ни при чемъ и что главною причиною отставки была «звѣроподобная» физіономія моего отца, не нравившаяся вообще никому и еще болѣе не понравившаяся его новому начальнику. Отецъ же, когда онъ бывалъ пьянъ, а онъ пилъ постоянно послѣ отставки, говорилъ, что онъ «пострадалъ за честность». Людскіе взгляды даже на самыя микроскопическія явленія всегда бываютъ различны, и я не берусь рѣшить, который изъ этихъ трехъ мотивовъ вызвалъ отставку моего отца, такъ какъ это для меня не имѣетъ ровно никакого значенія.

Я помню только одно, что вслѣдствіе этой отставки мы остались почти нищими и имѣли несчастіе ежедневно слышать, какъ бушевалъ отецъ, угрожая избить до полусмерти меня, моихъ двухъ младшихъ братьевъ и мою маленькую сестренку.

– Нарожала!—кричалъ онъ нашей матери, точно она была единственной виновницей нашего существованія.

Въ эти минуты нашимъ ангеломъ-хранителемъ являлась наша мать.

Это была простая, худенькая, рано состарѣвшаяся женщина, неспособная обидѣть и мухи, боявшаяся домовыхъ, трехъ свѣчей на столѣ, просыпанной за обѣдомъ соли, воющей подъ окномъ собаки, черной кошки, перебѣжавшей дорогу, писавшая мѣломъ кресты наканунѣ «Крещенья», но позабывавшая всѣ ужасы, когда дѣло шло о защитѣ дѣтей. У нея являлся громкій голосъ, у нея являлась сила, у нея являлось геройское мужество, когда нужно было стать грудью за насъ. И сколько разъ приходилось ей быть героиней.

Люди, хорошо знавшіе ее, говорили, что «Марья Петровна недалекая женщина»,—говорили такъ, главнымъ образомъ, потому, что она не умѣла смолоду прибрать къ рукамъ мужа, потому что она не умѣла пролѣзать въ дома разныхъ благодѣтелей, потому что она не умѣла обсуждать чужихъ дѣлъ и говорила, слушая исторіи про ближнихъ:

— Богъ съ ними! не намъ другихъ судить!

Дѣйствительно, ея умъ не принадлежалъ къ числу сильныхъ практическихъ умовъ: она не умѣла «извернуться» въ тяжелыя минуты, она не могла сразу сообразить, какъ выгоднѣе поступить въ томъ или другомъ случаѣ, она была неспособна изобрѣтать средства для своего спасенія подобно тому маленькому еврею, которому его отецъ далъ «злотый», приказавъ прокормиться въ теченіе дня и вечеромъ принести «злотый» обратно. Но когда нужно было спасти насъ отъ голода—мать спасала. Когда нужно было опредѣлить меня въ гимназію—мать опредѣлила. Это явленіе довольно трудно понять, но это было такъ; умъ этой женщины просыпался, когда ей нужно было являться въ роли матери.

Почему сошлась она съ моимъ отцомъ—я не могу опредѣлить вполнѣ ясно. Вообще въ заключеніи большей части супружескихъ союзовъ трудно найти какой-нибудь здравый смыслъ, какія-нибудь логическія основанія. Люди, къ сожалѣнію, слишкомъ легко относятся къ этому важному шагу въ жизни. Быть-можетъ, отецъ разжалобилъ мать тѣмъ, что былъ одинокимъ безроднымъ бобылемъ, толковавшимъ довольно пространно и чувствительно съ семинарскимъ краснорѣчіемъ о «козняхъ враговъ», о «гоненіяхъ со стороны начальства», о «превратностяхъ судьбы», превратившихъ его изъ безшабашнаго бурсака въ мелкаго чиновника. Быть-

можетъ, ее увлекла его артистическая натура: отецъ любилъ рисовать и изображалъ масляными красками какія-то мрачныя убійства, говоря, что это сцены изъ «Отелло», изъ «Гамлета», хотя герои этихъ сценъ выходили у него постоянно съ очень черными лицами, съ очень длинными руками, съ неизмѣнно косыми, вытаращенными глазами, и Шекспиръ, вѣроятно, не узналъ бы въ нихъ созданныхъ имъ образовъ; отецъ иногда любилъ принимать участіе въ любительскихъ спектакляхъ, изображая постоянно героевъ съ звѣрскими инстинктами и пламенными страстями, при чемъ онъ считалъ необходимымъ размахивать руками и не говорить, а рычать нечеловѣческимъ голосомъ; отецъ очень часто, подыгрывая на гитарѣ, пѣвалъ мрачнымъ носовымъ тономъ о томъ, какъ «дубъ, одинъ, одинъ бѣдняжечка» растетъ «на гладкой высотѣ», или какъ «подъ вечеръ осени ненастной» дѣва несла «плодъ несчастной любви». Быть-можетъ, мать сошлась съ нимъ просто потому, что онъ первый сказалъ ей, одинокой, бѣдной дѣвѣ, страстное: «я тебя люблю». Какъ бы то ни было, но мать полюбила его и вышла за него замужъ, несмотря на всѣ возраженія его сестры, Дарьи Дмитріевны Черепниной. Дарья Дмитріевна, женщина серьезная, рѣзкая и не стѣснявшаяся говорить людямъ въ глаза правду, безъ церемоніи сказала молодой невѣстѣ, что она лѣзетъ сама въ петлю.

— Да вы съ ума сошли, что идете за моего брата,— говорила она.—Онъ и самъ погибнетъ, и васъ погубитъ.

— Я его люблю!—отвѣчала застѣнчиво невѣста.

— Есть кого любить! Много такихъ-то подъ заборами умираетъ.

Невѣста простодушно передала эти слова своему жениху и онъ, «гонимый всѣми», устроилъ бурную сцену своей сестрѣ, вслѣдствіе чего произошелъ полный разрывъ между братомъ и сестрой. Послѣ разрыва съ сестрою, братъ поторопился свадьбою, и ни онъ, ни его жена не дѣлали никакихъ попытокъ для встрѣчи или сближенія съ Дарьей Дмитріевной. Мужъ разсказывалъ разные ужасы о «властолюбіи этой безсердечной женщины»; простодушная жена вѣрила ему на-слово и составила себѣ понятіе объ этой женщинѣ, какъ о воплощеніи какой-то ужасающей суровости и холодности.

Когда мы, дѣти, слишкомъ сильно шалили, отецъ говорилъ:

— Васъ бы къ теткѣ Дарьѣ отправить. Она бы васъ вышколила.

И моя тетка дѣлалась для насъ пугаломъ.

Но судьба привела насъ къ сближенію съ ней, когда отецъ потерялъ свое мѣсто и началъ пить безъ просыпу.

Я помню тотъ день, когда мать пошла со мною, чтобы просить одну важную особу о моемъ опредѣленіи въ гимназію. Покровительство этой особы было нашею послѣднею надеждой. Мать всю дорогу шептала какія-то молитвы, поминала царя Давида съ его кротостью, крестилась на каждомъ перекресткѣ, твердила имена Козьмы и Демьяна безсребренниковъ и повторяла мнѣ:

— Молись, Максимушка, молись, голубчикъ!

Она была сама на себя не похожа, когда она входила въ богатыя комнаты важной особы.

— Вы бы его лучше ремеслу какому-нибудь учиться отдали,—посовѣтовала особа, окинувъ глазами наши убогіе наряды и, вѣроятно, замѣтивъ на моемъ сапогѣ ту предательскую дырку, съ которой я все время не спускалъ глазъ.

— Забьютъ, забьютъ его тамъ, ваше превосходительство. Я вѣдь знаю эту жизнь,—произнесла мать.—А онъ сынъ, сынъ мнѣ!

— Да, а въ гимназіи онъ все равно не кончитъ курса,—совершенно основательно сообразила особа:—вамъ его содержать будетъ трудно, да и ему учиться будетъ неудобно. Вы, вѣроятно, тѣсно живете.

— Да я на улицѣ жить буду, только бы ему не мѣшать,—воскликнула мать.—Я лучше по-міру пойду, только бы онъ учился.

— Но я... я, право, не могу принять его на казенный счетъ,—затруднялась особа.

— Будьте отцомъ роднымъ, ваше превосходительство,—плакала мать.

— Эхъ, какія вы, право!—начинала сердиться особа.—Говорятъ вамъ, это невозможно!

— Ну, ради самого Создателя! Ради...

Особа уже окончательно разсердилась на навязчивость моей матери.

— Меня ждутъ-съ другіе просители!—рѣзко проговорило его превосходительство.

— Батюшка, для матери!—простонала мать и хотѣла словить руку особы.

Генералъ быстро пошелъ прочь.

— Да сжальтесь же! Вѣдь есть же и у васъ дѣти!—простонала мать и рухнулась на полъ.

Ее кое-какъ привели въ чувство и вывели на улицу. Она не могла понять, что она требовала невозможнаго.

— Да нѣтъ, нѣтъ, голубчикъ ты мой, не погубятъ они тебя!—рыдала она.—Не дамъ я погубить тебя! Пойдемъ къ теткѣ Дарьѣ, пойдемъ, въ ногахъ у нея выкланяюсь, а тебя опредѣлю...

Я вытаращилъ свои глазенки и съ недоумѣніемъ смотрѣлъ на мать. Мнѣ казалось, что я ослышался. Я зналъ, что моя тетка имѣла кое-какое состояніе, доставшееся ей послѣ смерти ея мужа. Я слышалъ, что она была женщина нѣсколько образованная, съ твердымъ характеромъ, очень самолюбивая и недовѣрчивая. Всѣ эти качества ея характера выработались въ тяжелой школѣ: она провела молодость въ гувернанткахъ третьяго сорта. Когда-то она была дружна съ отцомъ, она помогла ему подняться на ноги, то-есть окончить ученье въ бурсѣ. Потомъ она настаивала, чтобы онъ шелъ въ университетъ, но отецъ влюбился въ мою мать и женился на ней. Съ этого времени, братъ и сестра перестали видѣться. Сестра, слыша, какъ плохо идутъ дѣла отца, стала обвинять мою мать за то, что та не умѣла «поддержать» мужа. Мать очень хорошо знала, какія чувства питаетъ къ ней Дарья Дмитріевна, и боялась даже попадаться на дорогѣ этой женщинѣ. Теперь же она шла къ ней въ домъ, — шла, вполнѣ зная, какъ могутъ ее встрѣтить въ этомъ домѣ.

Когда мы переступили порогъ гостиной Дарьи Дмитріевны, матушка, блѣдная и похолодѣвшая отъ страху, но полная рѣшимости, робко и тихо перекрестилась. Дарья Дмитріевна вышла къ намъ изъ другой комнаты. Это была коренастая, невысокая женщина въ большомъ чепцѣ, шумѣвшая на ходу крѣпко накрахмаленной юбкой и сурово сдвигавшая брови.

— Съ братомъ случилось что-нибудь?—быстро и отрывисто спросила она, и въ ея голосѣ послышалось худо скрытое волненіе.

— Нѣтъ, Ваня, слава Богу,—начала матушка.

— Слава Богу, слава Богу!—грубо и скороговоркой передразнила ее Дарья Дмитріевна и еще болѣе нахмурила брови.—Загубили человѣка, да теперь и поете: «славу Богу!»

— Ну, за это меня Богъ накажетъ, а не людямъ судить,—тихо замѣтила матушка.—Я къ вамъ за милостыней пришла.

— А! милостыню сбирать начали!—ѣдко замѣтила Дарья Дмитріевна.

— Не сбирала еще, а вотъ у васъ просить хочу,—продолжала матушка.

— Ну, я нищимъ не подаю! Руки есть, такъ пусть работаютъ!

— Какія руки-то? Что онъ можетъ работать? — указала матушка на меня.—Выучить прежде надо.

— Ну, и учите!—пробормотала Дарья Дмитріевна, отвернувшись въ сторону.

— Я и пришла просить... помогите,—кротко промолвила матушка.

— То-то: помогите!—тетка вздернула голову и взглянула на меня зоркими и суровыми глазами.

Я стоялъ, угрюмо потупивъ голову и недружелюбно смотря исподлобья на нее.

— Ишь, волчонкомъ какимъ смотритъ! — проговорила Дарья Дмитріевна, и по ея лицу скользнуло что-то въ родѣ улыбки.

— Онъ робокъ... въ первый разъ васъ видитъ,—начала боязливо мать оправдывать меня.

— Глупости!—перебила ее сквозь зубы тетка.—Въ меня, потому такъ и смотритъ...

Она взяла меня за подбородокъ широкою, почти мужскою рукою и грубо вздернула мою голову кверху.

— Ты учиться-то будешь? Или такъ на вѣтеръ за тебя деньги будутъ бросать?—спросила она меня.—А?

— Буду учиться,—хмуро отвѣтилъ я и движеніемъ головы упрямо освободилъ свой подбородокъ изъ ея руки.

— Что, не любишь этого? — усмѣхнулась она. — Ужъ счастье ваше, что онъ въ меня,—обратилась она къ матери.—Отдавайте, буду платить...

Мать стала изливаться въ благодарностяхъ.

— Ну, ну, нечего миндальничать!—перебила ее тетка.—Сапоги-то, сапоги у него какіе, вы взгляните!

Мать растерялась и не знала, что сказать; она давно уже знала, какіе у меня сапоги.

— Что-жъ, вы его въ этой амуниціи въ гимназію-то поведете, что ли?—спросила Дарья Дмитріевна.

— Ужъ гдѣ же...—вздохнула мать.

— Ну, такъ и договаривали бы, чего у него недостаетъ. Тоже не на посмѣшище школьникамъ его вести будетъ надо...

— Добрая вы, добрая женщина!—заплакала мать.

— Оно и видно, что доброй вы меня считали: въ десять

лѣтъ въ первый разъ пришли!—сурово произнесла Дарья Дмитріевна и отвернулась.

— Да кѣдь все равно, не стали бы вы вѣрить, что я изъ расположенія къ вамъ хожу въ вашъ домъ; за деньгами, думали бы,—проговорила мать.

— А вотъ, пришли же.

— Не для себя,—послышался тихій отвѣтъ.

— Не для себя! Вотъ и видно, какою доброю вы меня считаете,—рѣзко пробормотала тетка и обернулась ко мнѣ:—Ты, волчонокъ, оставайся здѣсь. Пойдемъ сапоги покупать, обмундировываться... Бѣлье есть?—отрывисто обратилась она къ моей матери.

Мать только рукой махнула.

Черезъ полчаса я шелъ съ теткой на рынокъ. Мнѣ пришлось почти бѣжать за нею, такъ какъ она маршировала по-солдатски, крупными, твердыми шагами. Я долженъ былъ не только бѣжать за нею, но и слушать ее, потому что она говорила безъ умолку, отрывисто, рѣзко.

— У тебя честная мать, вотъ и будь такимъ, какъ она,—говорила она, не глядя на меня и точно рубя что-то топоромъ:—никому не жаловалась, ни къ кому не таскалась съ протянутой рукой, а жилось-то не сладко. Ой, ой, ой, какъ не сладко! Она вонъ жиденькая, худенькая, плачетъ, такъ ты думаешь, что у ней и силъ нѣтъ. Неправда! Тоже такую-то жизнь вынести, да въ чужіе дома не идти со своимъ горемъ, на это нужна сила... Тоже твоего отца я знаю: крикунъ, буянъ, дикобразъ, а что онъ, на дѣлѣ—тряпка, его поддерживать было надо, отъ перваго горя нить начиналъ. Съ другой женой онъ давно бы ужъ спился съ круга или взяточникомъ сдѣлался бы, да подъ судъ попался бы. А она его десять лѣтъ спасала. Я отговаривала его жениться, потому ее было жаль. Мало знала я ее, а жаль было. Его-то я знала. Знала, что онъ все равно въ университетъ не пойдетъ и такъ свою жизнь загубитъ у женской юбки. Думала только, лучше пусть на какой-нибудь богатой дурѣ-купчихѣ женится, хоть безъ нужды жить будетъ. Зло меня брало, когда твоя мать не послушалась и пошла за него: «нетдю, говорю, надѣваете»,—а она: «я его люблю». Ну, вотъ и помучилась за любовь... И ужъ какъ же высохла-то, старуха-старухой стала, лица на ней нѣтъ! А что за женщина была!

— А развѣ вамъ ее жаль?—сквозь зубы спросилъ я, исподлобья взглянувъ на тетку.

— Что-жъ ты не сказалъ: сапожную лавку прошли, а

ты молчишь!—сердито проговорила она вмѣсто отвѣта на мой вопросъ и шумно высморкалась.

Минутъ черезъ десять, мы маршировали дальше. Тетка въ эти десять минутъ уже успѣла назвать купца, торговавшаго сапогами, и христопродавцемъ, и Каиномъ, и Іудой, и мошенникомъ, нисколько не стѣсняясь въ выборѣ эпитетовъ.

— Ты у меня смотри, учись, не то дуракомъ вырастешь,— продолжала она говорить мнѣ.—А дураковъ-то и безъ тебя непочатой уголъ. По-моему, лучше подлецъ, чѣмъ дуракъ. Съ подлецомъ хоть остерегаешься, а дурака не боятся, онъ же и себя, и другихъ губитъ. Мать вотъ твоя была не умна. На путь истины ее некому было въ дѣтствѣ наставить. Я ее такъ и считала пустой дѣвчонкой. Рукой на нее махнула. Пусть гибнетъ, если сама петлю на себя надѣла. Но годы-то ее умудрили. Человѣкъ изъ нея вышелъ. А какъ вышелъ? Ночей не спала, спину весь вѣкъ гнула надъ работой, со слезами каждый кусокъ хлѣба ѣла. Наука-то дорого обошлась. А вотъ, если учиться будешь, если умомъ съ дѣтства запасешься, такъ легче будетъ сдѣлаться человѣкомъ. И себя не загубишь, и другимъ пользу принесешь. Тоже мать на старости лѣтъ отдохнетъ подъ твоимъ крыломъ, горе старое забудетъ, станетъ судьбу свою благословлять, пойметъ, что недаромъ умудрялъ ее опытъ.

— Значитъ, вы ее любите, маму-то?—спросилъ я опять, болѣе пристально взглянувъ на тетку.

— Ты себѣ-то подъ ноги смотри, себѣ!—проговорила она, взглянувъ въ сторону влажными глазами.—Какое тебѣ до другихъ дѣло!.. Вотъ за бѣльемъ нужно зайти сюда,—круто перемѣнила она разговоръ.

Черезъ нѣсколько минутъ мы снова шли, и снова тетка наставляла меня на путь истины. Посторонніе люди могли подумать, что она сильно журитъ меня за что-то, и, можетъ-быть, удивились бы моей безчувственности, такъ какъ подъ звуки этихъ суровыхъ рѣчей, выбиваемыхъ, какъ маршъ на барабанѣ, я становился все веселѣе и веселѣе. Я начиналъ любить эту женщину, про которую потомъ говаривала моя мать:

— Языкъ-то у нея, какъ бритва, а сердце золотое.

III.

Терпѣть и молчать, считать свою избу съ краю, не соваться въ чужой монастырь со своимъ уставомъ, призна-

вать, что весь свѣтъ не переучишь, не исправлять горбатаго, котораго одна могила исправитъ, думать, что и всѣ-то мы «хороши», «ой, какъ хороши!» быть увѣренной, что на томъ свѣтѣ «всѣмъ Господь воздастъ по дѣламъ ихъ» и что «Онъ одинъ всѣхъ насъ судья», это были правила моей матери.

«Оборвать человѣка», «рѣзать всю правду-матку», «выводить подлеца на свѣжую воду», «ткнуть дурака носомъ, куда слѣдуетъ», «вывести мошенника за ушко, да на солнышко», это все было правиломъ моей тетки.

Обѣ эти женщины, столь различныя по характерамъ, каждая по-своему, умѣли бороться съ жизнью, умѣли честно пройти свой путь.

Когда онѣ сошлись послѣ десятилѣтней холодности, даже враждебности, можно было думать, что онѣ никогда не уживутся вмѣстѣ, а между тѣмъ, уже черезъ три, черезъ четыре мѣсяца не было дня, когда бы онѣ не сходились вмѣстѣ. Черезъ годъ умеръ мой отецъ, и тетушка настояла, чтобы моя мать перебралась съ нами къ ней въ домъ, и въ этомъ домѣ прошли самые счастливые годы моего дѣтства, моей ранней юности.

Тетка была не бѣдна, но и не богата. Она должна была разсчитывать каждый грошъ, чтобы воспитать меня, моихъ братьевъ и мою сестру. Но она ничего не жалѣла для насъ, и я увѣренъ, что она снова принялась бы за неблагодарный трудъ мелкой учительницы, если бы это было нужно для поддержанія насъ. Моя мать сознавала, что содержать насъ не легко, и помогала Дарьѣ Дмитріевнѣ, чѣмъ могла: она была въ домѣ и экономкой, и кухаркой, и швеей.

— Да полноте вы работать, наработались ужъ довольно,— ворчала нерѣдко Дарья Дмитріевна.—Ишь, спина-то какая горбатая стала!

— Оставьте меня! Довольно и того, что на вашу шею сѣли,—отвѣчала грустно моя мать.—Безъ насъ жили бы въ свое удовольствіе!

— Да я вамъ жаловалась, что ли, что мнѣ тяжело?— сердилась Дарья Дмитріевна.

— Не жаловались, а сама я знаю.

— Ничего вы не знаете, а просто неуживчивый вы человѣкъ, фанаберія у васъ. Ужъ поссоримся мы когда-нибудь.

— Вы думаете? — спрашивала мать, поднимая на нее свои добрые глаза.

— Ишь голубкой какой смотритъ,—уже улыбалась тетка:—

никто и не подумаетъ, что она у меня на шеѣ сидитъ, да кровь мою высасываетъ.

Мать съ улыбкой качала головой, а Дарья Дмитріевна толкала кого-нибудь изъ насъ къ матери и говорила:

— Цѣлуйте руки-то у матери, вонъ она весь вѣкъ не складываетъ ихъ ради васъ!

Сама Дарья Дмитріевна никогда не нѣжничала, и когда мы, дѣти, бросались къ ней на шею и покрывали ея шершавое лицо поцѣлуями, она говорила, упорно отбиваясь отъ насъ:

— Ну, ну, пошли прочь, лизунчики!

Только разъ тайкомъ, изъ-за угла видѣлъ я, какъ она припала головой къ одному изъ насъ, это было въ то время, когда умерла моя сестра. Дарья Дмитріевна прошла въ комнату, гдѣ лежала на столѣ сестра, остановилась въ слезахъ около маленькаго холоднаго трупа и тихо прильнула губами къ холодному лбу моей бѣдной сестренки. Она такъ долго не поднимала головы, что мнѣ показалось, что съ ней сдѣлалось дурно. Когда она подняла голову, я увидалъ, что ея глаза были полны слезъ. Она молча, заботливо отерла лицо покойницы, смоченное ея слезами, и тихо вышла изъ комнаты. На другой же день, когда хоронили мою сестру, Дарья Дмитріевна не плакала, утѣшала мою мать и была по обыкновенію холодна и сдержанна. Эта выработка характера была, вѣроятно, слѣдствіемъ долгаго пребыванія въ молодости въ чужихъ домахъ, среди чужихъ людей, которымъ «нѣтъ дѣла до нашего горя и до нашихъ радостей»; эта выработка была слѣдствіемъ долголѣтнихъ занятій съ чужими дѣтьми-учениками, при которыхъ нужно было скрывать свои личныя невзгоды, волненія и тревоги; эта выработка была слѣдствіемъ тяжелой брачной жизни, среди грубой и дикой купеческой семьи, пилившей свою новую родственницу изъ «учительшъ», съ самодуромъ-мужемъ, ломавшимся долгое время надъ женою и только исподволь, черезъ долгіе годы, подчинившимся окончательно ея твердому характеру.

Подъ вліяніемъ этихъ двухъ женщинъ выросъ я.

Смотря на мать, я рано началъ чувствовать, какъ много несчастій приходится переживать людямъ. Слушая тетку, я рано началъ сознавать, какъ много на свѣтѣ дурныхъ и глупыхъ «людишекъ», тетка иначе не называла людей. Раньше всего я понялъ необходимость труда и уже на пятнадцатомъ году давалъ уроки, переписывалъ бумаги, чтобы

облегчить трудъ этихъ двухъ женщинъ, платить за себя въ гимназію, одѣвать себя. Дѣтства, съ его безшабашнымъ весельемъ, съ его беззаботною рѣзвостью, съ его вѣтреными промахами, у меня не было: одиннадцатилѣтній мальчуганъ, я былъ уже «старшимъ мужчиною» въ домѣ, я уже присутствовалъ на всѣхъ совѣщаніяхъ матери и тетки, я уже несъ въ своей душѣ «всѣ заботы жизни». Это наложило на мою душу особую печать: я не умѣлъ увлекаться весельемъ, дурачествами, шалостями и сторонился отъ тѣхъ кружковъ, гдѣ дѣти, счастливыя дѣти, были вполнѣ дѣтьми. Быть-можетъ, такая жизнь преждевременно убила бы и мое физическое здоровье, если бы я не былъ работникомъ въ домѣ: принести воды, наколоть дровъ, сходить рано утромъ на базаръ, вбить дома, гдѣ надо, гвозди, построгать и попилить, если въ этомъ встрѣчалась необходимость, все это входило въ кругъ моихъ обязанностей и содѣйствовало развитію моихъ физическихъ силъ. Я былъ рослый, крѣпкій и здоровый юноша, съ загорѣлымъ лицомъ, съ густымъ румянцемъ на смуглыхъ щекахъ, съ большими мозолистыми руками.

Окончивъ ученье въ гимназіи, я поступилъ въ медицинскую академію въ Петербургѣ и жилъ здѣсь одинъ, безъ семьи, не прося помощи у теткй и матери, которымъ приходилось возиться съ моими братьями. Одинъ изъ братьевъ былъ вѣчно больнымъ, вѣчно требовавшимъ расходовъ на докторовъ и лѣкарства ребенкомъ, другой плохо подвигался впередъ въ гимназіи, не имѣя особенно блестящихъ способностей.

Годы студенчества были трудными годами моей жизни. Я былъ немного дикъ, я сторонился отъ людей, какъ человѣкъ, видѣвшій отъ нихъ не мало горя. Посторонніе люди, въ сущности, не дали мнѣ ничего: иногда они дорожили мной, ухаживали за мной, но это дѣлалось только потому, что я хорошо дѣлалъ каждое дѣло, и они наваливали на меня работу за троихъ и, видя мою застѣнчивость, платили меньше мнѣ, чѣмъ самымъ плохимъ работникамъ.

Товарищи не могли завлечь меня въ свои кружки, гдѣ вино, молодая веселость, юношескій развратецъ отталкивали меня, пугали меня. Каждая невинная пирушка казалась мнѣ «пиромъ во время чумы»; въ каждомъ взрывѣ молодого смѣха я слышалъ горькія слова: «après nous le déluge!» Мнѣ казалось, что все это юношество слишкомъ легко смотритъ на жизнь, считаетъ ее «пустою и глупою шуткой».

Не знавъ дѣтства, я, можетъ-быть, не узналъ бы и юности, если бы мнѣ, въ эти дни увлеченія нѣкоторыми стихотвореніями Пушкина, Лермонтова и, главнымъ образомъ, Некрасова. не пришлось встрѣтиться съ кружкомъ юношей, гдѣ слышалось броженіе молодости, гдѣ кипѣла молодая кровь, но не при толкахъ о театрѣ Берга, не при разсказахъ о любовныхъ похожденіяхъ, не при сборахъ на юношескій кутежъ. Въ этомъ кружкѣ горѣло юношеское пламя, но это не было пламя веселья. Я всецѣло отдался этому кружку. Здѣсь было у меня во время студенческой жизни пять-шесть горячо любимыхъ друзей, но эти люди, «волнуясь и скорбя», блеснули въ моей жизни какими-то яркими метеорами и исчезли... куда? какъ?—что кому до этого теперь за дѣло! Это было такъ давно! Довольно сказать, что они пробудили во мнѣ страстность молодости, что воспоминанія о нихъ и до сихъ поръ растравляютъ во мнѣ старыя, ноющія раны, и что порою я жалѣю, что случай, рано задувшій огонекъ ихъ жизни, пощадилъ меня и не далъ мнѣ возможности сгорѣть разомъ, а не истлѣвать медленно, свѣтя грошовымъ свѣтомъ своимъ ближнимъ. Искренно и честно, кромѣ этихъ людей, не сходился со мною никто, потому что меня считали гордецомъ, упрямцемъ, грубіяномъ и вообще «озлобленнымъ и скучнымъ человѣкомъ». Я не встрѣтилъ, кромѣ ихъ, ни одного человѣка, который понялъ бы, что я не гордецъ, не упрямецъ, не грубіянъ, а просто довольно здоровая и прямая, нѣсколько мѣщанская натура, пробившая себѣ дорогу безъ всякой посторонней помощи и смотрящая серьезно на задачи жизни. Нѣкоторые товарищи, сошедшіеся со мною позже, не взлюбили меня за то, что я, быть-можетъ, рѣзко и сурово, но всегда честно и искренно обрывалъ ихъ безконечныя мечты и ихъ воздушные замки, указывая имъ на болѣе практическіе, на болѣе вѣрные пути и цѣли. Я говорилъ имъ:

— Не стройте безконечныхъ плановъ, а дѣлайте дѣло.

Они называли меня прозаикомъ, мѣщаниномъ, узкимъ и даже струсившимъ человѣкомъ и, конечно, не соглашались, когда я говорилъ, что самые широкіе планы пышнаго дворца ничтожнѣе небольшой построенной лачуги. Они говорили, что я противорѣчу себѣ, когда я самъ увлекался великими теоріями, гипотезами и утопіями, созданными человѣчествомъ, и никакъ не могли понять, какъ велика разница между не основанною ни на чемъ мечтою невѣжественнаго болтуна и великимъ идеаломъ глубокаго мыслителя, созрѣвшимъ послѣ

долгаго житейскаго опыта, послѣ долгаго изученія людей, природы и книгъ. Они воображали себя Колумбами, а я видѣлъ въ нихъ мальчиковъ, которые, по недостатку образованія, мечтаютъ въ девятнадцатомъ столѣтіи объ открытіи шестой части свѣта. Сначала они спорили со мной, потомъ я пересталъ имъ возражать. Они выносили мои противорѣчія, но не вынесли моего пренебреженія. Я нажилъ въ нихъ не враговъ, но шипящихъ клеветниковъ. Они отрицали во мнѣ все доброе и, главнымъ образомъ, искренность.

— Это человѣкъ себѣ на умѣ, съ этимъ человѣкомъ нужно держать камень за пазухой, это ходячее самолюбіе, измученное недостатками,—говорили они про меня.

Они не отрицали во мнѣ только ума, но при этомъ они прибавляли, что я не только уменъ, но и хитеръ. Они говорили, что я дойду до степеней извѣстныхъ и сколочу деньгу. Въ послѣднее предположеніе они стали такъ твердо вѣрить, что у меня вдругъ очутилось множество не друзей, а пріятелей. Какъ это случилось, я не знаю, но знаю я только то, что эти пріятели начали очень исправно обирать меня, и иногда мнѣ приходилось просиживать безъ свѣчей и чаю, когда мои пріятели на мои деньги гуляли въ трактирѣ, перечисляя за бутылкой вина всѣ мои смертные грѣхи и, главнымъ образомъ, черствость, сухость и скупость. Впрочемъ, яснымъ доказательствомъ послѣдняго порока могло служить и мое отсутствіе на ихъ пирушкѣ. Я слышалъ даже, что какой-то остроумецъ, во время одной изъ подобныхъ пирушекъ, нарисовалъ картину того, какъ провожу я, второй Плюшкинъ, вечеръ въ это время, какъ я сижу безъ свѣчи, какъ я разсуждаю, что вечеромъ можно лечь и безъ чаю,— жаль, что онъ позабылъ прибавить, что я при лунномъ свѣтѣ просматриваю свою записную книжку и отмѣчаю въ ней, что я отдалъ ему послѣдніе пять рублей, жаль и то, что онъ не спросилъ своихъ друзей:

— Кто, господа, изъ васъ устоитъ отъ искушенія и не передастъ Максиму всего того, что здѣсь говорилось о немъ?

На послѣдній вопросъ всѣ могли бы отвѣтить:

— Конечно, не мы, не мы!..

Скверное время пришлось мнѣ пережить, господа, послѣ разлуки съ моими единственными друзьями. Это было время какого-то шатанья молодежи изъ стороны въ сторону, безъ опредѣленной цѣли, безъ руководящей идеи, безъ властительнаго вождя. Вмѣсто идей въ обществѣ слышались пререканья и брань, вмѣсто стремленія опредѣлить цѣль замѣ-

чалось стремленіе выдвинуть свою личность, вмѣсто заботы объ общемъ дѣлѣ слышались сплетни о костюмѣ такого-то, о любовникахъ такой-то. Когда начиналось это время, одинъ поэтъ написалъ къ нему эпиграфъ:

Слава намъ! въ поганой лужѣ
Мы давно стоимъ
И чѣмъ далѣе, тѣмъ хуже
Все себя грязнимъ.

Когда оно начало приходить къ концу, другой поэтъ написалъ ему эпитафію:

Бывали хуже времена,
Но не было подлѣй.

Въ такія времена люди, какъ улитки, почувствовавшія приближеніе врага, уходятъ въ свою раковину и ищутъ душевнаго успокоенія въ семейной жизни, въ наукѣ, въ искусствѣ, въ пьянствѣ, въ развратѣ, во всемъ, кромѣ бурной общественной дѣятельности. Моей раковиной сдѣлалась наука. Я блистательно окончилъ курсъ, я остался въ Петербургѣ, я предался ученымъ изысканіямъ. Меня окружали попрежнему чужіе и чуждые мнѣ люди, занимавшіеся своими дѣлишками, своими дрязгами, своими сплетнями. Я презиралъ людей этого времени, я сердился на нихъ, но вытолкать ихъ отъ себя, запереть отъ нихъ и домъ свой, и свой кошелекъ я не могъ. Я, какъ тетка, называлъ ихъ «людишками» и, какъ мать, считалъ ихъ «несчастными». Я волновался въ душѣ при каждой ихъ подлости, я иногда дѣлался боленъ послѣ ихъ новыхъ продѣлокъ,—но когда они являлись снова ко мнѣ, когда они лисили передо мной, когда они жались и ежились, выслушивая мои рѣзкости, ради полученія нѣсколькихъ рублей взаймы; когда я понималъ, что они потому только и переносятъ эти рѣзкости, что, уже занимая, они твердо намѣреваются не отдать и чувствуютъ, что я сознаю это, что я не обманываюсь на ихъ счетъ; когда они клеветали другъ на друга, стараясь выставить на видъ свою преданность мнѣ,—они мнѣ казались не злодѣями, не гнусными мошенниками, а дѣтьми, больными, жалкими, изуродованными дѣтьми, обреченными на жалкое существованіе и на скорую смерть. Да, я думалъ въ эти минуты, что они должны завидовать мнѣ, должны раздражаться при видѣ меня, должны капризничать, глядя на меня, потому что я здоровъ, потому что я надѣюсь прожить долго, потому что у меня есть сила—сила переносить нападеніе врага и протягивать руку помощи ему, когда онъ

утомится отъ борьбы со мною,—сила идти своимъ путемъ, несмотря ни на свистъ, ни на нападенія, ни на преграды, идти съ твердымъ убѣжденіемъ, что все это когда-нибудь кончится или я «кончусь самъ», то-есть, что во всякомъ случаѣ меня ждетъ отдыхъ отъ невзгодъ. Мое твердое спокойствіе—это былъ тотъ красный цвѣтъ, которымъ дразнятъ быковъ: они забываютъ о блестящихъ передъ ними шпагахъ, они не чувствуютъ ранъ, они не слышатъ, какъ сочится ихъ кровь, и видятъ только этотъ ненавистный красный цвѣтъ, мелькающій передъ ихъ глазами. То же дѣлалъ я, дѣлалъ совершенно невольно со своими врагами. Они помирились бы съ самыми крупными моими недостатками, лишь бы только замѣтить, что я оскорбляюсь ихъ враждою, что я сержусь на ихъ выходки, что я волнуюсь ихъ нерасположеніемъ ко мнѣ. Но хлопотать, волноваться, измышлять интриги, унижать себя до клеветы, марать свои руки грязью, бросая ее въ ближняго, кривить душою и знать, что все это дѣлается даромъ, что этотъ ближній остается спокоенъ, что онъ ихъ не считаетъ даже врагами, что онъ выражаетъ сожалѣніе о нихъ, о ихъ неудачахъ—это невыносимо. Сначала они еще имѣли утѣшеніе—они говорили, что я притворяюсь, что я рисуюсь своимъ равнодушіемъ и своимъ спокойствіемъ. Но шли дни,—я былъ здоровъ, румянъ, бодръ и дѣятеленъ, я ничѣмъ не проявилъ своего раздраженія, своей желчности, своего недовольства жизнью. Я не оттолкнулъ никого отъ себя, никому не высказалъ своего негодованія. Тогда пришлось назвать меня или героемъ, стоящимъ на недостижимой высотѣ надъ чернью, или пройдохою, желающимъ жить въ мирѣ со всѣми ради своихъ личныхъ интересовъ. Но какъ же назвать героемъ врага? Какъ объяснить, что ловкій пройдоха ради личныхъ выгодъ терпитъ около себя обиралъ-клеветниковъ? Враги раздѣлились тогда на два лагеря, одни признали меня безсердечнымъ и бездушнымъ циникомъ, у котораго нѣтъ ни симпатій, ни антипатій, который готовъ жать руку каждому, не любя и не ненавидя никого, готовъ при случаѣ бросить рубль, сорвать десять, воспользоваться чужою женою и отдать другому свою жену, если бы она была; другіе сочли меня фанатикомъ идеи, который живетъ только ею, видитъ только ее, стремится только къ ней и смотритъ на міръ сквозь пальцы, не возмущаясь ничѣмъ, не радуясь ничему. Но гдѣ же были у первыхъ факты, что я готовъ обобрать другого, охотно отдавая и свое, что я готовъ погубить че-

ловѣка такъ же равнодушно, какъ помогаю ему? Гдѣ были у вторыхъ свѣдѣнія о той идеѣ, во имя которой я оставляю безъ вниманія все совершающееся вокругъ? Первые видѣли, что до сихъ поръ я не воспользовался ничѣмъ чужимъ, не погубилъ никого; вторые видѣли, что я покуда просто изучаю гигіену и лѣчу людей и никакой особенной идеи не провожу въ жизнь. Но, какъ бы то ни было, пришедши къ этимъ выводамъ, враги нѣсколько успокоились: одни начали остерегаться меня, какъ матеріалиста, безбожника, другіе начали ждать, какое чудо совершу я, чтобы разъяснить всѣмъ, что дѣло, совершенное мною, не чудо, что оно выѣденнаго яйца не стоитъ, однимъ словомъ, поразить меня въ самое чувствительное мѣсто. Но я все еще не запускалъ руки въ чужой карманъ и не поражалъ міра чудомъ, а работалъ въ больницѣ, въ своемъ кабинетѣ, среди больныхъ бѣдняковъ...

Такимъ образомъ я сдѣлался «интереснымъ человѣкомъ»,— человѣкомъ, о которомъ говорятъ, за которымъ слѣдятъ, котораго хотятъ разгадать. Барыни дѣлали мнѣ глазки, ихъ мужья держали ухо востро. Болѣе другихъ ухаживала за мною жена моего собрата по профессіи, Антонида Павловна Симоненко.

IV.

Докторъ Симоненко былъ бы самымъ несчастнымъ и жалкимъ человѣкомъ, если бы ему не удалось, какъ онъ самъ выражался, «дошутиться до благосостоянія».

Мать-природа создала его человѣкомъ широкимъ въ кости, съ огромной пастью, и онъ былъ крайне смѣшонъ въ то время, когда эти широкія кости обтягивались тощей кожей, а эта огромная пасть рѣзала глаза, помѣщаясь на худомъ, костлявомъ лицѣ.

За докторомъ, опять-таки по его же выраженію, «не водилось никакихъ качествъ», кромѣ двухъ,—одного отрицательнаго, а другого—положительнаго. Первое заключалось въ его волчьемъ аппетитѣ, второе—въ его способности балагурить во всякое время дня и ночи. Онъ понялъ, что ему нужно воспользоваться своимъ положительнымъ качествомъ, чтобы удовлетворить потребности своего отрицательнаго качества, и сталъ «вышучивать» себѣ завтраки, обѣды и ужины. На его счастье, одинъ изъ его пріятелей, Петръ Ивановичъ Гриневъ, ввелъ его въ домъ нѣкоего барона фонъ-Тифензее, близкаго родственника очень богатыхъ князей

Грачовыхъ. На счастье же доктора Симоненко, у князей Грачовыхъ опасно заболѣлъ единственный наслѣдникъ и доктора пригласили жить при больномъ.

Больной скучалъ, былъ раздражителенъ и привередливъ, и веселый нравъ доктора былъ здѣсь какъ нельзя болѣе у мѣста. Докторъ Симоненко, какъ человѣкъ себѣ на умѣ, пустилъ въ ходъ весь запасъ своей природной веселости, своего остроумія и дошутился до того, что пріобрѣлъ расположеніе всѣхъ родныхъ больного и послѣ смерти послѣдняго пріютился подъ крылышкомъ его матери, втерся черезъ нее въ аристократическіе дома, составилъ выгодную партію, женившись на довольно перезрѣлой, но богатой дѣвѣ.

Время его «бурь и порывовъ», заключавшихся въ стремленіи завоевать на всю жизнь право отлично обѣдать, оставило на немъ свою неизгладимую печать. Судьба отвѣсила ему на аптекарскихъ вѣсахъ и запасъ желчи, и запасъ злобы. Но, завоевывая себѣ обѣды, онъ все болѣе и болѣе сознавалъ, что и эти микроскопическіе запасы желчи и злобы могутъ служить помѣхой для достиженія завѣтной цѣли и потому постарался освободиться отъ нихъ совершенно. Кромѣ того, вращаясь среди разнохарактерныхъ личностей, онъ, по необходимости, привыкъ подлаживаться къ различнымъ взглядамъ, убѣжденіямъ и направленіямъ, сознавая, что у иного радикала подается такое бургонское, какъ нигдѣ, а у иного ретрограда готовится такая кулебяка, какой не ѣдалъ и самъ блаженной памяти Петръ Петровичъ Пѣтухъ. Вслѣдствіе этого, съ теченіемъ времени, изъ него выработался совершенно своеобразный типъ всегда и всѣмъ улыбающагося человѣка.

Онъ считалъ себя другомъ всѣхъ и ставилъ себѣ въ обязанность знакомить всѣхъ, всѣхъ примирять, всѣхъ сватать, у всѣхъ крестить. Это былъ жирный, лоснящійся человѣкъ, вѣчно пожимавшій кому-нибудь руки, вѣчно убѣждавшій кого-нибудь въ чьихъ-нибудь добрыхъ качествахъ.

Постоянно обливаясь потомъ и постоянно потирая отъ удовольствія жирныя руки, онъ былъ счастливъ, воображая себя центромъ обширнаго кружка друзей, пріятелей, сослуживцевъ и знакомыхъ и не замѣчая, что центромъ служитъ не онъ, а его открытый столъ. Онъ судилъ со всѣми и обо всѣмъ, хотя, въ сущности, онъ давно все перезабылъ, давно ничѣмъ не интересовался и понималъ толкъ только въ хорошемъ винѣ, въ хорошихъ сигарахъ, въ хорошемъ ростбифѣ и хорошемъ сырѣ. Впрочемъ, у него была одна за-

нѣтная идея: онъ былъ убѣжденъ, что всѣ болѣзни происходятъ отъ желудка и что разумный медикъ долженъ лѣчить исключительно одинъ желудокъ.

— Э, да у васъ желудочекъ пошаливаетъ!—говорилъ онъ паціенту, страдавшему зубною болью, и принимался разъяснять средства для возстановленія правильнаго пищеваренія.

— Но что же дѣлать съ зубною-то болью?—нетерпѣливо прерывалъ его паціентъ.

— А вотъ возстановимъ-съ пищевареніе, успокоимъ желудокъ, тогда и зубы болѣть не будутъ. Причина-съ болѣзней одна!—говорилъ, потирая свои жирныя руки, докторъ и принимался писать рецептъ.

— Но вѣдь это очень долго, тутъ прежде съ ума сойдешь,—возражалъ больной.

— Ну, ну, не сойдете. Это не такъ легко! Барыня вы, что ли?—шутилъ докторъ.—Нужно принять лучше медленно дѣйствующія, но зато радикальныя мѣры... Зубы лѣчить—это паліатива.

— Радикальная мѣра до новаго разстройства желудка,—сердился больной.

— А вы его не портите! Вы его берегите, и онъ васъ сбережетъ,—поучалъ медикъ.

Несмотря на это, докторъ Симоненко разстраивалъ чужіе желудки, какъ никто. Не нуждаясь болѣе въ чужихъ обѣдахъ и понимая всѣ недостатки этихъ обѣдовъ, онъ сталъ устраивать у себя разныя «закусочки», заботясь только о томъ, чтобы на нихъ было все «тонко». Эти «тонкія закусочки» были самые человѣкоубійственные, самые непереваримые завтраки, обѣды и ужины, съ блюдами «холоднаго», «раковъ», «ростбифовъ», «устрицъ», «стреляжьей ухи», «сыровъ», «пикантныхъ соусовъ», «каенскаго перца», «англійскихъ пикулей». Докторъ, возвращаясь домой съ «визитовъ», не могъ не заѣхать къ Смурову, къ Колчину, къ Елисѣеву и не справиться, нѣтъ ли чего-нибудь «новенькаго». Если «новенькое» находилось, докторъ осклаблялся и уже эта улыбка не сходила съ его лица вплоть до той торжественной минуты, когда онъ собиралъ всѣхъ своихъ друзей, пріятелей и знакомыхъ, заявляя всѣмъ и каждому:

— А уже какой я штучиной васъ нынче угощу!—и докторъ при этомъ цѣловалъ кончики своихъ почти уже не сгибающихся пальцевъ.

Затѣмъ всѣ гости съ нетерпѣніемъ ждали этой «штучины»,

наконецъ, она появлялась, и они приступали къ таинству пробы новаго кушанья.

— Ну, что?—съ торжествующимъ видомъ спрашивалъ докторъ.

— Что, братъ, дрянь!—отзывался кто-нибудь изъ гостей, чувствуя чуть не тошноту отъ этой «штучины».

— Эхъ ты, профанъ!—съ пренебреженіемъ отзывался докторъ, и самъ съ сіяющими глазками приступалъ къ пробѣ новинки.

— А вѣдь дѣйствительно дрянь!—отзывался другой изъ гостей.

— Ну, вотъ еще!—почти сердился докторъ, едва осиливая кусокъ неудобосъѣдаемой диковинки.—Съ непривычки такъ кажется. Вы разберите, какой ароматъ!

— Просто, братъ, вонь, а не ароматъ!—уже смѣялись гости.

— Ну, да!.. Вамъ кислая капуста ароматнѣе кажется!—совсѣмъ негодовалъ докторъ, съ трудомъ проглотивъ открытую имъ дрянь.

— Да вѣдь ужъ чего скрываешься, самъ давишься.

— Вовсе не давлюсь, а чего же одному ѣсть!

Докторъ на нѣкоторое время омрачался, какъ омрачаются творцы геніальныхъ произведеній, слыша свистъ и насмѣшки толпы. Но слѣдующее блюдо и стаканъ вина успокаивали доктора, и онъ уже начиналъ хохотать.

— А что, господа, вѣдь и въ самомъ дѣлѣ штучина-то вышла дрянь?—говорилъ онъ.—И чортъ дернулъ меня взять ее!.. Нѣтъ, вы понюхайте ее, какъ она, бестія, воняетъ-то!

И докторъ разражался жирнымъ, захлебывающимся смѣхомъ.

Видя его колоссальныя «закусочки», каждый могъ заподозрить его въ преступномъ своекорыстіи и предположить, что онъ нарочно хочетъ этими завтраками, обѣдами и ужинами перепортить желудки всѣхъ своихъ гостей, чтобы искусственнымъ образомъ увеличить число своихъ паціентовъ. Нечего и говорить, что доктору и въ умъ не приходили такіе злодѣйскіе планы и что онъ кормилъ гостей съ самою благонамѣренною цѣлью—съ цѣлью аппетитнѣе поѣсть самому, при видѣ чужого аппетита.

Глядя на него, я часто думалъ, что судьба посмѣялась надъ нимъ, сдѣлавъ его докторомъ, тогда какъ онъ родился трактирщикомъ.

Въ жизни доктора Симоненко, по его собственнымъ сло-

вамъ, было три періода: періодъ, когда онъ облизывался и глоталъ слюнки, смотря издали, какъ кормятся другіе люди; періодъ, когда онъ кормился за чужими столами; наконецъ, періодъ, когда онъ кормилъ и себя, и другихъ, и званыхъ, и незваныхъ. Я зналъ его во всѣ періоды его жизни—въ первый періодъ я слышалъ его надрывавшіе сердце вздохи о чужихъ обѣдахъ; во второй періодъ я внималъ его восторженнымъ описаніямъ съѣденныхъ имъ въ томъ или другомъ домѣ деликатныхъ блюдъ; въ третій періодъ я получалъ отъ него ежедневныя неотступныя приглашенія на его «тонкія закусочки». Вслѣдствіе этого, несмотря на различіе нашихъ лѣтъ, характеровъ и привычекъ, мы тѣсно сблизились съ нимъ.

Что онъ любилъ меня—это неудивительно, потому что онъ любилъ всѣхъ, у кого хотя сколько-нибудь могъ работать желудокъ, онъ презиралъ только людей, у которыхъ желудки уже не варили.

Но почему я его любилъ—это объяснить труднѣе: можетъ-быть, тутъ большую роль играла привычка къ этому человѣку; можетъ-быть, повліяла на мою привязанность къ нему оригинальность его личности, доставлявшей неисчерпаемый матеріалъ для наблюденій. Правда, я любилъ его не безъ примѣси снисходительности, не безъ примѣси ироніи и юмора, но все-таки любилъ. Иногда я просиживалъ у него цѣлые часы, слушая его остроумные или шутовскіе разсказы о его былыхъ похожденіяхъ во время поисковъ за обѣдами, о его визитахъ къ разнымъ паціентамъ, о его открытіяхъ по части гастрономіи. Мнѣ было интересно слушать эти трагическіе эпизоды изъ его прошлаго, когда нерѣдко онъ уже обонялъ носомъ «тонкій обѣдъ» въ томъ или другомъ домѣ и не получалъ приглашенія; мнѣ было любопытно смотрѣть на оживленіе и паѳосъ неглупаго человѣка во время описанія имъ какого-нибудь откормленнаго грецкими орѣхами индюка, мнѣ было занимательно смотрѣть, какъ этотъ богатый человѣкъ выбивался изъ силъ и хлопоталъ до поту въ лицѣ, чтобы созвать возможно бо́льшее число людей, примирить враждующихъ, познакомить незнакомыхъ, угодить каждому, и все это только для того, чтобы они съѣли до-чиста какой-нибудь изъ его невообразимыхъ ужиновъ.

Впрочемъ, въ домѣ Симоненко достоинъ наблюденія былъ не одинъ хозяинъ. Не менѣе интересна была его жена.

Антонида Павловна вышла замужъ за доктора въ то время, когда она начинала терять всякую надежду на за-

мужество, то-есть около тридцати двухъ лѣтъ. Почему она не вышла замужъ ранѣе—это трудно рѣшить. Мнѣ кажется, что единственная причина ея долгосрочной дѣвственности заключалась въ романтизмѣ этой величественной особы, съ томно поднимавшимися къ небу глазами и протяжными вздохами, исходившими изъ ея груди, какъ изъ бездонной пропасти. Всматриваясь въ ея характеръ, каждый могъ бы подумать, что она родилась не въ нашъ вѣкъ, а во времена рыцарства, когда женщины высшихъ классовъ общества имѣли своихъ пажей, своихъ трубадуровъ, своихъ рыцарей. Но, конечно, такое предположеніе было бы ошибочно: Антонида Павловна родилась въ нашъ вѣкъ и просто провела семь лѣтъ затворнической жизни въ институтѣ, а потомъ нѣсколько лѣтъ въ домѣ богатой старой дѣвственницы тетки, жившей во вдовьемъ домѣ. Въ институтѣ она читала тайкомъ романы и обожала всѣхъ мужчинъ, начиная съ учителя чистописанія, «имѣвшаго божественный почеркъ», и кончая швейцаромъ, «похожимъ на древняго патріарха». Въ домѣ старухи тетки она тоже читала романы и обожала всѣхъ мужчинъ, начиная съ глухого и слѣпого генерала, князя Грачова, казавшагося ей «великимъ героемъ», хотя онъ всю жизнь провелъ въ своемъ кабинетѣ, и кончая чахоточнымъ отцомъ Василіемъ Крестовоздвиженскимъ, служившимъ въ ихъ домѣ молебны и вечерни и казавшимся ей похожимъ «на пустынника». Всѣ эти годы своего дѣвичества Антонида Павловна, или Тото, какъ ее называли ея подруги и ея тетка, была замужемъ, по крайней мѣрѣ, тысячу разъ, конечно, мысленно, и каждый ея новый мужъ былъ, по крайней мѣрѣ, величайшій полководецъ, или геніальнѣйшій геній. Одному изъ этихъ мужей она перевязывала кровавыя раны, и онъ умиралъ на ея груди, другого она находила гдѣ-нибудь на чердакѣ «съ печатью мрачной думы и отверженья на челѣ» и падала передъ нимъ на колѣни со словами: «я твоя», но онъ смотрѣлъ на нее мрачно, блуждая очами, и подносилъ ко лбу пистолетъ; третій мужъ,—но нѣтъ, это былъ не мужъ—Тото краснѣла и смущалась, потому что этотъ третій, юный, какъ мальчикъ, свѣжій, какъ роза, стройный, какъ пальма, былъ ея «пажъ»,—пажъ, съ которымъ она проводила цѣлыя ночи, мечтая, любуясь луной и уча его поцѣлуямъ, такъ какъ онъ былъ такъ юнъ и невиненъ, что даже не умѣлъ цѣловать женщинъ. Постоянное пребываніе среди сентиментальныхъ дѣвственницъ и неутѣшныхъ вдовицъ вдовьяго дома, вѣчныя

тревоги по поводу мысленныхъ замужествъ и похоронъ воображаемыхъ мужей, страстное и неудовлетворенное ожиданіе встрѣчи съ идеаломъ, все это не могло не отозваться вредно на здоровьѣ Тото. Она уже порядочно похудѣла, стала зеленѣть и страдать малокровіемъ, когда внезапно ей, какъ съ неба, упало значительное наслѣдство, и случай столкнулъ ее съ докторомъ Симоненко, лѣчившимъ какую-то вдовствующую генеральшу во вдовьемъ домѣ. Самъ по себѣ докторъ Симоненко никакъ не могъ показаться Тото за рыцаря, но судьба устроила такъ, что Тото открыла и въ докторѣ рыцарскія достоинства. Она трагически разсказывала въ его присутствіи, какъ ей сдѣлалось дурно, какъ она не могла пробраться среди массы народа изъ храма.

— Жаль, барышня, меня не было тамъ. Я бы васъ, какъ перышко, поднялъ на руки и пронесъ бы надъ этой толпой,—пошутилъ докторъ.

— А развѣ вы такой сильный?—закатила глазки Тото.

— Ничего-съ, съ медвѣдемъ справлюсь!—засмѣялся докторъ, показывая свою здоровенную руку.

Тото задумалась: ей представилась картина—массы народа, она въ обморокѣ, и докторъ Симоненко, несущій ее надъ толпою среди облаковъ дыма отъ «ѳиміама», какъ называла обыкновенно Тото ладанъ.

«Ахъ, онъ настоящій Самсонъ!»—съ сердечнымъ замираніемъ подумала Тото.

Съ этой минуты участь доктора Симоненко была рѣшена. Онъ сдѣлался героемъ Тото, ея Самсономъ. Облысѣвшій Самсонъ очень ясно понялъ это изъ долгихъ и чувствительныхъ рукопожатій Тото и сообразилъ, что ея имѣніе будетъ не лишнею прибавкою къ его доходамъ, а она...

— Ее откормить еще можно!—говорилъ мнѣ Симоненко, развивая свои планы насчетъ женитьбы.

Они повѣнчались послѣ полугодового знакомства и зажили довольно мирно, потому что докторъ не стѣснялъ ни въ чемъ свою жену и только старался ее откормить.

Антонида Павловна была тоже очень довольна своею новою жизнью, такъ какъ около нея теперь вертѣлось много народу, она ѣздила на балы и въ театры, она могла дѣлать глазки кому ей угодно. Несчастная страсть мысленно мѣнять женіховъ не оставила ее и теперь, и грозила переходомъ отъ теоріи къ практикѣ, изъ области воображенія въ дѣйствительность. Антониду Павловну даже очень занимала мысль о томъ, что скажетъ ея Самсонъ, узнавъ о ея измѣнѣ,

какая драма послѣдуетъ затѣмъ, какъ онъ будетъ ревновать и сохнуть.

Съ нѣкоторыхъ поръ я началъ замѣчать, что Антонида Павловна особенно сильно вздыхаетъ при мнѣ и смортитъ на меня такими взорами, какъ будто у меня на лицѣ нарисованы какіе-то особенные узоры. Меня это начинало сердить, потому что эти вздохи и эти взгляды ставили меня въ крайне неловкое положеніе. Я предчувствовалъ, что мнѣ не удастся избѣгнуть объясненія съ Антонидой Павловной. Такъ и случилось.

V.

Однажды мнѣ стало тошно смотрѣть на суетню доктора, потѣвшаго и вылѣзавшаго изъ кожи, услуживая гостямъ и ублажая ихъ, примирявшаго споривщихъ и сводившаго враждующихъ. Я ушелъ въ его кабинетъ и сѣлъ на диванъ.

Въ кабинетѣ царствовалъ полумракъ, слабо озаряемый едва вспыхивавшими угольями въ каминѣ и матовымъ бѣлымъ фонаремъ, висѣвшимъ въ углу, въ бесѣдкѣ, сдѣланной изъ плюща. Слушая смутно доносившійся до меня говоръ гостей, я какъ-то устало думалъ въ этой полутьмѣ о разныхъ людскихъ глупостяхъ, о ихъ безсмысленной враждѣ, о ихъ безсмысленной дружбѣ, наконецъ, я услышалъ, что около меня кто-то вздыхаетъ—вздыхаетъ такъ, что нужно обратить вниманіе. Я обернулся—на креслѣ сидѣла Антонида Павловна.

— Максъ, я вамъ помѣшала,—робко спросила она, дѣлая видъ, что хочетъ уйти, и въ то же время желая, чтобы я ее удержалъ.

— Нисколько,—отвѣтилъ я.—Вы видите, я ничего не дѣлаю.

— Ахъ, не церемоньтесь со мной, не скрытничайте,—томно замѣтила она.—Я знаю, вашъ умъ былъ занятъ.

Я взглянулъ на ея закатившіеся глазки и устыдился за нее, чувствуя, что она скажетъ какую-нибудь глупость, и потому поспѣшилъ заговорить.

— Я думалъ, что бы мнѣ сдѣлать нынче на зиму: пальто или шинель,—отвѣтилъ я, улыбаясь.

— Зачѣмъ вы напускаете на себя эту прозу?—вздохнула она.—Развѣ вы похожи на моего Жана, на этотъ ходячій матеріализмъ?

— Кто это, Иванъ Ивапычъ-то матеріалистъ?—засмѣялся я.—Да онъ поэтъ изъ поэтовъ, идеалистъ изъ идеалистовъ!

Помилуйте, кто же, какъ не идеалистъ и не поэтъ, можетъ предполагать у людей такія любвеобильныя сердца, которыя могли бы вмѣстить дружбу ко всѣмъ, встрѣчаемымъ въ его гостиной, такіе идеальные желудки, которые могли бы переваривать всѣ блюда его ужиновъ.

— Вы все шутите, все смѣетесь!

— О чемъ же плакать?

— И то сказать, довольно того, что за васъ плачутъ другіе,—вздохнула она.

— За меня?—изумился я.

— Максъ, вы глубоко несчастны,—вздохнула она.

— Не больше, не меньше, чѣмъ другіе,—отвѣтилъ я.—Каждый несчастливъ и счастливъ по-своему. Впрочемъ, я уже счастливѣе другихъ потому, что очень хорошо понимаю и выгоды и невыгоды своего положенія и не томлюсь безпредметными мечтами, не стремлюсь построить воздушные замки и поселиться въ этихъ головоломныхъ обителяхъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы не правы!—съ чувствомъ заспорила она.— Вполнѣ сознавать все, видѣть пропасть, надъ которою стоишь, до мелочей понимать тѣхъ гадовъ, которые кишатъ въ ней,—это ужасно.

Я засмѣялся.

— Вы ошибаетесь: я вижу гадовъ и знаю, насколько они безвредны; а если бы я не зналъ этого, то, можетъ-быть, боялся бы даже таракановъ, какъ ихъ боятся иныя барыни, воображая, что тараканы очень больно кусаются.

— Но развѣ васъ не мучитъ, Максъ, то, что васъ никто не понимаетъ?—спросила хозяйка.

— Во-первыхъ, я не справлялся, понимаютъ ли меня, или нѣтъ; а во-вторыхъ, люди не понимаютъ, по большей части, даже самихъ себя—и какой-нибудь сѣдовласый мужъ, рожденный пажомъ танцовщицъ и прислужникомъ гаремныхъ обитательницъ, воображаетъ себя администраторомъ и громовержцемъ, а какая-нибудь барыня, рожденная кокоткой, представляетъ себѣ, что она идеалистка, поэтъ въ душѣ и непризнанное высшее существо. Я всегда имѣю это въ виду и не забочусь, понятъ я, или нѣтъ. Впрочемъ, меня и понять-то не трудно: изъ той же глины сдѣланъ, какъ и всѣ.

Я хотѣлъ встать, но она остановила меня.

— Нѣтъ, напрасно вы надѣваете эту маску равнодушія, Максъ,—съ участіемъ замѣтила она.—Вы измучены, вы истерзаны, вы страдаете недостаткомъ сочувствія, любви, преданности. Вы, утомленные дневными встрѣчами съ глуп-

цами, негодяями и злодѣями, приходите въ пустой уголъ, васъ никто не встрѣчаетъ...

— Вы ошибаетесь,—началъ я, но она уже закусила удила и остановить ее было невозможно.

— Вы остаетесь одни, одни на весь вечеръ,—продолжала она.—Вамъ невкусенъ вашъ чай, вамъ жестка ваша постель. Около васъ не слышно ласковаго голоса, не видно веселаго и добраго лица...

— У меня есть мать...

— Ваша матушка стара. Она, можетъ-быть, не сегодня, такъ завтра умретъ. Тогда вы будете совершенно одинъ, одинъ на всемъ свѣтѣ. Не явитесь вы завтра въ обществѣ,— никто не спроситъ, почему, что съ вами, гдѣ вы? Вы можете уѣхать,—безъ васъ не станетъ пусто въ обществѣ. Вы можете умереть,—ваша смерть пройдетъ безслѣдно. И для кого вы живете?

— Можетъ-быть, для пользы человѣчества,—шутливо замѣтилъ я.

— Ну, нужно сдѣлать очень много, чтобы принести пользу человѣчеству. А кто считалъ ваши дни, кто знаетъ, что вы успѣете сдѣлать? Можетъ-быть, вы не успѣете ничего сдѣлать для человѣчества, а покуда вылѣчите отъ желудочнаго катара презираемаго вами ростовщика Семена Ивановича, спасете отъ тифа гадкаго ловеласа Матвѣя Матвѣевича, однимъ словомъ, поможете всѣмъ тѣмъ, которые, по вашему внутреннему убѣжденію, сдѣлали бы больше пользы человѣчеству, если бы поскорѣй удалились со сцены. Право, вы должны согласиться, что покуда вы приносите пользу только этимъ господамъ и, въ концѣ-концовъ, можетъ-быть, больше вредите человѣчеству, чѣмъ приносите ему пользы. А между тѣмъ, въ этомъ пока заключается вся ваша жизнь, на это вы тратите покуда всѣ свои силы.

Я не отвѣчалъ: Антонида Павловна отчасти бродила ощупью около правды.

— Вамъ нужна любящая, понимающая васъ женщина, съ возвышенной душой, съ нѣжной заботливостью. Другъ мой, вы не знаете, сколько блаженства можетъ дать женщина...

Антонида Павловна взяла меня за руку. Ея рукопожатіе ясно говорило, что этою любящею женщиною желаетъ быть она. Въ эту минуту изъ залы донесся оглушительный смѣхъ Ивана Ивановича.

— Да, вы правы, любящая женщина можетъ довести чело-

вѣка до высшаго блаженства,—отвѣтилъ я.—Вотъ вашъ мужъ смѣется такъ задушевно, какъ, конечно, никогда не смѣяться мнѣ. Вы умѣли сдѣлать его счастливымъ, и я съ глубочайшимъ уваженіемъ жму вашу руку, въ благодарность за счастье, доставленное вами моему другу.

Грудь Антониды Павловны заколыхалась, по ея лицу пошли пятна.

— Чѣмъ же вы меня считаете, если думаете, что я могу любить такого человѣка?—рѣзко спросила она.

— Умною женщиною, которая знала и видѣла, какого мужа выбираетъ она и которая не измѣняетъ своихъ чувствъ къ нему, зная, что онъ остается все тѣмъ же Иваномъ Ивановичемъ, какимъ былъ во время женитьбы.

Тото въ кровь закусила свои губы.

— Я всегда завидовалъ Ивану,—продолжалъ я.—Въ васъ онъ нашелъ именно такую женщину, какую долженъ желать каждый. Вы умны, вы были уже не ребенкомъ, когда шли за него. Вы долго были съ нимъ знакомы до свадьбы, вы не могли сомнѣваться ни относительно его достоинствъ, ни относительно его недостатковъ. Вы знали, что ждетъ васъ впереди, и потому не боялись, не могли ошибиться. Это великое благо. Съ вами не можетъ случиться того, что бываетъ съ тѣми вѣтреными, молоденькими дѣвочками, идущими за перваго встрѣчнаго черезъ три дня знакомства, по волѣ папеньки или маменьки, и оправдывающими себя потомъ тѣмъ, что онѣ не видали лучшихъ людей, не видали тѣхъ, для кого онѣ вздумали измѣнить мужу. Я это зналъ впередъ и потому съ сочувствіемъ выслушивалъ всѣ безконечные восторги и изліянія Ивана передъ его женитьбою на васъ.

— Я никакъ не думала, что вы считали такою идеальною нашу супружескую жизнь, — съ раздраженіемъ и иронією замѣтила Антонида Павловна.

— Если бы я даже и не считалъ ее идеальною прежде, то послѣ сегодняшняго разговора съ вами я долженъ былъ придти къ этому заключенію,—замѣтилъ я.—Вы, конечно, не стали бы мнѣ, вашему другу, совѣтовать жениться, говорить о сладостяхъ любви, если бы сами испытали горечь семейной жизни, если бы знали по опыту, какимъ гнетомъ становится супружество, когда мужъ или жена мечтаютъ только о выходѣ...

Въ эту минуту въ комнату вошла племянница Антониды Павловны. Хозяйка шумно отодвинула свое кресло и встала.

— Тетя, а я васъ искала, — проговорила племянница.— Мы опоздали сегодня, пріѣхали изъ театра. Maman прошла въ твой будуаръ.

— Я иду къ ней. Мы тутъ заговорились о супружеской жизни. Мосье Гриднинъ имѣетъ о ней такія идеальныя понятія,—съ ироніей отвѣтила хозяйка и вышла изъ комнаты, шумя шелковымъ платьемъ.

VI.

Мы остались вдвоемъ.

— Вы говорили о семейномъ счастіи, а я сейчасъ смотрѣла на картину семейнаго несчастія,—замѣтила племянница Антониды Павловны, опускаясь въ кресло.

Племянница Антониды Павловны, Софья Николаевна Бѣлевцева, была высокая, стройная и граціозная дѣвушка, лѣтъ двадцати трехъ. Она поражала сразу не своею красотою, хотя она и была хороша собою, но своею врожденною способностью держать себя съ особеннымъ достоинствомъ. Это качество не имѣло источникомъ надменности или чопорности, но являлось у нея, какъ у каждаго человѣка, который рано побѣдоносно выдержалъ безмолвную, но тяжелую борьбу, привыкъ самостоятельно думать и выработалъ извѣстный тактъ, извѣстную сдержанность. Она говорила неторопливо, какъ бы взвѣшивая свои слова, какъ бы разсуждая сама съ собою. Каждая неумѣстная шутка со стороны разговаривающаго съ нею обрывалась на полусловѣ при ея спокойномъ и пристальномъ взглядѣ, какъ бы говорившемъ: «меня этимъ нельзя удивить, и потому лучше не тратьте даромъ своего остроумія».

— А что давалось въ театрѣ?—спросилъ я ее.

— «Подруга жизни».

— А, эту пьесу не безполезно смотрѣть молоденькимъ дѣвушкамъ.

— Отчего же только дѣвушкамъ? Я думаю, и молодые мужчины могутъ смотрѣть ее не безъ пользы. Вѣдь если героиня виновата, то виноватъ еще болѣе и герой. Онъ увлекся хорошенькимъ личикомъ, онъ не подумалъ даже, на комъ онъ женится, въ какой семьѣ росла его невѣста, какая жена будетъ стоять около него. Это было чистѣйшимъ mésalliance.

— А вы противъ всякихъ mésalliances? — насмѣшливо спросилъ я ее.

— Вы, кажется, не такъ меня поняли, — замѣтила она, чутко уловивъ мой тонъ и пристально взглянувъ на меня.—

вѣка до высшаго блаженства,—отвѣтилъ я.—Вотъ вашъ мужъ смѣется такъ задушевно, какъ, конечно, никогда не смѣяться мнѣ. Вы умѣли сдѣлать его счастливымъ, и я съ глубочайшимъ уваженіемъ жму вашу руку, въ благодарность за счастье, доставленное вами моему другу.

Грудь Антониды Павловны заколыхалась, по ея лицу пошли пятна.

— Чѣмъ же вы меня считаете, если думаете, что я могу любить такого человѣка?—рѣзко спросила она.

— Умною женщиною, которая знала и видѣла, какого мужа выбираетъ она и которая не измѣняетъ своихъ чувствъ къ нему, зная, что онъ остается все тѣмъ же Иваномъ Ивановичемъ, какимъ былъ во время женитьбы.

Тото въ кровь закусила свои губы.

— Я всегда завидовалъ Ивану,—продолжалъ я.—Въ васъ онъ нашелъ именно такую женщину, какую долженъ желать каждый. Вы умны, вы были уже не ребенкомъ, когда шли за него. Вы долго были съ нимъ знакомы до свадьбы, вы не могли сомнѣваться ни относительно его достоинствъ, ни относительно его недостатковъ. Вы знали, что ждетъ васъ впереди, и потому не боялись, не могли ошибиться. Это великое благо. Съ вами не можетъ случиться того, что бываетъ съ тѣми вѣтреными, молоденькими дѣвочками, идущими за перваго встрѣчнаго черезъ три дня знакомства, по волѣ папеньки или маменьки, и оправдывающими себя потомъ тѣмъ, что онѣ не видали лучшихъ людей, не видали тѣхъ, для кого онѣ вздумали измѣнить мужу. Я это зналъ впередъ и потому съ сочувствіемъ выслушивалъ всѣ безконечные восторги и изліянія Ивана передъ его женитьбою на васъ.

— Я никакъ не думала, что вы считали такою идеальною нашу супружескую жизнь, — съ раздраженіемъ и иронією замѣтила Антонида Павловна.

— Если бы я даже и не считалъ ее идеальною прежде, то послѣ сегодняшняго разговора съ вами я долженъ былъ придти къ этому заключенію,—замѣтилъ я.—Вы, конечно, не стали бы мнѣ, вашему другу, совѣтовать жениться, говорить о сладостяхъ любви, если бы сами испытали горечь семейной жизни, если бы знали по опыту, какимъ гнетомъ становится супружество, когда мужъ или жена мечтаютъ только о выходѣ...

Въ эту минуту въ комнату вошла племянница Антониды Павловны. Хозяйка шумно отодвинула свое кресло и встала.

— Тетя, а я васъ искала, — проговорила племянница.— Мы опоздали сегодня, пріѣхали изъ театра. Maman прошла въ твой будуаръ.

— Я иду къ ней. Мы тутъ заговорились о супружеской жизни. Мосье Гриднинъ имѣетъ о ней такія идеальныя понятія,—съ ироніей отвѣтила хозяйка и вышла изъ комнаты, шумя шелковымъ платьемъ.

VI.

Мы остались вдвоемъ.

— Вы говорили о семейномъ счастіи, а я сейчасъ смотрѣла на картину семейнаго несчастія,—замѣтила племянница Антониды Павловны, опускаясь въ кресло.

Племянница Антониды Павловны, Софья Николаевна Бѣлевцева, была высокая, стройная и граціозная дѣвушка, лѣтъ двадцати трехъ. Она поражала сразу не своею красотою, хотя она и была хороша собою, но своею врожденною способностью держать себя съ особеннымъ достоинствомъ. Это качество не имѣло источникомъ надменности или чопорности, но являлось у нея, какъ у каждаго человѣка, который рано побѣдоносно выдержалъ безмолвную, но тяжелую борьбу, привыкъ самостоятельно думать и выработалъ извѣстный тактъ, извѣстную сдержанность. Она говорила неторопливо, какъ бы взвѣшивая свои слова, какъ бы разсуждая сама съ собою. Каждая неумѣстная шутка со стороны разговаривающаго съ нею обрывалась на полусловѣ при ея спокойномъ и пристальномъ взглядѣ, какъ бы говорившемъ: «меня этимъ нельзя удивить, и потому лучше не тратьте даромъ своего остроумія».

— А что давалось въ театрѣ?—спросилъ я ее.

— «Подруга жизни».

— А, эту пьесу не безполезно смотрѣть молоденькимъ дѣвушкамъ.

— Отчего же только дѣвушкамъ? Я думаю, и молодые мужчины могутъ смотрѣть ее не безъ пользы. Вѣдь если героиня виновата, то виноватъ еще болѣе и герой. Онъ увлекся хорошенькимъ личикомъ, онъ не подумалъ даже, на комъ онъ женится, въ какой семьѣ росла его невѣста, какая жена будетъ стоять около него. Это было чистѣйшимъ mésalliance.

— А вы противъ всякихъ mésalliances? — насмѣшливо спросилъ я ее.

— Вы, кажется, не такъ меня поняли, — замѣтила она, чутко уловивъ мой тонъ и пристально взглянувъ на меня.—

Я думаю, что княжна можетъ выйти за мѣщанина, если они одинаково развиты, и это не будетъ mésalliance. Но я думаю, что развитой мѣщанинъ, женясь на неразвитой мѣщанкѣ, сдѣлаетъ mésalliance. Мужъ и жена должны имѣть одни взгляды, одни убѣжденія, одно развитіе.

— Къ несчастію, это невозможно,—замѣтилъ я.—Женское и мужское образованіе и воспитаніе такъ различны.

— Да, но вѣдь можно же найти людей, между которыми граница, отдѣляющая ихъ другъ отъ друга, не велика. Пусть мужъ будетъ по развитію гимназистъ седьмого класса, а жена—гимназистъ пятаго класса; — тутъ все-таки можно надѣяться, что черезъ два года гимназистъ пятаго класса доберется до седьмого.

— То-есть въ то время, когда гимназистъ седьмого класса будетъ уже студентомъ?—разсмѣялся я.

— Ну да. Тутъ уже различіе не велико: гимназистъ седьмого класса едва ли во многомъ отличается отъ студента второго курса. При такихъ союзахъ все-таки больше шансовъ на согласіе, чѣмъ при союзѣ ученика приходской школы съ студентомъ университета.

— Пожалуй, что и такъ. Но въ томъ-то и бѣда, что каждый ученикъ приходскаго училища въ этихъ случаяхъ воображаетъ себя гимназистомъ пятаго класса. Вы, я думаю, знаете, что у насъ всѣ стараются казаться развитѣе и образованнѣе, чѣмъ они есть въ дѣйствительности. Это очень естественно при повальномъ невѣжествѣ. Вѣдь говорить откровенно о своемъ невѣжествѣ могутъ только дѣйствительно развитой и знающій человѣкъ или исключительныя честныя натуры. Обыкновенно же у насъ каждый выдаетъ вычитанныя изъ середины книги знанія и идеи за результаты своихъ трудовъ и размышленій.

Софья Дмитріевна задумалась.

— Странно, — начала она: — я не особенно развита, не особенно много знаю, но мнѣ не стыдно сознаться въ своемъ невѣжествѣ.

— Значитъ, вы исключительная честная натура,—опять не безъ иронiи улыбнулся я.

— Нѣтъ, не то,—замѣтила она и снова бросила на меня пристальный взглядъ, заставившій меня смутиться за неумѣстную насмѣшку.—Я просто не стыжусь своего невѣжества потому, что не я же виновата въ немъ. Если бы меня болѣе учили, если бы меня болѣе развивали,—я, быть-можетъ, и была бы не хуже другихъ.

— Ну, а сознайтесь, какъ на исповѣди, вѣдь порою вы все-таки стараетесь выглядѣть и казаться гимназистомъ... ну, хоть пятаго класса?

— Ахъ, право нѣтъ! — совершенно искренно произнесла она.—Я только стараюсь добраться до пятаго класса, и объ этомъ я готова сказать всѣмъ и каждому. Но вѣдь это не значитъ, что я доберусь до пятаго класса. Быть-можетъ, я такъ и останусь навѣки въ третьемъ.

— При извѣстныхъ условіяхъ все возможно.

— Конечно, конечно!—задумчиво согласилась она. — Но каково добиваться до всего самой. Вы представьте себѣ: я хотѣла изучить физіологію—мнѣ предлагаютъ Льиса, Дрепэра, Молешотта. Я прочла и, просто стыдно сказать, половины не поняла, половину поняла, но въ видѣ какихъ-то афоризмовъ, въ родѣ «не убей», «не укради» и «не пожелай жены ближняго твоего». А почему?—этого-то я и не знаю.

Я разсмѣялся.

— Съ грамматики начали, не зная азбуки.

— Ну, да. Но вѣдь азбуку-то учить надо непремѣнно подъ чьимъ-нибудь руководствомъ, а этого-то у насъ, у женщинъ, и нѣтъ. Подруги знаютъ столько же, сколько и я, мужчины же...

— Что же вы не договариваете?—спросилъ я.

— Они юмористически относятся къ нашимъ попыткамъ учиться... вотъ такъ же, какъ и вы относитесь,—кончила она.

— Я? Кто это вамъ сказалъ, что я такъ отношусь?

— Вы говорите со мной такимъ тономъ, что мнѣ ясна ваша мысль о томъ, что я хочу учиться отъ нечего дѣлать.

— Вы ошибаетесь. Я говорю иронически по привычкѣ, и тутъ иронія не относилась къ вашимъ стремленіямъ. Хотя, признаюсь, я не могъ не улыбнуться при словахъ: «хотѣла изучать физіологію». Это такая смѣшная, заѣзженная фраза.

— Да развѣ вы думаете, что безъ знанія физіологіи и гигіены можно быть вполнѣ развитымъ человѣкомъ?—горячо вступилась Софья Дмитріевна. — Развѣ можно быть вполнѣ развитымъ, не зная ни своего организма, ни его потребностей, ни условій для его сохраненія? И какая же мать выйдетъ изъ женщины, которая не знаетъ, отъ чего зависитъ здоровье ребенка, какія перемѣны могутъ быть въ организмѣ дитяти, отъ чего происходятъ тѣ или другія явленія въ этомъ крошечномъ существѣ? Я думаю, что нѣтъ ничего смѣшного, если у женщины является подобное стремленіе.

— Да, но смѣшно то, что этимъ естественнымъ стремленіемъ многія женщины нынче рисуются, позируютъ, хотятъ выдаться впередъ.

— Ахъ, это вовсе не смѣшно, это грустно, это обидно!— воскликнула она.—Это доказываетъ только еще болѣе нашу неразвитость, наше недомысліе, нашу пустоту. Это то же, что рисоваться своею честностью: вѣдь и честностью рисуются только подлые въ душѣ люди. Такъ и тутъ хвастаютъ и щеголяютъ своимъ стремленіемъ изучить что-нибудь или даже изученіемъ физіологіи, гигіены и тому подобныхъ предметовъ только неразвитыя, глупыя и невѣжественныя личности. Мы должны скорбѣть, мы должны плакать, когда мы не знаемъ этихъ и тому подобныхъ предметовъ, но мы не имѣемъ никакихъ основаній гордиться ими, хвастать ихъ знаніемъ, потому что, если мы хотимъ быть матерями, то, само собою разумѣется, что мы хотимъ быть честными матерями, а не какими-нибудь безсмысленными дурочками, играющими съ ребенкомъ, какъ съ куклой.

— Эти взгляды дѣлаютъ честь вашимъ мнѣніямъ насчетъ призванія матерей, — замѣтилъ я. — Но вы забыли главную причину, заставляющую хвастливо говорить: «я изучаю то-то и то-то»—это изученіе казовый конецъ. Тутъ товаръ лицомъ продается. Тутъ говорятъ: смотрите, какими мы матерями и женами будемъ, мы даже физіологію и гигіену изучили!

— Что-жъ и это опять доказываетъ неразвитость и недомысліе нашихъ женщинъ, — уже презрительно и холодно замѣтила Софья Дмитріевна.—Онѣ тратятъ напрасно порохъ, онѣ хотятъ привлечь тѣмъ, что можетъ оттолкнуть. Развѣ вы, мужчины, согласитесь имѣть умную и развитую жену? Вѣдь при ней нужно быть осторожнѣе, опрятнѣе въ нравственномъ отношеніи. — Мой отецъ вполнѣ выражаетъ взглядъ мужчинъ на женщинъ, когда говоритъ: «ну, матушка, все во фракѣ, да во фракѣ—это ужъ и тяжело, нужно же побыть и въ халатѣ нараспашку». Если бы современныя дѣвушки были развитѣе и болѣе передумали, то онѣ поняли бы, что онѣ скорѣе отпугнутъ отъ себя мужчинъ, выставляя на видъ даже мишуру развитія и ума, чѣмъ привлекутъ этимъ къ себѣ. Хорошенькое личико, женщина игрушка, нѣсколько приданаго, вотъ все, что нужно для вашего счастія...

Въ тонѣ ея голоса звучало презрѣніе и горечь.

— А «Подругу-то жизни» вы забыли?—разсмѣялся я.

— У нея не было достаточно приданаго и были «свои идеи», положимъ, это были свои идеи о необходимости ложи въ итальянской оперѣ, о необходимости баловъ, но все же это были ея идеи, а не идеи ея мужа.

— Такъ что же выходитъ въ результатѣ? Вы говорили, что счастье возможно только тогда, когда и мужъ, и жена подходятъ другъ къ другу по развитію, теперь же вы говорите, что жена, для полнаго счастья, должна быть рабой мужа.

— Въ чемъ же вы тутъ находите противорѣчіе? Я и теперь утверждаю, что мужъ и жена должны стоять на одной степени развитія.

— Но вы представляете себѣ жену рабой, то-есть существомъ совершенно неразвитымъ.

— Ну да, потому что и наши мужчины стоятъ на этой ступени, когда дѣло касается ихъ развитія въ отношеніи брака. Мнѣ кажется, что самые умные люди, самые развитые ученые и самые крайніе нигилисты совершенно одинаково смотрятъ на бракъ, и въ этомъ отношеніи нечего заботиться о развитіи женщины. Мужъ рабъ — самый покладистый мужъ, жена раба—самая лучшая жена. Вы вдумайтесь въ «Подругу жизни»: не будь у нея привычки къ оперѣ и къ баламъ, или будь у нея эта привычка, да большія средства, и драмы не существовало бы. По своимъ взглядамъ на бракъ она стояла ни выше, ни ниже своего супруга,—гибель вышла только изъ ея взглядовъ на аксесуары: она считала удовольствіемъ то, чего онъ не могъ считать удовольствіемъ по недостатку средствъ.

Она засмѣялась, но какимъ-то безотраднымъ смѣхомъ.

— Чему вы смѣетесь?—спросилъ я.

— Мнѣ пришло въ голову, что я, выходя замужъ, справлюсь обо всѣхъ вкусахъ мужа: какія блюда онъ любитъ, какія книги онъ читаетъ, что ему доставляетъ удовольствіе, о чемъ съ нимъ можно говорить, любитъ ли онъ музыку или пѣтъ, и не спрошу только объ одномъ: какъ онъ смотритъ на супружескія отношенія вообще, потому что я это знаю и безъ того. И, конечно, мы будемъ счастливы. «Софи, поѣдемъ въ театръ», скажетъ онъ. «Коко, я готова», отвѣчу я. «Коко, ты со мной танцуешь сегодня на балу», скажу я. «Софи, ты знаешь, что я твой неизмѣнный кавалеръ», отвѣтитъ онъ. И такъ пойдутъ дни, недѣли, мѣсяцы, годы.

Она вдругъ вздрогнула и закуталась въ свой бѣлый кашемировый бедуинъ. Я глядѣлъ въ полутьмѣ на ея выразп-

тельное лицо, съ глубокими черными глазами, съ слегка поблѣднѣвшими щеками, съ умнымъ бѣлоснѣжнымъ лбомъ, надъ которымъ капризно вилась змѣйками пара локоновъ, достигавшихъ до темныхъ, правильныхъ и немного сдвинутыхъ бровей. Она задумчиво молчала, не то думала о чемъ-то, не то ждала, что скажу я. Но мнѣ не хотѣлось говорить. Мнѣ хотѣлось молча смотрѣть на эту прекрасную головку, вырисовывавшуюся передо мной въ полутьмѣ и слегка озаренную огнемъ, догоравшимъ въ каминѣ.

— Здѣсь холодно,—лѣниво промолвила она черезъ минуту.

Я всталъ и размѣшалъ уголья въ каминѣ. Огонь вспыхнулъ и ярко озарилъ бѣлый нарядъ молодой дѣвушки; ея лицо показалось мнѣ еще блѣднѣе и еще прекраснѣе.

— Снилось ли вамъ когда-нибудь, что вы летаете по воздуху? — вдругъ тихо спросила она, устремивъ глаза на огонь.

— Въ дѣтствѣ... давно...—лѣниво отвѣтилъ я.

— Мнѣ и теперь иногда это снится,—тѣмъ же задумчивымъ тономъ продолжала она.—Это такъ страшно,—летишь, чувствуешь, что у тебя нѣтъ опоры, хочешь схватиться, вездѣ пусто, вездѣ одинъ воздухъ, дыханіе сжимается, сердце замираетъ отъ страха, а ты все летишь и летишь... Мнѣ иногда такою представляется и наша жизнь! Почвы у насъ нѣтъ подъ ногами. Мы похожи на пловцовъ, которые отплыли отъ одного берега до середины рѣки, не успѣли еще пристать къ другому, а ихъ уже понесло теченіемъ. Они плывутъ все дальше и дальше, а берега все одинаково далеки отъ нихъ, и нѣтъ у нихъ силъ ни вернуться къ родному берегу, ни переплыть на другой. Насъ пугаетъ грубость невѣжества, но въ то же время насъ давитъ, какъ колодка, непривычное развитіе. Если мужъ является деспотомъ, мы возмущаемся, мы ропщемъ, мы хотимъ разорвать оковы; если мужъ является нашимъ другомъ, дающимъ волю женѣ, она старается прибрать его къ рукамъ и изумлять всѣхъ своею разнузданностью. Если жена является кухаркой и нянькой, мужъ зѣваетъ съ нею и ищетъ на сторонѣ развлеченій; если она является вполнѣ развитымъ существомъ, онъ боится ея контроля, онъ стѣсняется съ нею, онъ чувствуетъ присутствіе какого-то безсмѣннаго ревизора и обманываетъ ее, бѣжитъ отъ нея, считая невыносимымъ этотъ нравственный... фракъ.

— Золотая посредственность ду...

— Да какъ это тебѣ не стыдно, братецъ,—вдругъ раз-

дался укоризненный голосъ Ивана Ивановича, и его лоснящаяся фигура, охваченная отблескомъ пылавшихъ угольевъ, засіяла передо мною.—Вѣдь совсѣмъ таетъ, а ты тутъ сидишь и горя тебѣ мало!

— Что случилось?—спросилъ я.

— Да таетъ, понимаешь ты, таетъ! Принесли, поставили, приглашаю всѣхъ садиться, а тебя нѣтъ—я искать,—а ты на вотъ! забился сюда и ухомъ не ведешь. Вѣдь ты бы вспомнилъ, какое сегодня холодное-то приготовлено!

— Ахъ, бѣдный дядя! Все-то печешься о ближнихъ! — усмѣхнулась Софья Дмитріевна и, положивъ руку на плечо доктора, припала къ нему головой и пошла вмѣстѣ съ нимъ въ столовую.

— Что у тебя головка горячая?—спросилъ онъ, проводя рукою по ея лбу.—Болитъ?

— Ничего, дядя, это отъ камина.

— Не хорошо, не хорошо! Совсѣмъ горячая, совсѣмъ горячая головка!

Въ моей головѣ мелькнула мысль, что у нея, вѣроятно, всегда «горячая головка» и что только добродушный Иванъ Ивановичъ и ему подобные простяки не замѣчаютъ этого.

VII.

Когда мы входили въ столовую, въ ней звенѣлъ серебристый смѣхъ Саши, младшей сестры Софьи Дмитріевны. Я взглянулъ невольно на ея почти дѣтское, круглое и простое лицо, съ просто зачесанными, нѣсколько вьющимися темно-русыми волосами, съ яркимъ здоровымъ румянцемъ, съ темными, блестящими, живыми и бойкими глазами: оно было оживленно, беззавѣтно весело и дышало молодою жизнью. Она поминутно шевелилась, не могла посидѣть покойно на мѣстѣ, часто вскрикивала и заливалась звонкимъ смѣхомъ, быстро щуря свои сверкающіе глазенки.

— Такъ вамъ не понравилась пьеса?—спросилъ ее кто-то изъ гостей, очевидно, продолжая начатый разговоръ.

— Ахъ, подите, скучная такая! — воскликнула она, быстро махая маленькой ручкой съ коротенькими пухленькими пальцами.

— То-есть, вы хотѣли сказать грустная, — вскользь замѣтилъ я.

— Я сказала то, что хотѣла сказать,—вспыльчиво отвѣтила она, бросая на меня вызывающій взглядъ. — Удивительно грустно, что какой-то дурачокъ могъ жить только

на тридцать рублей въ мѣсяцъ, а жилъ на двѣсти и потому смертію умеръ!

— Ну, онъ не оттого умеръ...

— Нѣтъ, оттого, оттого! Заработался и умеръ!—закивала она настойчиво головой.

Мнѣ такъ и показалось, что она топаетъ подъ столомъ на меня ногою, какъ своеправное дитя.

— А жена, по-вашему, тутъ была ни при чемъ?—спросилъ я.

— Да что же она-то тутъ? Она чѣмъ была въ дѣвушкахъ, тѣмъ осталась и послѣ свадьбы.

— Можетъ-быть, вы и правы, но все же грустно, что подобныя явленія могутъ происходить въ жизни.

— Не знаю, мнѣ никогда не бываетъ грустно, когда папа разсказываетъ, что кто-нибудь изъ его паціентовъ умеръ отъ обжорства. Если бы подобную смерть представили на сценѣ, я не плакала бы, а зѣвала бы. Грустно только, когда люди умираютъ съ голоду, съ холоду...

— А вотъ мы только-что говорили съ вашей сестрой, что эта пьеса очень поучительна.

— Ну да, это оттого, что Соня и вы давно уже забыли прописи, гдѣ написано: «всякъ сверчокъ знай свой шестокъ», «не въ свои сани не садись» и «по одежкѣ протягивай ножки». А мнѣ это такъ памятно, такъ памятно, что я не могла не зѣвать, смотря на прописи въ лицахъ, растянутую на четыре акта.

— Ты, Саша, на все смотришь, какъ ребенокъ,— замѣтила Софья Дмитріевна.

— Не могу же я смотрѣть, какъ пятидесятилѣтняя старуха, когда мнѣ вчера минуло семнадцать лѣтъ,— засмѣялась бойкая дѣвочка.

— Да не тараторьте вы ради самого Создателя! Тутъ кушанья на столѣ, а онѣ тараторятъ,—плачущимъ тономъ вступился Иванъ Ивановичъ за свой ужинъ.

Дѣйствительно, Александра Дмитріевна была ребенкомъ, прекраснымъ, живымъ и веселымъ ребенкомъ, несмотря на то, что она съ дѣтскою гордостью называла себя «совершеннолѣтнею». Я зналъ ее давно. Я любовался ею постоянно. Въ ней не было хитрости и злобы. Она говорила все, что было у нея на душѣ. Она не старалась казаться ни лучше, ни хуже, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ. Она была одинакова съ мужчинами и женщинами, съ стариками и молодыми. Это была одна изъ тѣхъ натуръ, которыя

можно опредѣлить сразу, не боясь ошибиться. Увидѣвъ ее, можно было сказать, что эта дѣвушка можетъ любить страстно, что она не потерпитъ никакой узды, что она не сдѣлаетъ никакой подлости, что она сумѣетъ понять каждое явленіе правильно и быстро. Ея живой и бойкій умъ, ея независимый характеръ проглядывали во всемъ.

Саша была балованное дитя своей сестры. Она осталась послѣ смерти своей матери шести лѣтъ. Софьѣ Дмитріевнѣ шелъ тогда тринадцатый годъ, и потому она стала играть въ домѣ роль хозяйки и перенесла на сестру всю любовь, которую она питала къ покойной матери. Года два прошли для дѣвочекъ очень спокойно. Ихъ отецъ, докторъ Дмитрій Васильевичъ Бѣлевцевъ, по цѣлымъ днямъ дѣлалъ визиты къ своимъ паціентамъ и не стѣснялъ дѣтей, являясь домой только на два, на три часа. Находившаяся при дѣтяхъ гувернантка была довольно добродушное созданіе и любила своихъ воспитанницъ. Но положеніе дѣтей тотчасъ измѣнилось, какъ только въ ихъ домѣ явилась новая личность—вторая жена Дмитрія Васильевича.

Екатерина Ивановна — такъ звали вторую жену Бѣлевцева, была одною изъ тѣхъ мелочныхъ личностей, которыя могутъ отравить ежеминутными придирками, каждодневными сценами, безконечнымъ пиленьемъ любую жизнь. Она любила наряды, балы и театры, но мужъ отказывалъ ей во многомъ, говоря:

— У насъ растутъ дѣти!

— Ахъ, Боже мой, развѣ это мои дѣти! — восклицала Екатерина Ивановна, и въ ея пустое сердце закрадывалась мелочная ненависть къ бѣднымъ дѣтямъ.

Но ненависть Екатерины Ивановны могла проявляться только въ мелочахъ, такъ какъ эта женщина была такъ же мелочна, какъ та среда, изъ которой она вышла. Въ этой средѣ, свившей гнѣздо своей общественной дѣятельности въ разныхъ департаментахъ и образовавшей арену для своихъ общественныхъ развлеченій въ «благородномъ собраніи», статскіе совѣтники воображаютъ, что они генералы, и оскорбляются, когда ихъ не величаютъ «превосходительствами»; семьи, купившія на тридцать, на сорокъ «благопріобрѣтенныхъ» тысячъ разныхъ акцій, считаютъ себя крупными представителями финансоваго міра и чуть не милліонерами; женщины, научившіяся въ «пансіонахъ для благородныхъ дѣвицъ» говорить по-французски, произнося въ носъ и нараспѣвъ: «certainement» вмѣсто «oui»

и «si», твердо вѣрятъ въ свой аристократизмъ; юноши, при первой возможности, стремятся проѣхаться по Невскому на наемной эгоисткѣ, дѣлая видъ, что это ихъ собственный экипажъ, врутъ про свои любовныя связи съ знаменитыми камеліями и жаждутъ единственнаго блага — блага публично кланяться съ графомъ NN и княземъ ZZ, увѣряя въ своемъ кругу, что эти князья и графы ихъ друзья; дѣвушки декольтируются до послѣдней степени, пускаютъ въ ходъ всѣ средства доморощеннаго кокетства и съ замираніемъ сердца ждутъ выгодныхъ жениховъ, проводя всю дѣвическую жизнь между грязными дрязгами глупой семейной жизни и пошлыми любезностями и двусмысленностями разныхъ задолжавшихся въ полку прапорщиковъ, ищущихъ въ каждомъ салонѣ, въ каждомъ собраніи, на каждомъ балу, или даровыхъ любовницъ, или богатыхъ невѣстъ. Воспитанная этою средою Екатерина Ивановна усвоила все, что можно усвоить въ этой средѣ: она внесла въ мирный домъ нѣсколько простоватаго и вѣчно занятаго дѣломъ Бѣлевцева и дрязги съ гувернанткою за то, что та «хочетъ играть изъ себя роль какой-то барышни», и придирки къ дѣтямъ за то, что онѣ «не умѣютъ себя прилично держать», и брань съ горничными, кухарками и лакеями за то, что «это все воры и лѣнтяи», и, наконецъ, свой собственный мелкій, гаденькій развратецъ — развратецъ безъ страсти, безъ увлеченія, развратецъ отъ нечего дѣлать, отъ скуки, отъ недомыслія. Старшая дочь Бѣлевцева первая сдѣлалась жертвою мелкихъ придирокъ со стороны мачихи и первая же сдѣлалась случайною, незамѣченною свидѣтельницею заигрываній мачихи и какого-то прапорщика, не принявшихъ даже предосторожностей для того, чтобы никто не сдѣлался свидѣтелемъ ихъ нравственной грязи. Все это смутило и оскорбило маленькую дѣвочку, и изъ нея начала вырабатываться сильная, сосредоточенная, непреклонная личность, готовая отстаивать свои интересы и интересы дорогихъ ей людей. Дороже всѣхъ другихъ людей ей была младшая сестра Саша, и этого-то ребенка охраняла Софья Дмитріевна отъ всякихъ бурь и волненій въ болотѣ глупой семейной жизни. Довольно долго борьба была не по силамъ для смѣлой дѣвочки, и эта дѣвочка, можетъ-быть, упала бы духомъ, если бы не ласки, не веселость младшей сестры. Если старшая сестра служила защитницей младшей, то младшая сестра, въ свою очередь, была вдохновительницей старшей. Только на восемнадца-

томъ году своей жизни Софьѣ Дмитріевнѣ удалось окончательно сломить своего увертливаго, въ сущности трусливаго врага, привыкшаго къ нападеніямъ изъ-за угла, къ колотью шпильками, къ наушничеству, къ составленію интригъ. Какъ-то разъ Софьѣ Дмитріевнѣ попался подъ руку томикъ французскаго романа, въ который была всунута записочка, адресованная къ Екатеринѣ Ивановнѣ и обличавшая всю гнусность поведенія этой женщины. Это было уже не первое любовное письмо, засунутое вѣтреной женщиной въ книгу, забытое потомъ ею и попавшееся въ руки падчерицы. Софья Дмитріевна не обратила особеннаго вниманія на письмо и теперь и спрятала книгу въ карманъ, чтобы передать ее потомъ мачихѣ, но забыла сдѣлать это въ тотъ же день. На другой день у нея была одна изъ обычныхъ стычекъ съ Екатериною Ивановною, и послѣдняя поспѣшила пожаловаться мужу на свою падчерицу.

— Что это, Соня, у тебя за характеръ, — замѣтилъ за обѣдомъ Бѣлевцевъ, не любившій по своей лѣнивой натурѣ никакихъ сценъ и разбирательствъ.—На тебя все жалуются.

Софья Дмитріевна пристально посмотрѣла на него.

— Кто же жалуется, папа?—спросила она.

— Ну вотъ еще, стану я тебѣ разсказывать, кто. Довольно того, что жалуются,—замѣтилъ онъ.

— Мнѣ, право, странно, кто бы могъ на меня жаловаться тебѣ,— проговорила Софья Дмитріевна.—Прислуга, Шурка, наша добрая Елизавета Ѳедоровна, всѣ, кажется, не могутъ быть недовольны мною. Я надѣюсь, что и вы не могли на меня жаловаться, — обратилась она къ мачихѣ: — уже потому не могли, что отецъ и безъ того такъ всегда озабоченъ и занятъ, что его нечего безпокоить семейными дрязгами.

Екатерина Ивановна вспыхнула и хотѣла отвѣчать, но Софья Дмитріевна вдругъ что-то вспомнила и не дала ей заговорить.

— Да, чтобы не забыть, — начала она, устремивъ пристальный взглядъ на мачиху:—вы оставили вчера въ залѣ вотъ эту книжку и это письмо.

Софья Дмитріевна вынула изъ кармана книгу и письмо. Екатерина Ивановна поблѣднѣла и протянула руку, чтобы взять предательское письмо, но Софья Дмитріевна повернула лицо къ отцу и сдѣлала видъ, что она не замѣтила движенія мачихи.

— Но я еще не кончила своего оправданья, — обратилась она къ отцу, играя книгой. — Ты, кажется, вовсе не знаешь меня, папа. Ты слишкомъ занятъ, ты слишкомъ много живешь на улицѣ и потому лучше знаешь своихъ паціентовъ, чѣмъ насъ всѣхъ. Я право, не такъ дурна, какъ, можетъ-быть, тебѣ кажется. Правда, я самостоятельна, не особенно покорна, но развѣ это преступленія? Я просто стараюсь объ одномъ, чтобы мнѣ не мѣшали спокойно жить и заниматься. Если меня не тронутъ, то, повѣрь, что я не задѣну никого и буду смотрѣть сквозь пальцы на все, что дѣлается вокругъ меня. Я вѣдь на тебя похожа, — улыбнулась Софья Дмитріевна: — я больше люблю спокойствіе, чѣмъ волненія... Ты на меня не сердишься? — спросила она, ласково взглянувъ на отца, и засмѣялась. — Впрочемъ, что же я спрашиваю! Развѣ ты умѣешь сердиться!

Отецъ только погрозилъ ей пальцемъ и ласково проговорилъ:

— Лиса ты у меня.

Софья Дмитріевна улыбнулась и неторопливо, точно по разсѣянности, снова запрятала въ карманъ книгу и письмо. Екатерина Ивановна обомлѣла.

— Софи, ты хотѣла...—начала она.

— Что? — спросила Софья Дмитріевна. — Ахъ, да! Я хотѣла передать вамъ книгу и письмо. Извините, я такъ разсѣяна.

Она снова вынула изъ кармана книгу и письмо и передала ихъ мачихѣ. Та вздохнула свободнѣе.

— Можете представить, до чего доходитъ моя разсѣянность, — обратилась Софья Дмитріевна къ мачихѣ и опять пристально взглянула на ея прояснившееся лицо. — Я два дня носила эти вещи въ карманѣ и все забывала отдать вамъ ихъ. Но этого мало. У меня есть еще одно изъ писемъ, адресованныхъ къ вамъ, которое я тоже нашла въ книгѣ уже годъ тому назадъ, и я до сихъ поръ забыла его отдать вамъ. За это стоило бы меня пожурить, не правда ли?

Екатерина Ивановна сидѣла, какъ на иголкахъ.

— Вотъ, папа, за что тебѣ могли бы на меня пожаловаться,—засмѣялась Софья Дмитріевна.—Да ужъ я покаялась, значитъ, жаловаться нельзя. Впрочемъ, вы сами виноваты, — обратилась она къ мачихѣ: — вы засовываете письма въ первую попавшуюся книгу и потомъ забываете

ихъ вынуть снова изъ книги, такъ что они попадаются въ чужія руки... и еще хорошо, если только въ мои руки.

— Да ужъ всѣ вы женщины хороши въ этомъ отношеніи,—засмѣялся Бѣлевцевъ.—Ведете обширныя корреспонденціи, таскаете въ своихъ карманахъ по десятку записочекъ, изъ которыхъ ни одна не стоитъ ни гроша.

— Ну, ужъ будто бы это и правда?—улыбнулась Софья Дмитріевна.—Вотъ письмо, адресованное къ вамъ,—замѣтила она мачихѣ: — занимаетъ четыре страницы и, вѣрно, интересно и ужъ во всякомъ случаѣ стоитъ болѣе гроша.

Екатерина Ивановна кусала свои губы и то блѣднѣла, то краснѣла. Впервые это маленькое, юркое и увертливое существо сознавало, что оно поймано въ западню. Обѣдъ кончился. Софья Дмитріевна неторопливо ушла въ свою комнату. Черезъ четверть часа у дверей послышался легкій стукъ.

— Можно войти?—раздался вопросъ.

— Войдите,—отвѣчала Софья Дмитріевна.

Въ комнату вошла Екатерина Ивановна.

— Ты одна?

— Одна.

Екатерина Ивановна не сразу могла выговорить, зачѣмъ она пришла. Софья Дмитріевна не начинала разговора. Она спокойно и холодно смотрѣла на смущенную мачиху.

— Я пришла,—наконецъ, проговорила мачиха:—взять у тебя... Это... письмо. Ты говорила...

— Я вамъ его не отдамъ, — ровнымъ и невозмутимымъ тономъ отвѣтила Софья Дмитріевна.

— Не отдашь? — почти воскликнула Екатерина Ивановна.

— Не отдамъ,—повторила Софья Дмитріевна.

— Какъ это мило... какъ это честно съ вашей стороны!—загорячилась Екатерина Ивановна.

— Я не знаю, честно или безчестно убивать тѣхъ комаровъ, которые насъ жалятъ, но я ихъ всегда убиваю,— замѣтила Софья Дмитріевна: — и меня нисколько не заботитъ, какой взглядъ имѣютъ они на мой образъ дѣйствій.

— А, такъ вы вотъ какъ! Я комаръ? Я васъ жалю? Вы хотите меня убить?

Екатерина Ивановна была внѣ себя и забѣгала по комнатѣ. Софья Дмитріевна сидѣла на диванѣ съ выраженіемъ невозмутимаго спокойствія.

— Прекрасно! — кричала мачиха: — за мной шпіонятъ,

за мной слѣдятъ, у меня крадутъ письма, читаютъ ихъ и не отдаютъ ихъ мнѣ! И это дѣвушки, которыя считаютъ себя честными, безупречными! Хороша честность! Добровольно исполнять полицейскія обязанности, — обязанности сыщиковъ!.. Но вы думаете, что я совсѣмъ беззащитна, что меня можетъ здѣсь оскорблять всякій? Вы ошибаетесь. Я все разскажу вашему отцу. Я открою ему глаза на образъ вашихъ дѣйствій. Вы думаете, что я боюсь сознаться въ своемъ минутномъ увлеченіи? Вы ошибаетесь! Я лучше перенесу все отъ мужа, чѣмъ отъ васъ... Да что же вы молчите? Онѣмѣли вы, что ли?—вдругъ воскликнула Екатерина Ивановна, останавливаясь передъ падчерицей.

— Мнѣ нечего говорить, потому что я вамъ уже сказала все, что нужно,—отвѣтила Софья Дмитріевна.

— Вы мнѣ ничего не сказали, вы отмолчаться думаете!

— Я вамъ сказала, что я не отдамъ письма, чего же вы хотите отъ меня еще? А что будете вы дѣлать — это ваше дѣло, не касающееся меня.

Софья Дмитріевна поднялась съ мѣста и встала передъ мачихой, которая казалась въ эту минуту еще ниже ростомъ.

— Теперь я васъ попрошу выйти,—начала Софья Дмитріевна. — Но прежде позвольте вамъ замѣтить одно. Съ сегодняшняго дня вы не будете вмѣшиваться въ мои дѣла и въ дѣла моей сестры и нашей гувернантки; вы никогда и ни за что не будете жаловаться на насъ отцу; вы никогда не будете переступать порогъ этой комнаты. Говорить вамъ о томъ, что я никому и никогда даже не намекну о томъ, что я знаю о васъ,—а я знаю очень много,—мнѣ не нужно. Вы знаете, что я не говорила объ этомъ и прежде, и не мѣшала вамъ даже въ тѣ минуты, когда вы имѣли наглость цѣловать какихъ-то негодяевъ въ томъ домѣ, гдѣ живутъ молоденькія дочери вашего мужа,—цѣловать, не затворивъ даже дверей, не опустивъ шторъ... Теперь вы можете идти...

Екатерина Ивановна открыла ротъ, чтобы сказать что-то, но глаза Софьи Дмитріевны вдругъ сверкнули гнѣвомъ.

— Я думаю, что послѣ всего сказаннаго вы поймете, насколько неприлично для меня всякое дальнѣйшее объясненіе съ вами,—проговорила она.—Вѣдь вы даже не можете оправдать своего паденія любовью, потому что любить сегодня одного, а завтра другого—нельзя; вы даже не можете, какъ жалкія продажныя женщины, извинить своихъ ошибокъ

нищетою, потому что у васъ есть все. Мнѣ совѣстно самой себя, что я даже говорю съ вами, потому что никакія мои объясненія не могутъ исправить, а могутъ только запугать васъ.

Съ этой поры Екатерина Ивановна не пробовала бороться съ падчерицей и если не сдѣлалась ни лучше, ни добрѣе, то стала трусливѣе и безобиднѣе въ отношеніяхъ къ дочерямъ своего мужа. Люди, которымъ дороги балы, дорогія тряпки, цѣнныя украшенія, всегда являются трусами въ ту минуту, когда приходится ставить на карту всю эту мишуру. Екатерина Ивановна очень хорошо знала, что Бѣлевцевъ, несмотря на свою доброту, разстанется съ нею тотчасъ же, какъ только узнаетъ всѣ ея продѣлки. Что же тогда дѣлать? Мужъ, конечно, не дастъ ей большихъ средствъ. Не идти ли къ родителямъ? Но они надули Бѣлевцева на приданомъ и очень рады, что пристроили и сбыли съ шеи лишній ротъ; они, конечно, не станутъ заботиться объ этомъ отрѣзанномъ ломтѣ, не станутъ ей покровительствовать за то, что она, дура, не умѣла пользоваться счастьемъ и «не сумѣла даже и мужа-то водить за носъ». Не идти ли къ возлюбленнымъ? Но къ которому? Изъ нихъ каждый былъ радъ найти въ ней даровую и безопасную во всѣхъ отношеніяхъ любовницу, но и только; они не дорожили ею даже настолько, чтобы быть вѣрными или постоянными въ отношеніи къ ней: они пользовались ея услугами только до болѣе выгодной связи. Екатерина Ивановна если не сообразила и не взвѣсила всего этого, то угадывала кое-что воображеніемъ, перепуганнымъ мрачною картиною изгнанія изъ того дома, гдѣ ей недоставало только «птичьяго молока», какъ выражалась ея прислуга. И вотъ она струсила, покорилась, согласилась лучше видѣть постоянно презирающую ее личность, чѣмъ бросить этотъ домъ или отречься отъ своихъ привычекъ.

Эта борьба не легко досталась Софьѣ Дмитріевнѣ и сдѣлала изъ нея дѣвушку, которую называли то пуританкою, то синимъ чулкомъ, то философомъ въ юбкѣ, то сентиментальной мечтательницей, то безсердечнымъ кумиромъ, жаждущимъ поклоненія. Ея многіе боялись, многіе не любили, но уважали ее почти всѣ. Ее можно было чаще встрѣтить въ мужскомъ обществѣ, чѣмъ въ кругу женщинъ, и чаще въ кругу женщинъ, среднихъ лѣтъ, чѣмъ въ кругу очень моденькихъ дѣвушекъ. Говоря съ нею, нельзя было не замѣтить въ ея рѣчахъ оттѣнка грусти, недовольства, прежде-

временной невеселой опытности. Въ близкихъ сердечныхъ отношеніяхъ она стояла съ немногими людьми и прежде всего со своею сестрою, обожавшею свою «Софочку».

Сестра Софьи Дмитріевны, «Шурка», какъ ее звали въ домѣ, была совсѣмъ другой человѣкъ. Она не знала ни горя, ни притѣсненій, ни грязи, происходившей въ домѣ. Старшая сестра отстранила отъ нея все, что было возможно отстранить, и изъ Шурки выработался прелестный ребенокъ. Невысокая ростомъ, съ круглымъ личикомъ, съ нѣсколько кудрявыми темно-русыми волосами, заплетенными въ двѣ недлинныя, но толстыя пушистыя косы, съ большими черными близорукими глазами, съ живыми и быстрыми движеніями, она походила на шаловливаго и смышленаго котенка. У нея было много граціозныхъ кошачьихъ ухватокъ. Она любила сидѣть на скамеечкѣ передъ топящеюся печкой въ темной комнатѣ и смотрѣть, щуря большіе свѣтящіеся, какъ угольки, глаза на огонь. Она любила помѣститься у ногъ Софочки и шаловливо заигрывать съ нею и прятать голову въ ея колѣни. Она иногда вдругъ вскакивала, озаренная какою-нибудь внезапною мыслью, а иногда вдругъ притихала и только щурила свои близорукіе глаза, свѣтившіеся необыкновеннымъ блескомъ. Софья Дмитріевна, говоря про нее, называла ее своимъ «котенкомъ», вслѣдствіе чего, Шурка, въ свою очередь, звала Софью Дмитріевну своею «собàченькой»,—впрочемъ, эпитетъ «собáченька» былъ самый ласкательный на языкѣ шалуньи, и когда она говорила: «ахъ, это такая собàченька»—это означало: «ахъ, это такая прелестная особа или вещь».

VIII.

Шура, какъ я сказалъ, относилась ко всѣмъ очень просто, но былъ одинъ человѣкъ, къ которому она всегда относилась вызывающимъ тономъ, передъ которымъ она поднимала голову. Этотъ человѣкъ былъ я. Съ самаго ранняго дѣтства она привыкла слышать обо мнѣ, какъ о человѣкѣ недюжинномъ, который выбился на дорогу своимъ трудомъ, который не кланялся никому, который ни передъ кѣмъ не раскрывалъ своей души, который относился ко всѣмъ или недовѣрчиво, или иронически. Это заставило дѣвочку, говоря ея собственнымъ языкомъ, «бояться меня, какъ инспектора». Она хмурилась при моемъ появленіи и спѣшила уйти, чтобы я не сталъ насмѣхаться надъ нею. Слѣдствіемъ этого удаленія было то, что я почти не зналъ ея. Я встрѣчалъ ее

рѣдко, при встрѣчахъ со мною она обыкновенно молчала, и я почти не обращалъ на нее вниманія. Моя невнимательность къ ней объяснялась вообще моими отношеніями къ людямъ, къ которымъ я никогда не подходилъ первый, съ которыми я сближался только послѣ ихъ настойчивыхъ приставаній ко мнѣ. Но Шура объясняла мое поведеніе иначе: ей казалось, что я ее «презираю». Эта мысль заставила ее платить мнѣ тѣмъ же: она «дѣлала видъ», что вовсе не замѣчаетъ меня. Къ несчастію, она могла не замѣчать меня, но она не могла не слышать обо мнѣ, такъ какъ обо мнѣ часто говорили въ ея присутствіи, то какъ о хорошемъ докторѣ, то какъ о добросовѣстномъ ученомъ, то какъ о честномъ и добромъ, но странномъ человѣкѣ; это должно было заинтересовать ее. Рядомъ съ этимъ она часто слышала мои споры въ обществѣ, изъ которыхъ я, вслѣдствіе слабости противниковъ и моихъ діалектическихъ способностей, постоянно выходилъ побѣдителемъ. Разъ во время одного подобнаго спора, когда былъ задѣтъ близкій моему сердцу вопросъ о положеніи рабочихъ, я сильно разгорячился и говорилъ очень смѣло, страстно и увлекательно; Шура притаила дыханіе и не проронила ни одного слова; когда я кончилъ, она невольно схватила за руку сестру и воскликнула:

— Вотъ-то собаченька!

Она тотчасъ же опомнилась, сконфузилась и убѣжала изъ комнаты.

Я не обратилъ бы на это никакого вниманія, если бы мнѣ не замѣтилъ одинъ изъ моихъ пріятелей:

— А ты произвелъ сильное впечатлѣніе на Шуру Бѣлевцеву.

Я пожалъ плечами.

— Я думаю, она даже и не поняла, о чемъ я говорилъ,— сказалъ я.—Ее еще куклы, вѣроятно, занимаютъ.

— Да, да, толкуй! А самъ, я думаю, радъ бы влюбить въ себя такую красотку,—пошутилъ пріятель.

— У васъ только и на умѣ, что влюблять кого-нибудь въ себя,—сказалъ я.

Этотъ разговоръ забылся мною, какъ и всякія другія глупости. Но Шура не забыла обо мнѣ. Добрые друзья постарались напомнить ей обо мнѣ. Они стали какъ-то бранить меня при ней.

— Вы это можете доказать, что онъ такой злой?—спросила она, сдвинувъ брови.

— Да это всѣ знаютъ,—отвѣтили ей.

— А вы это ему скажете въ глаза?—спросила она.

— Что мы учить его, что ли, будемъ?—разсмѣялись они.

— Ну, а если не скажете, такъ, значитъ, вы или лжете, или боитесь его,—горячо рѣшила она.—Онъ вотъ никогда никого не бранитъ за глаза, а говоритъ все прямо въ глаза. Вы за это его и не любите.

Она горячо вступилась за меня.

— А вѣдь Шура Бѣлевцева окончательно влюбилась въ тебя, — говорили мнѣ тѣ же пріятели. — Даромъ, что ребенокъ, а тоже влюбляется.

Я разсердился.

— Вы не вздумайте просвѣщать этого ребенка,—сказалъ я.—Думали бы побольше о дѣлѣ, а не о томъ, кто въ кого влюбленъ!

И опять я забылъ этотъ разговоръ. А Шура все пристальнѣе и пристальнѣе всматривалась въ меня, все подробнѣе и подробнѣе освѣдомлялась обо мнѣ, все чаще и чаще прислушивалась къ моимъ рѣчамъ и начинала убѣждаться, что я иной человѣкъ, чѣмъ ея отецъ, чѣмъ дядя Ваня, чѣмъ разные офицеры, окружавшіе ея мачиху и тетю Тото.

Однажды я былъ въ Павловскѣ на дачѣ у Бѣлевцевыхъ. Мы пили на балконѣ чай.

— А гдѣ же Шура?—спросила хозяйка дома.

— Она, кажется, ушла къ пруду читать,—отвѣтилъ кто-то.

— Надо ее позвать.

— А вотъ я ее приведу,—сказалъ я безъ всякаго умысла.

Я пошелъ за нею и скоро нашелъ ее.

— Мнѣ велѣно васъ сейчасъ привести къ вашей maman,— сказалъ я.

Она вся вспыхнула.

— Велѣно? Если вы покорно исполняете чужія приказанія, то это не значитъ, что и я должна ихъ исполнять, — по-дѣтски капризно сказала она, разсерженная моимъ тономъ.

— Ну, ужъ какъ тамъ хотите, а я возьму и приведу васъ,—пошутилъ я.

— Что же вы силу употребите, что ли? — сказала она, чуть не со слезами въ голосѣ.

Меня изумилъ этотъ тонъ.

— Что это вы, кажется, плакать хотите? — спросилъ я.

— Я не люблю неумѣстныхъ шутокъ,—сказала она.

— Неумѣстныхъ? Это почему?

— Потому что шутятъ только со знакомыми или... съ маленькими дѣтьми,—отвѣчала она, запинаясь.

— Да вѣдь мы же знакомые,—сказалъ я.

— Вы знакомы съ моею семьею, а не со мною,—отвѣтила она.—Вы едва ли узнали бы меня въ лицо, если бы встрѣтили на улицѣ.

— Ну, такъ познакомимьтесь, — сказалъ я весело. — Я буду очень радъ, если вамъ не скучно будетъ знакомство съ такимъ скучнымъ старикомъ, какъ я.

— Вы старикъ? — воскликнула она и засмѣялась. — Съ чего вы это выдумали, вы молодой, совсѣмъ молодой.

— Ну, положимъ, что такъ, — сказалъ я. — Но идти къ maman все же надо. Давайте руку. Вы не сердитесь теперь на меня?

— Нѣтъ,— сказала она и сжала мою руку.

Мы пошли.

— А вы знаете, что я васъ очень боялась,—сказала она.

— Боялись?—спросилъ я.

— Да. Васъ всѣ такими красками рисуютъ.

Она замолчала.

— Скажите, за что васъ такъ часто бранятъ? — вдругъ спросила она.

— Да когда же вы слышали, чтобы меня бранили?

— Всегда, всегда!

— Я что-то не слыхалъ.

— Еще бы! Васъ боятся, въ глаза не станутъ бранить...

— А, значитъ, бранятъ за-глаза,—засмѣялся я.

— Но зато васъ никто и не любитъ, — откровенно сказала она и сощурила глаза, всматриваясь въ меня.

— И вы не любите?—спросилъ я, самъ не зная для чего.

— Я васъ совсѣмъ не знаю...

— Ну, а вашего кучера сынишка не любитъ меня? — спросилъ я.

Она разсмѣялась.

— Дѣти васъ любятъ. Вѣдь вы смѣетесь только надъ большими.

— Потому что надъ дѣтьми глупо смѣяться. Ихъ учить надо.

Мы дошли до балкона, гдѣ Софья Дмитріевна и два гостя какъ-то подозрительно взглянули на насъ. Шура весело подбѣжала сзади къ сестрѣ и звонко поцѣловала ее въ шею.

— Что съ тобой?—спросила Софья Дмитріевна.

— Ничего, ничего!

— Что же ты цѣлуешься?

— Такъ, захотѣлось цѣловать,—вотъ и цѣлую,—засмѣялась Шура.—И еще, и еще поцѣлую тебя,—продолжала она, покрывая поцѣлуями шею сестры.

Софья Дмитріевна пристально взглянула на меня и, кажется, изумилась, встрѣтивъ на моемъ лицѣ выраженіе полнѣйшаго внутренняго счастья.

О, если бы она знала, какъ я счастливъ, какъ веселъ я былъ въ эту минуту. Мнѣ не хотѣлось говорить, мнѣ не хотѣлось смѣяться, мнѣ хотѣлось только скорѣе вырваться изъ ихъ кружка и уйти далеко, далеко куда-нибудь въ поле, въ деревню, гдѣ живутъ простые люди, такіе же простые, какъ это дитя, весело и безпечно рѣзвившееся около насъ.

Впервые я почувствовалъ, что та доля фатовства, та доля высокомѣрія, которая постоянно присутствовала во мнѣ, вдругъ исчезла, и я думалъ только объ одномъ, что я рѣшусь на всѣ жертвы, на всѣ испытанія, чтобы Шура была моимъ другомъ, моею спутницею, моею женою. Я думалъ только о себѣ... Впрочемъ, кто же изъ насъ, мужчинъ, думаетъ о судьбѣ той женщины, которую онъ любитъ и изъ которой онъ хочетъ сдѣлать любовницу или жену?..

Мы сблизились не постепенно, не исподволь, а сошлись вдругъ. Черезъ пять, шесть дней намъ казалось, что мы знаемъ другъ друга уже десятки лѣтъ, что въ нашей жизни не было времени, когда бы мы не были знакомы. Она потребовала, чтобы я разсказалъ ей «всю, всю свою жизнь до капельки». Я просилъ, чтобы она разсказала мнѣ и свою жизнь.

— Ахъ, моя жизнь — это одинъ день. Утромъ темное платьице и уроки французскаго, нѣмецкаго и русскаго языковъ, ариѳметики, географіи и исторіи. За завтракомъ — свѣтлое платьице и потомъ прогулка. Въ обѣдъ — третье платьице и потомъ урокъ музыки. Утромъ наставленія гувернантки: «какъ вы сидите?» Въ обѣдъ наставленія maman: «веди себя приличнѣе». Вечеромъ наставленія сестры: «не вѣтреничай». Вотъ и все.

— А внутренняя жизнь?

— Меня удивляло, какъ maman не устанетъ одѣваться три и четыре раза въ день, и какъ она не соскучится читать романы. Мнѣ было удивительно, почему сестра все сидитъ въ своей комнатѣ за книгами, когда у maman слышится громкій смѣхъ офицеровъ. Меня изумляло, какъ

это можетъ папа все ѣздить и ѣздить цѣлый день по домамъ больныхъ и никогда не жить для себя.

— Но были же какія-нибудь желанія?

— Мнѣ хотѣлось, чтобы сестра была счастлива, чтобъ папа былъ счастливъ, чтобы я была счастлива...

— А какъ?

— Этого я не представляла себѣ, мнѣ просто хотѣлось, чтобы мы всѣ были счастливы.

— И теперь тоже вы не представляете себѣ картины этого счастья?

Она взглянула въ сторону и покраснѣла.

— Вы не отвѣчаете?

Она быстро обернулась ко мнѣ и горячо, страстно обвила руками мою шею. Я сошелъ съ ума: я цѣловалъ ея руки, ея глаза, ея губы. Я не понималъ, не хотѣлъ понять, что мнѣ бросался въ эту минуту на шею ребенокъ, а не взрослая дѣвушка, и рѣшилъ, что это любящее созданье будетъ моею женою. Когда Шура объявила сестрѣ, что она «обожаетъ» меня, та смутилась и начала уговаривать ее не выходить за меня замужъ. Но Шура ничего не хотѣла слушать и только повторяла, что она любитъ, боготворитъ, обожаетъ меня. Софья Дмитріевна пробовала, какъ умѣла, объяснить ей, что я вдвое старше ея, что я скоро сдѣлаюсь старикомъ, что я слишкомъ сербезенъ для нея, что у меня тяжелый характеръ, — Шура смѣялась и затыкала уши. Софья Дмитріевна была огорчена, опечалена, но мнѣ она не рѣшалась сказать, что я дѣлаю безумный шагъ, что я поступаю нечестно, женясь на ея сестрѣ: она была дѣвушка, и ей было «неловко» говорить объ этомъ со мною. Я могъ бы еще, пожалуй, подумать, что она сама имѣетъ виды на меня!

Я женился.

Какъ веселъ, какъ доволенъ, какъ счастливъ былъ я вплоть до того дня, когда меня встревожила болѣзнь жены. Я не отходилъ по ночамъ отъ ея постели, я боялся потерять въ ней все счастіе моей жизни, я сходилъ съ ума, думая объ опасности ея болѣзни, какъ вдругъ мнѣ попался подъ руки ея дневникъ, открывшій мнѣ глаза. Прочтите этотъ дневникъ, и вы поймете, безъ объясненій, безъ добавленій ту жизнь, на которую я безсознательно, тупо и спокойно обрекъ этого ребенка. Это поучительная исторія, потому что она, къ несчастію, повторяется сплошь и рядомъ. Вотъ эти скорбныя страницы, начало которыхъ я уже передалъ вамъ, приступая къ своей исповѣди.

IX.

«Когда я дала слово Максиму, Соня пришла въ ужасъ.

— Подумай, что ты дѣлаешь,—говорила она въ тревогѣ.— Онъ болѣе, чѣмъ вдвое старше тебя.

— Неужели ты думаешь, что мнѣ нуженъ непремѣнно мужъ мальчикъ?—сказала я.

— Не мальчикъ, но и не такой немолодой человѣкъ,— замѣтила сестра.—Максимъ рано началъ жить, онъ слишкомъ опытенъ, слишкомъ серьезенъ для тебя...

— Ты меня оскорбляешь, Соня,—обидѣлась я.—Я вовсе не желаю, чтобы мой мужъ былъ глупымъ и пустымъ человѣкомъ...

Соня покачала головой.

— Я не то хотѣла сказать,—проговорила она съ грустью.— Я хотѣла сказать, что ваши лѣта, ваши характеры, вашъ образъ жизни, ваши взгляды—все это крайне различно, противоположно, что вы не сойдетесь ни на чемъ, такъ какъ у васъ нѣтъ ничего общаго.

— У насъ есть общее—любовь,—отвѣтила я.

Соня вздохнула и начала убѣждать меня, что мы, я и Максимъ, оба обманываемся въ своихъ чувствахъ, что я увлекаюсь Максимомъ, какъ умнымъ и честнымъ человѣкомъ, а онъ увлекается мною, какъ живой и наивной дѣвочкой, но что этого очень недостаточно для супружеской жизни. Она даже бранила Максима, говоря, что онъ поступаетъ, какъ мальчикъ, какъ эгоистъ. Но я ничего не хотѣла слушать. Я любила, и этого было довольно, чтобы заставить молчать разсудокъ. Я поняла, что Соня была права, только послѣ, когда было уже поздно думать о спасеніи. Я поняла это не вдругъ, а постепенно, позже другихъ, постороннихъ людей. Сначала мнѣ казалось, что я вполнѣ счастлива. Моя жизнь съ Максимомъ шла тихо и мирно: онъ ласкалъ меня, его мать и его тетка ухаживали за мной, меня ни въ чемъ не стѣсняли, я не терпѣла никакихъ недостатковъ—и мнѣ казалось, что я счастлива. Правда, иногда на меня нападало гнетущее чувство скуки, какой-то пустоты, но я не придавала этому особеннаго значенія, покуда посторонніе люди не указали мнѣ на это.

Какъ-то разъ я зашла утромъ къ дядѣ Ванѣ, онъ по обыкновенію обрадовался мнѣ и, потирая руки, сказалъ:

— Ну, и отлично, и отлично! Вмѣстѣ позавтракаемъ!

Дядя Ваня всегда радъ съ кѣмъ-нибудь поѣсть вмѣстѣ. Потомъ онъ спросилъ меня:

— А что твой благовѣрный?

— Ничего, здоровъ,—отвѣтила я.

— Что-жъ ты его съ собой не притащила?—спросилъ онъ.

— Ахъ, станетъ ли Максимъ гулять съ женою!—воскликнула со вздохомъ Антонида Павловна.—У него серьезныя дѣла!

— Да, онъ уѣхалъ по дѣламъ,—отвѣтила я.

— Куда?—спросилъ дядя.

— Что ты ее спрашиваешь, Жанъ! Развѣ она знаетъ дѣла своего мужа!—опять воскликнула тетя.

Я покраснѣла, точно меня задѣли за живое слова тети.

— Вы ошибаетесь, тетя,—сказала я.—У Максима нѣтъ отъ меня тайнъ, но я не считаю нужнымъ разспрашивать, куда онъ ѣздитъ и что дѣлаетъ.

— И хорошо дѣлаешь,—опять вздохнула тетя.—Онъ, все равно, не сказалъ бы тебѣ ничего. Гдѣ же ему, такому серьезному человѣку, дѣлать своею повѣренною такую малютку, какъ ты! У нихъ, у этихъ серьезныхъ людей, идетъ своя жизнь, не имѣющая ничего общаго съ жизнью ихъ женъ. Къ женамъ они приходятъ только въ свободныя минуты за ласками и поцѣлуями, какъ могли бы придти къ любовницамъ, и жены должны довольствоваться этимъ, потому что ихъ содержатъ мужья на свои деньги.

— Ну, матушка, чего же ты еще хочешь,—сказалъ дядя Ваня.—И то хорошо, что мужъ ласкаетъ, а не посвящать же ему въ самомъ дѣлѣ жену въ свои дѣловыя занятія или ученыя работы. Ты, Шура, я думаю, и не поняла бы ничего изъ того, что занимаетъ Максима!

Я ничего не отвѣтила. Я точно не понимала тѣхъ ученыхъ трудовъ, которыми занимался Максимъ.

— Да, у васъ у всѣхъ такіе взгляды,—сказала тетя.—Жена не подруга, не товарищъ, а просто любовница. Зато какъ весело живется женамъ: онѣ всегда однѣ, онѣ умираютъ отъ скуки, онѣ не могутъ даже поговорить серьезно съ своими мужьями, боясь вѣчно услышать одно и то же: «это не твое дѣло», «ты этого не поймешь»... Я думаю, ты очень скучаешь?—обратилась тетя ко мнѣ.

— Я? Нѣтъ... я не скучаю,—отвѣтила я въ смущеніи, сознавая, что я лгу.

— Но вѣдь ты вѣчно сидишь одна, Максимъ то ѣздитъ по своимъ больнымъ, то сидитъ со своими книгами...

— Ну, тетя, не всегда же онъ у больныхъ или за книгами,—постаралась я улыбнуться.—Бываетъ онъ и со мною...

— Еще бы!—проговорила она.—До тебя онъ, вѣроятно, ѣздилъ въ свободные часы къ какой-нибудь любовницѣ, а теперь удобно—жена подъ рукой и можно приласкать ее, когда вздумается,—конечно, ему, а не ей... Если она сама придетъ къ нему съ ласками,—ей говорятъ: «извини, милочка, я занятъ», «не мѣшай мнѣ, милочка, я долженъ кончить работу», «дай мнѣ, милочка, отдохнуть»...

— Ты, Шура, ея не слушай! Она врагъ всѣхъ мужей!—засмѣялся дядя Ваня.

— Я думаю, каждая женщина, переживъ всѣ эти униженія, должна сдѣлаться врагомъ мужей,—сказала тетя.—Шура тоже пойметъ все это очень скоро, тѣмъ болѣе, что она уже совершенно одинока дома...

— Вы забыли, тетя, что у насъ живутъ со мною мать и тетка Максима,—сказала я.

— Ну, что же онѣ могутъ навѣять на тебя кромѣ скуки!—пожала плечами тетя.—Мать Максима довольно ограниченная и крайне отсталая женщина, а тетка—тамбуръ-мажоръ въ юбкѣ...

— Это добрыя и честныя женщины!—заступилась я съ горячностью за милыхъ мнѣ старушекъ.

— Я не говорю противнаго, но и съ добрыми и честными людьми можно скучать, когда съ ними не о чемъ говорить,—сказала тетя.—Не могутъ же эти старушки интересоваться тѣмъ, что интересуетъ молодежь, и не можешь же ты интересоваться ихъ старческими воспоминаніями о чуждой для тебя жизни. Я даже думаю, что тебѣ было бы лучше, если бы онѣ не жили у васъ въ домѣ, у тебя хоть работа была бы, ты могла бы заняться хозяйствомъ, а вѣдь теперь ты сидишь сложа руки...

Я ничего не возражала и перемѣнила разговоръ.

Возвращаясь домой, я была въ странномъ настроеніи: мнѣ казалось, что тетя сказала все то, что я смутно угадывала сама.

Съ этого дня я стала вглядываться въ свою собственную жизнь, припоминать мелкія подробности этой жизни. Это была скучная и однообразная жизнь. Утромъ Максимъ уѣзжалъ къ своимъ больнымъ; потомъ онъ возвращался домой усталый къ обѣду; послѣ обѣда онъ спалъ въ теченіе часа; затѣмъ онъ принимался за свои ученыя работы. Я его видѣла только урывками, только по нѣсколько минутъ въ сутки. Мать и

тетка Максима оставались постоянно дома, со мною. Но онѣ не могли ни развеселить, ни развлечь меня. Это были, какъ я сказала тетѣ, добрыя и честныя женщины, но у меня не было ничего общаго съ ними. Мать Максима была женщина ограниченная, малоразвитая, отсталая по взглядамъ; тетка Максима стояла выше ея по образованію и по уму, но она смотрѣла на людей слишкомъ мрачно и сурово и недовѣрчиво относилась ко всему новому. Обѣ эти женщины распредѣлили между собою занятія: мать Максима хозяйничала, постоянно заглядывала въ кухню, вѣчно хлопотала объ обѣдѣ, завтракѣ и ужинѣ, тетка Максима постоянно шила бѣлье, штопала носки, вязала косынки и шарфы. Ихъ разговоры вертѣлись на воспоминаніяхъ о прошломъ, о томъ, что не интересовало меня, что было чуждо мнѣ. Когда разговоръ касался современной жизни и молодежи, обѣ старушки высказывали такія мысли, которыя возмущали меня, и мнѣ приходилось или молчать, или горячо спорить съ ними,—я молчала. Иногда мнѣ становилось такъ скучно, такъ тяжело, что я удалялась въ кабинетъ къ Максиму.

— А, это ты, птичка,— говорилъ онъ мнѣ ласково и привлекалъ меня къ себѣ.—Ну, что скажешь?

— Я пришла посидѣть съ тобою,—замѣчала я.

— Ну, и отлично, только чуръ сидѣть смирно и не мѣшать мнѣ!—шутливо замѣчалъ онъ и, поцѣловавъ меня, снова принимался за работу.

А я?—Я садилась съ поникшей головой на диванъ, раскрывала книгу и—не читала. Меня и здѣсь томила скука, скука и скука...

Мнѣ вспомнилось, что у насъ, въ домѣ у отца, вѣроятно, идетъ въ это время смѣхъ и говоръ гостей...

— Не могу ли я помочь тебѣ работать?—спросила я разъ Максима.

— Нѣтъ, голубка, мнѣ вѣдь приходится дѣлать выдержки и переводы изъ англійскихъ и нѣмецкихъ книгъ по вопросамъ спеціальнымъ, и ты въ этомъ случаѣ не можешь помочь мнѣ,—отвѣчалъ онъ.

— А ты научи меня,—настаивала я.

— Долго будетъ, это не такъ легко... Да я и одинъ справлюсь...

Я подавляла свой вздохъ и уходила.

— Ты никуда сегодня не ѣдешь?— спрашивалъ онъ меня.

— Нѣтъ.

— Соня, я слышалъ, ѣдетъ сегодня въ театръ, ты бы поѣхала съ ней.

— А ты?

— У меня работа... Впрочемъ, я заѣду къ послѣднему дѣйствію въ театръ за тобою...

Я ѣхала въ театръ, онъ заѣзжалъ за мною туда въ концѣ спектакля.

— Усталъ я сегодня,—замѣчалъ онъ мнѣ дорогой.—Такая масса больныхъ, что становится просто страшно.

— Ты не ѣздилъ бы столько съ визитами... убавилъ бы практику...—совѣтовала я.

— Нельзя, Шура... Бѣдняковъ такая масса, а докторовъ мало.

Я знала, что бо́льшая часть его больныхъ состояла изъ бѣдняковъ, и сама стыдилась, что совѣтовала ему сократить его практику.

— Да, бѣдность все растетъ и растетъ при возрастающей дороговизнѣ жизни,—задумчиво говорилъ онъ:—и до чего это дойдетъ—трудно и предвидѣть...

— Ахъ, кстати,—замѣтила я:—мнѣ предлагала тетя Тото записаться членомъ въ благотворительное общество для пособія бѣднымъ женщинамъ.

— Что-жъ, запишись, если хочешь,—отвѣтилъ Максимъ.—Посмотришь, какъ люди баклуши бьютъ.

— Развѣ ты не видишь пользы отъ подобныхъ обществъ?—спросила я.

— Да какая же можетъ быть отъ нихъ польза, развиваютъ попрошайство, а отъ нищеты никого не спасаютъ. Внесетъ каждый членъ десятокъ рублей въ годъ, станетъ ѣздить въ комитеты, въ маскарады, въ спектакли съ благотворительной цѣлью, какой-нибудь казначей или секретарь будетъ нагрѣвать руки, бѣдные получатъ по рублю или по полтора рубля въ годъ—вотъ и все.

Несмотря на это, я все-таки вступила въ члены общества для пособія бѣднымъ женщинамъ. Меня тотчасъ же выбрали въ комитетъ и дали порученіе посѣтить бѣдныхъ. Боже мой, что за картины нищеты увидала я. Не дожидаясь рѣшенія комитета, я помогла бѣднякамъ. Потомъ мнѣ еще дали адресы бѣдныхъ, и снова мнѣ пришлось имъ помочь изъ своего кармана. Далѣе мнѣ прислали билеты на лотерею и спектакль... Мнѣ пришлось задуматься: у меня не было своихъ денегъ, и мнѣ нужно было просить ихъ у мужа. Я знала, что онъ не откажетъ. Но какъ же просить на дѣло,

которому онъ не сочувствуетъ? Какъ просить у человѣка, который добываетъ каждый грошъ усиленнымъ трудомъ? Наконецъ, что это за сострадательность, что это за благотворительность изъ чужого кармана? Нѣтъ, надо будетъ какъ-нибудь самой заработать деньги и помогать ближнимъ изъ нихъ.

Я обрадовалась этой идеѣ и разъ сказала Максиму:

— Ты не разсердишься, если я буду давать уроки музыки?

— Нѣтъ. Но что это тебѣ вздумалось?—спросилъ онъ.

— Мнѣ хочется работать, чтобы имѣть свои деньги,—сказала я.

Онъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на меня.

— Голубка, развѣ тебѣ нужны деньги? Зачѣмъ же ты не скажешь? Мои деньги—твои деньги. Ради Бога, не раздѣляй никогда ничего на твое и мое. Ты—моя и все мое—твое.

Онъ встревожился и огорчился. Я поспѣшила объяснить ему дѣло.

— Я всегда и считала все твое своимъ,—сказала я:—но я не хочу раздавать бѣднымъ то, что заработалъ трудомъ ты; мнѣ было бы пріятнѣе дать бѣднымъ деньги, добытыя мною.

— Видишь ли, Шура, что я долженъ тебѣ сказать,—началъ онъ.—Принципъ благотворительности вообще ложенъ и ведетъ ко множеству абсурдовъ. Было когда-то время крѣпостничества, богачи брали огромные оброки и налоги съ крестьянъ; часто разоряя ихъ, и въ то же время изъ этихъ денегъ бросали сотую часть другимъ бѣднякамъ, то-есть пускали по-міру тысячу людей и спасали отъ голода десятокъ людей. Такіе абсурды встрѣчаются всегда въ благотворительности: барыни устраиваютъ спектакль съ благотворительною цѣлью, тратятъ тысячи на костюмы, на закуски, на разъѣзды и получаютъ со спектакля сотню рублей барыша, тогда какъ имъ стоило бы пожертвовать затраченныя ими деньги, и у бѣдняковъ были бы тысячи. Вотъ и тебя смутила мысль, что ты будешь тратить деньги на бѣдняковъ, а мнѣ придется изъ-за этого удвоить свой трудъ, то-есть ты будешь загребать уголья чужими руками, и ты рѣшилась зарабатывать деньги сама. Но ты подумай о томъ, что, давая уроки за плату, ты отобьешь эти уроки отъ учительницъ, которыя нуждаются, которыя даютъ уроки изъ-за куска насущнаго хлѣба... Подавая одной рукой милостыню, ты будешь другою плодить нищету.

Я смутилась: я не подумала объ этомъ прежде.

Я долго толковала съ Максимомъ о филантропіи и отказалась, наконецъ, совсѣмъ отъ роли благотворительницы. Эта роль была намъ не по карману. Снова я почувствовала пустоту своей жизни. Я начала изыскивать средства искусственно подавить свою скуку, изобрѣсти какое-нибудь занятіе. Я остановилась на мысли о безплатной школѣ. Но мнѣ нужно было для этого получить дипломъ, получить разрѣшеніе. Почти годъ я готовилась къ экзамену, готовилась безъ учителей, такъ какъ мнѣ было совѣстно опять просить денегъ у мужа, и, наконецъ, кое-какъ выдержала экзаменъ. Я была очень рада этому и начала хлопотать о разрѣшеніи открыть безплатную школу,—разрѣшенія не послѣдовало и мнѣ предложили открыть обыкновенную платную школу, чего я вовсе не желала. Впрочемъ, можетъ-быть, это случилось къ счастію. Какую пользу принесла бы моя безплатная школа, если бы я учила въ ней одна? Открыть же школу большую съ учителями и учительницами я не имѣла средствъ, и мнѣ опять пришлось бы благотворить изъ кармана мужа, а Максимъ и безъ того бился, какъ рыба объ ледъ, чтобы его семья не терпѣла недостатковъ. Началось опять изобрѣтеніе средствъ убить свое время. Я рѣшилась учиться акушерству.

— Что это за мысль пришла тебѣ?—спросилъ Максимъ.

— А что?

— Такъ, общество тамъ скверное въ этихъ родильныхъ домахъ... И, признаюсь тебѣ, я не особенно буду радъ, если ты познакомишься съ этой грязной стороной жизни, если ты будешь практиковать... Я немного отсталый въ этомъ случаѣ человѣкъ и эстетикъ... мнѣ не хочется, чтобы моя милая женка была практикующей акушеркой...

Я опечалилась.

— Впрочемъ,—поспѣшилъ онъ прибавить:—я не насилую твоей воли. Дѣлай, что хочешь и какъ хочешь. Я тебѣ высказалъ только свой взглядъ. Я самъ докторъ и потому знаю, сколько нравственной чистоты, сколько женственной скромности, сколько сердечной мягкости теряется въ этихъ палатахъ, въ этихъ анатомическихъ театрахъ,—вотъ почему мнѣ было бы грустно видѣть тебя въ роли акушерки...

Я ничего не отвѣчала. Онъ притянулъ меня къ себѣ, поцѣловалъ, взялъ мои руки.

— Да ты и сама не выдержала бы тамъ,—сказалъ онъ.— Не этимъ крошечнымъ, бѣленькимъ ручкамъ дѣлать опе-

раціи, пачкаться въ крови. Ты съ перваго же взгляда на эти занятія почувствовала бы къ нимъ отвращеніе. Ты не такъ воспитана, ты изнѣжена, а тамъ требуется извѣстная выносливость, извѣстный закалъ.

Онъ еще долго разъяснялъ мнѣ, что я сама ушла бы изъ родильнаго дома послѣ первой операціи, и, можетъ-быть, онъ былъ правъ. Но было бы лучше, если бы онъ не отговаривалъ меня поступать туда и ждалъ бы спокойно, когда я сама разочаруюсь въ этой профессіи. Теперь же меня тяжелымъ гнетомъ давила мысль о томъ, что онъ «не позволилъ» мнѣ идти въ акушерки. Правда, онъ не запрещалъ мнѣ идти туда, но онъ сказалъ, что это будетъ ему непріятно, а это равнялось отказу. Нѣсколько дней я ходила печальною и скучающею, не зная, за что приняться... Между мною и имъ точно что-то порвалось...

Такъ шли дни, когда однажды тетя Тото пригласила меня съ собою на балъ въ благородное собраніе. Я сказала мужу о приглашеніи.

— Что-жъ, и отлично! Ты все сидишь дома. Нужно повеселиться,—сказалъ онъ.

— А ты поѣдешь?—спросила я.

— Нѣтъ, я занятъ... Но ради Бога, не лишай себя удовольствія изъ-за меня,—сказалъ Максимъ.

Я поѣхала, и первый человѣкъ, встрѣтившійся мнѣ на подъѣздѣ благороднаго собранія, былъ нѣкто Зоринъ. Зоринъ былъ гусаръ, ухаживавшій за мною въ Павловскѣ въ то время, когда я дала слово Максиму.

— Боже мой, какая неожиданная встрѣча,—воскликнулъ онъ.—Васъ ли я вижу, Александра Дмитріевна? Я уже не надѣялся васъ когда-нибудь видѣть!

— Ахъ, она все сидитъ дома и дома!—проговорила тетя, прежде чѣмъ я успѣла открыть ротъ.

— Семейная идиллія?—произнесъ Зоринъ вопросительнымъ тономъ.

— Нѣтъ, просто скука,—отвѣтила тетя.

— Я такъ счастлива дома, что выѣзжаю очень рѣдко,—отвѣтила я.

— А вашъ мужъ здѣсь?—спросилъ Зоринъ.

— Помилуйте, развѣ можно ѣздить на балы такимъ серьезнымъ людямъ!—проговорила тетя.

Меня сердили ея отвѣты за меня, и я постаралась принять равнодушное выраженіе лица, замѣтивъ Зорину:

— Я сегодня первый разъ выѣхала безъ мужа...

Мы вошли въ залъ. Зоринъ пригласилъ меня на первый кадриль. Я не могла отказать ему.

— Вотъ я никакъ не думалъ, что вы такъ всецѣло отдадитесь семейной жизни,—сказалъ онъ мнѣ во время танцевъ.

— Развѣ вы меня считали такой вѣтреницей?—улыбнулась я.

— Нѣтъ, но вы были живымъ ребенкомъ, вы любили спорить, горячиться среди общества, и вдругъ вы запираетесь въ четырехъ стѣнахъ, наслаждаясь только однимъ семейнымъ счастьемъ, не показываетесь въ обществѣ...

— Вы ошибаетесь, я бываю въ театрахъ, у родныхъ...

Онъ зорко посмотрѣлъ на меня и тихо спросилъ:

— Вы счастливы?

Я покраснѣла, но прежде чѣмъ я отвѣтила, онъ поспѣшилъ прибавить:

— Простите мою нескромность, мою безтактность! Но вѣрьте мнѣ, что я горячо интересуюсь вашею участью и искренно желалъ бы убѣдиться, что вы не ошиблись въ своемъ выборѣ...

— Конечно, я счастлива,—отвѣтила я веселымъ тономъ:— и только потому и прощаю васъ за нескромный вопросъ.

Онъ вздохнулъ и перемѣнилъ разговоръ:

— Я радъ, что встрѣтился съ вами до моего отъѣзда,— сказалъ онъ.

— А вы уѣзжаете?—спросила я.

— Да, думаю уѣхать...

— Куда?

— Въ Ташкентъ, въ Оренбургъ, почему я знаю! Я просилъ куда-нибудь услать меня подальше.

— Что за желаніе?

— Скучно и тяжело жить здѣсь на чужомъ пиру,—сказалъ онъ. — Мнѣ не везетъ въ жизни, я одинокъ, друзей нѣтъ, тѣ, кого я любилъ... Впрочемъ, что это я похоронный тонъ принимаю на праздникѣ, да еще передъ вами: счастливые не понимаютъ тѣхъ, кому плохо живется...

Онъ началъ смѣяться и зло подшучивалъ надъ обществомъ. Что-то неестественное, что-то натянутое было въ его шуткахъ, точно ему было не до шутокъ. Онъ провелъ вечеръ, почти не отходя отъ меня.

— Вы будете здѣсь еще разъ?—спросилъ онъ меня при выходѣ изъ залы.

— Не знаю, можетъ-быть,—отвѣтила я.

— Пріѣзжайте, ради Бога!—тихо сказалъ онъ.

Когда мы выходили изъ собранія, онъ заботливо подалъ мнѣ ротонду и головной шарфъ, говоря, чтобы я хорошенько укрывалась, такъ какъ послѣ бала легко простудиться. Заботясь обо мнѣ, онъ чуть не выбѣжалъ въ одномъ мундирѣ, чтобы усадить меня въ карету.

— Твой медвѣдь, я думаю, даже и не знаетъ, въ чемъ ты поѣхала на балъ, въ одномъ платьѣ или въ шубѣ,—замѣтила мнѣ тетя, когда мы уже сидѣли въ каретѣ.

Я промолчала.

— А ты знаешь, что Зоринъ хотѣлъ застрѣлиться, когда узналъ о твоей свадьбѣ?—спросила тетя.

— И раздумалъ?—улыбнулась я.

Тетя пожала плечами.

— Я никакъ не думала, что тебѣ могла бы доставить удовольствіе его смерть изъ-за тебя,—сказала она.

— Его смерть изъ-за меня не доставила бы мнѣ удовольствія,—отвѣтила я:—но нельзя же не смѣяться, когда слышишь, что человѣкъ хотѣлъ застрѣлиться и вмѣсто того сталъ рыскать по баламъ.

— Я думаю, человѣкъ можетъ, Богъ знаетъ, въ какой омутъ броситься, стараясь забыться,—сухо отвѣтила тетя.—Впрочемъ, ни ты, ни твой Максимъ, конечно, не поймете этого: вы заперлись у себя и довольны судьбою, благо она послала вамъ мѣщанское счастіе. Максимъ такъ доволенъ самимъ собою и своей судьбою, что, вѣроятно, изумился бы, если бы ему сказали, что такой-то человѣкъ хочется забыться. Ты тоже скоро сдѣлаешься похожею на него...

Черезъ нѣсколько дней я поѣхала вечеромъ къ дядѣ Ванѣ. У него были гости, и въ числѣ ихъ былъ Зоринъ. Онъ поздоровался со мною и спросилъ о Максимѣ.

— Мой мужъ пріѣдетъ, когда кончитъ свою работу,—, отвѣтила я.

Въ гостиной шелъ общій разговоръ «о женскомъ вопросѣ», на эту всѣмъ надоѣвшую тему шли постоянно разговоры въ гостиной у тети Тото.

— Самое лучшее семейное положеніе то, когда семья ограничивается своимъ мѣщанскимъ счастьемъ и затыкаетъ глаза и уши для всего окружающаго,—говорилъ одинъ изъ гостей.—Мужъ добываетъ деньги, поитъ, кормитъ и одѣваетъ жену, она за это обязывается ласкать его, когда ему угодно, и хозяйничать, если онъ прикажетъ, и оба они счастливы. Она проживетъ до могилы, и никто не осмѣлится сказать ей, что она не болѣе, какъ содержанка своего

мужа, а не жена, потому что сказать ей это—значитъ нажить въ ней себѣ врага.

— Ну, я сказалъ бы это подобной женѣ, хотя бы и пришлось нажить врага,—сказалъ Зоринъ.—Я думаю, что лучше нажить врага, чѣмъ оставлять человѣка бродить и гибнуть впотьмахъ.

— Да вѣдь я же вамъ говорю, что подобныя жены счастливы,—сказалъ первый собесѣдникъ.

— Ну, что это за счастье! По-моему лучше честно погибнуть, чѣмъ позорно существовать,—проговорилъ Зоринъ.— Мнѣ кажется, что нужно открывать глаза людямъ даже и въ томъ случаѣ, если они, открывъ глаза, увидятъ себя стоящими надъ пропастью. Мнѣ кажутся безчестными тѣ люди, которые смѣются за угломъ надъ ложнымъ или постыднымъ положеніемъ своего ближняго и молчатъ ему въ глаза.

— А вы какой идеалъ супружеской жизни составили себѣ?—спросила тетя у Зорина.

— Какъ вамъ сказать,—началъ онъ въ раздумьи:—я, во-первыхъ, люблю супружескую жизнь, напоминающую весну, то тихую и безоблачную съ цвѣтами и ароматомъ лѣсовъ, то бурную и тревожную съ мимолетными дождями и освѣжительными грозами; во-вторыхъ, я люблю супружескую жизнь, напоминающую дружескій или товарищескій союзъ съ общею казною, съ общею работою, съ общими кутежами и общими невзгодами; однимъ словомъ, я люблю супружескую жизнь, въ которой есть поэзія молодости, свѣжести и порывовъ, и въ которой нѣтъ ни установившихся пороковъ, ни установившихся добродѣтелей, ни установившейся рутины... Мужъ и жена должны жить одною жизнію, искать вмѣстѣ настоящей дороги, одинаково заблуждаться и ошибаться...

Я слушала эти толки и они, казалось мнѣ, были полны намеками на мою жизнь. Можетъ-быть, это произошло оттого, что я стала въ послѣднее время вообще очень жутко ловить всѣ разсужденія о семейной жизни и всюду видѣла намеки на свою собственную судьбу. Мнѣ стало какъ-то не по себѣ, и я ушла въ залъ, сѣла къ роялю и стала перебирать клавиши. Прошло съ полчаса. Въ залъ вошелъ Зоринъ. Онъ попросилъ меня спѣть что-нибудь.

— Я совсѣмъ не пою теперь,—отвѣтила я.

— И вашъ мужъ позволяетъ вамъ не пѣть?—спросилъ онъ.

— Мой мужъ не даетъ мнѣ позволеній и не дѣлаетъ ни-

какихъ запрещеній,—отвѣтила я сухо и почему-то раздражительно.

— Вы меня не такъ поняли,—сказалъ Зоринъ.—Если бы моя жена пѣла, какъ вы, я сдѣлалъ бы все возможное, чтобы она не бросала пѣнія, хоть бы пришлось крупно поссориться изъ-за этого... Вѣроятно, и для вашего мужа составляетъ не малое огорченіе ваше охлажденіе къ пѣнью...

Я промолчала. Мой мужъ вовсе не интересовался моимъ голосомъ: я могла пѣть—онъ не запрещалъ, я могла не пѣть—онъ не просилъ, ссориться же изъ-за такихъ пустяковъ, какъ мое пѣніе,—это вызвало бы только сострадательную улыбку у Максима. Да у него и не было свободнаго времени для слушанія моихъ романсовъ, не было возможности интересоваться такими пустяками, когда на его глазахъ ежедневно заболѣвали и умирали десятки людей отъ голода, холода, бѣдности и безработицы. Проза жизни слишкомъ сильно била ему въ глаза, слишкомъ близко касалась его, чтобы онъ могъ думать о поэзіи жизни.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, спойте что-нибудь,—просилъ меня Зоринъ.—Помните, вы пѣли изъ «Фауста».

Я запѣла какой-то романсъ, арію, не помню теперь, что именно. Зоринъ не спускалъ съ меня глазъ и жадно ловилъ каждую нотку. Мнѣ стало какъ-то неловко, досадно, грустно, и я вдругъ замолчала, не кончивъ романса. Я поднялась съ мѣста.

— Только-то? Недобрая вы!—проговорилъ съ грустью Зоринъ.

— Зоринъ, Зоринъ, спойте вы что-нибудь,—послышался голосъ тети Тото.

Зоринъ присѣлъ къ роялю, взялъ нѣсколько аккордовъ и запѣлъ. Онъ пѣлъ недурно, съ чувствомъ, удачно фразируя. Онъ выбралъ грустную пѣсню и, казалось, что онъ переживаетъ то, что поетъ. Я сидѣла на небольшомъ диванчикѣ и задумалась, сама не зная о чемъ, какъ вдругъ меня поразили буйные, бойкіе звуки удалой русской народной пѣсни съ цыганскимъ пошибомъ. Зоринъ пѣлъ эту пѣсню со всей энергіею и ухарствомъ широкой русской натуры и, вдругъ оборвавъ пѣніе, проговорилъ:

— Вотъ такъ-то веселятся наши, когда горе совсѣмъ за горло сдавитъ!..

Рисовался онъ предо мною? Лгалъ онъ предо мною? Почему я знаю! Мнѣ не съ кѣмъ было посовѣтоваться, не съ кѣмъ было поговорить о томъ, что начинало происходить

со мною. Я не скажу, что я полюбила Зорина, но я сознавала, что съ нимъ мнѣ было бы легче, веселѣе жить, чѣмъ съ Максимомъ...»

X.

«Какъ передать всѣ тѣ мелочи, которыя тревожили меня дома, отталкивали меня отъ моей семьи, заставляли меня искать развлеченій и удовольствій? Какъ передать и тѣ мелочи, которыя привлекли меня къ Зорину, выставляли его въ лучшемъ свѣтѣ, заставляли меня сожалѣть о немъ? Иногда на меня нападалъ какой-то безотчетный страхъ, и я рѣшилась запереться дома, не выѣзжать никуда. Я исполнила свое намѣреніе и осталась дома одна съ матерью и теткою Максима. Что это были за дни! Мать Максима хлопочетъ и бѣгаетъ, тетка его молча шьетъ, а я читаю какой-нибудь романъ—и ничего не понимаю. Меня не занимаетъ чтеніе, мнѣ скучно, тяжело, невыносимо, а въ комнатахъ такъ тихо, тихо, слышно только, какъ ходятъ маятники часовъ. Мнѣ даже не хочется уже и работать, сыскать занятіе, найти цѣль въ жизни. Чего же мнѣ нужно? Ласкъ, ласкъ и ласкъ! Да, мнѣ стыдно сознаться, но въ это время я отдала бы все за страстныя, горячія ласки Максима, мнѣ хотѣлось, чтобы онъ доказалъ, чтобы онъ повторялъ, что онъ любитъ, любитъ меня. Однажды, подъ вліяніемъ этого настроенія, я вошла въ кабинетъ Максима и бросилась къ нему на грудь, обвила его шею и расплакалась.

— Что съ тобой? Что съ тобой, птичка?—спросилъ онъ въ тревогѣ.

— Максимъ, любишь ли ты меня?—прошептала я.

— И ты еще спрашиваешь?—воскликнулъ онъ.—Что это тебѣ пришло въ голову? Наговорили тебѣ чего-нибудь, что ли? А?

— Нѣтъ... но... мнѣ кажется, что ты меня не любишь, что ты холоденъ ко мнѣ...

Я не знала, что сказать.

— Дитя, дитя! Да я готовъ все, все отдать тебѣ. Дороже тебя для меня никого нѣтъ,—произнесъ онъ, гладя мою голову, какъ отецъ.—Если порою тебѣ можетъ показаться, что я холоденъ, такъ это потому, что я не юноша, что я пожилъ, что я не могу быть страстнымъ, какъ мальчикъ. Но страсть и любовь—два разныя чувства: страсть можетъ пройти, остынуть; любовь же можетъ уцѣлѣть навсегда, и моя любовь къ тебѣ именно такова, что ее не убьютъ годы...

Онъ поцѣловалъ меня въ лобъ, погладилъ мои волосы и съ улыбкой сказалъ мнѣ:

— Ну, ты теперь успокоилась?

— Да,—тихо и въ смущеніи проговорила я, опустивъ глаза.

Мнѣ было стыдно смотрѣть на него.

— Ну, ступай же спать! Я еще долженъ кончить работу.

Я встала и отошла, смущенная и словно униженная.

— А больше не будешь думать, что я разлюбилъ тебя?— спросилъ онъ, провожая меня до двери и заглядывая мнѣ въ лицо.

— Нѣтъ,—отвѣтила я едва слышно.

Я вошла въ спальню, бросилась на постель и зарыдала... Да, да, онъ, быть-можетъ, и любитъ меня, но мнѣ нужно не такой любви. Зоринъ любилъ бы не такъ! Господи, что со мною дѣлается, чего я хочу, къ чему стремлюсь?»

XI.

«Мои мысли начинаютъ путаться, я не знаю, что со мной дѣлается послѣ вчерашняго дня. Я не смѣю взглянуть въ глаза Максиму, его матери, его теткѣ.

Вчера мы были всѣ у дяди Вани. Часовъ въ девять вечера Зоринъ предложилъ ѣхать кататься на тройкахъ. Всѣ согласились, за исключеніемъ Максима. Тетка вспылила и замѣтила ему:

— Вы бы хоть для жены, Максъ, сдѣлали это удовольствіе!

— Да она можетъ и безъ меня ѣхать,—спокойно отвѣтилъ онъ.

— Она не поѣдетъ безъ васъ,—сказала она.

— Вы ошибаетесь,—отвѣтилъ онъ.—Шура знаетъ, что я не ѣду только потому, что я сегодня усталъ, она же не устала, и ей не для чего отказываться отъ удовольствія.

Онъ ласково кивнулъ мнѣ головой и проговорилъ:

— Вѣдь правда, ты поѣдешь?

— Пожалуй,—отвѣтила я.

Мы поѣхали. Вечеръ былъ слегка морозный, лунный, безъ вѣтра. Мнѣ было хорошо нестись на тройкѣ, обдававшей меня снѣжною пылью. Когда мы пріѣхали въ Ливадію, мое лицо горѣло, глаза искрились.

— Ужинать, ужинать!—кричалъ дядя Ваня, бѣгая то въ буфетъ, то въ комнату, гдѣ мы помѣстились.

Къ намъ доносились звуки музыки и пѣнія, говоръ веселыхъ посѣтителей, шуршаніе женскихъ платьевъ, торо-

пливые шаги прислуги. Кругомъ все было освѣщено, иллюминовано, зало, коридоры, зимній садъ, горы. Я пріотворила дверь взятой нами комнаты и съ любопытствомъ смотрѣла, какъ двигались и смѣялись люди, проходившіе мимо меня. Здѣсь все было для меня ново, я впервые была въ подобномъ мѣстѣ зимнихъ увеселеній.

— Хотите пройти въ залъ?—спросилъ меня Зоринъ, нагнувшись къ моему уху.

— А развѣ можно?—спросила я.

— Одной неловко, а съ мужчиной ничего,—отвѣтилъ онъ.

Онъ предложилъ мнѣ руку, и мы пошли. Я немного робѣла, смотря на это пирующее общество молодежи, цыганокъ, военныхъ, прислушивалась въ этимъ звукамъ музыки, пѣнья, смѣха и говора.

— Неужели вы здѣсь никогда не бывали? — спросилъ Зоринъ.

— Нѣтъ, съ кѣмъ же?—спросила я.

— Да, вашъ мужъ, вѣроятно, не любитъ пикниковъ,—сказалъ онъ.—Но это интересно... я, признаюсь вамъ, люблю иногда взглянуть на эти вакханаліи, отъ нихъ голова кружится, забывается будничная жизнь...

Онъ положилъ свою руку на мою и тихимъ, ласковымъ шопотомъ сказалъ мнѣ:

— Признайтесь, что и вамъ иногда хотѣлось бы забыться отъ будничной жизни и вспомнить, что вы молоды, что вы еще не жили?

Я такъ близко чувствовала его дыханіе, я видѣла, какъ горѣли его глаза, и мнѣ стало неловко.

— Вернемтесь,—тихо сказала я.

— О, если бы вы знали,—началъ онъ со вздохомъ и не кончилъ начатой фразы, прибавивъ съ горечью:—Впрочемъ, что вамъ за дѣло до моихъ чувствъ!..

Мы шли молча по коридору.

— Знаете ли, что мнѣ часто приходитъ въ голову,—сказалъ онъ, помолчавъ.—Мнѣ кажется, что если бы мнѣ сказали: хочешь ли быть на минуту счастливымъ и потомъ умереть? или: хочешь ли весь вѣкъ влачить сѣренькую, будничную жизнь и прожить десятки лѣтъ?—я выбралъ бы первое...

— Что вы называете счастьемъ?—спросила я.

— Сознаніе, что я люблю и любимъ взаимно, страстное наслажденіе этой любовью, забвеніе въ этой любви всего міра,—отвѣтилъ онъ съ страстнымъ порывомъ.

Я ничего не отвѣтила. Мы дошли до занятой нами ком-

наты и дядя уже звалъ насъ ужинать. Ужинъ былъ изысканный, вина было много, послѣ ужина рѣшено было покататься съ горъ и потомъ вернуться выпить на дорогу шампанскаго. Ужинъ прошелъ шумно, и вся наша компанія двинулась къ горамъ. Зоринъ предложилъ мнѣ скатиться съ горы съ нимъ. Я согласилась. Какое-то особенное ощущеніе испытывала я, держась за его плечи руками, прижимаясь къ нему всѣмъ тѣломъ и волнуясь отъ страха. Мнѣ было хорошо и жутко. Наконецъ, катанье кончилось, мы пошли всѣ обратно въ комнату, но дорогѣ Зоринъ сжалъ мнѣ руку и прошепталъ:

— Я васъ люблю болѣе жизни!..

Я хотѣла вырвать свою руку и не могла, я хотѣла что-то сказать и промолчала.

— Шампанскаго и домой!—командовалъ дядя.—Ну, за здоровье того, кто любитъ кого!

Зоринъ снова прошепталъ мнѣ:

— Я пью за ваше!

Мы поѣхали обратно, я вдругъ стала почему-то черезчуръ весела, я болтала, смѣялась, шутила.

— Вы сегодня прелестны!—шепталъ Зоринъ.

— Вотъ мы и дома,—сказалъ мнѣ дядя.—А твой медвѣдь еще работаетъ—вонъ у него огонь.

— Я сейчасъ оторву его отъ работы!—засмѣялась я.

— О, счастливецъ!—тихо сказалъ Зоринъ со вздохомъ.

Я торопливо позвонила у подъѣзда, я быстро вбѣжала по лѣстницѣ, я куда попало сбросила съ себя ротонду и, вся сіяющая, вся раскраснѣвшаяся отъ мороза, внеслась въ комнату Максима. Онъ быстро обернулся.

— А, это ты, птичка, пріѣхала,—сказалъ онъ ласково.—Ну, что, веселилась?

— Да, да, тамъ очень весело! Ахъ, зачѣмъ ты все сидишь дома! Ты долженъ тоже жить!—проговорила я, бросаясь къ нему и обвивая его руками.

— Да развѣ я не живу?—усмѣхнулся онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, это не жизнь! Брось работу, я не хочу, чтобы ты работалъ, я хочу, чтобы ты сидѣлъ не за работой а здѣсь со мною...

Я притянула его къ себѣ и не выпускала его изъ своихъ объятій, но онъ отсторонилъ немного меня, какъ расшалившагося ребенка, и проговорилъ:

— Ну, довольно, довольно! Ты сегодня какая-то восторженная, экзальтированная...

Онъ немного нахмурился и мелькомъ спросилъ:

— Вы, вѣрно, ужинали тамъ, что такъ поздно?

— Да, ужинали,—отвѣтила я.

— Дядюшка радъ придраться къ случаю, чтобы облить людей шампанскимъ,—сказалъ онъ.

Въ моей головѣ мелькнула молніей мысль, что онъ меня считаетъ возбужденной отъ вина. Я покраснѣла и съ раздраженіемъ сказала:

— Да, вино лилось рѣкой, и, конечно, только ради него я рѣшилась помѣшать тебѣ!

Онъ вопросительно посмотрѣлъ на меня.

— Я не сержусь, но мнѣ больно, что каждый разъ, когда я прихожу къ тебѣ съ лаской,—ты бываешь занятъ, я тебѣ мѣшаю. Но вѣдь приходишь же иногда и ты самъ съ ласками ко мнѣ и не гоню же я тебя, не говорю же я тебѣ, что ты мѣшаешь!

— Другъ мой, если я когда-нибудь помѣшаю тебѣ моими ласками—скажи мнѣ, и я уйду,—спокойно и серьезно отвѣтилъ онъ.—Въ супружескихъ отношеніяхъ выше всего должны быть равноправность и откровенность. Если я тебѣ могу сказать: я теперь занятъ, — то точно то же можешь сказать и ты...

Я молча встала и вышла изъ его кабинета.

Сегодня мнѣ было стыдно смотрѣть на него: мнѣ казалось, что вчера онъ счелъ меня какой-то вакханкой, что это ему не понравилось, что ему нужна жена болѣе сдержанная, болѣе пожилая. Но Максимъ былъ по обыкновенію спокоенъ и ровенъ въ обращеніи со мною, точно ничего и не произошло вчера. Только его тетка, когда мы безъ Максима однѣ сидѣли за завтракомъ, спросила меня:

— Вы вчера куда-то на пикникъ ѣздили?

— Да,—отвѣчала я.

— Охота вамъ ѣздить въ эти кабаки,—сказала она.

— Я не знаю, почему вы называете кабаками мѣста загородныхъ гуляній,—пожала я плечами.—Мы были въ отдѣльной комнатѣ и провели очень весело вечеръ...

— Можетъ-быть, я потому такъ рѣзко выражаюсь объ этихъ мѣстахъ гульбы и пьянства, что я сама тамъ никогда не бывала,—сказала она.

— Нельзя же и не повеселиться,—замѣтила я.

— Ну, веселье веселью рознь,—проговорила тетка Максима.—Впрочемъ, теперь вѣдь семейная жизнь, семейные дома, семейныя удовольствія—все это преданія, теперь на

сцену выплыли клубы, пикники, собранія, трактиры, кафе-шантаны, публичный разгулъ въ публичныхъ домахъ...

— Я никакъ не думала, что мнѣ дадутъ выговоръ за эту невинную поѣздку, сдѣланную съ позволенія мужа,—замѣтила я.

— Я не имѣю никакого права дѣлать вамъ выговоры, но высказывать свои взгляды можетъ каждый,—отвѣтила тетка Максима.—И повѣрьте мнѣ, что я высказала въ этомъ случаѣ свой взглядъ только потому, что мнѣ хотѣлось бы видѣть васъ всегда такой же чистой, какой вы были до сихъ поръ. Я опытнѣе васъ и знаю, къ чему ведутъ эти пикники...

Я разсердилась, надулась на нее, потому что она сказала мнѣ правду...

Я сама не знаю, что со мною дѣлается. Я нахожусь въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи; у меня разстроены нервы: то мнѣ хочется плакать, то хочется смѣяться; передъ моими глазами носится образъ Зорина, я слышу его страстный шопотъ: «за минуту счастія я отдалъ бы жизнь». А я? Но развѣ я люблю его? Ахъ, я ничего не могу понять, но мнѣ душно, скучно, тяжело здѣсь среди мѣщанскаго счастія, среди мѣщанской добродѣтели, среди мѣщанской морали... Но гдѣ же другое счастье, другія добродѣтели, другая мораль? Кто дастъ мнѣ отвѣты? Ужъ не Максимъ ли?.. Нѣтъ, ему некогда...»

XII.

«Кончено, все кончено, я не могу жить болѣе въ этомъ домѣ! Я узнала, что значитъ настоящая любовь, и поняла, что Максимъ никогда не любилъ меня такою любовью, онъ былъ мнѣ отцомъ, братомъ, но онъ никогда не могъ любить меня той страстной любовью, которой жаждало мое сердце. Отъ этой любви кружится голова, занимается духъ въ груди, мутится въ глазахъ. Она не даетъ покоя, она мучитъ, но это сладкія мѵки. Когда онъ, мой Лева, упалъ къ моимъ ногамъ и обнялъ мои колѣни, когда онъ поцѣловалъ мое платье, когда онъ сжималъ меня въ объятіяхъ, я забыла все и всѣхъ, для меня не существовалъ весь міръ, а существовалъ только онъ одинъ.

Какъ это все случилось—я сама не знаю.

Мы были опять на пикникѣ, онъ повелъ меня въ залъ, мы вошли въ отдѣльную комнату, и онъ упалъ передо мною. Я хотѣла крикнуть, хотѣла бѣжать, но онъ сковалъ меня своими объятіями, онъ удержалъ меня насильно! Насильно! Что я говорю! Развѣ можетъ быть рѣчь о насиліи, когда я

ощущала впервые блаженство полнаго сознанія любви? Нѣтъ, я сама, сама отдалась ему; если бы онъ не взялъ меня, я бросилась бы къ нему на шею, упала бы къ его ногамъ, унизилась бы до мольбы о ласкѣ, объ одной его ласкѣ; теперь мнѣ не нужно ничего, кромѣ его любви кромѣ его ласкъ, кромѣ его поцѣлуевъ. Теперь я не знаю скуки, я живу только мыслью о немъ, о свиданіяхъ съ нимъ, о той минутѣ, когда я уѣду отсюда далеко, далеко...

Мнѣ даже не жаль Максима, когда я думаю о своемъ отъѣздѣ. Его поразитъ мое рѣшеніе, но вѣдь онъ долженъ былъ ожидать этого, не могъ же онъ думать, что я вынесу такія отношенія, какъ наши. Я слишкомъ молода, чтобы довольствоваться тѣми крохами любви и ласкъ, которыя онъ удѣляетъ мнѣ «въ свободное отъ занятій время». Мнѣ нужно болѣе сильное чувство, мнѣ нужны болѣе страстныя отношенія, большая полнота любви. Я не хочу быть дополненіемъ къ ученымъ занятіямъ мужа: я хочу быть его жизнью, его цѣлью, его всѣмъ. О, для чего женился на мнѣ Максимъ! Какъ онъ, умный и опытный, не могъ понять, что я увлекалась, какъ ребенокъ, его умомъ, его горячими рѣчами, увлекалась, какъ увлекаются институтки учителями.

Но какъ я скажу ему, на что я рѣшилась? Что скажутъ его мать и тетка? Онѣ, добрыя, не поймутъ ничего и обвинятъ меня, будутъ плакать о Максимѣ. Онѣ вѣдь любили и лелѣяли меня по-своему. Онѣ не поймутъ, что я билась у нихъ, какъ птица въ клѣткѣ, хотя у меня было все, все,— да, все, кромѣ жизни и свободы. Нѣтъ, я попрошу Максима не говорить имъ о моемъ рѣшеніи до моего отъѣзда. Мнѣ будетъ стыдно глядѣть на нихъ. Пусть онѣ послѣ узнаютъ, что я уѣхала. Да я и лишняя въ ихъ домѣ, я стрекоза въ муравейникѣ, онѣ всѣ будутъ и безъ меня попрежнему счастливы и довольны, я не была ихъ помощницей, а была лишнимъ ртомъ и лишней обузой; я не нужна даже Максиму: онъ такъ рѣдко ласкалъ меня, что, вѣроятно, обойдется и безъ этихъ рѣдкихъ ласкъ.

Но когда же я скажу ему все? Не лучше ли уйти и оставить письмо? Надо поговорить объ этомъ съ Левой.

Вотъ уже два дня, какъ я не видала его, и эти дни показались мнѣ вѣчностью. Мнѣ нужно видѣть его каждый день, каждый часъ, каждую минуту, онъ мнѣ нуженъ, какъ воздухъ, какъ свѣтъ. И какъ я могла не влюбиться въ Леву, когда я была дѣвушкой? Какъ я могла отдать предпочтеніе Максиму? Лева красавецъ, Лева молодъ, а Максимъ и не

хорошъ собою, и не молодъ; Лева весь дышитъ жизнью и страстью, а Максимъ отжилъ, онъ холоденъ и, что хуже всего, смотритъ на всѣхъ людей съ какимъ-то обиднымъ снисхожденіемъ, близкимъ къ пренебреженью; Лева относится ко мнѣ, какъ равный къ равной, а Максимъ или выслушиваетъ меня съ снисходительной улыбкой, какъ лепечущаго ребенка, или съ лаской отца даетъ мнѣ серьезно добрыя наставленія; Левѣ я смѣло говорю все, что придетъ въ голову, а съ Максимомъ я боюсь говорить, боясь сказать глупость, вызвать нравоученія. Леву возмущаютъ отношенія Максима ко мнѣ; онъ говоритъ, что такъ можно относиться только къ рабѣ, къ любовницѣ, къ содержанкѣ, къ низшему существу... О, если бы мнѣ скорѣе вырваться отсюда!..»

XIII.

«Мое положеніе съ каждымъ днемъ становится все невыносимѣе. Я не умѣю ни лгать, ни притворяться, а между тѣмъ мнѣ приходится и лгать, и притворяться. Лева говоритъ, что покуда нужно скрывать наши отношенія, такъ какъ онъ покуда не можетъ взять меня къ себѣ, одной же мнѣ жить неловко и не изъ чего. Лева надѣется, что ему удастся устроить свои дѣла, и тогда мы будемъ жить вмѣстѣ. Я жду этого дня съ мучительной тревогой, такъ какъ здѣсь я изстрадаюсь совсѣмъ отъ однихъ разспросовъ мужа. Онъ видитъ во мнѣ какую-то перемѣну и доискивается причинъ:

— Ты больна, Шура? Ты, Шура, худѣешь! Ты побереги себя, Шура!..

Эти фразы я слышу каждый день и не смѣю сказать правды, признаться во всемъ. Добрыя старушки, тетка и мать Максима, ухаживаютъ за мною болѣе, чѣмъ когда-нибудь, и съ добродушными улыбками намекаютъ мнѣ, что, вѣроятно, я сама не знаю причины происходящей во мнѣ перемѣны, а что эта причина такъ естественна: онѣ подозрѣваютъ, что я готовлюсь сдѣлаться матерью. А что, если и въ самомъ дѣлѣ? Что тогда будетъ? Чей будетъ этотъ ребенокъ? Да нѣтъ, не можетъ быть!.. Нѣтъ, надо скорѣе, скорѣе уговорить Леву покончить все. Ну, пусть мнѣ будетъ тяжело жить, пусть я встану въ ложное положеніе, пусть я буду терпѣть нужду, все это будетъ легче теперешней гнусной жизни обманщицы и лгуньи. Я всегда говорила честно правду и мнѣ противна ложь, даже неизбѣжная, вызванная необходимостью... Завтра же скажу Левѣ, что я рѣшилась все покончить съ Максимомъ, признаться ему во всемъ».

XIV.

На этомъ мѣстѣ обрывается дневникъ моей жены. Послѣднія строки, какъ видно изъ помѣтки надъ ними, были написаны 20-го февраля, а 21-го февраля Шуру привезли домой уже больную, въ бреду... Я не знаю, что произошло между нею и Зоринымъ, но я думаю, что онъ, услышавъ ея рѣшеніе, сказалъ ей прямо, что онъ просто поигралъ съ нею въ любовь, что онъ серьезно никогда не думалъ сойтись съ нею... Вѣдь все это такъ часто повторяется на свѣтѣ, такъ обыкновенно! Кто же церемонится съ замужней женщиной, отдавшейся ему? Кто смотритъ серьезно на эти связи?..

Трудно передать то, что я перечувствовалъ, читая этотъ дневникъ загубленной мною дѣвочки, ребенка, судьбу котораго я такъ неосторожно, такъ эгоистично связалъ съ своею судьбою... Виноватъ во всемъ я и только я одинъ: она шла за меня замужъ, не зная ни жизни, ни людей, а вѣдь я пожилъ, я отжилъ, я могъ предвидѣть, что̀ можетъ выйти изъ подобнаго брака, и все-таки я женился, потому что мнѣ было пріятно слышать около себя щебетанье этой птички, потому что мнѣ было пріятно слышать слова любви изъ устъ этого ребенка... И сколько подобныхъ браковъ заключается на свѣтѣ! Я не первый и не послѣдній, но и первому, и послѣднему въ подобныхъ случаяхъ приходится дорого платиться за свое эгоистическое стремленіе наслаждаться радостями жизни, не думая о послѣдствіяхъ. Къ несчастію, раскаяніе является всегда поздно... Чего бы я не отдалъ теперь, чтобы только спасти ее, но все золото міра и всѣ знанія медицины не спасутъ разбитой жизни, не воскресятъ убитой мной малютки... Я вижу, я понимаю, какъ близко приближается она къ могилѣ, безропотно, тихо, молчаливо и покорно... Меня рѣжетъ ножомъ по сердцу эта покорность, этотъ взглядъ провинившагося ребенка, и мнѣ хочется упасть передъ нею на колѣни и сказать: «брани, упрекай, проклинай меня: мнѣ легче будутъ твои упреки, чѣмъ твоя покорность, ни въ чемъ неповинное созданіе». Но я не смѣю сказать ей даже этого, не смѣю хоть взглядомъ показать ей, что я все знаю: это взволнуетъ ее, а ей вредны волненія... Какую пытку выносимъ мы оба: она умираетъ, обвиняя во всемъ себя; я смотрю на ея увяданье, сознавая, что я погубилъ ее... Но близокъ уже день, когда ея страданія прекратятся,—а мои?

СТАРЫЙ ВОЛКЪ.

Во дни моего давно минувшаго дѣтства, всѣ мы, дѣти-сосѣди, знали «стараго волка». Старый волкъ, сдѣлавшійся сѣрымъ отъ лѣтъ, оборваннымъ вслѣдствіе разныхъ житейскихъ бурь и невзгодъ, неряшливымъ, потому что ему было уже нечего заботиться о своей внѣшности, проходилъ каждый день утромъ мимо насъ за своей добычей, сердито ворча что-то себѣ подъ носъ и огрызаясь, если его задѣвали. Задѣвать стараго волка было не опасно, потому что онъ еле волочилъ ноги и едва ли могъ справиться даже съ ребенкомъ.

Старый волкъ, прежде чѣмъ его назвали волкомъ, считалъ себя человѣкомъ.

Судьба сыграла съ нимъ скверную шутку при самомъ его рожденіи. Кто-то родилъ его, но кто именно — этого не зналъ никто, и менѣе всего онъ самъ. Люди нашли его на улицѣ и оставили его жить, вслѣдствіе какихъ побужденій— это неизвѣстно. Онъ былъ худъ, длиненъ, костлявъ, лохматъ, и отличался замѣчательно большой пастью съ здоровенными, выдающимися зубами. Какъ его вспоили и вскормили—этого онъ не помнилъ; въ его памяти уцѣлѣло только воспоминаніе о томъ, что всѣ его гоняли, что всѣ его называли прожорой, что всѣ кричали ему: «ну, ты, волченокъ!» Онъ даже не помнилъ, была ли у него въ дѣтствѣ опредѣленная берлога: ему вспоминалось, что онъ ночевалъ и на улицѣ, и въ дворницкой, и въ ночлежномъ притонѣ, и у какого-то чиновника, писавшаго кляузныя бумаги мужикамъ и пившаго «мертвую». Этотъ чиновникъ посылалъ его въ кабаки за водкой, драль его за волосы, училъ съ истязаніями грамотѣ. Въ одинъ прекрасный день чиновникъ скоропостижно умеръ, и люди, пришедшіе хоронить его, ска-

зали: «надо его воспитанника куда-нибудь приткнуть». Маленькій волченокъ, умѣвшій уже читать и писать, скоро превратился въ писца захолустнаго полицейскаго управленія. Онъ сталъ впервые получать деньги — три рубля въ мѣсяцъ. На эти средства онъ долженъ былъ добывать себѣ берлогу и пищу, потому что теперь его уже считали способнымъ къ ихъ добыванію и перестали бросать ему даровыя подачки. Онъ не умѣлъ существовать на три рубля и сталъ изыскивать средства, чтобы добыть побольше: онъ расписывался за безграмотныхъ за двѣ копейки, онъ писалъ просьбы и письма невѣждамъ, взимая за это пятаки и гривенники; онъ дежурилъ за товарищей, получая отъ нихъ четвертаки, — при помощи этихъ доходовъ онъ кое-какъ сводилъ концы съ концами и имѣлъ свою берлогу, укрываясь въ ней отъ людей, не вредя никому.

Ему шелъ уже двадцать пятый годъ, когда съ нимъ случилось одно совершенно неожиданное для него обстоятельство: однажды весною, вечеромъ, къ нему вошла его квартирная хозяйка.

— Что это вы все дома одни сидите? — сказала она и присѣла около него, игриво ударивъ его рукою по костлявой колѣнкѣ.

— А съ кѣмъ же сидѣть?—спросилъ онъ, съ удивленіемъ глядя на нее.

Ей было за тридцать лѣтъ; она была полная, краснощекая, дюжая женщина, у нея были мошеннические, бѣгавшіе по сторонамъ глаза; на ней красовался пестрый нарядъ. При первомъ взглядѣ на нее, можно было опредѣлить, что она любитъ хорошо поѣсть и попить, что она любитъ наряжаться, что она не выкажетъ особенной разборчивости въ средствахъ, если дѣло коснется удовлетворенія ея привычекъ и желаній.

— Такой молоденькій и не можетъ найти, съ кѣмъ бы сидѣть!—лукаво улыбнулась она и еще болѣе игриво потрепала его по плечу.

Онъ сдвинулся на край стула, точно боясь, что его хотятъ побить.

Она увидала, что онъ не понимаетъ нѣжныхъ заигрываній, и приступила къ дѣлу проще, прямѣе, безцеремоннѣе. Она пробудила въ немъ новую животную страсть, о существованіи которой въ себѣ онъ и не подозрѣвалъ: онъ зналъ, что мужчины сходятся съ женщинами, что одни заводятъ любовницъ, а другіе женъ, но онъ не думалъ ни-

когда о томъ, что и ему когда-нибудь будетъ необходимо, нужно обзавестись любовницей или женой. Послѣ перваго визита къ нему квартирной хозяйки, волкъ вдругъ понялъ, что ему не только не худо было сблизиться съ женщиной, но что онъ не можетъ обойтись безъ подруги жизни, что именно ея-то и недоставало ему въ жизни. Послѣ этого открытія волкъ пришелъ въ такое блаженное настроеніе духа, что началъ впервые хохотать, осклабляя свою громадную пасть, когда квартирная хозяйка, заигравшаяся съ нимъ, ерошила ему волосы и щекотала его подъ мышками, засунувъ свои пухлыя руки подъ его сюртукъ.

Черезъ недѣлю она, жалуясь на скаредность своего пропоицы-мужа, попросила его, своего душоночка, купить ей шляпку, душа его въ своихъ теплыхъ объятіяхъ. Черезъ мѣсяцъ она плакала передъ нимъ, своимъ амурчикомъ, о томъ, что имъ придется разстаться, такъ какъ мужъ не даетъ денегъ, и ей нечѣмъ платить за эту квартиру. Черезъ пять мѣсяцевъ она въ волненіи говорила ему, своему неоцѣненному сокровищу, что онъ будетъ скоро отцомъ и что нужно подумать объ участи ихъ будущаго ребенка. Черезъ годъ она упрекала его, своего тирана и злодѣя, за то, что онъ не умѣетъ добывать денегъ, какъ всѣ порядочные люди. Черезъ два года она стала замѣчать, что не станетъ же она любить даромъ его, урода! Онъ сталъ изыскивать средства для того, чтобы она не бросила его, чтобы она не гнала его; онъ кланялся изъ-за денегъ, онъ подличалъ изъ-за денегъ, онъ давилъ и тѣснилъ всѣхъ, кого могъ, изъ-за денегъ, но бросить ее онъ даже и не думалъ. Ему была нужна женщина, но она, какъ по пальцамъ, объяснила ему, что его, урода, рожу, болвана, никто не полюбитъ, что такихъ-то, какъ онъ, и съ деньгами прогонитъ каждая женщина, что только она, слабая дура, связалась съ нимъ изъ жалости, да развязаться не можетъ, — и онъ боялся именно той минуты, когда она вдругъ рѣшится развязаться съ нимъ.

— Ты хоть бы дѣтей-то пожалѣлъ, кровопивецъ ты этакій,—говорила она ему.—Загубилъ мою молодость, такъ и ихъ еще загубить хочешь!

— Да гдѣ же мнѣ достать денегъ?—покорно говорилъ онъ.

— А ты хоть укради, а чтобъ были,—приказывала она.

Онъ и крадъ.

У нихъ было трое дѣтей. Волкъ любилъ ихъ по-своему. Когда онъ, по приказанію ихъ матери, покупалъ имъ го-

стница и обновы — они вѣшались ему на шею, и это было пріятно ему. Когда имъ хотѣлось выпросить что-нибудь у него—они смиренно и нѣжно ластились къ нему, и это умиляло его. Сначала онъ дѣлалъ для нихъ только то, что приказывала ихъ мать или что выпрашивали они, — потомъ у него явилась потребность дѣлать имъ сюрпризы по своему собственному побужденію, чтобы они лишній разъ повисли у него на шеѣ, лишній разъ поцѣловали его. Эти ласки успокоивали, смягчали его послѣ цѣлаго дня службы, гдѣ одни распекали его по-начальнически, другіе называли его кровопійцею за вымогательства, третьи сулили ему «ни дна, ни покрышки» за то, что онъ кривилъ душой не въ ихъ пользу, а въ пользу ихъ противниковъ, въ свою очередь говорившихъ ему: «ну, ужъ ты и обдерешь, какъ липку, если попасть къ тебѣ въ лапы!» Да, принося подарки дѣтямъ и ихъ матери, онъ наслаждался ихъ ласками, и ему казалось, что онъ такой же человѣкъ, какъ и всѣ люди. Это продолжалось до той поры, когда всѣ подобныя мечты должны были разсѣяться передъ грубою дѣйствительностью: его выгнали со службы, и чтобы онъ не сомнѣвался, не заблуждался насчетъ того, кто онъ, дали ему «волчій паспортъ».

— Осрамилъ ты меня, разбойникъ! Загубилъ ты меня, душегубецъ!—кричала на него его бывшая квартирная хозяйка. — Уходи ты съ глазъ моихъ! Чтобы нога твоя не была въ моемъ домѣ!

Онъ рѣшился протестовать, объявивъ, что домъ не ея, а его—его «собственный домъ».

— Да съ чего ты это взялъ? Откуда это у тебя домъ-то явился? На чье имя домъ-то написанъ?—кричала ему она.

Онъ широко открылъ глаза, вспомнивъ, что онъ точно купилъ домъ на ея имя, чтобы никто не спросилъ, изъ какихъ средствъ онъ пріобрѣлъ домъ. Онъ крикнулъ ей въ отчаяніи, чтобы она подавилась этимъ домомъ, а что онъ кое-какъ проживетъ съ дѣтьми и безъ дома.

— Какія это такія у тебя дѣти?—послышался ея отвѣтъ.— Дѣти-то мои, моего мужа, а ты, проходимецъ этакій, опозорилъ только меня, беззащитную...

Онъ вспомнилъ, что, дѣйствительно, онъ былъ только проходимецъ, случайно попавшій въ чужую семью: у нея былъ мужъ законный, настоящій. Правда, этотъ мужъ жилъ постоянно гдѣ-то на кухнѣ, въ кабакахъ, въ трактирахъ, но онъ все же былъ мужъ, а не проходимецъ въ отношеніи ея. Пятнадцать лѣтъ объ этомъ мужѣ никто не думалъ,

никто не спрашивалъ, никто не заботился, но этотъ мужъ существовалъ и могъ явиться на помощь къ женѣ по первому ея востребованію: онъ былъ старъ, дряхлъ, хилъ, изможденъ тѣломъ, но онъ былъ силенъ и непобѣдимъ со своею «законностью».

Въ тотъ же день проходимецъ и мужъ встрѣтились въ одномъ и томъ же кабакѣ, дружески роспили штофъ, пріятельски всплакнули о своей горькой долѣ, но къ ночи мужъ вернулся въ домъ своей жены, а проходимецъ остался на улицѣ...

Таково было прошлое «стараго волка». Настоящее его, то-есть то время, когда всѣ уже звали его «старымъ волкомъ», когда онъ самъ не сомнѣвался въ томъ, что онъ «старый волкъ», было еще болѣе трагично.

...«Все понять, значитъ, все простить» — это изреченіе генія, избавленнаго отъ труда и голода наслѣдственнымъ имуществомъ.

«Старый волкъ» не былъ геніемъ и не имѣлъ наслѣдственныхъ капиталовъ; вѣроятно, вслѣдствіе этого онъ понялъ все, что ему нужно было понять, и не простилъ ничего. То, что ему нужно было понять, было не сложно и просто; женщина, которую онъ любилъ по-своему и для которой онъ запятналъ свою совѣсть, выгнала его изъ его собственнаго дома и отняла у него дѣтей, которыхъ онъ тоже любилъ по-своему и для которыхъ онъ также кривилъ душою; онъ не имѣлъ ни наслѣдственнаго, ни благопріобрѣтеннаго имущества, и вмѣсто всякихъ капиталовъ, въ его карманѣ былъ «волчій паспортъ», закрывавшій ему, за его прошлые смертные грѣхи, входъ во всѣ мѣста, гдѣ можно было заработать службою кусокъ хлѣба; люди, называвшіеся его друзьями, пріятелями, знакомыми и сослуживцами, оставили его и должны были оставить его, «оставленнаго въ подозрѣніи» взяточника, такъ какъ они знались съ нимъ только ради занимаемаго имъ мѣста, ради находившихся въ его карманѣ денегъ, ради имѣвшейся у него возможности помочь имъ въ дѣлахъ; онъ былъ, по натурѣ, по воспитанію и по складу жизни, нелюдимымъ, угрюмымъ и неинтереснымъ человѣкомъ, съ отталкивающей физіономіей, съ неловкими манерами, съ очень ограниченнымъ умомъ, такъ что люди могли только сторониться отъ него, а не сближаться съ нимъ; все это онъ понялъ, и въ душѣ его, вмѣсто чувства прощенія и примиренія, зародилась ненависть. Къ кому? Ко всѣмъ и ко всему: къ судьбѣ, къ жизни, къ людямъ.

Рядомъ съ ненавистью въ немъ пробудился страхъ передъ будущимъ: чѣмъ онъ будетъ жить? что будетъ съ нимъ, если у него не будетъ ни гроша? какъ будутъ издѣваться люди надъ нимъ, когда онъ упадетъ, голодный, на мостовой? Ему смутно вспоминались слова единственной женщины, говорившей съ нимъ откровенно: «кому ты, уродъ, нуженъ безъ денегъ-то», «ишь пасть-то у тебя, какъ у волка, а силы-то заячьи, пріобрѣсти гроша не умѣешь!» «подъ заборомъ бы ты съ голоду умеръ, если бы я не научила тебя грошъ сколотить!» Онъ вспоминалъ все подробнѣе и подробнѣе всѣ эти мелочи, и боялся все больше и больше за себя, за урода, который никому не нуженъ безъ денегъ, у котораго большая пасть и малыя силы, который можетъ умереть подъ заборомъ безъ умѣнья сколачивать гроши.

Онъ началъ задумываться о средствахъ для добыванія денегъ безъ службы и для уменьшенія своего волчьяго аппетита.

— Вотъ, «старый волкъ» пошелъ на добычу,—говорили про него по утрамъ сосѣди, видя его, худого, небритаго, оборваннаго, идущимъ по улицѣ, и, дѣйствительно, они не ошибались: онъ точно шелъ на добычу.

Какая добыча могла достаться ему? Онъ подбиралъ на улицѣ гвозди, тряпки, бумажки, щепки; онъ пріобрѣталъ краденыя вещи за безцѣнокъ; онъ писалъ кляузныя бумаги; онъ просилъ Христа ради; онъ заходилъ на чужія кухни за кускомъ хлѣба, за костями, которыя онъ обгладывалъ, какъ волкъ, и которыя продавалъ потомъ людямъ, покупающимъ все, даже и обглоданныя волкомъ кости.

Всѣ видѣли, какъ онъ ходитъ за добываніемъ провизіи для удовлетворенія своего аппетита, своихъ потребностей; онъ не покупалъ никогда ничего. Когда онъ бывалъ голоденъ—онъ ждалъ того случая, когда его кто-нибудь накормитъ; когда у него донашивалась одежда,—онъ ждалъ того случая, когда ему подарятъ другую затасканную одежду. Если ему давали денегъ на хлѣбъ или на одежду — онъ оставался голоднымъ или полунагимъ: тратить эти деньги онъ не рѣшался, потому что, по его убѣжденію, ему нужно было беречь деньги «на черный день». Онъ никогда не давалъ себѣ отчета, какой именно день покажется ему «чернымъ днемъ» и насколько можно было назвать переживаемое имъ время «красными днями». Сначала онъ нанималъ маленькую опрятную комнату отъ жильцовъ; потомъ онъ занялъ грязный уголъ; наконецъ, онъ поселился въ кухнѣ за печкою. Онъ падалъ постепенно все ниже и ниже: сперва

онъ былъ опрятнымъ бѣднякомъ, потомъ онъ сталъ грязнымъ нищимъ; сначала онъ былъ скупымъ человѣкомъ, впослѣдствіи онъ сдѣлался алчнымъ скрягою. Помѣстившись въ кухнѣ за печкою, онъ жилъ какъ въ могилѣ, которую еще не завалили землею и камнями. Онъ не могъ входить въ свое помѣщеніе; туда можно было только влѣзать: оно было длиною въ ростъ человѣка, шириною — въ ширину человѣка. Здѣсь онъ прожилъ шесть лѣтъ въ грязи, въ духотѣ, наслаждаясь одною мыслью о томъ, что его тутъ держатъ даромъ хозяева, тронутые его унизительными слезами и мольбами.

— Дураки, дураки! — бормоталъ онъ про себя съ лукавой и злой усмѣшкой. — Пусть держатъ, пусть держатъ... Дураки!..

Но въ одинъ прекрасный день онъ пришелъ въ ужасъ, узнавъ случайно, чего можетъ стоить ему это даровое помѣщеніе и какого сорта добродушіемъ отличаются его дураки-хозяева. Пробираясь однажды своей осторожной волчьей походкой въ свою берлогу и нащупывая впотьмахъ подвальнаго коридора дверь, онъ услышалъ за этой дверью громкій разговоръ.

— Вотъ ужъ истинно помойная-то яма!—говорилъ одинъ женскій голосъ.

— Чего, чего не нанесено сюда! Ужъ и какъ же вы его это держите у себя. Грязи-то тутъ не оберешься отъ него!

— Что дѣлать, мать моя, что дѣлать, поневолѣ держимъ,—отвѣчалъ другой голосъ, въ которомъ старый волкъ узналъ голосъ своей добросердечной «дуры-хозяйки». — Не вѣкъ же будетъ жить, когда-нибудь и сдохнетъ, все кое-что перепадетъ намъ, въ могилу съ собой ничего не возьметъ...

— А много у него накоплено-то?

— Не знаю, мать моя, не знаю, вотъ какъ передъ Богомъ говорю. Мужъ вотъ не вѣритъ тоже: «врешь, говоритъ, баба, вѣрно, ужъ слазила, пошарила». А гдѣ же мнѣ? Посмотришь, а онъ еще замѣтитъ да скажетъ, скаредъ, что его обокрали... Отъ такого чорта, прости, Господи, всего станетъ...

— Ну, этакого-то и обокрасть не грѣхъ. Мой Митрій и то говоритъ: «диву это я даюсь, какъ его до сихъ поръ не укокошили?»..

«Старый волкъ» широко открылъ глаза съ выраженіемъ тупого ужаса и заскрежеталъ зубами; онъ торопливо, дрожа, какъ въ лихорадкѣ, нащупалъ дверь и вошелъ въ кухню; разговаривавшія женщины отшатнулись въ испугѣ и замол-

чали; онъ поспѣшно, спотыкаясь, со стонами влѣзъ за печку и началъ осторожно, но быстро увязывать свой скарбъ...

На слѣдующее же утро онъ исчезъ, выписавшись за городъ...

Насталъ новый періодъ жизни для «стараго волка»: онъ перебрался не за городъ, а въ другую часть города, гдѣ его не знали; онъ нанялъ отдѣльную квартиру и заперся въ ней. Эта квартира состояла изъ одной кухни, походившей болѣе на чуланъ, на хлѣвъ, на собачью конуру, чѣмъ на жилое помѣщеніе для человѣка. Но волкъ былъ доволенъ ею, потому что у нея было такое маленькое окно, что въ него не могъ бы пролѣзть даже и ребенокъ, и была такая здоровая дверь, что ее не легко было бы сломать даже и очень сильному человѣку. Кромѣ того, эта дверь замыкалась простымъ и висячимъ замками снаружи и задвигалась тяжелой задвижкой изнутри. Здѣсь «старый волкъ» былъ уже вполнѣ застрахованъ отъ людей, здѣсь онъ могъ жить безъ нихъ, выходя изъ своей берлоги только затѣмъ, чтобы поѣсть и утащить къ себѣ какую-нибудь добычу. Онъ радовался удобству своего новаго помѣщенія и потому, что сюда можно было сносить всякій хламъ, не имѣя надобности тотчасъ же продавать этотъ хламъ «за безцѣнокъ»; въ прежнемъ помѣщеніи за печкой было невозможно держать все, что добывалось, и нужно было продавать добытое; продавать же вещи людямъ значило, по мнѣнію «стараго волка», давать людямъ возможность надувать и обсчитывать продающаго, такъ какъ настоящей цѣны никто не дастъ за вещь, покупаемую не въ лавкѣ, у частнаго лица.

Возвращаясь въ свою берлогу и затворивъ на замокъ и на задвижку двери, «старый волкъ» начиналъ рыться среди своего скарба, сортируя вещи, откладывая въ одну кучу тряпки, въ другую гвозди, въ третью бумажки. Онъ занимался этимъ поспѣшно, суетливо, шевеля губами, качая головой и что-то ворча себѣ подъ носъ. Иногда какой-нибудь обломокъ стекла останавливалъ его вниманіе на цѣлые часы: «старый волкъ» теръ этотъ обломокъ о тряпки, смотрѣлъ на него на свѣтъ, прикладывалъ къ лицу,—ему все казалось, что, можетъ-быть, это не стекло, а драгоцѣнный камень, брильянтъ.

Довольно долго продолжалась здѣсь для него вполнѣ счастливая, вполнѣ безмятежная жизнь: люди, никогда не заглядывавшіе въ его берлогу, перестали тревожить его и

даже стали относиться къ нему съ извѣстнымъ добродушіемъ, какъ къ жалкому нищему, который никого не трогаетъ и имѣетъ довольно доброе сердце,—о послѣднемъ обстоятельствѣ люди узнали или, лучше сказать, догадались, увидавъ, что старый бѣднякъ любитъ дѣтей. Дѣло въ томъ, что «старый волкъ» почти ежедневно ласкалъ дѣтей, жившихъ по сосѣдству. Увидитъ онъ какого-нибудь мальчугана, играющаго въ садикѣ или на улицѣ, подойдетъ къ нему, погладитъ его по головѣ, поцѣлуетъ его ручонки и, въ концѣ-концовъ, тихо спрашиваетъ его шепелявымъ голосомъ:

— Ню, клошечка моя, хелувимчикъ мой, что ты дашь сталому дѣдушкѣ?.. что дашь?..

Дитя суетъ въ руки добраго дѣдушки то леденецъ, то сухарь, то деньги, то какую-нибудь вещь.

— Ты у мамаши, голубчикъ мой, въ комодѣ поищи... въ комодѣ... Да никому не говори, что ты даешь бѣдному старичку... иглушечки... иглушечки... Христосъ съ тобой, клошечка... въ комодѣ поищи, нѣтъ ли чего... въ комодѣ...

И мальчикъ искалъ у матери въ комодѣ, нѣтъ ли тамъ чего-нибудь, что можно дать «бѣдному дѣдушкѣ»...

Въ эту пору случилось обстоятельство, окончательно смутившее «стараго волка».

Возвратившись однажды домой и начавъ разбирать свой хламъ, онъ услыхалъ шорохъ и замеръ на мѣстѣ: онъ увидалъ, что одна изъ кучъ шевелится. Затаивъ дыханіе и не шевелясь отъ ужаса, онъ сталъ всматриваться: изъ кучи выбѣжала крыса, осмотрѣлась во всѣ стороны, понюхала воздухъ и снова скрылась въ тряпкахъ. Старикъ бросился, какъ сумасшедшій, къ кучѣ и сталъ разбрасывать своими темными, костлявыми руками тряпки, отыскивая крысу; но ея уже не было. Утомленный этой возней, онъ, тяжело дыша, упалъ на постель и началъ уже мало-по-малу успокаиваться, когда подъ постелью послышался шорохъ: онъ быстро вскочилъ и началъ сильно стучать ногами—шорохъ утихъ...

Значитъ крысы ѣдятъ его добро во время его отсутствія? Эта мысль клиномъ засѣла въ его головѣ и уже не давала ему болѣе покоя. На слѣдующій день онъ торопливо, мрачный и озабоченный, сбѣгалъ къ сосѣдямъ попросить хлѣба и вернулся тотчасъ же домой; входя въ комнату, онъ, какъ ему казалось, снова слышалъ шорохъ и видѣлъ пробѣжавшую крысу. Онъ рѣшился не выходить на слѣдующій день изъ своей берлоги.

— Подохнутъ, проклятыя!—бормоталъ онъ, смотря по

сторонамъ блуждающими глазами:—не посмѣютъ при мнѣ... Подохнутъ, тогда опять пойду за хлѣбомъ... Проклятыя, проклятыя!.. погодите, погодите—подохнете!..

Онъ сталъ сторожить и пугать крысъ, охраняя свое добро.

— Пшли... пшли... кшъ, проклятыя,—бормоталъ онъ, слыша шорохъ.—У-у! Погодите, погодите,—всѣ подохнете, всѣ!..

Но крысы не дохли и, слыша все яснѣе и яснѣе ихъ шорохъ, онъ еще усерднѣе сторожилъ и пугалъ ихъ, ожидая, что вотъ-вотъ онѣ подохнутъ...

Ихъ число росло и росло, кажется, не по днямъ, а по часамъ, такъ что у него не оставалось ни минуты даже для сна, и онъ не спалъ, сторожа и пугая ихъ...

Наконецъ, онъ почувствовалъ, что онѣ, такія большія, такія быстроногія, начинаютъ бѣгать по его тѣлу, по его лицу...

— Пшли, пшли... у-у, проклятыя!—уже совсѣмъ тихо бормоталъ онъ, не имѣя силъ пошевелить ни ногой, ни рукой...

А число крысъ все росло и росло, шорохъ все усиливался, возня ихъ на тѣлѣ «стараго волка» все увеличивалась, и «старый волкъ» уже не шевелилъ и губами, потому что онъ сталъ уже не «старымъ волкомъ», а медленно разлагающимся трупомъ, надъ которымъ, какъ надъ падалью, могли справлять безпрепятственно свой пиръ всѣ, для кого кажется лакомымъ и это блюдо...

— При комъ взломали дверь?—спрашивалъ судебный приставъ у дворника, входя въ комнату, гдѣ былъ изъѣденный крысами трупъ.

— При полиціи,—отвѣчалъ дворникъ.

— Зачѣмъ меня не позвали? Судебный слѣдователь былъ?

— Были-съ. Они и посейчасъ у хозяина...

Собрались въ конуру полицейскіе, судебный слѣдователь, дворники.

— Не тронь, не тронь! Чего ты тамъ шаришь!—кричалъ приставъ на дворника.

Судебный слѣдователь слѣдилъ зоркими глазами за тѣмъ, какъ разрывали весь хламъ.

— Нужно убрать его, пересмотрѣть все въ тюфякѣ,—говорилъ приставъ.

Трупъ потащили вонъ.

— Обыскать прежде платье на немъ!—говорилъ приставъ, останавливая дворниковъ.

Начали обыскивать покойника.

— Вездѣ деньги, деньги и деньги!—говорилъ приставъ и вдругъ обернулся къ кому-то съ рѣзкимъ вопросомъ:

— Я васъ попрошу покуда не трогать вещей, мы все осмотримъ послѣдовательно...

Началась опись.

— Ну, стоитъ ли это вписывать,—замѣтилъ кто-то приставу.—Грошъ стоитъ.

— Это что же?—спросилъ приставъ, взявъ вещь, о которой шла рѣчь.—А-а, камея... Укралъ, вѣрно, гдѣ-нибудь, мерзавецъ...

— Да, вѣрно,—послышался отвѣтъ.

— Ну ее, къ чорту! Что тамъ дальше-то?

Кто-то крикнулъ:

— Пара старыхъ панталонъ!

Одинъ изъ присутствующихъ что-то заботливо загонялъ въ сторону ногою и, наконецъ, уронивъ изъ рукъ носовой платокъ, нагнулся поднять его.

— Что это вы?—послышался вопросъ.

— Платокъ уронилъ.

Господинъ, уронившій платокъ, поднялъ, весь красный, голову кверху и съ выраженіемъ невиннаго младенца сунулъ поспѣшно платокъ въ свой карманъ, словно боясь уронить изъ него какую-нибудь драгоцѣнность.

У всѣхъ присутствующихъ горѣли глаза, была видна какая-то лихорадочность въ движеніяхъ, было какое-то болѣзненное желаніе, чтобы всѣ встали здѣсь другъ къ другу спинами и чтобы ни одинъ изъ нихъ не смотрѣлъ, что дѣлаетъ другой, а передъ ними среди гвоздей, тряпокъ и сухихъ корокъ хлѣба, все росло и росло число ассигнацій, червонцевъ, золотыхъ бездѣлушекъ, валявшихся въ пыли, на полу, въ углахъ, въ тряпьѣ...

— Да какіе же это такіе порядки! Родныхъ дѣтей лишаютъ отцовскаго наслѣдства! Это дневной грабежъ! Я съ нимъ пятнадцать лѣтъ въ сожитіи находилась, онъ ничего на воспитаніе дѣтямъ не далъ. Я все сама...

Эти крики раздавались изъ устъ бывшей квартирной хозяйки «стараго волка», прочитавшей въ газетахъ, что послѣ него осталось тридцать тысячъ, и явившейся за наслѣдствомъ къ судебному приставу.

— Вы можете, сударыня, обратиться въ судъ,—объяснилъ старухѣ приставъ:—но я долженъ васъ предупредить, что изъ этого ничего не выйдетъ. У васъ нѣтъ никакихъ правъ на полученіе наслѣдства.

— Какъ никакихъ правъ?—кричала просительница.—А дѣти? Да я свидѣтелей приведу, что онъ погубилъ меня, злодѣй, что онъ своихъ дѣтей мнѣ подбросилъ. Я вездѣ дойду, вездѣ!

Приставъ долго уговаривалъ старуху, долго объяснялъ ей дѣло и, наконецъ, сказалъ, что у него нѣтъ времени для разговоровъ съ ней. Въ тотъ же день къ нему явился какой-то немолодой человѣкъ, съ мягкими манерами, слащавымъ голосомъ, заявившій, что покойный «старый волкъ» былъ воспитанникомъ его дяди.

— Такъ что же вамъ угодно?—спросилъ приставъ.

— Нельзя ли... знаете, мнѣ хотѣлось бы... Видите ли,—началъ посѣтитель, не умѣя выразить своего желанія.— Я думаю, что это имущество все равно въ казну пойдетъ, такъ нельзя ли найти какой-нибудь законъ, чтобы оно къ намъ перешло... Покойный, я вамъ долженъ признаться, былъ незаконнымъ сыномъ моего дяди и наслѣдовалъ послѣ него все, хотя имѣніе моего дяди должно было перейти къ моему отцу... Нельзя ли, знаете, какъ-нибудь похлопотать... оставленныя имъ деньги принадлежатъ нашей семьѣ... онъ тогда воспользовался тѣмъ, что моего отца не было здѣсь, и укралъ имущество дяди... Онъ вообще былъ грязная личность... и даже въ его аттестатѣ...

— Извините, пожалуйста, я ничѣмъ не могу быть вамъ полезенъ,—отвѣтилъ приставъ.

— Но совѣтъ... я прошу только вашего совѣта,—настаивалъ посѣтитель.

— Мой совѣтъ: оставьте въ покоѣ это наслѣдство,—сказалъ приставъ.

— Но какъ же такъ?.. Это имущество украдено у моего дяди... и вдругъ его отдадутъ въ казну?.. Имѣемъ же право хлопотать...

— Дѣлайте, что вамъ угодно, но я тутъ ни при чемъ...

— Я и мои родные поблагодарили бы васъ...

— Мнѣ, право, некогда!—сказалъ приставъ.

Эта смерть взволновала весь городъ; вездѣ говорили о ней, какъ о чемъ-то выходящемъ изъ ряда вонъ.

— Право, даже не жаль такихъ людей, когда слышишь, что съ ними случилось какое-нибудь несчастіе,—съ омерзѣніемъ говорила одна молоденькая барыня, слушая чтеніе газетнаго отчета о смерти старика.—Вѣдь могъ бы жить спокойно и счастливо въ семьѣ, уважаемый ближними...

— Это просто умопомѣшательство,—замѣтилъ какой-то

серьезный господинъ.—Такихъ людей нужно бы сажать въ сумасшедшій домъ, отобравъ у нихъ имущество подъ опеку.

— Ахъ, мнѣ, право, иногда дѣлается страшно за человѣчество, когда я читаю о подобныхъ нравственныхъ уродахъ,—жеманно произнесла пожилая дѣвица.

— Но это же рѣдкія исключенія!—замѣтилъ серьезный господинъ.

— Но неужели же всѣ его капиталы такъ и пойдутъ въ казну?—спросила молоденькая барыня.

— Разумѣется, въ казну,—отвѣтилъ серьезный господинъ.

— Ахъ, это ужасно! А можетъ-быть, у него мать, родные, несчастные голодные, выгнанные этимъ изувѣромъ,—содрогнулась пожилая дѣвица.

Двое молодыхъ людей смѣялись, толкуя объ этомъ случаѣ.

— Вотъ бы намъ такого дядюшку имѣть!—смѣялся одинъ.

— Были бы у Матильды новые рысаки,—хохоталъ другой.

— У насъ деньги не завалялись бы долго,—замѣтилъ первый.

— Да, протерли бы мы имъ глазки,—замѣтилъ второй.

Въ подвалѣ, гдѣ когда-то жилъ старикъ, разсуждали какія-то двѣ темныя личности.

— Прозѣвали мы, братъ, дѣльце!—говорила одна изъ темныхъ личностей.

— Да, ничего, славная бы была пожива,—говорила другая личность.

— Говорилъ, братъ, я тебѣ, что у стараго чорта есть кока съ сокомъ...

— И хлопотъ бы не много было, и такъ на ладанъ дышалъ...

Такъ толковали про своего умершаго собрата, про стараго волка, молодые...

ШКОЛА ЖИЗНИ.

РОМАНЪ.

Часть первая.

I.

Начинало уже смеркаться, но было еще рано зажигать лампы и свѣчи.

Эта пора дня съ ея полутьмою сильнѣе всего располагаетъ къ смутной мечтательности, навѣваетъ щемящую безпредметную грусть, когда человѣкъ находится въ полнѣйшемъ одиночествѣ и когда у него нѣтъ спѣшнаго, неотложнаго дѣла или суровыхъ насущныхъ заботъ. Именно такое настроеніе охватывало Алису Николаевну Радину, довольно молодую и еще очень красивую женщину, полулежавшую на кушеткѣ и тупо смотрѣвшую въ пространство темно-сѣрыми съ поволокою, очевидно, близорукими глазами на догоравшія, то вспыхивавшія, то разсыпавшіяся яркими угольями дрова въ каминѣ ея будуара. Будуаръ былъ отдѣланъ свѣтло-голубымъ атласомъ; у кушетки лежала шкура бѣлаго медвѣдя; въ простѣнкѣ между окнами стояло огромное трюмо въ бѣлой рамѣ художественной рѣзьбы; на стѣнахъ висѣло нѣсколько картинъ во вкусѣ Ватто, Буше и Прюдома съ откровенною наготой или дразнящимъ воображеніе флеромъ; среди цвѣтовъ бѣлѣла бисквитная группа-копія съ Амура и Психеи, какъ бы застывшихъ въ страстномъ поцѣлуѣ. Все говорило здѣсь если не о богатствѣ, то о неразсчетливомъ швырянии денегъ, о стремленіи къ эпикурейству, къ сладострастію, къ наслажденію жизнью. Не гармонировали съ этой обстановкой только скромный, не считая двухъ крупныхъ брильянтовъ въ ушахъ, сѣрый съ гладкимъ лифомъ нарядъ хозяйки дома, да ея тяжелое настроеніе, заставлявшее ее хмурить темныя тонкія брови и старившее ея круглое миловидное лицо чисто русскаго типа. Она до того глубоко отдалась невеселымъ думамъ, что нервно вздрогнула и чуть не вскрикнула, когда около нея неожиданно раздался голосъ ея вертлявой, франтовато одѣ-

той, похожей на водевильную субретку, горничной, почти безшумно вошедшей въ будуаръ.

— Фу, какъ вы меня испугали, Катя! — пробормотала Радина.—Что вамъ?

— Алиса Николаевна, опять этотъ человѣкъ пришелъ, котораго вы не приказали впускать! — жалующимся тономъ заявила горничная.—Онъ говоритъ...

— Ахъ, этотъ пьяница!.. Я же сказала, чтобы Прохоръ гналъ его,—раздражилась молодая женщина и вспылила.— Неужели вамъ двадцать разъ надо повторять?

— Прохора нѣтъ, вы сами же его послали за билетомъ въ циркъ,—пояснила горничная, разводя руками:—а я не могу одна сладить... Этотъ человѣкъ стоитъ у дверей и говоритъ...

— Ну, позвоните къ швейцару, пусть онъ вытолкаетъ,— приказала досадливо Алиса Николаевна.—Не самой же мнѣ идти... Догадки даже нѣтъ!..

— Онъ говоритъ, что, будто бы, ваша сестрица при смерти, прислала за вами,—пояснила горничная.

— Сестра?.. при смерти?.. Не даромъ я все думала о ней, — почти крикнула Алиса Николаевна, и на ея лицѣ отразилось выраженіе ужаса.—Ахъ, Боже мой... что же вы сразу не сказали, Катя!.. Да, можетъ-быть, онъ лжетъ?.. Прислала за мной?.. Не можетъ быть, не можетъ быть!.. Онъ не пьянъ?

— Нѣтъ-съ, кажется... не замѣтно... Извѣстно, отъ него всегда пахнетъ водкой... А ничего, не шатается...

Алиса Николаевна уже поднялась съ кушетки, охваченная волненіемъ, очевидно, не зная, что дѣлать, принять ли назойливаго посѣтителя, или гнать его. На ея щекахъ выступили красныя пятна.

— Въ столовую его проводите... и побудьте тамъ, пока я приду!—приказала она и привычнымъ движеніемъ прежде всего подошла къ трюмо, чтобы оглядѣть себя передъ выходомъ къ посѣтителю.

Безъ этого, часто безсознательнаго, осмотра она давно уже не выходила ни къ кому.

«Да, да, онъ не лжетъ... Она навѣрное умираетъ... Не даромъ я сегодня все думала о ней, не даромъ такая тоска напала, — отрывочно проносились въ ея головѣ суевѣрныя мысли. — Кровь-то родная что значитъ... Что ни дѣлай, а заговоритъ въ бѣдѣ... Ахъ, Дуня, Дуня!»

Она провела рукою по лбу, мелькомъ не то пугливымъ,

не то просящимъ взглядомъ взглянула въ передній уголъ, гдѣ вверху чуть видной серебряной звѣздочкой выдѣлялся крошечный образъ съ маленькой лампадой передъ нимъ, мысленно попрекнула себя за то, что передъ нимъ опять не затепленъ огонь, торопливо перекрестилась и съ тяжелымъ вздохомъ направилась къ двери, чтобы пройти въ столовую.

Въ столовой, украшенной мебелью изъ темнаго дуба и слабо озаренной свѣтомъ одной изъ пяти лампъ люстры съ матовыми шарами, ее уже ждалъ грязно и небрежно одѣтый человѣкъ съ давно небритой полусѣдой бородой, съ насмѣшливымъ выраженіемъ оглядывавшій обстановку комнаты, лѣпныя украшенія по стѣнамъ, изображавшія дичь, изящныя вазы и подносы изъ оксидированнаго серебра на буфетѣ. Онъ не былъ старъ, но его обрюзгшее одутловатое лицо, съ припухлымъ изсиня-краснымъ носомъ, съ щетиной твердыхъ и торчащихъ волосъ, было помято и говорило, что онъ прошелъ уже огонь и воду пьянства, тунеядства и всякихъ пороковъ. Это было одно изъ тѣхъ заклейменныхъ природою лицъ, отъ которыхъ опасливо сторонятся всѣ и которыя не возбуждаютъ жалости ни въ комъ. При появленіи на скамьѣ подсудимыхъ обвиняемыхъ съ такими лицами и прокуроры, и судьи сразу становятся къ нимъ во враждебныя отношенія: ни въ чемъ невиноватыхъ, ихъ уже подозрѣваютъ въ преступленіяхъ.

«И съ этимъ-то человѣкомъ, съ этимъ-то уродомъ прожила Дуня всю жизнь!»—пронеслось прежде всего въ головѣ Алисы Николаевны при взглядѣ на отвратительное лицо мужа сестры, и въ душѣ шевельнулось чувство гадливости. Физическая красота имѣла для нея огромное значеніе.

— Прежде всего не врите! — приказала она посѣтителю сурово и безцеремонно, даже не кивнувъ ему головой.

— У васъ, Аграфена Николаевна, только эти комплименты и услышишь!—началъ онъ насмѣшливо.—Это сивый меринъ вретъ, а не я... Вы, Аграфена Ни...

— Нечего тутъ балагурить! — перебила она нетерпѣливо и досадливо, зная хорошо, что онъ дразнитъ ее, повторяя умышленно ея настоящее — «противное», какъ говорила она, — имя, которымъ уже давно никто не называлъ ее. — Что съ Дуней?.. Когда заболѣла?..

— Когда заболѣла? Да я не знаю, когда она не болѣла,— сказалъ онъ, кривя гримасой ротъ. — Съ той самой поры, какъ вы, Аграфена Николаевна, ушли изъ дома, она...

— Ну, ну, не размазывайте! оборвала она нетерпѣливо.

Онъ пожалъ плечами.

— Чего размазывать?

— Докторъ что говоритъ? — торопливо допрашивала она его, избѣгая напоминаній о томъ времени, когда сестра перестала видѣться съ ней.

— Какой докторъ? Развѣ у насъ есть достатки для приглашенія докторовъ?—нахально спросилъ онъ.—Намъ вѣдь деньги съ неба не падаютъ!.. Никакихъ докторовъ не звали.

— Извергъ вы, а не мужъ!—прикрикнула она на него.

— Вы бы, конечно, могли помочь, Аграфена Николаевна, но вы гнать меня приказали,—послышалось объясненіе.

— Что вы мнѣ поете! Стыда у васъ нѣтъ!—прикрикнула она. — Развѣ я не знаю, что вы для себя меня обирали! Мало, что ли, я вамъ передавала денегъ?

— Семья у насъ.

— Семья! Семья! Не на семью вы брали! На кабаки брали, а Дуня голодомъ сидѣла, потому я и приказала васъ гонять, на кабаки не напасешься денегъ...

Она перемѣнила бранчивый, немного вульгарный тонъ и строго спросила:

— Теперь-то она прислала? За мной прислала или черезъ васъ проситъ помощи? Если за мной—я поѣду, а если черезъ васъ проситъ помощи — «вамъ» я ни гроша не дамъ. Пропьете все, что ни дай, какъ и прежде пропивали.

— Проститься хочетъ!—коротко пояснилъ онъ.

Она измѣнилась въ лицѣ. Красныя пятна на щекахъ сдѣлались еще ярче.

— Проститься! проститься!.. Господи, неужели же точно умираетъ? — въ ужасѣ пробормотала она и отрывисто приказала ему:—Подождите, я сейчасъ, я съ вами поѣду. Ахъ, Дуня, Дуня!..

Она заторопилась: позвала служанку, спросила ее, вернулся ли лакей, велѣла сказать князю Ефиму Петровичу Черемисинову, когда онъ пріѣдетъ, что въ циркъ она нынче не поѣдетъ, подчеркнула не безъ злобы, что ей не до театровъ, такъ какъ у нея сестра умираетъ, приказала подать себѣ шляпу и ротонду и, когда верхняя одежда была принесена горничною, она, вдругъ, что-то вспомнивъ, озабоченно сказала:

— Подождите здѣсь, Катя, я сейчасъ приду!

Горничная съ ротондой и шляпкой осталась ждать и сторожить въ столовой, а Алиса Николаевна поспѣшно напра-

вилась обратно въ свой будуаръ. Войдя въ него, она торопливо вынула изъ ушей брильянтовыя серьги, спрятала ихъ въ изящное бюро розоваго дерева, съ расписными вставками изъ фарфора въ бронзовыхъ рамкахъ, вынула оттуда деньги и положила бумажникъ въ карманъ. Оглядѣвъ себя мимоходомъ въ зеркало, она почти вслухъ подумала:

«Хорошо еще, что не успѣла вырядиться для театра. Сестра умираетъ, а мы по циркамъ скачемъ, себя показывать, на людей смотрѣть. Тамъ голодъ, а мы жремъ шампанское за десятерыхъ. Ахъ, Дуня, Дуня!!!»

Она вздохнула, безсознательно перекрестилась и вышла опять въ столовую.

— Вотъ я и готова,—проговорила она, надѣвая шляпку.

— И хорошо, сестрица, что сережки-то вынули изъ ушей,—насмѣшливо замѣтилъ мужъ ея сестры, тотчасъ же замѣтивъ ястребиными глазами, что въ ея ушахъ не блестятъ брильянты, во все время его разговора съ сестрой жены возбуждавшіе его зависть. — У насъ, Аграфена Николаевна, всякій народъ водится, грабители.

— Еще бы! по васъ знаю!—отвѣтила она безцеремонно и сухо и скомандовала:—Ну, идемте!

Она пошла, пропуская его впередъ. Предусмотрительность заставляла не оставлять его позади: отъ такихъ разбойниковъ всего можно ждать.

II.

Аграфена Николаевна Радина и Иванъ Петровичъ Поповъ мчались по улицамъ Петербурга, не говоря ни слова другъ съ другомъ. Иванъ Петровичъ, съ свойственною ему развязностью потерявшаго стыдъ пропойцы, началъ-было бесѣду со своей спутницей, сперва замѣтивъ ей, что у нея славныя заводскія лошади, а потомъ освѣдомившись, собственныя ли онѣ или помѣсячно нанимаются для нея княземъ, но она такъ упорно молчала, сурово сдвинувъ темныя брови и смотря куда-то въ сторону, что Поповъ тоже счелъ за лучшее замолчать.

Взглянувъ теперь на ея хорошенькое и, по большей части, по профессіональной привычкѣ всѣмъ привѣтливо улыбающееся лицо, легко было замѣтить на немъ выраженіе злобы, вражды, мрачнаго ожесточенія. Трудно было сказать, что̀ именно происходило въ ней. Она безотчетно злилась на князя Ефима Петровича Черемисинова, уже нѣсколько лѣтъ содержавшаго ее, — злилась за то, что вотъ

онъ пріѣдетъ теперь къ ней и сдѣлаетъ недовольную, кислую гримасу, узнавъ, что въ циркъ съ нимъ она сегодня не поѣдетъ, а проведетъ время у какой-то больной сестры: «самъ онъ сытъ, такъ ему и дѣла нѣтъ до голодныхъ! Ему весело, такъ онъ и знать не хочетъ, что у другихъ сердце кровью обливается! Его бы посадить на мѣсто другихъ, пулю бы въ лобъ себѣ пустилъ. Имъ бы все по щучьему велѣнью, по моему хотѣнью, а нѣтъ, такъ горло себѣ перерѣзать готовы! Привередники!» Раздражалъ ее и ея спутникъ: «Тоже негодяй. Истерзалъ, загубилъ Дуню, а самому и горя мало! Кабачный засѣдатель! Одна рожа чего стоитъ! Какъ могла смотрѣть-то на него Дуня? Вчужѣ смотрѣть на него тошно, а быть его женой... вотъ-то пытка!» И точно девятый валъ, поднималось надъ другими волнами чувствъ тяжкое сознаніе, что, можетъ-быть, больше всего страдала Дуня изъ-за нея, изъ-за Аграфены Николаевны, когда она, Аграфена Николаевна, ушла отъ нея и, превратившись въ Алису Николаевну, начала ту жизнь, которую ведетъ и теперь: «На глаза перестала пускать, хлѣбъ съ водой ѣла, а о помощи не просила, подлыхъ денегъ не хотѣла брать. Подлыя? Подлыя? да развѣ я сама-то не знаю, что онѣ подлыя? Развѣ я отъ радости на этотъ хлѣбъ пошла?»

И вдругъ передъ нею возстало все ея прошлое, мрачное, скорбное, позорное прошлое...

Дуня и Груша остались въ жалкомъ подвалѣ сиротами— Дуня восемнадцати лѣтъ, Груша десяти. Сиротокъ пожалѣли разныя родственницы и знакомыя, такія же нищія, какъ онѣ,—пожалѣли Дуню за то, что она «ангелъ небесный по кротости», а Грушу за то, что она «картина писаная». Помочь онѣ могли только тѣмъ, что сначала совѣщались между собою, ахали и охали, а потомъ нашли единственный исходъ къ спасенію — выдали Дуню замужъ за человѣка, «стоявшаго на линіи»—за канцелярскаго служителя, который «не сегодня, такъ завтра въ чины произойдетъ». Франтикъ, бахвалъ, циникъ съ распущенною нравственностью смазливаго писаришки, готоваго за деньги продать душу и тѣло, начальническій угодникъ и шпіонъ, съ девизомъ «въ бараній рогъ согнулъ бы всѣхъ, если бы моя власть», онъ далъ себя сосватать, такъ какъ Дуня, дочь мелкаго лакея и горничной со стиркой, была крестницей «самого», и не каялся, покуда «самъ» тянулъ его за уши по лѣстницѣ канцелярскаго служенія, но какъ только прежній «самъ» умеръ и на его мѣсто сѣлъ другой «самъ» со

своими клевретами, такъ тотчасъ же Иванъ Петровичъ сталъ называть Дуню «ободранной кошкой», дѣтей ея «щенками» и жаловаться, что его «молодость заѣли», навязавшись ему на шею да еще съ сестренкой въ придачу. Какъ это всегда бываетъ съ такими людьми, онъ сразу опустился, лишившись поддержки. Онъ началъ въ это время запивать и въ пьяномъ видѣ безцеремонно-цинично приставать къ «картинѣ писаной», которая тогда только-что вышла изъ пріюта и которой шелъ уже шестнадцатый годъ. Приставанья, безцеремонныя и недвусмысленныя, были такого рода, что строптивая по натурѣ и шустрая дѣвочка начала ясно сознавать, что онъ, ютясь со всей семьей, а въ томъ числѣ и съ нею, въ одной каморкѣ, не сегодня, такъ завтра, либо самъ ее силой погубитъ, либо другимъ за бутылку водки продастъ. Отъ такого злодѣя не убережешься! Груша хорошо знала жизнь.

Съ выраженіемъ ненависти искоса взглянула Аграфена Николаевна при этомъ воспоминаніи на сидѣвшаго съ нею въ саняхъ Ивана Петровича. Онъ, одинъ онъ, толкнулъ ее въ пропасть. Сестру ея билъ, дѣтей колотилъ, ее преслѣдовалъ, отъ него, отъ этого грѣха ходячаго, и убѣжала она. Сестра же даже и не подозрѣвала, отъ чего она бѣжала. Молода она была, не хотѣлось разсказывать сестрѣ всего: стыдно было. «Глупая, тогда всего еще стыдилась! Тоже въ пріютѣ научилась институтку разыгрывать, жеманилась да восклицала при каждомъ пустякѣ: «ахъ, дѣвицы, какой стыдъ и срамъ!» Прачкины да судомойкины всѣ дочери были, дома съ мужчинами, отцами и братьями попросту, чуть не въ повалку спали, одѣвались другъ при другѣ въ одномъ углу, а манерничать научились, не хуже институтокъ кобенились!» Она злилась теперь на все и всѣхъ— на пріютъ, на благодѣтелей, устроившихъ его, на воспитанницъ, изуродованныхъ имъ. И въ какое время она бѣжала изъ дома сестры: когда сестра, избитая, мучилась отъ преждевременныхъ родовъ, а онъ, этотъ негодяй, въ той же комнатѣ въ пьяномъ видѣ хотѣлъ силой погубить ее, Грушу!

— Стой! стой! — раздался голосъ Ивана Петровича, и, обратившись къ Аграфенѣ Николаевнѣ, Поповъ съ обычной язвительностью проговорилъ: — Вы, сестрица, отвыкли отъ трущобъ-то... Не оступитесь у насъ... полъ склизкій... Тутъ непривычные-то люди лбы расшибаютъ...

И, разыгрывая роль вѣжливаго кавалера, онъ помогъ Радиной выйти изъ ея щегольскихъ саней.

Не прошло и пяти минутъ, какъ Аграфена Николаевна, миновавъ темный коридоръ съ промозглымъ воздухомъ, большую неопрятную кухню и полутемную комнату съ какимъ-то копошившимся въ ней передъ огаркомъ свѣчи человѣчкомъ, съ большими очками въ мѣдной оправѣ на носу, штопавшимъ какую-то ветошь, вступила въ большую комнату, тускло озаренную свѣтомъ старой лампы, и, разглядѣвъ у стѣны постель и лежавшую на ней исхудалую фигуру женщины, сбросивъ на полъ свою дорогую ротонду, бросилась къ ней и съ рыданіями опустилась на колѣни, отыскала исхудалыя руки больной и прижалась къ нимъ губами, громко причитая, какъ послѣдняя баба-поломойка:

— Сестрица ты моя родная!.. Дуня-голубушка!.. Прости ты меня, окаянную!.. До чего довели тебя люди-губители! Чтобы имъ всѣмъ ни дна, ни покрышки! Проклятые! А я-то и не знала, не вѣдала!..

Ей нужно было въ эту минуту, громко крича, причитая, выплакать свое горе, свою злобу, свою обиду. Простолюдинка никогда не умирала въ ней.

Чуть-чуть въ отдаленіи стояли два мальчугана-подростка лѣтъ девяти и десяти, не безъ любопытства, какъ настоящіе дикари, смотря на эту барыню, кричавшую и плакавшую у постели ихъ матери. А въ сосѣдней каморкѣ, около копошившагося надъ штопкой ветоши низенькаго человѣка, съ большими очками въ мѣдной оправѣ на носу, сидѣлъ, пригнувшись, Иванъ Петровичъ и ироническимъ тономъ таинственно пояснялъ ему:

— Драму-съ разыгрываютъ... къ театральнымъ представленіямъ очень привычны, какъ же! Сами не разъ передъ публикой выступали, пѣли, подольчикъ подергивая и теребя: «Смотрите тутъ, смотрите тамъ!» Потѣха!

— Бѣсовъ тѣшатъ, о смертномъ часѣ не думая, — прошамкалъ старикъ, очевидно, только смутно понимая, что ему говоритъ Поповъ.

III.

— Полно, Груша, полно... души мнѣ не надрывай! — шептала едва слышно больная, машинально проводя рукой по головѣ снова причитавшей у ея постели сестры, увидавшей, что надежды на выздоровленіе больной нѣтъ. — Обѣимъ намъ не легко было... обѣимъ Богъ не далъ счастья... Твой хлѣбъ тоже не сладокъ.

— Сладокъ! таково-то сладокъ, что иной разъ съ души воротитъ! — почти выкрикнула Аграфена Николаевна. — Руки не разъ на себя хотѣла наложить отъ этой сладости! Душонка только подлая, трусливая, развращенная, силъ не хватало!

И вдругъ она разразилась признаніями, проклиная людей, жизнь.

Когда ушла она изъ дома отъ ненавистнаго ей человѣка, который проходу ей не давалъ,—попала она въ руки купца-савраса. Не силой онъ ее взялъ, рожей своей смазливой, разбойникъ, обольстилъ, удалью своею прельстилъ, и не думала, не гадала она, въ какой адъ она попадетъ. То въ ногахъ онъ у нея валялся, разгуливая съ нею, то надругивался всячески надъ нею, арапникомъ ее билъ въ пьяномъ видѣ, какъ собаку, билъ, всяческими послѣдними словами ругая. Дома его отецъ съ матерью за то, что онъ съ какой-то нищей дѣвчонкой путается, тупымъ ножомъ рѣжутъ, грозятъ наслѣдства лишить, а онъ на ней все вымещаетъ, точно не онъ ее погубилъ, а она его съ пути совратила. Терпѣла она все, потому что спорвоначалу влюблена въ него, душегубца, была, а потомъ просто съ голоду подохнуть боялась. Смерть-то страшна была. Охъ, какъ страшна! Работать надо бы было, а что она знала? Бѣлье шить умѣла. Много ли этимъ наживешь, особенно какъ ни машинки нѣтъ, ни знакомствъ хорошихъ? Насмотрѣлась она, какъ бѣлошвейки-то нищенствуютъ, а потомъ ни за гропъ, ни за денежку пропадаютъ. Одна, вонъ, изъ пріютскихъ же подругъ билась-билась, да, въ концѣ-концовъ, когда голодать стало не подъ силу, руки на себя и наложила — изъ пятаго этажа во дворъ выбросилась. Продаться не хотѣла, потому что грѣхъ это. А на себя-то руки наложить не грѣхъ? Еще какой грѣхъ-то, что и отмолить нельзя. Тоже и къ сытости она, Аграфена Николаевна, привыкла: купецъ-то билъ, а кормилъ и поилъ на убой, потому тощихъ не любилъ, содержалъ на всемъ готовомъ. Можетъ-быть, и не ушла бы она отъ него, все претерпѣла бы, если бы не поженили его силою отецъ съ матерью. Тогда-то и хлебнула она еще большаго горя. Пока человѣкъ сытъ—все ему полгоря, а вотъ какъ сегодня не поѣшь, да завтра не поѣшь—тутъ на все пойдешь, и тѣло, и душу продашь. Огонь и воду, и мѣдныя трубы она прошла. Можетъ-быть, такъ на панели и сдохла бы, какъ собака, если бы голосъ не выручилъ. Вотъ, въ

пріютѣ учили божественное пѣть, а пришлось потомъ у Берга да по загороднымъ ресторанамъ, чортъ знаетъ, что пѣть. «Ангошку наизнанку» пѣла! Купецъ ея чего другого не зналъ, а мерзости всякія на зубокъ зналъ и ее имъ научилъ. Въ отдѣльные кабинеты тоже приглашали потомъ пѣть. Стала какъ сыръ въ маслѣ кататься. Еще бы! стыдъ потеряла, совѣсть продала, — тутъ ужъ живи, не тужи! Зато и одобряли-то какъ саврасы! Заставятъ разныя пакости продѣлывать — ну, и первый ты у нихъ человѣкъ! Негодяи! Ну, а что же дѣлать, коли жить хотѣлось, коли съ пира-то въ смрадный подвалъ опять попасть страшно было, коли знала, что все равно и въ этомъ смрадномъ подвалѣ та же гибель ждетъ? А смерть-то страшна!

— Охъ, Груша, Груша, страшна смерть, — въ полузабытьѣ прошептала умирающая, слышавшая только послѣднія слова изъ всей страстной исповѣди сестры.

— Тебѣ что! Ты праведница! Ты весь вѣкъ честно прожила! — возразила Аграфена Николаевна. — А я... ни на этомъ, ни на томъ свѣтѣ прощенья мнѣ нѣтъ...

— Дѣти... дѣтей на голодъ, на погибель оставлю... — послышался глухой голосъ больной и въ немъ сказывался ужасъ. — Не дѣвочки, слава Богу, а все же... страшно за нихъ... ворами съ голоду люди дѣлаются... убійцами!.. Ты ужъ не оставь ихъ!..

— За звѣря меня, что ли, считаешь!—воскликнула Аграфена Николаевна.

— Отцу не давай... такому онъ ихъ научитъ, что ни чести, ни совѣсти не будетъ.

— Да ты, Дуня, не думай объ этомъ...

— Поклянись! — опять прошептала, не слушая успокоенія, больная: — поклянись, что не оставишь... умереть дай спокойно...

— Вотъ тебѣ крестъ!.. Передъ образомъ клянусь!.. Чтобы мнѣ ни дна, ни покрышки. Чтобы на томъ свѣтѣ мнѣ мѣста не было...

Больная заметалась.

— Благословить хочу, дѣтки, образъ гдѣ?

Аграфена Николаевна засуетилась, поднялась съ полу, достала деревянный образъ, съ котораго уже давно была содрана риза, подвела къ больной и дѣтей. Мальчики ея немного дичились.

— Умираю, дѣтки... тетка вотъ у васъ замѣсто матери

будетъ.. Любите ее... Да ты поклянись, Груша... Охъ, благослови васъ Господь... Силъ нѣтъ...

Она безсильно выпустила изъ рукъ взятый ею образъ и съ безпомощно протянутыми вдоль тѣла руками словно застыла, глядя въ пространство широко открытыми испуганными глазами и перебирая пальцами одѣяло. Можетъ-быть, передъ нею проходили мрачныя картины ея многострадальной жизни, — можетъ-быть, предсмертныя муки пересилили все и заставляли думать только о томъ, какъ боль грызетъ ей кости. Аграфена Николаевна примостилась на какомъ-то табуретѣ около кровати и обняла дѣтей, держа ихъ около себя. Больная что-то едва слышно шептала и стонала, казалось, ничего не видя, ничего не сознавая... Можно было уловить только отдѣльныя фразы:

— Ни радости, ни просвѣта. О-охъ! Слава Богу, что мальчики... а то что бы было...

А въ сосѣдней комнатѣ Иванъ Петровичъ, вернувшійся послѣ поисковъ за докторомъ, своимъ хриплымъ насмѣшливымъ тономъ снова таинственно пояснялъ старику:

— Какъ я говорилъ, такъ и вышло, какого доктора теперь сыщешь? Это она только, шалая, настаивала: вынь да положь ей доктора! А, чай, и они за день-то набѣгаются. Всякій спокоя себѣ желаетъ!

— Охъ, какъ безъ спокоя жить, какъ безъ спокоя жить!— завздыхалъ старикъ, плохо понимая, что̀ ему говорятъ, или просто уже не интересуясь тѣмъ, что̀ не касается его.

— Одинъ обѣщалъ заѣхать: «отдохну, говоритъ, и пріѣду!»—продолжалъ Поповъ.—Толку-то только никакого не выйдетъ. Мертваго не воскресишь! Раньше надо было думать о спасеніи. А теперь поздно метаться да трагедіи разыгрывать... И какъ это она командовать научилась, какъ тряпками, людьми помыкаетъ...

И еще болѣе ядовито, раздраженный тѣмъ, что какая-то Аграфенка гоняла его, на ночь глядя, за докторами, онъ сталъ разсказывать:

— И то сказать: деньги форсу придаютъ человѣку.

— Извѣстно, безъ денегъ человѣкъ не человѣкъ, червь послѣдній, ничтожный,—прошамкалъ старикъ.

— Еще бы!—согласился Поповъ.—Ну, вотъ она и форситъ. Я, молъ, и такая, и сякая, пресмыкайтесь передо мною! Тысячи зря швыряетъ, благо деньги не свои, а княжескія, не трудомъ заработанныя, а родная сестра, родные племянники съ голоду помирали. Я ужъ не говорю о себѣ:

меня чужимъ, меня врагомъ считала, потому что старую-то хлѣбъ-соль забыла, забыла, что я молодые годы изъ-за того убилъ, что навязалъ на шею не одну ея сестрицу, а и ее, тогда еще соплячку десятилѣтнюю.

IV.

Князь Ефимъ Петровичъ Черемисиновъ былъ очень недоволенъ, сдвинулъ свои и безъ того почти сросшіяся брови, закусилъ нижнюю губу и сдѣлалъ кислую гримасу, не заставъ Алису Николаевну дома и услыхавъ отъ ея горничной, что «онѣ уѣхали къ своей умирающей сестрицѣ» и «неизвѣстно когда вернутся домой». По субботамъ зимой Алиса Николаевна и князь всегда бывали по вечерамъ въ циркѣ. Это вошло въ привычку. Вообще князь въ послѣдніе годы привыкъ во всякое время заѣзжать въ нанимаемую имъ квартиру Алисы Николаевны, какъ домой, пріѣзжая въ столицу по желѣзной дорогѣ сначала изъ своего полка, а потомъ, по выходѣ въ отставку, изъ своего имѣнія, отстоявшихъ отъ Петербурга въ нѣсколькихъ часахъ ѣзды. Другой квартиры въ Петербургѣ онъ теперь не нанималъ, останавливаться въ отеляхъ уже давно отвыкъ и въ квартирѣ Алисы Николаевны чувствовалъ себя «дома», «въ семьѣ». Другой семьи у него не было, если не считать всякихъ дальнихъ родственниковъ, проживающихся дядюшекъ, тетушекъ и троюродныхъ сестрицъ, ищущихъ женіховъ, да старой дѣвственницы-сестры его отца, проживавшей въ его имѣніи. Правда, гдѣ-то за границей еще скиталась его мать, попавшая съ разгульныхъ оргій въ исповѣдальни католическихъ патеровъ, но съ матерью у него никогда не было ничего общаго. Съ дѣтства она чуть не возненавидѣла его за то, что онъ и неуклюжей мѣшковатой фигуркой, и почти сросшимися черными бровями, и исподлобья смотрящими глазами, и узенькимъ упрямымъ лбомъ, и даже такими наслѣдственными привычками, какъ закусыванье нижней губы и обкусываніе ногтей, напоминалъ ей ея покойнаго мужа un ours mal léché, чуть не убившаго ее за первую и послѣднюю ея измѣну ему и погибшаго на дуэли съ ея любовникомъ, оставивъ ее опозоренною на жертву сплетенъ и пересудовъ. Данной ей мужемъ пощечины и брошеннаго ей въ лицо слова «тварь» она никогда не могла забыть и, глядя на морщившаго лобъ и закусывавшаго нижнюю губу некрасиваго сына, всегда думала, что и этотъ злой медвѣжонокъ способенъ

на то же. Она приложила всѣ старанія, чтобы выдрессировать своего «отвратительнаго медвѣжонка», отучить его «закусывать удила» и научить его, какъ слѣдуетъ себя вести въ обществѣ богатому и независимому человѣку—быть сдержаннымъ, носить маску невозмутимаго равнодушія, относиться ко всему съ холоднымъ высокомѣріемъ, считать себя въ правѣ дѣлать все, не отдавая никому отчета ни въ чемъ. Медвѣжонокъ прошелъ эту школу отлично и, казалось, превратился въ бездушнаго идола, равнодушнаго къ добру и злу, презирающаго всѣхъ и все, людей, мысли и нравственныя правила, не любящаго никого и не нуждающагося ни въ чьей любви. Что-то странное стало происходить въ его жизни только съ той поры, какъ онъ встрѣтился съ Алисой Николаевной. Сближеніе ихъ произошло самымъ пошлымъ и обыкновеннымъ для кутящей молодежи образомъ. Она была красива собой, бойко распѣвала шансонетки, была доступна за деньги для каждаго; онъ былъ сильно возбужденъ оргіей и не жалѣлъ на свои прихоти не имъ нажитыхъ, оставленныхъ отцомъ денегъ. Они познакомились, сошлись. Онъ, какъ это дѣлалось имъ уже не разъ, просто швырялъ деньги за право развлекаться съ нею, какъ развлекался съ другими, и даже не воображалъ, что для нея въ эту минуту онъ является благодѣтелемъ, избавителемъ, что въ сущности онъ спасаетъ ее не только отъ скитаній по разнымъ кабачнымъ кафе-шантанамъ, но, можетъ-быть, отъ голодной смерти, такъ какъ ее уже гнали съ квартиры за неплатежъ денегъ, а закладывать было уже нечего. Вѣроятно, ихъ знакомство скоро прекратилось бы такъ же внезапно, какъ и началось, такъ какъ онъ постоянствомъ не отличался, говоря, что «это скучно». Но въ дѣло вмѣшалась случайность. Подвозя однажды Алису Николаевну домой, онъ выскочилъ изъ коляски, зацѣпился шпорой за подножку, упалъ и сломалъ себѣ ногу и руку. Въ этотъ вечеръ у него была особенно тяжела голова и особенно рѣзвы были ноги. Алиса Николаевна вскрикнула отъ ужаса, но не растерялась, быстро распорядилась, чтобы больного несли къ ней, а уже черезъ полчаса около него возились два доктора и фельдшеръ, нашедшіе, что переломы очень сложны и что не особенно благопріятно для исхода болѣзни то состояніе, въ которомъ находился больной при паденіи. Когда возникъ вопросъ, куда и какъ перенести больного, Алиса Николаевна рѣзко и рѣшительно воспротивилась всякимъ совѣтамъ и оставила его у себя. Въ первые дни онъ со-

вершенно пассивно и равнодушно относился къ ея заботливому уходу за нимъ, къ тому, что она неотступно проводитъ при немъ дни и ночи, допуская только въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ фельдшера замѣнять ее. Съ эгоизмомъ ребенка, больного или старика, онъ не спрашивалъ ее, не устала ли она, не тяжело ли ей проводить съ нимъ долгія, безсонныя ночи, не загонялъ ли онъ ее своими нетерпѣливыми требованіями подать ему то или другое, не огорчаютъ ли ее его безконечные капризы. Онъ даже не думалъ объ этомъ. Наконецъ, когда перевязки были ослаблены и онъ могъ впервые уснуть послѣ долгой безсонницы сладкимъ сномъ, онъ, чувствуя облегченіе, слабымъ голосомъ замѣтилъ ей:

— Скучно тебѣ сидѣть около меня. По ногамъ и рукамъ связалъ я тебя...

— Чѣмъ это?—удивилась она.—Развѣ ты по своей охотѣ разбился? Несчастье съ каждымъ можетъ случиться. Ты ужъ лучше лежи да молчи, а то докторъ забранится, что ты волнуешься. Сказалъ, что тебѣ покой нужнѣе всего...

— Ты добрая,—безсознательно сказалъ онъ.

— Такъ и угадалъ! — простодушно засмѣялась она. — Развѣ добрыя-то такія бываютъ? Вотъ у меня сестра, такъ та добрая. Ей люди зло дѣлаютъ, а она терпитъ да добромъ имъ отплачиваетъ.

Она шутливо прибавила:

— А я что? Собачонки вотъ такія же добрыя бываютъ: накормятъ ихъ люди, онѣ и лижутъ имъ руки.

— Такъ это ты за то за мной ухаживаешь, что я тебя накормилъ?—съ гримасой спросилъ онъ.

— А то какъ же? — возразила она. — Я, можетъ-быть, либо съ голоду умерла бы, либо руки на себя наложила бы, когда ты встрѣтился... Да ты не разговаривай. Докторъ спать тебѣ велѣлъ больше, а ты болтаешь. Я и уйду этакъ-то.

— Ну, ну, не буду, строгая сидѣлка! — остановилъ онъ ее, чувствуя себя особенно хорошо въ это утро: во всемъ тѣлѣ была слабость, боли почти не чувствовалось. настроеніе было дремотное.

И впервые, подъ вліяніемъ сладкаго возвращенія къ жизни, въ его душѣ пробудилось къ ней теплое чувство и шевельнулось что-то въ родѣ упрековъ совѣсти: «умирала съ голоду и потому вела Богъ вѣсть какую жизнь... а онъ даже и не зналъ, сколько и за что онъ платитъ»... Впрочемъ, болѣе всего его трогало то, что она «приноситъ ему жертву», не

выѣзжая въ театры, на пикники, сидя неотступно у его постели, ухаживая за нимъ, перенося его капризы. Онъ, втянувшійся съ юности въ пустую жизнь, не могъ понять, что она, въ сущности, отдыхала въ эти дни отъ безпутной жизни, чувствовала себя впервые въ жизни въ роли заботливой жены и домовитой хозяйки. Разъ она услыхала, какъ одинъ изъ его двоюродныхъ дядюшекъ, навѣстившій его, говорилъ ему о его матери, которой далъ знать о его болѣзни и которая сухо отвѣтила, что она не можетъ пріѣхать изъ-за границы.

— Ну, и мать же у тебя!—не удержалась Алиса Николаевна по уходѣ стараго дяди. — Да я бы, сломя голову, прискакала изъ-за всякихъ заграницъ, если бы узнала, что у меня сынъ боленъ... А, впрочемъ, я-то рада, что она не пріѣдетъ. Увезла бы тебя у меня...

— Большая бы была потеря! — съ гримасой проговорилъ онъ.

— Для тебя, можетъ-быть, не большая, а для меня большая...

— Вотъ какъ!—коротко промолвилъ онъ.

Она промолчала.

Разъ онъ, проснувшись, увидалъ, что она сидитъ у окна и плачетъ. Сталъ разспрашивать, о чемъ плачетъ. Соскучилась сидѣть около него, больного? Дѣйствительно, это скучно! Но онъ скоро выздоровѣетъ и развяжетъ ей руки.

— Перестань! перестань! — нетерпѣливо остановила она его.—Ничего-то ты не понимаешь! Не было и не будетъ въ моей жизни лучшей поры, чѣмъ теперь. И вокругъ меня, и во мнѣ такъ-то тихо, тихо... точно Господь все мнѣ простилъ... вотъ сестра, будь она здѣсь, посмотрѣла бы теперь на меня—и она простила бы... Только вотъ какъ вспомню, что все это пройдетъ—слезы душатъ...

— Хотѣла бы, чтобы я еще разъ руку и ногу сломалъ?—довольно ласково посмѣялся онъ.

— Не шути такъ! Ты въ мою душу не заглядывалъ, тебѣ потому и смѣшно... А я, вотъ если бы ты хоть чуточку любилъ меня—Господи, да я бы для тебя на все готова...

— Да я же тебя люблю,—продолжалъ онъ шутить.

Она хорошо знала этотъ ироническій тонъ,—вздохнула и промолчала.

Когда онъ впервые поднялся съ постели и увидѣлъ себя въ зеркало—онъ просто испугался: всегда смуглое съ сильнымъ румянцемъ лицо съ узенькимъ лбомъ и сросшимися

черными бровями теперь было страшно: это были кости, обтянутыя желтой кожей подъ топорщившейся щетиной черныхъ волосъ.

— Какъ это ты меня не боялась — я страшнѣе всякаго покойника,—сказалъ онъ.

— Я даже и вниманія-то не обращала на это, — отвѣтила она, пожимая плечами.—Вотъ у меня мать въ чахоткѣ умерла, такъ мнѣ она всякихъ красавицъ дороже и лучше была... хоть бы живымъ шкелетомъ она была — я и тогда бы ея руки цѣловала да красивѣе всѣхъ ее считала... ужъ такъ-то мы любили одна другую... Ты, конечно, этого не понимаешь... мать тебя не любила за то, что некрасивъ ты былъ, ты ее тоже не любилъ, ну, а если съ кѣмъ валандался въ жизни, такъ только ради красоты...

— Странная ты, — задумчиво проговорилъ онъ. — Тебѣ иногда приходятъ въ голову такія мысли, какихъ мнѣ никогда не приходило...

— Глупая и необразованная я,—просто отвѣтила она.

Онъ улыбнулся и, смѣясь, привлекъ ее къ себѣ.

— Вотъ ты сдѣлай и меня такимъ глупымъ и необразованнымъ...

Дней черезъ пять послѣ этого разговора онъ уже могъ выѣзжать изъ дома, но о продолженіи службы нечего было и думать. Онъ рѣшился перебраться на отдыхъ въ свое имѣніе, гдѣ хозяйничала дорогая ему по воспоминаніямъ дѣтства старая княжна-тетка. Съѣздивъ въ имѣніе, онъ недѣли черезъ двѣ вернулся въ Петербургъ и, пріѣхавъ къ Алисѣ Николаевнѣ, рѣшилъ:

— Завтра надо намъ найти квартиру попросторнѣе, чтобы мнѣ было удобно останавливаться во время пріѣздовъ въ Петербургъ.

Квартира была найдена, и съ этой поры князь Ефимъ Петровичъ Черемисиновъ останавливался во время частыхъ пріѣздовъ въ Петербургъ у себя дома, т. е. въ квартирѣ Алисы Николаевны Радиной.

V.

Еще первый разъ съ того достопамятнаго дня, когда онъ заболѣлъ, онъ не засталъ ее дома. Побродивъ безцѣльно по комнатамъ, онъ, что-то насвистывая отъ раздраженія, чувствовалъ, что ему чего-то недостаетъ, наконецъ, сказалъ горничной, что онъ уѣзжаетъ, и уже черезъ полчаса, хмурый, сидѣлъ въ обществѣ своихъ однокашниковъ по школѣ.

и пріятелей однополчанъ въ циркѣ. Его спросилъ кто-то объ Алисѣ. Всѣ привыкли видѣть его съ нею. Не больна ли она? Онъ мелькомъ отвѣтилъ, что у нея кто-то умираетъ. Кто-то шутливо замѣтилъ: «А! семейная утрата!» Кто-то тутъ же посмѣялся: «Надолго ли надѣнется трауръ?» Потомъ всѣхъ занялъ новый дрессированный на свободѣ жеребецъ, выведенный на арену цирка. О жеребцѣ довольно горячо поспорили. Кавалеристы пустили въ ходъ нѣсколько техническихъ выраженій. У нихъ тоже была своя спеціальность и они гордились этимъ въ душѣ. Одинъ изъ присутствовавшихъ въ ложѣ стариковъ-кутилъ былъ настоящій «лошадникъ» и могъ надуть самого пройдоху-цыгана, по увѣренію самихъ лошадиныхъ барышниковъ на конной. Затѣмъ, зѣвая, компанія просмотрѣла еще два нумера, изрекла: «уличныхъ акробатовъ приглашаютъ», рѣшила, что тутъ «скучища» и поѣхала ужинать за городъ, такъ какъ надо же какъ-нибудь убить время. Изъ нихъ никто не жилъ: они только «прожигали жизнь» и «убивали время». Черемисинову стало невыносимо скучно, онъ словно что-то потерялъ и не могъ найти. Онъ хотѣлъ-было ѣхать домой, отговариваясь усталостью, но ему замѣтили, что, вѣроятно, ему дома не придется особенно отдыхать, такъ какъ Алиса Николаевна, вѣроятно, или еще не вернулась отъ умирающей, или уже оплакиваетъ ее. «Изъ цирка попадешь въ драму!» опять пошутилъ кто-то. «Пожалуй, что и такъ!—мелькнуло въ головѣ Ефима Петровича:—Алиса такая впечатлительная, вспыльчивая. Съ сестрой она не видалась давно. Вѣроятно, теперь происходитъ у нихъ цѣлая драма. Плачутъ». Онъ сдѣлалъ брезгливую гримасу. Драмъ онъ не любилъ. Заплаканныя лица некрасивы.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ уже сидѣлъ въ отдѣльномъ кабинетѣ съ товарищами и пилъ шампанское, чувствуя особенную жажду. Еще нѣсколько минутъ—и отдѣльный кабинетъ огласился пѣснями цыганъ. «Визжатъ какъ; Алиса въ сто разъ лучше поетъ», — мелькнуло въ головѣ Черемисинова и тутъ же онъ со сдвинутыми бровями и закушенной губой подумалъ, совсѣмъ хмелѣя: «Не поетъ, а плачетъ она теперь», и онъ почувствовалъ еще бо́льшую жажду. Онъ всегда заливалъ виномъ вспыхивавшій въ немъ огонекъ мутныхъ угрызеній совѣсти, раздраженія, неудовольствія. Чѣмъ и чѣмъ онъ былъ недоволенъ теперь,—въ этомъ онъ не могъ бы дать себѣ отчета. Просто въ этотъ день все и всѣ раздражали и злили его.

Только въ два часа дня въ воскресенье онъ заѣхалъ со смущеннымъ видомъ провинившагося школьника къ Алисѣ Николаевнѣ и, не заставъ ея дома, такъ какъ она была на панихидѣ, почти обрадовался. Все же есть отсрочка для непріятныхъ объясненій. Какихъ объясненій? Онъ и самъ не зналъ, но предчувствовалъ, что будутъ какія-то объясненія, досадуя заранѣе на это. Разспросивъ, когда она вернется, когда будутъ похороны, онъ уѣхалъ, сказавъ, что онъ пріѣдетъ въ Петербургъ, вѣроятно, не ранѣе субботы. Катя едва сдерживалась отъ смѣха, глядя на его помятыя черты и виноватое выраженіе смущеннаго лица, думая при этомъ: «И задала бы тебѣ сегодня гонку Алиса Николаевна, увидавъ, насколько ты нынче хорошъ. Погулялъ, видно, вволю!» Катя почему-то была твердо увѣрена, что Алиса Николаевна имѣетъ «полное свое право» задавать князю гонку. Тоже бѣда, если имъ волю дать! Князь же, пріѣхавъ на дебаркадеръ желѣзной дороги, опять почувствовалъ сильнѣйшую жажду и велѣлъ въ буфетѣ подать себѣ зельтерской воды и коньяку,—побольше коньяку, поменьше воды. Цѣлыхъ три дня онъ хандрилъ, чувствовалъ себя скверно и въ концѣ недѣли, переступая порогъ будуара Радиной, имѣлъ то же виноватое выраженіе лица, какое подмѣтила Катя у него въ воскресенье.

Подходя къ Алисѣ Николаевнѣ, онъ увидалъ характерную складку между ея бровями и сразу понялъ, что она сильно не въ духѣ. Онъ зналъ, что въ такія минуты отъ нея можно ждать самыхъ невообразимыхъ бурныхъ сценъ, и чувствовалъ всегда себя въ этихъ случаяхъ въ положеніи безпомощнаго ребенка, на котораго разсердилась мать и которому она грозитъ, что, «она его броситъ, какъ щенка, на дорогѣ,—пусть ищетъ другую маму».

— У тебя, голубка, горе случилось большое, — началъ онъ, цѣлуя ея руку.

— Еще бы не большое! Другой-то сестры не было и не будетъ!—отрывисто отвѣтила она, холодно прикоснувшись губами къ его лбу.—Съ дѣтскихъ лѣтъ замѣсто матери мнѣ была. Обмывала, обувала. Это я-то только, неблагодарная тварь, добра не помнила, дала умереть ей, какъ собакѣ, безъ ухода, безъ призора.

— Ты же говорила, что она видѣть тебя не хотѣла,—вставилъ онъ.

Она вспылила:

— Видѣть не хотѣла! Еще бы, тварь погибшую видѣть!

Да у нея сердце надрывалось при мысли о томъ, какъ я живу, на какія деньги кормлюсь. Я должна была у нея въ ногахъ валяться да прощенье себѣ вымолить, насильно должна была помочь, а меня, подлую, пугало, что со мной будетъ, если я развратничать перестану.

— Зачѣмъ ты такъ говоришь?! На что эти слова? — остановилъ онъ ее осторожно, дѣлая брезгливую гримасу.— Мы же теперь живемъ, какъ мужъ и жена.

Она точно осатанѣла.

— Какъ мужъ и жена! какъ мужъ и жена!—выкрикнула она, сверкая глазами.—Да если бы мы такъ-то жили, такъ ты бы хоть взглянулъ, какая такая у твоей жены сестра умерла, какъ приняла твоя жена эту потерю, хоть бы помолился съ женою у ея гроба. А тебѣ что? Хоть бы я сама у гроба умерла, хоть бы я повѣсилась съ горя! Еще бы! Нашей сестры много. Хоть прудъ пруди нами! Были бы деньги, а за деньги десятки купишь. Еще лучше будутъ! Поди-ка, и вчера, и третьяго дня, и во всю недѣлю, во-всю развернулся, благо у «жены» горе, благо жена не помѣшаетъ Богъ вѣсть съ кѣмъ валандаться. Ахъ, вы, мужья изъ-подъ ракиты!

И уже совсѣмъ язвительнымъ тономъ стала разсказывать:

— Нѣтъ, вотъ Николай барабанщикъ простой, изъ жидовъ выкрестъ, а куда сердечнѣе тебя... душа у человѣка есть. Только узналъ, что сестра у меня умерла, сейчасъ прибѣжалъ; «не надо ли чего, кумушка, не прикажете ли похоронами распорядиться, вы вѣдь въ этихъ дѣлахъ ничего не понимаете». Вѣнокъ на гробъ сестрѣ принесъ.

Князь съ гримасой усмѣхнулся:

— На чай захотѣлъ получить!

— Ну, а хоть бы и такъ, такъ что же изъ того?—запальчиво возразила она.—Онъ человѣкъ бѣдный, ему каждый грошъ дорогъ. А вы, — ну, хоть бы изъ-за того палецъ о палецъ стукнули, чтобы я хоть на минуту подумала: «какой онъ у меня добрый, тоже заботится обо мнѣ», такъ нѣтъ, вы вѣдь деньги платите, такъ чего вамъ еще заботливость проявлять?... Ахъ, да что я попусту-то тутъ разсказываю, время на разговоры трачу! Ѣхать мнѣ надо, о дѣтяхъ сестры хлопотать, въ школу ихъ надо отдать... я не позабочусь—на улицѣ погибнутъ...

Она позвонила и начала отдавать приказанія горничной, не обращая вниманія на князя, точно его и не было въ ея будуарѣ.

VI.

Въ небольшой приготовительной школѣ, гдѣ уже окончились субботнія занятія и только-что разошлись по домамъ ученики, произошелъ небольшой переполохъ. Содержательница школы Анна Ивановна Бѣльская, бѣлокурая, высокая и худощавая женщина съ выцвѣтшими голубыми глазами, съ очень рано покрывшимся мелкими морщинками продолговатымъ лицомъ нѣмецкаго типа и съ выраженіемъ озабоченности въ каждой его черточкѣ, только-что собралась отдохнуть часокъ послѣ классныхъ субботнихъ занятій, какъ къ ней въ спальню, запыхавшись, вбѣжала коренастая молодая служанка, изъ деревенскихъ, и торопливо заявила, что ее требуетъ какая-то важная-преважная барыня—сама вся въ черномъ, а въ ушахъ серьги брульантовыя такъ и горятъ, такъ и горятъ. Она, Дарья, домой изъ лавки бѣжала, такъ видѣла, какъ барыня, изъ кареты въ окно высунувшись, швейцара ручкой поманила и спрашивала, гдѣ помѣщается приготовительная школа, и на чай ему сунула за то, что онъ указалъ. Загорѣлая, какъ полольщица на огородѣ, Дарья, вѣчно ради усердія метавшаяся и бѣгавшая изъ угла въ уголъ, какъ угорѣлая, уже предчувствовала, что и ей можетъ перепасть кое-что на чай отъ этой важной-преважной барыни, а безъ часовъ никакъ нельзя, такъ какъ тутъ всѣ «сердешныя» изъ-за гроша бьются, какъ рыба объ ледъ.

— Шурочка, выйди ты, а я сейчасъ, лифъ только застегну да волосы приведу въ порядокъ, — обратилась, приподнимаясь съ кушетки, Анна Ивановна къ своей племянницѣ, молодой дѣвушкѣ, сидѣвшей за грудою тетрадей и съ перомъ въ рукѣ просматривавшей ихъ,—приземистой, немного толстоватой и, пожалуй, довольно красивой, если бы не темно-рыжій цвѣтъ курчавыхъ волосъ и не густыя веснушки на здоровомъ и румяномъ лицѣ.

— Хорошо, тетя,—отвѣтила дѣвушка. — Только зачѣмъ это не въ пріемные часы люди ѣздятъ?... Надо бы отучить отъ этого разгильдяйства...

— Ахъ, Шура, Шура, развѣ мы можемъ капризничать?.. Отучать!..—со вздохомъ замѣтила тетка.

Дѣвушка слегка пожала плечами и пошла къ посѣтительницѣ, отбросивъ рукой назадъ свои свѣсившіеся на лобъ кудри. Та уже поджидала ее въ пріемной комнатѣ, разсматривая сквозь лорнетъ прищуренными близорукими сѣрыми

глазами небогатую обстановку комнатъ: чистенькія вязанныя тамбуромъ и вышитыя гладью занавѣсочки, салфеточки, подушечки домашняго издѣлія, — грошевую щеголеватость бѣдноты, стыдящейся своей неприглядности и старающейся скрыть свои заплаты. Здороваясь съ незнакомой дамой въ траурѣ, молодая дѣвушка проговорила:

— Вы, вѣроятно, хотите кого-нибудь пристроить въ школу... Ma tante сейчасъ выйдетъ. У нея такъ мало свободнаго времени, и въ этотъ часъ по субботамъ она обыкновенно отдыхаетъ.

— Я не знала вашихъ порядковъ, — мелькомъ замѣтила посѣтительница и, видимо мало заботясь, помѣшала ли она кому-нибудь или нѣтъ, съ озабоченнымъ видомъ спросила:— Значитъ это училище содержитъ дама?

— Да, моя тетка, Анна Ивановна Бѣльская, и я, — начала молодая дѣвушка и не кончила.

Въ комнату вошла Бѣльская. Торопливо, съ любезною улыбкою, которая придавала ея помятому худощавому и продолговатому лицу какое-то мучительное выраженіе, отрекомендовалась посѣтительницѣ, та пожала протянутую руку и проговорила:

— Мнѣ нужно было отдать на полный пансіонъ двухъ мальчиковъ... Но вотъ ваша племянница говоритъ, что у васъ нѣтъ мужчинъ... что вы двѣ тутъ занимаетесь... и я, право, не знаю... мальчики большіе, девять и десять лѣтъ...

— Это, конечно, ваши родственники, такъ какъ вы слишкомъ молоды,—любезно начала Бѣльская.

— Какое тамъ молода!—небрежно замѣтила посѣтительница.—Но это точно не мои дѣти, а сироты моей покойной сестры... Только я ихъ не могу отдать на полный пансіонъ, гдѣ нѣтъ мужчинъ...

— У меня перебывало такъ много пансіонеровъ... вѣрьте мнѣ, — начала Бѣльская, робѣя при мысли, что у нея ускользнутъ два пансіонера, тогда какъ именно теперь деньги были нужны до зарѣзу, дѣла шли изъ рукъ вонъ плохо.— Мы съ Шурой привыкли обращаться съ мальчиками и слѣдить за ихъ нравственностью...

— Ахъ, я вовсе не о томъ! — быстро перебила посѣтительница.—Точно за этимъ можно услѣдить!.. Мнѣ нуженъ практическій руководитель, который бы поставилъ ихъ на ноги... приготовилъ бы... вотъ что... Куда тамъ надо приготовить, чтобы они... ну, въ люди вышли, что ли?.. Голодные и холодные они... научить надо, чтобы могли слу-

жить... Я ничего этого не понимаю, тутъ нуженъ мужчина...

— Они круглые сироты?—полюбопытствовала Бѣльская.

— Гораздо хуже... у нихъ отецъ негодяй... — рѣзко пояснила посѣтительница.

— Тѣмъ болѣе вамъ надо отдать ихъ въ училище, гдѣ бы приложили всѣ старанія, всѣ заботы, чтобы изъ нихъ вышли честные и порядочные люди,—съ чувствомъ сказала Бѣльская, очевидно попавъ на любимаго конька.—А я могу сказать, что я смотрю на моихъ учениковъ, какъ на родныхъ дѣтей, и придаю особенное значеніе нравственному воспитанію... Заботливымъ присмотромъ и лаской можно достигнуть если не всего, то очень многаго.

Посѣтительница почти не слушала ее, точно та говорила на невѣдомомъ ей языкѣ, и вслухъ озабоченно разсуждала:

— Ахъ, Боже мой, что же я стану дѣлать? Вотъ, думала, нашла приготовительное училище и еще такъ близко отъ себя, чуть не рядомъ, и вдругъ оказывается, что въ немъ мужчинъ нѣтъ! Какъ же обойтись тутъ безъ мужчины? Какъ и куда приготовлять ихъ, чтобы они въ люди вышли? Совсѣмъ я ничего этого сама-то не понимаю, а между тѣмъ, и ихъ отецъ-негодяй ничего не можетъ посовѣтовать, кабаки только знаетъ, и мой князь не умнѣе его, въ дѣлахъ ни уха, ни рыла не смыслитъ... ему бы только лошадьми барышничать...

— Вашъ мужъ? — спросила Бѣльская, услыхавъ слово «мой князь» и немного удивляясь вульгарности выраженій княгини.

— Да, князь Черемисиновъ, — мелькомъ отвѣтила посѣтительница.—Хуже всего то, что ихъ нужно сейчасъ же, сейчасъ же вырвать изъ рукъ негодяя-отца, пока онъ сгоряча согласился за отступное избавиться отъ нихъ и отдать ихъ мнѣ. У меня ихъ держать нельзя. Потомъ онъ, когда пропьетъ все, можетъ раскапризничаться и заломить съ меня еще больше отступного... а не могу же я разорять князя изъ-за чужихъ дѣтей...

— Это, значитъ, не отецъ, а чудовище!—начала съ негодованіемъ Бѣльская, и на ея худощавыхъ щекахъ выступили красныя пятна.

О несчастныхъ обиженныхъ судьбою дѣтяхъ она не могла спокойно слышать.

— Пропойца изъ подвала,—небрежно пояснила посѣтительница.

— О, несчастныя дѣти!—горячо воскликнула Бѣльская.— Уже ради одного этого, княгиня, прошу васъ отдайте ихъ ко мнѣ. Тутъ вѣдь прямо спасеніе дѣтямъ нужно. Имъ надо отдохнуть среди заботливости и ласки, забыть, что у нихъ нѣтъ ни матери, ни отца. И даю вамъ честное слово, что этотъ душевный отдыхъ они найдутъ здѣсь...

Посѣтительницу поразилъ задушевный, немного приподнятый тонъ Бѣльской, и она, щурясь, спросила:

— И вы такъ всю жизнь возитесь съ чужими дѣтьми?

Бѣльскую немного озадачилъ этотъ вопросъ. Она отвѣтила:

— Да; во-первыхъ, надо же какимъ-нибудь трудомъ добывать хлѣбъ, а во-вторыхъ, лучшаго, болѣе святого труда, чѣмъ воспитаніе и обученіе дѣтей, ни я, ни моя Шура не могли бы найти.

— Но это тяжелый трудъ и, вѣроятно, даетъ очень немного?—сказала посѣтительница, невольно бросивъ взглядъ на обстановку.

— Да, тяжелый,—согласилась Бѣльская:—когда сознаешь, что ни днемъ, ни ночью не принадлежишь себѣ, что не имѣешь права оставлять дѣтей безъ надзора, что за каждый ихъ шагъ отвѣтишь Богу... Что же касается вознагражденія, то это вѣдь вопросъ относительный — съ насъ вполнѣ довольно, другимъ показалось бы, можетъ-быть, мало... но у насъ очень скромныя требованія...

— И вы такъ изо дня въ день живете среди чужихъ дѣтей, безсмѣнно, безъ отдыха?—удивилась посѣтительница, пожимая плечами.

— Да,—отвѣтила Бѣльская.

— Это, должно-быть, особенно трудно для барышни? — сказала посѣтительница, взглянувъ на племянницу Бѣльской.

— О, нѣтъ, я такой здоровый человѣкъ! — съ задорной усмѣшкой отвѣтила молодая дѣвушка и чуть-чуть насмѣшливо прибавила:—Что же мнѣ можетъ быть труднаго? Всѣ и такъ думаютъ, что я барышня изъ булочной...

Посѣтительница улыбнулась, взглянувъ на ея румяныя щеки, покрытыя темными веснушками, и тоже невольно подумала: «точно, на булочницу похожа», но тотчасъ же озабоченно и въ раздумьи проговорила:

— Да, но все же безъ мужчины какъ ихъ вывести въ люди...

— Вывести въ люди! — воскликнула почти съ упрекомъ Бѣльская.—Вывести въ люди! Девяти и десяти лѣтъ дѣти, а мы будемъ думать, какъ ихъ вывести въ люди! Ихъ прежде

всего самихъ людьми надо сдѣлать, княгиня, согрѣть ихъ душу, развить умъ, а тамъ... Господи, что же думать о будущихъ нарядахъ и украшеніяхъ, когда надо прежде всего вытащить человѣка изъ пропасти... Вы, княгиня, говорите, что они потеряли мать, что ихъ отецъ пропойца, что они живутъ въ жалкой средѣ, какъ же тутъ думать о чемъ бы то ни было кромѣ того, чтобы пристроить ихъ въ честную семью, приласкать и успокоить дѣтей, заставивъ ихъ забыть прошлое... Будемте же думать о настоящемъ, а о томъ, что дѣлать дальше, — объ этомъ еще будетъ время подумать послѣ.

Посѣтительница кивнула въ раздумьи головой.

— Такъ-то такъ... Вы мнѣ очень нравитесь и, пожалуй, вы правы... я ничего этого сама не знаю...

— Гдѣ же вамъ, въ вашей средѣ! — вставила Бѣльская.

— Ну, да будь, что будетъ... Я дѣтей привезу къ вамъ завтра же, если сойдемся въ условіяхъ...

— Я согласна,—заторопилась Бѣльская.

Въ разговоръ поспѣшно вмѣшалась племянница, съ тайнымъ страхомъ чувствуя, что тетка готова теперь взять дѣтей даже даромъ.

— У насъ, княгиня, — начала она немного дѣловито и сухо:—плата за пансіонеровъ одна для всѣхъ.

— Княгиня сказала, что ея племянники очень бѣдны,— перебила Бѣльская, боясь, что племянница испортитъ все дѣло.

Посѣтительница, однако, пояснила:

— Они нищіе, но плачу я.

— Я это такъ и понимаю,—коротко сказала племянница Бѣльской.—У насъ берутъ двадцать пять рублей въ мѣсяцъ за пансіонера съ обученіемъ, полнымъ содержаніемъ и стиркой бѣлья; одежда, конечно, своя.

— Разумѣется, если изъ одной семьи двое... — начала было Бѣльская.

Но племянница не дала ей кончить.

— Насъ такъ много обманываютъ, такъ много не доплачиваютъ,—перебила она тетку:—что и при этой платѣ едва сводятся концы съ концами. Люди такіе безчестные, по большей части...

— Ну, ужъ я-то на подлецовъ насмотрѣлась!—рѣзко и горячо проговорила посѣтительница и, не торгуясь, согласилась на предложенныя условія.

Дѣти должны были быть привезены на слѣдующій понедѣльникъ.

Довольно долго послѣ отъѣзда княгини въ школьномъ помѣщеніи шло еще волненіе. Дарья съ торжествующимъ видомъ хвастала тѣмъ, что и ей княгиня дала на чай «цѣлый полтинникъ», и уже впередъ заявила, что такимъ господамъ, какъ она, и служить можно. Бѣльская благословляла судьбу, что ей можно будетъ принести пользу «несчастнымъ» дѣтямъ, и слегка упрекнула племянницу за то, что та немного рѣзко поставила вопросъ о деньгахъ: «такъ нельзя; школа не рынокъ, не гласная касса ссудъ». Племянница, въ свою очередь, съ улыбкой замѣтила ей, что если бы дать ей, Аннѣ Ивановнѣ, волю вести самостоятельно и денежныя дѣла школы, какъ она ведетъ обученіе, такъ онѣ давно бы умерли съ голоду: «къ сожалѣнію, самая лучшая духовная пища не мѣшаетъ умирать съ голоду». Всѣ эти чисто матеріалистическіе толки носили, однако, очень сердечный характеръ, такъ какъ и Дарья, хотя и видѣла нужду своихъ господъ, но не продала бы ихъ, «сердешныхъ», и за золотыя горы, уже ради одного того, что года два тому назадъ сама Бѣльская, какъ родная мать, отнеслась къ ней, къ Дарьѣ, когда у той «грѣхъ» случился, и она чуть не утопилась, и Бѣльская, въ свою очередь, могла упрекать за излишнюю практичность племянницу, но все же уважала ея стойкость и честность, и племянница могла подсмѣиваться надъ идеализмомъ «неисправимой» тетки, но все же благоговѣла передъ нею именно за этотъ идеализмъ, за эту неисправимость. Но какъ бы то ни было, всѣ заснули въ этотъ день спокойно, какъ наканунѣ настоящаго праздника.

VII.

Князь Ефимъ Петровичъ Черемисиновъ послѣ отъѣзда Алисы Николаевны, слегка опираясь на палку, съ которой изъ предосторожности рѣдко разставался послѣ перелома ноги, сталъ бродить по комнатамъ, не зная, за что приняться: ѣхать въ циркъ было еще рано, да и не хотѣлось ему сегодня показываться туда безъ Алисы Николаевны: «опять эти шалопаи повлекутъ чортъ знаетъ куда». Шалопаи! Онъ даже не подумалъ о томъ: что же такое онъ, если они, его старые собутыльники, шалопаи? Онъ, скучая, подошелъ въ гостиной къ роялю, хотѣлъ открыть его и поиграть, когда ему бросились въ глаза на крышкѣ рояля два предмета, которые онъ взялъ въ руки и началъ, сморщивъ лобъ, въ недоумѣніи вертѣть въ рукахъ. Онъ позвонилъ, явилась Катя.

— Это что? спросилъ онъ ее.

- - Фуражки-съ,—отвѣтила она.

— Вижу, что фуражки,—сухо сказалъ князь.—Но откуда онѣ попали сюда?

- - Ужъ и не говорите, ваше сіятельство,— жалующимся тономъ произнесла она, взявъ изъ его рукъ двѣ фуражки:— такія безпорядочныя дѣти, что просто бѣда. Въ эти три дня съ ногъ сбилась, прибирая за ними. Никакихъ порядковъ не знаютъ. Гдѣ что попало, тамъ то и бросаютъ...

Онъ нахмурился.

- - Какія дѣти?- - отрывисто спросилъ онъ.

— Племянники-съ Алисы Николаевны,—пояснила она.

— Они здѣсь?

— Въ гардеробной-съ Алисы Николаевны. Ихъ туда пристроили, покуда другого мѣста нѣтъ,—отвѣтила она и опять пожаловалась.—Не порядокъ тоже. Забывшись, сунешься туда неглижа, а они... тоже мальчишки большіе, а къ порядку не пріучены... въ растерзанномъ видѣ ходятъ... ни до кого дѣла нѣтъ... въ конфузъ вводятъ...

Онъ, не слушая ее, спросилъ:

— Они тамъ теперь?

- - Тамъ-съ... въ карты играютъ... ни къ чему не пріучены...

— Въ карты играютъ?—удивился князь, пожимая плечами.

Онъ пошелъ въ гардеробную комнату. Тамъ сзади сдвинутыхъ шкафовъ стояла просторная кровать, застланная для двоихъ. У окна стоялъ ломберный столъ, а за нимъ сидѣли два мальчугана въ черныхъ блузахъ, игравшіе въ карты. Они горячо спорили и перекорялись: «Ты подсмотрѣлъ и подтасовалъ».—«Ну, да у тебя ужъ всегда одна пѣсня, когда проигрываешь. Жила!..» «А ты кошка блудливая: поймаютъ и хвостъ подожмешь!..» Оба были красны, у обоихъ были взъерошены волосы.

— Ого, какіе азартные игроки!—невольно сорвалось насмѣшливое восклицаніе у князя.

Мальчики замолчали, потупились и сразу задичились, опустивъ головы и смотря исподлобья на незнакомаго имъ господина, какъ пойманные звѣрки. Одинъ изъ нихъ — бѣлокурый — имѣлъ родственное сходство съ Алисой Николаевной, немного свѣтлѣе были у него курчавые волосы, немного менѣе тонки и правильны брови, но общій овалъ и черты лица очень напоминали ее. Другой, повыше, былъ не особенно красивъ, но его худощавое смуглое лицо было

мужественно и выразительно, черные, похожіе на черный бархатъ, глаза были положительно прекрасны.

— Который изъ васъ старшій?—спросилъ князь.

— Я,—отвѣтилъ брюнетъ.

— А какъ зовутъ?

— Василій.

— Такъ это тебя-то блудливой кошкой братъ называетъ?

Мальчикъ вспыхнулъ до ушей и грубовато отвѣтилъ:

— Посмѣлъ бы онъ! Это Алексѣй блудливъ, какъ кошка, а трусливъ, какъ заяцъ.

— Значитъ, ты жила?—спросилъ шутливо князь.

— А что-жъ, такъ и сдаваться? Меня подвохомъ обремизятъ, а я молчи? Нѣтъ, шалишь! Я тоже знаю, какъ надувать-то умѣютъ нашего брата.

Князь усмѣхнулся.

— И всегда вы такъ ссоритесь за картами.

— Да какъ же не ссориться за картами?—спросилъ въ свою очередь Василій.

Князь опять усмѣхнулся. Онъ тоже всегда горячился въ игрѣ и считалъ проигрышъ чуть не личной обидой. Его партнеры умышленно проигрывали ему гроши, зная, что послѣ грошевого выигрыша онъ дѣлается необыкновенно добръ и щедръ, швыряя деньги зря.

— Во что же вы играете?

— Въ мельники...

— Какъ же это играютъ въ мельники?

Онъ присѣлъ. Дѣти, еще дичась, стали показывать, какъ играть въ мельники. Онъ обратилъ вниманіе на распухнувшія отъ времени сильно засаленныя карты, отъ которыхъ чѣмъ-то пахло, не то сыростью, не то табакомъ, какъ показалось ему. Онъ спросилъ:

— Изъ дома, вѣрно, карты привезли?

— Изъ дома.

— А другихъ игрушекъ не взяли?

— Какихъ игрушекъ?

— Ну, какія тамъ у васъ были...

— Никакихъ у насъ не было.

— А книги?

— Книги? Да на что книги? Мы читать умѣемъ...

— Ну да, такъ вотъ, чтобы читать...

— Да мы и азбуку, и «Божій міръ» чуть не наизусть знаемъ..

— Ну, а другія книги?

— Другихъ книгъ нѣтъ..

— То-есть, какъ же это нѣтъ?—усмѣхнулся князь.— Книгъ много..

— У насъ нѣтъ.

— А-а!

Князь, впрочемъ, не особенно удивился этому. Онъ самъ почти не читалъ прежде книгъ, кромѣ французскихъ романовъ на сонъ грядущій; взялся за чтеніе только въ послѣднее время... по необходимости...

— Такъ что же вы дѣлали по цѣлымъ днямъ, вѣдь не все же играли въ карты?—полюбопытствовалъ онъ.

Мальчики засмѣялись.

— Тоже выдумали!... Мать заѣла бы, если бы увидала, что играемъ въ карты... Это тайкомъ играли...

— Такъ чѣмъ же занимались?—настаивалъ князь.

— Да мало ли работы въ домѣ! Сбѣгай въ лавку, щепокъ собери, дровъ наколи, воды принеси, помои вылей — эвона, сколько дѣловъ...

— А я шить тоже помогалъ матери,—вставилъ болѣе молчавшій Алексѣй.

— Онъ у насъ и за дѣвчонку сходилъ,—подшутилъ Василій.

— А что-жъ, если мать не могла одна справиться!— обидчиво вступился за себя Алексѣй.—Ты вонъ въ кабакъ за водкой для отца бѣгалъ—тебя не попрекаютъ: я помогалъ матери шить—такъ мнѣ глаза колютъ: «дѣвчонка!» «дѣвчонка!»

— А ты заплачь, да пожалуйся! — посовѣтовалъ съ иронiей Василій.

— Изъ-за всякой дряни плакать—много будетъ.

Князь остановилъ ссору шуткой:

— Ахъ, вы, воеводы!

И, помолчавъ, онъ заговорилъ снова:

— Значитъ, жилось-то плохо?

— На что хуже! Тоже, какъ мать-то слегка,—жутко стало, — пояснилъ Василій. — Терентьичъ, бывало, станетъ зудить: «по-міру съ отцомъ пойдете, по-міру съ отцомъ пойдете!» У него всегда такъ, затвердитъ сорока Якова—одно про всякаго. Тянетъ, тянетъ одно и то же—душу вымотаетъ. Заладилъ тутъ, что по-міру пойдемъ и тянетъ одну и ту же пѣсню. Ну, послушаешь, и станетъ жутко съ этого-то припѣва.

— Кто же это Терентьичъ?—спросилъ князь, недоумѣвая.

— Терентьичъ? — переспросилъ Василій, видимо удивляясь, что князь не знаетъ Терентьича.—Да жилецъ же нашъ... Старикъ-старьевщикъ...

— Вы жильцовъ держали?—сдѣлалъ вопросъ князь.

— А то какъ же жить-то? Три комнаты и кухню снимали да по угламъ отдавали, вотъ свой уголъ и обходился даромъ. Терентьичъ—завидущіе у него глаза!—и то завидовалъ намъ: «самъ бы снялъ квартиру, самъ бы снялъ квартиру, да не подъ лѣта!» А чего ему завидовать-то? Капиталы имѣетъ. Вотъ-то я вамъ скажу человѣкъ—жоха!

Василій, увлеченный воспоминаніями о Терентьичѣ, положилъ локти на столъ, подперъ кулаками подбородокъ и, даже забывъ объ игрѣ, сталъ разсказывать:

— Всякое-то онъ тряпье собираетъ: что купитъ, что съ помойныхъ ямъ соберетъ, что Христа ради выпроситъ. Домой вороха всякой дряни нанесетъ. Иной разъ даже духъ тяжелый идетъ отъ хлама. Я, бывало, подзуживаю—люблю я подзуживать:—«въ помойную бы яму это все!» а онъ мнѣ: «охъ, молодъ ты, охъ, молодъ ты! всякая-то тряпочка денегъ стоитъ, за всякую-то тряпочку деньги плачены. На свѣтѣ-то все денегъ стоитъ, все денегъ стоитъ, Богъ все создалъ людямъ на потребу», и разбирается въ хламѣ, сортируетъ, прилаживаетъ. Глаза еле видятъ, пальцы корявые, а шьетъ, заплатитъ, подшиваетъ, штопаетъ. И глядите: принесъ домой тряпки, а несетъ въ продажу жилеты, кофты, одѣяльца. «Все, людямъ, говоритъ, на потребу пойдетъ, на все покупатель есть. Иной нагъ и босъ, а тутъ и прикроетъ наготу-то свою грѣшную, обогрѣетъ косточки свои старыя». Дошлый старикъ, и смотрите, сколько накопилъ!

— Отецъ говоритъ: тысьчи!—замѣтилъ Алексѣй.

— Ну, что отецъ!—возразилъ съ пренебреженіемъ Василій.—У отца все тысячи. Самъ гроша нажить не умѣетъ, глаза на чужое и разгораются. Горькое тоже дѣло, такъ-то жить.

— Ты что же не сдаешь карты?—перебилъ Алексѣй, видя, что Василій смолкъ и задумался, уставивъ въ пространство свои черные, выразительные глаза.

Василій не по-дѣтски вздохнулъ, снялъ со стола положенныя на него руки и сталъ сдавать карты.

— Князь уѣхалъ?—раздался въ передней голосъ Алисы Николаевны.

— Нѣтъ-съ, они здѣсь,—отвѣтила Катя.

— Здѣсь?

— Въ гардеробной-съ, съ дѣтьми,—таинственно пояснила горничная.

Алиса Николаевна отворила дверь и остановилась въ

недоумѣніи!.. князь, въ черной бархатной тужуркѣ, сидя спиною къ дверямъ, горячо разговаривалъ съ мальчиками, играя въ карты. Заслышавъ ея голосъ, онъ обернулся и не то съ пренебрежительной, не то съ ироническою улыбкой пояснилъ:

— А мы тутъ съ молодежью въ мельники дуемся! То по субботамъ въ циркѣ въ дураки играли, а теперь вотъ дома въ мельники... Молодежь вотъ просвѣщаетъ меня...

— Ну, что тамъ... — смущенно и сконфуженно сказала она.—Дикари они у меня.

— Нѣтъ, ты, Аля, не говори...? много новаго мнѣ порассказали,—замѣтилъ онъ ласково.—Ну, а ты съ успѣхомъ съѣздила.

— Да, нашла училище... Знаешь, и страшно отдать... и рада, что нашла,—начала она.—Понравилась содержательница... очень понравилась, но мужчинъ тамъ нѣтъ, страшно какъ-то... Конечно, это только на время, покуда...

— Дяденька, вамъ сдавать,—сказалъ Алексѣй, дотронувшись рукой до рукава князя.

Алиса Николаевна отрывисто остановила его:

— Надо говорить: «князь», а не дяденька,—рѣзко замѣтила она.

Князь засмѣялся.

— Ничего, ничего, сойдетъ и такъ: дяденька, такъ дяденька,—сказалъ онъ и даже погладилъ покраснѣвшаго отъ смущенія мальчугана по вьющимся бѣлокурымъ волосамъ, замѣтивъ, что въ этихъ глазахъ уже стоятъ слезы.

— Чай поданъ!—доложила Катя.

— Уже?—удивился князь и посмотрѣлъ на часы: было уже четверть одиннадцатаго.

VIII.

Анна Ивановна Бѣльская была вдовою, проживъ въ замужествѣ всего полтора года, но всѣ знавшіе ее, смотря на ея стройную, дѣвственную фигуру, какъ-то всегда забывали объ этомъ обстоятельствѣ и говорили про нее:

— Ахъ, ужъ эти сентиментальныя старыя дѣвы изъ институтокъ, да еще притомъ нѣмецкаго происхожденія!

Нѣкоторые забывали даже ея настоящую фамилію, и называли ее дѣвической фамиліей; особенно если она являлась куда-нибудь со своимъ братомъ.

— Вотъ докторъ Герлахъ, а это его сестра mademoiselle Герлахъ, — рекомендовали ее люди незнакомымъ и заставляли ее краснѣть и немного обижаться.

Дѣлалось это и въ похвалу ей, и въ порицаніе, но какъ бы то ни было — безъ добродушной ироніи къ ней относились рѣдко. Она до пожилыхъ лѣтъ затягивалась въ корсетъ, до щепетильности любила порядокъ и аккуратность, была способна краснѣть отъ малѣйшаго двусмысленнаго намека, могла восторгаться, какъ пансіонерка, закатомъ и восходомъ солнца и красотами природы, хотя видѣла въ жизни только окрестности плоскаго и чахлаго Петербурга, умилялась возвышенными идеями и плакала надъ чувствительными книгами, не имѣла мужества пройти безучастно мимо облѣзлаго щенка, оборваннаго ребенка-нищаго или безпомощнаго старика-калѣки, доходила до обожанія къ своему младшему брату, доктору Карлу Ивановичу Герлаху, любила отдаваться свѣтлымъ воспоминаніямъ вообще о своихъ покойныхъ родныхъ, о которыхъ только эти воспоминанія и сохранились ею, такъ какъ вообще она была способна видѣть и помнить только свѣтлыя точки во мракѣ жизни. Подобные люди рѣдко бываютъ хорошими практиками, и Анна Ивановна, не будучи исключеніемъ, сводила въ послѣднее время концы съ концами въ своемъ скромномъ бюджетѣ только потому, что ея воспитанница и помощница Александра Васильевна Тулинова, дочь ея покойной сестры, держала за послѣднее время, по выходѣ изъ гимназіи, въ своихъ юныхъ, но твердыхъ, немного крупныхъ и красныхъ рукахъ бразды финансоваго управленія. Это финансовое управленіе было сильно потрясено и запущено прежде, несмотря на то, что у Анны Ивановны кое-что осталось послѣ смерти мужа, и школу она открыла, оставшись вдовой, только потому, что это «святое дѣло», говоря ея немного взвинченнымъ слогомъ. Средствомъ къ существованію школа для нея сдѣлалась позднѣе.

Попавъ въ эту школу, Василій и Алексѣй Поповы какъ-то сразу поняли, что Анна Ивановна и Александра Васильевна считаютъ ихъ членами своей семьи, что вообще здѣсь и Дарья членъ семьи, что тутъ никто и ничего не скрываетъ другъ отъ друга. Это бросилось имъ сразу въ глаза, какъ нѣчто совершенно новое въ ихъ жизни. До сихъ поръ они росли въ средѣ, гдѣ каждый старался что-нибудь скрыть отъ ближнихъ, какъ отъ злѣйшихъ враговъ или наглыхъ грабителей: мать припрятывала гроши, чтобы ихъ не пропилъ отецъ; отецъ воровалъ послѣднія тряпки, чтобы тайкомъ напиться; старьевщикъ Терентьичъ тайкомъ, ночью, пересчитывалъ свои доходы-капиталы и, съ опаской, при-

прятывалъ вещи, добытыя имъ не совсѣмъ чистымъ путемъ; даже у тетки первое, что услышали они, былъ ея строгій наказъ сидѣть смирно въ гардеробной и не попадаться на глаза князю, когда онъ пріѣдетъ. Здѣсь же вся жизнь, каждый шагъ были какъ на ладони. Скрывать было нечего и не отъ кого. Мальчики выросли въ той средѣ, гдѣ люди знаютъ, что такое значитъ нужда, тяжелый трудъ, обманъ, и прежде всего сошлись на этой почвѣ съ Бѣльской и Тулиновой. Въ первый же вечеръ за чаемъ, они не безъ сочувствія отнеслись къ Бѣльской, когда она, утомленная и поблѣднѣвшая за день, сказала:

- Ну, и устала же я сегодня!.. Понедѣльники — самые трудные дни...

— Да, выдался денекъ! Четверо изъ учениковъ въ моемъ классѣ ничего не знали... трое задачъ не могли рѣшить,— проговорила Александра Васильевна.

— Право, я ужъ думаю предложить нѣкоторымъ по воскресеньямъ приходить къ намъ уроки приготовлять,—полувопросительно произнесла Бѣльская.

— Тетя, да что вы! У насъ и безъ того только одинъ день въ недѣлю свободный!- -воскликнула молодая дѣвушка.

— Ахъ, Шура, Шура! вѣдь ты же понимаешь, почему бѣдныя дѣти въ воскресные дни такъ плохо занимаются дома,—замѣтила тетка тономъ жалобнаго упрека.—У иного въ воскресенье дома-то не то трактиръ, не то адъ... тутъ не до ученья... ихъ пожалѣть надо, Шура!..

— А у насъ, бывало, и въ будни, и въ праздники всегда карамболь идетъ,—развязно вмѣшался въ разговоръ Василій. — Какъ отецъ урѣжетъ, такъ и пойдетъ карамболить...

— Ну, Богъ съ нимъ, съ этимъ прошлымъ, — ласково сказала Анна Ивановна. — Теперь для васъ новая жизнь начинается, благодаря княгинѣ, вашей тетѣ... добрая она... взяла васъ.

— Ну да, добрая! А мать-то чуть не полгода маялась безъ помощи, когда она въ каретахъ разъѣзжала,—рѣзко сказалъ Василій, повторяя сотни разъ слышанныя слова отца.

— Вася, Вася, вы еще молоды, чтобы судить старшихъ!—наставительно замѣтила Анна Ивановна.

— Эвона! Молодъ, не молодъ, а вотъ когда отецъ, бывало, налижется да оттузитъ, такъ все едино шея заболитъ и станешь тутъ судить да ругаться, даромъ, что самъ молодъ, а онъ старъ,—пояснилъ Василій.—Вотъ также и насчетъ тетки. Ужъ что ни говорите, а не ругать ее нельзя

за то, что она нашей матери дала умереть чуть не съ голоду. Пріѣхала, когда ужъ и помочь нельзя было...

— Можетъ-быть, онѣ въ ссорѣ были, — сказала Бѣльская, вообще терявшаяся въ догадкахъ насчетъ семьи своихъ учениковъ: они совсѣмъ изъ уличныхъ мальчишекъ, отецъ ихъ пропойца, а тетка княгиня.

— Ну да, въ ссорѣ и были!—подтвердилъ Василій, утвердительно кивая головой.

— Такъ вотъ вамъ и нельзя судить, кто былъ виноватъ изъ нихъ: много пожить надо, чтобы понять это! — замѣтила Анна Ивановна.

— А по мнѣ, тотъ и виноватъ, кто богатъ, если другой человѣкъ съ голоду умираетъ. — безапелляціонно рѣшилъ Василій.

Онъ совсѣмъ не дичился и говорилъ съ Анной Ивановной, какъ съ давно знакомой...

— Ничего, обѣ онѣ славныя бабы, — разсказывалъ онъ авторитетно черезъ недѣлю про Бѣльскую и Тулинову у тетки.—И здорово же работаютъ: цѣлый день мечутся: то учатъ, то тетради правятъ, то прописи готовятъ, то по кухнѣ хлопочутъ... И то сказать, нужда научитъ калачи ѣсть.

— Ну, а содержатъ васъ хорошо?—спросила Алиса Николаевна, услыхавъ о нуждѣ Бѣльской.

— Пять разъ каждый день ѣдимъ. И кофе, и чай, и обѣдъ, и завтракъ, всѣ вмѣстѣ ѣдимъ,—однѣ онѣ куска не съѣдятъ,—объяснилъ Василій, не привыкшій дома не только къ роскоши, а даже къ ежедневному обѣду.—Нашему сластоѣшкѣ даже какихъ пряниковъ мятныхъ на-дняхъ давала Анна Ивановна! — прибавилъ онъ, указывая глазами на Алексѣя.

— А тебя безъ нихъ оставили?—пошутилъ бывшій тутъ же князь.

— Я не дѣвчонка, чтобы всякою дрянью брюхо набивать,—отвѣтилъ Василій.—Я этого вовсе не обожаю!

Онъ любилъ уже разыгрывать роль взрослаго и серьезнаго человѣка...

Алиса Николаевна успокоилась: дѣтей держатъ чисто, кормятъ до-сыта и учатъ, кажется, хорошо, — по крайней мѣрѣ, по словамъ самихъ дѣтей, работаютъ они много.

Въ разговорѣ дѣтей во всю зиму оставалась еще прежняя грубоватость словъ и выраженій, но въ манерахъ уже было менѣе угловатости, исчезли нѣкоторыя привычки въ родѣ громкаго потягиванія носомъ, когда надо было высмор

каться, или въ родѣ подозрительнаго почесыванья ногтями головы и тѣла. Не ускользнуло отъ вниманія князя съ первыхъ же субботъ и то обстоятельство, что оба мальчика въ субботы вечеромъ и въ воскресенья утромъ сидѣли за тетрадями и готовили уроки.

— А вы, молодцы, работаете! — замѣтилъ онъ какъ-то Василью.

— Будешь работать, какъ знаешь, что Анна Ивановна убиваться начнетъ, если чего не приготовишь къ понедѣльнику: «Ахъ, Васенька, какъ же это можно!»—«Ахъ, милый, вѣдь тетя деньги за васъ платитъ, а вы какъ же ей отплачиваете?»—«Неблагодарность, Васенька, самая низкая черта въ людяхъ, а чѣмъ же вы можете отблагодарить тетю, какъ не прилежаніемъ?..» Да она безъ ножа зарѣжетъ этими самыми «ахами» да «охами». Всю душу вымотаетъ этими наставленіями: «Надо быть честнымъ! надо умѣть свой кусокъ хлѣба зарабатывать»... Она, конечно, сама сохнетъ надъ работой, такъ ей можно другихъ наставлять...

И вѣчно бойкій и шустрый Вася задумывался о чемъ-то,— можетъ-быть, о томъ, кто имѣетъ право учить другихъ честной жизни...

Онъ отлично и съ юморомъ копировалъ манеру Анны Ивановны, чуть не плакавшей, когда дѣти плохо учились. Въ этомъ передразниваніи было не мало комизма, но когда одинъ разъ Алексѣй вздумалъ, въ свою очередь, жалующимся тономъ сказать: «Тоже все ноетъ, ноетъ, надоѣло даже»,—Василій вспылилъ и рѣзко оборвалъ его:

— А вотъ я ей посовѣтую, чтобы она, вмѣсто того, чтобы пыть, порола да порола тебя за лѣность.

— А развѣ Алексѣй лѣнтяйничаетъ? — спросилъ князь, присутствовавшій при этой сценѣ.

— Бываетъ, что ариѳметику слезами отвѣчаетъ, — отвѣтилъ неохотно Василій, хмуро взглянувъ на Алексѣя. — У него глаза на мокромъ мѣстѣ, такъ этотъ отвѣтъ всегда наготовѣ.

И съ досадой добавилъ:

— А вотъ нынче, какъ на зло, и мнѣ, пожалуй, слезами урокъ отвѣчать придется: задачи не могу никакъ рѣшить! - вздохнулъ онъ. — Вѣдь объясняла вчера Анна Ивановна и понялъ я, а теперь выскочило все вонъ изъ головы, и конецъ!

— Дай-ка я помогу,—сказалъ князь и присѣлъ къ мальчугану. –Что тутъ надо сосчитать?

Василій сталъ объяснять. Задача была не очень сложная, но князь уже давно забылъ ариѳметику и всѣ эти дроби, правила товарищества и прочія ариѳметическія премудрости. Онъ сталъ что-то путать. Василій зорко слѣдилъ за нимъ, задумчиво покачивая головой, потомъ молча взялъ у него тетрадь и сквозь зубы сказалъ:

— Нѣтъ ужъ, князь, я лучше самъ дойду.

IX.

— Честь имѣю рекомендоваться, мадамъ: Иванъ Петровичъ Поповъ! У васъ тутъ обрѣтаются на полномъ пансіонѣ мои два шалыгана, такъ вотъ я и пришелъ поговорить по поводу ихъ!

Анна Ивановна Бѣльская, къ которой обратился съ этими словами неожиданно явившійся къ ней Иванъ Петровичъ Поповъ, боялась, какъ огня, всѣхъ пьяныхъ, а отъ говорившаго по обыкновенію сильно пахло виномъ, и его физіономія и фигура не внушали ей никакого довѣрія. Какъ нарочно, Александры Васильевны и обоихъ пансіонеровъ не было дома: они совершали обычную послѣобѣденную прогулку. Въ головѣ Анны Ивановны мелькнула страшная мысль: «Это и есть тотъ злодѣй-отецъ, отъ котораго я спасаю дѣтей», и она сама почувствовала, что она, вдругъ, сдѣлалась похожею на мокрую курицу. У нея не попадалъ зубъ на зубъ, но она все же постаралась быть какъ можно любезнѣе, чтобы умилостивить «злодѣя», и невѣрнымъ голосомъ проговорила:

— Очень пріятно познакомиться!. Чѣмъ могу быть вамъ полезной?..

— Я, мадамъ, человѣкъ удрученный невзгодами, бѣдный и больной,—началъ сбивчиво пояснять Поповъ:—живусь въ углу, живу впроголодь и мнѣ приходится поневолѣ прибѣгать къ человѣколюбивой помощи постороннихъ людей... Такъ вотъ казусъ случился; можетъ-быть, не сегодня, такъ завтра у васъ, мадамъ, будутъ наводить справки, у васъ ли учатся мои дѣти и сколько я плачу за нихъ...

— За нихъ платитъ ихъ тетка, княгиня,—робко начала Анна Ивановна.

— Княгиня! Ха-ха-ха! — захохоталъ Поповъ грубымъ смѣхомъ.—Распотѣшили, мадамъ, истинно распотѣшили! Это Аграфена-то — княгиня! Грунька-то? Вотъ такъ фунтъ! Да такихъ-то княгинь по Невскому сотни ходятъ!.. Коли бы я захотѣлъ, такъ ее давно зарегистровали бы куда слѣ-

дустъ. Только я, какъ благородный человѣкъ, памятуя, что она сестра моей покойной супруги и тетка моихъ дѣтей, щажу ее... Ну, да не о томъ рѣчь!.. Рѣчь моя о томъ, что она, тварь этакая, отняла у меня дѣтей, лишила отца единственной его поддержки и опоры и, кромѣ того, меня, какъ одинокаго, лишаютъ изъ-за этого поддержки человѣколюбивые люди, чортъ бы ихъ дралъ!.. «Тебѣ, говорятъ, некого кормить!..» Не отняли бы дѣтей, тогда и былъ бы достоинъ помощи, а теперь одинокъ, ну, значитъ, и не жди пособія... Такъ вотъ-съ, мнѣ и нужно ваше свидѣтельство о томъ, что я, именно я, а не кто другой, содержу дѣтей и плачу вамъ за ихъ обученіе... Справки всенепремѣнно будутъ наводить, таковы ужъ эти благодѣтели, рубля безъ справокъ не дадутъ, — такъ вы, мадамъ, и засвидѣтельствуйте... послѣднія, молъ, крохи за дѣтей отдаетъ... себя всего лишаетъ... Иначе, я принужденъ буду взять мальчишекъ обратно къ себѣ. Они и помочь могутъ престарѣлому отцу, и сумѣютъ заработать и себѣ, и ему на пропитаніе...

— Имъ еще выучиться прежде надо, — робко замѣтила Анна Ивановна.

— Нищимъ не до ученья, мадамъ, когда надо кусокъ хлѣба добывать, — рѣшилъ Поповъ, стукнувъ кулакомъ по столу.

— Да какъ же могутъ добывать кусокъ хлѣба такія дѣти!—воскликнула Бѣльская, вздрогнувъ отъ испуга.

— Ахъ, мадамъ, мадамъ, — качая головой замѣтилъ Поповъ: — птицы небесныя, и тѣ умѣютъ добывать кормъ, а дѣти и подавно сумѣютъ... Да и свѣтъ не безъ добрыхъ людей: сами они не добудутъ—добрые люди дадутъ.

— Но не нищенствовать же имъ! — плаксиво-жалобно воскликнула Анна Ивановна.

— А, такъ вы мнѣ, старику, нищенствовать прикажете?— насмѣшливо спросилъ онъ, щуря пьяные глаза. — Они, сопляки, будутъ барчатами расти, а я буду христарадничать, несмотря на свои сѣдины? Нѣтъ-съ, мерси, боку мерси, мадамъ!

Бѣльская съ ужасомъ увидѣла, что онъ пошатнулся и сталъ икать. Выпитая имъ по дорогѣ къ ней для храбрости водка стала его разбирать.

— Я Грунькѣ не позволю ломаться надъ собою! — безсвязно заговорилъ онъ уже полусознательно.—Думаетъ, что она купила у меня дѣтей: заплатила грошъ и конецъ!.. Не принимать вздѣла меня, на письма не отвѣчаетъ!.. Поли-

тика тоже своя... Нѣтъ, шалишь!.. У меня своя амбиція!.. Я тебѣ покажу! Я отецъ! Изъ моихъ дѣтей барчатъ дѣлаютъ, а меня голодать оставляютъ! Я покажу имъ, что я могу. Мнѣ стоитъ заявить, что такая-то непотребная женщина—сестра моей покойной супруги—отняла у меня дѣтей и съ малыхъ лѣтъ развращаетъ ихъ, тогда какъ я...

Онъ пошатнулся и взялся за спинку стула. Бѣльской показалось, что онъ сейчасъ начнетъ ее бить этимъ стуломъ. Она была ошеломлена и этимъ визитомъ, и новостью о томъ, что княгиня — не княгиня, а падшая женщина, и требованіями Попова. Она стала растерянно его успокоивать:

— Будьте спокойны... будьте спокойны, если меня спросятъ, вы ли платите за дѣтей, я скажу, что вы... Простите, но у меня занятія...

— Ну, и ступайте, чортъ васъ возьми! — крикнулъ онъ, уже едва владѣя языкомъ и едва стоя на ногахъ.

— До свиданья! прощайте! — лепетала Бѣльская, провожая его къ выходной двери.

— Одолжите мнѣ, — забормоталъ онъ, останавливаясь въ дверяхъ и протягивая руку.—Кельк ъ шозъ, какъ говорятъ французы, чортъ ихъ дери!..

— Я не знаю, что же я могу,—начала она.

— Двугривеннаго, что ли, нѣтъ? — крикнулъ онъ, икая, и выругался:—нищая!

— О, какъ же, какъ же не быть, — обрадовалась Бѣльская возможности удовлетворить его просьбу и такъ дешево откупиться отъ «злодѣя».

Когда она заперла за нимъ дверь, у нея почти подкосились ноги: она едва дошла до своей спальни и почти упала на кушетку. Привелъ ее въ себя какой-то шумъ въ передней: это шумѣли краснощекая Дарья, отворявшая дверь, и Тулинова, вернувшаяся съ прогулки.

— У нашихъ дверей лежитъ,—разсказывала въ волненіи Тулинова.

— Его барыня выпускала,—пояснила Даша.

— Что же съ нимъ, дурно?

— Выпимши-съ, вѣрно.

— Да кто онъ? зачѣмъ приходилъ?

— Это отецъ... Опять, видно, нализался! — раздался голосъ Василія Попова.

Когда на этотъ говоръ вышла Анна Ивановна, — она увидала на площадкѣ лѣстницы около ихъ дверей лежащаго

безъ сознанія и окруженнаго группой людей Ивана Петровича Попова.

«Злодѣй» спалъ, громко храпя.

X.

— Тетя, не лучше ли написать ей, чтобы она заѣхала къ намъ, чѣмъ вамъ самимъ идти къ ней объясняться? Не много ли чести это будетъ для нея?— разсуждала Александра Васильевна, когда ея тетка, тревожно разсказавъ ей о посѣщеніи Попова и неожиданно сдѣланныхъ имъ открытіяхъ относительно мнимой княгини, собралась идти къ Аграфенѣ Николаевнѣ, чтобы передать той обо всемъ случившемся.

— Да развѣ я о ней забочусь, Шура? — воскликнула Анна Ивановна.—Дѣтей надо такъ или иначе спасти. Отъ этого звѣря можно всего ждать, а объясняться съ этой женщиной здѣсь будетъ почти невозможно. Гдѣ же тутъ? И тѣсно, и стѣны тонкія... И Вася, и Алеша могутъ услышать, да и ты, наконецъ, тутъ... отъ этихъ женщинъ чѣмъ дальше дѣвушка, тѣмъ лучше... Многаго здѣсь нельзя будетъ сказать ясно и опредѣленно...

— Да, но и идти къ ней, къ этой кокоткѣ... кто ее знаетъ, какова она?.. Еще непріятностей наговоритъ вамъ, по своей грубости,—хмуря лобъ, замѣтила Александра Васильевна.— Вообще я предчувствую, что эти дѣти принесутъ намъ еще много непріятностей.

— Шура, Шура, да развѣ они виноваты, что у нихъ такіе родные!—воскликнула Анна Ивановна.

— Я ихъ не виню, но непріятностей все же будетъ не мало...

Александра Васильевна нетерпѣливо пожала плечами и не сказала болѣе ни слова. Она знала, что остановить Анну Ивановну трудно, разъ дѣло идетъ о попыткѣ спасти дѣтей, но она въ то же время знала, что всякія душевныя волненія не дешево обходятся для ея тетки.

Анна Ивановна пошла, волнуясь ужъ заранѣе отъ предстоящихъ объясненій и, въ сущности, не зная, какъ придется ей говорить съ мнимой княгиней и какъ приметъ та извѣстіе о происшедшемъ. Всѣ эти кокотки наглы и грубы...

Аграфена Николаевна изумилась, когда Катя доложила ей о приходѣ Бѣльской. Съ какой стати она пришла? Случилось что-нибудь экстренное? Дѣти напроказничали что-нибудь?.. Она съ озабоченнымъ лицомъ поспѣшила выйти къ

посѣтительницѣ въ гостиную и на ходу уже спросила ее, здороваясь съ ней:

— Не случилось ли что-нибудь съ дѣтьми, что вы пришли?

— Нѣтъ, съ ними, слава Богу, ничего не случилось, но мнѣ нужно поговорить съ вами съ глазу на глазъ, — отвѣтила Анна Ивановна.

«Вѣрно, денегъ впередъ нужно», — мелькнуло въ головѣ Аграфены Николаевны, и она слегка поморщилась.

— Пройдемте въ мой будуаръ,—пригласила она посѣтительницу и пошла впередъ.

— У меня былъ отецъ дѣтей,—пояснила Бѣльская, когда онѣ вошли въ будуаръ.

— Негодяй! Узналъ-таки вашъ адресъ! Я не отвѣтила на его запросъ, такъ самъ разузналъ! — рѣзко воскликнула Аграфена Николаевна и прибавила: — гоните его въ шею! Я всегда велю его гнать...

— Какое же я имѣю право? Да у меня и некому гнать,— сдержанно отвѣтила Бѣльская. — Я не держу лакеевъ. Онъ приходилъ по дѣлу. Онъ грозилъ, что онъ возьметъ дѣтей, если я не соглашусь лгать на сдѣланный мнѣ запросъ, онъ ли платитъ за дѣтей.

— Это еще что за фокусы? Зачѣмъ это ему понадобилось?

— Онъ говоритъ,—пояснила Бѣльская:—что благотворители лишаютъ его теперь помощи, какъ человѣка совершенно одинокаго, и что ему помогутъ, узнавъ, что онъ поддерживаетъ дѣтей...

— Не дѣтей онъ поддерживаетъ, а кабаки! — вспылила Радина.—Не станутъ помогать—издохнетъ скорѣе пропойца! Тѣмъ лучше!

— Да что-жъ мнѣ-то дѣлать?—сказала Бѣльская.—Весь вопросъ въ этомъ. Лгать я не умѣю и не хочу, но если я не буду лгать, то онъ и точно можетъ взять дѣтей къ себѣ и погубить ихъ...

— Такъ я и позволю,—крикнула Радина.—Я сестрѣ передъ ея смертью клялась, образъ со стѣны снимала, что никогда не оставлю ихъ... да, наконецъ, они не собачонки...

— Вы забываете, что онъ отецъ...

— Злодѣй онъ, а не отецъ!—перебила Бѣльскую Аграфена Николаевна.—Такихъ-то отцовъ въ тюрьмы сажать надо...

— Я понимаю все это, но какъ же быть-то?—серьезнымъ тономъ остановила ее Бѣльская.—Криками мы тутъ ничего не подѣлаемъ... Мнѣ кажется, вы не совсѣмъ понимаете

серьезность положенія... Я вамъ должна сказать, что онъ грозилъ...

Анна Ивановна на минуту замялась, не рѣшаясь высказать правды.

— Онъ грозилъ, наконецъ,—продолжала она, собравшись съ силами:—что онъ будетъ жаловаться на васъ за то, что вы отняли у него дѣтей, его пильщевъ и кормильцевъ, и что вы развращаете ихъ... такъ какъ вы... простите меня, но я должна вамъ все сказать прямо и откровенно... Онъ сказалъ, что ему стоитъ только заявить, кто вы и какъ вы живете, и у васъ, ради вашего поведенія, отберутъ его дѣтей... Насколько я могу судить, онъ не остановится ни передъ какими средствами и погубитъ дѣтей ради какихъ-то грошей изъ мести вамъ... Право вѣдь на его сторонѣ... Я хоть женщина, не знающая законовъ, но я ясно сознаю это... Онъ можетъ отнять у васъ дѣтей, можетъ погубить ихъ... послать ходить по-міру, лишить воспитанія и образованія... Онъ отецъ...

— Кабачный засѣдатель онъ!—опять строптиво выкрикнула Радина.

— А вы?—тихо, но твердо проговорила Бѣльская.—Что онъ скажетъ о васъ, если дѣло дойдетъ до суда?.. Вамъ, въ вашемъ положеніи, надо быть очень осторожной и войти въ какое-нибудь соглашеніе съ этимъ человѣкомъ, если вы хотите исполнить данную вами сестрѣ клятву и спасти этихъ дѣтей... Я надѣюсь, что вы смотрите на этотъ вопросъ серьезно... Сегодня этотъ человѣкъ приходилъ ко мнѣ требовать, чтобы я засвидѣтельствовала, что за дѣтей платитъ онъ; завтра онъ можетъ предъявить еще какія-нибудь требованія...

— О, онъ извѣстный шантажистъ!.. Обозлился, вѣрно, что я приказала его гнать и не даю ему ни гроша, не отвѣчая на его просьбы,—проговорила Радина.

— Надо обезоружить его... откупиться, что ли. Наконецъ, вашъ... — Бѣльская опять замялась и потомъ закончила: — вѣроятно, у вашего князя есть какія-нибудь вліятельныя знакомства, при помощи которыхъ можно сдѣлать этого человѣка неопаснымъ для его дѣтей.

Радина какъ-то безнадежно махнула рукой.

— Вы думаете, что этимъ господамъ есть какое-нибудь дѣло до нашихъ близкихъ, до этой голи?—съ горечью проговорила она. — Вонъ онъ цѣлую комнату отвелъ имъ подъ гимнастику. Такъ это его самого тѣшитъ, какъ они

кувыркаются. А утруждать себя изъ-за нихъ онъ не станетъ...

— Я не знаю князя, но думаю, что вы-то сдѣлаете все, чтобы защитить дѣтей,—сказала Бѣльская твердо.—Я именно ради этого и безпокоила васъ...

Анна Ивановна оставила Радину въ сильномъ волненіи. Аграфена Николаевна съ красными пятнами на лицѣ ходила по своему изящному будуару и передумывала горькія думы о своемъ положеніи, то и дѣло поднося къ глазамъ платокъ. Поповъ, очевидно, мститъ ей за то, что она не принимаетъ его и не даетъ ему денегъ... За послѣднее время онъ дѣлалъ уже нѣсколько попытокъ проникнуть къ ней и сорвать съ нея хоть что-нибудь... Но не станетъ она швырять денегъ на этого негодяя и на его попойки въ кабакахъ... На это никакихъ средствъ не хватитъ... Но какъ же отдѣлаться отъ него?.. Онъ вѣдь на все пойдетъ, чтобы насолить ей... За нее вѣдь вступиться некому!.. Никогда никто не вступался за нее!.. Позорили, оскорбляли, надругались всѣ, и ни одной души не было, чтобы защитить ее!.. А князь?.. Что же князь?.. У нея вотъ осенью сестра померла, такъ онъ только покутилъ съ кѣмъ-то лишнюю недѣлю — вотъ и все... Денегъ эти люди всегда дадутъ для удовлетворенія своихъ капризовъ, а принять участіе въ горѣ, похлопотать, пожертвовать своимъ спокойствіемъ — нѣтъ, на это они не пойдутъ... Что ему дѣти ея сестры!.. Ей только они и дороги, потому что это кровь родная, потому что Дунѣ-голубушкѣ она клялась не оставить ихъ, образъ со стѣны снимала... Туда же Господа призывать въ свидѣтели вздумала, окаянная, грязнымъ языкомъ своимъ клятвы давать вздумала!..

— Ахъ, Дуня, Дуня, хоть бы ты за меня заступилась, да помолилась!—громко закончила она свои думы и вся въ слезахъ заторопилась куда-то.

Черезъ нѣсколько минутъ она уже садилась въ щегольскую коляску, приказавъ кучеру ѣхать въ Ново-Дѣвичій монастырь.

«Помолиться—панихидку отслужить у дуни на могилкѣ... горе ей наше повѣдать», — безсознательно, точно въ бреду бормотала она, глотая слезы.

XI.

Князь Ефимъ Петровичъ Черемисиновъ хорошо читалъ по лицу Алисы Николаевны всѣ ея душевныя настроенія.

И эта морщинка между бровями, и эти красныя пятна на щекахъ, и эти упорно избѣгающіе встрѣчи съ чьими-нибудь взглядами, растерянные и потемнѣвшіе глаза всегда являлись ясными признаками ея тревоги, волненія или недовольства. Всѣ эти характерные признаки недовольства сразу подмѣтилъ онъ, явившись изъ имѣнія домой на другой день послѣ посѣщенія Вѣльской, и шутливо спросилъ:

— Мы не въ духахъ, кажется?

— Будешь не въ духѣ, когда одно горе пройдетъ, другое стрясется,—неохотно и отрывисто сказала Радина, ласково отвѣчая поцѣлуемъ на его поцѣлуй.

Онъ сразу понялъ, что причиной неудовольствія является вовсе не онъ, а кто-то другой или что-то другое.

— Портниха платье испортила?—опять пошутилъ онъ.

— Да, я вѣдь только объ этомъ и горюю всегда!—недовольнымъ и ироническимъ тономъ отвѣтила она.

Онъ самъ зналъ, что она одѣвается крайне просто и неприхотливо.

— Ну, ну, съ тобой и шутить нельзя! — ласково упрекнулъ онъ ее, видя, что шутка задѣла ее за живое.

— Мнѣ не до шутокъ сегодня, Фима,—отвѣтила она.

— Да что случилось-то?—настаивалъ онъ.

— Пустяки,—съ горечью отвѣтила она и добавила:—ты все равно не поймешь, изъ-за чего тутъ волноваться, какъ тогда не понялъ, съ чего я убивалась, когда сестра у меня умерла... Ну, а теперь никто у меня и не умеръ, а просто мальчиковъ отнимаютъ...

— Какихъ мальчиковъ? Кто отнимаетъ?—спросилъ князь въ недоумѣніи.

— Да вотъ нашихъ, Васю и Лешу... отецъ отнимаетъ ихъ.

— Что ты пустяки болтаешь, на что они ему? — раздражительно проговорилъ князь.

— На что? А на то, чтобы ему помогали люди на сиротъ, чтобы они бѣгали ему въ кабакъ, чтобы они по-міру ему гроши собирали... Мнѣ насолить хочетъ... Да онъ ихъ до острога доведетъ... меня на позоръ пустилъ, они въ острогѣ сгніютъ...

— Прежде чѣмъ ихъ до острога доведетъ, его самого туда упрячутъ!—раздражился еще болѣе князь и закусилъ губу.

Онъ заходилъ по комнатѣ, сдвинувъ почти сросшіяся брови и сквозь зубы бормоча:

— Негодяй... мерзавецъ!

Въ это время въ прихожей раздался знакомый двойной звонокъ, и черезъ минуту въ комнату вошли быстрой походкой, почти вбѣжали разрумянившіяся отъ ходьбы дѣти. Они выросли, поздоровѣли и похорошѣли за зиму. Лица смотрѣли бодро и весело. Послышались возгласы: «здравствуйте, тетя», и раздались поцѣлуи. Потомъ мальчики подошли поздороваться съ княземъ, и Леша, всегда нѣжный и ласковый, по обыкновенію, звонко поцѣловалъ руку князя. Князь ласково взглянулъ на миловидныя личики дѣтей, впервые ясно сознавая, что за эту зиму онъ привязался къ этимъ дѣтямъ, какъ къ роднымъ, какъ къ ихъ теткѣ, какъ когда-то къ своимъ корпуснымъ и полковымъ товарищамъ, не разсуждая, не анализируя своихъ чувствъ.

До этой минуты онъ никогда не отдавалъ себѣ отчета въ томъ, съ какой стати онъ такъ усердно хлопоталъ объ устройствѣ въ своей бывшей гардеробной комнатѣ гимнастики для нихъ, ради чего онъ призывалъ портного, чтобы устроить имъ для гимнастики удобные костюмы, почему онъ мимоѣздомъ и мимоходомъ покупаетъ книги въ хорошихъ переплетахъ для полюбившаго чтеніе Василья, что заставляетъ его покупать конфеты для лакомки Леши. Даже сегодня до этой минуты онъ не понималъ ясно, ради какихъ чувствъ онъ особенно старался достать на завтрашній дѣтскій спектакль въ циркѣ ложу. Никто его объ этомъ не просилъ, никто не напоминалъ ему, что это нужно сдѣлать, но какъ только онъ увидѣлъ афишу съ извѣщеніемъ о дѣтскихъ спектакляхъ,—ему тотчасъ же пришло въ голову, что дѣти будутъ рады этому неожиданному развлеченію.

Ничего не подозрѣвая, дѣти, по обыкновенію, начали весело болтать. Алексѣй хвасталъ тѣмъ, что его похвалила за успѣхъ во французскомъ языкѣ Александра Васильевна, замѣтившая въ мальчикѣ способность къ изученію языковъ и потому приналегшая въ занятіяхъ съ нимъ на французскій языкъ, а Василій, съ своей обычной серьезностью, дѣловито заявилъ:

— А мнѣ Анна Ивановна сказала, что я хоть сейчасъ могу сдать экзаменъ въ гимназію... Да я и самъ знаю, что не провалюсь и не ударю лицомъ въ грязь...

— Въ гимназію!.. въ гимназію!.. — нервно проговорила Алиса Николаевна, съ трудомъ сдерживавшая до этой минуты свое волненіе, и неожиданно разрыдалась.

— Аля, Аля, что съ тобой?—поспѣшилъ къ ней съ участіемъ князь.

Ее уже душилъ нервный припадокъ. Волненья послѣднихъ двухъ дней не прошли даромъ.

— Судьба проклятая, судьба проклятая! Отъ рожденія на гибель всѣ осуждены!—отрывисто, сквозь истерическія слезы говорила она, тщетно стараясь овладѣть собою. — Сестра покойная, святая женщина, чуть не съ голоду погибала... я чуть не дѣвчонкой еще грѣшницей окаянной сдѣлалась... Они вотъ теперь по-міру пойдутъ... Да за что же, за что же все это?.. Какъ Богъ-то попускаетъ?..

У нея судорожно сжимались руки, точно она кому-то грозила. Князь съ растерянным видомъ успокаивалъ ее и давалъ ей воды. Оба мальчугана растерялись и не знали, что дѣлать, не понимая, что случилось. Василій нахмурилъ лобъ, Алексѣй, видимо, струсилъ, и въ его большихъ глазахъ стояли слезы. Князь удалилъ мальчугановъ.

Долго, оставшись наединѣ съ княземъ, сообщала Алиса Николаевна ему все, что она узнала отъ Бѣльской объ угрозахъ Ивана Петровича. Онъ—отецъ, онъ имѣетъ право взять дѣтей, она—падшая женщина; его извѣты могутъ, Богъ знаетъ, до чего довести, онъ говорилъ, что она только развращаетъ дѣтей. Но несчастныя дѣти погибнутъ, если онъ возьметъ ихъ. А она уже такъ привязалась къ нимъ, хорошія они, да и клятву давала она ихъ матери передъ ея смертью, образъ со стѣны снимала, что не оставитъ ихъ!

— На могилу вчера къ ней, голубушкѣ, ѣздила, панихиду служила, просила ее, родную, заступиться передъ Господомъ за сиротъ ея, — наивно закончила она, всхлипывая, свой разсказъ.

Князь въ волненіи ходилъ по комнатѣ и горячился, стуча по полу палкою, на которую онъ почти постоянно опирался послѣ перелома ноги.

— Что-жъ ты думаешь, что я управы не найду на этого мерзавца? Да я всѣхъ объѣзжу, чтобы ему заткнуть глотку. Шантажничать думаетъ... Ну, мы и посмотримъ, какъ-то это ему удастся!.. А Василья и Алексѣя я ему не отдамъ на пагубу. Мальчуганы только-что начали отдыхать, привязались къ намъ, а тутъ изъ-за всякаго негодяя опять гибнуть должны.

— Добрый ты, Фима! — тихо проговорила Алиса Николаевна, чутко ловя его горячія слова, и, охваченная чувствомъ благодарности, припала губами къ его рукѣ.

— Полно, что ты, что ты, — въ смущеніи сказалъ онъ, цѣлуя ее въ голову.—Это же наши пріемныя дѣти.

XII.

Впервые въ жизни князь Ефимъ Петровичъ Черемисиновъ стоялъ лицомъ къ лицу передъ какимъ-то каменнымъ барьеромъ, который нельзя было ни миновать, ни объѣхать, ни перескочить. Это его раздражало до бѣшенства. Онъ, богатый, независимый до этой поры, не стѣсняемый никѣмъ и ничѣмъ, привыкъ къ «моему нраву не препятствуй». До этой поры стоило ему захотѣть что-нибудь сдѣлать,—и его желаніе немедленно исполнялось, какъ бы ни было оно незаконно и безнравственно. Иногда приходилось платить дешевле, иногда дороже, но отказываться отъ исполненія своихъ прихотей не приходилось никогда, благо не было никакихъ нравственныхъ сомнѣній у него самого и были деньги для подкупа не особенно твердой нравственности другихъ. Теперь было не то. Куда онъ ни толкался—вездѣ ему говорили:

— Чужихъ дѣтей держать силой нельзя, если отецъ захочетъ вернуть ихъ къ себѣ. Прежде всего нужно его согласіе.

Какой-то почтенный по лѣтамъ и по официальному положенію старецъ, съ розовыми пухленькими щеками новорожденнаго младенца, шутливо замѣтилъ князю:

— Да вы посовѣтуйте лицу, которое хлопочетъ о дѣтяхъ, чтобы ихъ отца натолкнули на какое-нибудь уголовное дѣло и лишили на судѣ всѣхъ правъ состоянія, тогда дѣтей и можно будетъ у него отобрать.

Князь какъ-то безсознательно стѣснялся посвящать постороннихъ въ свое дѣло и не говорилъ никому, что хлопочетъ объ отнятіи у Попова правъ на дѣтей именно онъ самъ и его Алиса Николаевна.

— Да это негодяй и пьяница, его и наталкивать ни на что не надо?—воскликнулъ князь въ отвѣтъ на совѣтъ румянаго старика.

— Но онъ еще не въ тюрьмѣ и не судится?—спросилъ уже болѣе серьезно старый шутникъ, и съ его розовыхъ щекъ исчезли дѣтскія ямочки.

— Нѣтъ,—коротко отвѣтилъ князь, досадливо закусывая губу.

— Ну, такъ отнять у отца его право нельзя!

— Значитъ, дѣти такъ и должны погибать? — заволновался князь, сдвигая почти сросшіяся брови.

— Ахъ, мало ли уличныхъ дѣтей погибаетъ у пьяницъ-

«отцовъ!»—брезгливо замѣтила особа, которой уже начинала надоѣдать эта шутка. — Это неизбѣжный законъ большихъ городовъ.

Князь окончательно разсердился.

— Значитъ, такъ имъ и гнить въ отцовскомъ подвалѣ, бѣгая по кабакамъ?

— Что дѣлать, что дѣлать! Пролетаріатъ не нами созданъ, и не мы его уничтожимъ,— сожалительно вздохнула особа и дружески-интимнымъ тономъ замѣтила: — И охота вамъ, князь, путаться въ чужія семейныя дѣла, въ дѣла какихъ-то пропойцъ! Исправите вы ихъ? Спасете ихъ семьи?... Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ!.. Вы же не барыня-филантропка,— закончилъ шутникъ:—тѣмъ свойственно вздыхать о каждомъ уличномъ мальчишкѣ и, спасая этихъ мальчишекъ отъ пьяныхъ отцовъ, не менѣе портить ихъ жизнь неумѣлымъ воспитаніемъ. Или вы, выйдя въ отставку, записались секретаремъ въ какой-нибудь благотворительный комитетъ отцвѣтающихъ дамъ-патронессъ?.. Сколько я васъ знаю—это не похоже на васъ... вы вѣдь не любитель древностей.

Любящій пошутить старикъ дружески положилъ свою пухлую выхоленную руку на руку князя и далъ отеческій совѣтъ:

— Оставьте, князь, этихъ трущобныхъ героевъ... до добра сношенія съ ними не доводятъ. Это наглые и безсовѣстные шантажисты, и чѣмъ дальше отъ нихъ, тѣмъ лучше.

Результатомъ всѣхъ хлопотъ и совѣтовъ явилось то, что князь мысленно плюнулъ на всѣхъ вліятельныхъ и невліятельныхъ людей, обозвалъ «глупыми» всѣ наши законы и, въ концѣ-концовъ, рѣшилъ сдѣлать проще — швырнуть деньги этому пропойцѣ-отцу и войти съ нимъ въ полюбовное соглашеніе насчетъ того, чтобы онъ за извѣстную ежемѣсячную плату отказался формально отъ правъ на своихъ дѣтей. Князь былъ убѣжденъ, что это можно сдѣлать, и въ тотъ же день, вечеромъ, поѣхалъ разыскивать Попова. Едва ли онъ самъ могъ бы объяснить, что за чувство заставляло его хлопотать такъ настойчиво объ этихъ дѣтяхъ,— упрямое ли желаніе своевольнаго богача сдѣлать, во что бы то ни стало, по-своему и «обломать» какого-то ничтожнаго пропойцу-чиновника въ отставкѣ; пробудившаяся ли въ немъ безсознательная привязанность къ этимъ дѣтямъ; желаніе ли успокоить сдѣлавшуюся ему дорогою женщину, которой онъ былъ радъ сдѣлать этотъ «подарокъ», какъ дарилъ ей до этой поры золото и брильянты? Онъ и не задумывался надъ этимъ вопросомъ, а просто мысленно твердилъ себѣ:

«Ну, мы еще посмотримъ, какъ онъ отниметъ у Али этихъ дѣтей».

Въ этой фразѣ слышалась угроза.

Ивана Петровича князь засталъ дома и засталъ не пьянымъ, такъ какъ тотъ успѣлъ немного вытрезвиться отъ утренняго опьяненія и только собирался напиться снова вечеромъ. Пробираясь по темному коридору въ сопровожденіи дворника въ грязное жилище Попова, князь морщился отъ промозглаго воздуха и не безъ отвращенія думалъ о томъ, что за люди живутъ въ этихъ трущобахъ... Это отвращеніе невольно отразилось на его лицѣ, когда онъ, миновавъ какія-то жалкія каморки, встрѣтился лицомъ къ лицу съ Иваномъ Петровичемъ въ довольно просторной, но грязной комнатѣ.

— Чему обязанъ высокою честью? — особенно любезно проговорилъ Поповъ, когда князь сказалъ, кто онъ.

Появленіе въ этомъ жилищѣ нарядnаго франта не могло изумить ни дворника, ни сосѣдей, ни самого Попова: путь къ это логово былъ знакомъ всякимъ филантропамъ, которыхъ Поповъ осаждалъ своими просьбами. Но Поповъ былъ удивленъ, услыхавъ фамилію посѣтителя.

— Не угодно ли присѣсть?

Поповъ вытеръ рукавомъ сидѣнье деревяннаго стула.

— Благодарю!

Князь, однако, не сѣлъ.

— Мнѣ надо переговорить о вашихъ дѣтяхъ, въ которыхъ я принимаю участіе,—сказалъ онъ. — Вы были тутъ у содержательницы пансіона, гдѣ они воспитуются, и угрожали...

— Ниѣмъ и никому я, ваше сіятельство, не могу угрожать,—довольно жалобно перебилъ князя Поповъ.—Я человѣкъ, удрученный невзгодами, старый, больной и бѣдный... Гдѣ же тутъ угрожать!.. Угрожать могутъ намъ, а не мы, униженные и оскорбленные... Мнѣ просто опора нужна... такъ вотъ я и приходилъ сказать, что я безъ дѣтей, безъ единственной опоры моей, не могу жить...

— Вамъ, однако, было дано отступное за то, чтобы вы навсегда оставили въ покоѣ своихъ дѣтей,—сухо замѣтилъ князь.

— Я, ваше сіятельство, не Іуда Искаріотскій, чтобы за тридцать серебренниковъ продавать своихъ дѣтей,— со вздохомъ произнесъ Поповъ.—Конечно, я былъ бы радъ, если бы я могъ существовать безъ ихъ помощи, а они получали

бы образованіе, приличное дѣтямъ благороднаго человѣка... Но что же дѣлать, если безъ нихъ я остаюсь безъ помощи, если добрые люди гонятъ меня именно потому, что я отдалъ въ чужія руки дѣтей... Отецъ, отдавшій своихъ дѣтей Богъ вѣсть кому, Богъ вѣсть въ какія руки, развѣ онъ можетъ быть достойнымъ состраданія и участія?.. Люди не знаютъ, что не радость заставляетъ иногда отцовъ поступаться своими правами... Неужели и вы думаете, ваше сіятельство, что я могу быть врагомъ своихъ дѣтей? Нужда, только нужда заставила меня и отдать ихъ, и заставляетъ теперь требовать ихъ къ себѣ...

— Нужда! Вамъ же можно помочь, если вы согласитесь никогда не требовать къ себѣ дѣтей,—перебилъ его князь.— Я готовъ назначить вамъ ежемѣсячное пособіе, если вы не будете... Ну, если вы оставите дѣтей въ покоѣ... Имъ нужно дать образованіе, поставить ихъ на ноги.

По лицу Попова мелькнуло какое-то неуловимое выраженіе не то иронiи, не то лукавства.

— Ахъ, ваше сіятельство, ваше сіятельство, юны и неопытны вы и не знаете, что можетъ случиться,—заговорилъ онъ вкрадчиво.—Теперь вы вотъ заботитесь о дѣтяхъ ради Аграфены Николаевны, а что будетъ, если вы перестанете заботиться и о ней, и о ея племянникахъ?..

— За кого вы меня считаете? — перебилъ его горячо князь.

— За молодого человѣка, ваше сіятельство, за молодого свѣтскаго человѣка! — пояснилъ униженнымъ тономъ Поповъ. — Вкусы перемѣнчивы.... Сегодня, можетъ-быть, вы изъ нихъ барчатъ желаете сдѣлать, завтра, можетъ-быть, вы о нихъ будете столько же думать, сколько я о вчерашнемъ дождѣ. А мнѣ, отцу, и теперь, и послѣ они сыновьями будутъ. Сегодня вы мнѣ желаете платить, чтобы я о нихъ не думалъ, а завтра они, избалованные и изнѣженные, будутъ на моей шеѣ сидѣть, вы же, ваше сіятельство, меня и на порогъ къ себѣ не пустите...

— Я ихъ обезпечу во всякомъ случаѣ,— сказалъ князь.

— Да благословитъ васъ за это Создатель! — смиренно произнесъ Поповъ.—Я, конечно, вполнѣ вѣрю вашимъ добрымъ чувствамъ и даже надѣюсь, что вы не ограничитесь одними словами, а оформите законнымъ порядкомъ дѣло объ обезпеченіи ихъ будущности, такъ какъ мы всѣ смертны... Я говорю объ этомъ, какъ отецъ, знающій, каково было бы дѣтямъ, привыкшимъ къ довольству и холѣ,

очутиться безъ всякихъ средствъ въ этой лачугѣ, среди этого смрада и зловонія въ случаѣ... мало ли что можетъ произойти въ превратностяхъ жизни.

Князь, уже давно чувствовавшій, что у него разбаливается голова въ смрадномъ воздухѣ комнаты Ивана Петровича, почувствовалъ эту боль теперь еще сильнѣе и поторопился увѣрить Попова, что онъ будетъ помогать ему ежемѣсячно и обезпечитъ дѣтей, требуя отъ него только того, чтобы дѣти были окончательно оставлены имъ въ покоѣ. Иванъ Петровичъ соглашался на все, придерживаясь минорнаго тона и со вздохами напирая на то, что онъ «отецъ». Невѣрною походкой разслабленнаго старика, проводилъ онъ князя до выходныхъ дверей; заботливо предупредилъ его не споткнуться «на приступочкѣ» въ коридорчикѣ у выхода на дворъ и, затѣмъ, съ усмѣшкой потирая руки, вернулся съ совсѣмъ бодрымъ видомъ назадъ, остановился передъ входомъ въ свою комнату въ каморкѣ Терентьича и со смѣхомъ проговорилъ:

— Пижончикъ тоже!.. И до чего это люди съ жиру бѣсятся, такъ это трезвому уму даже непостижимо: хочу, молъ, поросятъ у себя въ раззолоченныхъ хоромахъ завести и никто мнѣ препятствовать не можетъ.

— Благодѣтель какой-нибудь опять наклюнулся?—спросилъ шамкающій старикъ, смотря мутными глазами поверхъ очковъ въ мѣдной оправѣ на Попова.—И везетъ тебѣ, Петровичъ, на нихъ... и везетъ... на-дняхъ, вотъ, барыня пріѣзжала...

— Это, братъ, не благодѣтель, а родственникъ... на двухъ родныхъ сестрахъ женаты... хе-хе-хе! — засмѣялся циничнымъ смѣхомъ Поповъ.—Пріѣзжалъ просить: ощипли, молъ, мои павлиньи перышки... а то ихъ мало щиплютъ... ходить тяжело... хе-хе-хе!

Старикъ тяжело вздохнулъ, качая всклоченной сѣдой головой.

— И все на кабакъ... все на кабакъ, — укоризненно и сожалительно зашамкалъ онъ, склоняясь надъ своей обычной работой, штопкой какой-то ветоши.

XIII.

Князь Ефимъ Петровичъ Черемисиновъ уѣхалъ въ имѣніе совершенно довольный тѣмъ, что онъ «уладилъ дѣло», и представлялъ себѣ, какъ рада будетъ Алиса Николаевна, когда онъ скажетъ ей, что ему удалось обезоружить По-

пова. Онъ, конечно, не скажетъ ей, что онъ рѣшился откупиться отъ этого пропойцы: она почему-то такъ ненавидитъ его и такъ настойчиво говоритъ, что денегъ ему не слѣдуетъ давать. Интимными тайнами ея прошлаго онъ вообще никогда не интересовался, отчасти ради извѣстной брезгливости, отчасти зная впередъ, что и она, какъ всѣ «эти женщины», непремѣнно изобрѣтетъ изъ своего прошлаго какой-нибудь фантастическій романъ, какъ изобрѣла себѣ псевдонимъ. Зналъ онъ только смутно, что ея прошлое было не весело, и что мужъ ея покойной сестры былъ ея врагомъ. Разумѣется, она бы возстала противъ помощи этому врагу. Впрочемъ, она и вообще разсчетлива: не привыкла до сихъ поръ къ богатству. Все еще говоритъ: «какъ всѣ-то деньги ухлопаются, тогда никто не поможетъ». Наивная! Она даже и не подозрѣваетъ, что именно теперь-то у него и убавились личные расходы, когда онъ понемногу, ради своей болѣзни и удаленія въ имѣніе, отсталъ отъ кутежей.

Онъ не переставалъ во всю недѣлю думать объ Алисѣ Николаевнѣ и о дѣтяхъ, даже мысленно не останавливаясь на вопросѣ, почему эти «славные», какъ онъ называлъ ихъ, мальчуганы заботятъ его, почему онъ, никогда и ни къ кому не привязывавшійся до этой поры, вдругъ привязался къ какимъ-то чужимъ дѣтямъ, не отличавшимся даже никакими выходящими изъ ряда вонъ достоинствами. Онъ просто былъ охваченъ какимъ-то хорошимъ чувствомъ довольства всѣмъ и всѣми, и никогда еще окружающіе не видали его такимъ веселымъ и жизнерадостнымъ, какъ въ эту недѣлю. Это настроеніе тѣмъ болѣе бросалось въ глаза, что за послѣдніе два-три года онъ, послѣ перелома руки и ноги и выхода въ отставку, все чаще и чаще чувствовалъ недомоганіе и, вѣроятно, чисто инстинктивно сталъ замѣтно уклоняться отъ всякихъ попоекъ, кутежей и оргій, иногда даже ворчалъ на эти безсмысленныя «безпутства» и на это вѣчное «шалопайство», какъ ворчатъ одряхлѣвшіе старики на всякія похожденія еще не пресытившихся юношей и проповѣдуютъ вегетаріанство, потому что ихъ желудки уже не варятъ мясной пищи. Провести вечеръ дома съ Алисой Николаевной, съ двумя-тремя товарищами, развлекаясь то разговорами, то музыкой и пѣніемъ, то скромной игрой въ карты «по маленькой», ему было теперь гораздо пріятнѣе, чѣмъ принимать въ теченіе цѣлыхъ ночей участіе въ кутежахъ, съ цыганами и цыганками, те-

ря сознаніе среди попоекъ и чувствуя на слѣдующій день ноющую боль въ костяхъ. За послѣднюю же зиму не особенно нужными стали и прежніе товарищи, и карты въ тѣ вечера, когда онъ бывалъ въ Петербургѣ; ихъ замѣнили племянники Алисы Николаевны, разсказывая то о житьѣ-бытьѣ у Бѣльской, то о продѣлкахъ школьниковъ, то о той жизни бѣдняковъ и улицы, которую хорошо знали они и которой вовсе не зналъ самъ князь до послѣдняго времени.

— Старѣешь ты, братъ!—говорили ему пріятели, встрѣчаясь изрѣдка съ нимъ.

— Просто сталъ недомогать, почувствовалъ усталость, ну, и увидалъ въ трезвомъ видѣ, что всѣ мы жжемъ свѣчу съ двухъ концовъ,—отвѣчалъ онъ, дѣлая презрительную гримасу.

Въ кругу его бывшихъ собутыльниковъ стали не безъ иронiи говорить:

— А забрала же его въ руки Алиса.

— Да, попалъ подъ башмакъ!

— Обращеніе на путь истины черезъ падшую женщину!..

Одинъ изъ родственниковъ его матери, тотъ самый двоюродный дядя изъ прожившихся князей, который навѣщалъ его во время болѣзни, озабоченно замѣтилъ:

— Однако, шутить тутъ нечего... это можетъ окончиться плохо... надо бы предупредить его мать... а то, пожалуй, придется еще породниться съ этой дамой.

И еще болѣе озабоченно добавилъ:

— Хуже всего то, что эти женщины, какъ помойныя ямы, поглощаютъ все и пускаютъ по-міру.

— Князь Иванъ,—шушукались и шутили знакомые:— боится, что ему скоро нельзя будетъ занимать у Ефима Петровича.

— Надо отдать только справедливость ему: онъ отлично по личному опыту знаетъ результаты знакомства съ этими дѣвицами,—шутили другіе.

Менѣе всего вниманія обращалъ на совершившійся въ немъ переворотъ самъ князь Ефимъ Петровичъ: онъ сознавалъ, что онъ теперь вполнѣ доволенъ своимъ образомъ жизни въ деревнѣ со старухою-теткой, среди книгъ и болѣе или менѣе серьезныхъ земцевъ, и не спрашивалъ, почему и отчего, къ чему это его поведетъ и чѣмъ кончится, пріятна ли его воздержанность его бывшимъ прихлебателямъ и неоплатнымъ должникамъ и входитъ ли въ расчеты блекнущихъ въ ожиданіи женіховъ дочерей князя Ивана его привязанность къ какой-то падшей женщинѣ.

Въ первую изъ субботъ послѣ переговоровъ съ Поповымъ, подъѣзжая въ урочный часъ къ дому, гдѣ жила Алиса Николаевна, съ коробками конфетъ и какими-то книгами, князь былъ вполнѣ доволенъ и счастливъ. Онъ, по обыкновенію, позвонилъ своимъ рѣзкимъ, властнымъ звонкомъ, по которому узнавали его пріѣздъ. Однако, звонокъ прозвучалъ какъ-то глухо: онъ, очевидно, былъ подвязанъ или испорченъ.

— Что это, звонка почти не слышно? Испорченъ?—отрывисто спросилъ князь, входя въ переднюю.

Лакей Прохоръ, отворившій передъ княземъ дверь, понизивъ голосъ, доложилъ ему:

— Алексѣй Ивановичъ у насъ больны-съ, ваше сіятельство, такъ докторъ приказали подвязать звонокъ.

— Лежитъ?—спросилъ князь.

— Едва не померли-съ... Теперь лучше немного.

Князь быстро сбросилъ на руки лакея пальто и пошелъ въ комнаты. Въ гостиной былъ безпорядокъ: сюда была перенесена вся мебель изъ будуара.

— Не грѣхъ ли, Аля, не извѣстить, — упрекнулъ князь Алису Николаевну, поднявшуюся ему навстрѣчу съ кушетки.

Молодая женщина поблѣднѣла и похудѣла за недѣлю.

— Что же напрасно тревожить тебя,—сказала она.—Я и Вася за нимъ ходили... докторъ все время не терялъ еще надежды.

— Больной тамъ? — указалъ князь глазами на будуаръ.

— Да... ты прости, что произведенъ такой безпорядокъ. Но докторъ потребовалъ...

— Аля, да что же ты оправдываешься! — перебилъ князь:—какъ не стыдно!

Князь ласково поцѣловалъ Алису Николаевну.

— Мальчикъ спитъ?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, тамъ Вася... измучился, бѣдный, тоже... смѣнялись все время у постели, — пояснила она. — Сидѣлку не хотѣлось брать, на чужихъ рукахъ не хотѣлось оставлять мальчика.

— Да, да, чужіе такъ и останутся чужими... Помнишь, какъ ты и меня не оставила на чужихъ рукахъ?

Въ голосѣ князя прозвучала безконечно ласковая нотка.

Неслышными шагами онъ и Алиса Николаевна вошли въ просторный будуаръ, превращенный теперь въ спальню больного. Драпировки, мебель, статуэтки, все было выне-

сено теперь отсюда и въ полумракѣ виднѣлись только постель больного, кресло и ночной столикъ съ лѣкарствами. Навстрѣчу пришедшимъ поднялся съ кресла Вася. Онъ, казалось, выросъ за эту недѣлю, — такое впечатлѣніе производила его сильно исхудавшая фигура и поблѣднѣвшее лицо.

— Задремалъ опять, — тихо проговорилъ онъ, пожимая руку князю.—И снова бредитъ... опять, вѣрно, хуже будетъ къ ночи.

— Сегодня я буду около него, — сказала Алиса Николаевна.

— А я-то на что? — проговорилъ князь, стараясь въ полумракѣ разсмотрѣть раскраснѣвшееся личико больного.— У меня свѣжія силы... а вы хоть немного отдохнете.

XIV.

Въ просторной комнатѣ горѣла одинокая лампа съ темнымъ абажуромъ, заслонявшимъ ея яркій свѣтъ. Комната производила впечатлѣніе жилья, изъ котораго увезли всю мебель, содрали драпировки и портьеры и не успѣли вынести только кровати, ночного столика и кресла. Царившая въ ней тишина нарушалась только монотоннымъ «тикъ-такъ» стѣнныхъ часовъ, да ровнымъ дыханіемъ двухъ человѣкъ. Они оба спали: одинъ маленькій—на постели, другой взрослый — въ креслѣ. Было уже далеко за полночь, когда въ комнатѣ послышались сначала болѣзненный стонъ, а потомъ отрывочныя вскрикиванія:

— Ой, больно, больно!.. Папочка, родной, не буду, никогда больше не буду... больно!

Взрослый человѣкъ открылъ заспанные глаза и, очевидно, не понимая спросонья, гдѣ онъ и что дѣлается около него, въ недоумѣніи обвелъ глазами полутемную комнату и, наконецъ, остановилъ взглядъ на постели ребенка. Ребенокъ метался, какъ бы стараясь запрятаться отъ кого-то, и снова кричалъ:

— Не буду, не буду!.. довольно, папочка!

Въ комнату неслышными шагами вошла молодая женщина въ бѣломъ пеньюарѣ и тихо подошла къ постели больного, чтобы замѣнить въ пузырѣ растаявшій ледъ свѣжимъ.

— А ты, Аля, все не спишь? — сказалъ спавшій въ креслѣ и теперь уже совсѣмъ очнувшійся Ефимъ Петровичъ.

— Дремала... услышала, что Леша опять бредитъ... и пришла. Ѣдъ нужно было перемѣнить, — отвѣтила Алиса Николаевна. — Мальчикъ, бѣдный, все бредитъ, что его опять бьетъ этотъ негодяй. Которую ужъ ночь все одинъ этотъ бредъ. Таково-то сладко жилось! Больше полугода отдыхаетъ у насъ, а въ душѣ все еще не изгладилось прошлое, до чего довелъ пьяный злодѣй. Да развѣ и можно забыть, что было? Въ годы не забудешь, а не то, что въ мѣсяцы.

Она говорила тихо, точно тоже въ полубреду, не сознавая, что она говоритъ вслухъ.

— Вотъ и я ничего, ничего не забыла. Какъ сталъ онъ бредить, такъ все и вспомнилось. И тогда вспомнилось, когда сестра на моихъ рукахъ умирала.

Она тяжело вздохнула и обратилась къ Ефиму Петровичу:

— Фима, ты иди спать, а я здѣсь останусь. Леша можетъ попросить пить... Ты все равно не услышишь. Ты не привыкъ за больными ходить... да и усталъ съ дороги. А я... мнѣ ужъ это дѣло привычное... не впервые въ жизни.

Она усмѣхнулась и съ горечью закончила:

— Въ сидѣлки бы надо было идти, а не шансонетки пѣть. Богъ бы тогда не отвернулся отъ окаянной, какъ теперь.

— Аля, полно!.. Иди спать, нервы у тебя расходились, тебѣ отдыхъ нуженъ,—проговорилъ ласково Ефимъ Петровичъ.—Не бойся, я теперь уже не усну.

Онъ одной рукой взялъ ее за талію и проводилъ до двери.

— Ступай! Ступай! а то мнѣ будетъ завтра стыдно и передъ тобой, и передъ Васей, что я и одной ночи не могъ просидѣть около больного.

Онъ поцѣловалъ ее въ голову и заперъ за ней дверь. Онъ сказалъ правду, что теперь онъ уже не уснетъ. Это была страшная, памятная для него на всю жизнь ночь. Въ его душѣ совершилось что-то страшное: у этой постели больного бредящаго ребенка, передъ которой, по словамъ Алисы Николаевны, въ ея головѣ воскресло все ужасающее прошлое, въ его душѣ тоже воскресли воспоминанія. Въ нихъ было что-то хаотическое. Передъ его воображеніемъ проходили картины одинокаго дѣтства безъ ласки и заботъ матери, не любившей его и не любимой имъ, съ постыдными и позор-

ными стремленіями быть безмолвнымъ соглядатаемъ того, что дѣлаетъ эта мать, въ какихъ отношеніяхъ стоятъ къ ней тѣ или другіе его молодые гувернеры. Онъ сдвигалъ свои густыя брови, стискивалъ зубы и закусывалъ нижнюю губу при воспоминаніи, до чего доходилъ самъ, покупая живой товаръ, презирая и тѣхъ, кто продавалъ, и тѣхъ, кто продавался. Въ душѣ не было ни Бога, ни совѣсти, ни чести... А между тѣмъ сколько говорилось о чести, о благородствѣ именно въ его кругу! Съ какимъ презрѣніемъ смотрѣли въ его средѣ на грубую толпу!.. И почти ни одного свѣтлаго чувства не было въ этомъ прошломъ: съ холоднымъ скептицизмомъ верхогляда относился онъ и къ дружбѣ, и къ любви, и къ родственнымъ связямъ; вездѣ онъ видѣлъ только интересъ, расчетъ, корысть, раболѣпство безсилія и высокомѣріе силы. Друзья, ради тщеславія, отбивали другъ у друга дорогихъ по цѣнѣ любовницъ: барышни играли въ любовь, чтобы заполучить выгоднаго мужа; родственники, въ родѣ князя Ивана, оберегали его карманъ отъ посторонннихъ рукъ, чтобы запускать туда свои лапы. Даже тетку, княжну Ольгу Дмитріевну, правдивую старуху строгихъ правилъ, съ которою онъ жилъ теперь въ одномъ домѣ, не умѣлъ онъ цѣнить прежде и готовъ былъ съ ироніей повторять пошлости за дядей Иваномъ, что это не что иное, какъ святоша и невинность по независящимъ отъ нея обстоятельствамъ... И къ Алисѣ Николаевнѣ въ первые дни сближенія съ нею онъ отнесся не лучше, чѣмъ ко всѣмъ другимъ, и въ ней онъ увидалъ только падшую женщину, обрадовавшуюся богатому любовнику, и съ которой за деньги можно было дѣлать, что угодно, унижать и топтать въ грязь... Почему же она теперь стала ему такъ дорога? Потому ли, что самоотверженно сидѣла около его постели во время его болѣзни? Но вѣдь это ради выгодъ сдѣлала бы всякая! Потому ли, что она старалась потомъ предупредить всякое его желаніе, изучить всѣ его привычки и вкусы? Но вѣдь это сдѣлала бы тоже всякая неглупая женщина ради своихъ интересовъ! Нѣтъ, нѣтъ, его привязало къ ней что-то необъяснимое, что-то, стоящее выше всякихъ матеріальныхъ расчетовъ и соображеній. Она, помимо своей воли, помимо своихъ соображеній и расчетовъ, создала для него свой домъ, свою семью: только сошедшись съ ней, онъ почувствовалъ, что его гдѣ-то ждутъ, что гдѣ-то живутъ его внутреннею жизнью, что гдѣ-то заботятся серьезно и о его здоровьѣ, и о душевномъ покоѣ. Ему смутно вспомнились слова Алисы Нико-

ласвны, когда онъ, увидавъ себя въ зеркало послѣ болѣзни, удивился, что она его не боялась.

— Вотъ у меня мать въ чахоткѣ умерла,—сказала она тогда:—такъ мнѣ она всякихъ красавицъ дороже и лучше была... Я бы и тогда ея руки цѣловала, да красивѣе всѣхъ ее считала, хоть бы она живымъ скелетомъ была...

Да, именно съ этой минуты началось въ немъ перерожденіе, съ этой минуты она безсознательно купила его душу, открывъ хорошія стороны своей затоптанной въ грязь, но все еще живой души.

XV.

На слѣдующій день въ имѣніи князя Ефима Петровича Черемисинова получилась на имя его тетки телеграмма о томъ, что непредвидѣнныя обстоятельства задержатъ его на неопредѣленное время въ Петербургѣ. Выслушавъ изъ устъ своей старой компаньонки, дѣвицы Смуровой, содержаніе телеграммы, княжна только усмѣхнулась и съ гримасой замѣтила:

— И какое это счастье, когда доживешь до того, что уже почти не можетъ быть ни непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, ни неопредѣленныхъ временъ... Мы вотъ съ тобой, Катишь, предвидимъ и то, что умирать намъ пора, и что до смерти осталось очень опредѣленное время... съ куриный носъ.

Дѣвица Смурова скорбно вздохнула и сентиментально замѣтила, закатывая къ небу глаза:

— А все же не хотѣлось бы умирать!

— Ну, а съ меня довольно, весьма довольно! Новаго уже ничего не жду,—рѣзко и сухо сказала княжна Ольга Дмитріевна Черемисинова.

Княжна Ольга Дмитріевна Черемисинова принадлежала къ числу лицъ, которыхъ, обыкновенно, называютъ «оригиналами», «чудаками», «самодурами», «юродивыми» и тому подобными не очень лестными кличками. Маленькая ростомъ, полная, некрасивая, рѣзкая на словахъ, чернявая, съ густыми нависшими бровями, какъ всѣ Черемисиновы, она на первый взглядъ казалась какимъ-то пугаломъ,—но опытныя птицы, присмотрѣвшись, очень хорошо знаютъ, что и самому страшному огородному пугалу совершенно не опасно садиться на голову. Княжна прожила почти всю жизнь въ родовомъ имѣніи князей Черемисиновыхъ со своей неизмѣнной компаньонкой и другомъ, Екатериной Ивановной Смуровой, довольно тощей, достаточно длинной и чрезмѣрно

сентиментальной старой дѣвой. Въ этомъ имѣніи княжна Ольга Дмитріевна пережила много житейскихъ драмъ: когда-то она страстно любила и было грубо обманута здѣсь въ любви; здѣсь же схоронила она свою обожаемую несчастную въ замужествѣ мать, много страдавшую отъ ревниваго самодура-мужа, тутъ же произошелъ нежеланный и несчастный бракъ ея единственнаго брата и друга князя Петра Дмитріевича; отсюда же увезла ненавистная ей «безчестная» вдова ея брата своего крошечнаго сынишку Фиму; сюда же вернулся онъ въ послѣднее время на житье, уже вышедшимъ въ отставку по болѣзни, свѣтскимъ молодымъ человѣкомъ, «пустымъ малымъ», какъ опредѣлила его съ горечью княжна съ первой же встрѣчи съ нимъ послѣ долгой разлуки. Вспоминая все это, княжна имѣла полное право сказать: «съ меня весьма довольно!» Екатерина Ивановна Смурова, бѣдная, безродная сирота, была, напротивъ того, только посторонней зрительницей всего этого, но сама ни здѣсь, ни гдѣ-нибудь въ иномъ мѣстѣ, какъ искусственно и заботливо взращенное въ теплицѣ растеніе, не пережила ровно ничего, и, можетъ-быть, потому-то ей и хотѣлось такъ сильно жить: ей все казалось, что ее еще ждетъ впереди что-то хорошее и неизвѣданное, и она никакъ не могла примириться съ мыслью, что въ шестьдесятъ пять лѣтъ впереди можетъ ожидать только смерть.

— И какія такія непредвидѣнныя обстоятельства могутъ быть у этихъ коптителей неба,—съ ироніей сказала княжна, пожимая плечами.

— Ахъ, Ольга, ты все нападаешь на князя!—вступилась за Ефима Петровича Екатерина Ивановна, уже сентиментально вздыхая о «несчастномъ» молодомъ человѣкѣ, перенесшемъ такія страданія.

Она чуть не падала въ обморокъ при разсказѣ о томъ, какъ князь сломалъ за разъ и руку, и ногу.

— Не люблю я мужчинъ, въ его годы бьющихъ баклуши,—рѣзко проговорила княжна:—не такимъ шалопаемъ желала бы я его видѣть...

— Онъ же, Ольга, по болѣзни вышелъ въ отставку. На кого онъ и теперь похожъ? Тѣнь одна!

— Да развѣ только и службы, что лошадей гонять на ученьяхъ и парадахъ. Слава Богу, и по дворянскимъ выборамъ, и по земству могъ бы служить... На ногу прихрамываетъ, а не на здравый смыслъ. Наконецъ, есть хозяйства... могъ бы свои имѣнія объѣхать, взглянуть, какъ тамъ дѣла ведутся.

Княжна нахмурила свои густыя «черемисинскія» брови.

— Вообще испортили его и, кажется, непоправимо... Вотъ хоть бы эти таинственныя поѣздки въ Петербургъ каждую недѣлю... Зачѣмъ? Картежникъ онъ, что ли?.. Или какая-нибудь постыдная связь?.. За скрытностью мнѣ всегда представляется или полнѣйшая пустота, или постыдная грязь...

Княжна задумалась...

Ее серьезно тревожилъ племянникъ: когда-то она горячо любила его отца и не менѣе горячо полюбила маленькаго Фиму, отнятаго у нея еще въ дѣтскомъ возрастѣ; болѣе десятка лѣтъ не видѣла она его, и когда онъ пріѣхалъ къ ней—узнала его только по черемисинскимъ чертамъ лица—узенькому лбу, почти сросшимся бровямъ, нависшимъ надъ глазами, узнала потому, что онъ былъ такой же чернявый, какъ всѣ Черемисиновы, а въ томъ числѣ и она сама; онъ былъ благовоспитанъ, казался внѣшне порядочнымъ, былъ со всѣми предупредителенъ, умѣлъ держать себя ровно и спокойно, изъ деликатности одинаково пожималъ руки подлецамъ и честнымъ, но душевный міръ его оставался для нея непроницаемой тайной: ни одного слова откровенности, ни одного намека на то, какъ жилось и чѣмъ жилось; казалось, онъ считалъ всѣхъ чужими для себя и себя чужимъ для всѣхъ. Княжна уже успѣла дать ему кличку «замороженнаго».

И какъ же удивилась она, когда, послѣ двухнедѣльнаго отсутствія, въ имѣніе снова вернулся изъ Петербурга Ефимъ Петровичъ, сильно похудѣвшій и съ озабоченнымъ выраженіемъ на лицѣ. Княжна, встрѣтившись съ нимъ за обѣдомъ, даже не освѣдомилась о томъ, что его задержало въ Петербургѣ, зная очень хорошо, что отвѣтъ будетъ уклончивый и неохотный, и не мало удивилась, когда онъ самъ неожиданно сообщилъ ей:

— Пришлось просидѣть двѣ недѣли у постели больного ребенка!

Она взглянула на него выразительнымъ недоумѣвающимъ взглядомъ и переспросила:

— У постели больного ребенка?

Она думала, что она ослышалась.

— Да, едва удалось спасти отъ смерти... на волосокъ отъ нея былъ.

Ему даже теперь было жутко вспомнить эти дни и ночи безпрерывнаго бреда, это страшную борьбу молодой жизни

со смертью, этотъ страхъ беззащитнаго ребенка передъ грозною смертью.

Она посмотрѣла на его серьезное, озабоченное лицо. Въ немъ было что-то новое.

— Твой?—коротко спросила она.

— О, нѣтъ!—поторопился отвѣтить онъ.—Мальчикъ уже десяти лѣтъ...

И пояснилъ:

— Онъ и его братъ несчастныя сироты, я принимаю въ нихъ большое участіе.

— Я и не подозрѣвала, что ты такъ любишь дѣтей,—замѣтила княжна.

Она чуть не сказала: «что ты можешь такъ любить дѣтей».

Онъ угадалъ ея мысли по тону голоса.

— Да, ma tante, я и самъ еще полгода тому назадъ не подозрѣвалъ, что я могу любить кого бы то ни было,—сказалъ онъ просто, искренно, даже не думая рисоваться; въ его голосѣ послышалась горечь.

Для княжны это было нѣчто новое, пріятно поразившее ее. Она поспѣшила спросить:

– Но теперь, надѣюсь, опасность миновала?

— О, да... но ребенокъ еще очень слабъ... остается надежда на лѣто... чистый воздухъ, природа сдѣлаютъ свое дѣло...

— Что-жъ ты не возьмешь дѣтей сюда? Здѣсь бы мальчикъ совсѣмъ окрѣпъ...

Онъ слегка замялся.

— Дѣти не одни... У нихъ тетка... Она ни за что не отпуститъ ихъ отъ себя... Она дала слово ихъ покойной матери заботиться о нихъ... и тоже горячо полюбила ихъ...

Княжна пожала плечами.

— Слава Богу, у насъ мѣста для десятерыхъ найдется...

Онъ опять смутился.

— Это, ma tante, женщина не нашего круга,—наконецъ, пояснилъ онъ.

Княжна возразила:

— Да вѣдь мы же ее сюда не для знакомства пригласимъ, а только для того, чтобы она была при дѣтяхъ... Наконецъ, нашъ маленькій флигель даже не соприкасается съ большимъ домомъ и нашимъ садомъ... И она, и дѣти будутъ тамъ вполнѣ самостоятельны, какъ нанимающіе отдѣльную дачу люди... Ребенокъ тутъ вполнѣ поправился

бы среди сосноваго лѣса и песку, и это утѣшило бы тебя, если онъ дорогъ тебѣ...

Обѣдъ былъ уже конченъ, Екатерина Ивановна Смурова уже ушла къ себѣ въ комнату. Князь и княжна были одни. Черемисиновъ закусилъ губы и заходилъ въ волненіи по комнатѣ. Его тронуло участіе тетки, ему улыбалось ея предложеніе, но онъ чувствовалъ, что онъ долженъ отказаться отъ этой заманчивой перспективы поселить въ своемъ имѣніи дѣтей и Алису Николаевну. Онъ отрывисто проговорилъ:

— У этой женщины, ma tante, есть прошлое...

— А-а!—тихо протянула княжна.

И, сдвинувъ черныя брови, закончила рѣзко:

— Конечно, и такое же позорящее настоящее?

— Да, это моя любовница!—рѣшительно и рѣзко пояснилъ Черемисиновъ.

Княжна вспылила.

— Ну да, ну да, вы вѣдь не умѣете иначе жить: надо соблазнить какую-нибудь дѣвочку, надо отбить у кого-нибудь жену, надо сдѣлать свидѣтелями этой грязи невинныхъ дѣтей, однимъ словомъ надо такъ или иначе осквернить любовь, семью, нравственность! Святого вѣдь ничего нѣтъ, кромѣ своего я, своихъ низкихъ прихотей, своихъ позорныхъ капризовъ.

Княжна остановилась, взглянувъ на Ефима Петровича. Онъ, блѣдный, какъ полотно, уже сидѣлъ на креслѣ, опершись локтями въ колѣни и опустивъ голову на руки, точно преступникъ, слушающій строгій приговоръ.

XVI.

— Вы, ma tante, и представить себѣ не можете, до чего можетъ довести, дотерзать, добить жизнь! — задумчиво говорилъ князь, сидя наединѣ съ княжною и исповѣдуясь передъ ней.

День уже клонился къ концу, на дворѣ вечерѣло и становилось темно, но ни князь, ни княжна не приказывали зажигать свѣчей... Нервы князя, и безъ того сильно расшатанные, сперва разгульною безшабашною жизнью въ ранней юности, потомъ тяжелой болѣзнью во время перелома руки и ноги, еще болѣе расшатались во время смертельной болѣзни Леши за послѣднія двѣ недѣли. Эти двѣ недѣли прошли какъ какой-то страшный кошмаръ и для Алисы Николаевны, и для него. Ей вспомнилось у постели больного ребенка все ея позорное, унизительное прошлое. То ей каза-

лось, что Богъ ее караетъ за это прошлое, и ее охватывалъ суевѣрный ужасъ простого примитивнаго человѣка, испытывающаго непобѣдимый страхъ передъ Богомъ-карателемъ, передъ Богомъ-мстителемъ. То поднимался у нея въ душѣ вопросъ, точно ли она такъ страшно виновата въ этомъ прошломъ, не было ли это прошлое чѣмъ-то роковымъ и неизбѣжнымъ, зависѣвшимъ не отъ нея одной, а отъ обстоятельствъ или «отъ злыхъ людей», какъ думала она въ душевной простотѣ? То являлась потребность молиться и каяться, являлось неотразимое влеченіе съѣздить на могилку сестры и поискать ея заступничества у Бога за больного ребенка: ни на минуту не сомнѣвалась она, что сестра, какъ и всѣ покойники, видитъ и знаетъ все, что дѣлается здѣсь, на землѣ. И во всѣхъ случаяхъ являлись все новыя и новыя думы и думы — бездѣйствовавшая прежде голова работала теперь неустанно. Эта болѣзненная нервозность несчастной дѣвушки сообщалась и князю, и онъ по цѣлымъ часамъ выслушивалъ въ ночной тишинѣ у постели больного бредившаго ребенка ея скорбные крики, вырывавшіеся изъ души отъ нестерпимой чисто физической боли. Въ двѣ недѣли онъ узналъ то, чѣмъ онъ не интересовался въ теченіе цѣлыхъ лѣтъ,—узналъ, что она, красавица, съ которой онъ когда-то упивался шампанскимъ, которая смѣялась съ нимъ до слезъ въ циркѣ и балетѣ, которую онъ одаривалъ брильянтами, была глубоко несчастна.

— Пѣсни распѣвала, людей тѣшила, а что на душѣ было—это одинъ Богъ знаетъ,—отрывисто говорила она.— Руки оставалось на себя наложить... если бы не ты спасъ. Какъ избитая собачонка, рада я была, что ты приласкалъ, не издѣваясь, не топча въ грязь...

А онъ въ душѣ сознавалъ, что онъ только потому не издѣвался надъ ней, не топталъ ее въ грязь, что былъ «благовоспитанъ» и «не могъ унизить—не ее, а себя—до издѣвательства». Онъ въ тѣ дни могъ дѣлать незамѣтно брезгливыя гримасы и высокомѣрно пренебрегать ею въ душѣ, когда она говорила «рукамъ» и «ногамъ» вмѣсто «руками» и «ногами», но поправлять ее, воспитывать онъ никогда бы не сталъ, такъ какъ въ ея лицѣ ему была нужна не подруга жизни, не собесѣдница, а только любовница на время, до встрѣчи съ болѣе пикантной дѣвушкой, которую можно было также купить.

И подъ вліяніемъ этой измученной простой души князь становился какъ бы другимъ человѣкомъ: ея нервоз-

ность передавалась ему, и у него проснулась потребность взглянуть на свое прошлое, исповѣдываться, если не передъ нею, то передъ самимъ собою. Она безъ всякихъ чужихъ вліяній, безъ умныхъ книгъ, безъ помощи болѣе развитыхъ людей, просто подъ гнетомъ ненавистнаго ея натурѣ образа жизни, однимъ инстинктомъ дошла до многаго; онъ, напротивъ того, поневолѣ отрезвившись за послѣдніе годы, засѣвъ отъ томительной скуки за книги, столкнувшись съ болѣе серьезными людьми, чѣмъ прежній кружокъ его товарищей, сталъ уже не со вчерашняго дня болѣе критически и строго относиться къ тому образу жизни, который онъ велъ до сихъ поръ, и почти съ отчаяніемъ сознавать, что ни къ какому другому образу жизни онъ не подготовленъ.

— Да, тяжело сдѣлаться тому порядочнымъ человѣкомъ,— говорилъ онъ съ горечью:—въ комъ воспитали только тѣло, научили порядочно держаться въ обществѣ, быть внѣшне чистенькимъ, выхоленнымъ и франтоватымъ, а въ дѣлѣ духовнаго развитія—даже и религіи-то научили только настолько, чтобы научить фарисействовать или кощунствовать надъ нею...

И съ тою же горечью добавилъ:

— Нужно было ноги и руки въ пьяномъ видѣ переломать, нужно было инвалидомъ сдѣлаться, чтобы отрезвиться и задуматься о жизни...

Далеко за полночь продлилась бесѣда княжны съ Ефимомъ Петровичемъ. Она вся состояла изъ горькихъ признаній въ безпутно проведенной молодости и изъ взрывовъ негодованія противъ той среды, гдѣ калѣчатъ людей съ колыбели, не приготовляя изъ нихъ серьезныхъ и честныхъ дѣятелей. Съ свойственною ей прямотою и рѣзкостью, княжна созналась ему, что и она съ первой же встрѣчи съ нимъ послѣ долголѣтней разлуки осталась недовольною имъ, съ равнодушіемъ къ добру и злу, его бездѣятельностью, его духовною пустотою. Княжна теперь увидала передъ собою не переродившагося, не новаго человѣка, а человѣка, который уже созналъ, что ему нужно сдѣлаться инымъ, чѣмъ онъ есть.

Они разстались оба съ облегченными сердцами...

Дня черезъ два послѣ этого вечера, княжна начала особенно заботливо освѣдомляться о здоровьѣ Екатерины Ивановны Смуровой, находя, что та еще болѣе похудѣла и по[illegible]тѣла, и настаивая на необходимости серьезно перегово-

рить съ домашнимъ докторомъ. Смурова, которой такъ хотѣлось подольше пожить, даже испугалась и стала пристально всматриваться въ зеркало: уже и точно не перемѣнилась ли она до неузнаваемости, не лежитъ ли на ея лицѣ печать смерти? Когда докторъ явился, княжна стала разсказывать, какъ ее тревожитъ здоровье Екатерины Ивановны, и стала наводить его на мысль о томъ, что, вѣроятно, Екатеринѣ Ивановнѣ помогли бы опять заграничное путешествіе и воды, какъ это было уже лѣтъ пять тому назадъ, когда обѣ старухи предпринимали путешествіе. Докторъ, со своей стороны, хотя и не находилъ ничего сколько-нибудь серьезнаго въ состояніи здоровья Смуровой, но, угадывая, что самой самодуркѣ-княжнѣ, вѣроятно, хочется попутешествовать, согласился, что Екатеринѣ Ивановнѣ непремѣнно нужны именно и путешествіе, и воды...

— А мы съ Катишь опять уѣдемъ мѣсяца на три за границу,—сказала княжна Ефиму Петровичу послѣ визита доктора.—Докторъ совѣтуетъ...

Онъ удивился:

— Что случилось?

— Да нездорова она... Запускать болѣзней нельзя въ нашемъ возрастѣ,—пояснила тетка и, какъ бы кстати, тутъ же замѣтила:—Тебѣ скучновато будетъ здѣсь одному... вотъ бы мальчугановъ твоихъ перевезти сюда...

Онъ посмотрѣлъ на нее какъ-то странно и крѣпко пожалъ ея руку. Они, кажется, поняли другъ друга.

XVII.

Князь получилъ письмо. Въ немъ было написано:

«Добрѣйшій князь Ефимъ Петровичъ! Не нахожу словъ для своего оправданія за безпокойство, которое я причиняю Вашему Сіятельству, утруждая Васъ этимъ письмомъ. Но видитъ Богъ, что только крайняя нужда заставляетъ меня взяться дрожащею рукою старца за перо и описать тѣ обстоятельства, которыя поставили меня въ необходимость еще разъ обратиться къ Вамъ. Когда я имѣлъ честь бесѣдовать съ Вами въ моей жалкой конурѣ, я былъ захваченъ врасплохъ. Потрясенный Вашимъ неожиданнымъ предложеніемъ, скорбя, что я долженъ не видѣть болѣе своихъ дѣтой, и въ то же время радуясь, что они попали въ такія руки, какъ Ваши благородныя и щедрыя руки, мой благодѣтель, я не могъ выяснить Вашему Сіятельству

сущность моего отчаяннаго положенія: я мало того, что былъ лишенъ тогда всякой возможности поддерживать свое дальнѣйшее существованіе, но былъ еще обремененъ долгами и постоянно преслѣдуемъ кредиторами. Вы улыбнетесь, Ваше Сіятельство, узнавъ сумму моего долга, такъ какъ она должна быть крайне ничтожна въ глазахъ Вашихъ, но я — нищій, и для меня она ужасающе громадна. Я долженъ разнымъ лицамъ сто двадцать одинъ рубль и сорокъ копеекъ. Узнавъ, что Вы, Ваше Сіятельство, приняли участіе въ моихъ дѣтяхъ и ради нихъ поддерживаете мое ничтожное существованіе, мои кровопійцы-кредиторы начали травлю и, выражаясь фигурально, схватили меня за горло и требуютъ уплаты долга. Тщетно объяснялъ я имъ, что получаемые мною отъ щедротъ Вашего Сіятельства гроши при нынѣшней дороговизнѣ едва хватаютъ мнѣ на одежонку и пропитаніе, тщетно я, какъ честный человѣкъ, объяснялъ имъ, что я не въ силахъ эксплоатировать Васъ,—злодѣи и слышать не хотятъ, укоряя и понося меня, говоря, что я не такой человѣкъ, чтобы продать за ничто своихъ дѣтей. Слезы застилаютъ мои глаза при воспоминаніи объ этихъ клеветахъ злодѣевъ, объ этихъ обидахъ, и силъ моихъ нѣтъ передать Вамъ, моему благородному благодѣтелю, тѣ напраслины, которыя взводятся моими врагами рядомъ со мною и на Васъ, и на Аграфену Николаевну... Эти-то страданія и заставили меня, сгорая отъ стыда, прибѣгнуть къ стопамъ Вашего Сіятельства и просить Васъ удовлетворить, по силѣ возможности, моихъ злодѣевъ и кровопійцъ. А я, вѣчно благодарный Вамъ и, какъ собака, преданный, буду молить Господа: да продлитъ Онъ на долго дни Вашего Сіятельства на благо человѣчества.

Извѣстный Вамъ

Иванъ Петровъ Поповъ.

P. S. Трепещу, жду отвѣта. Жду отвѣта!».

Князь скомкалъ это письмо и нервно заходилъ по комнатѣ, тяжело опираясь на палку. Попрошайка! Піявка!.. Въ растворенное окно его деревенскаго кабинета, между тѣмъ, плылъ ароматный лѣтній воздухъ и доносился оживленный говоръ Аграфены Николаевны, Васи и Леши, чередовавшійся съ ихъ смѣхомъ. Князь подошелъ къ окну и засмотрѣлся на эту группу дорогихъ ему лицъ, сидѣвшихъ на ступеняхъ террасы.

— Съ чего я волнуюсь?—почти вслухъ проговорилъ онъ,

пожимая плечами и насмѣшливо улыбаясь.—Швырнуть старику какіе-нибудь полтораста рублей, и конецъ... Развѣ онъ виноватъ, что и нищій, и пропойца?

И затѣмъ, уже совершенно спокойный, онъ вышелъ на террасу.

— А вотъ и князинька нашъ идетъ,—произнесъ совсѣмъ какъ маленькій ребенокъ, съ ласковой улыбкой, Леша, завидѣвъ князя.

Мальчикъ былъ еще худъ и блѣденъ, смотрѣлъ малымъ ребенкомъ, но его обстриженные во время болѣзни кудри уже начинали отрастать и дѣлали эту головку похожею на головку херувима. Князь подошелъ къ нему и, вглядываясь въ его очаровательное личико, спросилъ, какъ онъ себя чувствуетъ. Мальчикъ поднесъ молча его руку къ губамъ, глядя благодарными голубыми глазами на него. Въ его лицѣ было выраженіе обожанія.

— Мы, Ефимъ Петровичъ, сегодня до самаго лѣса дошли!—сказалъ Василій.

— Ого! — замѣтилъ князь. — Но утомляться все же еще не слѣдуетъ.

— Да онъ теперь совсѣмъ молодцомъ у насъ сталъ, — отвѣтилъ Василій.

Онъ не безъ гордости сознавалъ, что и онъ, вмѣстѣ съ княземъ и теткой, отвоевалъ у смерти Алексѣя.

— Ты тоже ходила съ ними, Груша? — спросилъ князь, обращаясь къ Радиной.

— Да, — отвѣтила Аграфена Николаевна. — Какъ легко здѣсь дышится. Не то, что въ Петербургѣ.

Они всѣ были довольны и счастливы, стараясь забыть о своемъ прошломъ, о Петербургѣ, о людяхъ.

Не забывали только о нихъ люди. Дядя князь Иванъ положительно билъ тревогу, лишившись возможности жуировать и кутить на счетъ тороватаго племянника и занимать у послѣдняго безъ счету деньги. Куда бы ни являлся онъ, вездѣ начинались толки «о невозможномъ» поведеніи князя Ефима Петровича и княжны Ольги Дмитріевны, которая «очистила поле сраженія», для этой «милой женщины», уѣхавъ изъ имѣнія.

— Черемисиновы всегда были и останутся самодурами!— сраторствовалъ князь.—Нужно только удивляться, что до сихъ поръ они не признаны формально умопомѣшанными и еще не отданы подъ опеку!

И онъ перебиралъ въ злой памяти всѣхъ Черемисиновыхъ, отличавшихся самодурствомъ. Не довольствуясь словесными громами, князь Иванъ разсылалъ письма къ своимъ

роднымъ съ жалобами на постыдное поведеніе племянника: разумѣется, болѣе всего жалобъ летѣло къ матери Черемисинова, которой писалось и о недостойномъ поведеніи ея сына, и о возможности послѣдняго семейнаго скандала, т.-е. возможной женитьбѣ князя на падшей женщинѣ. Князь Ефимъ Петровичъ только изрѣдка узнавалъ, что о немъ помнитъ князь Иванъ, получая отъ матери письма, и не безъ отвращенія задумывался о поведеніи тѣхъ, кто упрекалъ и осуждалъ его за его паденіе. Еще чаще узнавалъ онъ, что его не забыли въ Петербургѣ, получая письма, начинавшіяся словами: «Добрѣйшій князь». Эти письма, написанныя какъ бы концомъ булавки съ массой закорючекъ, тонкимъ и нитеобразнымъ, но дрожащимъ почеркомъ пьяницы, заключали въ себѣ одно и то же содержаніе—заявленіе то о внезапной болѣзни, «постигшей престарѣлаго бѣдняка» и держащей его «на одрѣ смерти», то о «безсовѣстныхъ и безчестныхъ ворахъ», воспользовавшихся «недвижимостью больного старца» и обокравшихъ у него послѣдній скарбъ, то о необходимости «удрученному годами, невзгодами и недугами старику» нанять кого-нибудь для ухода за нимъ, а слѣдомъ за этими заявленіями шли униженныя просьбы о вспомоществованіи и сѣтованія о томъ, что «Богъ не прекращаетъ дней живота его, никому ненужнаго старца». Изобрѣтательность «удрученнаго невзгодами и годами старца» была неисчерпаема настолько, что ей могъ бы позавидовать любой молодой человѣкъ. Эти безчисленныя письма князь комкалъ и бросалъ, но потомъ, усмѣхаясь, рѣшалъ, что не стоитъ волноваться изъ-за грошей, и посылалъ эти гроши «нищему». Иногда Поповъ даже смѣшилъ его своею находчивостью: какъ-то разъ князь черкнулъ пару словъ о томъ, что онъ вовсе не понимаетъ, зачѣмъ тотъ прикидывается «старцемъ», когда князь знаетъ хорошо «его возрастъ». Поповъ не смутился и отвѣтилъ ему, что тотъ, кто пережилъ «севастопольскіе годы», въ одинъ годъ сдѣлался старше на двѣнадцать лѣтъ.

— Нечего сказать, находчивъ!—рѣшилъ князь и послалъ денегъ и на этотъ разъ.

Еще одинъ человѣкъ напомнилъ князю, что о немъ не забыли. Изъ-за границы подъ осень получилась посылка: въ ней были деревянныя швейцарскія издѣлія для дѣтей и букетъ цвѣтовъ, обмотанный дорогими кружевами, съ надписью рукой княжны Ольги Дмитріевны:

«Передай это за дѣтей ихъ теткѣ».

Часть вторая.

I.

Въ «приготовительной школѣ» Анны Ивановны Бѣльской готовилось большое торжество. Школа праздновала пятнадцатилѣтіе своего существованія. По парадной лѣстницѣ то и дѣло шмыгали ученики, то въ-одиночку, то группами, одни съ пустыми руками, другіе съ букетами цвѣтовъ, съ цвѣточными корзинками и даже съ подарками. Лица у всѣхъ дѣтей были оживленныя, раскраснѣвшіяся, праздничныя, какъ ихъ наряды. Около незапертыхъ входныхъ дверей толпились пѣвчіе, въ синихъ съ золотыми галунами кафтанахъ, вышедшіе освѣжиться на лѣстницу, такъ какъ въ тѣсномъ помѣщеніи школы было уже душно. Былъ уже первый часъ пополудни и ожидали только «батюшку» для начала молебна. Онъ обѣщалъ пріѣхать тотчасъ послѣ обѣдни. Анна Ивановна волновалась въ это утро едва ли не болѣе, чѣмъ въ тотъ день, когда она, еще совсѣмъ юная, шла подъ вѣнецъ. Болѣе всего озабочивалъ ее молебенъ. Разъ десять она успѣла уже спросить Александру Васильевну, точно ли та знаетъ, что приглашенный ею для молебна «батюшка» хорошій проповѣдникъ, и что онъ сумѣетъ сказать назидательную рѣчь собравшимся на празднество ученикамъ и ихъ родителямъ.

— Ты пойми, Шурочка,—поясняла Бѣльская, задерживая несшую закуски племянницу на дорогѣ изъ кухни въ классъ, превращенный на этотъ день въ столовую:—что именно теперь и именно батюшка долженъ выяснить этимъ темнымъ людямъ, какъ нужно смотрѣть на школу, чего отъ нея нужно ждать. У насъ этого, къ несчастію, не знаютъ даже довольно образованные люди... Школа вѣдь это тотъ же храмъ,

который долженъ вносить въ человѣческую жизнь первые лучи свѣта.

— Тетя, голубчикъ, да вы лучше ужъ сами скажите проповѣдь за батюшку,—пошутила Александра Васильевна, цѣлуя тетку.—А мнѣ, право же, теперь некогда говорить о возвышенныхъ предметахъ; надо подумать о завтракѣ, чтобы всего хватило на всѣхъ...

— Да, да, какъ много пришло народу. Я не ожидала. Всѣ старые воспитанники... Съ какой гордостью я смотрю на нихъ, на ихъ успѣхи... Какіе молодцы вышли...

— Ну, да, да, все геніи и все потому, что мы учили ихъ азбукѣ...

Анна Ивановна хотѣла серьезно возражать, но Александра Васильевна, бодрая, веселая, съ ямками на веснущатыхъ щекахъ, уже неслась далѣе, не слушая ея.

— Ну, ну, помогите мнѣ покуда разложить и разставить посуду, а то васъ послѣ молебна, какъ одно изъ чудесъ, публикѣ показывать будутъ,—обратилась она къ приземистому черноволосому юношѣ лѣтъ семнадцати, не особенно красивому собой, но съ удивительными черными глазами, похожими на бархатъ.

— Меня, показывать, какъ чудо? Это еще что за новость?—спросилъ онъ, принимаясь за работу.

Его голосъ могъ поспорить мягкостью съ его бархатнымъ взглядомъ.

— Да, да, сегодня вѣдь тетя будетъ демонстрировать, что можетъ сдѣлать изъ дѣтей хорошая школа,—пояснила Александра Васильевна.

— Я въ примѣръ не гожусь,—замѣтилъ онъ, отрицательно качая головой.—Пусть Лешу демонстрируютъ!.. Онъ первый ученикъ гимназіи...

— Его даже и нѣтъ здѣсь...

— Да, побоялся полугодовыя репетиціи пропустить... Онъ посерьезнѣе меня относится къ ученью.

— Изъ боязни...

— Ну, изъ боязни или отъ серьезнаго отношенія къ ученью, а все же онъ не то, что я...

— Да, да, вы вѣдь запоемъ учитесь: то приливы, то отливы...

— Да, запоемъ,—съ горечью повторилъ онъ это слово и отчего-то покраснѣлъ до ушей.—Страшное это дѣло—запой!

Она, не слушая его, вся охваченная хозяйственными заботами, воскликнула:

— Да какъ вы раскладываете ножи и вилки... Не по приборамъ надо класть, а грудами... вѣдь завтракъ à la fourchette...

Онъ сталъ собирать ножи, вилки и ложки въ кучки.

— А вѣдь мама Аня отчасти права,—задумчиво замѣтилъ онъ.—Если она не можетъ показывать насъ, какъ образцы сотворенныхъ ею чудесъ прилежанія, нравственности... то все же многихъ изъ насъ можно показывать, какъ образцы привязанности воспитанниковъ къ доброй воспитательницѣ,—собачьей привязанности...

— Не сентиментальничайте, Вася, а смотрите, что вы дѣлаете!.. Кто же кладетъ ножи и вилки остріями къ краямъ стола!.. Заколоть и зарѣзать всѣхъ хотите, что ли?..

— Ну, вотъ видите,—засмѣялся онъ, качая головой:—какое же я чудо, если даже вилокъ и ножей не умѣю, какъ слѣдуетъ, положить.

— Да вѣдь вы и это отъ тети заимствовали: она тоже въ практической жизни на пятилѣтняго ребенка похожа... по части философско-нравственныхъ сентенцій—столѣтняя старуха, по части практичности—грудной ребенокъ... Тс!—остановила она его движеніемъ руки, прислушиваясь и сдвигая брови:—не громыхайте такъ посудой... Тамъ уже начинается пѣніе... Пойдемте молиться!.. Тутъ все, кажется, въ порядкѣ?..

И Александра Васильевна, бросивъ послѣдній инспекторскій взглядъ на накрытые столы съ закусками и виномъ, довольная тѣмъ, что все въ порядкѣ, понеслась изъ столовой въ гостиную, гдѣ уже начался молебенъ.

Юноша не послѣдовалъ за нею. Онъ въ раздумьѣ подошелъ къ окну и остановился, безцѣльно смотря на развертывавшуюся передъ угловымъ окномъ школы картину. Какъ давно привыкъ онъ къ этой картинѣ—къ виду этого перекрестка двухъ шумныхъ, кипящихъ жизнью, торговыхъ улицъ, уходившихъ куда-то далеко-далеко къ разнымъ концамъ города! Сколько дней, мѣсяцевъ и лѣтъ провелъ онъ въ этой школѣ, въ этой обители честнаго труда! Сколько новыхъ чувствъ и мыслей прошло въ его головѣ здѣсь подъ вліяніемъ матерински добрыхъ наставленій мамы Ани,—такъ онъ уже давно началъ звать Анну Ивановну,—подъ вліяніемъ науки, чтенія и тѣхъ добрыхъ примѣровъ, которые онъ видѣлъ здѣсь ежедневно!

Когда-то его и его брата привезли сюда сущими дикарями, только-что потерявшими мать и отнятыми у пьяницы-

отца, и здѣсь впервые онъ увидѣлъ честный трудъ, услышалъ впервые, что за всѣ попеченія и заботы людей о немъ онъ можетъ отплатить, только сдѣлавшись честнымъ и добросовѣстнымъ работникомъ. Здѣсь онъ услышалъ впервые заставившія его задуматься слова: «О, какое великое благо имѣть право прямо глядѣть въ глаза людямъ, сознавая, что исполняешь добросовѣстно взятый на себя трудъ»... «Нѣтъ ничего выше сознанія, что живешь на честно заработанныя деньги, не отнятыя ни у кого, не награбленныя нигдѣ, не пріобрѣтенныя ни подлостью, ни униженіемъ, ни преступленіемъ». Все это теперь для него прописныя сентенціи, общія мѣста, банальныя фразы, наивныя выраженія наивной вѣры въ силу слова, а тогда эти слова открыли для него новый міръ, пробудили новые взгляды, новыя мысли. Теперь, когда онъ мысленно всматривается въ туманную даль прошлаго, ему кажется, что именно со дня вступленія въ этотъ домъ, онъ изъ безсмысленнаго животнаго превратился въ человѣка, то-есть, сталъ думать, сталъ сознавать, почему онъ поступаетъ такъ, а не иначе, сталъ дѣлить людей на злыхъ и добрыхъ, на честныхъ и подлецовъ, на глупыхъ и умныхъ, на симпатичныхъ и отталкивающихъ. И какимъ громаднымъ кажется ему теперь разстояніе, отдѣляющее его отъ того времени, когда онъ вошелъ въ этотъ домъ ребенкомъ-звѣркомъ. Сколько разнообразныхъ событій произошло въ эти годы. Вотъ они съ братомъ живутъ зиму пансіонерами въ этой квартирѣ и усердно учатся подъ руководствомъ двухъ учительницъ; вотъ онъ впервые проводитъ лѣто среди природы, въ деревнѣ князей Черемисиновыхъ, у дяди и тетки; вотъ его и его брата отдаютъ въ частную гимназію, гдѣ по преимуществу учатся дѣти богачей, лѣнтяи или опоздавшіе къ экзаменамъ казенныхъ гимназій, какъ опоздали они съ братомъ, засидѣвшись въ деревнѣ, но жить они остаются попрежнему у мамы Ани, такъ какъ она упорно, во имя охраненія ихъ нравственности, какъ отъ заразы, отстояла ихъ отъ пансіонерства въ этой порядочно распущенной гимназіи, гдѣ за деньги давались аттестаты первымъ лѣнтяямъ; вотъ еще нѣсколько зимъ онъ находится подъ ея вліяніемъ, усердно переписываясь съ княземъ и теткой, уѣхавшими сперва за границу, по случаю съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе развивавшейся болѣзни князя, а потомъ, послѣ смерти княжны Ольги Дмитріевны Черемисиновой, старой тетки князя, окончательно поселившимися въ деревнѣ, куда и онъ, и его братъ ѣздятъ теперь лѣтомъ, на каникулы, и

зимой, на большіе праздники, гостить. Какимъ-то смутнымъ, какъ исчезающій, какъ бы тающій въ отдаленіи берегъ моря передъ глазами уѣзжавшаго въ путь моряка, сталъ представляться ему тотъ отдаленный подвалъ, гдѣ когда-то ныла его умирающая мать, гдѣ бушевалъ его пьяный отецъ, гдѣ ворчалъ что-то какой-то выжившій изъ ума старикъ, гдѣ онъ самъ давно-давно, совсѣмъ ребенкомъ, жилъ въ смрадной конурѣ, бѣгалъ въ кабаки за косушками водки, огрызался за колотушки передъ пьянымъ отцомъ. Это былъ смутный и тяжелый сонъ! Смѣна чрезвычайныхъ событій, новое, сказочно измѣнившееся положеніе, масса новыхъ познаній, впечатлѣній и занятій заслонили все это собою, и къ тому же онъ еще не доросъ до того возраста, когда люди уже перестаютъ жить только настоящимъ и отдаваться только мечтамъ о будущемъ, а начинаютъ уноситься въ прошлое и тѣшить себя воспоминаніями. Только сегодня, вотъ въ эту минуту, онъ, какъ-то вдругъ, оглянулся на это прошлое подъ вліяніемъ школьнаго юбилея, какъ, можетъ-быть, и мама Аня оглядывается теперь на свое прошлое. Да ей и есть, что вспомнить, если не съ гордостью—нѣтъ, на гордость она не способна!—то съ свѣтлымъ чувствомъ удовлетворенія, съ свѣтлымъ сознаніемъ, что она не даромъ прошла свой жизненный путь, а ему... о чемъ ему вспоминать съ чувствомъ удовольствія, когда имъ еще ничего не сдѣлано въ жизни, когда она еще вся впереди?.. Заглянуть бы вотъ туда, въ эту туманную даль будущаго!

Онъ внезапно вздрогнулъ отъ разнесшагося по квартирѣ возгласа пѣвчихъ:

— Мно-га-я лѣ-та! мно-га-я лѣта!

Молебенъ, очевидно, кончился. Въ сосѣдней комнатѣ начались движеніе, шумный говоръ, топотъ дѣтскихъ ногъ, шуршаніе дамскихъ юбокъ...

II.

Приглашенная въ столовую Анною Ивановною публика внесла съ собою струю теплаго, немного прѣлаго и пропитаннаго запахомъ ладана, удушливаго воздуха и, проголодавшись, шумливо и поспѣшно разомъ приступила къ столамъ съ закусками. Уже черезъ нѣсколько минутъ комната огласилась звономъ рюмокъ, стукомъ ножей и вилокъ, и начали раздаваться возгласы:

— А кто же спичъ скажетъ?

— Безъ спича нельзя!

— Выпить бы надо за здоровье почтенной юбилярши!

Анна Ивановна, сіяющая каждой морщинкой худенькаго лица и со стоящими въ глазахъ слезами умиленія, все заботилась какъ бы и радушно угостить незнакомаго ей лично «батюшку», и вполнѣ высказать ему въ то же время свои взгляды на воспитаніе, на свое «святое дѣло».

— Тетя, да вы хоть на минуту забудьте объ этомъ, — приставала къ ней, ласково улыбаясь, Александра Васильевна:—а то «батюшка» и такъ усталъ, и проголодался...

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего тоже!—благодушно возражалъ ей «батюшка», продолжая истреблять кусокъ кулебяки. — Я и ѣмъ, и слушаю... любопытно тоже, барышня, что ваша тетушка такъ любитъ свое дѣло... Это по нынѣшнимъ временамъ рѣдкость тоже... нынче все больше утроба... тоже...

— Какого вина прикажете вамъ налить?.. Мадеры?

— Нѣтъ, барышня, не употребляю никакихъ крѣпкихъ напитковъ... Если позволите, барышня, то красненькаго...

— О, да развѣ можно жить безъ идеала, безъ святыни въ умѣ и сердцѣ? — воскликнула Анна Ивановна, отвѣчая на замѣчаніе «батюшки» объ утробѣ.—Нѣтъ ихъ, и цѣлый міръ покажется пустыней, безсмыслицей... Только они и осмысливаютъ жизнь...

— Понимаютъ это, къ сожалѣнію, нынѣ мало тоже...

Кто-то загремѣлъ ножомъ по тарелкѣ, прервавъ разговоръ «батюшки».

— Тише!.. тише!.. Рѣчь!..

Всѣ немного поутихли. «Батюшка» прихлебнулъ и сталъ заботливо отирать бороду отъ слѣдовъ кулебяки, приготовляясь слушать. Началась хвалебная рѣчь съ вступительной громкой фразой: «пятнадцать лѣтъ труда — это легко сказать, но это не легко пережить» и съ обычнымъ выкрикиваемымъ концомъ: «выпьемъ же за здоровье почтенной юбилярши, урра!»

Анна Ивановна прослезилась, благодарила, чокалась со всѣми и была довольна, какъ можетъ быть доволенъ престарѣлый ребенокъ, и проповѣдью «батюшки», и рѣчью одного изъ гостей, ни на минуту не задумываясь надъ тѣмъ, что точно такія же проповѣди и рѣчи говорились бы и тогда, если бы здѣсь праздновали юбилей самой послѣдней изъ содержательницъ школъ, такъ какъ на юбилеяхъ лгутъ такъ же беззастѣнчиво, какъ на похоронахъ. Судя по юбилейнымъ и похоронным рѣчамъ, хорошихъ людей на свѣтѣ хоть отбавляй. Анна Ивановна принимала все за чистую

монету и была убѣждена, что всѣ сочувствуютъ ей и понимаютъ ея чувства, съ которыми она представляла присутствующимъ то того, то другого изъ начавшихъ у нея ученье юношей, уже кончившихъ или кончавшихъ теперь ученье лучшими учениками въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

— Вотъ и еще одинъ предметъ моей гордости!—говорила она, подводя къ «батюшкѣ» высокаго и стройнаго, какъ жердочка, курчаваго блондина, только-что вошедшаго въ столовую.—Алексѣй Поповъ. Первый ученикъ частной гимназіи Рѣзваго, мой бывшій воспитанникъ и пансіонеръ.

Она съ материнской нѣжностью поцѣловала красавца-юношу въ раскраснѣвшуюся на морозѣ щеку, пока онъ цѣловалъ ея руку.

— Что же такъ запоздали тоже?—освѣдомился «батюшка», осѣняя крестнымъ знаменіемъ и протягивая для поцѣлуя свою выхоленную руку юношѣ, подошедшему къ нему подъ благословеніе.

— Нельзя было никакъ оставить училище. Сегодня у насъ очень серьезныя занятія: репетиціи полугодовыя,—пояснилъ тотъ.—Иногда за одинъ легкомысленный шагъ можно поплатиться навсегда, тѣмъ болѣе, что я на виду... примѣровъ бывало много...

— Благоразумно изволите разсуждать... благоразумно тоже,—одобрилъ его «батюшка», наливая себѣ краснаго вина.

— Кстати, я же успѣлъ поздравить Анну Ивановну первымъ, рано утромъ,—пояснилъ юноша.

— О, онъ вездѣ и всегда первый! — восторженно встала Анна Ивановна, глядя съ материнской лаской на юношу.

— Ахъ, если бы всегда и вездѣ!—вздохнулъ онъ и проговорилъ, обращаясь къ Аннѣ Ивановнѣ:—а я сейчасъ нашелъ у швейцара письмо на имя Василья изъ деревни и передалъ ему... Вѣроятно, княгиня и князь шлютъ вамъ свой привѣтъ и поздравленія... Василій въ деревню писалъ о приготовляющемся у васъ юбилеѣ...

Василій подошелъ въ это время къ группѣ разговаривающихъ, держа въ рукахъ небольшой листикъ бумаги, исписанный мелкимъ, неровнымъ, дѣтски невѣрнымъ, женскимъ почеркомъ. Это было только-что полученное письмо. Онъ смотрѣлъ озабоченно и хмуро.

— Тетка извѣщаетъ объ усилившейся болѣзни князя,— отрывисто пояснилъ онъ брату.—Она везетъ его сюда, такъ

какъ мѣстные доктора все еще не понимаютъ его болѣзни. Надо сейчасъ же будетъ съѣздить, приказать приготовить комнаты, которыя они постоянно во время пріѣздовъ сюда занимаютъ въ отелѣ.

Алексѣй поблѣднѣлъ, видимо испугавшись.

— Тетка не пишетъ: очень боленъ князь? опасно?—пугливымъ тономъ спросилъ онъ.

— Вѣрно, очень, если везутъ для совѣта съ врачами,— отвѣтилъ Василій и заявилъ Аннѣ Ивановнѣ, что онъ ѣдетъ въ отель распорядиться.

— Ты бы не ѣздилъ,—осторожно посовѣтовалъ Алексѣй.— Я сказалъ въ гимназіи, что ты по болѣзни не явился на репетиціи... вдругъ, встрѣтятъ теперь на улицѣ... мало ли что можетъ выйти.

— Очень нужно было врать, — отвѣтилъ Василій, пожимая плечами.

Онъ откланялся и пошелъ. Алексѣй покачалъ головой и вздохнулъ.

— Василій никогда не думаетъ о послѣдствіяхъ... неосторожень и отваженъ, точно пятилѣтній ребенокъ.

Потомъ, какъ бы думая вслухъ, онъ прибавилъ:

— Какая это тяжелая новость, усилившаяся болѣзнь князя. Страшно подумать, что будетъ, если князь умретъ. Мы еще покуда не стали на свои ноги...

— Ну, тетя васъ не оставитъ,—сказала Анна Ивановна.

— Конечно, конечно... Но у князя есть большія связи,— пояснилъ Алексѣй.—Онъ мнѣ обѣщалъ хлопотать за меня, если я вздумаю идти въ институтъ путей сообщенія... туда безъ протекціи трудно поступить... провѣрочныя испытанія и масса кандидатовъ...

— А вы по этой части хотите идти тоже? — спросилъ «батюшка».

— Да, тутъ же прямая карьера,—отвѣтилъ юноша.

— И братецъ вашъ туда же поступитъ тоже? — освѣдомился «батюшка».

— Братъ ничего не опредѣлилъ еще. Мечется еще... устойчивости нѣтъ.

Анна Ивановна вмѣшалась въ разговоръ.

— Онъ удивительно способный и любознательный юноша съ прекрасной душой! Развитіе не по лѣтамъ...

Ей всегда казалось, что ея Васю хотятъ чѣмъ-то обидѣть.

— Вы куда?—спросила Василія Александра Васильевна, встрѣтивъ его въ гостиной.

Онъ разсказалъ ей о случившемся.

— А вы все еще хлопочете, — замѣтилъ онъ, видя, что она тащитъ новую бутылку вина.

— Да вотъ вино красное несу «батюшкѣ»,—отвѣтила она.

Онъ разсѣяннымъ взглядомъ обернулся, какъ бы ища чего-то, и вдругъ, увидавъ пустой стаканъ, торопливо и рѣшительно взялъ его со стола и проговорилъ:

— Кстати, у меня совсѣмъ пересохло въ горлѣ... всегда это у меня отъ волненія... Дайте!

Онъ взялъ бутылку, налилъ вина и поспѣшно, точно боясь, что у него отнимутъ стаканъ, опорожнилъ его.

— Вотъ теперь и легче будетъ,—сказалъ онъ, крякнувъ, и скрылся изъ гостиной, какъ бы убѣгая отъ кого-то или отъ чего-то.

Александра Васильевна на минуту замедлила, смотря ему вслѣдъ, и потомъ, съ особенно рѣшительнымъ видомъ понесла вино «батюшкѣ». Но тотъ уже собирался въ это время домой:

— Ну, помогай вамъ всѣмъ Богъ... Мнѣ пора и до дому тоже! — говорилъ онъ, грузно поднимаясь съ мѣста и осѣняясь крестнымъ знаменіемъ.

Алексѣй опять подошелъ подъ его благословеніе, поцѣловалъ его руку и вмѣстѣ съ Анной Ивановной и Александрой Васильевной проводилъ въ переднюю почтеннаго старика.

III.

Въ просто убранномъ дорогою мебелью обширномъ кабинетѣ, на большой удобной кушеткѣ, обитой стеганной мягкой кожею, полулежалъ князь Ефимъ Петровичъ Черемисиновъ, привезенный въ Петербургъ для совѣта съ докторами. Передъ нимъ въ такихъ же кожаныхъ креслахъ сидѣлъ Василій Поповъ и неспѣшно и безшумно перелистывалъ книгу, внимательно просматривая нѣкоторыя страницы и потомъ осторожно продолжая опять переворачивать листы: онъ, очевидно, искалъ что-то на ея страницахъ.

— Не находишь? — слабымъ голосомъ спросилъ князь, полуоткрывъ глаза и прерывая молчаніе.

— Нѣтъ... но найду!—отвѣтилъ Василій.

— Давно я это читалъ... въ дѣтствѣ, въ какой-то хрестоматіи... въ Дистервегѣ, что ли?.. не помню теперь даже заглавія!.. помню только, что это изъ Жанъ Поль Рихтера...

И безпомощно откинувшись на подушку, онъ, какъ бы

думая вслухъ, съ полузакрытыми глазами медленно продолжалъ:

— Вотъ ужъ который день покоя не даетъ воспоминаніе объ этой статьѣ... тогда и вниманія не обращалъ на нее... какъ не обращалъ вниманія ни на что... а теперь, кажется, что въ ней весь смыслъ жизни... моей жизни... Конечно, капризъ, бредъ, нервничанье все это... Но... сознаю это, а отдѣлаться не могу отъ желанія перечитать ее снова... У меня, впрочемъ, теперь вся жизнь сплошной капризъ, бредъ и нервничанье.

Онъ тяжело вздохнулъ, сдѣлалъ невольно мучительную гримасу отъ боли и совсѣмъ закрылъ глаза. Онъ былъ похожъ теперь на покойника.

Въ послѣднія пять-шесть лѣтъ, князь Ефимъ Петровичъ измѣнился до неузнаваемости. Если бы не характерныя черныя, почти сросшіяся брови подъ узенькимъ лбомъ, если бы вообще не «черемисиновскія» черты лица, то въ этомъ ходячемъ скелетѣ съ ясно обозначавшимися лицевыми костями, обтянутыми желтой кожей, было бы трудно узнать прежняго молодцоватаго и надменно холоднаго кавалериста-кутилу. Онъ, съ перваго взгляда на него, казался теперь человѣкомъ, обреченнымъ на смерть. Такъ онъ и самъ уже давно смотрѣлъ на себя и лѣчился, созывалъ консиліумы докторовъ, ѣздилъ за границу къ самому Фрериху только потому, что не желалъ огорчать свою «Грушу», какъ онъ звалъ теперь княгиню Аграфену Николаевну, съ самоотверженіемъ и преданностью благодарной собаки ходившую за нимъ и старавшуюся угадать малѣйшія его желанія. Когда доктора его спрашивали, чѣмъ онъ страдаетъ,—онъ съ горькой ироніей раздражительно отвѣчалъ:

— Прошлымъ, докторъ, прошлымъ, какъ всѣ люди!

И могъ безъ конца говорить на эту тему, желчно, ядовито, нервничая, безсознательно преувеличивая язвы жизни.

Онъ былъ отчасти правъ: на его здоровьи отозвались преждевременные кутежи, пьянство, развратъ, переломъ ноги и руки въ пьяномъ видѣ, потрясеніе всего организма во время паденія и потомъ то нравственное состояніе, которое онъ переживалъ послѣ своего чисто случайнаго отрезвленія.

— Надо было руки и ноги переломать, почки задѣть, надо было, чтобы желудокъ пересталъ варить, чтобы опомниться и сдѣлаться порядочнымъ человѣкомъ,—презрительно говорилъ онъ про себя, и въ голосѣ этого пожелтѣвшаго человѣка звучала безконечная желчность.

Его нравственное состояніе было, пожалуй, хуже всякаго физическаго недуга, и было трудно сказать — болѣзнь печени и почекъ усиливала это тяжелое состояніе духа или оно дѣлало такою упорною эту болѣзнь, ему хотѣлось, мучительно хотѣлось, сдѣлаться какимъ-то другимъ, новымъ человѣкомъ, не прежнимъ пустымъ прожигателемъ жизни: но это было не такъ легко сдѣлать, какъ перестать пить и кутить по предписанію доктора, потому что это нездорово, потому что уже желудокъ не варитъ; теоретически онъ отрекся отъ всего стараго, теоретически онъ клеймилъ и тунеядство, и шалопайство, и безпутное прожиганіе жизни, но практически втянуться въ неустанный трудъ, втянуться съ вѣрою, что этотъ трудъ благотворенъ, съ сознаніемъ, что онъ самъ вполнѣ подготовленъ къ этому труду, — было уже поздно; онъ видѣлъ, что ему, уже больному, уже искалѣченному, еще надо долго и медленно пріучаться къ тому ярму, къ тому хомуту, къ той лямкѣ, въ которые втянулись, къ которымъ приловчились чуть не съ дѣтства другія молодыя и свѣжія силы. Съ каждымъ днемъ, все болѣе и болѣе убѣждаясь въ своей несостоятельности въ практической дѣятельности, гдѣ дѣловитѣе и смышленѣе его являлся каждый мужикъ и каждый провинціальный недалекій по уму земецъ, выросшіе на землѣ, онъ становился все болѣе и болѣе нервнымъ и раздражительнымъ, иногда прорываясь нестерпимыми, строптивыми выходками не то безумца, не то самодура, привыкшаго къ безусловному повиновенію всѣхъ окружающихъ и говорившаго не безъ похвальбы, что подъ нимъ каждый конь станетъ шелковымъ: «вышколю или убью!..»

Разъ какой-то старый земецъ, сознавая, что Черемисиновъ могъ быть по своимъ связямъ и по своимъ средствамъ полезенъ его партіи, грубовато упрекнулъ его за то, что онъ не хочетъ принять дѣятельнаго участія въ проектировавшихся въ то время мѣстными земцами нововведеніяхъ,—Черемисиновъ вспыхнулъ и, глядя на коротенькія, какъ деревянные обрубки, заскорузлые пальцы толстяка-помѣщика, рѣзко предложилъ, указывая на лежавшія на піанино ноты:

— А вы вотъ прежде сыграйте мнѣ эту сонату Бетховена!

— Да я вовсе не умѣю играть на фортепьяно,—отвѣтилъ добродушно толстякъ.

— Такъ что же вы думаете, управлять и хозяйничать въ цѣлой губерніи и составлять новые законы и постановленія легче, чѣмъ играть на фортепьяно?—почти выкрик-

нулъ гнѣвнымъ голосомъ князь и, почти тотчасъ же опомнившись и овладѣвъ собою, съ насмѣшливой гримасой пояснилъ:—это я Шекспира вспомнилъ—про Гамлета, Гильденштерна и флейту... Вы знаете Шекспира?

Толстякъ-земецъ широко открылъ глаза, думая, что князь сходитъ съ ума, и покачалъ головою.

— Не знаете?—сказалъ князь, понявъ его молчаніе.—Ну, вотъ и я не знаю земскихъ дѣлъ, нуждъ, хозяйства... Мнѣ вотъ на-дняхъ мой главный управляющій разсказывалъ о выгодахъ введеннаго имъ въ моихъ имѣніяхъ новаго хозяйства, а я молча слушалъ его и все рѣшалъ мысленно вопросъ: выпучиваетъ онъ меня или только экзаменуетъ, чтобы быть увѣреннымъ, можно меня надувать безъ оглядки или съ оглядкою...

«Нестерпимый человѣкъ»,—стали говорить про князя.—«Просто помѣшанный»,—рѣшали другіе. «Черемисиновская порода!»—заканчивали третьи.

— Фима, голубчикъ, что у тебя болитъ? Ты бы посовѣтовался съ докторомъ,—упрашивала Аграфена Николаевна, видя его мрачнымъ, раздраженнымъ и не находящимъ себѣ мѣста, когда онъ, быстро утомляясь отъ серьезнаго чтенія, съ безпомощнымъ гнѣвомъ отбрасывалъ книгу и въ отчаяніи откидывался съ закрытыми глазами на кушеткѣ.

Ей князь не могъ сказать и того, что говорилъ докторамъ о томъ, что онъ «боленъ прошлымъ», онъ зналъ, что эта простая душа не поняла бы его,—не поняла бы, хотя она сама, въ свою очередь, болѣла прошлымъ... но у нея, къ ея великому счастію, было вѣрное лѣкарство отъ этого недуга: она искренно вѣровала и могла молиться. И только одинъ человѣкъ чуткимъ юнымъ умомъ и горячимъ сердцемъ, отчасти угадывалъ, что̀ мучитъ князя. Это былъ Вася. Какъ они поняли другъ друга, какъ сошлись—это трудно сказать, но вѣрно только то, что за послѣдніе два-три года это сближеніе сдѣлалось тѣснымъ, насколько только позволяла разница лѣтъ. Началось оно съ того, что Вася заявилъ, что онъ желаетъ перейти на реальное отдѣленіе въ училищѣ.

— Не нужны мнѣ латинскій и греческій языки,—рѣшительно объяснилъ онъ.—Пойду въ чиновники—не нужны они, поселюсь въ деревнѣ—тоже не нужны, а годы на нихъ убьешь даромъ... Я вотъ ни одной травки въ деревнѣ опредѣлить не могу, осину съ липой смѣшиваю... Я вотъ у одного писателя—у Булгарина, кажется, читалъ смѣшной разсказъ,

какъ онъ въ юности про всякое дерево спрашивалъ... «А это какая береза?» и при видѣ незнакомой рѣки говорилъ: «А это какая Нева?»... Я вотъ теперь чувствую, что и я такой же...

— Да, да... чего въ ранней юности не выучишь, того въ десятки лѣтъ потомъ не наверстаешь,—сказалъ князь.—Я вотъ за что ни возьмусь—вездѣ неучъ: и въ политической экономіи, и въ народномъ быту... даже книгъ серьезныхъ не могу читать... устаю сейчасъ же. Лошадьми развѣ только могу торговать...

Затѣмъ начались разговоры о чтеніи и книгахъ.

— Я въ твои годы даже и не читалъ порядочныхъ книгъ... все были нарядныя, въ хорошихъ переплетахъ, съ яркими картинками, а порядочныхъ не было; переплеты были на первомъ планѣ,—говорилъ князь.—Да и не пріучали къ чтенію: прогулки, спектакли, дѣтскіе балы, путешествія, вотъ что поглощало время... Когда поломалъ себя, тогда только взялся за книгу... кутить было запрещено, ходить стало трудно, ну, и взялся за книгу, какъ другіе за гранъ-пасьянсъ... и сколько времени убилъ, прежде, чѣмъ пріучился хотя немного серьезно читать, прежде чѣмъ напалъ на полезныя книги...

Эти разговоры происходили все чаще и чаще между княземъ и Васильемъ и все сильнѣе заставляли задумываться юношу. Подъ ихъ вліяніемъ онъ впервые задумался надъ вопросомъ, какой путь избрать въ жизни.

— Да, горе тому, кто не получилъ во-время подготовки къ жизни,—говорилъ князь.—Крестьянскій мальчишка съ дѣтства привыкаетъ ходить за сохой и плугомъ, послѣдній сапожникъ или портной съ дѣтскихъ лѣтъ пріучаются къ своему ремеслу, а въ нашемъ быту зачастую иной юноша только и знаетъ, что чахнетъ надъ непригодными въ жизни латынью, греческимъ языкомъ или шагистикой, и выходитъ какими-то исковерканными и безпомощными въ практической жизни или,—что еще хуже, потому что это безчестно,—беремся храбро за всякое дѣло, не зная никакого дѣла, путая и портя все или попадаясь въ лапы проходимцевъ и негодяевъ.

И чѣмъ болѣе одолѣвалъ князя недугъ, чѣмъ яснѣе онъ сознавалъ, что для него все кончено, тѣмъ болѣе горечи и желчи накоплялось въ его рѣчахъ, которыми онъ могъ откровенно дѣлиться съ однимъ Васильемъ, съ болѣзненной чуткостью понимавшимъ его.

IV.

— Нашелъ!.. нашелъ!—радостно и громко произнесъ Василій, не замѣтивъ, что больной задремалъ, какъ это теперь часто съ нимъ бывало.

Князь вздрогнулъ и очнулся, осматриваясь кругомъ недоумѣвающимъ взглядомъ.

— Вотъ этотъ разсказъ,—продолжалъ Василій читать понѣмецки съ небольшимъ русскимъ акцентомъ:

— «Новогодняя ночь несчастнаго человѣка».

— Да, да, именно это названіе... теперь и названіе вспомнилъ,—оживленно проговорилъ князь, съ трудомъ приподнимаясь на локтѣ, чтобы лучше слышать.—Прочти!

Василій началъ читать:

— «Въ полночь, на Новый годъ, стоялъ у окна старикъ и смотрѣлъ, съ отчаяніемъ въ глазахъ, на неподвижное, вѣчно цвѣтущее небо и на мирную, чистую, бѣлую землю, на которой теперь не было никого, болѣе лишеннаго радостей и сна, чѣмъ онъ, потому что близка уже была его могила, покрытая однимъ снѣгомъ старости, а не зеленью юности, и онъ несъ въ нее съ собою, изъ всей своей богатой жизни, лишь заблужденія, грѣхи и недуги, разрушенное тѣло, опустошенную душу, грудь, полную отравы, и старость, полную раскаянья. Дни его юности возставали теперь передъ нимъ, какъ привидѣнія, и приводили его снова къ тому свѣтлому утру, когда отецъ поставилъ его впервые на жизненное распутіе, съ котораго вправо открывается озаренный солнцемъ путь добродѣтели, ведущей въ обширную, мирную страну, полную свѣта и жатвъ, полную ангеловъ, а влѣво—влечетъ въ извилистые ходы порока, въ темную пещеру, насыщенную просачивающимся ядомъ, кишащую добычливыми змѣями и полную мрачныхъ удушливыхъ испареній»...

— Я не помню своего отца!—какъ вздохъ, произнеслись слова князя.

Онъ самъ, не сознавая того, почему-то произнесъ ихъ тоже по-нѣмецки.

Василій читалъ дальше:

— «И теперь змѣи обвивали его грудь, капли яда смачивали ему языкъ, и онъ сознавалъ, гдѣ онъ находился. Обезумѣвъ и съ невыразимою скорбью воззвалъ онъ къ небу: «Возврати мнѣ мою юность! А ты, отецъ, поставь меня опять на распутіе, чтобы я сдѣлалъ иной выборъ!» Но давно

уже миновала его юность, давно не было у него отца. Онъ видѣлъ, какъ на болотѣ пляшутъ блуждающіе огоньки и тухнутъ на кладбищѣ, и думалъ: «Это мои безразсудные годы». Онъ видѣлъ, какъ по небосклону скатилась звѣзда, вспыхнула при паденіи и растаяла на землѣ, и—«это я!» сказало ему его сердце, истекавшее кровью, и змѣиное жало раскаянія вонзилось еще сильнѣе въ его раны. Разгоряченное воображеніе рисовало ему на крышахъ домовъ скользящія ночныя тѣни; вѣтряная мельница грозно вздымала свои крылья, чтобы нанести ударъ; засѣвшій въ опустѣлой мертвецкой, призракъ начиналъ понемногу принимать его собственныя черты. Во время этихъ страданій, вдругъ, донеслась до него съ башни музыка, привѣтствовавшая наступленіе новаго года; она походила на отдаленное церковное пѣніе. Онъ почувствовалъ умиленіе,—обвелъ взоромъ горизонтъ и всю обширную землю, подумалъ о друзьяхъ своихъ юныхъ лѣтъ, которые теперь, будучи лучше и счастливѣе его, поучали другихъ, были отцами счастливыхъ дѣтей и благословляемыми людьми. И онъ думалъ: «о, могъ бы и я, подобно вамъ, задремать въ эту ночь не съ влажными глазами; о, если бы я захотѣлъ... И я могъ бы быть счастливымъ, дорогіе мои родители, если бы я исполнилъ ваши новогоднія поученія и пожеланія!»...

— Поученія! пожеланія!—съ болѣзненной ироніей прошепталъ больной, и горькая насмѣшливая улыбка перекривила его губы.

Въ головѣ его проносились наставленія и примѣры матери, исковеркавшіе всю его молодость.

— «При этомъ лихорадочномъ воспоминаніи о дняхъ юности,—продолжалъ читать Василій,—ему стало казаться, что призракъ въ мертвецкой, принявшій на себя его черты, встаетъ... Потомъ, согласно повѣрью, что въ новогоднюю ночь являются намъ тѣни и открывается будущее, призракъ этотъ превратился въ живого юношу, подобнаго тому молодому красавцу, который въ Капитоліи вынимаетъ у себя занозу. И его бѣлый, цвѣтущій обликъ предсталъ укоризненно передъ нимъ. Онъ не могъ смотрѣть далѣе... закрылъ глаза... и горячія слезы потекли изъ нихъ ручьемъ, зарываясь въ снѣгъ. Онъ уже только тихо вздыхалъ, повторяя безотчетно въ отчаяніи: «О, воротись, моя юность, воротись!..» И она воротилась, потому что онъ видѣлъ лишь страшный сонъ въ новогоднюю ночь: онъ былъ еще юношей. Но его заблужденія были не сномъ, и онъ возблагодарилъ

Бога за то, что ему было дано, еще въ юныхъ годахъ, возвратиться съ грязнаго пути порока на лучезарную стезю, ведущую въ чистую страну жатвъ! Возвратись и ты съ нимъ, юноша, если ты стоишь тоже на ложномъ пути! Этотъ страшный сонъ станетъ въ будущемъ твоимъ судьею, но если ты станешь взывать тогда: «воротись, моя юность!..» Она уже не вернется къ тебѣ!»

— Да, ничто не вернется, что прошло и погибло: ни юность, ни здоровье, ни жизнь,—закончилъ больной едва слышно.

Онъ съ утомленнымъ видомъ, закрывъ глаза, опять откинулся на подушку и, казалось, задремалъ...

Прошло съ полчаса...

Въ комнату на цыпочкахъ вошелъ Алексѣй. Василій молча сдѣлалъ ему знакъ, чтобы онъ шелъ осторожнѣе. Тотъ такъ же молча поманилъ его въ сосѣднюю комнату, гдѣ по пріѣздѣ князя въ Петербургъ помѣстился Василій, тогда какъ Алексѣй продолжалъ жить у Анны Ивановны. Василій понялъ знаки брата и на цыпочкахъ же пошелъ за нимъ.

— Консиліумъ былъ?.. что сказали доктора?—торопливымъ шопотомъ разспрашивалъ Алексѣй, когда они очутились въ сосѣдней маленькой комнатѣ съ небольшой кроватью, ночнымъ столикомъ и парой стульевъ.

— За границу велятъ скорѣе ѣхать... плохъ нашъ Ефимъ Петровичъ, совсѣмъ конецъ скоро,—отвѣтилъ Василій.—Онъ это вполнѣ сознаетъ, понимаетъ, что доктора только сбываютъ его съ рукъ, и сегодня еще говорилъ, что боится только ѣхать одинъ съ теткой... Дѣйствительно, мало ли что можетъ случиться... она можетъ растеряться... Я предложилъ свои услуги...

— А гимназія?—торопливо перебилъ Алексѣй, и въ его тонѣ послышался испугъ.—Тамъ и такъ удивляются, что ты манкируешь... въ эти дни уроками...

— Что же гимназія? Годъ лишній просижу въ классѣ, вотъ и все,—пояснилъ Василій.—Одинъ съ теткой теперь онъ не рѣшится ѣхать... брать же съ собою чужихъ... Ты знаешь, какъ дѣйствуетъ каждая мелочь на его нервы... сколько у него теперь капризовъ... только я да тетка и угождаемъ... Ну, а если не поѣдетъ за границу изъ-за меня и умретъ здѣсь?.. Да никогда я этого не прощу себѣ... все будетъ казаться, что за границей его спасли бы...

— Все это такъ, но... можетъ случиться, что и не однимъ годомъ придется тебѣ пожертвовать, а...

Алексѣй замялся и потомъ докончилъ:

— Иногда изъ-за пустяка люди всю жизнь себѣ портятъ... конечно, тутъ дѣло не пустяшное... но все же это большой эгоизмъ со стороны князя, если онъ соглашается оторвать тебя отъ занятій... конечно, онъ теперь не нормаленъ, но все же...

Василій хмуро молчалъ, не возражая брату.

— Только ты меня не осуждай за эту кажущуюся безчувственность!—торопливо замѣтилъ Алексѣй, объясняя по своему его молчаніе и конфузясь.

— Ты знаешь, родной, я страшно мнителенъ, всего боюсь... это у меня съ дѣтства... помнишь, какъ я былъ боленъ...

Василій какъ-то грустно усмѣхнулся.

— Каждаго пьянаго человѣка съ кокардой на фуражкѣ боишься на улицѣ... все думаешь, что отецъ идетъ... и сѣчь будетъ...

— Что-жъ мнѣ съ этимъ дѣлать?—заторопился Алексѣй и, принявъ плаксивый тонъ, закончилъ:—побѣдить эти чувства не въ моей волѣ... въ человѣкѣ есть многое, что выше его... что, какъ горбъ, растетъ и растетъ помимо нашей воли какъ бы мы ни выпрямлялись...

Онъ помолчалъ и потомъ спросилъ:

— Такъ ты такъ и рѣшился, безповоротно рѣшился, сопровождать тетку и князя? Пожертвовать годомъ?

Василій тихо ходилъ по комнатѣ, весь охваченный сильнымъ подавленнымъ волненіемъ, и, казалось, не слышалъ даже послѣднихъ вопросовъ Алексѣя. Наконецъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, онъ съ рѣшительнымъ видомъ остановился у окна, налилъ въ стаканъ изъ стоявшей тутъ же бутылки краснаго вина и выпилъ его залпомъ.

— Я тоже боюсь отца, — проговорилъ онъ взволнованно и съ какой-то горечью:—боюсь только его и ничего больше... и мнѣ все кажется, что онъ вотъ тутъ, во мнѣ самомъ...

Алексѣй, ничего не понимая изъ его загадочныхъ словъ, смотрѣлъ на него широко открытыми, немного испуганными свѣтлыми глазами.

V.

Письмо Василія Попова къ Алексѣю Попову.

«Дорогой братъ Леша! Мы поселились въ Берлинѣ, и ежедневно въ кабинетѣ Ефима Петровича толкутся берлинскія знаменитости медицинскаго міра. Выслушиваютъ, выстуки-

ваютъ и дѣлаютъ глубокомысленныя физіономіи... Больной нервничаетъ и сердится: «За дурака, должно-быть, меня считаютъ!» Онъ чувствуетъ, что положеніе его безнадежно, что лѣченье одинъ обманъ, одно шарлатанство, но, кажется, не сознаетъ, что развязка близка до ужаса и еще мечтаетъ о предстоящей веснѣ: «Природа все же лучшій докторъ; придетъ весна, и окрѣпнутъ немного силы»... Мы же съ теткой уже знаемъ, что весны онъ не увидитъ. Насъ доктора предупредили. Какое страшное дѣло — умиранье! Я радъ, что хоть тетка держитъ себя молодцомъ. На-дняхъ я засталъ ее лежащею, какъ трупъ, въ слезахъ передъ образомъ, а, спустя полчаса, она шутила около постели больного: «Фима,—объясняетъ она,—не любитъ слезъ». Молодчина она!

Поклонись мамѣ Анѣ и Александрѣ Васильевнѣ.

Твой братъ Василій».

Письмо Алексѣя Попова къ Василью Попову.

«Голубчикъ Вася!

«Твое коротенькое, какъ куриный носъ, письмо съ грустными вѣстями безъ всякихъ подробностей о вашей жизни въ Берлинѣ, о твоемъ житьѣ-бытьѣ, тѣмъ болѣе поразило меня, что оно пришло ко мнѣ какъ разъ въ самое тяжелое для меня время. Разскажу тебѣ всѣ событія по порядку. Ты знаешь Тимофея Сычугова—этого вызолоченнаго хама, такъ ненавидящаго меня за то, что я иду первымъ. На-дняхъ, услышавъ, что я говорю съ Колею Воротынскимъ—сыномъ министра — о болѣзни князя и о горѣ княгини, онъ осмѣлился громко въ двухъ шагахъ отъ меня сказать своему приспѣшнику, такому же оболтусу и калашниковцу, какъ онъ, Торопыгину: «Много тоже на свѣтѣ княгинь-то лыкомъ шитыхъ, подъ ракитовыми кустами вѣнчавшихся». Я, конечно, сдѣлалъ видъ, что не понялъ и не слыхалъ его словъ, зная, что этотъ ломовикъ-нахалъ всегда готовъ на драку, но, тѣмъ не менѣе, встревожился, и моя тревога усилилась еще болѣе, когда я стороной узналъ, что Сычуговъ распространяетъ сплетню, будто бы князь вовсе не вѣнчанъ съ нашей теткой. Сычуговъ не распространялъ этихъ слуховъ прежде, вѣроятно, потому, что боялся тебя. Ты вѣдь о двухъ головахъ и самому директору не спустишь, если задѣть тебя. Не успѣло улечься это волненіе, какъ меня сразилъ новый ударъ. Меня посѣтилъ... ты никакъ не угадаешь кто!.. нашъ отецъ!.. Семь лѣтъ не было ни

слуху, ни духу,—и вдругъ, появился! Я настолько забылъ его, что даже не сразу узналъ его. Да, и трудно бы было узнать его въ бородатомъ сѣдомъ старикѣ; почти безъ зубовъ, съ подвязанной щекой, съ трясущимися отъ пьянства руками. Онъ пришелъ узнать адресъ князя: «Что, сыночекъ, князь-то, кажется, того, кранкенъ, скоро капутъ?—сказалъ онъ мнѣ насмѣшливо хриплымъ отъ пьянства голосомъ.— Тогда что же, ко мнѣ на хлѣба съ братцемъ пожалуешь? Семь лѣтъ не жаловали къ родителю, а теперь пожалуете? Тетенька-то, поди, нищей останется, другого содержателя искать придется!» Онъ ехидно хихикалъ, распространяя запахъ сивухи; отъ него я узналъ подтвержденіе страшной вѣсти, что тетка вовсе не княгиня, а простая содержанка князя. Я чуть не упалъ въ обморокъ отъ ужаса. Если вѣдь это такъ, то тетка и мы можемъ остаться нищими. У насъ нѣтъ ровно никакихъ правъ. Не знаешь ли ты, есть ли у князя хотя духовное завѣщаніе? Это было бы низко, если бы онъ не сдѣлалъ никакого распоряженія. Ради Бога успокой меня, разузнай все и напиши скорѣе отвѣтъ. Вѣдь мы только начинаемъ жить и остаться въ эту пору жизни на мостовой—нѣтъ лучше уже смерть, чѣмъ нищета... Оказывается, что Анна Ивановна знала, что тетка только содержанка, и не говорила объ этомъ ни слова. Она, видишь, считала неудобнымъ говорить о такихъ вещахъ дѣтямъ, а потомъ не придавала этому никакого значенія и старалась только, чтобы у насъ было главное богатство—запасъ знаній и честное направленіе... Господи, и зачѣмъ на свѣтъ родятся эти юродивые!.. Прости, что не могу писать больше, но у меня голова идетъ кругомъ отъ этихъ открытій. И какое ученье пойдетъ на умъ при такомъ настроеніи!.. Жду съ нетерпѣніемъ отъ тебя письма. Еще было бы лучше прислать телеграмму съ однимъ словомъ: «есть». Я бы успокоился, узнавъ, что духовное завѣщаніе сдѣлано. Обнимаю тебя тысячу разъ.

Твой злосчастный братишка
Алексѣй».

Письмо Василія Попова къ Алексѣю Попову.

«Хотѣлось мнѣ выругать тебя, Леша, да жаль стало. Что ты пишешь о завѣщаніи? Неужели же я пойду къ умирающему и стану его спрашивать: «А сколько вы оставляете намъ за то, что почти семь лѣтъ поили, кормили, одѣвали и обували насъ?» Голову ты потерялъ отъ страху.

Ну, да я тебя сейчасъ успокою. Вчера, въ воскресенье, Ефимъ Петровичъ, проснувшись очень поздно, узналъ, что тетка уѣхала въ церковь и замѣтилъ какъ бы про себя: «Молится, чтобы не стоять у моего гроба тамъ, гдѣ мы стояли подъ вѣнцомъ»... Ну, теперь ты успокоился? Вѣнчались въ Берлинѣ; поѣхали сюда невѣнчанные, а здѣсь и обвѣнчались. Потому, вѣрно, ваши питерскіе и не знали о ихъ свадьбѣ. А мерзавцу Сычагову я еще сворочу на сторону подлую рожу за сплетни про тетку. Надо бы еще было поругать тебя за маму Аню, ну, да ты вѣдь невмѣняемъ: когда тебя охватитъ твой паническій страхъ передъ тѣмъ, что будетъ, тогда ты готовъ или всѣхъ обвинять въ своемъ несчастіи, или ползать у ногъ съ мольбою о своемъ спасеніи. Душевно мнѣ жаль тебя, Леша.

Твой братъ Василій».

VI.

Несмотря на все увеличивавшійся упадокъ силъ, князь Ефимъ Петровичъ ежедневно заставлялъ Василья вскрывать и читать получаемые имъ изъ Россіи письма и отчеты своихъ управляющихъ и знакомыхъ, и отвѣчать на нихъ подъ его диктовку. Разборъ писемъ и писанье отвѣтовъ производились по утрамъ до завтрака. Князя во время занятій нерѣдко одолѣвала дремота, и онъ впадалъ въ забытье. Въ одно изъ воскресеній, разбирая письма, Василій вскрылъ одно письмо, написанное какъ бы остріемъ иглы, тонкимъ, нитеобразнымъ, съ массой росчерковъ и закорючекъ, слегка дрожащимъ почеркомъ пьяницы, и началъ читать: «Добрѣйшій князь Ефимъ Петровичъ».

— Не надо, не надо этого читать! — быстро на первомъ же словѣ перервалъ его князь нетерпѣливымъ, почти испуганнымъ тономъ.

Василій, немного удивившись этой поспѣшности и не полюбопытствовавъ даже взглянуть на подпись, отложилъ письмо и сталъ вскрывать другой пакетъ. Князь, слегка приподнявшись на постели, взялъ со стола отложенное въ сторону письмо, попробовалъ прочесть его самъ и ослабѣвшей рукой опустилъ его снова.

Спустя нѣсколько минутъ, онъ обратился къ Василью и коротко сказалъ:

— Это отъ твоего отца...

Василій удивленно взглянулъ на него:

— Отъ отца?

— Да, я узналъ съ первой строки... съ перваго слова «Добрѣйшій»... я съ нимъ переписываюсь... давно переписываюсь... съ тѣхъ поръ, какъ взялъ васъ подъ свою опеку... Только не надо, чтобы Груша знала это... Она дома?

— Нѣтъ; сегодня же воскресенье, и она въ церкви...

— Да, да, забылъ!.. все теперь забываю... Такъ ты прочти... безъ нея можно...

Василій сталъ читать письмо отца.

«Добрѣйшій князь Ефимъ Петровичъ! Я писалъ къ Вамъ въ деревню письмо, на которое не получилъ отъ Вашего Сіятельства никакого отвѣта. Зная вашу доброту ко мнѣ и неизмѣнную вѣжливость Вашего Сіятельства даже къ такимъ гонимымъ и всѣми отверженнымъ, какъ я, я встревожился и навелъ справки, не случилось ли ухудшенія въ Вашемъ драгоцѣнномъ здоровьѣ, и узналъ, что Вы изволили отбыть за границу, но куда именно—неизвѣстно. Глубоко удрученный горемъ, вернулся я въ свой уголъ, какъ слѣпецъ-калѣка, потерявшій свой вѣрный и надежный посохъ. Утопающій хватается за соломинку, и я рѣшился ухватиться за нее. Скрѣпя сердце и со страхомъ въ груди нарушая наши условія, согласно которымъ я не имѣю права даже однимъ глазкомъ взглянуть на своихъ единоутробныхъ дѣточекъ, пошелъ я къ нимъ, своимъ дѣточкамъ, чтобы узнать Вашъ адресъ, и нашелъ одного младшенькаго — сынишку Алешеньку, — у госпожи Бѣльской, отъ котораго и узналъ, что моего старшенькаго — сынка Васеньку — Вы изволили увезти съ собою въ нѣмецкій городъ Берлинъ, гдѣ и изволите проживать сами. Вполнѣ чувствуя всѣ Ваши безконечныя благодѣянія, неисчислимо оказываемыя мнѣ, и сознавая, что Вамъ теперь въ заграничномъ путешествіи въ нѣмецкомъ городѣ Берлинѣ не до меня, ничтожнаго и сводимаго недугомъ въ могилу старца, я все же осмѣливаюсь еще разъ—въ послѣдній, въ послѣдній!—припасть къ стопамъ Вашимъ, мой благодѣтель, и молить о помощи, валяясь во прахѣ ногъ Вашихъ и обливая оныя слезами... Въ одномъ изъ писемъ къ Вашему Сіятельству я упоминалъ о томъ безпомощномъ состояніи, въ которомъ нахожусь я, не по лѣтамъ, а вслѣдствіе несправедливостей, невзгодъ и болѣзней, физически искалѣченный человѣкъ, — состояніе, которое дѣлаетъ меня слабѣе и беззащитнѣе малаго ребенка. Это состояніе заставило меня давно, какъ я имѣлъ честь докладывать Вамъ, взять къ себѣ особу, которая ходила бы за мною и оберегала бы меня отъ всякихъ

случайностей. Вы, Ваше Сіятельство, какъ истинный христіанинъ, не бросающіе камня въ послѣднихъ грѣшниковъ и снисходительные даже къ самымъ постыднымъ человѣческимъ слабостямъ, знаете, что я страдаю страшнымъ и неизлѣчимымъ недугомъ всѣхъ несчастныхъ и неудачниковъ, униженныхъ и оскорбленныхъ, то-есть, попросту говоря, пью, и потому поймете, какъ часто я могъ бы умереть на улицѣ подъ рысаками безпечныхъ жуировъ и баловней Фортуны, если бы около меня не было такой охраняющей меня особы, въ нѣкоторомъ родѣ недремлющаго ангела-хранителя. Глубоко признательный ей и сердечно тронутый безконечною преданностью и безропотностью этой особы, я, оставленный втуне всѣми, не имѣющій около себя даже единственной отрады старцевъ—дѣтей, рѣшился дать свое имя этой такой же несчастной, какъ я, женщинѣ, не побоявшейся связать свою жизнь съ жизнью одинокаго, всѣми забытаго пролетарія. Конечно, не Вы, Ваше Сіятельство, въ своей неисчерпаемой снисходительности и всепрощеніе къ людскимъ ошибкамъ и недостаткамъ, осудите меня за мой поступокъ, зная, что я тоже мужчина и также подверженъ слабостямъ нашего пола. Этого я не боялся, но я боюсь теперь, что Вы осудите меня за то, что я не предвидѣлъ того, что мнѣ, ради моего поступка, снова придется безпокоить Васъ просьбою о помощи. Не будьте жестокосерды! Со слезами умоляю Васъ простить меня — въ послѣдній разъ! въ послѣдній разъ! — простить во имя того крошечнаго, хилаго существа, которое теперь безпомощно смотритъ на меня изъ колыбельки и какъ бы умоляетъ о пропитаніи, укоряя меня: «Зачѣмъ ты далъ мнѣ жизнь?..» Не въ силахъ отъ слезъ болѣе писать Вамъ, моему единственному спасителю... Помогите! помогите мнѣ во имя моей невинной малютки!

Вѣчно преданный и вѣчно благодарный рабъ Вашего Сіятельства Иванъ Петровъ Поповъ.

P. S. Въ неизсякающихся слезахъ жду отвѣта! Жду отвѣта?!»

Василій, раскраснѣвшійся до ушей, со слезами, стоящими въ глазахъ, взволнованный сотнями самыхъ разнообразныхъ чувствъ, молча опустилъ дочитанное имъ письмо. Ему было и стыдно, и больно за отца. Онъ опустилъ голову, не смѣя смотрѣть на князя. Князь тоже молчалъ.

Наконецъ, онъ вздохнулъ и проговорилъ:

— Онъ всегда такъ пишетъ!.. Несчастный человѣкъ!..

Онъ немного помолчалъ и потомъ слабымъ голосомъ заговорилъ опять:

— Сначала я презиралъ его... противенъ онъ мнѣ былъ... Намъ, сытымъ, всегда надоѣдаютъ попрошайки!.. А потомъ... многое передумалъ... Я,—развѣ я былъ бы лучше, если бы пришлось съ дѣтства стоять на его мѣстѣ?.. Я кутилъ, — онъ пьянствовалъ, меня поддерживали подъ руки слуги, — онъ валялся на улицахъ, вотъ и вся разница между нами... только въ названіяхъ разница... результатъ запоя всегда одинъ и тотъ же.

Василій вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, какъ отъ удара электричества. Князь не замѣтилъ этого и протянулъ руку къ ящику стола за деньгами.

— Надо перевести деньги на его имя, — проговорилъ онъ.—Вотъ деньги. Завтра же перешли... Только не говори Грушѣ. Она не любитъ его... не понимаетъ многаго!.. Не надо сердить ее... Напиши ему что-нибудь отъ себя, все же онъ отецъ... Я теперь отдохну немного.

Князь, очевидно, усталъ, закрылъ глаза и задремалъ. Василій убралъ письма и осторожно вышелъ изъ комнаты. Все это утро и весь день онъ былъ въ такомъ возбужденномъ состояніи, что не находилъ себѣ мѣста. Что-то сосало подъ ложечкой. Вечеромъ онъ вышелъ пройтись. Берлинъ еще кипѣлъ праздничною жизнью; по бульвару «Подъ липами» и по «Фридрихштрассе» тянулись ряды экипажей, сновали прохожіе, на перекресткахъ стояли на срединѣ улицъ конные полицейскіе. Не доходя со стороны стараго замка до «Фридрихштрассе», Василій невольно замедлилъ шаги у ярко освѣщенныхъ зеркальныхъ оконъ, за которыми виднѣлись головы сотенъ посѣтителей моднаго ресторана Бауера. Кружки и стаканы то и дѣло приносились кельнерами, и гости, жестикулируя, споря и волнуясь, опоражнивали приносимые напитки. Василій чувствовалъ непреодолимую жажду, но въ немъ происходила какая-то борьба.

— О, проклятая! — сквозь зубы проговорилъ онъ и поспѣшно, точно боясь, что кто-то силой втащитъ его въ ресторанъ, пошелъ дальше, перешелъ «Фридрихштрассе», миновалъ императорскую галлерею и опять подлѣ нея увидѣлъ огни другого проходного ресторана. И тутъ тоже сорвалось у него съ языка проклятіе, и онъ быстро направился домой, точно спасался отъ погони, чувствуя все сильнѣе и сильнѣе жажду.

VII.

Надвигалась ночь...

Василію казалось, что если бы онъ прожилъ сто лѣтъ, то онъ и тогда не забылъ бы этой страшной для него ночи.

Его уже при входѣ въ домъ встрѣтили тревожнымъ извѣстіемъ: «Князь умираетъ!» Едва переступилъ онъ порогъ спальни князя, онъ увидѣлъ на постели лежавшаго безъ движенія на спинѣ съ высоко и тяжело поднимавшейся грудью больного и около его постели стоящую на колѣняхъ Аграфену Николаевну. Она безмолвно прижималась лицомъ къ исхудалой рукѣ мужа.

— За докторами послали? — торопливо спросилъ у горничной Василій.

Та кивкомъ головы отвѣтила утвердительно. Въ ея глазахъ стояли слезы. Почти въ ту же минуту въ комнату вошли два доктора, постоянно навѣщавшіе князя во время его болѣзни въ Берлинѣ. Имъ нечего было теперь осматривать или выслушивать больного: они давно ждали его конца и предвидѣли развязку. Она настала. Цвѣтъ его лица, выраженіе его безжизненныхъ полузакрытыхъ глазъ, прерывистое дыханіе, напоминавшее постепенно утихавшее клокотанье,—все говорило объ агоніи. Они безнадежно потолковали шопотомъ о поднятіи прекращавшейся дѣятельности сердца, о шампанскомъ, о крѣпкомъ кофе, еще о чемъ-то, какъ вдругъ ихъ шопотъ нарушился пронзительнымъ женскимъ крикомъ:

— Умеръ! умеръ!

Это вскрикнула Аграфена Николаевна, почувствовавшая, что подъ ея губами костенѣетъ эта мертвая рука; она откинула голову, всматриваясь, съ выраженіемъ ужаса, въ мертвое лицо, и, наконецъ, бросилась съ рыданіями и воплемъ на мертвое тѣло.

— Какъ эта несчастная русская дама кричитъ на всѣ комнаты,—шушукались слуги.

— У русскихъ это такъ принято... Тамъ даже за деньги нанимаютъ людей, чтобы кричали, — замѣтилъ кто-то изъ нихъ, знатокъ Россіи, знавшій по десятку фразъ на десяткѣ языковъ и, вѣроятно, изучившій столько же странъ въ роли кельнера. — На кладбищѣ, когда уже похоронятъ совсѣмъ человѣка, женщины тоже ложатся на могилы и кричатъ по цѣлымъ часамъ.

Княгиня же, дѣйствительно, не умѣла сдерживаться и

громко выплакивала тѣ слезы, которыя не для кого было теперь сдерживать и скрывать. Еще за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ она должна была для своего Фимы дѣлать видъ, что она вѣритъ въ его спасеніе, въ весеннюю поѣздку куда-то на югъ, а теперь утѣшать ложью кого-то не было нужды и накопившееся горе могло прорваться наружу. Она вслухъ называла ласкательными именами князя, осыпала поцѣлуями его трупъ, и успокоивавшій ее, потрясенный до глубины души Василій уловилъ странные отрывки непонятныхъ фразъ:

— Словомъ ни разу не попрекнулъ меня, низкую!.. Въ цѣлый вѣкъ не замолить мнѣ грѣховъ передъ Богомъ, а онъ ни словечкомъ не попрекнулъ!.. Изъ грязи, какъ собачонку, вытащилъ и берёгъ, и холилъ!.. У ногъ бы его должна была лежать, окаянная, а онъ ласкалъ и берёгъ!..

И нужна была сила, чтобы удержать ее въ ея комнатѣ, когда обмывали и одѣвали покойника. Въ воспоминаніи Василія вставали смутныя картины другой мрачной смерти, въ полутемномъ подвалѣ, когда почти такъ же рыдала и билась Аграфена Николаевна — рыдала и билась надъ такимъ же исхудалымъ трупомъ женщины, какъ трупъ князя.

— Тетя, родная, поберегите себя!—уговаривалъ онъ ее, и онъ, никогда не говорившій ласкательныхъ словъ, никогда не умѣвшій ни къ кому ласкаться, теперь нашелъ и эти слова, и эти ласки, какъ будто онъ былъ не дѣловитый Василій, а немного слащавый Леша, всегда готовый и ластиться, и нѣжничать.

Было уже раннее утро, когда княгиня при помощи вспрыскиваній и какихъ-то капель затихла отъ истерическихъ слезъ, и онъ могъ выйти изъ ея комнаты. Онъ прошелъ въ комнату покойника, откинулъ съ его лица простыню, посмотрѣлъ на него, какъ бы стараясь запомнить дорогія ему черты, не чувствуя лившихся по лицу слезъ, поцѣловалъ покойника въ холодныя губы крѣпкимъ поцѣлуемъ, какъ живого, закрылъ снова простыней его исхудалое лицо и вышелъ. Только теперь онъ ясно сознавалъ, какъ дорогъ былъ ему этотъ человѣкъ, какого друга онъ потерялъ. Онъ былъ бы радъ теперь, если бы онъ могъ хоть денекъ отдохнуть, такимъ разбитымъ чувствовалъ онъ себя духовно. Но въ головѣ мелькнула мысль, что именно теперь-то онъ и не можетъ отдыхать. Впереди ему предстоялъ еще хлопотливый день, надо распорядиться насчетъ гроба, панихидъ, перевозки тѣла въ Петербургъ, отсылки

писемъ и телеграммъ. Онъ вспомнилъ въ то же время, что еще надо переслать деньги отцу.

— Ничего, справлюсь, — вслухъ проговорилъ онъ и машинально налилъ себѣ вина.—Теперь нужно подкрѣпиться!.. И хорошо еще, что вчера не зашелъ ни въ какой ресторанъ... точно предчувствовалъ, что ждетъ дома...

Жажда продолжала его мучить и, утоляя ее, онъ не хмелѣлъ, чувствовалъ себя даже бодрѣе, неустанно ходилъ въ волненіи по своей комнатѣ и обдумывалъ, что нужно будетъ сдѣлать, чтобы не забыть ничего. Въ головѣ мелькало: «Тетка здѣсь теперь безпомощное существо, ее надо оберечь отъ всего. Чего не сдѣлаю я, о томъ она и не вспомнитъ». Объ отдыхѣ и снѣ у него не было и мысли. Казалось, что онъ будетъ двигаться до тѣхъ поръ, пока не подломятся подъ нимъ ноги.

VIII.

По дорожкамъ между могилъ на кладбищѣ Ново-Дѣвичьяго монастыря, уже давно просохшимъ отъ весеннихъ сырости и грязи и засыпаннымъ свѣжимъ желтымъ пескомъ, ходили двое одинаково одѣтыхъ въ траурное платье молодыхъ людей. Одинъ былъ бѣлокурый, другой брюнетъ. Бѣлокурый смотрѣлъ херувимо-подобнымъ высокимъ и стройненькимъ мальчуганомъ; брюнетъ, приземистый и широкій въ кости, казалось, былъ лѣтъ на десять старше его, такъ мужественны были его плотная фигура, черты его еще безбородаго, но уже покрывавшагося легкимъ пушкомъ лица и ихъ вдумчивое и серьезное выраженіе; никто бы не сказалъ, что это были братья-погодки, какъ это было на самомъ дѣлѣ. Это были Алексѣй и Василій Поповы. Они ходили неторопливо взадъ и впередъ по первой аллеѣ отъ воротъ направо и почти каждый разъ, когда возвращались назадъ къ воротамъ, Алексѣй громко спрашивалъ у сторожа:

— Княгиня еще не проходила изъ монастыря?

— Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство, — отвѣчалъ сторожъ.

Проходившіе съ кладбища и на кладбище люди поворачивали головы и съ любопытствомъ смотрѣли, кто это спрашиваетъ о какой-то княгинѣ.

— Тетю всегда тамъ задержатъ! — пояснилъ такъ же громко Алексѣй брату.

Любопытные люди понимали, что княгиня, которую ждутъ эти молодые люди, приходится имъ теткой, что они, вѣ-

роятно, князьки и что она пользуется почетомъ въ монастырѣ—значитъ изъ богатыхъ.

Потомъ воцарялось молчаніе: слышалось только суетливое щебетаніе переносившихся съ вѣтки на вѣтку, съ дерева на дерево птицъ. На дворѣ стоялъ теплый, солнечный день, когда весело смотритъ даже кладбище.

Наконецъ, молчаніе нарушилось.

— Ты надѣешься, что дѣла тетки точно окончатся удачно?—тревожно спросилъ Алексѣй у брата.

— Какъ же иначе они могутъ кончиться? — равнодушнымъ тономъ отвѣтилъ Василій, пожимая плечами.—Духовное завѣщаніе сдѣлано съ соблюденіемъ всѣхъ законныхъ формальностей, и она получитъ все, что имѣлъ право завѣщать ей Ефимъ Петровичъ... Впрочемъ, меня, да, кажется, и ее не особенно интересуетъ наслѣдство. Она часто совершенно справедливо говоритъ мнѣ: «на мой вѣкъ и того хватитъ, что Фима надарилъ при жизни...»

— Да, но деньги никогда не бываютъ лишними даже при деньгахъ,—вставилъ Алексѣй.

— Для нея-то теперь уже никакъ многаго не нужно!— пояснилъ Василій. — Никакихъ излишнихъ потребностей и прихотей у нея нѣтъ... Если и держитъ покуда лошадей, то, вѣроятно, потому, что онѣ не издохли... Въ сущности, онѣ ей почти не нужны, такъ какъ она только и выѣзжаетъ, что сюда, въ монастырь... Кажется, жить бы здѣсь готова...

— Да вотъ это меня отчасти и безпокоитъ,—тихо произнесъ Алексѣй.

— Тебя? безпокоитъ?—съ удивленіемъ спросилъ Василій.

— Ну да, бѣда, если она впадетъ въ ханжество и подпадетъ подъ вліяніе монахинь... Это народъ сребролюбивый и алчный... Ты знаешь, сколько было случаевъ, что наслѣдниковъ богачей оставляли чуть не нищими, побуждая завѣщателей оставлять все на монастыри и на богоугодныя учрежденія... Помнишь исторію матушки Митрофаніи...

Василій нетерпѣливо проворчалъ:

— Ну, и что же изъ этого?

— Ну, вотъ и ее могутъ заставить сдѣлать то же...

— Ты же долженъ этому радоваться,—сказалъ Василій.

— Я?

Василій передернулъ съ пренебрежительной гримасой плечами:

— Ну, да, ты! Ты такъ много и долго всегда бесѣдуешь

съ законоучителемъ, тебя хвалятъ за усердное посѣщеніе церкви, за набожность... Вѣдь не комедіи же ты передъ Господомъ Богомъ разыгрываешь... А если ты точно набоженъ и христолюбивъ, такъ не приходится тебѣ завидовать, если чьи-нибудь деньги уйдутъ на церковь и на нищихъ...

— Но вѣдь надо подумать прежде всего, чтобы не остаться самимъ нищими.

Василій вздохнулъ.

— Всего-то ты боишься и, ради этой боязни, все и всѣхъ готовъ забыть... Ты, пожалуй, съ церковью сталъ бы тягаться, если бы наслѣдство осталось не тебѣ, а ей... Стыдись, Леша!

Василій сдѣлалъ брезгливую гримасу. Алексѣй сконфуженно замолчалъ.

— Простите, родные, задержала я васъ, — послышался за молодыми людьми ласковый женскій голосъ. — Матушка Аполлинарія задержала... чудесно говоритъ она, убѣжденно, спокойно... Теперь можно и ѣхать. Взгляну еще на наши могилки и поѣдемъ...

Это была Аграфена Николаевна. Одѣтая въ глубокій трауръ, поблѣднѣвшая и похудѣвшая, она словно выросла за послѣднее время. Въ нее снова можно было влюбиться, какъ въ юную, стройную красавицу. Она пошла впереди молодыхъ людей къ двумъ могиламъ, около которыхъ былъ уже свезенъ и сваленъ въ кучи строительный матеріалъ, предназначавшійся для постройки надъ ними большой часовни; покуда же надъ ними высились мраморная плита надъ одной и деревянный бѣлый крестъ надъ другой, утопавшіе въ свѣжихъ вѣнкахъ и цвѣтахъ, разливавшихъ ароматъ сиреней и розъ.

— Вотъ онѣ, наши родныя!—проговорила княгиня, опускаясь на колѣни на песокъ и крестясь.

Братья сняли шляпы и тоже стали креститься.

Прошло минутъ пять молчанія. Наконецъ, княгиня поднялась съ заплаканнымъ лицомъ и взяла подъ руку Василія. За послѣднее время онъ былъ ея постоянной опорой. Всѣ трое направлялись къ воротамъ кладбища, у которыхъ ихъ ждала коляска. Старикъ-сторожъ безъ шапки бросился подсаживать княгиню. Онъ зналъ, что ни отъ кого не перепадало ему столько «на чай», сколько отъ нея. Аграфена Николаевна никогда не забывала, какъ нуждаются бѣдные люди въ этихъ подачкахъ. Проходившія на клад-

бище монахини степенно дѣлали низкіе поясные поклоны при видѣ садившейся въ экипажъ княгини. Она была здѣсь своимъ человѣкомъ.

— Кажется, построила бы здѣсь келью и такъ и прожила бы до смерти надъ своими могилками, — со вздохомъ проговорила княгиня, бросая послѣдній взглядъ на кладбище и садясь въ экипажъ.

— Вамъ надо беречь свое здоровье, тетя, — мягко посовѣтовалъ Алексѣй:—и не разстраивать себя...

— На что оно теперь?.. Для Фимы оно нужно было, а теперь не для чего беречь, — отвѣтила Аграфена Николаевна.

Василій, чтобы прервать этотъ разговоръ, какъ лишнія слова,—сказалъ теткѣ:

— Я сегодня окончательно договорился, чтобы къ осени часовня была готова совсѣмъ, хотя и вчернѣ только... Монументщикъ, какъ и я, стоитъ за гранитъ, — это прочнѣе будетъ... Семейный же образъ не совѣтуютъ ставить туда раньше будущаго года, а то неизбѣжная сырость испортитъ его...

— Но какъ же безъ образа?—спросила княгиня.

— Я же говорю про большой образъ во всю заднюю стѣну, а маленькій повѣсится сейчасъ же, какъ кончится постройка... на время, конечно, а потомъ замѣнимъ большимъ...

— Ты ужъ, Вася, позаботься, чтобы все какъ слѣдуетъ сдѣлали, ты вѣдь мой хозяинъ, — сказала княгиня и обратилась къ Алексѣю:—совсѣмъ онъ у меня какъ мужчина.

Василій усмѣхнулся:

— А для васъ я все еще ребенокъ?

Она вздохнула.

— Былъ ребенокъ, а за эти мѣсяцы взрослымъ сталъ! Я и не знаю, что бы было со мной безъ тебя... Ты, Леша, и вообразить не можешь, что пришлось ему пережить... Какъ мы привезли Фиму въ Берлинъ, такъ Васѣ и пришлось за все взяться... онъ и секретарь, и фельдшеръ, и распорядитель... Фима часы цѣлые готовъ былъ съ нимъ говорить...

И въ сотый разъ Алексѣй принужденъ былъ выслушивать, что приходилось дѣлать его брату за послѣдніе мѣсяцы, какъ его братъ долженъ былъ обдѣлывать даже такія дѣла, о которыхъ онъ не имѣлъ никакого понятія прежде, въ родѣ разныхъ формальностей, сопряженныхъ со смертью русскаго

богача, умершаго за границей и потомъ перевозимаго въ Россію. Алексѣй зналъ чуть не наизусть все, что̀ разскажетъ тетка, кажется, только и жившая теперь воспоминаніями о послѣднихъ дняхъ своего Фимы и связанныхъ съ этими днями событіяхъ. Онъ не только не завидовалъ тому, что не ему, а Василію пришлось разыграть роль «правой руки» богатой тетки въ самыя трудныя минуты ея жизни, но даже радовался этому, зная, что Василій могъ распорядиться всѣмъ прекрасно, тогда какъ онъ, Алексѣй, могъ бы растеряться и надѣлать на его мѣстѣ много путаницы. Онъ могъ, конечно, сдѣлать въ жизни лучшую, болѣе блестящую карьеру, но мелкой будничной практичностью и дѣловитостью онъ не отличался. Это онъ сознавалъ вполнѣ. Въ то же время онъ не боялся, что Василій заслонитъ его передъ теткой и извлечетъ изъ своего положенія какія-нибудь выгоды. Алексѣй зналъ, что Василій былъ практиченъ и даже скупъ, когда дѣло шло о чужихъ деньгахъ, относительно же своихъ денегъ онъ былъ, что называется, «простофиля».

IX.

Покуда Аграфена Николаевна объясняла Алексѣю всѣ перенесенныя Василіемъ хлопоты и волненія,—однихъ телеграммъ и писемъ чуть не сотню пришлось разослать!—Василій мрачно думалъ о тѣхъ волненіяхъ, которыхъ не знала она и которыя были тяжелѣе всего для него.

На третій день по пріѣздѣ въ Петербургъ съ тѣломъ князя Ефима Петровича Черемисинова и послѣ похоронъ послѣдняго Василій рѣшился идти на поиски отца. Надо же извѣстить старика, что онъ лишился своей опоры, и потолковать о томъ, что̀ дѣлать дальше. И какъ на грѣхъ родился у него еще этотъ ребенокъ! Погибнетъ несчастный среди нищеты!.. Его надо спасти, во что бы то ни стало!

Вступивъ въ одну изъ захолустныхъ улицъ Петербургской стороны, юноша сразу началъ припоминать и эти заборы около огородовъ, и эти деревянные подгнившіе мостики, и эти пустыри съ какими-то лачугами посредѝнѣ и надписями у воротъ «сіе место продаетца», все то, чего онъ не видалъ болѣе семи лѣтъ. Онъ вспомнилъ до того ясно эту мѣстность, что издали узналъ большой сѣрый деревянный домъ, похожій на громадный продолговатый ящикъ съ прорѣзанными въ немъ окнами. Казалось, что за эти семь лѣтъ домъ даже не перекрашивался. Войдя въ ворота и пройдя по грязи, въ которой кое-гдѣ торчали кирпичи,

дощечки и булыжники, ведшіе черезъ весь дворъ, отъ воротъ ко входу въ домъ, онъ вошелъ, спустившись на одну ступеньку внизъ, въ грязный коридоръ со спертымъ запахомъ и пошелъ къ жилищу отца, безсознательно почти радуясь тому, что онъ еще можетъ, никого не спрашивая, найти это жилище, гдѣ протекло его раннее дѣтство и гдѣ теперь глядитъ на свѣтъ Божій новое дитя его отца,—кто, дѣвочка или мальчикъ? отецъ не написалъ... Однако, отворяя дверь въ квартиру, онъ нерѣшительно спросилъ какую-то женщину, стиравшую въ кухнѣ въ корытѣ бѣлье, дома ли Иванъ Петровичъ Поповъ; она, не оборачиваясь, отрывисто отвѣтила, что «хозяина» нѣтъ дома... Поповъ снималъ квартиру и сдавалъ углы и потому назывался хозяиномъ. Тогда Василій спросилъ:

— А Терентьичъ живъ?

— Что ему дѣлается, живъ,—отвѣтила она такъ же отрывисто.

Ей было, очевидно, не до разговоровъ. Вся въ поту, въ сбившемся на головѣ повойникѣ, съ голыми руками, въ грязной мыльной пѣнѣ она стирала мужицкое бѣлье, грязное, какъ отъ сажи.

— Такъ я къ нему пройду,—сказалъ Василій.

Стиравшая женщина ничего не отвѣтила, и онъ пошелъ по знакомому съ дѣтства жилищу. Вообще здѣсь люди мало обращали вниманія другъ на друга, занятые тѣмъ или другимъ дѣломъ. Терентьичъ, обросшій сѣдою бородой, сидѣлъ у себя на постели и былъ не мало пораженъ неожиданнымъ приходомъ незнакомаго ему молодого человѣка; откинувшись въ страхѣ къ стѣнѣ, ухватившись цѣпкими пальцами хищной птицы за край постели и глядя на него поверхъ своихъ огромныхъ очковъ въ мѣдной оправѣ испуганными слезящимися глазами, казалось, что онъ вотъ-вотъ крикнетъ: «караулъ! грабятъ!» Когда же Василій объяснилъ, кто онъ, Терентьичъ, переводя духъ, закачалъ сѣдой, всклоченной головой и зашамкалъ:

— Барченокъ съ того свѣта!.. Барченокъ съ того свѣта!.. Отецъ-то ушелъ... ушелъ отецъ...

— Мнѣ уже сказали,—пояснилъ Василій. — А жена его гдѣ?

— Гдѣ ей быть, гдѣ ей быть, какъ не съ нимъ — зашамкалъ старикъ. — Все вмѣстѣ, все вмѣстѣ... У насъ совѣтъ да любовь, совѣтъ да любовь...

— И ребенокъ съ ними?

— Ребенокъ? Какой ребенокъ... никакого ребенка нѣтъ... никакого ребенка нѣтъ...

— Развѣ онъ умеръ?

— Никто не умиралъ!.. Никто не умиралъ!.. Покуда Богъ грѣхамъ терпитъ...

— Но у отца же родился ребенокъ?..

— Никто не родился... Никто не родился... и не умиралъ никто, и не родился никто... не умиралъ и не родился... Богъ миловалъ... Богъ миловалъ...

Со старикомъ было трудно объясняться, такъ какъ онъ повторялъ каждую фразу и почти совсѣмъ потерялъ слухъ; тѣмъ не менѣе, Василій узналъ отъ него, что у отца никакихъ дѣтей отъ второй жены не рождалось, что онъ и въ этомъ случаѣ солгалъ князю. Допрашивая старика, онъ узналъ, что отецъ теперь пьянствуетъ не одинъ, а со своей подругой жизни, что она его бьетъ, такъ какъ онъ хмелѣетъ скорѣе, чѣмъ она.

— Молода еще... молода еще,—пояснялъ Терентьичъ:— хмель не сейчасъ беретъ... не сейчасъ береть...

На вопросъ Терентьича о князѣ, Василій объяснилъ, что князь умеръ за границею, а похороненъ въ Петербургѣ.

Онъ уже всталъ съ табуретки, стоявшей около постели Терентьича, чтобы идти, когда послышались пьяные голоса бранившихся между собою мужчины и женщины:

— Ишь ты, нализался, ваше благородіе; на рукахъ тебя таскать, что ли?

— И будешь таскать, если я тебя изъ грязи вытащилъ: я чиновникъ!

— Вотъ погоди, я тебѣ покажу, кто ты, пропойца...

Василій отступилъ на шагъ при появленіи этой переругивавшейся между собою пары и узналъ отца, котораго вела подъ руку толстая баба въ сбившемся съ бѣлокурыхъ растрепанныхъ волосъ шерстяномъ, клѣтчатомъ платкѣ и въ неряшливомъ пестромъ ситцевомъ платьѣ. Увидавъ осовѣлыми глазами посторонняго человѣка у Терентьича, старикъ Поповъ спросилъ заплетающимся языкомъ:

— Кто такой будете?.. Если ко мнѣ... то я... сегодня...

Василій не далъ ему договорить и отвѣтилъ:

— Да, я къ вамъ... сынъ вашъ Василій... Но вы едва стоите на ногахъ... и въ такомъ видѣ мнѣ нечего говорить съ вами.

Его мягкій голосъ былъ теперь рѣзокъ, а выраженіе лица сурово.

— Ай да сынокъ! — пробормоталъ Иванъ Петровичъ.

силясь разсмотрѣть стоявшую передъ нимъ коренастую фигуру сына.—Хорошъ! какъ отца встрѣчаетъ послѣ долголѣтней разлуки...

Василій обернулся къ Терентьичу и громко сказалъ:

— Вы, Терентьичъ, разскажите ему, когда онъ будетъ въ своемъ видѣ, то, что я вамъ говорилъ о князѣ... и скажите, что я зайду къ нему завтра въ четыре часа... Говорить съ нимъ, когда онъ ничего не пойметъ, я не стану...

Съ этими словами онъ вышелъ, оставивъ отца, грузно прислонившагося къ стѣнѣ и громко икающаго.

Онъ вышелъ изъ дома, пошелъ куда-то все прямо вдоль забора, затѣмъ безсознательно куда-то свернулъ, перешелъ какой-то мостъ и очутился въ какомъ-то паркѣ. Когда онъ осмотрѣлся кругомъ, онъ увидалъ, что онъ находится на Крестовскомъ островѣ на аллеѣ широкаго проспекта съ рядомъ скамеекъ. Онъ тяжело опустился на одну изъ нихъ, какъ послѣ дальняго пути, разбитый, усталый, съ подламывающимися ногами. Въ головѣ мелькнула мысль: «Если бы подъ руками была водка или пиво, напился бы, какъ онъ»... Онъ облокотился на свои колѣни и оперся головой на сжатые кулаки. Въ головѣ роились мысли: «Что это: наслѣдственность? гнусная привычка? Отсутствіе воли? И когда я началъ пить? Когда бѣгалъ за косушками для отца и онъ спьяна награждалъ и меня рюмкой водки? Или съ той поры, когда за обѣдомъ князя и намъ, дѣтямъ, какъ всѣмъ, давали по рюмкѣ вина? Или тогда, когда я украдкой выпивалъ глотки вина, волнуясь отъ той или другой причины, сидя въ безсонныя ночи у постели больного Алексѣя, у постели умирающаго князя? А чѣмъ кончится все это, что будетъ дальше?..»

Онъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, какъ отъ холода. Потомъ тяжело вздохнулъ и побрелъ домой походкой разбитаго недугомъ или усталостью, вдругъ одряхлѣвшаго человѣка.

X.

— Что съ тобой,—окликнулъ Алексѣй брата, замѣтивъ, что тотъ какъ-то безнадежно махнулъ рукой, какъ бы отвѣчая на свои мысли.

— Такъ, ничего,—отвѣтилъ Василій, очнувшись, и черезъ минуту снова сталъ вспоминать о томъ, о чемъ никто изъ сидѣвшихъ въ коляскѣ и не подозрѣвалъ.

Когда на другой день послѣ своего вечерняго посѣщенія къ отцу снова пошелъ къ нему днемъ,—его охватило раз-

думье: не вернуться ли обратно, такъ какъ теперь онъ уже зналъ, что при отцѣ не было того маленькаго, невѣдомаго ему существа, ради жалости къ которому ему такъ хотѣлось помочь отцу еще наканунѣ. Но вѣдь если онъ теперь не переговоритъ съ отцомъ, тотъ, узнавъ о смерти князя, ворвется къ Бѣльской, къ Аграфенѣ Николаевнѣ, станетъ дѣлать скандалы, испугаетъ опять Алексѣя. Кто знаетъ, онъ можетъ ворваться даже въ гимназію, а тамъ появленіе этого пропойцы обратитъ вниманіе всѣхъ; ему, Василью, это не страшно, а Алексѣю — онъ, бѣдняга, кажется, Богъ знаетъ чѣмъ пожертвовалъ бы, чтобы люди считали его князькомъ, а не сыномъ кабацкаго героя... Бѣдный мальчикъ!.. Да, лучше предупредить все это и вынести одному всѣ непріятности, грозящія многимъ, тѣмъ болѣе, что избѣгнуть этихъ непріятностей совсѣмъ все же не придется ни въ какомъ случаѣ. Лучше самому пойти навстрѣчу имъ, чѣмъ ждать, когда онѣ внезапно обрушатся на голову. Онъ рѣшилъ, что идти надо, и пошелъ.

Иванъ Петровичъ на этотъ разъ не былъ пьянъ.

— А, сыночекъ! Здравствуй! здравствуй! Давно бы слѣдовало отца-то навѣстить, — заговорилъ онъ съ ироніей, очевидно не зная, какъ себя держать съ сыномъ.—Старичокъ-то одной ногой въ гробу стоитъ.

— Я пришелъ, чтобы переговорить съ вами о дальнѣйшемъ вашемъ положеніи, такъ какъ князь умеръ, какъ вы уже знаете, — по возможности спокойно и сдержанно отвѣтилъ Василій, садясь на предложенный стулъ.—Я думалъ, что не только вы нуждаетесь, но и вашъ ребенокъ...

— Умерла,—началъ Иванъ Петровичъ.

— Я же знаю теперь, что у васъ и не было никакого ребенка, — оборвалъ его брезгливо Василій. — Зачѣмъ вы врали своему благодѣтелю, который такъ много сдѣлалъ и для насъ, и для васъ?.. Теперь, конечно, вамъ некого будетъ обирать...

— Ого, какъ ты изволишь говорить!— гнѣвно проговорилъ Иванъ Петровичъ.—Забылъ, вѣрно, какъ я поролъ.

— Меня вы водкой поили, а не пороли,—сухо отвѣтилъ Василій.—Боялись!

— Какъ же, какъ же, еще въ малолѣтствѣ уже звѣренышемъ былъ! — со злобой проговорилъ Иванъ Петровичъ. — Какъ собака, руки отцу перекусалъ!.. Ногой разъ такъ брыкнулъ, что отецъ-то чуть Богу душу не отдалъ.

— Ну, я и теперь такой же... силы только больше. —

коротко сказалъ Василій.—Да дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что безъ помощи князя вы можете умереть съ голоду.

— Съ двумя-то сынками, которые на лѣсъ глядя выросли?—иронически засмѣялся Иванъ Петровичъ.—Хе-хе-хе! Да я васъ, голубчики, заставлю кормить отца! Мы не въ беззаконной странѣ живемъ... Законы-то всѣ знаю... въ карманѣ они у меня.

— Я законовъ не знаю,—такъ же сухо отвѣтилъ Василій. — Но знаю то, что ни жить съ вами, ни работать на васъ я-то не буду.

Онъ поднялся со стула, на которомъ сидѣлъ.

— Я шелъ къ вамъ съ добрыми намѣреніями, съ желаніемъ хоть немного помочь вамъ, поддержать васъ, но вижу, что отъ васъ, кромѣ лжи и запугиваній, ничего не добьешься.

— Батюшка, да что же вы, куда же? — раздался за его спиною слащавый женскій голосъ. — Я кофейку сейчасъ... Нашъ-то не выспался еще, да лѣвой ногой сегодня всталъ... потому что опохмелиться не дала... Въ ножки бы сынку-то надо кланяться, что помочь хочетъ, а онъ артачится... законами своими погаными въ носъ тычетъ... У-у, дармоѣдъ! Со своими законами, что ты зарабатываешь? съ голоду дохнешь!.. Такъ бы вотъ тебя и смазала!

Василій обернулся и узналъ лицо мачехи, видѣнное имъ наканунѣ, — красное, лоснящееся, заискивающе улыбающееся, лицо еще не старой, но, очевидно, гуляющей и пьяной бабы.

— Ну, ну, ты тоже ужъ начнешь,—забормоталъ совсѣмъ присмирѣвшій и сконфуженный Иванъ Петровичъ.—Передъ сыномъ-то хоть бы не срамила!..

Онъ смотрѣлъ теперь жалкимъ и трусливымъ.

— Ужъ если бы вы знали, батюшка, что я-то здѣсь терплю, такъ слезы бы кулаками вчужѣ утирали!—плаксиво поясняла мачеха.—Вы вотъ такой добрый, навѣстили насъ, и слышала я за дверями то, что по мѣрѣ силъ родителю помогать хотите! Только не стоитъ въ эту прорву деньги-то давать...

— Запѣла, запѣла!—проворчалъ подъ носъ себѣ Иванъ Петровичъ.—Себѣ выкляньчить хочетъ!

— Ну, да, тогда хоть сытъ будешь, а тебѣ дай—все въ кабакъ снесешь... И себя загубилъ, и я изъ-за тебя пропадаю!.. Губитель ты мой, молодость ты мою заѣлъ!.. Глядите, ни сапогъ на ногахъ, ни носковъ... а съ чего?

Василій невольно обратилъ глаза на ноги отца: онѣ были въ какихъ-то рваныхъ туфляхъ, надѣтыхъ на босу ногу.

— Это я сняла, чтобы въ кабакъ не убѣжалъ сегодня... сынка ждемъ, радость великая, а онъ норовитъ въ кабакъ... Не я бы, такъ лыка бы теперь не вязалъ!..

У Василія кружилась голова, когда онъ, послѣ цѣлыхъ двухъ часовъ, проведенныхъ въ обществѣ отца и мачехи, пошелъ домой. Ему казалось, что онъ провелъ эти часы въ какомъ-то вертепѣ людей, потерявшихъ и стыдъ, и совѣсть, и разсудокъ въ кабакѣ. У отца были пропиты и воля, и умъ, и здоровье; эта толстая баба, тоже не отставшая отъ мужа въ дѣлѣ пьянства, очевидно, крѣпко держала его въ своихъ еще молодыхъ и сильныхъ красныхъ рукахъ. Когда Василій переговорилъ съ ними и обѣщалъ изъ своихъ средствъ давать ежемѣсячно деньги семьѣ, отецъ разбитой походкой пошелъ провожать его до воротъ и слезливо сталъ жаловаться:

— Забила совсѣмъ старика... забила, а еще жалуется, что я ее загубилъ... Чего губить-то было?.. Изъ кабака ее взялъ... въ околоткѣ каждый мальчишка пальцемъ на нее указывалъ... чиновницей теперь стала, благородною... Человѣкъ слабъ, ну, и взялъ... А она меня бьетъ, старика.

И совсѣмъ сквозь слезы началъ униженно просить:

— Ты мнѣ хоть на косушечку дай... маковой росинки съ утра во рту не было... ради тебя и сапоги, и носки сняла, чтобы въ кабакъ не ушелъ... а мнѣ, старичку, вино хлѣба насущнаго нужнѣе... вотъ тутъ и сосетъ, и жжетъ. Съ ума схожу просто безъ этого зелья...

Старикъ торопливо нагнулся и, прежде чѣмъ опомнился Василій, поцѣловалъ его руку...

— А-ахъ!—вдругъ, какъ страшный скрежетъ зубовъ, вырвалось изъ груди Василія, сидѣвшаго въ коляскѣ.

Алексѣй даже испугался.

— Что съ тобой, Вася?—спросилъ онъ, пугливо хватая его за руку.

— Ничего! ничего!—проговорилъ Василій, опомнившись.— Кольнуло что-то въ груди!..

Онъ не могъ сказать, что въ это мгновеніе онъ вспомнилъ, какъ, давъ отцу полтинникъ на водку, онъ тоже пошелъ прямо въ «Крестовскій трактиръ» и еще впервые въ жизни напился тамъ до-пьяна.

XI.

Княгиня Аграфена Николаевна Черемисинова проводила цѣлые часы въ монастырѣ; иногда она оставалась тамъ на нѣсколько дней, и постилась, и говѣла. Ей все казалось, что она недостаточно замолила свои прошлые грѣхи. Такъ же мало времени проводилъ дома и Василій, исчезавшій тотчасъ послѣ прихода изъ училища на уроки, которые онъ сталъ давать въ двухъ-трехъ домахъ. И тетка, и племянникъ замѣтно похудѣли за послѣднее время, и Алексѣй, жившій, какъ и его братъ, теперь уже не у Бѣльской, а у тетки, иногда, заходя по старой памяти на часокъ къ Аннѣ Ивановнѣ, подшучивалъ надъ своими «постниками».

— Въ подвижниковъ какихъ-то превратились: тетка молится, Василій зачѣмъ-то уроки даетъ,—говорилъ онъ.—Денегъ куры не клюютъ, а онъ по урокамъ треплется... Учился бы самъ, а то и такъ на годъ остался въ классѣ.

— Онъ же, Леша, остался не изъ-за своей лѣни,—заступилась за своего Васю Анна Ивановна.

— Ну да, конечно, не изъ-за своей лѣни, а изъ-за чужого эгоизма, а теперь изъ-за этихъ уроковъ будетъ плохо учиться...

— А вы изъ-за баловъ и театровъ?—насмѣшливо спрашивала Александра Васильевна.

— О, надо быть молодымъ, пока молодъ!—говорилъ развязно Алексѣй. — Впрочемъ, мнѣ ни балы, ни театры не помѣшаютъ идти первымъ...

Тѣмъ не менѣе, онъ долго не рѣшался заговорить съ самимъ Васильемъ объ этомъ щекотливомъ вопросѣ, и заговорилъ объ этомъ только тогда, когда самъ Василій выругался разъ утромъ, получивъ наканунѣ не особенно хорошія отмѣтки по одному изъ учебныхъ предметовъ.

— А ты бы еще болѣе тратилъ времени на бѣганье по урокамъ!—упрекнулъ его Алексѣй.

— Ахъ, что ты понимаешь!—сказалъ Василій.— Просто и предметъ самъ по себѣ сухъ, и новый преподаватель плохъ, не знаетъ, что мы проходили и чего не проходили до него... Уроки же отнимаютъ не много времени, а безъ нихъ нельзя обойтись...

— Я же не даю уроковъ, а у меня больше тратъ, чѣмъ у тебя.

— Ты считалъ мои траты?

— На пиво, что ли?

Василья точно что-то кольнуло. Онъ никогда не подозрѣвалъ, что братъ хоть разъ замѣтилъ, что онъ пьетъ изрѣдка пиво. Случайно сказанная фраза взбудоражила въ немъ все.

— Нѣтъ, на кабакъ!—рѣзко отвѣтилъ онъ.

— Что ты врешь на себя?!.—сказалъ Алексѣй.

— А потому, что никому нѣтъ дѣла до моихъ тратъ... на пиво или на водку трачу я свои собственныя деньги... Ты бы вотъ лучше, швыряя деньги на перчаточки, подумалъ хоть когда-нибудь, не голодаетъ ли нашъ отецъ.

Алексѣй пожалъ плечами и немного смутился: всякое напоминаніе объ отцѣ его пугало. Это былъ призракъ, появленія котораго онъ боялся теперь, пожалуй, еще больше, чѣмъ въ дѣтствѣ, разыгрывая роль аристократа.

— Онъ насъ бросилъ, что же намъ-то думать о немъ?—отвѣтилъ онъ. — Да, наконецъ, онъ пьяница, на него не напастись...

— Молодъ ты, чтобы судить такъ! Онъ на водку тратитъ, а ты на что?—рѣзко спросилъ Василій.

Алексѣй вдругъ вспыхнулъ.

— Мало ли потребностей у молодости, — сконфуженно пробормоталъ онъ.—Аскетомъ жить нельзя!

— Трать свои деньги, а не чужія на эти потребности молодости... А главное, не суди другихъ, если не желаешь, чтобы осуждали и тебя.

— А все-таки я повторяю, что если ты даже ради помощи отцу даешь уроки и губишь себя, такъ это не дѣло... ты всегда можешь спросить у тетки... она никогда не откажетъ... ей все-равно, тебѣ ли дать или въ монастырь.

— Ничего ты не понимаешь! — совсѣмъ рѣзко перебилъ его Василій.—Говорить съ теткой о нашемъ отцѣ—значитъ раздражать ее, просить денегъ для него — значитъ заставлять ее дѣйствовать противъ себя... Самъ покойный князь тихонько отъ нея помогалъ нашему отцу и просилъ меня передъ смертью не говорить ей объ этомъ... ее надо беречь.

— Насъ вотъ не берегутъ!—сорвалось съ языка Алексѣя.

— Кто это, не она ли?—воскликнулъ Василій гнѣвно.— Стыдись!

Алексѣй струсилъ, зная вспыльчивость брата, и поспѣшилъ добавить:

— Не она, конечно... а ради нея приходится чортъ знаетъ что слушать.

— Что тамъ еще?—спросилъ Василій.

Алексѣй хотѣлъ увильнуть отъ отвѣта, но Василій настаивалъ.

— Ну, опять этотъ Сычуговъ... хамъ поганый! — проговорилъ Алексѣй. — Распространяетъ слухи, что тетку до князя знали очень близко многіе люди... что мужъ его двоюродной сестры, какой-то лабазникъ, долго даже жилъ съ нею... хуже всего, что даже Коля Воротынскій, кажется, придалъ значеніе этимъ сплетнямъ и брезгливо сказалъ мнѣ: «И зачѣмъ ты съ ней разъѣзжаешь и такъ часто говоришь о ней?..»

Алексѣй чуть не плакалъ и едва успѣвалъ идти за братомъ, сильно ускорявшимъ шаги и усиленно дышавшимъ широко поднимающеюся грудью. Если бы Алексѣю пришло въ голову заглянуть въ это время въ лицо брата, онъ испугался бы его яростнаго выраженія.

Не прошло и пяти минутъ, какъ въ шинельной раздались звуки пощечинъ и крики двухъ голосовъ:

— Развѣ я виноватъ, что у тебя такая тетка? Какъ ты смѣешь меня бить по лицу? Я тебѣ покажу, каково меня бить!

— А я твою харю въ блинъ превращу, мерзавецъ!

И опять звуки оплеухъ огласили шинельную. Прежде чѣмъ прибѣжалъ служитель, кто-то, держась за носъ, изъ котораго текла кровь, стремглавъ, безъ верхней одежды, выскочилъ, спасаясь, изъ подъѣзда на улицу. Это былъ Сычуговъ. Василій Поповъ съ налитыми кровью глазами, тяжело переводя духъ, не преслѣдовалъ его и стоялъ на мѣстѣ, коротко сказавъ служителю:

— Воды дай!

XII.

Въ частной гимназіи господина Рѣзваго сразу убыло три ученика: двоихъ исключили за сдѣланный ими скандалъ, третій вышелъ самъ, заявивъ со слезами у себя дома, что теперь, послѣ этой «страшной исторіи», ему стыдно будетъ смотрѣть въ глаза товарищамъ, и что онъ скорѣе руки на себя наложитъ, чѣмъ переступитъ порогъ гимназіи. Говорилъ онъ это съ видомъ героя мелодрамы, въ приподнятомъ, трагическомъ тонѣ.

Аграфена Николаевна была поражена, какъ громомъ, этой исторіей, сущность которой въ короткихъ словахъ передалъ ей Василій.

— Выгнали меня потому, что я избилъ Сычугова, —

пояснилъ онъ ей.- Не могъ же я спустить мерзавцу того, что онъ клеветалъ на васъ.

— Никакого я Сычугова не знаю! Да и что же могъ говорить про меня какой-то мальчишка?—сказала Аграфена Николаевна, удивленными глазами смотря на племянника.

— Его двоюродная сестра замужемъ за купцомъ Стародубскимъ,—произнесъ Василій, глядя на нее проницательнымъ взглядомъ.

— За Стародубскимъ? За Петрушкой Стародубскимъ?— почти вскрикнула Аграфена Николаевна, хватая его за руку, и въ ея глазахъ отразился ужасъ.—Живъ еще? живъ?

Ея лицо помертвѣло. Василій понялъ все и, стараясь ее успокоить, ласково погладилъ ее по рукѣ, точно дѣвочку, и коротко пояснилъ:

— Вы же, тетя, понимаете, что я не могъ, никакъ не могъ выдержать его клеветы.

— Клеветы! какая тутъ клевета! Правду люди говорятъ!— стономъ вырвалось изъ ея груди.

— Полноте, тетя!—остановилъ ее тихо Василій.

— Господи, Господи, а я-то думала, что все забыто, что все умерло!—тихо шептала она, безнадежно качая опущенною на грудь головой.

Ей казалось, что прошлое было давно погребено и забыто всѣми, что оно живетъ только въ ея памяти, и вдругъ оно воскресло изъ-за какой-то мальчишеской болтовни, изъ-за какого-то мальчишки Сычугова, на двоюродной сестрѣ котораго былъ женатъ первый любовникъ Аграфены Николаевны, тотъ самый любовникъ, который развратилъ ее, который билъ ее, какъ собаку. Она вспомнила всѣ эти фамиліи этихъ саврасовъ Сычуговыхъ, Стародубскихъ, свидѣтелей ея паденія и позора. Всѣ картины позорнаго прошлаго прошли снова передъ ея глазами. И на свѣтѣ еще живы люди, видѣвшіе ея позоръ и представляющіе себѣ его картины! И сколько ихъ, которые могутъ вспомнить, кѣмъ она была десятокъ лѣтъ тому назадъ? Положимъ, ей самой теперь, когда нѣтъ на свѣтѣ ея князя, нѣтъ дѣла до того, что будутъ толковать про нее; она вся живетъ мыслью о замаливаніи грѣховъ; но чѣмъ же виноваты эти «дѣти», судьбу которыхъ исковеркали изъ-за нея? Передъ ними, передъ дѣтьми своей покойной сестры, должна она каяться въ томъ, что они пострадали изъ-за нея. Это наказаніе Божіе; это опять Богъ напомнилъ ей, что она не замолила

еще всѣхъ своихъ грѣховъ, что она еще думаетъ о земномъ, холитъ и нѣжитъ себя.

Алексѣя точно пришибло отъ этой исторіи, и какъ только начинался разговоръ о томъ, что же онъ будетъ теперь дѣлать, онъ начиналъ плакать. Житья ему здѣсь не будетъ; всѣ его друзья пальцами на него будутъ указывать, онъ притчей во языцѣхъ станетъ... Тогда его строптиво останавливалъ Василій. Съ чего имъ указывать на него пальцами? Что онъ-то сдѣлалъ? Чѣмъ онъ-то виноватъ въ прошломъ своей тетки? Да на всякое чиханье и не наздравствуешься!

— Я... я... — говорилъ, всхлипывая, мальчуганъ: — разсказывалъ, что и она княжна, какъ и наша мать была княжною... стыдно было сознаться, что мы нищіе... дѣти кабачнаго пропойцы... Коля Воротынскій сынъ министра, а онъ со мной «на ты» былъ...

— Ахъ, ты, бѣдняга, бѣдняга!—снисходительно сожалѣлъ Василій, качая головой. — Хвасталъ, бахвалился, а вотъ теперь и приходится расплачиваться за вранье... Ну, да что сдѣлано, того не воротишь!

И онъ начиналъ разсуждать, что имъ нечего особенно тужить. О томъ, что дѣлать дальше, есть время подумать. Они молоды и время не ушло. У нихъ есть деньги, оставленныя на ихъ имя княземъ, значитъ они могутъ выбирать какія угодно житейскія дороги. Куда потянетъ, туда и направятся... Онъ говорилъ съ братомъ, какъ съ ребенкомъ, стараясь его подбодрить, развеселить... Алексѣй, не находя возраженій на его слова, только хныкалъ, что въ Петербургѣ онъ никакъ не можетъ остаться, что даже Коля Воротынскій, встрѣтивъ его недавно на улицѣ, проѣхалъ мимо и сдѣлалъ видъ, что не узналъ его. О немъ весь Петербургъ теперь знаетъ... Василій насмѣшливо замѣтилъ, что ужъ лучше бы онъ сказалъ, что о немъ вся Россія или даже вся Европа знаетъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, великое событіе: какой-то Поповъ оказался не потомкомъ рюриковичей, а сыномъ получившаго первый чинъ писарька! — весело иронизировалъ онъ надъ братомъ.—Ты не читалъ еще, не опубликовано ли это въ газетахъ?

Тѣмъ не менѣе, Алексѣй безповоротно рѣшилъ, что онъ вступитъ вольноопредѣляющимся въ одинъ изъ провинціальныхъ кавалерійскихъ полковъ, а въ Петербургѣ не останется ни за что «послѣ этого срама». Горько упрекая за глаза тетку за ея прошлое, онъ не менѣе чувствительно

упрекалъ и Василія за его «буйство». Мало ли что говорилось за глаза, мало ли что сплетничалъ Сычуговъ, а все же скандала публичнаго не было, пока Василій не поколотилъ нахала...

Сычуговъ прежде и самъ не зналъ ровно ничего о ихъ теткѣ, а два года тому назадъ, когда его стали считать взрослымъ и онъ сталъ кутить вмѣстѣ со старшими, разъ въ пьяномъ видѣ мужъ его двоюродной сестры, Петръ Стародубскій, проболтался о ихъ теткѣ, хвастая тѣмъ, что она и пѣть-то у него научилась, что только съ его легкой руки она и жить начала, что онъ радъ ее отбить у князя Черемисинова и отобьетъ... Онъ увѣрялъ при этомъ, что она вовсе и не вѣнчана съ княземъ, что живетъ съ нею князь, пока не надоѣло. Съ этого дня и пошли сплетни. Сперва говорили опасливо, намеками, потомъ стали смѣлѣе и заговорили громко и опредѣленно. Онъ, Алексѣй, зналъ объ этомъ,—не все зналъ, а кое-что,—но все пропускалъ мимо ушей, дрожа передъ скандаломъ, или небрежно замѣчалъ, что люди изъ зависти всякаго готовы замарать. Зубъ на зубъ отъ страха не попадалъ, а все же храбрился.

— Все старался доказать, что она изъ княженъ... татарскій княжескій родъ какой-то на Волгѣ изобрѣлъ... Касимъ-Булатовыхъ... будто она изъ него происходила,—наивно сознавался онъ брату, глотая слезы.

— Ишь ты, даже къ татарамъ за помощью обратился,— шутилъ Василій.

— Да у нихъ же тамъ каждый татаринъ—князь... надо же было поддержать себя...

— Еще бы! умнѣе будешь, если отъ князей происходить будешь...

— Не умнѣе... а все же всѣ вѣрили, что она не изъ какихъ-нибудь пѣвичекъ была, не изъ кокотокъ... вѣрили, что всѣ эти слухи и сплетни—злыя выдумки завистниковъ и не болѣе. Тѣмъ все и кончалось, а теперь, теперь всѣ знаютъ, что это не сплетня, не сплетня, не клевета, а сущая правда...

XIII.

Съ этой поры, потрясенная мыслью о незамоленныхъ грѣхахъ, княгиня Аграфена Николаевна Черемисинова проводила большую часть времени въ монастырѣ, и всѣ уже чувствовали, что не нынче, такъ завтра она окончательно поступитъ въ число монахинь и превратится въ какую-нибудь

матушку Антонію, или матушку Александру, порвавшую всякія связи съ здѣшнимъ грѣховнымъ міромъ. Алексѣй исполнилъ свое желаніе и уѣхалъ въ полкъ на югъ Россіи, надѣясь тамъ дослужиться до офицерскаго званія и потомъ, послуживъ немного въ провинціи, явиться въ Петербургъ, пуская пыль въ глаза новенькими щегольскими мундирчиками и широкими денежными средствами. Василій, упорно работая, прилежно читая, развивая себя умственно, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе чувствовалъ себя одинокимъ, не раздѣляя ни суевѣрнаго страха тетки передъ загробнымъ будущимъ, ни жизнерадостной безпечности брата, вѣрившаго, что съ деньгами въ карманѣ только ликуй и веселись въ жизни. Его не покидало тревожное состояніе духа, и оно усиливалось еще болѣе, когда порою онъ посѣщалъ отца, отъ котораго возвращался домой мрачнымъ и разстроеннымъ, или когда онъ случайно попадалъ съ товарищами куда-нибудь въ трактиръ и съ каждой выпитой рюмкой вина, съ каждымъ выпитымъ стаканомъ пива дѣлался все угрюмѣе и раздражительнѣе, тогда какъ окружавшая его молодежь, безпечная относительно послѣдствій тѣхъ или другихъ привычекъ, становилась отъ вина только бойчѣе и говорливѣе. Страшная мысль о томъ, что въ немъ, по его выраженію, сидитъ какой-то бѣсъ—бѣсъ наслѣдственности, который доведетъ его, въ концѣ-концовъ, до того, до чего дошелъ его отецъ, неотступно преслѣдовала его. Паденіе же отца было полное; сынъ уже никогда не заставалъ его трезвымъ и нерѣдко наталкивался на возмутительныя сцены дракъ въ пьяномъ видѣ отца и мачехи съ зловѣщими причитаніями чуть не хнычущаго Терентьича: «Охъ, убивцы! охъ, убивцы!..» Молодой человѣкъ началъ отличаться «странностями», какъ говорили окружающіе его, замѣчая неровности въ его характерѣ и рѣзкости нѣкоторыхъ его поступковъ. Вѣчно недовольный собой и скрывающій отъ всѣхъ свою пагубную привычку, онъ не могъ сохранить уравновѣшенность въ своемъ характерѣ. Самъ о себѣ онъ говорилъ иногда, что въ немъ сидятъ два человѣка: «одинъ—разумное существо, другой—безсмысленное животное».

Особенно тяжело отозвался на немъ день его вступленія въ медико-хирургическую академію. Когда, тотчасъ по зачисленіи въ медико-хирургическую академію, небольшой кружокъ болѣе или менѣе обезпеченныхъ новоиспеченныхъ студентовъ, по большей части, воспитанниковъ гимназіи и училища Рѣзваго, устроилъ кутежъ, Василій, какъ членъ но-

ваго товарищества,—ворчливо замѣтилъ за столомъ своему сосѣду послѣ двухъ-трехъ рюмокъ водки:

— Не нашли ничего лучшаго, какъ ознаменовать попойкой первый шагъ своего вступленія въ новую жизнь!

— Да ты, Василій, въ общество трезвенниковъ, что ли, хочешь вступить?—пошутилъ его сосѣдъ, совсѣмъ еще юный бѣлокуренькій студентикъ, напоминавшій не то вербнаго херувима, не то дѣвочку, не то Лешу Попова.

— А ты, Литихъ, думаешь, что лучше всего вступать въ жизнь въ роли невмѣняемаго прохвоста?—спросилъ его Василій, хмуря брови.

Поповъ и Литихъ были товарищами еще по училищу Рѣзваго.

— У Попова послѣ первой рюмки водки является и тонъ, и выраженіе мелодраматическаго героя!—засмѣялся кто-то, уловивъ слова Василья, и добавилъ дружески:—а ты, Вася, пей, не философствуя, и философствуй, когда будешь трезвъ. Это правило жизни!

Кто-то прошѣлъ невѣрнымъ голосомъ:

— «Лови, лови часы любви!»

— А въ самомъ дѣлѣ, господа, мы пьемъ, а о любви-то и забыли!—раздался чей-то голосъ.—Еще Лютеръ говаривалъ, что человѣку нужны три вещи: вино, женщины и пѣсни...

— Долой теологію, къ чорту Лютера! — раздался крикъ сильно подгулявшаго черномазенькаго юнца, не понявшаго, о чемъ говорятъ. — Развѣ затѣмъ мы сошлись, чтобы спорить о теологіи?.. Теологія, это... это... археологія!

— Надрызгался Федька такъ, что и не понимаетъ ничего!—замѣтилъ его сосѣдъ.—Ты лучше пойми, дурень ты этакій! что Лютеръ совѣтуетъ...

— Къ чорту Лютера, къ чорту, къ чорту! — кричалъ охмелѣвшій юнецъ, стуча ладонью по столу и въ тактъ притопывая ногой.

— А я за Лютера и за женщинъ, за мас-су женщинъ!— заоралъ, растягивая слова, бѣлобрысенькій Литихъ.

— Ну, и поѣдемъ слушать пѣвичекъ и будемъ веселиться!—подхватили голоса.—Да здравствуетъ веселье!

Безусая богатая и безпечная молодежь была невмѣняема— нѣкоторая ея часть, можетъ-быть, впервые въ жизни — и потому даже старалась щегольнуть, то-есть казаться пьянѣе, чѣмъ была на самомъ дѣлѣ. Начались споры, куда ѣхать; наконецъ, рѣшили, что поѣдутъ всей компаніей въ одинъ

изъ загородныхъ ресторановъ, гдѣ есть и цыгане, и цыганки, и пѣвички.

— Я, Вася, съ тобой, я съ тобой!—какимъ-то дрожащимъ шопотомъ проговорилъ вдругъ оробѣвшій и въ то же время подстрекаемый бѣсомъ любопытства Литихъ и даже ребячливо прижался къ Попову.

— Ну, со мной, такъ со мной,—отвѣтилъ Василій, плохо сознавая, куда и для чего всѣ они ѣдутъ, хотя еще за пять минутъ передъ тѣмъ онъ кричалъ, что онъ никуда не поѣдетъ, и когда кто-то крикнулъ, что тотъ подлецъ, кто не ѣдетъ съ товарищами, онъ настойчиво отвѣтилъ: «Ну, и пусть я подлецъ, пусть подлецъ, а все же я не поѣду».

Въ загородномъ ресторанѣ кружокъ безусой молодежи окружила толпа пѣвичекъ, жалкихъ, затасканныхъ, въ однообразныхъ черныхъ платьяхъ, съ убогими вызолоченными браслетками на рукахъ, со стеклами, вмѣсто драгоцѣнныхъ камней, въ ушахъ. По залу сновали, какъ алчные шакалы, чаявшіе добычу, слуги-татары, перекидываясь невѣдомыми посѣтителямъ гортанными односложными словами между собою. Казалось, они переругиваются между собою. Что-то наглое и циничное было въ каждомъ взглядѣ этой алчной стаи, жаждавшей только добычи, какой бы цѣной она ни досталась. Между этой безстыдной стаей хищниковъ были и старики, стоявшіе на краю могилы, и дѣти, едва вступившія въ жизнь. И тѣ, и другіе готовы были торговать всѣмъ и всѣми: вещами, людьми, другими, собою. На эстрадѣ залы кто-то пѣлъ дребезжащимъ голосомъ старца разнузданные куплеты, поясняя недосказанныя мерзости еще болѣе омерзительными тѣлодвиженіями. Въ залѣ стоялъ говоръ, смѣхъ, вскрикиванья и хлопанье пробокъ, а толпа все рѣдѣла и рѣдѣла, уходя парами въ отдѣльныя комнаты. Василій Поповъ, мрачный и угрюмый, сидѣлъ одинъ за бутылкой пива гдѣ-то въ углу и, опустивъ голову на руку, бормоталъ что-то про себя; слышались только отрывки его фразъ:

— Тетка тоже пѣвичкой была... Не здѣсь ли начала?.. Въ черномъ онѣ тоже, какъ монахини... Нищія онѣ... вотъ онѣ кто!.. Нищія!..

Онъ ударилъ неожиданно кулакомъ по столу, и этотъ звукъ гулко отдался въ почти опустѣвшей залѣ.

— Вася... голубчикъ, ради Бога, ради Бога! — раздался неожиданно около него плаксивый и дрожащій голосъ почти мальчика, почти ребенка.

Это былъ Литихъ. Взволнованный, блѣдный, со слезами на глазахъ, онъ теребилъ Попова дрожащею рукой за рукавъ, упрашивая его:

— Уѣдемъ! уѣдемъ!.. Гадости здѣсь творятся... я никогда не думалъ... ничего такого... Какъ я завтра взгляну на мать?.. Спроситъ она... я все ей разсказываю!

Поповъ вдругъ точно отрезвился.

— У меня тетка такъ начала,—проговорилъ онъ мрачно, поднимаясь съ мѣста.—Тоже нищая была... Нищету покупаемъ, нищета собой торгуетъ!..

— Уѣдемъ, уѣдемъ!—повторялъ Литихъ, все еще дрожа всѣмъ тѣломъ.—Я домой не поѣду... тамъ мать... я къ тебѣ... Можно... Да?..

Онъ робко, молящими дѣтскими глазами заискивающе заглядывалъ въ глаза Попову. Тотъ позвалъ татарина, потребовалъ сельтерской воды и расплатился. Онъ выпилъ почти цѣлый сифонъ. Примочивъ виски тою же водою, онъ, наконецъ, сказалъ:

— Ѣдемъ! ѣдемъ!..

Когда на нихъ пахнуло свѣжимъ и холоднымъ воздухомъ, Василій коротко сказалъ:

— Ты прости меня, что я согласился... въ омутъ ѣхать.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты не виноватъ... ты не хотѣлъ... Это я уговорилъ... тебя... Я помню это... я не зналъ,—торопливо говорилъ Литихъ.—Ты знаешь мою мать? Святая женщина... берегла меня... держала какъ ребенка... Я все разсказывалъ ей... а теперь... что я разскажу ей?

— А я все зналъ... все зналъ,—угрюмо пояснилъ Василій.—Тетка, родная тетка такъ же погибла, какъ эти нищія... можетъ-быть, здѣсь же пѣла, голодная... А я поѣхалъ... тебѣ позволилъ ѣхать...

Было уже давно за полночь, когда Литихъ въ комнатѣ Василія съ мокрымъ отъ слезъ лицомъ заснулъ крѣпкимъ сномъ. Василій все еще сидѣлъ на его кровати и передумывалъ мрачныя думы.

— Два человѣка, два человѣка въ одномъ,—бормоталъ онъ, опустивъ голову.—Одинъ умный, честный, а другой—неразумное животное, скотъ. Что же будетъ, если животное возьметъ верхъ? Прикончить, прикончить съ нимъ, пока не поздно!

XIV.

Какъ изслѣдователи-спеціалисты, создавъ себѣ тѣ или другія апріористическія теоріи, видятъ потомъ только факты,

подтверждающіе ихъ завѣтныя построенія, и даже безсознательно и неумышленно искажаютъ и подтасовываютъ эти факты, лишь бы подтвердить свои излюбленные выводы, такъ Василій, окончательно охваченный мыслью, что онъ, какъ и его братъ, наслѣдственно ненормальный человѣкъ, въ каждой медицинской книгѣ находилъ потвержденіе тому, что онъ носитъ въ себѣ слѣды своего происхожденія отъ алкоголика. Развѣ и могло быть иначе? Отецъ былъ всегда пьяницей, и нужно еще удивляться, что они не эпилептики, не заики, не идіоты. Но наслѣдственность все же сказалась. И онъ, и его братъ страдаютъ недостаткомъ воли. Тряпичность натуры въ братѣ сказывается ясно и ярко въ его плаксивости, въ его трусости, въ его безхарактерности, въ его женоподобной мелочности, въ жалкомъ бахвальствѣ небывалыми связями и еще болѣе жалкомъ нежеланіи сказать правду. У самого его, Василія, кажущимся образомъ какъ будто болѣе силы воли, но, въ сущности, и онъ тряпка; одно уже пристрастіе его къ пьянству говоритъ достаточно, что онъ ненормаленъ: знаетъ, что это гадко, и дѣлаетъ это. Онъ вспоминалъ о той женщинѣ, которая приводится, какъ яркій примѣръ, въ трактатахъ о запойныхъ пьяницахъ: она была бережлива, скупа и дѣловита, и, тѣмъ не менѣе, когда она начинала пить — она спускала все; въ отчаяніи она стала подмѣшивать въ водку всякую мерзость — и все же пила ее; тогда она начинала ругать себя, причитая: «пей, пей, презрѣнная, пей, жалкая пьяница, забывающая свои обязанности и позорящая свою семью». Онъ таковъ же: знаетъ, что пьянство гадко, что въ пьяномъ видѣ онъ готовъ надѣлать пакостей — и все же напивается, когда у него защемитъ сердце, когда на него найдетъ тоска, когда что-нибудь сильно возбудитъ его, — а между тѣмъ за первой рюмкой идетъ уже прямо пьянство, такъ какъ сдержать себя онъ не можетъ. Все это прямо болѣзнь. Но что же ждетъ его впереди? Рибо, Маньянъ, Модсли, Морель, Бэръ, всѣ, касающіеся этихъ вопросовъ, разсказываютъ ужасы, происходящіе отъ алкоголизма. Вырожденіе, помѣшательство, преступность, идіотизмъ... Ахъ, все это онъ отлично и безъ нихъ знаетъ! Развѣ онъ не сынъ своего отца? Развѣ можно пасть еще ниже, чѣмъ его отецъ?.. Въ припадкѣ тяжелаго мрачнаго настроенія Василій начиналъ сгущать краски, преувеличивать все дурное, создавать изъ каждой мухи слона, и самъ говорилъ себѣ:

— Это начало психической болѣзни!..

И вотъ именно въ одинъ изъ такихъ дней черной меланхоліи онъ пошелъ въ захолустную улицу Петербургской стороны, гдѣ жилъ его отецъ; еще далеко, не доходя до дома, онъ увидалъ необычайное для этихъ мѣстъ скопленіе народа и замѣтилъ, что толпа тѣснилась именно тамъ, гдѣ находилось ихъ жилище. Онъ посмотрѣлъ вверхъ, думая, что случился пожаръ. Однако, ни дыму, ни огня не было видно. Онъ спросилъ у одного изъ мастеровыхъ, съ чего собрался народъ,—мастеровой равнодушно отвѣтилъ:

— Убивство случилось!

— Убійство?

— Да извѣстно, въ пьяномъ видѣ подрались мужъ съ женою... ну, онъ и саданулъ ее въ високъ... баба что курица—не много нужно!..

— Да вамъ, кровопивцамъ, все ничего!—вступилась какая-то бабенка за свое «сословіе».—Надрызгаетесь въ кабакѣ, а наша сестра дохни, какъ собака.

— Васъ въ кабакахъ мало!

— И мало! и мало! Это отъ васъ, окаянныхъ, намъ проходу нѣтъ!

Мастеровой не успѣлъ еще ничего отвѣтить, какъ раздались крики:

— Везутъ! везутъ самого-то!

Василій не помнитъ, какъ онъ успѣлъ прижаться къ забору; съ помертвѣлымъ лицомъ онъ увидалъ везомаго на извозчикѣ дворникомъ и городовымъ связаннаго Ивана Петровича съ окровавленными руками и лицомъ. Старикъ былъ пьянъ и смотрѣлъ странно, что-то безсмысленно выкрикивая и ругаясь. Кругомъ говорили о томъ, что и самому убивцу, видно, «влетѣло и досталось на орѣхи», обсуждался вопросъ, что̀ ему будетъ, какимъ судомъ будутъ его судить — у мирового или въ окружномъ? Кто-то бойко рѣшилъ:

— Въ запальчивости и раздраженіи, въ пьяномъ видѣ, скажутъ, и баста! Иди, голубчикъ, въ тотъ же кабакъ за водкой да рѣжь другихъ!

Всевѣдущія кумушки достовѣрно знали, какъ пьяный Иванъ Петровичъ вернулся домой съ пьяной женою и, по обыкновенію, вступилъ съ ней въ ссору, а потомъ въ драку. На ихъ крики вошелъ въ ихъ комнату старикъ Терентьичъ, охая и причитая:

— Охъ, убивцы! охъ, убивцы!

Старикъ-то совсѣмъ изъ ума выжилъ.

— И убью, и убью! — крикнулъ тогда избитый женою Поповъ и, схвативъ со стола столовый ножъ, всадилъ его въ лѣвый бокъ женѣ. Не вскрикнула она даже.

— Гдѣ ужъ вскрикнуть, когда въ сердце!

— Въ сердце и есть...

— Потрошить будутъ?

— Извѣстно, будутъ...

Василій не слыхалъ ничего, или, вѣрнѣе, все слышалъ, и ничего не понималъ. Толпа давно уже разбрелась, когда онъ пошелъ куда-то впередъ; томимый нестерпимой жаждой, онъ очутился опять въ какомъ-то трактирѣ и спросилъ себѣ сперва водки, потомъ пива, но на этотъ разъ онъ пилъ много, очень много, и все же не могъ напиться. Жажда все не утихала, хмель не успокаивалъ волненья и тревоги...

Мрачный, какъ грозовая туча, вернулся онъ домой...

Черезъ два дня случилось новое несчастіе. Въ химической лабораторіи медико-хирургической академіи случайно, какъ говорили всѣ, отравился студентъ Василій Ивановъ Поповъ.

ПОСЛѢ НАСЪ.

ПОВѢСТЬ.

I.

Было еще не поздно, но темно. На дворѣ стоялъ густой и мглистый сумракъ ненастнаго осенняго вечера. Онъ окутывалъ всю нѣсколько запущенную, подгородную барскую усадьбу, вырисовывавшуюся черною массою среди полуголыхъ вѣковыхъ деревьевъ. Только одинокіе огни, мелькавшіе то тутъ, то тамъ въ окнахъ нижняго этажа главнаго ея флигеля, говорили, что въ ней еще не замерла жизнь, несмотря на царившую здѣсь тишину...

Особенно мрачно смотрѣлъ въ этомъ главномъ флигелѣ обширный старинный залъ, въ два свѣта, съ хорами и съ облупившимися деревянными колоннами подъ бѣлый мраморъ, — залъ, должно-быть, видавшій въ былое время не мало пировъ и баловъ. Теперь онъ едва освѣщался небольшой лампой безъ абажура и матоваго стекла, поставленной кѣмъ-то, какъ бы мимоходомъ, у стѣны, на край жиденькаго, бѣлаго съ позолотой, столика въ стилѣ имперіи. Это, хотя и рѣжущее глаза, но ничтожное въ сравненіи съ размѣрами залы, освѣщеніе само по себѣ было недостаточно, но оно еще въ значительной степени заслонялось колоннами, такъ что нѣкоторые углы комнаты казались совсѣмъ черными. Было очевидно, это эта лампочка предназначалась не для этой обширной комнаты и горѣла теперь тутъ только для того, чтобы люди, постоянно безшумно, какъ летучія мыши, шмыгавшія здѣсь въ этотъ вечеръ, не натыкались въ совершенной темнотѣ на какіе-нибудь предметы. Залъ смотрѣлъ въ этотъ ненастный вечеръ угрюмо и непривѣтливо. Написанныя на потолкѣ и подъ карнизами гирлянды зелени и розъ казались совсѣмъ черными. За колоннами, отбрасывавшими на полъ и на стѣны мрачныя длинныя тѣни, словно кто-то прятался. Въ нижнія окна, выходившія въ сторону сада, точно фантастическіе при-

зраки, заглядывали деревья, махая, наподобіе гигантскихъ рукъ, при порывахъ осенняго вѣтра, темными, голыми вѣтвями. Въ минуты полнаго затишья, когда на время смолкали дождь и порывы бури, въ пустомъ залѣ казалось, что гдѣ-то вверху первно бьются о стекла крылья пойманной птицы. Это колеблющіяся вѣтви деревьевъ касались снаружи круглыхъ оконъ подъ потолкомъ. Какъ во всѣхъ слишкомъ обширныхъ пустыхъ покояхъ, въ залѣ казалось свѣжо. Этому впечатлѣнію холода содѣйствовали и шумъ бушевавшаго на дворѣ осенняго вѣтра, и неуютная обстановка зала съ жестокой и хрупкой тонконогой бѣлой мебелью въ сухомъ и однообразномъ стилѣ имперіи, и что-то торопливое въ движеніяхъ людей, то и дѣло проходившихъ черезъ этотъ залъ съ такимъ видомъ, какъ будто имъ было если не холодно, то жутко. Ощущеніе жуткости усиливалось еще болѣе отъ того, что всѣ встрѣчавшіеся между собою люди говорили здѣсь шопотомъ, отрывисто, какъ говорятъ въ домѣ, гдѣ есть опасно больной или покойникъ.

— Ну, что сказалъ сегодня докторъ? — остановила вопросомъ сгорбленнаго высокаго сѣдовласаго старика-руина съ пергаментнымъ лицомъ, сѣдыми подъ гребенку остриженными волосами, такими же сѣдыми баками и гладко выбритымъ подбородкомъ, такая же старая, но еще очень бодрая и дородная женщина въ бѣломъ чепцѣ на гладко причесанныхъ темныхъ волосахъ съ степенно сложенными на животѣ выхоленными руками.

Оба были типичными представителями степенныхъ слугъ стараго закала, давно уже вольными по закону, но все еще крѣпостными въ душѣ, — онъ въ роли камердинера, она въ роли ключницы.

— Что докторъ! Извѣстно, лѣкарство прописалъ!—отвѣтилъ брюзжащимъ тономъ старикъ. — Пей, значитъ, мажь, растирай, ставь компрессы! У нихъ одна манера. Развѣ это поможетъ? Священника нужно!

— Ну-у! Что это вы, Михаилъ Матвѣевичъ! Сейчасъ ужъ и священника!

— Что, ну-у? Извѣстно, если такая болѣзнь вдругъ приключилась, то, значитъ, и пользуйся случаемъ, что не умеръ безъ покаянія, — покайся! На покаяніе, значитъ, и срокъ далъ Господь милосердный, коли не прибралъ разомъ.

— Что-жъ развѣ самъ-то Николай Даниловичъ уже говорилъ о священникѣ?

Старикъ махнулъ сердито рукой.

— Такъ, значитъ, и станетъ онъ объ этомъ думать! Бога-то кто нынче помнитъ?.. Меня сейчасъ обругалъ да прогналъ отъ себя за то, значитъ, что напомнилъ! Изъ ума, молъ, выживаетъ! Во грѣхахъ жилъ, во грѣхахъ, значитъ, и умереть хочетъ. Вмѣсто того, чтобъ, значитъ, о душѣ подумать, бранится только, что и лѣкарства-то не несутъ изъ аптеки, что и ванна-то еще не приготовлена... Глашка одна еще потрафляетъ... Барыню Анну Николаевну и ту съ глазъ гонитъ, зачѣмъ вздыхаетъ... А ей какъ, значитъ, не вздыхать? Умри онъ — ее и погонятъ... извѣстно: не законная жена... Людмила-то Гавриловна и Леонидъ Николаевичъ минуты ее не потерпятъ въ своемъ домѣ... не такіе люди...

Онъ оборвалъ рѣчь и строгимъ тономъ закончилъ:

— Не о ваннѣ бы надо думать Николаю Даниловичу, не о своемъ грѣшномъ тѣлѣ, а о томъ, чтобы не пришлось, значитъ, самому на томъ свѣтѣ отчетъ отдавать за грѣхи-то души неумытой, чтобы не пришлось каши, имъ заваренной, людямъ расхлебывать... Что послѣ насъ-то будетъ, объ этомъ нынче люди, значитъ, не думаютъ. Елена Никитична... для нихъ-то, значитъ, хоть трава не расти потомъ-то, послѣ насъ-то...

Выраженіе широкаго и круглаго лица старухи вдругъ приняло озабоченный видъ при напоминаніи о заваренной больнымъ кашѣ, которую придется расхлебывать людямъ,— тонкія недобрыя губы ея поджались, брови сдвинулись, въ зоркихъ, слегка лукавыхъ глазахъ появилось что-то сосредоточенное. Она спросила, пристально вглядываясь въ лицо старика:

— Не слыхали вы, Михаилъ Матвѣевичъ, что было прописано въ бумагѣ-то той, послѣ полученія которой у Николая Даниловича вдругъ недомоганіе это самое началось?

— Всѣ слышали, не я одинъ: разводъ не утвердили, — сухо и съ видимой неохотой отвѣтилъ старикъ.

Онъ не любилъ даже въ кругу «своихъ» говорить о господскомъ «грѣхѣ», какъ онъ называлъ бракоразводный процессъ любимаго барина.

— Знаю, знаю!—быстро перебила Елена Никитична. — Съ чего только не утвердили?.. Говорятъ: лжесвидѣтельство нашли...

— А ужъ это, Христосъ ихъ вѣдаетъ, что они тамъ нашли, — холодно отвѣтилъ старикъ. — Неправедное дѣло, значитъ, затѣялъ Николай Даниловичъ,—вотъ и все: развѣ

таинства-то нарушать — христіанское дѣло? Поди, и вѣнчаются-то люди только для того, чтобы, значитъ, это на вѣкъ было... не беззаконіе, а супружество, церковью благословенное... Учить жену не умѣлъ Николай Даниловичъ, ну, она, баба, значитъ, и спуталась... у бабья извѣстно...

Елена Никитична, въ свою очередь, не любившая разсужденій старика о бабахъ, нетерпѣливо перебила его:

— Это ихъ дѣло: училъ или не училъ; спуталась или не спуталась Людмила Гавриловна, а вотъ если лжесвидѣтельство нашли...

— Намъ-то что до этого?

— Да вы, Михаилъ Матвѣевичъ, въ умѣ, что ли, рехнулись? — запальчиво проговорила старуха. — Какъ это: намъ-то что до этого? Я думаю, Василій-то мнѣ родныхъ племянникомъ приходится, родной сестры Анисьи Никитичны, говорятъ люди, сынъ, да и вамъ-то онъ, чай, не чужой: на вашей же крестницѣ женатъ и благословляли-то ихъ вы передъ свадьбой...

— Такъ онъ-то тутъ при чемъ? — недоумѣвающимъ тономъ спросилъ старикъ, хмуря нависшія сѣдыя брови.

Онъ всегда сердился, когда его ловили на забывчивости или недостаткѣ смекалки. Не даромъ же онъ всегда повторялъ, что его годы еще не Богъ вѣсть какіе, гордился тѣмъ, что онъ разсудительный мужчина, и пренебрежительно относился къ бабью, такъ какъ у бабья волосъ дологъ да умъ коротокъ.

— Да что это вы въ самомъ дѣлѣ! — загорячилась старуха. — При чемъ онъ тутъ, спрашиваете. А кто же свидѣтелемъ-то былъ грѣха Людмилы Гавриловны? Напъ Василій да Маломыгинъ только и свидѣтели; Маломыгинъ-то и въ лицо не зналъ Людмилу Гавриловну и только Василій и могъ подтвердить, что это она. Если нашли лжесвидѣтельство...

— Такъ что же это вы, Елена Никитична, воображаете, значитъ, что Василій на такое грѣшное дѣло пошелъ бы, какъ лжесвидѣтельство? — въ свою очередь загорячился старикъ, перебивая ея рѣчь. — Да никогда, ни въ жизнь! Онъ самъ мнѣ сказывалъ, какъ все, значитъ, было, какъ пригласилъ его Маломыгинъ чайку попить, какъ они не въ ту комнату попали, какъ увидалъ онъ Людмилу...

Елена Никитична снова перебила слова старика:

— Да, знаю, знаю, какъ все было и какъ онъ засталъ Людмилу Гавриловну, потому объ этомъ и спрашиваю: не

слыхали ли вы, какое такое лжесвидѣтельство могли найти и точно ли прописано въ полученной Николаемъ Даниловичемъ бумагѣ, что ради этого именно разводъ его съ Людмилой Гавриловной не утвержденъ, а новое дѣло ею начато...

Разговоръ стариковъ перебила нарядно одѣтая молодая дѣвушка, румяная, здоровая, круглолицая. Она торопливо вбѣжала въ залъ, шурша накрахмаленными юбками, виляя на ходу боками съ своеобразнымъ кокетствомъ горничной изъ столичныхъ, и слегка запыхавшимся голосомъ задорно сказала старухѣ:

— Вы ключи унесли отъ буфета... а тутъ мнѣ безпремѣнно нужны то стаканы, то ложки...

— Покуда еще ключницей да экономкой, слава Богу, состою,—начала обидчиво старуха.

— Ахъ, что тутъ говорить, кто въ какихъ званіяхъ!.. Не до званіевъ теперь... хоть бы вы камеръ-фровой были... А ключи мнѣ безпрестанно теперь кажинную минуту нужны!.. Дѣловъ не оберешься... Барину не ждать ради нашихъ рацей,—рѣзко перебила горничная.

— Ключей не дамъ, а что нужно выдамъ, — еще болѣе рѣзко отвѣтила Елена Никитична.—Храни Богъ, что случится,—я за хозяйское добро въ отвѣтѣ буду, а не съ улицы люди, что сегодня здѣсь, а завтра съ вѣтромъ въ полѣ, — пояснила она строго и, ворча что-то, направилась развалистой утиной походкой изъ залы къ той двери, откуда прибѣжала горничная.

— Новая сидѣлка выщелкнулась! — сердито заворчалъ и Михаилъ Матвѣевичъ, хмуро провожая глазами удаляющуюся горничную, и, шаркая старческими ногами, направился въ противоположную сторону.—Руки у меня, значитъ, шаршавы стали; у Глашки мягче... копаюсь я, значитъ, а она проворнѣе... Прежде-то, при покойномъ еще баринѣ Данилѣ Борисовичѣ, — царство ему небесное, — бывало, порога спальни Николая Даниловича переступить не смѣла, значитъ, женская прислуга... распутства этого никогда старый баринъ не допускалъ въ домѣ... Сидѣлку разъ посовѣтовали для Николая Даниловича взять, когда, значитъ, онъ руку на скачкахъ сломалъ, и то, Господи! ни за что, ни за какія блага, не взяли, а подавай фельдшера... а тутъ...

Старикъ, продолжая ворчать себѣ подъ носъ и вздыхая, вышелъ. Залъ снова опустѣлъ на нѣсколько минутъ. Среди мертвой тишины слышалось опять только, какъ вверху бились снаружи вѣтви о стекла круглыхъ оконъ. Потомъ

опять отворилась дверь, за которой только-что скрылись Елена Никитична, и горничная, и въ полутьмѣ, мало-помалу вырисовались очертанія двухъ неспѣшно двигавшихся фигуръ,—одной мужской, другой женской.

— Такъ вы, докторъ, ничего не имѣете противъ консиліума? — спросила женщина, кутаясь какъ бы отъ холода въ бархатную накидку, опушенную мѣхомъ.

Она была не изъ крупныхъ, узкая въ кости, худощавая, съ лихорадочнымъ румянцемъ на впалыхъ щекахъ.

— Ничего не имѣю противъ, но едва ли это приведетъ къ чему-нибудь,—послышался осторожный отвѣтъ.—Болѣзнь теперь вполнѣ сразу выяснилась, сомнѣній, къ сожалѣнію, уже никакихъ нѣтъ... и не можетъ быть...

Молодой человѣкъ говорилъ сдержаннымъ, холодно вѣжливымъ и чуть-чуть заискивающимъ тономъ.

— Да, но все же... онъ желаетъ... сперва не хотѣлъ вовсе лѣчиться, жаловался на простое недомоганіе, скрывалъ все даже отъ васъ, не показываясь вамъ, чтобы вы не видали цвѣта его лица, а теперь требуетъ непремѣнно консиліума. Это надо сдѣлать для его успокоенія. Сама я совсѣмъ потеряла голову... съ ума схожу.

— Да, кстати, о васъ: вы отдохнули бы, Анна Николаевна, у себя... при вашихъ нервахъ это необходимо... Тамъ, у постели больного, вы ничѣмъ не поможете...

— Отдыхать!.. Въ такое время!—воскликнула она.

Въ ея тонѣ послышалось такое выраженіе, точно ей предложили сдѣлать что-то чудовищное. Отдыхать, когда тутъ, рядомъ, тяжело болѣетъ такой близкій ей человѣкъ! Докторъ осторожно и мягко замѣтилъ:

— Но... но вы видите... онъ раздражается въ вашемъ присутствіи...

— Да, я не знаю, что это такое, — начала она уже слезливо.

— Это слѣдствіе его болѣзни... острая форма разстройства печени и нервное возбужденіе... ненормальность... Вы видите, что его сердитъ даже и то, что у васъ заплаканы глаза...

— Не могу же я смѣяться въ такія страшныя минуты!— опять обидѣлась она.

— Я же это все знаю, я же это все понимаю, но... ради его спокойствія—отдохните у себя и успокойтесь хоть немного,—опять предупредительно посовѣтовалъ докторъ.

Они говорили, неторопливо направляясь къ крайней двери

зала со стороны передней. Доведя до нея свою спутницу, докторъ вѣжливо откланялся ей и заявилъ, что онъ сейчасъ же въ городъ пошлетъ за однимъ изъ своихъ собратьевъ и напишетъ другому, чтобы исполнить желаніе больного насчетъ консиліума. Вѣроятно, не пройдетъ и часу, какъ два другіе доктора будутъ уже здѣсь вмѣстѣ съ нимъ. До города всего пять-шесть верстъ, лошади заложены, все сдѣлается быстро. Быстрота тутъ очень важна. Откланявшись, докторъ пошелъ къ той двери, въ которую вышелъ Михаилъ Матвѣевичъ, и почти столкнулся въ ней со старикомъ, очевидно, поджидавшимъ его за дверью въ передней.

— Ну, что, Мартынъ Мартыновичъ? — озабоченно спросилъ старикъ у молодого доктора, заискивающе глядя въ его глаза.

— Плохи, братъ, наши дѣла!—отвѣтилъ докторъ.

— Не встанетъ?

— День-полтора проживетъ еще, можетъ-быть,—сказалъ докторъ. — Долго эта болѣзнь не длится... иногда кончается все въ нѣсколько часовъ... Хуже всего то, что тутъ и лѣченье никакое не поможетъ... Случаевъ выздоровленія почти не бываетъ... совсѣмъ не бываетъ...

— О священникѣ-то вы говорили?

— Да что ты, братецъ! Убивать я его стану, что ли! Ему жить, во что бы то ни стало, хочется, а я вдругъ стану отравлять послѣдніе часы его жизни — говорить, что онъ умираетъ. При одномъ намекѣ на опасность, онъ изъ себя выходитъ. Какъ же тутъ говорить о священникѣ. Это, значитъ, яду подлить...

Докторъ сталъ надѣвать пальто въ передней при помощи дежурившаго здѣсь лакея.

— Мартынъ Мартыновичъ, да какъ же такъ, если во грѣхахъ умретъ,—сами мы, значитъ, отвѣчать за него передъ Богомъ будемъ... попущеніе этакое, значитъ, сдѣлали... Тоже дитё у него отъ Анны Николаевны незаконное... Боренька... сами знаете... безъ средствъ... духовной нѣтъ... Какъ Людмила Гавриловна съ Леонидомъ Николаевичемъ явится — что будетъ? Все оберутъ, и ихъ выгонятъ... Священникъ-то наставилъ бы, значитъ... Бореньку-то спасъ бы...

Въ голосѣ старика что-то дрогнуло.

— Ну, старина, это ужъ не докторское дѣло... Домашнія дѣла вы сами обдѣлывайте, какъ тамъ знаете, а мнѣ мѣшаться неловко въ эту кашу, тѣмъ болѣе, что больной вре-

менами не вполнѣ въ ясной памяти, — проговорилъ докторъ и поспѣшилъ выйти.

Старикъ, сокрушительно качая головой и вздыхая, опять, какъ не знающая покоя тѣнь, тяжело шаркая ногами, побрелъ куда-то черезъ пустой залъ.

II.

Черезъ двѣ комнаты отъ зала въ просторномъ кабинетѣ съ массивной дубовой мебелью, обитой темно-зеленымъ трипомъ, въ это время тоже уже горѣла лампа. Большая изъ дорогой бронзы, подъ моднымъ шелковымъ абажуромъ синяго цвѣта съ кружевами, она едва освѣщала комнату. Тѣмъ не менѣе, отъ этого и безъ того ослабленнаго свѣта была еще защищена половинкою легкихъ шелковыхъ ширмъ постель больного. Только вполнѣ освоившись съ полумракомъ, можно было болѣе или менѣе ясно разсмотрѣть его фигуру, его физіономію.

Это былъ еще далеко не старый человѣкъ, едва ли дожившій до сорока пяти-шести лѣтъ.

На видъ же ему нельзя было дать и тридцати, даже и теперь, когда цвѣтъ его лица принялъ тотъ характерный оттѣнокъ, который ясно говорилъ о родѣ его болѣзни, — о разлитіи желчи и остромъ страданіи печени. Его черные вьющіеся волосы, спутавшіеся и разметавшіеся теперь по бѣлой подушкѣ, были очень густы; черныя же брови были тонки и правильны, носъ, съ легкой горбинкой и маленькими нервными ноздрями, былъ тонокъ и красивъ; красиво очерченныя уши просто изумляли своею миніатюрностью, губы, слегка чувственныя, отличались замѣчательной правильностью и, можетъ-быть, именно потому выхоленнымъ, загнутымъ съ боковъ кверху усикамъ заботливо придавалась такая форма, что они не скрывали красоты этихъ губъ; можетъ-быть, эти усики, напоминавшіе только-что пробившіеся усики юношей, болѣе всего способствовали моложавости этого лица, говорившаго каждою своею чертою не только о томъ, что оно красиво, но и о томъ, что эта красивость холилась, что за ней ухаживали неустанно въ теченіе всей жизни, точно именно въ ней-то и была вся сущность жизни: отнимите красоту, и жизнь не будетъ стоить выѣденнаго яйца.

Это лицо въ данную минуту носило на себѣ выраженіе тупого страданія, болѣзненной сонливости, но уже не искажалось, какъ за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, болѣзнен-

ными гримасами и подергиваніями: для больного, видимо, насталъ періодъ хотя временнаго успокоенія: онъ полудремотно лежалъ на спинѣ, ослабѣвшій, затихшій, отдыхая отъ недавнихъ мучительныхъ приступовъ боли въ правой подреберной области.

— Глаша, докторъ ушелъ? — слабымъ голосомъ спросилъ онъ.

Сидѣвшая около ширмъ молодая и здоровая горничная, только-что обмѣнявшаяся въ залѣ колкостями съ Еленой Никитичной, отозвалась привѣтливымъ и бодрымъ голосомъ:

— Ушелъ-съ, Николай Даниловичъ. Черезъ часъ обѣщалъ съ другими докторами изъ города пріѣхать.

Въ ея немного пѣвучемъ голосѣ теперь не было и намека на тотъ строптивый тонъ, которымъ она только-что говорила съ Еленой Никитичной, считая нужнымъ «обрвать эту утицу».

— Ничего они всѣ не понимаютъ... — сталъ едва слышнымъ голосомъ капризно жаловаться больной.—У здороваго человѣка одинъ маленькій кусочекъ въ тѣлѣ заболѣлъ, а они ничего не могутъ подѣлать... И этому полячишкѣ только истерики Анны Николаевны лѣчить... это они всѣ могутъ...

Онъ уже какъ будто усталъ говорить и, безсознательно, боясь новыхъ приступовъ боли, замолчалъ на нѣсколько минутъ, закрывъ глаза. Физической боли онъ боялся и прежде до того, что при однихъ разсказахъ о переломахъ костей, объ операціяхъ у него пробѣгалъ по спинѣ легкій холодъ. Съ словомъ «докторъ» въ его воображеніи соединялись всегда понятія о какихъ-то мученіяхъ, и онъ называлъ всѣхъ ихъ «живодерами», «костоломами», капризничая, какъ женщина, изъ-за того, что ни одинъ докторъ не можетъ сейчасъ помочь въ болѣзни. Его голова немного скатилась на-бокъ въ полудремотѣ.

— Глаша, поправь мнѣ подушку, — опять послышался его голосъ.

Глаша встала и легкими шагами подошла къ его постели. Она слегка на ладони приподняла подъ щеку его голову и другой рукой ловко поправила подушку.

— Вотъ теперь и ловко,—сказалъ онъ.—Какія мягкія у тебя руки, точно у барышни... А Анна Николаевна ушла?

— Ушли-съ!

— Хныкать пошла... точно умираетъ человѣкъ, что всѣ кругомъ хнычутъ... дѣла не умѣютъ дѣлать, а хнычутъ... точно не знаютъ, что мнѣ это приноситъ вредъ... только о

себѣ и думаютъ... Ты вѣдь вотъ видѣла, я весь еще здоровый, бокъ только заболѣлъ и желчь разлилась... докторъ даже думалъ, не попала ли какая отрава... когда тошнило... а самъ я здоровъ!..

— Да, помилуйте, Николай Даниловичъ, кого же и здоровымъ послѣ того звать, коли вы не здоровый. Кровь съ молокомъ, совсѣмъ молодые...—пѣвуче увѣряла Глаша.

Она не безъ гордости думала о томъ, что никто не умѣетъ такъ «потрафлять» барину, какъ она.

— Я и говорю... какіе и годы мои... всего сорокъ два года,—убавилъ онъ свои года, забывъ даже, что всѣмъ въ домѣ извѣстно, что его старшему сыну двадцать второй годъ пошелъ. — Сомовы по семидесяти лѣтъ жили... а мнѣ всего сорокъ два... Кусочекъ какой-то въ боку... въ печени, что ли?.. заболѣлъ, кровь изъ правой ноздри пошла немного, ну, тоже желчь, рвота отъ нея... рвота даже полезна... желудокъ это очищаетъ... а они... одни плачутъ, другіе не знаютъ, что со мной дѣлать, третьи... священника вонъ этотъ старый мой дуракъ, Мишка Таптыгинъ, вздумалъ звать... Раздражилъ только... Все думаетъ, что я еще маленькій... сосунокъ...

У больного оборвался голосъ.

— Извѣстно, изъ ума выживаетъ Михаилъ Матвѣевичъ,— проговорила Глаша. — Обижается тоже, что не онъ ходитъ за вами. Гдѣ же ему? Вашему тѣлу нужны ручки мягкія, нѣжныя... а не его лапы старыя.

По лицу больного скользнула слабая, кривая усмѣшка. Въ ней было теперь что-то дѣтское, какъ и во всѣхъ его жалобахъ и капризахъ.

— Я засну теперь... Нѣсколько дней не спалъ отъ головной боли, такъ ослабѣлъ... тоже и аппетита не было, тошнило все... не мудрено ослабѣть... Ты, Глаша, никого не пускай... и Аннѣ Николаевнѣ скажи, что просилъ уйти, не безпокоить... непремѣнно скажи... вздыхаетъ все... Чего вздыхать, когда это меня безпокоитъ?.. Мое здоровье беречь нужно, а они только о себѣ думаютъ...

— Слушаю-съ... вамъ извѣстно, покой нуженъ, а не то, чтобы на чужія слезы смотрѣть,—согласилась Глаша.—При чужихъ слезахъ-то безъ болѣзни болѣзны!..

— Вотъ ты умная, понимаешь это...

— Да ужъ какъ же не понять, до безчувствія такого дойти...

Больной замолчалъ и опять сталъ дремать.

Въ головѣ его проносились обрывки мыслей, хаосъ вос-

поминаній, смутные образы... Какъ вѣрно замѣтила Глаша «ему покой нуженъ, а не то, чтобы на чужія слезы смотрѣть». Вотъ вѣдь совсѣмъ простая дѣвушка, можетъ-быть, неграмотная даже, а понимаетъ то, чего не понимаетъ Анна Николаевна. Анна Николаевна никогда не понимала, что «при чужихъ слезахъ безъ болѣзни болѣзнь», и плакала, плакала изъ-за каждаго пустяка... Этимъ и его жизнь искалѣчила... Она только и умѣетъ любить при полномъ здоровьѣ, при неизмѣнныхъ удачахъ... Никакихъ жертвъ любимому человѣку, никакихъ уступокъ враждебнымъ обстоятельствамъ!.. Такъ жить нельзя... Надо умѣть идти на компромиссы, когда нужно. Безъ компромиссовъ жить невозможно... Вотъ почему онъ и былъ съ нею вполнѣ счастливъ, въ сущности, только пять-шесть мѣсяцевъ—устраивали потихоньку свиданія, ѣздили тайкомъ за городъ, наслаждались сладостью запретныхъ поцѣлуевъ, незаконной связью, какъ настоящіе школьники, обманывающіе старшихъ, вплоть до того проклятаго дня, когда она почувствовала, что готовится сдѣлаться матерью. Тутъ и началась отрава слезъ, при которыхъ безъ болѣзни болѣзнь. Ребенокъ еще не родился, было еще неизвѣстно, кто родится и будетъ ли дитя живо, а уже у нея начались истерики изъ-за того, что мальчикъ—она и сама терзалась, и его, Николая Даниловича, терзала заранѣе мыслью, что родится непремѣнно мальчикъ!—будетъ незаконнорожденный, какой-то мѣщанинъ Ивановъ или Николаевъ, когда его отецъ потомственный дворянинъ Сомовъ. Куда его опредѣлить? Какую карьеру можно составить ему? Какъ выяснить ему, почему онъ не носитъ фамиліи отца?—И все кончалось слезами, истериками и непремѣннымъ требованіемъ публичнаго скандала—развода съ Людмилой Гавриловной, признанія незаконнорожденности двоихъ младшихъ дѣтей послѣдней, родившихся за границей. Въ сущности, сколько тутъ было съ ея стороны жестокости по отношенію къ нему, по отношенію къ той женщинѣ—къ его женѣ, по отношенію къ ея дѣтямъ. Онъ вѣдь давно зналъ о невѣрности жены, но смотрѣлъ на это сквозь пальцы. Можетъ-быть, даже онъ самъ былъ виноватъ въ этой невѣрности: на второй годъ послѣ женитьбы онъ заболѣлъ, долго лѣчился за границей. Ну, молодая женщина и сбилась съ пути. Удивительная тоже женщина Людмила Гавриловна: никогда ничего не забывала, ничего не прощала. Жаловаться не станетъ, упрекать не станетъ, а отомститъ жестоко, безсердечно. Вотъ и ему отомстила за его легкомысліе.

Онъ это понималъ и смотрѣлъ сквозь пальцы на ея жизнь. Il faisait bonne mine au mauvais jeu. Въ обществѣ, впрочемъ, и нельзя иначе поступать. Афишировать эти случаи въ свѣтѣ не всегда удобно, не желая быть смѣшнымъ. Тутъ приходится только расплачиваться тою же монетою, невѣрностью за невѣрность. Онъ такъ и дѣлалъ, а она, Анна Николаевна, потребовала развода, скандала... Ради Анны Николаевны ему пришлось бросить военную службу въ гвардіи, гдѣ онъ такъ удачно шелъ впередъ; потомъ пришлось скитаться съ нею то за границей, то въ деревнѣ, пока длился этотъ скандалъ развода и незаконной связи. Сколько все это поглотило денегъ, сколько все это вызвало грязныхъ сдѣлокъ! Ему тошно вспомнить обо всѣхъ этихъ адвокатахъ, ходатаяхъ по дѣлямъ. Они не боятся никакихъ грязныхъ сдѣлокъ: имъ нечего терять, имъ только бы получить деньги... Насколько это измучило его, онъ и самъ не понималъ до того утра, когда, вмѣсто ожидаемаго извѣстія объ окончаніи дѣла, онъ вдругъ получилъ неожиданный отвѣтъ, что Людмилой Гавриловной поднялось какое-то встрѣчное дѣло о лжесвидѣтельствѣ. Онъ даже и не зналъ, что за грязную интригу подвелъ его адвокатъ, чтобы обвинить Людмилу Гавриловну. Если бы у него впередъ спросили на это разрѣшеніе — онъ не согласился бы. Но они, ходатаи по дѣламъ, взялись все устроить—и устроили!.. Тутъ-то у него и разлилась желчь, началась безсонница, пропалъ аппетитъ, поднялись тошноты, кровотеченія. Хуже всего эти боли въ животѣ, въ правомъ боку, судороги. Отъ нихъ онъ даже слегъ вчера, увидавъ, что тутъ нельзя лѣчиться своими средствами... горчичниками... ваннами... что надо обратиться къ живодерамъ-докторамъ... Анна Николаевна виновата въ томъ, что она съ перваго раза, когда они только сошлись, не поняла такой простой, такой обыденной сущности ихъ связи и обратила все въ драму, забывъ, что все это должно было кончиться, какъ и началось, водевилемъ, опереткой. Такія связи въ свѣтѣ на каждомъ шагу, никто не ошибается относительно ихъ характера. Это flirt—немножно болѣе, немножно менѣе, но только flirt... И онъ тоже хорошъ! На его вѣку было столько такихъ мимолетныхъ увлеченій. Не пересчитать даже всѣхъ этихъ шалостей. Не даромъ же онъ слылъ красавцемъ. Бабочки вокругъ него слетались, какъ вокругъ огонька. И всегда все было такъ ясно и просто. Сходились безъ клятвъ, разставались безъ проклятій. И вдругъ эти слезы, истерики, скандалы заставили его попасть

подъ башмакъ этой «карманной женщины», исковеркали всю его жизнь, совершенно измѣнили его характеръ. Чего стоилъ и нравственно, и матеріально одинъ бракоразводный процессъ съ Людмилой Гавриловной! Онъ боялся даже входить въ подробности тѣхъ средствъ, какія пускалъ въ ходъ его адвокатъ Трофимовъ для достиженія своей цѣли. Вся эта грязь ему претила! А теперь ничего не подѣлать, зашли уже слишкомъ далеко... И ужаснѣе всего то, что она-то сама стала ему противна—физически противна. Скелетъ какой-то съ красненькимъ носикомъ!.. Голоса ея не можетъ слышать спокойно. Когда она говоритъ, ему кажется, что она непремѣнно къ кому-нибудь придирается, на кого-то жалуется! Иногда онъ доходилъ до такого малодушія, что въ послѣднее время напивался на ночь, чтобы забыть все, начиная со слезъ Анны Николаевны, и уснуть сномъ пьянаго. Что же тутъ удивительнаго? Чужія слезы это безъ болѣзни болѣзнь, а тутъ слезы каждый день, изъ-за всякаго пустяка... Глаша простая дѣвушка, а понимаетъ это. Не зналъ онъ прежде цѣны этимъ простымъ, несложнымъ натурамъ...

— Не приказали впускать никого,—послышался настойчивый шопотъ Глаши за ширмой.

— Да ты съ ума сошла, Глафира!—нетерпѣливо произнесъ другой голосъ, жидкій и звонкій.

— Ей-Богу-съ, Анна Николаевна! Барину покой нуженъ-съ! Все и нездоровье ихъ отъ безпокойства этого самаго,—не безъ ѣдкости убѣждала Глаша.—Не будь безпокойства, здоровешеньки бы были... съ ихъ-то комплекціей въ спокойствѣ люди до ста лѣтъ доживаютъ...

— Ты забываешься, дрянная дѣвчонка!—уже возвысила голосъ Анна Николаевна, и въ немъ послышалась жалобная плаксивость.

Николай Даниловичъ тревожно зашевелился; ему показалось, что опять онъ почувствовалъ боль въ боку, судороги, и онъ слабымъ голосомъ застоналъ:

— Что тамъ? Что? Господи, ни минуты покою!

Глаша бросилась за ширмы.

— Дайте, я посмотрю... компрессъ не сдвинулся ли?... Потерпите, голубчикъ-баринъ; сейчасъ доктора пріѣдутъ,— тихо шептала Глаша, щупая подъ одѣяломъ компрессъ и ловкой и гладкой рукой скользя по тѣлу больного подъ простыней.

— Судороги, опять судороги, потри, — слабо просилъ больной.

Глаша начала слегка растирать его ноги.

За ширмой показалась и Анна Николаевна съ глазами, покраснѣвшими отъ слезъ.

— Уйдите ради Бога... только сталъ дремать... совсѣмъ хорошо стало... выздоравливать началъ... такъ нѣтъ, разбудили... опять боли начались...—заговорилъ отрывисто больной, капризнымъ ноющимъ тономъ.—И все тѣ же слезы, слезы... всю жизнь слезы... Я долженъ плакать, а не вы, потому что у меня боль, а не у васъ... моя жизнь отравлена, а не ваша... Вы только о себѣ думаете и убьете меня, тогда вспомните, что меня нужно было беречь... Ахъ, Господи!—вырвалось у него болѣзненное восклицаніе.

Глаша успокаивала его.

— Успокойтесь, голубчикъ-баринъ. Вамъ спокой нуженъ. Я вотъ поглажу—и пройдетъ опять!

Она растирала его тѣло, поправляла подушку, простыню, сорочку. Утѣшала, что сейчасъ пріѣдутъ доктора. Шептала, какъ ребенку, ласкательныя имена. Между нею и больнымъ въ нѣсколько послѣднихъ часовъ, въ двое сутокъ, установилась какая-то особенная фамильярность. У Анны Николаевны текли по лицу неудержимыя слезы. Она чувствовала, что онѣ упадутъ на бѣлье или на тѣло больного, если она только подойдетъ близко къ его постели. Этого будетъ достаточно, чтобы начались новые крики и стоны. Въ теченіе его недолгой болѣзни, особенно въ послѣдніе два дня, было нѣсколько минутъ, когда онъ доходилъ чуть не до бѣшенства, смѣнявшагося быстро новымъ упадкомъ силъ. Боязнь за новые болѣзненные припадки и рѣзкіе упреки больного и чувство обиды на эту безстыдную «дѣвчонку», сумѣвшую вдругъ сдѣлаться ему ближе, чѣмъ она, боролись въ ея душѣ.

Она еще не сообразила, какъ ей поступить, когда въ кабинетъ, едва слышною походкою, по мягкому ковру вошелъ ихъ молодой домашній докторъ съ извѣстіемъ, что его коллеги пріѣхали и ждутъ только позволенія войти къ больному. Больной обрадовался, заволновался и тотчасъ же снова началъ стонать отъ кажущихся болей. Когда ихъ даже не было,—ему все казалось теперь, что онѣ нестерпимо сильны, какъ только его что-нибудь начинало волновать и раздражать

III.

Анна Николаевна уже давно сидѣла въ своемъ, похожемъ на голубую бонбоньерку, отдѣланномъ кретономъ

будуарѣ и неутѣшно плакала, кутаясь въ свою бархатную накидку, цвѣта темныхъ вишень, опушенную собольимъ мѣхомъ.

Это была одна изъ тѣхъ женщинъ, которыми во время ихъ ранней молодости мужчины увлекаются, какъ прелестными игрушками, и которыя, какъ быстро линяющія игрушки, очень рано изнашиваются. Онѣ кажутся хорошенькими, покуда ихъ личики остаются полненькими, румяными и свѣжими, и многіе люди, смотря на нихъ, не отдаютъ себѣ отчета въ томъ, что тутъ привлекательна вовсе не красота, а только свѣжесть молодости. Маленькая, худенькая, бѣлокуренькая, съ фигуркой и личикомъ физически недоразвившейся дѣвочки, она особенно въ минуты горя и слезъ—сильно напоминала безпомощнаго, обиженнаго ребенка, съ лицомъ въ кулачокъ, съ покраснѣвшимъ кончикомъ носика. Такихъ же минутъ, въ ея недолгой жизни, было уже не мало, и она, помня исключительно только объ нихъ, часто называла себя «несчастной». Если считать безпомощность за несчастіе, то Анна Николаевна была права и могла бы даже сказать, что трудно найти женщину болѣе несчастную, чѣмъ она.

Казалось, сама судьба создала ее для того, чтобы ею только играли, какъ маленькимъ котенкомъ, нося ее на рукахъ, лаская и цѣлуя. Это, должно-быть, понимали всѣ окружающіе ее люди, начиная съ институтокъ, сразу давшихъ ей названіе «кисы» и «кисочки» и таскавшихъ ее на рукахъ даже и тогда, когда за это стыдили и бранили уже давно позеленѣвшія отъ вѣчной желчи классныя дѣвы. Малолѣтней она считалась чуть не до той поры, когда, почти прямо съ институтской скамьи, она попала подъ вѣнецъ съ сносно обезпеченнымъ и съ довольно пожилымъ лицомъ—Петромъ Петровичемъ Горяиновымъ. Впрочемъ, послѣ этого переворота въ ея жизни, амплуа ребенка осталось за нею: какъ наивничавшія институтки вѣчно носили на рукахъ и держали на колѣняхъ свою «кису», такъ не по лѣтамъ влюбившійся въ нее, достаточно поживший и вѣчно праздный, добивавшійся чиновъ однѣми подачками на благотворительныя учрежденія, Горяиновъ, наивничая не хуже институтокъ, тоже носился со своей «кошечкой», благо она принадлежала къ породѣ тѣхъ неразборчивыхъ созданій, которыя ластятся ко всѣмъ, кто самъ приласкаетъ ихъ. Но что проходило безнаказанно для юныхъ институтокъ, то не прошло безнаказанно для пожилого человѣка, вздумавшаго превратиться

въ мальчугана: менѣе чѣмъ черезъ годъ мужъ былъ разбитъ параличомъ, а уже черезъ два года кошечка была вдовою безъ пенсіи и почти безъ средствъ, обобранная родными Горяинова, и должна была пріютиться снова у старой тетки, Прасковьи Михайловны Хрущовой.

Старая тетка, изъ безсмертныхъ фрейлинъ, была стара и брюзглива уже и тогда, когда она сбыла свою оставшуюся на ея рукахъ племянницу-сироту въ институтъ, чтобы избавиться отъ несносной «обузы»; конечно, еще преклоннѣе по возрасту, а потому и еще брюзгливѣе была она тогда, когда племянница-сирота вышла изъ института и когда къ ней присватался «старый дуракъ», какъ называла мысленно старая тетка Петра Петровича Горяинова, при помощи котораго, однако, она поспѣшила опять избавиться отъ несносной «обузы»; наконецъ, еще дряхлѣе и еще невыносимѣе брюзгливой сдѣлалась тетка тогда, когда несносная «обуза», черезъ два года послѣ замужества, опять очутилась въ ея домѣ, не имѣя возможности, ради свѣтскихъ приличій, а, можетъ-быть, и ограниченности оставшихся у нея средствъ, въ качествѣ девятнадцати или двадцатилѣтней вдовы жить одиноко.

Съ этого времени для Анны Николаевны настала пора жалобъ и слезъ, такъ какъ ее перестали носить на рукахъ, перестали считать «кисой», «кисочкой», а только ворчали на нее за все и про все, какъ умѣютъ ворчать только праздныя старухи-дѣвственницы.

— Что это ты, Нина, по комнатѣ носишься, какъ угорѣлая, только вѣтеръ поднимаешь,—начиналось брюзжанье тетки при первомъ удобномъ случаѣ.—Пожара, кажется, моя милая, нигдѣ нѣтъ!—съ ироніей говорила тетка, хмуря широкія и черныя, какъ смоль, брови, почти сросшіяся на переносьѣ.—Это горничнымъ дѣвкамъ подобаетъ такъ метаться, а порядочная женщина изъ свѣта должна ходить степенно и прилично, дабы ее никто, Богъ вѣсть, за кого не принялъ. Слава Богу, ты не вертихвостка какая-нибудь, а вдова статскаго совѣтника, хотя и штатская, а все же чуть не генеральша... И тоже взяли нынче моду, какъ чесаться. Челки какія-то на лбу носятъ, boucles d'amour, кудерки изъ трехъ волосъ на лбу взбиваютъ. Въ наше время при блаженной памяти государынѣ императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ завсегда гладко волосы чесали, à la Дармштадтъ тоже прическу носили потомъ, на уши степенно волосы зачесывали, а если на балъ и дѣлали локоны, то съ боковъ, а

не на лобъ бахромы какія-то спускали не то по-лошадиному, не то по-чухонски. Да что говорить о свѣтскихъ женщинахъ,—возьми Марію Тальони, либо Фанни Эльслеръ — танцорки простыя были, а причесаны всегда, бывало, и прилично, и скромно. У васъ же, что за мода завелась? Глядишь на васъ иногда и думаешь, что трепалъ васъ сейчасъ кто-нибудь за вихры... И должна я тебѣ разъ и навсегда тоже замѣтить, что не пристало тебѣ, мать моя, на простыхъ ванькахъ одной по гостинымъ дворамъ трепаться, какъ вотъ вчера ты изволила ѣздить, ибо, Богъ вѣсть, за кого тебя принять могутъ... Ежели-жъ такъ приспичило самой по магазейнамъ ѣздить, да карета была не свободна, то взяла бы моего Ѳому, пущай на облучкѣ у извозчика сидитъ, дабы прилично было. Онъ человѣкъ старый, конечно, защиты никакой не окажетъ, походя спитъ, но все же увидятъ, что не горничная, молъ, дѣвка на ванькѣ тащится, а порядочная дама со своимъ ливрейнымъ лакеемъ ѣдетъ...

Разъ начатое пересчитыванье преступленій и промаховъ молодой женщины тянулось безъ конца, какъ мелкій, однообразный осенній дождь, неспѣшно, медленно, скучно, пока нитка этого безконечнаго клубка не обрывалась хриплымъ, точно исходившимъ изъ могилы, голосомъ «спавшаго походя» стараго Ѳомы, съ угрюмымъ видомъ докладывавшаго:

— Его сіятельство графъ Антонъ Петровичъ Сухаревъ!

— Проси, проси,—торопливо произносила старая тетка и, оправляя черныя букли на вискахъ, осклабляя исхудалыя, но все же ярко-красныя губы на ослѣпительно бѣлыхъ зубахъ въ улыбку и стараясь всѣмъ своимъ изсушеннымъ тѣломъ принять граціозную позу, давала наставленіе племянницѣ:

— Да, зарубила бы ты, матушка, на носу, что съ графомъ Антономъ Петровичемъ надо говорить громко, отчетливо и внятно, да не трещать по-сорочьи, какъ всѣ вы любите тарантить... У нынѣшнихъ актрисъ изъ Александринскаго театра переняли, тамъ нынче тоже не то хлопки, не то сороки... Пищатъ и стрекочутъ... Впрочемъ, откуда и набираютъ ихъ! Прачкины да солдаткины дочери... а то и еще хуже...

Графъ Антонъ Петровичъ Сухаревъ—старая платоническая любовь Прасковьи Михайловны Хрущовой, неизмѣнно посѣщавшій ежедневно старуху,—дѣйствительно былъ глухъ, какъ стѣна, и поминутно повторялъ:

— А?.. Что?..

Про его забывчивость или, какъ выражались вѣжливо, разсѣянность уже давно ходили анекдоты. Говорили, что на одномъ изъ своихъ раутовъ онъ подошелъ къ одному господину и, по привычкѣ держа его за пуговицу фрака, спросилъ:

— Скажите, пожалуйста, какъ прозывается по фамиліи вотъ этотъ господинъ, что сидитъ въ углу?... Ну, вотъ, однофамилецъ съ вами?

Разговаривать съ нимъ было не всегда весело...

Но иногда такихъ глухихъ и забывчивыхъ гостей собиралось съ утреннимъ визитомъ къ Прасковьѣ Михайловнѣ человѣкъ пять-шесть: одинъ съ деревяжкой вмѣсто ноги, другой съ костылемъ въ трясущейся рукѣ, третій согнутый временемъ чуть не подъ прямымъ угломъ.

У этого общества инвалидовъ были свои общія воспоминанія, свои общія привязанности, свои общія ненависти. Они, не называя фамилій, разсказывали, что такъ авторитетно сказалъ въ извѣстномъ случаѣ графъ Михаилъ Семеновичъ и какъ остроумно выразился въ другомъ случаѣ графъ Левъ Алексѣевичъ, не прибавляя даже, что и графъ Михаилъ Семеновичъ, и графъ Левъ Алексѣевичъ отбыли къ праотцамъ уже въ 1856 году.

Вдова-ребенокъ ровно ничего не понимала во всемъ этомъ и даже не подозрѣвала, что иные изъ этихъ руинъ не только говорили о людяхъ исторіи, но и сами въ свое время помогали дѣлать исторію Россіи, и что иныя изъ этихъ именъ, доброй или недоброй памяти, переживутъ сотни лѣтъ, когда уже ни одна душа на свѣтѣ не будетъ знать, что на землѣ существовала когда-то какая-то вдова нигдѣ и никогда не служившаго статскаго совѣтника Анна Николаевна Горянпова, вышучивавшая и осмѣивавшая въ душѣ этихъ оглохнувшихъ, потерявшихъ руки и ноги на службѣ отечеству стариковъ, собиравшихся теперь вспоминать и порой будировать въ домѣ волшебницы Наины, какъ остроумно прозвала свою тетку Анна Николаевна.

Молодая женщина знала только одно, что ей очень скучно и что станетъ ей немного веселѣе, когда пріѣдетъ кузенъ Nicolas. Онъ одинъ въ этомъ домѣ вмѣстѣ съ нею смѣялся надъ этой коллекціей «ископаемыхъ», и не только не ворчалъ на нее за насмѣшки надъ ними, но даже не сердился на нее и самъ цѣловалъ ее за то, что она тайкомъ гдѣ-нибудь въ пустынной гостиной въ порывѣ экспансивности иногда садилась къ нему на колѣни, обвивала руками его

шею, совершенно забывая, что онъ не одна изъ ея институтскихъ «шерочекъ», а еще довольно молодой красавецъ-кавалеристъ. Онъ былъ такой добрый, такой отзывчивый на ласки, и что у него за губы были! точно такія, какъ были у Зизи Мартыновой, которую такъ и звали въ институтѣ «губенками»—ее «кисой», а Зизи «губенками». И почему волшебница Наина, журившая ее, еще болѣе журила кузена Nicolas, съ какимъ-то пренебреженіемъ и гримасами называя его «соломеннымъ вдовцомъ» и прибавляя:

— И подѣломъ, и подѣломъ тебѣ! Не женись мальчишкою, не веди себя мальчишкою въ первый же годъ послѣ женитьбы.

Кажется, не было ничего достойнаго насмѣшекъ и гримасъ въ томъ, что жена кузена Nicolas всегда больна и живетъ постоянно за границей, покидая его?

Черезъ годъ послѣ смерти своего мужа, Анна Николаевна узнала, что не только не смѣшно то, что кузенъ Nicolas «соломенный вдовецъ», а напротивъ того, это достойно сожалѣнія и слезъ. Выѣзжая съ нею иногда въ театръ и концерты въ качествѣ ея троюроднаго брата, во время интимной болтовни tête-à-tête въ возкѣ на полозьяхъ, везомомъ старыми клячами, на длинномъ пути отъ конца Шпалерной до Дворянскаго собранія или Михайловскаго театра, кузенъ Nicolas признался ей откровенно и трогательно во всемъ, во всемъ,—въ томъ, какъ онъ несчастливъ въ своей женитьбѣ, въ томъ, что его жена—правда, отмщая ему за его легкомысліе,—стала вести себя чуть не со второго года замужества просто неприлично, въ томъ, что у него дѣти, кромѣ старшаго сына, вѣроятно, незаконныя, хотя и носятъ его фамилію, въ томъ, что они даже не отъ кого-нибудь изъ порядочныхъ людей, а, очень можетъ быть, отъ какихъ-нибудь чуть не первыхъ встрѣчныхъ парикмахеровъ, и... совершенно не знаетъ она, какъ это такъ случилось, что она почувствовала, что она сама будетъ матерью.

Вспомнивъ объ этомъ ужасномъ и неожиданномъ несчастіи, Анна Николаевна еще сильнѣе начала плакать, хотя начались ея слезы вовсе не по поводу мысли о ребенкѣ—мысли о томъ, что будетъ съ этимъ пятилѣтнимъ младенцемъ, если умретъ Николай Даниловичъ... Анна Николаевна никогда не отдавала себѣ вполнѣ ясно отчета, по какой собственно причинѣ она плакала въ ту или другую минуту: потому ли, что ей жаль было покидать институтъ, или потому, что она боялась жизни у тетки; потому ли, что ей была тяжела потеря стараго разбитаго параличомъ мужа,

или потому, что ей, послѣ двухъ лѣтъ свободы, приходилось опять попасть на съѣденіе къ той же теткѣ. Такъ было прежде, такъ было и теперь. Начались слезы съ того, что какая-то «негодная дѣвчонка», простая, совсѣмъ простая горничная, смѣла ей сказать, что она безпокоитъ Nicolas, а потомъ уже пошла развиваться длинная-длинная вереница размышленій и воспоминаній на тему «какая я несчастная». И зачѣмъ этотъ ребенокъ родился? И почему это столько времени развода не разрѣшали Nicolas? И нужно же было найти какое-то лжесвидѣтельство, чтобы опять отсрочить окончаніе этого дѣла? И эта болѣзнь Nicolas, сдѣлавшая его такимъ капризнымъ, что даже съ ней онъ готовъ ссориться!

Ея мысли, или, вѣрнѣе сказать, жалобы на несчастіе прервались осторожнымъ стукомъ въ дверь, вслѣдъ за которымъ дверь открылась и въ нее вошелъ осторожной походкой старикъ Михаилъ Матвѣевичъ.

— Вы меня простите, матушка-барыня Анна Николаевна, что безпокою васъ, да ужъ дѣло-то такое, что, значитъ, ждать не приходится,—заискивающимъ тономъ заговорилъ старикъ, низко кланяясь.

Въ обыкновенное время онъ избѣгалъ сношеній съ Анной Николаевной, какъ съ ходячимъ напоминаніемъ о «грѣхѣ» барина: позоветъ она—идетъ онъ, но и только.

— Что случилось, Михаилъ Матвѣевичъ?—тревожно спросила, отирая слезы, Анна Николаевна, удивленная его неожиданнымъ приходомъ безъ ея зова.—Ахъ, я теперь только и жду несчастій! На меня точно что-то обрушилось...

— Ужъ чего, значитъ, и ожидать больше! — степенно подтвердилъ старикъ. — Баринъ-то, Николай Даниловичъ, такъ-то плохъ, такъ-то плохъ.

— Вамъ что-нибудь говорилъ теперь Мартынъ Мартыновичъ?—торопливо спросила она, зная, что у постели больного идетъ совѣщаніе врачей.

— Говорилъ, значитъ, еще давеча... А теперь онъ и другіе два доктора только еще болѣе истиранятъ барина... щупаютъ да выслушиваютъ то тутъ, то тамъ, а онъ, голубчикъ мой, только стонетъ... въ другой комнатѣ, значитъ, слышно... сердце надрывается... Не поймутъ того, что не щупать да не колотить тутъ нужно, значитъ, человѣка, а въ тишинѣ и спокойствіи дать ему время приготовиться.

— Приготовиться?—переспросила Анна Николаевна съ удареніемъ.—Что вы хотите этимъ сказать?

— Вы на меня, старика, не посердитесь, матушка-барыня Анна Николаевна, потому съ моего слова ничего не сдѣлается,—осторожно и почти робко заговорилъ старикъ:— а долженъ я, значитъ, правду вамъ сказать: не жилецъ, значитъ, на этомъ свѣтѣ Николай Даниловичъ.

— Да что вы, что вы, Михаилъ Матвѣевичъ, изъ ума выжили, что ли? — воскликнула съ ужасомъ Анна Николаевна, широко раскрывая свои дѣтскіе блѣдно-голубые глаза.—У меня столько несчастій, столько несчастій и безъ того, а вы прямо мнѣ въ глаза такія вещи говорите! Бога вы не боитесь!.. Мало ли кто хвораетъ... такъ развѣ это непремѣнно къ смерти... У него желчь разлилась, вотъ и все... Это еще вчера говорилъ Мартынъ Мартыновичъ... сперва думалъ, не отравился ли Nicolas случайно... фосфоромъ, что ли?.. Почему я знаю, чѣмъ!.. Я же не докторъ...

— Матушка-барыня, да я же, васъ жалѣючи, значитъ,— началъ старикъ жалостливымъ тономъ: — потому что безъ покаянія во грѣхахъ можетъ кончиться Николай Даниловичъ, и тоже безъ духовной... Меня прогналъ, когда я заикнулся, значитъ, о священникѣ, а между тѣмъ и Мартынъ Мартыновичъ говоритъ...

— Что, что Мартынъ Мартыновичъ говоритъ?—воскликнула Анна Николаевна, перебивая рѣчь слуги.

— Не завтра, такъ послѣзавтра, а то и скорѣе, говоритъ, можетъ кончиться! — понуривъ голову, отвѣтилъ старикъ.—Теперь ужъ ясно, значитъ, дѣло...

— Боже мой, Боже мой! Что же вы до сихъ поръ молчали?—истерическимъ визгомъ крикнула Анна Николаевна и заметалась на креслѣ.—Умираетъ... умираетъ... а я... бѣжать мнѣ отсюда надо... она, эта ужасная женщина, пріѣдетъ... Леонидъ пріѣдетъ... они пріѣдутъ... Да нѣтъ, я этого не переживу!... Какой позоръ!.. Господи, какой позоръ!..

Она забилась въ истерическомъ припадкѣ. Старикъ совсѣмъ растерялся. Никогда ему не приходилось имѣть дѣло съ нервничающими барынями. У Людмилы Гавриловны нервы не проявлялись. Онъ теперь не зналъ, что дѣлать, хватаясь то за графинъ съ водой, то за склянки съ туалетнымъ уксусомъ и одеколономъ.

— Ахъ, что вы со мной сдѣлали... что вы сдѣлали, — стонала немного успокоившаяся отъ истерическихъ рыданій Анна Николаевна.—Убили меня, совсѣмъ убили!

— Я, значитъ, именно для того, чтобы приготовить васъ,— безсвязно бормоталъ все еще растерянный старикъ:—чтобы

вы, матушка-барыня Анна Николаевна, барину-то Николаю Даниловичу о священникѣ сказали... чтобы грѣха на душу не приняли, допустивъ, значитъ, человѣка безъ покаянія умереть... Тоже Бореньку жаль; дитё ни въ чемъ неповинное безъ всякихъ, значитъ, средствъ останется, если духовной-то не сдѣлаетъ Николай Даниловичъ...

— Да какъ же это Мартынъ Мартыновичъ мнѣ не сказалъ!—простонала Анна Николаевна.—Не добрый онъ человѣкъ!

— Да что же Мартынъ Мартыновичъ? Не нашей христіанской вѣры онъ, значитъ... Вредно, говоритъ, больному, значитъ, говорить о смерти... Какъ это понимать-то: вредно? О душѣ-то заботиться вредно!.. Тоже и боится мѣшаться въ семейныя дѣла...

— Имъ хорошо разсуждать! Но что же я буду дѣлать? Что я буду дѣлать? — хватаясь за голову, металась Анна Николаевна. — Она пріѣдетъ... Леонидъ Николаевичъ пріѣдетъ... бѣжать мнѣ надо... О, лучше бы самой умереть!.. Да, я умру... непремѣнно умру!..

Битый часъ объяснялъ Михаилъ Матвѣевичъ, что теперь только и остается одно — позвать священника. Пусть покается во грѣхахъ умирающій и пусть священникъ уговоритъ его сдѣлать духовное завѣщаніе. Но Анна Николаевна именно этотъ совѣтъ пропускала мимо ушей и металась съ одними и тѣми же восклицаніями о томъ, почему Мартынъ Мартыновичъ не предупредилъ ее, — о томъ, что въ этотъ домъ сейчасъ же послѣ смерти Николая Даниловича пріѣдутъ «она» и «онъ», то-есть законная жена и законный сынъ Николая Даниловича,—о томъ, что она не переживетъ этого позора... Старикъ видимо потерялъ «терпѣніе», видя, что «съ этимъ бабьимъ сословіемъ», какъ онъ выражался про женщинъ, каши не сваришь, и что дѣло остается въ томъ же положеніи, въ какомъ было и прежде. Онъ вышелъ изъ будуара и, встрѣтившись въ залѣ съ «тумбой», то-есть съ Еленой Никитичной, излилъ передъ нею все накипѣвшее въ его душѣ.

— Вотъ ужъ правду говорятъ, что у вашей сестры, значитъ, волосъ дологъ да умъ коротокъ,—раздражительно брюзжалъ старикъ.—Я ей, значитъ, говорю, что священника надо, значитъ, позвать, что исповѣдываться больному надо, да духовную сдѣлать, а она все свое: «ахъ, зачѣмъ Мартынъ Мартыновичъ меня не предупредилъ, ахъ, бѣжать мнѣ надо, а то жена пріѣдетъ...» Тьфу ты! Да хоть бы то подумала,

съ чѣмъ бѣжать-то? Ужъ если о душѣ человѣческой не думаетъ, такъ подумала бы о томъ, что, значитъ, капиталишки-то свои послѣдніе за шесть лѣтъ порастрясла всѣ; векселей повыдавала, а теперь придется на палочкѣ верхомъ выѣхать отсюда да еще съ Боренькой... Куда дѣнется?.. Къ теткѣ Прасковьѣ Михайловнѣ опять?.. Такъ та, поди, сама теперь на ладанъ дышитъ... восемьдесятъ пять лѣтъ стукнуло...

— Да и не приметъ она ее!—рѣшила Елена Никитична.— Осрамила она Прасковью Михайловну... та чуть не сто лѣтъ прожила и ничего съ нею такого никогда не бывало... Себя, даромъ, что по уши врѣзавшись была въ графа Антона Петровича, до старости въ чистотѣ и невинности соблюла... Тутъ же, на-поди, у вдовы дитё родилось... Никогда старуха этого не проститъ...

IV.

Два доктора—одинъ старикъ и другой помоложе, привезенные Мартыномъ Мартыновичемъ, довольно долго возились около больного, выстукивая и выслушивая его. Сообщая другъ другу свои наблюденія и разспрашивая о ходѣ болѣзни и мѣрахъ лѣченія, они невольно покачали головой, когда Мартынъ Мартыновичъ сообщилъ имъ, что, несмотря на упорныя безсонницы, полное отсутствіе аппетита, разлитіе желчи, рвоты, головныя боли и кровотеченія изъ правой ноздри, больной вовсе не обращалъ вниманія на болѣзнь, принималъ тайкомъ отъ доктора свои собственныя и притомъ очень неудачныя мѣры противъ недуга, прятался во время визитовъ доктора въ домъ, чтобы тотъ, видя цвѣтъ его лица, не началъ разспросовъ, и призвалъ его, чтобы сказать о болѣзни, только вчера, когда нечего было и думать о спасеніи. Положимъ, и раньше въ данномъ случаѣ было бы трудно что-нибудь сдѣлать, но вчера, тутъ ужъ трудно было и помышлять о помощи, такъ какъ болѣзнь, очевидно, вступила во второй періодъ... Разговаривали они шопотомъ, обмѣнивались полусловами и короткими фразами на латинскомъ языкѣ, вполнѣ непонятномъ больному. Разговоръ сдѣлался болѣе откровеннымъ и свободнымъ, однако, только тогда, когда они удалились черезъ коридоръ въ другую комнату, откуда до слуха больного не могла дойти ни одна фраза.

— Да, тутъ не можетъ быть никакихъ сомнѣваній!—съ легкимъ нѣмецкимъ акцентомъ рѣшилъ одинъ изъ призван-

ныхъ на консиліумъ докторовъ по выходѣ въ другую комнату, глубомысленно поднимая вверхъ густыя, сѣдыя брови и стягивая узелкомъ тонкія старческія губы съ легкимъ слѣдомъ нюхательнаго табаку въ мелкихъ морщинахъ.—Всѣ поздно, и васъ призывалъ, и насъ приглашалъ... Вы говорите, что развилась болѣзнь на почвѣ крупныхъ непріятностей, душевнаго потрясенія?..

— Да, кромѣ того, больной въ послѣдніе годы сильно пристрастился къ вину.

— О, вино не вредитъ,—вступился старикъ за вино:—хорошее вино, особенно рейнвейнъ... я самъ...

Мартынъ Мартыновичъ осторожно и искательно, какъ онъ всегда говорилъ съ посторонними и старшими по возрасту и положенію людьми, перебилъ старика:

— Я выразился не совсѣмъ точно: къ водкѣ пристрастился.

— О-о! — крякнулъ старикъ, неодобрительно и укоризненно качая головой, точно водку пилъ самъ Мартынъ Мартыновичъ, а не больной.

— И, насколько я могъ это узнать отъ домашнихъ, которые здѣсь вообще очень скрытны относительно барина, то онъ, по словамъ одного болѣе откровеннаго молодого лакея, просто напивался до безчувствія на ночь,—пояснилъ Мартынъ Мартыновичъ.

— Ну, я не знаю, что было здѣсь въ послѣднее время,—довольно небрежно замѣтилъ второй изъ приглашенныхъ докторовъ, очень щеголевато одѣтый и замѣтно молодившійся человѣкъ, лѣтъ сорока на видъ:—а прежде, въ то время, когда онъ еще жилъ съ Людмилой Гавриловной и я студентомъ видалъ его здѣсь, излишества у него были во всемъ... это даже послужило первой причиной ихъ несогласій или, вѣрнѣе, полнаго охлажденія жены къ мужу, въ чемъ, по моему мнѣнію, онъ былъ вполнѣ виноватъ... Онъ, тогда еще совсѣмъ молодой, творилъ Богъ вѣсть что и съ годъ долженъ былъ ѣздить по разнымъ водамъ... Что же мудренаго, что молодая женщина, почти брошенная мужемъ, гордая и самолюбивая по натурѣ, въ свою очередь, и охладѣла къ нему, и, можетъ-быть, даже измѣнила ему, хотя послѣдняго никто не могъ утверждать навѣрное...

— Да, да, ціанотическій оттѣнокъ лица, такое быстрое измѣненіе объема печени, набуханіе селезенки, присутствіе лейцина и тирозина,—продолжалъ съ глубокомысленнымъ видомъ говорить какъ бы про себя старикъ-нѣмецъ, не

слушая своего развязнаго коллегу, и обратился къ Мартыну Мартыновичу съ вопросами, сдѣланными имъ уже и ранѣе въ комнатѣ больного:—Вы говорите, что температура не оказываетъ вліянія на пульсъ? Лихорадка уже пропала? Состояніе чаще всего коматозное послѣ нервныхъ припадковъ?

И послѣ понюшки табаку, пошевеливъ ввалившимися тонкими губами, точно съ трудомъ пережевывая ихъ сухую кожу, не дожидаясь отвѣта, продолжалъ разсуждать:

— Конечно, Оппольцеръ, Лейхтенштернъ, даже самъ знаменитый Фрерихсъ...

— Если вы хотите сказать объ излѣченіи, то я лично,— началъ франтоватый докторъ, перебивая его, что было вовсе не трудно, такъ какъ старикъ говорилъ медленно и плавно:— не только не признаю тѣхъ сомнительныхъ случаевъ излѣченія, которые по пальцамъ насчитываются разными знаменитостями въ этомъ вопросѣ, а даже не признаю самого названія болѣзни, выдуманнаго нѣмецкой школой и, по замѣчанію Шарля Робэна, совершенно невѣрнаго...

— Однако!—началъ горячо спорить старикъ.—Однако! Позволяйте!.. Рокитанскій...

Докторъ помоложе, безцеремонно, не слушая его, обратился къ Мартыну Мартыновичу:

— Да, кстати, вы извѣстили уже его семью о томъ, въ какомъ безнадежномъ положеніи онъ находится? Тутъ вѣдь медлить нельзя! Сколько бы сомнительныхъ случаевъ выздоровленія ни насчитывали по пальцамъ всѣ знаменитости, а вашъ больной все же умретъ...

— Анна Николаевна...—началъ Мартынъ Мартыновичъ.

— Ахъ, я не объ этой особѣ говорю, которую я не имѣю удовольствія знать, а объ его законной семьѣ, о женѣ и дѣтяхъ,—пренебрежительно перебилъ и его франтоватый докторъ, знавшій, по его словамъ, еще во времена своего студенчества жену Сомова.

— Я ихъ не знаю... я всего только какихъ-нибудь полгода постоянно навѣщаю этотъ домъ, какъ домашній докторъ, и то почти исключительно ради Анны Николаевны,— сказалъ Мартынъ Мартыновичъ.—Наконецъ, если бы я и зналъ, гдѣ живетъ его семья, то извѣстить ее и вызвать сюда значило бы ускорить развязку. Больной такъ возбужденъ противъ жены...

— Все равно, завтра утромъ онъ будетъ, вѣроятно, уже на столѣ и пріѣздъ семьи никакъ не встревожитъ его.—

проговорилъ, пожимая плечами, знакомый Людмилы Гавриловны докторъ.—Если вы позволите, я увѣдомлю ихъ тотчасъ же по телеграфу.

— Конечно, я не буду имѣть ничего противъ,—проговорилъ Мартынъ Мартыновичъ.

Потомъ онъ, какъ бы прося совѣта своихъ коллегъ, нерѣшительнымъ и чуть не извиняющимся тономъ замѣтилъ:

— Тутъ ко мнѣ старый слуга больного, бывшій его дядька, пристаетъ насчетъ священника и духовной, которой нѣтъ...

— Ну, въ это дѣло я не совѣтую вамъ мѣшаться, если бы даже и было для этого достаточно времени,—сказалъ докторъ помоложе:—здѣсь такая грязь, такая грязь...

Онъ сдѣлалъ брезгливую гримасу.

— Я самъ теперь это отчасти вижу,—сказалъ Мартынъ Мартыновичъ, слегка краснѣя, точно въ этой грязи обвиняли и его.

— Случай Лейхтенштерна,—началъ старикъ, какъ видно, желая продолжать развитіе своихъ взглядовъ на возможность излѣченія.

Но вошедшій въ комнату Михаилъ Матвѣевичъ не далъ ему договорить и, почтительно кланяясь докторамъ, передалъ имъ приготовленные уже заранѣе конверты съ деньгами за визитъ отъ имени барина. Доктора, перекинувшись еще парою фразъ о томъ, что тутъ имъ дѣлать нечего, направились черезъ залъ въ переднюю. Михаилъ Матвѣевичъ слѣдилъ за ними, какъ тѣнь, уставя жалобный молящій взглядъ на Мартына Мартыновича. Казалось, онъ ждалъ, что тотъ вотъ-вотъ обернется къ нему и весело скажетъ:

— Ничего, старина, наши дѣла поправляются!

Но Мартынъ Мартыновичъ, провожая своихъ коллегъ, упорно не оборачивался назадъ, а когда они уѣхали, обернулся въ сторону старика и только безнадежно махнулъ рукою:

— Какъ я сказалъ, такъ и вышло!..

— Батюшка, да что же это такое!—воскликнулъ старикъ растерянно.—Да я, значитъ, самъ готовъ идти, руки, ноги цѣловать барину Николаю Даниловичу... да ради одного Бореньки, значитъ... дитё малое, ни въ чемъ неповинное...

Онъ не договорилъ, и изъ его старческихъ глазъ потекли слезы.

— Дѣлайте, какъ знаете! Теперь все кончено!—коротко сказалъ докторъ, уходя въ отведенную ему комнату.

Войдя въ нее, Мартынъ Мартыновичъ пожалъ плечами,

не понимая въ душѣ этой собачьей привязанности старыхъ русскихъ холоповъ къ своимъ панамъ, и, достаточно утомившійся за этотъ день, не раздѣваясь и только разстегнувъ жилетъ, прилегъ на большую кушетку въ ожиданіи, что за нимъ тотчасъ придутъ, если больной станетъ тревожиться или жаловаться на боли.

Михаилъ Матвѣевичъ, между тѣмъ, понуро прошелъ въ залъ, бормоча себѣ подъ носъ:

— «Дѣлайте, какъ знаете», сказалъ. Руки, значитъ, умылъ. Что-жъ, онъ чужой человѣкъ въ домѣ... тоже и не нашей христіанской вѣры... ему что! А я грѣха на душу не возьму... Да что бы сказалъ покойный Данило Борисовичъ—царство ему небесное!—если бы видѣлъ, что здѣсь творится?.. Въ ногахъ я вываляюсь у Николая Даниловича, а, значитъ, упрошу исповѣдываться... и о духовной...

Онъ обернулся лицомъ въ передній уголъ, набожно перекрестился, взглянувъ отуманеннымъ слезами взоромъ въ полутемное пространство, и уже совсѣмъ рѣшительнымъ шагомъ направился на половину больного.

— Вы что же, Михаилъ Матвѣевичъ?—спросила его Глафира, безшумно появляясь изъ-за ширмъ навстрѣчу старому слугѣ.—Баринъ васъ не звали, баринъ почиваютъ, а вы входите... Имъ ничего не нужно... Измучили ихъ и такъ доктора, и имъ только спокой нуженъ...

— Много ты знаешь, что человѣку нужно!—строго сказалъ Михаилъ Матвѣевичъ, рѣшительно отстраняя ее съ дороги и проходя съ серьезнымъ видомъ за ширмы.

Николай Даниловичъ, казалось, спалъ тяжелымъ, но крѣпкимъ сномъ. Михаилъ Матвѣевичъ точно замеръ, не рѣшаясь будить спящаго и смотря на него сквозь слезы, какъ любящій отецъ на больного сына. Сколько разъ въ жизни ему приходилось нерѣшительно становать надъ постелью этого человѣка, жалѣя разбудить его, то потому, что малое дитё, Колечка ненаглядный, вчера вечеромъ долго заигрался и такъ сладко спитъ теперь предутреннимъ сномъ, разметавшись на постелькѣ, то потому, что красавчикъ его, Николай Даниловичъ, даромъ, что усенки едва пробились, тоже покучивать сталъ и, чай, не выспался еще послѣ вчерашней пирушки, а его, сердечнаго, еще ждетъ отъ стараго барина Данилы Борисовича, — строгъ онъ больно съ Николинькой! — головомойка, то потому, что прихварывать что-то началъ бѣдняга, Николай Даниловичъ, догулялся, значитъ, и цѣлую ночь вотъ нынче не спалъ, какъ зналъ отлично

Михаилъ Матвѣевичъ, всегда проводившій тоже безсонныя ночи, когда почему-нибудь не спалось Николаю Даниловичу... А теперь вотъ и надо бы разбудить Николая Даниловича, и жаль его, голубчика,—жаль потому, что ему надо сказать: «время приготовиться къ смерти...» И проста, и коротка эта рѣчь, а высказать ее трудно... Много ли времени простоялъ въ тяжелыхъ думахъ надъ больнымъ Михаилъ Матвѣевичъ—онъ и самъ не зналъ. Наконецъ, больной пошевелился, открылъ глаза и полусознательно взглянулъ на стараго слугу, казавшагося черною тѣнью въ полумракѣ едва освѣщеннаго кабинета. Во взглядѣ больного теперь выражались только утомленіе и полная апатія. За какіе-нибудь полъ-сутокъ онъ измѣнился до неузнаваемости, хотя внѣшнія проявленія болѣзни почти исчезли и ему стало, казалось, гораздо лучше: ни тошноты, ни головной боли, ни безсонницы уже не было... Теперь періодъ болѣзни, очевидно, смѣнился минутами умиранья. Взглядъ былъ мутенъ, голосъ упалъ окончательно. Онъ заговорилъ едва внятно:

— Что, старикъ, осмотрѣли насъ съ тобою, выслушали, исколотили, получили деньги и уѣхали... умирайте, молъ, друзья, какъ знаете...

Въ его слабомъ голосѣ не было раздраженія, слышалась только легкая иронія человѣка, покончившаго всѣ счеты съ этою глупою жизнью.

— Я, родной мой, къ вамъ, значитъ, — ласково началъ Михаилъ Матвѣевичъ, съ материнской нѣжностью глядя въ полутьмѣ на своего любимца.

Больной, очевидно, понялъ старика и тихо спросилъ:

— Исповѣдываться, значитъ?..

Михаилъ Матвѣевичъ обрадовался, что тотъ самъ понялъ цѣль его прихода.

— Да, да, батюшка,—поторопился онъ подтвердить.—На колѣнки встану, просить буду... вы, значитъ, лучше, чѣмъ этихъ живодеровъ, священника бы позвали... отца Владиміра...

— Поздно, Таптыгинъ! — ласково отвѣтилъ Сомовъ. — Поздно!

Онъ всегда съ младенческихъ лѣтъ звалъ такъ Михаила Матвѣевича, когда хотѣлъ потѣшить старика.

— Все-то ты обо мнѣ хлопочешь, старый! Съ колыбели до могилы!—шопотомъ добавилъ онъ, лежа безъ движенія, какъ трупъ.—Теперь и на покой намъ пора...

— Вы слышите, что баринъ говоритъ «поздно»! Барину спокой нуженъ, а вы, Михаилъ Матвѣевичъ, тревожите

ихъ, — возвысила голосъ Глафира, не понявшая смысла словъ больного.

По лицу больного скользнула слабая ироническая усмѣшка; ничего не возражая Глафирѣ, онъ едва слышно, уже почти безсознательно зашевелилъ губами:

— Слышишь, мнѣ спокой нуженъ, а ты все... о душѣ моей хлопочешь!—нашелъ онъ еще силы для шутки.

— И о душѣ, значитъ, и обо всемъ, что послѣ-то будетъ... о Боренькѣ-то главное, — дрожащимъ отъ волненія голосомъ пояснилъ старикъ.

Больного точно кольнуло чѣмъ-то острымъ: онъ шевельнулся и въ тревогѣ забормоталъ:

— О Борѣ!.. О Борѣ!.. Бѣдный ребенокъ... я обезпечу его... Я... ахъ, эти боли... опять эти боли!

Онъ тревожно заметался, точно не зная, какъ опять найти прежнее покойное положеніе, которое за минуту передъ тѣмъ было такъ сладко ему. Глафира поспѣшила со своими нѣжными вопросами, «гдѣ больно», «что потереть», и въ то же время тихо-тихо, но злымъ тономъ успѣла упрекнуть старика:

— Полюбуйтесь, что надѣлали, опять барину хуже отъ вашихъ глупыхъ рацей. Одно какъ есть безпокойство человѣку наносите! У-у!

Старикъ сосредоточенно молчалъ, глядя пристально на больного, уже снова переставшаго метаться, вдругъ затихшаго и впавшаго какъ бы въ забытье, и, кажется, чутьемъ угадалъ то, что не всегда узнается при выслушиваніи сердца, при выщупываніи пульса,—угадалъ, что именно теперь наступаетъ великая минута перехода отъ жизни къ смерти... Минуты проходили за минутами, а Михаилъ Матвѣевичъ не трогался съ мѣста, зорко слѣдилъ за больнымъ и все яснѣе и яснѣе сознавалъ, что для больного наступаетъ конецъ, что дорогой его выкормокъ не откроетъ болѣе своихъ глазъ, что теперь дѣйствительно поздно хлопотать о чемъ бы то ни было. Наконецъ, онъ началъ медленно осѣнять себя крестнымъ знаменіемъ.

— Чего истуканомъ-то смотрите, да какъ передъ образомъ креститесь. Въ умѣ рехнулись, что ли?—чуть слышно упрекнула его почувствовавшая себя какъ-то жутко Глафира, уже давно не доискиваясь, гдѣ голубчику-барину больно, такъ какъ голубчикъ-баринъ ничего не отвѣтилъ на ея послѣдніе разспросы.—Еще проснется баринъ, да испугается...

Михаилъ Матвѣевичъ тихо отстранилъ ее:

— Чего егозишь... отходитъ человѣкъ, такъ нечего тутъ егозить... еще помѣшать можешь...

Въ мертвенной тишинѣ, царившей въ комнатѣ, въ едва слышномъ шопотѣ этихъ людей, черными тѣнями вырисовывавшихся въ полумракѣ, было что-то недоброе, зловѣщее. Минуты шли медленно. Глафира двинулась-было, чтобы позвать Мартына Мартыновича, но ее остановилъ властнымъ движеніемъ руки Михаилъ Матвѣевичъ. Онъ смотрѣлъ какъ-то торжественно, строго, какъ никогда.

Старикъ съ трудомъ безшумно опустился на колѣни у самой постели и старческою рукою осторожно коснулся груди Николая Даниловича: въ ней уже почти не слышалось біенія сердца, хотя она была еще страшно горяча на ощупь. Старикъ шепталъ, едва замѣтно шевеля губами, отходную молитву и въ скорбномъ раздумьи качалъ безнадежно головой.

— На рукахъ своихъ тебя носилъ и теперь приходится этими же руками глаза тебѣ закрыть,—прошептали, наконецъ, старческія губы, кончивъ молитву, и крупныя слезы одна за другою закапали съ морщинистыхъ щекъ старика.

Онъ дрожащею рукою сталъ осѣнять широкимъ крестнымъ знаменіемъ неподвижно лежавшій передъ нимъ трупъ...

Глафира, испуганная и растерявшаяся, инстинктивно отшатнувшись назадъ, съ полуоткрытымъ ртомъ стояла въ сторонѣ и все еще не могла сообразить, что передъ нею совершился еще невиданный ею никогда великій и простой актъ смерти человѣка.

V.

На дворѣ стояло уже туманное осеннее утро, когда по всему сомовскому дому разнеслась скорбная вѣсть о смерти Николая Даниловича Сомова. Слуги любили его, какъ любятъ безпечныхъ въ денежныхъ дѣлахъ и смотрящихъ на все сквозь пальцы господъ, и потому сожалѣнія были вполнѣ искренни. Во всѣхъ комнатахъ слышались глубокіе вздохи, утирались тихонько невольныя слезы... Только у Анны Николаевны, когда она узнала о постигнувшемъ ее несчастіи, проявленіе горя было необузданно и шумно. Боявшаяся всегда покойниковъ, она теперь, казалось, забыла эту боязнь и, какъ безумная, бросилась къ трупу, тормоша его съ пронзительными криками:

— Nicolas, Nicolas, что я буду теперь дѣлать!

И тотчасъ же передъ ея глазами вырисовалась картина

пріѣзда Людмилы Гавриловны и ея дѣтей—главное, ея старшаго сына, этого «ужаснаго Леонида». Въ головѣ замелькали мысли, цѣпляясь одна за другую, путаясь въ какомъ-то хаосѣ. Она должна бѣжать, скорѣе бѣжать! Но куда, на какія средства? У нея ничего, ничего нѣтъ! Господи! Даже мужъ ея никакой пенсіи ей не оставилъ, нигдѣ не служа и получая чины только за благотворительность. Другимъ благотворилъ, а ее почти нищую оставилъ. Она всегда и во всемъ была такая несчастная!.. Они съ Nicolas прожили всѣ свои деньги, даже векселей какихъ-то кому-то надавали. Развѣ она смыслитъ что-нибудь въ дѣлахъ!.. Въ послѣднее время ихъ безденежье просто въ отчаянье приводило Nicolas, не привыкшаго стѣснять себя, и онъ все изворачивался, не имѣя наличныхъ денегъ, хлопоталъ, чтобы заложить свое имѣніе и продать домъ въ Петербургѣ. Хлѣбъ какой-то на корню какъ-то запродалъ... Иначе, по его словамъ, и выпутаться было нельзя. Впрочемъ, Nicolas, какъ и она, вовсе не умѣлъ хозяйничать и распоряжаться деньгами. Говорилъ всегда онъ: «Мы, дворяне, — не торгаши, не аферисты»... Для экономіи онъ и въ деревнѣ этой несносной все нынѣшнее лѣто прожилъ. За границей имъ стоило дороже жить. Онъ, Nicolas, говорилъ, что его запуталъ въ долги этотъ проклятый процессъ съ этой ужасной женщиной. Ее надо было какъ-то поймать, кому заплатить за это деньги. Nicolas самъ ни во что не мѣшался, говорилъ адвокату: «только разведите», и платилъ, сколько надо... О, да, она ужасная женщина, безъ сердца, безъ снисходительности: она способна Богъ знаетъ на что, чтобы только отомстить теперь ей, Аннѣ Николаевнѣ!.. И какая несчастная она, Анна Николаевна!.. Ея Nicolas умеръ въ такую минуту, когда у нея нѣтъ ни денегъ, ни угла, а между тѣмъ на рукахъ Боря. Послѣ смерти мужа у нея хоть Бори не было!.. Бѣдный Боря! Ее даже тетка теперь не приметъ. Тогда бы и съ Борей приняла, а теперь не приметъ... Вообще всѣ забросаютъ ее теперь грязью. Но развѣ она виновата? Это ужасно, это ужасно! Вотъ истинная казнь несчастной женщины изъ общества!.. Тетка еще приняла бы Борю, если бы онъ былъ сиротой, но ее—ее тетка на порогъ не пуститъ. О, она такъ гордилась всегда своимъ безукоризненнымъ поведеніемъ, такъ ожесточилась на Анну Николаевну за то, что та осмѣлилась въ ея домѣ завести интригу, опозорить всѣми уважаемый домъ!.. Да, безъ нея она приняла бы Борю, а при ней ни за что, ни за что,—

и онъ останется на мостовой... Она ужъ ради счастія ребенка должна сойти со сцены; да, да, ради материнскаго чувства должна пожертвовать собой! О, какъ страшно умирать такой молодой! Желать жить и жить — и сознавать необходимость смерти! Да, но иначе нельзя, жить ей не на что, оставаться здѣсь нельзя, въ свѣтѣ ждутъ только оскорбленія... И на какія средства уѣхать? Куда?.. Но страшнѣе всего то, что они пріѣдутъ... Какъ только узнаютъ, такъ тотчасъ же и пріѣдутъ—эта ужасная женщина и Леонидъ—этотъ безгрѣшный истуканъ! Его даже Nicolas боялся, говорилъ, что онъ изъ себя разыгрываетъ ходячую совѣсть... Говорилъ это и раздражался, потому что онъ все же былъ отецъ, а этотъ истуканъ смотрѣлъ на него, какъ на мальчика... А ее, о, какъ онъ презиралъ ее. Не считалъ нужнымъ даже скрывать это!.. Нѣтъ, позорной встрѣчи съ этими людьми въ жизни Анны Николаевны не будетъ, лучше смерть, чѣмъ эта встрѣча! Пусть увидятъ ея трупъ, пусть поймутъ, какъ она любила, какую жертву принесла, но встрѣчи съ ними у нея не будетъ... О! Боря, Боря, ты простишь когда-нибудь свою несчастную мать, когда вырастешь и все поймешь!..

Истинное горе и вошедшая въ плоть и кровь привычка къ мелодрамѣ, настоящія чувства и безсознательное разыгрываніе роли умирающей Травіаты, все это смѣшалось въ ея душѣ въ какой-то сумбуръ... Маленькая женщина металась, какъ мышь, пойманная въ мышеловку, въ смертельномъ ужасѣ, въ смертельной тоскѣ; она то бросалась къ трупу—«послѣдній разъ обнять своего Nicolas»,—то обращалась къ невозмутимо-строгому и сдержанному Михаилу Матвѣевичу съ какими-то мольбами поберечь ея Борю, если что-нибудь съ нею случится, непремѣнно-непремѣнно «отправить его къ Прасковьѣ Михайловнѣ Хрущовой», если бы она захворала или умерла, — то билась въ истерическомъ припадкѣ въ своей комнатѣ, — то опять бѣжала взглянуть — «въ послѣдній разъ только взглянуть!» — на свое несчастное дитя...

Было ли положеніе Анны Николаевны — настоящею потрясающею драмою или настоящимъ пошлымъ фарсомъ, оно никого не могло ни тронуть, ни взволновать въ настоящую минуту. На нее просто никто не обращалъ никакого вниманія. У каждаго въ этомъ домѣ были свои серьезныя заботы и свои серьезные страхи. Хитрая и прошколенная долголѣтнею службою въ барскомъ домѣ, Елена Никитична

держала себя съ видимымъ сознаніемъ своего собственнаго достоинства и, неспѣшно ходя своею утиною походкою, внѣшне была всецѣло погружена въ охраненіе хозяйскаго добра, пересчитывала ложки, ножи, вилки, столовый хрусталь, и внутренно терзалась мыслью, какъ отнесется Людмила Гавриловна къ ней, состоявшей за послѣднія пятьшесть лѣтъ на службѣ исключительно у Николая Даниловича, значитъ, и у врага Людмилы Гавриловны—его любовницы, какъ взглянетъ она на то, что однимъ изъ свидѣтелей паденія Сомовой былъ Василій, родной племянникъ Елены Никитичны, сынъ Анисьи Никитичны?.. Глафира растерялась совсѣмъ: до этой минуты она была сильна тѣмъ, что Николай Даниловичъ, можетъ-быть, скуки ради — (а ужъ онъ такъ-то, голубчикъ, скучалъ за послѣднее лѣто въ деревнѣ, что даже пить началъ), — «очень обожалъ» подурачиться съ нею гдѣ-нибудь мимоходомъ, въ уголкѣ коридора, что подмѣтили даже домашніе старые шпіоны, а въ послѣдніе дни она, просиживая около него все время его болѣзни, даже возмечтала, что она если и не совсѣмъ замѣнитъ эту самую Анну Николаевну, то все же, — а теперь на-поди, самоё Анну Николаевну погонятъ изъ дому и, конечно, вмѣстѣ съ нею и ея горничную, тѣмъ болѣе, что всѣ эти Ироды изъ прежнихъ сомовскихъ крѣпостныхъ рады будутъ напакостить ей, Глафирѣ; очень ужъ они ее ненавидѣли за то, что она не какая-нибудь необразованная холопка, а воспитывавшаяся въ петербургскомъ пріютѣ ученая горничная-швея и даже, можетъ-быть, изъ благородныхъ, такъ какъ родители ея неизвѣстны — какъ знать, можетъ-быть, она даже княжескаго рода!.. Молодой докторъ, Мартынъ Мартыновичъ Щепинскій съ презрѣніемъ морщился при одной мысли о возможныхъ щекотливыхъ вопросахъ со стороны неизвѣстныхъ ему родныхъ покойнаго Сомова о томъ, какъ и почему онъ почти не лѣчилъ Сомова, будучи здѣсь домашнимъ докторомъ, и почему онъ тотчасъ не телеграфировалъ женѣ и сыну о болѣзни Сомова,—морщился, какъ брезгливый и чистоплотный человѣкъ, попавшій чисто случайно въ непроходимую семейную грязь: никогда бы онъ не принялъ предложенія Сомова навѣщать ихъ домъ въ качествѣ домашняго доктора въ деревнѣ, если бы зналъ, что въ этомъ русскомъ семействѣ, кромѣ грязи, ничего нѣтъ, что и эта женщина, для которой онъ и былъ спеціально приглашенъ, какъ къ родственницѣ Сомова, — не болѣе, какъ простая «содержанка»... Вообще всѣ, призна-

вавшіе до этой минуты за барыню Анну Николаевну и такъ или иначе служившіе ей, чувствовали себя не особенно хорошо, какъ косвенные ея союзники и, уже ради одного этого, противники Людмилы Гавриловны.

Только одинъ Михаилъ Матвѣевичъ, потрясенный утратой, выняньченнаго имъ и умершаго безъ покаянія и духовнаго завѣщанія на его рукахъ, Николая Даниловича, казалось, не мучился никакими посторонними тревогами и твердо исполнялъ свои обязанности или, по крайней мѣрѣ, то, что онъ считалъ въ данную минуту своимъ долгомъ. Никогда онъ не смотрѣлъ такъ строго, какъ теперь, никогда онъ не дѣлалъ дѣла такъ методично, какъ въ этотъ день. Онъ собственноручно тщательно обмылъ губкою на постели тѣло покойнаго, распорядился завѣшиваньемъ зеркалъ простынями и приготовленіемъ въ залѣ стола въ переднемъ углу, гдѣ, по его указанію, повѣсили къ образу затепленную лампаду и разставили въ кадкахъ растенія, принесенныя изъ другихъ комнатъ и съ балкона; потомъ, поднявъ покойника на простынѣ, съ помощью лакея, садовника и кучера, онъ перенесъ тѣло въ залъ, положилъ на столъ, накрытый бѣлымъ, одѣлъ трупъ въ черную пару, пригладилъ его волосы, сложилъ на груди руки мертвеца, положилъ на нихъ образокъ и, набожно осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ и сдѣлавъ три земныхъ поклона, поцѣловалъ у покойника руку, а затѣмъ, когда деревенскій дьячокъ принялся за монотонное чтеніе псалтыря, направился въ одну изъ комнатъ, находившуюся въ самомъ концѣ дома...

Осторожной походкой вошелъ старикъ въ эту выложенную свѣтлыми липовыми досками по стѣнамъ, потолку и полу, вмѣсто обоевъ или окраски масляною краскою, просторную комнату, съ миніатюрными столиками и стульями, съ бѣлыми еще спущенными шторами, съ массой разбросанныхъ вездѣ мячиковъ, лопаточекъ, граблей, большихъ желтыхъ обручей и пестрыхъ веревочекъ для скаканья, подошелъ къ маленькой бронзированной кроваткѣ съ толстыми голубыми шелковыми сѣтками со всѣхъ сторонъ и остановился. Передъ нимъ спалъ, сбивъ въ ноги бѣлоснѣжную простыню и голубое шелковое одѣяльце, весь разметавшійся и раскраснѣвшійся въ утреннемъ снѣ ребенокъ, съ курчавившимися темными, почти черными волосами. Его яркій ротикъ былъ полуоткрытъ, по лицу блуждала улыбка, отъ которой на розовыхъ щечкахъ образовались ямки. Ста-

рику стало невыносимо жаль своего питомца, и, при видѣ его, онъ невольно прошепталъ:

— Вотъ и Колечка мой такой же былъ... въ этой же комнатѣ лѣтомъ почивалъ всегда... въ отца, значитъ, весь Боренька... сомовскаго рода... улыбается во снѣ... не знаетъ, значитъ, ангелъ Божій, что папаша умеръ... что послѣдній крестьянскій мальчишка теперь, можетъ-быть, счастливѣе его, голубчика... Эхъ, Николай Даниловичъ, Николай Даниловичъ, что ты, родной мой, надѣлалъ?.. Не подумалъ, значитъ, что послѣ тебя-то будетъ...

— Дядя Миша, вставать пора?—послышался сдѣланный еще сквозь сонъ вопросъ полуоткрывшаго черные глазки ребенка, увидавшаго старика.

Старикъ опомнился и быстро отеръ слезы.

— Пора, Боренька, пора! — сказалъ онъ, гладя его по волосамъ.

Ребенокъ остановилъ на немъ удивленный, вдумчивый взглядъ. Онъ былъ пораженъ чѣмъ-то, что онъ видѣлъ впервые и что, очевидно, удивило его.

— Дядя Миша, ты пачешь? — спросилъ онъ, качая головой, и быстро-быстро, картавя, заговорилъ: — А когда Боинька вчеа пакалъ—ты, дядя Миша, говоилъ: «Боинька болшой, а болшому пакать стыдно»... А Боинька маинькій, маинькій, а вотъ дядя Миша болшой-болшой, ста-и-нь-кій... и пачетъ!

Старикъ не выдержалъ, опустился надъ кроватью и слезы ручьемъ полились изъ его глазъ.

— На кого ты насъ, родной, оставилъ, сиротъ горемычныхъ?—сквозь тихія всхлипыванія раздавался его старческій шопотъ.

И чѣмъ нѣжнѣе ласкался къ нему изумленный и опечаленный Боренька, тѣмъ сильнѣе надрывалось его старое сердце. Въ этомъ, по-бабьему причитающемъ, старикѣ трудно было узнать теперь всегда строгаго и сдержаннаго Михаила Матвѣевича.

Долго не могъ онъ успокоиться, долго не могъ сказать своему Боренькѣ, что его отецъ умеръ, что надо идти проститься съ папашей. Боренька еще не зналъ, что значатъ слова: «смерть», «умеръ», «покойникъ», «прощанье въ послѣдній разъ», и наивно разспрашивалъ старика:

— Папа кататься поѣдетъ?

— Къ Боженькѣ папаша уѣдетъ!—пояснилъ, какъ умѣлъ, старикъ.

— А Боженька далеко?

— Далеко, далеко,—отвѣчалъ старикъ.—Ты, голубчикъ, вставай только!

— А Боиньку папа не возьметъ съ собой?

Старикъ отвернулся, чувствуя, что слезы опять душатъ его, что вотъ-вотъ онъ опять начнетъ причитать, какъ баба, и стискивалъ зубы.

VI.

Въ сомовскомъ деревенскомъ домѣ шелъ новый переполохъ: тотчасъ послѣ полученія въ домѣ телеграммы о высылкѣ лошадей и экипажа на станцію для встрѣчи Людмилы Гавриловны и ея старшаго сына, Леонида Николаевича, Мартынъ Мартыновичъ былъ призванъ къ Аннѣ Николаевнѣ, встревожившей теперь всѣхъ новыми неистовыми криками. Это были крики о спасеніи, крики о томъ, что она не хочетъ умирать, что она жить хочетъ, крики, такіе же безсмысленные, безполезные и излишніе, какъ вся ея жизнь, какъ всѣ ея поступки. Въ недолгіе часы, прошедшіе съ той минуты, когда она узнала о смерти Николая Даниловича, она только о томъ и думала, что она должна умереть, что она не можетъ болѣе жить, а теперь, отравившись, она кричала только о томъ, чтобы ее спасли, что она хочетъ жить, что она не хочетъ умирать, что она такъ молода...

Въ ея нелѣпо сложившейся жизни драма постоянно перемѣшивалась съ фарсомъ.

Еще мольбы, жалобы, стоны и проклятія не затихли въ голубомъ будуарѣ маленькой женщины, бокъ-о-бокъ съ заломъ, гдѣ лежало тѣло Николая Даниловича, какъ къ дому подъѣхалъ экипажъ и изъ него вышли молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-двадцати двухъ, и женщина лѣтъ сорока. Молодой человѣкъ, при первомъ взглядѣ на него, очень напоминавшій чертами физіономіи физіономію покойнаго Николая Даниловича, только съ менѣе выхоленнымъ и болѣе серьезнымъ, почти жесткимъ по выраженію, исхудалымъ лицомъ, былъ тонокъ и гибокъ, съ слѣдами недавней военной выправки, хотя иногда, какъ бы забывшись, горбился, какъ старикъ, при чемъ его грудь совершенно вваливалась, какъ у чахоточнаго. Онъ былъ одѣтъ, подъ теплымъ пальто на ватѣ, въ черную пару, но покрой его наряда былъ небреженъ и страненъ: сюртукъ слишкомъ длиненъ, застегнутъ на всѣ пуговицы, бѣлья почти не было видно, и

сразу его можно было принять не то за юнаго деревенскаго пастора, не то за провинціальнаго семинариста или мелкаго мѣщанина. Шедшая за нимъ легкими, довольно скорыми шагами, женщина высокаго роста была довольно полна, она держалась прямо, смотря немного сверху внизъ; ея красивое по чертамъ лицо было слегка помято и поношено, но выражало надменность и рѣшительность, въ темныхъ волосахъ мѣстами уже пробивалась преждевременная сѣдина. Къ новопріѣзжимъ сбѣжался кое-кто изъ прислуги со свѣчами и лампою, такъ какъ становилось уже темно.

— Что это такое тамъ, Леонидъ?—сдвинувъ брови, спросила она сына непріятнымъ рѣзкимъ голосомъ, заслышавъ изъ передней доносившіеся сюда крики и стоны изъ сосѣдней комнаты.

Молодой человѣкъ молча пожалъ плечами, какъ бы говоря ей:

«Развѣ же я знаю?»

Онъ, какъ и его мать, угадывалъ, что это кричитъ Анна Николаевна, но не могъ понять, какъ можно такъ шумно выражать свое горе. Вѣдь все же эта женщина не мѣщанка.

Находившійся въ передней лакей несмѣло объяснилъ:

— Анна Николаевна тамъ... сейчасъ отравилась...

— Такъ здѣсь же есть земская больница! — сказала холодно Людмила Гавриловна, сбрасывая на его руки верхнюю одежду. — Нельзя же несчастную женщину оставлять безъ помощи!

— При нихъ-съ нашъ докторъ,—пояснилъ лакей.

— Все же надо ее отправить въ больницу... Нельзя же здѣсь оставлять... на народѣ... Поди и прикажи распорядиться.

— Слушаю-съ...

Она говорила спокойно, холодно, не повышая голоса, безъ раздраженія, но такъ, что ей нельзя было не повиноваться. По оторопѣлому выраженію лица лакея, по его подобострастному тону, какъ онъ говорилъ съ нею, было видно, что люди боялись ее. Всѣ въ домѣ хорошо знали ея жесткій характеръ или, по крайней мѣрѣ, много наслышались о немъ. Болтали о ней много по поводу развода. Она обратилась къ сыну:

— Пока это продолжается, я даже не могу выйти въ залъ... Это вѣдь тутъ рядомъ...

Сынъ опять пожалъ плечами, какъ бы говоря:

«Дѣлайте, какъ знаете, это ваше дѣло».

Онъ прошелъ въ залъ, не проронивъ ни слова, тогда какъ мать, въ сопровожденіи второй горничной и какого-то мальчишки изъ дворовыхъ, освѣщавшихъ дорогу, поднялась изъ передней по лѣстницѣ во второй этажъ, гдѣ были комнаты «для гостей». Войдя въ едва освѣщенный въ переднемъ углу залъ, гдѣ уже тихо читалъ дьячокъ, онъ подошелъ къ покойнику, откинулъ съ его лица простыню и сосредоточенно, незамѣтно для себя, сгорбившись по-стариковски, сталъ вглядываться въ черты этого, родного ему когда-то, лица задумчивыми холодными глазами. Въ душѣ не пробудилось ни слезинки. Такъ смотрятъ люди на совершенно чужихъ имъ покойниковъ, сознавая только одно, что вотъ и это неподвижное тѣло когда-то жило, тревожилось и радовалось, а теперь — это только мертвая масса, близкая къ разложенію... А еще лѣтъ пять-шесть тому назадъ онъ очень любилъ этого, теперь мертваго человѣка, любилъ потому, что тотъ былъ всегда весело-привѣтливъ, неразсчетливо-щедръ, легкомысленно-снисходителенъ; наконецъ, потому, что изъ родителей только отецъ, бывая въ Петербургѣ, ѣздилъ къ сыну въ пажескій корпусъ, тогда какъ мать почти всегда — по болѣзни, какъ тогда говорили — проживала за границей. Но потомъ эта любовь исчезла безслѣдно и превратилась чуть не въ ненависть, такъ какъ именно этотъ человѣкъ впервые заставилъ его, «пуританина и схимника», по шутливой кличкѣ товарищей-кадетъ, задуматься о грязной сторонѣ жизни и, какъ палачъ, безсознательно убилъ въ немъ всякое сыновнее чувство и къ себѣ, и къ матери разомъ...

Какъ автоматъ, не замѣчая искоса слѣдившаго съ любопытствомъ за нимъ дьячка-читальщика, онъ снова не спѣша накрылъ лицо покойника простынею, почти безсознательно сдѣлалъ неопредѣленное движеніе передъ своею грудью правою рукою, какъ бы осѣняясь крестнымъ знаменіемъ, и, громко вздохнувъ, направился съ поникшей головой изъ зала въ противоположную отъ передней дверь.

Онъ прошелъ въ кабинетъ отца. Тамъ было уже все прибрано: ни безпорядка на постели, ни склянокъ отъ лѣкарствъ, ничего, что бы напоминало о недавней смерти хозяина этого кабинета. Кто-то успѣлъ уже распорядиться и поставить на столъ зажженную лампу. Молодой человѣкъ опустился съ усталымъ видомъ на одно изъ креселъ, машинально отодвинувъ подальше лампу, и, сгорбленный, съ поникшей головой, съ вдавленной грудью, задумался снова...

Шесть лѣтъ тому назадъ онъ узналъ, что его отецъ завелъ любовницу. Съ этого времени начался для мальчика рядъ, истерзавшихъ его еще чистую душу, проклятыхъ открытій и вопросовъ. Онъ узналъ, что отецъ не только завелъ любовницу, но что у отца отъ этой любовницы есть незаконный ребенокъ. «Отъ этой любовницы», говорили юношѣ болѣе опытные родственники и товарищи и объясняли, что у его отца были, какъ и у всѣхъ мужчинъ, и другія любовницы, но дѣтей, должно-быть, отъ тѣхъ не было; если же они и были, то исчезли безслѣдно — гдѣ и какъ? — объ этомъ не зналъ и не справлялся никто, такъ какъ это было никому не интересно—чужое дѣло. Потомъ онъ узналъ, что его отецъ обвиняетъ его родную мать, свою законную жену, въ томъ, что она плохо ведетъ себя, что послѣднія ея дѣти—ихъ двое въ живыхъ, за исключеніемъ его старшаго сына,—вѣроятно, незаконныя. Значитъ и у его матери есть любовникъ? Можетъ-быть, отецъ даже ошибается, признавая законнымъ сыномъ хоть его, Леонида, тогда какъ, можетъ-быть, и онъ, Богъ вѣсть, чей сынъ? Сколько грязи, сколько грязи во всемъ этомъ! Какъ онъ глубоко несчастливъ, имѣя такихъ родителей! За что на его долю выпало такое несчастіе? Но, слава Богу, это извѣстно только нѣсколькимъ лицамъ, объ этомъ говорятъ только шопотомъ, какъ говорятъ, можетъ, и о другихъ людяхъ, ведущихъ тоже разгульную жизнь. Это сплетни; можетъ-быть, даже клеветы... Но, вотъ отецъ бросаетъ тысячи, чтобы формально развестись съ женою, и самъ дѣлаетъ семейный скандалъ публичнымъ ради слезъ и истерикъ той, другой женщины, ради прижитаго отъ нея ребенка. О, какъ возненавидѣлъ Леонидъ эту маленькую женщину — этого ничтожнаго крокодила, чьи слезы были такъ губительны! На время у юноши проснулась даже жалость къ мало знакомой ему матери, когда она, пріѣхавъ въ Петербургъ и навѣстивъ сына, стала жаловаться тогда уже взрослому сыну на отца, позорящаго и ее, и дѣтей, и всю семью, ищущаго случая поймать жену въ какомъ-то позорномъ проступкѣ, тогда какъ до этой поры она не была поймана, въ сущности, ни въ чемъ. Но эта жалость явилась только на время — рѣчи матери, полныя холодныхъ распущенности и беззастѣнчивости, рѣчи женщины, которой нечего уже утрачивать, которая, рыща гдѣ-то за границею, по отелямъ, гдѣ люди иногда подъ чужими именами встрѣчаются и расходятся, часто совсѣмъ не зная другъ

друга, гдѣ заметаются безслѣдно болѣе или менѣе сильные слѣды грязи, потеряла все, не боясь ничего, — эти рѣчи оттолкнули его отъ нея снова. Потомъ же, когда она, раздраженная начатымъ противъ нея бракоразводнымъ процессомъ, съ отсутствіемъ стыда уже опозоренной женщины, рѣшилась чисто изъ мести поднять дѣло о подставныхъ свидѣтеляхъ, о предательской интригѣ, погубившей ее, онъ уже не могъ отдать себѣ отчета, противъ кого онъ болѣе вооруженъ: противъ отца ли, опозорившаго публично его мать, или противъ своей матери, желающей, не имѣя возможности смыть своего позора, опозорить его отца, какъ человѣка, подстроившаго за огромныя деньги грязную исторію, — эта исторія не отрицалась матерью, такъ какъ она была въ дѣйствительности, но мать поднимала только дѣло о подкупности свидѣтелей, о лжесвидѣтельствѣ. Дѣло по закону, какъ и должно было быть, проходило черезъ руки десятка людей, черезъ руки служащихъ въ консисторіи, черезъ руки судебныхъ слѣдователей, черезъ руки служащихъ въ сыскномъ отдѣленіи полиціи, такъ сказать, черезъ руки всего города, и всѣ знали, какую роль игралъ повѣренный отца, Трофимовъ, получившій отъ своего кліента на руки десять тысячъ, какія обязанности взялъ на себя частный ходатай по дѣламъ Мессингъ, за что получили сперва двѣ тысячи временный купецъ Спиридонъ Маломыгинъ и мѣщанинъ Василій Хлюстинъ, и почему они, узнавъ, что ихъ надули Мессингъ и Трофимовъ, что они могли «сорвать» гораздо болѣе, потребовали потомъ черезъ Мессинга у Трофимова еще двѣ тысячи. Все это было такъ грязно, такъ гласно, что фамилія Сомовыхъ, вынесшая, такъ сказать, на многолюдную площадь семейную грязь, не могла не вызвать двусмысленныхъ улыбокъ въ обществѣ, и Леонидъ Николаевичъ, вышедшій почти тотчасъ же послѣ производства въ офицеры въ отставку по болѣзни и чувствовавшій, что у него чуть ли не чахотка, ощущалъ одно: отецъ и мать, виновные въ явленіи его на свѣтъ, отняли у него все: честное имя, сыновнее чувство, вѣру во все хорошее, — дали ему жизнь и убили въ немъ человѣка... Припоминая все это, онъ, казалось, переживалъ всѣ перипетіи этой жизненной драмы. Сгорбленный, съ ввалившеюся грудью, онъ казался теперь живымъ мертвецомъ...

— Здравствуйте, батюшка, Леонидъ Николаевичъ!—раздался, наконецъ, голосъ ужъ давно стоявшаго въ дверяхъ

Михаила Матвѣевича, пристально вглядывавшагося въ молодого человѣка.

Леонидъ Николаевичъ вздрогнулъ и точно проснулся. На секунду въ его взглядѣ отразилось выраженіе какого-то дикаго испуга. Потомъ, сообразивъ, гдѣ онъ находится и кто съ нимъ говоритъ, онъ, стараясь казаться равнодушнымъ и сдержаннымъ, проговорилъ:

— А! это вы, Михаилъ Матвѣевичъ!

— Я, я, сударь... Горе-то какое у насъ нежданное,— сказалъ старикъ со вздохомъ, смотря нѣсколько растерянно на исхудалаго, холодно глядѣвшаго Леонида Николаевича.

— Что-жъ дѣлать... всѣмъ когда-нибудь умирать надо,— замѣтилъ Леонидъ Николаевичъ безстрастно.—Вы, надѣюсь, всѣмъ распорядились насчетъ похоронъ? Если же нѣтъ, то обратитесь къ барынѣ Людмилѣ Гавриловнѣ... Я не умѣю устраивать всѣ эти лишнія церемоніи...

— Слушаю-съ, батюшка-баринъ, — отвѣтилъ старикъ.— Барыня, значитъ, уже и распоряжаются тамъ...

Леонидъ Николаевичъ его немного пугалъ своимъ сдержаннымъ, холоднымъ видомъ. Старикъ, давно не видавшій этого своего выкормка, такъ много наслышался о немъ за послѣднее время: его называли и схимникомъ, и поврежденнымъ, и блаженнымъ, а теперь, при видѣ этого схимника, поврежденнаго и блаженнаго, у старика вертѣлась въ головѣ только одна мысль, что это «не жилецъ на бѣломъ свѣтѣ», а «живой покойникъ».

— Да? значитъ... ужъ увезли ту... больную?—спросилъ Леонидъ Николаевичъ коротко и нерѣшительно, не желая даже произносить имя Анны Николаевны.

— Увезли-съ, сударь, увезли,—отвѣтилъ старикъ и тяжело вздохнулъ, точно его что-то давило.

Леонидъ Николаевичъ поднялъ на него вопросительный взглядъ. Что ему еще нужно? Старикъ топтался, понуривъ голову, на одномъ мѣстѣ, видимо стѣсняясь и боясь заговорить.

— Что вы?—спросилъ неопредѣленно Леонидъ Николаевичъ, ожидая, что тотъ чего-нибудь попроситъ у него.

Въ головѣ мелькали пренебрежительныя соображенія. Конечно, ему тяжело, боится на старости лѣтъ остаться на мостовой. Ужасно положеніе на старости лѣтъ этихъ невольныхъ тунеядцевъ изъ старой дворни: не знаютъ никакого ремесла, не привыкли къ труду изъ-за хлѣба, избалованы теплымъ угломъ и сладкимъ кускомъ. Для нихъ даже

и въ богадѣльнѣ было бы тяжело жить, такъ какъ тамъ на убой не кормятъ. Они только и могутъ жить паразитами, на чужой счетъ, въ богатыхъ домахъ.

— Ребенокъ тутъ... Боренька... братецъ вашъ,—осмѣлился, наконецъ, прошептать Михаилъ Матвѣевичъ.—Безъ куска хлѣба, то-есть... нищій сущій...

Старикъ трясущимися ногами сдѣлалъ шагъ впередъ и, видимо, хотѣлъ опуститься на колѣни.

Леонидъ Николаевичъ закусилъ нервно нижнюю губу и, быстро поднявшись съ мѣста, удержалъ старика рукою.

— Что у васъ за привычка унижаться... вы знаете, что я этого не терплю... вы уже старикъ,..

Михаилъ Матвѣевичъ сконфузился и съ виноватымъ видомъ заговорилъ прерывающимся отъ слезъ голосомъ:

— Я потому, что ужъ больно жаль...

— Отъ вашихъ колѣнопреклоненій ему легче не будетъ...

— Спасите, сударь... дитя ни въ чемъ не повинно... въ грѣхъ родителя, значитъ... Сами знаете, сударь, мало ли что бываетъ, значитъ... у насъ, старыхъ людей... всѣ грѣшны... а дитя...

— Гдѣ же этотъ мальчикъ?

— Въ своей комнаткѣ... въ вашей, то-есть, сударь... гдѣ и папаша прежде жили... ребеночкомъ... всѣхъ васъ тамъ я, старый песъ, стерегъ и няньчилъ... и папашу, и васъ, и его... Вотъ наказалъ Господь папашу въ гробу видѣть... Бореньку... Съ голоду онъ умретъ, если вы не поможете.

У старика оборвался голосъ. Леонидъ Николаевичъ смотрѣлъ серьезно, почти сурово. Въ его головѣ мелькала мысль: «еще одинъ загубленный жизнью несчастный». Потомъ, поднявъ опущенную голову, онъ въ раздумьи проговорилъ:

— Ну, проводите меня къ этому мальчику! Нечего и говорить, что я его не могу бросить...

Леонидъ Николаевичъ пошелъ коридоромъ по направленію къ дѣтской. За нимъ слѣдомъ направился Михаилъ Матвѣевичъ, въ слезахъ, но въ то же время потихоньку радостно осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ и поминая въ душѣ царя Давида и всю кротость его...

«Не броситъ... спасетъ! — мелькало въ его головѣ.—Наставь его, Господи... умягчи сердце его».

VII.

Ни одинъ человѣкъ, присутствовавшій на панихидахъ и

на похоронахъ Николая Даниловича Сомова и видѣвшій Людмилу Гавриловну, не зная ея прежнихъ отношеній къ мужу, не заподозрилъ бы, что чуть не вчера эти мужъ и жена были заклятыми врагами, обливали публично другъ друга грязью и старались только погубить одинъ другого: онъ—лишить ее добраго имени и наслѣдства, она—довести его до скамьи подсудимыхъ за устройство ей грязной ловушки съ подставными свидѣтелями. Она, статная, величавая и свѣтски ловкая, принимала посѣтителей внимательно и съ видомъ сознанія своего достоинства, какъ слѣдуетъ любезной хозяйкѣ, которая признательна всѣмъ, вспомнившимъ ея мужа, пріѣхавшимъ отдать ему послѣдній долгъ и принимающимъ участіе въ семейной утратѣ. Она не притворялась убитою горемъ и въ то же время не казалась смущенной тѣмъ, что всѣ окружающіе, навѣрное, знаютъ всю грязь ея скандальнаго процесса съ мужемъ: для нея все это было—прошлое, которое уже не вернется и о которомъ, слѣдовательно, нечего думать, предавъ благоразумно забвенію вчерашній день со всѣми его «глупостями»—глупостями же она считала все, что натворилъ въ послѣднее время ея покойный мужъ, попавъ вслѣдствіе своей слабохарактерности въ руки «жалкой дурочки»: до появленія этой жалкой дурочки и мужъ, и жена жили, повидимому, совершенно спокойно врознь, пользуясь жизнью по своему вкусу и не стѣсняя другъ друга. Кто первый началъ эту жизнь врознь, кто изъ нихъ былъ виновнѣе, обошлась ли безъ борьбы и слезъ для нихъ первая измѣна,—они объ этомъ, казалось, не задумывались прежде и потому внѣшне спокойно относились къ существующему факту: эта же жалкая дурочка выплакала, чтобы мужъ разошелся съ женою для того, чтобы самой повѣнчаться съ нимъ законнымъ бракомъ, и онъ сдѣлалъ первую глупость—поддался слезамъ и истерикамъ ничтожной по характеру женщины и поручилъ кому-то устроить бракоразводное дѣло, не думая даже, по легкомыслію, о томъ, при помощи какихъ средствъ могутъ сдѣлать это неразборчивые люди. Адвокатъ, оказалось, не стѣснялся въ средствахъ, устроилъ гнусную ловушку, и тогда-то возмутилась Людмила Гавриловна и начала, со своей стороны, уголовное дѣло: она не отрицала, что она попала въ ловушку, но только доказывала, что это была именно ловушка, что всѣ дѣйствующія лица были подкупленныя созданія, что на нее, какъ на какое-то животное, дѣлали облаву, подстерегли ее, загнали въ сѣти, что тутъ была всякая грязь, начиная съ

опаивавшая чѣмъ-то, чуть не отравленія жертвы, то-есть ея. Но теперь все это было прошлое, которое возбуждало въ ней не гнѣвъ, не ненависть, а только презрѣніе ко всѣмъ, замѣшаннымъ въ дѣло лицамъ, начиная съ этой жалкой дурочки, умиравшей теперь гдѣ-то въ земской больницѣ отъ принятой ею отравы: глупо жила—глупо и умираетъ! Людмила Гавриловна обошлась даже съ прислугой такъ, какъ никто не ожидалъ—не выразила ни на кого злобы, не проявила ни къ кому враждебныхъ чувствъ и съ обычнымъ своимъ видомъ холоднаго, высокомѣрнаго пренебреженія давала хозяйственныя порученія всѣмъ, кто служилъ ея мужу и его любовницѣ.

— Вы все попрежнему еще завѣдуете здѣсь хозяйствомъ?— обратилась она къ Еленѣ Никитичнѣ и, не дожидаясь ея отвѣта, приказала:—такъ присмотрите, чтобы въ эти дни все было въ порядкѣ и не было недостачи въ чемъ-нибудь, если кто пріѣдетъ изъ посторонннихъ. Мнѣ будетъ не до того, чтобы помнить самой, что нужно сдѣлать.

Михаилу Матвѣевичу тотчасъ по полученіи извѣстія о смерти Горяиновой было отдано приказаніе:

— Распорядитесь похоронами Анны Николаевны и представьте мнѣ счетъ. Не бросайте даромъ денегъ, но сдѣлайте все прилично.

Увидавъ Глафиру, она окинула ее зоркимъ взглядомъ, прищуривъ глаза, и спросила:

— Вы занимали здѣсь мѣсто горничной?..

И тутъ же рѣшила:

— Вы и останетесь при мнѣ, такъ какъ я не захватила сюда своей дѣвушки.

Скитаясь за границей, она привыкла быть холодно вѣжливой съ прислугой и совершенно не обращать вниманія: кто ей служитъ: вы—горничная, значитъ, вы обязаны дѣлать то-то и то-то, а далѣе этого мнѣ нѣтъ дѣла ни до вашихъ нравовъ, ни до вашихъ интересовъ, ни до вашихъ физіономій, характеровъ и фамилій, какъ нѣтъ дѣла до всего этого никому, ѣдущему по желѣзной дорогѣ, относительно поѣздной прислуги или услуживающихъ на станціяхъ буфетчиковъ или кельнеровъ. Кому придетъ въ голову справляться о томъ, женатъ ли состоящій при поѣздѣ оберъ-кондукторъ,—и какъ его зовутъ: Ѳедоромъ или Иваномъ? Эти люди за свое жалованье дѣлаютъ свое дѣло и конецъ весь.

Елена Никитична и Михаилъ Матвѣевичъ, какъ старые

слуги, знали, что и прежде, лѣтъ шесть тому назадъ, Людмила Гавриловна такъ относилась ко всѣмъ служащимъ, бывшимъ крѣпостнымъ Сомова, смотря на нихъ сверху внизъ, немного щуря близорукіе глаза, чтобы не ошибиться и не потребовать отъ ключницы того, что лежало на обязанности горничной, и не принять швейцара за выѣзднаго лакея, и потому сразу и теперь вошли въ свои роли, только шопотомъ опасливо переговариваясь между собою о томъ, что она «объ Василіи-то даже и не говоритъ; вѣрно, не его же за лжесвидѣтельство въ судъ притягивала или, можетъ-быть, не знаетъ, или забыла, что онъ имъ родня, сынъ Анисьи Никитичны, и потому злобы на ихъ не срываетъ». Но не то было съ Глафирой. Она сразу почувствовала, что она впервые попала къ настоящей барынѣ, а не къ какой-нибудь простой содержанкѣ, которая и ревновать ее могла къ барину, какъ ровню, и слезливо капризничать, и жалобно упрекать служанку: «ахъ, какъ вы небрежно это дѣлаете, ахъ, вы и не думаете угодить мнѣ». Отъ Людмилы Гавриловны ничего подобнаго не было слышно, но Глафира чутьемъ со страхомъ поняла, что какъ только она чѣмъ-нибудь не угодитъ, въ чемъ-нибудь провинится, ей хладнокровно скажутъ:

— Вы мнѣ болѣе не нужны!

Такъ относилась Людмила Гавриловна ко всѣмъ людямъ, такъ относилась она когда-то и къ своему мужу: спокойно и холодно по внѣшности, по крайней мѣрѣ, послѣ его первой измѣны и отъѣзда для лѣченія на воды, давъ чистую отставку и какъ бы сказавъ мысленно и ему: «вы мнѣ болѣе не нужны»,—и только одинъ человѣкъ постоянно смущалъ ея душу, хотя внѣшне она и при немъ умѣла или, вѣрнѣе сказать, желала выдерживать свой обычный холодно-спокойный, надменный тонъ. Это былъ ея сынъ Леонидъ Николаевичъ. Она мысленно называла его, какъ и многіе знавшіе его «поврежденнымъ» и «блаженнымъ»; нерѣдко дѣлала презрительныя гримасы, когда онъ своимъ сухимъ и холоднымъ тономъ—ея тономъ—высказывалъ свои рѣшительныя мнѣнія, порою громко вышучивала его, говоря, что ему непремѣнно хочется быть оракуломъ, прорицателемъ или судьею; но, тѣмъ не менѣе, всегда и во всѣхъ случаяхъ, въ душѣ сознавала съ раздраженіемъ, что въ его присутствіи она теряетъ свое обычное самообладаніе: коса находитъ на камень и чувствовалось, что скорѣе иступится она, чѣмъ поддастся онъ.

Выйдя въ столовую, въ первый же день послѣ пріѣзда въ деревенскій домъ, къ обѣду, не садясь еще за столъ, онъ мелькомъ окинулъ глазами столъ, обернулся къ Михаилу Матвѣевичу и спросилъ:

— А что же нѣтъ третьяго прибора? Или этотъ мальчикъ привыкъ обѣдать отдѣльно отъ большихъ?

— Нѣтъ, Леонидъ Николаевичъ,—отвѣтилъ въ смущеніи старикъ. — Но я думалъ... Боренька уже покушали одни...

— Зачѣмъ же вводить новые порядки?—сухо сказалъ Леонидъ Николаевичъ.

— Ты это о комъ?—спросила по-французски Людмила Гавриловна.

— О Борисѣ, о сынѣ покойнаго отца,—отвѣтилъ Леонидъ Николаевичъ.

Она пожала плечами.

— Зачѣмъ это?

— Разъ отецъ признавалъ его сыномъ, какъ и всѣхъ другихъ дѣтей,—отвѣтилъ Леонидъ Николаевичъ:—какое же право имѣемъ мы выбрасывать его за бортъ?

Ее покоробило отъ подчеркнутыхъ имъ словъ о другихъ дѣтяхъ.

— У отца, вѣроятно, есть еще много и другихъ такихъ дѣтей,—небрежно сказала она.

— Очень жаль, что мы ихъ не знаемъ и не можемъ помочь имъ выйти на дорогу, если они ходятъ по-міру,—отвѣтилъ онъ холодно.—Это нашъ долгъ, такъ какъ мы наслѣдники.

— Ахъ, опять твои идеи!—раздражалась она, не умѣя сдержаться.

Онъ молча пожалъ плечами, какъ бы говоря: «не могу же я отрѣшиться отъ самого себя».

— Еще слава Богу, что ты можешь распоряжаться только своей долей и не имѣешь права для какихъ-то незаконнорожденныхъ ограбить сестеръ,—сорвалось съ ея языка. — Дѣла, кажется, и безъ того совершенно разстроены... Здѣшній конторщикъ говорилъ мнѣ, что наличныхъ денегъ нѣтъ вовсе, есть только срочные векселя, предполагались закладъ имѣнія и продажа дома въ Петербургѣ, хлѣбъ продавался на корню...

Въ ея голосѣ звучали нотки презрѣнія и раздраженія. Она бы никогда не хозяйничала такъ глупо.

— Я не справлялся, что осталось,—сухо сказалъ онъ.—

Но что бы ни осталось, это все же ничѣмъ не заслуженный лично нами даръ...

Она усмѣхнулась съ выраженіемъ презрѣнія.

— Ахъ да, наслѣдство—вѣдь это зло! — проговорила она съ насмѣшкой въ голосѣ.

Онъ взглянулъ на нее и покачалъ отрицательно головой.

— Нѣтъ, въ данномъ случаѣ я радъ, что оно дастъ мнѣ возможность помочь несчастному мальчику, пока онъ малъ. Дать ему средства зарабатывать послѣ хлѣбъ... а не ходить по-міру, не грабить на большихъ дорогахъ...

— Ты начинаешь дѣлаться сентиментальнымъ. Это новость!—съ ироніей сказала она.

— Кажется, я всегда старался быть человѣкомъ своего долга,—вставилъ онъ сухо:—и мнѣ кажется, что нѣтъ ничего преступнѣе, какъ бросанье дѣтей на произволъ судьбы, отъ кого бы и кѣмъ бы они ни были прижиты...

Въ душѣ онъ чувствовалъ, что онъ говоритъ съ ней, какъ съ врагомъ, что она хорошо понимаетъ это, угадывая смыслъ каждой фразы, и ему нужно было собрать всѣ силы своей желѣзной воли, чтобы внѣшне казаться спокойнымъ и быть сдержаннымъ. Она осмѣливается говорить о томъ, что нечего заботиться о незаконномъ ребенкѣ, а какія права имѣютъ ея двѣ дочери? Наконецъ, можно ли поручиться, что ею не были гдѣ-нибудь брошены дѣти, которыхъ уже никакъ нельзя было выдать за законныхъ? Она смѣетъ подшучивать надъ нимъ за то, что онъ хочетъ исполнить свой долгъ, а каково бы пришлось ей самой, если бы онъ не былъ человѣкомъ долга, если бы и онъ, заодно съ отцомъ, забылъ относительно нея свой долгъ и не дѣлалъ постоянно усилій относиться къ ней хотя съ внѣшней почтительностью? Она отравила ему всю жизнь, а онъ все же старается по возможности не отравлять ея жизни. Она даже оцѣнить этого не умѣетъ.

VIII.

Цѣлую ночь послѣ похоронъ отца провелъ безъ сна Леонидъ Николаевичъ. Безсонныя ночи были хорошо знакомы ему съ самыхъ юныхъ лѣтъ. О, какъ часто-часто чуть брезжущее утро, сѣрое и мглистое, какъ его жизнь, заставало его еще не смыкавшимъ глазъ. Правда, и другіе его сверстники нерѣдко проводили безсонныя ночи, но они проводили ихъ среди кутежей и оргій, а онъ не узналъ, что значитъ кутить, относился съ гадливымъ чувствомъ ко всѣмъ этимъ

прожигателямъ жизни... Сонъ и теперь, какъ это всегда бывало съ нимъ, отгоняли отъ него его неугомонныя думы.

«Что сдѣлать съ этимъ мальчикомъ, порожденнымъ на свѣтъ моимъ отцомъ и обреченнымъ имъ же на холодъ и голодъ, можетъ-быть, на преступленіе? — вертѣлось въ его головѣ, и отъ думъ о будущности этого мальчика онъ переходилъ къ думамъ о себѣ, какъ это всегда бывало съ нимъ.—И я погибъ бы, если не физически, то нравственно, если бы не моя желѣзная воля, если бы не мой характеръ,— не безъ гордости замѣчалъ онъ. — Да, чтобы спасти человѣка, нужно прежде всего закалить его характеръ, внушить ему сознаніе своего долга!..»

Съ дѣтскихъ лѣтъ, почти брошенный отцомъ и матерью, постоянно хилый здоровьемъ, онъ давно началъ жить головою, а не сердцемъ. Его сверстники наслаждались жизнью, танцовали, охотились, кутили. Онъ въ это время много читалъ, обо многомъ думалъ. Съ одной стороны романы съ ихъ возбуждающими презрѣніе или ужасъ отрицательными типами, съ ихъ поучительной темной стороной жизни, дидактическія книги Смайльса о долгѣ и характерѣ, суровые пессимистическіе выводы и воззрѣнія Шопенгауэра и, съ другой стороны, поведеніе по отношенію къ нему его матери, почти забывшей своего сына, безразличная снисходительность и неразсчетливая щедрость его легкомысленнаго отца, мелкіе, противные болѣзненному юношѣ, кутежи и безпечная лѣность избалованныхъ товарищей будили его мысль и заставляли его вырабатывать свои собственные взгляды на жизнь. Онъ нерѣдко проводилъ безсонныя ночи въ стѣнахъ корпуснаго лазарета и не недугъ отгонялъ отъ него безмятежный сонъ, а усиленная лихорадочная работа мозга. Его думы тянулись длинною цѣпью, гдѣ звенья цѣплялись одно за другое безъ перерыва, безъ конца, вырабатываясь въ цѣлую систему. И чѣмъ болѣе опредѣленными становились его, добытые имъ съ большими усиліями, выводы, тѣмъ болѣе развивалось его, унаслѣдованное имъ отъ матери, самомнѣніе и пренебреженіе къ его болѣе безпечнымъ и легкомысленнымъ товарищамъ. Дорогой цѣной доставались его не особенно поворотливому уму его выводы, и потому онъ сталъ бы отстаивать ихъ правильность до обморока; онъ видѣлъ, что другіе судятъ и рядятъ съ плеча, тогда какъ онъ каждый вопросъ обдумываетъ такъ и иначе, точно тяжелые камни ворочаетъ, и потому ему въ голову не пришло бы, что другіе люди просто даровитѣе его, а

непремѣнно явилось бы гордое сознаніе, что они верхогляды и что съ ними не стоитъ и спорить; но спорить почти и не приходилось, такъ какъ около него находились люди, или стоявшіе еще ниже его по развитію, заслуживавшіе одного презрѣнія своимъ жалкимъ умственнымъ развитіемъ и узкимъ кругозоромъ, или такіе, которые, несмотря на природный умъ и на даровитость, просто прожигали жизнь, не утруждая себя никакими вопросами. У него мучительные вопросы всегда начинались съ его собственнаго «я». Почему онъ такъ одинокъ? Потому что его отецъ и мать живутъ не такъ, какъ слѣдуетъ, не по закону, несогласно съ долгомъ. Это преступно, это достойно наказанія. Вѣдь почему наказываютъ и осуждаютъ людей? Потому именно, что они не исполняютъ того, чего требуетъ отъ нихъ законъ и долгъ. Это можно провѣрить на каждомъ его товарищѣ, когда ихъ наказываютъ. Наказываютъ, значитъ они нарушили законъ, не исполнили своего долга. Онъ будетъ всегда человѣкомъ закона, человѣкомъ долга. Но отчего происходитъ неисполненіе закона и долга? Отъ распущенности. Его мать и отецъ не умѣли покорить свои прихоти и потому нарушили законъ, позабыли свой долгъ. Такъ бываетъ вездѣ и во всемъ. Но отчего же происходитъ распущенность? Оттого, что люди не довольствуются той жизнью, которой они могутъ и должны жить. Воспитанники должны подчиняться господствующей дисциплинѣ, исполнять требованія начальства, учиться, а они хотятъ школьничать, лѣнтяйничать, кутить, скандальничать. Чтобы довольствоваться предназначенной намъ жизнью, нужно выработать свой характеръ, закалить себя, какъ дѣлали спартанцы. Нарушая законъ и не исполняя своего долга, люди губятъ другихъ и себя. Такимъ образомъ, они вредны и въ то же время жалки. Какъ вредныхъ, ихъ нужно преслѣдовать; какъ къ жалкимъ, къ нимъ нужно быть сострадательнымъ.

Преслѣдовать ихъ, какъ виновныхъ, должны законъ, исполнители закона, власть; частныя лица, ихъ собратья, должны, какъ жалкимъ, оказывать имъ состраданіе, помогать имъ въ бѣдѣ, спасать ихъ. Кто не будетъ съ состраданіемъ относиться къ ближнимъ, кто вздумаетъ, не имѣя власти, карать ихъ, тотъ явится уже не исполнителемъ закона, а смутьяномъ, бунтовщикомъ, побудителемъ взаимной потасовки; противъ него будутъ и люди, которыхъ онъ самовольно караетъ, и люди, обязанные карать ихъ, потому что онъ принялъ на себя чужую роль. Провинившагося кадета,

напримѣръ, можетъ наказать начальство, но товарищи не имѣютъ права наказывать его за вину, или онъ вступитъ съ ними въ борьбу: они могутъ и должны только помогать ему, такъ, чтобы впредь онъ, уже пострадавшій за свой поступокъ, не оказывался виновнымъ...

Все это было въ потѣ лица надумано неповоротливымъ умомъ, вычитано въ безсонныя ночи изъ книгъ. Во всемъ этомъ мало участвовало сердце. Въ сердцѣ были ненависть и злоба къ отцу и матери, испортившимъ его жизнь; въ сердцѣ царилъ холодъ по отношенію ко всѣмъ людямъ, сторонившимся отъ него,—холодъ, можетъ-быть, унаслѣдованный отъ матери, черствой эгоистки, можетъ-быть, развивавшійся вслѣдствіе одиночества среди людей, жившихъ иной жизнью, чѣмъ онъ, то подсмѣивавшихся надъ безусымъ «монахомъ» и «доморощеннымъ философомъ», то отстранявшихся отъ «нетерпимаго» и «непогрѣшимаго» спорщика, который хочетъ всѣхъ учить, который всегда считаетъ себя правымъ, у котораго адское самомнѣніе, который, во что бы то ни стало, хочетъ быть ходячей совѣстью, то-есть у котораго есть все то, чего не прощаютъ люди. Онъ самъ ясно сознавалъ, что въ немъ живетъ два человѣка: одинъ ненавидящій людей, другой заставляющій ихъ любить; эти два существа вели между собою постоянную борьбу. Первымъ его порывомъ въ сношеніяхъ съ людьми всегда были холодность, недоброжелательность, даже враждебность, потому умъ бралъ перевѣсъ надъ строптивымъ сердцемъ, и онъ дѣлалъ усилія, чтобы придти на помощь тѣмъ, кто нуждался въ этой помощи. Это былъ вполнѣ дѣланный человѣкъ; о цѣльности натуры не могло быть и рѣчи. Какъ маленькія дѣти смотрятъ съ недовѣріемъ и страхомъ на большихъ механическихъ куколъ, открывающихъ и закрывающихъ огромные, безсмысленные стеклянные глаза и глухимъ голосомъ издающихъ откуда-то изъ живота звуки, карикатурно похожіе на слова «папа», «мама», такъ взрослые люди относились къ нему, видя, что онъ при встрѣчѣ съ голоднымъ сперва точно и холодно разсчитаетъ, спасетъ-ли вообще этого человѣка отъ голода какой-нибудь данный ему рубль или онъ только отсрочитъ голодную смерть и, можетъ-быть, дастъ бѣдняку ложную надежду на возможность и завтра, и послѣзавтра даромъ получать эти съ неба падающіе рубли.

Именно такого рода расчеты занимали его въ эту ночь, когда онъ думалъ о положеніи Бори.

Помочь мальчику—это его святой долгъ. Дитя не виновато въ томъ, что оно незаконнорожденное. Если отецъ не сдѣлалъ духовнаго завѣщанія и часть его наслѣдства по закону достанется, Богъ вѣсть кому,—дѣтямъ, уже совсѣмъ чужимъ покойнику, то это чистая случайность. Онъ, Леонидъ, изъ своей части долженъ помочь мальчику, такъ какъ это несомнѣнно сынъ его отца. Но какъ? Деньги иногда не что иное, какъ страшное зло...

— Да, не будь у меня рано выработаннаго характера и желѣзной воли, я давно погибъ бы, благодаря тѣмъ деньгамъ, которыя иногда такъ глупо-щедро бросалъ мнѣ отецъ,— говорилъ онъ, ходя изъ угла въ уголъ по комнатѣ въ затишьи ночи.

И ему вспомнились его товарищи и сверстники: одинъ спился и изразвратничался ради того, что отецъ швырялъ ему сотни рублей, не спрашивая, куда сынъ тратитъ деньги; другой, милый и добрый по натурѣ, привыкъ къ широкой жизни и кончилъ, запутавшись въ долгахъ и надававъ фальшивыхъ векселей; третій, избалованный дома матерью, кончилъ самоубійствомъ изъ-за того, что скряга-отецъ надавалъ ему, уже взрослому, пощечинъ за мотовство — мотовство же этого сына милліонера заключалось въ покупкѣ каждый праздникъ свѣжихъ перчатокъ!.. Да, деньгами нельзя помочь, надо научить пріобрѣтать деньги трудомъ и...

— Избалованъ тоже мальчикъ, — со вздохомъ проговорилъ Леонидъ Николаевичъ. — Какъ меня отецъ въ свои пріѣзды въ Россію засыпалъ карманными деньгами, такъ Борисъ засыпанъ игрушками и костюмчиками... Придется добывать хлѣбъ работой, на костюмчики нельзя будетъ тратиться, а отвыкать отъ того, что вошло въ плоть и кровь, послѣ будетъ трудно... Надо теперь же приняться за перевоспитаніе мальчика. Одна эта, таскающая его на рукахъ да сюсюкающая передъ нимъ, дворня можетъ въ конецъ испортить его... Чего ни дѣлала она, чтобы испортить и меня!.. Эти несчастные холопы даже и не вѣдаютъ, что творятъ; прокаженные сами, они разносятъ проказу всюду, даже не замѣчая этого!...

Онъ сознавалъ, что перевоспитаніе мальчика будетъ для него не легкая задача, но онъ долженъ взять на себя разрѣшеніе ея, такъ какъ это исполненіе своего долга. Не подбрасывать же дитя совсѣмъ чужимъ людямъ: онъ беретъ слѣдующую ему часть наслѣдства отца, значитъ, онъ долженъ взять на себя и обязанность поставить на ноги его

сына. Да это и не потребуетъ какихъ-нибудь особенныхъ расходовъ въ деревнѣ, гдѣ они останутся жить. У него въ головѣ давно уже созрѣлъ планъ, какъ онъ устроитъ свою жизнь, вдали отъ развратныхъ большихъ городскихъ центровъ, въ простой крестьянской обстановкѣ, научившись черному труду, съ ограниченіемъ всѣхъ своихъ потребностей; этотъ планъ создался имъ тотчасъ по выходѣ имъ по болѣзни въ отставку, когда хотѣлось бѣжать, куда глаза глядятъ, только бы скрыться отъ людей, знавшихъ всю его семейную грязь, и такихъ же грязныхъ, какъ она... Теперь къ этому первоначальному плану прибавлялось только воспитаніе ребенка. Онъ былъ этому даже радъ: время не будетъ праздными, и пока онъ осмотрится, совсѣмъ попривыкнетъ, какъ и что ему дѣлать въ деревнѣ,—у него уже будетъ занята частица времени воспитаніемъ и обученіемъ мальчика.

Заботы было много въ это время не у одного его. Людмила Гавриловна тоже все время была въ дѣловыхъ хлопотахъ, считала, провѣряла, приводила все къ ясности. Наслѣдство было довольно большое, хотя запущенное и запутанное, безъ наличныхъ денегъ съ немалымъ числомъ срочныхъ векселей.

— Тутъ не кралъ только тотъ, у кого рукъ не было,— брезгливо говорила она сыну по-французски, встрѣтясь съ нимъ въ столовой, гдѣ она пересматривала и провѣряла серебро.

Онъ молча пожималъ плечами, смотря равнодушно на все, и какъ бы выражалъ этимъ то, что онъ и впередъ все это зналъ. Нелѣпая и ненормальная жизнь всегда ведетъ къ нелѣпымъ и ненормальнымъ результатамъ. Держать ораву слугъ, значитъ расплодить ораву тунеядцевъ и воровъ. Безпечно относиться къ деньгамъ, не нажитымъ трудомъ и упавшимъ съ неба, значитъ быть грабителемъ и поощрителемъ грабежа. Онъ все это давно передумалъ и не удивлялся фактамъ, подтверждавшимъ его выводы.

— Я бы попросила тебя остаться на время здѣсь, чтобы привести окончательно въ ясность чисто сельско-хозяйственную часть дѣла, я могла только на бумагѣ просмотрѣть все и то мелькомъ, — обратилась за утреннимъ чаемъ на другой день послѣ похоронъ Людмила Гавриловна къ Леониду Николаевичу.

— Я же, во всякомъ случаѣ, останусь здѣсь,—отвѣтилъ Леонидъ Николаевичъ.

— Надолго?

— Вѣроятно, навсегда...

Она посмотрѣла на него съ легкой гримасой. Ей всегда казалось смѣшнымъ его желаніе устроить жизнь какъ-то иначе, проще.

— Въ этомъ домѣ я, конечно, не буду жить, — сказалъ онъ: — а устроюсь гдѣ-нибудь въ избѣ. Но прежде всего какъ вы думаете распорядиться съ этой стаей дворни— возьмете ее съ собой или оставите здѣсь?..

— Мы вовсе не такъ богаты, чтобы держать эту орду здѣсь на хлѣбахъ,— сказала она.—Наконецъ, я, окончивъ дѣла, вѣроятно, поѣду опять съ дочерьми за границу, значитъ мнѣ и въ Петербургѣ вовсе не надо всякихъ экономокъ и камердинеровъ... ихъ придется разсчитать... имъ, какъ я увидала изъ счетовъ, въ послѣднее время даже жалованье платилось неаккуратно... и, конечно, надо будетъ дать имъ на проѣздъ отсюда... разумѣется, кто не изъ здѣшнихъ, какъ кучеръ, садовникъ... или кто не желаетъ оставаться здѣсь... Я ѣду сегодня вечеромъ и потому можно въ теченіе дня объявить всѣмъ, что они болѣе не нужны...

Она достала изъ кармана записную книжечку и, въ раздумьи покусывая кончикъ карандаша, стала просматривать цифры предполагаемыхъ расходовъ. По ея лицу скользила пренебрежительная улыбка: расходовъ было много, а наличныхъ денегъ насчитывалось сравнительно очень мало, и эти деньги были ея собственныя, привезенныя ею съ собой, а не оставшіяся послѣ мужа. Закрывая книжечку и передавая сыну деньги, которыя, по ея мнѣнію, понадобятся на расплату съ прислугою, она сказала:

— Пожалуйста, распорядитесь, только поэкономнѣе, а то мнѣ самой едва достаетъ денегъ на отъѣздъ... Удивительно глупо было обставлено здѣсь все хозяйство... Я никакъ не предполагала, чтобы неумѣнье жить могло дойти до такой степени...

IX.

Хорошо зная характеръ Людмилы Гавриловны, ея отношенія къ покойному ея мужу и то, что Николай Даниловичъ не оставилъ духовнаго завѣщанія, люди нисколько не удивились, что съ ними дѣлаютъ короткій расчетъ: не упоминая ни о какихъ пенсіяхъ, наградахъ и подаркахъ, предлагаютъ получить слѣдующее имъ жалованье и деньги на проѣздъ въ Петербургъ, если они не остаются въ деревнѣ,

и увольняютъ ихъ, такъ какъ старый баринъ умеръ, а новымъ господамъ они не нужны: для Людмилы Гавриловны и Леонида Николаевича они всѣ вольнонаемные и только; это еще Николай Даниловичъ могъ смотрѣть на нихъ иначе, держать ихъ въ Петербургѣ или въ деревнѣ даже тогда, когда онъ проживалъ за границей. Они были теперь не нужны, и имъ отказывали. Всѣ понимали, что иначе ничего и не могло быть, что это въ порядкѣ вещей. Нѣкоторыхъ слугъ это даже не могло особенно опечалить. Кучеръ и поваръ, какъ люди опытные, знали, что они сейчасъ же найдутъ мѣста, и даже лучшія, чѣмъ прежнее мѣсто, гдѣ поневолѣ въ послѣднее время вводилась экономія, держалось менѣе лошадей, рѣже бывали званые обѣды,—они знали, что мѣста добудутся такъ скоро, что они даже не тронутъ своихъ, скопленныхъ на долголѣтней службѣ, грошей. Елена Никитична, давно желавшая отдохнуть на старости лѣтъ, вздыхая и охая, кромѣ слѣдовавшаго ей жалованья, взяла деньги на проѣздъ въ Петербургъ, чтобы «хоть до богадѣльни доѣхать да за пятьдесятъ лѣтъ службы хоть кровать въ общей комнатѣ найти», и въ тотъ же день, сорвавъ съ лихой собаки хоть шерсти клокъ, запершись отъ всѣхъ въ своей каморкѣ, съ хитрымъ и озабоченнымъ выраженіемъ лица, поджавъ губы, въ тишинѣ начала разсчитывать, что ей лучше сдѣлать — поселиться ли тутъ же, у жившей въ деревнѣ ея вдовой сестры Анисьи на покоѣ, прикупивъ клочокъ землицы, или обзавестись въ ближайшемъ городѣ своимъ домкомъ, сдавая жильцамъ какую-нибудь квартирку и пользуясь процентами съ небольшого, но все же достаточнаго для старухи капитальца. Ея кумъ, садовникъ Ларіонъ, сорвалъ тоже съ барина деньги на дорогу въ Петербургъ, зная очень хорошо, что онъ ихъ далѣе ближайшаго кабака не донесетъ, а потому и не поѣдетъ никуда. Леонидъ Николаевичъ ощущалъ гадливое чувство, понимая хорошо, что и Елена Никитична, и садовникъ Ларіонъ никуда не уѣдутъ, и угадывая даже то, что онъ для нихъ, пресмыкавшихся прежде и передъ нимъ, ихъ батюшкой-бариномъ, теперь не болѣе, какъ лихая собака, съ которой хотятъ урвать хоть шерсти клокъ. Онъ даже немного раздражился, когда къ нему въ кабинетъ неожиданно бомбой влетѣлъ косолапый мальчишка Гаврюшка, служившій въ домѣ и въ лакейской, и въ кухнѣ, и въ конюшнѣ помощникомъ всѣхъ старшихъ, трепавшихъ его за его помощь имъ за уши и только-что получившій съ Леонида Николаевича сполна расчетъ. Весь

красный, какъ вареный ракъ, онъ храбро заявилъ барину, кося глазами, что и онъ ѣдетъ въ Петербургъ и что ему слѣдуетъ получить еще деньги на дорогу.

— Что же, это тебя кто подучилъ? — съ раздраженіемъ спросилъ Леонидъ Николаевичъ, возмущенный наглостью Гаврюшки.—Твоя крестная, Елена Никитична почтенная, или твой пьяница-дяденька Ларіонъ?

— Никто-съ не училъ,—бойко и задорно отвѣтилъ Гаврюшка:—а такъ какъ не пѣшкомъ же тоже мнѣ идти въ Питеръ по шпаламъ...

— Дрянь этакая!—вспылилъ неожиданно Леонидъ Николаевичъ, хватая его рукою повыше локтя, и тотчасъ же опомнился.

Онъ, твернувшись отъ наглеца съ стиснутыми зубами, вынулъ деньги, бросилъ ихъ на столъ и проговорилъ:

— Зачѣмъ лжешь? Сказалъ бы просто безъ вранья, что тебѣ деньги нужны,—и дали бы...

— Чего мнѣ врать-съ... ни въ жисть я еще не вралъ, это сивый меринъ вретъ, а не я, — отвѣтилъ дерзко Гаврюшка, торопливо сгребая со стола деньги.

— Пошелъ вонъ!—опять крикнулъ Леонидъ Николаевичъ, охваченный злобой.

Гаврюшка тряхнулъ головой и исчезъ. Черезъ нѣсколько минутъ онъ въ комическомъ видѣ изображалъ передъ всей дворней, какъ Лазаря запѣлъ Леонидъ Николаевичъ, допытываясь, точно ли онъ, Гаврюшка, ѣдетъ въ Петербургъ или кто научилъ его соврать это, а когда онъ, Гаврюшка, не сознался—началъ Леонидъ Николаевичъ, позеленѣвъ весь, топать ногами и кричать:

«Вонъ! Вонъ! Мерзавецъ! Всѣ вы сволочи!»

Леонидъ Николаевичъ если и не позеленѣлъ, то чувствовалъ себя усталымъ, раздраженнымъ и нервно настроеннымъ послѣ всѣхъ этихъ расчетовъ съ прислугой, раздумывая на эту тему, что ненормальныя людскія отношенія всегда ведутъ къ ненормальнымъ чувствамъ, къ взаимной лжи и взаимному лицемѣрію. Углубившись въ эти думы, онъ сдѣлалъ невольную гримасу, увидавъ на порогѣ Михаила Матвѣевича.

— Ахъ, это вы!—сказалъ молодой Сомовъ и предложилъ Михаилу Матвѣевичу вопросъ, сколько остался долженъ ему покойный Николай Дмитріевичъ и ѣдетъ ли Михаилъ Матвѣевичъ въ Петербургъ или остается здѣсь?

Михаилъ Матвѣевичъ никакъ не могъ понять, что ему

предлагаетъ Леонидъ Николаевичъ, хотя тотъ замѣтилъ ему даже:

— Можетъ-быть, у васъ ничего не припасено на черный день, а работать вамъ уже трудно привыкать, послѣ праздной жизни... Въ такомъ случаѣ, я готовъ, конечно, когда получится наслѣдство, платить за васъ куда-нибудь въ богадѣльню... Вы же выняньчили моего отца...

Михаилъ Матвѣевичъ даже не поблагодарилъ его за доброе предложеніе, и только спросилъ въ недоумѣніи:

— Я только, значитъ, насчетъ Бореньки... пришелъ спросить, Леонидъ Николаевичъ... кто за ними-то покуда ходить будетъ, если я уйду?..

— То-есть какъ это ходить?—удивился Леонидъ Николаевичъ. — Мальчику пять лѣтъ и въ какомъ-нибудь особенномъ уходѣ онъ не нуждается... онъ поселится здѣсь гдѣнибудь со мной, и когда подрастетъ, я увижу, что надо будетъ сдѣлать изъ него... къ чему будутъ способности.

— Молоды вы, сударь, съ дѣтьми не няньчились, потому, значитъ, не знаете, что въ пять-то лѣтъ за дитятей глазъ да глазъ нуженъ,—замѣтилъ Михаилъ Матвѣевичъ степенно.— Когда, значитъ, вамъ-то пятый годокъ шелъ, не разъ я васъ соннаго домой съ прогулки приносилъ... не принести бы, такъ въ рощѣ и заснули бы... слабенькій вы, значитъ, были.

— Да, носили, носили на рукахъ, а когда пришлось встать на ноги...—началъ съ горечью Леонидъ Николаевичъ и, оборвавъ эту, зазвучавшую горечью, рѣчь, спокойно и холодно пояснилъ: — Вы, Михаилъ Матвѣевичъ, человѣкъ старый и многаго вамъ не объяснить... Вы вотъ баловали мальчика, какъ князька какого, а ему, можетъ-быть, въ будущемъ-то сапожникомъ или столяромъ придется быть... будущее неизвѣстно!..

— Это сыну-то Николая Даниловича? — воскликнулъ Михаилъ Матвѣевичъ и махнулъ рукою.—Что вы, сударь, шутить изволите, значитъ, надо мной, старикомъ!

— Вы ошибаетесь,—началъ Леонидъ Николаевичъ.

— Нѣтъ-съ, такъ шутить-то не годится, — серьезно заволновался старикъ.—Грѣхъ это! Да и мамаша Бореньки, значитъ, передъ смертью съ меня клятву снимала отвезти Бореньку къ Прасковьѣ Михайловнѣ Хрущовой... такъ какъ Прасковья-то Михайловна, значитъ, единственной его родственницей состоитъ, хоть и не родная, а все же бабка...

— Да кто же вамъ позволитъ распоряжаться судьбой сына моего отца? — строго проговорилъ Леонидъ Николае-

вичъ.—Воспитать его и поставить на дорогу—это мой долгъ, такъ какъ отецъ, оставляя намъ наслѣдство, не успѣлъ сдѣлать завѣщанія...

— Я-съ, сударь, какъ и при вашемъ папашѣ, значитъ, и при васъ, съ самаго дня его рожденія, при немъ неотлучно находился,—началъ старикъ:—и опять же мамаша съ меня передъ смертью клятву снимала...

— Ахъ, Михаилъ Матвѣевичъ, вы, можетъ-быть, и очень добрый, и очень любящій человѣкъ, но... не понимаете вы настоящаго положенія вещей, — заговорилъ Леонидъ Николаевичъ, стараясь говорить по возможности мягко: — и, къ сожалѣнію, сколько бы мы ни толковали съ вами, вы меня не поймете... Борисъ незаконный сынъ и дѣлать изъ него привередливаго барчонка я вовсе не желаю... и не имѣю права... Что же вы говорите о клятвѣ, данной вамъ этой полупомѣшанной женщинѣ, то все это пустяки...

— Клятва-то передъ Богомъ данная!—воскликнулъ почти съ ужасомъ Михаилъ Матвѣевичъ. — Это-съ, сударь, не пустяки!

Леонидъ Николаевичъ слегка пожалъ плечами и разъяснилъ свою мысль:

— Я говорю, что ваше намѣреніе отдать мальчика его старой бабкѣ—пустяки. Никогда она не приметъ мальчика... она слишкомъ стара и слишкомъ сердита на эту несчастную женщину.

Старикъ понурилъ голову.

— Для васъ, какъ для простого человѣка, многое въ поступкахъ другихъ людей изъ другого круга общества можетъ быть и дико, и непонятно, — продолжалъ тѣмъ же тономъ Леонидъ Николаевичъ.—Но могу васъ увѣрить, что старуха ни за что и никогда не возьметъ незаконнаго сына выгнанной ею племянницы; могу васъ увѣрить и въ томъ, что я не дамъ погибнуть сыну моего отца, хотя бы и незаконнорожденному, и если я поведу его не такъ, какъ вели его до этихъ поръ, то это я сдѣлаю для его же блага.

— Батюшка Леонидъ Николаевичъ! —молящимъ голосомъ воскликнулъ старикъ.—Дитя малое, значитъ, отца и матери разомъ лишилось, зачѣмъ же еще вы и меня-то отъ него, значитъ, отнимаете... разомъ-то привыкнуть дитяти будетъ трудно... одинъ-одинешенекъ останется... Ничего мнѣ, значитъ, не надо, ни жалованья, ни куска хлѣба, оставьте только, значитъ, при немъ...

Онъ хотѣлъ упасть на колѣни. Леонида Николаевича

передернуло отъ гадливаго чувства. Не любилъ онъ этого добровольнаго униженія людей. Рабы въ одну сторону, тираны въ другую. Онъ досадливо удержалъ старика рукою и сказалъ:

— Вы же можете заходить каждый день къ Борису. Вы останетесь здѣсь, я тоже... Мальчикъ, такимъ образомъ, будетъ видѣться съ вами и въ то же время будетъ расти такъ, какъ это нужно, чтобы не быть капризнымъ и привередливымъ тунеядцемъ...

X.

Не рѣшаясь оставить Бореньку совсѣмъ одного среди чужихъ, Михаилъ Матвѣевичъ поселился тутъ же на селѣ, въ домѣ кумы и дальней родственницы Анисьи Никитичны Хлюстиной, составивъ свои планы дѣйствій.

Большой и чистый домъ былъ у вдовой семидесятилѣтней старухи Анисьи Никитичны Хлюстиной. Такой домъ не мозолилъ бы глазъ своимъ безобразіемъ не только въ большомъ селѣ, но даже гдѣ-нибудь на Петербургской сторонѣ или на Замоскворѣчьи. Просторный, прочно построенный, съ немного пестро выкрашенными ставнями у оконъ, онъ, со своими надворными пристройками смотрѣлъ усадьбой зажиточнаго купца. Разсказывали, что достатокъ достался ей не даромъ когда-то, когда она еще почти дѣвчонкой служила въ барскомъ сомовскомъ домѣ, откуда была и замужъ выдана еще отцомъ Николая Даниловича, Данилою Борисовичемъ Сомовымъ. Разсказывали, что это былъ чуть ли не единственный «грѣхъ» вообще очень строгаго по нравственности Данилы Борисовича, грѣхъ его ранней юности. Это было очень давно, и памятью объ этомъ остались только зажиточность Хлюстиной да то обстоятельство, что въ сомовскомъ домѣ въ теченіе пятидесяти послѣднихъ лѣтъ, особенно до эмансипаціи крестьянъ, почти всѣ дворовые были изъ родственниковъ или свойственниковъ Анисьи, начиная съ ея незамужней сестры, Елены Никитичны. Теперь же, когда сомовскій родъ какъ бы вымеръ со смертью Николая Даниловича, оставившаго послѣ себя только незаконныхъ дѣтей, какими дворня считала и двухъ дочерей Людмилы Гавриловны и Бореньку, да «поврежденнаго», какимъ считала та же дворня Леонида Николаевича,—почти вся эта дворня сгруппировалась около хлѣбосольной и привѣтливой со своими Анисьи Никитичны. Высокая и плотная, еще сохранившая на лицѣ если не слѣды былой кра-

соты, то слѣды благообразія старухи, Хлюстина жила въ деревнѣ мелкой зажиточной помѣщицей, нанимала по лѣтамъ много батраковъ, вела большое молочное хозяйство и управлялась со всѣмъ умѣло и строго, несмотря на свои годы, держа въ рукахъ и батраковъ, и двухъ вдовыхъ уже пожилыхъ дочерей, и четырнадцатилѣтняго внука-сироту. Изъ взрослыхъ мужчинъ въ семьѣ оставался въ живыхъ только младшій ея сорокалѣтній сынъ, Василій Егоровъ Хлюстинъ, постоянно жившій и торговавшій со своею семьей въ Петербургѣ, пріѣзжавшій отъ времени до времени къ матери только на побывку. Онъ былъ гордостью хлюстинской семьи, такъ какъ былъ «совсѣмъ, какъ купецъ»; онъ отдалъ уже десятилѣтняго сынишку въ гимназію и въ гимназіи же училась его двѣнадцатилѣтняя дочь, когда надъ нимъ стряслась нежданная-негаданная бѣда—начали таскать его къ судебному слѣдователю и въ сыскное отдѣленіе, снимая показанія, зналъ ли онъ, Хлюстинъ, всѣ предшествовавшія обстоятельства того грязнаго дѣла, въ которомъ онъ явился какъ бы случайнымъ свидѣтелемъ противъ Людмилы Гавриловны. Это дѣло и смерть Николая Даниловича естественно были главною темою разговоровъ, главною злобою дня въ семьѣ старухи Хлюстиной, особенно послѣ того, когда здѣсь появилась Елена Никитична, рѣшившаяся, по крайней мѣрѣ, эту осень и зиму прожить у сестрицы на отдыхѣ, и тутъ же пріютился, нанявъ себѣ горенку въ задней пристройкѣ, Михаилъ Матвѣевичъ, ежедневно навѣщавшій своего Бореньку въ ожиданіи дальнѣйшихъ событій...

Не веселое настроеніе царствовало здѣсь въ осенніе вечера, когда въ просторной чистой комнатѣ, убранной на мѣщанскій городской ладъ, съ дешевыми цвѣтами на окнахъ, съ мебелью краснаго дерева, съ вязаными и пестрыми салфетками на столахъ и озаряемой одинокою лампой безъ абажура и матоваго стекла, собирались всѣ родственники и свойственники Анисьи Никитичны. Тутъ сегодня обсуждались слова Василія Хлюстина, изъ его письма, что «въ разоръ разорило его это проклятое дѣло, потому что платишь-платишь, а и самъ не знаешь, нужно ли платить, да тому ли платишь, кому слѣдуетъ, али такъ зря, на вѣтеръ кровныя деньги бросаешь», а завтра начинались всесторонніе соображенія всѣхъ присутствующихъ о томъ, что теперь, послѣ смерти Николая Даниловича, Людмилѣ Гавриловнѣ нѣтъ, конечно, никакой корысти «скандалить», какъ

говорила Елена Никитична, то-есть продолжать это дѣло, которое, вѣроятно, такъ и потушится,—приходившее же изъ Петербурга новое письмо опять повергало всѣхъ въ унынiе, такъ какъ, по словамъ Хлюстина, «уголовное дѣло, разъ начатое, не можетъ быть прекращено, какъ ему сказали знающiе люди, и эти же люди грозятъ, что кончится оно Сибирью, хотя онъ, вотъ какъ передъ Богомъ, ни въ чемъ не повиненъ, кромѣ того, что чай пошелъ пить съ Маломыгинымъ, да не въ ту комнату былъ Маломыгинымъ заведенъ, куда слѣдовало, а что если онъ требовалъ потомъ за свое участiе въ дѣлѣ съ Мессинга и Трофимова денегъ, то это только потому, что узналъ онъ, что за самое это бракоразводное дѣло тысячи Трофимовъ съ Мессингомъ сорвали». Больно отозвались въ сердцѣ заходившаго сюда изъ своей избы Михаила Матвѣевича упреки покойному Николаю Даниловичу, который заварилъ по своей безхарактерности и безпечности всю эту кашу, поддавшись наущенiямъ Анны Николаевны. Покойнаго Сомова обвиняли всѣ: «Ужь что говорить, Людмилу Гавриловну одобрять никто не станетъ, тоже въ свое время, Богъ вѣдаетъ, что дѣлали на сторонѣ, а въ этомъ-то дѣлѣ она за себя стоитъ, за себя-то всякая будетъ стоять,—опоилъ ее проклятый Мессингъ за деньги, полученныя отъ Трофимова, и подкупилъ Маломыгина, чтобы тотъ съ Василiемъ Хлюстинымъ, какъ человѣкомъ, хорошо знавшимъ ее въ лицо, свидѣтелемъ явился, такъ какъ же ей было не вступиться за себя, не доказывать, что она не въ своемъ разсудкѣ была, когда вся эта гнусность произошла. Ее и винить нельзя, что она всѣхъ подъ судъ упекла. А Николай-то Даниловичъ вѣдь зналъ, что добромъ да честью такихъ дѣловъ никакiе ходатаи по дѣламъ не дѣлаютъ, что не даромъ они деньги берутъ и кого-нибудь всегда подъ уголовщину подвести могутъ. Онъ одинъ во всемъ виноватъ. Вотъ теперь изъ-за него и гибнутъ люди». Михаилъ Матвѣевичъ вздыхалъ, сознавая, что люди не безъ основанiя винятъ его любимаго выкормка и косточки его мертвыя перемываютъ, и только скорбѣлъ и думалъ:

«Изъ-за него, сердечнаго, и Боренька гибнетъ!»

Онъ просто начиналъ терять голову отъ того, что дѣлалось съ Боренькой. Навѣщая ежедневно по нѣсколько разъ Бореньку, переселившагося на время со старшимъ братомъ въ одинъ изъ служебныхъ флигельковъ господской усадьбы, гдѣ помѣщалась кромѣ нихъ только одна деревенская баба,

стряпуха и прачка въ одно и то же время, Михаилъ Матвѣевичъ то и дѣло наталкивался на серьезныя и резонныя замѣчанія Леонида Николаевича:

— Что это вы дѣлаете, Михаилъ Матвѣевичъ? Борисъ долженъ самъ одѣваться. Зачѣмъ вы ему натягиваете чулки и надѣваете сапоги? Вы развѣ видѣли, чтобы въ деревнѣ какому-нибудь мальчику, которому шестой годъ пошелъ, кто-нибудь помогалъ одѣваться? Ну, а васъ не случится тутъ, кто же станетъ ухаживать за нимъ? Избаловать легко ребенка, а потомъ, какъ жизнь начнетъ ломать его, бѣднягу, тогда насъ же, баловниковъ, проклинать человѣкъ будетъ, кулаками слезы утирая. Эхъ, старина, старина, въ толкъ-то вы не можете взять настоящаго положенія вещей...

«И откуда, значитъ, эта скаредность у него?—разсуждалъ про себя старикъ, понуривъ голову.—Изъ сомовскаго-то рода, кажись, никогда скаредовъ не было. Строгъ былъ Данило Борисовичъ, а ужъ на что щедръ — одну Анисью Никитичну какъ наградилъ... да и вообще.. А этотъ... Сладкаго куска жаль, значитъ, дать ребенку. Самъ не ѣстъ и ему не даетъ. «Это вы, говоритъ, только всякою дрянью готовы набивать желудокъ ребенка...» У него вѣдь на все, значитъ, резоны свои есть... Вотъ вчера-то Боренька расплакался даже, увидавъ леденецъ. Розовый какой-то, въ нашей лавкѣ на окнѣ, ну, и захотѣлось, значитъ, конфеты, а и леденецъ-то какой, давно засахарился весь, мухами за лѣто засиженъ.. Оно, конечно, дитя, значитъ, не понимаетъ, видитъ, конфетка, не ѣлъ ихъ давно, ну, и давай ему, благо знаетъ, что вкусъ-то конфеты сладкій. Такъ, Боже мой, чего не наговорилъ мнѣ, значитъ, Леонидъ Николаевичъ за то, что я купилъ леденецъ!.. Не своихъ-то денегъ, значитъ, и то жаль!.. И суровъ-суровъ съ младенцемъ! Наклеилъ ему буквы, значитъ, на деревяжки и требуетъ, чтобы дитя малое заучило всѣ, да по порядку складывало, да читало... Я говорю: «гдѣ же, значитъ, такому младенцу учиться?»—«Да это же, говоритъ, та же игра». Хороша игра, коли за нее, значитъ, бранятъ! Знаю я эту игру! Вотъ я и старъ, а читаю-то какъ? И съ очками—черезъ пень колоду валю. Не очень-то разыграться, значитъ, тутъ...»

Хуже всего бывало въ тѣ минуты, когда Михаилъ Матвѣевичъ заставалъ Бореньку одного, и тотъ, прижавшись головкой къ старику, тихо-тихо начиналъ плакать, не умѣя даже объяснить, о чемъ онъ плачетъ: о томъ ли, что къ

нему не идутъ папа и мама, о томъ ли, что ему не даютъ сластей и игрушекъ, о томъ ли, что складывать кубики ему вовсе не весело, или просто о томъ, что къ Леониду Николаевичу нельзя вотъ такъ прижаться головкой, какъ къ дядѣ Мишѣ, и что Леонидъ Николаевичъ не умѣетъ даже говорить съ ребенкомъ, какъ не умѣетъ говорить и съ Михаиломъ Матвѣевичемъ.

«И что это Прасковья Михайловна-то не пишетъ?»— тревожно думалось Михаилу Матвѣевичу, и онъ подзывалъ къ себѣ четырнадцатилѣтняго Сашутку, шустраго внука Анисьи Никитичны, и въ десятый разъ разспрашивалъ его:

— Да ты такъ-ли, Сашутка, адресъ-то на письмѣ Прасковьѣ Михайловнѣ написалъ?

— Да такъ, дѣдушка, такъ... Ея превосходительству Прасковьѣ Михайловнѣ Хрущовой...

И мальчикъ бойко наизусть цитировалъ адресъ.

— Такъ, такъ!—говорилъ задумчиво Михаилъ Матвѣевичъ, слушая Сашутку.—Теперь отвѣтъ давно долженъ бы придти... Адресъ-то въ письмѣ не забылъ проставить, какъ отвѣтъ-то написать?

— Не забылъ! И на конвертѣ адресъ былъ. Заказнымъ вѣдь послали,—рапортовалъ Сашутка.

— И то правда: заказнымъ!—вздыхалъ старикъ, раздумывая.

И начинались у него думы о томъ, достаточно ли почтительно и трогательно написалъ подъ его диктовку Сашутка это письмо. Кажется, ужъ на что почтительнѣе и трогательнѣе! Не даромъ бились они съ этимъ письмомъ цѣлыхъ четыре дня. Семь потовъ съ нихъ сошло! Писали, перечитывали, поправляли, переписывали, то гдѣ-нибудь лишній разъ «ваше превосходительство» прибавятъ, то сдѣлаютъ лишнюю ссылку на всевидящее око Господне... Было тутъ и «припадаю къ стопамъ вашимъ», и «рабъ недостойный», и «въ слезахъ утопающій», и вообще все такое, что непремѣнно слѣдуетъ писать въ просьбѣ. Особенно же чувствительно вышло описаніе, «какъ Анна Николаевна, на одрѣ смертномъ, въ заблужденіяхъ своихъ принесши покаяніе Господу, испрашивала слезно только прощеніе у своей тетеньки, праведницы, всѣми чтимой, и молила ее мысленно не забыть и не оставить безъ крова и хлѣба дитё ея малое, въ сиротствѣ своемъ погибнуть долженствующее...» Самъ Михаилъ Матвѣевичъ каждый разъ, когда ему перечитывалъ Сашутка мѣста въ письмѣ о смерти Анны Ни-

колаевны и сиротствѣ Бореньки, не могъ удержаться отъ слезъ.

«И что это она не отвѣчаетъ? Кажись, ужъ она ли не богобоязненная душа!.. Сироту не броситъ!»—разсуждалъ Михаилъ Матвѣевичъ и скорбѣлъ о томъ, что онъ самъ-то не можетъ ѣхать въ Петербургъ. Больно ужъ много сразу потерь будетъ у Бореньки. И отецъ, и мать умерли, и еще онъ уѣдетъ... совсѣмъ, значитъ, огорчитъ это Бореньку. И безъ того-то онъ худѣетъ, сердечный, не по днямъ, а по часамъ... словно воскъ таетъ... Еще бы, голодаетъ, голубчикъ!..

XI.

Стояла уже давно зима, когда въ домѣ Анисьи Никитичны произошло особенное смятеніе. Изъ Петербурга пришли сперва извѣстія, что дѣло Трофимова, Мессинга, Маломыгина и Василія назначено къ слушанію въ судѣ, а потомъ прибылъ изъ столицы одинъ изъ ея родственниковъ съ вѣстями объ окончаніи дѣла. На судѣ Трофимова не было, такъ какъ онъ за мѣсяцъ до слушанія дѣла скончался; Мессингъ былъ безусловно обвиненъ, Маломыгинъ былъ тоже обвиненъ, но ему дали снисхожденіе, Хлюстину же вынесли оправдательный приговоръ... Но оправдательный приговоръ не могъ уже быть особенно радостнымъ событіемъ для семьи. Правда, пятно съ чести Василія было снято, но долгое слѣдствіе, долгое безпокойство, долгая растерянность этого человѣка деревни, попавшаго въ водоворотъ столичной жизни, сказались самымъ печальнымъ образомъ. Сколько можно было навредить себѣ, столько онъ и навредилъ. Его таскали на допросы, и онъ, наивно думая, что спастись можно не чистосердечными показаніями, а только деньгами, бросалъ ихъ направо и налѣво совсѣмъ постороннимъ людямъ, въ сущности только вредя себѣ, усиливая подозрѣнія: «хочетъ откупиться—значитъ, виноватъ». Считать же его соумышленникомъ Трофимова и Мессинга могли уже потому, что не только самъ Маломыгинъ далъ ему денегъ послѣ его показанія о томъ, что онъ призналъ, въ видѣнной ими въ извѣстномъ мѣстѣ женщинѣ, Людмилу Гавриловну, но что онъ потребовалъ и еще денегъ, когда Маломыгинъ сталъ ему жаловаться, что Мессингъ ихъ надулъ и обсчиталъ: «самъ получилъ рубли, а имъ гроши далъ», съ «усышкой», значитъ, «расплатился». Эта «усышка» не давала покоя Василію, и, подталкиваемый алчностью

простого рабочаго и торговаго человѣка, онъ, получившій совершенно даромъ первую награду отъ Мессинга, сталъ вмѣстѣ съ Маломыгинымъ требовать еще денегъ, наивно говоря при этомъ: «за этакое-то дѣло да гроши! тысячами тутъ пахнетъ». Слѣдователи косо взглянули на это обстоятельство и подозрѣвали, что и онъ состоялъ въ шайкѣ. Прибѣгал къ помощи разныхъ дѣльцовъ, ловящихъ рыбу въ мутной водѣ, совѣщаясь съ ними по трактирамъ и портернымъ, Василій не только запустилъ свои дѣла, но и запилъ. Человѣкъ основательный, какъ его звали, пока онъ шелъ торною дорогой мелкой торгашеской наживы съ узкимъ ходячимъ принципомъ въ основѣ дѣятельности «копеечка рубль бережетъ» и съ смутнымъ сознаніемъ въ душѣ, что «наукой все произойти можно», ради чего онъ и обучалъ дѣтей въ гимназіяхъ, онъ, встрѣтивъ на пути неожиданныя препятствія въ видѣ «уголовнаго дѣла» и «ссылки въ Сибирь», превратился вдругъ въ того темнаго деревенскаго человѣка, который совершенно теряется передъ властями, законами, тюрьмами и судами и часто погибаетъ, какъ какой-нибудь ничтожный муравей, сразу отрѣзанный отъ своей трудовой дѣятельности неожиданно хлынувшимъ между нимъ и его муравьиной кучей потокомъ. Никто не упрекалъ Василія, никто не называлъ его простофилей и дуракомъ, когда пріѣхавшій изъ Петербурга родственникъ разсказывалъ, что Василій шибко запилъ, въ дѣлахъ запутался и въ разоръ разорился, дѣтей даже изъ гимназіи взялъ; напротивъ того, всѣ просто и искренно соглашались, что «запьешь тутъ», «разоришься тутъ», что «до ученья ли тутъ», и посылали уже прямо проклятья по адресу всѣхъ виновниковъ этого дѣла, прибавляя одну и ту же фразу:

— Имъ что! Имъ все, какъ съ гуся вода!

Цѣлые вечера посвящались скорбнымъ разсказамъ и философствованіямъ на тему «кошкѣ игрушка, а мышкѣ слезки».

Посреди этого мрачнаго настроенія семьи настроеніе Михаила Матвѣевича было еще болѣе мрачнымъ. Изъ-за него, голубчика, Николая Даниловича, вся семья Василія до погибели дошла, но этимъ не должна была ограничиться бѣда: погибнетъ еще и Боренька ненаглядный, потому что голубчикъ Николай Даниловичъ, не тѣмъ онъ будь помянутъ, о своемъ удовольствіи думалъ, а ребеночка своего бросилъ на голодъ, на холодъ. Старикъ терялъ голову, придумывая, какъ спасти мальчика отъ Леонида Николаевича, когда онъ

неожиданно узналъ въ одинъ прекрасный день, что Леонидъ Николаевичъ для окончательнаго устройства дѣлъ по наслѣдству собирается ѣхать въ Петербургъ и хочетъ взять съ собой Борю. Это былъ тяжелый ударъ для Михаила Матвѣевича.

Старикъ немедленно отправился къ Леониду Николаевичу, разгорячился и даже рѣзко попрекнулъ Леонида Николаевича, что тотъ ничего не сказалъ ему о предстоящемъ отъѣздѣ. Но Леонидъ Николаевичъ по своей привычкѣ только пренебрежительно пожалъ плечами и совершенно резонно замѣтилъ:

— Да развѣ я, Михаилъ Матвѣевичъ, обязанъ вамъ отдавать отчетъ о томъ, что я намѣренъ дѣлать?

И тутъ же, видя, что на минуту забывшійся передъ нимъ старикъ растерялся, болѣе ласковымъ тономъ сказалъ:

— Вѣрно, потому сорвалось у васъ это съ языка, что пришло на мысль, что вы могли не проститься съ Борей передъ его отъѣздомъ?.. Да, вѣдь? Эхъ вы, чудакъ, чудакъ! Ну, не простились бы и слава Богу! Избавили бы ребенка отъ лишнихъ слезъ. Онъ и безъ того у насъ порядочная плакса! Нельзя же вмѣсто бодрыхъ работниковъ воспитывать плаксивыхъ бабъ... Вы и теперь постарайтесь поговорить съ нимъ просто и не давайте понять, что онъ разстается съ вами...

— Да мы, значитъ, и не разстаемся, Леонидъ Николаевичъ!—вдругъ сорвалось съ языка точно чѣмъ свыше осѣненнаго Михаила Матвѣевича, и онъ даже просіялъ.

Вотъ-то счастье: теперь онъ самъ побываетъ у Прасковьи Михайловны!

Леонидъ Николаевичъ съ удивленіемъ взглянулъ на него.

— Я тоже, значитъ, по своимъ дѣламъ въ Петербургъ ѣду,—сказалъ старикъ.

— По своимъ дѣламъ?—спросилъ Леонидъ Николаевичъ, недовѣрчиво и зорко глядя на него и какъ бы старался угадать его замыселъ.

— Да, тоже надо, значитъ, позаботиться, нельзя ли тамъ свои старыя кости на покой устроить,—совралъ старикъ, боясь проговориться, зачѣмъ онъ ѣдетъ.—Сначала хотѣлъ черезъ мѣсяцъ, значитъ, ѣхать, а теперь...

— Когда же вы ѣдете?—спросилъ Сомовъ.

— Да съ вами, съ вами, сударь.... Можетъ, еще понадоблюсь Боренькѣ... Въ дорогѣ-то съ дитятей труднѣе вамъ будетъ, чѣмъ здѣсь...

— Ну, обо мнѣ-то вы не безпокойтесь,—сухо сказалъ Леонидъ Николаевичъ.

— Да я не о васъ вовсе, сударь, а все же, значитъ, о Боренькѣ,—не удержался отъ рѣзкаго тона старикъ.

«Господи, счастье-то какое посылаешь Ты, Отецъ нашъ Владыко!»—шепталъ онъ, не по лѣтамъ быстро собираясь въ путь.—«И за Боренькой присмотрю, значитъ, въ пути, и самъ Прасковью Михайловну повидаю, въ ножкахъ у ней вываляюсь, а упрошу спасти ребеночка, ясочку моего, голубя чистаго».

Старикъ и плакалъ, и смѣялся, и осѣнялся крестнымъ знаменіемъ, возвращаясь домой...

Какое счастье было для него, когда онъ на жесткой скамьѣ вагона третьяго класса устроилъ теплое и мягкое ложе для своего Бореньки и могъ безсонно просидѣть всю ночь около него, спящаго сладкимъ сномъ. Леонидъ Николаевичъ отъ времени до времени просыпался и, видя, что старикъ, точно безцѣнный кладъ, оберегаетъ своего Бореньку, передумалъ тысячу думъ и о томъ, какъ въ неразвитыхъ людяхъ часто развивается чисто собачья, слѣпая, безсмысленная и часто вредная привязанность къ кому бы то ни было, и о томъ, что старики или дѣлаются безсердечными, черствыми и жесткими эгоистами, или впадаютъ чуть не въ дѣтство, становятся слезливо-сентиментальными и тошнотворно-притворными, и о томъ, что ему еще долго придется противодѣйствовать этому глупому старику, умѣющему только баловать и портить мальчика, и потакать всѣмъ порокамъ мальчика, привитымъ къ нему глупымъ воспитаніемъ, избалованности, привередливости, лѣности, неумѣнью быть самостоятельнымъ и бабьей плаксивости. Онъ не помнилъ себя въ этомъ возрастѣ, но ему теперь въ полуснѣ казалось, что онъ вовсе не былъ такимъ, что онъ всегда самъ одѣвался, всему самъ научился, до всего дошелъ самъ, всегда былъ бодръ и серьезенъ, стоя выше всѣхъ окружавшихъ его людей, и этотъ бодрый и серьезный мальчикъ—не то онъ самъ, не то Боря—снился ему всю ночь подъ грохотъ колесъ желѣзнодорожнаго поѣзда и, когда онъ просыпался съ болью въ плоской впалой груди, онъ мысленно давалъ себѣ обѣщаніе:

— Я его такимъ и сдѣлаю въ деревнѣ, только бы этотъ выжившій изъ ума старикъ удалился поскорѣе въ богадѣльню...

XII.

— Не принимаетъ, никого не принимаетъ! Больна, больнымъ больнешенька!—пояснилъ выходящимъ какъ бы изъ могилы голосомъ «походя спящій» Ѳома своему старому пріятелю Михаилу Матвѣевичу, трижды облобызавшись съ нимъ, а затѣмъ усѣвшись за чай.

— Больна-то давно ли?—громко допрашивалъ Михаилъ Матвѣевичъ своего немного тугого на ухо собесѣдника.

Они сидѣли въ уютной, казенно, но хорошо обставленной комнатѣ Ѳомы въ квартирѣ Прасковьи Михайловны Хрущовой, жившей все тамъ же, гдѣ она жила и прежде, въ концѣ Шпалерной.

— Давно, давно захворала!—говорилъ Ѳома, не помнившій ни дней, ни чиселъ.—Оченно давно!

— Съ того съ самаго дня, какъ получили ваше письмо, Михаилъ Матвѣевичъ,—вмѣшалась въ бесѣду Капитолина Андреевна, старая служанка Хрущовой.—Получили письмо утромъ, весь день ровно въ туманѣ проходили, а къ вечеру начался жаръ и слегли. Очень сильно огорчило извѣстіе о смерти Анны Николаевны. Еще бы! родная племянница была и непрощенною умерла. Сперва въ безпамятствѣ и онѣмѣніи все находилась наша Прасковья Михайловна, а теперь, слава Богу, полегчало немного, послѣ причастія: и память какъ будто вернулась, и пониманіе...

— Повидать бы мнѣ ее очень хотѣлось,—сказалъ Михаилъ Матвѣевичъ и вздохнулъ.

— По дѣлу какому-нибудь? — спросила Капитолина Андреевна пытливо.

— Какія у меня, значитъ, дѣла!—отвѣтилъ старикъ, махнувъ рукою, и подумалъ: «знаю я тоже васъ, такъ вы и допустите, если скажу, что по дѣлу».

Онъ вздохнулъ.

— Старъ становлюсь, хотѣлось, значитъ, поклониться старой барынѣ; тоже не изъ чужихъ господъ, а изъ своихъ...

— А что мальчикъ-то Анны Николаевны?—полюбопытствовала Капитолина Андреевна, зорко глядя на Михаила Матвѣевича.

Онъ принялъ совсѣмъ равнодушный видъ.

— Ничего, живетъ теперь съ братомъ; призналъ его Леонидъ Николаевичъ,—отвѣтилъ онъ.

— Чудакъ онъ у васъ, ровно не въ себѣ,—замѣтила Капитолина Андреевна.

— Все о людяхъ заботится, какъ бы, значитъ, имъ лучше было,—сказалъ Михаилъ Матвѣевичъ и, опять вздыхая, началъ разспрашивать, нельзя ли хоть глазкомъ взглянуть на Прасковью Михайловну.

— Никакъ нельзя теперь, потому запрещено тревожить... вотъ развѣ когда соборовать будутъ на этой недѣлѣ, такъ можно будетъ придти... Всѣхъ пускать будутъ... И сама она желаетъ того, и батюшка нашъ, отецъ Сергѣй, говоритъ: «пусть, говоритъ, всѣ помолятся вмѣстѣ съ больною»... вчера даже списокъ подъ ея диктовку я составляла, кого оповѣстить изъ родныхъ и знакомыхъ... еле говоритъ еще, а всѣхъ вспомнила...

Камеръ-юнгфера—Капитолина Андреевна горничной никогда не называла себя—съ умиленіемъ вздохнула.

— Вотъ ужъ истинно строгой праведницей жила и умереть праведницей Господь, вѣрно, сподобитъ. И пріобщалась, и духовную составила еще до болѣзни, говорятъ, всѣмъ отписала, и служащимъ, и на церковь, и по монастырямъ,—теперь дай Господи только пособоровать...

— Да, о душѣ-то теперь, Капитолина Андреевна, рѣдко люди думаютъ... послѣ насъ что будетъ, значитъ, до этого никому нѣтъ дѣла, хоть трава не расти,—вздохнулъ Михаилъ Матвѣевичъ и задумался все о томъ же, о чемъ онъ не переставалъ думать все это время.

«Господи, помоги хоть недѣлю Прасковьѣ Михайловнѣ еще прожить, чтобы хоть какъ-нибудь она устроила судьбу Бореньки»,—думалось ему.

И въ этихъ думахъ онъ уже плохо понималъ, что говорили ему и Ѳома, и Капитолина Андреевна, разспрашивавшіе его объ общихъ знакомыхъ, кумовьяхъ и крестовыхъ братьяхъ. Слава Богу, сомовскіе-то люди не чужіе хрущовскимъ, всѣ перероднившись да перекумившись! Но старикъ жилъ ужъ только тѣмъ днемъ, когда ему удастся увидѣть Прасковью Михайловну и припасть губами къ ея рукамъ, прося спасти Бореньку. Какъ она спасетъ его, какъ отниметъ у Леонида Николаевича, въ какое заведеніе пристроитъ—онъ этого не зналъ: онъ только чувствовалъ, что она сдѣлаетъ барина изъ него, а не мужика сѣраго, не сапожника-пьяницу. Еще бы! вѣдь это и ея кровь, Анна-то Николаевна родной ея сестры дочь была, а не кто-нибудь съ улицы. Если чужихъ въ духовной попомнила да монастыри одѣлила, такъ ужъ ребеночка-то, родной племянницы сынка, по міру не пуститъ, чай, и по закону всѣ ея деньги должны

бы къ Аннѣ Николаевнѣ перейти... Старикъ чувствовалъ, что у него мутится въ головѣ отъ мыслей, которыхъ онъ не можетъ осилить, которыя «выше его ума...»

День соборованія Прасковьи Михайловны выдался на славу, а зимнее утро было ясное и солнечное, какъ бы передъ наступленіемъ весны. Просторная гостиная Прасковьи Михайловны съ бѣлою мягкою мебелью, обитою когда-то розоватымъ, а теперь совсѣмъ выгорѣвшимъ блѣднымъ штофомъ, была вся залита свѣтомъ солнца, хотя въ ней и были опущены бѣлыя шторы. При этомъ бѣломъ свѣтѣ было какъ-то странно видѣть толпу нарядныхъ людей въ свѣтлыхъ платьяхъ, въ парадныхъ мундирахъ, стоящихъ съ затепленными восковыми свѣчами. Всѣ эти люди хранили благоговѣйное молчаніе, безмолвно осѣнялись крестнымъ знаменіемъ и полукругомъ стояли около кресла больной. На этомъ длинномъ креслѣ-кушеткѣ, утопая въ бѣлыхъ подушкахъ, полулежала совершенно сѣдая и высохшая, казавшаяся скелетомъ, обтянутымъ кожею, старуха. Ея жидкіе волосы и широкія брови были точно изъ серебра, ротъ совершенно ввалился, такъ какъ у нея не было ни одного зуба, грудь и станъ уже не поддерживались корсетомъ, все опало, съежилось и сгорбилось; краски смылись, все поддѣльное и фальшивое отбросилось, и восьмидесятилѣтняя руина являлась настоящей руиной. Она трясущейся, почти прозрачной рукою держала тоже зажженную свѣчу, едва слышно, но, видимо, въ полной памяти повторяя вслѣдъ за священниками и стоящей въ комнатѣ толпою слугъ слова псалма и молитвъ. «Господи, услышь молитву мою, вонми моленію моему,— звучали тихо отдѣльныя фразы въ воздухѣ: — не вниди въ судъ съ рабомъ Твоимъ... не оправдается передъ Тобою ни единъ изъ живущихъ...» Елеосвященіе совершалось торжественно, соборомъ. Служило семь священниковъ, дьяконъ, дьячокъ. Въ переднемъ углу гостиной стоялъ столъ съ блюдомъ сухой пшеницы, сосудъ съ елеемъ, смѣшаннымъ съ виномъ, стручки, обернутые на концахъ хлопчатою бумагой, семь зажженныхъ свѣчей, крестъ и Евангеліе... Вслѣдъ за окончаніемъ пѣнія началось освященіе елея и чтеніе Евангелія и затѣмъ самое помазаніе елеемъ. Кое-гдѣ въ комнатѣ слышались легкія всхлипыванія, особенно когда на больную, послѣ помазанія елеемъ, какъ на мертвую, священники налагали раскрытое Евангеліе. У всѣхъ присутствующихъ среди молитвъ невольно мелькала мысль: вы-

держитъ ли больная длинный и тяжелый обрядъ? Капитолина Андреевна, стоявшая около больной на колѣняхъ, была какъ бы на стражѣ, чтобы во-время оказать свои услуги, если что случится. Въ этомъ какъ бы отпѣваніи заживо было что-то мрачно-торжественное... Но вотъ старичокъ, старшій священникъ, совершилъ послѣдній актъ обряда и поздравилъ больную. Свѣчи уже потухли, въ комнатѣ распространился легкій чадъ, смѣшавшійся съ клубами ладана. Вслѣдъ за священниками къ умирающей старухѣ стали подходить присутствующіе во время елеосвященія родные и знакомые, поздравляя ее и желая ей здоровья. Всѣ цѣловали ей руку и съ умиленіемъ взглядывали на этого живого мертвеца. Она, повидимому, узнавала всѣхъ и съ ясной улыбкой смотрѣла на подходящихъ съ сознаніемъ, что она совершила до послѣдней мелочи свой христіанскій долгъ. За родными и знакомыми послѣдовали слуги. Она привѣтливо смотрѣла на нихъ, служившихъ ей вѣрой и правдой по десяткамъ лѣтъ, не забытыхъ ею и въ ея посмертныхъ распоряженіяхъ. Вдругъ ея улыбка исчезла, и глаза больной какъ-то тревожно остановились на комъ-то.

Этотъ кто-то, подъ гребенку остриженный, худощавый старикъ съ сѣдыми баками, тихо и осторожно, кошачьей походкой, точно подкрадываясь къ добычѣ, подходилъ къ ней. Когда онъ уже былъ почти около нея, она безсознательно, съ ужасомъ замахала дрожащею рукою, точно отстраняя отъ себя страшный призракъ. Въ головѣ молніей мелькнула мысль о томъ, что она обо всемъ подумала, что будетъ послѣ насъ, и о судьбѣ близкихъ людей, и о своей душѣ, примирившейся съ Богомъ, и забыла только простить, выгнанную ею и теперь уже лежащую въ могилѣ, племянницу и спасти ея ни въ чемъ не повинное дитя.

— Поздравляю васъ, ваше превосходительство,—раздался осторожный шопотъ Михаила Матвѣевича, и старикъ, опустившись на колѣни, сталъ ловить руку больной, чтобы поднести ее къ своимъ губамъ.

Но глаза больной все больше и больше расширялись, уже безцѣльно смотря въ пустое пространство, пальцы рукъ еще какъ-то нервно дрожали, какъ бы слабо отмахиваясь отъ чего-то, и вдругъ онъ совершенно ясно разслышалъ полное ужаса восклицаніе:

— Мальчикъ!.. Мальчикъ!..

Потомъ голова больной откинулась назадъ съ открытымъ

ртомъ и выраженіемъ смертельнаго ужаса въ глазахъ. Руки упали вдоль тѣла, какъ плети...

— Умерла!--шопотомъ сказалъ кто-то.

Михаила Матвѣевича съ трудомъ подняли съ пола... Когда этотъ согбенный, убитый горемъ старикъ выходилъ изъ квартиры Прасковьи Михайловны Хрущовой, онъ былъ неузнаваемъ, у него уже не было ни надеждъ, ни упованій. Онъ только тупо сознавалъ, что и ему не долго жить, что и Боренька, ангелъ Божій, едва ли проживетъ долго—уморитъ его Леонидъ Николаевичъ.

ЗЛАЯ СУДЬБА.

РОМАНЪ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

I.

Въ просторныхъ, но неряшливо запущенныхъ покояхъ барской усадьбы въ «Грязищахъ», «Вороньи гнѣзда» тожъ, былъ великій переполохъ.

Всѣ молодые господа въ домѣ—и женоподобный пятнадцатилѣтній барчукъ Леонидъ Александровичъ, и его двоюродныя сестры: домовитая Аделаида Андреевна и наивничающая Марья Андреевна, а также мужъ первой изъ нихъ, степенный и чопорный чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ Левъ Ивановичъ Чемезовъ, стремившійся показать, что онъ правая рука губернатора, и мужъ второй сестры, Петръ Петровичъ Сельцовъ, молоденькій и хорошенькій, какъ фарфоровая куколка съ глупыми глазами, армейскій офицерикъ, съ поползновеніемъ казаться служащимъ въ гвардіи,—были, что называется, сами не въ себѣ, суетились, совѣщались, шушукались. Дѣло, занимавшее ихъ, очевидно, было одинаково важно для всѣхъ,—касалось, можетъ-быть, всего строя ихъ жизни въ будущемъ, независимо отъ ихъ возрастовъ, характеровъ и положеній въ свѣтѣ; вслѣдствіе этого, не сходившіеся ни въ чемъ другомъ, они были, насколько это возможно, единодушны теперь.

Не терялъ присутствія духа во всемъ домѣ одинъ только Евдокимъ Семеновичъ Чебуковъ, почтенный сѣдовласый «управитель» имѣній и дѣлъ владѣлицы «Грязищъ», «Вороньи гнѣзда» тожъ, старухи Евдокіи Яковлевны Звегинцевой. Когда-то простой быстроглазый казачокъ въ домѣ, потомъ кудреватый красавецъ-лакей въ барскихъ покояхъ, онъ уже давно превратился въ «управителя» звегинцевскихъ имѣній, въ потомственнаго почетнаго гражданина и

кавалера орденовъ Св. Станислава, Св. Анны и нѣсколькихъ медалей, въ «его высокостепенство». Ему кланялись, его уважали всѣ, какъ хорошаго дѣльца, успѣвшаго скопить не мало денегъ, несмотря на то, что онъ былъ и малограмотенъ, и не свѣдущъ въ законахъ. Смотря теперь на суетящуюся молодежь, онъ только смиренно вздыхалъ и набожно крестился, мелькомъ взглядывая безгрѣшными глазами въ передніе углы комнатъ, по которымъ проходилъ, и чуть слышно покорнымъ тономъ повторяя:

— На все воля Божія! На все воля Божія!

И встрѣтивъ, наконецъ, гдѣ-то въ залѣ безъ толку суетившагося Петра Петровича Сельцова, степенно замѣтилъ немного назидательнымъ тономъ:

— Хоть бы вы, Петръ Петровичъ, поговорили молодежи... Гдѣ бы имъ у одра умирающей матушки сидѣть, а они мечутся... Слава Богу, ничего не горитъ... домъ еще не обваливается... Со стороны смотрѣть будто бы оно и неприлично, и больно тоже... Вотъ пріѣдетъ докторъ...

— Да что вы говорите, Евдокимъ Семеновичъ, какъ не горитъ!—горячо воскликнулъ Сельцовъ, перебивая его.— Хуже, чѣмъ горитъ! Этакая неожиданная бѣда... Вчера еще были увѣрены, что маменькѣ будетъ лучше—и вдругъ... вѣдь теперь ясно уже, что она и до вечера не доживетъ...

Евдокимъ Семеновичъ тяжело вздохнулъ и смиреннымъ тономъ человѣка, покорнаго неисповѣдимымъ путямъ Господнимъ, замѣтилъ:

— На все воля Божія: можетъ, доживутъ, а можетъ, и не доживутъ. Это какъ Онъ, Всевышній, захочетъ. Въ животѣ и смерти Богъ воленъ. Сегодня мы повелители и господа, а завтра тлѣнъ и прахъ... А что вы сказали насчетъ неожиданности, такъ это вы не такъ понять изволили: Евдокія Яковлевна давно ожидали смертнаго часа и приготовились къ нему заблаговременно... Такіе ихъ годы были...

— То-есть, какъ это приготовилась?—съ недоумѣніемъ спросилъ Сельцовъ.

— Оно, видите ли,—неторопливо пояснилъ Евдокимъ Семеновичъ:—оно то и обидно, что онѣ приготовились, а молодежь-то, чѣмъ бы около ихъ быть, Богъ вѣсть, для чего тревогу бьетъ и по угламъ роется...

Онъ принялъ совсѣмъ степенное выраженіе лица и пониженнымъ тономъ, какъ добрый наставникъ, дающій добрый совѣтъ провинившемуся ученику, замѣтилъ:

— Точно, прости Господи, сами себя ограбить собираются... Не хорошо-съ...

Сельцовъ немного сконфузился при этомъ тихо сказанномъ замѣчаніи. Онъ вовсе не желалъ объяснять Евдокиму Семеновичу настоящей причины суеты—желанія его жены, ея сестры и незаконнорожденнаго ихъ брата, а также Чемезова и его самого, Сельцова, припрятать и прибрать къ рукамъ все, что возможно, изъ дорогихъ вещей и денегъ еще при жизни матери, до пріѣзда двухъ старшихъ, всѣмъ ненавистныхъ дочерей больной старухи. Молоденькій и еще неопытный офицерикъ наивно воображалъ, что Чебуковъ можетъ не знать или не понимать чего-нибудь изъ происходящаго въ звегинцевскомъ домѣ. Слова Евдокима Семеновича смутили его. Изъ нихъ онъ ясно понялъ, что Евдокимъ Семеновичъ отлично зналъ, ради чего суетятся молодые барчуки, а зналъ также и то, что суетиться имъ вовсе не слѣдуетъ. Старикъ неторопливо и попрежнему степенно пояснилъ это Сельцову:

— Тоже не хорошо, если вдругъ, паче чаянія, кто неожиданно пріѣдетъ... ну, хоть бы Зинаида Андреевна налетитъ, благо она теперь близко въ городѣ со своими странствующими комедіантами пребываетъ и семью срамитъ... Услышитъ отъ людишекъ—вѣдь теперь не крѣпостные, а наемный сбродъ, съ борка да съ сосенки,—что молодые господа что-то прибирали, что-то прятали... совсѣмъ некстати будетъ... Тоже при вскрытіи завѣщанія можетъ не все налицо оказаться, а Евдокія Яковлевна въ завѣщаніи-то каждую вещицу поименовали, ничего не забыли.

— Вы это точно знаете?—торопливо спросилъ Сельцовъ и прибавилъ:—вы точно знаете, что завѣщаніе есть? Вѣдь въ томъ-то и дѣло, что это никому неизвѣстно... когда мамаша захворала въ первый разъ, и тогда ужъ всѣхъ это тревожило...

— Рабу своему и холопу довѣріе не по заслугамъ оказывали,—отвѣтилъ смиренно Евдокимъ Семеновичъ.—Тоже и напомнить имъ кое-что могъ по своей преданности... замѣсто родного въ домѣ всегда былъ...

Сельцовъ немного смутился. Онъ зналъ и въ то же время старался дѣлать видъ, что не знаетъ, какую роль игралъ въ домѣ Звегинцевой Евдокимъ Семеновичъ. Онъ даже старался оказывать въ обыкновенное время нѣкоторое пренебреженіе къ старику, чтобы никто не могъ заподозрить, что онъ, Сельцовъ, подозрѣваетъ, какое значеніе имѣетъ Чебу-

ковъ, какими узами связанъ съ Звегинцевой и ея младшими дочерьми.

— А главное,—проговорилъ Чебуковъ:—не могу я Леонида Александровича поймать. Ему сказать надо, чтобы онъ-то не тревожился... Мамаша и его не забыли... Вамъ вѣдь, конечно, извѣстно насчетъ этой самой незаконности рожденія ихъ?.. Замѣсто племянника числились... Правъ они не имѣютъ на наслѣдство, но Евдокія Яковлевна и о нихъ позаботились...

Онъ тяжело вздохнулъ.

— Чѣмъ меньше суеты, тѣмъ глаже сойдетъ все,—проговорилъ онъ съ особеннымъ удареніемъ.—Вѣрьте мнѣ, что я говорю, какъ доброжелатель и вашъ, и всѣхъ близкихъ...

Сельцовъ растерянно и сконфуженно пожалъ ему руку. Онъ въ душѣ относился брезгливо къ мысли и о томъ, кто этотъ Чебуковъ родомъ, и о томъ, какую роль игралъ онъ въ домѣ.

— Я вѣрю вамъ и соглашаюсь, что вы правы,—проговорилъ онъ.—Если распоряженія точно сдѣланы, то, конечно, волноваться нечего... Но никто этого точно не зналъ вѣдь...

Онъ пошелъ съ радостною вѣстью въ комнаты, гдѣ суетились его родные. Если духовное завѣщаніе дѣйствительно существуетъ, то нечего и волноваться: мать не могла обидѣть двухъ своихъ любимыхъ младшихъ дочерей; конечно, она завѣщала имъ львиную часть своего состоянія, обдѣливъ двухъ старшихъ дочерей, изъ которыхъ одну она чуть не прокляла, а другую за первый проступокъ толкнула въ монастырь своими преслѣдованіями...

«И какъ досадно, что этотъ хамъ ничего не сказалъ раньше!—мысленно говорилъ Сельцовъ про Евдокима Семеновича.—Выждалъ, чтобы наставленіе намъ прочитать. «Точно сами себя грабить собираются»,—говоритъ. Нахалъ!.. Умретъ мамаша—духу его здѣсь не будетъ...»

II.

Въ это время, между тѣмъ, въ отдаленной спальнѣ, заставленной въ углу цѣлой массой образовъ и въ кіотѣ, и по стѣнамъ, лежала, какъ колода, пожилая тучная женщина съ сѣдыми, растрепавшимися волосами. Ее часа два тому назадъ во второй разъ поразилъ параличъ: отнялись окончательно рука, нога, языкъ. Когда параличъ разбилъ ее въ первый разъ, всѣ ея приближенные струсили: что будетъ, если она умретъ безъ завѣщанія? Однако опасность какъ

будто миновала, всѣ уже надѣялись, что больная оправится и тогда можно будетъ уговорить ее написать духовное завѣщаніе, какъ вдругъ сегодня утромъ новый ударъ поразилъ старуху. Богъ вѣсть, понимала ли теперь что-нибудь больная. Она не могла ни писать, ни говорить, и только конвульсивныя гримасы и движенія лѣвой руки какъ бы выражали, что состояніе ея духа крайне тревожно, хотя именно теперь-то ей и было нужно прежде всего спокойствіе.

Но состояніе ея духа не могло быть спокойно, если ей хоть отчасти вспоминалось ея прошлое, если ей представлялась сцена, только-что сразившая ее, если въ ея воображеніи рисовалось все, что должно было произойти въ близкомъ будущемъ между ея дѣтьми въ ея домѣ...

Дѣйствительная жизнь нерѣдко бываетъ запутаннѣе и невѣроятнѣе, чѣмъ самый запутанный и невѣроятный романъ. Такою была жизнь Евдокіи Яковлевны Звегинцевой. Это былъ сплошной рядъ паденій со ступеньки на ступеньку, и за эти паденія она могла проклинать не столько себя, сколько свою судьбу, которая играла съ нею, какъ кошка съ мышью.

Евдокіи Яковлевнѣ не было и шестнадцати лѣтъ, когда ее насильно выдали замужъ за богатаго старика-самодура Андрея Андреевича Звегинцева. Это было еще въ тѣ темныя времена, о которыхъ теперь сохранились, къ счастію, только устныя преданія да полуистлѣвшіе документы въ разныхъ архивахъ, служащіе матеріаломъ для историческихъ изслѣдованій, романовъ и повѣстей уголовнаго содержанія. Особенно много этихъ обличительныхъ документовъ и свидѣтельствъ сохранилось о родѣ Звегинцевыхъ вообще и объ Андреѣ Андреевичѣ Звегинцевѣ въ особенности. Объ этой семьѣ ходили разсказы самые легендарные, какъ о знаменитой Дарьѣ Николаевнѣ Салтыковой, извѣстной въ народѣ подъ именемъ «Салтычихи». То, что продѣлывали въ этомъ родѣ мужья со своими женами, теперь кажется баснословнымъ и, читая историческіе матеріалы, говорящіе о звѣрствахъ и неистовствахъ Звегинцевыхъ, о томъ, какъ одинъ изъ Звегинцевыхъ таскалъ на арканѣ по деревнѣ свою голую жену, какъ другой Звегинцевъ вымазывалъ свою жену всякой грязью и заставлялъ услуживать своимъ любовницамъ, какъ третій Звегинцевъ заставлялъ крѣпостныхъ надругаться надъ своей женой, не знаешь, чему болѣе слѣдуетъ удивляться—варварской ли дикости и жестокости

этихъ мужей или гнусной рабской покорности и забитости этихъ женъ. Евдокіи Яковлевнѣ предстояла, какъ знали всѣ въ губерніи, именно эта участь жены-рабы, и вышла она замужъ за Андрея Андреевича Звегинцева только потому, что онъ опуталъ долгами ея родителей и родныхъ и заставилъ ихъ продать ее за эти долги. Жена-ребенокъ съ перваго же дня замужества понесла тяжелую кару за выраженное ею въ дѣвушкахъ нежеланіе идти замужъ за этого немилаго ей человѣка-звѣря. Она сдѣлалась предметомъ поруганія для мужа, и чѣмъ болѣе замѣчалъ онъ въ ней отвращенія къ нему, тѣмъ сильнѣе тиранилъ ее, ставя ей въ то же время на видъ, что каждая крѣпостная дѣвка доставляетъ ему во сто разъ больше удовольствія, чѣмъ она, отдающаяся ему насильно, со слезами, съ отвращеніемъ. Онъ говорилъ это, но въ покоѣ ее не оставлялъ.

Троихъ первыхъ дѣтей родила Евдокія Яковлевна, не осушая глазъ и не встрѣчая почти ни въ комъ участія, такъ какъ ее, нищую, какъ ее называли всѣ, не жалѣлъ никто,—одни угождая старику-самодуру, другія—находились и такія!—завидуя ей, что она подцѣпила такого богача-мужа.

Только одинъ человѣкъ, когда она проходила мимо него, тяжело вздыхалъ или отворачивался въ сторону, чтобы скрыть слезы именно тогда, когда она взглядывала на него. Онъ чуть не ломалъ себѣ шеи, спѣша чѣмъ-нибудь услужить ей и выказывая свое усердіе передъ ней. Раза два-три она слышала отъ него, что онъ радъ за нее въ огонь и въ воду, жилы за нее далъ бы изъ себя вытянуть, голову сложилъ бы за нее на плахѣ. Это былъ бывшій шустрый казачокъ Звегинцева Евдошка, а теперь красивый и ловкій комнатный лакей Евдокимъ.

Въ дворнѣ давно прозвали Евдокима «продувнымъ». Когда онъ былъ еще мальчишкой, дворня для потѣхи заставляла его «ломать комедь»; ему приказывали: «Евдошка, плачь!» и онъ душу надрывалъ рыданіями; потомъ ему приказывали: «Евдошка, смѣйся!» и онъ мертваго могъ разсмѣшить своимъ заразительнымъ смѣхомъ. Онъ умѣлъ изобразить, какъ баринъ сердится и засѣчь на смерть виновнаго собирается, какъ деревенскій попъ, гнуся, обѣдню служитъ, какъ бабы, избоченясь, переругиваются на селѣ. Вся грязь барскаго и холопскаго разгула и разврата была ему извѣстна, какъ свои пять пальцевъ, чуть не съ пеленъ, и уже юношей онъ былъ вполнѣ циникомъ. Старые дво-

ровые, которыхъ онъ любилъ дразнить, отплевывались отъ его шутокъ и звали его «пакостникомъ». Онъ былъ готовъ идти на всякое дѣло, если это доставляло ему удовольствіе или было ему выгодно. Про молодую барыню еще совсѣмъ маленькимъ мальчишкой онъ презрительно говорилъ, повторяя чужія слова холоповъ-мудрецовъ:

— Чего рюмитъ? Да другая на ея мѣстѣ вокругъ пальца обмотала бы стараго барина. А эта нюня, какъ есть нюня!

Потомъ онъ вдругъ пересталъ совсѣмъ говорить о барынѣ съ холопами, сталъ принаряжаться и чуть не на каждомъ шагу попадаться ей на глаза со своими вздохами и со слезами на черныхъ глазахъ.

Ему шелъ еще двадцатый годъ; ей было уже двадцать восемь лѣтъ; онъ—черноволосый, большеглазый, кровь съ молокомъ—былъ удивительно хорошъ собою; она уже отцвѣтала, измученная мужемъ, преждевременно старѣющая, не испытавшая любви...

«Запоретъ, жилы вытянетъ, если узнаетъ—разсуждалъ самъ съ собой Евдокимъ про стараго барина, возвращаясь однажды въ свою каморку и съ дрожью въ тѣлѣ и съ головокруженіемъ, точно послѣ попойки, вспоминая все происшедшее въ эту ночь.—Въ петлю самъ влѣзъ! Никто не толкалъ подъ руку! Чего добраго, кто-нибудь подсмотрѣлъ... Народъ-то злодѣй, своего брата утопить радъ... Наговорятъ барину и шабашъ! Жилы вытянетъ!.. Она-то сдуру не проговорилась бы! Охъ, эти бабы, языкъ-то безъ костей!.. Погубитъ мою головушку!..»

Всю ночь терзали его эти думы и била лихорадка...

А между тѣмъ этой ночи онъ уже дожидался не день, не два, а чуть ли не съ семнадцати лѣтъ, когда впервые въ его головѣ мелькнула мысль, чѣмъ бы онъ могъ сдѣлаться, если бы его полюбила молоденькая барыня... Тогда онъ, казалось, не только любилъ ее, но просто терялъ голову отъ сотни представленій, тѣснившихся въ головѣ, одно другого ярче. Сперва явилось желаніе обладать не какой-нибудь дворовой дѣвкой, а барыней, настоящей барыней; потомъ явились мысли, что баринъ старъ и, можетъ, скоро помретъ, а не умретъ, такъ и «пособить» ему не грѣхъ; тогда, пожалуй, можно изъ любовниковъ и въ мужья попасть, самому сдѣлаться бариномъ, зажить во всю... Деньжищъ-то сколько будетъ, дѣлай все, что вздумалось... Чѣмъ дальше шло время, тѣмъ нетерпѣливѣе ждалъ желанной минуты Евдокимъ, не смѣя сдѣлать перваго шага, ожидая счастливаго случая, и

вотъ теперь эта минута, этотъ случай настали. Но вмѣсто беззавѣтной радости его охватилъ ужасъ. По натурѣ, по воспитанію это былъ настоящій холопъ: блудливъ, какъ кошка; трусливъ, какъ заяцъ. Его мучили мысли:

«А вдругъ она проговорится, выдастъ меня? Надо настроить ее такъ, чтобы она старику-мужу «очки втерла», «глаза отвела».

Въ то же время онъ сталъ придумывать, что онъ будетъ говорить барину, если тотъ все узнаетъ. Скажетъ:

«Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю. Въ отместку это барыня на меня наговариваетъ»... Не повѣритъ только старикъ, запоретъ... Вотъ она молодость-то что значитъ, погубилъ самъ себя ни за грошъ, ни за денежку... Тоже убить вотъ думалъ прежде старика: говорилъ, что «помочь ему умереть можно...» Молодъ былъ, не понималъ ничего; убить легко—концы схоронить трудно... николи концовъ не схоронишь... Нѣтъ, надо ее настроить, чтобъ она въ руки забрала барина, тогда за ея спиной и легко будетъ жить. Только бы на первыхъ порахъ сдуру не проболталась, а тамъ я ее настрою.»

И точно онъ началъ ее «настраивать» по-своему...

— Развратилъ ты меня совсѣмъ,—съ горечью упрекала его Евдокія Яковлевна.—Тошно мнѣ, любя тебя, угождать ему, ласку оказывать...

— Имѣніе-то только бы подписалъ Тамбовское, а тамъ и бросить его можно,—уговаривалъ ее Евдокимъ Семеновичъ.—Развалишься ты отъ того, что его приголубишь?

— Бросить! бросить! Ты то же пѣлъ, когда пятьдесятъ тысячъ заставилъ у него выманить,—упрекала его она.

— Пятьдесятъ тысячъ-то мало, у тебя вотъ теперь еще дитя скоро будетъ. До тѣхъ-то, до его-то дѣтей намъ дѣла нѣтъ, а нашихъ-то обидѣть не хочется,—убѣждалъ ее Евдокимъ Семеновичъ.

И она выманивала у разрушавшагося и выживавшаго изъ ума старика деньги и имѣнія...

Теперь она была уже не «нюня», а начинала дѣлаться озлобленною, сварливою женщиною. То, что казалось такъ просто и естественно Евдокиму Семеновичу, ей ложилось тяжелымъ гнетомъ на душу. Она смутно чувствовала, что она опускается въ какую-то бездну грѣха и разврата, что она хуже всякой продажной женщины.

— Старика ублажать надо; не сахарная, не растаешь отъ его ласкъ; противенъ—не противенъ, а деньги у него

въ рукахъ, ихъ вытянуть надо; къ нему теперь люди примазываются, благо онъ изъ ума выживаетъ, такъ, пожалуй, еще такъ его настроятъ, что онъ тебя выгонитъ.

Такъ разсуждалъ Евдокимъ Семеновичъ и не понималъ, почему Евдокія Яковлевна иногда почти съ ужасомъ отказывалась поступать такъ, какъ совѣтовалъ онъ. Его холопская мораль: «да я за деньги кому хочешь ноги готовъ лизать» приводила ее сначала въ ужасъ, потомъ ожесточила противъ всѣхъ, когда Евдокимъ запугалъ бѣдную женщину тѣмъ, что ее выгонятъ, какъ собаку, и издохнетъ она безъ помощи подъ заборомъ.

Ожесточилась она прежде всего противъ старшаго своего сына — первенца, зачатаго ею среди позора и униженій и научившагося съ дѣтства отъ отца не уважать мать, какъ, впрочемъ, онъ не уважалъ и другихъ людей. Въ семьѣ Звегинцевыхъ, гдѣ мужъ ругалъ и билъ жену, гдѣ били по щекамъ и сѣкли на конюшнѣ дворовыхъ, гдѣ эти дворовые были развращены до послѣдней степени, вообще трудно было научиться уважать какую бы то ни было человѣческую личность. Не научился этому и Аркадій Андреевичъ, испытавшій не разъ и на своей спинѣ удары отцовскаго арапника и отцовскихъ розогъ.

— Ишь шпіонъ какой, такъ и шныритъ, чтобы все высмотрѣть да отцу нажаловаться,—вооружалъ барыню Евдокимъ противъ юнаго Аркадія Андреевича, боясь, что тотъ и дѣйствительно подкараулитъ мать и его, ея вѣрнаго слугу, и передастъ подсмотрѣнное отцу. «Тогда ужъ не сносить мнѣ головы»,—поддаваясь непобѣдимому страху, разсуждалъ мысленно Евдокимъ и все болѣе и болѣе начиналъ ненавидѣть юнаго барчука, не понимая даже среди страха за себя того, что юношѣ, легкомысленному, безпечному и вѣтреному, и въ голову не приходило кого-нибудь выслѣживать, кого-нибудь ловить. Онъ только желалъ жить въ свою волю и больше ничего. Вырваться изъ родного дома, покутить, побуйствовать—вотъ все, чего желалъ онъ.

— Онъ еще протретъ тебѣ глаза, — говорилъ барынѣ Евдокимъ, тайкомъ наушничая на юнаго Аркадія Андреевича Звегинцева, когда тотъ кутилъ и проматывалъ деньги.— Бородой еще не оброслъ, а кутить да дебоширить научился. Въ папеньку весь. Онъ имѣнье-то все спуститъ, чего не успѣешь ты къ рукамъ прибрать. Кулаками еще слезы отирать будешь изъ-за него. Онъ вѣдь наслѣдникъ!

И Евдокія Яковлевна еще болѣе начинала не любить

сына-наслѣдника, а Евдокимъ Семеновичъ прилагалъ всѣ старанія, чтобы поскорѣй «сплавить» ненавистнаго ему барчука. «Сплавить» ювошу было вовсе не трудно: кутила, мотъ, забіяка, бреттеръ, онъ самъ рылъ себѣ яму; то отецъ отказывался платить за него долги, обѣщаясь выпороть его на конюшнѣ, то онъ сидѣлъ на гауптвахтѣ, провинившись по службѣ, то онъ дрался на дуэли изъ-за какой-нибудь красавицы, которую онъ на другой же день бросалъ, и въ одинъ прекрасный день исчезъ изъ Петербурга на Кавказъ, куда въ тѣ времена ссылалось множество буйныхъ головъ для вытрезвленія и гдѣ нерѣдко эти буйныя головы упокоивались навсегда.

Тамъ ему и капутъ!—рѣшилъ Евдокимъ Семеновичъ и не ошибся: года два еще получались вѣсти отъ Аркадія Андреевича, а потомъ онъ какъ въ воду канулъ.

Евдокимъ вздохнулъ свободнѣе, когда, наконецъ, въ поминальную книжку Евдокіи Яковлевны вписалось имя раба Божія Аркадія.

Старика Звегинцева, пожившаго такъ широко, что нужно было удивляться, какъ это все выноситъ желѣзная натура, въ это время разбилъ параличъ; двѣ дочери, рожденныя отъ него, уже ушли изъ дома полоумнаго отца и сварливой матери — одна поступила куда-то на сцену въ провинцію, другая поселилась у одной изъ своихъ тетокъ въ монастырѣ, и Евдокимъ Семеновичъ сталъ полновластнымъ «управителемъ» Звегинцевыхъ. Онъ теперь катался, какъ сыръ въ маслѣ, и тѣмъ досаднѣе ему было, что третій, родившійся отъ него ребенокъ у Звегинцевой, долженъ былъ быть рожденъ тайкомъ, сдѣлаться незаконнымъ.

— Аспиды-то наши пронюхаютъ,—говорилъ, охваченный злобой и трусостью, Евдокимъ про старшихъ Звегинцевыхъ, Зинаиду Андреевну и Зою Андреевну,—и, чего Боже сохрани, еще какое-нибудь дѣло затѣютъ. Въ папашу уродились тоже... Тоже вѣдь легко доказать, что дитё родилось не отъ ихъ отца: два года безъ движенія лежитъ...

Онъ былъ и остался трусомъ. Не зная никакихъ законовъ, онъ боялся, что изъ-за рожденія послѣдняго ребенка въ то время, когда старикъ Звегинцевъ уже два года лежалъ безъ движенія въ параличѣ, можетъ быть начато «дѣло», и потому посовѣтовалъ Звегинцевой «скрыть концы въ воду». Онъ, трусъ всего самъ, умѣлъ запугивать и ее нищетою, и наказаніями, и Сибирью.

— Не все равно, законный онъ или незаконный: ты его

наградишь; а такъ-то еще влопаемся мы, если объявимъ о его рожденіи,—разсуждалъ онъ.

И въ душѣ его поднимались опять какія-то опасенія...

Страхъ и опасенія — это была самая страшная отрава, портившая всю жизнь Евдокима Семеновича. Наблудитъ онъ, а потомъ и трясется отъ страха и опасеній, попрекаетъ самъ себя за то, что не удержался и наблудилъ, ждетъ съ ужасомъ расплаты, преувеличивая ее подъ вліяніемъ боязни.

Этой отравой была омрачена первая его удача—сближеніе съ Евдокіей Яковлевной; этой же отравой были убиты всѣ его успѣхи и радости впослѣдствіи. Онъ боялся, что старый баринъ вотъ-вотъ провѣдаетъ его шашни и сотретъ его съ лица земли, что подросшіе Аркадій, Зинаида и Зоя узнаютъ его отношенія къ ихъ матери и возбудятъ противъ него своего отца, свою родню, что у него и у его дѣтей Аделаиды, Маріи и Леонида отнимется все состояніе звегинцевской родней. Изъ-за этого чувства страха онъ сдѣлался гонителемъ всѣхъ дѣтей Звегинцевыхъ, споилъ съ круга легкомысленнаго и вѣтренаго Аркадія, довелъ до бѣгства изъ дому въ странствующія труппы актеровъ бойкую и рѣзкую Зинаиду, толкнулъ на житье въ монастырь плаксивую и запуганную Зою. Этотъ страхъ отравилъ въ лучшіе годы его любовь къ Евдокіи Яковлевнѣ и заставилъ его толкать ее въ объятія къ ненавистному ей и ему мужу, чтобы только «не накрыли ихъ самихъ». Этотъ же страхъ въ послѣдніе годы заставилъ его тщательно скрывать отъ старухи Звегинцевой какой-то уголокъ своей личной жизни: этотъ уголокъ—было свое гнѣздышко, свитое Евдокимомъ Семеновичемъ въ сторонѣ отъ звегинцевскаго дома. Онъ былъ бы совершенно счастливъ въ этомъ гнѣздышкѣ, гдѣ была и молодая жена-красавица, и двое малыхъ дѣтокъ, но та же проклятая трусливость мѣшала счастію:

«Что если узнаетъ сама? На что она пойдетъ? Правда, онъ не крѣпостной, да и нѣтъ теперь крѣпостныхъ; онъ не зависитъ даже денежно отъ нея и можетъ жить безбѣдно; но злая баба можетъ обвинить его въ разныхъ продѣлкахъ. Въ Сибирь, въ Сибирь упечетъ! Отъ нея всего теперь ждать можно!..»

И онъ представлялъ себѣ всякіе ужасы, всякіе поклепы, на которые была способна эта «злодѣйка».

— Ужъ именно злодѣйка,—говорилъ онъ своей молодой женѣ.—Никому отъ нея житья нѣтъ, всѣхъ поѣдомъ ѣстъ,

какъ ржа желѣзо... Хуже стала, чѣмъ былъ Андрей Андреевичъ... Въ Сибирь можетъ упечь человѣка, въ Сибирь.

И онъ продолжалъ пресмыкаться передъ «злодѣйкой» ради избѣжанія Сибири. Она была ему уже противна, онъ уже ненавидѣлъ ее, но тѣмъ не менѣе онъ пресмыкался передъ нею. Правду онъ говорилъ, что онъ «готовъ ноги лизать человѣку, если это нужно».

III.

Два раза въ теченіе пяти мѣсяцевъ Евдокію Яковлевну разбивалъ параличъ, и оба раза въ эти минуты при ней былъ только Евдокимъ Семеновичъ.

— Пришелъ я это къ барынѣ съ дѣлами, докладываю ей, отчетъ читаю и вдругъ гляжу—помертвѣли онѣ и падаютъ съ кресла... Я скорѣй кричу: «воды! люди!» а самъ поддерживаю ихъ...

Такъ безъ всякихъ варіацій, безъ всякихъ измѣненій, степенно и скромно разсказывалъ Евдокимъ Семеновичъ и молодымъ господамъ, и доктору, и знакомымъ о томъ, какъ въ первый разъ разбилъ параличъ Евдокію Яковлевну Звегинцеву. Казалось, онъ затвердилъ это, какъ урокъ, боясь что-нибудь спутать, измѣнить подробности. Только дома, оставаясь съ глазу на глазъ съ женою, онъ говорилъ и о причинахъ удара.

— И откуда она допыталась, что я къ тебѣ ѣзжу? И чего ей еще отъ меня было надо? Слава тебѣ Господи, одной ногой въ гробу стояла, довольно мой вѣкъ заѣдала. Такъ нѣтъ, ни себѣ, ни людямъ! Ровно собака на сѣнѣ,— разсуждалъ онъ дома послѣ того, какъ Звегинцеву разбилъ въ первый разъ параличъ.

— Такъ это съ ней съ того самаго и случилось, что узнала, что ты женатъ?—спрашивала жена.

— Можетъ, и не съ того, а только такъ подошло одно къ другому, — разсуждалъ Чебуковъ, боясь даже и дома откровенничать.—Съ докладомъ я по дѣламъ пріѣхалъ. Ну, а тутъ у насъ за послѣднее время всегда ссоры выходили. «Воруешь», молъ. У нея все воры! А хоть бы то подумала, кто все ей предоставилъ-то, какъ не я. Безъ меня-то, можетъ-быть, Андрей Андреевичъ ее въ одной рубашкѣ выгналъ бы.

— Это что говорить,—согласилась Чебукова.

— Ну вотъ,—продолжалъ Чебуковъ:—попрекнула и тутъ

да и говоритъ: «шашни тоже на сторонѣ завелъ, сказывай, говоритъ, къ какой это такой шлюхѣ ѣздишь».

— Сама шлюха, такъ и про другихъ такъ думаетъ!— разсердилась Ольга Степановна Чебукова.

— У нея теперь добраго слова ни про кого, — сказалъ Чебуковъ. — Плевать на это теперь надо: собака лаетъ, вѣтеръ носитъ. Ну, а вотъ поди-жъ ты: не стерпѣлъ я на сей разъ. Точно меня бѣсъ какой-то толкнулъ: не стерпѣлъ, не стерпѣлъ да сгоряча и ляпнулъ: «не къ шлюхѣ, говорю, а къ своей законной женѣ ѣзжу... Довольно грѣшить-то, надо и честно, по-божески пожить».—«А!—взвизгнула она:— такъ ты вотъ какъ! Меня развратилъ, а теперь самъ честно, по-божески жить хочешь... Да я тебя...» И пошла, и пошла: Сибири, молъ, для меня мало, и каторжникъ-то я, и варнакъ... Слушаю я, слушаю, и вижу, что ни слова, ни духу у нея болѣе нѣтъ, а только лицо перекосило, корчитъ ее всю начало... Я воды, я уксусу, думаю еще, что она отойдетъ, опомнится, а она ровно помертвѣла.

И, переводя тяжело духъ, онъ закончилъ:

— Набрался тутъ-то я страху. Еще подумаютъ, что убилъ, коли людей не позвать. И тоже позвать людей боюсь: очнется, да сгоряча Богъ вѣсть, что на меня наплететъ. Отъ нея всего ждать можно. Одначе рѣшился — была не была — позвалъ людей, доктора, — ничего, сошло съ рукъ: языкъ и рука отнялись; ничего не могла наплести!

— И ужъ змѣя же была подколодная!—сообразила простоватая Ольга Степановна Чебукова, души не чаявшая въ своемъ, хотя и не молодомъ, но все же еще красивомъ мужѣ и считавшая его жертвою этой старой «злодѣйки», которая столько лѣтъ его вѣкъ заѣдала. — И ужъ рады же будутъ всѣ, какъ отъ нея избавятся, и Аделаида Андреевна, и Марья Андреевна съ мужьями вздохнутъ свободнѣе, а ужъ не то что Зиночка да Зойка—тѣ, какъ воронье на падаль, на наслѣдство налетятъ... Жаль вотъ только, что Леониду-то Александровичу законной доли не достанется...

Чебуковъ ничего не отвѣтилъ и въ раздумьи заходилъ по комнатѣ, заложивъ за спину руки.

— И ужъ закуролеситъ же Зинаида Андреевна,—продолжала разсуждать Ольга Степановна.—Колесомъ завертится. Мать-то сквалыжничала, копейки у людей утягивала, ворами всѣхъ звала, а дочь-то протретъ денежкамъ глазки. Ахтерамъ, своимъ полюбовникамъ, все раздастъ. Самаго этого легкомыслія ей не занимать стать. Какъ есть развратница.

Да и Зоя-то Андреевна, даромъ что смиренница да плакса, да въ монастырѣ живетъ теперь на хлѣбахъ изъ милости,— какъ денежки получитъ, тоже за какого-нибудь прощелыгу и выскочитъ; ее каждому надуть легко, будь только мужчина.

— Что говорить, достанься имъ—все прахомъ пойдетъ!— сумрачно процѣдилъ сквозь зубы Евдокимъ Семеновичъ.

— А то кому же, какъ не имъ достанется, если духовной нѣтъ,—разсудительно замѣтила Ольга Степановна:—не тебѣ же, не Леониду же Александровичу. Ты ей все предоставилъ, а тебѣ же и скажутъ: вотъ Богъ, а вотъ и порогъ. Нешто Чемезовъ или Сельцовъ съ тобой поцеремонятся? Вотъ еще будь въ живыхъ Аркадій Андреевичъ, тогда и всѣ бы остались безъ ничего: прощелыга онъ, а все же сынъ; при братѣ сестры не наслѣдницы.

— Конечно, если безъ духовной—все прахомъ пойдетъ!— по прежнему сумрачно повторилъ Евдокимъ Семеновичъ.

Когда на слѣдующій день онъ явился въ домъ Звегинцевой—отъ его зоркихъ глазъ не укрылось то обстоятельство, что всѣ въ домѣ таинственно шушукались по угламъ, что Сельцовъ и Чемезовъ, какъ бы безъ умысла, справлялись у него, у Евдокима Семеновича, сколько наличнаго капитала имѣется у больной, что раза два при немъ обронили фразу о необходимости духовнаго завѣщанія. Трудно было не понять, что всѣхъ волновала и безпокоила одна мысль, кому все достанется, на сколько частей все раздѣлится, какъ велико наслѣдство...

«Что-жъ, оно и понятно,—разсуждалъ мысленно Евдокимъ Семеновичъ.—Кому сладко, коли все уйдетъ Богъ вѣсть въ чьи руки. Зинаида-то Александровна извѣстно, какъ живетъ. Родная мать отреклась—чего лучше. Отъ хорошей-то дочери мать не отречется. Да и Зоя-то Андреевна не лучше, только красоты да смѣлости нѣтъ, такъ и изнываетъ въ монастырѣ у тетеньки-игуменьи на хлѣбахъ изъ милости, а дай-ка ей деньги, такъ Зинаиду Андреевну перещеголяетъ... Ну да что, Маничка да Адочка, онѣ какъ-никакъ, а свою долю получатъ... тоже законныя дочери... Вотъ Ленечка-то, онъ ни съ чѣмъ останется... Трусость меня тогда, какъ ему родиться надо было, одолѣла, самъ и подбилъ тогда Евдокію Яковлевну все тайно обдѣлать. Зинаиды Андреевны убоялся, тогда она и рвала и метала Матери бы родной не пощадила, а не то, чтобы дитя малое, али меня поберечь... Вотъ самъ и погубилъ Ленечку. У страха-то, видно, глаза велики, не сообразилъ, что все тихимъ манеромъ обдѣлать было

можно: и законнымъ его записать, и до смерти Андрея Андреевича никому не говорить о его существованіи. Послѣ смерти-то Андрея Андреевича нельзя было бы спорить противъ законности Ленечки... А вотъ, поди же ты, убоялся; мысли-то какія приходили, что вдругъ оправится Андрей Андреевичъ, да узнаетъ... Вотъ и погубилъ сынка... Будь онъ законный, все ему досталось бы... а теперь—никакихъ правовъ нѣтъ. Какія-нибудь три-четыре тысчонки, что на его имя положены, только и получитъ... Эхъ, Евдокимъ Семеновичъ, не умѣлъ ты о своихъ дѣтяхъ позаботиться!.. Да и о себѣ-то не слишкомъ похлопоталъ... Ты же ей все предоставилъ, ты ее научилъ все прибрать къ своимъ рукамъ, а теперь...»

У него на сердцѣ, по его собственному выраженію, точно камень тяжелый легъ.

IV.

Тяжелы были мѣсяцы болѣзни Евдокіи Яковлевны—тяжелы не только для нея одной, а и для окружающихъ. Для нихъ они, можетъ-быть, были еще болѣе тяжелы, чѣмъ для нея. Всѣ чувствовали, что они ходятъ по раскаленному желѣзу, между страхомъ и надеждой. То надѣялись, что вотъ-вотъ больной станетъ легче и ее уговорятъ написать духовное завѣщаніе, то отчаивались въ ея выздоровленіи и составляли планы, что слѣдуетъ и что можно присвоить себѣ. Болѣе всего волновала всѣхъ мысль о томъ, какъ бы не узнали о болѣзни старухи Зинаида Андреевна и Зоя Андреевна, такъ какъ безъ нихъ многое можно было прибрать къ рукамъ. Пріѣдутъ эти женщины—тогда бѣда: Зинаида Андреевна накричитъ, набушуетъ, наговоритъ дерзостей, такъ что во вѣкъ не забудешь. И тѣмъ больнѣе бывали всѣ ея дерзкія выходки, что онѣ всегда сопровождались вызывающимъ наглымъ смѣхомъ, точно она хотѣла сказать: «хочу вотъ и ругаю васъ, а вы молчать должны». Зоя Андреевна—та доймете не смѣхомъ, а нытьемъ, хуже чѣмъ бранью. А между тѣмъ какія онѣ наслѣдницы? Мать отъ нихъ отреклась, знать ихъ не хотѣла...

Среди этого лихорадочнаго напряженія всѣ даже и не замѣчали того, что они походили на преступниковъ, обдумывающихъ планъ грабежа. И вѣчно чопорный и приличный Чемезовъ со своей какъ бы одеревянѣлой фигурой, и херувимо-подобный, глупо-красивый Сельцовъ, оказывались настолько же алчными, какъ и ихъ жены — хозяйственная и

практичная Аделаида Андреевна и наивничающая и ребячащаяся Марья Андреевна. Алчность подавила всѣ другія характеристическія черты этихъ личностей. Они, какъ заговорщики, вдругъ сплотились въ одну шайку для одной цѣли. Обдумывая грабежъ, они успѣли отуманить голову даже Леонида, хрупкаго, вѣчно задумчиваго мальчугана, такъ что въ его умѣ только и повторялось одно слово: «нищій»... Только Евдокиму Семеновичу было недосугъ участвовать въ ихъ совѣщаніяхъ, въ ихъ соображеніяхъ, такъ какъ именно въ это время онъ былъ обремененъ, по горло заваленъ дѣлами. Ради этихъ дѣлъ онъ цѣлыя недѣли проводилъ въ отлучкѣ...

Наконецъ, всѣ въ звегинцевскомъ домѣ начали дышать свободнѣе, такъ какъ въ положеніи больной начало происходить замѣтное улучшеніе, и докторъ подавалъ надежду на болѣе или менѣе благопріятный исходъ. Въ самый разгаръ этихъ надеждъ, когда, казалось, чуть ли не завтра можно будетъ говорить съ больной о духовной, въ ея болѣзни случился тотъ страшный поворотъ, который окончательно сбилъ съ толку всѣхъ и заставилъ близкихъ больной лицъ приняться формально за грабежъ, остановленный только Евдокимомъ Семеновичемъ. Странно могло показаться только то, что Евдокимъ Семеновичъ, взволновавшійся при первомъ ударѣ Евдокіи Яковлевны, — при второмъ остался совершенно спокойнымъ, видимо свыкнувшись съ мыслью, что «на все воля Божія». Впрочемъ, это спокойствіе, можетъ-быть, происходило и вслѣдствіе того, что теперь онъ доподлинно узналъ или, вѣрнѣе сказать, вспомнилъ о существованіи духовнаго завѣщанія...

— Вы говорили Петру Петровичу о духовномъ завѣщаніи,—сухо замѣтилъ Чемезовъ, встрѣтивъ какъ бы случайно въ одной изъ комнатъ Евдокима Семеновича. — Вы точно увѣрены, что оно существуетъ?

— Какъ же... три-четыре года тому назадъ сдѣлано,— сказалъ Евдокимъ Семеновичъ.

— Однако, когда Евдокія Яковлевна захворала впервые, вы не говорили объ этомъ завѣщаніи,—замѣтилъ Чемезовъ, пристально всматриваясь въ него.

— Что же мнѣ было мѣшаться въ чужія... господскія дѣла,—отвѣтилъ Евдокимъ Семеновичъ смиренно.—Да, признаться, отчасти и запамятовалъ во время переполоха...

— Но теперь же...—началъ Чемезовъ, продолжая въ упоръ смотрѣть на него.

Евдокимъ Семеновичъ со вздохомъ перебилъ его:

— Горько стало смотрѣть, что Евдокія Яковлевна одна умираетъ, а дѣти Богъ вѣсть о чемъ хлопочутъ... Неприлично со стороны показалось...

Чемезовъ досадливо закусилъ губы.

Евдокимъ Семеновичъ все тѣмъ же тономъ продолжалъ:

— Тоже со стороны могли заподозрить господъ Богъ вѣсть въ чемъ...

Чемезовъ круто отвернулся отъ него. Теперь и ему, и всѣмъ остальнымъ членамъ семьи непріятно было вспомнить о недавно еще происходившемъ въ домѣ переполохѣ...

Вмѣшательство Чемезова было какъ разъ своевременно: не прошло и двухъ часовъ послѣ его заявленія о духовномъ завѣщаніи, какъ къ деревенскому дому Звегинцевыхъ подкатила тройка и изъ экипажа выскочила довольно нарядная, сильно подкрашенная дама съ типичной физіономіей женщины легкаго поведенія. Это была Зинаида Андреевна Звегинцева...

— Не ждали?—развязно-насмѣшливымъ голосомъ обратилась она къ сестрамъ, появляясь въ гостиной.—Являюсь, какъ снѣгъ на голову...

— Мы только-что хотѣли тебѣ писать,—заговорила Аделаида Андреевна, холодно и сухо здороваясь съ пріѣзжей.— Это вѣдь такъ неожиданно случилось и...

— Скажите! Неожиданно! Чуть ли не пять мѣсяцевъ мать лежитъ!—возразила съ насмѣшкой Зинаида Андреевна, перебивая ее.

— Да, но мы, душечка, не знали твоего адреса,—вмѣшалась сладкимъ голосомъ Марья Андреевна, зажимая ротъ старшей сестры звонкимъ поцѣлуемъ.—Только сегодня мы узнали, милочка, что ты здѣсь поблизости, и то случайно узнали...

— Ахъ, что ты мнѣ поешь!—съ той же насмѣшкой въ голосѣ оборвала ея рѣчь Зинаида Андреевна.—Мой адресъ всегда извѣстенъ въ Москвѣ... Мы почти всѣ тамъ получаемъ ангажементы изъ разныхъ городовъ. Это наша биржа... Что же мама, очень плоха?..

— Да; совсѣмъ оправляться начала, а сегодня вдругъ опять хуже стало... Надежды, кажется, никакой нѣтъ...

— Значитъ, я какъ разъ во-время нагрянула,—сказала Зинаида Андреевна.—А Зоѣ вы дали знать? Или тоже адреса не знали?—насмѣшливо добавила она.

— Ахъ, душечка, мы такъ растерялись. Ты, ангелъ мой, не повѣришь...—начала Марья Андреевна.

Зинаида Андреевна грубо перебила ее:

— Что ты мнѣ разсказываешь! Просто припрятать, что можно, хотѣли до моего и ея пріѣзда. Не удалось только, такъ и приходится юлить...

Аделаида Андреевна холоднымъ и спокойнымъ тономъ остановила ее:

— Припрятать? Что и для чего?

Въ комнату вошелъ слуга и грубовато обратился къ Зинаидѣ Андреевнѣ:

— Ямщикъ денегъ ждетъ!

— Денегъ?.. Ахъ, да... Нѣтъ ли у васъ... У меня нѣтъ... мелочи... Я отдамъ потомъ...

— Сколько ему нужно, шерочка?—предупредительно спросила Марья Андреевна.—Я отдамъ...

И, узнавъ требуемую ямщикомъ плату, пошла расплачиваться съ возницей. Она была рада оказать всякія услуги сестрѣ, лишь бы умилостивить ее.

Аделаида Андреевна между тѣмъ уже злорадно продолжала начатый разговоръ:

— Ты же, вѣроятно, по себѣ судишь, что вамъ надо что-то припрятывать, что-то утягивать, чтобы имѣть хоть грошъ... А мы, слава Богу, живемъ не изо дня въ день, не рыщемъ по свѣту безъ гроша въ карманѣ... Да, наконецъ, я думаю, что своего нечего припрятывать отъ кого бы то ни было... Мама давно распорядилась и сдѣлала духовное завѣщаніе.

— А-а! сумѣли подбиться!—воскликнула Зинаида Андреевна.—Я такъ и знала!

— И вовсе никто не подбивался,—равнодушно возразила Аделаида Андреевна.—Мы даже не знали, когда завѣщаніе писалось... Два-три года тому назадъ, когда мама была еще здорова... Просто теперь отъ Евдокима Семеновича узнали, что оно уже два-три года тому назадъ составлено.

— А! каторжникъ еще живъ! — воскликнула Зинаида Андреевна и захохотала.—Все еще боится Сибири, которая его ждетъ.

— Совѣтую тебѣ воздержать свой языкъ!—сухо сказала Аделаида Андреевна.

— Мнѣ съ нимъ не дѣтей крестить, а въ родствѣ я съ нимъ не состою, какъ другіе,—отвѣтила Зинаида Андреевна.

— Что ты этимъ хочешь сказать?

— А что сказала, то и хотѣла сказать!

— Нахалка!

— Ты лучше!

Сестры вдругъ разругались, какъ кухарки. Это бывало всегда, когда онѣ встрѣчались, и трудно было сказать, кто былъ вульгарнѣе,—безшабашная ли Зинаида Андреевна, или степенная Аделаида Андреевна.

— Что это тамъ?—брезгливо спросилъ въ другой комнатѣ Чемезовъ у Марьи Андреевны, указывая кивкомъ головы на гостиную.

— Зина пріѣхала,—пояснила та и добавила жалующимся плаксивымъ тономъ:—по обыкновенію, съ первыхъ же словъ начала браниться. Ахъ, это ужасно—имѣть такую грубую и невоспитанную сестру. Вы не повѣрите, дорогой Левъ Ивановичъ, до чего я страдаю каждый разъ, встрѣчая ее... Вы знаете, какъ я боюсь за своего Петрушу... Онъ такой слабый, такой увлекающійся... Эта же женщина вѣдь на все способна: когда-то она увлекала его, когда онъ былъ еще холостымъ... она можетъ и теперь начать то же... Ей нѣтъ дѣла, что онъ мой мужъ... Это чудовище, а не женщина...

— Она ваша сестра, а каково намъ, совершенно чужимъ ей, терпѣть въ чужомъ пиру похмелье, не имѣя возможности выгнать ее изъ своего дома,—сухо замѣтилъ Чемезовъ въ отвѣтъ на ея слезливую жалобу.

— Чѣмъ же мы-то тутъ виноваты, Левъ Ивановичъ?—обидчиво сказала Марья Андреевна и надула губки.—Вы себя называете чужимъ, однако, когда вопросъ зашелъ о нашемъ наслѣдствѣ, тогда вы не говорили, что вы чужой...

Лицо Чемезова перекосилось.

— Съ вами трудно спокойно говорить,—проговорилъ онъ, спѣша уйти.

— Ахъ, и не говорите, пожалуйста,—задорно сказала ему вслѣдъ Марья Андреевна.

Она постоянно такъ кончала всѣ разговоры съ Чемезовымъ, котораго она называла «противнымъ» и «бездушнымъ» за его заученныя сдержанность и холодность. Въ настоящее же время онъ былъ виноватъ уже тѣмъ, что она не могла отвести съ нимъ душу и вполнѣ излить свои опасенія по поводу пріѣзда сестры Зины, которая была способна, по ея мнѣнію, «погубить ея Петрушу». Вербный херувимъ, несмотря на свое глупо-невинное лицо, принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые готовы бѣгать за каждой женской юбкой. Одной изъ тѣхъ юбокъ, за которыми

онъ бѣгалъ передъ своею женитьбою, была и Зинаида Андреевна. Чуть не мѣсяцъ путался онъ съ нею и, можетъ-быть, пропутался бы и долѣе, если бы хватило денежныхъ средствъ на дальнѣйшее путаніе съ Зинаидой Андреевной, которую не даромъ прозвали знавшіе ее люди «бочкой Данаидъ». Она способна была пустить по міру любого богача и остаться такою же нищей, какою она была всегда. Одинъ изъ ея товарищей по сценѣ не даромъ говорилъ:

— Это ее описывали подъ именемъ тощихъ фараоновыхъ коровъ, что съѣли семь жирныхъ коровъ, а жирнѣе сами не стали!..

V.

— И вы еще не повѣсились, не запили здѣсь отъ скуки?— насмѣшливымъ тономъ допрашивала Зинаида Андреевна Петра Петровича, сидя въ саду и чертя узоры зонтикомъ по песку.

Снѣдаемая скукой въ «Грязищахъ», «Вороньи гнѣзда» тожъ, она забавлялась тѣмъ, что кокетничала напропалую съ Сельцовымъ и на каждомъ шагу то выпучивала его, то дразнила Марью Андреевну.

— Нѣтъ, вѣдь мы же не живемъ постоянно въ деревнѣ, это только нынѣшнее лѣто... обстоятельства такъ сложились...—началъ онъ защищаться.

— А въ городѣ у васъ веселѣе? Маша менѣе наивничаетъ? Левъ Ивановичъ менѣе индѣйскимъ пѣтухомъ смотритъ? Адель менѣе усердно хлопочетъ о гроппахъ и менѣе толкуетъ о потерѣ пары сношенныхъ носковъ?—неугомонно допрашивала Зинаида Андреевна.—Полноте, полноте, я вѣдь знаю эту жизнь, какъ свои пять пальцевъ... Сама все это пережила... Ужъ если сама Зоя отъ этой жизни въ какого-то пѣвчаго влюбилась, такъ ужъ что же тутъ говорить... Нѣтъ, я сбѣгу отсюда, не дождавшись даже смерти матери... Эти двѣ недѣли за два года мнѣ показались... Правда, я и отвыкла отъ всего этого... Удой молока провѣряютъ, яйца у куръ пересчитываютъ—и въ этомъ вся жизнь...

— Теперь, конечно, такое время, что не до веселья,—пояснилъ со вздохомъ Петръ Петровичъ, принимая постный видъ.

— А то повеселились бы?—спросила она и засмѣялась вызывающимъ смѣхомъ.—Помните, какъ тогда?.. Да, впрочемъ, теперь вамъ и не позволили бы! Какъ можно: женатый человѣкъ!.. А помните, хорошо было! Пикники, кутежъ, цыгане... Вы все тогда спустили, все до копейки!..

Онъ боязливо глянулъ куда-то въ сторону, не идетъ ли жена, и въ то же время его лицо озарялось плотоядной улыбкой. Зинаида Андреевна подмѣтила этотъ взглядъ, брошенный въ сторону, поняла его причину и засмѣялась еще сильнѣе неудержимымъ смѣхомъ. Ее забавлялъ этотъ страхъ молодого офицерика передъ женою.

— Не бойтесь, Маша не придетъ!—замѣтила она.—Я опять умышленно перемѣнила мѣсто, чтобы она не нашла васъ... Надо же защищать своего друга...

— Почему вы думаете, что я ея боюсь? Я вовсе ея не боюсь!—сказалъ онъ, храбрясь.

Она, не обращая вниманія на его слова, продолжала разсказывать сквозь смѣхъ:

— Не даромъ же она опасается за васъ. Вчера меня умоляла: «Шерочка, не отбивай его у меня... Душечка, ради всего святого не отбивай!.. Онъ у меня, милочка, такой увлекающійся. Ты шутишь съ нимъ, а онъ въ тебя и влюбиться готовъ...» Она не пеленаетъ васъ на ночь? Нѣтъ? Не можетъ быть!

Онъ пожалъ плечами, не зная, что ей отвѣчать на ея безцеремонныя шутки, и смотрѣлъ еще глупѣе обыкновеннаго.

— И все попрежнему здѣсь и вамъ, и Льву Ивановичу нужно каждый грошъ вымаливать у женъ, у мамы, подробно объясняя, на что и для чего онъ нуженъ, выслушивая упреки за то, что недавно еще вамъ были даны деньги?.. Все по-старому нужно ждать высочайшаго разрѣшенія Евдокима, есть ли свободныя деньги, можно ли безъ ущерба для хозяйства сдѣлать выдачу?—продолжала она вышучивать его.—Вы какъ это дѣлаете: сперва дня три, поджавши хвосты, ходите, какъ коты около молока, ласкаетесь съ особенною нѣжностью къ своимъ повелительницамъ, не отставая отъ ихъ юбокъ, потомъ, когда онѣ въ духѣ, рѣшаетесь дрожащимъ голосомъ заявить: «мнѣ нужно пять рублей...»

— Что вы выдумываете!—проговорилъ недовольнымъ тономъ Петръ Петровичъ, теряя терпѣніе.—Нельзя же такъ шутить! Есть всему предѣлъ!..

Онъ капризно надулъ свои пухлыя красныя губы.

— Да вы не обижайтесь, прелестный мальчикъ! Вѣдь я же сама пережила здѣшніе порядки и бѣжала отъ нихъ,—пояснила Зинаида Андреевна и въ комическомъ видѣ стала разсказывать:—мнѣ, сестрѣ Зоѣ и покойному брату Аркашѣ также приходилось утягивать каждую тряпку, каждый грошъ выпрашивать. Клянчимъ - клянчимъ, ноемъ - ноемъ, бы-

вало,—наконецъ смилостивится maman и говоритъ: «Надо Евдокима Семеновича спросить, есть ли свободныя деньги...» А что теперь онъ: не командуетъ здѣсь, какъ прежде?..

— Какое же онъ право имѣетъ командовать... Простой управляющій!.. Управляетъ покуда по-старому имѣніями, вотъ и все,—небрежно отвѣтилъ Сельцовъ.— Умретъ маманя, тогда разсчитаемъ его.

— А, можетъ-быть, Маша и Адель не захотятъ отпустить такого преданнаго имъ человѣка? Вы разсчитать захотите, а онѣ не согласятся. Нуженъ же и имъ тѣлохранитель!—поддразнивала она Петра Петровича, зная, что онъ старается избѣгать разговора о Чебуковѣ, боясь даже и мысли о томъ, что его жена—мужичья дочь, да притомъ еще незаконная.—Кстати о Чебуковѣ вспомнила... Что это дитя любви изъ себя представляетъ?

Сельцовъ вопросительно взглянулъ на нее, недоумѣвая, о комъ она говоритъ. О Чебуковѣ? Но развѣ онъ—дитя любви?

— О комъ вы говорите?—спросилъ Петръ Петровичъ.

— Ну, понятно, я не о самомъ Чебуковѣ говорю, а о Леонидѣ,—пояснила она, видя его недоумѣніе.—Что онъ изъ себя представляетъ? Я видѣла его въ эти дни за обѣдомъ: самъ дохленькій, молчитъ, сидитъ, опустивъ глаза... Что онъ у васъ совсѣмъ идіотъ, что ли?

— Странный онъ,—сказалъ Петръ Петровичъ въ нѣкоторомъ раздумьи и началъ путаться:—но нельзя сказать, чтобы онъ былъ глупъ... онъ даже... нѣтъ, онъ положительно не глупъ. Учится, читаетъ... Правда, людей онъ не любитъ... то-есть... не то что не любитъ... а знаете... какъ вамъ сказать...

Она перебила его громкимъ смѣхомъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, вы ужъ лучше не описывайте его; у васъ ничего изъ этого не выйдетъ...

— Я, правда, не наблюдалъ за нимъ,—сконфуженно началъ оправдываться Сельцовъ.

— Потому что онъ мальчикъ, а не дѣвочка?—спросила она.

— Можетъ-быть,—согласился онъ.

— За дѣвочкой наблюдали бы?—допрашивала Зинаида Андреевна.—Особенно за смазливою? Да? Во всѣ щелки подсматривали бы?

Они оба стали смѣяться, глупо, сально, животнымъ смѣхомъ, напавъ опять на излюбленную тему. Ихъ разговоры всегда кончались этимъ; безъ сальностей имъ было скучно. Они сальничали взапуски, наперебой, точно состязаясь въ этомъ спортѣ на призъ. Его херувимское личико точно

лакомъ покрывалось и блестѣло въ тѣ минуты, когда онъ могъ вести вольные разговоры, сальничать, а она въ такія минуты дѣлалась совсѣмъ беззастѣнчивой и циничною, такъ что ее можно было принять за пьяную. Онъ въ армейскомъ полку, она на провинціальной сценѣ дошли до виртуозности по части распущенности...

— Леня, Леня, не видалъ ли ты Петрушу? Гдѣ Петруша?—раздавались между тѣмъ возгласы въ домѣ.—Вотъ уже часъ, какъ я ищу его. Всѣ углы обѣгала...

Это волновалась и суетилась Марья Андреевна, налетѣвшая неожиданно на худощаваго, голубоглазаго юношу, проходившаго съ поникшей головой и засунутой за жилетъ рукой по залу.

— Я не знаю,—отвѣтилъ онъ тихо, отрицательно качнувъ головой.—Онъ мнѣ не попадался.

— Господи, опять гдѣ-нибудь забился съ Зиной!—воскликнула она.—Всякій день разные углы выбираютъ!.. Погубитъ, погубитъ она его, ужъ это я чувствую... Не могла отбить тогда—отобьетъ теперь... Это чудовище, а не женщина!

Она побѣжала дальше искать мужа и ненавистную сестру. Леонидъ, не обращая на нее вниманія, пошелъ дальше по направленію къ послѣдней комнатѣ въ домѣ. Онъ осторожно подошелъ къ ней, чуть слышно отворилъ дверь и на минуту остановился на порогѣ, несмѣло всматриваясь въ фигуру лежавшей на постели женщины, точно опасаясь найти ее уже мертвой. Она, повидимому, сладко спала. Онъ осторожно на цыпочкахъ приблизился къ ней и сѣлъ на кресло. Это былъ обычный его постъ, на которомъ онъ проводилъ цѣлые часы въ послѣдніе мѣсяцы. Изъ всѣхъ живущихъ въ домѣ онъ одинъ оставался здѣсь, по-долгу слѣдя за больной, услуживая ей, передумывая тяжелыя думы...

Ему было о чемъ подумать...

Онъ просидѣлъ неподвижно съ полчаса, какъ вдругъ больная закашляла, какъ-то особенно тревожно заметалась, полуоткрывъ одинъ глазъ и видимо ничего не сознавая; потомъ, открывъ ротъ, она начала тяжело дышать, точно съ усиліемъ стараясь побольше глотнуть недостававшаго ей воздуха; наконецъ, она сдѣлала еще два-три усилія пошевельнуться, закрыла опять полуоткрывшійся глазъ и стала постепенно затихать. Минуты шли за минутами, а она уже не дѣлала ни малѣйшаго движенія, постепенно застывая... Это была смерть, первая смерть, которую видѣлъ юноша. Его поразило, что это было такъ просто, такъ спокойно;

послѣ долгихъ страданій жизни, послѣ страшныхъ мукъ болѣзни—незамѣтный переходъ къ полному успокоенію...

Юноша поднялся съ мѣста, поцѣловалъ въ похолодѣвшій лобъ покойницу, приложился къ ея безжизненной рукѣ и тихо, осторожной походкой, какъ бы боясь еще разбудить спящую, вышелъ изъ комнаты.

— Тетя умерла!—объявилъ онъ на ходу встрѣтившейся ему Аделаидѣ Андреевнѣ и пошелъ далѣе.

— Какъ умерла? Когда?—торопливо спросила Аделаида Андреевна.—Кто же при ней былъ?

— Кому же было быть? Я заходилъ посмотрѣть,—отвѣтилъ онъ, не останавливаясь ни на минуту и направляясь въ свою комнату.

Онъ хорошо зналъ, какъ холодно и равнодушно относились всѣ въ домѣ къ больной. Ему не хотѣлось быть свидѣтелемъ фарисейскихъ слезъ...

Въ домѣ началась суета, бѣготня, шумъ. Въ душѣ всѣ радовались желанной развязкѣ.

КНИГА ВТОРАЯ.

I.

Въ Севастополѣ во время осады мѣсяцъ службы считался за годъ, а время севастопольской кампаніи можно считать чуть не за вѣкъ по отношенію къ тому, чѣмъ была жизнь русскаго общества до этой кампаніи и чѣмъ была эта жизнь послѣ кампаніи. Бываютъ и въ отдѣльной человѣческой жизни, какъ и въ жизни цѣлыхъ обществъ, дни, недѣли, мѣсяцы, когда человѣкъ вдругъ словно вырастаетъ, мужаетъ, умнѣетъ, какъ будто надъ нимъ пронеслись не дни, не недѣли, не мѣсяцы, а долгіе-долгіе годы. Это такъ-называемые переломы въ жизни. Это то же, что кризисы въ тяжелыхъ болѣзняхъ.

Такой переломъ, такой кризисъ пережилъ Леонидъ Александровичъ во время болѣзни Евдокіи Яковлевны. До многаго онъ додумался во время этой болѣзни, ко многому присмотрѣлся, многое понялъ изъ того, на чемъ никогда не останавливались ни взглядъ, ни мысль въ скучной однообразной и однотонной прозѣ будничной жизни. Началъ онъ особенно сильно задумываться обо всемъ окружающемъ съ той минуты, когда Аделаида Андреевна неожиданно спросила у него:

— Ты не знаешь, гдѣ у мамы ключи отъ ящика, лежащаго въ комодѣ?

— Право, не знаю,—отвѣтилъ онъ разсѣянно:—кажется, тетя носила какой-то ключикъ на шеѣ съ крестомъ и ладанкой.

Это было во время суеты и хлопотъ послѣ перваго паралича, сдѣлавшагося съ Евдокіей Яковлевной и сильно опечалившаго мальчугана. Онъ горячо любилъ свою тетку, которая только съ нимъ и была неизмѣнно ласкова и добра.

— А тебѣ на что онъ?—спросилъ онъ двоюродную сестру, какъ онъ всегда до сихъ поръ называлъ Аделаиду Андреевну и ея сестеръ.

— Какъ на что? У мамы тамъ лежатъ деньги... Сохрани Богъ, умретъ, такъ все растащутъ,—озабоченно пояснила Аделаида Андреевна.

— Ну, стоитъ ли объ этомъ думать теперь, когда тетѣ такъ худо, — простодушно замѣтилъ онъ. — Мы же не нищіе, чтобы дрожать за каждый грошъ...

— Мы! мы! Кто это «мы»? — неожиданно загорячилась вѣчно спокойная Аделаида Андреевна.—Ужъ не думаешь ли ты, что и ты наслѣдникъ?

— Я ничего не думаю ни о какомъ наслѣдствѣ,—сказалъ онъ просто, немного смущенный ея непривычною рѣзкостью.

— И отлично дѣлаешь, потому что у тебя никакихъ правъ на это нѣтъ,—пояснила она холодно, уже овладѣвая собою.

Затѣмъ этотъ разговоръ оборвался, но начались толки сестеръ о томъ, что онѣ не знаютъ, сколько имъ останется денегъ, что, можетъ-быть, онѣ останутся чуть не нищими. Мать вѣдь никогда не посвящала ихъ въ свои дѣла и всѣмъ распоряжалась сама съ помощью Евдокима Семеновича. Она усчитывала каждый грошъ. Можетъ-быть, она и точно не такъ богата, какъ всѣ думали. Раздѣлится все имѣніе и, можетъ-быть, гроши достанутся. Началось даже скаредничанье, начались жалобы на то, что у нихъ много выходитъ денегъ. Еще бы! столько лишнихъ ртовъ. Юношѣ стало казаться, что въ числѣ лишнихъ ртовъ считаютъ и его. Всякій странницы и богомолки, конечно, менѣе стоили, чѣмъ онъ. За него и въ гимназію платятъ, ему учителя музыки нанимаютъ, его и одѣваютъ щегольски. Да, это именно его считаютъ лишнимъ ртомъ. Не даромъ же кузина Адель попрекнула его: «Не думаешь ли ты, что и ты наслѣдникъ». Раза два Аделаида Андреевна, заставъ Леонида у постели больной, недовольнымъ тономъ замѣтила ему:

— Чѣмъ бы здѣсь торчать безъ дѣла, приготовлялъ бы уроки! Если не выдержишь экзамена, то придется, можетъ-быть, неучемъ остаться. У насъ вѣдь нѣтъ капиталовъ особыхъ, чтобы на тебя тратиться.

Неужели же, въ самомъ дѣлѣ, ему даже курса не дадутъ окончить, если тетка умретъ? Куда же онъ тогда пойдетъ, что станетъ дѣлать? А музыка? Онъ такъ любитъ музыку. Его учитель пророчитъ ему блестящую музыкальную будущность...

Какъ-то разъ Леонидъ случайно услышалъ разговоръ сестеръ:

— Ужъ не ждетъ ли онъ, чтобы мама пришла въ себя и надѣлила его деньгами? — желчно говорила Аделаида Андреевна. — Я теперь всякихъ мерзостей жду. Въ такихъ случаяхъ всѣ готовы грабить. Всѣ, точно вороны, чуютъ падаль...

— Милочка, вѣдь у него и такъ есть свои деньги,—замѣтила Марья Андреевна, слащаво заступаясь за Леонида.— Чего же ему нужно еще?

— Ну, какія-то три тысячи, что ли! Хочется, конечно, побольше,—сказала Аделаида Андреевна.—Подкидышъ! Постоянно поддѣлывался къ мамѣ!

Леонидъ Александровичъ впервые услышалъ, что онъ «подкидышъ».

Значитъ, Евдокія Яковлевна ему вовсе не тетка, Адель и Мари не кузины.

Такъ вотъ почему онъ скитался въ дѣтствѣ такъ долго изъ дома въ домъ, съ квартиры на квартиру, пансіонеромъ какихъ-то чужихъ женщинъ, которыя держатъ у себя разныхъ сиротъ и незаконнорожденныхъ дѣтей, кормясь на счетъ этихъ дѣтей. Именно у этихъ-то женщинъ онъ и захирѣлъ съ самаго ранняго дѣтства, такъ захирѣлъ, что потомъ въ холѣ и въ нѣгѣ едва могли поправить его здоровье. Только на восьмомъ году привезли его въ домъ женщины, которую называли его теткою и которая иногда навѣщала его. Домъ былъ богатый, обширный, весь утопавшій въ зелени сада, настоящій провинціальный барскій домъ; но здѣсь всѣ ходили почему-то въ черномъ, въ траурѣ, и онъ узналъ потомъ, что женщина, которую называли его теткою, очень недавно овдовѣла. Привезъ его сюда Евдокимъ Семеновичъ. Это была единственная личность, которую, кромѣ тетки, онъ зналъ съ колыбели. Каждый пріѣздъ Евдокима Семеновича къ нему, гдѣ бы онъ ни жилъ на хлѣбахъ, былъ для него великимъ праздникомъ. Евдокимъ Семеновичъ ласкалъ его, привозилъ ему гостинца, бранился изъ-за него съ содержательницами пансіонеровъ, дѣлалъ ему обновки. Такими же праздниками были для него пріѣзды тетки, но она ѣздила гораздо рѣже, чѣмъ Евдокимъ Семеновичъ, и почти постоянно плакала, лаская его. Начнетъ его цѣловать и плачетъ, называя его «своимъ сиротинкою». Онъ не зналъ, о чемъ она плачетъ, но ему было очень-очень жаль ее. Когда его привезли къ ней въ домъ, она-

чала зимою въ городѣ, потомъ въ имѣніе на лѣто, онъ сталъ вполнѣ счастливымъ. Его не морили голодомъ, не держали въ душной комнатѣ, наполненной другими ребятишками, не ставили въ уголъ, не наказывали, не кричали на него. Здѣсь не было и взрослыхъ пансіонеровъ, которые драли бы его за вихоръ и отнимали бы у него ѣду. Онъ попалъ въ рай и, конечно, не спрашивалъ, почему прежде его не держали въ этомъ раю. Его любила не только тетка, довольно суровая съ своими собственными дочерьми, окруженная монахинями и странницами, полюбили даже эти дочери хозяйки дома, его кузины, обращавшіяся нерѣдко къ нему съ просьбами о томъ, чтобы онъ сказалъ ихъ матери, что онѣ «плачутъ», нуждаясь въ томъ или другомъ. Онѣ хорошо знали, что лучшаго ходатая и заступника за нихъ передъ ихъ матерью не могло быть, что не только она, но самъ Евдокимъ Семеновичъ легко поддавались на просьбы мальчугана. Леонидъ же всегда готовъ былъ исполнить желаніе кузинъ и ходатайствовалъ за нихъ, зная, какъ будутъ рады Адель и Маня, если онъ принесетъ имъ добрую вѣсть. Тетка въ этихъ случаяхъ говорила ему со вздохомъ:

— Все-то ты за другихъ просишь. Кто-то только о тебѣ заботиться станетъ...

И онъ слышалъ не разъ, какъ она особенно мягко, точно не своимъ — въ обыкновенныхъ случаяхъ сухимъ и желчнымъ—голосомъ говорила Евдокиму Семеновичу:

— Ангельская душа... въ кого, Богъ-вѣсть.

Ангельская душа! Дѣйствительно, онъ былъ ласковъ и добръ. Не потому ли, что онъ былъ глубоко несчастливъ въ первые годы своей жизни? Если бы дѣти были по натурѣ злопамятны, если бы именно имъ не была дана счастливая способность забывать быстро всѣ удары судьбы, всѣ невзгоды, то изъ него вышелъ бы, вѣроятно, страшно озлобленный человѣкъ; изъ него же вышелъ человѣкъ, знавшій по опыту, что значатъ лишенія, что значатъ тычки и пинки, и въ то же время знавшій цѣну каждой ласки, каждаго выраженія вниманія, всего, что краситъ жизнь, что привязываетъ къ ней.

«Подкидышъ! подкидышъ!.. Нѣтъ ни отца, ни матери, ни родныхъ!..» Эта мысль клиномъ засѣла въ его головѣ послѣ того, какъ онъ услышалъ слова Аделанды Андреевны о томъ, что онъ подкидышъ, что онъ поддѣлывался къ ея матери. Не безъ горечи вспоминалъ онъ, какъ онъ хода-

тайствовалъ въ дѣтствѣ за Адель и Маню, какъ говорила ему тетка: «За всѣхъ-то ты проснись. Кто-то только о тебѣ самомъ похлопочетъ».

«О, только не Адель!»—проносилось въ его головѣ...

Но почему же его такъ любила тетка, почему его любилъ Евдокимъ Семеновичъ, почему они, суровые и непривѣтливые съ другими, прояснялись при немъ, точно отъ него падалъ на нихъ лучъ солнца, почему при жизни тетки не называли его подкидышемъ, и это прозвище вырвалось съ языка у Адели только во время безнадежной болѣзни той, которую онъ считалъ за тетку? Почему тетка до восьми лѣтъ не брала его къ себѣ и взяла въ свой домъ только послѣ смерти своего мужа? Не былъ ли ея мужъ главною помѣхою для принятія его въ ея домѣ? Не была ли она его матерью и только скрывала это почему-то, скрывала, пока не умеръ ея мужъ? Но, въ такомъ случаѣ, кто же былъ его отецъ? Не Евдокимъ ли Семеновичъ? Вѣдь онъ одинъ изъ всѣхъ мужчинъ ѣздилъ къ нему въ тѣ дома, гдѣ онъ жилъ въ дѣтствѣ пансіонеромъ. Онъ одинъ изъ постороннихъ мужчинъ былъ всегда ласковъ съ нимъ!

Гдѣ рѣшеніе этихъ вопросовъ? У кого спросить о томъ, что глубоко взволновало молодую душу?

На первой же панихидѣ Леонидъ, стоя у стѣны около Евдокима Семеновича, пристально вглядывался въ лицо покойницы. Чѣмъ дольше онъ глядѣлъ на нее, чѣмъ живѣе представлялись ему ея прошлыя отношенія къ нему, тѣмъ яснѣе чутьемъ угадывалъ онъ, что она была ему не тетка. Глубоко взволнованный, весь охваченный страстнымъ желаніемъ узнать истину, онъ шопотомъ обратился къ Евдокиму Семеновичу съ вопросомъ:

— Вѣдь она была моя мать? Да?

Евдокимъ Семеновичъ вздрогнулъ отъ неожиданности. Казалось, даже теперь онъ боялся, что кто-нибудь подслушаетъ ихъ.

— Послѣ, послѣ, Ленечка!—могъ только прошептать онъ юношѣ.

Панихида кончилась. Всѣ загасили свѣчи и поспѣшили разойтись. У стола, на которомъ лежала покойница, остались только Леонидъ и Евдокимъ Семеновичъ.

— Ну да, она твоя мать,—тихо сказалъ старикъ.—Это что-жъ теперь таить. Скрыть только ей надо было тогда, при жизни мужа, что ты ея сынъ. Что дѣлать, въ жизни всяко бываетъ, Ленечка. Не убоялась бы ничего тогда — и

былъ бы ты законнымъ сыномъ. Все имѣніе къ тебѣ перешло бы. Ну, да что съ возу упало—пиши пропало. Только мамаша поправила отчасти свою ошибку: завѣщаніе оставила, по міру ты не пойдешь, Богъ дастъ. Только бы все обошлось благополучно, голубчикъ.

Все это разсказалъ Леониду Евдокимъ Семеновичъ опасливо, шопотомъ, точно боясь, что кто-нибудь услышитъ ихъ. Леонидъ молчалъ и жадно вглядывался въ лицо покойницы, точно въ немъ было что-то новое для него: это не тетка, а мать—мать, которая ни разу не смѣла назвать его своимъ сыномъ, которой онъ ни разу не сказалъ: «мама». Ему вспомнилось, какъ она когда-то, горько плача, говорила ему: «ахъ, ты мой сиротинушка!» Изъ его глазъ полились горькія слезы на руки покойницы.

— Пойдемъ, Ленечка, пойдемъ!—сказалъ Евдокимъ Семеновичъ, дотрогиваясь до его плеча.

Леонидъ очнулся.

— А кто же былъ мой отецъ?—спросилъ онъ, обращаясь къ Евдокиму Семеновичу.

— Послѣ, послѣ, Ленечка, все ты узнаешь,— отвѣтилъ опять съ прежнею опасливостью Евдокимъ Семеновичъ.— Нельзя теперь говорить. Вотъ, Богъ дастъ, все устроится, уляжется, завѣщаніе войдетъ въ силу... И времени-то не много осталось ждать. Все узнается тогда... Теперь-то лишняго говорить не надо...

Онъ говорилъ и ласково гладилъ взволнованнаго, еще отиравшаго слезы юношу по головѣ, а у того сильно билось сердце и какой-то тайный голосъ подсказывалъ:

«Это и есть твой отецъ!»

II.

Въ домѣ покойной Звегинцевой всѣхъ занималъ вопросъ о содержаніи духовнаго завѣщанія. Въ ожиданіи вскрытія этого завѣщанія Чемезовъ и Чебуковъ не теряли времени и, какъ настоящіе дѣльцы, работали надъ приведеніемъ въ ясность всѣхъ дѣлъ, которыя велъ еще при покойной барынѣ Евдокимъ Семеновичъ...

Время подходило къ осени, и семья собиралась въ городъ.

Въ деревнѣ жилось всегда тихо и скучно, а теперь и подавно. Особенно сильно скучала Зинаида Андреевна, давно привыкшая къ шуму театровъ, ресторановъ, загородныхъ гуляній.

— Боже мой, неужели же нужно ждать до зимы вскры-

тія духовнаго завѣщанія? — жаловалась она послѣ смерти матери, такъ какъ ей уже давно до тошноты надоѣло жить въ родномъ домѣ.

Ее уже не тѣшили даже бесѣды съ Петромъ Петровичемъ и насмѣшки надъ Марьей Андреевной.

— И я не понимаю, что могла маменька написать въ духовной; насъ всего четверо, значитъ, очень просто было раздѣлить все на четверыхъ безъ всякаго духовнаго завѣщанія, — ныла пріѣхавшая къ самымъ похоронамъ матери Зоя Андреевна.

— Четверо! четверо! — передразнила ее съ ироніей Зинаида Андреевна.—Можетъ-быть, и шестеро найдется, Евдокимъ Семеновичъ да Леонидъ, можетъ-быть, пристегнуты. Тоже ни для кого не тайна, какую роль игралъ при maman этотъ старый угодникъ женщинъ и кто былъ этотъ подкидышъ.

— Зина, ради Бога, не говори такъ про маменьку, — молящимъ голосомъ воскликнула Зоя Андреевна.—Мы дѣти и не должны судить мать.

— Дѣти! дѣти!.. У самихъ у насъ могъ бы быть десятокъ дѣтей,—съ насмѣшкой сказала Зинаида Андреевна.— Нашла тоже несмысленочковъ!

— Ахъ, Зина, какія вещи ты говоришь! — застѣнчиво произнесла Зоя Андреевна.

— А ты со своимъ пѣвчимъ о какихъ вещахъ говорила?— съ насмѣшкой въ голосѣ спросила Зинаида Андреевна.

— Тебѣ грѣхъ, тебѣ грѣхъ попрекать меня старымъ! — захныкала Зоя Андреевна. — Я, можетъ-быть, кровавыми слезами отмолила этотъ проступокъ, а ты попрекаешь...

Эта уже довольно перезрѣлая дѣвушка, съ покрытымъ прыщиками лицомъ, съ вѣчно слезящимися глазами, съ плаксивымъ голосомъ, была яркимъ контрастомъ съ Зинаидой Андреевной, которая, будучи на годъ старше сестры, казалась на десять лѣтъ моложе ея и, особенно со сцены, еще завлекала провинціальную публику, и армейскихъ офицеровъ, и кутящихъ купчиковъ своею красотою, своею бойкостью и своею неразборчивостью по части сердечныхъ сближеній. Зоя Андреевна, не красивая, не смѣлая, напротивъ того, сдѣлала въ своей жизни только одинъ проступокъ и, выгнанная за него изъ дому матерью, вѣчно ныла и плакала о невозвратномъ.

— Да, наконецъ, мнѣ неудобно киснуть здѣсь, когда скоро начнется зимній сезонъ,—заявила Зинаида Андреевна,

пропуская мимо ушей нытье Зои Андреевны. — Я и такъ чуть не половину лѣта потеряла...

— Но развѣ непремѣнно надо намъ здѣсь дожидаться вскрытія духовнаго завѣщанія?—сказала Зоя Андреевна.

— Господи, какъ ты глупа! Развѣ я остаюсь здѣсь по доброй волѣ? У меня гроша за душой нѣтъ, чтобы выѣхать,—пояснила Зинаида Андреевна.—Я ужъ и то думала у Мани попросить денегъ: скажу, что если она дастъ, то оставлю въ покоѣ ея Петрушу, а то такъ отобью его...

— Ахъ, тебя, право, не поймешь, когда ты шутишь, когда нѣтъ. Развѣ можно намъ, дѣвушкамъ, говорить такія вещи,—упрекнула ее Зоя Андреевна.

— Ну да, вы, смиренницы, молчите, и Богъ знаетъ, что тайкомъ дѣлаете,—засмѣялась Зинаида Андреевна.

Въ эту минуту вошла въ комнату Марья Андреевна.

— А мы вотъ о тебѣ сейчасъ говорили, — сказала Зинаида Андреевна.—То-есть, это я говорила... Хочется вотъ мнѣ уѣхать поскорѣй, такъ я и хочу требовать у тебя отступного: если дашь—оставлю въ покоѣ твоего мужа, а не дашь—отобью его у тебя.

Она громко засмѣялась, смотря на оторопѣлое лицо Марьи Андреевны, выражавшее не то недоумѣніе, не то испугъ.

— Душечка, что ты говоришь! — воскликнула она слащаво.—У тебя, шерочка, все смѣхъ и шутки.

— Да если бы у меня не было способности шутить и смѣяться, мнѣ уже давно пришлось бы повѣситься здѣсь отъ скуки,—отвѣтила Зинаида Андреевна.

И, сдѣлавъ серьезный видъ, она пояснила:

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, не можешь ли ты мнѣ одолжить... Ну, рублей пятьсотъ-шестьсотъ... У меня вѣдь, по обыкновенію, все перезаложено въ Москвѣ. Да еще на проѣздъ нужно.

Марья Андреевна даже испугалась.

— Пятьсотъ рублей! Шерочка, да когда же у меня бывали такія деньги?—воскликнула она.—Никогда у меня не бывало такихъ денегъ!

— Да я же тебѣ отдамъ при раздѣлѣ!—нетерпѣливо сказала Зинаида Андреевна.—Не пропадутъ!

— Милочка, да образъ я готова снять со стѣны, что у меня нѣтъ такихъ денегъ,—забожилась Марья Андреевна.—Ты знаешь, душечка, мы жили на всемъ готовомъ у мамы и большихъ денегъ своихъ у насъ никогда-никогда не было, особенно у меня... У Адели еще бывали иногда деньги, она

копить умѣла, а я... Петька мой каждый грошъ вытянетъ: ручки начнетъ цѣловать, каждый пальчикъ перецѣлуетъ и вытянетъ... противная лиса!

Она сдѣлала ребяческую физіономію.

— Ну, такъ ты у Адели для меня спроси,—нетерпѣливо сказала Зинаида Андреевна. — Сама я вовсе не желаю съ ней говорить. Начнемъ говорить и сейчасъ разругаемся!

— Душечка, я всей душой рада сдѣлать это для тебя, если только она согласится, — увѣряла сестру Марья Андреевна.—Я всей душой рада, милочка!

И дѣйствительно, на другой же день утромъ она передала Аделаидѣ Андреевнѣ, что Зинаида Андреевна желаетъ уѣхать и что ее задерживаетъ только недостатокъ средствъ, а потому она проситъ дать ей взаймы пятьсотъ-шестьсотъ рублей. Аделаида Андреевна сдѣлала презрительную гримасу и замѣтила, что «вѣрно Зина съ ума сошла». Кто ей повѣритъ такую сумму? Долговъ у нея, вѣрно, выше головы — получитъ наслѣдство — все и пойдетъ кредиторамъ. Вѣроятно, всякіе векселя подадутся ко взысканію въ день раздѣла имѣнія.

— Конечно, — прибавила она: — я была бы очень рада избавиться и отъ нея, и отъ Зои, которыя мнѣ здѣсь надоѣдаютъ, но такихъ денегъ я никогда не дамъ, да у меня ихъ и нѣтъ теперь.

Въ эту минуту вошли въ комнату Левъ Ивановичъ и Евдокимъ Семеновичъ, проводившіе теперь каждое утро за какими-то счетами и расчетами. Аделаида Андреевна сообщила мужу желаніе «сумасшедшей» Зинаиды. Евдокимъ Семеновичъ немного замедлилъ въ комнатѣ и, переждавъ холодно произнесенное Чемезовымъ «это невозможно», осторожно замѣтилъ:

— Что ей и въ самомъ дѣлѣ здѣсь людямъ глаза мозолить?.. И она, и Зоя Андреевна отвыкли отъ своей семьи и отъ здѣшней жизни... имъ тутъ и тяжело, и скучно... извѣстно, въ чужомъ домѣ... Завѣщаніе же и безъ нихъ можно вскрыть будетъ... Имъ и ждать-то вскрытія его и всѣхъ этихъ формальностей да проволочекъ особенно нечего... Какія-нибудь пять-шесть тысячъ всего-то каждой достанутся... сколько мнѣ помнится... Довѣренность тоже могутъ здѣсь дать въ городѣ, кто бы за нихъ представителемъ и ихъ повѣреннымъ былъ...

— Ну, это ихъ дѣло, а давать взаймы я не намѣренъ,— рѣшительно сказалъ Чемезовъ.

— Нѣтъ, что же изъ-за этакого-то пустяка ихъ задерживать, — заторопился Чебуковъ: — говоря уже не объ одной Зинаидѣ Андреевнѣ, а и о Зоѣ Андреевнѣ. Я съ моимъ удовольствіемъ дамъ имъ взаймы и предоставлю повѣренаго.., что ихъ держать тутъ... Тоже женщины онѣ, только напутать могутъ, а такъ-то съ повѣреннымъ все глаже сойдетъ.

— То-есть, какъ это глаже? спросилъ Чемезовъ, взглянувъ на Евдокима Семеновича.

Съ нѣкотораго времени онъ точно ловилъ его на словахъ.

— Извѣстно безъ женщинъ спокойнѣе... путать некому,— пояснилъ Евдокимъ Семеновичъ.

И рѣшилъ:

— Я это дѣло устрою!

На третій день, благодаря предупредительности Евдокима Семеновича, не только были обдѣланы въ городѣ всѣ формальности по части довѣренностей, но и получены Зинаидой Андреевной и Зоей Андреевной деньги, данныя имъ Чебуковымъ изъ своего кармана на выѣздъ.

— Да вы просто золотымъ человѣкомъ стали! — проговорила Зинаида Андреевна, когда онъ, вручивъ ей деньги даже въ гораздо большемъ количествѣ, чѣмъ она просила сама, провожалъ ее въ дорогу.

— Не всегда своя воля была! — со вздохомъ замѣтилъ онъ.— На иныхъ людей и смотрѣть не смѣлъ...

— А теперь смѣете?—со смѣхомъ спросила она.

— Смѣть-то смѣю, только на что бѣлкѣ орѣхи, когда зубовъ нѣтъ,—пошутилъ онъ.

Они разстались по-пріятельски, точно между ними никогда и не было и явныхъ, и тайныхъ ссоръ и интригъ.

III.

Семья покойной Евдокіи Яковлевны Звегинцевой, то-есть ея дочери съ мужьями и Леонидъ, съ наступленіемъ осени перебралась въ городъ, куда уже давно требовали Льва Ивановича Чемезова и Петра Петровича Сельцова служебныя обязанности, а Леонида—гимназія.

Этому переѣзду особенно радъ былъ юный Сельцовъ, соскучившійся въ деревнѣ не меньше Зинаиды Андреевны и въ сущности не думавшій ни о чемъ кромѣ развлеченій, мелкихъ товарищескихъ пирушекъ, легкихъ кутежей, какіе были только по карману ему, не избалованному щедростью

покойной тещи и жены. Правда, въ послѣднее время онъ мечталъ и о болѣе широкихъ удовольствіяхъ, и о болѣе шумной жизни, надѣясь на наслѣдство. Эти мечты вызывали широкую улыбку на его женоподобное розовое личико. Теперь онъ и Маня уже не будутъ смотрѣть изъ чужихъ рукъ, не будутъ принуждены выпрашивать гроши у матери и слышать холодные и сухіе попреки Аделаиды Андреевны за то, что они тянутъ деньги съ матери. Изъ-за этого вытягиванія грошей въ домѣ были постоянныя дрязги и ссоры: сестры то-и-дѣло попрекали одна другую тѣмъ, что та или другая изъ нихъ вытягиваетъ у матери больше денегъ — подъѣдетъ къ матери лисичкой и вытянетъ деньги. Вообще денежные счеты и расчеты были главною причиною разлада въ ихъ семейной жизни. Теперь Сельцовъ зналъ, что этого больше не будетъ и онъ съ женой вздохнетъ свободнѣе. Маня въ сущности не скупа и, будь только у нея воля, она станетъ и сама транжирить деньги, и будетъ давать ихъ ему, сколько понадобится. Онъ заносился фантазіей иногда такъ далеко, что уже мечталъ о переселеніи въ Петербургъ изъ далекой провинціи; причислится къ гвардіи и заживетъ припѣваючи; безъ средствъ, конечно, о гвардіи и думать нечего, ну, а съ деньгами—другое дѣло. Вѣдь кто знаетъ, сколько оставила имъ мать. Имѣнія у нея были большія, денегъ она приберегла, должно-быть, много. Онъ весь сіялъ отъ этихъ мечтаній.

Наоборотъ, Чемезовъ ходилъ въ послѣднее время особенно озабоченнымъ и мрачнымъ. Его безцвѣтная бѣлобрысая физіономія съ жиденькой шевелюрой, пробранной по-англійски по серединѣ, хмурилась, лобъ морщился, и онъ постоянно то-и-дѣло покусывалъ губы и теребилъ мочалистыя баки, что было вѣрнымъ признакомъ неудовольствія. Его видимо угнетали какія-то черныя думы, какія-то зловѣщія опасенія.

Какъ-то разъ, оставшись вдвоемъ съ женою, онъ наконецъ высказалъ причину своихъ заботъ.

— По духовному завѣщанію придется дѣлиться, кромѣ Зинаиды и Зои, съ Евдокимомъ и Леонидомъ, — мелькомъ проговорилъ онъ.

— Господи, что же намъ-то останется? — воскликнула Аделаида Андреевна.

— Намъ и Мари все остальное почти пополамъ дѣлится,—проговорилъ онъ коротко, какъ онъ говорилъ обыкновенно, не до конца высказывая свои мысли.

Онъ всталъ и заходилъ въ раздумьи по комнатѣ, пощипывая концы бакъ.

— Знаешь, иногда мнѣ кажется, что завѣщаніе подложное, что это дѣло Евдокимовыхъ рукъ, — замѣтилъ онъ рѣзко, покусывая нижнюю губу.

— Не можетъ быть! Онъ такой трусъ! — рѣшительнымъ тономъ сказала она.

Трусомъ Евдокима Семеновича давно привыкли считать всѣ въ домѣ. Такъ называла его въ минуты раздраженія сама Евдокія Яковлевна. Она давно подмѣтила въ немъ эту черту и съ горечью попрекала его за это. Изъ трусости онъ развратилъ ее когда-то, изъ трусости онъ сдѣлалъ несчастнымъ Леонида, изъ трусости онъ поссорилъ ее съ первыми дѣтьми. Она не могла всего этого забыть и слово «трусъ» не разъ срывалось у нея съ языка, когда она сердилась на него.

Левъ Ивановичъ продолжалъ высказывать свои соображенія:

— Какъ могъ Евдокимъ забыть о завѣщаніи во время перваго припадка паралича, уложившаго въ постель Евдокію Яковлевну? Всѣ говорили о наслѣдствѣ, всѣ суетились, какъ бы до пріѣзда Зины и Зои прибрать кое-что свое, чтобы эти барыни не захватили всего въ домѣ матери, и ея, и чужого, а онъ, видите ли, забылъ о духовной... Вѣроятно это?.. Потомъ же, черезъ пять мѣсяцевъ, вдругъ вспомнилъ. Вспомнилъ даже, гдѣ лежитъ завѣщаніе, съ какой надписью на конвертѣ... Понемногу, занимаясь со мной хозяйственными счетами, онъ вспомнилъ, точно случайно, даже всѣ мелочи завѣщанія: столько-то Зинаидѣ Андреевнѣ и Зоѣ Андреевнѣ, столько-то Ленечкѣ, столько-то ему, рабу своему вѣрному, изволила завѣщать Евдокія Яковлевна... вспомнилъ даже, сколько на поминъ души раба Божія Аркадія оставила...

— Значитъ при вскрытіи завѣщанія придется начать дѣло о подлогѣ? — сказала Аделаида Андреевна и на минуту—только на одну минуту—вспомнила, что онъ, Евдокимъ Семеновичъ, все же ея отецъ.

Нѣжности къ нему ни она, ни Марья Андреевна не питали и всѣми силами старались выказать, что онѣ даже не подозрѣваютъ, что онъ ихъ отецъ. Любилъ его только Леонидъ, хотя именно онъ-то и былъ въ полномъ невѣдѣніи относительно своей близости къ Евдокиму Семеновичу.

— Да, да, конечно,—заговорилъ Чемезовъ въ отвѣтъ на

слова жены, потирая свой лобъ.—Если окажется мое подозрѣніе справедливымъ, придется признать завѣщаніе недѣйствительнымъ... тогда по закону придется дѣлиться... на четверыхъ дѣлить все.

— А теперь на шестерыхъ! — воскликнула Аделаида Андреевна.

— На шестерыхъ! — презрительно повторилъ ея слова Чемезовъ. — На шестерыхъ!.. Въ томъ-то и дѣло, что при дѣлежѣ на шестерыхъ на нашу долю и отчасти на долю Мари вдвое больше приходится. «Евдокія Яковлевна, говоритъ Евдокимъ, позаботились, чтобы ихъ состояніе не попало Богъ вѣсть въ чьи руки... ахтерамъ какимъ-нибудь, да пѣвчимъ... У нихъ вѣдь осталось все благопріобрѣтенное, родовое давно уже заблаговременно продано... такъ не хотѣли, чтобы свои дѣти любимыя ограблены были. Тоже объ Ленечкѣ вспомнили и меня за мою преданность вознаградили... Знали, что я имъ все сберегъ, а никто другой... Покойный-то Андрей Андреевичъ Богъ знаетъ кому еще при жизни все отдалъ бы... Извѣстно, что за человѣкъ былъ!..»

— Такъ съ чего же ты взялъ, что духовное завѣщаніе подложное? — съ несвойственной ей живостью перебила его жена.—Мать о насъ позаботилась, о нашихъ выгодахъ, чтобы Зинаида и Зоя не ограбили насъ... и ты говоришь: подложное.

Марья Андреевна даже раскраснѣлась, возмущаясь тѣмъ, что мужъ можетъ предполагать подлогъ въ составленіи завѣщанія, которое написано въ ихъ пользу: можетъ ли быть что-нибудь подложно, что полезно и выгодно для нихъ?

— А если окажется, что оно подложное,—тогда что?—спросилъ мужъ.—Что скажутъ Зинаида и Зоя?

— Ахъ, Богъ мой, что онѣ могутъ сказать! Должны благодарить Бога, что хоть крохи имъ достанутся. Мать видѣть не хотѣла ихъ... Слава Богу, что еще не прокляла въ завѣщаніи...

Аделаида Андреевна начала перечислять вины сестеръ противъ матери, помянула всѣхъ любовниковъ Зинаиды Андреевны, какихъ она только знала, перечислила всѣ скандалы, случившіеся съ Зинаидой Андреевной, не забыла даже несчастнаго пѣвчаго Зои Андреевны, стараясь всѣмъ этимъ доказать, что духовное завѣщаніе, составленное въ пользу ихъ, Чемезовыхъ, и отчасти въ пользу Сельцовыхъ, не можетъ быть подложно, что и не могла распорядиться мать иначе, чѣмъ она распорядилась.

— Да ты вспомни, что было три года тому назадъ,— закончила она.—Вѣдь ты говоришь, что, по словамъ Евдокима, духовная была сдѣлана года три назадъ тому... Это именно въ то время было, когда не только Зинаида уѣхала окончательно изъ дома, а и Зоя осрамила насъ своею связью Богъ вѣсть съ кѣмъ... съ пѣвчимъ изъ архіерейскаго хора: мама именно тогда и выгнала ее изъ дому... Какъ тебѣ это не пришло въ голову?.. Вѣдь это ясно, какъ Божій день, что мама подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ исторій и духовную написала...

Левъ Ивановичъ задумался, ничего не отвѣчая женѣ. Она начала доказывать, что всѣ факты говорятъ о неподложности духовной. Ей теперь хотѣлось увѣрить въ этомъ всѣхъ и каждаго: завѣщаніе сдѣлано въ ихъ пользу—какъ же оно можетъ быть подложнымъ? Она такъ оживилась и раскраснѣлась, точно ей пришлось защищать правое дѣло передъ цѣлымъ сонмищемъ судей. Шутка ли, на ихъ долю достанется половина всего состоянія вмѣсто четвертой части.

— Можетъ-быть, можетъ-быть,—въ раздумьи соглашался Левъ Ивановичъ.— Только бы обошлось безъ скандала.

Скандаловъ онъ боялся, какъ огня. Безъ скандала же онъ готовъ былъ взять хоть все состояніе тещи, ограбивъ всѣхъ остальныхъ родныхъ. Только бы безъ скандаловъ!

Въ это время Евдокимъ Семеновичъ, между прочимъ, особенно часто видѣлся съ рекомендованнымъ имъ повѣреннымъ Зинаиды Андреевны и Зои Андреевны. Случайно съѣздилъ онъ въ монастырь, гдѣ проживала Зоя Андреевна,— съѣздилъ на богомолье съ женою и дѣтьми — помолиться свв. Козьмѣ и Даміану, патронамъ монастырскаго собора— и кстати повидалъ Зою Андреевну. Она жила въ монастырѣ у тетки на хлѣбахъ изъ милости, жила не очень-то сладко все ради той же злосчастной исторіи съ пѣвчимъ, — онъ замѣтилъ ей мелькомъ, что она, получивъ свои деньги, могла бы пріютиться и въ родномъ домѣ, а будутъ свои деньги—такъ можетъ она тамъ и независимой вполнѣ быть. Положимъ, мамаша не много ей оставила, а все же не забыла ее: кажется, — не знаетъ онъ точной цифры, но кажется, до восьми тысячъ ей назначено. Слава Богу, что еще совсѣмъ не лишила ее маменька наслѣдства. Сердита ужъ очень была она на дочь, а все же вспомнила о ней въ духовной. Зоя ныла и соглашалась съ нимъ, что лучше восемь тысячъ, чѣмъ ничего. Такъ же случайно побывалъ онъ и въ томъ городѣ, гдѣ должна была играть въ этотъ

зимній сезонъ Зинаида Андреевна. Насчетъ продажи хлѣба надо было ему съ торговцами условиться въ этомъ городѣ— вотъ и пріѣхалъ. Кстати повидалъ и Зинаиду Андреевну. Грѣхъ былъ бы быть въ городѣ и не зайти къ ней. Все же не чужой человѣкъ, а свой. По обыкновенію, она сидѣла безъ денегъ, надѣясь на бенефисъ и на случайныхъ поклонниковъ. Евдокимъ Семеновичъ явился какъ нельзя болѣе кстати. Это она, не стѣснялась, высказала ему со свойственною ей откровенностью.

Попенявъ ей, что она не обратилась къ нему въ денежныхъ затрудненіяхъ, онъ, по его собственному выраженію, изъ кожи вылѣзъ, чтобы только угодить ей.

— А городъ здѣсь, говорятъ, веселый, — замѣтилъ ей Евдокимъ Семеновичъ, и она его, какъ невиннаго несмысленочка, познакомила съ веселыми сторонами города, радуясь возможности поразсѣяться.

Она узнала его съ тѣхъ сторонъ его характера, съ которыхъ она не знала его прежде; на минуту въ немъ проснулся прежній холопъ Евдошка, говорившій когда-то: «да я ноги лизать буду кому угодно, если это нужно». Эта холопская мораль казалась умершей, но она только дремала въ немъ.

— Э, да вы человѣкъ на всѣ руки,—говорила она, прощаясь съ нимъ.

— Былъ въ свое время-съ,—со вздохомъ замѣтилъ онъ.

— Ну да, толкуйте! Молодыхъ за поясъ заткнете! — смѣялась она, грозя ему пальцемъ.

Послѣ этого свиданія, онъ усердно молился Богу въ своемъ домѣ, стоя на колѣняхъ передъ кіотомъ съ образами, озаренными лампадой:

— Не погуби, Господи! Не попусти! Охъ, грѣшникъ я, грѣшникъ окаянный! Лукавый попуталъ, подъ руку подтолкнулъ! Охъ, грѣхи мои тяжкіе! Самъ не знаю, что тянуло!.. Дѣтокъ малыхъ было жаль оставить нищими!.. Леночку пожалѣлъ тоже!.. Ты видишь, Господи!.. Не попусти!

И онъ бился лбомъ объ полъ, дѣлая земные поклоны, а въ головѣ, точно молотомъ, выбивало: «Сибирь!.. каторга!..»

IV.

Никогда еще никто въ семьѣ покойной Евдокіи Яковлевны Звегинцевой не переживалъ такого напряженнаго состоянія, какое переживали Левъ Ивановичъ Чемезовъ, Аделаида Андреевна Чемезова и Евдокимъ Семеновичъ Чебу-

ковъ въ тѣ дни, когда приходилось вскрывать духовное завѣщаніе Евдокіи Яковлевны, согласно ея волѣ, и утверждать въ правахъ наслѣдства и вводить во владѣніе имуществомъ всѣхъ тѣхъ, къ кому, согласно волѣ завѣщательницы, переходили капиталы и имѣнія. Этихъ людей охватывала смутная тревога; а вдругъ почему-либо завѣщаніе не будетъ признано дѣйствительнымъ и кого-нибудь упекутъ подъ судъ, кого-нибудь лишатъ извѣстной доли наслѣдства, которое раздѣлится по закону...

Спокойны были зато всѣ остальныя лица, получавшія свои доли наслѣдства.

Легкомысленные Петръ Петровичъ Сельцовъ и Марья Андреевна Сельцова получали, правда, нѣсколько меньше Аделаиды Андреевны, но все же ихъ часть была очень значительна, и они уже заранѣе мысленно распоряжались ею, уносясь въ мечтахъ въ Петербургъ, покупая домъ, заводя экипажи и лошадей и, какъ рѣшилъ про себя Петръ Петровичъ, «непремѣнно надо будетъ познакомиться съ какой-нибудь француженкой или балетчицей». Они уже дѣлали презрительныя гримасы, смотря на старомодную мебель въ звегинцевскомъ домѣ и выѣзжая куда-нибудь на прогулки или въ церковь въ старыхъ звегинцевскихъ экипажахъ. Они уже съ снисходительной усмѣшкой говорили о провинціальныхъ знакомыхъ, о провинціальныхъ удовольствіяхъ. Зинаида Андреевна узнала отъ своего повѣреннаго о дѣлежѣ наслѣдства въ то время, когда она уже проѣла свой бенефисъ и пустила въ трубу деньги, полученныя случайно отъ какого-то купчика, «хороводившагося» съ ней съ недѣлю послѣ ея бенефиса, и потому безпечно рѣшила: «хорошо еще, что эти гроши достанутся». Ей было все равно, получить ли десятокъ тысячъ, получить ли втрое болѣе, — нужны были какія-нибудь деньги поскорѣе, немедленно, въ данную минуту безденежья, которое, конечно, черезъ извѣстный срокъ должно было повториться снова. Она, какъ Исавъ, всегда была готова продать свое старшинство въ минуту голода за чечевичную похлебку. Зоя Андреевна была тронута предложеніемъ поселиться «въ родномъ домѣ», сдѣланнымъ ей Чемезовымъ по совѣту Евдокима Семеновича, а восемь тысячъ, выпавшихъ на ея долю, она считала цѣлымъ богатствомъ. Мать вѣдь могла ничего не оставить ей, послѣ того, какъ она была выгнана изъ дому. Леонидъ, оставшійся по волѣ завѣщательницы подъ опекой Льва Ивановича Чемезова и Евдокима Семе-

новича Чебукова, былъ глубоко тронутъ тѣмъ, что онъ не былъ забытъ матерью. Велики ли были средства, оставленныя ему, можно ли на нихъ прожить всю жизнь, эти вопросы не интересовали его вовсе: онъ былъ еще совсѣмъ неопытный мальчикъ и радовался только одному, что мать, даже, дѣлая послѣднее распоряженіе, помнила о немъ.

Безпечныхъ и такъ или иначе счастливыхъ наслѣдниковъ вовсе не касался вопросъ о томъ, сколько хлопотъ и затрудненій было съ этимъ завѣщаніемъ, такъ какъ почти всѣ свидѣтели, подписавшіе его, уже успѣли умереть. Но, къ счастію, завѣщаніе было написано все сплошь рукою завѣщательницы, что несомнѣнно было для всѣхъ знавшихъ ея старинный почеркъ, да, кромѣ того, по поводу его не возникло никакихъ споровъ. Всѣ были довольны, всѣ хлопотали о скорѣйшемъ окончаніи дѣла, о полученіи наслѣдства.

— Гора съ плечъ свалилась!—говорилъ, отдуваясь, какъ послѣ долгой ходьбы, у себя дома Евдокимъ Семеновичъ, когда всѣ формальности кончились. — А ужъ и натрусился же я... нечего сказать, набрался страху...

— Да нѣшто оно было поддѣльное? — спросила его неожиданно Ольга Степановна.

— Ну, что выдумала... какія такія слова говоришь, оборони Господи, кто услышитъ,—съ испугомъ остановилъ ее Евдокимъ Семеновичъ

Онъ даже оглядѣлся по сторонамъ, словно боясь, что кто-нибудь подслушаетъ его.

— Не поддѣльное, а только мало ли что въ этихъ случаяхъ бываетъ... свидѣтели попримерли... Спорить могутъ начать, что подписи поддѣланы... Сама, молъ, писала, да подписала кое-какъ, да свидѣтелей не позвала подписать... раздумала, молъ... женщина капризная была... начала писать, да такъ и бросила... проектъ завѣщанія... Мало ли что выдумать могли... А дѣло-то не шуточное. Теперь и моимъ дѣтишкамъ будетъ на молочишко... И Ленечка безъ куска хлѣба не останется... Ужъ больно ласковый онъ до меня, жаль было бы по-міру пустить... Я и говорилъ тогда Евдокіи Яковлевнѣ, что о немъ-то нужно подумать... такъ нѣтъ, тянула все... А, глядишь, и надѣлала экихъ дѣлъ.

— Да вѣдь ты же говоришь, что завѣщанье написано ею,—замѣтила жена.

— Ну да, кѣмъ же больше, какъ не ею, — торопливо сказалъ Евдокимъ Семеновичъ, какъ бы опомнившись, что

онъ сказалъ лишнее. — Я только насчетъ того, что свидѣтели примерли... а то и печать ея... и подпись... всегда она такъ второпяхъ подписывалась: «евдокія звегинцева»... безъ прописныхъ даже литеръ...

И махнувъ рукою, онъ закончилъ:

— Ну, да что говорить... Кончено — и слава Богу... Левъ-то Ивановичъ все допрашивалъ меня допрежь того, точно судья на допросѣ: «Какъ, молъ, вы забыли сперва о завѣщаніи... всѣ объ этомъ дѣлѣ только и говорили у насъ, а вы забыли, что завѣщаніе есть...» Надоѣлъ даже, я ему и ляпнулъ: «Да, говорю, объ этомъ только и говорили, потому и на мысль навели... вспомнилъ, значитъ, какъ покойная Евдокія Яковлевна при мнѣ, чуть не подъ мою диктовку писали самый этотъ документъ...» А потомъ, какъ сообразилъ онъ, что маменька въ ихъ пользу завѣщаніе сдѣлала—замолчалъ... Извѣстно, кто себѣ врагъ...

— Это ужъ что говорить, — согласилась жена и неожиданно спросила:—Такъ это она, значитъ, ту самую бумагу и утвердила, про которую ты тогда говорилъ?

Евдокимъ Семеновичъ даже оторопѣлъ.

— Какую такую бумагу?—переспросилъ онъ тревожно.

— Да помнишь, три, либо четыре года тому назадъ, принесъ ты отъ нея бумагу и ругался, что опять она вздурѣла: стала распоряженье писать, а потомъ закапризничала и бросила,—пояснила жена.

— Господь тебя вѣдаетъ, что̀ ты говоришь,—сказалъ Евдокимъ Семеновичъ въ смущеніи.—Ничего такого и не было.

— Ну, вотъ еще! забылъ ты, вѣрно!—возразила Ольга Степановна.—Какъ сейчасъ помню, какъ ты сердился...

— Ну, ну, не выдумывай небылицъ!.. Пригрезилось что—вотъ и брешешь!—рѣшилъ онъ и заговорилъ о другомъ.

Ему самому было досадно, зачѣмъ онъ заговорилъ съ женой объ этомъ дѣлѣ: ну, кончилось оно благополучно—и конецъ... Забыть его надо, а не разсуждать о немъ.

Сильно возбужденный и точно торжествующій послѣ какой-то побѣды, Евдокимъ Семеновичъ, однако, все снова и снова, помимо своей воли, возвращался къ вопросу о духовномъ завѣщаніи въ разговорахъ со своей женой и въ то же время сердился на себя за неосторожныя слова, за темные намеки, срывавшіеся съ его языка, за то даже, что когда-то онъ говорилъ женѣ о проектѣ духовнаго завѣщанія, набросанномъ, но не подписанномъ Евдокіею Яко-

влевной. Всѣ эти неровности, возбужденіе и недомолвки Евдокима Семеновича бросались въ глаза. Было очевидно, что у него въ душѣ была какая-то тайна, о которой онъ не могъ и не смѣлъ говорить откровенно ни съ кѣмъ, даже съ любимою женою, хотя, подъ вліяніемъ радости, и чувствовалась непреодолимая потребность высказаться насчетъ удачно обдѣланнаго дѣла. Эта потребность высказаться могла бы сразу броситься въ глаза хотя немного болѣе наблюдательной личности, чѣмъ простодушная Ольга Степановна, хотя бы тогда, когда Евдокимъ Семеновичъ бралъ на руки своихъ дѣтишекъ и, играя съ ними, говорилъ въ восторгѣ, по-дѣтски сюсюкая и нѣжно оттопыривая свои сочныя губы:

— Тятька-то все объ васъ хлопочетъ! Подрастете, поминать его будете! По-міру не пойдете теперь! Не знаете еще, что такое деньги! Безъ денегъ-то, охъ! какъ солоно жить! Тятька-то вотъ росъ безъ денегъ!

Своихъ дѣтей онъ любилъ горячо и искренно...

Даже Леонидъ услышалъ отъ Евдокима Семеновича, зашедшаго по дѣламъ къ Льву Ивановичу Чемезову, радостное замѣчаніе:

— Ну, Ленечка, теперь нуждаться не будешь... не попрекнутъ, что чужой хлѣбъ ѣшь... Ужъ такъ-то я радъ за тебя...

— Спасибо вамъ, добрый вы!—задушевно сказалъ Леонидъ и спросилъ, понизивъ голосъ:—А помните, вы мнѣ что-то обѣщали сказать?..

— Послѣ, послѣ, Ленечка, все разскажу!—отвѣтилъ старикъ, погладивъ его по головѣ.—На досугѣ, какъ-нибудь... у себя въ домѣ... вотъ завернешь ко мнѣ, тогда и потолкуемъ...

Совсѣмъ иное впечатлѣніе, чѣмъ Евдокимъ Семеновичъ, производилъ Чемезовъ. Утвержденный въ своихъ правахъ на наслѣдство, онъ сталъ смотрѣть еще болѣе «индѣйскимъ пѣтухомъ», какъ его называла Зинаида Андреевна. Ни возбужденія, ни радости не отражалось на его безцвѣтномъ лицѣ, съ оловянными глазами, съ англійскими бакенбардами, съ англійскимъ проборомъ на головѣ, съ сильно порѣдѣвшими волосами. На этомъ лицѣ отпечаталось только застывшее выраженіе серьезности и важности, точно этотъ человѣкъ съ полученіемъ наслѣдства получилъ какую-то высокую и священную миссію, поставившую его выше всѣхъ смертныхъ. О томъ, какъ получалось наслѣдство, не было теперь и рѣчи, онъ даже разсердился на жену, когда она замѣтила разъ ему:

— Вотъ ты думалъ, что завѣщаніе подложное...

— Никто этого не думалъ,—сухо замѣтилъ онъ.

— Ну, какъ же, мнѣ еще пришлось отстаивать Евдокима Семеновича.

— Что ты глупости говоришь,—рѣзко остановилъ онъ ее.—Если я и замѣтилъ когда-нибудь мелькомъ, что странно, какъ это Евдокимъ Семеновичъ, такой дѣловой человѣкъ, могъ забыть о завѣщаніи, то я этимъ выражалъ только свое недоумѣніе, какъ онъ могъ забыть... при его дѣловитости... Подложное! Кто же могъ сдѣлать подлогъ? Съ какой цѣлью?..

Онъ спутался и оборвалъ рѣчь строгимъ замѣчаніемъ:

— Я думаю, можно не говорить глупостей!..

Аделаида Андреевна не возразила ничего. Практичная и дѣловитая, она не боялась своего мужа и дѣлала, что хотѣла. Но иногда, когда онъ дѣлалъ ей короткія, строгія замѣчанія, она покорно смолкала, сознавая, что она сдѣлала или сказала какую-нибудь глупость, то-есть поступила непрактично.

V.

Большая лампа, съ затѣйливымъ большимъ абажуромъ, освѣщала большой преддиванный столъ, покрытый бѣлой скатертью съ каймой изъ красныхъ пѣтуховъ и фантастическихъ цвѣтовъ въ русскомъ вкусѣ. На столѣ стояли подносъ, чашки, чайникъ, самоваръ. Чай уже былъ почти допитъ, но самоваръ еще не убирался и противъ хозяина дома еще стоялъ налитый чаемъ стаканъ. Въ комнатѣ царствовали спокойствіе и затишье, съ которыми вполнѣ гармонировали и мягкій свѣтъ, разливаемый защищенной абажуромъ лампой, и незыблемо теплящійся огонекъ лампады, озарявшій золоченыя ризы и вѣнчики образовъ въ кіотѣ. Гармонировалъ съ этимъ вечернимъ спокойствіемъ и степенный образъ пожилого, но все еще красиваго хозяина дома—Евдокима Семеновича Чебукова.

— Эхъ, Ленечка, Ленечка, что твоя мамаша пережила, да что и я-то съ нею пережилъ, такъ это и разсказать трудно,—разсказывалъ онъ Леониду, медленно допивая пятый стаканъ чаю.—Не думалъ я тогда, что вотъ придется мнѣ тихо и мирно зажить въ своемъ домишкѣ...

Этотъ домъ, недавно купленный Евдокимомъ Семеновичемъ въ городѣ, обставленный имъ по-купечески, съ довольно дорогою мебелью, прикрытою чехлами, съ плохими картинами въ дорогихъ позолоченныхъ рамахъ, съ бронзовыми часами подъ стеклянными колпаками, стоявшими «для

виду» въ залѣ и гостиной и никогда не заводившимися, «чтобы они не портились», съ дешевыми, но цвѣтущими растеніями, въ родѣ кактусовъ, китайскихъ розъ, фукцій, волкамерій и гераній въ пестрыхъ фарфоровыхъ горшкахъ, съ кіотами въ углахъ и теплящимися лампадами передъ образами,—говорилъ о довольствѣ, о зажиточности его хозяевъ. Осматривая его, трудно было представить, что когда-то его обладатель ходилъ и босымъ, и оборваннымъ, и спалъ, какъ собачонка, гдѣ попало въ общихъ людскихъ комнатахъ, на полу, на матрацѣ въ видѣ блина, на случайно брошенной подстилкѣ. Еще труднѣе было повѣрить, что его почтенный хозяинъ съ степеннымъ красивымъ лицомъ, обрамленнымъ уже сѣдѣющими черными волосами, съ орденами и медалями на шеѣ и въ петлицѣ, говорившій неторопливо и плавно, какъ власть имѣющій человѣкъ,—былъ когда-то тѣмъ шустрымъ казачкомъ Евдошкой, котораго заставляла дворня «играть камедь», плакать и смѣяться по ея приказанію,—тѣмъ смазливымъ молодымъ лакеемъ Евдокимомъ, который едва смѣлъ глядѣть на свою несчастную барыню, пробуя въ то же время соблазнить ее, и который потомъ терзался, какъ отъявленный трусъ, одною мыслью, что его запоретъ на конюшнѣ старый баринъ.

Когда Евдокимъ Семеновичъ неспѣшно и со спокойнымъ видомъ почтеннаго старика разсказывалъ Леониду всѣ ужасы, про житье-бытье покойной Евдокіи Яковлевны, про пережитое и имъ самимъ, Леонидъ невольно проникался и глубокимъ сожалѣніемъ, и уваженіемъ къ этимъ людямъ, перестрадавшимъ такъ много.

— Времена-то и вообще тогда были тяжелыя,—говорилъ Евдокимъ Семеновичъ:—а въ нашемъ-то домѣ жилось и того тяжелѣе. На всю губернію извѣстно было положеніе звегинцевскихъ крестьянъ и женъ господъ Звегинцевыхъ. И трудно сказать, кому было хуже—звегинцевскимъ ли крестьянамъ или ихъ барынямъ... Запуганы мы были до одурѣнія. И много отъ этого самаго страху глупости надѣлали...

Онъ вздохнулъ.

— Вотъ и на тебѣ, Ленечка, отозвалось то, что струсили мы при твоемъ-то рожденіи и ни съ того, ни съ сего записали тебя незаконнорожденнымъ,—говорилъ Евдокимъ.—Это вѣчно на нашей душѣ будетъ грѣхъ. Былъ бы ты приписанъ къ звегинцевской семьѣ—иное совсѣмъ дѣло было бы... Полный наслѣдникъ всего былъ бы, потому что сынъ, а не дочери наслѣдуютъ...

— Ну, стоитъ ли объ этомъ говорить!—равнодушно сказалъ Леонидъ.—Я даже радъ, что я не Звегинцевъ... не принадлежу по фамиліи къ этимъ звѣрямъ и злодѣямъ...

— Ужъ истинно злодѣи и звѣри были,—согласился Евдокимъ Семеновичъ:—а все же было бы лучше, если бы законнымъ наслѣдникомъ былъ. Вѣдь хорошо, что дѣло-то такъ повернулось, что хоть что-нибудь досталось... А то былъ бы голъ, какъ соколъ,—на три-то тысячи, что были положены на твое имя, не разжился бы. И чего испугались мы тогда при твоемъ-то рожденіи—самъ я не знаю: законовъ не зналъ—вотъ въ чемъ бѣда, зналъ бы—тогда просто бы все сдѣлалось... Но я не зналъ и думалъ, что старшія-то дѣти мамаши, Аделаида Андреевна или Зоя Андреевна, могутъ донести на мать и признать тебя незаконнымъ, начавъ дѣло... Привыкъ трепетать, ну и боялся всего, какъ пуганная ворона куста боится...

Денежныя выгоды и расчеты еще мало интересовали юношу, и онъ приставалъ къ Евдокиму Семеновичу съ дальнѣйшими вопросами обо всемъ быломъ, о томъ, какъ Звегинцевъ тиранилъ жену, о томъ, какъ страдала его дворня, о томъ, какъ люди изъ-за этого злодѣя топились и вѣшались. Жертвъ Звегинцевскаго самодурства и своеволія было много и потому поразсказать было о чемъ. Самъ Евдокимъ Семеновичъ любилъ бесѣдовать на эти темы и потому его нечего было особенно настойчиво просить о передачѣ воспоминаній. Ему было сладко вспоминать прошлое и сознавать, что оно никоимъ образомъ уже не повторится.

— Да, а вотъ звѣрь-звѣрь былъ человѣкъ, а годы свое взяли,—философствовалъ Евдокимъ Семеновичъ про Андрея Андреевича Звегинцева.—Въ послѣднее время ровно ребенкомъ малымъ сталъ, не понималъ ничего, каждый обидѣть могъ... Грѣшный человѣкъ, самъ не разъ надъ нимъ издѣвался... Не понималъ ничего онъ... Извѣстно,—годы хоть кого измѣнятъ...

Онъ могъ бы указать на себя, какъ на живой примѣръ того, что дѣлаютъ годы. Ни одной почти прежней черты не уцѣлѣло въ немъ и даже трусость—его врожденная трусость—не такъ уже одолѣвала его теперь, какъ прежде. Да впрочемъ, и чего ему было бояться, имѣя довольно крупное состояніе, пользуясь почетомъ и уваженіемъ, числясь даже въ составѣ благотворителей и опекуновъ вдовъ и сиротъ?

КНИГА ТРЕТЬЯ.

I.

Куда-куда ни закидывала своенравная судьба Зинаиду Андреевну Николаеву-Звегинцеву, какъ она именовалась въ послѣднее время по сценѣ, придавая своему двойному прозвищу не малое значеніе, точно это была родовитая фамилія, соединенная изъ фамилій двухъ древнихъ родовъ, а не театральный псевдонимъ довольно плохой актрисы.

Большіе и университетскіе города съ постоянными театрами, иногда получавшими даже казенныя субсидіи, и маленькіе захудалые городишки, гдѣ случайно играли наѣзжающія на время труппы въ тѣсныхъ и низкихъ залахъ мѣстныхъ «собраній», залахъ грязныхъ провинціальныхъ гостиницъ, отдающихъ чадомъ кухни, или даже въ какихъ-то наскоро сколоченныхъ полусараяхъ, полубалаганахъ,—видѣли ее на своихъ театральныхъ подмосткахъ. И въ какихъ роляхъ ни являлась она,—то въ легкихъ оперетках, то во французскихъ комедіяхъ, то въ русскихъ народныхъ и бытовыхъ пьесахъ. Оффенбахъ и Шекспиръ, Сарду и Островскій были ей одинаково по плечу, такъ какъ вездѣ и всюду, дома и въ театрѣ, она оставалась сама собою: легкомысленною женщиною безъ серьезныхъ взглядовъ, безъ устойчивости въ характерѣ. Это была актриса на всѣ руки, вездѣ развязная и бойкая до безцеремонности, вездѣ одинаково невыдержанная, безъ всякой школы, безъ серьезнаго изученія дѣла. Ее въ сущности занимали не столько театръ и искусство, сколько возможность бродяжнической жизни, любовныхъ похожденій и разнообразной смѣны городовъ, лицъ, обстановки. Передъ ней проходили, какъ въ калейдоскопѣ, тысячи людей, она заводила сотни знакомствъ на день, на недѣлю, на мѣсяцъ. сходилась съ людьми дру-

жески «на ты», не зная даже имени того, кому говорила «ты». Иногда ей кто-нибудь говорилъ, лукаво и многозначительно подмигивая:

— А помните въ Нижнемъ кутежъ, во время ярмарки?

Она наобумъ отвѣчала:

— Ахъ, да, да, помню!

И мысленно, въ то же время, старалась возстановить въ своей памяти: въ какихъ отношеніяхъ она стояла къ этому человѣку въ то время, много ли дней была съ нимъ знакома, въ которомъ именно году, тогда ли, когда она называлась еще просто Николаевой, или тогда, когда для большаго шику она стала называться Николаевой-Звегинцевой.

Судьба, года черезъ три послѣ смерти Евдокіи Яковлевны, забросила ее, между прочимъ, и въ Одессу. Въ этомъ международномъ городѣ она бывала уже не разъ и каждый разъ ей приходилось здѣсь играть роль не столько артистки, сколько легкомысленной женщины, странствующей кокотки. Какъ на артистку, на нее обращали очень мало вниманія, такъ какъ она играла въ труппѣ далеко не выдающуюся роль, заслоненная болѣе талантливыми артистами, тогда какъ въ качествѣ легкомысленной, всѣмъ доступной женщины она еще привлекала мужчинъ изъ нетребовательныхъ и заставляла говорить о себѣ, и имя Николаевой-Звегинцевой повторялось не рѣдко въ холостыхъ кружкахъ, хотя и въ этомъ амплуа она переживала уже эпоху увяданья.

Въ одномъ изъ такихъ холостыхъ кружковъ, среди моряковъ и статскихъ, стариковъ и молодежи, когда уже кутежъ приходилъ къ концу, кто-то изъ старыхъ моряковъ замѣтилъ:

— А кстати, Звегинцевъ, ужъ это не твоя ли благовѣрная?

Тотъ, къ кому былъ обращенъ вопросъ, ничего не отвѣтилъ, такъ какъ онъ, сидя на стулѣ, спалъ сномъ праведника.

— Да онъ же никогда не былъ женатъ,—отвѣтилъ за него другой морякъ, нѣсколько помоложе перваго, и обратился къ сладко уснувшему за столомъ субъекту:—Звегинцевъ, а Звегинцевъ, вѣдь правда, что ты не былъ никогда женатъ?—допрашивалъ онъ.—Не связывалъ себя съ судьбою женщинъ...

— Чортъ ихъ возьми! чортъ ихъ возьми!—пробормоталъ, просыпаясь, совсѣмъ захмелѣвшій господинъ, котораго называли Звегинцевымъ.

Это былъ человѣкъ высокаго роста, широкій въ плечахъ, уже довольно не молодой и казавшійся чуть не старикомъ, вслѣдствіе изношенности, обрюзглости, сгорбленности и сѣдинъ, покрывавшихъ его голову. На немъ былъ небрежно надѣтый—довольно неряшливый костюмъ, говорившій не столько о беззаботности его владѣльца относительно своей одежды, сколько прямо о недостаточности матеріальныхъ средствъ и о бѣдности. Сразу, глядя на него, можно было сказать, что это въ конецъ опустившійся отъ лѣни или пьянства человѣкъ. Онъ могъ служить отличной натурой для изображенія алкоголика.

— Кого же это чортъ долженъ взять! Всѣхъ женщинъ вообще или только твою жену?—со смѣхомъ спросилъ разбудившій его собесѣдникъ.

— Всѣхъ...—отвѣтилъ хриплымъ голосомъ, потягиваясь и зѣвая, Звегинцевъ.—У меня десять гражданскихъ женъ было... ну, и чортъ ихъ возьми... всѣхъ чортъ возьми...

— Ты гдѣ же ихъ оставилъ? Въ Америкѣ или на Сахалинѣ?—продолжалъ допрашивать его собесѣдникъ, видимо потѣшаясь надъ нимъ, такъ какъ надъ нимъ давно уже только потѣшались одни, тогда какъ другіе презирали его.—Это, можетъ-быть, твоя сибирская жена пріѣхала одновременно съ тобою на пароходѣ?

— Какая сибирская жена?.. Что ты чепуху городишь?—спросилъ Звегинцевъ, немного приходя въ себя и оглядывая всѣхъ стекляннымъ взглядомъ.—Какая Звегинцева?.. Гдѣ жена?..

Ему начали объяснять, что вотъ тутъ, въ Одессѣ, есть пикантная, хотя и не первой молодости, не первой свѣжести, бабенка изъ бродячихъ актрисъ, называемая Николаевой-Звегинцевой, такъ, можетъ-быть, это его жена. Не даромъ же она такая же бродяжка, какъ онъ.

— Я моимъ женамъ никогда не давалъ права носить мою фамилію, произнесъ, снова потягиваясь и зѣвая, Звегинцевъ и усмѣхнулся саркастической улыбкой.—Исторія должна кончиться...

— Какая исторія?—спросили его товарищи.

— Исторія Звегинцевыхъ, — пояснилъ онъ и посмотрѣлъ мутными глазами на столъ. — Все вылакали вино?.. Черти!

Одинъ изъ собесѣдниковъ приказалъ лакею подать еще вина.

— А ты все же поди къ этой отважной самозванкѣ,—

смѣясь, посовѣтовали ему:—допроси, какъ она смѣетъ носить твою фамилію, когда исторія должна кончиться...

— И пойду,—крикнулъ онъ, стукнувъ ладонью по столу и, опять теряя сознаніе, забормоталъ:—какая такая Николаева-Звегинцева... по какому праву?.. Никакого права... гражданская жена...

Онъ уже снова спалъ, жалкій, обрюзглый, истасканный.

— А и слабъ же онъ нынче сталъ,—заговорилъ старшій изъ собесѣдниковъ.—Прежде, я еще помню, могъ безъ конца пить... только, бывало, буйнѣе станетъ да вретъ больше...

— Ну, такъ вѣдь и можно же было уходиться,—замѣтилъ другой собесѣдникъ, помоложе.—Онъ вѣдь, кажется, какъ мнѣ говорили, только керосиномъ и нефтью не нашивался на своемъ вѣку...

— Да и того утверждать навѣрное нельзя; можетъ-быть, гдѣ-нибудь и нефть, и керосинъ приходилось пить,—засмѣялся первый изъ собесѣдниковъ.—Опустился совсѣмъ человѣкъ...

Имъ подали вино, и они снова налили себѣ и товарищамъ стаканы, не пробуя уже будить сладко спавшаго Звегинцева. Съ упавшей на грудь головой, съ измятымъ и осунувшимся лицомъ онъ казался жалкимъ старикомъ, которому скорѣе нужны покой, чѣмъ вино, богадѣльня, чѣмъ кафе-шантанъ...

II.

Проснувшись поздно днемъ въ номерѣ невзрачной, грязной гостиницы, Аркадій Андреевичъ Звегинцевъ не сразу понялъ, который теперь часъ, гдѣ онъ самъ находится, какъ попалъ на постель и гдѣ былъ вчера. Ему нужно было въ подобныхъ случаяхъ пролежать съ полчаса или болѣе, чтобы его помутившаяся память снова начала работать, чтобы въ его опьянѣвшемъ мозгу опять началась правильная работа мысли. Онъ дѣлалъ умственныя усилія, чтобы вполнѣ очнуться, и между тѣмъ время отъ времени издавалъ тяжкіе подавленные стоны, чувствуя боль то тутъ, то тамъ. Онъ былъ точно избитый, точно изломанный: вездѣ ныло, вездѣ болѣло.

— Охъ, старость, старость!—вздыхалъ онъ едва слышно.

И ему дѣйствительно можно было дать много лѣтъ, хотя состарили его не годы, а безалаберная жизнь, скитанья по бѣлу-свѣту; то непосильная работа, то кутежи, то голодовки,

все безъ мѣры, безъ предѣла. Гдѣ-гдѣ онъ ни побывалъ. Видалъ онъ и шумный Нью-Іоркъ съ гигантскими отелями, съ сѣтью желѣзныхъ дорогъ, разбѣгавшихся во всѣ стороны отъ своего центра, съ чудовищными рекламами, залѣплявшими стѣны домовъ, омнибусовъ, кіосковъ, съ несмѣтными богатствами, и гдѣ неумѣлому, не привыкшему къ правильному труду русскому дворянину приходилось только погибать съ голоду. Пожилъ онъ и на узкой прибрежной полосѣ Санъ-Доминго, гдѣ уже работала какая-то акціонерная компанія желѣзнодорожниковъ и заводчиковъ: ихъ поселокъ состоялъ буквально изъ избушекъ на курьихъ ножкахъ, изъ какихъ-то наскоро сколоченныхъ шалашей на сваяхъ, выстроенныхъ такъ, чтобы они не касались земли ради безопасности отъ разныхъ гадовъ; тотчасъ за этимъ поселкомъ находился первобытный лѣсъ, въ глубь котораго еще не проникала нога человѣка; услуживала занесенному сюда страннику старая, грязная негритянка, знавшая нѣсколько искаверканныхъ ею словъ по-испански и по-англійски; кормиться иногда приходилось по цѣлымъ недѣлямъ чуть не одними попугаями. О Россіи же нечего и говорить—исколесилъ онъ ее всю отъ Кавказа до конца Сибири вдоль и поперекъ, не зная самъ для какихъ цѣлей.

Если бы его спросить, зачѣмъ и почему онъ попадалъ туда или сюда—онъ, вѣрно, бы не могъ сразу отвѣтить. Вѣтромъ заносило! Тутъ интрижка съ хорошенькой женщиной заставляла переселяться въ одно мѣсто; тамъ неоплатные долги, надѣланные вслѣдствіе игры въ карты и кутежей, заставляли бѣжать въ другое мѣсто; далѣе въ поискахъ за выгодной работой, на которую чувствовались и способность, и умѣнье во время разныхъ фантастическихъ мечтаній,—приходилось переѣзжать и въ заселенные центры человѣческой жизни, и въ дѣвственныя мѣста Америки и Сибири. И всюду было одно и то же: фантазерство и невоздержанность; увлеченіе женщинами, картами и виномъ; легкомысліе и бретгерство. Онъ жилъ, то-есть моталъ деньги и голодалъ, всегда «наканунѣ милліоновъ». Онъ такъ и говорилъ, носясь съ какимъ-нибудь проектомъ или изобрѣтеніемъ:

— Вы не повѣрите, какъ трудно сжиматься и разсчитывать гроши наканунѣ милліоновъ...

Но годы брали свое, помяли, посломали когда-то казавшійся несокрушимымъ «звегинцевскій» организмъ, милліоновъ не являлось, а явилась потребность осѣсть, отдохнуть, преклонить гдѣ-нибудь усталую сѣдую голову.

— Вотъ я и на родинѣ...—проговорилъ вслухъ Аркадій Андреевичъ.

Въ головѣ зароились мысли: живъ ли кто-нибудь изъ родныхъ? уцѣлѣло ли что-нибудь изъ отцовскихъ имѣній, изъ отцовскихъ капиталовъ? Старикъ былъ скупъ, мать—тоже дрожала надъ каждымъ грошемъ. Можетъ-быть, приберегли многое... Сколько разъ онъ собирался въ родныя имѣнія, въ родной домъ, и точно какой-то сверхъестественной силой его уносило куда-то на край свѣта, какъ пьянаго, идущаго по дорогѣ къ своему дому, вдругъ какимъ-то толчкомъ относитъ куда-нибудь въ грязную канаву—и счастье его, если онъ еще выкарабкается изъ нея хотя бы въ грязи и въ тинѣ, а не захлебнется въ ней навсегда. Какихъ-какихъ грандіозныхъ плановъ не создавалъ онъ, мечтая о своемъ возвращеніи домой: отецъ умретъ, всѣ имѣнія останутся ему, онъ начнетъ широкое хозяйство на новыхъ основаніяхъ, такъ какъ, слава Богу, онъ ли не насмотрѣлся, какъ хозяйничаютъ люди, онъ въ концѣ концовъ сдѣлается положительно милліонеромъ и—въ восторгѣ отъ этихъ великолѣпныхъ плановъ, отъ этихъ падающихъ прямо въ его карманъ милліоновъ, онъ, ораторствуя и шумя, напивался съ друзьями до безчувствія, до потери даже тѣхъ жалкихъ грошей, которые были у него наканунѣ припасены на дорогу.

— Бродяга!—съ горечью проговорилъ онъ про себя.

Онъ уже давно привыкъ бичевать себя въ минуты отрезвленія и съ горечью, и иронією сознавалъ въ то же время, что эти бичеванья не приводятъ его ни къ чему, кромѣ развѣ однихъ запоевъ съ горя. Запои! пьянство! ему вспомнилось, что и теперь вотъ, уже совсѣмъ избитый, изломанный, обезсиленный, онъ пріѣхалъ на родину искать крова, искать хоть остатковъ родного гнѣзда, и прежде всего, вступивъ на берегъ, не нашелъ ничего лучшаго, какъ напиться до положенія ризъ.

— Какъ стелька, былъ пьянъ,—пробормоталъ онъ и сталъ припоминать, съ чего онъ это напился.—Пріятелей встрѣтилъ... десять лѣтъ слишкомъ ихъ не видалъ... Ну, и напился... и пропилъ все... Что они тамъ говорили? Женатъ ли?.. не жена ли тутъ?.. Съ чего выдумали?..

Онъ началъ, мало-по-малу, вспоминать вчерашній вечеръ, мелкія подробности, отрывки разговоровъ, упоминанія о какой-то Звегинцевой-Николаевой—Звегинцевой, не то актрисѣ, не то кокоткѣ. Тоже бродяжка, какъ онъ. Кто же она такая? Не изъ ихъ ли семьи? Звегинцевы всѣ шалые,

всѣ поврежденные. Цѣлыя хроники, цѣлыя монографіи есть, описывающія, какъ они куролесили въ былые дни. Въ его воображеніи стали возникать образы этихъ палыхъ и поврежденныхъ людей, которые разорялись то на псовыя охоты, то на содержаніе домашнихъ актеровъ и оркестровъ, которые тиранили своихъ женъ и своихъ крѣпостныхъ людей и о которыхъ сохранились сотни самыхъ невѣроятныхъ преданій.

«И какъ ихъ не запирали въ сумасшедшіе дома»— думалось ему.

А въ головѣ тутъ же промелькнула ироническая мысль:

«Что-жъ, не заперли же вотъ меня въ сумасшедшій домъ... Хожу на свободѣ».

Онъ кряхтя поднялся съ постели и рѣшилъ, что ему надо разыскать эту самую Николаеву-Звегинцеву. Можетъ-быть, и точно изъ ихъ семьи.

«Не Зина ли! — мелькнуло наконецъ въ его головѣ.— Тоже была шалая!»

III.

Зинаида Андреевна Николаева-Звегинцева только что вернулась съ репетиціи, когда лакей гостиницы доложилъ ей, что ее спрашиваетъ какой-то человѣкъ.

— Кто такой?—спросила она, снимая шляпку.

— Не могу знать-съ, старикъ какой-то... на бѣдность, можетъ-быть, проситъ,—пояснилъ небрежно лакей.

— На бѣдность?—она усмѣхнулась при мысли, что къ ней кто-то пришелъ просить на бѣдность: сама она въ теченіе всей своей жизни могла бы просить на бѣдность,— вѣчно въ долгу, какъ въ шелку.

— Ты поди и спроси, кто онъ и что ему надо,—приказала она слугѣ.

Лакей вышелъ и минутъ черезъ пять вернулся снова.

— Приказали сказать: Аркадій Андреевичъ Звегинцевъ!—пояснилъ онъ.

— Аркадій?.. Аркадій?—повторила она въ изумленіи.— Изъ гроба... проси его... проси...

И тутъ же вслухъ прибавила:

— Да нѣтъ, не можетъ быть... чтобы онъ былъ живъ. Столько лѣтъ!

Она встрѣтила любопытнымъ взглядомъ неожиданнаго гостя, не вѣря своимъ глазамъ, что передъ ней стоитъ дѣйствительно ея братъ.

— Это ты? Да, да, точно ты! — воскликнула она, тотчасъ узнавъ его, хотя онъ страшно постарѣлъ.

— Откуда? какъ попалъ съ того свѣта?.. Нѣтъ, нѣтъ, это анекдотъ!..

Она уже громко смѣялась, обнявъ его, усадивъ его на диванъ, продолжая его разспрашивать и въ то же время не слушая его отвѣтовъ подъ вліяніемъ смѣшливости, подъ наплывомъ сотни разнообразныхъ чувствъ. Вопросы и отвѣты сыпались, какъ перекрестные выстрѣлы; слѣдить за ихъ послѣдовательностью не было никакой возможности.

Вѣдь всѣ давно считали его умершимъ. Онъ во столько лѣтъ не написалъ ни строчки.—Не писалъ, потому что всѣ его письма съ Кавказа оставлялись въ теченіе двухъ лѣтъ безъ отвѣта.—Да развѣ онъ писалъ? Ни одного письма не получалъ никто отъ него.—Это, вѣроятно, Евдошка пряталъ и истреблялъ его письма. Эта бестія вѣдь его и изъ дома выжила.—Конечно, и онъ, и отцовскія жестокости заставили бѣжать.—Еще бы! Его, взрослаго, офицера, пороть хотѣли на конюшнѣ, какъ пороли тогда, когда ему было шестнадцать лѣтъ. Онъ вѣдь и тогдашней порки не забылъ.—Какъ же забыть!.. Тоже шалый и поврежденный былъ отецъ.—Ну, да и самъ онъ былъ хорошъ.—Въ родню! Ну, вотъ и не ѣхалъ въ родныя палестины.—А между тѣмъ вышло, что черезъ два-три года его такъ и записали въ число умершихъ.

— На поминъ твоей души даже въ завѣщаніи мать оставила деньги! Ха-ха-ха! — смѣялась Зинаида Андреевна, такъ комично ей казалось поминовеніе въ спискѣ умершихъ живого.

— Да развѣ мать умерла?—спросилъ Аркадій Андреевичъ.

— И мать, и отецъ,—сказала Зинаида Андреевна:—Не мафусаиловы же годы имъ было жить... Ты посчитай, сколько лѣтъ тебя здѣсь не было...

— Значитъ, я наслѣдникъ всего,—проговорилъ братъ и даже оживился.

— Мать духовную оставила,—пояснила сестра.—Почти все Аделандѣ и Мари досталось.

— Да вѣдь имѣнія родовыя были!—сказалъ онъ.—При чемъ тутъ ея завѣщаніе... Звегинцево и Вильяминово...

— Да эти имѣнія еще при жизни отца проданы... Мать купила другія три имѣнія,—пояснила она.

— А-а! Все это штуки Евдошки-подлеца! — раздражительно произнесъ Аркадій Андреевичъ и пригрозилъ:—Ну,

да я доберусь еще до него. Бороду-то повытаскаю волосокъ по волоску... Отецъ когда умеръ?

— Лѣтъ десять тому назадъ,—отвѣтила сестра.

— Десять?—переспросилъ онъ.

— Да, кажется десять. Постой, я посчитаю,—припоминала она, забывъ даже годъ и мѣсяцъ, когда умеръ отецъ.

— А мать?

— Мать года два съ половиной какъ умерла.

Онъ въ волненіи ходилъ по комнатѣ, ругая Евдошку и давая клятвы, что онъ выведетъ его на свѣжую воду и отберетъ слѣдуемое ему, Аркадію Андреевичу, наслѣдство, если хоть два дня до истеченія десятилѣтней давности осталось послѣ смерти отца.

— Да что же ты раньше-то не явился?—допрашивала она его.—Кричишь и кипятишься теперь, а что раньше-то думалъ?

— Что? что?—повторилъ онъ ея вопросъ и съ паѳосомъ отвѣтилъ:—Брдячая комета—спроси ее, почему она не совершаетъ правильнаго пути,—что она тебѣ отвѣтитъ?

— Да развѣ кометы говорятъ? Вотъ чудакъ-то!—захохотала она.

— Ну, значитъ, ничего и не отвѣтитъ!—рѣшилъ онъ глубокомысленно.—А скажи, ты имѣешь обыкновеніе завтракать?—спросилъ онъ неожиданно.

— Да, да, я сейчасъ велю подать обѣдать,—сказала она и позвала слугу.—Теперь уже время обѣдать, а не завтракать...

— Ну, я безъ часовъ... Вѣрно, всталъ чуть не въ два часа,—пояснилъ онъ.

Минутъ черезъ десять они сидѣли уже за обѣдомъ. Аркадій Андреевичъ уже успѣлъ выпить пару рюмокъ и разсказывалъ о своихъ похожденіяхъ. Они были дѣйствительно удивительны, но когда о нихъ разсказывалъ онъ самъ, то они дѣлались просто чудовищными. Его разсказы были неподражаемы. Если баронъ Мюнхгаузенъ умѣлъ выдумывать небылицы и, въ шутку, разсказывать ихъ за трубкой табаку послѣ обѣда, сидя съ друзьями, то Аркадій Андреевичъ могъ разсказывать чудеса во всякое время и, разсказывая ихъ, искренно вѣрить въ эти разсказы. Фантазія у него была пылкая, и ему ничего не значило разсказать, что онъ сидѣлъ два года за дуэль не просто въ крѣпости, а въ подводномъ казематѣ, куда спускали пищу по веревкѣ невидимые ему люди; онъ совершенно хладнокровно разсказы-

валъ не только о своемъ пребываніи на островѣ Санъ-Доминго, но и о томъ, что онъ попалъ разъ въ руки къ краснокожимъ людоѣдамъ, былъ уже обреченъ на смерть, чтобы быть съѣденнымъ на другой же день, но, на счастье, ночью они всѣ напились украденной ими у него же водкой и заснули, и онъ, перерѣзавъ ихъ всѣхъ, успѣлъ спастись, захвативъ, какъ добычу, массу рѣдкостей, которыя и пожертвованы имъ въ одинъ изъ американскихъ музеевъ. Въ его разсказахъ были даже такія необыкновенныя приключенія, какъ тотъ случай, когда его застрѣлила кошка.

— Какъ кошка?—воскликнула Зинаида Андреевна.

— Такъ кошка,—подтвердилъ онъ хладнокровно.—Я работалъ въ своемъ кабинетѣ, какъ вдругъ на столъ вскочила кошка, задѣла за заряженный револьверъ, раздался выстрѣлъ, пуля прошла прямо мнѣ въ сердце, и я упалъ мертвымъ.

— Но вѣдь, Кадя, ты же живъ,—воскликнула Зинаида Андреевна, смѣясь, какъ сумасшедшая.

— Да, благодаря необыкновенной случайности и успѣхамъ новѣйшей медицины: у меня было прострѣлено насквозь сердце, кровь хлынула сразу и въ ранѣ образовался сгустокъ, который и закупорилъ сдѣланное пулей отверстіе, какъ пробка. Медики предложили мнѣ нѣсколько мѣсяцевъ лежать безъ движенія и когда пробка отвердѣла... Въ академіи сердце показывали... протоколъ былъ...

Графинчикъ съ водкою былъ уже совершенно пустъ, и Аркадій Андреевичъ, свѣсивъ голову на грудь, уже засыпалъ пьянымъ сномъ, еще бормоча себѣ что-то подъ носъ про свое сердце съ пробкой, которое показывали въ какой-то медицинской академіи.

IV.

Послѣ дѣлежа наслѣдства Левъ Ивановичъ Чемезовъ уже давно игралъ въ губернскомъ городѣ видную роль, какъ человѣкъ богатый и потому почтенный и уважаемый всѣми. Онъ жилъ на широкую ногу, обновилъ запущенный прежде домъ Звегинцевой, принималъ у себя въ извѣстные дни губернскую аристократію и уже въ самомъ дѣлѣ игралъ при губернаторѣ видную роль. Онъ казался еще почтеннѣе потому, что смотрѣлъ и серьезнымъ, и глубокомысленнымъ, и исполненнымъ всякихъ достоинствъ. Рѣдко волнуясь, какъ волнуются простые смертные, почти постоянно говоря коротко, точно онъ цѣнилъ свои слова на вѣсъ золота, всегда изрекая

безапелляціонно, какъ оракулъ, свои приговоры, можетъ-быть, и не мудреные, но безусловно неоспоримые, въ родѣ того, что въ морозъ холодно, а въ зной жарко,—онъ былъ вполнѣ доволенъ и собою, и своею судьбою. Имъ гордилась даже его жена, убѣдившаяся въ томъ, что онъ, вѣрно, и уменъ, и разсудителенъ, если ужъ всѣ уважаютъ его. Ихъ жизни, полной самодовольствія, мира и согласія, можно было позавидовать.

Вслѣдствіе этого было особенно непривычно и странно увидѣть Льва Ивановича въ такомъ взволнованномъ состояніи духа, въ какомъ онъ вернулся въ одинъ прекрасный день домой къ обѣду. Не смотря на то, что въ комнатѣ, кромѣ Аделаиды Андреевны, уже былъ и пришедшій къ столу Леонидъ, Левъ Ивановичъ, обращаясь къ женѣ, сразу заговорилъ желчнымъ, раздражительнымъ тономъ:

— Нѣтъ, ты вообрази, кто явился къ намъ въ городъ? Никогда не угадаешь! Братецъ Аркадій Андреевичъ!—съ разстановкой отчеканилъ онъ послѣднюю фразу.

— Братъ?—воскликнула Аделаида Андреевна и запротестовала:—Не можетъ-быть, не можетъ-быть! Это какой-нибудь самозванецъ! Какой-нибудь мошенникъ! Его задержать надо!

— Всѣ бумаги у него въ порядкѣ,—сказалъ Левъ Ивановичъ.—Я уже справился въ полиціи...

— Да нѣтъ же... Укралъ бумаги... Очень просто!.. Какой-нибудь проходимецъ,— настаивала она. — Развѣ мудрено украсть. Мало ли такихъ случаевъ бывало. Да вотъ у Ахшарумова описывается въ «Чужомъ имени»... Хочетъ выклянчить что-нибудь...

— Въ томъ-то и дѣло, что вовсе не намѣренъ, какъ видно, клянчить, — загорячился Левъ Ивановичъ: — а прямо закусилъ удила и называетъ насъ публично ворами и грабителями... Завариваетъ кашу, которой и не расхлебаешь... Всю грязь поднимаетъ со дна... И хуже всего то...

— А что же онъ можетъ сдѣлать?—перебила его горячо жена, пожимая плечами.—Все сдѣлано законнымъ порядкомъ. Украли мы, что ли, наслѣдство?

— Объ этомъ-то я и хотѣлъ сказать! Ты перебила!..—рѣзко сказалъ Левъ Ивановичъ.—Хуже всего то, что въ дѣло замѣшанъ такой трусъ, какъ Евдокимъ Семеновичъ; онъ можетъ подвести и себя, и насъ... Какъ только онъ пріѣхалъ ко мнѣ сегодня, блѣдный и растерянный, сказать о появленіи въ городѣ Аркадія Андреевича, я такъ сразу и понялъ, что мы можемъ все потерять...

— Какъ потерять? Почему потерять?—воскликнула Аделаида Андреевна, сжимая даже кулаки отъ негодованія.— Никогда я гроша не отдамъ изъ того, что намъ оставлено! Потерять!

Она едва переводила духъ отъ охватившаго ее волненія.

— Можемъ все потерять, потому что можетъ начаться дѣло о подложности завѣщанія,—точно отрѣзалъ Чемезовъ.

Ни онъ, ни она не замѣтили, какъ поблѣднѣлъ Леонидъ.

Они продолжали горячиться, обвинять въ чемъ-то Евдокима Семеновича, ругать Аркадія Андреевича, виноватаго только въ томъ, что онъ не умеръ и столько лѣтъ считался умершимъ. Эти вполнѣ приличные въ обыкновенное время люди вдругъ сдѣлались совсѣмъ вульгарными и уже не скрывали своей алчности, чувствуя, что у нихъ хотятъ отнять ихъ добычу. Леонидъ плохо понималъ все, кромѣ того, что его отецъ—онъ иначе теперь не называлъ Евдокима Семеновича—могъ поддѣлать духовное завѣщаніе. Онъ давно уже успѣлъ привязаться къ старику. И прежде Евдокимъ Семеновичъ говорилъ про него, что «Ленечка такой ласковый»,—а теперь, съ тѣхъ поръ, какъ Леонидъ узналъ, что это его отецъ, юнона окончательно всей душой привязался къ Чебукову. Не говоря уже о томъ, что онъ вообще жаждалъ родственной ласки, сознанія, что онъ не всѣмъ чужой, что онъ не безродный «подкидышъ», какъ назвала его когда-то въ минуту раздраженія Аделаида Андреевна—онъ увидалъ въ отцѣ почтеннаго старика, много перестрадавшаго въ годы ранняго дѣтства, во время цвѣтущей юности и въ лучшую пору молодости. Теперь этотъ старикъ уважался всѣми, былъ гласнымъ думы, опекуномъ сиротъ, членомъ разныхъ богоугодныхъ заведеній, отличался глубокой набожностью и нѣжною любовью къ своимъ маленькимъ дѣтишкамъ и къ нему, къ своему незаконному сыну Леониду. Молодой человѣкъ, женственно мягкій, идеалистъ въ душѣ, съ дѣтства любившій разсказы о тѣхъ патріархахъ, которые являлись мудрыми главами семействъ, о тѣхъ почтенныхъ старцахъ, къ которымъ шли за совѣтомъ и благословеніемъ и князья, и воины, и простой народъ,—положительно гордился своимъ отцомъ, какъ самородкомъ, какъ цѣльнымъ человѣкомъ, какъ мощною русскою натурою. Можетъ ли быть, чтобы этотъ человѣкъ поддѣлалъ духовное завѣщаніе?

— И это какой-то пропойца,—ораторствовалъ Левъ Ивановичъ, разсказывая про Аркадія Андреевича.—Вчера пріѣхалъ, а уже какой-то скандалъ въ гостиницѣ сдѣлалъ.

чуть ли и не ночевалъ въ полиціи. Отъ него, конечно, всего надо ждать. Наслѣдникъ! въ кабакѣ все оставитъ...

— Ахъ, онъ всегда такой былъ! — брезгливо замѣтила Аделаида Андреевна.—Мало его на конюшнѣ отецъ порол. Такихъ не пороть надо, а въ арестантскія роты ссылать... Жаль, что не знали, живъ ли онъ, а то отецъ непремѣнно лишилъ бы его наслѣдства. Еще бы! Дать ему хоть что-нибудь—это значило бы кабакамъ покровительствовать...

Они продолжали перемывать бока Аркадію Андреевичу со всѣмъ ожесточеніемъ, на какое только способны люди, у которыхъ хотятъ отнять богатство, и невольно наводили Леонида на одну мысль: «Отецъ, можетъ-быть, не такъ еще виновенъ, какъ кажется. Онъ-то зналъ, что за человѣкъ Аркадій Андреевичъ, и потому лишилъ его наслѣдства... Да, но развѣ онъ имѣлъ право лишать кого-нибудь изъ Звегинцевыхъ звегинцевскаго наслѣдства да еще притомъ при помощи подлога? Нѣтъ, нѣтъ, это невозможно. Это, вѣроятно, ложь. Надо будетъ спросить отца. Онъ все объяснитъ».

Юноша едва могъ дождаться окончанія обѣда и тотчасъ же отправился къ Евдокиму Семеновичу.

Онъ чуть не вскрикнулъ, увидавъ Чебукова, такъ осунулся и словно постарѣлъ Евдокимъ Семеновичъ за одинъ день.

— Что я слышалъ, отецъ?—взволнованно спросилъ Леонидъ, здороваясь съ нимъ.

— Да, да, голубчикъ, бѣда стряслась... — въ такомъ же волненіи заговорилъ Евдокимъ Семеновичъ, цѣлуя его. — Мертвые изъ гробовъ встаютъ... послѣднія времена приходятъ... экое дѣло... экое дѣло.

Старикъ еще всецѣло былъ охваченъ паническимъ страхомъ, преодолѣть котораго онъ никогда не могъ. Въ такія минуты онъ, валялся въ ногахъ, могъ погубить и другихъ, и себя, какъ когда-то онъ думалъ, если бы понадобилось, разыграть въ глазахъ барина роль прекраснаго Іосифа, обвинивъ во всемъ барыню...

— Но вѣдь все имѣніе перешло къ наслѣдникамъ законнымъ порядкомъ?—вопросительнымъ тономъ сказалъ Леонидъ, нетерпѣливо желая узнать истину.

— Что говорить, что говорить... законнымъ порядкомъ перешло, да на чужой ротокъ не накинешь платокъ... Молчать злодѣя не заставишь... онъ и теперь грозится, что завѣщаніе подложное... ничего еще не зная, — въ волненіи

заговорилъ старикъ.—Положимъ, и не доберется ни до чего... такъ мараль пуститъ... свѣту не увидишь... угла себѣ спокойнаго не найдешь... Люди-то Ироды... живьемъ съѣсть готовы...

— Да развѣ точно завѣщаніе поддѣльное?—горячо спросилъ Леонидъ.

— Что ты, что ты, Леночка... Мамаша твоя своей рукой все писала, вотъ какъ передъ Богомъ клянусь тебѣ,—сказалъ торопливо Евдокимъ Семеновичъ.

— Такъ значитъ съ этой стороны бояться нечего,—сказалъ съ облегченнымъ вздохомъ Леонидъ.

— Голубчикъ, молодъ ты, законовъ не знаешь,—отвѣтилъ Чебуковъ.—Захотятъ придраться—придерутся... доказывай, поди, что маменька и подписала... что и свидѣтели были да примерли... Конечно, за деньги все можно... Когда споровъ въ особенности нѣтъ... вотъ какъ тогда при дѣлежѣ не было... все ладкомъ да миркомъ сошло... А этакая собака все можетъ раскопать...

— Значитъ, есть что раскапывать?—настойчиво спросилъ, опять блѣднѣя, Леонидъ.

Евдокимъ Семеновичъ оглядѣлся боязливымъ взглядомъ кругомъ.

— Во всемъ, родной, можно найти противозаконное злому человѣку... Мамаша сама написала завѣщаніе... Не подписала его только... Цѣлую недѣлю бились... какъ писала, а потомъ закапризничала, закапризничала, да такъ неподписанное и швырнула мнѣ... Тебѣ, какъ на духу, говорю... другіе-то не знаютъ...

— Значитъ и свидѣтели... — началъ Леонидъ упавшимъ голосомъ и не кончилъ.

У него перехватило горло, въ головѣ все кружилось.

— Одинъ свидѣтель живъ... Охъ, Ленечка... лучше бы его, проклятаго, и не было... дорого онъ мнѣ обошелся... соки всѣ высасываетъ... и страхъ тоже... заартачится онъ и выдастъ,—тревожно произнесъ Евдокимъ Семеновичъ и началъ пояснять: — Душа у меня въ пятки уходитъ... что будетъ, что будетъ!...

А между тѣмъ, что онъ такого сдѣлалъ? Покойная Евдокія Яковлевна, когда Зоя-то Андреевна провинилась передъ нею—съ какимъ-то нѣвчимъ связалась—рѣшилась сгоряча-то сдѣлать духовную на имя Аделанды Андреевны и Маріи Андреевны и не забыла также его, Леонида, и вѣрнаго своего раба, Евдокима Семеновича. Это было ея желаніе, и

сама она все написала при немъ, при Евдокимѣ Семеновичѣ. Онъ и напоминалъ, что и какъ надо упомянуть. Чуть ли не недѣлю писала... Только, извѣстно, что покойная въ послѣдніе годы капризной да подозрительной отъ своей болѣзни сдѣлалась, вотъ и раскапризничалась это она, и бросила завѣщаніе не подписаннымъ. Какая-то монашка ее пуще всего настроила и разговорила, должно-быть; много ихъ тогда являлось къ ней, все противъ близкихъ людей вооружали. Непутевой народъ. Чуть не доглядишь—и проползетъ ужомъ въ домъ какая-нибудь гадина. Онъ, Евдокимъ Семеновичъ, тогда и взялъ ее, эту бумагу-то, и оставилъ у себя. Въ добрый часъ хотѣлъ подсунуть къ подписи. А какъ Евдокія Яковлевна захворала при смерти и вспомнилъ онъ объ этой бумагѣ: всѣ кругомъ плачутъ, хлопочутъ, заботятся о томъ, что все прахомъ пойдетъ, а у него настоящее завѣщаніе — и безъ всякой-то пользы оно погибнетъ, потому что оно не подписано. Тутъ онъ это дѣло и оборудовалъ... Что-жъ, онъ не зла желалъ, онъ, вотъ какъ передъ Богомъ, желалъ, чтобы воля покойницы была исполнена, чтобы не на какихъ-нибудь прохвостовъ все пошло, не актерамъ да не пѣвчимъ, а любимымъ дѣтямъ Евдокіи Яковлевны, на пользу живымъ, на поминъ души умершимъ... Объ этомъ-то, о проходимцѣ, никто и не думалъ тогда, что онъ живъ. Да если бы знали, что онъ живъ, такъ ничего бы ему не оставила Евдокія Яковлевна на кабаки, да на непутевыхъ женщинъ. Вѣдь ужъ хуже-то человѣка и днемъ съ огнемъ не найти. Мать родную извести готовъ былъ.

— Какъ на духу я тебѣ все разсказалъ, Ленечка, потому что уже не ребенокъ ты и можешь все обсудить. Придется мнѣ плохо, не обвини ты меня,—закончилъ Евдокимъ Семеновичъ.

Онъ дѣйствительно былъ жалокъ, и его слова звучали искренностью. Опустившійся, постарѣвшій въ два года, онъ былъ совершенно пришибленъ страхомъ передъ невѣдомымъ будущимъ. Какіе шаги сдѣлаетъ Аркадій Андреевичъ, будетъ ли попрежнему единственный живой свидѣтель составленія духовнаго завѣщанія опять лжесвидѣтельствовать въ пользу того, что завѣщаніе не подложное, — ничего этого онъ не могъ сообразить. Опять въ его головѣ являлась старая грозная мысль: «Сибирь! каторга!»

V.

Въ семействѣ Льва Ивановича Чемезова и въ семействѣ

Евдокима Семеновича другихъ разговоровъ теперь не было, кромѣ разговоровъ объ Аркадіи Андреевичѣ. Этимъ разговорамъ не было конца. Его ругали, какъ только возможно, о немъ разсказывали чудовищныя вещи, привирая настолько, что и онъ самъ едва ли могъ бы такъ искусно сочинять небылицы. Леонидъ чутко прислушивался къ этимъ толкамъ, и въ душѣ его творилось что-то странное: онъ то съ отвращеніемъ и брезгливостью относился къ толкамъ объ этомъ негодномъ пропойцѣ, не имѣющемъ ни чести, ни совѣсти; то съ леденящимъ кровь ужасомъ останавливался надъ вопросомъ, имѣлъ ли право отецъ его, Леонида, во имя чего бы то ни было, лишить этого человѣка законнаго наслѣдства при помощи подлога. До этой поры ученье, музыка, чтеніе книгъ поглощали всю его умственную дѣятельность; теперь все это отошло на второй, на задній планъ, и впереди стояли только одни не разрѣшенные и сложные нравственные вопросы, заданные ему самою жизнью. Онъ спрашивалъ себя: какое право имѣли окружающіе ограбить этого человѣка? Что они будутъ дѣлать, если онъ добьется возстановленія своихъ законныхъ правъ? Не участвовалъ ли въ этомъ грабежѣ невольно и онъ, Леонидъ? Не совершился ли этотъ грабежъ только при помощи его отца и только ради близкихъ отцу лицъ? Какую кару понесетъ за это отецъ? Можно ли за это обвинять отца, не знающаго въ сущности законовъ, дѣйствовавшаго изъ любви къ своимъ дѣтямъ, думавшаго, что онъ исполняетъ въ сущности волю покойной матери? Леонидъ хотѣлъ иногда не думать обо всемъ этомъ, но не думать объ этомъ было нельзя, такъ какъ объ этомъ только и говорили въ домѣ, начинали говорить даже въ городѣ, хотя Аркадій Андреевичъ проживалъ въ городѣ еще не болѣе недѣли. Эти думы отравляли Леониду самое лучшее время жизни—время перехода изъ гимназіи въ университетъ, когда юноши впервые чувствуютъ себя вполнѣ свободными, вполнѣ самостоятельными. Впечатлительный, принимавшій все близко къ сердцу, отдающійся всецѣло всему, что такъ или иначе затронуло или заинтересовало его, Леонидъ даже поблѣднѣлъ и осунулся за послѣдніе дни, точно его приговаривали къ какой-то позорной казни. Да и что же можетъ быть позорнѣе подлости и преступности своего отца. Среди всякихъ вопросовъ и сомнѣній ему ни разу не пришло въ голову, что и онъ можетъ потерять почти все, если дѣло кончится въ пользу Аркадія Андреевича. Онъ переживалъ тотъ прекрасный

возрастъ, когда нравственный позоръ пугаетъ еще сильнѣе матеріальныхъ потерь, когда еще тверды наивныя убѣжденія, что лучше быть честнымъ бѣднякомъ, чѣмъ подлымъ милліонеромъ. Этотъ недостатокъ съ теченіемъ времени проходитъ, какъ и глупая способность краснѣть отъ стыда...

Дома же тоже били тревогу. Почти ежедневно къ Чемезову пріѣзжалъ теперь Евдокимъ Семеновичъ и вмѣстѣ съ хозяиномъ дома запирался въ кабинетѣ. Они походили на заговорщиковъ. О чемъ они совѣщались—оставалось тайной для всѣхъ.

Наконецъ въ одинъ прекрасный день въ домѣ поднялась какая-то суматоха. Была призвана полиція, кричали о какомъ-то протоколѣ. Леонидъ въ то время сидѣлъ въ своей комнатѣ, находившейся въ мезонинѣ и выходившей окнами на дворъ, и читалъ какой-то романъ, плохо понимая напечатанное въ книгѣ. Онъ, заслышавъ необычайный шумъ, оставилъ книгу, выбѣжалъ на лѣстницу на верхнюю площадку и увидалъ, какъ внизу силой выпроваживали какого-то пьянаго и плохо одѣтаго старика высокаго ростомъ и широкаго въ кости.

— Я попрошу губернатора избавить насъ отъ вторженія этого господина въ нашъ домъ, — горячился Левъ Ивановичъ Чемезовъ.—Это какой-то помѣшанный, а, можетъ-быть, и хуже того... Вотъ уже, кажется, пять дней, какъ онъ въ городѣ, и мы положительно находимся въ осадномъ положеніи. Онъ врывается къ намъ пьяный, дебоширитъ, кричитъ, что онъ какой-то Звегинцевъ, что онъ съ нами судиться за что-то будетъ...

— Воръ, грабитель! Я тебѣ покажу, какой я «какой-то»!— бушевалъ пьяный господинъ.—Ты у меня попляшешь...

— Идите, идите, если вы не желаете, чтобы васъ силой вывели,—уговаривалъ его полицейскій.—Честью васъ просятъ...

— Онъ ограбилъ меня, а не я его! Это мой домъ, а не его!—бушевалъ пьяный старикъ.

— Ахъ, ахъ! не могу, не могу, онъ меня убьетъ!—кричала Аделаида Андреевна въ истерикѣ. — Гдѣ же у насъ законы... гдѣ защита для честныхъ людей?

— Не упускайте изъ виду, что эта исторія уже четвертый день повторяется,—объяснялъ степенно Левъ Ивановичъ полицейскому. — Че-твер-тый-съ день!.. Я, кажется, могу требовать, чтобы этого буяна усмирили. Мы, кажется, въ благоустроенномъ городѣ живемъ, а не въ дремучемъ лѣсу.

— Евдокимъ Семеновичъ Чебуковъ-съ тоже уже жаловались на ихъ безобразіе,—замѣтилъ подобострастно полицейскій.

— А! Евдошка! каторжникъ! — крикнулъ во все горло пьяный.—Я вамъ всѣмъ покажу, разбойники!.. Они у меня запляшутъ.

Однако, прежде чѣмъ заплясали они, полиція силой увела буяна, безъ церемоніи скрутивъ ему руки.

«Такъ вотъ каковъ этотъ человѣкъ, изъ-за котораго начался весь этотъ переполохъ», думалось Леониду при видѣ этой безобразной сцены. Ему казалось гадкимъ все въ этомъ скандалѣ: и видъ стараго ободраннаго пьяницы, и притворная истерика Аделаиды Андреевны, и настойчивыя требованія Чемезова насчетъ жалобы губернатору на этого человѣка, котораго называли бродягой и мошенникомъ, зная отлично, что онъ не бродяга и не мошенникъ.

Вечеромъ во время вечерняго чая къ Льву Ивановичу пріѣхалъ Чебуковъ. Старикъ, казалось, вдругъ повеселѣлъ и былъ болѣе спокойнымъ, чѣмъ онъ былъ еще наканунѣ.

— Ну, и выдержали же мы сегодня генеральное сраженіе!—произнесъ Левъ Ивановичъ, завидѣвъ его.

— Знаю, знаю, — сказалъ Евдокимъ Семеновичъ, пожимая ему руку.—У меня тоже была баталія, только не сегодня, а вчера... Все съ Жихаревымъ онъ хороводится...

— А-а! Жихаревъ—это тотъ повѣренный, что вы Зинѣ и Зоѣ рекомендовали тогда, при утвержденіи духовнаго завѣщанія?—спросилъ, щурясь, Левъ Ивановичъ.

— Да... предложилъ онъ услуги и Аркадію Андреевичу... гдѣ-то въ кабачкѣ... изволитъ тамъ и совѣщаться съ нимъ, и пить,—отвѣтилъ Евдокимъ Семеновичъ съ лукавой усмѣшкой.—И сколь слабъ онъ сталъ, такъ это удивительно даже... Жихаревъ говоритъ, что его и угощать не надо — три-четыре рюмки выпилъ—и пьянъ, и буянитъ!

— Но теперь, кажется, этому будетъ положенъ конецъ!—замѣтилъ Левъ Ивановичъ, дѣлая гримасу.

— Да, этого безобразія хоть въ какомъ угодно городѣ такъ не потерпятъ, — сказалъ серьезно Евдокимъ Семеновичъ.—Только бы его отсюда убрали...

— Однако, что-то холодновато здѣсь; пройдемте ко мнѣ въ кабинетъ, — пригласилъ хозяинъ Чебукова, вставая съ мѣста.—Тамъ каминъ топится.

— Эге! уже на зимнемъ положеніи! — сказалъ Чебуковъ шутливымъ тономъ, какого давно не слыхалъ отъ него Леонидъ

Хозяинъ и гость опять ушли совѣщаться между собою. Что же это такое происходитъ? Что они задумали? О чемъ они совѣщаются? Ихъ какъ будто обрадовало то, что Аркадій Андреевичъ надѣлалъ у нихъ крупныхъ скандаловъ? И какой это Жихаревъ, спаивающій стараго гуляку? Не ими ли подосланъ онъ къ старику? Леонидъ сидѣлъ, какъ на иголкахъ, не находя отвѣтовъ на свои вопросы.

На слѣдующій же день онъ поспѣшилъ къ Евдокиму Семеновичу. Тотъ его принялъ въ свои объятія, весь сіяющій.

— Сплавили, Ленечка, негодяя!—проговорилъ онъ. — За буйство сплавили изъ города административнымъ порядкомъ... Шутка ли, и у меня, и у Льва Ивановича надебоширилъ.

— Но какъ же дѣло о наслѣдствѣ?—спросилъ Леонидъ.

— О какомъ? Что послѣ папеньки осталось? Такъ тутъ и толковать нечего—давность прошла... Ну, а насчетъ завѣщанія маменьки... Такъ Левъ Ивановичъ взялся теперь за это дѣло... Онъ не то, что я, законы знаетъ, дока, и оглоблю въ ту сторону и ту можетъ поворотить, куда захочетъ...

Евдокимъ Семеновичъ вздохнулъ.

— Конечно, сначала онъ ничего не зналъ: я боялся ему правду-то всю сказать, а теперь... самъ просить началъ... «Вы, говоритъ, Евдокимъ Семеновичъ, понимаете мое положеніе... все я получилъ и всего лишиться могу въ одну минуту... а если я все знать буду, такъ, можетъ-быть, и вамъ помогу, и самъ не останусь нищимъ...» Ну, и сказалъ: теперь одной веревкой связаны... тонуть придется — такъ ужъ вмѣстѣ... Отъ души-то и отлегло... Ничего, Ленечка, поживемъ мы, голубчикъ...

Леонидъ, точно пришибленный, поникъ головой и молча кусалъ губы.

Евдокимъ Семеновичъ погладилъ его по головѣ, не замѣчая, не понимая его смущенія. Онъ ликовалъ, чувствуя, что врагъ далеко, что онъ можетъ дѣйствовать только откуда-нибудь изъ другой губерніи, что у него, у Евдокима Семеновича, есть могучій пособникъ въ лицѣ Льва Ивановича, который «зубами отгрызется отъ всѣхъ собакъ за свой кусокъ», т. е. за свое имѣніе, полученное въ наслѣдство.

Еще наканунѣ юношѣ было жаль до глубины души испуганнаго, какъ бы затравленнаго отца: онъ еще наканунѣ раздумывалъ, какъ онъ уѣдетъ въ Москву, въ университетъ, и броситъ отца въ такую тяжелую пору его жизни. Теперь же онъ былъ радъ, что онъ ѣхалъ отсюда, отъ этихъ

непойманныхъ воровъ, отъ этихъ ускользавшихъ отъ Сибири каторжниковъ, отъ этихъ родныхъ, у которыхъ не могло быть ничего общаго съ нимъ и съ которыми онъ тоже не находилъ въ себѣ уже ничего общаго...

— Какъ ничего?

А тѣ деньги, которыя достались ему? Развѣ онъ-то не будетъ жить на воровскія деньги того спившагося съ круга, плохо одѣтаго, полуголоднаго старика, котораго при немъ выталкивала полиція изъ ихъ дома? Развѣ у него, у Леонида, есть хоть грошъ, который такъ или иначе не былъ бы украденъ у этого несчастливца?

VI.

Въ коридорахъ и въ аудиторіяхъ московскаго университета чувствовалось то оживленіе, которое всегда замѣчается во время начала лекцій. Вездѣ мелькали новенькіе мундирчики вчерашнихъ гимназистовъ—сегодняшнихъ студентовъ, сознающихъ, что они уже ходятъ не на уроки, а слушаютъ лекціи, что у нихъ уже нѣтъ учителей, а есть профессора, что они должны уже не заучивать уроки, а изучать науку. Это то время, когда юношамъ еще хочется сходиться для обсужденія какихъ-то своихъ дѣлъ, когда они еще пытаются выражать неудержимые восторги любимымъ профессорамъ аплодисментами, когда ихъ, какъ рѣзвыхъ коней, стараются обуздывать отъ проявленій избытка кипящихъ въ нихъ жизненныхъ силъ и такъ или иначе объѣзжать для тѣхъ или другихъ цѣлей въ жизни, для красиваго гарцованья или для тяжелой тяги на общественной аренѣ.

Среди этой новоиспеченной студенческой массы могъ обратить на себя вниманіе одинъ женоподобный, безбородый и безусый юноша, но не своимъ оживленіемъ и жизнерадостностью, а напротивъ того, своею грустью и подавленностью, которая такъ мало гармонировала съ его цвѣтущей юностью.

— Ба! Александровъ, и ты уже здѣсь! — окликнулъ его въ коридорѣ университета одинъ изъ товарищей, вмѣстѣ съ нимъ кончившій курсъ въ провинціальной гимназіи:— юристъ? Гдѣ поселился? Съ кѣмъ-нибудь или одинъ? — забрасывалъ вопросами товарищъ Леонида Александровича Александрова.

Онъ отвѣтилъ нехотя:

— Да, юристъ... живу одинъ... въ меблированныхъ комнатахъ.

И совсѣмъ разсѣянно, озабоченно онъ прибавилъ, говоря какъ бы про себя:

— Странная случайность... Зина тоже, оказывается, въ нихъ остановилась...

— Какая Зина? — спросилъ товарищъ. — Амурныя дѣлишки?

— Нѣтъ, сестра... ты ее, впрочемъ, не знаешь... Давно гостила у насъ въ деревнѣ, — пояснилъ Леонидъ: — то-есть двоюродная сестра... артистка Николаева-Звегинцева.

— Знаемъ мы этихъ двоюродныхъ сестеръ, да еще изъ актрисъ! И пикантная штучка, небось? — спросилъ, подмигивая, товарищъ, играя роль уже знающаго кое-что молодого человѣка.

Леонидъ пожалъ ему руку и отошелъ отъ него, не отвѣтивъ ни слова на двусмысленные намеки. Его теперь всецѣло охватывала одна мысль о роковой случайности — объ остановкѣ Зинаиды Андреевны въ однѣхъ и тѣхъ же меблированныхъ комнатахъ, гдѣ остановился и онъ. Онъ, пріѣхавъ въ Москву въ тяжеломъ, удрученномъ состояніи духа, собирался разузнать, не въ Москвѣ ли находится Аркадій Андреевичъ Звегинцевъ. Ему, во что бы то ни стало, хотѣлось увидать этого человѣка, узнать отъ него всю правду о ихъ семьѣ. Но въ первые дни, во время хлопотъ о поступленіи въ университетъ, онъ не успѣлъ еще навести справокъ о старикѣ, какъ вдругъ узналъ, что въ одномъ коридорѣ съ нимъ, съ Леонидомъ, поселилась Зинаида Андреевна Звегинцева. Его, и безъ того возбужденнаго, нервно настроеннаго, охватилъ какой-то суевѣрный страхъ: эта фамилія будетъ для него постояннымъ роковымъ memento mori, напоминающимъ ему, что и онъ принадлежитъ къ той шайкѣ грабителей и воровъ, которые ограбили и эту женщину, и ея сестру, и ихъ брата. Чтобы быть спокойнымъ, чтобы не мучиться упреками совѣсти, чтобы не быть воромъ, онъ, Леонидъ, долженъ будетъ отдать этимъ людямъ все, полученное имъ. Вѣдь онъ знаетъ, что все, принадлежащее ему, есть воровское. Онъ самъ не воровалъ, но онъ укрываетъ воровское, онъ пользуется воровскимъ. Да, онъ не имѣетъ права удерживать у себя ни гроша. Онъ долженъ вернуть имъ все. И остаться нищимъ? Что-жъ, лучше быть нищимъ, чѣмъ воромъ. Онъ ходилъ, какъ въ воду опущенный, сторонясь отъ всѣхъ прежнихъ

товарищей, поступившихъ вмѣстѣ съ нимъ въ московскій университетъ изъ провинціальной гимназіи. Каждый день вечеромъ онъ тревожно спрашивалъ себя: «Когда же я пойду къ Зинѣ? Когда же я переговорю съ ней? Или и во мнѣ сидитъ подлецъ? Сама судьба напоминаетъ мнѣ мои обязанности, а я все еще медлю!.. Но какъ же переговорить съ ней? Обличить отца въ подлѣлкѣ духовнаго завѣщанія? Или просто отдать свою долю наслѣдства? Но развѣ онъ это можетъ сдѣлать? Его деньги еще находятся въ рукахъ попечителей. Что они скажутъ, если онъ заявитъ, что онъ не желаетъ быть соучастникомъ въ грабежѣ, что онъ считаетъ своимъ долгомъ вернуть наворованныя деньги по принадлежности? Назовутъ его сумасшедшимъ? Должны будутъ назвать его сумасшедшимъ, чтобы сдѣлать его безопаснымъ для себя? Да онъ и точно сходитъ съ ума въ этомъ безвыходномъ лабиринтѣ...

Среди этихъ колебаній, не придя еще ни къ какому рѣшенію, онъ случайно встрѣтился съ Зинаидой Андреевной. Она въ первую минуту даже не узнала его. За три года онъ успѣлъ сильно измѣниться, вырасти, возмужать, кромѣ того онъ былъ уже не гимназистомъ, а въ студенческомъ мундирѣ.

— Вы меня не узнали?—остановилъ онъ ее вопросомъ.

— А! Леня!..—воскликнула она и засмѣялась.—Господинъ безусый и безбородый студентъ... Ты ужъ не переодѣтая ли дѣвочка?.. Не ко мнѣ ли шелъ?..

— Я здѣсь же живу,—пояснилъ онъ.

— Давно ли?.. Съ недѣлю?.. И не зашелъ ко мнѣ?.. Не хорошо вѣдь!.. Все же родными считаемся! — по своему обыкновенію быстро заговорила она, едва выслушивая его смущенные отвѣты.

— Я думалъ, вы сердитесь на меня, кузина, — сказалъ онъ.—Эта несчастная исторія съ завѣщаніемъ...

— Ахъ да, что насъ съ Зоей обсчитали!—легкомысленно засмѣялась она. — Такъ вѣдь это не ты же обсчиталъ! Однако, что же мы въ коридорѣ разговариваемъ! Пойдемъ ко мнѣ! Ты не сердишься, что я тебѣ говорю: «ты»?

Она была все тою же легкомысленной, пустой, вѣтреной, но вовсе не злой женщиной, — повыцвѣла, повыдохлась, чуть-чуть постарѣла, но смотрѣла попрежнему, смѣясь, на жизнь.

Они вошли къ ней въ комнату. Это былъ одинъ изъ самыхъ плохихъ номеровъ во всей меблированной квартирѣ.

Видно было, что квартирантка не роскошничаетъ и жмется отъ безденежья.

— Ну, садись... Куришь?—спросила она и на отрицательный отвѣтъ Леонида сказала: — Нѣтъ, я умерла бы теперь, если бы еще и курить нельзя было... Нѣтъ денегъ—закурила и забудешь о деньгахъ... Знаешь, при куреніи даже голода не чувствуешь... Ну, да ты-то, вѣрно, не голодаешь еще... Тоже богачъ...

— Кузина,—началъ въ смущеніи Леонидъ, желая оправдаться.

Она перебила его:

— Я вотъ и получила деньги, а уже ничего нѣтъ: одну часть сама куда-то спустила, другую часть пріятельницы и пріятели разобрали... Да еще нынче безъ ангажемента осталась... Подлецъ антрепренеръ надулъ...

— Вы, значитъ, въ стѣсненномъ положеніи? — сказалъ тревожно Леонидъ.—Ради Бога, располагайте моими деньгами, какъ своими... у меня есть...

— Ахъ, ты, милый мальчикъ!—громко засмѣялась она.—Да развѣ я такихъ выпускала въ трубу, какъ ты?.. На это другіе есть... У меня это скоро.., У меня всякія деньги уйдутъ прахомъ... Нѣтъ, Богъ съ тобой!.. Мнѣ да Аркадію надо бы цѣлыя царства дать, чтобы мы не голодали...

Леонидъ вспыхнулъ.

— Вы упомянули объ Аркадіи Андреевичѣ,—началъ онъ въ смущеніи.

— Несчастный человѣкъ!—со вздохомъ сказала она, выпуская дымъ изо рта.—Вотъ ужъ кого загубилъ Евдокимъ Семеновичъ, такъ это именно загубилъ.

— Вы говорите: Евдокимъ Семеновичъ?—спросилъ Леонидъ, блѣднѣя отъ волненія.

— Ахъ да! прости... Ты же, вѣроятно, знаешь, что онъ тебѣ...—начала она и не кончила.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы говорите, почему вы сказали, что Аркадія Андреевича загубилъ Евдокимъ Семеновичъ?—страстно перебилъ ее Леонидъ.

— Ну да, ради кого же онъ бѣжалъ изъ родного дома, какъ и я, и Зоя,—Евдокимъ всѣхъ сжилъ, пользуясь благорасположеніемъ матери, — пояснила она и засмѣялась.—Это продувной человѣкъ... И теперь еще, даромъ что старъ, три года тому назадъ такъ за мной пріударилъ, что лучше всякаго молодого, лишь бы я не протестовала противъ за-

вѣщанія, которое, по словамъ Аркадія, подложно и было, очевидно, дѣломъ рукъ самого Евдокима.

Мало-по-малу передъ Леонидомъ открылся цѣлый новый міръ: онъ зналъ одну сторону жизни своихъ матери и отца, теперь открылась оборотная сторона медали. О, какъ отвратительно позорна была она!

До сихъ поръ онъ хорошо зналъ много страдавшаго въ молодости, богобоязненнаго, заботящагося о сиротахъ и вдовахъ, почтеннаго и всѣми уважаемаго Евдокима Семеновича Чебукова; теперь ему пришлось впервые познакомиться съ подлецомъ Евдошкой, на котораго когда-то смотрѣла съ презрѣніемъ даже неразборчивая въ дѣлѣ нравственности старая дворня. Зинаида Андреевна разсказывала все, что она слышала объ Евдошкѣ отъ старой няньки, отъ ключницъ, отъ Аркадія Андреевича. Иногда Леонидъ въ волненіи вскакивалъ со стула и ходилъ по комнатѣ.

— Ты прости меня... Я все забываю, что онъ тебѣ...— начинала она, но онъ снова страстно прерывалъ ее:

— Нѣтъ, нѣтъ, говорите, говорите все... Я хочу знать, я долженъ знать все!..

И выпивъ воды, онъ снова подробно разспрашивалъ и слушалъ ее, точно наслаждаясь тѣмъ, что онъ растравляетъ свои собственныя раны...

Господи! Господи! Что за судьба выпала на долю Аркадія Андреевича. Его, по выраженію Зинаиды Андреевны, только печкой не били, а объ печку били. Ему шелъ шестнадцатый годъ, когда отецъ велѣлъ его выпороть на конюшнѣ, потому что мать, подъ вліяніемъ наушничества Евдокима, нажаловалась на него отцу. Правда, онъ, уже будучи офицеромъ, самъ поднялъ разъ руку на отца, но это было тогда, когда тотъ снова пригрозилъ, что онъ, несмотря на его мундиръ, выпоретъ его. Наконецъ, когда его окончательно и споилъ, и развратилъ, и запуталъ въ долгахъ Евдокимъ и его за дуэль выслали на Кавказъ, Евдокимъ сталъ скрывать его письма и, наконецъ, записалъ его въ списокъ умершихъ.

— Да что говорить, развѣ я и Зоя бѣжали бы, если бы можно было жить дома,—сказала Зинаида Андреевна.—А теперь вотъ и придется расплачиваться за прошлое... Я вотъ еще кое-какъ доживу вѣкъ... Нынче только ангажементъ упустила... надули, подлецы... а то ничего—перейду на роли комическихъ старухъ и будетъ работишка... Вотъ Аркадій не то... Ты его не видалъ?

— Мелькомъ видѣлъ, — отвѣтилъ Леонидъ, вспомнивъ грустную сцену въ домѣ Чемезова.

— Совсѣмъ старикомъ сталъ, опустился, головы преклонить негдѣ,—сказала Зинаида Андреевна.—Говоритъ онъ, что процессъ начнетъ. Да гдѣ же безъ денегъ! И, можетъ-быть, ничего не выиграетъ... Что-жъ, говоритъ, не подъ заборомъ же мнѣ умирать». Ну, да, толкуй! И умретъ подъ заборомъ... ничего не подѣлаетъ съ подлецами... у нихъ деньги...

— Нѣтъ, нѣтъ, что вы, онъ можетъ выиграть, если начнетъ дѣло... — проговорилъ Леонидъ какъ бы сквозь сонъ.—Непремѣнно выиграетъ... онъ долженъ начать дѣло...

Поздно вечеромъ вернулся онъ въ свой номеръ. Въ его головѣ былъ хаосъ. Онъ съ отвращеніемъ думалъ о томъ, каковы были его мать и отецъ. Онъ съ ужасомъ думалъ о томъ, что можетъ открыться на судѣ. Вся грязь прошлаго всплыла передъ нимъ и съ еще большими подробностями должна она всплыть при гласномъ разбирательствѣ дѣла. Зинаида Андреевна и Аркадій Андреевичъ не пощадятъ красокъ, да и могутъ ли они щадить этого человѣка, надѣлавшаго имъ столько зла? Они не пощадятъ его уже потому, что ихъ ждетъ нищета... Въ его воображеніи ярко вырисовался образъ этого несчастнаго, оборваннаго и бездомнаго старика, котораго гнала полиція изъ дома Чемезова, котораго ждетъ смерть гдѣ-нибудь на улицѣ. И рядомъ съ нимъ предсталъ образъ почтеннаго отца семейства, самодовольно торжествующаго побѣду надъ несчастнымъ, окруженнаго любящимъ семействомъ и общимъ почетомъ...

Всю ночь, чувствуя, что у него мѣшается умъ, что такъ жить больше нельзя, что исхода изъ путаницы событій нѣтъ, не спалъ Леонидъ. Только подъ утро затихли его шаги въ комнатѣ и послышались звуки болѣзненныхъ вздоховъ и тяжелаго хрипѣнья, за которыми мало-по-малу послѣдовала полная тишина и, должно-быть, наступилъ крѣпкій, непробудный сонъ...

Было часовъ пять или шесть вечера, когда суетливая служанка меблированныхъ комнатъ обратила вниманіе на то, что жилецъ изъ пятаго номера не выходилъ съ самаго утра изъ комнаты. Она постучалась къ нему и отворила дверь, которая не была даже заперта на ключъ, и тутъ же вскрикнула на весь коридоръ. На постели лежалъ безъ сюртука Леонидъ, весь залитый кровью, лужа которой стояла

жаде на полу. Тутъ же на постели валялся ножъ, которымъ самоубійца перерѣзалъ себѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ горло. На крики служанки сбѣжались люди, полиція, начался допросъ, какъ и почему, когда и при какихъ обстоятельствахъ произошло самоубійство.

Отвѣта не было, такъ какъ покойный не оставилъ даже письма. Въ газетахъ, сообщая объ этомъ самоубійствѣ, разсуждали о томъ, какъ странна эта жалкая безхарактерная молодежь: вполнѣ обезпеченный, цвѣтущій юноша, правда, сирота, пріемышъ, но зато окруженный лаской близкихъ, заботами воспитателей и опекуновъ, налагаетъ на себя ни съ того, ни съ сего руки и даже не оставляетъ ни строчки въ оправданіе себя, въ утѣшеніе близкихъ. Подобные поступки могутъ совершать только безумные или въ конецъ испорченные люди.

Разсужденіе было написано очень краснорѣчиво и поучительно...

— Онъ-то покончилъ, а какъ я покончу? Подъ какимъ заборомъ?—задумчиво говорилъ Зинаидѣ Андреевнѣ какой-то бѣдно одѣтый старикъ, носившій на лицѣ слѣды пьянства, стоя рядомъ съ нею въ покойницкой при клиникѣ, на панихидѣ, у гроба Леонида. — И, поди-ка, Евдошка ни тогда, ни теперь не пойметъ, что все это его дѣло...

„КОНЦЫ И НАЧАЛА“.

РАЗСКАЗЫ.

„ПРІЮТЪ ДЛЯ ПРЕСТАРѢЛЫХЪ И УБОГИХЪ ВДОВЪ И ДѢВИЦЪ“.

I.

Стоялъ ясный и морозный зимній полдень... Въ широкихъ и довольно свѣтлыхъ коридорахъ и кухняхъ большого каменнаго зданія «Пріюта для престарѣлыхъ и убогихъ вдовъ и дѣвицъ», среди сотни старухъ и калѣкъ, одѣтыхъ въ форменныя холстинковыя платья рыжеватаго цвѣта, шла суматоха, какъ въ пчелиномъ ульѣ или муравьиной кучкѣ во время неожиданнаго переполоха. Правда, и каждый день, въ полдень, обыкновенно все приходило въ движеніе въ «пріютѣ», такъ какъ это часъ раздачи обѣда: старухи и приставленная къ нимъ прислуга снуютъ по коридорамъ со своими мисочками, чашками и плошками, толпятся въ кухняхъ каждаго этажа, спорятъ изъ-за кусковъ раздаваемаго надзирательницами, уже раздѣленнаго поваромъ на порціи, мяса; попрекаютъ одна другую, говорятъ другъ другу колкости. Но на этотъ разъ волненіе носило какой-то иной характеръ, чѣмъ ежедневное волненіе голодныхъ при дѣлежѣ и дачѣ корма. Никто не ехидничалъ, никто не огрызался. Всѣ сновали теперь изъ угла въ уголъ, всѣ говорили разомъ, всѣ сливались въ одинъ согласный хоръ, не споря, не ссорясь, а радуясь и ликуя. «Пансіонерки», то-есть, женщины, платящія за свое содержаніе деньги изъ своихъ собственныхъ средствъ, и «призрѣнницы», то-есть женщины, содержимыя на казенный счетъ, были одинаково радостно взволнованы сенсаціоннымъ извѣстіемъ, что въ «пріютѣ» открыта кража, и воры понесли заслуженную кару. Вездѣ слышались восклицанія:

— Нѣтъ, нѣтъ, а какова Меленша-то? Она-то хороша!— на весь коридоръ горячилась окруженная старухами высокая ростомъ дѣвушка, исхудавшая, какъ скелетъ, обтянутый кожею, и уже довольно пожилая.

О томъ, что это не вдова, не чья-нибудь разведенная жена, а именно старая дѣвушка, легко было догадаться уже потому, что среди окружавшихъ ее старухъ она была безъ чепца и даже безъ какого-нибудь «фаншона» на облѣзлыхъ сѣдыхъ волосахъ.

— Черезъ нее, матушка Ольга Андреевна, все и шло, всѣ эти продѣлки-то! Она и была главная заводчица всему!— вставила свое слово одна изъ окружавшихъ ее старухъ, крошечное и юркое созданье изъ тѣхъ, которыя все знаютъ, все смекаютъ даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда нельзя ничего ни узнать, ни смекнуть.

— Да, да,—безсознательно согласилась Ольга Андреевна, даже не разобравъ хорошенько словъ собесѣдницы.—Теперь уже ясно, что она была любовницей покойнаго Кедрово-Сокольскаго, черезъ нее онъ все и могъ обдѣлывать, живя въ своемъ имѣніи. Я давно это всѣмъ говорила, такъ мнѣ вѣрить не хотѣли. Лебезили всѣ передъ нею. Какъ же, человѣкъ въ случаѣ, власть имущій!.. И развѣ смѣла бы она поднимать носъ, если бы за ея спиной не стоялъ Кедрово-Сокольскій? Простая кассирша изъ мѣщанокъ, а всѣмъ вертѣла. И Иванъ Петровичъ, и Петръ Ивановичъ передъ ней въ струнку вытягивались.

— Да, ужъ нечего сказать, мать-командиршу разыгрывала,—вставила опять свое замѣчаніе та же старуха.

— Ну, вотъ и шлепнулась въ грязь,—продолжала горячиться ораторствовавшая старая дѣва.—Теперь ее вымажутъ всею этою грязью тѣ самые люди, которые пресмыкались передъ нею; мѣстечка чистаго не оставятъ, за свое униженіе отплачивая. И подѣломъ, и подѣломъ! Низкая душа!

Она перевела духъ и съ горечью произнесла:

— Нѣтъ, вотъ мы съ мамулей десять лѣтъ завѣдывали дѣтскимъ пріютомъ графини Озерецкой-Дашкевичъ, такъ только свое послѣднее состояніе прожили, что послѣ освобожденія крестьянъ осталось, а не разжились, какъ эта дрянь. Честь да совѣсть была...

— Говорятъ, какъ стали провѣрять все, свои пять тысячъ внесла, только бы ее къ суду не потянули,—опять вставила свое замѣчаніе маленькая старушонка, пропуская

мимо ушей послѣднія слова Ольги Андреевны, какъ не относящіяся къ интересовавшему всѣхъ событію.

— Ей что? Не пять тысячъ наворовала!—отвѣтила Ольга Андреевна.

— Ужъ должно-быть, что больше,—согласилась собесѣдница.—На-дняхъ встрѣтилась со мной, подняла носъ и фыркаетъ: хочу за границу съѣздить, отдохнуть хоть съ мѣсяцъ.

— Подлая! подлая!—вспылила Ольга Андреевна.—А еще считалась ученой и эмансипированной дѣвицей, на всѣхъ неучей да невѣждъ съ презрѣніемъ смотрѣла; всѣхъ насъ за старую, негодную ветошь считала, а оказалась на дѣлѣ простой воровкой и чужемужней содержанкой. Мразь, право, мразь! Всякое чистое да святое дѣло такія-то мѣщанскія души испакостятъ. И училась-то, чтобы ловчѣе умѣть воровать, да концы прятать, и эмансипацію-то защищала, чтобы вольнѣе на содержаніи жить, не просто отъ развращенности нрава, а по принципу свободной любви...

— А вы, Ольга Андреевна, кажется, болѣе всего рады не тому, что голодать не будутъ пансіонерки, а тому, что именно Наталья Францовна оказалась причастной къ разнымъ упущеніямъ,—нѣсколько язвительно и ядовито, но въ то же время ласковымъ и мягкимъ тономъ проговорила приблизившаяся къ другимъ разговаривающимъ, слащаво улыбающаяся дама.

Эта кругленькая, подвижная и вѣчно предупредительная по манерамъ женщина, занимавшая должность надзирательницы второго отдѣленія «пріюта», отличалась отъ всѣхъ прочихъ по своей внѣшности только тѣмъ, что на ней было надѣто не «казенное», а «свое» платье, то-есть платье, сшитое не изъ той рыжеватой холстинки, которая выдавалась всѣмъ живущимъ въ пріютѣ старухамъ.

Ольга Андреевна быстро обернулась въ сторону подошедшей, и по ея лицу скользнуло выраженіе враждебности.

— Ну да, этому я и рада, Марья Васильевна, именно этому!—озлобленнымъ голосомъ отвѣтила она, уловивъ язвительность и ядовитость въ мягко и ласково произнесенныхъ словахъ. — А вы думаете, что слѣдуетъ радоваться тому только, что мы на нѣкоторое время не станемъ голодать, а будемъ жить только впроголодь, пока не истреплются и новыя метлы? Нѣтъ-съ, не этому слѣдуетъ радоваться, а тому, что подлецы, да притомъ поднимающіе носъ подлецы, гибнутъ. Я всегда, всегда рада, когда подлость и мерзость гибнутъ! Дышится вольнѣе, когда знаешь, что ихъ ждетъ

наказаніе, что, можетъ-быть, иной и побоится идти по ихъ стопамъ. Нынче-то вѣдь на совѣсть людей нечего полагаться, а хоть бы изъ страха подлостей не дѣлали.

Она, почти задыхаясь, выкрикивала эти желчныя фразы передъ снисходительно улыбающейся, своею застывшею улыбкой, Марьей Васильевной. Было сразу ясно, что Ольга Андреевна много настрадалась въ жизни и въ-конецъ озлобилась. Слушая ее, однѣ со вздохомъ, молча, соглашались съ нею; другія, качая головами, говорили между собою, что очень ужъ зла она. Съ ней теперь вообще было трудно сладить: она долголѣтними лишеніями и невзгодами какъ бы купила себѣ право обличать всѣхъ и за все,—однихъ за грабежъ, другихъ за низкопоклонство, совершенно игнорируя, что это право обличенія вовсе не къ мѣсту въ какомъ-нибудь «пріютѣ» или въ какой-нибудь «богадѣльнѣ»; что оно тутъ такъ же не у мѣста, какъ золотыя украшенія на рубищѣ нищаго. Въ «пріютѣ» или въ «богадѣльнѣ» прежде всего нужны кротость и смиреніе или, вѣрнѣе сказать, кромѣ кротости и смиренія ничего и не нужно.

Приходъ Марьи Васильевны почти обрадовалъ немного струсившихъ отъ рѣзкихъ фразъ Ольги Андреевны и смущенныхъ ею слушательницъ, напомнивъ имъ, что всѣ онѣ шли въ кухню, гдѣ сейчасъ должна была начаться желанная раздача обѣда. Говорить съ Ольгой Андреевной даже объ интересовавшей всѣхъ злобѣ дня было не совсѣмъ удобно: правда, теперь можно было бранить изгнанное начальство, но она не только бранила его, а и сомнѣвалась въ достоинствахъ новаго, постоянно говоря, что «метла хорошо мететъ, пока только нова», что «цыплятъ нужно по осени считать» и тому подобное. Всѣ такія фразы огорчаютъ умиленныя сердца во время всеобщаго ликованія, отравляютъ наполняющую всѣ кроткія и смиренныя души радость, и притомъ у кого же въ «пріютѣ» можетъ быть настолько храбрости, чтобы отдѣлаться отъ тревожныхъ вопросовъ: «а что, если новое-то начальство услышитъ?»

Черезъ минуту, старухи уже сокрушительно шептались между собою въ кухнѣ:

— Охъ, ужъ эта Ольга Андреевна! И откуда у нея столько злобы? Всѣхъ-то бранить готова! Ничѣмъ не довольна, когда только бы благодарить Бога нужно...

— Старая дѣва! — мягко и сострадательно повторяла Марья Васильевна въ отвѣтъ на эти какъ бы заискиваю-

щіе и оправдывающіе въ чемъ-то возгласы трусливыхъ старухъ.

Она любила прощать и примирять людей.

II.

Въ просторной комнатѣ, раздѣленной на части двумя драпировками изъ полосатаго тика и освѣщенной однимъ небольшимъ окномъ, царствовала полнѣйшая тишина, едва нарушаемая только чьимъ-то ровнымъ, крайне слабымъ дыханіемъ. Въ комнатѣ, несмотря на то, что въ ней все было безукоризненно чисто и заботливо прибрано, стоялъ невообразимо спертый и тяжелый воздухъ: пахло постельнымъ бѣльемъ, постоянно просушиваемымъ здѣсь за драпировкою у печки, разными мазями и лѣкарствами, ждановской жидкостью и благовонными куреніями, намекавшими на упорныя, но тщетныя попытки очистить воздухъ. Около одной изъ драпировокъ, на большой постели, лежала непомѣрно тучная фигура женщины, повернувшейся лицомъ къ стѣнѣ. На ней было надѣто поразительно бѣлое бѣлье; ея ноги прикрывались такимъ же бѣлымъ пикейнымъ одѣяломъ; въ ея лицѣ, въ обнаженныхъ плечахъ и рукахъ, казалось, не было ни кровинки; ея волосы походили на совершенно бѣлое блестящее серебро. Ее можно было бы счесть за мраморное изваяніе на гробницѣ, если бы не слабое, ровное дыханіе, слегка колебавшее ея грудь, да не движеніе толстаго и короткаго указательнаго пальца ея правой руки, безсознательно чертившаго какіе-то узоры на выкрашенной сѣрою краской стѣнѣ. Это не былъ сонъ, это не было бодрствованіе. Это было какое-то полузабытье съ безсознательными движеніями, гримасами, улыбками, капризами, смѣхомъ...

— Мамуля, не спишь?—послышался около нея вопросъ, сдѣланный такъ громко, какъ обыкновенно говорятъ съ плохо слышащими людьми.

Это говорила Ольга Андреевна, только-что вернувшаяся изъ коридора, гдѣ только-что обсуждался вкривь и вкось важный пріютскій вопросъ о паденіи пріютскаго министерства, поднявшій на ноги всѣхъ старухъ.

— Это ты, Оля? — спросила въ свою очередь, вмѣсто отвѣта, лежавшая на постели старуха и, не поворачиваясь, непріятно скосила правый глазъ, силясь увидать, кто съ ней говоритъ, стоя за ея спиной.

Лѣвый глазъ у нея былъ почти постоянно закрытъ.

— Я, мамуля!—отвѣтила дочь, заботливо поправляя на ней одѣяло.

— Теперь вечеръ?—спросила больная.

— Нѣтъ, утро; сейчасъ двѣнадцать пробило... Обѣдъ стали раздавать... Дарья пошла за нимъ...

— Не хочу, не хочу... Обѣда не хочу... дрызготню даютъ, ополоски... Кофе хочу, — капризно и рѣшительно заявила больная.

Ольга Андреевна слегка покачала головой и попробовала осторожно убѣдить мать:

— Обѣдъ испортишь, мамуля... а сегодня котлеты рубленыя изъ свѣжаго мяса... новое начальство...

— Кофе хочу, кофе хочу! — настаивала уже раздражительно мать, ударяя указательнымъ пальцемъ по стѣнѣ. — Со сливками, съ пѣнками хочу...

Ольга Андреевна едва слышно вздохнула. Старухѣ нельзя было ни отказывать, ни противорѣчить, какъ тяжко больному ребенку. Всякое раздраженіе дѣйствовало губительно на ея здоровье.

— Хорошо, хорошо, я сейчасъ,—поторопилась успокоить ее дочь и, позвавъ старуху, пояснила:—Кофе мама хочетъ, Дарьюшка.

Это была ихъ прежняя дворовая. Вмѣстѣ съ господами, какъ вѣрный песъ, пережила она всѣ превратности ихъ судьбы и заканчивала теперь свой вѣкъ, какъ и онѣ, въ «пріютѣ», на общей половинѣ.

— Сейчасъ, сейчасъ, — отвѣтила худенькая и приземистая Дарья, уже давно привыкшая къ тому, что больная нерѣдко требуетъ во время обѣда кофе, а обѣдаетъ иногда вечеромъ; порой среди ночи просыпается и проситъ то кислой капусты, то каши, то солененьких грибовъ.

Для больной давно уже не существовало ни дня, ни ночи, а длилось только какое-то полусознательное существованіе. Параличное состояніе ногъ и всей нижней части туловища лишало ее возможности ходить, сидѣть, ворочаться на постели. Находясь постоянно въ лежачемъ положеніи, ворочаемая при помощи простынь на постели, она, тучнѣя съ каждымъ днемъ, провела почти неподвижно уже цѣлыхъ три года. Бывали дни, когда докторъ былъ убѣжденъ, что ея дни и даже часы уже сочтены, но тяжелые кризисы мучительныхъ болей и страданій проходили, и она опять продолжала лежать въ прежнемъ положеніи, какимъ-то живымъ трупомъ. Стоило нечеловѣческихъ усилій двумъ старымъ,

исхудалымъ и истощеннымъ женщинамъ, дочери и служанкѣ, чтобы содержать въ чистотѣ, чтобы спасать отъ пролежней, чтобы оберегать отъ лишеній этотъ живой трупъ. «И на что живетъ?—говорили въ «пріютѣ» про больную.— И себѣ въ тягость, и другихъ мучитъ». Кто-то мѣтко сравнилъ больную старуху и ея дочь съ двумя колодниками, скованными одной цѣпью.

— У насъ, мамуля, новость: Меленшу, Ивана Петровича, Петра Ивановича, вахтера и повара, всѣхъ разомъ вчера смѣнили за кражи,—разсказывала ей дочь, присѣвъ у ея постели.

Полуоткрытый глазъ старухи, какъ-то рѣзко и непріятно блестя, зорко искоса глядѣлъ на дочь.

— Мой глазъ вѣренъ, я всегда говорила, что они воры,— твердо проговорила старуха.—Воры и вышли! Ну, и погнали. Туда и дорога. Теперь другіе красть станутъ...

— Выгнать-то выгнали, да жаль только, что по-міру не пойдутъ. Накрасть успѣли много,—озлобленно замѣтила дочь.— По-міру честные люди идутъ, а ворамъ и въ Сибири хорошо. Справедливость тоже!..

— Кто честные-то? И про меня вонъ говорили, что краду!— равнодушно проговорила старуха.—Тоже воровка...

Ольга Андреевна заволновалась. Большей обиды для нея не было, чѣмъ отнять у нихъ право гордиться своею честностью. Что же у нихъ останется, если отнять это право считаться честными?

— Если бы ты-то крала, не были бы мы здѣсь въ богадѣльнѣ,—съ горечью произнесла она.—Не гибли бы впроголодь въ этой норѣ... ни свѣту, ни воздуху, ни людей. Кругомъ холопки какія-то, по душѣ холопки... шопотомъ проклинать готовы, а громко только и произносятъ, что благословенія... Меленшѣ руки лизать были готовы, пока она держалась въ силѣ; теперь загрызли бы ее, если-бы ей пришлось, какъ намъ, жить здѣсь Христа ради... И какъ это люди жить могутъ, когда на свѣтѣ ни правды, ни справедливости, ничего нѣтъ?

Старуха оставалась попрежнему равнодушной къ тому, что говорила дочь, и продолжала выводить на стѣнѣ пальцемъ невидимые узоры.

— Кофе, кофе хочу!—вѣроятно соскучившись слушать дочь, начала она повторять капризнымъ тономъ и уже снова стуча указательнымъ пальцемъ по стѣнѣ точно выбивая тактъ.

— Сейчасъ, сейчасъ!—отвѣтила вернувшаяся въ комнату

Дарья, придвигая круглый столикъ къ постели и ставя на него кофейникъ и чашки.

Она съ помощью «барышни»,—какъ называла Ольгу Андреевну,—начала съ усиліемъ поворачивать грузное тѣло старухи-барыни на спину, въ то же время ловко подкладывая ей подъ голову и подъ спину подушки. Съ обѣихъ женщинъ—и съ барышни, и со служанки—катился градомъ потъ отъ непомѣрныхъ усилій. Больная же лежала, какъ бревно, не помогая имъ ни малѣйшимъ движеніемъ справиться съ нею, не дѣлая даже попытокъ двинуть хоть однимъ членомъ, и по ея широкому, болѣзненно-одутлому лицу блуждала какъ бы насмѣшливая улыбка, точно ей было смѣшно, что онѣ выбиваются изъ силъ и все-таки не могутъ справиться съ нею. Эта улыбка за послѣднее время часто появлялась на ея лицѣ и не мало смущала, даже возмущала постороннихъ, какъ безсердечная насмѣшка надъ ухаживающими за нею людьми; также смущалъ ея прищуренный лѣвый глазъ своимъ лукавымъ выраженіемъ, какъ бы подмигивающій съ иронісй людямъ. Только знавшіе ее хорошо сознавали, что и эта насмѣшливая улыбка, и это мнимое лукавство въ выраженіи глазъ были слѣдствіемъ уже угасающаго въ ней сознанія, чѣмъ-то мимовольно и случайно застывшимъ на этомъ лицѣ.

— Разсказывай, Даша, сказки,—приказала больная старой служанкѣ, потягивая, какъ ребенокъ, вытянутыми и оттопыренными губами, съ блюдечка кофе, налитый и немного остуженный ея дочерью.

— Да, матушка-барыня, что же я буду разсказывать; я уже больше никакихъ новыхъ сказокъ не знаю,—отвѣчала Дарья:—а старыя вы всѣ переслушали...

— А ты старыя и разсказывай, старыя и разсказывай,—твердила барыня.— Я ихъ переслушала, а ты пересказывай...

Дочь налила, между тѣмъ, еще кофе изъ чашки на блюдечко и снова стала поить больную. Дарья, качая головой и усѣвшись у постели, стала разсказывать про Бову-королевича.

— Не такъ, не такъ!.. Пропустила, пропустила... Зачѣмъ пропускаешь?—остановила ее старая барыня, когда служанка, ради желанія сократить повѣствованіе, сдѣлала пропускъ въ сказкѣ.—Говори по порядку, какъ сказано въ сказкѣ. Не ты складывала сказки, не тебѣ и пропускать слова изъ нихъ...

Она снова стала втягивать съ блюдечка кофе.

— Меня не обманешь, я все помню,—говорила больная.— Молоды еще, чтобы меня обманывать. Тебѣ сколько лѣтъ?

— Пятьдесятъ пятый пошелъ,—со вздохомъ отвѣтила Дарья.

— А тебѣ, Оля?—обратилась больная къ дочери.

— Я на годъ старше Дарьи,—отвѣтила Ольга Андреевна.

— Вотъ то-то и есть, а мнѣ семьдесятъ девять,—сказала больная, подмигивая глазомъ.—Значитъ, и не доросли до меня... а я все лучше васъ помню...

Что-то захватывающее за душу было въ этомъ полубезсмысленномъ лепетѣ. И дочь больной, и служанка слушали ее, скорбно поникнувъ головами.

— А теперь спать, спать, спать... Штору спустить и спать,—заговорила поспѣшно больная.

— Мамуля, а ночью опять будешь мучиться безсонницей,—осторожно замѣтила ей дочь.

— Спать, спать хочу... Штору спустите, — настаивала больная.

Дочь и Дарья, разобравъ изъ-подъ спины больной подушки и уложивъ ее снова, поспѣшили спустить темную штору у окна. Потомъ въ полутьмѣ убрали посуду, стараясь не шумѣть и ходить на цыпочкахъ около засыпавшей больной. Минутъ черезъ пять, въ комнатѣ послышалось ея ровное и слабое дыханіе. Ольга Андреевна не спѣшно вышла на нѣсколько минутъ въ широкій коридоръ, чтобы вздохнуть болѣе свѣжимъ воздухомъ. На ней теперь, что называется, лица не было: блѣдная, худая, съ заострившимся носомъ и подбородкомъ, съ ввалившимися глазами, она походила на покойницу.

III.

Наступали уже раннія сумерки, а Ольга Андреевна продолжала сидѣть все на той же скамьѣ въ коридорѣ, только навѣдываясь отъ времени до времени, не проснулась ли старуха-мать. Та на этотъ разъ заспалась не на шутку сладкимъ, крѣпкимъ сномъ, что сулило впереди тревожную, безсонную ночь...

Ольгою Андреевною снова овладѣли тяжелыя думы о судьбѣ матери, о своей судьбѣ, о Меленшѣ... Эта дѣвушка была у Меленши, какъ бѣльмо на глазу, съ самаго перваго дня ея поступленія въ «пріютъ». Удивительнаго тутъ не было ничего: Ольга Андреевна Бичунская и Наталья Францовна Меленъ (Меленшей ее звали только жительницы

«пріюта», которымъ она на каждомъ шагу дѣлала дерзости) были двумя крайними противоположностями по рожденію, по воспитанію, по прирожденнымъ характернымъ чертамъ, по принадлежности къ разнымъ поколѣніямъ и разнымъ слоямъ общества. Ольга Андреевна выросла и получила домашнее воспитаніе подъ крыломъ матери, въ глухой небольшой деревнѣ, во времена крѣпостного права, не хлопоча ни о какихъ дипломахъ, не воображая никогда, что они ей понадобятся, что, можетъ-быть, ей придется быть гувернанткой. Небогатая, некрасивая собой, она рано привыкла къ мысли, что ей придется весь вѣкъ скоротать въ дѣвушкахъ и, не отличаясь пылкимъ темпераментомъ, не особенно печалилась этимъ, довольная тихой жизнью въ родной деревнѣ, гдѣ ее всѣ знали, всѣ любили, потому что «ужъ она-то никому зла не дѣлаетъ». Съ нея было достаточно ея пассивныхъ добродѣтелей, ея немного вялыхъ радостей, ея нѣсколько затхлаго и заплѣснѣвѣвшаго родного угла съ немного одичалой природой, съ немного одичавшими людьми. «У насъ здѣсь тихо!» Этой фразой и характеризовалась ея жизнь, и выражалась высшая похвала этой жизни. Она, казалось, и не требовала ничего больше, привыкнувъ быть покорной дочерью, сознавая, что окружающіе ее любятъ, находя утѣшеніе въ молитвѣ, тихой, спокойной, безъ порывовъ къ чему-то еще неиспытанному, безъ пламенныхъ просьбъ о чемъ-то недостающемъ. Впрочемъ, если бы она и вздумала сѣтовать на свою долю, то ей не позволила бы ея мать, Софья Зиновьевна. Это была довольно энергичная, здоровая русская натура. Она умѣла самостоятельно управлять своей деревней, оставшись рано вдовой, и, не притѣсняя замѣтно крестьянъ, сводила концы съ концами.

Это была вполнѣ «матушка-барыня», какъ величали ее крестьяне, своего рода владѣтельная особа, гордившаяся умѣньемъ управлять своими подданными и видѣть, что они и ей даютъ жить, и живутъ сами. Глубокихъ вопросовъ о томъ, насколько справедливо и нравственно сидѣть на шеѣ крестьянъ, она не задавала себѣ и была увѣрена, что крестьяне ея до тѣхъ поръ и благоденствуютъ, пока ими управляетъ она. «Дай имъ волю—сейчасъ же запьютъ». Для нея это была такая же истина, какъ дважды два—четыре. Эмансипація крестьянъ свалилась на нее, какъ снѣгъ на голову, перевернула вверхъ дномъ всѣ ея понятія, всѣ ея соображенія, всѣ ея привычки: оказалось, что она умѣла хозяйничать «на готовомъ», при даровыхъ слугахъ,

и вовсе 'не умѣла сводить концы съ концами, когда надо было купить каждую тряпку, торгуясь изъ-за гроша, слѣдя, чтобы ее не обокрали чужіе люди; оказалось, что въ сущности не она опекала крестьянъ, а они опекали ее, принося ей во-время и деньги, и холсты, и свои услуги. Въ какія-нибудь десять лѣтъ она сдѣлалась чуть не нищей и, только благодаря старымъ знакомымъ, успѣла пристроиться въ небольшой дѣтскій пріютъ, основанный на широкую руку княгиней Озерецкой-Дашкевичъ въ память покойной княжны Озерецкой-Дашкевичъ, неожиданно умершей вслѣдствіе того, что кому-то не позволили жениться на ней, или, наоборотъ, ей не позволили за кого-то выйти замужъ,—однимъ словомъ, вслѣдствіе трогательнаго романа. Какъ неожиданна была смерть молодой княжны, такъ неожиданно было и основаніе пріюта: онъ былъ основанъ сгоряча, «въ пику» кому-то, послужившему причиной смерти княжны, и уже черезъ годъ или черезъ два скуповатая княгиня стала раскаиваться за свою дорого стоившую затѣю. Пріютъ хотя и содержался не на одни ея средства, хотя въ его дѣлахъ и принималъ участіе цѣлый комитетъ, тѣмъ не менѣе львиная часть расходовъ падала на княгиню. Впервые въ это время ясно увидала Ольга Андреевна Бичунская, что ея распорядительная и хозяйственная мать, оторванная отъ земли, отъ кормильцевъ-крестьянъ, была въ сущности совсѣмъ неумѣлымъ человѣкомъ. Княгиня, а еще чаще ея приспѣшница, какая-то перезрѣлая дѣва, бывшая гувернантка ея дѣтей, Марья Даниловна Сирахъ, не разъ желчно замѣчала, что какимъ-то уличнымъ ребятишкамъ можно давать и черствыя булки, такъ какъ онѣ на копейку дешевле, и что имъ можно покупать на бѣлье и погрубѣе холстину, изъ какой дѣлаютъ половики, но Софья Зиновьевна возставала:

— Да гдѣ же у крошечныхъ дѣтей зубы для черствыхъ булокъ и корокъ, а насчетъ дерюги я скажу, что у меня и Дарья, дѣвка простая, никогда не нашивала бѣлья изъ холста, предназначеннаго на половики.

— Но вѣдь вы должны помнить, что комитетъ передержекъ не приметъ на свой счетъ,—поясняла визгливо и желчно дѣвица Сирахъ, ворочавшая и княгиней Озерецкой-Дашкевичъ, и еще болѣе—благотворительнымъ комитетомъ дѣтскаго пріюта.

Этотъ комитетъ, тронутый неожиданной смертью княжны, рѣшилъ въ память ея и въ честь предсѣдательницы комитета, княгини-матери, отдѣлить извѣстныя суммы на убѣ-

жище для дѣтей, но это было сдѣлано сгоряча, и Марьѣ Даниловнѣ Сирахъ не нужно было дѣлать много усилій, чтобы ловко выяснить всѣмъ, кого это касалось, что дѣло сдѣлано было не только сгоряча, но и сдуру.

— Я все же не стану урѣзывать во всемъ содержаніе дѣтей и морить ихъ съ голоду; они и безъ того всѣ золотушныя и малокровныя,—отвѣчала Софья Зиновьевна на всѣ замѣчанія о томъ, что она слишкомъ роскошничаетъ изъ чужого.

И, по удаленіи начальства, чуть не по цѣлымъ днямъ ворчала:

— Варвары этакіе, право, варвары!.. Дѣти и безъ того худосочныя да золотушныя, а они еще голодомъ изводить хотятъ... Да у насъ, у мужиковъ деревенскихъ, дѣти не въ примѣръ здоровѣе были...

Въ это время она впервые начала рѣзко замѣчать дочери на ея робкія соображенія объ ихъ положеніи:

— Что ты мнѣ говоришь, Оля, что мы и такъ все перезаложили! Что-жъ, не прикажешь ли нищихъ обирать и морить ихъ голодомъ? Нечего сказать, по-благородному, подворянски это будетъ! Старой-то этой дѣвкѣ хорошо говорить, какъ въ ней душонка мѣщанская—сапожника какого-то, да и то изъ жидовъ—дочь, а ужъ мнѣ, матушка, отъ своихъ привычекъ на старости лѣтъ не отучаться. Совѣсть-то я не на базарѣ по случаю купила, такъ ее, какъ стоптанный башмакъ, изъ души не выкинешь. Звали матушкой-барыней и помру съ этимъ именемъ,—крохоборкой не буду.

Ольга Андреевна прониклась еще большимъ уваженіемъ къ матери и въ то же время терзалась мыслью о томъ, что будетъ, когда онѣ окончательно останутся нищими? Покуда все только закладывалось, а потомъ—нужно будетъ и продавать заложенное. Дѣтскій же пріютъ все уменьшался: отъ двадцати пяти дѣвочекъ осталось шестнадцать, отъ шестнадцати—восемь, отъ восьми—четыре,—вакансій не замѣщали, такъ какъ, по словамъ Марьи Даниловны Сирахъ, было бы всего цѣлесообразнѣе закрыть совсѣмъ это воспитательное заведеніе. По мѣрѣ того, какъ уменьшалось число призрѣваемыхъ дѣтей, сводить концы съ концами по содержанію ихъ было все труднѣе и труднѣе, и когда въ пріютѣ осталось всего двѣ дѣвочки и было рѣшено поселить ихъ въ одной изъ «патріотическихъ школъ»,—старухѣ Бичунской пришлось обратиться съ просьбой къ княгинѣ Озерецкой-Дашкевичъ пристроить и ее съ дочерью въ какой-нибудь

благотворительный пріютъ для престарѣлыхъ женщинъ: у нея уже не было ни силъ для работы, ни средствъ для существованія. Княгиня Озерецкая-Дашкевичъ поручила какъ-нибудь уладить это дѣло Марьѣ Даниловнѣ Спрахъ, и та дала почувствовать Бичунской, что значитъ зависѣть отъ нея, отъ «дочери какого-то сапожника, да и то еще изъ жидовъ». Горькіе дни пережила и за себя, и за мать Ольга Андреевна, когда ей объявили, что за нее и за ея мать могутъ платить только половину того, что требуется за пансіонерокъ въ «пріютѣ для престарѣлыхъ и убогихъ вдовъ и дѣвицъ». Пришлось искать благодѣтелей среди старыхъ знакомыхъ, которые согласились бы вносить другую половину требуемой суммы.

— Правду говорятъ, что отъ тюрьмы да отъ сумы не отказывайся,—говорила старуха Бичунская.—Вотъ и сбылось. Христа ради существовать приходится. Да еще, можетъ-быть, и не найдется добрыхъ людей, которые стали бы поддерживать насъ.

Добрые люди, однако, нашлись, и три семьи поручились за взносъ въ «пріютъ» недостававшихъ ста восьмидесяти рублей въ годъ. Но этихъ испытаній было еще мало: приходилось затѣмъ подавать просьбу попечителю Кедрово-Сокольскому, подвергаться осмотру доктора, достаточно ли больны и стары мать и дочь, чтобы быть принятыми въ пріютъ, и, кромѣ того, вести переговоры съ правой рукой Кедрово-Сокольскаго, Натальей Францовной Меленъ.

Ольгѣ Андреевнѣ, хлопотавшей за больную мать, впервые пришлось столкнуться лицомъ къ лицу съ невиданнымъ еще ею типомъ,—съ дѣвушкой-чиновникомъ, съ дѣвушкой-дѣльцомъ, и она почувствовала къ ней непреодолимую ненависть съ первой же встрѣчи.

Наталья Францовна выросла въ подвальномъ этажѣ громаднаго каменнаго зданія, среди столичной сутолоки изъ-за куска хлѣба, подъ одинъ, сопровождаемый пинками и колотушками, припѣвъ матери-писарши, попавшей въ чиновницы:

— Что ты сидишь-то, сложа руки? Или приданое тебѣ припасено отцомъ? Отецъ-то самъ дрожитъ, какъ бы за штатомъ его не оставили, да подъ судъ не упекли? Замужъ-то безъ рубашки тебя никто не возьметъ, дураковъ теперь поубавилось; а ты учись своимъ горбомъ зарабатывать хлѣбъ: по-міру нашляешься, если не научишься работать. Другія-то могутъ сложа руки сидѣть, коли у нихъ карманы толсты, коли отцы накрасть успѣли, а у тебя-то пишъ въ

карманѣ—вотъ и все твое богатство. Само оно къ тебѣ не явится, если не сумѣешь горбъ гнуть...

Этотъ припѣвъ, въ сопровожденіи тумаковъ и затрещинъ, заставилъ молоденькую дѣвочку проклинать ученье и трудъ и, въ то же время, со скрежетомъ зубовнымъ шлепать по грязи въ дождь и снѣгъ на уроки, трудиться до поту лица безъ чужой помощи и зарабатывать горбомъ изо всѣхъ силъ медали и похвальные листы. Этотъ припѣвъ заставилъ ее сдѣлаться самостоятельной, эмансипированной барышней, хотя въ сущности она отдала бы все за то, чтобы какой-нибудь «дуракъ» взялъ ее, уже порядочно исхудавшую и отощавшую въ гоньбѣ за медалями и похвальными листами,—взялъ бы на хлѣба въ качествѣ жены, которую не только кормилъ бы при жизни, но и послѣ смерти оставилъ бы съ пенсіей. Этотъ припѣвъ заставилъ ее ненавидѣть въ душѣ то время, въ которое отцы, подобные ея отцу, чиновнику стараго закала, дрожали, чтобы не остаться за штатомъ и не попасть подъ судъ, и въ которое стали выводиться «дураки», понявшіе, что становится все труднѣе и труднѣе жить на крестьянскій счетъ, на взяточничество, на казнокрадство, а слѣдовательно и слѣдуетъ избѣгать необходимости брать себѣ на шею «обузу», то-есть жену и дѣтей. Этотъ припѣвъ толкнулъ ее въ среду тѣхъ восторженныхъ проповѣдниковъ труда и самостоятельности, безкорыстныхъ людей, которыхъ она презирала въ душѣ, какъ взбалмошныхъ идеалистовъ, какъ бѣсящихся съ жиру дворянчиковъ, какъ непрошеныхъ выскочекъ, и которымъ она явно волей-неволей поддакивала и льстила, чтобы черезъ нихъ получать работу, чтобы имѣть въ нихъ поддержку, такъ какъ большинство изъ нихъ было готово «сдуру» отдать послѣднюю рубашку нуждающемуся ближнему и распинаться за этого ближняго, ища ему работы, мѣста, поддержки. Нечего и говорить о томъ, какъ она смотрѣла вообще на богадѣленскихъ «старушонокъ», которымъ «умирать пора» и которыя «даромъ жрутъ чужой хлѣбъ», и какъ она взглянула въ особенности на Ольгу Андреевну, которая, по ея мнѣнію, какъ истая дармоѣдка изъ помѣщицъ, сперва «жирѣла» на счетъ крѣпостныхъ, а теперь будетъ «жирѣть» на счетъ общества и благодѣтелей, не стукнувъ пальцемъ о палецъ.

— Мы, несчастныя труженицы, никогда не имѣвшія ни кола, ни двора, ни рабовъ, должны весь вѣкъ гнуть горбъ, а эти бѣлоручки весь вѣкъ дармоѣдничаютъ, — разсуждала она.—Имъ счастье!

И Ольга Андреевна, безъ всякихъ объясненій, съ первой же встрѣчи почувствовала, какое мнѣніе о ней сложилось у Натальи Францовны. Объ дѣвушки сразу сдѣлались врагами. Сколько обидъ за послѣдніе четыре года перенесла Ольга Андреевна отъ Натальи Францовны.

— А что ваша мать все попрежнему лежитъ? — спрашивала Меленъ у Бичунской, встрѣчая ее въ пріемной комнатѣ «конторы».

— Да,—отвѣчала Ольга Андреевна.

— Вотъ ужъ истинное наказаніе Божіе! — замѣчала Меленъ.

— Я не ропщу,—говорила Бичунская.

— Да, вы не ропщете, но каково другимъ-то платить за васъ,—говорила Наталья Францовна.—Не будь ея, вы бы могли еще пойти куда-нибудь служить... въ экономки, въ няни.

О, какъ хотѣлось иногда Ольгѣ Андреевнѣ дать пощечину этой женщинѣ, а между тѣмъ нужно было молчать, сносить все. Женщины бываютъ порою жестоки, какъ самыя безсмысленныя дѣти, не понимающія иногда даже слова «жестокость».

Наталья Францовна, вслѣдствіе невыгодно сложившихся житейскихъ обстоятельствъ, принадлежала къ числу именно такихъ жестокихъ женщинъ. Она съ умысломъ или безъ умысла, сознательно или безсознательно, давала людямъ понять, насколько выше ихъ стоитъ она, насколько ея жизнь полезнѣе ихъ жизни, какъ много должна она работать, тогда какъ они дармоѣдничаютъ. Не мудрено, что всѣхъ обрадовало паденіе этой личности и, конечно, болѣе всѣхъ радовалась Ольга Андреевна, какъ человѣкъ болѣе чуткій, болѣе воспріимчивый...

— Да, а все-таки она припрятала, вѣрно, не мало!— рѣшила мысленно Ольга Андреевна, вспомнивъ о всѣхъ обидахъ, перенесенныхъ отъ Меленши.—Ограбила нищихъ и совѣсть спокойна, и будущность не пугаетъ, за границу вонъ ѣдетъ; ни думать, ни заботиться не о комъ, благо сердца нѣтъ... А у насъ, съ мамулей, гроша за душой не имѣется! Какъ еще тянемъ день за днемъ,—одному Богу извѣстно! И что же будетъ дальше? Гдѣ силы, чтобъ терпѣть еще? Гдѣ правда-то? Гдѣ справедливость?.. Видно, ворами надо быть...—Ея умъ все чаще и чаще останавливался на этихъ вопросахъ и, ожесточаясь, начиналъ мутиться.—Гдѣ же Божья правда, гдѣ же Его помощь? Нѣтъ, нѣтъ ничего...

Она уже не могла вспомнить, когда въ послѣдній разъ молилась.

IV.

— Что, вѣрно, мамаша спитъ, что въ коридоръ отдохнуть вышли?—окликнула Ольгу Андреевну какая-то изъ сосѣдокъ, прерывая ея тяжелыя думы.—Воздухъ-то у васъ— хоть топоръ вѣшай!

— Воздухъ, какъ воздухъ,—рѣзко сказала Ольга Андреевна, не терпѣвшая даже намековъ на то, что ее что-нибудь тяготитъ дома.

— Ну, ужъ гдѣ же! Извѣстно, больной человѣкъ въ комнатѣ. Однѣхъ простынь сколько въ день приходится перемѣнить. Кромѣ того, мази да спирты разные... Нѣтъ, я бы на вашемъ мѣстѣ положила мамашу въ лазаретъ,—совѣтовала сосѣдка.

— Въ лазаретъ? Мать отправить въ лазаретъ?—воскликнула Ольга Андреевна почти съ ужасомъ.

— Ну, да, а то вы и сами изведетесь, ходя за ней. Еще, храни Господи, раньше ея умрете,—сообразила простоватая сосѣдка.

— Ступайте, ступайте!—внѣ себя крикнула Ольга Андреевна. Не выводите вы меня изъ терпѣнія... Кому моя мать мѣшаетъ? Кому я жалуюсь на свою судьбу? Вы слышали отъ меня жалобы? слышали?

Она точно обезумѣла, точно ей нанесли кровную обиду. Эти минуты, когда она почти теряла сознаніе, повторялись все чаще и чаще. Послѣ нихъ, ей становилось обидно и совѣстно за себя, за свои нервныя вспышки, а въ головѣ, какъ удары молота, повторялся одинъ и тотъ же вопросъ: «Но что же будетъ дальше»?

— Да никто и не говоритъ этого,—начала оправдываться, смущенная окрикомъ Бичунской, сосѣдка.

— Что-жъ вы всѣ ко мнѣ съ совѣтами лѣзете? Одинъ то, другой другое совѣтуетъ! Вѣдь этакъ жить нельзя, жить нельзя! Или руки намъ на себя наложить?—почти со слезами уже, упавшимъ голосомъ, проговорила Ольга Андреевна, отвернувшись въ сторону.

— Ахъ, нервы-то, нервы-то какъ у васъ разстроены!—вздохнула съ сожалѣніемъ сосѣдка.—Другіе-то рады, коли къ нимъ съ участьемъ отнесутся, а вы... точно кто обижать васъ желаетъ...

Она, оскорбленная и негодующая, отошла, качая сострада-

тельно головой, отъ Бичунской и встрѣтилась въ коридорѣ съ новымъ экономомъ, вѣжливымъ и сдержаннымъ въ обращеніи, прямымъ, какъ палка, нѣмцемъ.

— Вы у Бичунской были?—спросилъ онъ.

— Да, говорила сейчасъ съ Ольгой Андреевной,—отвѣтила словоохотливая старушка.—Въ коридорѣ она сидитъ, въ комнатѣ-то у нихъ не продохнешь. Вотъ-то у нея нервы разстроены... хоть не подходи къ ней—сейчасъ облаять готова всякаго.

— Разстроятся, когда три года около умирающей провести придется,—серьезно замѣтилъ экономъ.—Я слышалъ, что она всю себя посвятила уходу за матерью...

— Да вѣдь что же ей больше и дѣлать?—замѣтила не безъ ехидства старушка.—Еще слава Богу, что та жива, а то куда бы она дѣлась: скелетъ-скелетомъ: ни работать, ни служить такой-то...

— А теперь вотъ еще,—продолжалъ въ раздумьѣ экономъ:—не знаю, какъ и сказать... одинъ изъ ихъ поручителей извѣщаетъ, что онъ вслѣдствіе измѣнившихся денежныхъ обстоятельствъ не можетъ болѣе вносить шестидесяти рублей въ годъ за нее и за ея мать.

— Такъ какъ же? дѣлать-то что онѣ будутъ?—заговорила уже съ любопытствомъ старуха.

— Не знаю ужъ, право,—сказалъ задумчиво экономъ.—Надо будетъ подумать... рѣшить на чемъ-нибудь...

Онъ не спѣшной походкой пошелъ по направленію къ Ольгѣ Андреевнѣ, а старушка торопливо направилась въ общую кухню сообщить сенсаціонную пріютскую новость: ужъ не рѣшится ли пріютское начальство держать Бичунскихъ за двадцать пять рублей вмѣсто тридцати? Тогда, пожалуй, еще хуже кормить будутъ: вѣдь если тутъ пять рублей, да тамъ пять рублей наверстать надо, то обѣдъ-то и станутъ дѣлать поплоше. И безъ того не мало въ пріютѣ даровыхъ нахлѣбницъ: пріѣдутъ погостить, начальство разрѣшитъ, ну, и гостятъ по недѣлямъ даромъ у матерей да у бабушекъ, а имъ изъ милости порціи даютъ, у пансіонерокъ ѣду утягиваютъ. А тоже изъ какихъ это средствъ пятерымъ слабымъ и больнымъ молоко ежедневно даютъ? конечно, изъ той же платы, которую пансіонерки за себя платятъ?.. Старухи не могли не интересоваться такими важными вопросами, такъ какъ отъ того или другого рѣшенія этихъ вопросовъ зависѣли и качество, и количество отпускаемой имъ ѣды. Эта ѣда и безъ того была плоха и

скудна, и чѣмъ хуже была она, тѣмъ жёстче и безсердечнѣе относились онѣ ко всякимъ распоряженіямъ начальства, касавшимся дозволенія какой-нибудь дочери погостить въ пріютѣ при умирающей матери или разрѣшенія давать какой-нибудь больной ежедневно порцію молока. Именно здѣсь можно было лучше всего наблюдать, до какого безсердечія можетъ дойти человѣкъ, когда дѣло идетъ о его послѣднемъ кускѣ хлѣба... Извѣстіе, сообщенное пріютскимъ старухамъ сосѣдкой Бичунской, было именно такого рода новостью которая могла заинтересовать и взволновать всѣхъ.

Не взволновалась, повидимому, только сама Ольга Андреевна, когда экономъ сообщилъ о непріятности, постигшей ее. Она выслушала сообщенное имъ извѣстіе, точно окаменѣвъ, не проронивъ ни слова, не выронивъ ни слезы...

— Что же вы думаете дѣлать?—спросилъ онъ, немного погодя, удивленный кажущимся спокойствіемъ слушательницы.

— Что?—безсмысленно повторила она и замолчала, тупо смотря въ пространство.

«Не совсѣмъ еще добилъ!»—пронеслось въ ея головѣ, и ея лицо приняло выраженіе какого-то ожесточенія. Потомъ она проговорила, какъ бы размышляя вслухъ:

— А если отпускаемое на насъ бѣлье не выдавать намъ?.. Бѣлья и такъ довольно покуда... чаще стирать придется, вотъ и все... Тоже мою порцію обѣда и кофе не выдавать?

Онъ смотрѣлъ на нее, не понимая; на минуту ему показалось, что она сама не сознаетъ, что говоритъ.

— Да какъ же вы-то безъ ѣды останетесь? — спросилъ онъ наконецъ.—Порціи и такъ не велики... всего въ обрѣзъ.

— Ахъ, что я! что это всѣ обо мнѣ говорятъ, точно сговорились! Что я? что я? Мамуля жила бы!—воскликнула она, повидимому, не сознавая вполнѣ того, что говоритъ.

— Нѣтъ, такъ не годится... объ этомъ надо серьезно подумать,—проговорилъ онъ, поднимаясь съ мѣста.

Онъ пошелъ отъ нея, сказавъ еще разъ, что онъ подумаетъ, и сознавая, что она просто невмѣняема, что она, пожалуй, умретъ раньше матери. Это было бы страшнымъ несчастіемъ для старухи... Онъ безсознательно оглянулся на ходу и въ темнѣющемъ воздухѣ увидалъ еще разъ смутное очертаніе фигуры Ольги Андреевны. Худая, похожая на остовъ, обтянутый кожей, съ сѣдыми, какъ серебро, волосами, она сидѣла неподвижно, уронивъ руки на колѣни, похожая на темный призракъ, окутанный вечерними сумерками.

— Барынюшка, барынюшка,—окликнула ее торопливо Дарья:— барыня сѣсть хотятъ...

Это была самая тяжелая пытка для Ольги Андреевны — усаживать больную: приходилось звать на помощь казенную, здоровую, молоденькую дѣвушку изъ «воспитонокъ» и втроемъ, съ непомѣрными усиліями, поднимать отяжелѣвшую, неподвижную больную, обкладывая ее кругомъ подушками, чтобы она не свалилась.

— Оля, Оля! сидѣть хочу!—послышался голосъ больной, какъ только вошла къ ней въ комнату дочь. — Устала лежать, сидѣть хочу...

— Сейчасъ, мамуля, Дарья только Настю приведетъ,— отвѣтила Ольга Андреевна.

Въ ожиданіи прихода казенной дѣвушки, Ольга Андреевна остановилась у кровати матери. Въ ея головѣ мелькали странныя, отрывочныя мысли: «Меленша правду говорила, что другимъ не легко поддерживать насъ, вотъ одни и отказали уже въ поддержкѣ. Другіе тоже откажутъ... Что-жъ, оно и понятно. Дармоѣдки мы съ матерью... Всегда были дармоѣдками. Приканчивать такихъ-то надо... Приканчивать?.. Господи, что за мысли идутъ въ голову!.. Грѣхъ одинъ... Что-жъ, ну да, грѣхъ, грѣхъ, а кто навелъ на грѣхъ? Самъ Богъ оставилъ... Самъ Онъ забылъ. Ну, и уповать перестала, и ропщу, и въ церковь не хожу болѣе... окаянная, совсѣмъ окаянная, силъ нѣтъ молиться... Злодѣи благоденствуютъ, воры ликуютъ, а мы... Что мы сдѣлали, чтобы насъ мучить, чтобы насъ казнить? Что?..»—А что?—съ суровымъ взглядомъ, обращеннымъ къ переднему углу, спросила она вслухъ.

Въ этомъ мрачномъ взглядѣ была безумная злоба, ненависть, ожесточеніе.

— Мамашу посадить пришли мы съ Настей,—послышался голосъ Дарьи, полагавшей, что Ольга Андреевна обращается съ вопросомъ къ ней.

Ольга Андреевна очнулась: ее охватилъ ужасъ, ей казалось, что на мгновеніе она потеряла разсудокъ...

Минутъ черезъ пять, три женщины уже возились около больной, поднимая ее.

— Ты пѣть умѣешь?—спрашивала между тѣмъ больная у краснощекой Насти, улыбаясь своей загадочной, насмѣшливой улыбкой и щуря лукаво лѣвый глазъ.

— Умѣю, Софья Зиновьевна,—отвѣтила Настя, съ трудомъ переводя духъ отъ возни и отирая съ лица потъ.

— Ну, вотъ и пой. У меня въ деревнѣ дѣвушки всегда пѣли за работой... веселыя были всѣ. Помнишь, Оля? Плетутъ кружево и поютъ... ягоды собираютъ и поютъ. У насъ все свое было: и кружева, и холстъ, и грибы, и ягоды. Много всего было... Въ церковь ходили, молиться ходили... теперь не ходимъ... На постели меня, что ли, носить?

Она засмѣялась и продолжала:

— А Оля у меня безбожницей стала... Говоритъ: за что Богъ наказываетъ, за что? Да, ишь какая любопытная стала... чего захотѣла узнать. А ты вотъ поди, спроси у Бога-то... Тоже всѣ бы рады узнать, за что, хорошо бы узнать. А? Хорошо было бы? Хорошо бы вѣдь, Оля?

Больная опять засмѣялась беззвучнымъ смѣхомъ, словно издѣваясь надъ кѣмъ-то?

— Отвѣчать не хочетъ, сердится, — закончила она, видя, что дочь ей не отвѣчаетъ, и неожиданно снова приказала:

— Ну, пой же, Настя... пой... пой... Хочу, чтобы пѣли... чтобы пѣли хоровую.

Ольга Андреевна, у которой щемило сердце и мутилось въ головѣ, молящимъ тономъ шепнула Настѣ:

— Спой, голубушка!

Настя, сперва конфузясь и немного ломаясь, сказала:

— Что же мнѣ пѣть, барышня?

А потомъ затянула тихо заунывную пѣсню, и сама, незамѣтно для себя, расчувствовалась, подперевъ щеку рукою... Старуха продолжала насмѣшливо улыбаться и щурить лукаво лѣвый глазъ, все глубже и глубже опускаясь въ окружавшія ее подушки.

— Барышня!.. а барышня!—боязливымъ шопотомъ окликнула, наконецъ, Дарья Ольгу Андреевну.

Та словно очнулась отъ тяжелаго сна.

— Что?—тихо отозвалась она.

— Барыня-то... барыня-то... смотрите! — указала въ ужасѣ служанка на старую барыню.

Ольга Андреевна только вскрикнула, взглянувъ на мать, совсѣмъ опустившуюся на постели среди подушекъ всѣмъ своимъ грузнымъ тѣломъ, съ безпомощно упавшей на грудь сѣдою головою...

V.

— Да какъ же такъ? когда же?—волновались опять въ пріютскихъ коридорахъ всѣ старухи, собравшись, рано по-

утру, въ кучки.—Теперь только бы жить да жить, отдыхая отъ столькихъ трудовъ, а она...

— Да когда же? Ночью вѣрно? И съ чего? Письма нешто никакого не оставила?

— Ну да, кому было писать? Никого вѣдь не осталось. Чужіе, что ли, тужить станутъ? Увидали бы кровь, содрогнулись бы, а то письма... Нужны имъ чьи-нибудь письма!..

— Да, но все же...

— Крестъ надѣла на шею на новой тесемкѣ, все бѣлье чистое надѣла на себя, и бухъ черезъ форточку,—разсказывали женщины, знающія всю подноготную.—Подъ утро, въ пять часовъ, слышали, какъ что-то мягкое на дворѣ шлепнулось... дрова это стали носить дворники... поглядѣли, а это она... лежитъ и трепещется...

— Жива, значитъ, еще была?

— Жива не жива, а такъ какъ бы въ предсмертномъ трепетаніи находилась.

— Самогитова еще вчера вечеромъ видѣла ее, послѣ того какъ мать-то умерла... говоритъ, ровно не въ своемъ умѣ была,—дополнялись подробности разсказа.—Да и экономъ вчера замѣтилъ, что она не въ своемъ умѣ... говорилъ онъ съ ней, когда еще мать жива была, а она несуразное все такое ему въ отвѣтъ... «Мнѣ,—говорила:—ничего не надо, ни одежды, ни ѣды... чего обо мнѣ заботятся?» Обижалась даже, что ей же добра желаютъ..

— Была бы въ своемъ умѣ, не сдѣлала бы этого... только бы теперь отдыхать, а она—на-вотъ, поди... Три года ходила-ходила за больной, ни днемъ, ни ночью отдыха не знала, а теперь вольною птицей стала—живи не тужи, какъ у Христа за пазухой... Нѣтъ, ужъ извѣстно, что не въ своемъ умѣ была!—обсуждали сосѣдки вопросъ о самоубійствѣ Ольги Андреевны.

Она, послѣ смерти матери, рано утромъ выбросилась въ окно изъ коридора на пріютскій дворъ...

„ДЭНДИ“.

I.

Я служилъ чиновникомъ особыхъ порученій...

Въ числѣ различныхъ, поступавшихъ въ наше вѣдомство, прошеній о разводахъ мужей и женъ, о взысканіяхъ съ какихъ-то кулаковъ за захватъ ими чужой собственности, о выдачѣ невыслуженныхъ пенсій, о пожалованіи какихъ-то экстренныхъ пособій и тому подобныхъ вспомоществованіяхъ,—въ мои руки попало, между прочимъ, и прошеніе Василія Павловича Мурина.

Муринъ жаловался въ своемъ прошеніи на разныхъ лицъ и на разныя учрежденія за то, что они отказывали ему въ помощи, и излагалъ всякія свои заслуги, дававшія ему,—какъ онъ писалъ,—полное право получать пенсію и въ качествѣ профессора, и въ качествѣ чиновника, и въ качествѣ писателя-ученаго. Все это излагалось имъ въ просьбѣ развязнымъ, почти наглымъ тономъ. Въ его словахъ слышался не проситель, а возмущенный несправедливостями, озлобленный человѣкъ, требующій должнаго! И, дѣйствительно, какихъ-какихъ заслугъ не было за нимъ: гдѣ-то въ высшемъ учебномъ заведеніи онъ читалъ русскую исторію, гдѣ-то преподавалъ политическую экономію, гдѣ-то былъ чиновникомъ особыхъ порученій и куда-то посылался драгоманомъ.

— Старый пьяница и кляузникъ!—сквозь зубы, раздражительнымъ тономъ, отозвался мой ближайшій начальникъ, пробѣжавъ глазами его просьбу.—Весь вѣкъ свой билъ баклуши, бѣгалъ за женскими юбками, а теперь... Да вы, вѣроятно, помните его: онъ надѣлалъ шуму, пройдя на пари нагишомъ по улицамъ въ Неаполѣ; его присудили тамъ къ

какому-то штрафу или наказанію, но пари онъ все же выигралъ... Правда, это было въ тѣ дни, когда онъ уже опустился окончательно и состоялъ шутомъ при какомъ-то купцѣ-самодурѣ Дудоровѣ, переставъ играть роль великосвѣтскаго дэнди...

Ни прошеніе Мурина, ни разсказы о его пьянствѣ и шутовствѣ не пробудили въ моей памяти никакихъ воспоминаній о немъ. Ихъ пробудило одно слово: «дэнди». Муринъ—дэнди! Какъ же я-то могъ забыть его?

Въ моей головѣ разомъ воскресли воспоминанія.

Я былъ почти мальчикомъ, въ томъ возрастѣ, когда непремѣнно хочется казаться старше своихъ лѣтъ, покручивать пальцами на томъ мѣстѣ, гдѣ должны вырасти въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ усы, и непремѣнно мечтать объ интрижкѣ, изъ желанія не отстать отъ успѣвшихъ уже «просвѣтиться» товарищей. Мальчики въ этомъ возрастѣ почти всегда жалки и смѣшны, и похожи на длинноногихъ, глупомордыхъ легавыхъ щенковъ,—я же, вдобавокъ къ обычнымъ недостаткамъ этого возраста, былъ по натурѣ неловкимъ, неуклюжимъ, застѣнчивымъ, вслѣдствіе сознанія своихъ физическихъ недохватокъ и некрасивости. Въ эту-то пору я впервые услышалъ о томъ, что Василій Павловичъ Муринъ—«настоящій дэнди». Это мнѣ сказала одна женщина «бальзаковскаго возраста», передъ которой я тогда млѣлъ,—вѣроятно, потому что былъ почти мальчикомъ, а она переживала бальзаковскій возрастъ—была почти старухой и стремилась казаться еще молодой, какъ я старался казаться взрослымъ человѣкомъ. И какъ было высказано ею это мнѣніе о дэндизмѣ Мурина, съ какимъ презрѣніемъ ко мнѣ! Этими словами говорилось мнѣ: «оставь всякую надежду». И зато съ какой безконечной ненавистью я встрѣтилъ впервые этого дэнди Мурина, когда мнѣ пришлось столкнуться съ нимъ у нея. Элегантный, развязный, ловкій, одѣтый по послѣдней модѣ, съ моноклемъ въ глазу, смотрящій на все и всѣхъ сверху внизъ, съ полнымъ сознаніемъ, что никто изъ окружающихъ не стоитъ его вниманія, онъ, кажется, даже не замѣтилъ моего присутствія въ этомъ домѣ. При встрѣчѣ со мною, онъ, правда, тряхнулъ головой, но, кажется, не для того, чтобы поклониться мнѣ, а только для того, чтобы ловко выбросить изъ глаза стеклышко. Онъ сразу заговорилъ и приковалъ къ себѣ вниманіе всего дамскаго общества, находившагося въ гостиной. Говорилъ онъ небрежно, немного носовымъ голосомъ, съ легкой иронією,

со способностью переходить отъ темы къ темѣ, не запинаясь и не смолкая. Имъ восторгались тутъ же, при немъ, называя его удивительнымъ ораторомъ, нашимъ Мирабо по краснорѣчію,—и я поспѣшилъ стушеваться изъ этой гостиной, гдѣ хозяйка чуть не молилась на этого дэнди, блиставшаго одеждой, свѣтскими связями, умѣньемъ говорить обо всемъ, а болѣе всего—самымъ беззастѣнчивымъ сердцеѣдствомъ. Какъ настоящій мальчикъ, я отплатилъ своимъ врагамъ тѣмъ, что «надулся» и прекратилъ знакомство съ обожаемой мною дамой бальзаковскаго возраста. Это было какъ разъ кстати, потому что у меня наступали послѣдніе гимназическіе экзамены, приготовленія къ которымъ я-было запустилъ порядкомъ, таскаясь въ роли тѣлохранителя дамы моего сердца по театрамъ и концертамъ. Потомъ пришло тревожное время экзаменовъ, лѣтній отдыхъ, и я уже никогда не встрѣчался ни съ нею, ни съ Муринымъ-дэнди.

Это былъ мой первый жизненный романъ съ оборваннымъ концомъ..

Прошли годы, явились болѣе серьезныя привязанности, болѣе осмысленныя и поэтическія отношенія, и о моей первой любви осталось только одно воспоминаніе: что и я мальчикомъ былъ влюбленъ въ какую-то молодящуюся старушку и что отъ этой старушки меня спасъ какой-то великосвѣтскій дэнди...

— Но все же надо бы какъ-нибудь ему помочь,—замѣтилъ я говорившему со мной начальнику.

— Кому это? Мурину?—съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ переспросилъ онъ, просматривая уже другія просьбы, и презрительно пожалъ плечами.—Его и безъ того разбилъ параличъ отъ пьянства и разгула. Не давать же ему еще денегъ на кабаки! А вотъ что надо сдѣлать, такъ это какъ-нибудь выпроводить его отсюда, когда онъ явится за отвѣтомъ.

Мой начальникъ немного нахмурился и досадливо забарабанилъ пальцами по столу, не отрывая глазъ отъ бумагъ.

— Но онъ же имѣетъ какія-нибудь права на пособіе или пенсію,—прибавилъ я, мысленно перечисляя всѣ мѣста службы, которыя,—какъ говорилось въ прошеніи Мурина,—когда-то занималъ этотъ господинъ.

— Никакихъ! Вездѣ служилъ безъ году недѣлю... и то по недоразумѣнію,—отрывисто и досадливо отозвался мой начальникъ и совсѣмъ сухо добавилъ:—Передайте ему отказъ, когда онъ явится за отвѣтомъ, и скажите, что меня

лично нельзя видѣть... Я вовсе не желаю встрѣчаться съ этимъ падшимъ созданіемъ... Пожалуйста, не забудьте этого: лично меня нельзя видѣть!

И затѣмъ, съ особенной поспѣшностью оборвавъ разговоръ о Муринѣ, мой начальникъ заговорилъ о другомъ предметѣ, а потомъ обратился ко мнѣ съ обычнымъ вопросомъ:

— Еще просьбы есть?

— Нѣтъ!

— Ну, и слава Богу, а то просто одолѣли...

Онъ посмотрѣлъ на часы, покачалъ головой, всталъ, распрямилъ спину и направился къ дверямъ.

— А Мурину, когда бы ни явился, такъ и скажите, что меня *лично* видѣть нельзя,—повторилъ онъ, оборачиваясь ко мнѣ уже съ порога кабинета.

Онъ по обыкновенію торопился, кончивъ дѣла, уйти со службы, такъ какъ ему, члену разныхъ «обществъ», «собраній» и «клубовъ», и нынче, какъ всегда, было «некогда».

Вопросъ о Муринѣ для моего начальника былъ очевидно исчерпанъ. Но онъ не былъ исчерпанъ для меня. Мнѣ хотѣлось увидѣть Василія Павловича Мурина именно теперь, узнать что-нибудь о его судьбѣ. Во мнѣ проснулись не чувство человѣколюбія, толкающее насъ подать руку помощи страдающему, не взирая на его прошлое, не пошлое желаніе увидѣть падшаго врага, чтобы бросить ему въ лицо еще одно оскорбленіе, но явилась чисто писательская непреодолимая жажда увидать «человѣка со странными превратностями судьбы». Великосвѣтскій дэнди, блестящій краснобай, покоритель женскихъ сердецъ, человѣкъ, котораго совали на десятокъ мѣстъ его вліятельные друзья, когда голодали другіе,—онъ-то теперь въ роли подателя прошенія о пенсіи или пособіи, которыя нужны ему для куска насущнаго хлѣба! Въ просьбѣ Мурина такъ и говорилось: «не издыхать же мнѣ съ голоду на улицѣ». Да, я не могъ успокоиться, не повидавъ его. Эта жажда знакома медикамъ, идущимъ посмотрѣть «на паціента съ интересною болѣзнью», какъ бы ни былъ онъ отвратителенъ или жалокъ.

Я зналъ, что этотъ человѣкъ долженъ придти за справкой по поводу своего прошенія, и ждалъ съ нетерпѣніемъ этого визита.

II.

Въ одинъ изъ слѣдующихъ пріемныхъ дней, когда на мнѣ лежала обязанность принимать просителей и давать имъ тѣ

для другія нужныя справки, я увидѣлъ входящаго въ пріемную комнату хромоногаго господина въ нерашливой одеждѣ. Онъ, опираясь лѣвой рукой на палку, волочилъ парализованную правую ногу и видимо плохо управлялъ правой рукой, которая неуклюже висѣла вдоль его тѣла, какъ плеть. Протащившись по комнатѣ и окинувъ меня черезъ очки, съ ногъ до головы, рѣзко смотрѣвшими глазами, онъ заговорилъ гнусоватымъ голосомъ:

— Вы чиновникъ здѣшній будете?

— Да,—отвѣтилъ я.

— А я проситель, такъ вы мнѣ вотъ и дайте справку. Только я сяду. Я стоять не могу. Вы стойте, пожалуй, а я сяду.

Онъ говорилъ скоро, безъ передышки. Подвинувъ себѣ первый попавшійся стулъ и усѣвшись на него, онъ спросилъ:

— Шанька-то вашъ, вѣрно, сегодня самъ не принимаетъ?

— Какой Шанька?—переспросилъ я въ недоумѣніи.

— А такой... Его превосходительство Александръ Ивановичъ Хребтовъ... Для васъ онъ—превосходительство, а для меня—Шанька... Шанькой я его звалъ, когда уши ему дралъ... Я вѣдь Василій Павловъ Муринъ... Муринъ, Василій Павловъ... Слышали, можетъ-быть?.. Шанька вамъ теперь отъ меня прячется, какъ отъ огня, а когда онъ еще школьникомъ-разбойникомъ былъ—въ отпуски ко мнѣ ходилъ... На одной постели спали... у меня и съ первой мамзелью познакомился.

— Его превосходительства сегодня нѣтъ,—перебилъ я Мурина, не слушая его, и только тутъ понялъ, почему Хребтовъ такъ сильно хлопоталъ именно въ этотъ пріемный день о томъ, чтобы къ нему никого, рѣшительно никого не допускали.

— Прячется,—хладнокровно рѣшилъ Муринъ.—Боится меня, каналья Шанька!.. Ну, да прячься не прячься, а я подстерегу его и осрамлю на дорогѣ... на Невскомъ осрамлю. Ему же хужо будетъ...

Онъ говорилъ со спокойнымъ, развязнымъ цинизмомъ, словно смѣялся надо всѣмъ и всѣми, не боясь ничего, не стѣсняясь ничѣмъ, настойчиво и упорно повторяя слово: «Шанька» въ разговорѣ о Хребтовѣ, котораго не мало побаивались у насъ всѣ, начиная съ разныхъ «сверхштатныхъ» канцеляристовъ, еще порхающихъ съ мѣста на мѣсто, и кончая разными «штатными» совѣтниками, уже успѣвшими просидѣть не одинъ стулъ. Передавъ Мурину, что

ему отказано въ просьбѣ, я отошелъ къ другимъ посѣтителямъ; Муринъ же сталъ развязно бесѣдовать съ нѣкоторыми изъ нихъ, подробно сообщая, какимъ прохвостомъ сталъ Шанька, котораго онъ, Муринъ, зналъ еще мальчишкой.

— Изъ одного и того же привилегированнаго питомника вышли... Только разныхъ выпусковъ. Я на пять лѣтъ его старше. Совсѣмъ соплякомъ его зналъ... Помню, какъ и пьянствовать онъ началъ, какъ и за дѣвчонками сталъ бѣгать,—разсказывалъ Василій Петровичъ и вдругъ очень громко обратился ко мнѣ съ вопросомъ:—Теперь онъ у васъ балетчицу держитъ на содержаніи или «француженку»? Прежде француженокъ больше любилъ. Бѣлье, говорилъ, тонкое носятъ.

Меня, чиновника особыхъ порученій при его превосходительствѣ, начиналъ смущать этотъ «не служебный» разговоръ въ пріемной залѣ «присутственнаго мѣста». Я уже чувствовалъ, что изо всего этого выйдетъ какой-нибудь скандалъ, такъ какъ остальные просители тоже ужъ робко переглядывались между собою, какъ бы спрашивая другъ друга: «что же это значитъ? почему не выведутъ этого сумасшедшаго или пьянаго?» Я сухо замѣтилъ Мурину, что у меня нѣтъ времени для бесѣды съ нимъ, да что и его дѣло здѣсь кончено.

— То-есть «пшелъ, убирайся отсюда вонъ»?—сказалъ онъ съ насмѣшкой своимъ гнусавымъ, дѣйствовавшимъ на нервы, голосомъ.—Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ, сколь вы боитесь своего статскаго генерала! А, поди-ка, сами радехоньки были бы узнать всю его подноготную..

— Извините, мнѣ, право, некогда!—какъ истый чиновникъ, оборвалъ я его.—Я попрошу...

— А у меня и время есть, и идти я не могу, потому что усталъ очень, а денегъ нѣтъ ни на извозчика, ни на закусончикъ,—объяснилъ онъ хладнокровно.—Надѣялся на Шаньку, думалъ: «авось, бестія, дастъ хоть ради избѣжанія скандала»... Нѣтъ, не далъ, ну, что-жъ—скандалить буду... Tu l'as voulu, George Dandin, tu l'as voulu...

Я начиналъ, дѣйствительно, бояться скандала, когда меня впопотомъ окликнулъ курьеръ и тайкомъ, съ таинственными знаками, сообщилъ мнѣ, что меня проситъ къ себѣ его превосходительство.

— Муринъ еще здѣсь?—спросилъ меня тревожно начальникъ, когда я вошелъ въ его кабинетъ.

— Здѣсь и, кажется, намѣренъ скандалить!—отвѣтилъ я.

— Знаю... знаю...—перебилъ меня въ необычайномъ волненіи Хребтовъ.—И какъ это я не сообразилъ тогда, не предусмотрѣлъ?.. Надо было послать что-нибудь—заткнуть ему ротъ, откупиться..

Онъ придвинулся ко мнѣ и ласково-фамильярно сказалъ:

— Знаете, что, милѣйшій?.. предложите ему рублей пять... будто бы, знаете, какъ-нибудь отъ себя... и уводите куда угодно. Такъ онъ не уйдетъ... Его непремѣнно надо увести... Господи, это просто bête noire для всѣхъ насъ... кто имѣлъ несчастіе учиться и воспитываться въ одномъ заведеніи съ нимъ. Онъ вѣдь на наши праздники пріѣзжаетъ, со всѣми на «ты»...

Хребтовъ далъ мнѣ пять рублей и дружескимъ тономъ, какимъ онъ никогда не говорилъ съ подчиненными, жалобно попросилъ меня:

— Вы ужъ какъ-нибудь, голубчикъ, выпроводите его... только бы безъ скандала, знаете... А то тутъ публика, просители... И очень онъ ругается?—закончилъ онъ наивнымъ вопросомъ.

Я не могъ не улыбнуться и отвѣтилъ:

— Порядочно-таки!

— Ну да, ну да, я такъ и зналъ,—заволновался Хребтовъ.—Такъ уводите, уводите его скорѣй!

III.

Черезъ полчаса, я сидѣлъ съ Василіемъ Павловичемъ Муринымъ въ отдѣльномъ кабинетѣ, въ Маломъ Ярославцѣ, за завтракомъ. Сидѣть съ нимъ, не компрометируя себя и не нарываясь на скандалъ, въ общей столовой не было никакой возможности. Въ Маломъ Ярославцѣ, какъ и во множествѣ другихъ крупныхъ и мелкихъ «трактировъ», «ресторановъ», «поплавковъ» и «буфетовъ», его знали всѣ буфетчики, всѣ слуги, всѣ постоянные посѣтители. Всѣ побаивались этого, едва державшагося на ногахъ и едва владѣвшаго правой рукой, человѣка, точно его появленіе напоминало страшныя слова: «скандалъ», «протоколъ», «судъ», «помѣщеніе на Казачьемъ плацу»... Онъ безцеремонно насмѣхался надо всѣми, громко, въ глаза, прикидываясь вполнѣ невмѣняемымъ вслѣдствіе паралича, и дѣлалъ дерзости всѣмъ, постоянно играя роль человѣка, который самъ не вѣдаетъ, что творитъ. Отличить, насколько въ его поведеніи было притворства и насколько невмѣняемости, было довольно трудно даже для опытнаго въ дѣлѣ наблюденій человѣка.

Граница между напускной и настоящей невмѣняемостью была почти неуловима. Онъ походилъ на захмелѣвшаго человѣка, играющаго роль мертвецки-пьянаго субъекта. Своими безцеремонными шутками и своими откровенными наглостями онъ могъ раздражить чьи угодно нервы и, какъ настоящій психически-больной человѣкъ, не обращалъ никакого вниманія на то, что довелъ уже собесѣдника, что называется, до бѣлаго каленія. Вы могли ругать его, кричать на него,—онъ оставался невозмутимо-спокойнымъ, точно дѣло касалось не его.

Какъ только я пригласилъ его «закусить» и сказалъ, что могу дать ему отъ себя рублей пять,—такъ тотчасъ же онъ повлекъ меня въ Малый Ярославецъ, говоря, что у Доминика кормятъ «дохлятиной» и «кониной», и по приходѣ въ трактиръ сталъ распоряжаться заказомъ: закусками, завтракомъ и виномъ, какъ будто за все долженъ былъ платить онъ, а не я. Когда мы проходили по общей залѣ, Муринъ поздоровался съ нѣсколькими личностями и тотчасъ же сталъ мнѣ сообщать о нихъ разныя біографическія подробности: одинъ воръ, другой съ женой дерется, третій въ картахъ передергиваетъ, четвертый слыветъ художникомъ, а все его «художество» состоитъ только въ обкрадываніи академіи художествъ. Муринъ зналъ чуть не половину Петербурга и былъ, какъ оказывалось, замѣчательнымъ сплетникомъ. Во времена его великосвѣтскаго дэндизма, и это знакомство со всѣмъ Петербургомъ, и эта способность ловить, запоминать и сообщать всѣмъ пикантныя новости дѣлали его необыкновенно «интереснымъ собесѣдникомъ».

— Вы этого дурака Сироткина-то знаете? — спросилъ онъ меня, отходя отъ одного толстяка.

— Какого Сироткина?—переспросилъ я.

— Да вотъ того угреватаго, что со мной здоровался... Литераторъ тоже! Ученые трактаты пишетъ объ ассирійскихъ древностяхъ. Жена у него—ассирійская древность, такъ вотъ онъ этимъ предметомъ и занялся!... Кузьминъ ихъ семью хорошо тоже описалъ, и его дурака безглазаго и жену его, гуляющую рухлядь, и сынковъ ихъ, уродившихся во всѣхъ проѣзжихъ молодцовъ... Я у нихъ на-дняхъ ужиналъ на журъ-фиксѣ и спрашиваю: «это васъ отщелкалъ Кузьминъ въ газетѣ «Понамарь»? Притворились, что не читали, — при гостяхъ-то совѣстно сознаться!.. А я и говорю: «У меня съ собой этотъ нумеръ «Понамаря»—я вамъ прочту»... Сконфузились, заминаютъ этотъ разговоръ:

«погода, молъ, хороша, а у Мазини голосъ сталъ пропадать»... Нѣтъ, шалишь,—мнѣ этимъ зубы не заговоришь!.. Я вотъ взялъ да и прочелъ пасквиль-то, весь прочелъ до послѣдней строки, какъ ни старались замять. «Это,—говорю Сироткину,—тебя Кузьминъ дуракомъ, ничего не знающимъ, описываетъ, а это про васъ, —говорю Сироткиной,—пишетъ онъ, что вы румянитесь и бѣлитесь, прельщая безусыхъ студентиковъ?» Пронялъ ихъ: сынковъ изъ-за стола выслали, мнѣ жалкія слова говорить стали... А на другой день повстрѣчалъ я Кузьмина,—говорю: «Что вы къ Сироткинымъ не сходите, пеняютъ, что васъ долго не было».—«Я, говоритъ, немного стѣсняюсь».—«Это,—говорю,—насчетъ «Понамаря»? Такъ они вовсе и не читали статьи»... Такъ и стравилъ ихъ... Разодрались, говорятъ. Я потомъ Кузьмина спрашивалъ: «Вы какъ Сироткина били? А онъ васъ какъ колотилъ? По зубамъ или въ шею?..» Прохвосты!

Онъ началъ распространяться о Сироткинѣ и перешелъ къ сплетнямъ о разныхъ профессорахъ. Онъ ихъ зналъ всѣхъ по-своему, т. е. съ изнанки.

— Вы сами... политическую экономію изучали?—спросилъ я, перебивая его.

— Чего тутъ изучать? Я просто читалъ ее въ либеральное время,—отвѣтилъ онъ.—Тогда вѣдь и привилегированные, и непривилегированные—всѣ либеральничали...

— Я васъ не понимаю,—проговорилъ я, недоумѣвая.

— Чего тутъ не понимать?—цинично отвѣтилъ онъ.—Оказалъ мнѣ протекцію одинъ изъ однокашниковъ: читай, молъ, лекціи. Ну, и сталъ я читать. Не боги тоже горшки обжигаютъ. Да и либеральное время, говорю, было тогда: придумаешь, бывало, разныя тамъ цифры и дѣлаешь выводы и насчетъ пауперизма, и насчетъ разныхъ налоговъ. Только бы позаористѣе выходило. Аплодировали, бывало, юнцы разные. Потомъ скоро выгнали...

Спокойствіе и холодность тона, цинизмъ объясненій и признаній, все было тутъ непередаваемо. Такъ же непередаваемъ былъ смѣхъ Мурина, когда намъ подали счетъ въ двадцать рублей.

— Вкатили же они васъ,—хохоталъ онъ, смотря на счетъ:—Молодцы! Ей-Богу, молодцы!

Я чувствовалъ, что «вкатали» меня не они, то-есть не завѣдующіе ресторанамъ, а онъ, Муринъ, насмѣхающійся теперь надо мною, какъ надъ глупцомъ.

IV.

— У меня есть къ вамъ просьба,—обратился ко мнѣ какъ-то, нѣсколько мѣсяцевъ спустя, Александръ Ивановичъ Хребтовъ.—Вы, можетъ-быть, помните этого несчастнаго... Мурина... Помните, приходилъ сюда какъ-то...

Я невольно поморщился. Не могъ же я его забыть!

— Да, помню,—отвѣтилъ я.

— Такъ вотъ съѣздите къ нему въ богадѣльню... Я его тамъ пристроилъ; только меня извѣстили, что онъ что-то тамъ накуролесилъ... избилъ кого-то или его избили, право, не знаю... Ахъ, Боже мой, что за человѣкъ, что за человѣкъ!.. Это наказаніе божеское для всѣхъ насъ, воспитывавшихся въ одномъ и томъ же учебномъ заведеніи...

Онъ вздохнулъ.

— Вездѣ скандалитъ, скандалитъ... Вотъ теперь что-то накуролесилъ. Не знаю что, но накуролесилъ... Гнать его хотятъ... вы уладьте все какъ-нибудь.

Я поѣхалъ въ богадѣльню, гдѣ поселили Мурина. Разыскавъ помѣщеніе богадѣленскаго «правленія», я обратился къ какому-то писцу съ вопросомъ, къ кому я долженъ обратиться по интересующему меня дѣлу. Писецъ позвалъ завѣдующаго. Ко мнѣ вышелъ какой-то невысокаго роста человѣчекъ, изъ числа тѣхъ, которые изъ шестисотъ рублей годового жалованья даютъ балы на сотни приглашенныхъ, проигрываютъ въ карты по ста рублей въ вечеръ, держатъ собственныхъ лошадей и экипажи, покупаютъ дорогія картины и породистыхъ собакъ. Я сердечно люблю подобныхъ субъектовъ съ откровеннымъ направленіемъ. Съ ними особенно пріятно дѣлать дѣло на чистоту, когда, поговоривъ съ ними по душѣ, можешь бросить одинъ или два десятка рублей. Все обдѣлывается тутъ скоро и просто, къ обоюдному удовольствію обѣихъ сторонъ, безъ подвоха и безъ обмана: «Возьмите столько-то».—«Не могу; накиньте еще хоть немного».—«Душой бы радъ, но не въ силахъ».—«Экій вы упрямый! Ну, да ужъ Богъ съ вами! Давайте, сколько можете»... Именно такъ уладилъ и я дѣло Мурина: онъ, какъ оказалось, избилъ палкой помѣщавшагося съ нимъ въ одной комнатѣ бывшаго выѣзднаго лакея какой-то богатой купчихи; враждовали они уже давно въ пьяномъ видѣ изъ-за какой-то шестидесятилѣтней богадѣленки, и Василій Павловичъ, наконецъ, ухитрился подстеречь лакея утромъ спящимъ и избить его палкой, когда тотъ былъ еще въ одномъ бѣльѣ.

— Впрочемъ, я понимаю-съ ихъ,—ласково объяснилъ маленькій человѣчекъ, имѣвшій большія потребности и малое жалованье.—Человѣкъ образованный, изъ такого слоя общества,—и вдругъ приходится жить въ одной комнатѣ съ лакеемъ какой-то купчихи, да еще просто выѣзднымъ, значитъ, безъ всякаго лоску... Вѣдь Василій Павловичъ, какъ я слышалъ, съ высокопоставленными лицами былъ на «ты»—шутка ли!.. Имъ графъ Трескинъ-Трещеткинъ, говорятъ, предлагалъ въ его имѣніи жить на всемъ готовомъ, только бы они не срамили своихъ знакомыхъ и товарищей, такъ какъ въ пьяномъ видѣ они ужъ очень азартны,—такъ нѣтъ, не поѣхали... «Я, говорятъ, съ волками не привыкъ жить, мнѣ цивилизованное общество нужно»... Извѣстно, по Парижамъ ѣздили!.. Купецъ Дудоровъ, говорятъ, ихъ ради образованности ихней по всѣмъ заграницамъ возилъ, потому всякіе обычаи знаютъ, гдѣ, какъ и что принято... Тоже насчетъ образованія: всѣ языки знаютъ, гдѣ же имъ съ какимъ-нибудь выѣзднымъ лакеемъ жить?

Мой собесѣдникъ понизилъ тонъ, точно собрался говорить о государственной тайнѣ.

— А правда,—спросилъ онъ меня:—слышалъ, что само высшее начальство имъ давало деньги, когда они въ Америку идти собирались, чтобы союзъ съ ней заключить противъ англичанки?.. Говорятъ, будто бы пятнадцать тысячъ дадено было, только они замотались тогда... Такъ и не попали въ Америку.

— Я, право, не знаю,—сказалъ я.

— Да ужъ это вѣрно-съ,—подтвердилъ мой собесѣдникъ.—Пятнадцать тысячъ! Шутка ли какія деньги? Такъ, зря, этакихъ денегъ человѣку не дадутъ.

Маленькій человѣчекъ съ большимъ аппетитомъ, очевидно, проникался уваженіемъ къ прошлымъ связямъ и заслугамъ Василія Павловича, а болѣе всего къ полученнымъ отъ меня въ настоящемъ доказательствамъ того, что и теперь о Василіи Павловичѣ заботятся, что и теперь его не бросаютъ.

Простившись съ нимъ, я зашелъ къ Мурину. Онъ былъ неузнаваемъ: похудѣлъ, пожелтѣлъ, посѣдѣлъ, волочилъ еще съ бо́льшимъ трудомъ правую ногу... Отъ человѣка осталась жалкая развалина, некрасивая, неряшливая, отталкивающая. Трудно было повѣрить, что когда-то онъ былъ блестящимъ сердцеѣдомъ и великосвѣтскимъ хлыщомъ, красивымъ, заносчивымъ, смѣлымъ до наглости. Онъ заговорилъ неразборчиво, шамкая ввалившимися губами:

— Вы понимаете, что я говорю? — спросилъ онъ, кривя губы усмѣшкой.—А то я зубы вставлю, если не понимаете... вонъ они тамъ въ стаканѣ у меня лежатъ...

Онъ указалъ на ночной столикъ. Дѣйствительно, его почернѣвшія вставныя челюсти лежали въ стаканѣ въ мутной водѣ, точно настоенной на нюхательномъ табакѣ. Меня покоробило при мысли о томъ, что изъ этой грязи онъ вставляетъ въ свой ротъ зубы.

— Я изъ-за нихъ, главнымъ образомъ, и побилъ Митрошку,—заговорилъ съ проніей Муринъ.—Сталъ онъ увѣрять, что у меня отъ покойника взяты челюсти, что потому онѣ и черныя, что покойникъ за ними придетъ и меня утащитъ въ адъ... Матренѣ тоже сказывалъ, чтобъ отбить ее у меня. Я и побилъ его... Даромъ что не владѣю правой ногой и правой рукой, а вздулъ-таки — поднялъ рубаху и вздулъ, пока онъ просыпался!..

— Да, но васъ за это чуть не исключили изъ богадѣльни, — сказалъ я, считая своимъ долгомъ прочесть ему наставленіе.

Онъ, однако, перебилъ меня:

— А пусть исключаютъ, — я скандалить начну... меня исключатъ, а я скандалить стану. Шанька... да и не онъ одинъ, и графъ Трескинъ-Трещеткинъ, и всѣ они тамъ побоятся скандаловъ. Трусы тоже!

— Вы можете ошибиться въ расчетѣ,—замѣтилъ я сухо.

— Что вы думаете, вышлютъ они меня, что ли? Больного-то, калѣку-то, бывшаго своего однокашника и собутыльника? Письма отберутъ, ихъ же компрометирующія? Нѣтъ, шалишь! Я и то хочу написать свои воспоминанія...

Онъ началъ говорить о своихъ бывшихъ пріятеляхъ, товарищахъ и однокашникахъ, мѣшая ихъ съ грязью и угрожая имъ вывести на свѣтъ Божій разныя ихъ продѣлки. Онъ говорилъ о своей роли шантажиста такъ же спокойно и невозмутимо, какъ говорятъ о самыхъ обыденныхъ вещахъ.

— Они еще должны благодарить меня, что я богадѣльней довольствуюсь, бо́льшаго не требую... тутъ мнѣ каша и разварная говядина по зубамъ, а то я не того бы потребовалъ... все дали бы...

Его и здѣсь не покидала привычка къ хвастовству и бахвальству.

— А все же я вамъ не совѣтую больше буянить: на этотъ разъ я уладилъ дѣло, а за другой не ручаюсь,—сказалъ я и тотчасъ же раскаялся въ своей опрометчивости.

— Вы? вы? — съ наглой насмѣшкой передразнилъ онъ меня и даже приподнялся на локтѣ на кровати, на которой лежалъ.—А что вы за птица? А? Шанька приказалъ вамъ уладить — и уладили! Прикажетъ еще уладить и еще уладите! Не великая тоже птица. Чиновникъ особыхъ приключеній!.. Ха-ха-ха!.. Я васъ еще помню, когда у васъ на старушку божію слюнки текли, да...

Я поспѣшилъ уйти отъ этого бывшаго дэнди, рѣшившись никогда болѣе не встрѣчаться съ нимъ.

V.

Однако, мнѣ пришлось увидѣть его еще разъ...

Маленькій человѣчекъ съ большими потребностями и маленькимъ содержаніемъ разыскалъ меня, мѣсяца черезъ два послѣ моего посѣщенія богадѣльни. Онъ пришелъ сообщить мнѣ о смерти Василія Павловича Мурина.

— Приказали долго жить... Извѣстно, человѣкъ больной были, а не береглись тоже, — пояснилъ онъ, дѣлая печальное лицо.

— У него, конечно, не осталось ничего?—спросилъ я.

— Какъ есть ни гроша. Потому-то я и поспѣшилъ извѣстить... насчетъ распоряженій...

Вопросъ шелъ о томъ, какъ хоронить Мурина. Я сказалъ, что извѣщу его бывшихъ друзей и товарищей, а между тѣмъ, мелькомъ замѣтилъ, что похороны, вѣроятно, будутъ сдѣланы приличныя.

— Всѣ, конечно, будутъ рады. что отдѣлались отъ него,— не безъ горечи пошутилъ я.

— Я-съ берусь все прилично устроить рублей на сто,— сказалъ маленькій человѣчекъ съ большимъ аппетитомъ.

— Такъ дешево?

— Да-съ, у насъ все свое: пѣвчіе, гробовщики...

— Хорошо, устраивайте. За сто рублей я ручаюсь...

Маленькій человѣчекъ захлопоталъ.

Я между тѣмъ сообщилъ о смерти Мурина Александру Ивановичу Хребтову.

— Уфъ, слава тебѣ, Господи! какъ гора съ плечъ свалилась!—вздохнулъ онъ и перекрестился.

— Я думаю, надо написать его прежнимъ пріятелямъ и знакомымъ,—сказалъ я.

— Это зачѣмъ? Ну, умеръ и слава Богу!—рѣшилъ Хребтовъ, изумленный моимъ предложеніемъ.

— Надо сборъ сдѣлать на похороны,—пояснилъ я.

— А богадѣльня-то на что?—похоронять. У нихъ тамъ на это есть особыя средства.

— Но все же...—началъ я и не кончилъ.

— Милѣйшій мой, думать надо о живыхъ; о живыхъ, вотъ о комъ заботиться нужно, — наставительно перебилъ меня Хребтовъ. — Ни у кого нѣтъ лишнихъ денегъ, чтобы хоронить тамъ какихъ-то Муриныхъ, Мазуриныхъ: успокоился, ну, и конецъ, и похоронять безъ насъ... И въ евангеліи сказано: «довлѣетъ дневи»...

Онъ поморщился и запнулся, повертѣлъ рукой въ воздухѣ и закончилъ съ легкой, какъ бы конфузливой, улыбкой:

— Нѣтъ, конечно, это не то... совсѣмъ не то. О мертвыхъ вообще что-то тамъ сказано такое... помните?.. мертвые пускай хоронятъ мертвыхъ...

Я, несмотря на это, все же написалъ друзьямъ и знакомымъ Василія Павловича Мурина извѣщенія о его смерти и замѣтилъ кстати о сборѣ на его похороны. Отвѣта не получалось ни отъ кого. Всѣ точно воды въ ротъ набрали. Живой, онъ могъ скандалить и пугать скандалами: мертваго его никто не боялся. Мнѣ пришлось, такимъ образомъ, волей-неволей дать свои сто рублей на похороны Мурина маленькому человѣчку съ большимъ аппетитомъ. Онъ немного поморщился и объявилъ мнѣ, переминаясь съ ноги на ногу:

— На могилку немного не хватитъ. Я, знаете, купилъ покуда только временную...

— Какъ временную?—переспросилъ я.

— Такъ-съ, временную,—не моргнувъ глазомъ, пояснилъ онъ.—Потомъ, лѣтъ черезъ шесть, это мѣсто захоронятъ... Еще бы рублей двадцать надо добавить. Тоже на памятничекъ бы надо... Все же былъ такой человѣкъ образованный и лица высокопоставленныя тоже...

— Я васъ просилъ разсчитывать только на сто рублей,— сухо перебилъ я его разсужденія, чувствуя, что у маленькаго человѣчка разыгрывается все бо́льшій и бо́льшій аппетитъ.

Въ день похоронъ, въ церковь пріѣхалъ какой-то худенькій, какъ щепка, длинный, какъ вѣха, генералъ. Онъ разыскалъ меня и, пожимая мнѣ руку своей костлявой рукой, поблагодарилъ, что я, въ числѣ другихъ знакомыхъ Мурина, извѣстилъ и его.

— Чудакъ-покойникъ... меня больше всѣхъ преслѣдовалъ...—пояснилъ генералъ.—А даже и воспитывались не въ одномъ съ нимъ заведеніи: я—въ корпусѣ, онъ—въ гра-

жданскомъ училищѣ... Просто гдѣ-то, знаете, въ молодости брудершафтъ выпили... потомъ хороводились гдѣ-то въ провинціи съ полгода. И вотъ всю жизнь преслѣдовалъ. Это, знаете, удивительно.

Онъ покачалъ головой.

— Я даже не повѣрилъ, получивъ отъ васъ письмо... — добавилъ онъ, помолчавъ.—Думаю: онъ ли еще это? Взглянуть надо! Мало ли тоже Муриныхъ на свѣтѣ...

— Теперь, надѣюсь, удостовѣрились?—съ усмѣшкой сказалъ я.

— Да, да, какъ же... онъ, онъ, точно... Ахъ, чудакъ, чудакъ!..

Я мелькомъ замѣтилъ генералу, что на похороны недостало двадцати рублей, что куплена только временная могилка.

— Да, да, что дѣлать... временная... Все временно на свѣтѣ, все!—глубокомысленно произнесъ генералъ и, протянувъ мнѣ два пальца, со вздохомъ вышелъ изъ церкви

ТЯЖЕЛАЯ ВСТРѢЧА.

I.

Правленіе «Золотоношенскаго поземельнаго банка» занимало огромное помѣщеніе—цѣлое министерство своего рода. Парадныя мраморныя лѣстницы съ легкими узорчатыми перилами и длинные широкіе коридоры съ бѣлыми лѣпными сводами составляли цѣлый лабиринтъ, гдѣ можно было легко заблудиться, несмотря на массу свѣта и на крупныя надписи золотыми буквами по черному фону: «Первое отдѣленіе», «Бухгалтерія», «Правленіе», «Отдѣлъ справокъ» и т. д. Еще труднѣе было, зная даже хорошо Золотоношенскій банкъ и служа въ немъ, сразу запомнить или узнать всѣ фамиліи, всѣ физіономіи служащихъ въ немъ Никитиныхъ, Ѳедоровыхъ, Ивановыхъ, уже просто потому, что однихъ Ивановыхъ было тутъ девять человѣкъ, въ числѣ которыхъ былъ и унтеръ-офицеръ Иванъ Ѳедоровъ Ивановъ, швейцаръ Золотоношенскаго банка, и Тарасъ Петровичъ Ивановъ, одинъ изъ директоровъ этого учрежденія. Вслѣдствіе этого, нисколько не удивительно, что графъ Алексѣй Алексѣевичъ Мамоновъ, не особенно давно попавшій въ число директоровъ банка и никогда еще не поднимавшійся выше бельэтажа, гдѣ помѣщались правленіе и директорскій кабинетъ, зналъ далеко не всѣ лабиринты банка и встрѣчался далеко не со всѣми служащими въ этомъ обширномъ учрежденіи. Можетъ-быть, отчасти вслѣдствіе своей примѣрной благовоспитанности, а отчасти и вслѣдствіе незнакомства со всѣми служащими въ банкѣ, онъ крайне вѣжливо раскланивался рѣшительно со всѣми людьми, встрѣчавшимися ему и раскланивавшимися съ нимъ на пути отъ швейцарской и до его кабинета, хотя онъ и не зналъ точно, кто эти люди,—ка-

кіе-нибудь мелкіе банковскіе конторщики изъ мѣщанъ-недоучекъ, получающіе двадцатипятирублевые оклады, или закладчики имѣній въ сотни тысячъ, принадлежащіе къ числу проѣдающихся родовитыхъ дворянъ, или, наконецъ, владѣльцы десятковъ и сотенъ банковскихъ процентныхъ бумагъ, мечтающіе изъ биржевыхъ зайцевъ превратиться въ Ротшильдовъ и Вандербильтовъ.

Среди этихъ ежедневныхъ мимолетныхъ встрѣчъ графа Алексѣя Алексѣевича съ незнакомыми людьми, одна встрѣча произвела на него удручающее впечатлѣніе и навела на нѣкоторыя размышленія, которыя прежде никогда не приходили ему въ голову...

По обыкновенію, неспѣшно направляясь къ своему кабинету въ бельэтажѣ и вѣжливо отвѣчая легкимъ наклоненіемъ головы на болѣе или менѣе низкіе поклоны невѣдомыхъ ему встрѣчныхъ, графъ Алексѣй Алексѣевичъ былъ пораженъ неожиданностью: въ широкомъ и свѣтломъ коридорѣ около дверей «Правленія» онъ услыхалъ громкій и звучный гортанный голосъ, сразу поразившій его слухъ какими-то особенными знакомыми ему нотами. Это былъ одинъ изъ тѣхъ голосовъ, которые не легко забываются, особенно тѣми, кто когда-то слышалъ ихъ въ теченіе десятка лѣтъ. Графъ быстро обернулся и лицомъ къ лицу встрѣтился съ человѣкомъ, при видѣ котораго на него разомъ словно пахнуло свѣтлою весною жизни, далекою юностью, и изъ его груди невольно вырвалось радостное восклицаніе:

— Волковъ!.. Ты?

Онъ уже невольнымъ движеніемъ протянулъ обѣ руки, когда въ отвѣтъ ему послышалось тихо и сдержанно, но твердо произнесенная фраза:

— Я, ваше сіятельство!

Графъ Алексѣй Алексѣевичъ совсѣмъ растерялся и, не глядя на этого поблѣднѣвшаго, какъ полотно, и отшатнувшагося къ стѣнѣ человѣка, сконфуженно пробормоталъ:

— Но какъ же... здѣсь... зачѣмъ?..

Онъ не кончилъ фразы, совершенно не зная, какъ и о чемъ говорить съ встрѣтившейся ему личностью, какъ съ выходцемъ изъ могилы.

— Состою здѣсь на службѣ... въ экспедиціи, — послышался отвѣтъ, произнесенный все тѣмъ же тихимъ, сдержаннымъ, но твердымъ голосомъ.

— Такъ... такъ... въ экспедиціи, — повторилъ въ смущеніи графъ.

И, совсѣмъ разстроенный, поторопился пройти въ свой кабинетъ.

II.

Графъ Алексѣй Алексѣевичъ долго не могъ справиться съ собой. Войдя въ кабинетъ, онъ, по обыкновенію, прошелъ въ глубину комнаты и поставилъ свой цилиндръ на обычное мѣсто—на маленькій круглый столикъ, стоящій въ углу его кабинета. Потомъ неспѣшно, палецъ за пальцемъ, стянулъ съ рукъ перчатки и бросилъ ихъ въ цилиндръ. Затѣмъ, слегка потирая руки, подошелъ къ своему письменному столу, посмотрѣлъ на разложенныя здѣсь бумаги и, задумчиво качая головой, отошелъ прочь. Все это онъ дѣлалъ безсознательно, машинально, по привычкѣ, какъ дѣлалъ и вчера, и третьяго дня. Только вчера и третьяго дня, прибывъ на службу, онъ тотчасъ же принимался за работу, а на этотъ разъ какъ будто вовсе забылъ о ней.

Заходивъ медленно изъ угла въ уголъ по своему кабинету, онъ самъ не могъ дать себѣ яснаго отчета, что̀ его болѣе всего смущало,—то ли, что онъ сразу не замѣтилъ обтерханнаго и заношеннаго наряда Волкова; то ли, что онъ, состоя директоромъ банка, не зналъ вовсе о служеніи Волкова въ этомъ учрежденіи; то ли, что Волковъ, его старый закадычный и, можно смѣло сказать, единственный другъ, находится, повидимому, въ крайне стѣсненномъ, чуть не нищенскомъ положеніи; или просто его мучило, что онъ,—образецъ вѣжливости, мягкости и деликатности,—обратился къ человѣку по старой привычкѣ на «ты» именно тогда, когда этотъ человѣкъ могъ счесть такое обращеніе не за выраженіе дружескихъ чувствъ или пріятельскихъ отношеній, а за грубость, за оскорбленіе...

Графъ Алексѣй Алексѣевичъ Мамоновъ былъ воплощеніемъ благовоспитанности: вѣжливый, благосклонный, уравновѣшенный, онъ безъ всякой аффектаціи или утрировки былъ со всѣми предупредителенъ и ровенъ въ отношеніяхъ; не задиралъ головы передъ низшими, не гнулъ спины передъ высшими. Во дни его молодости, люди говорили про него, что это человѣкъ безъ страстей и увлеченій, что онъ не способенъ на какія-нибудь безшабашныя безобразія или легкомысленныя мечтанія, что онъ не горячъ, не холоденъ, а только тепловатъ... Это въ юности отталкивало отъ него многихъ или, вѣрнѣе, мѣшало многимъ сближаться съ нимъ. Но эта уравновѣшенность очень шла къ нему подъ ста-

рость, придавая какую-то особенную прелесть пятидесятилѣтнему, хорошо сохранившемуся и все еще свѣжему, хотя и сѣдому старику-богатырю, про котораго люди не могли сказать, что онъ — смѣшной мышиный жеребчикъ или несносный брюзга, что онъ — измызганная разгуломъ развалина или вѣчно боящійся загробныхъ наказаній ханжа. И чѣмъ ровнѣе, чѣмъ невозмутимѣе былъ по характеру этотъ человѣкъ, тѣмъ страннѣе было видѣть его теперь взволнованнымъ и возбужденнымъ встрѣчею съ какимъ-то человѣкомъ въ обтерханномъ и запошенномъ нарядѣ.

Этотъ человѣкъ былъ ему совершенно чужимъ по крови. Правда, когда-то было время, когда графъ Мамоновъ думалъ, что они сдѣлаются родными. Но этого не произошло, и они остались чужими, если только долголѣтнее сердечное пріятельство, тѣсная дружба, духовное общеніе не даютъ людямъ права, не вмѣняютъ имъ въ обязанность считаться родными. Графъ Алексѣй Алексѣевичъ былъ сыномъ богатаго помѣщика, а Сергѣй Ивановичъ Волковъ былъ сыномъ управляющаго графскими помѣстьями. Дѣтьми мальчики вмѣстѣ играли, юношами они вмѣстѣ учились; въ свѣтлые годы пробужденія первой любви, графъ мечталъ о женитьбѣ на сестрѣ своего Сережи и...

Въ кабинетъ графа развязно, какъ свой человѣкъ, вошелъ немного облысѣвшій, немного помятый годами толстякъ въ просторномъ пиджакѣ, широкихъ панталонахъ, съ увѣсистой цѣпочкой на животѣ. Это былъ секретарь правленія, любимецъ всѣхъ директоровъ, такъ какъ они могли спокойно спать, пока въ правленіи слышался его вѣчно безпечный смѣхъ и пока работали его вѣчно дѣловитыя, неутомимыя голова и руки, вершившія и рѣшавшія всѣ дѣла банка.

— А я къ вамъ за бумагами, графъ,—проговорилъ онъ, пожимая протянутую ему руку.—Прочли? Подписали?

Графъ немного сконфузился. Сегодня онъ не былъ такъ аккуратенъ, какъ всегда.

— Дорогой Василій Павловичъ, виноватъ... Не только не подписалъ, но даже не заглянулъ въ нихъ, — проговорилъ онъ.

— Тутъ только двѣ спѣшныя,—небрежно сказалъ Василій Павловичъ, привыкшій за двадцать лѣтъ своей службы къ тому, что директора смотрятъ на дѣло съ полнымъ и яснымъ сознаніемъ, что оно не волкъ и въ лѣсъ не убѣжитъ.

Графъ обошелъ письменный столъ и присѣлъ въ свое кресло. Василій Павловичъ Смуровъ помѣстился противъ него и, закуривъ вынутую имъ изъ серебрянаго портсигара папиросу, черезъ столъ сталъ объяснять патрону, какія дѣла болѣе спѣшны, какія нѣтъ.

— Вы вѣдь все просмотрѣли? — въ формѣ вопроса произнесъ графъ, готовясь подписать бумаги, не читая, и спросилъ:—Василій Павловичъ, вы знаете Волкова?.. Онъ служитъ у насъ, кажется, въ отдѣленіи...

— Въ отдѣлѣ экспедиціи, — подсказалъ Смуровъ и аттестовалъ Волкова:— Прекрасный работникъ, ходячая аккуратность...

— Развѣ онъ завѣдуетъ отдѣломъ экспедиціи?—спросилъ графъ.

— О, нѣтъ... Просто пакеты осматриваетъ... надписываетъ и запечатываетъ... человѣкъ съ тридцатипятирублевымъ жалованьемъ. Сидитъ у себя, какъ кротъ... его и встрѣчаешь-то рѣдко.

Смуровъ отвѣчалъ какъ-то особенно странно на вопросы графа: онъ и похвалилъ Волкова, точно торопливо заступаясь за него, а въ то же время, какъ бы желая въ чемъ-то успокоить графа, пояснилъ, что Волковъ получаетъ такую ничтожную плату, что о немъ въ сущности и говорить не стоитъ.—«Ну, служитъ, молъ, у насъ Волковъ, дѣлаетъ свое мелкое дѣло, получаетъ за это гроши — и Богъ съ нимъ, оставимъ его въ покоѣ!»

— Подписали, графъ?—спросилъ онъ, намѣреваясь поскорѣе взять бумаги и уйти.

— Не всѣ еще,—отвѣтилъ графъ и прибавилъ: — Такъ вы говорите, Василій Павловичъ, что онъ получаетъ тридцать пять рублей въ мѣсяцъ? Онъ же, вы говорите, способный человѣкъ и... кажется, получившій образованіе...

— Да, да,—согласился Смуровъ, видимо спѣша.—Но это ужъ такое мѣсто съ маленькимъ окладомъ... Онъ и не жалуется ни на что,—радъ и такому жалованью.

И прибавилъ съ непривычнымъ для него, шутника и балагура, раздраженіемъ:

— Хорошо, что еще до петли не дошелъ...

Графъ отъ удивленія широко открылъ глаза. Что могло быть съ Волковымъ? Правда, прошло столько лѣтъ...

— Вы говорите... что...—началъ онъ.

Ихъ разговоръ былъ прерванъ: въ кабинетъ графа съ шумомъ вошелъ одинъ изъ его товарищей по правленію, и

Василій Павловичъ, забравъ бумаги и на ходу поздоровавшись съ посѣтителемъ, поспѣшилъ удалиться.

III.

«И какъ я могъ узнать его черезъ столько лѣтъ? — спрашивалъ себя графъ Алексѣй Алексѣевичъ поздно вечеромъ, ложась въ постель и открывая, по обыкновенію, первый попавшійся французскій романъ, чтобы, почитавъ нѣсколько минутъ, слаще уснуть. — Не видались почти тридцать лѣтъ... Да, ровно тридцать... мнѣ тогда шелъ двадцать первый годъ, ему восемнадцать; ей едва минуло семнадцать. И узналъ, сейчасъ же узналъ... Не потому ли, что и онъ, и она, и ихъ отецъ были поразительно похожи между собою?.. Нѣтъ, главное—это его голосъ... Не заговори онъ—я и вниманія не обратилъ бы на него. Но голосъ... никогда я не могъ забыть этого голоса... Бывало, споримъ до утренней зари... ораторствовать онъ начнетъ — заслушаешься. Ребячество!.. Да, именно по голосу и узналъ его... И въ какой нуждѣ, бѣднягa!..»

Онъ вздохнулъ и приготовился читать, совершенно покойный, совершенно безмятежный, какъ всегда...

«Милый, если ты не вернешься, если ты забудешь меня, я не переживу этого; вѣдь въ одномъ тебѣ все мое счастье»,— вспомнились графу слова сестры Волкова, сказанныя ею въ послѣднія минуты передъ ихъ разлукой.

Тогда стояла теплая, душистая весна. Въ ихъ родовомъ саду все возрождалось къ новой жизни, все сулило свѣтлые дни. Въ воздухѣ пахло цвѣтущею сиренью, въ кустахъ уже пѣли соловьи. Его тогда увозили отецъ и мать за границу. Они не говорили ему, что спѣшатъ увезти съ собою именно потому, чтобы онъ не увлекся слишкомъ серьезно Соней, этой дочерью управляющаго, этой бѣдной мѣщаночкой. Тогда было какъ разъ такое время, что совершались разныя подобныя эксцентричности. Они не обмолвились ни однимъ вопросомъ о томъ, какъ далеко зашла его привязанность къ ней, сколько ночныхъ часовъ провели молодые люди въ саду, сколько обѣтовъ дали другъ другу. Ихъ это не могло интересовать; вопросъ шелъ только о томъ, чтобы спасти его отъ безразсуднаго брака... Да, и онъ ждалъ когда-то свиданій, ловилъ слова любви, давалъ обѣты! И то сказать, какого же льда не растопитъ, хоть на мгновенье, весна жизни—молодость? А онъ былъ тогда молодъ!.. Правда, онъ былъ вполнѣ честенъ, онъ по-рыцарски отнесся къ ней, не

воспользовался довѣріемъ и неопытностью бѣдной дѣвочки: она осталась такою же чистою, какою была прежде... Послѣ своего отъѣзда за границу, онъ уже не видалъ ея никогда; никогда болѣе не слыхалъ о ней. Что-то сталось съ нею?..

Графъ даже и не замѣтилъ, что онъ не прочелъ ни строчки, опустивъ французскій романъ на одѣяло и пристально смотря въ пространство, точно тамъ передъ нимъ развертывались картины прошлаго.

«И какъ это Сергѣй дошелъ до такой бѣдности? Почему Смуровъ замѣтилъ: «слава Богу, что еще не дошелъ до петли!» Эти слова проносились въ головѣ графа.—А сколько надеждъ подавалъ Сергѣй въ дѣтствѣ, въ юности, какъ рвался въ университетъ! Неужели ему такъ и не удалось кончить своего образованія? И какъ могъ онъ, графъ Алексѣй Алексѣевичъ, никогда не справиться ни о немъ, ни о его сестрѣ?»

Что же тутъ удивительнаго, необыкновеннаго?—въ жизни всегда такъ бываетъ!

Ему вспомнились слова поэта:

Насъ съ ближними и сводитъ, и разводитъ
Случайно жизнь. Такъ на горахъ потокъ
Преграду скалъ, дробясь въ ручьи, обходитъ
И никогда на долгій-долгій срокъ
Бѣгутъ они различными путями,
Скользя среди уступовъ и холмовъ,
Чтобъ тамъ, внизу, утихшими струями
И встрѣтиться, и слиться вмѣстѣ вновь...

Онъ вздохнулъ: ему не было суждено встрѣтиться съ нею, съ ея братомъ... Когда его увезли за границу — отецъ и мать безмолвно выразили ему свое непреклонное желаніе, чтобы онъ не упоминалъ фамиліи Волковыхъ. Это былъ вполнѣ и безповоротно оконченный романъ его юности, и онъ не могъ продолжаться дольше, чѣмъ продолжалась эта юность. Потомъ, черезъ четыре года, онъ долженъ былъ жениться по желанію родителей, ради связей и карьеры. Партія была для него вполнѣ подходящая: — и онъ, и невѣста принадлежали къ одному кругу общества, считались одинаково богатыми, получили тщательное образованіе и воспитаніе, были одинаково равнодушны другъ къ другу...

Часы пробили три, а графъ все еще не спалъ. Это начинало его волновать, такъ какъ онъ любилъ точность во всемъ и сильно заботился о своемъ здоровьѣ.

«Непремѣнно надо будетъ подробно все разузнать у Смурова»,—рѣшилъ онъ, отложивъ романъ и задувая свѣчу.

IV.

Когда на слѣдующій день графъ, не выспавшійся и чувствующій легкіе приступы головной боли, пріѣхавъ въ банкъ, увидѣлъ Смурова, входившаго въ его кабинетъ, онъ обрадовался.

— Васъ-то я и ждалъ, Василій Павловичъ,—сказалъ онъ, дружески протягивая ему руку.

— Въ бумагахъ нашли что-нибудь требующее пояснеій? какъ-то особенно сухо спросилъ Смуровъ, повидимому, тоже вставшій съ лѣвой ноги.

— Нѣтъ, нѣтъ, мнѣ надо поговорить съ вами объ этомъ... о Волковѣ, — пояснилъ графъ, чувствуя себя какъ-то неловко.

Смуровъ сдѣлалъ совсѣмъ недовольную гримасу, и нѣсколько рѣзко, какъ онъ не говорилъ никогда, заявилъ:

— Волковъ сегодня отказался отъ мѣста.

Никакъ не ожидавшій этого извѣстія, графъ могъ только пробормотать:

— Отказался отъ мѣста... То-есть, какъ же это?

— Такъ, просто отказался, вотъ и все... Онъ же не связанъ съ банкомъ никакими обязательствами и контрактами.

И нѣсколько ядовито прибавилъ:

— Вчера онъ разбиралъ и запечатывалъ письма, сегодня же будетъ другой разбирать и запечатывать ихъ... Чернорабочіе не болѣе какъ машины: сломается одна, замѣнятъ другой...

Графъ пристально взглянулъ на него.

— Вы чего-то не досказываете...

Смуровъ передернулъ плечами.

— Волковъ—неуживчивый и нервный человѣкъ... Вчера я потому и старался не распространяться о немъ съ вашимъ сіятельствомъ, боясь, что вы уже предубѣждены противъ него, какъ противъ не въ мѣру озлобленнаго и до сумасшествія нервнаго человѣка... Я тогда еще не предвидѣлъ, что сегодня онъ самъ уйдетъ... то-есть, думалъ уломать его.

Графъ продолжалъ смотрѣть пристально на него.

— И вы не можете мнѣ сказать о причинахъ, которыя побудили его такъ внезапно отказаться отъ мѣста?

— Онъ, ваше сіятельство, двоюродный братъ моей жены,— отрѣзалъ Смуровъ.

Наступило неловкое молчаніе. Смуровъ торопливо сталъ докладывать бумаги. Графъ сидѣлъ, облокотившись на столъ

и опустивъ голову на руки, и ничего не слышалъ изъ доклада.

— Такъ это онъ ради меня бросилъ мѣсто?—неожиданно спросилъ онъ, послѣ долгаго молчанія.

— Ради своихъ припадковъ сумасшествія,—коротко отвѣтилъ Смуровъ.—Теперь опять пойдутъ голодовки... можетъ-быть, новое пребываніе въ домѣ умалишенныхъ.

— Развѣ онъ уже сидѣлъ въ домѣ сумасшедшихъ?—спросилъ графъ.

— Онъ и въ домѣ предварительнаго заключенія сидѣлъ по политическимъ дѣламъ,—отвѣтилъ Смуровъ.

Графъ настойчиво сталъ вытягивать у Василія Павловича свѣдѣнія о прошломъ Волкова. Онъ узналъ, что, когда онъ уѣхалъ съ родителями за границу, старикъ Волковъ былъ немедленно удаленъ отъ должности управляющаго. Графъ-отецъ и графиня-мать хотѣли разъ навсегда порвать всякія сношенія съ этою семьею. Старикъ Волковъ, какъ человѣкъ честный, ничего не скопилъ на службѣ у графа Мамонова-отца. Семья у него была большая, и Сергѣю Ивановичу пришлось, какъ старшему изъ его дѣтей, сдѣлаться поддержкой всей семьи—кормить живыхъ, хоронить умиравшихъ. Тутъ нечего было и думать о дальнѣйшемъ образованіи, объ университетѣ.

— Ну, а поврежденнымъ онъ былъ всегда: не умѣлъ нужнымъ людямъ кланяться, не умѣлъ и семью бросить на мостовой, когда нужно было спасать себя,—не безъ желчи закончилъ Смуровъ.—Вообще несуразный и неуживчивый былъ человѣкъ. Не понималъ даже и того, что языкъ данъ намъ для того, чтобы его держать за зубами, и все говорилъ да говорилъ. А извѣстно, что̀ можетъ хорошаго наговорить озлобленный человѣкъ? Ну, и платился за откровенность. Еще слава Богу, что иногда на невмѣняемость можно было многое сваливать... Къ намъ въ банкъ, въ послѣдніе годы, и то только по моей протекціи, опредѣлился и чуть не сбѣжалъ въ тотъ же день, когда узналъ, что ваше сіятельство, въ общемъ собраніи, выбраны въ директора... Едва втолковалъ я ему тогда, что вы никогда и не спросите, какой это такой Волковъ состоитъ у насъ на службѣ?.. Есть, молъ, дѣло графу до какихъ-то Волковыхъ! Съ чего вспомнитъ, если никогда не вспоминалъ? Ну, а вотъ вчера случилась эта проклятая встрѣча...

Графъ смотрѣлъ задумчиво и мрачно, точно онъ былъ чѣмъ-нибудь виноватъ въ томъ, что Волковъ безумство-

валъ, и, какъ бы про себя, почти безсознательно прошепталъ:

— Онъ, должно-быть, отъ всей души ненавидитъ меня?

Смуровъ отвѣтилъ уклончиво:

— Да онъ, вообще, всѣхъ людей безъ разбора называетъ людишками.

Онъ опять заторопился съ бумагами, съ явнымъ намѣреніемъ не продолжать больше разговора, но графъ не удержался и задалъ ему еще вопросъ:

— А она... его сестра... Софья Ивановна?

— Схоронилъ онъ ее года четыре тому назадъ... старой дѣвой. Онъ тогда и сталъ проситься изъ провинціи въ Петербургъ, говоря, что тамъ онъ одинъ, безъ нея, совсѣмъ съ ума сойдетъ. Она вѣдь съ нимъ и горе, и радость дѣлила... святой человѣкъ была. Ну, сталъ хлопотать и объ его возвращеніи... Вернули наконецъ. Пристроился онъ здѣсь на первое попавшееся мѣсто...

— Вы уговорите его...—началъ графъ.

— Онъ, ваше сіятельство, уже и изъ Петербурга успѣлъ уѣхать,—отвѣтилъ Смуровъ, оставляя кабинетъ графа.

И опять Волковъ исчезъ съ дороги графа, но такъ какъ графъ сталъ часто страдать безсонницей, то онъ очень часто, опустивъ на одѣяло новый французскій романъ, далеко за полночь раздумываетъ о томъ, какъ странно складывается человѣческая жизнь,—и почти всегда оканчиваетъ свои думы воспоминаніемъ о братѣ и сестрѣ Волковыхъ...

БІОГРАФЪ РУССКИХЪ АДМИРАЛОВЪ.

I.

«Подобно воспѣтому Гомеромъ герою древней Греціи Ахиллесу, уничтожавшему еще въ колыбели львовъ и питавшемуся ихъ мозгами, нашъ великій россійскій флотъ, родившійся не далѣе, какъ въ послѣдней половинѣ семнадцатаго столѣтія, отъ ничтожнаго ботика въ скромномъ селѣ Измайловѣ, уже успѣлъ проявить себя великими подвигами, обезсмертившими цѣлый рядъ славныхъ и досточтимыхъ мужей земли русской»...

Такими крупными цвѣтами краснорѣчія начиналась книга, носившая заглавіе: «Жизнеописанія славныхъ и достохвальныхъ русскихъ адмираловъ, изслѣдованныя и сочиненныя Михаиломъ Холмогоровымъ, капитаномъ второго ранга въ отставкѣ и кавалеромъ». Собственно это была не книга, а только начало книги—тощенькая тетрадка, носившая названіе *перваго выпуска* «жизнеописаній». На обложкѣ этого выпуска стояло: «Цѣна за все сочиненіе назначена 5 рублей. Выдается по подпискѣ съ пропечатаніемъ фамилій всѣхъ высокопочтенныхъ господъ подписчиковъ. По выпускѣ въ свѣтъ всего сочиненія, цѣна онаго будетъ значительно повышена».

Прошло не мало времени со дня появленія въ свѣтъ этой тоненькой тетрадочки, а продолженіе ея такъ и не появлялось. По всей вѣроятности, это обстоятельство произошло отчасти отъ того, что не нашлось вовсе охотниковъ попасть въ число сія «высокопочтенныхъ подписчиковъ», а отчасти отъ того, что капитанъ второго ранга въ отставкѣ и кавалеръ Михаилъ Холмогоровъ былъ менѣе всего способенъ быть писателемъ, и если онъ съ отвагою безнадеж-

ности бросился въ эту грозную пучину, называемую литературою, то единственно потому, что пути Господни вообще неисповѣдимы, и особенно неисповѣдимыми дѣлаются они тогда, когда человѣкъ начинаетъ голодать и теряетъ голову... Въ томъ же, что онъ только ради голода сдѣлался писателемъ, какъ люди часто дѣлаются ради голода ворами, взяточниками, казнокрадами и даже убійцами,—для меня не было никакихъ сомнѣній съ той самой достопамятной минуты, когда я впервые имѣлъ удовольствіе познакомиться съ нимъ.

Познакомиться съ нимъ мнѣ пришлось въ редакціи журнала «Гласность», который я тогда редактировалъ. У меня былъ пріемъ посѣтителей въ назначенный пріемный часъ, когда въ числѣ другихъ мало знакомыхъ или вовсе незнакомыхъ мнѣ лицъ въ мой кабинетъ вошелъ старичокъ небольшого роста, съ форменной флотской фуражкой въ рукѣ. Маленькаго роста, худенькій, съ морщинистымъ, дряблымъ лицомъ въ кулачокъ, съ жиденькими остатками волосъ, въ заношенной и потертой до послѣдней степени одеждѣ, онъ представлялъ собою типъ невзрачнаго, плюгаваго старикашки, а его совсѣмъ опухнувшій носъ сразу возбуждалъ подозрѣніе, что это пьянчуга.

— Съ господиномъ Терскимъ имѣю удовольствіе говорить?—спросилъ меня посѣтитель.

— Къ вашимъ услугамъ,—отвѣтилъ я.

— Холмогоровъ-съ, Михаилъ Михайловичъ Холмогоровъ, капитанъ второго ранга и кавалеръ,—отрекомендовался онъ въ свою очередь, какъ-то особенно торопливо, съ растеряннымъ видомъ, двумя пальцами приглаживая впередъ волоса на вискахъ.

— Чѣмъ могу служить?—проговорилъ я обычную редакторскую фразу, заранѣе чувствуя, что посѣтитель сейчасъ попроситъ у меня помощи «воину, проливавшему въ нѣкоторомъ родѣ кровь за отечество».

Много видалъ я этихъ кровь-проливавшихъ воиновъ на своемъ вѣку...

— Какъ вамъ сказать, сударь мой,—началъ посѣтитель, видимо стѣсняясь и конфузясь.—Меня тутъ книжку одну подбили издать... Начало большого труда. Такъ вотъ-съ... Туго, значитъ, нынче расходятся серьезныя книги. Тоже нужны публикаціи, рекламы, отзывы благосклонные... все денегъ стоитъ...

Онъ въ смущеніи, какъ школьникъ, отвѣчающій плохо

выученный урокъ, вертѣлъ и мялъ въ рукахъ свою форменную, лоснящуюся отъ жира, фуражку и не могъ опредѣленно высказать, чего онъ собственно желаетъ отъ меня.

— Чѣмъ же я могу быть вамъ полезенъ? даровую публикацію устроить?—спросилъ я.

— Помилуйте!.. Отзывъ благосклонный дали бы... то-есть какой-нибудь отзывъ,—сказалъ онъ нерѣшительно и вытащилъ изъ бокового кармана своихъ тощихъ адмираловъ.

Я взглянулъ на брошюру. Она была издана лѣтъ восемь тому назадъ.

— Удобно ли давать отзывъ о книгѣ, вышедшей такъ давно?—проговорилъ я и, не желая совсѣмъ огорчить старика, который начиналъ казаться мнѣ жалкимъ, предложилъ ему:—Даровую же публикацію въ журналѣ я могу устроить, если вы думаете, что это хоть немного поможетъ сбыту вашей книжки... хотя, признаюсь откровенно, мнѣ кажется, что она могла бы пойти только въ томъ случаѣ, если-бъ вашъ трудъ былъ оконченъ...

Онъ тяжело вздохнулъ и наивно сознался:

— Писать-то я, сударь мой, не мастеръ.

Я удивленно взглянулъ на него.

— Что дѣлать, что дѣлать, сударь мой! поступилъ легкомысленно, не соразмѣрилъ своихъ силъ съ трудомъ, принятымъ на себя, повѣрилъ разнымъ добрымъ пріятелямъ, что это выгодная афера,—сбивчиво пояснилъ онъ, видя мое недоумѣніе.—Долгъ на шеѣ—вотъ и всѣ барыши отъ этой аферы... У меня, впрочемъ, все такъ: у другихъ афера—у меня долгъ и разореніе... Легкомысліе, сударь мой, легкомысліе все губитъ... берешься не за свое дѣло по легкомыслію, ну, и тонешь во всякихъ пучинахъ.

Я едва замѣтно улыбнулся, слыша жалобы этого старика на свое легкомысліе, и, желая прекратить его визитъ, повторилъ ему, что я постараюсь сдѣлать одну или двѣ публикаціи объ его книгѣ въ редактируемомъ мною журналѣ.

Онъ сталъ конфузливо благодарить меня:

— Мнѣ крайне совѣстно, господинъ Терскій; какъ же такъ даромъ? я только просилъ отзыва... мнѣ говорили, что отзывы всегда дѣлаются даромъ, а публикація... это, сударь мой, въ нѣкоторомъ родѣ пособіе... незнакомому человѣку.

Онъ совсѣмъ смутился.

Я успокоилъ его, говоря, что подобная услуга такъ естественна между собратьями по перу.

— Ну, какой ужъ я писатель!—со вздохомъ проговорилъ

онъ, откланиваясь.—Мнѣ, сударь мой, только бы съ долгомъ по этой поганой книжкѣ раздѣлаться... а то нѣтъ-съ, ужъ гдѣ мнѣ считаться писателемъ!

Что-то простодушное, наивное, застѣнчивое слышалось въ его рѣчахъ и манерахъ. Онъ видимо совѣстился одолжаться мнѣ хоть чѣмъ-нибудь, совѣстился того, что онъ является въ качествѣ писателя, и откровенно сознавался, что если бы не долгъ, то онъ давно плюнулъ бы на свою книгу.

«Да, а все же издалъ ее и подписку объявилъ въ пять рублей»,—подсказывалъ мнѣ какой-то насмѣшливый голосъ, но тутъ же являлась другая мысль:—«А, можетъ-быть, все это и вправду сдѣлалось по легкомыслію... подбили какіе-нибудь шутники или проходимцы на это дѣло... кто его знаетъ!»

Дѣловымъ людямъ некогда долго задумываться надъ чужой участью, и Холмогоровъ промелькнулъ передо мной, какъ еще одна лишняя тѣнь въ китайскомъ фонарѣ жизни...

II.

Насъ собралась довольно большая пріятельская холостая компанія. Среди гостей было нѣсколько молодыхъ и старыхъ моряковъ. Это было мѣсяца черезъ три послѣ посѣщенія меня Холмогоровымъ, и я невольно вспомнилъ о маленькомъ біографѣ великихъ русскихъ адмираловъ.

— Сергѣй Николаевичъ, не знавали ли вы когда-нибудь капитана второго ранга Михаила Михайловича Холмогорова?—спросилъ я у отставного вице-адмирала Храповицкаго.

— Не капитана второго ранга, а лейтенанта—капитаномъ второго ранга онъ числится только въ отставкѣ,—поправилъ меня внушительнымъ сиплымъ басомъ Храповицкій и, прожевывая бутербродъ, нараспѣвъ, съ какой-то нѣжностью въ голосѣ повторилъ:—Милка-Холмикъ, Милка-Холмикъ...

Мы всѣ, въ ожиданіи обѣда, столпились въ это время вокругъ стола, уставленнаго бутылками, графинами и закусками. Сергѣй Николаевичъ успѣлъ уже чокнуться чуть ли не съ десятымъ человѣкомъ рюмкою водки, которую называлъ «высочайше утвержденною».

— Холмишка дальше лейтенанта на службѣ не пошелъ, а капитана второго ранга дали ему при отставкѣ,—пояснилъ Сергѣй Николаевичъ, не обращаясь ни къ кому въ

особенности и продолжая усердно закусывать.—Къ бабьей юбкѣ прилипался не во-время и погубилъ себя, а баба дѣтей стала разводить чуть не дюжинами,—ну, и петля!.. Какъ дѣти, такъ и петля!.. Конечно, сама по себѣ баба не виновата. Съ его стороны было тоже увлеченіе. Ну, да что съ Холмикой подѣлать? Сопка огнедышащая! вулканъ неугасающій!

Сергѣй Николаевичъ, типичный черноморецъ старыхъ временъ, одинъ изъ истинныхъ героевъ севастопольской эпопеи, пришедшійся не ко двору на службѣ въ мирное время, негодовавшій на введеніе морского ценза и на вопросъ: «не придется ли ему остаться за цензомъ», сердито и хмуро отвѣчавшій: «я за пьянствомъ останусь», имѣлъ привычку часто такъ говорить, какъ будто онъ не разговаривалъ, а только размышлялъ вслухъ. Такъ случалось всегда, когда онъ бывалъ «на взводѣ». Такъ говорилъ онъ и теперь, можетъ-быть, даже не сознавая, кто и почему спросилъ его о Михаилѣ Михайловичѣ Холмогоровѣ и задѣлъ въ его душѣ какія-то отзывчивыя струны. Я понялъ изъ его безсвязныхъ словъ только то, что Холмогоровъ очень рано женился на дочери какого-то знаменитаго въ свое время контръ-адмирала, неопытной провинціальной барышнѣ, вышелъ ради этого въ отставку «около юбки сидѣть», и «развелъ» огромную семью, которой не могъ потомъ содержать. Мнѣ невольно вспомнилось при этомъ замѣчаніе Холмогорова о своемъ легкомысліи.

— Все по легкомыслію, Сергѣй Николаевичъ, все по легкомыслію!—замѣтилъ я шутливо на слова Храповицкаго.

Онъ, откинувъ назадъ голову, уставился на меня широко открытыми посоловѣвшими глазами и строгимъ сиплымъ басомъ проговорилъ:

— Гмъ, по легкомыслію!.. по легкомыслію!.. Онъ-съ по легкомыслію разъ чуть не утонулъ, бросившись въ открытое море спасать матроса... а и матросишка-то какой былъ?.. чухна просто!.. Гмъ, по легкомыслію!.. Ну-ка-съ, вы, рябчики, по легкомыслію бросьтесь въ море спасать кого-нибудь... Стрекулисты!.. А Милка Холмикъ бросился... хотъ отъ земли не видать Милку Холмишку... «Мореплавательной дѣвчонкой» звали. Гмъ, дѣвчонка!.. Нѣтъ, не дѣвчонка онъ былъ, а золотое сердце!.. врутъ всѣ, что онъ дѣвчонка...

Сергѣй Николаевичъ немного пошатнулся, разставилъ ноги, чтобы не упасть, и продолжалъ думать вслухъ, уже видимо сердясь на кого-то за непочтительность къ Михаилу

Михайловичу Холмогорову и превознося до небесъ и золотое сердце, и красоту послѣдняго. Особенно поразило меня замѣчаніе о красотѣ Холмогорова; я никакъ не могъ представить въ своемъ воображеніи, что этотъ невзрачный старикашка могъ быть когда-нибудь такимъ красавцемъ, чтобы о его красотѣ чуть не съ умиленіемъ вспоминалъ его старый, давно огрубѣвшій однокашникъ, называя его и «Милкой Холмишкой», и «карманнымъ морячкомъ», и «мореплавательной дѣвчонкой», и даже «крымскимъ яблочкомъ».

— Теперь его можно бы назвать только печенымъ яблокомъ,—неосторожно замѣтилъ я, смѣясь.

Сергѣй Николаевичъ разсвирѣпѣлъ и, икая, чуть не крикнулъ:

— Гмъ, печеное яблоко! печеное яблоко!.. Васъ бы въ такое пекло посадить, въ какомъ онъ испекся, посмотрѣлъ бы я, что бы изъ васъ вышло... въ порошокъ, въ золу стерлись бы! Рябчики!.. печеное яблоко! Гмъ, туда же!

Онъ бормоталъ что-то такое, чего нельзя было уже разобрать, и, когда вмѣстѣ съ другими сѣлъ за обѣденный столъ, большая отяжелѣвшая голова его поникла на богатырскую грудь и послышалось его тяжелое сопѣнье. Глядя теперь на него, можно было только повторить его же любимое, какъ-то безнадежно повторявшееся имъ, выраженіе:

— Промокъ!

III.

Прошло три года.

Я совершенно потерялъ изъ виду и окончательно призабылъ микроскопическаго біографа русскихъ адмираловъ, когда совсѣмъ неожиданно мнѣ напомнила о немъ какая-то особа, назвавшаяся Холмогоровой,—Александрой Николаевной Холмогоровой, какъ она повторяла,—и неотступно требовавшая свиданія со мной. Мой слуга клялся и божился ей, что «баринъ нездоровы-съ и никого не принимаютъ», но она довольно звонкой скороговоркой увѣряла его, что ему стоитъ только назвать ея фамилію и я тотчасъ же приму ее, что мы старые друзья и что я буду очень сердиться и бранить его, если онъ не пуститъ ее ко мнѣ. Убѣждала она его такъ, какъ могутъ убѣждать только люди, привыкшіе говорить съ петербургской прислугой. Разговоръ происходилъ въ прихожей, рядомъ съ моимъ кабинетомъ, и меня нестерпимо раздражали и назойливость посѣтительницы, и ея беззастѣнчивая ложь о моей давней

дружбѣ съ нею, — тогда какъ я и понятія не имѣлъ ни о какой Холмогоровой, — и ея досадливая звонкая скороговорка, похожая на непрерывающіеся звуки трещотки деревенскаго сторожа, сопровождаемая какимъ-то, не то истерическимъ, не то судорожнымъ смѣхомъ. Я застегнулся, оправилъ свой пиджакъ и распахнулъ дверь: въ прихожей стояла довольно плотная, круглолицая и краснощекая барыня неопредѣленныхъ лѣтъ,—не то сорока, не то шестидесяти—въ мерлушковой шапочкѣ, въ обтерханной лисьей шубѣ, съ непричесанными или растрепавшимися по дорогѣ черными волосами.

— Сударыня,—началъ я рѣзко.

— Ха-ха-ха! Я такъ и знала, что вы выйдете. Я вѣдь настойчивый черноморецъ. Умора! Мой Мишка велѣлъ вамъ очень-очень кланяться. «Это, говоритъ, мой коллега и благодѣтель». Лежитъ, знаете, бѣдняга, вотъ уже два года безъ ногъ. «Сходи, говоритъ, къ господину Терскому, къ этому благородному человѣку. Онъ мнѣ такъ, такъ помогъ»...

Она говорила безъ передышки, захлебываясь. Прежде чѣмъ я успѣлъ сказать что-нибудь, она уже сняла свою затасканную мерлушковую шапочку и сбросила свой салопъ, подбитый, какъ оказалось, только по талью лисьимъ мѣхомъ, и, отирая лицо вытащеннымъ изъ саквояжа платкомъ, входила въ мой кабинетъ.

— Сударыня,—началъ я снова не менѣе рѣзко, готовый, кажется, сказать ей: «убирайтесь къ чорту».

— Мой Михаилъ Михайловичъ правду мнѣ сказалъ про васъ: «Это истинный джентльменъ и настоящій собратъ по перу. Деликатнѣйшій въ мірѣ человѣкъ». О, мой Мишукъ всегда понимаетъ благородство души человѣческой и вѣчно помнитъ услугу, оказанную ему хоть разъ въ жизни. И мой папа, когда я, знаете, выходила замужъ, говорилъ мнѣ: «я счастливъ, что ты выходишь за такого честнаго и благороднаго человѣка. Я хоть и контръ-адмиралъ, а онъ только лейтенантъ, но я умѣю его цѣнить». Умора!.. И точно, мой Мишель, какъ и мой папа, былъ не только самъ благороднымъ человѣкомъ, какъ и всѣ мы, черноморцы, но и умѣлъ цѣнить благородныхъ людей.

Я уже потерялъ всякую надежду остановить ея словоизверженіе и съ покорностью отчаянія опустился на кресло, видя, что моя неумолкавшая ни на секунду посѣтительница уже спокойно сидитъ на моемъ диванѣ. Я сталъ терпѣливо ждать, когда изсякнетъ этотъ фонтанъ безсвязныхъ фразъ,

судорожныхъ восклицаній и истерическаго смѣха, и когда я наконецъ узна́ю: чему обязанъ тѣмъ, что вижу у себя госпожу Холмогорову? Она повторила разъ двадцать, что ея папа былъ знаменитый черноморецъ, контръ-адмиралъ Куколь-Подольскій: отъ его подвиговъ, знаете, и до сихъ поръ вся Англія почесывается, а турчанки его именемъ въ гаремахъ пугаютъ дѣтей; старушка-мама за его заслуги большую пенсію получаетъ, только у нея гроша мѣднаго не остается отъ пенсіи, такъ какъ у нея, знаете, кромѣ пенсіи, есть еще пять сыновей и одинъ Яша способенъ все, что̀ она получитъ, въ карты проиграть; подъ начальствомъ папы всѣ министры служить начали или обязаны ему тѣмъ, что ихъ министрами сдѣлали; безъ папы они такъ никогда и не сдѣлались бы министрами. Ея они всѣ, какъ огня, боятся, и она еще всѣмъ имъ насолитъ, если они ее разсердятъ.

Весь этотъ невообразимый сумбуръ ничѣмъ не связанныхъ между собою фразъ и сознательной и безсознательной лжи сопровождался восклицаніями и самодовольнымъ смѣхомъ. Только черезъ полчаса я дождался фразы, объяснившей мнѣ, зачѣмъ пришла Александра Николаевна Холмогорова. Эта фраза заключалась въ восклицаніи:

— Мишель вполнѣ увѣренъ, что вы ему опять поможете и что господа литераторы примутъ въ немъ горячее участіе!

Разубѣждать госпожу Холмогорову въ чемъ бы то ни было оказывалось совершенно безполезнымъ. Я не сталъ увѣрять ее, что никогда не помогалъ ея мужу, и что ничего не могу выхлопотать для него у господъ литераторовъ. Я ограничился просто тѣмъ, что взялъ адресъ ея мѣстожительства и обѣщалъ зайти къ ея мужу на слѣдующій день.

Я надѣялся, что гораздо легче и короче столкуюсь съ ея мужемъ, чѣмъ съ ней...

IV.

Въ одномъ изъ тѣхъ многоэтажныхъ каменныхъ домовъ Вознесенскаго проспекта, во дворы которыхъ, похожіе на глубокіе грязные колодцы, никогда не заглядываетъ солнце, дворникъ не очень дружелюбно взглянулъ на меня при упоминаніи фамиліи Холмогоровыхъ и указалъ мнѣ на подъѣздъ въ углу третьяго двора, презрительно проговоривъ:

— Вонъ тамъ въ углу, въ шестомъ этажѣ!

Я почти ощупью сталъ подниматься по полутемной, грязной лѣстницѣ съ обглоданными временемъ ступенями. Когда я поднялся на самый верхъ, мнѣ пришлось зажечь спичку, чтобы разсмотрѣть нумеръ надъ дверями, на которыхъ не было никакой дощечки съ фамиліей квартирантовъ. Позвонивъ у дверей, я услышалъ собачій лай и звуки чьихъ-то торопливыхъ шаговъ. Тѣмъ не менѣе, мнѣ никто не открывалъ дверей. Я позвонилъ еще, услыхавъ опять собачій лай и чьи-то перебранивающіеся молодые женскіе голоса. Но дверь попрежнему не открывалась. Должно-быть, мнѣ пришлось бы очень долго и напрасно звонить, если-бъ за мной не послышался голосъ мальчика лѣтъ шестнадцати.

— Вамъ кого?—спросилъ онъ.

— Холмогоровыхъ,—отвѣтилъ я.

— Это здѣсь.

— Я звонилъ, да мнѣ никто не открылъ дверей.

— Дверь не заперта,—пояснилъ онъ и прибавилъ: — А тамъ однѣ сестры дома, вотъ онѣ и переругиваются: «Ты поди открой двери». «Нѣтъ, ты отопри», — и ни одна ни съ мѣста! У насъ всегда такъ.

Онъ распахнулъ передо мной дверь въ прихожую, отдѣленную перегородкой отъ кухни. Я спросилъ его, какъ пройти къ Михаилу Михайловичу.

— Къ папѣ?—сказалъ онъ, оглядывая меня съ ногъ до головы, точно желая узнать, съ кѣмъ имѣетъ дѣло.—Вотъ сюда пойдемте въ спальню. Онъ вѣдь безъ ногъ.

— Я слышалъ.

Онъ повелъ меня по коридорчику въ послѣднюю комнату. Въ коридоръ выходили слѣва двери трехъ другихъ комнатъ, чуть-чуть пріотворявшіяся въ то время, какъ я проходилъ мимо нихъ по коридору, и я легко могъ замѣтить, какъ чьи-то глаза съ любопытствомъ осматривали меня въ ихъ узенькія щелки.

— Въ однѣхъ юбчонкахъ и въ сорочкахъ еще бѣгаютъ, а туда же любопытничаютъ, кто пришелъ, — брюзжалъ и ворчалъ провожавшій меня мальчуганъ.

— Это ваши сестры?—спросилъ я.

— Да, цѣлая тройка. Двѣ старшія въ монастырь ушли отъ здѣшняго омута,—отвѣтилъ онъ.

Въ послѣдней комнатѣ со спертымъ воздухомъ крошечной спальни, гдѣ только-что ночевало два-три человѣка, я засталъ, среди хаоса неприбраннаго сора и бѣлья, Михаила Михайловича Холмогорова сидящимъ въ вольтеров-

скомъ креслѣ. Онъ былъ едва замѣтенъ среди лохмотьевъ этого продраннаго огромнаго кресла, закутанный въ теплое ситцевое одѣяло, пестрое, какъ нарядъ арлекина. Его сморщенное лицо, съ остатками уже совершенно сѣдыхъ волосъ, съ красноватымъ носомъ, казалось еще меньше. Это было настоящее печеное яблоко. Мнѣ невольно вспомнились слова Сергѣя Николаевича Храповицкаго о томъ, что Холмогорова звали «крымскимъ яблочкомъ».

— Вы меня не узнаете?—спросилъ я, видя его удивленный взглядъ.

— Простите, простите... Старъ сталъ... сударь мой... Все забываю...—заговорилъ онъ, конфузясь и торопливо поправляя воротъ сорочки.

Я назвалъ свое имя и фамилію.

— Ахъ, да, да... господинъ Герскій... Какъ же, какъ же, вспомнилъ, простите.

Онъ заволновался и торопливо заговорилъ:

— Милка, стулъ дай гостю... сынъ мой, — съ мягкой улыбкой отрекомендовалъ онъ мнѣ юношу:—Милкой зовутъ, т. е. Мишей... Меня также звали во флотѣ товарищи... Милка Холмикъ... Вотъ и онъ Милка тоже... И схожъ со мною, какъ двѣ капли воды...

Я взглянулъ на юношу и тутъ только понялъ, что старикъ Холмогоровъ дѣйствительно былъ красавцемъ, если сынъ былъ весь въ него. Благородныя, тонкія и правильныя черты лица, замѣчательно очерченныя брови, длинныя загнутыя вверхъ рѣсницы, миньятюрный ротъ, формы колчана Амура, румяныя щеки, черные глаза, вьющіеся кудри и поразительно маленькія руки и ноги, — все было прелестно въ этомъ юношѣ, и я понялъ, что къ нему можно приложить всѣ ласкательныя прозвища, которыя когда-то носилъ его отецъ.

— Убиваетъ меня одно: средствъ нѣтъ дать образованіе,—пояснилъ со вздохомъ старикъ.

— Я въ юнги опредѣлюсь! — рѣшительно проговорилъ юноша.

— Дитя, сударь мой, не знаетъ еще, какова матросская служба,—воздохнулъ старикъ и прибавилъ:—Дѣтей орава, а средствъ нѣтъ... Преступленіе это, сударь мой, со стороны родителей. Но и то сказать, чѣмъ же мы виноваты? Молоды были, легкомысленны, неумѣлы. По легкомыслію влюбился, по легкомыслію въ отставку вышелъ, по легкомыслію семью такую развелъ не по своимъ средствамъ...

Неумѣло имѣньишкомъ распоряжался, неумѣло службы искалъ, неумѣло за всякія аферы брался, неумѣло семью вырастилъ. Теперь все это, сударь мой, ясно становится самому, какъ сидишь цѣлые дни да цѣлыя ночи со своими думами... ясно и безполезно...

Онъ тяжело вздохнулъ. Въ этомъ вздохѣ было что-то щемящее сердце.

— Извѣстно, вытащите, сударь мои, тюленя на берегъ— и неповоротливъ онъ, и неуклюжъ, и непремѣнно погибнетъ, а въ водѣ и рѣзвъ, и веселъ, и дѣятеленъ. Такъ и я, для моря рожденъ, для моря воспитанъ; въ семейной же жизни, въ практической дѣятельности, такъ и былъ тюленемъ: ни рѣзвости, ни смекалки, ни умѣнья... Вотъ и дошелъ до такого состоянія.

— Скажите, чѣмъ же я могу быть вамъ полезенъ? — спросилъ я.

— Вы? — съ удивленіемъ спросилъ Холмогоровъ. — Да чѣмъ же вы-то, сударь мой, можете мнѣ быть полезны? Ровно ничѣмъ!..

— Но ваша супруга заходила...—началъ я.

— Видишь, видишь! — рѣзко воскликнулъ юноша, перебивая меня. — Опять ходила просить... посторонняго человѣка... Я тебѣ говорю, что я въ монастырѣ самъ видѣлъ, какъ она...

Михаилъ Михайловичъ торопливо замахалъ рукой, желая остановить сына, и не далъ договорить, что̀ тотъ видѣлъ въ монастырѣ.

— Голова у нея, сударь мой, такая горячая, — началъ онъ тихо, подавленнымъ голосомъ, стараясь защитить и оправдать жену: — видитъ, какъ бѣдствуетъ семья, и толкается всюду за помощью, куда и не слѣдъ... Вы ужъ, сударь мой, ее извините. Она вѣдь у меня тоже неумѣлый человѣкъ: воспитаніе, какъ барышня, получила, росла въ нѣгѣ и холѣ, проживать научилась, какъ и я, а зарабатывать — ахъ! для этого другую школу надо пройти, сударь мой, совсѣмъ другую... Тоже тюлень на сушѣ.... жалкій тюлень! Она вотъ все смѣется, говоритъ: «умора», а въ этой «уморѣ» слезы слышатся... слезы..

Онъ вздохнулъ и опять сталъ извиняться передо мною:

— Вы ее извините, что она васъ, сударь мой, обезпокоила... Это слышала она когда-то, какъ я пріятелямъ разсказывалъ, что вы добрый и обязательный человѣкъ, что меня даже покраснѣть заставили одолженіемъ, предложивъ

сдѣлать даровыя публикаціи о моей злосчастной книгѣ... Ну, вспомнила это, вѣрно, и пошла къ вамъ, считая васъ за моего собрата. За соломинку хватается... съ отчаянья это... не съ радости, а съ отчаянья, сударь мой... А того и не знаетъ, насколько мнѣ и такъ совѣстно, что я осрамилъ себя своей книгой... и помощи, пособія ждетъ за нее!

Въ сосѣдней комнатѣ кто-то запѣлъ арію изъ «Прекрасной Елены». Голосъ былъ молодой, звонкій, но вовсе не обработанный. Затѣмъ раздался такой же молодой смѣхъ и шушуканье у дверей. Я чувствовалъ, что кто-то стоитъ у дверей и смотритъ въ замочную скважинку прямо на меня, задѣвая головой за ручку двери. Черезъ минуту, до меня явственно долетѣлъ шопотъ: «молодой еще!» Пѣніе все время не смолкало, смѣхъ становился все громче и шорохъ у дверей не прекращался.

— Это тамъ мои дочери, сударь мой,—пояснилъ старикъ со вздохомъ.—Три съ нами живутъ, а двѣ въ монастырѣ... Пять дочерей и четыре сына... всего-то пятнадцать человѣкъ было. Девять въ живыхъ. Содержать чего стоитъ!.. Милка меня болѣе всего сокрушаетъ, образованія лишенъ...

— Я сказалъ, что я юнгой буду!—настойчиво повторилъ юноша...

Съ тяжелымъ чувствомъ уходилъ я отъ Холмогорова. Помочь я ему не могъ, а между тѣмъ онъ былъ такъ жалокъ, такъ нуждался въ помощи. По мѣрѣ того, какъ я проходилъ обратно по коридору, двери трехъ смежныхъ комнатъ раскрывались и тотчасъ же захлопывались, при чемъ слышались жеманныя восклицанія якобы испуга:

— Ахъ!

— Кобылы... — ворчалъ безцеремонно Милка, провожая меня въ переднюю.

V.

На лѣстницѣ мнѣ встрѣтилась Холмогорова и, несмотря на то, что былъ уже первый часъ въ исходѣ, изумилась, что я такъ рано посѣтилъ ихъ. Она тотчасъ же заговорила:

— А я была у отца Никандра; посовѣтоваться ходила, какъ мнѣ съ дочерями быть. «Я, говоритъ, монахъ и ничего насчетъ этого женскаго пола не знаю». Умора! Я, однако, обѣщала еще придти къ нему. Я еще его заставлю говорить. Къ отцу Алексѣю далеко теперь ѣхать въ такіе холода. Шутка ли, чуть не сорокъ верстъ. А то онъ непремѣнно далъ бы совѣтъ. Въ прошломъ году я тоже

ѣздила къ нему. Потомъ къ страннику Амвросію обращалась. Ну, тотъ, знаете, только самъ ждетъ, чтобы ему денегъ дали. Просто умора!

Я видѣлъ, что этой болтовнѣ о невѣдомыхъ мнѣ предметахъ и лицахъ не будетъ конца, и поспѣшилъ откланяться. Но Холмогорова удержала меня за рукавъ шубы и съ истерическимъ смѣхомъ объявила, что—вотъ умора!—у нея ни гроша нѣтъ денегъ, что ея Мишукъ вовсе не понимаетъ жизни и совсѣмъ не знаетъ, какъ дорого обходится прокормленіе шести ртовъ въ день. Въ концѣ-концовъ, она просила у меня десяти рублей.

— У чужихъ людей такіе пустяки приходится занимать, а у папы всѣ теперешніе министры, когда, знаете, и усовъ-то у нихъ не было, частенько въ пріемной стаивали: всѣ вѣдь были его подчиненными, когда мы еще въ Севастополѣ жили. Это теперь только они министрами стали, а прежде, знаете, усовъ даже не было. Умора!

На горе себѣ я далъ просимые ею десять рублей и съ этой минуты попалъ въ положеніе тѣхъ многочисленныхъ министровъ, у которыхъ когда-то даже усовъ не было и которые въ тѣ времена стаивали въ пріемной ея папы. Она сразу сдѣлалась моимъ «единственнымъ другомъ» и потому посвятила меня во всѣ тайны своей семейной жизни. Я узналъ, что Михаилъ Михайловичъ, какъ былъ ребенкомъ, такъ и остался имъ, что онъ никакого понятія не имѣетъ ни о чемъ — ни о воспитаніи дѣтей, ни о практической дѣятельности, ни о денежныхъ дѣлахъ; что онъ проѣлъ хуторъ, доставшійся ему въ наслѣдство, что онъ всадилъ въ прогорѣвшій потомъ банкъ свой небольшой наслѣдственный капиталецъ, что теперь они нищіе, такъ-таки совсѣмъ нищіе. Умора! Потомъ я узналъ, что два ихъ сына очень дурно кончили:—пониженнымъ до шопота голосомъ она, какъ государственную тайну, сообщила мнѣ, что они, знаете, «сосланы за подлоги въ Сибирь»; третій сынъ въ Сибирь не попалъ, но зато женился на богатой, получилъ теплое мѣсто, ворочаетъ тысячами, а ихъ, отца и мать, знать не хочетъ. За первыхъ двухъ сыновей она хлопочетъ по всѣмъ вѣдомствамъ, подаетъ просьбы ко всѣмъ министрамъ и даже на высочайшее имя, а на третьяго сына она уже подала жалобы въ комиссію прошеній, въ министерство финансовъ, въ министерство внутреннихъ дѣлъ и, кромѣ того, знаете, устно сообщила все дѣло преосвященному Игнатію. Умора! Узналъ я и то, что ея

младшія три дочери что-то такое «начинаютъ»... Она никакъ не могла мнѣ объяснить, что̀ онѣ «начинаютъ», но тѣмъ не менѣе сообщала мнѣ это многозначительно и таинственно, при чемъ дѣлала какіе-то многознаменательные знаки глазами, вертѣла выразительно рукою въ воздухѣ и озабоченно повторяла: «ужъ вижу, вижу, — что-то, знаете, начинаютъ». По поводу этихъ «начинаній» она и ѣздила на совѣтъ къ отцу Алексѣю, ходила для обсужденія вопроса къ отцу Никандру, совѣщалась со странникомъ Амвросіемъ, объяснялась съ преосвященнымъ Игнатіемъ, но всѣ они ее благословляли, давали ей цѣловать свои руки, а того, что̀ «начинаютъ» ея дочери, такъ и не могли разъяснить. Умора!

Всѣ эти сообщенія, дѣлавшіяся сбивчиво и многословно, сопровождаемыя безцѣльными преувеличеніями и ложью южанки, порядкомъ надоѣдали мнѣ, но, тѣмъ не менѣе, мнѣ было иногда глубоко жаль эту загорѣлую, краснощекую, круглолицую, смотрѣвшую такими наивными глазами, дочь контръ-адмирала Куколь-Подольскаго, которая была убѣждена, что изъ пріемной ея папы, игравшаго когда-то, дѣйствительно, видную роль въ Севастополѣ, вышли чуть не всѣ министры. Это была провинціальная барышня старыхъ временъ, безъ всякаго серьезнаго образованія, безъ всякаго умственнаго развитія, склонная по натурѣ къ экзальтаціи, къ преувеличеніямъ, къ смѣшенію истинныхъ фактовъ съ созданіями южной фантазіи, выпедшая чуть не ребенкомъ замужъ за непрактичнаго юношу, наплодившая дѣтей, окончательно разорившаяся и попавшая въ концѣ-концовъ въ петербургскій омутъ, гдѣ она положительно растерялась, ища спасенія. Она, вѣроятно, давно бы сошла съ ума или наложила на себя руки среди безысходной нужды и несчастій, если бы не спасала ея фантазія. Она никакъ не могла понять, что тѣ лица изъ золотой молодежи, которыхъ въ давно былые годы благосклонное начальство командировало на два, на три мѣсяца къ ея папѣ, для того, чтобы они могли заполучить тотъ или другой орденокъ, и которыя потомъ дошли до степеней извѣстныхъ, давно уже забыли и ее, и ея папу,—и надоѣдала имъ своими невозможными просьбами. Изъ этихъ просьбъ иногда нельзя было даже понять, о чемъ она проситъ—о пенсіи ли, или пособіи себѣ за заслуги ея папы, о прощеніи ли уличенныхъ въ подлогахъ сыновей ради заслугъ ея папы, о выдачѣ ли замужъ незамужнихъ дочерей тоже ради заслугъ папы, или о чемъ-

нибудь еще болѣе несообразномъ, еще болѣе невозможномъ. Тѣмъ не менѣе она обивала пороги рѣшительно всѣхъ министерствъ, всѣхъ комиссій, всѣхъ подворій, ища помощи, совѣтовъ, спасенія, не безъ самодовольства повторяя: «О, я упрямый черноморецъ!» и съ судорожнымъ смѣхомъ заканчивая разсказы о своихъ неудачахъ восклицаніемъ: «Умора!»

Я настолько понималъ трагичность положенія этой недалекой и неразвитой женщины, растерявшейся отъ непривычной для нея нищеты, что даже не очень сердился, когда она отнимала у моей работы цѣлые часы своей болтовней, когда занимала у меня въ долгъ безъ отдачи, съ судорожнымъ смѣхомъ, рубли; когда она таскала ко мнѣ, какъ къ своему единственному другу, какія-то рукописи отъ своихъ знакомыхъ съ невозможной прозой и такими же невозможными стихами...

Я давно привыкъ ко всякимъ геройнъ и героинямъ Бедлама, называемаго жизнью...

VI.

— А! единственный великій русскій писатель, гроза всѣхъ министровъ и поддержка всѣхъ униженныхъ и оскорбленныхъ!—съ ироніей воскликнулъ, встрѣтившись со мною, мой пріятель Иванъ Андреевичъ Ольхинъ, похожій на породистаго борзаго чиновника особыхъ порученій при главномъ управленіи по дѣламъ дико-каменныхъ киргизовъ или какихъ-то другихъ сибирскихъ инородцевъ.

— О, шутъ особыхъ порученій! — въ тонъ ему отвѣтилъ я, зная, что онъ вѣчно носится съ какими-нибудь послѣдними остротами своего высокопревосходительнаго патрона или не особенно остроумными насмѣшечками надъ нашимъ братомъ-писателемъ.—Какія новыя каверзы придумалъ?

— Какія тамъ каверзы!—воскликнулъ онъ.—Теперь мы всѣ, служащіе въ различныхъ министерствахъ, только и слышимъ, что о твоемъ величіи, о томъ, что *самъ* ты, Андрей Петровичъ Терскій, одобряешь то или другое правительственное распоряженіе, что *самъ* ты обличаешь тѣ или другіе наши ужасные поступки...

— Полно балаганить, я ничего не понимаю, что̀ за чепуху ты городишь,—остановилъ я его, слегка раздражаясь.

Онъ взялъ меня подъ руку и серьезно, немного наставительнымъ, интимнымъ тономъ,—какъ менторъ, дающій добрый совѣтъ легкомысленному ученику,—началъ:

— Конечно, я знаю, что каждому писателю лестно слыть и единственнымъ, и великимъ. Это такая понятная слабость человѣческая. Въ то же время я признаю за каждымъ нигдѣ неслужащимъ право обсуждать поступки министровъ, порицать администраторовъ и вообще чиновничество. Это тоже одна изъ слабостей людей, ничего не дѣлающихъ и потому убѣжденныхъ, что *дѣлать*—такъ легко! Но, мой другъ, надо же быть разборчивымъ въ выборѣ людей и для пропаганды своего реномэ, и для своихъ бесѣдъ объ особахъ и мѣропріятіяхъ...

Я, ровно ничего не понимая, вспылилъ:

— Чортъ возьми всѣ эти иносказанія и подходцы! Или говори толкомъ, или прощай...

Онъ ласково остановилъ меня за пуговицу пальто.

— Не сердись! Дѣло въ томъ, что твой старый, единственный другъ—Александра Николаевна Холмогорова—положительно компрометируетъ тебя. Ты дѣлаешься сказкой города. Она во всѣхъ своихъ прошеніяхъ упоминаетъ, что даже ты, такой великій писатель, далъ ей совѣтъ сдѣлать то-то и то-то. Она во всѣхъ разговорахъ грозитъ тѣмъ, что даже ты самъ, своею персоною, обѣщалъ вступиться за нее въ томъ или другомъ случаѣ. И это во всѣхъ вѣдомствахъ, со всѣми лицами, во всѣхъ прошеніяхъ! А ты знаешь: ея прошеній, касающихся, напримѣръ, ея сибирскихъ сыновей, въ одной нашей канцеляріи болѣе, чѣмъ было любовныхъ писемъ у Донъ-Жуана... Нѣтъ, ты положительно компрометируешь себя этой дружбой — компрометируешь даже по нашему вѣдомству, а мы, какъ ты самъ знаешь, менѣе всего имѣемъ отношеній къ общимъ дѣламъ, завѣдуя только дико-каменными киргизами...

Мой пріятель засмѣялся своимъ обиднымъ, беззвучнымъ смѣхомъ и простился со мной, видя по моему липу, какой эффектъ произвела его рѣчь. Я былъ въ бѣшенствѣ. Я хорошо зналъ, насколько способна прославить меня Александра Николаевна Холмогорова, въ качествѣ своего «стариннаго единственнаго друга». Утѣшеніемъ мнѣ могло служить только то, что я въ данномъ случаѣ раздѣлялъ участь всѣхъ министровъ, стаивавшихъ когда-то въ пріемной ея папы. Тѣмъ не менѣе, я далъ себѣ слово разъ навсегда порвать всякія сношенія съ Александрой Николаевной. Злой и раздраженный, я подходилъ къ своему дому, какъ вдругъ кто-то, со словами: «Вотъ-то счастье, что вы встрѣтились мнѣ»,—торопливо окликнулъ меня. Я обернулся и

увидалъ юнаго Милку Холмогорова. Онъ былъ блѣденъ и весь въ слезахъ.

— Ради Бога, ради Бога, пойдемте къ намъ!—заторопилъ онъ меня, глотая слезы.—Папѣ очень худо!

Раздумывать тутъ было нечего. Я нанялъ извозчика, и мы поѣхали.

— Онъ умираетъ, а сестры въ своихъ комнатахъ чуть не пляшутъ. Распутныя!—со злостью говорилъ юноша.

— Легкомысленны онѣ, какъ видно, у васъ,—сказалъ я.

— Распутныя, а не легкомысленныя!—твердо и настойчиво повторилъ онъ.—Богъ знаетъ, что за вертепъ изъ нашей квартиры дѣлаютъ! Если гости не хотятъ сами къ нимъ заходить, то просто нумерныхъ за ними присылаютъ. Вотъ до чего дошло. Мама ничего этого не понимаетъ. Скоро билеты желтые выдадутъ имъ.

Я широко открылъ глаза. Такъ вотъ что «начинали» барышни Холмогоровы и чего не могла ни понять, ни выяснить ихъ несчастная мать всѣмъ своимъ Никандрамъ, Игнатіямъ и Алексѣямъ.

— Отецъ умираетъ. У нихъ тутъ два юнкера сидятъ, торопятъ ихъ куда-то ѣхать, а мать еще со вчерашняго дня въ Кронштадтъ ускакала съ какими-то салопницами. Я потому и побѣжалъ за вами, благо вы добрый человѣкъ...

Когда мы входили въ квартиру Холмогоровыхъ, намъ попались двѣ барышни, сопровождаемыя двумя гремѣвшими шпорами кавалерійскими юнкерами. Проходя мимо брата, онѣ сказали ему, что ихъ третья сестра остается дома и чтобы онъ не отказывалъ никому, кто будетъ спрашивать ее. Онѣ даже не подозрѣвали, что ихъ отцу такъ плохо, такъ какъ «старикашка» уже три года подъ рядъ умираетъ. Мы тихо прошли съ юношей по коридору и осторожно вошли въ заднюю комнату. Старикъ, очевидно, уже ничего не видѣлъ и не слышалъ; онъ лежалъ на спинѣ на постели и прерывисто дышалъ, не шевелясь и безсознательно смотря потухавшими глазами въ пространство. Въ груди точно капли воды, падающія куда-то, булькали одна за другой.

— Кончается?—тономъ вопроса прошепталъ мнѣ Милка.

— Да,—такъ же тихо отвѣтилъ я.

Въ это время входная дверь отворилась. Въ коридорѣ послышались шаги, зазвякали шпоры. Вѣроятно, это былъ юнкеръ третьей барышни Холмогоровой.

БЕЗЪ СВЯТЫНИ.

I.

Стоялъ тихій, знойный вечеръ.

По ступенямъ надворнаго крыльца большой барской дачи-усадьбы, съ затѣйливыми узорами въ русскомъ вкусѣ, поднимались двое юношей изъ учащейся молодежи: бѣлокурый, помоложе, изъ «привилегированныхъ», и брюнетъ, постарше, изъ технологовъ. Ихъ одежда была запылена съ ногъ до головы; изъ-подъ сдвинутыхъ на затылки фуражекъ выступали на лбы крупныя капли пота. Блондинъ, съ выхоленнымъ, нѣжнымъ, какъ у шестнадцатилѣтней барышни, лицомъ, капризно ворчалъ:

— И чортъ меня дернулъ не приказать выслать лошадей, а понадѣяться на то, что на станціи найдется какой-нибудь возница. Вотъ и нашелся: почти пять верстъ отшагать пришлось въ такую жарищу! Недостаетъ только, чтобы натерлись мозоли отъ этой проклятой дороги.

Технологъ, смуглый, широкій въ кости, мѣшковатый въ движеніяхъ, добродушно посмѣивался, показывая рядъ бѣлыхъ зубовъ:

— У меня мозоли съ семи лѣтъ: однимъ больше, однимъ меньше—не все ли равно?

— И куда это всѣ люди подѣвались? Ни на дворѣ, ни въ прихожей—ни души. Точно цѣлый домъ вымеръ!—продолжалъ привередничать молодой барчукъ, оглядывая просторную переднюю, въ которую они вошли.—Эй, кто-нибудь!—крикнулъ онъ громко.

Послышались торопливые, немного шаркающіе и волочащіеся шаги старика-лакея. Увидѣвъ передъ собой молодого барина, сѣдой, какъ лунь, слуга по-стариковски заохалъ:

— Баринъ, Владиміръ Сергѣевичъ! какими судьбами? Вотъ-то не ждали сегодня и лошадокъ не выслали...

— Оно и видно, что не ждали: ни на дворѣ, ни въ прихожей ни души; всѣ разбѣжались,—опять заворчалъ Владиміръ Сергѣевичъ.

— Мамаша изволили-съ захворать... Всѣ хлопочутъ, всѣ мечутся,—пояснилъ старикъ.—За докторомъ снаряжали нарочнаго... посылали въ аптеку тоже.

— Что съ ней?—спросилъ барчукъ.

— Такъ-съ... ровно припадокъ истерики... Сами изволите знать, сколь нервы у нихъ слабы...

Технологъ, качая головой, замѣтилъ:

— Ну, братъ, недаромъ, видно, я не хотѣлъ заѣзжать къ тебѣ... Не въ пору гость хуже татарина.

— Вотъ глупости! Не все ли равно матери, кто у меня тутъ,—сказалъ хозяинъ, пожимая плечами.

Въ сопровожденіи стараго слуги и товарища, онъ направился по широкому, длинному коридору въ крайнюю комнату нижняго этажа. Комната была просторна и выходила окнами въ глухую часть сада. Когда старый слуга открылъ окна,—потянуло запахомъ цвѣтущихъ сиреней и розъ.

— Можешь расположиться здѣсь. Мой кабинетъ вотъ тутъ рядомъ,—сказалъ Владиміръ Сергѣевичъ, указавъ на сосѣднюю комнату, и прошелъ въ нее.

— Теперь, прежде всего, надо отряхнуться отъ этой проклятой пыли... Ну, Карпъ, живѣе, позови Илюшку, пусть подастъ мыться... бѣлье мнѣ свѣжее подать. Кстати, надо будетъ послать на станцію; тамъ багажъ, шинель... Что это: воздушный звонокъ опять, кажется, не дѣйствуетъ? Не могли до моего пріѣзда осмотрѣть.

Пока онъ ворчалъ, приказывалъ, плескался въ водѣ и переодѣвался, сбросивъ съ себя щегольской форменный сюртукъ и бѣлье, его пріятель Ардальонъ Ардальоновичъ Тереховъ, усѣвшись на подоконникъ открытаго окна, совсѣмъ забылся въ какихъ-то сладкихъ думахъ, вдыхая полной грудью чистый ароматный воздухъ. Хорошо, должно-быть, теперь и у него на родинѣ, въ глухомъ провинціальномъ городишкѣ. Домишка-то ихъ, по мѣстоположенію, пожалуй, за поясъ заткнетъ здѣшній: стоитъ онъ на высокомъ пригоркѣ на краю города, внизу подъ садомъ рѣка, а за ней даль-то какая—не наглядишься досыта! Самъ протоіерей завидуетъ: «Видъ-то изъ оконъ у тебя, отецъ-дьяконъ, очень даже прекрасенъ»,—говоритъ. И любитъ же

онъ, Ардальонъ Ардальоновичъ, свой родной домъ, болѣзненно любить! Кабы деньги—махнулъ бы сейчасъ туда, къ отцу, къ матери. Обрадовалась бы, старая...

— А ты еще и не начиналъ мыться?—окликнулъ его Владиміръ Сергѣевичъ, заглянувъ изъ сосѣдней комнаты уже въ свѣжемъ бѣльѣ и въ бѣлой тужуркѣ, освѣженный душистымъ одеколономъ.

Тереховъ вздрогнулъ отъ неожиданности.

— А, да, мыться... сейчасъ освѣжусь...—заговорилъ онъ отрывисто и, очнувшись окончательно отъ сладкихъ грезъ, пошутилъ:—Скоро, вотъ, совсѣмъ въ пыли да въ грязи очутишься...

— Вольно же идти въ кочегары,—сказалъ Владиміръ Сергѣевичъ.—Оставался бы здѣсь...

— Когда-нибудь надо же пройти и эту службу; такъ лучше раньше, чѣмъ позже.

Тереховъ разсмѣялся:

— Лучше начать кочегаромъ и кончить министромъ, чѣмъ...

— Я сейчасъ зайду къ матери, а потомъ примемся за чай,—не слушая его, проговорилъ Владиміръ Сергѣевичъ.

— А ты развѣ еще не заходилъ къ матери?—спросилъ съ удивленіемъ Тереховъ.

Владиміръ Сергѣевичъ уже не слыхалъ вопроса, скрывшись изъ комнаты, а, можетъ-быть, просто пропустилъ его мимо ушей, какъ дѣлалъ это нерѣдко... Тереховъ сталъ освѣжать водою лицо и руки.

— Барыня-то очень больна?—спросилъ онъ подававшаго ему воду, быстроглазаго и остриженнаго подъ гребенку, Илюшку.

— Истерики-съ; у нихъ чуть что, сейчасъ: «ахъ-ахъ!» и забьются!—бойко отвѣтилъ тотъ, лукаво ухмыляясь, и убѣжденнымъ тономъ рѣшилъ:—Пройдетъ-съ!

— Докторъ тоже нашелся: знаетъ, что пройдетъ, что не пройдетъ!—проворчалъ Тереховъ, недружелюбно взглянувъ на наглое лицо шустраго мальчишки.

Онъ сталъ вытирать мохнатымъ полотенцемъ лицо и руки, ходя по комнатѣ. Въ головѣ опять зароились думы. У его матери истерикъ не бываетъ. Некогда ей давать волю нервамъ. Нужда, горькая нужда пріучила переносить все молча и безропотно. Добрая она, чуткая. Самой не сладко живется, а еще отъ чужого горя волнуется. И сколько этого горя видѣть приходится—страсть! Всѣ идутъ къ ней, къ матери-дьяконицѣ, благо у нея душа отзывчивая да и умомъ все

раскинуть умѣетъ—какъ и чѣмъ помочь. А того не спросятъ: каково ей самой? Народъ, что дѣти:—великій эгоистъ, особенно въ бѣдѣ. Отецъ хоть на попа поворчитъ, что тотъ обсчитываетъ да притѣсняетъ,—ему и легче. А она—ни жалобы, ни ропота! И гдѣ научилась этому? Едва читать и писать умѣетъ...

Въ комнату вернулся Владиміръ Сергѣевичъ и приказалъ подавать чай къ себѣ въ комнату.

— Ну, что мать?—освѣдомился участливо Тереховъ.

— Ничего серьезнаго! Нервы расходились,—небрежно замѣтилъ Владиміръ Сергѣевичъ и съ ироніей прибавилъ:—У насъ въ домѣ въ нѣкоторомъ родѣ революція: Вадимъ Петровичъ Запольевъ, послѣ двѣнадцатилѣтняго пребыванія въ домѣ, сегодня сбѣжалъ... Ты его помнишь?.. Черненькій такой съ наполеоновскими усиками стрѣлкой...

— Это твой бывшій гувернеръ?—спросилъ Тереховъ, припоминая.

Онъ года четыре не бывалъ въ домѣ пріятеля, съ тѣхъ поръ какъ тотъ изъ гимназіи перешелъ въ привилегированное учебное заведеніе; впрочемъ, и прежде онъ рѣдко видалъ его домашнихъ.

— Да... гу-вер-неръ!—съ разстановкой процѣдилъ сквозь зубы Владиміръ Сергѣевичъ.

Онъ прошелся по комнатѣ, усмѣхаясь едва замѣтной насмѣшливой улыбкой, слегка кривившей его красивый ротъ.

— Гу-вер-неръ!—еще разъ насмѣшливо протянулъ онъ и затѣмъ, пожимая плечами, прибавилъ:—Но женщины, женщины... Вотъ кого я не понимаю... онѣ, право, иногда и смѣшны, и жалки, когда...—онъ поискалъ подходящаго выраженія:—ну, когда кончится лѣто, а имъ все еще coûte que coûte хочется ходить по малину...

— Ты что же это,—о матери?—грубовато спросилъ Тереховъ, насупивъ брови.

— Да и объ ней, и объ женщинахъ вообще,—съ гримасой отвѣтилъ Владиміръ Сергѣевичъ. — Не умѣютъ онѣ во-время сказать себѣ: basta! finita la comedia! Все хотятъ быть моложе своихъ лѣтъ.

Въ комнату вошли Илюшка и Карпъ, принесшіе чайные приборы и закуску. Илюшка быстро засуетился, раздвигая складной столикъ, покрывая столешницу скатертью, разставляя на ней принесенныя Карпомъ на серебряномъ подносѣ тарелки, ножи, вилки, стаканы; потомъ былъ внесенъ

серебряный самоварчикъ со спиртовой лампочкой подъ нимъ, наполненный кипящей водой.

— Ступайте, мы разольемъ сами,—приказалъ Владиміръ Сергѣевичъ.

Слуги вышли. Владиміръ Сергѣевичъ Новиковъ и Ардальонъ Ардальоновичъ Тереховъ, послѣ прерваннаго приходомъ прислуги разговора, усѣлись за чайный столъ и на нѣсколько минутъ какъ-то невольно замолкли. Первый прервалъ молчаніе Новиковъ, наливъ вина и чаю себѣ и гостю. Онъ заговорилъ, какъ бы продолжая думать вслухъ:

— Мать я, конечно, не обвиняю. Законовъ природы не передѣлаешь! Они немного позначительнѣе насъ. Ея генералъ былъ всегда такой жалкой руиной.

— Какой это генералъ?—спросилъ хмуро Тереховъ, перебивая его.

— Мой фатеръ,—пояснилъ Новиковъ.

— А-а!—протянулъ Тереховъ.

На минуту наступило снова молчаніе. Прервалъ его опять Новиковъ.

— Вся ея ошибка въ томъ, что она, какъ настоящая женщина, не могла во-время сознать, что всему бываетъ конецъ, что года берутъ свое, и довела дѣло до этой катастрофы. Слишкомъ туго натянутыя струны лопаются...

Онъ вдругъ что-то вспомнилъ, сообразилъ и замѣтилъ:

— Да вѣдь я тебѣ не сказалъ еще главнаго,—не сказалъ, что Вадимъ Петровичъ уѣхалъ не одинъ. Уѣхала съ нимъ и сестра Зина. Завтра, если maman выйдетъ къ завтраку или къ обѣду, ты не вздумай спросить ее о Зинѣ... о здоровьѣ послѣдней. Начнутся опять истерики.

Онъ вздохнулъ.

— Досадно, что все это сдѣлалось такъ гласно, на народѣ... однимъ словомъ, такъ, что даже мнѣ приходится публично перемывать то грязное бѣлье, которое должно мыться en famille,—брезгливо проговорилъ онъ.—И Вадимъ Петровичъ, и Зина могли бы все обдумать вполнѣ спокойно, обойтись безъ всякихъ бѣгствъ, безъ всякихъ огласокъ, а то теперь какой-нибудь подлецъ Илюшка, и тотъ, вѣроятно, прыскаетъ со смѣху, разсказывая о томъ, какъ у старой барыни молодая «полюбовника отбила».

Тереховъ вдругъ взволновался и заходилъ быстро по комнатѣ.

— Право, лучше мнѣ сейчасъ же уѣхать,—заговорилъ онъ.—Совсѣмъ я некстати здѣсь. Точно соглядатай пріѣхалъ

высматривать. Тутъ нужно быть однимъ въ своей семьѣ, умомъ раскинуть, какъ быть...

Владиміръ Сергѣевичъ пожалъ плечами.

— Глупости выдумываешь! Это могло случиться и вчера, и сегодня, и годъ тому назадъ. Исторія началась не вчера, и мы ее не знали прежде только потому, что были глупыми мальчишками. Зина все знала и прежде—ей вѣдь двадцать девять лѣтъ—и въ послѣдніе три года была на ножахъ съ матерью. Вадимъ Петровичъ тоже ужъ давно тяготился своимъ положеніемъ беззаконнаго Альфонса при старухѣ и жаждалъ сдѣлаться Альфонсомъ при молодой, на законномъ основаніи. Мать, предчувствуя грозу, дѣлала самые нелѣпые шаги, самыя сумасбродныя вещи, задаривала его, вела открытую войну съ сестрой... Теперь случилась только развязка.

Тереховъ раздражился:

— Ты точно объ отвлеченныхъ предметахъ философствуешь, когда тутъ все нутро должно бы перевернуться!..

Владиміръ Сергѣевичъ улыбнулся и немного театрально произнесъ:

— Ахъ, мой другъ! кто видѣлъ, какъ медленно умиралъ и какъ мучительно умеръ человѣкъ, тотъ спокойно смотритъ на церемонію его похоронъ.

Гдѣ-то послышался отчетливый, звонкій и торопливый бой столовыхъ часовъ: пробило двѣнадцать.

— Однако, мы заболтались... пора и спать,—сказалъ Новиковъ, потягиваясь, и позвалъ:—Илюшка!

Вздремнувшій въ коридорѣ, у дверей господской комнаты, Илюшка опрометью, вихремъ, влетѣлъ въ кабинетъ барина и, не сразу придя въ себя, какъ слѣпой, спросонья засовался по комнатѣ изъ угла въ уголъ, видимо не зная, что нужно дѣлать, и хватаясь за вещи наобумъ. Но это было дѣломъ одной минуты. Вошедшій слѣдомъ за нимъ, Карпъ привелъ его сразу въ себя, степенно и внушительно замѣтивъ:

— Не мечись; прежде всего убери подносъ!

Прошло еще минутъ десять, и перешедшій въ отведенную ему комнату Ардальонъ Ардальоновичъ слышалъ, какъ Илюшка раздѣваетъ барина, стаскиваетъ съ него сапоги и торопливо полушопотомъ отвѣчаетъ на какіе-то вопросы:

— Вышла-съ замужъ еще по зимѣ за скотника Ванюшку... Новая-то? Ничего, тоже молодая-съ; чай, моложе еще Машутки... Изъ себя-то? такъ себѣ-съ; извѣстно, деревенская дѣвка... какая же у нихъ красота!..

Совсѣмъ уже раздѣтый и едва преодолѣвая сонъ, Тереховъ всталъ босыми ногами посреди комнаты лицомъ къ переднему углу, привычнымъ движеніемъ нѣсколько разъ осѣнился широкимъ крестнымъ знаменіемъ, раза три-четыре мотнулъ своею черною кудрявою головой, дѣлая поясные поклоны, наскоро прочиталъ молитву, слегка шевеля крупными губами, и, наконецъ, улегся на постель, закинувъ подъ голову руки. Еще нѣсколько минутъ тому назадъ, въ его головѣ бродили вопросы: до какой путаницы отношеній дошла эта свѣтская семья, какъ здѣсь исковеркана семейная жизнь. Но теперь на душѣ у него было тихо, спокойно. Что ему за дѣло до нихъ? Что у него общаго съ ними? Чисто случайно попалъ онъ сюда: встрѣтилъ пріятеля дѣтскихъ лѣтъ послѣ четырехлѣтней разлуки, разговорились, расчувствовались и согласился онъ заѣхать сюда по дорогѣ на два дня. Теперь видитъ, что можно бы и не заѣзжать: чужими они стали за эти четыре года, ничего общаго въ душѣ. Еще бы! Такая семейная обстановка, такіе примѣры... Въ его семьѣ никогда,—какъ во дни ранняго его дѣтства, такъ и во дни первой юности,—отецъ и мать не пробудили въ немъ ни единымъ словомъ, ни единымъ поступкомъ ни одной сальной мысли, ни одной попытки спросить себя о томъ, о чемъ, какъ видно, не мало думалъ Новиковъ, знавшій и то, что его «генералъ» не годился для его матери, и что его мать давно надоѣла гувернеру, и что въ ихъ домѣ мать и дочь давно были на ножахъ изъ-за общаго любовника...

II.

Только въ двѣнадцать часовъ дня, не безъ нѣкоторой неловкости въ душѣ, вспомнилъ Ардальонъ Ардальоновичъ, что ему сейчасъ придется встрѣтиться съ хозяйкой дома, и не зналъ, какъ держать себя съ ней, о чемъ говорить: никогда еще онъ не встрѣчалъ только-что брошенныхъ любовниками женщинъ. Участливымъ надо съ нею быть, или нужно развязно дѣлать видъ, что ничего знать не знаешь, вѣдать не вѣдаешь? Кто ихъ разберетъ?

До этой минуты онъ чувствовалъ себя сравнительно хорошо, такъ какъ ни по лицу Владиміра Сергѣевича, ни по лицамъ его братьевъ, двухъ одиннадцатилѣтнихъ близнецовъ, Миши и Володи, нельзя было и подумать, что въ домѣ произошла наканунѣ какая-то тяжелая драма. Радуясь чудесному лѣтнему дню, молодежь весело и беззаботно пила утромъ на

балконѣ чай и молоко, вмѣстѣ гуляла, вмѣстѣ купалась; звонкій смѣхъ разносился далеко, не стѣсняемый никѣмъ, такъ какъ гувернера, Вадима Петровича, при мальчишкахъ не было, а гувернантка, Евгенія Васильевна Зыкова, вмѣстѣ съ жившей у Новиковыхъ семнадцатилѣтней хорошенькой «кузиной Катишъ», оставалась все утро при двухъ дѣвочкахъ: девятилѣтней Лелѣ и десятилѣтней Машѣ.

«А что этотъ самый Запольевъ—отецъ этимъ малышамъ или нѣтъ? И знаютъ они это?»—назойливо мелькало въ головѣ Терехова при видѣ рѣзвящихся мальчугановъ, радующихся уходу «гувернера».

Всѣ были уже въ сборѣ въ столовой, когда въ нее быстро, слегка покачиваясь на ходу, вошла хозяйка дома, Ольга Всеволодовна Новикова. Это была женщина лѣтъ пятидесяти пяти, замѣтно молодившаяся и искусственно поддерживавшая свѣжесть уже блекнувшаго и дряблѣвшаго лица, съ задатками рыхлости и тяжеловѣсности, свойственныхъ еще здоровымъ, но склоннымъ къ полнотѣ женщинамъ этихъ лѣтъ.

— Это мило съ вашей стороны, что вы не забыли насъ,— проговорила она любезно, протягивая руку Терехову.—Совсѣмъ мужчиной за послѣдніе четыре года стали... Переросли Володю... А я немного прихворнула и потому не могла васъ видѣть вчера.

Она говорила развязно, характерной скороговоркой бойкой свѣтской дамы, почти не давая возможности подмѣтить уже начинавшуюся у нея одышку.

— Журить его надо!—сказалъ Владиміръ Сергѣевичъ, видя, что мѣшковатый пріятель сильно конфузится.—Собрался всего на два дня къ намъ. Очень ужъ хочется скорѣе кочегаромъ сдѣлаться.

— Кочегаромъ?—щурясь, переспросила Ольга Всеволодовна, усѣвшись за столъ и приглашая остальныхъ, движеніемъ руки, занять мѣста.

— Да, чѣмъ-то въ родѣ того на желѣзной дорогѣ,—пояснилъ сынъ.

— Опрòститься вздумали?—чуть-чуть иронически и презрительно спросила хозяйка.

— Нѣтъ, у насъ всѣ техники ѣздятъ лѣтомъ служить или на желѣзныя дороги, или на заводы для практическихъ занятій,—пояснилъ Тереховъ.

— А—а! а я ужъ думала, что это вы по принципу черноработимъ хотите сдѣлаться и въ душѣ пожалѣла вашихъ

родителей,—замѣтила хозяйка и со вздохомъ прибавила:— Ахъ, всѣ эти идеи нигилистовъ, толстовцевъ, народниковъ, опростѣлыхъ, вегетаріанцевъ положительно сбиваютъ съ толку и губятъ современную молодежь, производя у нея какой-то сумбуръ въ головѣ и дѣлая ее еще болѣе нервною.

По лицу Новикова пробѣжала неуловимая улыбка, и онъ тайкомъ отъ всѣхъ выпятилъ губы, точно посылая кому-то воздушный поцѣлуй. Его семнадцатилѣтняя кузина Катишъ, съ личикомъ невиннаго ребенка, зардѣлась до корней волосъ и потупила смиренно большіе, голубые, довѣрчиво смотрящіе, глаза.

Длинная и желтая, какъ лимонъ, Евгенія Васильевна Зыкова выказывала усердіе гувернантки, вполголоса ворча на дѣвочекъ:

— Какъ вы сидите? Опять локти на столѣ. Выпрямитесь!

Тереховъ, отвѣчая Новиковой, высказалъ свое мнѣніе:

— Мнѣ кажется, молодежь болѣе всего губитъ безыдейность: какими-нибудь идеями увлекается теперь только очень незначительная горсть молодежи.

— О, если бы это было такъ въ дѣйствительности!—со вздохомъ произнесла Новикова.—Тогда матери могли бы спокойно спать, не боясь, что ихъ юные сыновья вмѣсто наукъ станутъ заниматься политикой и вмѣсто интересовъ дѣйствительной жизни будутъ гоняться за призраками... Но нѣтъ, у насъ молодежь не умѣетъ быть молодою, не умѣетъ беззавѣтно отдаваться радостямъ юной жизни...

Владиміръ Сергѣевичъ и Катишъ спять незамѣтно обмѣнялись многозначительными взглядами: онъ съ торжествующимъ видомъ побѣдителя, она—съ блаженнымъ выраженіемъ счастливой рабыни.

Зыкова снова усердствовала:

— Не болтайте же ногами! Вы не уличныя дѣти.

Новикова продолжала:

— Кстати, Володя, ты не слыхалъ про сына несчастной madame Звѣздичъ?

— Нѣтъ, а что случилось?—спросилъ Новиковъ довольно безучастно.

— Поступаетъ въ монастырь!—театрально воскликнула мать.

Владиміръ Сергѣевичъ пожалъ презрительно плечами, небрежно рѣшивъ:

— Я всегда считалъ его поврежденнымъ!

— Я съ нимъ довольно близко знакомъ еще съ гим-

назіи,—вступился Тереховъ за Звѣздича.—У него это настоящее призваніе, сложившееся въ душѣ среди неурядицъ домашней жизни.

— Ахъ, что вы говорите. Какія неурядицы? Какое призваніе?—воскликнула Новикова немного строптиво.—Это все молодыя сумасбродныя фантазіи: одинъ идетъ въ народъ, другой все отрицаетъ, третій стрѣляется, четвертый поступаетъ въ монастырь. Молодость не умѣетъ, не хочетъ быть молодою и жизнь мститъ ей за это... Наконецъ, скажите, что было бы на свѣтѣ, если бы всѣ пошли въ монахи?

Тереховъ не могъ удержаться отъ улыбки.

— Ну, этого я ужъ никакъ не могу сказать, что было бы послѣ такого неожиданнаго казуса,—отвѣтилъ онъ съ грубоватой насмѣшливостью.—Я только могу повторить про Звѣздича, что онъ человѣкъ глубоко несчастный и страстно вѣрующій.

— Вѣрующій... вѣрующій! Да кто же изъ насъ не вѣруетъ? За кого вы насъ считаете? Но нельзя же всѣмъ весь вѣкъ только и дѣлать, что молиться, бить лбомъ гдѣ-нибудь въ монастыряхъ,—уже нѣсколько раздражаясь и теряя самообладаніе, возразила Новикова.—А что вы говорите о какихъ-то невѣдомыхъ несчастіяхъ этого сумасброда, такъ я, право, не знаю, въ чемъ они заключаются: ихъ домъ—чаша полная, птичьяго молока развѣ только недостаетъ; ему, этому идіоту, давалась полная воля во всемъ еще мальчишкой...

— Какъ, вы находите, что онъ не несчастливъ? Да вѣдь его отецъ за взятки и казнокрадство былъ удаленъ со службы, опозорилъ фамилію! Я встрѣчаю одного очень почтеннаго и уважаемаго старика-генерала, который такъ и рекомендуется всѣмъ: «Я Звѣздичъ, но не *тотъ*»... А его мать, которую вы сейчасъ называли несчастной...—началъ горячиться Тереховъ, повышая голосъ все сильнѣе и сильнѣе.

Ольга Всеволодовна поморщилась, какъ бы отъ физической боли, безцеремонно не дослушала гостя и обратилась къ старой, совершенно высохшей, гувернанткѣ:

— Вы, Евгенія Васильевна, еще не гуляли съ дѣвочками? Если нѣтъ, можете проѣхаться съ ними и съ мальчиками. Я сегодня никуда не намѣрена выѣзжать. Ахъ, эти нервы, нервы!—вздохнула она, обращаясь лицомъ къ Терехову и какъ бы объясняя ему этимъ заранѣе, что она опять начинаетъ расхварываться.

Всѣ поднялись изъ-за стола. Новиковъ и его кузина обмѣ-

нялись опять краснорѣчивыми взглядами и какъ-то совсѣмъ беззвучно, когда онъ проходилъ мимо нея, съ его губъ сорвался вопросъ:

— Да?

Молодая дѣвушка утвердительно кивнула головой.

Какъ только Владиміръ Сергѣевичъ остался наединѣ съ Тереховымъ въ своей комнатѣ, онъ засмѣялся.

— Милый мой медвѣдь, въ домѣ повѣшеннаго не говорятъ о веревкѣ: это—первое условіе благовоспитанности,— проговорилъ онъ, фамильярно трепля по плечу Ардальона Ардальоновича съ насмѣшливой улыбкой.—Выдумалъ тоже пересчитывать семейныя несчастія Звѣздича... и при комъ? при моей генеральшѣ! Да еще когда? сегодня, послѣ семейной драмы!

И, принявъ серьезное выраженіе лица, онъ добавилъ:

— Притомъ же я совершенно раздѣляю мнѣніе матери о томъ, что Звѣздичъ—идіотъ. Дрянцо были у него батюшка и матушка, и вотъ почему онъ рѣшился въ монастырь идти... Логика тоже! Они въ грязи выпачкались, а онъ отмываться хочетъ.

— Глупости говоришь!—оборвалъ его, вспыливъ, Тереховъ.—Не грѣхи отмаливать за нихъ или за себя пошелъ онъ, а просто пакостная жизнь привела его къ мысли о бѣгствѣ изъ грязнаго міра, какъ могла бы она довести и до мысли о самоубійствѣ... Или ты думаешь, что опростѣлыми буддистами отъ радости и счастья люди дѣлаются?.. Иной, конечно, беззаботно плюетъ, смотря на всякую мерзость жизни, и самъ понемногу прохвостится, другой же бѣжитъ искать гдѣ бы то ни было и въ чемъ бы то ни было путей спасенья для себя или для другихъ; а третій— руки накладываетъ на себя...

Владиміръ Сергѣевичъ, покачиваясь на качалкѣ около открытаго окна, заботливо и пристально чистилъ перочиннымъ ножичкомъ свои ногти, дуя на нихъ время отъ времени, и, разсѣянно качая головой, слушалъ Терехова.

— И какъ вы это будете жить съ такой привычкой вѣчно взвинчиваться?—съ усмѣшкой замѣтилъ онъ, наконецъ, сквозь зубы.

Въ эту минуту, мимо сада проѣхала какая-то деревенская, дребезжащая всѣми гайками, телѣжка, поднимая широкими колесами столбы бѣлой пыли по дорогѣ.

— Кто это? Къ намъ, кажется? Со станціи, должно-быть,—сказалъ Новиковъ, всматриваясь прищуренными гла-

зами изъ окна сквозь деревья на дорогу, и, сложивъ и спрятавъ перочинный ножичекъ, лѣнивой походкой пошелъ справиться о томъ, кто пріѣхалъ.

Тереховъ остался одинъ. Онъ прошелся въ раздумьѣ по комнатѣ, недовольный самимъ собою. Въ головѣ мелькали мысли о томъ, зачѣмъ онъ согласился по дорогѣ заѣхать къ Новиковымъ. Четыре года не видалъ онъ ихъ. Семнадцати лѣтъ онъ былъ, когда въ послѣдній разъ видѣлся съ Владиміромъ; а тому и шестнадцати тогда не было. Чуть не дѣти были они въ ту пору, дружили между собой, и не думалъ онъ, что этотъ домъ, который онъ посѣщалъ нерѣдко прежде и который на видъ казался такимъ приличнымъ,— на самомъ дѣлѣ такой же притонъ грязи, какъ и многіе другіе, приличные на видъ, дома. Завтра же надо уѣхать отсюда; дѣлать тутъ нечего. И самъ Владиміръ пошлякомъ сталъ. При отъѣздѣ, на станціи, какая-то барышня съ подкрашенными глазами провожала его и поцѣловались на глазахъ всѣхъ при отъѣздѣ поѣзда. А тутъ онъ перемигивался, во время завтрака, при всѣхъ съ этой дѣвушкой-ребенкомъ, поцѣлуи ей воздушные губами посылалъ. Чортъ знаетъ, что такое! Въ эту минуту вернулся Новиковъ.

— Вообрази, новый сюрпризъ!—проговорилъ онъ, и на этотъ разъ въ тонѣ его голоса послышались озабоченность и раздраженіе.—Сестра и Запольевъ изволили прислать къ матери, для переговоровъ, адвоката... Ловко сообразили: у Зины своя часть въ наслѣдствѣ, бабкой еще оставленная, притомъ очень значительная, и господинъ Запольевъ считаетъ, что любовь любовью, а деньги деньгами... Небось, за Катишъ не пріударилъ, даромъ, что она смазливѣе Зины и чуть не на двѣнадцать лѣтъ моложе... Это чортъ знаетъ какъ можетъ запутать наши дѣла... тѣмъ болѣе, что, благодаря господину Запольеву, наша семья состоитъ не изъ Зины и меня только, а изъ цѣлой полдюжины наслѣдниковъ...

Онъ заходилъ по комнатѣ, покусывая въ злой досадѣ вынутое изъ кармана тужурки перышко-зубочистку.

III.

Потолковавъ съ Тереховымъ, Владиміръ Сергѣевичъ спросилъ товарища, пойдетъ ли тотъ гулять до обѣда, и, какъ бы желая намекнуть, что было бы желательно, чтобъ онъ не шелъ никуда, поторопился тотчасъ же объявить, что жара стоитъ страшная. Тереховъ, понявъ, что хозяинъ дома хочетъ уйти, [вѣроятно, къ матери, у которой сидитъ адво-

катъ, и только стѣсняется оставить его одного,—сказалъ, что до обѣда онъ проваляется съ книгой. Жара, дѣйствительно, стояла томящая и не располагала къ ходьбѣ.

— А я улетучусь не надолго,—объявилъ Новиковъ.

— Пожалуйста, не стѣсняйся изъ-за меня,—проговорилъ Тереховъ.

Минутъ черезъ пять, со двора усадьбы выѣхала, плавно покачиваясь на мягкихъ рессорахъ, просторная коляска, увозя всѣхъ четверыхъ дѣтей и гувернантку, торчавшую между ними, какъ неподвижное пугало среди суетливыхъ и стрекочущихъ птенцовъ. Какъ только экипажъ скрылся за воротами, Новиковъ тотчасъ же ушелъ со своей половины. Въ домѣ водворилась полнѣйшая чуткая тишина знойнаго лѣтняго дня, когда въ сладкой дремѣ стихаетъ все въ природѣ. Но именно въ этой-то тишинѣ и можно было легко уловить начавшія долетать въ открытыя окна комнаты, занятой Тереховымъ, то какъ будто истерическія рыданія, то какія-то гнѣвныя восклицанія. Все это было слышно смутно, но все-таки слышно настолько, что можно было дать себѣ ясный отчетъ, что гдѣ-то кто-то то истерически плакалъ, то сердился. Тереховъ прислушался: гдѣ это происходитъ буря? Ужъ не генеральша ли дала опять волю своимъ нервамъ, не стѣсняясь даже присутствіемъ чужого человѣка? Звуки доносились изъ комнатъ верхняго этажа. Вдругъ Тереховъ совершенно отчетливо уловилъ выкрикиваемыя слова:

— Такъ и скажите, что ни за что, ни за что! она не дочь, а извергъ!

Это произносилось какъ разъ надъ его головою. Тереховъ сейчасъ же узналъ голосъ Ольги Всеволодовны.

Онъ не удержался и выглянулъ въ окно; окно надъ его комнатой было тоже открыто. Вѣроятно, именно тутъ и закончился разговоръ хозяйки дома съ адвокатомъ, такъ какъ послѣ этого все смолкло на нѣсколько минутъ, и потомъ раздались уже въ коридорѣ, рядомъ съ комнатой Терехова, мужскіе шаги и степенный, ровный голосъ старика Карпа, говорившаго кому-то:

— Молодой баринъ, Владиміръ Сергѣевичъ, вѣрно, гулять изволятъ; можете, сударь, здѣсь ихъ обождать. Кабинетъ ихъ тутъ. Долго они не могутъ пробыть, къ обѣду будутъ, а до отхода вечерняго поѣзда вамъ еще много времени осталось. Не извольте безпокоиться—не опоздаете!

Было слышно, какъ Карпъ впустилъ гостя въ кабинетъ Новикова и удалился своей характерной стариковской по-

ходкой съ легкимъ пришаркиваніемъ. Затѣмъ въ комнатѣ Владиміра Сергѣевича кто-то началъ ходить изъ угла въ уголъ, очевидно, нетерпѣливо поджидая возвращенія хозяина. Ждать пришлось довольно долго. Новиковъ вернулся только часа черезъ полтора послѣ своего ухода изъ дому. Начался вѣжливый, сухой разговоръ между хозяиномъ и гостемъ:

— Я васъ заставилъ ждать... Простите...

— Помилуйте, за что же! Мнѣ надо переговорить съ вами.

— Къ вашимъ услугамъ. Вы курите?

— Если позволите... Дѣло вотъ въ чемъ. Вы помогите мнѣ урезонить вашу матушку, а то выйдетъ непріятный для всѣхъ скандалъ.

Тереховъ закашлялся, желая предупредить сосѣдей, что у нихъ есть непрошенный слушатель. Послышался тихій вопросъ:

— Тамъ рядомъ кто-то есть посторонній?

Новиковъ отвѣтилъ громко:

— Не стѣсняйтесь. Это мой пріятель,—онъ знаетъ все. Впрочемъ, теперь эта исторія вообще—un secret de polichinelle. Ее знаете даже вы, вовсе не знающій насъ самихъ.

Адвокатъ заговорилъ опять отчетливо и громко:

— Господинъ Запольевъ и ваша сестра не остановятся ни передъ чѣмъ и гласно поведутъ процессъ съ вашей матушкой; значитъ, лучше кончить дѣло миромъ, домашнимъ путемъ.

— Я не понимаю хорошо, о чемъ именно вы хлопочете... Возьмите другую папиросу: эта все гаснетъ.

— Благодарю... У Зинаиды Сергѣевны, видите ли, нѣтъ документовъ, нужныхъ для вѣнчанія. Я и пріѣхалъ именно за тѣмъ, чтобы получить ихъ отъ вашей матушки.

— А—а! значитъ она на положеніи безпаспортной?.. Ее еще не схватили, какъ бродяжку? Это было бы забавно.

— Конечно, нынче такія строгости насчетъ паспортовъ... Но это пустяки. Выдать документы принудятъ полицейскими мѣрами, узнавъ подробно, въ чемъ дѣло, если только дѣло не уладится къ обоюдному удовольствію. Этого именно и желаютъ мои довѣрители.

— У нихъ замѣчательно много снисходительности и деликатности. Вы, вѣроятно, уже выяснили эти трогательныя чувства вашихъ довѣрителей моей maman?.. Чего же вы теперь желаете отъ меня?

— Выяснить все это отъ себя вашей матушкѣ, такъ какъ я тутъ безсиленъ... совершенно безсиленъ... Я, признаюсь

откровенно, потерялъ всякое терпѣніе, говоря съ ней: истерики, проклятія, угрозы и ни капли логики.

— Сколько я знаю, ей не преподавали этого предмета...

— Вы шутите. Но это можетъ довести до бѣлаго каленія свѣжаго человѣка.

— Да, я вижу это: вы не остыли еще и теперь.

— Нѣтъ, будемъ говорить серьезно. Она же человѣкъ благовоспитанный, образованный, а не какая-нибудь Коробочка. Ей странно не понять своего положенія.

— Что-жъ, это нисколько не удивительно. Ее нагло обманули, вышутили. А въ ея положеніи выступать въ роли водевильной старухи особенно чувствительно и непріятно, ну, она и играетъ трагедію.

— Меня радуетъ, что вы смотрите на это дѣло съ юмористической точки зрѣнія.

— Не могу же я не отличить комедіи отъ драмы.

— Это служитъ мнѣ ручательствомъ, что вы поможете мнѣ.

— Постараюсь, хотя я самъ сердитъ на Зинаиду Сергѣевну. Я считалъ ее благовоспитаннѣе и даже умнѣе. Этотъ скандалъ былъ вовсе не нуженъ. О господинѣ Запольевѣ я не говорю: онъ былъ неизмѣнно прекрасенъ во всѣхъ роляхъ—и прежде, и теперь... Вы ѣдете вечеромъ? Значитъ, надо идти адвокатствовать за адвоката теперь же, до обѣда. Кстати, я васъ познакомлю съ моимъ другомъ, чтобы не оставлять васъ тутъ одного.

Новиковъ окликнулъ Ардальона Ардальоновича, спросивъ, не спитъ ли онъ и можно ли къ нему войти, и черезъ минуту, получивъ утвердительный отвѣтъ, ввелъ къ нему въ комнату довольно молодого, черненькаго, маленькаго ростомъ и худого, какъ щепка, господина съ семитическимъ типомъ лица, въ золотыхъ очкахъ на горбатомъ носу, сквозь стекла которыхъ смотрѣли рѣзкіе, проницательные, черные глазки съ воспаленными красными вѣками. Назвавъ гостей по именамъ, отчествамъ и фамиліямъ: «Ардальонъ Ардальоновичъ Тереховъ, Маркъ Абрамовичъ Щеголевъ»,—Владиміръ Сергѣевичъ вышелъ изъ комнаты.

— Вы слышали, что тутъ происходитъ?—спросилъ Щеголевъ, давъ волю своему волненію, и, не дожидаясь отвѣта, заволновался еще болѣе:—Вотъ взбалмошная-то женщина. Хуже Коробочки. И Владиміръ Сергѣевичъ еще шутитъ можетъ! Впрочемъ, съ такими бабами или нужно смѣяться надо всѣмъ, или можно сойти съ ума. Понять не можетъ, что ничего она не подѣлаетъ ни съ дочерью, ни съ Вади

момъ Петровичемъ: той, слава Богу, двадцать девять лѣтъ, можетъ располагать собою, а Вадимъ Петровичъ вполнѣ свободный человѣкъ. Старая дура грозитъ, бранится, проклинаетъ, а еще гордится тѣмъ, что принадлежитъ къ хорошему кругу общества.

— Ну, и они хороши!—сорвалось съ языка у Терехова.

— Что-жъ, они люди молодые, любятъ другъ друга, нельзя же для старухи своимъ счастіемъ жертвовать.

— Я не понимаю, какъ можно было жить столько лѣтъ на содержаніи у этой старухи, какъ можно было дѣвушкѣ безъ извращенной нравственности полюбить человѣка, жившаго на содержаніи,—вотъ что отвратительно и непонятно. А что старая развратница, потерявъ съ горя голову, рветъ и мечетъ на обманувшихъ ее негодяевъ, тутъ нѣтъ ничего страннаго.

Щеголевъ вдругъ надулся и, немного сопя отъ гнѣва, наставительно, тономъ оскорбленнаго человѣка, проговорилъ:

— Я очень близокъ съ Вадимомъ Петровичемъ; это достойный всякаго уваженія человѣкъ.

Тереховъ только молча усмѣхнулся безцеремонной улыбкой, взглянувъ прямо въ лицо своему собесѣднику. Разговаривать съ этимъ «близкимъ человѣкомъ» продажнаго мужчины—у Терехова не было никакой охоты. Умѣньемъ же переламывать себя, маскировать свои чувства и дѣлать любезныя улыбки претящимъ людямъ онъ никогда не обладалъ, не успѣвъ еще достаточно отшлифоваться въ «порядочномъ» обществѣ. Щеголевъ, смѣшно нахохлившись, сталъ ходить по комнатѣ, останавливаясь порою у окна и раздражительно барабаня по подоконнику своими длинными пальцами, костлявыми, какъ пальцы птичьей ноги.

IV.

Во второмъ этажѣ барскаго дома шла въ это время буря, и Владиміръ Сергѣевичъ, во время объясненій съ матерью, не разъ вспоминалъ слова Щеголева о томъ, что Ольга Всеволодовна можетъ довести человѣка до бѣлаго каленія.

Разъяснивъ кое-какъ матери, что она волей-неволей должна будетъ выдать нужныя бумаги дочери, что ей неудобно поднимать публичный скандалъ по поводу этого брака, который такъ или иначе состоится и безъ ея согласія, что всѣ ея угрозы дойти съ жалобой даже до митрополита просто нелѣпы, Владиміръ Сергѣевичъ вернулся въ свою комнату, красный, какъ вареный ракъ, совсѣмъ не въ духѣ, не имѣя

даже силъ скрывать это непривычное для него настроеніе. Онъ всегда дорожилъ болѣе всего своимъ душевнымъ спокойствіемъ, своимъ «физическимъ и духовнымъ здоровьемъ»,— какъ онъ выражался,—однимъ словомъ, всѣмъ тѣмъ, что давало возможность и жить, и держать себя, какъ слѣдуетъ порядочному человѣку. Объясненіе же съ матерью разстроило его нервы и вывело изъ себя. Ему, дѣйствительно, пришлось не только сильно поволноваться, но даже грубо и рѣзко высказать бранившей Вадима Петровича Ольгѣ Всеволодовнѣ, что она напрасно ругаетъ при немъ этого господина, что, конечно, ужъ если кто имѣетъ право ненавидѣть этого господина, такъ это именно онъ, Владиміръ Сергѣевичъ, отецъ котораго, умершій пять лѣтъ тому назадъ, къ несчастію, безъ духовнаго завѣщанія, оставилъ вовсе не такое большое состояніе, чтобы ему, настоящему наслѣднику своего отца, было пріятно дѣлиться съ кѣмъ бы то ни было этимъ состояніемъ. Съ Ольгой Всеволодовной опять сдѣлался истерическій припадокъ отъ этой грубой выходки, и опять она повторила, что нынче не дѣти, а изверги, изверги растутъ, что отъ него, отъ Владиміра, она не ожидала такой безсердечности, такой непорядочности; что еще вчера она называла несчастной madame Звѣздичъ, но что та въ сравненіи съ нею счастливица, такъ какъ ея сынъ не огорчилъ ее ни словомъ, уйдя въ монастырь.

Настроеніе хозяина не могло пріятно подѣйствовать и на Марка Абрамовича, который безъ того чувствовалъ себя не совсѣмъ хорошо въ присутствіи грубаго и неотесаннаго Терехова. Нисколько не стѣсняясь «близостью» Щеголева съ Запольевымъ, Владиміръ Сергѣевичъ отзывался, въ свою очередь, о послѣднемъ такъ, что за него, даже при большой дозѣ храбрости и безцеремонности, нельзя было вступиться. При такихъ условіяхъ, предобѣденное время и время обѣда, къ которому Ольга Всеволодовна, разумѣется, не вышла, протянулись мучительно долго, и за обѣденнымъ столомъ даже ясные и большіе голубые глаза Катишъ, смотрѣвшіе теперь нѣсколько томно, тщетно поднимались съ выраженіемъ какой-то мольбы, какъ глаза въ чемъ-то провинившагося ребенка, стараясь вызвать или уловить на лицѣ Владиміра Сергѣевича ласковую улыбку. Всѣ упорно молчали, и только дѣти шалили, какъ никогда, радуясь, что съ ними сегодня нѣтъ ни матери, ни гувернера. Евгенію Васильевну они ни въ грошъ не ставили, зная, что само по себѣ это пугало вовсе не опасно. Впрочемъ, въ отсутствіи

хозяйки дома, и она не давала себѣ труда выказывать, что ея наставническое усердіе вполнѣ соотвѣтствуетъ получаемому ею жалованью. Только въ семь часовъ, когда Маркъ Абрамовичъ Щеголевъ, цѣлымъ часомъ раньше чѣмъ слѣдовало, уѣхалъ на станцію къ поѣзду желѣзной дороги, Владиміръ Сергѣевичъ, бросившись въ качалку въ своей комнатѣ и разстегивая китель, громко передохнулъ.

— Уфъ! Вотъ денекъ-то выдался! Просто тошно стало!

Онъ закурилъ дорогую сигару и, прихлебывая изъ стакана, принесенное Илюшкой, красное вино, съ усмѣшкой проговорилъ:

— Сегодня я, кажется, даже вечерняго концерта соловьевъ съ Катишъ не въ состояніи буду слушать! Хорошо еще хоть днемъ урвали часокъ свиданія...

Тереховъ не удержался и спросилъ отрывисто:

— Что ты влюбленъ въ нее?

— Да, играемъ въ любовь,—недаромъ же молоды,—отвѣтилъ Владиміръ Сергѣевичъ.—Пикантная она дѣвочка. Глаза просто говорятъ. Одалиска въ ней таится въ зародышѣ.

— Женишься, когда кончишь курсъ?—спросилъ Тереховъ.

— Фью!—какъ-то неопредѣленно свистнулъ Новиковъ.

И, вздохнувъ, заговорилъ наставительнымъ тономъ:

— Для женитьбы, братъ, прежде всего нужны деньги, потомъ опять тѣ же деньги, а затѣмъ еще деньги и деньги. Плодить нищихъ или прибѣгать къ какимъ-нибудь мѣрамъ противъ этого распложенія голодныхъ ртовъ и гнусно, и подло. У Катишъ же, по части капиталовъ, одна прелесть и больше ничего. Недаромъ же она и живетъ у насъ, какъ родственница, хотя трудно сказать, въ какомъ колѣнѣ мы родня. У меня же лично останется теперь ровно столько, чтобы жить, не нуждаясь, одному. Отказывать себѣ я ни въ чемъ не привыкъ и привыкать не стану. Глупо присуждать себя добровольно на вѣчную каторгу въ наказаніе только за то, что тебя кто-то, безъ спросу о твоемъ желаніи, произвелъ на свѣтъ божій. Я и не сдѣлаю никогда этой глупости. Будутъ средства жить, не нуждаясь,—буду жить; не станетъ ихъ,—себя прикончить легко.

— Ты говоришь о себѣ, точно о бѣшеной собакѣ,— хмуро вставилъ Тереховъ.

Новиковъ засмѣялся.

— Къ выраженію придираешься! Ну, если хочешь, можно избрать слогъ возвышеннѣе: «умереть—уснуть такъ легко», или...

Тереховъ совсѣмъ обозлился и оборвалъ его:

— Чортъ васъ знаетъ, сластоѣжекъ, какъ вы живете! Ничего близкаго, ничего дорогого: ни людей, ни занятій, ни идей. Можете ѣсть сладкій кусокъ—значитъ и жить можно; нѣтъ сладкаго куска—смертью бѣшеной собаки кончаете жизнь. Хоть бы какая-нибудь святыня была въ душѣ. Богъ, отечество, народъ, родная семья, плодотворный трудъ... Ну, да вотъ хоть бы эта дѣвушка съ дѣтски-ясными голубыми глазами, хоть бы ея юная душа, можетъ-быть, уже жаждущая отвѣта другой родственной души...

— Что-жъ, я и отвѣчаю ей,—засмѣялся Новиковъ, прихлебывая вино.

— Развращаешь ты ее—вотъ что ты дѣлаешь съ ней!—рѣзко произнесъ Ардальонъ Ардальоновичъ.

— Какія жестокія слова у васъ, у людей, пускающихъ мыльные пузыри и фейерверочныя шутихи всякихъ святынь... Тутъ flirt—и больше ничего... не объ ученыхъ же предметахъ разсуждать молодому человѣку съ молодой дѣвушкой, когда тутъ стоитъ весна, поютъ соловьи... Для развратa,—какъ ты называешь всякія неизбѣжныя сближенія съ женщинами,—есть разныя Матильды и Альфонсины... Ты вотъ видѣлъ на петербургской станціи мою евреечку, что̀ меня провожала, ну, вотъ съ той соловьевъ я не стану слушать... А тутъ поэзія платонической любви, flirt...

— Я въ Америкѣ не бывалъ, не знаю, чѣмъ тамъ выражается этотъ flirt,—сухо и грубо началъ Тереховъ и, постепенно одушевляясь, продолжалъ все горячѣе и горячѣе:—А вашу братью, всѣхъ этихъ пошляковъ, начиная съ какихъ-нибудь излѣнившихся бородатыхъ гимназистовъ и кончая какими-нибудь гарнизонными бѣдняками, всѣхъ двуногихъ самцовъ, играющихъ съ глупенькими барышнями въ любовь, я еще въ провинціи видѣлъ и хорошо знаю. До поступленія въ вашу школу, эти глупенькія гимназисточки и институточки готовы обожать даже школьнаго старика-швейцара, а, по выходѣ изъ нея, это—Семеновы... это тѣ несчастныя психопатки, которыя стрѣляются сами и, какъ собакъ, убиваютъ вашу братью, попадая на скамью подсудимыхъ; это тѣ невмѣняемыя созданія, которыя развратны психически, развращены воображеніемъ до мозга костей, еще задолго до того времени, когда онѣ развратятся и физически...

Владиміръ Сергѣевичъ смотрѣлъ на него съ едва замѣтной иронической усмѣшкой, не прерывая его горячей рѣчи.

— И опять я повторю,—началъ онъ медленно, когда Те-

реховъ кончилъ:—какъ это ты жить будешь, постоянно взвинчивая себя такимъ образомъ?

— Среди васъ... съ вами? Да, такъ невозможно будетъ жить!—воскликнулъ почти съ ужасомъ Тереховъ и тутъ же прибавилъ:—Но есть же другіе люди, другія отношенія!

Онъ разомъ почувствовалъ, что у него уже нѣтъ рѣшительно ничего общаго съ этими людьми, съ этимъ человѣкомъ. Онъ почувствовалъ, что они не просто чужды другъ другу, но что этотъ человѣкъ противенъ, ненавистенъ ему. Если они встрѣтятся на житейскомъ поприщѣ, онъ со злобой, съ ненавистью столкнетъ его съ дороги. Когда у него подрастутъ сестры, когда будутъ дочери, онъ прежде всего предостережетъ ихъ противъ этихъ людей, отстранитъ отъ этихъ пакостниковъ... И вдругъ въ его головѣ промелькнула мысль: что же ждетъ тѣхъ, которыя не только не столкнутъ съ своей дороги этого человѣка, а волей-неволей возьмутъ его въ свои руководители, разовьются подъ его вліяніемъ? Что ждетъ его младшихъ сестеръ, братьевъ, Катишъ? О, если бы нашелся человѣкъ, который открылъ бы ей глаза на разверстую передъ нею пропасть и спасъ ее! Была минута, когда въ его головѣ мелькнула мысль: не остаться ли здѣсь еще на день, на два, не раскрыть ли глаза этой дѣвушкѣ, не разсказать ли ей все? Да, какъ же! такъ вотъ и повѣритъ она. Назоветъ клеветникомъ, доносчикомъ...

Онъ внезапно очнулся отъ довольно шумнаго движенія качалки. Это всталъ Владиміръ Сергѣевичъ и потянулся, выпячивая грудь и расправляя руки.

— А ночь-то, ночь-то какая!—проговорилъ онъ.—И темна, и прозрачна, и милліонами глазъ смотритъ... Воздухъ точно замеръ, листъ не шелохнется... Хорошо!..

Онъ взялся за фуражку.

— Ты уходишь?—спросилъ глухо Тереховъ.

— Слышишь: соловей!—отвѣтилъ Владиміръ Сергѣевичъ, улыбаясь своей иронической улыбкой.

У Терехова едва не сорвалось съ языка слово: «подлецъ». Но онъ удержался и совсѣмъ сухо сказалъ:

— Прощай.. Больше не увидимся. Я съ первымъ поѣздомъ уѣзжаю....

Онъ быстро повернулся и ушелъ въ отведенную ему комнату, даже не пожавъ руки хозяину...

А соловей такъ и заливался въ саду, въ невозмутимой тишинѣ прозрачной теплой ночи.

ЛѢСЪ ДРЕМУЧІЙ.

ПОВѢСТЬ.

I.

— Ну, ужъ и пуделялъ же ты вчера и сегодня, Александа! Что ни выстрѣлъ, то промахъ!—говорилъ веселымъ, слегка насмѣшливымъ голосомъ коренастый и здоровый господинъ лѣтъ сорока пяти, стоя въ просторномъ охотничьемъ нарядѣ со сдвинутой на затылокъ шапкой въ деревенскихъ саняхъ, подъѣхавшихъ къ надворному крыльцу большого господскаго дома, и помогая старому охотнику-слугѣ выгружать изъ нихъ охотничьи принадлежности, погребцы и трофеи охоты.

— Да, нечего сказать, отличился нонича у насъ Александра Ивановичъ,—подтвердилъ старикъ-слуга съ тою фамильярностью, съ какою онъ вообще привыкъ обращаться на охотѣ со своими господами.—Ужъ на что нашъ Трезоръ, песъ простой, а и тотъ съ досады облаялъ Александра Ивановича.

Краснощекій баринъ прыснулъ отъ смѣха, вспомнивъ, какъ одинъ изъ ихъ охотничьихъ псовъ, дѣйствительно, сталъ досадливо лаять, видя, что послѣ выстрѣловъ злополучнаго охотника нѣтъ ровно никакой добычи. Самъ виновникъ этихъ шутокъ—молодой и красивый бѣлокурый юноша лѣтъ двадцати двухъ, хлопотавшій тутъ же у саней, доставая вещи, молчалъ, стискивая отъ досады бѣлые зубы, и только краснѣлъ, какъ вареный ракъ, за свои промахи на охотѣ. Съ нимъ это было въ первый разъ въ жизни, а охотиться его пріучили чуть не съ дѣтства.

— Во всемъ Зинаида Николаевна виновата!—раздался добродушно-ворчливый басовитый голосъ съ крыльца барскаго дома, около котораго стояли разгружаемыя сани.

— Зинаида-то Николаевна при чемъ тутъ, дядя Дроня?—отозвался молодой человѣкъ, обернувшись къ присѣвшему на ступени крыльца среди собакъ и слѣдившему, какъ вы-

гружаютъ вещи, серьезному, немного хмурому или, вѣрнѣе сказать, по привычкѣ хмурившемуся худощавому, сѣдобородому старику.

— Да какъ же, пріѣхала третьяго дня изъ своего поганаго Питера, гдѣ охотиться развѣ только на воробьевъ да на лягушекъ можно,—отвѣтилъ старикъ:—и давай толковать, что охота жестокая забава, что это варварство—убивать невинныя созданія... Ну, какъ же тутъ не дрожать рукамъ у какого-нибудь мальчишки, цѣлясь въ эти самыя невинныя созданія! Охъ, ужъ эти жалостливыя да чувствительныя петербургскія барышни!

— А вотъ мы, братъ, посмотримъ, будетъ ли она завтра нашу дичь ѣсть,—засмѣялся краснощекій весельчакъ.

— Съ чего же ей не ѣсть? Третьяго дня ѣла же цыплятъ, а они не грѣшнѣе дичи, такія же невинныя созданія,—отвѣтилъ ворчливый старикъ, поднимаясь со ступеней крыльца.—И шляпки съ разными перышками носитъ, не разбирая, что и перышки-то эти отъ невинныхъ созданій... Въ ихъ гниломъ Питерѣ-то люди колоть да рѣзать полудохлаго цыпленка сами, пожалуй, не станутъ, а сожрать весь птичникъ сожрутъ. На это они первые мастера...

Юноша воспользовался случаемъ, что вниманіе отъ его промаховъ отвлечено, и добродушно пошутилъ надъ старикомъ:

— Дядя Дроня сѣлъ на своего конька и теперь начнетъ бичевать Петербургъ!

— Шути-шути, щенокъ, сошлю вотъ когда-нибудь туда, тогда и узнаешь, что Сибирь значитъ!—шутливо погрозилъ старикъ, вставая съ крыльца.

— Ну, я-то туда не ѣздокъ, мнѣ и здѣсь хорошо,—весело сказалъ юноша:—какъ рыбѣ въ водѣ.

— Да и въ Сибирь-то ѣдутъ люди не по доброй волѣ,—замѣтилъ старикъ.

И, приласкавъ собакъ, потрепавъ по шеямъ лошадей, онъ сталъ дѣловито отдавать хозяйственныя распоряженія слугѣ-охотнику, пожилому кучеру и вертѣвшемуся тутъ же мальчишкѣ-лакею... И постройки, окружавшія господскій дворъ, и просторныя сани, покрытыя коврами, и животныя, и люди, все здѣсь говорило о томъ, что эта усадьба—чаша полная, что все здѣсь прочно и толково прилажено, что всѣ здѣсь сыты по горло и не забиты ни страхомъ, ни трудомъ.

— А на саняхъ ужъ теперь, видно, шабашъ ѣздить!—

проговорилъ старый охотникъ-слуга, обращаясь къ кучеру, когда ушли господа.

— Да, ужъ и то не знаю я, какъ мы нонича вытянули,—отозвался кучеръ, выпрягая лошадей.—Вчера еще снѣгъ почитай-что вездѣ былъ, а сегодня—въ грязи потонешь....

— Извѣстно, весна... чуть гдѣ пригорокъ—снѣгъ, глядишь, и сбѣжалъ...

— И благодать тоже это на солнцѣ... вотъ поди, кой часъ, а все еще грѣетъ...

Они еще довольно долго возились на дворѣ, перекидываясь разными замѣчаніями и неторопливо, съ прохладцей, степенно дѣлая свое дѣло, зная, что никто на нихъ не нукнетъ, не крикнетъ.

Въ барской усадьбѣ господъ Рыкачовыхъ и все такъ дѣлалось: всѣ знали, что дѣло не волкъ, въ лѣсъ не убѣжитъ, что надъ ними не каплетъ, что нигдѣ не горитъ, чтобы спѣшить. Тише ѣдешь—дальше будешь, а поспѣшишь—людей насмѣшишь.

— Это только въ Питерѣ всѣ, высуня языкъ, бѣгаютъ да рѣшетомъ воду до поту въ лицѣ спѣшатъ вычерпать!— говаривалъ ворчливо самъ сѣдобородый дядя Дроня, то-есть Андрей Петровичъ Рыкачовъ, заклятый врагъ Петербурга и образцовый сельскій хозяинъ. А имъ-то и велось почти все въ этой усадьбѣ.

II.

Господъ въ рыкачовской усадьбѣ проживало обыкновенно не много, всего пятеро: вдова генерала Евлампія Григорьевна Рыкачова, старушка лѣтъ семидесяти, ея сорокатрехлѣтняя дочь-дѣвица Августа Петровна, два сына-холостяка, пятидесятилѣтній Андрей Петровичъ и сорока пятилѣтній Василій Петровичъ, да еще двадцати-двухлѣтній Александръ Ивановичъ Богдановъ, звавшій старуху бабушкою, ея дочь теткою, а сыновей дядями, но приходившійся имъ такою же роднею, какъ и первому встрѣчному на улицѣ; его далъ Рыкачовымъ Богъ, то-есть нашелъ его гдѣ-то на проѣзжей дорогѣ дядя Дроня, принесъ домой, окрестили его, дали ему фамилію Богданова, то-есть Богомъ даннаго, и выросъ онъ у нихъ, на лѣсъ глядя...

А лѣсу въ ихъ сторонѣ было не занимать стать. Господа имъ дорожили. Не даромъ же люди и прозвали въ шутку

самихъ немного нелюдимыхъ Рыкачовыхъ «лѣсными обитателями», а хуторъ ихъ «медвѣжьей берлогой».

Клички оказались удачными, такъ какъ усадьба дѣйствительно стояла почти въ лѣсу, а Рыкачовы жили какъ-то сами по себѣ, особнякомъ, сторонясь по возможности отъ людей. Давно ли усадьба Рыкачовыхъ превратилась въ медвѣжью берлогу и давно ли Рыкачовы стали лѣсными обитателями—сказать трудно. Но уже съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ за ранами въ отставку старый боевой генералъ Петръ Степановичъ Рыкачовъ и поселился въ своемъ имѣніи,—бывшіе здѣсь садъ и паркъ понемногу стали превращаться въ настоящій лѣсъ, такъ какъ цвѣтовъ здѣсь не садили, дорожекъ почти не чистили и клумбъ не разбивали. Больному и старому инвалиду, ворчливо относившемуся къ своему невольному бездѣйствію, энергичному по натурѣ, было не до цвѣтовъ, не до затѣйливыхъ клумбъ и дорожекъ. Ему нужно было вести хозяйство, порядочно запущенное имъ ранѣе, во время походной и боевой жизни, и дать хорошее образованіе своимъ сорванцамъ и головорѣзамъ, какъ онъ съ ласкою въ голосѣ называлъ своихъ любимыхъ сыновей, хвалясь тѣмъ, что они пошли въ рыкачовскую породу—сильныхъ, здоровыхъ, съ самостоятельными характерами. О дѣвчонкѣ, то-есть о дочери, онъ не особенно заботился, хотя и любилъ ее: «изъ нихъ тамъ въ институтахъ лѣпятъ барышень на одну колодку». Съ сорванцами же и головорѣзами возни предстояло не мало, такъ какъ они не только кряжистостью и силой пошли въ рыкачовскій родъ, но унаслѣдовали и рыкачовскія упрямство и настойчивость. Отцу пришлось, стуча костылемъ, грызться зубъ-за-зубъ съ сыномъ Николашкой и съ сыномъ Васькой, когда они объявили, что одинъ изъ нихъ пойдетъ во флотъ, а другой въ доктора.

— Акуламъ жрать, что ли, нечего стало, что ты хочешь идти имъ на съѣденье!—добродушно бушевалъ сѣдой, остриженный подъ гребенку генералъ.—Всѣ Рыкачовы бравые кавалеристы были, а ты морской крысой хочешь быть, селедкой воевать хочешь?..

Но Николашка отстаивалъ свое желаніе посмотрѣть на весь Божій міръ, открыть невѣдомыя земли, и поступилъ во флотъ. Васька поразилъ отца еще болѣе своимъ желаніемъ.

— Да какой порядочный человѣкъ тебѣ руку протянетъ послѣ того, какъ твои пальцы чортъ знаетъ въ какой дряни

копаться будутъ!—кричалъ генералъ, грозно стуча костылемъ.

— А ты, небось, въ полку лазилъ пальцами въ дула солдатскихъ ружей, чтобы узнать, нѣтъ ли тамъ копоти?—возражалъ шустрый Васька.—Ну, вотъ и я буду думать, что передо мной солдатскія ружья!

— Тьфу, дуракъ!—могъ только выговорить генералъ, бывшій когда-то отличнымъ рубакой и умѣвшій очень плохо аргументировать.

Пошелъ по желанію отца въ кавалеристы только сынъ Дроня. Но какъ только началась эмансипація крестьянъ, онъ тотчасъ же снялъ военный мундиръ и явился въ деревню въ качествѣ дѣятельнаго мирового посредника. Старый генералъ, впрочемъ, не дожилъ до этого скандала и не видалъ своего сына въ одеждѣ «штафирки» и «рябчика», какъ онъ презрительно называлъ статскихъ... Вообще отъ многихъ пріятныхъ и непріятныхъ неожиданностей избавила генерала смерть. Онъ не видалъ когда-то лихого и безпечнаго кавалериста Дроню не только штафиркой, но и сумрачнымъ, брюзжащимъ на Петербургъ человѣкомъ, затаившимъ въ сердце какое-то скрытое отъ всѣхъ горе. Не видалъ онъ весельчака и балагура Ваську вернувшимся на родину съ страннымъ зарокомъ никогда болѣе не заниматься когда-то такъ увлекавшей его медициной. Не видалъ онъ и скорбнаго извѣстія въ траурной каймѣ въ газетахъ, сообщавшаго, что его Николка, до тошноты и омерзѣнія насмотрѣвшись на Божій міръ, но не открывъ еще никакихъ невѣдомыхъ земель, былъ схороненъ гдѣ-то далеко-далеко отъ родины среди безбрежнаго океана... Онъ видѣлъ только, какъ его дѣти, для которыхъ онъ занимался хозяйствомъ и ради заботъ о которыхъ онъ мало-по-малу замкнулся почти отъ всѣхъ людей въ своей медвѣжьей берлогѣ, стали на дорогу, не измѣнивъ ни въ чемъ рыкачовскому роду, сильные, здоровые, дѣятельные и честные...

Когда вернулся домой Андрей Рыкачовъ и сталъ разспрашивать мать, кто у нихъ сосѣди, кто чаще всего бываетъ, мать отвѣтила:

— Мы здѣсь, Дроня, въ нашемъ лѣсу, какъ на необитаемомъ островѣ!.. Самъ знаешь, не любилъ мой покойничекъ Петръ Степановичъ въ кабакъ свой домъ превращать, да и къ другимъ на попойки не ѣздилъ,—ну, люди и поотстали...

— Что-жъ, оно и хорошо... для меня, по крайней мѣрѣ,

послѣ проклятой сутолоки Петербурга,—сказалъ онъ, хмуря большой лобъ.

И онъ, дѣлая усердно свое дѣло, всѣми силами началъ стараться, чтобы ихъ домъ не сдѣлался похожимъ на петербургскіе гостиныя и салоны.

Вернувшійся почти слѣдомъ за нимъ изъ Петербурга Василій вполнѣ сочувствовалъ желаніямъ брата и шутливо говорилъ:

— Тутъ такая благодатная трущоба, что даже и неупраздненный докторъ можетъ жить спокойно, не боясь уморить какого-нибудь честнаго труженика или вылѣчить по правиламъ науки какого-нибудь людоѣда.

— Ну, этого ты не говори!—замѣтилъ Андрей.—Густя вотъ только и дѣлаетъ здѣсь, что кого-то исцѣляетъ.

— Ты тоже докторъ?—съ комическимъ испугомъ воскликнулъ Василій.

— Не бойся ея. У нея лѣкарства все больше собственнаго изобрѣтенія: чай съ сахаромъ, какіе-то чистые свивальники да теплые набрюшники,—пояснилъ Андрей.

— Я, братецъ, чѣмъ могу, тѣмъ и помогаю!—конфузливо оправдывалась Августа Петровна, маленькая и старообразная дѣвушка съ ясными, какъ у ребенка, сѣрыми глазами и жиденькими, тоже какъ у малаго ребенка, свѣтлыми, уже слегка тронутыми преждевременной сѣдиной, волосами.

— Такъ ты, значитъ, не докторъ, а гигіеннстъ!—рѣшилъ Василій, смѣясь.

— Да полноте вы мою Густю вышучивать,—немного тревожно вступилась за свою любимицу-дочь старуха Рыкачова.—Просто добрый она у меня человѣкъ, вотъ и все...

Братъ Андрей нахмурилъ лобъ и, когда сестра и мать вышли, сказалъ Василію:

— Мать забыла прибавить, что Густя не просто добрый, а и глубоко несчастный человѣкъ!.. Какъ еще съ ума не сошла!.. Только характеръ и спасъ... рыкачовская натура...

— Да кто же изъ насъ счастливъ?—спросилъ Василій.—Это только моя натура такая подлая, что я и тогда гаерничаю, когда кошки рвутъ сердце на части.

III.

— Густя, Густя, Богъ мальчика намъ далъ! — кричалъ однажды Андрей Петровичъ, появившись съ какой-то ношей на балконъ.

— Какого мальчика? — спросила Августа Петровна, недоумѣвая.

— А вотъ взгляни, такъ увидишь! — отвѣтилъ Андрей Петровичъ и сложилъ свою ношу на балконный диванъ.

Ноша тотчасъ же подняла неистовый крикъ.

— Ахъ, Боже мой, да онъ умретъ съ голода! — вскричала Августа Петровна, бросаясь къ ребенку.—Вася, Вася,— крикнула она по направленію въ залъ:—иди сюда, взгляни и скажи, чѣмъ можно его кормить.

Василій Петровичъ всталъ изъ-за фортепіано, вышелъ изъ залы на балконъ и взглянулъ на ребенка.

— Мамку надо найти... Совсѣмъ недавно родился! — рѣшилъ онъ, осмотрѣвъ дитя.

Бросились въ село искать мамку, и уже къ вечеру Августа Петровна успокоилась, что несчастной мальчикъ не умретъ съ голоду.

Этотъ мальчикъ и былъ Александръ Ивановичъ Богдановъ.

— Жертва какого-нибудь петербургскаго негодяя!—говорилъ про найденнаго ребенка Андрей Петровичъ, когда въ домѣ всѣ поуспокоились.

— Ужъ непремѣнно и петербургскаго! — возразилъ Василій Петровичъ.

— Ну да, если не настоящаго петербуржца, то побывавшаго въ Питерѣ, хлебнувшаго цивилизаціи трактировъ, ресторановъ, фабрикъ, кафе-кабаковъ, театровъ,—загорячился Андрей Петровичъ.

— Театры-то зачѣмъ приплетаешь? Брось! Ихъ насаждать надо, а не изгонять...

— Театры-то? — загорячился еще болѣе Андрей. — Театры-то? Съ пьесами подлаго, растлѣвающаго направленія, съ сладострастными балетами, съ слащавыми итальянскими операми, убаюкивающими человѣка, съ притягательною силою безсмысленныхъ эффектныхъ зрѣлищъ...

Василій замахалъ рукою:

— Довольно! довольно!

И тотчасъ же сообразилъ:

— Да, да, я вѣдь и забылъ, что, обжегшись на молокѣ, люди дуютъ и на воду!

— Ну, что же, я обжегся, обжегся и потому знаю, чѣмъ пахнетъ вся эта ваша цивилизація съ такими образовательными средствами, какъ театръ, гдѣ ложно все, начиная съ нашпукатуренныхъ актерскихъ лицъ и кончая моралью пьесъ, гдѣ наказывается порокъ и торжествуетъ добродѣтель...

Когда Андрей Петровичъ начиналъ говорить о Петербургѣ, о городской цивилизаціи, о городской жизни съ ея трактир-

рами, поющими кабаками, публично и безнаказанно истязующими дѣтей цирками, безцеремонно развращающими балетами и отупляющими до идіотизма феєріями, его трудно было остановить.

— У тебя есть зубъ противъ Петербурга и всего петербургскаго! — шутилъ Василій Петровичъ, смутно знавшій, что въ Петербургѣ у брата Андрея былъ какой-то несчастный романъ съ одной артисткой и что онъ потомъ попалъ въ кутящую компанію свѣтскихъ шуллеровъ и едва спасся, во-время остановившись на томъ мѣстѣ, далѣе котораго начинаются долги, векселя, проматыванія родовыхъ имѣній, а иногда и потеря чести на скамьѣ подсудимыхъ.

Когда рѣчь Василія касалась этого «зуба противъ Петербурга», Андрей Петровичъ хмуро замѣчалъ:

— А у тебя нѣтъ зуба противъ медицины?

И этимъ коротко оканчивались споры.

Конечно, при такомъ отношеніи къ Петербургу, оба брата рѣшились воспитывать общаго любимца всей семьи, Александра Ивановича, дома. Это нужно было и для того, чтобы дать лишнее занятіе Августѣ Петровнѣ, не довольствовавшейся помощью разнымъ бабамъ и дѣтямъ въ деревнѣ и занятіями въ сельской школѣ. Такимъ образомъ юноша росъ дома и получилъ настолько порядочное образованіе, что могъ легко сдать въ концѣ концовъ офиціальные экзамены реальнаго училища и кромѣ того хорошо зналъ сельское хозяйство. Застѣнчивый и скромный, краснѣвшій, какъ дѣвушка, при малѣйшей неловкости или шуткѣ, этотъ замѣчательно развившійся физически красавецъ производилъ съ перваго взгляда на него впечатлѣніе не совсѣмъ выгодное для себя. Про него часто говорили за глаза сосѣди:

— Что это за недоросля готовятъ изъ Александра Ивановича Рыкачовы? Институтку какую-то краснощекую изъ него сдѣлали? Какъ это они еще позволяютъ ему безъ мамки и няньки верхомъ ѣздить и охотиться?

А между тѣмъ Александръ Ивановичъ былъ отличный наѣздникъ, хорошій охотникъ, ловкій пловецъ, прекрасно игралъ на фортепіано и едва ли уступилъ бы кому-нибудь изъ дѣтей сосѣднихъ помѣщиковъ въ области всякихъ научныхъ познаній. У него не было только той бойкости и развязности, которая развивается въ городскомъ юношествѣ, готовомъ съ плеча судить и рядить обо всемъ, начиная съ высшей астрономіи и кончая тончайшей гастрономіей. Сами

Рыкачовы были имъ очень довольны и съ надеждой смотрѣли на его будущее, часто задумываясь, какъ удобнѣе сдѣлать его своимъ единственнымъ наслѣдникомъ. Послѣдняя мысль начала все сильнѣе и сильнѣе озабочивать ихъ особенно съ той поры, когда все чаще и чаще стали получаться письма изъ Петербурга отъ вдовы ихъ брата Николая. Она хлопотала о томъ, чтобы Рыкачовы на лѣто пріютили ея «дѣвочку» въ своемъ имѣніи, такъ какъ дѣвочка, то-есть ея двадцатичетырехлѣтняя дочь, истомилась на проклятой службѣ, и ей нужно провести, по крайней мѣрѣ, пять-шесть мѣсяцевъ на отдыхѣ...

— Ахъ, ужъ этотъ Петербургъ проклятый, — ворчалъ Андрей Петровичъ, читая эти письма.—Живешь тутъ спокойно въ своемъ дремучемъ лѣсу, никого не трогая, такъ нѣтъ, онъ самъ сюда лѣзетъ: «я, молъ, отдохнуть хочу, а вы обо мнѣ заботьтесь!» Слава Богу, ужъ и такъ заботимся! Кто же и кормитъ его, если не мы...

— Ахъ, Дроня, надо же пожалѣть Зинушу!—вступилась Августа Петровна за племянницу, которую видѣла только тогда, когда та была груднымъ младенцемъ.—Дѣвушка молодая, а приходится сидѣть весь вѣкъ въ какомъ-то желѣзнодорожномъ правленіи и вертѣться въ бѣличьемъ колесѣ безплодной ремесленной работы... Я, со своей стороны, этого просто совсѣмъ не вынесла бы...

— Да я же и жалѣю ее,—отрывисто и хмуро объяснилъ Андрей Петровичъ. — Денегъ, если надо, вышлю ей на дачу... у нихъ тамъ въ Питерѣ Черныя рѣчки какія-то есть... пусть отдыхаетъ тамъ... Только бы насъ оставила въ покоѣ...

Однако, желаніе его не исполнилось...

И вотъ въ одинъ прекрасный день Петербургъ, въ лицѣ блѣднолицей, черноокой и чернобровой Зинаиды Николаевны Рыкачовой, пріѣхалъ въ медвѣжью берлогу. Евлампія Григорьевна всплакнула, впервые увидавъ свою уже взрослую внучку и невольно вспомнивъ о своемъ рано погибшемъ сынѣ. Августа Петровна тоже тихонько заплакала, увидавъ, какъ похудѣла и поблѣднѣла отъ работы Зинуша, которую она не могла представить въ своемъ воображеніи иначе, какъ прежнимъ пухленькимъ крошечнымъ существомъ, какимъ была Зина двадцать три года тому назадъ. Андрей Петровичъ нахмурился болѣе обыкновеннаго и сразу всталъ въ холодныя отношенія къ «Зинаидѣ Николаевнѣ», ворча себѣ подъ носъ, что это не то цыганка, не то жидовка.

Александръ Ивановичъ раскраснѣлся, болѣе чѣмъ слѣдовало, отъ смущенія при видѣ пріѣхавшей къ нимъ гостить красавицы-барышни и, раза два сказавъ ей въ забывчивости: «у насъ, братъ, не то въ деревнѣ», рѣшилъ, что онъ вовсе не умѣетъ говорить ни съ кѣмъ, кромѣ мужиковъ. Одинъ Василій Петровичъ шутилъ попрежнему и, кажется, не придавалъ никакого значенія этому пріѣзду племянницы.

— Поживетъ и уѣдетъ, вотъ и все, — разсуждалъ онъ, пожимая плечами въ отвѣтъ на тревоги другихъ.

IV.

— Ахъ, наконецъ-то вы вернулись! — воскликнула сидящая передъ роялемъ молодая дѣвушка цыганскаго типа, увидавъ входящаго въ залу Александра Ивановича, уже снявшаго свой охотничій костюмъ и замѣнившаго его домашней черной суконной блузой съ ременнымъ кушакомъ вокругъ стройной тальи.—А я ужъ отчаивалась, думала, что вы совсѣмъ пропали, отъ меня сбѣжали...

— Отъ васъ?—сказалъ онъ, краснѣя отъ смущенія.

— Ну, да, третьяго дня, съ той самой минуты, какъ я пріѣхала, дядя, Андрей Петровичъ, только и дѣлалъ, что ворчалъ на Петербургъ и все петербургское, и такъ убѣдительно доказывалъ мнѣ, что я никакъ не уживусь здѣсь, какъ будто только и желалъ, чтобы это случилось...

Она засмѣялась немного насильственнымъ смѣхомъ и уже съ ироніей закончила:

— Кажется, онъ бы дѣйствительно ничему такъ не обрадовался, какъ тому, чтобы я повернулась спиной къ нему и уѣхала тотчасъ же обратно въ Петербургъ къ мамѣ Алѣ...

— Дядя Дроня ненавидитъ Петербургъ... то-есть не Петербургъ собственно, а вообще городскую черезчуръ сложную и загроможденную ненужностями жизнь... если же онъ доказывалъ вамъ, что вы не уживетесь здѣсь, то это потому, что онъ знаетъ, какъ трудно здѣсь ужиться привыкшимъ къ городу... къ городской жизни...

— И онъ воображаетъ,—сорвалось съ ея языка страстное восклицаніе:—что онъ одинъ имѣетъ право ненавидѣть эту жизнь и что другіе не могутъ ее такъ же ненавидѣть... Да иной радъ хоть въ воду, только бы вырваться оттуда!

Юноша взглянулъ съ выраженіемъ удивленія на ея стиснувшіеся зубы, на ея сверкавшіе черные глаза.

— Однако, въ первый же день, оставшись здѣсь съ ба-

бушкой и тетей, вы уже, какъ кажется, соскучились, — нерѣшительно замѣтилъ онъ.

Она пожала плечами съ пренебрежительной гримасой.

— Бабушка слишкомъ стара для меня, а тетя Густя... старыхъ дѣвъ съ напускной экзальтаціей и чувствительностью я не выношу...

— Тетя Густя очень искренній человѣкъ и ничего напускного у нея нѣтъ,—горячо вступился юноша за старую дѣву, на которую чуть не молился.

— Можетъ-быть... я всѣхъ здѣсь такъ мало знаю...—замѣтила она небрежно.—Но, во всякомъ случаѣ, она, кажется, очень не далека...

— Въ этомъ я не судья,—началъ онъ, желая объяснить, что для него въ тетѣ Густѣ все—совершенство.

— Какая скромность!—насмѣшливо перебила она его, не дослушавъ конца фразы.

И, вдругъ оборвавъ этотъ разговоръ, она спросила:

— Скажите, здѣсь выписываютъ хоть какія-нибудь ноты?

— Да... Дядя Вася хорошій музыкантъ... у него очень серьезная музыкальная библіотека...

— Шутитъ въ жизни и серьезничаетъ въ музыкѣ, — насмѣшливо сказала она.

— Я васъ не совсѣмъ понимаю!—въ недоумѣніи проговорилъ онъ. — Дядя Вася, правда, любитъ пошутить, посмѣяться... но и слава Богу! Иначе его испорченная жизнь при его воззрѣніяхъ оставила бы на немъ слишкомъ глубокіе слѣды...

— Ахъ, да! помню! — со смѣхомъ проговорила она. — Мама мнѣ что-то разсказывала про его чудачества, про какого-то вылѣченнаго имъ ребенка и затѣмъ про отказъ отъ занятій медициной...

— Позвольте, позвольте Зинаида Николаевна! — горячо перебилъ ее Александръ Ивановичъ. — Вы, вѣрно, очень плохо освѣдомлены объ этомъ фактѣ, что можете его называть чудачествомъ... дѣло гораздо глубже...

И онъ съ жаромъ началъ говорить объ этой исторіи, до мельчайшихъ подробностей извѣстной всей семьѣ. Дядя Василій по убѣжденію пошелъ въ медицинскую академію, противъ воли своего отца.

— Это здѣсь, должно-быть, въ крови,—перебила она:— такъ какъ и мой отецъ, говорятъ, тоже противъ воли своего отца пошелъ въ морскую службу...

— У Рыкачовыхъ вообще сильные характеры,—вставилъ

Александръ Ивановичъ и сталъ продолжать прерванный разсказъ.

Кончивъ академію однимъ изъ первыхъ, дядя Вася занялся практикой. Какъ на зло, въ первые же годы случай привелъ его въ одну семью, гдѣ заболѣло двое дѣтей скарлатиной. Одна малютка, прежде чѣмъ дядя успѣлъ принять нужныя мѣры, умерла, другая же—миленькая, не по лѣтамъ развитая дѣвочка, надежда всей семьи — пережила болѣзнь со всѣми ея страшными осложненіями: дифтеритомъ, болѣзнью почекъ, водянкой, и въ концѣ концовъ, послѣ долгихъ мученій и тяжкихъ операцій, благодаря серьезнымъ знаніямъ и энергіи молодого доктора, сдѣлавшаго чуть не чудо, чтобы спасти ее, больная выздоровѣла...

— Слѣпая на одинъ глазъ, съ парализованной навсегда правой рукой, съ хромою ногой, и это въ той семьѣ, въ которой едва хватало хлѣба, — закончилъ Александръ Ивановичъ.—Это такъ страшно повліяло на дядю Васю, отличавшагося всегда сильной впечатлительностью, что онъ навсегда бросилъ медицинскую практику.

Зинаида Николаевна съ пренебреженіемъ пожала плечами.

— Отъ первой неудачи опустились руки!

— Ну, положимъ, тутъ была не неудача, а полная удача, но она навела его, какъ впечатлительнаго человѣка, на массу самыхъ тяжелыхъ противорѣчій...

Она засмѣялась.

— Ахъ да, это вѣдь, кажется, онъ же разсказывалъ, что онъ въ тюрьмѣ вылѣчилъ одного вора-арестанта, а тотъ потомъ былъ пойманъ за звѣрское убійство пятерыхъ человѣкъ...

— Да, дядя Вася любитъ иногда парадоксы,—съ серьезнымъ выраженіемъ въ лицѣ согласился Александръ Ивановичъ.—Вы еще, можетъ-быть, услышите, какъ онъ будетъ разсказывать, что разъ его позвали къ нервно-больному писателю, спасеніе котораго состояло только въ полнѣйшемъ отдыхѣ. «Такъ я съ голоду умру», — отвѣтилъ больной на совѣтъ доктора перестать работать. — «Ну, разсказываетъ дядя, и пришлось свести съ ума и уморить его другимъ способомъ—не голодомъ, а работой».

И, вздохнувъ, Александръ Ивановичъ закончилъ:

— Но вѣрьте, что за этими шутками много серьезной скорби и болѣзненной работы мысли!..

— Ну, я этого не понимаю. Я десять разъ споткнусь и все же добьюсь того, чтобы не спотыкаться,—рѣшительно и вызывающе сказала она.

Вошедшій въ залъ мальчуганъ-слуга доложилъ, что чай и ужинъ поданы, и молодые люди направились въ столовую.

V.

— Въ рыкачовскомъ домѣ, Зинаида Николаевна, люди ложатся спать въ одно время съ курами!—заявилъ своимъ басомъ Андрей Петровичъ въ первый же день пріѣзда Зинаиды Николаевны въ медвѣжью берлогу, потягиваясь и вставая изъ-за чайнаго стола.

— Потому что всѣ должны вставать съ пѣтухами,—пошутилъ братъ Василій.

— Не слушай его, Зинуша, и спи, сколько тебѣ вздумается,—сказала ласково тетя Густя.

И вотъ уже третью ночь Зинаида Николаевна сердится на эти куриные нравы, на этотъ курятникъ, гдѣ всюду раздается храпъ въ то время, когда въ Петербургѣ еще съѣзжаются въ порядочныхъ домахъ и въ кружкахъ разной молодежи гости... «Еще бы, въ вашемъ развращенномъ Петербургѣ все идетъ шиворотъ на выворотъ, да вверхъ ногами», вспомнилась ей одна фраза дяди Андрея Петровича, сказанная имъ въ первый же день ея пріѣзда сюда, и она пожала плечами. Это какой-то брюзга, ворчунъ! Впрочемъ, всѣ хороши: и похожая на откормленную бѣлую кулярдку-бабушку въ своемъ бѣломъ чепцѣ съ откинутыми за плечи завязками, съ ямками на розовыхъ щекахъ, которая, кажется, въ ротъ смотритъ всѣмъ говорящимъ и восхищается всѣмъ, что дѣлается въ домѣ, потому что это говорятъ и дѣлаютъ ея дѣти; и тетя Густя, съ чернымъ фаншономъ на жиденькихъ бѣловатыхъ волосахъ, маленькое созданье съ маленькимъ умишкомъ и большими претензіями кому-то помогать, кого-то спасать и совершать что-то доблестное; и бородатый дядя Андрей Петровичъ, ругающій Петербургъ, кажется, только потому, что онъ тамъ что-то напроказилъ или готовъ былъ напроказить, принявъ какую-то грязь за золото; и дядя Василій Петровичъ, краснощекій и жирный отъ бездѣлья шутъ гороховый, воображающій, что онъ глубоко чувствуетъ и глубоко мыслитъ; и этотъ откормленный и отпоенный молокомъ розовый теленокъ, котораго такъ боится бѣдная мама Аля!..

Зинаида Николаевна заволновалась, вспомнивъ объ этой боязни мамы Али.

«Неужели мама Аля и точно права,—мелькало въ ея головѣ:—и обѣимъ намъ придется вплоть до могилы сидѣть

за канцелярскими столами, подсчитывать проѣздные желѣзнодорожные билеты, считать сотни, тысячи такихъ билетовъ, точно въ насмѣшку надъ нами, чтобы мы знали, что сотни и тысячи людей ѣздятъ, путешествуютъ, смотрятъ на міръ Божій, восхищаются его чудесами, а мы должны сидѣть, сидѣть и сидѣть среди однѣхъ и тѣхъ же однообразно выкрашенныхъ стѣнъ, на одномъ и томъ же мѣстѣ, у одного и того же стола, бокъ-о-бокъ съ одними и тѣми же лицами? Когда нашъ правленскій служитель спрашиваетъ, какую мнѣ взять булку къ полуденному чаю, и я нервно съ досадою отвѣчаю: «Такую же, такую же, какъ всегда»,—мама Аля поднимаетъ на мгновеніе на меня грустные глаза и тяжело вздыхаетъ. Она понимаетъ, до чего можно осатанѣть—да, да, осатанѣть!—среди этого «все то же» съ сознаніемъ, что все, что мы дѣлаемъ, никому не нужно, что для этого дѣла не нужно было проходить гимназію, педагогическіе курсы, изучать языки, что это дѣло ничѣмъ не замысловатѣе верченья гильзъ и рѣзанья табаку полубезграмотными фабричными работницами, и единственное наше отличіе отъ тѣхъ состоитъ въ томъ, что мы работаемъ не по пятнадцати часовъ въ день и получаемъ не по двѣнадцати-пятнадцати, а по сорокъ и пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ. О, отъ этого можно сойти съ ума! Иногда и сходишь!..»

И ей живо вспомнилось, какъ прошлой зимой онѣ вдвоемъ съ матерью спускались изъ душнаго райка въ Маріинскомъ театрѣ, не имѣя возможности дать себѣ отчетъ, чего было больше въ этотъ вечеръ, страданій отъ жара и духоты или наслажденія отъ музыки и пѣнія, и случайно встрѣтили на подъѣздѣ старика-капитана, бывшаго друга ихъ дома и сослуживца отца ея, Зинаиды Николаевны. Онъ узналъ маму Алю, заговорилъ съ ними о старинѣ, отъ него чуть-чуть пахло коньякомъ, размякъ и пригласилъ ихъ поужинать. Мама Аля согласилась съ необычайной радостью, и они поѣхали въ ресторанъ. Мама Аля была лихорадочно оживлена, смѣялась, вспоминала прошлое,—помните театръ буффъ, ужины въ милютиныхъ лавкахъ, поѣздки на тройкахъ?—пила, поднимала высоко надъ головою бокалъ русскаго шампанскаго, напѣвала «voici le sabre, le sabre de mon père», и хохотала до истерики, когда совсѣмъ охмелѣвшій капитанъ, комично вздыхая и грустно повторяя слово «пасъ», дѣлалъ какіе-то недвусмысленные намеки на ихъ прошлые грѣшки. Это было временное помѣшательство,

и на слѣдующій день онѣ объ казались сконфуженными, старались не глядѣть одна на другую и ни слова не проронили о вчерашнемъ вечерѣ.

«Бѣдная мама Аля,—вздохнула Зинаида Николаевна:— какъ тяжело ей изъ-за сорока рублей въ мѣсяцъ считать, считать и считать желѣзнодорожные билеты, и чтобы имѣть шляпку, штопать и перештопывать свои разваливающіеся чулки и класть заплаты на заплаты на коленкоровыя сорочки. Съ какимъ ожесточеніемъ она говоритъ и объ этихъ чулкахъ, и объ этихъ сорочкахъ! Точно о злѣйшихъ своихъ врагахъ! «Проклятые, скоро штопать будетъ нечего, скоро совсѣмъ разлѣзутся и въ корытѣ останутся», ругается она вслухъ и швыряетъ дырявые бумажные чулки, точно хочетъ сдѣлать имъ больно. Прежде она, кромѣ шелковыхъ, никакихъ не носила»...

А она сама?—она даже и не жила такъ, не вкусила ни капли этой сладкой отравы. Она только слышала, какъ наслаждались другія, она только видитъ, какъ проносятся куда-то другія женщины, нарядныя, безпечныя, глядя небрежно изъ экипажей на резиновыхъ шинахъ на идущихъ на работу и обдавая этихъ чернорабочихъ труженицъ съ ногъ до головы жидкою навозною грязью... Да, она даже не отвѣдала сладкой отравы жизни!

Зинаида Николаевна что-то вспомнила и сорвалась съ постели. По ея тѣлу пробѣжала дрожь. Какое-то гадливое чувство охватило ее при воспоминаніи, какъ она пала, безъ любви, безъ увлеченія, безъ сознанія даже за полчаса до паденія, что оно должно совершиться и совершится. Ей вспомнилось все: и эта жалкая меблированная комната ея трудящейся, уже прошедшей огонь и воду, подруги, и эта накуренная дешевыми папиросами атмосфера, и этотъ холостецкій ужинъ—закуска съ водкой, дри-мадерой, селедкой съ лукомъ и колбасами, и это панибратство женщинъ-канцеляристовъ съ канцеляристами-мужчинами, и этотъ темный коридоръ съ гаснущей и чадящей керосиновой лампой... А потомъ? Потомъ были еще и еще скверные дни и минуты и, наконецъ, явился человѣкъ изъ сослуживцевъ, некрасивый, рябой, глупый, неразвитой, но съ огромнымъ самомнѣніемъ, и началъ назойливо ухаживать за ней и во время службы, и въ свободные часы. Она смѣялась надъ нимъ, вышучивала этого наглеца. Наконецъ, онъ нагло сказалъ ей, что онъ знаетъ всѣ ея «похожденія», и все же, несмотря на это, согласенъ жениться на ней. Она не по-

нимаетъ, какъ она не дала ему тогда пощечины. Тѣмъ не менѣе, чтобы не встрѣчаться съ нимъ, чтобы заставить его замолчать, она взяла продолжительный отпускъ и бѣжала... Взволнованная, съ возбужденными нервами, она теперь ходила, ходила до изнеможенія по комнатѣ, шлепая туфлями, и наконецъ какъ бы очнулась.

— А кто тамъ, подо мной, помѣщается?—почти вслухъ спросила она у себя.—Еще услышатъ, что я хожу, и пойдутъ завтра жалобные разспросы, отчего, да какъ...

Она пробралась къ постели, легла на спину и долго-долго еще не могла уснуть, смотря широко открытыми, черными, какъ уголь, глазами въ темное пространство...

— Ахъ, если бы не этотъ негодяй Сольскій!—срывалось съ ея языка, и она стискивала отъ злобы свои бѣлые зубы.

VI.

— А Зинаида Николаевна, вѣрно, еще почивать изволитъ?—мелькомъ, ворчливо спрашивалъ утромъ за чаемъ Андрей Петровичъ, не обращаясь ни къ кому въ особенности.

Чай пили у Рыкачовыхъ обыкновенно очень рано.

— Да, бѣдная Зинуша, кажется, опять не спала всю ночь,—заявляла съ соболѣзнованіемъ Августа Петровна.—Я вѣдь чутко сплю, такъ слышу, какъ она все ходитъ по комнатѣ чуть не всю ночь.

— Лунатикъ, вѣрно!—ворчалъ Андрей Петровичъ.

— Ахъ, Дроня, ты все нападаешь на нее!—упрекала его сестра.—Скучно ей здѣсь. Это вполнѣ понятно! Вѣдь и въ самомъ дѣлѣ въ деревнѣ безъ дѣла скучно.

— А вотъ я балы и концерты устрою для нея и для тебя, кстати, если вамъ скучно,—насмѣшливо замѣчалъ Андрей Петровичъ.

— Ну, этого-то не будетъ; мнѣ и безъ нихъ некогда скучать; а нельзя же не войти въ ея положеніе. Дѣла у нея здѣсь нѣтъ, да и не для того она пріѣхала сюда, чтобы работать, а для отдыха... Ну, и скучно...

— И ѣхала бы тамъ у себя на какую-нибудь Черную рѣчку... тамъ веселѣе... музыка изъ сосѣднихъ кафе-кабаковъ чуть не всю ночь слышна...

— Баринъ, рабочіе собрались!—докладывалъ мальчишка лакей.

— Иду, иду!—отзывался ворчливо Андрей Петровичъ, наскоро допивая чай.

Августа Петровна провожала его глазами, вздыхала и обращалась къ Александру Ивановичу:

— Ворчунъ Дроня, не можетъ понять, что мы за дѣломъ-то и не замѣчаемъ, какъ день летитъ, а молодой человѣкъ изъ Петербурга умереть со скуки здѣсь можетъ... Слава Богу еще, что каникулы близко, тогда хоть ты свободнѣе будешь...

Александръ Ивановичъ покраснѣлъ, услышавъ впервые это замѣчаніе тети Густи, и нерѣшительно замѣтилъ:

— Ну, тетя Густя, едва ли я-то сумѣю развлечь Зинаиду Николаевну... общихъ интересовъ у насъ мало... понимаемъ другъ друга плохо, точно на разныхъ языкахъ говоримъ... Мы вотъ обучаемъ дѣтей въ школѣ, а она съ насмѣшкой толкуетъ: «и вы, какъ тетя Густя, великіе подвиги совершаете...» Никакъ не можетъ понять, что никакихъ подвиговъ нѣтъ и что никто о нихъ и не думаетъ, а просто каждый дѣлаетъ то, что можетъ и что способенъ дѣлать, чтобы опять-таки отъ бездѣйствія и скуки не спиться съ кругу и не чахнуть надъ картами, что ли...

— Ну, извини, я съ тобой не согласенъ!—вмѣшался своимъ шутливымъ тономъ Василій Петровичъ.—Я считаю, что я самый великій подвижникъ здѣсь. Ты думаешь, мнѣ не терзаютъ слуха ваши олухи Царя Небеснаго, когда я обучаю ихъ пѣнію? Отецъ Андрей вонъ говоритъ: «у насъ хоръ благолѣпный и на всю губернію первый по стройности». А спросилъ бы меня, сколько крови стоитъ это благолѣпіе и стройность. Чувствую, что чахну. Однимъ только и вознаграждаю себя, что надѣюсь за это въ рай попасть...

— Пошелъ гаерничать!—махнувъ рукой на брата, сказала съ улыбкой Августа Петровна и заторопилась:—мы тутъ пустяки болтаемъ, а меня еще больные на дворѣ ждутъ... Ты, Саша, пойдешь въ школу, а я сейчасъ за тобой приду.

— Хорошо,—отвѣтилъ Александръ Ивановичъ и весело посовѣтовалъ дядѣ:—А вотъ вы, дядя, совершили бы истинный подвигъ, предложили бы Зинаидѣ Николаевнѣ хоть верхомъ покататься съ вами отъ скуки...

— По нынѣшнимъ-то временамъ, когда лошадь въ грязи по брюхо увязнетъ?—воскликнулъ Василій Петровичъ съ комическимъ ужасомъ.—Нѣтъ, спасибо, голубчикъ. У меня шея-то своя да притомъ еще всего одна отъ родителей осталась... Впрочемъ, барышня, вѣроятно, и не умѣетъ

верхомъ ѣздить. Вотъ ея мамаша, Алиса Ромуальдовна, та поѣздила на своемъ вѣку верхомъ... это теперь-то она, покатавшись, только саночки возить... а прежде сама каталась...

— Это же, дядя, ужъ совсѣмъ не смѣшно, если отцы ѣли терпкое, а у дѣтей оскомина,—сказалъ Александръ Ивановичъ и поднялся съ мѣста, торопясь въ школу.

— Ишь какой сердобольный сталъ нынче!—засмѣялся ему вдогонку Василій Петровичъ.—Текстами изъ Писанія поучаетъ...

Подобные разговоры съ разными варіаціями происходили почти каждое утро въ домѣ Рыкачовыхъ, и участь Зинаиды Николаевны съ каждымъ днемъ становилась въ глазахъ Александра Ивановича все болѣе и болѣе печальною: онъ слышалъ, что ея мать жила когда-то шумно и весело, носилась по баламъ и театрамъ, ѣздила каждый годъ за границу, окруженная толпой поклонниковъ, проматывая и свои деньги, и деньги выдѣленнаго братьями мужа, а теперь и ей, и дочери приходится служить изъ-за жалкихъ грошей въ одномъ изъ правленій желѣзныхъ дорогъ, и иногда въ особенно тяжкія минуты выпрашивать унизительными письмами подачки у почти незнакомыхъ ей братьевъ и матери своего покойнаго мужа. И какая горечь звучитъ въ словахъ Зинаиды Николаевны, когда она говоритъ о своемъ трудѣ, ненавидя и проклиная его. Точно трудъ безсмысленный, отупляющій, чисто механическій, безъ тѣни сознанія, что онъ приноситъ хоть кому-нибудь пользу. Какъ-то на-дняхъ онъ, Александръ Ивановичъ, расхрабрился и заговорилъ на эту тему:

— Отчего же вы не перемѣните родъ занятій?—спросилъ онъ осторожно.—Вы хорошо образованы...

Она засмѣялась ироническимъ смѣхомъ, не дослушавъ его:

— Публиковаться въ газетахъ, между дворниковъ безъ мѣста и продающейся за ненужностью лошадью,—публиковаться о томъ, что педагогичка ищетъ занятій съ дѣтьми, и получить въ концѣ концовъ, Христа ради, предложеніе обучать за столъ и квартиру пятерыхъ дѣтей, которыхъ нужно чуть ли не обувать и не мыть?.. Вы совсѣмъ не знаете Петербурга и условій труда всѣхъ этихъ педагогичекъ и студентовъ... этой лотереи съ однимъ выигрышемъ на тысячу пустыхъ билетовъ... Хотя это было бы не трудно узнать: стоило только прочитать объявленія въ газетахъ...

— Я этимъ чтеніемъ не занимаюсь,—сорвалось съ языка

Александра Ивановича, задѣтаго за живое ея насмѣшливымъ и язвительнымъ тономъ.

— Отчего же?—насмѣшливо спросила она.—Это избавило бы васъ отъ неловкаго даванья смѣшныхъ совѣтовъ.

— Ну, я бы, живя въ Петербургѣ и нуждаясь въ работѣ, скорѣе взялась бы за воспитаніе дѣтей, даже за малое вознагражденіе, чѣмъ за механическій трудъ, безполезность котораго была бы мнѣ ясна,—сказала тетя Густя, немного обиженная отношеніемъ Зинаиды Николаевны къ ея любимцу.

— Такъ вы же, тетя Густя, ищете вездѣ подвиговъ, а я не подвижница, я рабочій человѣкъ,—засмѣялась Зинаида Николаевна.—Вы, вѣрно, и въ сестры милосердія пошли бы на пятирублевое жалованье, лишь бы помогать человѣчеству, обмывая чьи-то язвы...

— Непремѣнно пошла бы, потому что знаю, что сестры милосердія нужны и что служащихъ по призванію въ этой области очень-очень мало,—твердо отвѣтила Августа Петровна.

— Это вы потому говорите, что вы никогда еще ничего не дѣлали изъ-за куска хлѣба!—отвѣтила рѣзко Зинаида Николаевна, вызывающе взглянувъ на Августу Петровну.—Ради своей прихоти можно сапоги тачать, камни на большой дорогѣ бить, а когда работаешь ради куска хлѣба, ради того, что хочется и самой жить, какъ другимъ, то разсуждаешь только объ одномъ: «сколько даетъ этотъ трудъ за твои усилія и на сколько грабятъ тебя твои ближніе?» Вы, тетя, сытая, очень любите ихъ; я тетя, голодная, очень ненавижу ихъ: вотъ въ чемъ существенная разница между нами.

Этотъ разговоръ произвелъ на всѣхъ и въ особенности на Александра Ивановича удручающее впечатлѣніе.. Изъ головы молодого человѣка не выходили послѣднія желчныя слова Зинаиды Николаевны. Ему даже показалось, что, вѣроятно, она прежде всего ненавидитъ его, потому что онъ—сытый въ этой семьѣ безъ всякаго на то права, тогда какъ она—голодная, имѣя полное право быть сытой здѣсь въ качествѣ родной внучки и племянницы членовъ этой семьи. Онъ сталъ еще болѣе смущаться передъ нею, смотря глубоко виноватымъ передъ нею человѣкомъ и стараясь по возможности избѣгать ея.

VII.

Спустя мѣсяцъ послѣ своего пріѣзда въ деревню, Зинаида Николаевна писала матери:

«Милая мама Аля, прежде всего прости, что до сихъ поръ не писала тебѣ, только наскоро извѣстивъ тебя о своемъ пріѣздѣ въ деревню и мелькомъ разсказавъ, какъ встрѣтили меня здѣшніе дикари. Но что же я могла написать тебѣ? Здѣсь все такъ однообразно и скучно, какъ въ лѣсу,—одна береза напоминаетъ другую, увидавъ одну ель, уже впередъ знаешь всѣ прочія; однѣ немного поменьше и пожиже, другія немного повыше и погуще, вотъ и вся разница. Дни проходятъ за днями, не разнообразясь ничѣмъ: вставая утромъ, уже зѣваешь отъ скучнаго сознанья, что сегодня повторится то же, что было вчера, и такъ же зѣваешь вечеромъ, ложась спать отъ того же скучнаго сознанья, что и завтра не будетъ ничего новаго. Иногда мнѣ снится, что я все еще продолжаю тамъ, у насъ въ правленіи, считать билеты, билеты и билеты, но уже не въ одни служебные часы, а и днемъ, и ночью, по цѣлымъ днямъ, сутки за сутками, изъ года въ годъ, постепенно превращаясь въ дряблую, морщинистую старуху,—и мнѣ становится жутко-жутко... Ты поймешь, что при такой жизни нечѣмъ наполнить письма, кромѣ скучныхъ разсужденій о томъ, какъ можетъ быть человѣку скучно... Здѣшніе муравьи, правда, не скучаютъ, но вѣдь у нихъ есть интересы своего муравейника, который, надо сознаться, чаша полная и такъ сложенъ во всѣхъ частяхъ, что просто зависть беретъ. Муравьи застраховали себя даже отъ непріятныхъ тревогъ и волненій по поводу слезъ и невзгодъ ближнихъ и создали себѣ изъ этихъ слезъ и невзгодъ источникъ утѣшенія, наслаждаясь возможностью благодѣтельствовать, сознавать себя подвижниками и, можетъ-быть, кандидатами на видныя мѣста въ раю. А у насъ же ни своего муравейника нѣтъ, ни сознанія, что и мы можемъ совершать подвиги...

«О моихъ отношеніяхъ къ здѣшнимъ дикарямъ или, вѣрнѣе сказать, о ихъ отношеніяхъ ко мнѣ не могу сказать ничего новаго. Бабушка заботится только о томъ, чтобы я откормилась, предполагая, кажется, въ простотѣ сердечной, что это все, что нужно человѣку, и что подкормиться можно на годъ, на два, какъ дѣлаются консервы. Тетя Густя (кстати: неужели ты правду говорила, а не шутила, разсказывая, что и у этой безцвѣтной каракатицы съ глазами младенца, когда по выходѣ изъ института она недолгое время гостила у тебя и папы, было если не романическое приключеніе, то романическое разочарованіе, чуть не лишившее ее разсудка? Я, право, думаю, что ты

ошибаешься, и что она была близка къ помѣшательству не послѣ разочарованія, а тогда, когда, несмотря на имѣвшіяся въ домѣ зеркала, серьезно вѣрила въ любовь какого-то повѣсы, полагавшаго, что она богатая невѣста, и потому рѣшавшагося даже на этотъ родъ самоубійства! Впрочемъ, недалекихъ людей иногда можно обманывать не хуже сумасшедшихъ!)—тетя Густя въ отношеніяхъ ко мнѣ является какой-то смѣшной, мокрой курицей: извиняется, стѣсняется и конфузится, — и все это потому, что мнѣ, должно-быть, очень скучно у нихъ, и она ничего не можетъ сдѣлать, чтобы развеселить меня, такъ какъ она «такъ занята!» Дядя Андрей (это какая-то ходячая іерихонская труба!) надоѣдаетъ попрежнему своею воркотнею и своимъ брюзжаньемъ; онъ, кажется, охотно далъ бы мнѣ отступного, только бы не видѣть передъ собою петербургской барышни; всматриваясь въ него, я часто думаю, что если бы сотвореніе міра зависѣло отъ него, то на землѣ не было бы никого, кромѣ мужиковъ и бабъ, такъ какъ онъ, кажется, только ихъ потребности и считаетъ нормальными. Дядя Василій—не понимаю я его!—все шутитъ, балагуритъ, гаерничаетъ и иногда мимоходомъ выскажетъ какое-нибудь такое замѣчаніе, что станетъ и жутко, и больно, и хочется крикнуть ему: «замолчите». Ахъ, забыла еще о главномъ—объ откормленномъ теленкѣ, котораго ты такъ боишься, какъ опаснаго нашего соперника въ дѣлѣ наслѣдства, и который, если бы только меня могъ прельщать «мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга, изъ жениныхъ пажей», былъ бы давно уже у моихъ ногъ... Ахъ, если бы только не было такъ скучно съ подобнымъ мужемъ-рабомъ, который даже и любить-то рѣшится, вѣроятно, съ разрѣшенія начальства!.. Въ послѣдніе дни онъ что-то особенно смиренно, даже жалобно, какъ бы провинившійся въ чемъ-то щеночекъ, смотритъ на меня и видимо избѣгаетъ меня и боится оставаться долго въ моемъ присутствіи... Хочется, кажется, любить, а разрѣшенія по начальству еще не вышло...

«Впрочемъ, что же мудренаго, если бы даже и въ теленкѣ пробудилось чувство любви? На дворѣ у насъ теперь чудная, роскошная весна въ полномъ расцвѣтѣ. Вотъ и теперь стоитъ чудесная, безмолвная, поэтическая ночь съ міріадами звѣздъ на бездонномъ темномъ небѣ. Я сижу у открытаго окна, не чувствуя ни малѣйшаго холодка, ни малѣйшей сырости. Въ окно, точно постепенно тая въ тепломъ воздухѣ, тихо плыветъ ароматъ цвѣтовъ и смолистаго

лѣса. Кругомъ такъ торжественно и тихо. Всѣ спятъ, а у меня на душѣ становится грустно, безотчетно грустно до слезъ, и такъ бы и бросилась на чью-нибудь грудь, чтобы выплакать эти слезы... Не вини меня, мама Аля! Да нѣтъ, ты и не станешь винить меня, ты поймешь эту жажду жизни, жажду любви, жажду хотя минутнаго счастья. Ты сама была молода, долго была молода...»

Опустивъ уставшую отъ писанья руку, Зинаида Николаевна впала въ какое-то полузабытье. Передъ ней смутно проходили картины ея прошлаго: полузабытая роскошь въ дѣтствѣ и постепенное обнищаніе, ѣзда на собственной лошади въ младшіе классы гимназіи и старанье въ среднихъ классахъ спрятать ноги въ стоптанныхъ отъ ходьбы полусапожкахъ; бравада фразами о самостоятельности, о женскомъ трудѣ, объ эмансипаціи при помощи образованія и едва-едва добытое чисто канцелярское мѣсто, съ отупляющимъ трудомъ, съ горечью сознанія, что для этого труда не нужно ни ума, ни воспитанія, ни образованія, вульгарныя сослуживицы-товарки, открыто живущія съ кѣмъ-нибудь изъ сослуживцевъ, громко завидующія содержанкамъ богачей, боящіяся замужества ради возможности потерять мѣсто, ради неимѣнья средствъ кормить лишніе рты, и, наконецъ, первое ея паденье, при воспоминаніи о которомъ поднимается чувство брезгливости, чувство отвращенія. Но это—первое паденіе, а потомъ... У нея начинала кружиться голова. Неужели отъ этой проклятой жизни она, какъ и ея мама временами сходитъ съ ума, дѣлается невмѣняемой?

На минуту она очнулась отъ говора на дворѣ. Брезжило уже раннее румяное утро. Кто-то предостерегалъ кого-то насчетъ какой-то лошади, говоря еще немного сипло спросонья:

— Это не конь, а чортъ...

Другой голосъ задорно отвѣтилъ:

— Кого же и усмирять, какъ не чертей? Съ овцами каждый мальчишка-пастухъ справится!

Затѣмъ послышался скрипъ отворяемыхъ воротъ, и, когда она встала изъ-за стола и выглянула въ окно, ей показалось, что изъ воротъ стрѣлой вылетѣлъ кто-то на лошади, поднимая облако пыли. Она не разобрала даже въ полудремотѣ, кто это,—затворила окно и, кое-какъ наскоро раздѣвшись, заснула мертвымъ сномъ.

VIII.

Тяжело дыша молодою грудью, съ разгорѣвшимся лицомъ,

съ слегка полуоткрытыми алыми губами, съ блестящими необычайнымъ блескомъ карими глазами вошелъ въ столовую Александръ Ивановичъ, откидывая шапку бѣлокурыхъ кудрей и отирая бѣлымъ платкомъ со лба крупныя капли пота. Было видно, что онъ сильно взволнованъ и возбужденъ. Въ выраженіи его лица было что-то и побѣдоносно-торжествующее, и чуть-чуть дико-злорадное.

— Что, замучилъ тебя чортъ?—спросилъ Андрей Петровичъ, смотря на него и видимо любуясь имъ.

— Ничего себѣ, ну, да ужъ и онъ будетъ меня помнить! Шелковымъ станетъ!—отвѣтилъ съ какой-то необычайной удалью Александръ Ивановичъ.—Хотя пришлось-таки на первый разъ побиться... два раза чуть не сбросилъ...

— До смерти-то ты еще не разодралъ ему рта и не проporолъ боковъ? — насмѣшливо спросилъ Василій Петровичъ.

— Ну, выдумали тоже!—отозвался Александръ Ивановичъ.

— Да не «выдумалъ тоже», а серьезнѣйшимъ образомъ говорю тебѣ, что такъ объѣзжать лошадей нельзя, какъ ты!—сказалъ Василій Петровичъ и съ насмѣшливой улыбкой обернулся почему-то въ сторону сидѣвшей тутъ же за столомъ Зинаиды Николаевны.—Дикая лошадь, злая и съ норовомъ, сдуру, конечно, сатанѣетъ, почувствовавъ на себѣ сѣдока, а нашъ Александръ Ивановичъ тоже, въ свою очередь, совсѣмъ забывъ, что онъ существо разумное, въ чорта превращается и убить ее готовъ, если она у него шелковой чуть не сразу не сдѣлается...

Юнона вспыхнулъ до корней волосъ.

— Ну, да, ласковыми словами ее ублажать, что ли? «Постой, молъ, душенька, не сбрасывай меня»,—немного запальчиво проговорилъ онъ.—Нѣтъ, силы-то и чортъ испугается, ну, а испугается и покорится.

— Да, вотъ зналъ я сапожника одного въ Петербургѣ, училъ онъ, училъ колодкой по головѣ ученика, да такъ и не успѣлъ выучить: померъ тотъ, не доучившись!—некстати сбалаганилъ Василій Петровичъ.

— Я дѣтей еще пальцемъ, кажется, не тронулъ до сихъ поръ!—рѣзко и обидчиво отвѣтилъ Александръ Ивановичъ и вышелъ изъ комнаты, чтобы не продолжать этой бесѣды.

На Василія Петровича посыпались упреки.

— Ну, за что обидѣлъ мальчика?—укоризненно покачала сѣдой головой Евлампія Григорьевна.—Куска въ ротъ положить не далъ, а чуть не выгналъ изъ столовой...

— Умретъ, поди, съ голоду, бѣдненькій!—попробовалъ отшутиться Василій Петровичъ.

— Не умретъ, а обижать все же человѣка грѣхъ,—наставительно сказала старушка, точно говоря съ малолѣтнимъ ребенкомъ.—Съ сапожникомъ какимъ-то сравнилъ, что дѣтей колодками убивалъ!

— Вотъ я сейчасъ пойду у него прощенья просить,—съ иронiей сказалъ Василій Петровичъ.

Тетя Густя серьезнымъ тономъ замѣтила:

— Дѣло не въ прощеньи, а въ томъ, что ты шутишь безъ разбора. Сами же всѣ просили «Ворона» объѣздить, потому что и ты, и Степанъ сладить не могли, да свои шеи пожалѣли, а когда Саша взялся за это дѣло—его же въ благодарность вышучиваютъ...

— Да что онъ сахарный, что ли, у насъ?—немного разсердился Василій Петровичъ.

— Не сахарный, а шутокъ неумѣстныхъ не любитъ,—сказала тетя Густя.—Это всѣ знаютъ!

И, обернувшись къ Зинаидѣ Николаевнѣ, пояснила:

— Застѣнчивъ онъ очень, и каждая неумѣстная, безсмысленная шутка его смущаетъ или выводитъ изъ терпѣнiя. Говорятъ, это признакъ очень большого самолюбiя—боязнь-то показаться смѣшнымъ...

— Но я и не знала, что Александръ Ивановичъ такой смѣлый наѣздникъ,—сказала Зинаида Николаевна.

— Злой, а не смѣлый,—вставилъ еще не уходившiйся Василій Петровичъ.—Злой!

Андрей Петровичъ вступился за Александра Ивановича:

— Можетъ-быть, и злой, но и смѣлый, очень смѣлый! Противъ же мнѣнiя о его злости я еще поспорю: онъ скорѣе вспыльчивъ, какъ порохъ, до безумiя, пожалуй, вспыльчивъ, но едва ли можно его назвать злымъ...

— Ахъ, Дроня, да развѣ сегодня можно будетъ въ чемъ-нибудь убѣдить Васю,—усмѣхнулась Августа Петровна.—Онъ сегодня будетъ воевать противъ всѣхъ и всего, отмщая за свою неудачу по части шутовства: репутацiю свою попортилъ!

— А ужъ и будете же вы меня сегодня изводить, Августа Петровна, за своего ненагляднаго питомца!—язвительно проговорилъ Василій Петровичъ, вставая изъ-за стола.

Всѣ были немного не въ духѣ.

Но эта маленькая, немного смѣшная буря въ стаканѣ

воды ни на минуту не остановила на себѣ вниманія Зинаиды Николаевны, хотя она и любила подмѣчать всякія комическія и нелѣпыя сцены: теперь же она была всецѣло занята какими-то другими думами, или, вѣрнѣе, не думами, а смутными чувствами, и когда она вошла въ свою комнату и увидала на столѣ свое неоконченное письмо къ матери, она вдругъ вздрогнула и закусила въ глубокомъ раздумьи губу. Нѣтъ, она вовсе не знала Александра Ивановича еще сегодня ночью, когда писала о немъ матери: это не теленокъ, а звѣрь, дикій звѣрь. Ей казалось такъ легко положить его къ своимъ ногамъ и заставитъ любить, обожать ее, несмотря ни на что. Ей казалось, что, осчастливленный ея вниманіемъ, онъ не только проститъ ей все, но даже не посмѣетъ думать о своемъ правѣ прощать или не прощать тамъ, гдѣ нужно только колѣнопреклоненно благодарить за то, что ему позволено любить и пресмыкаться у ногъ. Теперь ей становилось жутко при мысли о дикомъ звѣрѣ—и въ то же время именно теперь-то проснулось страстное желаніе покорить дикаго звѣря.

IX.

Если бы Зинаида Николаевна вздумала теперь, недѣлю или двѣ спустя послѣ отсылки къ матери своего пространнаго письма, приняться опять за перо, то она, вѣрно, написала бы не объ одуряющей скукѣ, а о щемящей тоскѣ, не дававшей ей покоя. Изъ ея головы теперь не выходилъ онъ, Александръ Ивановичъ. Чуть не вчера еще откормленный теленокъ, а сегодня едва не герой, чуть не Аполлонъ Бельведерскій, чуть не классическій красавецъ Антиной! Что за волосы, что за зубы, а эти глаза, то ласковые и добрые, то полные гнѣва! И какъ она сразу не разсмотрѣла его красоты, какъ она могла не замѣтить его выдающейся по своей стройности фигуры?

Трудно разобраться въ томъ, что особенно повліяло на Зинаиду Николаевну: весна ли, которая уже и раньше, какъ было видно изъ ея письма къ матери, заставляла ее подумывать даже о «теленкѣ», нельзя ли хоть его приласкать,—новое ли освѣщеніе характера Александра Ивановича, какъ дикаря-смѣльчака, заставившее ее взглянуть попристальнѣе и на это лицо, прекрасное въ минуты пробужденія энергіи, и на эту фигуру, дышащую силой и мужествомъ,—скучное ли пребываніе въ глухомъ лѣсу, гдѣ среди стариковъ и старухъ волей-неволей приходилось отды-

хать на единственномъ молодомъ интеллигентномъ лицѣ,—сильно ли разыгравшаяся фантазія чисто петербургской барышни, уже извѣдавшей горечь «временныхъ умопомѣшательствъ», какъ она называла свои паденія, и еще ни разу не вкусившей сладости истинной любви? Дать отвѣтъ на эти вопросы трудно, такъ какъ, вѣроятно, вліяло множество сложныхъ причинъ. Но какъ бы то ни было, теперь она только и думала о немъ, представляла въ своемъ воображеніи только его, дразнила себя имъ, какъ капризное дитя, и все болѣе и болѣе жутко становилось ей при мысли, что въ первыя же минуты, когда она скажетъ ему: «люблю», онъ сурово оттолкнетъ ее, сказавъ: «такія женщины мнѣ не нужны». До сихъ поръ она относилась только съ чувствомъ брезгливости къ своимъ «временнымъ умопомѣшательствамъ»,—теперь они были источникомъ ея мученій, раскаяній, слезъ, и не разъ тетя Густя, глядя на нее, тяжело вздыхала.

— Мама,—говорила она Евлампіи Григорьевнѣ, оставшись съ нею вдвоемъ:—вы не замѣчаете, что у Зинушки глаза опять красны отъ слезъ.

— Нѣтъ, голубчикъ, признаюсь, не замѣтила; собственные мои глаза плохи становятся,—тономъ сожалѣнія отвѣчала старушка.

— Я увѣрена, что она тихонько плачетъ. Но о чемъ?—задумчиво произносила Августа Петровна.

— Да ты же сама говоришь, Густя, что скучно ей здѣсь,—говорила старушка.—Ну, и всплакнетъ...

— Нѣтъ, мама, это не отъ скуки!—рѣшила Августа Петровна.

И она съ ужасомъ вспоминала то, что старалась обыкновенно никогда не вспоминать,—вспоминала то недолгое, но страшное для нея время, когда и она плакала цѣлыя ночи напролетъ, тайкомъ отъ всѣхъ, видя, что тотъ, кто завлекъ ее, кто влюбилъ ее въ себя, кто заставилъ и ее мечтать о счастіи, начинаетъ видимо охладѣвать къ ней, начинаетъ обманывать ее и, наконецъ... чуть съ ума не сошла она, страстно полюбившая и беззавѣтно вѣрившая въ его любовь, когда онъ женился неожиданно на другой, когда до нея дошли гнусные слухи, что онъ вездѣ смѣялся надъ нею, уродцемъ, говоря, что надо быть дурой или помѣшанной, чтобы съ такимъ лицомъ, какъ ея лицо, повѣрить, что кто-нибудь можетъ полюбить ее, а не ея деньги,—на такихъ женятся только съ отчаянія. Объ этой порѣ жизни

она старалась не вспоминать, спасшись и отъ воспоминаній, и отъ умопомѣшательства только тѣмъ, что опять поселилась въ родной деревнѣ, въ родной семьѣ, гдѣ нашла не только горячую и заботливую любовь родныхъ, но и поглотившее ее всецѣло дѣло. «Стыдно плакать отъ какой-то царапины, видя здѣшнія язвы»,—сказала она сама себѣ и отдала свою душу заботамъ о другихъ... Не такое ли несчастіе переживаетъ и Зинуша? Но Зинуша красавица! Что-жъ изъ этого? Красавица, но бѣдная! Это-то, можетъ-быть, и повліяло на ея судьбу: влюбился кто-нибудь въ нее, влюбилъ ее въ себя, но узналъ, что она бѣдна, и грубо отказался отъ нея. Не даромъ же Зинуша такъ часто проговаривается, что она ненавидитъ Петербургъ. Не даромъ она вчера еще съ такой страстной горечью говорила:

— Въ Петербургѣ жить можно только богатымъ, не отравляя себя завистью и ненавистью; бѣдные могутъ тамъ только, падая все ниже и ниже, продавать свои молодость, красоту, здоровье, честь и совѣсть!

Не испытавъ много горечи, дѣвушка не можетъ такъ говорить. И замкнута она такъ именно оттого, что у нея, вѣроятно, былъ тяжелый романъ въ жизни! Этими тайнами молодой дѣвушкѣ трудно съ кѣмъ-нибудь дѣлиться!..

Августа Петровна никакъ и предположить не могла, что почти въ это же время объ этомъ романѣ, объ этой тайнѣ говорилъ съ Зинаидой Николаевной не кто иной, какъ Александръ Ивановичъ...

На дворѣ стоялъ одинъ изъ тѣхъ чудныхъ вечеровъ, какіе выдаются только весною въ деревнѣ. Зинаида Николаевна забрела съ книгою въ рукахъ на ближайшую отъ дома опушку лѣса и, усѣвшись тамъ на обрубокъ дерева, принялась за чтеніе. Это былъ съ нѣкоторыхъ поръ излюбленный ея уголокъ, пустынный, тихій, съ просторною далью полей передъ глазами. Здѣсь она часто читала послѣднія книжки двухъ выписывавшихся въ деревнѣ журналовъ, перечитывала старыя, давно знакомыя, но вѣчно новыя классическія произведенія, или мечтала. На этотъ разъ подъ руку ей подвернулся Гоголь съ его первыми чудными произведеніями—украинскими повѣстями. Лѣто въ Малороссіи, украинскія ночи, простые, безхитростные люди, молодая любовь, полная свѣжей прелести и чистой поэзіи, и, словно финалъ ко всему, старость съ тѣсной дружбой и вѣрностью какихъ-нибудь старосвѣтскихъ помѣщиковъ—вѣрностью до гробовой доски, все это въ яркихъ образахъ

и картинахъ проходило передъ ней. Она въ горькомъ раздумьи опустила перелистываемую книгу. Никогда ей не узнать въ жизни этой поэзіи, никогда не испытать этой любви! Несчастно сложившаяся жизнь давно отрѣзала ей путь къ наслажденію всѣмъ тѣмъ, чего еще жаждетъ молодость. По ея щекамъ, помимо ея воли и сознанія, тихо-тихо катилась слеза за слезой.

— Зинаида Николаевна, что съ вами?—осторожно, какъ бы боясь испугать, окликнулъ ее ласковый и сердечный голосъ.

— Такъ, взгрустнулось, Александръ Ивановичъ,—отвѣтила она, поднявъ голову и спѣша отереть слезы.—Сама не знаю съ чего!..

— Не знаете?—недовѣрчиво спросилъ онъ.—А вчера, а третьяго дня?.. Тоже не знаете съ чего? Слѣды слезъ трудно скрыть!

Она молчала.

— Послушайте, зачѣмъ вы скрываете, если у васъ есть какое-нибудь горе?—заговорилъ онъ сердечнымъ тономъ, опускаясь на землю около нея.—Я не претендую, чтобы вы были откровенны со мной, совсѣмъ чужимъ вамъ человѣкомъ... можетъ-быть, даже болѣе, чѣмъ чужимъ... Но съ бабушкой, съ тетей... Онѣ васъ любятъ... Особенно съ тетей... вы же можете поговорить вполнѣ откровенно... Она васъ пойметъ и хоть отчасти, если сможетъ, облегчитъ ваше горе...

Она отрицательно покачала головой.

— Нѣтъ, Александръ Ивановичъ, есть несчастія, которыя менѣе всего пойметъ женщина въ родѣ тети Густи...

— Не ошибаетесь ли вы?—возразилъ онъ.—Она очень чуткій человѣкъ. Она сама пережила въ жизни тяжелые годы и потому понимаетъ другихъ, переживающихъ горе...

— Да, пережила горе, сохранивъ вѣру въ людей, сохранивъ уваженіе къ себѣ...

— А вы?—тихо спросилъ Александръ Ивановичъ, удивленный и озадаченный ея словами.

Она какъ бы очнулась, взглянула на него какимъ-то страннымъ взглядомъ и вдругъ поняла, что она зашла нѣсколько далеко.

— Зачѣмъ вы разспрашиваете меня? Развѣ я жалуюсь кому-нибудь? Развѣ мое горе мѣшаетъ кому-нибудь быть счастливымъ?—строптиво проговорила она и почти гнѣвно, увлекаясь и раздражаясь, продолжала:—Ну, да, мнѣ тяжело, очень тяжело, моя жизнь навсегда разбита, но что за

дѣло кому бы то ни было до меня, особенно вамъ, счастливому, избалованному судьбою, не знавшему никогда никакого горя?

Онъ смутился: его уже часто послѣ ея пріѣзда къ нимъ смущала мысль, что онъ незаслуженно счастливъ, и въ душѣ пробуждалось странное чувство, точно онъ былъ виноватъ въ этомъ передъ людьми, особенно передъ несчастными, главнымъ образомъ, конечно, передъ нею, у которой онъ какъ бы похитилъ часть любви ея родныхъ и, можетъ-быть, готовъ, помимо своего желанія, похитить и часть наслѣдства.

— О, если бы я могъ раздѣлить свое счастье съ вами!— просто и искренно проговорилъ онъ.

Она отвернулась отъ него, чувствуя, что ее душатъ слезы, безотчетныя, неудержимыя, истерическія слезы. Онъ услышалъ ея всхлипыванья, увидалъ ея вздрагивающія плечи, тихо дотронулся до ея похолодѣвшей руки, поднесъ ее къ губамъ и прошепталъ ласково, какъ бы ублажая больное дитя:

— Полноте, дорогая!

— О, если бы вы знали, какъ я несчастна!—воскликнула она порывисто, не помня, гдѣ она, съ кѣмъ и что говоритъ.—Мнѣ духъ теперь захватываетъ отъ жажды любви, мое сердце полно жажды счастья, а между тѣмъ... между тѣмъ въ моемъ прошломъ... Ахъ, вы никогда, никогда не поймете, что можетъ испытывать дѣвушка при одномъ воспоминаніи, что какой-то негодяй когда-то воспользовался ея неопытностью, ея беззащитностью и погубилъ ее... все ея будущее...

— Бѣдная вы!..—едва слышно, совсѣмъ просто проговорилъ онъ, не выпуская ея руки.

Она поднялась, торопливо отерла слезы и, не глядя на него, неровно ступая по дорогѣ, спотыкаясь, быстро направилась къ дому. Въ вискахъ у нея точно молотки стучали, а въ головѣ повторялась одна и та же мысль:

«И какъ это случилось? Зачѣмъ я все это сказала? Что я надѣлала? Теперь надо только бѣжать, бѣжать отсюда».

X.

Александръ Ивановичъ не спалъ всю ночь, ходя изъ угла въ уголъ въ своемъ флигелѣ. Этого съ нимъ еще никогда не бывало. Правда, съ нимъ никогда не бывало и того, что случилось сегодня подъ вечеръ на опушкѣ лѣса. Съ его

языка еще ни разу не срывалось слова любви. Ему еще никто не говорилъ «люблю».

Онъ не могъ сразу разобраться въ своихъ ощущеніяхъ. Неужели то, что онъ испытывалъ до сихъ поръ, глядя пристальнымъ взглядомъ на Зинаиду Николаевну, не было вовсе глубокою жалостью къ ней, чувствомъ своей виновности передъ нею въ томъ, что онъ отчасти похитилъ уже любовь ея родныхъ и невольно занялъ ея мѣсто въ ея родной семьѣ, а было просто началомъ любви къ ней—его первой любви къ посторонней женщинѣ? Теперь эта любовь охватывала его всего, наполняла счастіемъ, уже потому, что онъ угадывалъ, что и его любятъ. Да, вѣдь онъ не могъ въ этомъ сомнѣваться: она сказала это ясно или, вѣрнѣе, это ясно сказалось въ невольно сорвавшихся съ ея губъ словахъ. И какое счастье, что онъ, отвѣтивъ на ея любовь, вернетъ ей то мѣсто въ семьѣ, которое онъ, помимо своей воли, отнималъ у нея, отдастъ ей вмѣстѣ со своимъ сердцемъ и наслѣдство, котораго ее непремѣнно лишили бы Рыкачовы, если бы она не сдѣлалась его женою. А ея паденіе? Бѣдная, бѣдная дѣвушка, какъ много, должно-быть, она перестрадала изъ-за этого негодяя, погубившаго ее, неопытную, беззащитную, ребенка. О, онъ задушилъ бы его, если бы встрѣтилъ! Но она, она никогда не услышитъ отъ него ни слова, ни намека на ея прошлое несчастіе. Онъ заставитъ ее забыть, не проклинать прошлаго, въ которомъ много виноваты и всѣ они, дорогіе ему люди. Да, бабка, тетка, дяди были тутъ много виноваты, отдавшись своему эгоистическому желанію, жить особнякомъ въ своей медвѣжьей берлогѣ, не думая о томъ, что дѣлаетъ тамъ, въ Петербургѣ, ихъ несчастная племянница подъ вліяніемъ прокутившейся матери, чуть не въ нищетѣ; они отдали себя всецѣло заботамъ о немъ, Александрѣ, и заглушили любовью къ нему любовь къ ней. Онъ долженъ ее вознаградить и вознаградитъ ее за все прошлое.

Едва занялось утро, какъ Александръ Ивановичъ вышелъ изъ своего флигеля и сталъ поджидать Августу Петровну, вставшую раньше всѣхъ въ домѣ. Она вмѣстѣ со старушкой матерью вела домашнее хозяйство, возилась съ приходившими къ ней больными, навѣщала другихъ на селѣ и занималась вообще «гигіеной», какъ шутливо выражался Василій Петровичъ.

— Ты это что, тоже съ пѣтухами вставать сталъ?—ласково спросила она, завидѣвъ на крыльцѣ своего любимца.

— Поговорить съ вами, тетя Густя, надо, прежде чѣмъ съ кѣмъ-нибудь,—отвѣтилъ онъ, цѣлуя ее.

— Что такое? Важное что-нибудь?—спросила она, взглянувъ на него немного тревожно.

— Очень важное, тетя! Дѣло всей жизни,—отвѣтилъ онъ.

Она заволновалась.

— Говори, говори, прямо, ты знаешь, я боюсь всякихъ неясностей!—заторопила она его.

— Я, тетя, люблю Зинаиду Николаевну,—началъ онъ.

— Ты?.. мальчикъ?—воскликнула она съ удивленіемъ.

— Мнѣ, тетя, двадцать третій годъ, какъ и ей,—сказалъ онъ.

— Ну, положимъ, это плохая математика — говорить вмѣсто двадцати двухъ двадцать третій и думать, что это равняется двадцати четыремъ... Да если бы вы были одногодки, то дѣвушка, ровесница съ мужчиной,—всегда старше его... да притомъ она росла въ столицѣ, а не въ деревнѣ,—въ раздумьи проговорила Августа Петровна и спросила:—но какъ же это такъ неожиданно случилось?.. Ничего не говорилъ и вдругъ...

— Я самъ это уяснилъ только вчера... мнѣ кажется, она тоже любитъ меня,—сказалъ онъ.

— Еще бы ей не любить тебя!—невольно воскликнула Августа Петровна, и въ ея восклицаніи прозвучала несвойственная ей нотка неудовольствія.

— О, тетя Густя, не говорите такъ!—воскликнулъ онъ.—Я самъ хорошо знаю цѣну себѣ и вполнѣ отдаю себѣ отчетъ въ томъ, что она во многихъ отношеніяхъ стоитъ гораздо выше меня. Но когда любишь, не считаешься вопросами о томъ, кто выше, кто ниже... Для меня тутъ весь вопросъ сводится къ тому, согласится ли наша семья на этотъ бракъ теперь, когда я еще нигдѣ не служу, ничего не зарабатываю...

Августа Петровна широко открыла глаза.

— Ты, голубчикъ, кажется, потерялъ разсудокъ,—проговорила она.—Чего ты не зарабатываешь? Какой службы тебѣ надо? На хлѣбахъ изъ милости ты, что ли, здѣсь живешь?.. Ты не вздумай этой глупости сказать Дронѣ. Ты его глубоко этимъ обидишь и разсердишь... Вопросъ тутъ не въ томъ, изъ чего будете жить, а въ томъ, точно ли этотъ бракъ составитъ твое счастье.

Она на минуту смолкла и потомъ, сдѣлавъ надъ собой видимое усиліе, продолжала:

— Ты знаешь, я рѣдко говорю дурно про кого-нибудь... сохрани меня отъ этого Богъ!.. Но у нея мать очень-очень дурная женщина...

— Тетя, вѣдь мы же будемъ жить не съ нею,—горячо возразилъ онъ.

— Зинуша выросла у нея...

— Тетя, вы ли это говорите!—упрекнулъ онъ ее.—Развѣ вы въ Зинѣ подмѣтили хотя что-нибудь антипатичное вамъ? Развѣ вы ее можете винить за что-нибудь?..

— Нѣтъ, нѣтъ... сохрани, Господи!..—поторопилась отвѣтить она.—Но... привыкла она жить въ столицѣ...

— Она ненавидитъ Петербургъ, вы сами знаете...

И, оборвавъ рѣчь, онъ, уже не сомнѣваясь въ ея согласіи, сталъ ее просить:

— Тетя, милая, поговорите за меня со всѣми...

Онъ конфузливо улыбнулся:

— Вы знаете, что я не умѣю объясняться, или начну путаться, или загорячусь... Право же, мнѣ на медвѣдей легче ходить, чѣмъ объясняться... Дядя Дроня сейчасъ вспылитъ: «первой петербургской юбкой увлекся!..» Вы вѣдь его знаете... Ну, а дядя Вася начнетъ проходиться насчетъ «молока на губахъ...» А вѣдь мнѣ же двадцать третій годъ, давно совершеннолѣтній.

— Ребенокъ!—ласково сказала она, грустно качая головой.

— Въ вашихъ глазахъ—да; и до старости буду ребенкомъ... Бабушка вонъ и до сихъ поръ всѣхъ васъ, какъ ребятишекъ, иногда журитъ и вѣтрогонами называетъ...

Онъ горячо обнялъ Августу Петровну, прося ее ходатайствовать за него.

XI.

Александръ Ивановичъ, оставивъ тетю Густю хлопотать по его дѣлу, ускакалъ на своемъ, уже сильно вышколенномъ «Вѣронѣ» въ поле.

Странно было у него на душѣ: его то охватывалъ всего избытокъ неизвѣданнаго счастія любви, такъ что духъ занимался, то смущалъ страхъ передъ мыслью, что семья заупрямится, и тогда придется ему хоть порвать связь со своими благодѣтелями, но поставить на своемъ, то вдругъ чисто по-дѣтски, по-школьнически онъ начиналъ смѣяться до слезъ, представляя себѣ удивленныя лица всѣхъ членовъ семьи при разсказѣ тети Густи о неожиданной новости и предвидя впередъ всевозможныя восклицанія дяди Васи и

дяди Дрони... «Мальчишка, молоко на губахъ не обсохло, а ужъ туда же, жениться вздумалъ». «Въ лѣсу его невѣста еще не выросла». «Водой холодной окатить, такъ дурь-то изъ головы и вылетитъ». «Да ему надо разъяснить, что значитъ женитьба, а то малышъ слышалъ, что другіе какъ-то тамъ женятся, ну, думаетъ: дай, отличусь и я—женюсь». Все это и еще многое другое непремѣнно произнесется дядей Васей и дядей Дроней. Онъ ихъ зналъ, какъ свои пальцы, и могъ угадать, что̀ скажетъ тотъ или другой изъ нихъ по тому или другому поводу. Ему, Александру Ивановичу, теперь вотъ смѣшно думать объ этихъ восклицаніяхъ дорогихъ ему людей, все еще считающихъ его за ребенка, но какую бурю поднялъ бы онъ, если бы эти восклицанія неожиданно высказались при немъ! Проклятая у него натура: то конфузится онъ отъ малѣйшей своей неловкости или чьей-нибудь безтактной шутки, то вспыхиваетъ, какъ порохъ, отъ малѣйшаго оскорбленія и, кажется, въ какомъ-то минутномъ умопомраченіи убить готовъ человѣка. Много ему придется поработать надъ собой, чтобы никогда-никогда его Зина не испытала на себѣ неровностей его характера.

— Сяду вотъ на тебя, чуть что закипитъ въ сердцѣ, и ускачу въ поле, пока не угомонюсь! — проговорилъ онъ вслухъ, ласково потрепавъ по шеѣ коня. — Славный ты у меня конь, славный!..

Онъ уже ѣхалъ теперь шагомъ, раздумывая, успѣла ли все уладить тетка, не нужно ли ему еще помедлить. Нѣтъ, какъ же медлить? Сейчасъ всѣ соберутся къ столу и еще, пожалуй, Зина придетъ раньше его въ столовую и ей сдѣлаютъ что-нибудь непріятное, скажутъ какую-нибудь колкость. Добрые они люди, но горе тому, противъ кого они предубѣждены. А ужъ на Зину-то они навѣрное на первыхъ порахъ взглянутъ, какъ на врага. Они навѣрное въ душѣ будутъ обвинять ее, что она соблазнила его. Ребеночекъ тоже! Онъ рѣшительно поскакалъ къ дому и прибылъ какъ разъ во̀-время.

— Зина, дорогая Зина, не отказывайте мнѣ, если вамъ сегодня же скажутъ, что я прошу вашей руки!—шепнулъ онъ умоляющимъ голосомъ, входя въ прихожую и увидавъ Зинаиду Николаевну, спускавшуюся съ лѣстницы, чтобы пройти въ столовую.

— Вы? Просите моей руки? Послѣ всего, что я вамъ сказала вчера? —воскликнула она въ изумленіи, поднимая на него съ удивленіемъ свои блестящіе, какъ раскаленный уголь, глаза.

— Да, да, ненаглядная!.. Но о вчерашнемъ ни слова никому никогда, ни роднымъ, ни мнѣ: что сказалось вчера, то должно умереть и забыться... Нѣтъ, нѣтъ, не все должно умереть и забыться, не слова о жаждѣ любви и счастія... О, если бы вы знали, какъ я счастливъ!..

Онъ въ страстномъ порывѣ, путаясь въ словахъ, схватилъ ея руки и прижалъ къ своимъ губамъ. Она невольно прислонилась къ периламъ: у нея кружилась голова. Счастіе было слишкомъ неожиданно, слишкомъ велико. Еще какихъ-нибудь полчаса тому назадъ она колебалась, идти ли ей въ столовую или сказаться больной и завтра же уѣхать въ Петербургъ, чтобы не опускать глазъ передъ Александромъ Ивановичемъ, или... она не могла ручаться за себя,—о, эти проклятыя временныя умопомѣшательства! И вдругъ все оканчивается такъ хорошо, такъ просто! Она уже узнала довольно хорошо его, своего Александра, но никогда она не подозрѣвала, что онъ способенъ на такое великодушіе: прошлое должно умереть и забыться.

Да, да, оно, это обидное, постыдное, возмутительное прошлое умретъ и забудется среди лучезарнаго счастія, готоваго озарить ея жизнь...

И какъ смѣшны и странны показались ей немного слащавыя, немного плаксивыя увѣщанія и просьбы этой комичной тети Густи! Тетя Густя, оставшись наединѣ съ Зинаидой Николаевной, допытывалась, точно ли она любитъ Александра Ивановича, просила ее беречь Александра Ивановича, который и добръ, и довѣрчивъ, и великодушенъ. Зинаида Николаевна все это знала теперь гораздо лучше самой тети Густи и раньше ея увѣщаній дала себѣ слово сдѣлать счастливымъ Александра Ивановича уже за одно то, что онъ такъ великодушно рѣшилъ, что ея прошлое должно умереть и забыться, что объ этомъ прошломъ не должно говориться никогда никому, ни роднымъ, ни даже ему самому. Да, да, лучше всего то, что объ немъ не должно говорить ему! Лгать ему теперь, выдумывать что-то для оправданія себя она не могла бы теперь въ отплату за его искреннія великодушныя отношенія къ ней, а разсказать все, всю правду—нѣтъ, лучше смерть, чѣмъ эта правда! И въ ея головѣ невольно воскресла цѣлая вереница воспоминаній, картинъ, подробностей прошлаго. Ее охватилъ ужасъ, леденящій ужасъ... Какъ легко человѣку хотя бы публично, хотя бы всенародно каяться въ грѣхахъ общими словами: я лгалъ, грабилъ, насильничалъ, убивалъ, однимъ словомъ,

нарушалъ всѣ заповѣди. Въ этомъ вѣдь и всѣ такъ или иначе грѣшны, словомъ или дѣломъ. Въ этомъ легко покаяться: «братья, и я не лучше васъ». Нѣтъ, а заставьте человѣка разсказать всѣ подробности, всю обстановку, всѣ условія его согрѣшеній, заставьте его описать, какимъ низкимъ животнымъ, какимъ грязнымъ идіотомъ, какимъ отвратительнымъ циникомъ, какимъ утонченно жестокимъ злодѣемъ онъ бывалъ иногда, и вы увидите, какихъ мукъ будетъ стоить ему это признаніе, особенно, если оно будетъ возбуждать не столько ужасъ передъ человѣкомъ, а брезгливое отвращеніе къ нему... О, она, Зинаида Николаевна, умерла бы скорѣе, чѣмъ признаться откровенно во всемъ прошломъ. Даже ея мама, легкомысленная и широко-пожившая мама, ничего не знала объ этомъ прошломъ, объ этихъ временныхъ умопомѣшательствахъ. Ужъ за одно то, что ея Александръ сказалъ, что это прошлое должно умереть и забыться, она сдѣлаетъ все, чтобы онъ былъ счастливъ.

XII.

Предупрежденные Августой Петровной, Евлампія Григорьевна, Андрей Петровичъ и Василій Петровичъ вели себя совсѣмъ сдержанно, говоря съ Александромъ Ивановичемъ и Зинаидой Николаевной о предстоящей ихъ свадьбѣ. Нельзя было и предположить, что въ семьѣ пронеслась сильная буря при первыхъ словахъ Августы Петровны о намѣреніи Александра Ивановича, что, услыхавъ эту новость, Андрей Петровичъ сталъ даже грозить тѣмъ, что онъ «нагишомъ мальчишку вышвырнетъ въ томъ, въ чемъ подобралъ». Много нужно было говорить и Августѣ Петровнѣ, и Евлампіи Григорьевнѣ, ставшей на ея сторону, чтобы Андрей Петровичъ остылъ, а Василій Петровичъ пересталъ ехидно шутить. Усмирившійся Андрей Петровичъ только замѣтилъ Александру Ивановичу, оставшись съ нимъ наединѣ:

— Эхъ, братъ, знаю я, что въ твои годы нельзя аскетомъ жить, но все же больно и досадно мнѣ, что ты берешь въ жены дѣвушку не изъ своего круга.

Александръ Ивановичъ покраснѣлъ, предполагая, что дядя намекаетъ на его происхожденіе, но Андрей Петровичъ тутъ же пояснилъ:

— Зинаида Николаевна петербургская птичка, ты же человѣкъ деревни, а знаешь пословицу: какъ волка ни корми, онъ все въ лѣсъ глядитъ.

Василій Петровичъ ограничился только замѣчаніемъ:

— Что, братъ Алексаша, дожилъ до поры, что жребій тянуть пришлось? Ну, что дѣлать, дай Богъ только, чтобы счастливый вытянулся. Мало ихъ!

Но всѣ старики съ бабушкой во главѣ рѣшили одно, что свадьба должна быть у нихъ въ деревнѣ и что самое лучшее, если Алиса Ромуальдовна не будетъ на свадьбѣ. Бабушкѣ не хотѣлось на старости лѣтъ знакомиться со вдовой погубленнаго Николаши, Августа Петровна питала съ давнихъ поръ недружелюбное чувство къ этой женщинѣ, Андрей Петровичъ безцеремонно называлъ ее просто дрянью, а Василій Петровичъ какъ-то загадочно насмѣшливо замѣчалъ, что онъ въ пору кратковременнаго своего знакомства съ нею въ Петербургѣ очень «одобрялъ» бы ее, если бы только она не была женою его брата. Хотя втайнѣ всѣ немного сердились на Зину и, какъ и предполагалъ Александръ Ивановичъ, были увѣрены, что роль Евы-искусительницы играла она, тѣмъ не менѣе явно всѣ были любезны съ нею ради Александра Ивановича и постарались какъ можно осторожнѣе объяснить ей, что свадьбу хорошо бы устроить въ деревнѣ на глазахъ у всѣхъ близкихъ и что, вѣроятно, ея матери было бы тяжело брать отпускъ и ѣхать на эту свадьбу. Противъ ожиданія, Зина не только согласилась на это, но даже обрадовалась.

— Я такъ ненавижу Петербургъ, что рада не видать его... Что же касается мамы, то ей не по карману брать отпускъ и ѣхать сюда, хотя конечно я была бы рада повидать ее... но это можно сдѣлать и потомъ...

Такимъ образомъ дѣло уладилось къ общему удовольствію, и черезъ три недѣли въ домѣ произошла только та перемѣна, что въ одно изъ воскресеній Зинаида Николаевна переселилась въ небольшой флигель, гдѣ до этой поры жилъ одинъ Александръ Ивановичъ. Наканунѣ этого дня къ Алисѣ Ромуальдовнѣ была послана телеграмма о томъ, что завтра состоится бракосочетаніе ея дочери съ Александромъ Ивановичемъ Богдановымъ, и Алиса Ромуальдовна провела день свадьбы своей дочери гораздо шумнѣе, чѣмъ провели его молодые, обвѣнчавшіеся послѣ обѣдни и усѣвшіеся за обѣденный столъ въ обществѣ двухъ-трехъ ближайшихъ помѣщичьихъ семействъ да семьи священника.

Молодые уже давно успѣли проститься со всѣми бывшими на ихъ свадьбѣ гостями, когда въ двухъ комнатахъ, нанимаемыхъ отъ жильцовъ Алисой Ромуальдовной въ Петер-

бургѣ, еще стояли шумъ и гамъ разнокалиберной компаніи сослуживцевъ и сослуживицъ ея и ея дочери.

— Давно бы вамъ надумать отправить Зиночку въ деревню,—говорилъ одинъ изъ старшихъ по службѣ чиновниковъ въ рыжеватомъ завитомъ парикѣ, фамильярничавшій со всѣми и звавшій, яко бы въ шутку, всѣхъ барышень уменьшительными именами. — Тамъ тоже петербургскія-то красотки въ диковинку. На расхватъ ихъ берутъ.

— Ну, Степанъ Васильевичъ,—возразилъ ему кто-то:— это тоже какъ кому повезетъ. Вонъ Анна Платоновна три раза по два мѣсяца въ деревнѣ жила, а замужъ все же не вышла; только развѣ похудѣетъ каждый разъ, вотъ и все...

Кое-кто изъ сидѣвшихъ тутъ же въ большой комнатѣ и знавшихъ хорошо путешествіе въ деревню ихъ сотоварки Анны Платоновны Симской хихикнулъ.

Разговоръ изъ развязнаго перешелъ къ вопросу о томъ, какъ трудно сводить концы съ концами, получая пятьдесятъшестьдесятъ рублей въ мѣсяцъ. Стали подсчитывать: плата за комнату, за столъ, расходы на чай и сахаръ, на папиросы, на стирку бѣлья, на баню, праздничныя сторожамъ, швейцарамъ, все это почти всецѣло поглощаетъ жалованье. А тутъ износилось платье, окончательно порыжѣла шляпа, продырились сапоги, разлѣзлось бѣлье — и конецъ, пошли долги и долги. А начальство косится, если неряшливо одѣтъ, да и самому совѣстно нищимъ въ опоркахъ ходить. Не все же по Сѣнной да по Петербургской сторонѣ приходится ходить: попадаешь и въ Большую Морскую, и на Невскій, и на Дворцовую набережную. И еще эти проклятыя прачки, чтобъ имъ пусто было: не стираютъ, а губятъ бѣлье— щетки, поташъ, все идетъ въ ходъ для уничтоженія бѣлья. На мѣстѣ полиціи надо бы обратить вниманіе на этотъ дневной разбой... Разговаривающіе немного полиберальничали, проходясь насчетъ полиціи. У каждаго былъ «зубъ» противъ нея... Потомъ опять пошелъ подсчетъ расходовъ. Вѣдь тоже и не монахи же они всѣ, хочется и удовольствій, газету просмотрѣть, книжечку какую-нибудь прочитать, въ картишки перекинуться, на бильярдѣ сразиться, въ театръ иногда сходить, поамурничать, да хоть конфетами барышню въ благодарность угостить—и то деньги. А мыло? а вакса? а лѣкарства? а докторъ? Каждый грошъ припоминался, каждый расходъ подсчитывался и, въ концѣ-концовъ, выходило, что надо кого-то надувать, у кого-то выпрашивать, жить у

кого-то на содержаніи, пускаться въ какія-то незаконныя стѣлки, ожидать какого-то наказанія...

— Нѣтъ, господа, какъ станешь это философствовать,— перебилъ одинъ изъ юнцовъ въ пестренькомъ галстучкѣ скорбные подсчеты расходовъ, — такъ такъ бы надѣлъ на шею камень и въ воду.

— Да, братъ Петюша, жизнь въ Петербургѣ — Сибирь, одно слово!—согласился другой.

— Хоть бы водку скорѣй велѣла подать Алиса Ромуальдовна, а то что такъ-то канителить—точно мыши кота погребаютъ, — безнадежно рѣшилъ третій.

— Ахъ, а мнѣ и пить запретилъ докторъ! — вздохнулъ юноша въ пестренькомъ галстучкѣ, выразившій желаніе топиться.—Все къ чорту! Послѣдняго утѣшенія лишилъ!

Настроеніе присутствующихъ стало мрачное. Въ большой комнатѣ однако накрывали уже столъ къ ужину и это произвело нѣкоторое оживленіе. Кто-то сталъ даже напѣвать куплеты:

А мы себѣ не трусимъ,—
Выпьемъ и закусимъ.

XIII.

Въ семьѣ Рыкачовыхъ прежняя жизнь не нарушалась ничѣмъ: съ одной стороны, муравейникъ запасался по обыкновенію на зиму продовольствіемъ, посѣвъ смѣнялся косьбой, косьба—уборкой сѣна, уборка сѣна—жнитвомъ, сборъ ягодъ и заготовка наливокъ и варенья—сборомъ грибовъ, маринованьемъ и сушеньемъ ихъ, наконецъ, сборы всякихъ запасовъ, начиная съ хлѣба и кончая сыромъ, смѣнялись продажею всего излишняго и обращеніемъ съѣстныхъ припасовъ въ деньги, а съ другой стороны, какъ насмѣшливо выразилась когда-то въ письмѣ къ матери Зинаида Николаевна, муравьи-люди извлекали наслажденіе для себя даже изъ невзгодъ ближнихъ, то-есть лѣчили больныхъ, учили въ школѣ безграмотныхъ, помогали неимущимъ, избѣгая, такимъ образомъ, скуки и сознавая себя друзьями ближнихъ. На жизненномъ горизонтѣ не было ни одной тучки, ни одного недоразумѣнія, такъ какъ строй этой жизни сложился просто и основательно, какъ механизмъ сложной, но хорошо вывѣренной машины, гдѣ каждое колесико притерто, какъ слѣдуетъ, гдѣ каждый винтикъ исполняетъ свое назначеніе. Женитьба Александра Ивановича не вырвала ни одного колесика, ни одного винтика изъ этой машины: это

было, такъ сказать, только новое масло, влитое въ машину затѣмъ, чтобы она веселѣе работала и не ржавѣла. Разъ эта женитьба совершилась и не измѣнила ничего въ общемъ строѣ жизни, всѣ вздохнули свободнѣе, и къ Зинаидѣ Николаевнѣ стали относиться вдвое благодушнѣе, чѣмъ прежде. Ихъ Алексаша послѣ женитьбы сталъ еще бодрѣе и веселѣе прежняго и работалъ, если только это было возможно, лучше, чѣмъ до той поры. Это взаимное довольство другъ другомъ ясно сказывалось при посѣщеніи постороннихъ. Одинъ разъ къ Рыкачовымъ заѣхалъ одинъ изъ старыхъ сосѣднихъ помѣщиковъ. Говоря съ Зинаидой Николаевной, онъ, между прочимъ, замѣтилъ, что онъ уже имѣлъ удовольствіе видѣть ее, когда она каталась верхомъ, и при этомъ высказалъ мысль, что она смѣлая, такъ какъ одна заѣзжаетъ такъ далеко отъ усадьбы.

— Да, Зинуша у насъ храбрецъ!—пошутилъ Василій Петровичъ.—Герой, можно сказать: рѣшилась выйти замужъ, зная, что у нея будетъ двѣ свекрови и два свекра. Это ли не смѣлый подвигъ?

Зина засмѣялась.

— Вы забыли сказать, дядя, что я при этомъ знала, что выхожу за человѣка, который на медвѣдя пойдетъ за меня, если понадобится, а тутъ и этого было не нужно, такъ какъ и свекрови, и свекры умѣютъ только въ глаза смотрѣть человѣку, чтобы угадать, что ему нужно.

Василій Петровичъ съ шутливымъ укоромъ покачалъ головой.

— Вокругъ пальца сумѣетъ обвить человѣка петербургская птичка!

Но Зинаида Николаевна чувствовала, что она не льститъ, говоря о заботливой предупредительности всѣхъ обитателей медвѣжьей берлоги, а прежде всего своего Саши.

— Какой ты добрый, Саша!—десятки разъ невольно срывалось съ ея языка.

— Счастливый я, а не добрый,—говорилъ онъ.—Счастливому трудно быть злымъ.

— Да, но ты вѣчно о другихъ заботишься,—говорила она.

— Мнѣ тяжело видѣть несчастными другихъ, когда я счастливъ, и потому я спѣшу сдѣлать, что могу, чтобы они своимъ несчастьемъ не отравили моего счастья.

Когда-то она сама высказала въ письмѣ къ матери именно эту мысль, но теперь она протестовала:

— Нѣтъ, нѣтъ, тебя не одно это заставляетъ проявлять свою доброту...

— Захваливай! Захваливай меня! Я этакъ, Богъ вѣсть, что возмечтаю о себѣ!—шутилъ онъ, цѣлуя ее.

Осенью, какъ только начались занятія въ школѣ, Зинаида Николаевна обратилась къ Августѣ Петровнѣ съ просьбой.

— Тетя Густя, позвольте мнѣ помогать вамъ въ школѣ!

— Зачѣмъ же, голубчикъ? Это дѣло не легкое... воздухъ въ школѣ не совсѣмъ здоровый... тоже и дѣти сердятъ иногда,—возразила, путаясь, тетя Густя.

— Да вы же работаете тамъ, что же мнѣ сидѣть, сложа руки!

— Зинуша, это большая разница... что мнѣ, старухѣ, сдѣлается, а ты...

Тетя Густя немного затруднилась, потомъ объяснила:

— Тебѣ себя беречь надо... можетъ-быть, Богъ дастъ, и матерью будешь...

Зинаида Николаевна вздохнула:

— Покуда, тетя Густя, я еще не смѣю объ этомъ и думать...

И она стала настаивать на своемъ.

— Вообще нельзя же жить въ деревнѣ безъ дѣла, безъ обязанностей...

Тетя Густя засмѣялась.

— А мужъ?

— Саша же не можетъ сидѣть постоянно около меня. Да это бы и надоѣло ему—жить одною любовью, безъ дѣла, безъ заботы, безъ общихъ интересовъ.

Тетя Густя уже не могла противорѣчить, понимая очень хорошо, что молодая женщина вполнѣ права. Безъ дѣла въ деревнѣ умереть отъ скуки можно.

Занятія молодой женщины въ школѣ начались и внесли въ ея жизнь нѣкоторое разнообразіе. Тетя Густя радовалась теперь этому. Пусть работаетъ—скучать некогда будетъ. У нихъ въ семьѣ всѣ работаютъ. Евлампія Григорьевна вонъ и старуха, а всегда копошится за какой-нибудь работой: и кроитъ, и шьетъ, и вяжетъ; своего шитья или вязанья нѣтъ, такъ придумаетъ какую-нибудь работу, хотя, кажется, и домашнее хозяйство отчасти на ея рукахъ лежитъ, а все же времени свободнаго слишкомъ много. Это одинъ Вася можетъ иногда по цѣлымъ днямъ сидѣть за книгой или за фортепіано и ничего больше не дѣлать. Чудакъ онъ вообще. Вонъ и нынче, узнавъ, что

Зинуша начала учить въ школѣ, некстати совсѣмъ началъ балагурить:

— А-а! и вы въ бѣличье колесо забрались! Повертитесь, повертитесь, это моціонъ хорошій!

Зинуша даже немного разсердилась и сказала:

— У васъ, дядя, всегда парадоксы!

А онъ продолжалъ балаганить:

— Да вѣдь и вся жизнь парадоксъ. Безъ нашего желанія дается намъ, безъ нашего согласія отнимается отъ насъ.

Дроня по обыкновенію вспылилъ. Не любитъ онъ, когда Вася, какъ выражается Дроня, «дурака валяетъ!»

— Тебя послушать, такъ и надо сидѣть, ничего не дѣлая!

— Отойди отъ зла и сотвори благо!—отвѣтилъ нашъ чудакъ.—Помнишь псаломъ: «Блаженъ мужъ, что не идетъ на совѣтъ нечестивыхъ, и на пути грѣшниковъ не стоитъ, и на собраніи развратителей не сидитъ?» А кто же эти нечестивые и грѣшники?—всѣ люди!

— Посмотрѣлъ бы я, что бы ты запѣлъ, если бы мы всѣ не работали, и остался бы ты безъ хлѣба...

— Да, вѣроятно, и совсѣмъ пересталъ бы пѣть, что произойдетъ и въ томъ случаѣ, если закормлюсь въ концѣ-концовъ до апоплексіи... или... вѣдь и птицы небесныя ни сѣютъ, ни жнутъ, и лиліи полевыя ни трудятся, ни прядутъ.

Дроня даже и слушать не сталъ далѣе. Плюнулъ и ушелъ.

— Вотъ такъ аргументація!—крикнулъ ему вдогонку Вася.

XIV.

Зинаида Николаевна начала писать дневникъ. Въ началѣ его значилось:

15 октября. Вѣрно, мнѣ ужъ очень скучно, если я вздумала писать дневникъ. Не знаю я, что болѣе всего повліяло на меня—эти ли длинные-длинные темные вечера съ монотонными звуками несмолкающаго дождя, плачущаго надъ умирающей природой, или дядя Вася, парадоксы котораго все болѣе и болѣе смущаютъ мою душу и въ то же время болѣзненно привлекаютъ меня, какъ сладкій одуряющій ядъ. Мнѣ кажется, что дядя Вася тутъ болѣе всего виноватъ, такъ какъ для развитія его яда была уже подготовленная почва. На другихъ этотъ ядъ не дѣйствуетъ: дядя Дроня просто плюетъ, когда дядя Вася начинаетъ говорить парадоксы, и уходитъ; тетя Густя слушаетъ и въ концѣ-концовъ заявляетъ своимъ извиняющимся тономъ, что она со своей стороны «дѣлаетъ, что можетъ»; мой Саша спокойно

заявляетъ, что «философіи онъ не понимаетъ, а если Богъ далъ руки, ноги и голову, то и надо работать»; бабушка же, слушая дядю, ласково-снисходительно улыбается, какъ улыбаются, слушая непонятный лепетъ ребенка, и иногда неумышленно и безсознательно, точно обливая дядю холодной водой и приводя на смарку всѣ его разсужденія, добродушно говоритъ: «ахъ, ты балагуръ мой, балагуръ!» Хорошо балагурство, отъ котораго у меня иногда голова кружится!.. Недавно я съ большимъ рвеніемъ принялась учить въ школѣ, а дядя Вася сейчасъ же началъ вышучивать, что я завертѣлась въ бѣличьемъ колесѣ, а вчера сочинилъ цѣлую исторію, разсказалъ, что какой-то сельскій учитель съ голоду утопился, и сталъ шутливо доказывать, что это тотъ самый, который думалъ кормиться въ нашей школѣ: «увидалъ, молъ, что для своихъ душеспасительныхъ цѣлей у него богатыя барыни хлѣбъ насущный отбиваютъ,—и повѣсился». Я невольно разсмѣялась и замѣтила ему, что сначала онъ сказалъ, что школьный учитель утопился. Дядя, не сморгнувъ глазомъ, отвѣтилъ: «Да, видишь ли, онъ сперва повѣсился, но побоялся, что его вынутъ изъ петли и заставятъ силою умирать съ голоду,—ну, со страху и утопился... такъ какъ умирать съ голоду онъ не любилъ»... Все это шутовство; но все это—наводитъ на тѣ мысли, которыя бродили не разъ въ моей головѣ. Дѣйствительно, мы спасаемся обученіемъ дѣтей отъ скуки, а другихъ это дѣло могло бы спасти отъ голода. Я помню, какой гвалтъ поднялся у насъ въ желѣзнодорожномъ правленіи, когда къ намъ поступила содержанка одного изъ нашихъ заправилъ, получавшая кромѣ того большую пенсію: «Зачѣмъ ей мѣсто? Отъ скуки? Тряпки лишнія понадобились? Хлѣбъ у нищихъ отбиваетъ?..» Дядя Вася отравилъ даже мое страстное желаніе имѣть дѣтей. На-дняхъ мой Саша какъ-то мимоходомъ замѣтилъ про кого-то, какое великое счастіе имѣть дѣтей, а дядя Вася потомъ, между прочимъ, и вставилъ въ разговоръ: «нашъ вотъ Алексаша убѣжденъ, что всѣ люди родятся въ сорочкахъ, кандидатами на должность святыхъ... А вотъ послушалъ бы, что говорила сегодня понамаревская старуха Дарья про сына: «лучше бы ему и на свѣтъ, безталанному, не родиться!» зарѣзалъ онъ, видите ли, въ Петербургѣ кого-то, и теперь на каторгу пошлютъ. Саша вспылилъ и рѣзко сказалъ: «Что-жъ, дядя, по-вашему, только затѣмъ и родятся люди, чтобы идти на каторгу?» «Нѣтъ, голубчикъ, съ чего ты это взялъ!—невозмутимо возразилъ

дядя:—вотъ та бабенка, изъ-за которой Дарьинъ сынъ кого-то спровадилъ на тотъ свѣтъ, на каторгу не пошла, а просто такъ замоталась на свѣтѣ, да спилась съ кругу. Ее на каторгу не ссылали! Сохрани, Господи, за что же! Ее даже въ соучастіи съ нимъ не обвиняли, а просто доказали на судѣ, что по мужской линіи у нея, кажется, дѣдушка былъ пропоицей, а по женской бабушка, что ли, была развратной, и потому она наслѣдственно была ни въ чемъ неповинна и ни въ чемъ невмѣняема ни въ развратѣ, ни въ пьянствѣ, ни въ убійствѣ». «Ахъ, ты мой балагуръ, балагуръ», покачала головой, улыбаясь, бабушка и начала спрашивать, не хочетъ ли кто чайку съ медкомъ или вареньицемъ.

20 октября. Дождь все льетъ и льетъ, природа точно умерла, а вечера дѣлаются все длиннѣе и длиннѣе. Въ Петербургѣ, должно-быть, теперь все освѣщено, все блеститъ газомъ и электричествомъ, на улицахъ толпы, театры полны народомъ, въ ресторанахъ нѣтъ свободнаго стула, люди стараются опьяниться, чѣмъ могутъ,—зрѣлищами, кутежами, любовью. Какъ я завидую иногда натурѣ Саши: ему ничего этого не нужно, потому что онъ ничего этого не зналъ и такъ умѣетъ наполнить свой день работою, безъ сложныхъ думъ, безъ мучительныхъ вопросовъ, что уже въ десять часовъ вечера у него слипаются глаза, и онъ жаждетъ только возможности лечь и уснуть мертвымъ сномъ. Иногда, читая у себя въ комнатѣ въ постели, я долго-долго слышу его ровное, широкое дыханіе, и мой мозгъ сверлитъ одна назойливая мысль: отчего я не могу такъ безмятежно спать въ эти часы, когда и у насъ въ домѣ, и въ деревнѣ всѣ вкушаютъ этотъ сладкій сонъ, даже дядя Вася, парадоксы котораго, кажется, ни на минуту не лишили его покоя. Счастливецъ! онъ рѣшилъ, что не онъ виноватъ въ томъ, что жизнь—нелѣпица, и умылъ руки. «Ребенкомъ,—говоритъ онъ:—я ревѣлъ и топалъ ногами, чтобы мнѣ достали луну съ неба, а теперь, узнавъ, что ее никакъ достать нельзя, я до слезъ хохочу даже надъ тѣми, кто просто пытается ее въ микроскопы разные разглядѣть и узнать, кто на ней живетъ, на какомъ діалектѣ говоритъ и въ какихъ министерствахъ служитъ».

10-го ноября. Какая странная мама Аля! Я ей какъ-то написала, что я скучаю, а она теперь въ каждомъ письмѣ только и пишетъ, что варіаціи на эту тему: «скучаешь, скучно, съ ума сойти можно отъ скуки». Точно тамъ, въ

Петербургѣ, считая съ нею билеты, я не скучала до осатанѣнія. Да, да, до осатанѣнія, до временного умопомѣшательства... Чѣмъ больше я живу на свѣтѣ, чѣмъ болѣе вдумываюсь во все, что̀ касается скуки, тѣмъ болѣе понимаю, что отъ скуки можно спиться съ кругу, морфинисткой сдѣлаться, пасть, наложить на себя руки... Но что за таинственный смыслъ имѣетъ фраза, написанная въ письмѣ мамы Али: «подожди немного, я сумѣю спасти тебя хоть на время отъ скуки! Не бойся ничего, что бы ты ни услышала».

15-го декабря. Какое странное явленіе: Саша началъ говорить, что намъ надо непремѣнно съѣздить въ Петербургъ, и ради этого у насъ въ домѣ даже произошла буря въ стаканѣ воды. Поднялъ ее дядя Дроня, рѣзко утверждая, что все это глупости, что поѣздка вовсе не нужна, что все это бабьи петербургскія выдумки. Разумѣется, слово «петербургскія» было подчеркнуто. Я совершенно теряюсь, ничего не понимая, но, конечно, у меня духъ захватываетъ отъ радости, при мысли, что я снять увижу Петербургъ, озаренный тысячами огней, съ неустанно снующей толпой, съ оперой и балетами, гдѣ и душно, и жарко, и чувствуется какое-то особенное возбужденіе отъ говора и шума, отъ запаха духовъ, отъ яркаго свѣта, отъ звуковъ музыки, отъ пѣнія,—точно пьянѣешь. Передъ моими глазами вотъ и теперь ярко-ярко вырисовывается финалъ третьяго дѣйствія «Фауста»: садъ Маргариты, фантастическое лунное освѣщеніе, образъ Маргариты, призывающей въ тишинѣ ночи друга своего сердца, слабый крикъ страсти при внезапномъ его появленіи у ея окна и тихо-тихо спускающійся занавѣсъ, скрывающій отъ постороннихъ зрителей тайну любви упавшихъ въ объятія другъ другу любовниковъ. Но съ чего только вздумалъ Саша настаивать на этой поѣздкѣ въ Петербургъ? Неужели онъ подмѣтилъ, что я скучаю? Я не желала бы этого, потому что онъ, примитивный человѣкъ, можетъ подумать, что я разлюбила его. Ему трудно понять, что можно любить человѣка, быть влюбленной въ него и все же скучать и скучать отъ однообразія жизни. Какое счастье быть не сложною натурою: такія натуры не знаютъ скуки. Какой-нибудь стрѣлочникъ въ лѣсу при желѣзной дорогѣ—пьетъ, ѣстъ, спитъ, передвигаетъ стрѣлку въ извѣстные часы и доволенъ...

20-го декабря. Теперь мнѣ все ясно: мама Аля, тайкомъ отъ меня, написала Сашѣ, что она больна, и просила испол-

нить единственную ея просьбу, доставить ей возможность хоть недѣлю побыть со мною. «Она не была на моей свадьбѣ, но теперь, вѣрно, ей не откажутъ еще разъ взглянуть на дочь!..» Я чувствую, что мама Аля выдумала свою болѣзнь, и потому не безпокоюсь. Вѣроятно, это именно и есть ея средство хоть на время разсѣять мою скуку... Но какъ добръ Саша! Онъ готовъ идти противъ всѣхъ, чтобы только сдѣлать удовольствіе мнѣ... Если бы ему придать свѣтскій лоскъ и умѣнье держать себя въ большомъ обществѣ, это былъ бы самый совершеннѣйшій человѣкъ въ мірѣ...

XV.

— Зина, Зина, тебя ли я вижу!—воскликнула Алиса Ромуальдовна, увидавъ входящую въ ея квартиру Зинаиду Николаевну и хватаясь за свою грудь.—Ахъ, ахъ, сердце, бѣдное мое сердце!

Она въ изнеможеніи опустилась на первое попавшееся кресло и закатила подрисованные глаза, такъ что испугала не только Александра Ивановича, но даже и Зинаиду Николаевну.

— О, дайте мнѣ обнять васъ! Какой вы милый, какой вы добрый!—воскликнула Алиса Ромуальдовна, отдохнувъ отъ припадка и обнимая Александра Ивановича.—Вы осчастливили меня на закатѣ моей жизни, давъ мнѣ возможность еще разъ взглянуть на мою ненаглядную Зину и поблагодарить васъ за то счастье, которое вы дали ей. Только мать, только мать можетъ понять меня! Теперь я спокойно закрою глаза! Но какой же вы красавецъ. Да, Зина не преувеличивала ничего, описывая васъ...

Александръ Ивановичъ, впервые видѣвшій свою тещу, не обращая вниманія на ея подкрашенныя щеки, брови и рѣсницы, нашелъ ее еще довольно свѣжею и подвижною женщиной съ кокетливой прической немного не по лѣтамъ и изящными манерами, хотя нѣсколько многословною и напыщенно-витіеватою, со склонностью къ слащавой лести, и только могъ соболѣзновать, что такой еще не старый человѣкъ обреченъ на смерть вслѣдствіе порока сердца, аневризма, астмы, малокровія, неврастеніи, ревматизма и еще какихъ-то другихъ болѣзней, которыхъ никто не видитъ глазомъ и изъ которыхъ, тѣмъ не менѣе, каждая все-таки почти смертельна. Разумѣется, радость свиданія съ дочерью заставляла мать иногда забывать астму и говорить безъ умолку и иногда, несмотря на страшныя боли ревматизма

и ишіаса, быстро вставать, садиться и чуть не бѣгать по комнатѣ, не хуже любой пятнадцатилѣтней дѣвочки. Но сильныя потрясенія, какъ извѣстно, дѣлаютъ чудеса: иногда убиваютъ здоровыхъ и часто воскрешаютъ умирающихъ.

Тѣмъ не менѣе въ первый же день пріѣзда «молодыхъ» въ Петербургъ, къ вечеру Алиса Ромуальдовна почувствовала себя такъ дурно, что попросила Александра Ивановича оставить Зину на эту ночь у нея, боясь за себя. Когда Александръ Ивановичъ уѣхалъ, Алиса Ромуальдовна почувствовала себя вдругъ хорошо и заявила Зинаидѣ Николаевнѣ:

— Я такъ боялась, что у насъ не будетъ ни минуты времени поговорить по душѣ наединѣ и что твой прелестный медвѣжонокъ,—а онъ точно сама прелесть!—будетъ торчать все время съ нами, а между тѣмъ хочется поговорить по душѣ объ многомъ... да и нужно...

— Но твоя болѣзнь, мама Аля,—начала съ безпокойствомъ Зинаида Николаевна.

— Ахъ, у меня одна болѣзнь и притомъ очень застарѣлая и, кажется, неизлѣчимая: долги и долги!—отвѣтила Алиса Ромуальдовна довольно безпечно.—Начиная съ мелочной лавки и кончая нашей кассой—вездѣ должна... Но поговоримъ о тебѣ. Счастлива ты?

— О, да, я очень люблю Сашу, а онъ... ты не можешь представить, до чего онъ добръ.

— Вотъ бы послушалъ тебя мерзавецъ Сольскій.

Зинаида Николаевна нахмурилась.

— Ему-то что за дѣло до меня?—холодно проговорила она.

— Вообрази, этотъ негодяй Богъ знаетъ что разсказываетъ про тебя,—сказала Алиса Ромуальдовна.—Узнавъ, что ты выходишь замужъ, онъ точно съ ума сошелъ, и началъ кричать, что ты не имѣешь права выходить замужъ, что ты будто бы дала слово ему.

И, пристально взглянувъ на дочь, она спросила:

— Да развѣ у васъ точно что-нибудь было?

Зинаида Николаевна нетерпѣливо пожала плечами.

— Глупости, — отрывисто сказала она: — преслѣдовалъ меня, требуя, чтобы я вышла за него замужъ... но я же его ненавижу... этого негодяя...

— Но ты знаешь, онъ хотѣлъ писать твоему жениху, чтобы разстроить свадьбу,—многозначительно пояснила мать.— Я не писала тебѣ объ этомъ, боялась, что кто-нибудь прочтетъ...

— И не зачѣмъ было писать,—съ видомъ пренебреженія замѣтила Зинаида Николаевна.—Саша все зналъ, все предалъ забвенію...

— О Сольскомъ?—спросила мать пытливо.

— Ахъ, я же не называла никакихъ фамилій... Саша убилъ бы того, кто погубилъ меня, а о Сольскомъ нечего было и говорить... сватался, не вышла за него, вотъ и все...

Алиса Ромуальдовна съ выраженіемъ сомнѣнія покачала головой.

— Но Сольскій говоритъ такія вещи, собралъ какія то свѣдѣнія... Это просто безумецъ, влюбленный въ тебя до сумасшествія и готовый мстить и тебѣ, и твоему мужу... Онъ напалъ даже на меня... кричалъ на все правленіе, что я погубила тебя,—выраженія у него такія вульгарныя—говоритъ, что я торговала тобой, потомъ замѣтила его отношенія къ тебѣ, не захотѣла твоего брака съ нимъ и удалила скорѣе тебя изъ Петербурга, чтобы выдать скорѣе замужъ за другого... Но ты же знаешь, Зина, что мнѣ не было извѣстно ничего о твоихъ отношеніяхъ къ кому бы то ни было...

Зинаида Николаевна заходила по комнатѣ. Онѣ впервые говорили откровенно: подозрѣвали многое и прежде, но говорить было тяжело обѣимъ.

— Ну да, да, ты ничего не знала,—сказала дочь:—я же не дитя, чтобы все разсказывать... я не вмѣшивалась въ твои дѣла, ты въ мои... и такъ солоно приходилось за этими счетами билетовъ... Да, я бѣжала, главнымъ образомъ, отъ Сольскаго, потому что я боялась этого человѣка... уродъ, наглецъ съ адскимъ самолюбіемъ настоящаго дурака... И что за негодяи есть на свѣтѣ!.. На шантажъ готовъ былъ идти, чтобы принудить меня выйти за него...

Боязнь и теперь охватила ее. Но что же можетъ сдѣлать Сольскій? Она и не увидитъ его. Къ ея матери онъ не ходитъ. Ее найти трудно. Черезъ недѣлю она уѣдетъ...

Мать и дочь заснули только подъ утро. Нужно было такъ много сообщить другъ другу важнаго и незначительнаго, печальнаго и веселаго, касавшагося ихъ самихъ и совершенно посторонняго для нихъ, но интереснаго, какъ сплетня, какъ сучокъ въ глазу ближняго, какъ безсознательное утѣшеніе себя: «и всѣ не лучше!»

Зинаида Николаевна разомъ окунулась въ этотъ пестрый и разнообразный омутъ петербургской жизни: одинъ закутилъ напропалую, другой обокралъ банкъ, третій влѣзъ въ

долги по уши, четвертый повѣсился съ горя, что вторая двойня у него родилась,—и почувствовала себя, какъ рыба въ водѣ. Сколько тутъ интересовъ, сколько новостей! Всего даже и вспомнить нельзя было. «Такъ ты говоришь, что Мазини боровомъ совсѣмъ сталъ?»—«Ну, да онъ и всегда неуклюжъ былъ, а поклонницы—дерутся изъ-за него».—«А Марья Петровна, значитъ, такъ прибавки и не получила?»—«Ужъ какая же прибавка, если самъ ея покровитель слетѣлъ съ мѣста; еще должна радоваться, что сама уцѣлѣла».—«А Петюша все въ пестрыхъ галстучкахъ щеголяетъ?..»—«Бѣдный Петюша носъ повѣсилъ. Серьезно свернуло его».—«Ну, а Карнѣева все еще ростовщичествуетъ?»—«И не говори: я уже градоначальнику подавала на нее. Призывали ее въ сыскное».—«Нѣтъ, мы, кажется, никогда не уснемъ».—«Еще бы, соскучилась ты тамъ, у медвѣдей-то!»—«Да, здѣсь не то... здѣсь жизнь... Ахъ, если бы не этотъ проклятый Сольскій... изъ ума онъ не выходитъ».—«Ну его, забудь о немъ... Вѣдь ты говоришь, твой мужъ все знаетъ?»—«Конечно!.. въ общихъ чертахъ».—«Ну, значитъ и конецъ»

Но Петербургъ великъ, и въ немъ можно прожить долго, не встрѣтивъ того, кого не желалъ бы видѣть. Ужъ на третій день послѣ пріѣзда въ столицу Зинаида Николаевна совершенно успокоилась насчетъ встрѣчи съ Сольскимъ. Наступалъ канунъ Новаго года. Впервые въ жизни Александру Ивановичу приходилось встрѣчать этотъ день не въ родной семьѣ. Ему даже взгрустнулось. Но Зинаида Николаевна радовалась, что они проведутъ канунъ Новаго года въ театрѣ, что къ нимъ въ ложу пріѣдутъ двѣ сослуживицы и одинъ сослуживецъ, приглашенные Алисой Ромуальдовной, и потомъ всѣ они въ компаніи встрѣтятъ Новый годъ въ ресторанѣ за ужиномъ съ шампанскимъ. Александръ Ивановичъ радовался оживленію жены, смѣялся, что она—настоящій ребенокъ, еще всякія игрушки любитъ, и признавался, что онъ лично въ Петербургѣ—какъ въ лѣсу дремучемъ.

— Ко всему этому, должно-быть, привыкнуть надо,—замѣчалъ онъ:—тогда, пожалуй, и понравится, а съ непривычки... въ балетѣ вотъ голова начала кружиться отъ этого верченья ногъ и юбокъ, и скука страшная... всѣ молчатъ, объясняются въ любви ногами... пляшутъ въ ожиданіи смерти... точно въ домъ умалишенныхъ какихъ-то попалъ...

Зина смѣялась до слезъ.

— Ахъ, ты, мой медвѣжонокъ, медвѣжонокъ... Это тебя такъ мама Аля прозвала... только еще вздумала назвать не

просто медвѣжонкомъ, а прелестнымъ... Впрочемъ, ты у меня точно прелесть!..

Опьяненная опять Петербургомъ, который прежде никогда не былъ такъ привлекателенъ для нея, какъ теперь, когда она каталась по Невскому, ѣздила на тройкѣ, бывала въ театрахъ не въ райкѣ. Она десятки разъ ни съ того, ни съ сего обнимала и цѣловала мужа, какъ ребенокъ, получившій новую давно желанную игрушку и не умѣющій выразить свое счастіе иначе какъ десятками поцѣлуевъ и объятій.

Оживленная, съ горящими щеками, нарядная, она сидѣла въ ложѣ Маріинскаго театра и была безмѣрно счастлива, когда за ея спиною неожиданно послышался голосъ:

— Увидалъ васъ и не могъ не представиться!

Она обернулась и обомлѣла. Передъ нею стоялъ Викторъ Павловичъ Сольскій, плюгавенькій, маленькій, съ злымъ выраженіемъ въ некрасивомъ лицѣ.

— Надѣюсь, вы представите меня своему счастливому супругу,—проговорилъ онъ, не обращая вниманія на то, что Зинаида Николаевна въ замѣшательствѣ не протянула ему даже руки.

Она не знала, что дѣлать: Александръ Ивановичъ всталъ съ мѣста и назвалъ себя.

— Очень, очень радъ,—сказалъ развязно и чуть-чуть насмѣшливо Сольскій и отрекомендовался, кривя свое смуглое, рябое лицо:—Викторъ Павловичъ Сольскій, бывшій сослуживецъ вашей супруги, несчастный ея поклонникъ и отвергнутый ею женихъ. Впрочемъ, что же мудренаго: у Зинаиды Николаевны всегда былъ изящный вкусъ, а я, какъ видите, и не юнецъ, и не красавецъ... Тѣмъ лафа!.. А, кстати заговорилъ объ юнцахъ,—обернулся онъ къ Зинаидѣ Николаевнѣ:—что Живковъ, Ахматовъ и прочіе изъ вашихъ старыхъ друзей уже видѣлись съ вами, видѣли, какъ вы расцвѣли?

— Мы никого не видали, мы здѣсь не надолго... по случаю болѣзни мамы, — отвѣтила Зинаида Николаевна, стараясь подавить свое смущеніе и злобу и въ то же время боясь, что Александръ Ивановичъ выгонитъ этого нахала.

Отъ Сольскаго попахивало, по обыкновенію, виномъ.

— Это какой же такой болѣзни? — сдѣлалъ удивленное лицо Сольскій.

— Ахъ, я же все хвораю... у меня порокъ сердца и астма,—начала Алиса Ромуальдовна.

— Ска-а-жите! Первый разъ слышу! -воскликнулъ Сольскій.—Молодецъ же вы; такъ больны и ни разу со службы не отлучались... дня не манкировали... тоже и повеселились на второй день Рождества...

Онъ обратился къ Александру Ивановичу:

Мы вѣдь въ одномъ правленіи служимъ: всю подноготную другъ про друга знаемъ. Въ одномъ углу чихнутъ—въ другомъ говорятъ: «будьте здоровы!» Хе-хе-хе! Не будь этого, не имѣлъ бы удовольствія и съ вами сегодня познакомиться. А узналъ, что вы въ театрѣ будете сегодня съ нашими, ну, и думаю, нельзя же не взглянуть на своего счастливаго соперника... Надѣюсь еще увидать васъ... Тогда поближе узнаемъ другъ друга... Живкову и Ахматову вотъ надо сказать...

Въ это время подняли занавѣсъ, и Сольскій, откланявшись, ушелъ на свое мѣсто.

— Что за нахалъ! Лѣзетъ въ чужую ложу! — раздражительно заговорила Алиса Ромуальдовна.

— Ахъ, я готова уѣхать, не дождавшись конца, только бы не видѣть его!—такъ же раздражительно сказала Зинаида Николаевна.

Какъ же, не можетъ забыть, что ему на дверь указала Зинаида Николаевна, сказала одна изъ бывшихъ въ ложѣ дамъ.

— Кому нуженъ такой уродъ,—замѣтила другая.

Александръ Ивановичъ сидѣлъ хмурый и не проронилъ ни слова. Мать и дочь тревожно переглянулись и постарались напускною веселостью сгладить дурное впечатлѣніе, произведенное Сольскимъ...

— Отчего ты никогда и ничего мнѣ не говорила, что за тебя сватался этотъ Сольскій?—спросилъ Александръ Ивановичъ, оставшись вдвоемъ въ номерѣ гостиницы съ женою, когда прошла не особенно веселая встрѣча Новаго года.

— Что же мнѣ было говорить о немъ! Мало ли людей сваталось за меня!—довольно храбро отвѣтила Зинаида Николаевна.

— А эти... Живковъ и Ахматовъ тоже были претендентами на твою руку?—многозначительно спросилъ Александръ Ивановичъ.

Она слегка смутилась. Какъ могъ онъ запомнить эти мелькомъ названныя фамиліи? Значитъ, онъ все время думалъ о нихъ.

— Ухаживали... кажется, были тоже влюблены, — сказала она.

— Но ни тотъ, ни другой не были... Ты понимаешь, что мнѣ вовсе не все равно, если одинъ изъ нихъ былъ тѣмъ негодяемъ,—съ трудомъ произнесъ Александръ Ивановичъ.

— Саша,—упавшимъ голосомъ сказала она, предчувствуя что-то недоброе.—Ты самъ же сказалъ, что прошлое должно умереть и забыться...

— О, да, если оно умерло и забылось другими... но если... Зина, ты должна мнѣ сказать, если одинъ изъ нихъ тотъ негодяй... я не допущу, чтобы онъ ходилъ по свѣту и указывалъ пальцами на мою жену... Этотъ наглецъ Сольскій какъ-то особенно кривилъ свою рябую рожу, спрашивая тебя объ этихъ господахъ, о какихъ-то еще твоихъ друзьяхъ и особенно подчеркивалъ изящность твоего вкуса, твою любовь къ молодымъ людямъ, юнцамъ...

Онъ говорилъ сурово и рѣзко. Она растерялась и заплакала.

— О, никогда бы, никогда бы я не поѣхала въ Петербургъ, если бы знала, что одно слово какого-то вѣчно полупьянаго нахала можетъ такъ повліять на тебя...

— И было бы гораздо разумнѣе и выгоднѣе не играть этой гнусной комедіи болѣзни твоей матери, этого мнимаго умиранія совсѣмъ здоровой женщины, — мрачно проговорилъ онъ.

— Мама же точно нездорова, она ходила черезъ силу на службу, потому иначе не станутъ держать,—заговорила Зинаида Николаевна.—Онъ это знаетъ и нарочно вралъ...

— Ахъ, развѣ больныя сердцемъ, страдающія астмой и аневризмомъ пьютъ чуть не бутылками, какъ воду, шампанское!—раздражительно возразилъ онъ.—Зачѣмъ вы обѣ лгали?

— Александръ!—воскликнула она, блѣднѣя.

— Ну, да, обѣ, обѣ лгали!—настойчиво повторилъ онъ, смотря на нее злыми глазами.—Твоя мать совсѣмъ здорова, она играла комедію и въ первый день нашего пріѣзда сюда, и ты тоже была заодно съ нею... Переговорить было нужно наединѣ...

И вдругъ, неожиданно, въ порывѣ бѣшенства, схватилъ ее крѣпко за руку повыше локтя и спросилъ:

— Говори, съ кѣмъ ты жила изъ этихъ негодяевъ? Съ однимъ? Съ двумя? Со всѣми? Говори, говори сейчасъ же! Или я все узнаю безъ тебя и тогда будетъ худо.

Боль въ рукѣ, неожиданность вопросовъ, вспышка его страшнаго бѣшенства совсѣмъ запугали ее. Она залилась слезами.

— Говори же!—кричалъ онъ настойчиво.

— Я ни съ кѣмъ... ни съ кѣмъ не жила, — заговорила она, рыдая.

— Не лги!—крикнулъ онъ.

— Я... я... тебѣ говорила... это были минутныя паденія... О, если бы ты зналъ, что я вынесла... какъ я проклинала себя... за все, за все...

Онъ вдругъ отшвырнулъ ее отъ себя, схватился руками за голову и съ надрывающимъ стономъ воскликнулъ:

— Господи, Господи, ввелъ въ честную семью публичную женщину!

Она вся похолодѣла отъ ужаса и, какъ-то съежившись, прижалась къ стѣнѣ.

А на улицѣ звенѣли колокольчики троекъ, раздавались пьяные крики. Петербуржцы встрѣтили Новый годъ...

XVI.

Эта ночь— первая ночь Новаго года—была проведена безъ сна и мужемъ, и женою. Трудно передать весь хаосъ мыслей, проходившихъ въ ихъ головахъ. Одно только можно сказать, что среди этого хаоса мыслей о прощеніи и не-прощеніи у мужа повторялась одна мысль, что навсегда, навсегда убита въ немъ чистая любовь, что никогда, никогда уже онъ не приласкаетъ жену безъ мысли о томъ, что такъ же ласкала она и другихъ, что такъ же лгала она и другимъ объ *одномъ* негодяѣ, погубившемъ ее, еще дѣвочку. Жену же, что ни передумывала она, охватывалъ въ концѣ концовъ ужасъ передъ будущимъ: сегодня, онъ, какъ дикій звѣрь, тутъ въ чужомъ мѣстѣ, рядомъ съ неизвѣстными сосѣдями, рычалъ на нее отъ одного подозрѣнія и чуть не сломалъ ей руку, а что же будетъ тамъ, гдѣ нѣтъ постороннихъ, могущихъ вступиться за нее, тамъ, среди такихъ же обитателей медвѣжьей берлоги, какъ онъ самъ; онъ ее бить начнетъ, въ гробъ вобьетъ? И она чуть не скрежетала зубами, вспоминая нанесенныя ей обиды, чувствуя безсильную злобу. Никогда она не проститъ ему этого...

— Сегодня мы уѣзжаемъ вечеромъ! — объявилъ утромъ Александръ Ивановичъ Зинандѣ Николаевнѣ.—Здѣсь я оставаться не могу. Теперь мнѣ на каждомъ шагу будетъ казаться, что на меня смотрятъ съ насмѣшкой всѣ твои слу-

чайные любовники и всѣ твои товарки по мелкому разврату...

«На каторгу хочетъ увезти»,—мелькнула злая мысль въ головѣ Зинаиды Николаевны И съ быстротой молніи ей представились картины безконечно долгихъ темныхъ вечеровъ, убивающія тишина и безлюдье съ однообразнымъ завываніемъ вьюги и лѣса, днемъ скучныя занятія съ грязными дѣтьми, сморкающимися въ кулакъ, вносящими съ собой запахъ дегтя, деревяннаго масла, пота, навоза и грязи, визиты къ тетѣ Густѣ больныхъ, калѣкъ и убогихъ съ гнойными ранами и болячками, съ причитаньями о голодѣ и холодѣ, несчастіяхъ и нуждѣ, съ тѣмъ тошнотворнымъ запахомъ, который вносится всюду только нищими и больными изъ народа. И среди этого ни одного случая забыться, ни одного порыва страсти, ни одной опьяняющей ласки, а только строгія лица карателей и судей. Она мрачно подняла голову и сдавленнымъ хриплымъ отъ душившаго ее волненія голосомъ рѣшительно отвѣтила:

— Я не поѣду въ деревню!

— Что-о?—крикнулъ онъ.—Не поѣдешь въ деревню?

— Не поѣду!—еще рѣшительнѣе повторила она.

— А, такъ ты думаешь, что я тебѣ позволю таскать здѣсь по грязи наше имя?

По привычкѣ онъ сталъ шарить въ карманахъ, забывъ, что онъ не въ своемъ лѣсу и что при немъ нѣтъ здѣсь ни револьвера, ни охотничьяго ножа, и, стиснувъ зубы, закончилъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, никогда этого не будетъ!.. Ты поѣдешь!.. Я тебя скорѣе своими руками задушу.

И, какъ обезумѣвшій, бросился на нее, чтобы схватить ее за горло, и съ налившимися кровью глазами повалилъ ее на диванъ.

— И убей, и убей!.. Легче умереть, чѣмъ жить... у васъ... съ вами!—послышался хриплый крикъ.

— А, такъ вотъ ты что задумала! — заскрежеталъ онъ зубами.

Она хрипѣла подъ его руками, когда кто-то съ крикомъ силою началъ отнимать у него его жертву.

— Оставь... оставь, мама Аля!.. Лучше смерть!.. — совсѣмъ тихо, почти невнятно бормотала Зинаида Николаевна, чувствуя, что ее покидаютъ силы.

— Звѣрь, звѣрь, что вы дѣлаете... Люди... люди! — продолжала кричать Алиса Ромуальдовна, защищаясь зубами и

ногтями, отнимая у зятя, какъ разъяренная тигрица, свою дочь.

Александръ Ивановичъ точно пробудился отъ страшнаго сна и, тяжело дыша, почти упалъ на кресло. Онъ, казалось, самъ не сознавалъ, что съ нимъ было, что онъ дѣлалъ за минуту передъ тѣмъ.

Въ комнату вбѣжалъ лакей.

— Воды дайте, барынѣ дурно!—напилась Алиса Ромуальдовна и тотчасъ же по выходѣ лакея обратилась къ зятю:— Звѣрь вы, звѣрь необузданный!

Она стала приводить въ чувство дочь. Та въ полузабытьи бормотала:

— Не надо, не надо!.. Лучше смерть!.. Я всѣхъ ихъ ненавижу... его и всѣхъ... негодяевъ...

Алиса Ромуальдовна суетилась около дочери и говорила въ сильномъ возбужденіи:

— Полно, полно, Зина! Все это пройдетъ. И самъ Богъ привелъ меня... Не нужно было сегодня идти въ должность, ну, и не утерпѣла, забѣжала взглянуть на мою дѣточку, съ Новымъ годомъ хотѣла поздравить!.. А вы?.. У, звѣрь противный!.. Господа Бога не боитесь! И за что? за что? скажите!.. Выпили вчера, что ли, лишнее?.. Нечего сказать, сдѣлали женѣ подарокъ на Новый годъ!.. Медвѣдь! Вонъ какъ всю шейку ей покрылъ пятнами! Цѣловать ихъ теперь должны, на колѣняхъ прощенья просить должны!.. Право, медвѣдь! Вырвался изъ своего лѣса дремучаго и пошелъ людей душить... Не приди я во-время — и задушилъ бы!..

— Не я... въ лѣсу дремучемъ, а вы, тихо прошепталъ Александръ Ивановичъ, не замѣчая даже, что его руки искусаны и исцарапаны въ кровь.

И, вставъ съ трудомъ съ мѣста, не взглянувъ даже на жену, приказалъ:

— Уберите ее отсюда, съ глазъ моихъ прочь!.. Живите, какъ хотите... Я... если я еще услышу о ней или увижу ее... я за себя не ручаюсь... я убить ее могу... и тогда не спасете...

И тяжелой походкой, какъ бы постарѣвъ вдругъ на нѣсколько лѣтъ, послѣ тяжкой болѣзни, онъ вышелъ изъ комнаты.

ГЛУХАЯ РОЗНЬ.

ПОВѢСТЬ.

I.

Пасторъ Флинтъ, по обыкновенію, серьезный, сдержанный и методичный, первый поднялся съ мѣста и тѣмъ самымъ подалъ знакъ остальнымъ присутствовавшимъ на семейномъ музыкальномъ вечерѣ у господъ Семпель, что пора дать отдыхъ и хозяевамъ. Началось двиганье стульевъ, зашуршали дамскія юбки. Было всего одиннадцать часовъ. Но пасторъ Флинтъ зналъ, что въ семьѣ Семпель въ этотъ часъ въ обыкновенные дни всѣ уже расходятся по своимъ комнатамъ и въ домѣ водворяется тишина. Эта тишина была необходима, такъ какъ самъ коммерціи совѣтникъ Оттонъ Августовичъ Семпель съ одиннадцати часовъ принимается за работу и проводитъ за нею ночь до трехъ, до четырехъ часовъ.

— Главное, берегите свое здоровье!—наставительно проговорилъ пасторъ Флинтъ, почтительно пожимая руку уважаемаго хозяина.

Семпель, маленькій, кругленькій человѣкъ съ рѣденькими бѣлесоватыми волосами на головѣ и такими же баками въ видѣ растрепанныхъ жиденькихъ мочалочекъ, только вздохнулъ.

— Журить, журить, господинъ пасторъ, нужно Отто: работаетъ сверхъ силъ!—замѣтила, тоже прощаясь съ пасторомъ Флинтомъ, сѣдоволосая жена Семпеля, грузно опираясь на свои костыли и съ выраженіемъ обожанія взглянувъ на мужа добрыми, старушечьими, слегка слезящимися глазами.

У нея, такого же крошечнаго и толстенькаго созданія, какъ ея мужъ, давно была отнята одна нога, а другая плохо служила ей, и потому она ходила на костыляхъ.

— Да, да, Грета, я и берегу себя, берегу для васъ! — мягко и ласково сказалъ мужъ, привѣтливо кивая головой и грустно улыбаясь въ ея сторону.

Къ нему и къ хозяйкѣ въ это время подходили уже другіе гости, изысканно и чопорно благодаря хозяевъ за доставленное имъ удовольствіе и откланиваясь.

— Вашъ Янъ Оттоновичъ играетъ очаровательно, и сколько души!—слышались со всѣхъ сторонъ комплименты, и любезные хозяева конфузливо благодарили и въ то же время сіяли отъ счастья, отъ гордости за своего сына.

Онъ же, виновникъ этихъ похвалъ, тоже маленькій бѣлобрысенькій человѣчекъ не то лѣтъ двадцати-пяти, не то лѣтъ шестнадцати, съ блѣдно-желтымъ, покрытымъ, какъ у старика, мелкими морщинками лбомъ, но еще безъ признаковъ растительности на зарумянившемся теперь отъ возбужденія лицѣ, влюбленными глазами слѣдилъ за высокой и стройной брюнеткой, стоявшей около пожилой, но, видимо, молодящейся дамы съ обрюзгшимъ и помятымъ лицомъ, разсыпавшейся передъ хозяевами въ приторныхъ и преувеличенныхъ похвалахъ таланту ихъ сына.

— Главное, главное, эта душа въ игрѣ! Клавиши просто говорятъ у него подъ руками!

— О, Марья Алексѣевна, вы такъ снисходительны! — конфузливо благодарили хозяева.

Молодой піанистъ, кажется, готовъ былъ крикнуть красавицѣ-брюнеткѣ: «да что же вы-то ничего не прибавите къ похваламъ своей матери!» Но она упорно молчала, и только глаза ея выразительно торопили мать скорѣе покончить и всякія похвалы, и прощанье...

— Какая одуряющая скука—эти чопорные музыкальные вечера у Семпель! — воскликнула юная брюнетка, едва она съ матерью очутилась на улицѣ.—И они еще могутъ говорить, что у нихъ ist so gemütlich!

Не слушая ея и съ волочащимся по грязи подоломъ переходя площадь, такъ какъ у подъѣзда не было извозчиковъ, мать холодно и сухо замѣтила:

— Самое худшее—это то, что и съ веселыхъ, и со скучныхъ вечеровъ мы должны таскаться на наемныхъ извозчикахъ на Петербургскую сторону, какъ кухарки.

Дочь понимала, что это упрекъ не ея адресу, такъ какъ «выѣзды» дѣлались хотя и противъ ея воли, но исключительно для нея, иначе говоря, для выдачи ея замужъ.

Ничего не отвѣчая на слова матери, она не безъ иронія спросила:

— Говорятъ, Оттонъ Августовичъ — сынъ крестьянина-чухонца, подкинутый кому-то еще ребенкомъ?

Мать, въ свою очередь, поняла, что въ словахъ дочери ей посылается укоръ за то, что она, чванившаяся своимъ дворянскимъ происхожденіемъ и генеральскимъ званіемъ, видимо, желаетъ породниться съ внукомъ какого-то мужика-чухонца. Она сухо отвѣтила:

— Не знаю, кто былъ отецъ Семпеля... Оттонъ же Августовичъ — дѣйствительный статскій совѣтникъ, а ихъ Янъ кончилъ курсъ гдѣ-то съ чиномъ... Въ какомъ чинѣ они тамъ кончаютъ?

— Да, да, кончилъ,—подтвердила дочь и нервно засмѣялась. — Какъ жаль, что у него отъ занятій такъ порѣдѣли волосы... Впрочемъ, онъ занимался удивительно усидчиво! другіе кончали курсъ къ восемнадцати годамъ, а онъ учился вплоть до двадцати трехъ лѣтъ...

Мать перебила ее раздражительнымъ восклицаніемъ, переходя площадь:

— Ахъ, Бóже мой, мы опять попали въ какое-то болото! Недостаетъ только того, чтобы я слегла и умерла отъ простуды. Когда-нибудь это и случится... съ музыкальнаго вечера на кладбище!

Садясь, наконецъ, на дрожки, уже на другомъ концѣ площади, и мать, и дочь одновременно обратили вниманіе на окна бель-этажа, гдѣ находилась квартира семейства Семпель, и замѣтили, что тамъ гасились свѣчи и лампы. Онѣ еще не успѣли отъѣхать, какъ огни погасли во всѣхъ окнахъ, кромѣ двухъ оконъ кабинета Оттона Августовича.

II.

— Нашъ мальчикъ сегодня такъ счастливъ: его столько хвалили! — проговорилъ Оттонъ Августовичъ женѣ, простившись съ порозовѣвшимъ отъ счастія сыномъ и готовясь перейти въ свой кабинетъ. — Марія Алексѣевна сказала правду, что въ его игрѣ много души, если не таланта.

— «Прекрасной» души, Отто! — подчеркнула Маргарита Ивановна. — И просто становится обиднымъ, что не всѣ люди способны это понять...

— Ты объ Ольгѣ Владиміровнѣ? — спросилъ Семпель вскользь.

— Ну, да!.. Хоть бы одно привѣтливое слово, хоть бы одна улыбка!.. Мальчикъ такъ жаждетъ этого.

— Ты предубѣждена противъ нея! Она дѣвушка, достойная всякаго уваженія!

— Кто не цѣнитъ моего сына, тотъ не можетъ быть моимъ другомъ!

— Она еще такъ мало его знаетъ, Грета! А поступать легкомысленно не въ ея правилахъ.

— Да развѣ его надо хорошо знать, чтобы узнать его прекрасную душу?—воскликнула старушка.—Его душа на ладони и прозрачна, какъ хрусталь.

Мужъ и жена поцѣловались на прощанье. Она тяжело заковыляла въ свою спальню, онъ прошелъ заниматься въ свой кабинетъ.

Снявъ съ себя бережно парадный сюртукъ, Семпель облачился въ свой домашній люстриновый жакетъ и присѣлъ къ большому письменному столу, заваленному дѣловыми бумагами. За этимъ столомъ онъ проработалъ сорокъ пять лѣтъ. Сколько бумагъ онъ сначала переписалъ, потомъ составилъ, далѣе подписалъ тутъ! А сколько безсонныхъ ночей придется провести еще у этого стола? Ему припомнился совѣтъ пастора Флинта: «берегите свое здоровье!» Должно-быть, это воспоминаніе пришло ему въ голову потому, что, садясь за свой старый рабочій столъ, онъ опять почувствовалъ сегодня удушье. Онъ нѣсколько минутъ не могъ приняться за работу и долженъ былъ откинуться на спинку кресла, запрокинувъ немного голову. Это положеніе всегда нѣсколько облегчало его страданіе. Сперва говорили, что у него простая астма; потомъ стали подозрѣвать грудную жабу. Но серьезно лѣчиться ему было некогда. Работы было много, а онъ могъ жить только до тѣхъ поръ, пока работалъ. Въ этомъ онъ былъ глубоко убѣжденъ. Онъ давно затвердилъ и запечатлѣлъ въ своемъ сердцѣ слова Библіи, лежавшей постоянно на его столѣ: «Im Schweiss deines Angesichts sollst du dein Brod essen, bis dass du wieder zu Erde w rdest, davon du genommen bist!»

— Чухна! чухна!—дразнили его товарищи въ училищѣ.—Гдѣ твой лайба? Почемъ салака?

И онъ конфузился, робѣлъ и, вѣроятно, отъ волненія, плохо отвѣчалъ учителямъ. Нѣкоторые изъ нихъ, не имѣя ни возможности, ни желанія заниматься психологіей ребенка, тоже не то насмѣшливо, не то дружески корили его:

— Эхъ ты, непонятливый чухонецъ!

Мало-по-малу, онъ привыкъ къ тому, что кличка «чухонецъ» почти такая же позорная, какъ кличка «жидъ», «татаринъ» и что онъ дѣйствительно болѣе тупъ и несообразителенъ, чѣмъ его другіе товарищи съ русской смекалкой,

съ французской развязностью или съ нѣмецкой усидчивостью. Его пріемные родители, взявшіе его только потому, что онъ остался круглымъ сиротою, послѣ того какъ умерла его мать и съ горя повѣсился его угрюмый, неразговорчивый отецъ-чухонецъ, были формально набожными, разсудочно человѣколюбивыми и узко честными нѣмцами. Они сочли своимъ долгомъ взять сироту, сына своего деревенскаго кучера и коровницы; они, будучи бездѣтными, рѣшились даже держать его, какъ сына, не въ людской, а въ своихъ комнатахъ; они вмѣнили себѣ въ обязанность дать ему серьезное образованіе, чтобы онъ, не имѣющій ни кола, ни двора, могъ потомъ зарабатывать хлѣбъ. Но нѣжной ласки, сердечности въ отношеніи къ нему они не могли ему дать. Когда онъ приносилъ домой дурные баллы, они морщились и соображали:

— Это раса сказывается! Наша Грета моложе его, а какъ легко ей все дается!

Грета была тоже сиротой, ихъ пріемышемъ-племянницей. И Отто слышалъ при этомъ:

— Ты долженъ работать до поту въ лицѣ, если Богъ не далъ тебѣ быстрой сообразительности и никакихъ талантовъ!

«Чухонецъ»—тайкомъ вздыхалъ Отто и упорно корпѣлъ-корпѣлъ надъ работой. Онъ надѣялся на одно свое чухонское упорство. Онъ зналъ, что это качество у него есть, такъ какъ про него говорили «упрямъ, какъ чухна!» Это даже послужило лишнимъ предлогомъ для шутокъ. Разъ какъ-то учитель сказалъ:

— Ты, Семпель, упрямъ, какъ истый чухна!

Одинъ изъ маленькихъ зубоскаловъ съ напускнымъ простодушіемъ неожиданно спросилъ у учителя:

— А изъ животныхъ, Николай Петровичъ, кто упрямѣе всѣхъ?

— Извѣстно, оселъ, — отвѣчалъ пойманный врасплохъ учитель и тутъ же разсердился:—Глупые вопросы задаешь... Баллъ вотъ за поведеніе сбавлю!

Но слово было уже сказано и всѣ начали говорить:

— Онъ упрямъ, какъ Семпель или какъ оселъ!

Только маленькая Грета и не понимала того, что онъ, ея румяный и голубоглазый любимецъ Отто,—чухонецъ. Должно-быть, ради этого онъ и благоговѣлъ передъ нею. Онъ уже служилъ въ большомъ частномъ банкѣ, когда умерли его пріемные родители.

— Отто, я теперь совѣмъ одна на свѣтѣ,—сказала ему Грета, заливаясь слезами.

— А я-то? Развѣ я не съ тобой?—отвѣтилъ онъ, изумляясь, что она забываетъ о немъ.

— Теперь же намъ нельзя жить вмѣстѣ. Мы чужіе, Отто,—печально пояснила она.

Онъ опустилъ голову: да, они чужіе; мало того, онъ даже не нѣмецъ, а чухонецъ, какой-то мужикъ Семпель, тогда какъ она—фрейлейнъ Шварцъ-фонъ-Шиллингтофъ.

— Если бы ты любилъ меня, конечно,—конфузливо начала она, теребя платокъ, и остановилась.

— Грета, да я боготворю тебя!—воскликнулъ онъ съ жаромъ.

Она покраснѣла еще болѣе, окончательно сконфузилась и не могла продолжать.

— Грета, ты хотѣла что-то сказать, робко напомнилъ онъ, видя, что она молчитъ.

— Я хотѣла сказать... Только ты не думай обо мнѣ дурно,—въ замѣшательствѣ начала она.—Я хотѣла сказать, что, конечно, мы могли бы не разставаться, если бы были мужемъ и женою...

Такъ произошло ихъ объясненіе въ любви. Они пожечились.

III.

Сорокъ пять лѣтъ прошло съ той поры, какъ Отто Августовичъ назвалъ Маргариту Ивановну своею женою и сѣлъ работать за этотъ столъ, доставшійся ему вмѣстѣ съ нею въ наслѣдство отъ его пріемныхъ родителей, а казалось, что это было вчера. По крайней мѣрѣ, его упорство въ работѣ и ихъ взаимная любовь остались такими же, какими были и прежде. Правда, его положеніе въ обществѣ перемѣнилось: мелкій конторщикъ дослужился до званія члена правленія банка, былъ коммерціи совѣтникъ и имѣлъ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, но не измѣнился взглядъ на него у окружающихъ.

— Семпель усердный работникъ! — говорили про него прежде и то же говорятъ теперь.

Какъ и прежде, такъ и теперь—если ощущается какой-нибудь видный постъ—никто и не думаетъ называть его въ числѣ кандидатовъ на этотъ постъ. Если бы кто-нибудь сказалъ, что на постъ директора банка прочатъ Семпеля—это сочли бы шуткой дурного тона. Напротивъ того, имя

его навертывалось на языкъ всѣмъ, когда нужно было назначить дѣлопроизводителя какой-нибудь новой комиссіи или послать кого-нибудь на щекотливую и сложную ревизію въ отдаленномъ захолустьѣ.

— Семпель съ этимъ справится!—говорили люди и шутливо прибавляли:—онъ можетъ работать въ сутки двадцать четыре часа и еще нѣсколько минутъ!

Его упорство извѣстно было всѣмъ; его честность стояла выше всякихъ подозрѣній. Семпель отличался крайнею скромностью, и когда ему приходилось непремѣнно куда-нибудь являться въ парадной формѣ, всѣ удивлялись:

— Однако сколько онъ орденовъ и звѣздъ за благотворительность нахваталъ!.. Впрочемъ, онъ, кажется, чуть ли ужъ не тайный совѣтникъ.

А Семпель, по минованіи надобности, спѣшилъ снять парадный мундиръ и ордена, облачался въ свой рабочій люстриновый жакетъ и садился за свой рабочій столъ...

Такимъ образомъ сложилась его служебная карьера: она шла безъ скачковъ, ровно и неизмѣнно, вчера, какъ сегодня. Характеръ его семейной жизни тоже не измѣнился; Семпель всегда чувствовалъ себя счастливѣйшимъ мужемъ. И тутъ были событія, были перемѣны, но всѣ онѣ миновали и исчезали, какъ что-то внѣшнее, какъ исчезаютъ круги съ зеркальной поверхности воды, образовавшіеся на время отъ брошеннаго въ нее камня

Его Грета была нѣсколько разъ матерью, и нѣсколько разъ мужъ и жена оплакивали преждевременно, ранѣе году, умиравшихъ дѣтей. Наконецъ, у нихъ родился Янъ и, къ ихъ великой радости, пережилъ роковой годовой возрастъ. Его жизнь дорого стоила Маргаритѣ Ивановнѣ. У нея сперва отнялись ноги, потомъ ей и вовсе пришлось лишиться одной ноги. Но счастье мужа и жены не поколебалось ни на минуту. Можно было даже сказать, что со времени рожденія Яна они стали еще счастливѣе, а со времени несчастія съ ногами Маргариты Ивановны привязанность ихъ другъ къ другу стала еще нѣжнѣе, получила какой-то трогательный оттѣнокъ.

Мальчикъ былъ весь въ отца.

— Въ немъ я чувствую свое возрожденіе!—говорилъ Отто Семпель и даже не горевалъ о томъ, что Янъ учился такъ же туго, какъ когда-то учился онъ самъ.

Когда это замѣчали учителя, отецъ говорилъ просто:

— Мнѣ тоже туго давалось ученіе, но и онъ доучится!

И прибавлялъ:

— Я не боюсь за Яна: онъ упорствомъ и настойчивостью, какъ и я, добьется всего.

Когда его предостерегали противъ аристократическаго пансіона, куда онъ хотѣлъ отдать сына, и говорили о кутежахъ и фанфаронствѣ, онъ только пожималъ плечами:

— Я слишкомъ хорошо знаю Яна и вѣрю въ него, чтобы не бояться ничего.

И онъ не ошибся. Янъ не сбился съ пути. Если что и тревожило въ послѣднее время Оттона Августовича, такъ это то, что онъ самъ начиналъ прихварывать и боялся умереть прежде, чѣмъ Янъ добьется самаго главнаго въ жизни—своего семейнаго счастья. Конечно, Янъ сумѣетъ добиться и этого,—фрейлейнъ Ольга оцѣнитъ его и дастъ ему свое согласіе выйти за него замужъ. Это вполнѣ достойная всякаго уваженія дѣвушка, хорошо воспитанная въ институтѣ, сдержанная по натурѣ, сознательно избѣгающая всякихъ свѣтскихъ развлеченій, съ строгими правилами. Оттонъ Августовичъ давно подмѣтилъ, что его сынъ до безумія влюбленъ въ нее, и упорно неустанно сталъ присматриваться къ ней и изучать ее. Вопросъ былъ важный: Янъ любилъ въ первый разъ и было бы горько, если бы его первая любовь была неудачной. Однако результаты изученія Ольги Владиміровны оказались вполнѣ благопріятными для нея. Правда, она, какъ кажется, не была влюблена въ Яна, но она, какъ умная и разсудительная дѣвушка, конечно, оцѣнитъ его и тогда полюбитъ, а это главное: такія благородно-гордыя дѣвушки, какъ она, разъ полюбивъ, не измѣняютъ, остаются вѣрными до гроба.

— Милая Грета сердится,—проговорилъ онъ вслухъ:— что люди не сразу влюбляются въ ея Яна. Она забываетъ, что не всѣ же могутъ влюбляться такъ, какъ она влюбилась когда-то въ своего чухонца.

Онъ усмѣхнулся, потомъ, глубоко вздохнувъ, принялся за работу и съ грустью подумалъ:

«Только бы мнѣ Господь Богъ послалъ еще эту послѣднюю радость!»

IV.

— Не думаетъ ли, любезный, твой хозяинъ, что мы можемъ сбѣжать?—пренебрежительно говорила Марья Алексѣевна Богуцкая, сидя передъ зеркаломъ въ своей спальнѣ и не оборачиваясь къ стоявшему за ея полуобнаженною

спиною молодому мужику, въ смущеніи вертѣвшему въ рукахъ свою фуражку.

— Зачѣмъ сбѣжать?.. А такъ какъ сегодня семое число, а за квартеру еще не плачено,—медленно и сбивчиво сталъ объяснять еще неопытный дворникъ, глядя въ полъ.

— Ну, что же изъ этого?.. Ну, седьмое... ну, а завтра будетъ восьмое... Приди десятаго числа и тогда получишь деньги,—пояснила Марья Алексѣевна.

— Такъ-то оно такъ, намъ все равно, мы дворники... Только по контрахту, значитъ, никакъ невозможно позже третьяго числа, а нынеча и то семое,—началъ опять дворникъ, совсѣмъ не зная, что говорить и что дѣлать со своими руками и фуражкой.

— По контракту! по контракту!—передразнила его Марья Алексѣевна, пожимая голыми плечами.—Мало ли какихъ глупостей можно написать въ контрактѣ!

Она, еще не успѣвъ надѣть платья, сидѣла въ корсетѣ передъ туалетомъ и слегка пудрилась, почему и не могла выйти въ кухню, а приказала позвать въ спальню дворника, уже третій день сряду добивавшагося увидѣть ее.

— Что-жъ,—продолжала она насмѣшливо:—мнѣ такъ было и писать государю въ прошеніи, что у меня контрактъ съ твоимъ хозяиномъ? Да это курамъ на смѣхъ!.. Государю писать о такихъ мелочахъ!.. Станетъ онъ вмѣшиваться... Ты пойми, что мнѣ отъ государя должны передать деньги.

— Извѣстно... Откуда же вамъ...—началъ въ смущеніи недоумѣвавшій дворникъ.

— Ну, то-то же! Ты такъ и скажи хозяину: генеральша, молъ, отъ государя ожидаетъ денегъ... А по контракту я цѣлый годъ аккуратно платила.

— Что говорить!—согласился дворникъ.—Не аккуратно бы, такъ, извѣстно, давно выселили бы.

— Выселили бы! Выселили бы!.. Меня выселили бы? Мужикъ! Я не кто-нибудь, я генеральша! Ты забываешься, неотесъ этакій!—вспылила Богуцкая, обернувшись на стулѣ съ тяжело поднимавшейся отъ волненія грудью къ оторопѣвшему дворнику.

Онъ продолжалъ смотрѣть на полъ и вертѣть фуражку: его смущали и обнаженныя плечи генеральши, и ея засыпанное пудрою лицо, какъ выпачканное мукою лицо мельника.

— Чего намъ забываться,—обиженно проворчалъ онъ.—Оченно мы все помнимъ... а такъ какъ ежели хозяинъ спосылаетъ...

— Ну, и ступай къ нему, и скажи ему, что ея превосходительство ждетъ денегъ отъ государя,—слышишь, отъ государя!—и раньше десятаго числа не уплатитъ. Государь не можетъ дать раньше. Слышишь?—повышая голосъ, внушала она.

— Оченно хорошо мы слышимъ, не оглохли, слава Богу,—протянулъ все еще обиженный дворникъ:—а только порядки у насъ такіе: не платятъ и выселяй! Тоже иные шаромыжники...

— Уйдешь ты? уйдешь ты?—вскрикнула визгливымъ голосомъ Марья Алексѣевна, оскорбленная до глубины души.—Хамъ, истинно хамъ!

Дворникъ, видимо, испугался этого визга и, махнувъ безнадежно шапкой, съ неуклюжею осторожностью пошелъ къ двери, стуча ногами.

Едва ушелъ дворникъ, какъ спальня огласилась истерическими рыданіями. Марья Алексѣевна не имѣла привычки скрывать свои чувства: и хохотала, и плакала всегда на всю квартиру.

Ольга Владиміровна была въ сосѣдней комнатѣ и слышала и весь этотъ разговоръ, и послѣдовавшія за нимъ истерическія рыданія. Она вышивала въ пяльцахъ какую-то подушку и бросила иглу, услыхавъ рыданія матери. Откинувшись на спинку стула, сдвинувъ красиво очерченныя черныя брови и стиснувъ крѣпко зубы, она мрачно устремила глаза въ пространство. Передъ ея воображеніемъ проходили картины ея жизни. Три года прошло съ того времени, какъ она вышла изъ института и какъ умеръ скоропостижно ея отецъ, генералъ Богуцкій. Съ той поры и началась эта пытка. Отъ прежней жизни въ семьѣ остались только полная непрактичность, генеральское чванство, неоплатные долги и завистливая жажда тянуться за богатыми родственниками. Марья Алексѣевна Богуцкая находила единственное спасеніе въ истерическихъ припадкахъ; ея семнадцатилѣтній сынъ, пажикъ Теодоръ, утѣшалъ себя только тѣмъ, что грубилъ матери и сестрѣ да швырялъ въ лицо служанкѣ невычищенныя или прохудившіяся перчатки. Ольга же Владиміровна, серьезно и разносторонне взвѣшивая и соображая, что будетъ дальше, впадала въ какое-то оцѣпенѣніе, и въ эти минуты ея лицо принимало мрачное выраженіе не то героини трагедіи, не то женщины, готовой на преступленіе. А въ передней ежедневно толкались кредиторы, лавочники, дворники, модистки, слышались укоры,

брань, ругательства, непечатныя слова: «Что намъ до вашего благородства—вы намъ наши денежки подайте».

— Позоръ! Позоръ!—шептали блѣднѣвшія губы Ольги Владиміровны, и она цѣпенѣла, тщетно ища исхода.

Идти въ гувернантки, не любя дѣтей, не чувствуя педагогическихъ способностей, не умѣя подлаживаться къ людямъ безъ привычки стоять въ роли старшей служанки? Правда, это положеніе избавитъ ее отъ жизни здѣсь, въ этомъ аду. Но что дастъ этотъ трудъ? Гроши на обувь, на тряпки, и только? А дальше что: скитанья съ мѣста на мѣсто, безъ гроша на черный день, безъ права на отдыхъ? И такъ всю жизнь! всю жизнь! Не больше дастъ и трудъ дѣвушки-канцеляристки. Быть въ этомъ положеніи еще хуже, потому что, живя дома, ежедневно будешь видѣть тѣ же истерики матери и будешь такъ же брезгливо останавливать брата:

— Ты, кажется, скоро начнешь драться съ прислугой!

Изъ-за этого у нихъ идетъ вѣчная война.

Она перебирала всѣ профессіи дѣвушекъ, доступныя институткѣ, не умѣющей даже переводить съ тѣхъ языковъ, которые еще не затрепаны такъ, какъ французскій и нѣмецкій языки, и знающей, въ сущности, очень скверно для роли переводчицы даже родной русскій языкъ. Всѣ эти профессіи продавщицъ, мелкихъ гувернантокъ, жалкихъ учительницъ, переписчицъ, конторщицъ даютъ не средства къ существованію, а только средства пріодѣться такъ, чтобы можно было въ приличномъ нарядѣ пріискивать исподволь кормильца-мужчину, покуда еще уголъ и ѣда даются въ родительскомъ домѣ. Ея сердце покуда еще не билось любовью, и она уже впередъ презирала и ненавидѣла этого человѣка, который купитъ ее законно или незаконно, пользуясь тѣмъ, что она не можетъ жить, не продавшись кому-нибудь. Но кто этотъ человѣкъ, готовый ее купить? Ухаживателей было много, но каждый изъ нихъ ухаживалъ опасливо, съ оглядкой, боясь попасться въ ловушку—нажить скандалъ незаконной связью съ дѣвушкой изъ общества, или дойти до несчастія законнаго брака съ красивой безприданницей. Содержаніе красивыхъ женщинъ стоитъ особенно дорого. Мужчины не забываютъ этого. Правда, ей стоило сказать только слово, и одинъ изъ нихъ былъ бы у ея ногъ, но этотъ одинъ... Она стискивала свои бѣлые, ровные зубы, представляя себѣ, что этотъ бѣлобрысый, безцвѣтный и скучный чухонецъ, внукъ какого-то мужика, идущій по стопамъ отца на частной банковской службѣ,

будетъ имѣть право неотлучно быть около нея и требовать отъ нея любви.

Въ сосѣдней комнатѣ все еще продолжалась истерика.

«А это легче?—мелькнуло въ ея головѣ:—и развѣ это не продолжается ежедневно? Развѣ завтра кредиторы не будутъ такъ же безцеремонно ругать насъ и развѣ мама завтра не будетъ такъ же унизительно и пошло лгать, что она ждетъ денегъ отъ министра, изъ комиссіи прошеній, отъ государя?»

Эти мысли все чаще и чаще приходили ей въ голову за послѣднее время. Сегодня онѣ были особенно назойливы. Она, наконецъ, встала и рѣшительно направилась въ спальню матери:

— Ты устрой это дѣло съ Семпель!—отрывисто, приказывая, проговорила она.

— Ахъ, Боже мой, какое тамъ дѣло, о чемъ ты говоришь?—брюзгливо застонала мать.

— Ты же сама говорила, что мнѣ стоитъ только захотѣть...—она не кончила начатой фразы, стискивая зубы.

— Оля, Оля, ты согласна!—радостно воскликнула Марья Алексѣевна, быстро поднимаясь съ просіявшимъ лицомъ съ кушетки, на которой она лежала.

— Ахъ, ради Бога, только не распространяйся со мной объ этомъ!—отрывисто сказала дочь и поспѣшно вышла изъ спальни матери.

Ей было теперь противно все—и ея рѣшеніе, и радость матери.

V.

— Ольга Владиміровна, берегите моего Яна, — произнесла задушевнымъ голосомъ Маргарита Ивановна, крѣпко пожимая руку молодой Богуцкой, послѣ того какъ съ обѣихъ сторонъ, то-есть, со стороны жениха и невѣсты, было высказано согласіе на бракъ.

Съ лица Ольги Владиміровны сбѣжала краска, и дѣвушка, гордо поднявъ голову, многозначительно спросила:

— А вы, Маргарита Ивановна,—вы попросили о томъ же своего сына?

— О, о, Янъ сама доброта и само терпѣніе! — съ увлеченіемъ воскликнула Маргарита Ивановна.

— Вы, значитъ, сомнѣваетесь, что я добра и терпѣлива?—послышался слегка ироническій вопросъ.

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Но вы знаете, какъ я люблю Яна.

Мнѣ, старухѣ, можно простить материнскій эгоизмъ!—взмолилась Маргарита Ивановна, чувствуя упрекъ.

— И несправедливость будущей свекрови? — закончила уже слегка шутливо ея фразу Богуцкая и совсѣмъ серьезно, немного сухо добавила:—Я, Маргарита Ивановна, слишкомъ горда для того, чтобы вызвать хоть чѣмъ-нибудь чужіе упреки. Одно это служитъ ручательствомъ за то, что я постараюсь быть хорошей женой.

Маргарита Ивановна почувствовала что-то такое, какъ будто она вдругъ сдѣлалась и меньше ростомъ, и глупѣе, и ничтожнѣе своей будущей родственницы. Она такъ сконфузилась, что даже скрыла отъ мужа и сына весь этотъ разговоръ и даже чувствовала себя виноватой. Дѣйствительно, какое право имѣла она думать, что Ольга Владиміровна не будетъ беречь ея сына? Какое право имѣла она быть несправедливой къ ней? Какъ она не поняла, что въ характерѣ Ольги Владиміровны преобладаетъ подмѣченная самимъ Отто черта благородной гордости,—той гордости, которая дѣлаетъ все, чтобы не дать повода къ упрекамъ, сплетнямъ, выговорамъ?.. Гдѣ-то въ душѣ старушки было въ то же время безсознательное недовольство Ольгой Владиміровной за то, что именно та была причиной нарушенія ея неизмѣнной душевной гармоніи. «Недотрога!» мысленно сказала она про Ольгу Владиміровну и рѣшила, что съ тою нужно говорить и дѣйствовать очень осторожно и осмотрительно, что это не простая и безхитростная натура, которая не взвѣшиваетъ каждаго слова, не ставитъ каждаго лыка въ строку, не щетинится, какъ ежъ, отъ каждаго неосторожнаго и неожиданнаго прикосновенія. Съ нею нужно было быть тѣмъ болѣе осмотрительною, что отъ нея зависѣло счастіе Яна, а Янъ уже теперь былъ, что называется, на седьмомъ небѣ, только еще получивъ согласіе Ольги Владиміровны выйти за него замужъ.

— Я чувствую, что она приноситъ нѣкоторую жертву, выходя за меня замужъ, — простодушно говорилъ онъ. — Себя я не обманываю ни насчетъ своей наружности, ни насчетъ своихъ способностей. Но я сумѣю заплатить ей за все и пробудить въ ней къ себѣ то глубокое и прочное чувство, которое въ супружеской жизни въ тысячу разъ важнѣе мимолетной влюбленности.

— Она должна быть благодарной тебѣ уже за то, что ты спасешь ее отъ бѣдности!—не выдержала Маргарита Ивановна, недовольная самоуниженіемъ сына.

Въ ея глазахъ это былъ лучшій и совершеннѣйшій изъ людей.

— Ни отъ чего я ее не спасаю! — горячо возразилъ сынъ.—Такія красавицы, такія умныя и развитыя личности, какъ она, не засиживаются въ дѣвушкахъ. Если Ольга до сихъ поръ еще не вышла замужъ, такъ это только потому, что она не любила выѣздовъ и почти не показывалась въ пустомъ свѣтскомъ обществѣ.

— Костюмы для выѣздовъ очень дорого стоятъ! — ввернула Маргарита Ивановна съ несвойственною ей ѣдкостью.

— Мама! —съ упрекомъ остановилъ ее изумленный сынъ.— Ты ли это говоришь?

Маргарита Ивановна почувствовала, что ея Янъ поймалъ ее въ недоброжелательствѣ къ Ольгѣ Владиміровнѣ, и замолчала, опять упрекая въ душѣ себя въ несправедливости и въ то же время, помимо своей воли, сердясь на невольную виновницу этой несправедливости.

«Недостаетъ только, чтобы я сдѣлалась настоящей свекровью, заѣдающей жизнь невѣстки?» — съ горечью подумала старушка, качая головой.

Вечеромъ, когда Маргарита Ивановна осталась одна съ Оттономъ Августовичемъ, мужъ счелъ нужнымъ заговорить съ женою о достоинствахъ Богуцкой:

— Это сильная по характеру и стойкая дѣвушка. Янъ можетъ быть спокоенъ за себя съ нею: она не запачкаетъ его имени, разъ это имя добровольно присвоила себѣ и она. Я много присматривался къ ней и изучилъ ея взгляды на женскія обязанности.

Онъ говорилъ долго и много, какъ бы стараясь внушить свои взгляды и женѣ, которая молчала, боясь опять прорваться какой-нибудь безтактной враждебной выходкой и скорбно думая:

«Это Отто говоритъ для меня, считая меня несправедливой!»

Ей было страшно тяжело, что ея Отто впервые въ жизни заподозрилъ ее въ несправедливости. До этой поры онъ зналъ, что она мухи не обидитъ, а не только человѣка. Ей стало еще тяжелѣе, когда, уходя въ свой кабинетъ работать, Оттонъ Августовичъ немного наставительно замѣтилъ:

— Мы же, милая Грета, должны со своей стороны сдѣлать все, чтобы она видѣла въ насъ не свекровь и свекра, а мать и отца. Не такъ ли, дорогая? Это нужно для счастія нашего Яна!

Онъ ласково поцѣловалъ ее въ лобъ и удалился.

Никогда она еще не ложилась спать въ такомъ тяжеломъ настроеніи. Ее заподозрили въ несправедливости! ее считаютъ нужнымъ учить быть доброй! Лежа уже въ постели, она вслухъ проговорила:

— Дай Богъ, чтобы эта дѣвушка не внесла большого несчастія въ нашу семью.

VI.

Марья Алексѣевна, когда вопросъ о свадьбѣ ея дочери былъ окончательно рѣшенъ, не удержалась и заговорила своимъ обычнымъ приподнятымъ тономъ:

— О, какъ онъ тебя любитъ! онъ ловитъ каждый твой взглядъ, старается угадать каждое твое желаніе! Онъ будетъ для тебя...

— Мама, у меня же есть свои глаза, — холодно остановила ея изліянія Ольга Владиміровна и сухо начала дѣловой разговоръ.

Когда Теодоръ узналъ, что сестра невѣста Яна Семпеля, онъ поморщился, подумавъ: «бѣлобрысый чухонецъ», и не удержался, сказалъ ей:

— Очень ужъ бѣлобрысъ онъ и малъ ростомъ!

Она промолчала: не увѣрять же его, что она любитъ именно такихъ мужчинъ. Братъ не унялся.

— Правда, такіе мужья особенно удобны: ихъ и пеленать можно, и держать подъ башмакомъ.

— Я бы назвала тебя наглецомъ, если-бъ ты не былъ такъ прискорбно глупъ, — рѣзко замѣтила Ольга Владиміровна.

Они были между собою на ножахъ и не церемонились.

— А ты особенно вѣжлива!—проворчалъ онъ.

Сестра ничего не отвѣтила.

Она вообще старалась, чтобы никто не говорилъ съ нею о ея женихѣ, о его чувствахъ къ ней, о ея чувствахъ къ нему. Это была свѣжая рана, до которой нельзя было дотрогиваться постороннимъ рукамъ. Счастливымъ исключеніемъ былъ, можетъ-быть, одинъ старикъ Семпель. Какъ-то разъ онъ замѣтилъ ей, провожая ласковымъ взглядомъ добродушныхъ голубыхъ глазъ уходившаго сына:

— Янъ безгранично любитъ васъ!

— Я только потому и выхожу за него замужъ, — спокойно отвѣтила она и твердо пояснила:—иначе я была бы бѣдной невѣстой, которой оказываютъ благодѣяніе, женясь

на ней. Теперь же я сознаю, что я могу сдѣлать счастливымъ человѣка, охотно соглашаясь быть его женой.

— Да, вы сумѣете сдѣлать человѣка счастливымъ! — сказалъ Оттонъ Августовичъ, высоко цѣнившій умъ, характеръ и правила Ольги Владиміровны.

«Въ этомъ единственное оправданіе моей рѣшимости»,— мелькнуло въ ея головѣ.

И точно, она сдѣлала все, чтобы Янъ Оттоновичъ, съ перваго же дня своего вступленія въ новую квартиру, гдѣ онъ поселился вдвоемъ со своею женою, почувствовалъ себя безконечно счастливымъ. Ни на одну минуту молодая женщина не дала ему почувствовать даже того, что ее съ непривычки немного утомляли его безчисленные поцѣлуи и ласки, ни на одну минуту въ его голову не закралось подозрѣніе, что она не любитъ его, а только позволяетъ ему любить ее. Разъ, въ порывѣ увлеченія, онъ воскликнулъ:

— Божество ты мое, сколько ты дала мнѣ счастья!

— На то я и божество,—пошутила она:—а не истуканъ, глухой и къ мольбамъ, и къ славословіямъ.

Въ другой разъ онъ откровенно высказалъ вслухъ гнѣздившуюся въ его мозгу мысль:

— Я иногда просто не вѣрю себѣ, что такая красавица, какъ ты, могла полюбить меня, не блещущаго красотой...

— Физіономія тутъ ни при чемъ,—отвѣтила она просто:— главное, безграничная любовь...

Она не лгала: его беззавѣтная любовь мирила ее отчасти съ ея новымъ положеніемъ, она сознавала, что было бы лучше, если бы онъ могъ быть умнѣе, находчивѣе, остроумнѣе, если бы онъ могъ быть красивѣе, развязнѣе, щеголеватѣе, если бы онъ могъ быть выше ростомъ; но она сознавала и то, что положительно никто не могъ ее любить такъ, какъ любилъ онъ, беззавѣтно, довѣрчиво, восторженно. Она понимала даже, что другая на ея мѣстѣ злоупотребила бы своей властью—стала бы по-мѣщански командовать имъ, вить изъ него веревки, держать его подъ башмакомъ, можетъ-быть, обманывать его. Она дѣлала брезгливую гримасу. Она никогда не злоупотребитъ его обожаніемъ: она будетъ дѣлать все, чтобы платить привязанностью за его страстную любовь.

VII.

Было нѣсколько случаевъ, когда Янъ Оттоновичъ ясно увидалъ, что жена ревниво и разумно охраняетъ ихъ се-

мейное счастье отъ всякихъ постороннихъ вторженій и вліяній. Какъ-то разъ она случайно услыхала, какъ онъ расхваливалъ ее своей матери и восторженно говорилъ о томъ, до какой степени онъ счастливъ. Вѣроятно, Маргарита Ивановна все еще сомнѣвалась въ невѣсткѣ. Когда мать молодого мужа уѣхала, Ольга Владиміровна мягко и ласково замѣтила ему:

— Ахъ, милый, какъ ты экспансивенъ. Зачѣмъ такъ много говорить Маргаритѣ Ивановнѣ о нашемъ счастіи? Старушка можетъ приревновать тебя ко мнѣ, отнявшей тебя у нея. Это принесетъ ей огорченіе и можетъ заронить чувства враждебности ко мнѣ въ ея добрую душу.

— Мама же такъ любитъ меня и должна радоваться моему счастью,—возразилъ онъ.

— Любитъ и потому можетъ ревновать,—пояснила она.— Будемъ счастливы для самихъ себя, не впуская никого въ свою святую святыхъ.

Она засмѣялась:

— Знаешь, когда человѣкъ здоровъ, онъ никогда не хвастаетъ этимъ здоровьемъ, не кричитъ о немъ. Иначе можно заподозрить, что прежде онъ не былъ здоровымъ, и хвастаетъ этимъ, какъ чѣмъ-то новымъ для него... Или, пожалуй, еще заподозрятъ, что онъ говоритъ о своемъ здоровьѣ, чтобы скрыть истину, чтобы разсѣять чьи-то подозрѣнія...

— Ты думаешь, что мама можетъ заподозрить, что я не вполнѣ счастливъ?—сказалъ онъ весело.—Да стóитъ только взглянуть на меня. Отъ меня вѣдь пышетъ счастіемъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, я просто боюсь, что бѣдная Маргарита Ивановна обидится и скажетъ въ душѣ: «Охъ, дѣти, дѣти, всегда-то они таковы: мать дѣлай для нихъ что хочешь, и все-таки съ любимой женой они будутъ чувствовать себя счастливѣе». Материнскій эгоизмъ нужно щадить даже ради самихъ себя... Я, по крайней мѣрѣ, чувствую, что я буду страшно ревнивой матерью...

— Да? И ко мнѣ будешь ревновать нашихъ дѣтей?— спросилъ онъ, заглядывая счастливыми глазами въ ея лицо.

— Мы же одинъ человѣкъ,—коротко отвѣтила она.

Онъ припалъ губами къ ея рукамъ.

Въ другой разъ онъ также случайно услышалъ изъ кабинета ея разговоръ съ Маріей Алексѣевной. Генеральша шумно жаловалась на своего Теодора, вышедшаго въ офицеры. Съ каждымъ днемъ ему нужно все болѣе и болѣе денегъ. Мотыга! Долги сталъ дѣлать. Мало того, что у нея

есть свои долги, такъ еще онъ должаетъ! Молоко на губахъ не обсохло, а должаетъ...

— Кстати, не можешь ли ты ссудить мнѣ денегъ?—закончила свои жалобы мать.

— У меня же нѣтъ своихъ денегъ,—сухо отвѣтила дочь.

— Какъ, развѣ твой мужъ ничего не даетъ тебѣ?—удивилась генеральша.

— Мнѣ же деньги не нужны ни на что.

— Что же, онъ самъ изволитъ и хозяйничать?—презрительно замѣтила мать.

— О, нѣтъ!

— Такъ изъ чего же ты хозяйничаешь?

— Изъ хозяйственныхъ денегъ.

— Такъ значитъ же у тебя есть деньги?

— Да, на хозяйство есть.

Генеральша возмутилась.

— Что же, онъ усчитываетъ каждый грошъ?

— Нѣтъ, я усчитываю, чтобы не тратить лишняго.

Разговоръ былъ прерванъ Яномъ Оттоновичемъ.

Онъ вышелъ изъ кабинета съ смущеннымъ видомъ и черезъ нѣсколько времени улучилъ минуту и вызвалъ знаками жену.

— Оля, прости... Я случайно слышалъ весь разговоръ,—началъ онъ тихо и осторожно.—Твоей матери нужны деньги. Сколько? Возьми!

Она покачала головой и, весело смѣясь, промолвила:

— Глупый!

А затѣмъ, ничего не объясняя мужу, вышла въ гостиную, гдѣ сидѣла ея мать.

Едва успѣла генеральша уѣхать, какъ Ольга Владиміровна прошла въ кабинетъ мужа и, шутя, взяла его за ухо.

— Это за вмѣшательство въ чужія дѣла!

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, Оля! —началъ онъ въ смущеніи.

— Что въ самомъ дѣлѣ? Надо помочь моему братцу пьянствовать и развратничать, потому что онъ надѣлъ офицерскій мундиръ? Надо помочь моей матери расшвыривать деньги и дѣлать долги, потому что она не умѣетъ жить... Ахъ, голубчикъ, на это я насмотрѣлась до того, что... Ну, да не будемъ говорить объ этомъ, а то мнѣ станетъ невыносимо скверно... Я довольно страдала отъ всего этого и до замужества...

Впервые она, взволнованная, поблѣднѣвшая, разсказала ему въ общихъ чертахъ, какъ неумѣло жила ея мать, какъ

распущенъ былъ ея братъ, какъ ихъ одолѣвали всякіе кредиторы,—разсказала страстно, мрачнымъ тономъ, не плачась, не гримасничая, а какъ-то такъ, какъ говорятъ о чемъ-то роковомъ, неотвратимомъ.

— Я знаю, что ихъ жизнь погубитъ ихъ, и знаю также, что спасти ихъ нельзя,—мрачно закончила она.—Кто вздумаетъ тащить ихъ изъ омута, тотъ самъ погибнетъ въ немъ. Я знала это и прежде... и... Ты знаешь теперь, отъ чего ты спасъ меня и за что я люблю тебя...

Если бы можно было сойти съ ума отъ счастія, онъ сошелъ бы съ ума именно въ этотъ день: впервые она прямо сказала ему, что она любитъ его, впервые она прижалась къ нему, точно боясь, что ее утащатъ отъ него въ этотъ омутъ долговъ, кредиторовъ, дрязгъ, униженій, изъ-за гроша и безпутной привычки мотать, мотать и мотать деньги, въ то же время протягивая, куда можно, руки за подачками, вспомоществованіями и пособіями.

VIII.

Жизнь въ квартирѣ молодыхъ Семпель шла спокойно и мирно.

Утромъ мужъ уходилъ въ одиннадцать часовъ на службу, къ пяти являлся къ обѣду. Вечера посвящались чтенію вслухъ книгъ и его любимымъ музыкальнымъ занятіямъ, въ которыхъ сказывалось мало таланта, мало школы, но много упорства и чувства. Два раза въ мѣсяцъ у нихъ бывали назначенные вечера. Такіе же вечера и тоже два раза въ мѣсяцъ попрежнему продолжались у стариковъ Семпель. Раза два въ мѣсяцъ посѣщались театры или концерты. Въ воскресенье старики Семпель и ихъ сынъ неизмѣнно бывали въ церкви. Кружокъ знакомыхъ и у стариковъ, и у молодыхъ былъ почти одинъ и тотъ же: старые испытанные друзья, немного старомодные люди, словно выхваченные со страницъ «Кладдерадача,» съ въѣвшимися въ плоть и кровь взглядами, привычками и обычаями, немного чопорные и накрахмаленные, какъ мысленно говорила про нихъ Ольга Владиміровна, но безусловно честные и вѣрные и своимъ друзьямъ, и своимъ принципамъ. Впереди всѣхъ, какъ настоящій Моисей своего маленькаго народа, стоялъ пасторъ Флинтъ, которымъ гордились прихожане и близкіе къ нимъ люди, какъ ученымъ изслѣдователемъ родной народной жизни, собиравшимъ сказки, пѣсни и мелодіи своего народа, и какъ твердой опорой всѣхъ нуждающихся

въ помощи изъ пасомыхъ имъ лицъ. Во главѣ женщинъ стояла его жена, маленькая, хлопотливая старушка, съ выкрошившимися зубами и добродушно улыбавшимся широкимъ ртомъ, устраивавшая рукодѣльныя собранія среди болѣе состоятельныхъ членовъ прихода въ пользу нуждающихся и разныя елки для бѣдныхъ дѣтей прихода. Пасторъ Флинтъ немного поморщился, когда тайный совѣтникъ Семпель сказалъ ему о намѣреніи Яна жениться на православной. Но нельзя же было дѣлать юношу несчастнымъ ради религіозныхъ вопросовъ. Юноша былъ еще чистъ, какъ самая чистая изъ дѣвушекъ; онъ полюбилъ впервые, и, Богъ вѣсть, что могло бы выйти, если бы воспротивились его первой любви ради его вѣроисповѣданія. Пасторъ Флинтъ понялъ все это не хуже самого старика Семпеля, и ограничился только тѣмъ, что при вѣнчаніи сказалъ молодому человѣку прочувствованную проповѣдь о томъ, что онъ долженъ, не смотря ни на что, оставаться вѣрнымъ своей церкви и своему народу, твердо идя по стопамъ своего почтеннаго отца, никогда не забывавшаго своего происхожденія.

— Мы всегда глубоко скорбимъ,—закончилъ почтенный пасторъ:—когда среди насъ являются люди, гнушающіеся своимъ происхожденіемъ и мѣняющіе свое вѣроисповѣданіе по какимъ бы то ни было причинамъ...

И съ первыхъ же дней своей женитьбы Семпель младшій сдѣлался, подобно своему отцу, членомъ церковнаго благотворительнаго общества и сталъ принимать по воскресеньямъ, отъ двухъ, до трехъ часовъ, своихъ нуждающихся земляковъ, горячо принимая участіе въ ихъ нуждахъ, печаляхъ и стремленіяхъ. Въ свободные часы, когда Ольга Владиміровна оставалась одна дома, она шила, вышивала, хозяйничала. Въ душѣ и кругомъ царствовала глубокая тишина, какъ въ могилѣ...

— А я къ тебѣ съ новостью!—воскликнула Марья Алексѣевна, посѣтивъ какъ-то дочь и торопливо здороваясь съ нею.—Вообрази, наша юродивая выходитъ замужъ!

— Катишъ?—немного удивилась Ольга Владиміровна, зная, что, ея кузина, Екатерина Марковна Гомозова была не особенно красива собой, жила постоянно въ деревнѣ и какъ-то сторонилась людей.

— Да, и представь за кого? За Петра Николаевича Труворова... Онъ провинціальный воротила, что-то въ родѣ дворянскаго предводителя, однимъ словомъ, человѣкъ съ

карьерой... Сестра Женя въ восторгѣ отъ своего будущаго зятя... Превозноситъ его въ письмѣ... Конечно, на деньгахъ женится на нашей юродивой... Ахъ, деньги, деньги, чего онѣ ни дѣлаютъ!

Ольга Владиміровна молчала; она лучше матери знала, что дѣлаютъ деньги.

— Ты, разумѣется, поѣдешь на свадьбу?.. Женя навѣрное будетъ звать.

— Не думаю!

— Нельзя же... Женя старуха, а все же пріѣзжала къ тебѣ на свадьбу; даже Катишъ сдѣлала тебѣ эту великую честь... было бы неловко, если бы вы не поѣхали къ ней.

— У мужа служба, да, кромѣ того, онъ такъ привыкъ не разставаться со своими... одна же я, конечно, не поѣду.

— Нельзя же вѣчно быть пришитымъ къ папашѣ и мамашѣ!—презрительно воскликнула генеральша.

Ольга Владиміровна промолчала.

— У васъ вообще, точно въ больницѣ: въ такой-то часъ такое-то лѣкарство по столовой ложкѣ,—замѣтила съ насмѣшкой въ голосѣ Марья Алексѣевна и немного раздражила свою дочь своимъ насмѣшливымъ тономъ.—Это убійственно скучно и однообразно.

— Утреннія посѣщенія кредиторовъ и ихъ брань, мама, были тоже не веселѣе и не разнообразнѣе,—отвѣтила колко и рѣзко Ольга Владиміровна:—и хотя я давно не бывала у васъ, но я впередъ могу сказать, что, напримѣръ, дѣлалось у васъ вчера, какъ Теодоръ бушевалъ изъ-за разорванныхъ перчатокъ, какъ требовалось не имѣющихся въ домѣ денегъ на циркъ, и какъ онъ вернулся пьяный послѣ цирка изъ какого-нибудь кабачка... Это тоже и не весело, и однообразно!

— Какъ это мило—попрекать насъ нашими стѣсненными обстоятельствами!—воскликнула брезгливо мать.—Ты среди своихъ чухонъ дѣлаешься настоящей буржуазкой.

— Я васъ не попрекаю ничѣмъ. Я хочу только сказать, что всякая жизнь однообразна и что я предпочитаю однообразіе честнаго семейнаго счастья всякому другому однообразію—однообразію дрязгъ, попоекъ, кутежей... Вообще съ моей стороны было бы крайнею неблагодарностью, если бы я хоть на минуту пожаловалась на ту жизнь, которая выпала на долю мнѣ. Я шла замужъ, потому что у меня не было другого исхода, меня, въ сущности, спасли отъ петли, а между тѣмъ мнѣ на каждомъ шагу даютъ чув-

ствовать, что благодѣяніе сдѣлано не мнѣ, а, что, напротивъ того, благодѣяніе сдѣлала я... О, я бы презирала себя, если бы я отравила хоть на мгновеніе счастіе этихъ людей, смотрящихъ мнѣ въ глаза, чтобы исполнить малѣйшее мое желаніе...

Мать слушала ея горячую рѣчь, съ сомнѣніемъ качая головой, и, наконецъ, засмѣялась свойственнымъ ей легкомысленнымъ смѣхомъ.

— Ты, должно-быть, часто повторяешь все это себѣ,— замѣтила она.—Оттого это и выходитъ у тебя такъ трогательно и краснорѣчиво!

Ольга Владиміровна окончательно разсердилась: ее неожиданно поймали на чемъ-то, угадали то, что она нерѣдко передумывала сама съ собой.

— Я не знаю, для чего вы начали весь этотъ разговоръ,—сдержанно и холодно сказала она, стараясь казаться невозмутимой. — Но я разъ и навсегда попрошу васъ не мѣшаться въ мою семейную жизнь, въ мое семейное счастье!

— Развѣ ты боишься, что оно разсѣется, какъ призракъ, отъ одного прикосновенія къ нему?—пренебрежительно проговорила мать.

Когда она ушла, Ольга Владиміровна погрузилась въ мрачное раздумье. Неужели она подала чѣмъ-нибудь поводъ матери или кому-нибудь заподозрить, что она несчастлива? Правда, бывали минуты, когда она чувствовала, что ей чего-то недостаетъ, когда ей казалось, что ее что-то гнететъ и душитъ, что она была бы низкою и недостойною женщиною, если бы посмѣла роптать на свою жизнь. Но эти минуты переживала только она одна сама съ собою, и о нихъ не зналъ никто... Ей вдругъ пришло въ голову: почему же такъ настойчиво увѣрялъ ея мужъ свою мать въ ихъ взаимномъ семейномъ счастіи? Не подозрѣвала ли и та, что ихъ супружеское счастье не совсѣмъ полное? Отчего она иногда такъ пытливо смотритъ на нее, на Ольгу Владиміровну, точно спрашиваетъ ее, вполнѣ ли она довольна своей судьбой, вполнѣ ли счастлива она? Недостаетъ только того, чтобы ея мать, со свойственнымъ ей легкомыслiемъ, стала на сторонѣ сожалѣть ее, говорить со вздохомъ, что она несчастна...

— Какъ могутъ иногда глупые люди отравить спокойствіе ближнихъ одной глупой фразой, одной пошлой мыслью!— раздражительно проговорила она, строго сдвигая брови.

IX.

Старая тетка Ольги Владиміровны, Евгенія Алексѣевна Гомозова, очень радушно приглашала пріѣхать Ольгу Владиміровну и ея мужа на свадьбу своей дочери и кстати погостить въ ея подмосковномъ имѣніи, послѣ отъѣзда молодыхъ за границу.

— Намъ нужно бы ѣхать. Твоя тетка была такъ любезна, присутствовала на нашей свадьбѣ,—немного нерѣшительно замѣтилъ Янъ Оттоновичъ, прочитавъ письмо Гомозовой.

Ольга Владиміровна чутко уловила въ его словахъ звуки нерѣшительности и, угадавъ, что онъ не хочетъ ѣхать, поспѣшила сказать:

— Да, но какъ же твоя служба? И притомъ Оттонъ Августовичъ и Маргарита Ивановна будутъ скучать безъ тебя...

— Это не важно,—возразилъ онъ.—На службѣ я имѣю право взять двухмѣсячный отпускъ, а папѣ съ мамой не придется много скучать: мы поѣдемъ недѣли на двѣ, на три, а они въ это время переберутся на дачу... Кстати, нынче пасторъ Флинтъ переѣзжаетъ на дачу къ намъ. Для насъ приготовляется верхъ большой дачи, а пасторъ нанимаетъ у папы маленькую дачу... Меня смущаетъ вовсе не это, а твое положеніе...

— Мое положеніе?—удивилась Ольга Владиміровна.

— Ну, да; не утомитъ ли тебя дорога, не повредитъ ли это твоему здоровью. Надо бы спросить доктора,—пояснилъ онъ.

— О, это пустяки! Я чувствую себя отлично.

Уже нѣсколько мѣсяцевъ, какъ она была беременна.

— Въ такомъ случаѣ, если ты не боишься утомиться, то мы ѣдемъ. Все же провѣтримся и поразнообразимъ жизнь,—рѣшилъ онъ.

Она промолчала. Дѣйствительно, гдѣ-то въ глубинѣ души она чувствовала все сильнѣе и сильнѣе необходимость разнообразія, отдыха отъ этого буднично-безцѣльнаго существованія среди чуждыхъ ей интересовъ и людей. Кромѣ того, теперь ее еще немного испугала перспектива провести цѣлое лѣто не только со стариками Семпель, но и съ семействомъ пастора Флинта. Пасторша, какъ ей было извѣстно изъ разсказовъ, лѣтомъ обыкновенно занималась изготовленіемъ разныхъ изящныхъ бездѣлушекъ для зимнихъ благотворительныхъ лотерей и базаровъ: дѣлала абажуры изъ бумажныхъ цвѣтовъ, изготовляла затѣйливыя вещицы для выти-

ранія перьевъ, колпачки для ламповыхъ стеколъ, вышивала подушки, плато, коврики, покрышки для чайниковъ. Во всемъ этомъ придется принять участіе, помогать ей. Хуже всего было то, что всѣ эти пустячки вызываютъ всеобщій наивный восторгъ, точно все это не продается за гроши въ Перинной линіи Гостинаго двора. Эти лѣтнія занятія пасторши обыкновенно чередуются съ хлопотами о больныхъ бѣднякахъ, которые стекаются къ ней съ гнойными язвами на тѣлѣ, съ покрытыми золотушными струпьями дѣтьми на рукахъ, и пасторша, весело показывая свои гнилые зубы въ растянутомъ улыбкою ртѣ, бодро и твердо вѣруя въ силу своихъ лѣкарствъ и въ нетребовательность простыхъ натуръ, носится изъ угла въ уголъ, какъ шарикъ, промываетъ раны, дѣлаетъ перевязки, даетъ паціентамъ спирты, спуски, горчичники и больше всего чаю, сахару... У тетки, Евгеніи Алексѣевны, все же будетъ, вѣроятно, что-нибудь новое. Жажда чего-нибудь новаго уже давно закралась въ ея душу и сосала ее, какъ червь!

Оттонъ Августовичъ слишкомъ сильно любилъ своего Яна, чтобы отговаривать его отъ поѣздки или показывать сыну, что ему непріятенъ этотъ отъѣздъ. Оттонъ Августовичъ, напротивъ того, очень весело и одобрительно встрѣтилъ извѣстіе объ отъѣздѣ.

— Разсѣетесь немного, посмотрите на жизнь, — сказалъ онъ.—А то молодые люди, а сидите въ четырехъ стѣнахъ, не видите, какъ другіе люди живутъ. Нѣтъ, я на своемъ вѣку всего насмотрѣлся, разъѣзжая по ревизіямъ. Помнишь, Грета, какъ мы колесили по Россіи?..

— Да, это было тяжело, это было тяжело! — вздохнула старушка, не вполнѣ разслышавъ, что хотѣлъ сказать Отто.

Со стороны Оттона Августовича такимъ образомъ препятствій не было, но Маргарита Ивановна не удержалась и озабоченно сказала сыну, оставшись съ нимъ наединѣ:

— Меня Отто пугаетъ.

— Что такое?—удивился сынъ.

— Его астма все усиливается,—пояснила она.

— Ну, мама, это же всегда бываетъ такъ къ концу зимы,—сказалъ онъ и, наморщивъ блѣдно-желтоватый лобъ, спросилъ:—или тебѣ сказалъ что-нибудь тревожное докторъ?

— Ты же знаешь, отецъ пренебрегаетъ совѣтами докторовъ и работаетъ, работаетъ, точно ему все еще двадцать пять лѣтъ, а не шестьдесятъ пять...

— Ну, на дачѣ папа обыкновенно немного отдыхаетъ...

больше ходить... смолистый воздухъ лѣса дѣйствуетъ на него благотворно...

Она вздохнула: все это знала и она сама, но, тѣмъ не менѣе, ей было тяжело, что онъ уѣзжаетъ. Никогда не уѣзжалъ и теперь уѣзжаетъ. Онъ бы, конечно, и не уѣхалъ, если бы не жена. Вѣроятно, это она настаиваетъ. Вѣдь ея же двоюродная сестра идетъ замужъ; среди родныхъ пріятно побыть. Самъ Янъ никогда бы не вздумалъ ѣхать; онъ не любитъ ѣздить гостить къ чужимъ.

— Конечно, Ольгѣ Владиміровнѣ пріятно повидаться съ родными,—начала Маргарита Ивановна.

Онъ перебилъ ее, угадывая ея мысль:

— Ты, мама, кажется, думаешь, что это ея желаніе? Нѣтъ, это я настаиваю на поѣздкѣ. Мнѣ кажется было бы неделикатнымъ отвѣтить отказомъ на любезное приглашеніе Евгеніи Алексѣевны, разъ она, старуха, пріѣзжала изъ Москвы на нашу свадьбу.

— Ахъ, онѣ всѣ ежегодно путешествуютъ и безъ того. Что же имъ значило прискакать на чью-то свадьбу по дорогѣ за границу, — пренебрежительно сказала Маргарита Ивановна. — Лишнее развлеченіе, и только...

— Ну, а для насъ это будетъ первое развлеченіе, — замѣтилъ сынъ, подчеркивая слово «первое».

— Да?—спросила многозначительно старушка. — Прежде ты, кажется, не жаловался на недостатокъ развлеченій.

— Ахъ, ты, мой неисправимый эгоистъ! — воскликнулъ онъ и, поцѣловавъ ее, шуткою закончилъ разговоръ.

Онъ зналъ, что между нимъ и матерью было одно разногласіе — ея тайное недовѣріе къ невѣстѣ, слѣдствіе чисто материнской ревности, той ревности, о которой говорила Ольга Владиміровна, откровенно заявляя впередъ, что и она будетъ тоже страшно ревнивой матерью.

Отъѣздъ молодыхъ Семпель былъ рѣшенъ...

X.

Евгенія Алексѣевна, сѣдовласая, статная и нѣсколько сдержанная старуха-помѣщица, и ея не высокая ростомъ, не особенно красивая, но подвижная и дѣятельная дочь Екатерина Марковна очень любезно приняли Семпеля съ женой и пріѣхавшую на ихъ счетъ Марью Алексѣевну. Для нихъ уже были приготовлены заранѣе комнаты и предусмотрѣно все, чтобы они чувствовали себя, какъ дома.

Усадьба Гомозовой принадлежала къ числу тѣхъ бога-

тыхъ барскихъ усадебъ, которыхъ во времена оскудѣнія остается все меньше и меньше въ рукахъ старыхъ владѣльцевъ и которыя, переходя въ руки аферистовъ, кулаковъ, скупщиковъ родовыхъ имѣній, перестаютъ носить свой прежній характеръ и начинаютъ въ лучшихъ случаяхъ походить на пригородныя дачи съ неудобной буковой мебелью и безвкусною раскрашенной вѣнской бронзой. Старуха Гомозова, имѣвшая несчастіе потерять мужа и трехъ сыновей, доканчивала свой вѣкъ съ дочерью, съ давнихъ поръ покидая свое родовое гнѣздо только на мѣсяцъ или на два въ году, то для посѣщенія родныхъ въ Москвѣ и Петербургѣ, то для лѣченія за границей. Въ этомъ домѣ все носило характеръ хорошаго стараго барства съ его вѣковой обстановкой, съ просторомъ, со множествомъ старыхъ слугъ, съ отпечаткомъ на всемъ щедрости и сытости.

Когда хозяйка и новоприѣзжіе родственники собрались въ столовой за завтракомъ, Екатерина Марковна еще разъ поблагодарила Семпелей за то, что они пріѣхали къ ней на свадьбу.

— Это мило особенно съ вашей стороны, что вы пріѣхали,—дружески пожимая руку Яна Оттоновича, проговорила она. — Тетя писала, что вы такой домосѣдъ и семьянинъ, и, конечно, это для васъ большая жертва.

Янъ Оттоновичъ, по обыкновенію, нѣсколько сконфузился и растерялся, не понимая вполнѣ, хвалятъ ли его или порицаютъ за то, что онъ домосѣдъ и семьянинъ, и сталъ подбирать банальныя фразы о томъ, что онъ счелъ своимъ непремѣннымъ долгомъ, «что ему было такъ пріятно». Екатерина Марковна перебила его, ласково улыбаясь:

— Я по себѣ знаю, какъ тяжело и скучно подниматься съ насиженнаго мѣста. Я тоже изъ породы нелюдимовъ и дикарей. Какъ пріѣду изъ нашей благодатной глуши въ большой чужой городъ, такъ и растеряюсь, чувствуя себя и ненужной, и лишней.

— Ахъ, да! вѣдь ты здѣсь, кажется, постоянно кого-то лѣчишь и кого-то обучаешь? — съ легкой ироніей замѣтила Ольга Владиміровна, вспомнивъ, что мать говорила ей что-то «о юродствѣ» мало знакомой ей Катишъ.

— О, нѣтъ, для лѣченья у насъ хорошій докторъ, фельдшеръ и фельдшерица есть, для школъ учитель и учительница, — весело отвѣтила Екатерина Марковна. — Я только живо интересуюсь всѣмъ этимъ, какъ басенная муха около тарантаса... Живя въ деревнѣ, этого не избѣжишь... Ну, а

иногда, конечно, могу кое-чѣмъ и помочь, когда нужна матеріальная помощь.

— Да, да, вы вѣдь съ тетей здѣшнія добрыя феи,—пошутила Ольга Владиміровна.

— Во всякомъ случаѣ, считаемъ себя не совсѣмъ ненужными людьми, какъ люди хорошо обезпеченные среди голи, — отвѣтила Екатерина Марковна, не уловившая ни насмѣшливости, ни затаеннаго недоброжелательства въ словахъ двоюродной сестры. — И я такъ счастлива, что мой будущій мужъ тоже прикованъ къ этимъ мѣстамъ.

— Онъ здѣшній дворянскій предводитель? — мелькомъ спросила Ольга Владиміровна.

— О, нѣтъ, онъ предсѣдатель земской управы,—отвѣтила Екатерина Марковна.

— А мама говорила мнѣ...—начала Ольга Владиміровна.

— Ахъ, это я всегда путаю, — отозвалась съ другого конца стола Марья Алексѣевна. — У насъ въ Петербургѣ никакихъ тамъ предводителей дворянства и предсѣдателей земскихъ управъ нѣтъ...

— Вы, тетя, ошибаетесь, — засмѣялась Екатерина Марковна.

— Ну, можетъ-быть, и есть, не спорю, но это такъ мало кого интересуетъ... Тамъ министры, товарищи министровъ, гофмаршалы, командующіе полками генералы...

Общество, окончивъ завтракъ, перешло на террасу. Екатерина Марковна, продолжая разговоръ, разсказывала Семпелю:

— Мой будущій мужъ очень дѣятельный человѣкъ, и нашъ край уже обязанъ ему многимъ по части школъ и медицины.

Янъ Оттоновичъ оживился.

— Да, это великое дѣло—любить свой народъ, чувствовать свою связь съ нимъ, приносить ему посильную пользу. Я очень часто сожалѣю, что моя дѣятельность сильно сужена, сведена на канцелярскія занятія, и что я могу помогать своимъ соотечественникамъ только въ чисто денежныхъ затрудненіяхъ—отдѣльнымъ личностямъ, а не народу.

Онъ распространился о томъ, что его отецъ былъ и остался чиновникомъ по необходимости, что по необходимости же сдѣлалъ старикъ и изъ него чиновника, тогда какъ у обоихъ сердце лежитъ къ народу, хотѣлось бы жить его жизнью. Они сами изъ народа. Если когда-нибудь исполнится его завѣтная мечта, онъ купитъ себѣ землю и поселится среди своего народа. Это честный, добрый, хотя и сильно забитый

нуждою и потому немного дикій народъ; онъ нуждается и въ помощи, и въ свѣтѣ. Онъ разоткровенничался до того, что разсказалъ исторію своего «дикаря-дѣда», не перенесшаго утраты своей жены и повѣсившагося съ горя.

— Тоже и бѣднякъ, и дикарь былъ,—закончилъ онъ.— Не умѣлъ иначе протестовать противъ невзгодъ...

— Конечно, если ваши мечты сбудутся—это дастъ вамъ возможность расширить вашу дѣятельность, — горячо сказала Катишъ, чувствуя особенную симпатію къ этому робкому, немного сбивчиво объясняющемуся человѣку.—Въ городѣ гораздо труднѣе серьезно помогать людямъ чѣмъ-нибудь существеннымъ, а не одними грошами, которые рѣдко спасаютъ людей и только, въ концѣ-концовъ, исчерпываются въ карманѣ дающаго.

— Жизнь въ деревнѣ требуетъ большихъ жертвъ,—вмѣшалась въ разговоръ Ольга Владиміровна.

— Жертвъ? — удивленно спросила Екатерина Марковна и пожала плечами.—Мнѣ кажется, для меня было бы жертвой поселиться въ столицѣ... Впрочемъ, тутъ все дѣло въ привычкѣ... Я ужъ, должно-быть, такъ и рождена для роли дикарки; въ большомъ обществѣ мнѣ всегда кажется, что на меня кто-то наступитъ и станетъ меня разсматривать, какъ маленькую букашку... достаточно ли я по модѣ одѣта...

— О, были бы деньги, а модистки всегда сумѣютъ одѣть по модѣ,—воскликнула Ольга Владиміровна.

Катишъ добродушно засмѣялась.

— Ну, если придется модисткѣ одѣвать по модѣ меня, то я всегда буду казаться себѣ общипаннымъ цыпленкомъ, втиснутымъ въ пестрый гарниръ!

«Кокетничаетъ своей некрасивой фигурой и напрашивается на комплименты!» — мелькнула мысль въ головѣ Ольги Владиміровны.

Разговоръ былъ прерванъ пріѣздомъ двухъ братьевъ Трубровыхъ. Оба брата были высокіе, статные люди. Старшій—Петръ, женихъ Катишъ,—былъ бѣлокуръ; младшій—Андрей—былъ брюнетъ. Оба были коротко острижены, у обоихъ были здоровыя загорѣлыя лица. Ни въ лицахъ, ни въ фигурахъ не было ничего бросающагося въ глаза, не заурядnаго. Послѣ взаимныхъ рекомендацій, Петръ обратился къ своей невѣстѣ:

— Вы ужъ, вѣрно, слышали о несчастіи въ Горбатовѣ? Половина села выгорѣла сегодня подъ утро.

— Да—неужели?—воскликнула Екатерина Марковна съ выступившей краской на лицѣ.

— Я тебѣ и забыла разсказать,—замѣтила Евгенія Алексѣевна, обращаясь къ дочери. — Мнѣ уже докладывалъ приказчикъ.

— Да, придется принять экстренныя мѣры помощи, — сказалъ Петръ Труворовъ.

Они оживленно заговорили о бѣдствіи. Горбатово было не далеко отъ ихъ имѣній, и его жители были имъ не чужіе. Бѣдствіе сосѣдей, такъ или иначе, касалось всѣхъ.

— Андрей, тотъ уже успѣлъ поработать,—замѣтилъ между прочимъ Петръ Петровичъ. — Два человѣка требовали немедленной помощи.

— Опасно ранены?—спросила Екатерина Марковна, повернувъ голову въ сторону молодого доктора.

— Одинъ едва ли выживетъ, а другой поплатился ожогомъ рукъ. Этого поставимъ на ноги... А вотъ если бы вы, Екатерина Марковна, соблаговолили поставить на ноги меня—большое спасибо сказалъ бы вамъ.

Катишъ взглянула на него съ недоумѣніемъ. Петръ Петровичъ, смѣясь, пояснилъ:

— Я и забылъ сказать, что я сейчасъ, ѣдучи къ вамъ, по дорогѣ захватилъ брата прямо изъ Горбатова, гдѣ онъ проработалъ все утро. Онъ только успѣлъ вымыть руки, а поѣсть не успѣлъ.

— И голоденъ, какъ самый голодный волкъ, — шутливо закончилъ докторъ.

— Такъ что же вы не заявили сейчасъ же!?—упрекнула Катишъ и заторопилась, чтобы доктору подали завтракъ.

XI.

Странное чувство испытывала Ольга Владиміровна, узнавъ въ теченіе пары дней отъ разныхъ лицъ и отрывками исторію любви Екатерины Марковны и Петра Петровича Труворова. Бывшій товарищъ одного изъ покойныхъ братьевъ Екатерины Марковны, Петръ Петровичъ Труворовъ преподавалъ Екатеринѣ Марковнѣ, когда той было пятнадцать лѣтъ, а ему двадцать четыре года, русскую исторію и исторію русской литературы. На этой почвѣ происходило ихъ незамѣтное сближеніе въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Ольга Владиміровна пробовала пронизировать, слушая отъ тѣхъ или другихъ лицъ отрывки изъ исторіи этой долгіе годы крѣпнувшей любви.

— Отчего ты никогда не говорила ни мнѣ, ни моей мамѣ о своей любви къ Петру Петровичу? — вскользь спросила Ольга Владиміровна, говоря съ Катишъ о ея женихѣ.

— Это же никого не касалось, кромѣ насъ двоихъ, — просто отвѣтила Катишъ.

— Очень ужъ много говорится тутъ о единомысліи, о сходствѣ убѣжденій, — замѣтила Ольга Владиміровна брату Петра Петровича, слушая его разсказъ о любви этихъ людей. — Такъ и кажется, что это не вступленіе въ бракъ, а вступленіе въ ассоціацію.

Докторъ усмѣхнулся и проговорилъ:

— Ну, не говорите этого! Тутъ влюбленности и страсти хоть отбавляй.

— Да, вашъ братъ, вѣроятно, позволяетъ себя любить, видя, что Катишъ влюблена въ него до безумія, — сказала Ольга Владиміровна.

— О, нѣтъ! съ его стороны тутъ гораздо больше страсти,— отвѣтилъ докторъ.— Вы не знаете его. По темпераменту онъ немножко дикарь: у него все черезъ край... натура широкая...

За нѣсколько дней передъ свадьбой все общество было въ сборѣ, въ гостиной не было только Ольги Владиміровны. Она вошла въ комнату, когда Петръ Петровичъ сѣлъ за рояль и сыгралъ, между прочимъ, одну изъ разудалыхъ русскихъ пѣсенъ. Игралъ онъ очень не дурно и съ большой энергіей, хотя скорѣе, какъ самоучка, чѣмъ какъ человѣкъ, прошедшій хорошую школу.

— Да, вы правы, эта пѣсня вполнѣ передаетъ русскій характеръ. — замѣтилъ Янъ Оттоновичъ, видимо продолжая серьезный разговоръ съ Петромъ Петровичемъ и Екатериной Марковной о народныхъ пѣсняхъ и мелодіяхъ, которыя онъ страстно любилъ. — Въ нашихъ пѣсняхъ нѣтъ ничего подобнаго. Онѣ унылы и однообразны, какъ наша скупая мачеха-природа, хотя часто очень поэтичны въ своей глубокой грусти. Нашъ почтенный пасторъ Флинтъ, глубокій знатокъ народной поэзіи, познакомилъ меня со всѣми ея красотами и тонкостями...

Онъ, въ свою очередь, присѣлъ къ роялю и заигралъ. Мелодія была дѣйствительно тосклива и уныла. У Ольги Владиміровны вдругъ защемило сердце, точно впервые она услыхала эти ноющіе, хватающіе за душу звуки, точно не каждый день по цѣлымъ часамъ наигрывалъ ея Янъ, варьируя ихъ и фантазируя на родныя ему и чуждыя ей темы, и вдругъ въ ея головѣ мелькнула злая мысль:

«И такъ будетъ всю жизнь, всю жизнь!»

Она раздражительно поднялась со стула, на который только-что присѣла, и такъ же незамѣтно, какъ вошла въ гостиную, ускользнула на террасу.

«Неблагодарная, неблагодарная! Меня спасли отъ позора, отъ петли, можетъ-быть, а я ропщу, что мнѣ недостаетъ веселья!» — ругала она себя мысленно, въ волненіи ходя по террасѣ.

— Ахъ, ты здѣсь! — раздался около нея голосъ Марьи Алексѣевны.—А тамъ всѣхъ потѣшаетъ Петръ Петровичъ, разсказывая какіе-то невозможные анекдоты о здѣшнихъ самодурахъ-купцахъ и помѣщикахъ.

— А я и не знала, что этотъ идейный герой можетъ снизойти до разсказыванья анекдотовъ! — съ иронической гримасой проговорила Ольга Владиміровна.

— О, идейный герой!—въ тонъ дочери произнесла мать.— Ты бы послушала, до чего онъ, по его же словамъ, снизошелъ третьяго дня. Какой-то купецъ на что-то тамъ — на гласную кассу ссудъ или какой-то ломбардъ, не знаю на что, — пожертвовалъ имъ крупную сумму и имъ же задалъ на радостяхъ ужинъ... «Я, разсказывалъ Петръ Петровичъ, положимъ, на собственныхъ ногахъ дошелъ до экипажа а другіе такъ подъ столами и уснули».

— Безобразники!—брезгливо сказала Ольга Владиміровна.

— Но вообрази: Катишъ хоть бы глазомъ моргнула, только посмѣялась,—проговорила Марья Алексѣевна:—точно ея и не касается, что ея будущій супругъ посѣщаетъ подобныя попойки. Только одинъ Янъ и замѣтилъ, что не любитъ онъ русскихъ за эти безобразные кутежи. Онъ даже вызвалъ этимъ замѣчаніемъ споръ. Петръ Петровичъ вѣжливо согласился: «Вы правы; безобразничать мы всегда можемъ». Но Андрей Петровичъ заспорилъ: «А разные нѣмецкіе бурши меньше безобразничаютъ? Въ пьяномъ видѣ всѣ одинаковы. Только нѣмецъ умѣетъ быть до двадцати пяти лѣтъ Иваномъ Ивановичемъ, а послѣ двадцати пяти лѣтъ дѣлается Карломъ Ивановичемъ. Ну, а мы, русскіе, этому еще не научились. Вотъ и вся разница»... Рѣзокъ только Андрей Петровичъ, и тутъ не выдержалъ, и съ своей гадкой усмѣшечкой сказалъ: «Конечно, иные и до двадцати пяти лѣтъ, и послѣ двадцати пяти лѣтъ одинаково страдаютъ собачьей старостью».

Марья Алексѣевна засмѣялась своимъ легкомысленнымъ смѣхомъ:

— Мнѣ кажется, онъ этотъ камешекъ пустилъ въ огородъ твоего Яна!

Ольга Владиміровна поблѣднѣла и сквозь зубы пробормотала:

— Нахалъ!

XII.

За нѣсколько дней до свадьбы, Янъ Оттоновичъ рано утромъ вошелъ въ комнату своей жены. На немъ, какъ говорится, лица не было; Ольга Владиміровна испугалась:

— Что съ тобой?

— Мнѣ надо ѣхать! — проговорилъ онъ, съ трудомъ переводя духъ.—Пришла телеграмма. Отецъ опасно захворалъ...

— Господи, этого только недоставало! — воскликнула невольно Ольга Владиміровна, точно это было послѣднее несчастіе въ ряду другихъ несчастій, а не первый ударъ судьбы въ свѣтлой супружеской жизни.—Когда же ѣдемъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, ты оставайся! Я поѣду одинъ,—сказалъ Янъ Оттоновичъ.—Въ твоемъ положеніи надо беречься. Я напишу, если надо будетъ и тебѣ пріѣхать... Поѣздъ идетъ черезъ два часа, и я едва успѣю доѣхать... Извинись за меня передъ тетей и Катишъ... Прощай, родная!.

Не прошло и получаса, какъ онъ уѣхалъ...

Ольга Владиміровна, сдвинувъ брови и стиснувъ зубы, заходила по комнатѣ, проводивъ мужа. Выраженіе ея лица походило опять на то выраженіе, которое появлялось на немъ въ послѣдніе годы ея дѣвической жизни, — тупое и мрачное. Она смотрѣла передъ собою въ пространство и, казалось, ничего не видѣла. Въ такомъ состояніи ее застала ея мать и очень изумилась тому, что дочь ее не сразу замѣтила, не сразу отвѣтила на ея вопросы, что случилось.

— Покуда еще ничего, или почти ничего опредѣленнаго,— отвѣтила мрачно Ольга Владиміровна.—Оттонъ Августовичъ заболѣлъ, и Яна вызвали въ Петербургъ телеграммой.

— А-а!—сказала равнодушно Марья Алексѣевна.—Старикъ вѣдь постоянно все прихварывалъ... Конечно, жаль будетъ, если онъ умретъ, но что же дѣлать, годы такіе... Ты не знаешь, много ли скоплено у него капиталу? Вѣдь Янъ его единственный наслѣдникъ.

— Я знаю только, что послѣ него останется Маргарита Ивановна! — тѣмъ же мрачнымъ, почти зловѣщимъ тономъ отвѣтила дочь.

Марья Алексѣевна ничего не поняла и, казалось, была

очень изумлена, что ея дочь была такъ разстроена вѣстью о болѣзни свекра и отъѣздомъ мужа. Это, впрочемъ, немного удивило и всѣхъ остальныхъ родственниковъ, не предполагавшихъ, судя по прозрачнымъ намекамъ болтливой Марьи Алексѣевны, чтобы Ольга Владиміровна такъ горячо любила Оттона Августовича и могла такъ заботиться о мужѣ. Ее, ради приличія, успокаивали общими фразами, говоря, что «не всякая же болѣзнь смертельна» и что «можетъ-быть, Янъ Оттоновичъ сейчасъ же вернется обратно, убѣдившись въ ложности тревоги». Однако на третій же день пришла новая телеграмма, въ которой Янъ Оттоновичъ осторожно извѣщалъ жену, что отцу не лучше, а хуже, и что онъ, Янъ Оттоновичъ, проситъ жену тотчасъ же послѣ свадьбы ея кузины поспѣшить въ Петербургъ. Онъ просилъ телеграфировать о днѣ ея выѣзда, чтобы имѣть возможность и выѣхать съ дачи для встрѣчи на Николаевскій вокзалъ.

— Ну, что?—какимъ-то страннымъ, нерѣшительнымъ тономъ спросила Марья Алексѣевна у дочери, когда та дочитала телеграмму.

— Надо ѣхать!—коротко отвѣчала дочь. — Оттону Августовичу хуже.

— Но какъ же свадьба? — опять какъ-то нерѣшительно спросила Марья Алексѣевна.

— Ахъ, до свадьбы ли мнѣ!

— Конечно, конечно! — согласилась со вздохомъ Марья Алексѣевна, и, не выдержавъ, спросила:—Да ты читала полученныя сегодня газеты?

Ольга Владиміровна испуганно взглянула на мать и крѣпко схватила ее за руку.

— Онъ умеръ? — воскликнула она, угадывая, что случилось несчастіе.—Говорите! Говорите! Есть въ газетахъ приглашеніе на похороны?

— Нѣтъ... некрологъ...—безсвязно пояснила Марья Алексѣевна.

— А-а!—воскликнула Ольга Владиміровна, безсильно прислонясь къ стѣнѣ.

— Янъ, вѣроятно, не засталъ его въ живыхъ,—пояснила Марья Алексѣевна.—Когда здѣсь была получена телеграмма изъ Петербурга на его имя, Оттона Августовича уже не было на свѣтѣ... Пишутъ, что умеръ скоропостижно.

Ольга Владиміровна стояла неподвижно, какъ статуя, плотно прислонившись къ стѣнѣ и мрачно смотря въ про-

странство. Ей казалось, что со смертью Оттона Августовича умерло для нея все, что настоящая пытка начинается именно теперь. Какая пытка? Чего она боялась? Въ этомъ она не могла дать себѣ отчета, но ея кровь леденилъ тупой безотчетный ужасъ передъ грядущимъ.

XIII.

— Оля! Оля! — раздался подъ сводами дебаркадера Николаевской желѣзной дороги голосъ Яна Оттоновича, и Ольга Владиміровна, только-что вышедшая изъ вагона прибывшаго поѣзда, съ недоумѣніемъ осмотрѣлась кругомъ.

Только по голосу да по маленькому росту сразу можно было узнать Яна Оттоновича въ стоявшемъ передъ нею мужчинѣ въ черной одеждѣ, съ траурной повязкой на рукавѣ, съ крэпомъ на цилиндрѣ, съ похудѣвшимъ блѣдновато-желтымъ лицомъ и съ покраснѣвшими, какъ у кролика, глазами.

— Какое несчастіе, какое несчастіе, дорогая! — прошепталъ онъ, цѣлуя ее, и она почувствовала, что вотъ-вотъ онъ тутъ же расплачется, какъ ребенокъ.

— Да, да, это ужасно! — проговорила она мрачно, и въ ея головѣ невольно мелькнула мысль о томъ, что она была бы счастливѣе если бы могла, какъ онъ, облегчить свое горе слезами.

Они сѣли въ наемную карету и поѣхали. Онъ разсказывалъ дорогой: отецъ умеръ почти внезапно отъ грудной жабы. Янъ Оттоновичъ уже не засталъ старика въ живыхъ, не могъ даже посмотрѣть на его лицо, а только могъ припасть лицомъ къ гробу. Мать чуть съ ума не сошла. У нея почти не дѣйствуетъ нога. Старушка все лежитъ. За ней нуженъ теперь уходъ и уходъ. Хорошо еще, что пасторша Флинтъ живетъ у нихъ на дачѣ. Она нѣтъ-нѣтъ да и завернетъ къ старушкѣ. Онъ говорилъ, иногда обрываясь отъ слезъ, иногда украдкой утирая ихъ рукой съ лица.

— Прости, что я поторопился выписать тебя... Ты даже на свадьбу не осталась,—наконецъ, замѣтилъ онъ, цѣлуя ея руку.

— До свадьбы ли теперь?! — воскликнула она. — Я вѣдь точно предчувствовала все это, нигдѣ не находила себѣ мѣста... Кажется, если бы я умѣла плакать, я не осушала бы глазъ всѣ эти дни...

Они переѣхали съ Николаевскаго вокзала на Балтійскій, чтобы проѣхать на дачу. Всю дорогу разговоръ вертѣлся на одной скорбной темѣ.

Оба они были поглощены только ею. Когда Янъ разсказывалъ о состояніи матери, чуть не потерявшей разсудка подъ гнетомъ тяжелой утраты, Ольга Владиміровна проникалась глубокимъ участіемъ къ этому горю. Она знала, какъ сильно были привязаны другъ къ другу старики Семпель, эти Филемонъ и Бавкида. Съ ея губъ срывалось невольное восклицаніе:

— Бѣдная, бѣдная старушка!

Наскоро переодѣвшись, не отдыхая послѣ дороги, поспѣшила Ольга Владиміровна къ старухѣ Семпель, пріѣхавъ на дачу. Маргарита Ивановна дремала на своей постели, когда дверь въ ея спальню отворилась и на порогѣ въ полосѣ свѣта показалась темная высокая фигура женщины. Старушка сразу узнала невѣстку и въ ея мозгу острою болью пронеслась зловѣщая мысль: «Не было бы ея, не поѣхалъ бы Янъ на свадьбу; во всякомъ случаѣ принялъ бы Янъ послѣдній вздохъ отца». Эта мысль со дня смерти Оттона Августовича все время вертѣлась на всѣ лады въ ея скорбной головѣ. Да, эта женщина должна была внести несчастіе въ ихъ домъ; она, Маргарита Ивановна, предчувствовала это съ самаго перваго дня знакомства съ нею. Старушка закрыла глаза, чтобы не видать этого существа, передъ которымъ она начинала чувствовать суевѣрный ужасъ. Ольга Владиміровна подошла къ кровати. Ей показалось, что старушка спитъ. Тогда она осторожно опустилась на колѣни и коснулась губами ея руки.

— Бѣдная, бѣдная Маргарита Ивановна,—едва слышно прошептала она.

— Да, можетъ-быть, ничего бы не было, ничего, если бы вы не увезли Яна,—полусознательно проговорила Маргарита Ивановна тономъ жестокаго укора.—Никогда Янъ не покидалъ насъ прежде...

Ольга Владиміровна какъ бы окаменѣла. Она съ ужасомъ поняла, что старуха въ душѣ обвиняетъ ее въ несчастіи, постигшемъ семью, но вѣдь если она могла дойти до этой мысли, то она должна ненавидѣть ее, Ольгу Владиміровну? Что же это будетъ за жизнь, если онѣ станутъ ненавидѣть одна другую и въ то же время, какъ неразрывною цѣпью, будутъ связаны между собою Яномъ? Ея лицо приняло знакомое мрачное выраженіе отупѣнія, оцѣпенѣнія...

Кто-то ласково и осторожно дотронулся до ея плеча. Она слегка вздрогнула, обернулась и почти безсознательно, растягивая слова, спросила:

— Янъ, ты слышалъ... ты слышалъ, что она говоритъ?

Онъ, смущенный, растерянный, заговорилъ что-то сбивчивое, безсвязное, неясное, выгораживая мать:—«старушку надо пожалѣть», «ей надо простить», «это такое горе, что человѣкъ теряетъ разсудокъ..»

— А-а, значитъ она и тебѣ уже говорила объ этомъ!— медленно произнесла Ольга Владиміровна и поднялась съ пола, похолодѣвшая, содрогающаяся отъ мысли, что въ ней видятъ виновницу смерти ея свекра.

XIV.

Между Маргаритой Ивановной и Ольгой Владиміровной окончательно развернлась цѣлая пропасть.

Старушка, недалекая по уму и прежде, а теперь окончательно растерявшаяся, не могла отдѣлаться отъ суевѣрной мысли, что эта «роковая»—«fatal» — женщина, какъ она называла мысленно невѣстку, внесла въ ихъ домъ несчастіе. Со дня, когда она вошла въ ихъ семью, и покойный Отто, и Янъ начали подозрѣвать ее, Маргариту Ивановну, въ недоброжелательствѣ, въ несправедливости по отношенію къ невѣсткѣ. Въ каждомъ ея словѣ начали искать проявленія какого-то желанія придраться къ невѣсткѣ. Она помнила, какъ она предостерегала Яна не соглашаться ѣхать на свадьбу и какъ онъ опять заподозрилъ ее въ несправедливости къ своей женѣ и поѣхалъ наперекоръ себѣ— она была убѣждена, что онъ поѣхалъ наперекоръ своему собственному желанію. Развѣ Янъ ѣздилъ гостить куда-нибудь въ прежнее время? Развѣ это могло доставить ему удовольствіе? Это онъ сдѣлалъ только ради жены. А что изъ этого вышло? Можетъ-быть, Отто и не умеръ бы, если бы сынъ былъ здѣсь.

Ольга Владиміровна, въ свою очередь, не могла изгладить изъ памяти того жуткаго воспоминанія, что на нее смотрятъ, какъ на виновницу несчастія семьи. Правда, она уже на слѣдующій же день разобралась въ ошеломившемъ ее событіи, поняла происходившій въ душѣ слабой по уму старушки психическій процессъ, даже простила ей, насколько могла, эту несправедливость, но забыть того, какъ на нее смотрѣть старушка, — нѣтъ, этого она была не въ состояніи сдѣлать. Изъ памяти трудно вычеркнуть то, что въ нее запало. Она ходила изъ угла въ уголъ по своей комнатѣ въ тяжелыхъ думахъ и не подозрѣвала даже, что къ ея шагамъ чутко прислушивается тамъ, внизу, дремлющая

больная, подозрительно соображая, что невѣстку мучитъ совѣсть или—кто ее знаетъ!—можетъ-быть, душитъ безсильная злоба. Она вѣдь злая: на ея тонкія губы, на мрачные глаза стоитъ взглянуть, чтобы понять это.

— Какое счастье, что рядомъ съ нашей квартирой опрастывается маленькая квартирка,—разсказывалъ Янъ Оттоновичъ, возвратясь изъ Петербурга, куда онъ ѣздилъ хлопотать о продолженіи своего отпуска. — Это устроитъ насъ такъ, что намъ не нужно будетъ перемѣнять своей квартиры, гдѣ съ мамой было бы тѣсно жить, а отдѣльно она уже не можетъ жить, безъ меня и безъ тебя.

По лицу Ольги Владиміровны скользнула горькая усмѣшка при послѣднихъ словахъ мужа.

— Конечно, конечно,—почти безсознательно согласилась она, чувствуя, что для нея начинается пытка жизни подъ одной кровлей съ враждебно относящейся къ ней свекровью.

Янъ Оттоновичъ, ничего не замѣчая, довольный тѣмъ, что квартира для матери найдена рядомъ съ ихъ квартирою, сталъ проектировать, какъ удобно будетъ соединить оба помѣщенія, проломавъ между ними дверь.

Въ это время своей быстрой походкой, какъ катящійся шарикъ, появилась въ комнатѣ пасторша Флинтъ. Она знала, что Янъ Оттоновичъ ѣздилъ въ городъ, между прочимъ, и для того, чтобы поискать квартиру, и ее сильно интересовалъ результатъ его поѣздки. Услыхавши, что молодые люди думаютъ помѣстить старушку Семпель на зиму рядомъ съ собою, она покачала головой.

— Ахъ, Господи,—начала она, расширяя свой ротъ съ темными зубами:—ничего-то эта зеленая молодежь не понимаетъ. Ну, статочное ли это дѣло, чтобы наша старушка жила одна.

— Да и мы тутъ же будемъ жить, — пояснилъ Семпель.

— Ну, да, ну, да, а когда ваша жена заболѣетъ? Когда родится ребенокъ?—живо возразила пасторша. Кто же будетъ ходить за нашей старушкой? Вы изъ должности будете приходить? Ваша жена будетъ подниматься съ постели или отъ колыбельки ребенка, чтобы ходить за ней? О, эти молодые люди, вотъ-то они глупы!

Пасторша добродушно засмѣялась и пояснила:

— Я уже говорила съ нашей старушкой. Она согласна выписать изъ-за границы Эльму фонъ-Астхофъ. Эльма человѣкъ бѣдный и пожилой—она будетъ рада изъ-за угла и хлѣба ходить за своей двоюродной сестрой, не таскаясь по

чужимъ домамъ въ качествѣ экономки. Вы, Янъ, еще совсѣмъ маленькимъ были, когда она няньчилась съ вами,— напомнила пасторша.

— Да, я смутно помню ее у насъ въ домѣ, но она потомъ переѣхала жить къ своему брату за границу. — сказалъ Янъ Оттоновичъ.

— Да, а теперь братъ умеръ, и она живетъ изъ милости у его вдовы---у совсѣмъ чужой семьи, — замѣтила пасторша.

— Какъ же у чужой, если вы говорите, что она живетъ у вдовы брата,—спросилъ Семпель.

— Ну, развѣ жена брата родня? Онѣ совсѣмъ чужды другъ другу. Эльма человѣкъ энергичный, а вдова ея брата всегда была и осталась безцвѣтнымъ и мизернымъ существомъ.

— Разумѣется, если мама согласна, я ничего не имѣю противъ приглашенія къ ней тетушки Эльмы,—рѣшилъ Янъ Оттоновичъ.

— Конечно, это и для васъ же будетъ удобно,—сказала пасторша, обращаясь къ Ольгѣ Владиміровнѣ.—Вы, въ вашемъ положеніи, не въ силахъ теперь ходить за нашей старушкой.

— О, да! — почти радостно согласилась Ольга Владиміровна.—Мнѣ было бы особенно трудно угодить ей теперь, несмотря на всю мою готовность.

Она чувствовала, что комбинаціею, придуманною пасторшею, съ нея снимается часть тяжелаго бремени.

XV.

— Сидите, сидите, mein Engelchen—мой ангелочекъ, я ужъ знаю, что и какъ надо сдѣлать. Вы, mein Engelchen, только не безпокойтесь, я всѣмъ распоряжусь. — Вы, mein Engelchen, не ходите къ Гретѣ, она и дремлетъ, и немножко не въ духѣ. Вотъ ужъ я не понимаю, какъ люди могутъ дремать среди бѣлаго дня и быть не въ духѣ! У меня всегда все fix und fertig!

Такъ ежеминутно на каждомъ шагу всѣмъ и каждому успокоительно говорила тетушка Эльма то по-нѣмецки, то на немилосердно искаверканномъ русскомъ языкѣ, и дѣйствительно все кипѣло въ ея могучихъ большихъ и красныхъ рукахъ, большею частью видныхъ чуть не до локтей изъ-подъ засученныхъ рукавовъ и какъ бы постоянно готовыхъ къ рукопашной схваткѣ. Высокая, румяная, въ своемъ

неизмѣнномъ твердомъ, какъ металлическая кираса, корсетѣ, съ мужскими ухватками, она казалась переодѣтымъ бравымъ прусскимъ солдатомъ и, несмотря на свои пятьдесятъ пять лѣтъ, отличалась здоровьемъ и силой. Этотъ прусскій маіоръ въ юбкѣ, какъ прозвала ее Ольга Владиміровна, какъ-то сразу сдѣлалъ не нужными въ домѣ чьи бы то ни было заботы и хлопоты.

— Ну, ну, mein Engelchen, лежите себѣ и не думайте ни о чемъ,—командовала она старушкой Семпель, и та, если, можетъ-быть, о чемъ и думала, то все же покорно лежала, зная, что въ свое время ей подадутъ и ѣду, и лѣкарство, и перестелютъ постель.

— Ну, ну, mein Engelchen, и докторъ былъ, и лѣкарства прописаны, куплены и даны, и тебѣ нечего заботиться не о своемъ дѣлѣ: кушай и молчи,—командовала она Яномъ Оттоновичемъ, когда онъ, возвратившись изъ должности, справлялся, былъ ли у матери докторъ и прописалъ ли ей лѣкарство.

И такъ было со всѣми: всѣмъ нечего было заботиться не о своемъ дѣлѣ, потому что всѣ дѣла въ домѣ захватила въ свои могучія руки тетушка Эльма, загонявшая взятыхъ ею подъ свою команду двухъ жившихъ въ домѣ служанокъ и ежеминутно удивлявшаяся лѣности русской прислуги.

— У насъ, mein Engelchen, за границей служанки каждую недѣлю наружныя стѣны деревянныхъ домовъ моютъ, а не только входныя лѣстницы и окна.

И служанки только ротъ разѣвали, когда она учила ихъ, какъ «по-настоящему» нужно мыть столы и табуреты берестою, пескомъ и мыломъ и чистить какою-то кашицею изъ моченаго ржаного хлѣба мѣдную посуду; она цѣлый день носилась по комнатамъ, и если никакой работы не было въ домѣ—она ее изобрѣтала: отыскивала гдѣ-то не выколоченную одежду, находила на какой-то печкѣ паутину, или съ торжествующимъ видомъ выискивала гдѣ-то между плитой и раковиной для стока грязной воды какого-нибудь безвременно издыхающаго отъ кухоннаго порядка прусака-таракана, тыкала во все это служанку за то, что та «настоящь русски свинь», которой только бы «въ свински хлѣвъ шить», и затѣмъ начиналось вытрясанье тюфяковъ служанокъ, смазыванье карболкой ихъ кроватей.

— И когда вы отдыхаете? — замѣчала Ольга Владиміровна, чувствуя въ послѣднее время неодолимую потребность въ отдыхѣ.

— А ночь что я дѣлаю, если не отдыхаю!—произносила тетушка Эльма и, подпирая могучими руками широкіе бока, начинала разсказывать въ этой воинственной позѣ про жену своего покойнаго брата:—нѣтъ, mein Engelchen, вотъ кто способенъ былъ отдыхать по двадцать четыре часа въ сутки, такъ это она: на колѣняхъ раскрытая книга, глаза устремлены въ небеса и только слышатся вздохи и вздохи, точно она тяжелый возъ въ гору тащитъ. Нѣтъ, я вамъ скажу, тутъ осатанѣть можно, глядя на этого вздыхающаго человѣка со взглядомъ, устремленнымъ въ небо, когда въ кухнѣ супъ черезъ края кастрюли бѣжитъ! Братъ изъ должности придетъ голодный, какъ сторожевая собака скряги, а она—точно съ небесъ свалилась, ни своего Шиллера не перечитала, ни обѣдомъ не распорядилась! Тошно просто, бѣдный человѣкъ не даромъ меня выписалъ, предчувствовалъ, что съ такой женой съ голоду умереть можно. И о чемъ она только мечтала—одинъ Богъ знаетъ!

— Совсѣмъ тряпичная душа была: ни своего разума, ни своей воли! Все только охи да вздохи, а дальше и ничего. И на что такіе люди родятся? Понять не умѣютъ, что Шиллеръ Шиллеромъ, а жизнь жизнью. Братъ былъ человѣкъ солидный, степенный, въ почтамтѣ тридцать лѣтъ служилъ. А она была голая дѣвчонка, съ голоду могла бы умереть, если бы братъ не взялъ. Ну, конечно, ей-то хотѣлось выскочить не за такого солиднаго человѣка, а за офицерика съ стрекозиной тальей и усиками въ стрѣлку...

И вдругъ, опомнившись, она, щелкая себя ладонями, какъ бичомъ по бедрамъ, прерывала нить разсказа:

— И я-то тоже хороша! болтаю тутъ съ вами, а сегодня у насъ Windbeuteln готовятъ для Яна — кухарка непремѣнно испортитъ, если не досмотрѣть.

И она ураганомъ неслась къ кухнѣ...

Тетушка Эльма сама никогда ни о чемъ не мечтала и жила вся на землѣ и для земного, какъ пасторша Флинтъ жила для своихъ бѣдныхъ, какъ старушка Семпель жила для своихъ мужа и сына, какъ вдова брата тетушки Эльмы жила для своихъ мечтаній объ офицерикахъ съ стрекозиными таліями и усиками въ стрѣлку.

«А для чего я живу?»—мысленно спрашивала себя Ольга Владиміровна.

Она перебирала всю свою жизнь—эта жизнь была пуста и безцѣльна. Мать, братъ, родня со стороны матери, Семпели и всѣ ихъ интересы были чужды ей. Съ нѣкотораго

времени она была не нужна даже въ своемъ домѣ, гдѣ все забрала въ свои могучія руки тетушка Эльма. Даже Яну—вялому, холодному и безстрастному по натурѣ—она теперь, кажется, не особенно нужна. Въ медовые мѣсяцы ихъ жизни она была нужна еще ему для приторныхъ поцѣлуевъ, иногда такъ тяготившихъ ее. Теперь же онъ и пресытился, и у него такъ много хлопотъ и заботъ о дѣлѣ по утвержденію его въ правахъ наслѣдства, о больной матери, объ увеличеніи пенсіи ей послѣ ея мужа, о своихъ чухнахъ, которыхъ со смерти Оттона Августовича все болѣе и болѣе ходитъ къ Яну за помощью, за совѣтами, и, конечно, теперь ему не до нѣжности. Да эти нѣжности и ей въ ея положеніи были бы теперь особенно тяжелы. Иногда она въ послѣднее время начинала даже чувствовать положительно физическое отвращеніе къ Яну съ его безкровными и тонкими губами, съ его широкимъ плоскимъ ртомъ, съ его кроличьими глазами. И отчего они стали такими красными? Неужели онъ еще втихомолку оплакиваетъ отца. О, если бы она была способна на такую любовь!..

И съ каждымъ днемъ все больше и больше начала она задумываться о томъ существѣ, которое въ скоромъ времени должно наполнить ея жизнь и отъ заботъ о которомъ никто не оторветъ ее. Тутъ сама тетушка Эльма не сумѣетъ замѣнить ее, мать. Да, со дня рожденія этого существа у нея будутъ и дѣятельность, и цѣль въ жизни.

XVI.

— Вы, mein Engelchen, спокойно спите: я васъ разбужу, когда надо будетъ кормить Володю!—уговаривала Ольгу Владиміровну тетушка Эльма, когда въ спальнѣ молодой женщины уже появилось маленькое крикливое существо съ темными глазками и такими же мягкими, какъ шелковинки, волосами, названное при рожденіи Владиміромъ, въ память отца Ольги Владиміровны.

— А я думала, что и кормить грудью его будете вы же,—еще слабымъ голосомъ сказала насмѣшливо Ольга Владиміровна.

— Какъ такъ?—въ недоумѣніи переспросила тетушка Эльма, не понявъ сразу смысла ея словъ.

Никакихъ намековъ она не понимала.

— Ну, да, вы же все и за всѣхъ дѣлаете,—такъ же насмѣшливо пояснила Ольга Владиміровна.—Ну, а ужъ при моемъ ребенкѣ меня никто не замѣнитъ и въ эту область

я никого не пущу... Кстати, я вчера промолчала, но теперь скажу вамъ разъ и навсегда: вы вчера носили дитя къ Маргаритѣ Ивановнѣ. Этого нельзя дѣлать безъ моего согласія. У нея почти всегда пахнетъ всякими мазями и лѣкарствами.

— Но бѣдная старушка всегда такъ рада видѣть Володю,—сказала тетушка Эльма, немного пораженная непривычно строгимъ тономъ Ольги Владиміровны.

— Я и ношу къ ней Володю, когда удостовѣряюсь сама, что ея комнаты хорошо провѣтрены,—пояснила Ольга Владиміровна.—Да, кромѣ того, она уже начинаетъ сама ходить и можетъ, если ей очень захочется, добрести сюда взглянуть на ребенка.

Какъ-то разъ въ воскресный день она случайно зашла въ залъ въ то время, когда тамъ собралось нѣсколько соотечественниковъ Яна Оттоновича. По обыкновенію, это были простолюдины-бѣдняки въ довольно неряшливой и ветхой одеждѣ. Мелькомъ взглянувъ на этихъ бѣлокурыхъ, блѣднолицыхъ людей въ какихъ-то нанковыхъ на ватѣ одеждахъ, похожихъ на женскія кофты, съ обмотанными въ нѣсколько разъ на шеяхъ пестрыми шерстяными шарфами, Ольга Владиміровна была внезапно поражена тѣмъ, что трое или четверо изъ нихъ видимо страдали глазами. Она нахмурилась и вышла изъ зала.

— Намъ надо устроить какъ-нибудь такъ, чтобы твои просители собирались не здѣсь,—замѣтила она за обѣдомъ мужу.—Богъ знаетъ, что за болѣзни могутъ они занести къ Волѣ.

Янъ Оттоновичъ, по обыкновенію, немного растерялся отъ неожиданности.

— Мало того, что у нихъ дома могутъ быть и дифтеритные, и скарлатинные больные, многіе изъ нихъ, какъ я замѣтила сегодня, страдаютъ глазными болѣзнями. Воля еще такъ малъ и, конечно, воспріимчивъ ко всякимъ заразамъ. Съ чѣмъ еще можемъ мириться мы, то можетъ гибельно отразиться на немъ...

— Бѣдные люди не виноваты, что они и больны, и...— сконфуженно началъ Янъ Оттоновичъ и не кончилъ.

Его неожиданно перебила тетушка Эльма:

— Ну, mein Engelchen, этотъ народъ не столько бѣденъ, сколько неряшливъ и нечистоплотенъ. Полъ на что послѣ нихъ похожъ! Мало того, что сапожищи грязны, такъ еще минуты пробыть не могутъ эти мужики безъ сплевыванья.

Да я и не поручусь, что они насѣкомыхъ въ залъ не заносятъ

Она относилась къ народу вообще презрительно и свысока, гордясь частичкою «фонъ», стоявшей передъ ея фамиліей, а всякихъ «чухонъ», подъ именемъ которыхъ она подразумѣвала и финновъ, и эстонцевъ, и курляндцевъ, и латышей, и корелъ,—не ставила ни во что.

— Отъ нечистоплотности у нихъ и глазныя болѣзни,— рѣшительнымъ тономъ продолжала она.—Да ты, mein Engelchen, озолоти меня, а молока отъ всякихъ чухонъ я никогда не куплю.

— Во всякомъ случаѣ,—сказала Ольга Владиміровна:— ставить на карту здоровье своего единственнаго ребенка изъ-за того, что двумъ-тремъ нищимъ нуженъ совѣтъ или грошовая помощь, было бы варварствомъ, и твой покойный отецъ, вѣроятно, не дѣлалъ этого, когда ты былъ малъ и слабъ... Я слышала не разъ, какъ берегли тебя... Если для тебя не дорогъ Володя...

— О! о!—перебилъ ее въ волненіи съ упрекомъ въ голосѣ Семпель.

— Mein Engelchen, развѣ мужчины понимаютъ, сколько заботъ доставляютъ хорошей хозяйкѣ даже загрязненный грязными сапогами и плевками паркетъ?—засмѣялась тетушка Эльма.—Они понимаютъ только, что на ихъ дѣловыхъ бумагахъ не должно быть кляксъ—вотъ и все.

Семпель вздохнулъ...

Его бѣдняки перестали приниматься въ ихъ домѣ. Ихъ попросили обращаться къ нему только письменно.

Черезъ нѣсколько времени, когда былъ уже снятъ трауръ, онъ сталъ замѣчать, что жена постоянно уходитъ сама и уноситъ Володю изъ зала, когда онъ садится за фортепіано. Разъ, когда онъ сѣлъ за фортепіано, и она встала съ Володей, чтобы уйти, онъ не удержался—спросилъ ее, почему она уходитъ.

— Очень ужъ тоскливо, Янъ, становится отъ этихъ однообразныхъ мотивовъ, до слезъ тоскливо,—отвѣтила она со вздохомъ.—Я еще кормлю грудью Володю и боюсь, что мое тоскливое настроеніе передастся ему. Нашъ мальчикъ долженъ расти бодрымъ и жизнерадостнымъ, а не тряпичной душой, умѣющей только тосковать и плакать. Нытиковъ и такъ много!

Янъ Оттоновичъ вздохнулъ; съ нѣкотораго времени онъ самъ только тоскуетъ, безконечно тоскуетъ и иногда чув-

ствуетъ на лицѣ слезы. О чемъ? О болѣзни матери? О томъ, что послѣ смерти отца, во время болѣзни матери и во время болѣзни жены, ихъ домъ почти перестали посѣщать старые знакомые? О томъ, что они давно не развлекаются ни концертами, ни театрами? О томъ, что его не посѣщаютъ болѣе его бѣдняки-соотечественники? или просто о томъ, что дома, со времени поселенія у нихъ тетушки Эльмы и со времени рожденія сына, онъ сдѣлался словно лишнимъ и не нужнымъ? Онъ сравнивалъ себя, безхарактернаго, застѣнчиваго, выносящаго все въ своей душѣ, съ бодрымъ «прусскимъ маіоромъ въ юбкѣ» и съ женой, сдѣлавшейся съ нѣкотораго времени особенно стойкой и рѣзкой, и тяжело вздыхалъ:

— Да, да, я тряпичный человѣкъ... Оля права, что Володю надо сдѣлать не такимъ... не тряпкой, не нытикомъ!

XVII.

— Янъ, хоть бы ты сыгралъ что-нибудь,—какъ-то попросила Маргарита Ивановна, сидя съ сыномъ въ своей гостиной и отворивъ дверь въ общій залъ, гдѣ стояло фортепіано.—Ты давно не игралъ. Помнишь, какъ Отто любилъ, когда ты въ сумеркахъ садился фантазировать на его любимые родные мотивы.

Янъ Оттоновичъ смѣшался и покраснѣлъ.

— Тоску это нагоняетъ, мама,—пояснилъ онъ коротко.

— Тоску?—удивилась мать, всматриваясь въ сына.—Не тоску, а тихое благоговѣйное настроеніе, какъ едва внятный шорохъ лѣса, какъ ясный закатъ лѣтняго дня...

Онъ не возражалъ, но и не поднимался съ мѣста, чтобы перейти къ фортепіано.

— Что же это, на *тебя* начали эти мелодіи навѣвать тоску?—спросила многозначительно мать.

Онъ увернулся отъ прямого отвѣта.

— Вообще у насъ послѣ смерти папы слишкомъ много горя и безъ грустныхъ мелодій,—сказалъ онъ.

Старушка тяжело вздохнула.

— Еще бы! Никто почти не бываетъ. Я больна и не могу быть прежней привѣтливой хозяйкой, ковылять отъ одного гостя къ другому съ ласковой улыбкой... Твоя жена—чужая она всѣмъ нашимъ.

И вдругъ неожиданно она спросила:

— Къ тебѣ, кажется, даже приходскіе бѣдняки перестали ходить?

— Да,—въ смущеніи отвѣтилъ Янъ Оттоновичъ: — я

боюсь за Володю... Занести могутъ какія-нибудь болѣзни... дифтеритъ... скарлатину.

— Конечно, конечно,—согласилась она страннымъ, не то грустнымъ, не то ироническимъ тономъ.—Къ нему можетъ пристать даже мой параличъ...

— Я васъ не понимаю, мама,—замѣтилъ онъ.

— Ну, да, вѣрно и этого боятся, что почти не показываютъ мальчика мнѣ,—съ горечью пояснила она и какъ-то особенно торжественно добавила:—но помни, Янъ, поступиться всѣмъ можно,—всѣмъ, что было дорого когда-то, но только не вѣрою своихъ отцовъ. Въ какой вѣрѣ родился человѣкъ, въ той и долженъ умереть.

— Я васъ не понимаю,—началъ онъ.

— Ты человѣкъ деликатный, мягкій, любящій, ты безъ спору готовъ уступать людямъ почти во всемъ, глубоко затаивъ въ душѣ и протестъ противъ нихъ, и скорбь, вызванную этими уступками. Но въ дѣлѣ вѣры, что бы тебѣ ни говорили, ты долженъ быть стоекъ. Религія должна стоять выше всего...

Онъ молчалъ, опустивъ голову. Въ головѣ мелькали смутныя подозрѣнія. Неужели мать слышала, какъ на-дняхъ глубоко сожалѣла Ольга о томъ, что она одна ходила въ церковь пріобщать ребенка.

«Конечно, у васъ дѣтей не пріобщаютъ,—говорила она:—а у насъ, у православныхъ, это принято. И мнѣ было такъ тяжело, что тебя нѣтъ съ нами, что и всегда въ церкви мы съ Володей будемъ одни безъ отца. Мнѣ даже подумалось невольно, что настанутъ годы, когда онъ спроситъ: «а почему папа не ходитъ съ нами въ церковь?» Какъ трудно будетъ объяснить, что у тебя другая вѣра. Почему другая? Которая же вѣра лучше? Если его, то почему мы не перейдемъ въ его вѣру? Если наша, то почему онъ не перейдетъ въ нашу? Когда я выходила замужъ, я даже и не задумывалась объ этомъ, вѣроятно, такъ же, какъ и ты. А вотъ теперь, пріобщая ребенка и не видя его отца рядомъ съ собою передъ алтаремъ Бога, я невольно задумалась объ этой религіозной розни».

«Нѣтъ, нѣтъ, мать не могла слышать этого!—рѣшилъ мысленно Янъ Оттоновичъ. — Она просто материнскимъ чутьемъ угадала это, какъ угадала и многое другое»...

Въ мозгу зароились неотвязныя думы. Дѣйствительно, Ольга сильнѣе его, выше его во многомъ, и онъ поневолѣ поступается разными своими привычками. Но въ вопросѣ о

религіи онъ никогда не уступитъ ей, никогда не измѣнитъ вѣрѣ своихъ предковъ. «И будемъ всю жизнь ходить въ разныя церкви,—тутъ же съ горечью закончилъ онъ мысленно.—Буду избѣгать говорить съ сыномъ, почему мы разно вѣримъ въ одного и того же Бога, почему я не хочу вѣрить такъ, какъ онъ, почему я не имѣю права сдѣлать такъ, чтобы онъ вѣрилъ по-моему».

Онъ поднялъ глаза и встрѣтился съ слезящимися глазами матери, пытливо слѣдившими за нимъ и, казалось, старавшимися заглянуть въ его душу. Онъ сильно смутился.

— Янъ, лучше смерть, чѣмъ отступничество, — торжественно сказала старушка, держа свою руку на той самой библіи въ черномъ кожаномъ переплетѣ, которая неизмѣнно лежала прежде на письменномъ столѣ покойнаго Оттона Августовича и теперь нашла себѣ мѣсто на ея рабочемъ столикѣ.

— Да, лучше смерть!—какъ-то глухо, точно эхо, повторилъ онъ.

XVIII.

Семейство Семпель уже третій годъ жило на наемной дачѣ, избѣгая тѣхъ мѣстъ, гдѣ было у нихъ столько свѣтлыхъ воспоминаній и гдѣ внезапная смерть Оттона Августовича заслонила какимъ-то чернымъ флеромъ все это свѣтлое прошлое. Первые два года семья нанимала дачу въ Царскомъ Селѣ, такъ какъ Яну Оттоновичу было нужно ежедневно бывать на службѣ и уѣзжать далеко отъ Петербурга было невозможно. Царское Село не понравилось никому. Всѣ рѣшили:

— Это тотъ же Петербургъ, только немного больше пыли и грязи и гораздо менѣе удобствъ.

На третье лѣто Семпель снова могъ взять продолжительный отпускъ, и семья переселилась въ Гельсингфорсъ. Если Царскимъ Селомъ особенно осталась недовольна тетушка Эльма, главнымъ образомъ, изъ-за «разбойниковъ-торговцевъ», которые деруть почище, чѣмъ въ Петербургѣ, то чистенькій и чинный Гельсингфорсъ, напротивъ того, ей понравился на первыхъ же порахъ уже тѣмъ, что она могла по конкѣ ѣздить рано утромъ на базаръ и покупать тамъ все изъ первыхъ рукъ отъ деревенскихъ жителей. Это напоминало ей родную Германію, и она радовалась этой базарной торговлѣ, какъ чему-то родному. Въ первое время она даже дозволяла себѣ на радостяхъ мотовство и поку-

пала немудренные цвѣты, привозимые на базаръ съ массой овощей, мяса и масла. Правда, съ перваго же посѣщенія базара она начала критиковать торговцевъ.

— Ну, ужъ и народъ здѣсь! Ни по-нѣмецки, ни по-русски ни слова. Лопочутъ по-своему! Не понимаю? И конецъ весь. Что это за порядки? Хочешь торговать, хочешь наживать барыши, такъ и научись говорить по-человѣчески, а то не намъ же для одного лѣта учиться языку дикихъ... Да они и точно дикіе, совсѣмъ дикіе!..

И, обращаясь къ Ольгѣ Владиміровнѣ, она спрашивала:

— Слышали вы, mein Engelchen, здѣсь про бани? Мужчины и женщины вмѣстѣ моются въ общихъ баняхъ, а въ номерахъ мужчинъ женщины же моютъ. Ну, какъ же они не дикіе? И чего же ихъ полиція смотритъ?.. Одно только и хорошо, что ихъ ругать какъ угодно можете—не поймутъ.

Эти болѣе или менѣе наивныя жалобы тетушки Эльмы только и разнообразили хотя немного, до послѣдней степени, скучную жизнь въ домѣ Семпеля и вызывали на томъ или другомъ лицѣ слабую улыбку. Ее разспрашивали, умышленно вызывали на разсказы, подзадоривали, точно она была шутомъ, въ число обязанностей котораго входила и обязанность развлекать скучающихъ господъ. Старались еще улыбаться люди, слушая первый лепетъ Володи, и вообще хватались за него, какъ за якорь спасенія, стараясь скрыть глухую рознь, все сильнѣе и сильнѣе сказывавшуюся въ семьѣ.

— Что дѣлаетъ Володя? Гдѣ Володя? Здоровъ ли Володя? А и молодецъ же нашъ Володя!—Эти фразы завязывали общій разговоръ и отвлекали отъ другихъ мыслей.

Онъ могъ, какъ всѣ дѣти, жестикулируя и растягивая слова ради пополненія еще недостающихъ ему выраженій, долго-долго разсказывать, какъ онъ былъ «т-а-а-м-ъ, да-леко-да-ле-ко», и какія чудеса онъ видѣлъ «на б-о-оль-шихъ-бо-оль-шихъ лодкахъ», какъ онъ называлъ корабли и пароходы. И всѣ слушали эти рѣчи съ такимъ вниманіемъ, съ какимъ рѣдко слушаютъ знаменитыхъ ораторовъ и лучшихъ пѣвцовъ.

Чувствовалось, что не будь комическихъ разсказовъ тетушки Эльмы о здѣшнихъ дикихъ, какъ она называла финновъ, и не будь Володи съ его дѣтскимъ лепетомъ,—людямъ было бы не о чемъ говорить между собою.

А о чемъ они могли говорить прежде?

Съ первыхъ же дней своего замужества Ольга Владими-

ровна поняла, что у нея нѣтъ ничего общаго съ семьей Семпель, съ ея знакомыми, съ ихъ интересами и, что всего хуже, она поняла, какъ тяжело пассивно, иногда противъ воли, отдаваться ласкамъ и поцѣлуямъ нелюбимаго мужа. Порою она чувствовала положительно физическое отвращеніе, когда эти безкровныя тонкія и плоскія губы большого рта Яна Оттоновича въ избыткѣ нѣжности словно присасывались къ ея щекѣ или къ ея шеѣ. И зачѣмъ онъ такъ цѣлуетъ, точно піявка присасывается? Какъ часто ей хотѣлось уклониться отъ этихъ поцѣлуевъ, какъ часто хотѣлось сказать ему во время ихъ брезгливое «довольно». Нужно было много силы воли, чтобы не сдѣлать этого. До замужества она, вполнѣ чистая и неопытная дѣвушка, даже представить себѣ не могла, что въ супружеской жизни будутъ имѣть громадное значеніе даже эти ежедневныя мелочи. Но если въ первое время ихъ совмѣстной жизни покорно терпѣть и переносить многое и многое непріятное приходилось ей, сознавшей, что она добровольно отдалась этому человѣку и не имѣетъ никакого права портить его жизнь за его безграничную любовь, то послѣ смерти Оттона Августовича, когда Яну Оттоновичу было не до чувственныхъ наслажденій, не до приторныхъ поцѣлуевъ, тяжелое нравственное состояніе охватило его, и онъ почувствовалъ, что ему чего-то недостаетъ. Онъ ни въ чемъ не могъ обвинить жену, ни въ сварливости, ни въ кокетствѣ, ни въ поползновеніи измѣнить ему, даже въ отсутствіи предупредительности, но тѣмъ не менѣе онъ чувствовалъ себя одинокимъ. Вслѣдствіе смерти отца и болѣзни матери Семпелю пришлось прекратить пріемы старыхъ друзей въ назначенные дни, и въ ихъ домѣ не длился безконечный старомодный вистъ, не раздавались звуки фортепіано подъ руками разныхъ музыкантовъ-любителей; потомъ же, когда можно было и возобновить пріемы гостей, беременность жены и ея неустанныя хлопоты и возня съ ребенкомъ опять устранили всякія развлеченія. Да и что общаго могло быть у нея съ этими чопорными, методичными, аккуратными и скучными стариками? Они были связаны съ нимъ, съ Яномъ Оттоновичемъ, воспоминаніями, какъ учился ходить и говорить, какъ онъ, еще совсѣмъ маленькимъ ребенкомъ, снялъ съ себя шелковую рубашонку и отдалъ ее въ припадкѣ добродушія нищему, какъ онъ разъ былъ прибитъ въ школѣ дѣтьми и стойко не выдалъ ихъ, резонно говоря, что ему отъ этого не будетъ легче, а ихъ накажутъ. У нея же не

могло быть съ ними никакихъ интересовъ, никакихъ воспоминаній, для нея они были просто скучными людьми и только. Надъ ними она могла, пожалуй, смѣяться, какъ надъ старыми людьми временъ фижмъ и мушекъ, какъ надъ жеманствомъ прошлаго вѣка. Ее нельзя было обвинять даже за излишній материнскій эгоизмъ, когда она, спасая дитя отъ заразы, удалила отъ мужа его грязныхъ и страдающихъ глазами «чухонцевъ», когда она не пожелала разстраивать ребенка его похоронными чухонскими пѣснями. Это только мама Грета можетъ ее обвинять за все и про все, забывая, что и она когда-то страдала да и теперь страдаетъ материнскимъ эгоизмомъ. Онъ же ее не обвиняетъ.

XIX.

Думы Яна Оттоновича о женѣ и объ отношеніяхъ ея къ нему тянулись безконечною нитью, развиваясь медленно и неустанно. Она права, не любя его чухонцевъ, не признавая ихъ чухонской пассивной тоски, граничащей съ апатіей. Они люди разной кости. Она выросла и воспитывалась въ традиціяхъ служилаго петербургскаго дворянства и не могла любить вообще простой народъ да еще чужой народъ. У нея не было дѣда, который, потерявъ работницужену и оставшись съ малолѣтнимъ сыномъ, не нашелъ никакого лучшаго исхода, какъ повѣситься съ горя. У отца на всю жизнь сохранилось воспоминаніе объ этомъ мрачномъ событіи и до старости онъ не могъ забыть этого молчаливаго, тупо задумавшагося у забора съ трубкою въ зубахъ лохматаго бѣлокураго чухонца, отвѣчавшаго только глубокими вздохами на всѣ вопросы своего семилѣтняго сына. Не отъ этого ли вплоть до старости характеръ отца носилъ на себѣ печать тихой грусти? Или и эта тихая грусть, и это тупое упорство во всемъ, и это пассивное отношеніе ко всѣмъ неудачамъ и лишеніямъ въ жизни, однимъ словомъ, все, все въ нихъ, Семпеляхъ, просто черты наслѣдственности, черты мрачно покорной чухонщины. Не будь онъ, Янъ Оттоновичъ, болѣе сознательно религіозенъ, чѣмъ его дѣдъ,—онъ тоже, кажется, былъ бы способенъ теперь, въ извѣстныя минуты отчаянія, повѣситься, чтобы не чувствовать себя несчастнымъ съ любимой женщиной и не дѣлать несчастною ее. Протестовать иначе онъ не умѣетъ. Пассивную тупую тоску, звучащую въ ихъ народныхъ пѣсняхъ, однообразную, какъ похоронный звонъ, вотъ все, что вызываютъ въ немъ невзгоды жизни. Да, счастіе,

что онъ такъ глубоко и сознательно религіозенъ, а то... И онъ содрогался отъ мысли, что и онъ когда-нибудь могъ бы, какъ его дѣдъ, покончить съ собою самоубійствомъ. Онъ начиналъ тупо обдумывать, какъ бы поступилъ на его мѣстѣ другой болѣе энергичный человѣкъ, и въ концѣ концовъ чувствовалъ, что онъ и представить не можетъ, до чего можетъ додуматься, какъ можетъ поступить, чѣмъ можетъ пожертвовать въ извѣстныхъ случаяхъ болѣе энергичный человѣкъ. Какъ ему, напримѣръ, побѣдить предубѣжденіе противъ горячо любимой имъ жены въ сердцѣ его обожаемой имъ матери?

Какъ ему оградить Олю отъ враждебныхъ выходокъ бѣдной старушки? Онъ вѣдь видитъ, что имъ обѣимъ тяжело, а помочь имъ онъ не въ силахъ. Ни матерью ради жены, ни женой ради матери онъ не въ силахъ пожертвовать. А ихъ глухая рознь все растетъ и растетъ вмѣстѣ съ возрастающей тоской!..

У всѣхъ страннымъ образомъ нерѣдко мелькала одна и та же мысль:

«У насъ точно сейчасъ покойника вынесли».

Эта мысль до того часто носилась у всѣхъ въ мозгу, что иногда, безсознательно потягивая носомъ воздухъ, кто-нибудь изъ членовъ семьи говорилъ:

— Здѣсь сегодня какъ будто ладаномъ пахнетъ?..

А кто-нибудь другой, кому казалось то же самое, объяснялъ:

— Это, вѣроятно, отъ сосенъ запахъ...

Чувствуя на каждомъ шагу эту царящую въ семьѣ глухую рознь и эту пригнетающую тоску, Янъ Оттоновичъ старался хоть какъ-нибудь развлечь Ольгу Владиміровну и то и дѣло приглашалъ ее то прогуляться на музыку на Эспланаду или на представленіе въ Брунсъ-Паркѣ, то съѣздить въ другое увеселительное мѣсто на островкѣ, гдѣ тоже бывали музыка и загородное гулянье. Онъ старался заглушить внутреннюю тоску кажущимся чисто внѣшнимъ весельемъ.

Въ одну изъ такихъ прогулокъ за городъ они возвращались вечеромъ съ музыки на лодкѣ. Было уже почти совсѣмъ темно. Съ моря поднимался свѣжій вѣтеръ, и заливчикъ, почти всегда тихій и сонный, былъ теперь далеко не спокоенъ. Тѣмъ не менѣе кругомъ сновали лодки и пароходики, у береговъ стояли сплошнымъ рядомъ суд-. Привычныхъ къ морю жителей нисколько не безпокоила легкая непогода.

— Я говорила, что не надо было сегодня ѣхать,—сказала Ольга Владиміровна, блѣдная отъ страха, какъ полотно.

Они были уже близко отъ берега.

— Да неужели ты боишься?—засмѣялся Янъ Оттоновичъ:—среди такой массы снующихъ тутъ лодокъ потонуть нельзя... И притомъ такой лоханкѣ... Ну, а если ужъ и тонуть, то вмѣстѣ!—пошутилъ онъ.

— Ты забываешь, что у меня сынъ!—рѣзко произнесла она.

— Онъ вѣдь и мой!—съ усмѣшкой замѣтилъ Янъ Оттоновичъ.

— Я не знаю, насколько онъ дорогъ тебѣ,—раздражительно возвысила она голосъ:—если ты способенъ шутить со смертью, но я... Пароходъ! Пароходъ!—вдругъ неистово крикнула она, видя, что апатичный лодочникъ-финнъ ѣдетъ, какъ ей показалось, прямо подъ пароходъ, и въ ужасѣ шарахнулась въ сторону, схватившись обѣими руками за бортъ закачавшейся лодки.

Въ это время случилось нѣчто неожиданное. Лодочникъ, внезапно испуганный непонятнымъ ему крикомъ русской барыни, обернулся назадъ, круто повернулъ лодку отъ парохода и наѣхалъ на канатъ стоявшаго у берега судна. Въ ту же минуту въ воздухѣ раздался раздирающій душу крикъ:

— Спасите! Спасите!

Въ двухъ шагахъ отъ мѣста катастрофы на пристани засуетились люди; кругомъ засновали лодки; послышались крики:

— Лодка на канатъ наѣхала!.. Перевернулась... Спасайте даму!.. Вотъ ея платье бѣлѣется...

Впотьмахъ кто-то вытаскивалъ уже на берегъ безчувственную Ольгу Владиміровну, ухватившуюся, какъ желѣзными когтями, окоченѣвшими пальцами за канатъ, на который наѣхала лодка; весь мокрый лодочникъ успѣлъ уже подплыть къ пристани и отряхивался на ней, какъ вышедшій изъ воды лохматый песъ. Не было только Яна Оттоновича. Онъ, какъ ключъ, пошелъ ко дну.

Полубезчувственную, привели Ольгу Владиміровну на дачу. Была уже почти ночь. Тѣмъ не менѣе, охваченная какой-то смутной тревогой Маргарита Ивановна, несмотря на совѣты тетушки Эльмы, оставалась на террасѣ, поджидая своихъ дѣтей. Едва на ступенькахъ этой террасы, въ сопровожденіи группы спасавшихъ ее людей, показалась фи-

гура Ольги Владиміровны въ мокромъ, прилипавшемъ къ ея тѣлу платьѣ, какъ Маргарита Ивановна поднялась со своего кресла.

— Янъ гдѣ? Гдѣ Янъ?—грозно крикнула она, опираясь на свои костыли.

— Несчастіе случилось,—пояснилъ кто-то изъ толпы.— Лодка опрокинулась...

— А-а!—пронесся не человѣческій крикъ Маргариты Ивановны.—Утопила!.. Убійца!..

И, забывъ о своей отнятой ногѣ, она выхватила изъ-подъ руки костыль и пустила имъ въ пространство по направленію къ невѣсткѣ, съ глухимъ грохотомъ падая безъ чувствъ на полъ.

XX.

— Утопила!.. Убійца!..

Эти слова, какъ ударъ грома, поразили Ольгу Владиміровну. Долго проболѣла она, не сознавая, что происходило дома, какъ черезъ три дня нашли трупъ ея мужа, какъ хоронили и его, и его пораженную ударомъ мать, какъ безъ устали, прикрикивая на слугъ и пріѣхавшую изъ Петербурга Марью Алексѣевну, металась тетушка Эльма отъ покойниковъ къ больной и отъ больной къ покойникамъ, какъ ничего еще не понимавшій Володя лепеталъ что-то, непремѣнно желая разузнать, зачѣмъ кладутъ въ серебряные ящики, какъ онъ назвалъ металлическіе гробы, папу и бабушку, и допытывался, положатъ ли въ серебряный ящикъ и маму...

Но маму не положили въ серебряный ящикъ.

Ольга Владиміровна выздоровѣла, и только въ ея волосахъ появились серебряныя нити преждевременной сѣдины. Нужно было много времени, много материнской любви къ Володѣ, чтобы мало-по-малу прошли, какъ зарубцовавшіяся раны, ея мрачныя мысли о томъ, точно не она ли была виновницей смерти мужа, перекувырнувши своимъ движеніемъ лодку, свернувшую быстро при ея крикѣ отъ парохода и наѣхавшую на канатъ, не мелькнуло ли въ ея головѣ яркой молніей безсознательно зловѣщее слово «развязка, развязка»; не изъ-за нея ли Янъ, опытный пловецъ, не сдѣлалъ даже попытки спастись и пассивно отдался въ руки, случайно подвернувшейся, смерти; не было ли въ этой катастрофѣ непреднамѣреннаго убійства, не было ли въ ней случайнаго самоубійства? Отъ этихъ вопросовъ у

нея стягивалась иногда кожа на головѣ, и ей казалось, что у нея встаютъ дыбомъ волосы. Она, конечно, не знала, что и посторонніе люди, всегда готовые толковать вкривь и вкось о сенсаціонныхъ событіяхъ, тоже задавали праздные вопросы: «Не жена ли утопила мужа? Не утопился ли мужъ, не желая спасаться?» И никто не думалъ о томъ, что никакіе пересуды не выяснятъ тайны, унесенной въ могилу. Только тетушка Эльма продолжала оживленнѣе, чѣмъ когда-нибудь, хлопотать и хозяйничать, чувствуя, что весь порядокъ въ домѣ, всѣ заботы объ оставшихся въ домѣ членахъ семьи, съ придачею «этой несносной Марьи Алексѣевны», лежатъ теперь всецѣло на ней, и практически совѣтовала Ольгѣ Владиміровнѣ:

— O, mein Engelchen, берегите теперь только себя. Вы мать, у васъ на рукахъ Володя. А Богъ—Онъ знаетъ, что дѣлаетъ.

— Какой вы счастливый человѣкъ, всегда бодры!—слабымъ голосомъ говорила ей со вздохомъ Ольга Владиміровна, прижимая къ себѣ Володю.

— O, mein Engelchen, на свѣтѣ во всѣхъ случаяхъ,—и въ счастіи, и въ несчастіи, человѣку нужно быть fix und fertig, если онъ хочетъ жить!—весело рѣшала тетушка Эльма.

СМѢНА ПОКОЛѢНІЙ.

РОМАНЪ.

Andre Zeiten, andre Voegel!
Andre Voegel, andre Lieder!
Sie gefielen mir vielleicht,
Wenn ich andre Ohren haette!
H. Heine.

I.

Всѣ приживалки въ обширномъ деревенскомъ домѣ старой помѣщицы, княгини Маріи Никоновны Строгиной, урожденной княжны Волховской, были сильно возбуждены и шипѣли, какъ встревоженныя въ мирномъ логовѣ змѣи. Въ этомъ шипѣньи однако было что-то злорадно-торжествующее. И постоянно сокрушительно вздыхающая «чревоугодница грѣшная»,—какъ она сама звала себя,—едва двигающаяся отъ тучности бродячая монахиня мать Ѳіонилла; и, какъ доблестью, чванящаяся тѣмъ, что она «своихъ крѣпостныхъ дѣвокъ по щекамъ бивала», длинная и тощая старая дѣва Олимпіада Павловна Воротилова, вульгарно прозванная дворовыми Маріи Никоновны «осиновою жердью— самъ Іуда на ней повѣсился»; и вѣчно старавшаяся казаться ниже своего роста, несмотря на то, что онъ и такъ былъ не великъ, ежеминутно прикладывающаяся съ подобострастными улыбочками къ ручкѣ Маріи Никоновны, растерянно хихикающая сплетница Хіонія, — по пренебрежительному прозвищу Маріи Никоновны «фитюлька», — всѣ одинаково торжествовали въ душѣ и злорадно чувствовали, что нынче на ихъ улицѣ праздникъ, что ихъ исконные враги, дворовые Маріи Никоновны посрамлены, что этимъ хамамъ и хамкамъ «обломали рога», что теперь хамы и хамки, и самъ «индюкъ», дворецкій Илья Ивановичъ, и «коровница рогатая», ключница Лукерья Петровна, и «лупоглазый сорванецъ», двѣнадцатилѣтній казачокъ Тришка, Лукерьинъ

выкормокъ, однимъ словомъ всѣ-всѣ «опустили носы» и «поджали хвосты», а уже о «выскочкѣ Дашуткѣ», горничной Марьи Никоновны, и говорить нечего,- та прямо «бѣлугой ревѣть».

-- Очень ужъ возмечтали о себѣ хамы, благородными людьми чуть не помыкали! — шипѣла Олимпіада Павловна, сидя въ просторной столовой помѣщичьяго дома и нетерпѣливо выводя вязательнымъ крючкомъ петли вывязываемыхъ ею кружевъ (другихъ работъ, какъ неприличныхъ благородной дѣвицѣ, она не знала), и по нервному движенію ея костлявой руки было ясно видно, какая буря клокотала въ ея вытянувшейся палкою, тощей фигурѣ со вздернутой кверху полуплѣшивой, слегка прикрытой фаншономъ, головой.

— Смиренія и благочестія, матери мои, нѣтъ въ сердцахъ загрубѣлыхъ! Все отъ этого и происходитъ: и прекословія, и безчинства, и безобразія разныя, — сокрушительно вздохнула дебелая мать Ѳіонилла и, искоса, жадными глазами взглянувъ на стоявшій посреди комнаты столъ, уже приготовленный къ завтраку, спросила, ни къ кому въ особенности не обращаясь: — Благодѣтельница-то, чай, хоть сегодня, матери мои, выйдетъ къ завтраку? Или все недужится?

-- Сокрушается, ангелъ... чувствую, что сокрушается она!.. а только по гордости своей виду не подастъ... Боюсь, ангелъ, какъ бы изъ-за всей этой исторіи серьезно не заболѣла; здоровье-то ея хрупкое, деликатное,—слащаво заговорила Хіонія, дѣлая по обыкновенію уморительныя гримасы и ужимки своимъ гуттаперчевымъ лицомъ, вертя во всѣ стороны головой съ завернутой свинымъ хвостикомъ косичкой на затылкѣ и торопливо надвязывая старый, засаленный до отвратительности, чулокъ.

— Изъ-за хамокъ-то да еще болѣть благороднымъ людямъ... Много чести имъ будетъ! — опять рѣзко произнесла Олимпіада, вздергивая еще выше голову на жиловатой шеѣ.

— Сердце отходчивое, матери мои, быстро распаляется, а потомъ сокрушается! вздохнула снова и опять заговорила о завтракѣ мать Ѳіонилла. - А и впрямь не захворала ли серьезно благодѣтельница, что нейдетъ къ завтраку и сегодня... Бѣда сущая... Жарища-то какая стоитъ. Притомила совсѣмъ! Теперь бы, матери мои, заморить червячка да отдохнуть... рано я больно встала на молитву...

Мать Ѳіонилла, давно уже чувствовавшая наступленіе «адмиральскаго часа», возбудила и въ двухъ другихъ приживалкахъ аппетитъ. Казалось, онѣ ѣли уже нѣсколько

дней. Благодѣтельница же не появлялась и, что было хуже всего, такъ это то, что въ столовую не появлялась и Варвара, бойкая и смѣлая девятнадцатилѣтняя внучка Марьи Никоновны, пріѣхавшая погостить къ бабкѣ, такъ что приживалкамъ не у кого было даже спросить о здоровьѣ благодѣльницы, кромѣ тѣхъ самыхъ хамовъ и хамокъ, про которыхъ только-что судачили эти паразитки. Но къ хамамъ и хамкамъ обращаться было не особенно пріятно даже и въ обыкновенное время, когда тѣ не были такъ раздражены, какъ сегодня... Минуты между тѣмъ шли за минутами и голодъ трехъ женщинъ разрастался. Наконецъ, мать Ѳіонилла не выдержала и обратилась мягкимъ пѣвучимъ голосомъ къ своему злѣйшему врагу, луноглазому казачку Тришкѣ, вошедшему въ столовую:

— Тришенька, а Тришенька... ты что это хочешь дѣлать?

— Приборъ старой барыни убираю, — отвѣтилъ грубо Тришка, даже не взглянувъ въ ея сторону.

— Да вѣдь матушка благодѣтельница еще не завтракала...

— А я убираю...

— Разнедужилась, что ли?

— А вы подите спросите у нея самой!

Въ отрывистыхъ отвѣтахъ Тришки послышалась насмѣшка. Всѣ знали, что къ Марьѣ Никоновнѣ безъ зова никто не смѣлъ заходить на ея половину. Казачокъ, особенно сильно стуча сапогами и громыхая тарелками, вилками, ножами и ложками, убралъ приборъ старой барыни и затѣмъ принялся убирать другой приборъ. Мать Ѳіонилла окончательно всполошилась.

— Тришенька, ты что же это дѣлаешь? — снова начала она уже совсѣмъ пугливо.

— Приборъ барышнинъ убираю.

— Да развѣ и барышня не будетъ сегодня завтракать?

— Вѣрно, что не будетъ!..

— Какъ же такъ?—спросили разомъ всѣ женщины, растерявшіяся теперь не менѣе матушки Ѳіониллы.

Тришка хихикнулъ, понявъ, что приживалки боятся остаться безъ завтрака. Однако въ эту минуту появилась какая-то третьестепенная служанка изъ дворовыхъ, состоявшая въ барскомъ домѣ при кухнѣ, рябая и некрасивая, и, ставя на столъ блюдо съ какой-то ѣдой, грубо сказала:

— Ѣшьте!

— Какъ собакамъ, прости Господи!—смиренно вздохнула Ѳіонилла.

— Всѣ черти заодно взбеленились!—замѣтила Олимпіада Павловна.

— А вотъ какъ узнаетъ про это ихъ озорство благодѣтельница и еще имъ хуже будетъ, не такъ еще осатанѣютъ, ангелъ,—произнесла Хіонія, видимо собираясь при первомъ удобномъ случаѣ, съ поцѣлуями ручекъ и робкимъ хихиканьемъ, насплетничать на грубость дворовыхъ благодѣтельницѣ.

Приживалки торопливо усѣлись за массивный обѣденный столъ изъ темнаго дуба съ художественной рѣзьбой, накрытый бѣлой, какъ матовое серебро, скатертью и заставленный дорогими хрусталемъ, фарфоромъ и серебромъ, и у нихъ тотчасъ же начались разговоры о злобѣ дня, о послѣднихъ происшествіяхъ въ домѣ. Происшествія эти были выходящими изъ ряду вонъ среди монотонной жизни въ помѣщичьемъ домѣ. Третьяго дня случилось совершенно неожиданное событіе: Марья Никоновна, въ припадкѣ неодолимой вспыльчивости, приказала обрѣзать косу Дашѣ — своей любимой, избалованной горничной; сегодня же высѣкли на конюшнѣ Данилу Иванова, молодого франтоватаго парня, проживавшаго уже нѣсколько лѣтъ на оброкѣ въ Петербургѣ и пріѣхавшаго на три мѣсяца на побывку въ деревню. Ничего подобнаго въ этомъ домѣ уже давно не бывало.

— Да и стоитъ, и стоитъ, ангелъ,—говорила, гримасничая, Хіонія.—Какъ его еще въ солдаты не приказала отдать благодѣтельница—уму непостижимо... Шутка ли, что надѣлалъ, — соблазнилъ горничную самой благодѣтельницы! Да вчера, ангелъ, наша матушка-благодѣтельница чуть въ обморокъ не падала, какъ вспомнится ей, что Дашутка все это время волосики своими подлыми ручищами ей расчесывала, да чулочки на ея ножки бѣлыя натягивала, а сама въ это время... Тьфу ты мерзость какая!

— Ужъ чего хуже... Горничная—и вдругъ съ какимъ-то хамомъ связалась... Да Марья Никоновна, по своей благородной брезгливости, обѣда не станетъ ѣсть, если онъ мужчиною приготовленъ, а тутъ вдругъ какая-то распутница около ея благородной особы каждый день обращалась... наглость-то какая! И это послѣ всего, что для ихъ отродья Марья Никоновна дѣлаетъ... Какъ у Христа за пазухой, живутъ въ благородномъ домѣ... Нѣтъ, хамы хамами всегда и останутся, что ни дѣлай!..

— Развращенность нравовъ, матери мои,—вставила свое слово мать Ѳіонилла, торопливо набивая ротъ остатками

ѣды, и спросила, чавкая замасленнымъ ртомъ:—Еще-то что-нибудь подадутъ?

— Дашутка-то, ангелъ, въ ярость пришла, какъ косу-то ей обрѣзали, осатанѣла совсѣмъ. Не ждала, истинно не ждала такого афронта! Тоже и вся свора родни за нее надулась. Какъ индюки ходятъ. Зарѣзать, ангелъ, готовы матушку-благодѣтельницу,—сказала Хіонія, ворочая глазами.

— Ну, готовы не готовы, а Данилу-то все же выпороли сегодня... Сама, своими ушами, слышала, какъ пороли на конюшнѣ,—заявила торжествующимъ тономъ Олимпіада.— Имъ теперь поблажку дать, такъ они на голову сядутъ благороднымъ людямъ, слушая, разиня ротъ, что смутьяны разные о волѣ толкуютъ... Данилка, поди, тоже изъ столицы, какъ многіе иные прочіе, эти злодѣйскіе слухи о волѣ занесъ... Вотъ ему сегодня вольную-то и прописали... Если бы не мое благородное положеніе, да не дѣвичество — сама, ей-Богу, сама, пошла бы поглядѣть, какъ этому форту-то столичному волю прописывали... Ей-Богу!.. Такъ ужъ я рада... такъ рада... и сказать не могу!..

Олимпіада громко захохотала злорадным смѣхомъ.

— По грѣхамъ и воздаяніе,—вздохнула мать Ѳіонилла и опять перешла къ вопросу о ѣдѣ:—И съ чего это Варенька-то не пришла къ завтраку? Безъ нея да безъ матушки-благодѣтельницы хамы-то и совсѣмъ съ голоду уморятъ... и вчера-то кое-какъ накормили... мороженаго такъ и не дали за обѣдомъ, а я своими глазами видѣла, какъ вертѣли его...

Хіонія вдругъ вся точно умалилась, съежилась и заговорила шопотомъ:

— Вотъ тоже, ангелъ, испытаніе Господь послалъ на благодѣтельницу... точно вѣтромъ надуло...

Она пугливо осмотрѣлась вокругъ, видимо боясь шпіоновъ, но тѣмъ не менѣе удержать свой языкъ не смогла и стала судачить про Варвару:

— И откуда эта отвага у нынѣшнихъ дѣвицъ петербургскихъ берется, ангелъ? И учиться женщинамъ надо, и даромъ небо коптить стыдно, и рабовъ не слѣдуетъ имѣть... не переслушаешь всего, что тарантятъ... И все это голову передъ нами вздергиваетъ, все въ нашъ огородъ мѣтитъ... и дармоѣдки-то мы, и землю-то мы коптимъ... вотъ ужъ поистинѣ сказать, даромъ что дворянскаго происхожденія, а съ хамками заодно...

— Гордыня!—вздохнула мать Ѳіонилла.

— Меня учить вздумала, зачѣмъ благороднымъ рукодѣліемъ занимаюсь— кружева все вяжу,—вставила Олимпіада Павловна.—Не нужная, видите ли, эта работа!..

— Еще слава Богу, ангелъ, что матушка-благодѣтельница крылья-то ошибать умѣетъ. «Не тобой, говоритъ, все это началось, не тобой и кончится. Волтерьянцы да фармазоны и до тебя были»... Тоже, ангелъ, скажетъ, какъ отрѣжетъ. Ровно безъ языка послѣ ея-то словъ человѣкъ останется.

— Все умъ, матери мои!—рѣшила мать Ѳіонилла.

— О себѣ бы думала гордячка,—презрительно отозвалась Олимпіада Павловна.—Всѣ у нея дармоѣды, всѣ лизоблюды; благородныхъ людей въ грязь втоптать рада, а сама зачѣмъ пріѣхала сюда, въ Вѣтрищево, позвольте спросить? Бабушку повидать? Очень ей нужна бабушка, которую отъ рожденія не видала. Нѣтъ, не то загнало ее сюда. А мать либо отецъ подослали,—поживиться хотятъ. Видно, въ Петербургѣ-то все профинтили, бабушка и занадобилась. «Ты, молъ, молода, тебя старуха полюбитъ, изъ-за тебя и съ нами помирится». Недаромъ въ послѣдніе годы Вѣра Васильевна къ Марьѣ Никоновнѣ все чаще и чаще писать стала,—вдругъ мать вспомнила, нѣжностью воспылала...

— Корысть, матери мои!—вставила мать Ѳіонилла.

Та же рябая служанка принесла второе блюдо и торопливо вышла, хлопнувъ дверью.

— Аспиды!—чистыхъ тарелокъ даже не дали, на грязныхъ заставляютъ благородныхъ людей ѣсть,—замѣтила Олимпіада.

— На нихъ за это, матери мои, взыщетъ Господь, на нихъ, а намъ что?—убытку не причинится людскою злобою, все равно въ одну утробу пойдетъ питаніе!—смирно пояснила Ѳіонилла, принимаясь опять за ѣду и накладывая мясо на ту же тарелку, на которой только-что ѣла рыбу.

Маленькіе глазки Хіоніи какъ-то особенно усиленно заморгали, подвижное лицо приняло глубокомысленное выраженіе, и она опять таинственно начала судачить о дочери Марьи Никоновны, Вѣрѣ Васильевнѣ, и внучкѣ Варварѣ.

— А знаете, ангелъ, что я подозрѣваю. Недаромъ все это дѣлается... стремленіе-то это самое примириться съ благодѣтельницей... вѣрно, почуяла Вѣра Васильевна бѣду какую-нибудь близкую и спѣшитъ призвать къ себѣ мать на подмогу,—Вареньку-то и прислала сюда для переговоровъ...

— Да и я же это говорю,—подтвердила Олимпіада.

— И думаю я, ангелъ,—продолжала соображать Хіонія:— что если станутъ крестьянъ на волю отпущать, то станутъ, вѣрно, тоже и въ служащихъ умаленіе дѣлать... Мнѣ вотъ одинъ приказный сказывалъ: «по шапкѣ, говорилъ, всѣхъ турнутъ»... И чѣмъ держаться-то тогда все будетъ? Свѣтъ-то какъ стоять будетъ?

— Охъ, послѣднія времена!—вставила свое слово Ѳіонилла.

И вдругъ всѣ разомъ смолкли, услыхавъ на господскомъ дворѣ необычайное движеніе: послышался конскій топотъ, заржала одна изъ лошадей, по песку зашуршали колеса. Всѣ три женщины разомъ бросились отъ стола къ окнамъ, по-лѣтнему, затянутымъ отъ комаровъ и мухъ кисеей, и вскрикнули:

— Варенька уѣзжаетъ! Смотрите, смотрите, совсѣмъ собралась въ дорогу и чемоданчикъ на козлахъ. И совсѣмъ одна... Благодѣтельница, ангелъ, и проводить не вышла... Дашутка-то, Дашутка-то стриженая заливается, ручки цѣлуетъ... Тьфу, смотрѣть мерзко,—благородная барышня хамку, какъ ровню, обнимаетъ да цѣлуетъ... вотъ такъ, вотъ такъ!.. Ужъ лучше бы взяла да сама хамкѣ ручки начала лизать... Экія времена, матери мои!.. И съ чего ѣдетъ? Куда? Узнать-то не у кого! Да что же это такое?

Приживалки говорили наперебой, волнуясь и недоумѣвая. На дворѣ же, залитомъ яркими лучами лѣтняго солнца, происходила безмолвная, но тяжелая сцена прощанія дворовыхъ женщинъ съ молодой, высокой и стройной дѣвушкой, отиравшей невольно навертывавшіяся на ея глаза слезы...

II.

Въ то время какъ приживалки вкривь и вкось толковали о происшествіи, случившемся въ домѣ,—на половинѣ самой княгини Марьи Никоновны Строгиной происходила настоящая семейная драма. О сущности этой драмы не могъ знать никто изъ посторонникъ людей, потому что Марья Никоновна строго и неизмѣнно придерживалась извѣстныхъ прописныхъ, всосанныхъ ею съ молокомъ матери, правилъ: «свои собаки грызутся—чужая не приставай», «всякъ сверчокъ знай свой шестокъ», «не суй своего носа, гдѣ тебя не спрашиваютъ», «свое бѣлье нужно перемывать дома», и т. д.

Марья Никоновна была человѣкомъ характернымъ и оригинальнымъ. Уже входя къ ней въ домъ, по его обстановкѣ, по его порядку, всѣ чувствовали, что тутъ все устроено не по-деревенски, не по провинціальному, а на столичный, на европейскій ладъ, и притомъ на большія деньги. Княгиня принадлежала къ числу большихъ старыхъ барынь и уже однимъ своимъ величественнымъ видомъ и строгимъ выраженіемъ лица внушала людямъ если не уваженіе, то страхъ. Хотя она прожила много лѣтъ безвыѣздно въ деревнѣ, но деревня и провинція не наложили своей печати на ея внѣшность и не стерли ни одной черты изъ того внѣшняго лоска, который получился ею въ дѣтствѣ и въ юности въ лучшихъ салонахъ столицы. Высокая, стройная до старости, съ поразительно сохранившимися темно-сѣрыми глазами, съ антично-правильнымъ профилемъ, неизмѣнно носящая чепецъ изъ бѣлыхъ блондъ на сѣдыхъ, какъ серебро, волосахъ, причесанныхъ гладко, съ двумя буклями съ обѣихъ сторонъ продолговатаго лица, подхваченными тонкими черепаховыми гребенками, она смотрѣла величаво, серьезно, рѣдко улыбалась, и только иногда ея тонкія губы чуть-чуть подергивались не то насмѣшливою, не то презрительною улыбкою. Прекрасно образованная, отличавшаяся когда-то замѣчательной красотой, избалованная богатствомъ и поклоненіемъ, долго вращавшаяся, ребенкомъ и дѣвушкой, въ большомъ свѣтѣ въ столицѣ, въ первые годы нынѣшняго столѣтія, когда у многихъ людей ея круга, дѣлавшихъ исторію, чувствовался особый подъемъ духа, и при воцареніи императора Александра Благословеннаго, и во время Отечественной войны двѣнадцатаго года, и во время спасенія цѣлой Европы русскою кровью, когда кони «дикихъ скиѳовъ» паслись въ садахъ блестящаго Парижа,—она подъ старость стала отличаться массой странностей и чудачествъ, и было уже трудно сказать, чего было больше въ ея характерѣ—добраго или злого: внѣшность сохранилась чисто-европейская, въ поступкахъ же часто стало прорываться самодурство не культурнаго человѣка.

Прежде всего она считала себя обиженной, потому что два ея родные брата изъ блестящихъ гвардейцевъ попали въ число другихъ сосланныхъ въ Сибирь декабристовъ, а ея любимый мужъ, уже дѣлавшій завидную карьеру, долженъ былъ послѣ процесса декабристовъ волей-неволей ѣхать на Кавказъ, гдѣ и былъ убитъ. Она, не умѣя и не желая изъ гордости играть роль достойной сожалѣнія и

участія жертвы, сочла нужнымъ послѣ смерти мужа удалиться съ крошечною дочерью въ деревню, въ которой и прожила безвыѣздно болѣе тридцати лѣтъ, будируя на всѣхъ и все и въ душѣ все болѣе и болѣе, безсознательно и незамѣтно для себя самой, кичась тѣмъ, что она смѣетъ и можетъ будировать, вести мелкую войну съ провинціальными властями, командовать бѣдными и приниженными сельскими попами того времени и держать бразды правленія надъ крѣпостными, дворовыми и всякой челядью, несшими въ ту пору ярмо рабства покорнѣе, чѣмъ когда-нибудь.

— Да что это за вдовствующая царица астраханская!— досадливо воскликнулъ про нее одинъ изъ провинціальныхъ помпадуровъ, котораго она не приняла у себя въ домѣ, сказавъ, что она слишкомъ стара для новыхъ знакомствъ, и въ то же время замѣтивъ при нѣсколькихъ сплетникахъ, что она удивляется нахальству разныхъ нынѣшнихъ выскочекъ, желающихъ попасть въ гостиныя тѣхъ домовъ, въ которыхъ они могутъ стоять развѣ только въ прихожей.

Съ этой поры шутники изъ прихвостней помпадура прозвали ее «вдовствующей царицей астраханской», находя фразу очень остроумной и даже не понимая, что старуха дѣйствительно принадлежала къ вымиравшей уже тогда породѣ тѣхъ женщинъ, которыя и въ обществѣ, и на сценѣ, какъ княгини Дашковы или Семеновы, походили именно на царицъ. Узнавъ объ этомъ, она только усмѣхнулась и на своемъ своеобразномъ лаконическомъ языкѣ замѣтила:

— Вѣрно, зеленъ виноградъ.

Сперва ея удаленіе изъ высшаго петербургскаго общества въ глухую деревню было совершенно естественно и просто, какъ вызванное глубокими чувствами невзгодъ и утратъ; но, спустя нѣкоторое время, когда поулеглось острое чувство скорби и печали и осталась только одна не столько трогательная, сколько досадная и смѣшная привычка похоронnаго настроенія, недовольства и будированья—въ ея характерѣ начало появляться какое-то, часто уже ни на чемъ не основанное, озлобленіе противъ всего и всѣхъ, и стали все сильнѣе и сильнѣе высказываться черты ничѣмъ не сдерживаемаго самодурства. Благородный посѣвъ, сдѣланный весною жизни, такъ сказать, заглушался въ дни ненастной осени сорными травами.

Это сдѣлалось особенно замѣтнымъ со времени самовольнаго выхода замужъ ея единственной дочери Вѣры Васильевны

евны за молодого офицера Пантелеймона Семеновича Чупруненко. Дочери шелъ уже двадцать четвертый годъ, когда она влюбилась въ Чупруненко, и потому заставить ее силой не выходить замужъ было невозможно, а добровольно отказаться отъ этого брака сама Вѣра Васильевна вовсе не желала. Она жаждала вырваться изъ деревенской глуши, гдѣ увядала ея жизнь «по капризу матери», какъ говорила она, давно уже возненавидѣвшая ту обстановку, въ которой ее держала мать. Малороссъ-офицеръ прельщалъ свѣжестью молодости, отлично пѣлъ еще не осипнувшимъ отъ вина голосомъ малороссійскія пѣсни и умѣлъ очаровать нѣжными словами любви дѣвушку, терявшую уже надежду на замужство въ деревенской трущобѣ, вдали отъ свѣта, который она любила, еще не зная его, и который теперь казался ея матери, уже не знавшей его, состоящимъ сплошь изъ какихъ-то выскочекъ, ренегатовъ и писарьковъ, вышедшихъ въ люди. Ходили анекдоты, что имя одного сановника, котораго звали Іаковъ, Марья Никоновна вѣчно умышленно перепутывала съ именемъ Іуды и что при упоминаніи другого, котораго звали Шлехтманомъ, она, играя словами, всегда замѣчала:

— Да ужъ это плохое дѣло, когда иные такъ и зовутся «скверными людишками», а все же играютъ роль.

Разумѣется, нечего было и думать ей о томъ, чтобы прибѣгать къ помощи этихъ «скверныхъ людишекъ» съ цѣлью воспрепятствовать ея браку дочери, съ которою она не могла справиться сама, какъ справлялась съ приказными, попами и крѣпостными. Вслѣдствіе этого, она просто заявила дочери:

— Ты совершеннолѣтняя и можешь сдѣлаться, если тебѣ хочется, Чепушенкою или чѣмъ угодно; но, надѣюсь, что ты избавишь меня отъ какихъ бы то ни было сношеній съ этими господами Чурбаненками, Остолопенками или какъ ихъ тамъ зовутъ...

Такимъ образомъ, Вѣра Васильевна изъ княжны Строниной превратилась въ госпожу Чупруненко, и лѣтъ девятнадцать-двадцать Марья Никоновна два-три раза въ годъ получала въ письмахъ немного хвастливыя, умышленно прикрашенныя извѣстія о томъ, что дочь очень счастлива, что она уже живетъ въ Петербургѣ, что у нея родятся чудныя дѣти, что ея дорогой мужъ переименовался въ гражданскій чинъ, ждетъ генеральства и состоитъ гдѣ-то казначеемъ.

— Гдѣ-то въ приказныхъ овецъ стрижетъ!—мелькомъ съ

гримасой замѣчала Марья Никоновна, когда ее спрашивали объ ея зятѣ.

Распространяться больше и о немъ, и о своей дочери она не считала нужнымъ.

Теперь она уже окончательно пріобрѣла славу чудачки и почти не имѣла знакомыхъ. Ее обѣгали, какъ не совсѣмъ пріятную женщину, съ которой было не всегда удобно говорить, особенно когда она насмѣшливо задавала вопросы о томъ, на какой новый постъ назначенъ Алексѣй Петровичъ Ермоловъ, и все ли еще считаютъ сумасшедшимъ Петра Чаадаева... Ее окружали только цѣлыя своры дворовыхъ да ихъ враговъ-приживалокъ. Несмотря на всю ея вспыльчивость и привередливость, дворовымъ у нея жилось очень хорошо; они примирялись даже съ тѣмъ, что всѣ служившія у нея въ комнатахъ или на ея кухнѣ дѣвушки не смѣли и думать о замужествѣ, подъ страхомъ разжалованья въ поломойки или прачки; мужчины въ дворнѣ допускались только старые, пятидесяти- и шестидесятилѣтніе старики, или мальчуганы лѣтъ до четырнадцати. Подчиняясь вполнѣ этой причудѣ брезгливой барыни или ловко пряча всякія свои незаконныя связи, эти служанки-дѣвушки отлично обдѣлывали свои любовныя дѣла; по ихъ протекціи, на барскомъ дворѣ то и дѣло появлялись безродныя дѣти въ родѣ Тришки, катавшіяся, какъ сыръ въ маслѣ, а сами дѣвственницы исправно копили имъ и себѣ копейки на черный день. Совершенно естественно, что онѣ ненавидѣли лишніе рты, лишнія уши, лишніе глаза, могущіе многое подсмотрѣть, подслушать и выболтать Марьѣ Никоновнѣ. Такими же лишними ушами, лишними глазами и лишними ртами дворовые по праву считали всѣхъ тѣхъ странницъ и приживалокъ, которыя, за неимѣніемъ другого общества, забавляли и развлекали хандрящую старуху, когда та уставала перечитывать книги и вести безконечную, таинственную для всѣхъ постороннихъ переписку съ двумя-тремя друзьями изъ вѣрныхъ прошлому лицъ. Она же, при всемъ своемъ природномъ умѣ, даже не замѣчала, что въ сущности она мало-по-малу завела при себѣ штатъ шутихъ, съ которыми нельзя было обмѣняться ни одной живой мыслью, надъ которыми можно было только издѣваться и которыя переносили отъ нея изъ-за куска хлѣба всѣ обиды и улыбались заискивающими улыбками даже тогда, когда она рѣзко и брезгливо дѣлала имъ замѣчанія въ родѣ того, какъ она сказала разъ цѣлующей ея ручки Хіонін:

— Смотри, фитюлька, не вздумай укусить... Собачонки тоже иногда лижутъ-лижутъ руки да вдругъ и укусятъ!

Она глубоко презирала ихъ въ душѣ и не выгоняла отъ себя только потому, что инстинктивно боялась остаться уже совершенно одинокой.

Совсѣмъ неожиданно въ этой затхлой атмосферѣ, въ одинъ изъ ясныхъ весеннихъ дней, пахнуло струею свѣжаго воздуха, такъ какъ въ Вѣтрищево, въ этотъ прекрасный весенній день, пріѣхала старшая внучка Марьи Никоновны.

Вѣра Васильевна въ послѣдній годъ писала матери все чаще и чаще, что ея старшая дочь—вылитый портретъ бабушки!—оканчиваетъ курсъ ученья въ пансіонѣ, что доктора совѣтуютъ милой дѣвочкѣ провести лѣто въ деревнѣ для поправленія расшатаннаго наукою здоровья, и, наконецъ, дождалась того, что Марья Никоновна, правда, довольно сухо и холодно, но все же дала свое согласіе принять у себя на лѣто внучку...

Съ перваго же дня пріѣзда своего въ домъ бабки, рослая, стройная и красивая Варвара произвела на старуху довольно благопріятное впечатлѣніе. Марья Никоновна дѣйствительно увидала въ ней отчасти самоё себя въ молодости: тотъ же высокій ростъ, почти тотъ же строго классическій овалъ лица, тѣ же горящіе жизнью темносѣрые глаза, кажущіеся порою черными, та же склонность живо интересоваться всѣмъ, критически относиться къ окружающимъ явленіямъ и, главное, никакой слащавости, много твердости въ характерѣ и стойкости во взглядахъ. Правда, манеры дѣвушки были болѣе угловаты, чѣмъ манеры самой Марьи Никоновны въ молодости, рѣчи болѣе откровенны и несдержанны, чѣмъ рѣчи бабки въ былыя времена. Но нельзя же дѣвочку винить за это: выросла въ средѣ глупой матери и какихъ-то... какъ ихъ тамъ зовутъ?.. Чепушенко, Чурбаненко?.. Зятя старуха презирала черезъ двадцать лѣтъ такъ же, какъ въ первые дни знакомства съ нимъ.

— Да ты совсѣмъ не смотришь больною, — замѣтила въ первый же день по пріѣздѣ Варвары въ Вѣтрищево Марья Никоновна, удивленная и румянцемъ дѣвушки, и здоровымъ видомъ всей ея стройной дѣвственной фигуры.

— Да съ чего же мнѣ смотрѣть больною?.. Молода, условія жизни хорошія, — сказала Варвара, съ выраженіемъ удивленія взглянувъ на бабку.

— Твоя мать въ каждомъ письмѣ писала, что тебѣ нуженъ деревенскій воздухъ, для поправленія расшатаннаго

здоровья, послѣ усиленныхъ занятій науками, — замѣтила бабка чуть-чуть насмѣшливо.

— А—а! теперь я все понимаю!—усмѣхнулась Варвара.— Мама такъ боится наукъ, что, кажется, готова все сдѣлать, чтобы у меня только не было книгъ въ рукахъ.

— Эта книгобоязнь у нея и прежде была,—вставила презрительно старуха.

Варвара продолжала:

— Она, доказывая ненужность книгъ, только и твердитъ, что намъ не въ гувернантки идти, что намъ не синими чулками быть...

Она засмѣялась, вспомнивъ что-то, и тотчасъ же пояснила причину своего смѣха:

— Мама разъ нанимала гувернантку и добивалась только одного: чистый ли парижскій у нея выговоръ; а потомъ оказалось, что эта съ чисто-парижскимъ выговоромъ гувернантка едва умѣетъ писать... И что-жъ вы думаете, бабушка? мама едва согласилась отпустить эту парижскую горничную, говоря, что другой гувернантки съ такимъ выговоромъ, пожалуй, не найдешь...

Бабка не удержалась и хмуро вставила:

— Умъ природой дается, а не на базарѣ покупается...

Дочь она всегда презирала за недалекій умъ.

Заговорили о томъ, какимъ образомъ удалось получить болѣе или менѣе сносное образованіе Варварѣ. Варвара пояснила, что она самостоятельно отвоевала себѣ право поступить въ иностранную школу при нѣмецкой церкви, гдѣ и пробыла почти пять лѣтъ и гдѣ учили хорошо. Правда, у нея немного хромаетъ французскій языкъ: она его хорошо знаетъ теоретически, но практически — стѣсняется иногда говорить. Нѣмецкій же языкъ знаетъ отлично. Но особенно хорошо преподавалъ свой предметъ учитель русской словесности Николай Ивановичъ Нащокинъ. Ему она и ея подруги обязаны хорошимъ знакомствомъ съ русской литературой, особенно современной. Бабка сдѣлала гримасу. Что теперь пишутъ и какіе писатели! Варвара загорячилась. А Тургеневъ, а Достоевскій, а Левъ Толстой, а Некрасовъ? Бабкѣ понравилась эта горячность. Сама она любила и уважала представителей мысли своего времени и цѣнила эти чувства въ другихъ. Мать,—какъ говорила Варвара, — напротивъ того, сердилась, что она много учится и читаетъ. Но она, лично, будетъ вѣчно благодарна своей бывшей старой гувернанткѣ, посовѣтовавшей ей поступить въ пой-

денную сю школу. Мать же была настолько противъ этого, что даже выгнала старуху-гувернантку, говоря, что та сбиваетъ съ толку ея дѣтей, не понимая, что они не какіе-нибудь нищіе, не какія-нибудь дѣти мастерового, а дѣти чиновника. Теперь же, когда у нея, у Варвары, есть университетскій дипломъ, она чувствуетъ себя вполнѣ счастливой и ни отъ кого не зависящей: она ни на минуту не задумалась бы и учительницей сдѣлаться, и въ гувернантки пойти. Добывать хлѣбъ трудомъ—честное дѣло. Остальные же ея сестра и два брата, къ несчастію, такъ недорослями и растутъ: умѣютъ болтать по-французски, плохо зная грамматику, танцуютъ, брянчатъ польки и вальсы на фортепіано, а правильно письма по-русски не напишутъ. Впрочемъ, самый младшій ея братъ и того не знаетъ — ничего не знаетъ. Странный онъ у нихъ—добрый, но странный.

— Салонные таланты развиваютъ, — презрительно вставила бабка, выслушавъ о томъ, чему учатъ дѣтей въ семьѣ ея дочери.

— Да, но во всякомъ случаѣ въ размѣрахъ, пригодныхъ только для салоновъ дурного тона,—докончила Варвара.

Старуха усмѣхнулась.

Внучка ей положительно нравилась. Давно уже ни съ кѣмъ не говорила она такъ по душѣ, какъ съ Варварой.

Оставшись одна въ своей комнатѣ, Варвара невольно съ упрекомъ подумала про мать, зачѣмъ послѣдняя писала бабкѣ о ея нездоровьѣ, тогда какъ она и не думала вовсе хворать? Никогда она еще не хворала! Бабка, пожалуй, станетъ думать, что она великое одолженіе дѣлаетъ, позволяя внучкѣ жить и поправлять здоровье у нея лѣтомъ въ деревнѣ; свысока еще станетъ относиться къ ней... Или мать писала старухѣ о нездоровьѣ дочери только для того, чтобы старуха легче согласилась на приносимую ей внучкою жертву, такъ какъ два-три мѣсяца прожить въ глухой деревнѣ, безъ общества,—это вѣдь жертва. Мать это знаетъ, недаромъ же она сама бѣжала когда-то изъ деревни... Хотя такія деликатныя отношенія не въ характерѣ матери, но все же, можетъ-быть, въ данномъ случаѣ, она и солгала изъ деликатности, зная, какъ горда старуха. Она говорила, что старуха въ письмахъ все чаще и чаще жалуется на невыносимую скуку и усердно проситъ отпустить къ ней одну изъ внучекъ...

Но какъ же возмутилась Варвара, когда и тутъ открылась ложь Вѣры Васильевны!

Узнавъ черезъ нѣсколько дней, что у бабки, кромѣ приживалокъ, никого не бываетъ въ гостяхъ, Варвара замѣтила:

— Да, теперь я вполнѣ понимаю, какъ вы скучаете здѣсь!

Марья Никоновна, точно ее задѣли за больное мѣсто, вспылила и рѣзко, надменнымъ тономъ, отвѣтила:

— Я еще въ дѣтство не впала, чтобы нуждаться въ паяцахъ и арлекинахъ. Скучать — значитъ быть глупой и лишенной всякаго внутренняго содержанія, недостаточной самой для себя, а я, слава Богу, не изъ этой породы людей.

— Но вы же писали мамѣ...—начала Варвара.

— Что скучаю?—перебила ее тѣмъ же тономъ старуха.— Что за вздоръ говоришь! Никогда и не думала ничего подобнаго писать. Если бы и скучала, такъ не написала бы, особенно ей, потому что, слава Богу, во всю жизнь еще никого не смѣшила своими жалобами, а глупыхъ людей и подавно...

— Но вѣдь вы потому, что вамъ скучно, и желали, чтобы кто-нибудь изъ насъ пріѣхалъ сюда, — чистосердечно продолжала пояснять Варвара, все болѣе и болѣе недоумѣвая.

Бабка сдѣлала гадливую гримасу.

— Не дурно придумано!—сказала она презрительнымъ тономъ, сразу понявъ теперь планы своей дочери.—Хоть бы и умному, такъ впору! Бабка полюбитъ бѣдненькую внучку, которая зачахла бы безъ деревенскаго воздуха; внучка отнесется нѣжно къ бѣдной бабкѣ, которую будетъ спасать отъ смертельной скуки! Люди вѣдь къ паршивымъ щенкамъ привязываются, если имъ удалось спасти этихъ паршивыхъ щенковъ... И, скажи, всѣ у васъ, въ Петербургѣ, теперь такъ изолгались и исподличались?—рѣзко добавила старуха.

— Но какая цѣль такъ лгать? какая цѣль?—воскликнула вспыхнувшая до корней волосъ и возмутившаяся Варвара, уже не слушая Марью Никоновну.

— А, можетъ-быть, не познакомившись съ тобою, я оставила бы наслѣдство кому-нибудь чужому,—сказала съ ироніей бабка.—Предусмотрительные люди должны все предвидѣть.

Варвара вдругъ выпрямилась, точно выросла, и съ заблестѣвшими глазами какъ-то вызывающе откинула голову.

— Ваше наслѣдство?.. Да именно эта ложь прежде всего заставитъ меня ото всего отказаться... Нѣтъ это возмути-

тельно... лгать родной дочери, лгать систематически цѣлые мѣсяцы... это такая подлость... Недаромъ же мнѣ не показывались ваши письма подъ предлогомъ, что въ нихъ есть вещи, которыхъ не должна знать молодая дѣвушка... И точно она не знала моего характера? Точно не могла предвидѣть, что я все въ первые же дни выведу наружу?

Она волновалась, ходя по комнатѣ и, кажется, даже не замѣчая присутствія бабки. Марья Никоновна слѣдила за ней и видимо любовалась ею, вспоминая свою молодость. Она была такая же «скоропалительная», такая же «кипятилка». Правда, она никогда не была въ молодости такою рѣзкою на словахъ, такою угловатою въ движеніяхъ. Воспитаніе было другое. По какимъ-то школамъ мѣщанскимъ не бѣгала. Миссъ Лэнъ, ея гувернантка, сейчасъ бы сказала ей, что это «неприлично». Ея «choking» останавливало отъ многаго...

— Ну, что сдѣлано, то сдѣлано!—наконецъ проговорила она успокоительно.

— Понятно, что прошлаго не вернуть,—коротко и сквозь зубы отвѣтила Варвара, продолжая раздумывать о поступкѣ матери.—Но она отравила наши будущія отношенія.

— Я же не дѣлаю отвѣтственными людей за чужія пошлости и низости,—пояснила старуха.

— Да я-то никогда не въ силахъ буду относиться къ вамъ безъ мысли о томъ, что вы можете подумать про меня: «наслѣдства домогается»!—сказала Варвара.

— А ты все же порядочной мелочницей меня считаешь,—пошутила старуха.

— Ничѣмъ я васъ не считаю. Мы просто вовсе не знаемъ другъ друга,—почти холодно и грубовато отвѣтила Варвара.—Вѣдь вы имѣете полное право думать, что я вотъ даже и теперь роль благородной дѣвушки разыгрываю...

III.

На первыхъ же порахъ, отношенія бабки и внучки послѣ этого объясненія стали нѣсколько натянутыми. Обѣ родственницы невольно смотрѣли одна на другую какъ-то подозрительно, слѣдя за каждымъ своимъ шагомъ, боясь искреннихъ порывовъ, и вспыхивали при самыхъ ничтожныхъ неосторожныхъ фразахъ. Этимъ, и безъ того не особенно дружескимъ, отношеніямъ помогали по мѣрѣ возможности и окружающіе люди и событія.

При видѣ новаго врага, приживалки ринѣли противъ

Варвары, насколько могли и смѣли, незамѣтно вооружая противъ нея старуху тѣмъ, что съ умышленной слащавостью восхваляли до небесъ простоту Вареньки по отношенію къ мужикамъ и дворовымъ, къ которымъ она относится «совсѣмъ, какъ ровня». Въ концѣ бы избаловала и мужиковъ, и дворовыхъ голубушка, если бы свое-то имѣніе было. Во все-то входитъ, всѣхъ-то разспрашиваетъ, всѣмъ-то соболѣзнуетъ. Ужъ такой сердечный она человѣкъ.

— Ни дать, ни взять, матери мои, какъ наша матъ-казначея была, пока ее игуменьей не сдѣлали, — вздыхала простодушная мать Ѳіонилла.

Не съ меньшимъ ехидствомъ вставляла Олимпіада свое замѣчаніе:

— Молодое-то сердце довѣрчиво и готово всякимъ сказкамъ повѣрить, которыя эти хамы про благородныхъ людей разсказываютъ...

Хіонія одна, казалось, не ехидничала и только на всякія рѣчи, захлебываясь отъ восторга, повторяла:

— Ангелъ! ангелъ!

Казалось, что, ради Варвары, она уже лишила всѣхъ другихъ этого званія...

Дворовые, сразу искренно полюбившіе добрую и ласковую петербургскую барышню, въ сущности, не имѣвшую никакого понятія о настоящихъ деревенскихъ отношеніяхъ господъ къ мужикамъ и крѣпостной дворнѣ того времени, тоже безсознательно злили старуху излишней заботливостью о барышнѣ, излишней ласковой фамильярностью въ обращеніи съ ней. Иногда старуха сердилась даже на себя, когда въ ея головѣ, помимо воли, мелькала злая мысль о томъ, что «Варвара, заранѣе, преданную дворню и преданныхъ холоповъ себѣ готовитъ». Она знала, что въ дѣйствительности нѣтъ и не можетъ быть ничего подобнаго, что Варвара, не имѣвшая понятія о деревнѣ, просто старается изучить новый для нея міръ, что это показываетъ въ ней большую любознательность, чѣмъ у ея тупой и неразвитой матери, а злая мысль все же мелькала и мелькала въ мозгу. Старуху это раздражало: не любила она въ себѣ мелочныхъ чувствъ и еще болѣе не любила тѣхъ, кто былъ причиною ихъ появленія въ ней...

Наконецъ, подливался ядъ въ отношеніи бабки и внучки самими событіями. Вездѣ громко говорилось тогда о приближеніи воли, такъ какъ назрѣвшее событіе не было уже ни для кого тайною. Говорить объ этомъ уже не значило быть

неблагонамѣреннымъ или чуть не бунтовщикомъ, какъ было какой-нибудь десятокъ лѣтъ передъ этимъ временемъ. Не сегодня, такъ завтра освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости должно было сдѣлаться совершившимся фактомъ.

— Еще кулаками будутъ утирать слезы! — шипѣли приживалки, не то опасаясь, что ихъ погонятъ изъ помѣщичьяго дома послѣ объявленія воли, не то думая, что этимъ шипѣньемъ можно угодить хозяйкѣ дома.

— Воля-то еще выгонитъ въ поле! Съ сумой на волѣ-то нашляются безъ поильцевъ да кормильцевъ своихъ,—пророчествовали онѣ.

— Что̀ бы тамъ ни было, а все же люди не будутъ рабами ближнихъ! —задорно протестовала Варвара, возмущаясь пророчествами этихъ паразитокъ. — Какъ вьючныя животныя, не будутъ безропотно дѣлать то, что̀ прикажутъ!

— Да ужъ тогда и намъ, господамъ, станетъ легче; не будешь трусить, сколько Ивановъ умретъ съ голоду: десять умретъ десять другихъ новыхъ наймемъ,—вставляла язвительно бабка изъ духа противорѣчія.

— Неужели, бабушка, ваши братья и ихъ друзья только ради одного этого и толковали тоже когда-то объ освобожденіи крестьянъ? — спрашивала простодушнымъ тономъ, но не безъ ехидства, Варвара, зная, что въ сущности бабка до старости хранила въ душѣ всѣ взгляды и убѣжденія, за которые, между прочимъ, когда-то поплатились ея братья.

Старуха бросала на нее недобрый, выразительный взглядъ и, казалось, говорила ей: «дѣвочка, не играй съ огнемъ!»

Она не привыкла или, лучше сказать, давно отвыкла отъ противорѣчій, отъ неподобострастныхъ отношеній къ ней со стороны окружающихъ. Ей были уже не дороги правда и справедливость, а дорого право вездѣ и всюду поступать по-своему, хотя бы даже наперекоръ своему собственному голосу совѣсти. Въ душѣ она чувствовала такое же презрѣніе къ окружавшимъ ее приживалкамъ, какъ и Варвара; въ душѣ такъ же желала счастія народу, какъ и ея внучка; въ душѣ готова была баловать и баловала дворню, какъ и эта дерзкая дѣвочка; но изъ духа противорѣчія, изъ самодурства, она все болѣе и болѣе раздражалась, когда Варвара презрительно обрывала приживалокъ, вступалась за дворовыхъ и говорила, что счастіе крестьянское—въ освобожденіи...

Особенно обострились взаимныя отношенія бабушки и внучки въ тотъ памятный день, когда простодушная Даша въ тяжелую минуту созналась, какъ священнику на духу,

доброй барышнѣ въ своемъ «грѣхѣ». Варя прежде всего до глубины души возмутилась тѣмъ, что бабка запрещаетъ дворовымъ выходить замужъ и сама толкаетъ ихъ на «грѣхъ». Она никогда не воображала прежде, что что-нибудь подобное возможно. И гдѣ же? У ея бабки, которая хвалилась тѣмъ, что она осталась вѣрна памяти своихъ погибшихъ родныхъ! Только теперь она узнала, что всѣ дѣти въ дворнѣ—и Дуняшка-косая, и Тришка-озорникъ, и Ѳедька-горбунокъ—незаконныя дѣти разныхъ дворовыхъ дѣвокъ, ухитрявшихся рожать гдѣ-то на сторонѣ. Всѣ эти дѣти брались потомъ, иногда спустя долгое время, во дворъ, какъ безродныя. Барыня, можетъ-быть, и знала сущность дѣла, но глядѣла на это, по бо́льшей части, сквозь пальцы. Варя была возмущена. Потомъ, обсудивъ вопросъ съ Дашей, она посовѣтовала послѣдней тоже скрывать возможно дольше свое положеніе, такъ какъ воля близка, очень близка. Даже странно, что дѣло, уже рѣшенное, все еще тянутъ...

Но—увы!—разговоры двухъ дѣвушекъ были подслушаны Хіоніей; свиданія Даши съ ея возлюбленнымъ Даніилой Ивановымъ подсмотрѣны зоркою сыщицею Олимпіадой; а мать Ѳіонилла, конечно, по своему простодушію, какъ-то «совершенно нечаянно»,—какъ она каялась и божилась,—такъ толкнула Дашу, что та вскрикнула и въ забывчивости сдѣлала такой жестъ, какъ будто защищала кого-то подъ своимъ сердцемъ, при чемъ мать Ѳіонилла заботливо и простодушно спросила ее:

— Да ты, дѣвушка, тяжелой, что ли, ходишь?

Даша поблѣднѣла, какъ полотно.

Съ этой минуты можно было уже безъ страху сплетничать и вооружать благодѣтельницу противъ Даши. Начался строжайшій допросъ Даши, и затѣмъ послѣдовала ссылка любимой горничной въ прачечную, хотя только одна Даша умѣла чесать барыню. Даша побѣжала къ барышнѣ, прося вступиться за нее. Варвара вступилась, вступилась горячо, даже и не подозрѣвая, что подливаетъ масла въ огонь. Марья Никоновна и безъ того уже была сама на себя не похожа отъ одной мысли о томъ, какими руками и какъ будетъ новая горничная чесать ея волосы и надѣвать на нее бѣлье.

— Ты молода еще, чтобы и знать-то о такихъ вещахъ,—сухо замѣтила бабка, хмуро выслушавъ внучку.—Въ наше время, мы о подобномъ развратѣ и понятія не имѣли.

— Да отчего же происходитъ этотъ развратъ,—какъ вы

называете любовь,—если не отъ того, что вы имѣете право запрещать выходить замужъ?—рѣзко сказала Варвара.—Вѣдь это же тиранія...

— Ты думаешь, что мое имѣніе и точно уже перешло къ тебѣ?—язвительно спросила бабка дрожащимъ голосомъ и обозлилась на себя за сорвавшееся съ языка слово; тѣмъ не менѣе еще болѣе жёсткимъ тономъ она продолжала:—Нѣтъ, оно еще мое и мои люди принадлежатъ мнѣ. Я еще не умерла и отъ своихъ правъ въ твою пользу не отказалась. Ты это вотъ сегодня же увидишь.

Въ ея дрожащемъ голосѣ было что-то зловѣщее...

И въ тотъ же вечеръ, Даша рыдала на груди Варвары, въ комнатѣ послѣдней, оплакивая свой позоръ—свои остриженные волосы. Варварѣ казалось, что она сама помѣшается отъ горя. Дѣйствительно, она была готова руки цѣловать у этой несчастной, утѣшая и лаская ее. Ничего подобнаго она еще не видала въ жизни.

— Да гдѣ же въ васъ Богъ? гдѣ въ васъ душа человѣческая?—страстно, совершенно не помня себя, упрекала Варвара бабку, ворвавшись въ ея кабинетъ безъ всякаго предупрежденія.—И это вы, вы, которая когда-то хвалилась любовью къ народу, поступаете, какъ самая ярая крѣпостница! Да Богъ...

— Ты съ ума сошла, дрянная дѣвчонка!—остановила ее старуха, никогда не слыхавшая ни отъ кого ничего подобнаго и отвыкнувшая за послѣдніе годы даже отъ осторожныхъ возраженій.—Или ты хочешь, чтобы я и тебѣ обрѣзала косу, какъ послѣдней холопкѣ?

— *Вы* съ ума сошли, а не я!—внѣ себя крикнула Варвара, гордо выпрямляясь передъ старухой.—Да я не позволю пальцемъ никому дотронуться до себя... Я завтра же уѣзжаю изъ этого проклятаго ада. Мнѣ горько только, что еще не положенъ конецъ вашему самодурству, что вы еще можете злодѣйствовать надъ людьми... что же дѣлаютъ другіе, если вы...

— Вонъ!—крикнула, поднимаясь съ кресла, старуха.

Варвара вышла, задыхаясь отъ злобы, отъ слезъ, отъ сознанія своего безсилія. Марья Никоновна была взволнована не меньше ея. Она даже удивлялась потомъ, что не умерла тутъ же на мѣстѣ отъ удара. Сознаніе своей неправоты; сожалѣніе о томъ, что она обидѣла Дашу; горькая обида, нанесенная внучкой; досада, что у нея порвалась послѣдняя связь съ этой внучкой: какая-то безумная ярость

Богъ вѣсть на кого и на что,—все это перемѣшивалось въ ея душѣ. И все это вышло изъ-за негодяя Данилы Иванова, петербургскаго франта, соблазнившаго Дашу! Думаетъ, что онъ купцомъ уже сталъ, благо цѣпочку да часы завелъ. Нѣтъ, не купецъ еще, а мужикъ, простой холопъ, ея крѣпостной. Его еще надо проучить,—проучить прежде, чѣмъ уѣдетъ эта негодная дѣвчонка. Пусть знаетъ и чувствуетъ!.. Молоко еще на губахъ не обсохло, а учатъ старшихъ, бунтуютъ... Не проучить ихъ теперь—послѣ поздно будетъ...

И молодого парня, петербургскаго франта, Данилу Иванова проучили, выпоровъ на конюшнѣ, прежде чѣмъ «негодной дѣвчонкѣ» подали экипажъ для отправки ея въ ближайшій городъ...

Въ этотъ же день пришлось пригласить доктора къ Марьѣ Никоновнѣ...

IV.

Въ началѣ августа Варвара была уже опять въ Петербургѣ, опять въ родительской квартирѣ съ ея рыночно-глазастой, мѣщански-пестрой обстановкой, съ явнымъ желаніемъ блеснуть роскошью поддѣльной бронзы, поддѣльнаго бархата и поддѣльнаго золота. Тяжелъ и душенъ показался молодой дѣвушкѣ затхлый воздухъ столицы, послѣ аромата и простора приволжскихъ лѣсовъ и полей; противно показалось ей убогое щегольство ихъ домашней обстановки, послѣ характерной и цѣнной простоты убранства въ палатахъ бабки; и какою-то маленькою и мизерною показалась ей фигурка ея матери по сравненію съ фигурой бабки,—даже голосъ матери рѣзалъ ей теперь ухо своими визгливыми нотами.

Вѣра Васильевна Чупруненко была поражена, какъ громомъ, извѣстіемъ о неожиданномъ пріѣздѣ въ Петербургъ Варвары и невольно, въ порывѣ сильнаго негодованія на «негодницу-дочь», забывъ даже свою напускную чопорность и стремленіе играть роль «тонной дамы», впервые рѣзко и грубо проговорилась о томъ, что тщательно скрывала отъ дочери, устраивая ея поѣздку къ бабкѣ.

— Мы вовсе не въ такомъ блестящемъ положеніи находимся, чтобы пренебрегать наслѣдствомъ сумасбродной старухи, у которой и прежде-то ума не было, а теперь и подавно смысла нѣтъ,—запальчиво произнесла она, услыхавъ отъ дочери короткій разсказъ о томъ, почему та уѣхала изъ Вѣтрищева.—И тоже пришла тебѣ охота за какую-то

холопку вступаться! Нечего сказать, достойное благородной и образованной дѣвицы дѣло! Дочь статскаго совѣтника, чуть не генерала уже, а со всякими хамами обниматься и цѣловаться готова. Это все твоя школа проклятая,—гдѣ ты съ разными дочерьми булочниковъ да сапожниковъ на одной скамьѣ сидѣла да дружилась,—такою тебя сдѣлала, что самолюбія у тебя на грошъ нѣтъ.

Варвара едва замѣтно усмѣхнулась. Ее всегда то смѣшили, то злили глупыя выходки безалаберной матери.

— Можетъ-быть, въ томъ-то и бѣда, что самолюбія у меня слишкомъ много,—замѣтила Варвара вскользь:—иначе я, вѣроятно, сошлась бы съ бабушкой, цѣлуя ей руки, и сдѣлалась бы ея приживалкой ради полученія наслѣдства... Вотъ вамъ я удивляюсь, мама, какъ вы могли не понять, что все, что вы лгали мнѣ и бабушкѣ...

— Не смѣй такъ говорить со мною!—крикливо оборвала ея рѣчь Вѣра Васильевна, въ безсильной злобѣ топнувъ ногой.—Грубіянка! Смѣешь мать называть лгуньей. Тоже тонъ какой приняла. Скажите!.. Понять не можетъ, что я только о васъ, о папочкѣ да о своихъ дѣтяхъ, и пекусь, что другой-то такой жены и матери днемъ съ огнемъ не сыщешь. А ты смѣешь мнѣ грубить! Иныя-то жены да матери распутничаютъ на сторонѣ, вмѣсто того, чтобы о домѣ да о семьѣ думать... Смѣешь упрекать, что я лгала... Ну да, лгала, лгала, а для кого?.. Скажи-ка я тебѣ заранѣе, что я насильно заставила свою почтенную матушку согласиться на твой пріѣздъ къ ней, да ты руками и ногами стала бы отбиваться. Я тебя знаю. Тоже не хуже своей бабки сумасбродка... А ты бы подумала, чего мнѣ стоило это дѣло устроить. Не я ли тебя просила-молила, чтобы ты со старухой-то поласковѣй да попокладистѣй была. А ты—на, поди, что надѣлала!.. Тебѣ вѣдь и дѣла нѣтъ до того, что мы наслѣдство проморгать можемъ. Ну, и пришлось для пользы всѣхъ васъ сочинять, что моя милѣйшая матушка ждетъ не дождется твоего пріѣзда... Вы вотъ всѣ, какъ сыръ въ маслѣ, катастесь, такъ васъ не безпокоитъ, что, можетъ-быть, завтра случится, а я-то... сердце у меня изнываетъ... кровью, можетъ-быть, обливается отъ мысли, что насъ впереди ждетъ... отецъ-то для васъ все дѣлалъ, всѣмъ жертвовалъ, а теперь... проклятыя времена настали,—за одну минуту нельзя ручаться...

Варвара, съ видомъ утомленія и скуки слушавшая по обыкновенію безалаберную, непослѣдовательную рѣчь матери,

теперь, съ выраженіемъ удивленія, широко открыла глаза и спросила:

— Что же можетъ съ нами случиться?

— Много будешь знать, скоро состаришься,—уклончиво отвѣтила мать, и опять вкривь и вкось начались жалобы и обвиненія.—Одно скажу, что дожили до послѣднихъ временъ: у однихъ крестьянъ скоро силой отберутъ, тутъ дѣти отъ рукъ родителей отбиваются, тамъ... ты бы хоть отца пожалѣла: изводится на твоихъ глазахъ человѣкъ, а тебѣ и дѣла мало, хоть онъ въ гробъ ложись... Ты думаешь, ему сладко при новыхъ-то порядкахъ служить, къ новому-то прилаживаться? Не мальчишка какой-нибудь, а человѣкъ на линіи генерала...

— Васъ, мама, никогда не поймешь, что вы говорите,— сказала Варвара, пожимая плечами и отходя прочь.

— Покорно васъ благодарю, покорно благодарю! Одолжили!—кричала вдогонку мать, хотя дочь уже скрылась за дверью ея пестраго, обитаго французскимъ ситцемъ, будуара.

Недалекая по уму, не умѣющая ясно выражать своихъ мыслей, вульгарная въ минуты волненія и гнѣва, Вѣра Васильевна никакъ не умѣла точно и опредѣленно высказать то, что ею руководило при посылкѣ дочери къ своей матери. Варя все время, молча, съ тоскливымъ выраженіемъ на лицѣ слушала немного визгливый голосъ матери и поняла только то, что дѣйствительно мать думала черезъ нее, свою дочь, задобрить Марью Никоновну и мало-по-малу заставить послѣднюю сдѣлать распоряженіе насчетъ наслѣдства въ пользу семьи Чупруненко. Но что побудило ее къ этому? Ея скупость? ея алчность? Разгадать это было трудно. Дѣти Вѣры Васильевны вѣчно слышали, какъ мать хвастала передъ посторонними полною обезпеченностью своей семьи, видя въ то же время, что мать усчитываетъ каждый грошъ у прислуги, и заключили изъ этого, что мама богата, но очень скупа. Неужели же скупость заставила ее даже переломить себя настолько, чтобы заискивать у нелюбимой ею Марьи Никоновны? гдѣ же ея самолюбіе, которымъ она такъ любитъ передо всѣми хвалиться?..

Вѣра Васильевна вовсе не была такой гордой, какъ ея мать, но зато она отличалась какимъ-то мѣщанскимъ чванствомъ, какою-то вульгарною хвастливостью. Фраза «мы не кто-нибудь»—не сходила съ ея языка. Долгіе годы скитанія по разнымъ провинціальнымъ городамъ, необходимость вра-

щаться въ средѣ провинціальнаго купечества, чиновничества и полковыхъ дамъ, въ качествѣ жены небогатаго армейскаго офицера, мало-по-малу, стерли съ нея послѣдніе слѣды всего того, что такъ тщетно старалась привить къ ней воспитаніемъ ея разносторонне образованная мать,—тщетно уже потому, что Вѣра Васильевна съ самыхъ юныхъ дней враждебно смотрѣла на мать и на все, что рекомендовалось матерью, сознавая только одно, что та «изъ самодурства» лишила ее въ лучшіе годы общества и хотѣла похоронить въ деревенской глуши ея молодость. Располагая очень ограниченными средствами, она привыкла утягивать копейки въ домѣ у прислуги, и въ то же время пускать пыль въ глаза своими нарядами, чтобы всѣ считали ее богатою; она въ душѣ завидовала одѣтымъ въ щёлкъ и бархатъ чваннымъ купчихамъ и старалась какъ можно чаще высокомѣрно давать имъ понять, что они, Чупруненко, не изъ какихъ-нибудь сермяжниковъ, что они столбовые дворяне, что вся ихъ родня—князья, что они чиновные люди, что и дѣти ихъ не въ лабазники готовятся, не аршинниками будутъ. Видя распущенность гуляющихъ купчиковъ и купчихъ, армейскихъ забулдыгъ и ихъ развращенныхъ жёнъ, которыхъ тогда еще не разъ, какъ лермонтовскую героиню, ставили на карту при игрѣ въ банкъ, она все болѣе и болѣе гордилась своимъ «папочкою», какъ она звала своего мужа, и собою, такъ какъ они были примѣрными супругами: она была долго влюблена въ него до неприличія,—«какъ кошка», по вульгарному выраженію провинціальныхъ сплетницъ,—а онъ, по своей лѣнивой хохлацкой натурѣ, склонной не столько къ страстности, сколько къ сладострастію, если и не былъ до такой степени увлеченъ ею, то все же скоро пришелъ къ заключенію, что съ него довольно и одной жены, могущей замѣнить ему всякихъ любовницъ. Человѣкъ съ хитрецой, разсчетливый до крайности, скопидомъ въ сущности, онъ былъ неподвижнымъ и мѣшковатымъ любителемъ халата, туфлей и возможности, потягивая наливочку, пососать безъ думъ, безъ размышленій, трубку, уставивъ какъ-то безсмысленно въ пространство большіе круглые глаза, съ выраженіемъ человѣка, опьяненнаго отчасти крѣпкимъ табакомъ и наливкою, отчасти же блаженствомъ бездѣлья. Вѣра Васильевна не нарушала ни одного изъ этихъ вкусовъ своего «папочки», который, говоря съ широкой улыбкой о своей счастливой супружеской жизни, повторялъ: «мнѣ сапогъ по ногѣ пришелся». Онъ даже не очень каялся за то,

что, женихомъ, не умѣлъ «облюмать» во-время свою будущую тещу и сорвать съ нея значительный кушикъ въ приданое, вмѣсто какихъ-то тряпокъ и грошей. Впрочемъ, если бы онъ и сталъ громко выражать неудовольствіе на тещу, то и въ этомъ случаѣ не разошелся бы во взглядахъ съ женою: она при каждомъ удобномъ случаѣ сама язвительно отзывалась о своей «почтенной матушкѣ» и вообще о своей «милой роденькѣ», которая туда же «бунтовать вздумала» и изъ-за которой она «чуть не зачахла въ захолустной деревнѣ среди мужичья, да и зачахла бы, не подвернись ей папочка, который спасъ ее». За это спасеніе она и обожала его. Она, его «мамочка», отстраняла отъ него все непріятное, заботилась обо всемъ—сама слѣдила, чтобы не крала прислуга, сама же сѣкла—всегда въ его отсутствіе—дѣтей,—оберегая его спокойствіе, и даже не жаловалась мужу на денщиковъ, предпочитая собственноручно бить ихъ по щекамъ, не тревожа «папочку». Съ теченіемъ лѣтъ, когда «папочка», растолстѣлъ и облысѣлъ, онъ предпочелъ изъ военной службы перейти въ гражданскую, такъ какъ полученное имъ новое мѣсто было «и спокойнѣе, и хозяйственнѣе», какъ онъ выражался. Теперь уже Вѣра Васильевна имѣла полное право на каждомъ шагу повторять, что она, ея мужъ и дѣти, «не кто-нибудь», не лабазники, не сапожники, и что «въ нашъ кругъ» съ вѣтру человѣка не примутъ. «Нашимъ кругомъ» назывались чиновники изъ тѣхъ, которые уже состоятъ въ генеральскихъ чинахъ или скоро будутъ генералами.

Младшія ея дѣти,—сынъ Евгеній и дочь Евгенія,—пошли отчасти въ мать и, несмотря на то, что ихъ драли до шести-семилѣтняго возраста, уже на десятомъ году кричали то на того, то на другого слугу: «хамъ этакій, подать платья не умѣешь», швыряли слугамъ въ лицо не хорошо вычищенные сапоги и отвѣшивали денщикамъ пощечины за малѣйшее неуваженіе къ нимъ. Несчастнымъ выродкомъ,—если не считать тринадцатилѣтняго Даниды, котораго всѣ въ домѣ считали за «блаженнаго»,—вышла только старшая дочь Вѣры Васильевны, Варвара, и то потому, что когда-то Вѣра Васильевна, еще принужденная экономить каждый грошъ, изъ жалости «призрѣла» какую-то старушонку-гувернантку «изъ колбасницъ», и эта призрѣнная ею старушонка, которую обували, одѣвали и кормили изъ милости и вся обязанность которой состояла въ томъ, чтобы обучать всему Варвару, обмывать и обшивать ея младшихъ братьевъ

и сестру, смотрѣть за хозяйствомъ, разливать чай и чинить бѣлье да штопать носки папочки,—отплатила Вѣрѣ Васильевнѣ черною неблагодарностью. Она внушила Варварѣ всякія «мѣщанскія бредни», внушила, что будто бы всѣ люди передъ Богомъ равны, что никакой трудъ не унижаетъ, что образованіе—великое счастье для человѣка, дѣлая его самостоятельнымъ, и, наконецъ, указала ей, что въ Петербургѣ есть такія иностранныя школы для дѣвочекъ, гдѣ учатъ и иностраннымъ языкамъ, и русской исторіи, и литературѣ, и рукодѣлью... однимъ словомъ, сбила всякими бреднями съ толку дѣвочку, и та, по свойственнымъ ей настойчивости и упрямству—«бабушкину наслѣдію»—настояла, чтобы ее отдали въ такую школу.

— Сѣчена не была, потому и вышла такой вольницей!—говорила про Варвару Вѣра Васильевна, глубоко сожалѣя, что съ тринадцатилѣтней дѣвочкой было уже невозможно или, по крайней мѣрѣ, трудно справиться безъ помощи папочки и прислуги, какъ она всегда справлялась съ двумя Женями и Данилой, попросту зажимая ихъ головёнки между своими колѣнами и ловко нашлепывая ихъ по голому тѣлу ладонями, линейкой или розгой, однимъ словомъ, чѣмъ попало.

Несчастная дѣвочка, дѣйствительно, была выродкомъ въ семьѣ и принесла не мало огорченій горячо любящей матери. Она заводила подругъ «не изъ нашего круга»; она приглашала къ себѣ въ гости какихъ-то дочерей булочниковъ и башмачниковъ; она мирволила всякимъ холопкамъ; она держалась волчёнкомъ въ порядочномъ обществѣ, предпочитая всему книги.

— Тебя бы съ моей почтенной матушкой свести, стали бы вы другъ другу разныя рацеи разсказывать!—говорила презрительно Вѣра Васильевна, журя дочь.—У той тоже надъ разными Вольтерами да Руссо умъ за разумъ зашелъ...

И эта фраза навела ее на истинно несчастную мысль послать именно Варвару къ своей матери, чтобы подготовить исподволь осуществленіе задуманнаго ею плана примиренія съ матерью. Планъ этотъ оказался вполнѣ неудавшимся.

V.

— Ты еще, папуля, конечно, не знаешь всѣхъ нашихъ новостей,—съ особенной, не то ироническою, не то злобной,

поткой въ голосѣ обратилась Вѣра Васильевна къ толстому, совершенно лысому господину съ изборожденнымъ мелкими морщинами лбомъ, входившему въ спальню съ широчайшей двухспальной кроватью по серединѣ комнаты и со множествомъ образовъ въ серебряныхъ и вызолоченныхъ ризахъ въ угольномъ кіотѣ краснаго дерева съ теплящейся передъ ними лампадою.

Вошедшій господинъ былъ Пантелеймонъ Семеновичъ Чупруненко. Въ его обрюзгломъ и преждевременно состарившемся лунообразномъ лицѣ не было и слѣдовъ той былой прелести, которая когда-то такъ очаровала княжну Вѣру Васильевну Стронину. Черные, кудрявившіеся въ былое время, волосы вылѣзли, оставивъ совсѣмъ голымъ некрасивый, плоскій и изрытый какими-то впадинами черепъ; отъ свѣжаго румянца не осталось и слѣдовъ; черты лица огрубѣли; разбухъ и покраснѣлъ носъ; кожа пожелтѣла, одряблѣла и подъ нею, казалось, текла уже не кровь, а какая-то мутная, грязная жидкость; мелкія-мелкія морщины избороздили обвиснувшія щёки и лобъ, и даже красота старости—слѣды серьезной мысли, проницательность взгляда и сознаніе своего достоинства—не украшала этого чисто-животнаго лица, ничѣмъ не одухотвореннаго и износившагося, подобно старому стоптанному башмаку, въ теченіе многихъ лѣтъ безсмысленнаго сидѣнья за скучными бумагами, за картами, за настоечкой, за сосаньемъ трубки, въ отупѣломъ положеніи безцѣльнаго созерцанія.

— У меня, мамочка, у самого цѣлый коробъ новостей одна другой хуже, такъ и безъ чужихъ тошно,—отвѣтилъ мрачнымъ тономъ Пантелеймонъ Семеновичъ, начиная раздѣваться.—Ревизія на будущій мѣсяцъ назначена!

— Господи!—вырвалось восклицаніе изъ груди Вѣры Васильевны. — Этого только недоставало! Опять разбойника Нури придется призывать.

— Нури, Нури!—раздражительно повторилъ Пантелеймонъ Семеновичъ.—Говорилъ я уже съ этимъ проклятымъ англійскимъ жидомъ. Заломался. «На день—говорю—нужны вѣдь деньги, сами знаете, чтобы во время ревизіи все налицо было. Слава Богу, не въ первый разъ выручаете, не въ первый разъ за одинъ день жидовскіе проценты берете». Такъ нѣтъ, и слушать не хочетъ. «Теперь, говоритъ, новыя времена—новые порядки. Обревизуютъ, найдутъ все въ порядкѣ да деньги-то, пожалуй, и отберутъ, а васъ попросятъ въ чистую отставку выйти. Тогда изъ чего вы мнѣ отда-

дите». Я ужъ, было, и на наслѣдство Марьи Никоновны сослался, налгалъ съ три короба, гонору даже на себя напустилъ, — такъ нѣтъ, не вѣритъ проклятая жидовская морда...

Вѣра Васильевна вспылила:

— И правъ, и правъ! Какое тамъ наслѣдство, когда эта подлая дѣвчонка съ моей почтенной матушкой разругалась.

— Ты это про кого? Про Варвару?—спросилъ мужъ, раздѣвшись и надѣвая сверхъ нижняго бѣлья халатъ и туфли. Онъ всегда обѣдалъ въ этомъ костюмѣ.

— Про кого же, какъ не про нее?—отвѣтила Вѣра Васильевна.—Ее послали, чтобы задобрить дуру-старуху, а она не сумѣла ничего лучшаго сдѣлать, какъ разругаться со старой сумасбродкой изъ-за какой-то хамки. Вотъ ужъ истинно наказаніе Господне съ такими мамашей и дочкой! И я-то, дура, нашла кого послать,—вообразила, что онѣ душа въ душу сойдутся, благо обѣ все только книги читаютъ да бреднями разными занимаются и отъ порядочныхъ людей сторонятся, а онѣ обѣ осатанѣли точно.

— Варвара писала что-нибудь?—хмуро спросилъ Чупруненко.

— Чего писать? сама она здѣсь. Прикатила самолично!—пояснила Вѣра Васильевна.

Онъ заходилъ по комнатѣ, тяжело шагая по паркету коротенькими ногами, обутыми въ шлепанцы-туфли. Въ его заплывшихъ свиныхъ тусклыхъ глазахъ появилось какое-то выраженіе дикой трусости, выраженіе затравленнаго звѣря, окруженнаго псами.

— Надо прямо пойти и сказать начальству,—рѣшилъ онъ съ тупымъ выраженіемъ въ лицѣ, какъ бы во снѣ, говоря вслухъ о томъ, о чемъ думалъ:—снисхожденіе дадутъ ради добровольнаго искренняго раскаянія... скажу: «жена, дѣти, ограниченность средствъ»... въ ногахъ вываляюсь...

У него медленно потекли по пухлымъ, дряблымъ щекамъ слезы. Плѣшивая голова покрылась мелкими капельками пота. И вдругъ, прервавъ свою рѣчь, онъ обернулся къ женѣ и заговорилъ жалобнымъ тономъ:

— Мамочка, голубушка, припрятать надо, что есть болѣе цѣннаго... золотыя вещи, серебро, брильянты тамъ, что ли... Куда только? Къ близкимъ знакомымъ нельзя... выдадутъ, подлецы... истинно подлецы. Друзья-то до чернаго дня...

— Еще бы! отъ зависти лопались прежде, глядя на наше

счастье, а теперь рады будутъ лягнуть, — согласилась съ мужемъ насчетъ друзей Вѣра Васильевна.

— Да, не привелъ Господь мирно житіе дожить,—вздохнулъ мужъ:—времена тяжелыя настали, все новшества, все новшества...

— Не новшества, а разбой... чистый разбой.

Онъ промолчалъ, тяжело вздыхая.

— Старой дурѣ Амалькѣ не поручить ли? — начала изобрѣтать Вѣра Васильевна, кому бы поручить спрятать вещи. — Я ее на-днях кстати встрѣтила... лупила куда-то на урокъ въ куцомъ пальтишкѣ... Ей только сказать, что надо спрятать вещи ради Варвары — она въ огонь и въ воду полѣзетъ. Друзья съ нею!.. Ну, а украсть — не украдетъ, за это поручиться можно...

— Что-жъ, Амальку за бока, такъ Амальку, мнѣ все равно. Надо только скорѣе ковать желѣзо, — сказалъ Пантелеймонъ Семеновичъ.

— Да ужъ ты не безпокойся, я въ долгій ящикъ не отложу,—успокоила она его.

Въ это время дверь въ спальню съ шумомъ отворилась, и въ комнату съ недовольнымъ выраженіемъ на лицѣ вошелъ щеголеватый молодой человѣкъ. Это былъ Евгеній Пантелеймоновичъ Чупруненко. Ему было лѣтъ восемнадцать, но, коренастый, широкій въ кости, съ мускулами хорошаго гладіатора, онъ казался гораздо старше: старили его слишкомъ раннее физическое развитіе и нахмуренное выраженіе немного уже помятаго, хотя и красиваго, — несмотря на узкій лобъ, — смуглаго, съ легкимъ блѣднымъ румянцемъ, лица. Сдвинувъ свои, и безъ того чуть не сросшіяся, густыя черныя брови, онъ, почти не разжимая ровныхъ ослѣпительно-бѣлыхъ зубовъ, грубовато спросилъ:

— Что же мы сегодня развѣ не будемъ обѣдать?

— Сегодня-то будешь, а вотъ будешь ли завтра обѣдать— это вопросъ!—такъ же рѣзко отвѣтила сыну Вѣра Васильевна.

— Завтра, можетъ-быть, и свѣтопреставленіе будетъ — я этого не знаю, не будучи пророкомъ, но что теперь я голоденъ, какъ собака, и что давно всѣ кушанья перепрѣли— это я въ точности знаю,—отвѣтилъ Евгеній Пантелеймоновичъ, дѣлая насмѣшливую гримасу.

— Слова просто не скажетъ, все съ язвой, — ворчливо вставилъ сквозь зубы Пантелеймонъ Семеновичъ и минорнымъ тономъ, какъ притѣсняемый и угнетаемый, обратился къ женѣ:—Пойдемъ, мамочка; потомъ потолкуемъ...

Оба они—мужъ и жена—смотрѣли озабоченно.

Въ столовой уже собрались всѣ домашніе: Варвара, Евгеній, Евгенія, Данила и mademoiselle Жуберъ,—сорокалѣтняя дѣвица-гувернантка, жившая въ домѣ для практики французскаго языка съ шестнадцатилѣтней Евгеніей и для учебныхъ занятій съ тринадцатилѣтнимъ Данилой. Евгеній, дѣлая ей постоянно гримасы и показывая тайкомъ кончикъ языка, очень развязно и откровенно говорилъ, что отецъ и мать взяли ее не потому, что она хорошо говоритъ по-французски, а потому, что она «рожа» и не можетъ прельстить его, Евгенія, даже въ дни карманной чахотки. Евгенія говорила съ ней неизмѣнно въ пренебрежительномъ тонѣ, приподнимая при этомъ выше, чѣмъ слѣдовало, свою кукольную бѣлокурую головку, чтобы смотрѣть свысока, сверху внизъ, на свою собесѣдницу. Данила же, называемый въ семьѣ то «блаженнымъ», то «мужикомъ», грубилъ гувернанткѣ напропалую, обличая ее, что она ничего не знаетъ, и, по своему обыкновенію, закидывалъ ее своими «почему это такъ?» — требуя часто доказательствъ, почему стеариновая свѣчка называется стеариновой свѣчкой, а не палкой или мыломъ. Если несчастная гувернантка еще не сошла съ ума въ этой семьѣ, такъ этимъ она была обязана исключительно своему легкомыслію, заставлявшему ее воображать себя чуть не красавицей, считать удивительно эффектными разныя мелочи, тряпочки и бантики, которыми она постоянно украшалась, предполагать, что ея бронзовыя брошки и такіе же браслеты всѣми считаются за золото, и за всѣ невзгоды утѣшать себя мечтами когда-нибудь попасть въ свою прекрасную Францію и получить право воскликать тамъ съ трагически-широко открытыми черными глазами: «oh, ces familles russes s'est quelque chose d'horrible».

VI.

— Что это у насъ съ мамахенъ и папахенъ случилось—ты не знаешь?—спросилъ, недѣлю спустя, у Варвары Евгеній, входя въ гостиную, гдѣ она сидѣла за работой. — Лазаря разучиваютъ пѣть и черпѣй осенней ночи ходятъ... въ душѣ негра, ей-Богу, свѣтлѣе... Или совсѣмъ дотанцовались?

— Ты знаешь, я твоихъ иносказаній не понимаю,—отвѣтила Варвара сухо.

Она не любила пошловатой развязности брата, его ма-

неры выражаться съ претензіей на остроуміе и глупо иронизировать въ разговорахъ объ отцѣ и матери.

— Ахъ, я все забываю, что ты родная сестра Даниды,— съ презрительной усмѣшкой на губахъ проговорилъ Евгеній.

Имя Даниды для него было синонимомъ непонятливости, тупости и глупости.

Варвара промолчала, не желая браниться и ссориться съ братомъ.

— Мамахенъ куда-то все рыщетъ, что-то возитъ подъ бурнусомъ, точно украла что-нибудь и тащитъ тайкомъ закладывать,—началъ онъ передавать свои наблюденія.—Закладывать открыто — это вѣдь fi-donc! Ну, и надо воровскимъ манеромъ... Тоже мой Алексашка, одѣвая меня утромъ сегодня, сообщилъ: «а я, баринъ, сегодня уже третье на этой недѣлѣ письмо отъ барыни снесъ на почту... въ Вѣтрищево все... вѣрно, бабушка захворали»... Оселъ помнитъ, что я ему обѣщалъ на водку дать, если бабка окачурится!.. Но что значитъ эта усиленная корреспонденція? Не за твои ли выходки у grande maman прощенья на колѣняхъ просятъ, чтобы та подачку дала?.. Оно и стоитъ просить прощенья! Я, признаюсь, самъ за тебя краснѣю. Точно десятилѣтняя соплячка-дѣвченка натворила глупостей... Конечно, мамахенъ сама виновата: не сообразила, что такихъ, какъ ты, ни съ какими дипломатическими порученіями посылать нельзя... Поручила бы мнѣ обломать старую каргу, такъ я бы ее живо обтесалъ...

Онъ заходилъ по комнатѣ, совсѣмъ сдвинувъ густыя брови и насвистывая что-то; потомъ сталъ отрывисто разсуждать, какъ бы думая вслухъ. Это была одна изъ его привычекъ въ минуты неожиданныхъ затрудненій и тревогъ, унаслѣдованная, быть-можетъ, отъ отца; въ этихъ случаяхъ онъ дѣлался болѣе, чѣмъ когда-либо, откровеннымъ, какъ люди бываютъ откровенны только наединѣ съ самими собою.

— Не по средствамъ жили, а теперь, кажется, готовимся пожинать плоды своей глупости... все расточили и начнутъ закладывать дорогія вещи за гроши. И какая подлая манера! Сперва посъ передо всѣми поднимали: «мы, молъ, не кто-нибудь, наши дѣти не въ мастеровые пойдутъ», а теперь только и слышишь: «еще хлѣбъ съ водой будемъ ѣсть и за то благодарить будемъ; нечего хихикать-то,—какъ бы не пришлось кулаками слезы утирать». Покорно благодарю, это вовсе не симпатичная для меня перспектива!.. Кто про-

винился, тотъ пусть и питается хлѣбомъ съ водой и утираетъ кулакомъ слезы... А за себя — нѣтъ, ужъ шегсі, я этого не желаю!.. И съ чего таинственничаютъ, обиняками говорятъ? Слушаешь эти прелести и только бѣсишься, потому что понять ничего не можешь; какъ прежде все дѣлали шито-крыто отъ насъ,—няня подъ кочнемъ-де капусты братца нашла, — такъ и теперь шушукаются одни между собой тайкомъ, а дѣти не должны и мѣшаться не въ свое дѣло. А позвольте спросить, кто отвѣчать будетъ, если они надурятъ?.. Я думаю, не худо бы и дѣтямъ знать заранѣе, пойдутъ ли они завтра по задворкамъ съ шарманками пѣть «про тотъ погибельный Кавказъ», или должны будутъ ко двору представляться въ роли старшихъ придворныхъ чиновъ... Я ужъ начинаю бояться, не хотятъ ли нашего папахена турнуть изъ службы. Очень ужъ часто онъ въ созерцательномъ положеніи находится... трубочка за трубочкой, чарочка по чарочкѣ, а глядишь, въ результатѣ—и осовѣлъ. Ну, а это состояніе не очень-то способствуетъ развитію умственныхъ способностей, которыхъ ему и отъ природы было не очень много отпущено... Мозгами не можетъ похвастать!.. Теперь же такихъ умовъ, такихъ созерцателей не требуется, все новыхъ людей ищутъ... орловъ изъ такой породы, чтобы съ налету хватали, что плохо лежитъ... Скверно, если его сковырнутъ, какъ негодный прыщъ, прежде чѣмъ я поступлю на службу...

Варвара съ презрѣніемъ пожала плечами.

— Ты лучше доучился бы, а ужъ тогда говорилъ бы о службѣ,—замѣтила она.

— А ты думаешь, легко доучиться съ такими милыми субъектами, какъ твой Николай Ивановичъ?

— Какое право ты имѣешь говорить пошлости, называть его моимъ?.. Почему онъ мой?.. Онъ женатый человѣкъ! — вспылила Варвара, раскраснѣвшись, и даже на минуту оставила работу.

— Ахъ, виноватъ-съ!—засмѣялся Евгеній.—Я и забылъ, что вы платонически вздыхаете... Такъ вотъ я и говорю, что съ такими субъектами, какъ онъ, каши не сваришь... Я ему говорю: «сдѣлайте, чтобы я получилъ свидѣтельство о выдержаніи экзамена», а онъ говоритъ: «а вы учитесь»... Болванъ! да я найду и безъ него сколько угодно учителей, которые за извѣстную сумму денегъ даже и не потревожатъ меня, а свидѣтельство о выдержаніи экзамена добудутъ...

— То-есть, какъ же это?—спросила Варвара.

— Подставятъ за меня какого-нибудь зубрилу Еремку или Ермошку; онъ за деньги и сдастъ экзаменъ, а мнѣ выдадутъ свидѣтельство. На каждомъ шагу такъ дѣлается!..

— Круглому невѣждѣ выдадутъ свидѣтельство?

— А вы, почтенная дѣвица, думаете, что въ жизни вообще, и мнѣ въ частности, очень нужно знать, какими издѣліями отличается главный городъ въ какой-нибудь Чухляндіи или какую побѣду до Рождества Христова одержалъ хотя бы царь Никита, извѣстный только тѣмъ, что онъ имѣлъ двѣнадцать дочерей...

Онъ опять захихикалъ.

— Съ тобой нельзя говорить... Ты даже для балагановъ не пригоденъ,—сказала она и встала, сложивъ свою работу.

Пройдя изъ гостиной въ свою комнату, она невольно задумалась о томъ, что такъ или иначе подмѣтилъ Евгеній. Мать, дѣйствительно, стала все чаще и чаще говорить какія-то угрожающія фразы о возможности нищеты, о хлѣбѣ съ водой, объ утираемыхъ кулаками слезахъ. Не была ли и посылка ея къ бабкѣ ничѣмъ инымъ, какъ послѣдней попыткой избѣжать какого-то тяжелаго бѣдствія, которое именно теперь грозитъ семьѣ. Въ сущности, она ничего не знала, что касалось ихъ матеріальнаго положенія. И отецъ, и мать были и хвастливы, и скупы въ одно и то же время: то пускали пыль въ глаза, какъ богачи, то сквалыжничали, какъ нищіе; то съ попреками усчитывали гроши изъ выдаваемыхъ Евгенію карманныхъ денегъ, то стыдили его, если онъ шелъ въ театръ въ раекъ, гдѣ однимъ писарямъ прилично сидѣть. Дѣти видѣли только эту непослѣдовательность и могли только осуждать за нее родителей, не зная причины ни расточительности, ни скряжничества. У нихъ въ семьѣ, дѣйствительно, принято было за правило, чтобы дѣти не совали носа въ денежныя дѣла отца и матери, хотя при дѣтяхъ и не стѣснялись говорить обо всемъ и часто ребята знали такую грязь, о какой они не должны бы были имѣть и представленія по своему возрасту. Тѣмъ не менѣе, яснаго понятія о средствахъ отца и матери, о томъ, какъ добываются эти средства, не имѣлъ никто изъ дѣтей. Если что-нибудь и узнавалось послѣдними, то узнавалось только случайно отъ сплетниковъ-слугъ, судачившихъ на досугѣ про господъ и не всегда остерегавшихся господскихъ дѣтей. Эти слуги и проговаривались часто «о нагрѣваньи» ихъ господами кого-то, объ умѣньи ихъ господъ набивать свои карманы, объ уженьи ими рыбы въ мутной

водѣ и тому подобномъ. Но это ничего не объясняло дѣтямъ и только развивало въ нихъ убѣжденіе, что ихъ родители имѣютъ много денегъ. Въ этомъ убѣжденіи росли всѣ Чупруненко, и только теперь ясно почуялось нѣчто недоброе. Это предчувствіе чего-то недобраго подтвердила еще болѣе наивная старуха-дитя Амалія Карловна Лустигъ, бывшая гувернантка Варвары. Эта тощая и всегда небрежно одѣтая дѣвушка, съ вѣчно выбившимися изъ-подъ старомодной шляпки бѣловатыми волосами, давно уже не переступала порога дома Чупруненко, а теперь неожиданно появилась въ немъ и, — что удивительнѣе всего, — появилась не въ комнатѣ Варвары, а въ спальнѣ самой Вѣры Васильевны, которая ласково называла ее теперь «голубушкой» и «родной», о чемъ-то таинственно совѣщаясь съ нею. Амалія Карловна, разумѣется, не удержалась—на минутку забѣжала и къ своей любимицѣ Варварѣ въ первый же свой визитъ къ Вѣрѣ Васильевнѣ.

— О, meine liebe Варуша, какъ я радъ за тебя, что ты кончала курсъ и дипломъ имѣешь съ университетъ,—замѣтила, между прочимъ, старуха, коверкая смѣшно и нелѣпо всѣ слова. — Это твой клюбъ насущный... Онъ не погибайтъ ни въ какомъ нужды...

— Милая Амалія Карловна, да что же такое случилось?— спросила встревоженная Варвара, цѣлуя ее въ дряблую худую щеку.

— О, это большой Geheimniss... Никому, mein armes Kind, это я не можетъ говорить. Но ты совсѣмъ спокойна будь, совсѣмъ... до тебя это не косайтъ... Я тоже бѣдній дѣвушекъ, а всю жизнь прожилъ... и мой altes Mütterchen...— всегда-всегда накормилъ, пока она не умеръ... О, das war ein wahres Glück meiner Leben!

Она вздохнула, вспомнивъ о своей матери, дожившей до восьмидесяти лѣтъ на ея попеченіи. Когда она ушла, Варвара невольно задумалась: тайна такъ и осталась тайною, а утѣшеніе, высказанное Амаліей Карловной, едва ли могло успокоить; жить такъ, какъ прожила Амалія Карловна, — это была незавидная перспектива. Вѣчно нуждающаяся и вѣчно работающая нѣмка служила мишенью для насмѣшекъ. Не смѣялись надъ нею развѣ только что не идіоты въ родѣ Даниды. Ея запошенный, коротенькій отъ ежегоднаго подшиванья, вылинявшій салопчикъ; ея старомодная засаленная шляпка; ея много разъ подрѣзавшійся и потому на нѣсколько пальцевъ не достигавшій до земли подолъ платья;

ея ненапомаженные сѣкшіеся волосы льняного цвѣта, ея обвѣтренное отъ шатанья по улицамъ лицо съ красноватыми жилками на щекахъ, ея худощавость отощалаго человѣка,—все служило предметомъ насмѣшекъ. Смѣялись люди даже надъ тѣмъ, что эта голодная учительница нѣмецкаго языка и музыки даетъ еще даровые уроки и помогаетъ бѣднымъ: самой ѣсть нечего, а хочетъ накормить обглодками другихъ. Но развѣ всѣхъ учительницъ ждетъ подобная доля? Участь ихъ гувернантки, mademoiselle Жуберъ, не такова. Но развѣ сладко ей, этой mademoiselle Жуберъ, у нихъ въ домѣ? Ею не помыкаетъ только тотъ, кому лѣнь помыкать... Чего стоятъ однѣ насмѣшки Евгенія надъ ея некрасивымъ лицомъ и съ какимъ цинизмомъ говоритъ онъ, что не сдобровать бы ей, если бы она была красива... Варвара даже не могла рѣшить, чѣмъ лучше быть—Амаліей Лустигъ или mademoiselle Жуберъ, гувернанткой-уродомъ или гувернанткой-красавицей... А, между тѣмъ, если точно семью постигнетъ разореніе, то ей не останется другого выбора, какъ сдѣлаться учительницей или гувернанткой. И кого ей придется кормить, сколько ртовъ! Никто изъ домашнихъ не умѣетъ работать. Всѣ будутъ нуждаться въ поддержкѣ. Во всякомъ случаѣ, что бы ни случилось, она не броситъ безъ помощи Данилу... Впрочемъ, что же предупреждать событія, печалиться о томъ, чего еще нѣтъ, а, можетъ-быть, и не случится? Она стала упрекать себя въ непослѣдовательности: прежде все храбрилась, говорила о самостоятельности, о готовности идти и въ учительницы, и въ гувернантки, а чуть явилась черная тучка на горизонтѣ—у нея и тревоги, и сомнѣнія появляются. Что за малодушіе! А всему причина—привычка быть барышней!..

VII.

Почти всю ночь провели безъ сна на своей мягкой двуспальной постели Пантелеймонъ Семеновичъ и Вѣра Васильевна Чупруненко наканунѣ того дня, когда онъ рѣшился идти къ начальству съ объявленіемъ рокового «добровольнаго» признанія...

До этого дня было сдѣлано не мало обоими супругами: Вѣра Васильевна перетаскала сама и передала Амаліи Карловнѣ Лустигъ цѣлую массу золотыхъ и серебряныхъ вещей, которыя, какъ говорила Вѣра Васильевна, могутъ «ограбить злодѣи» у несчастныхъ ея дѣтей за долгъ; Амалія Карловна не разспрашивала, какой и кому долгъ, и

только понимала одно, что надо спасать вещи «для дѣтей» отъ какихъ-то невѣдомыхъ грабителей. Предпринимая эти предосторожности, Вѣра Васильевна не скупилась и на писаніе писемъ къ своей матери о томъ, что дѣла ея семьи пошатнулись, что у семьи могутъ, за долги, сдѣланные на нужды семейной жизни, описать все имущество, при чемъ она не могла не похвалиться тѣмъ, что была примѣрною женою и матерью и ничего не жалѣла для семьи. Когда же на эти письма получались холодные и сухіе отказы помочь живущимъ не по средствамъ людямъ, съ откровенными замѣчаніями, что Марья Никоновна понимала и прежде по нѣжному тону всѣхъ послѣднихъ писемъ дочери о плохомъ ходѣ ея денежныхъ дѣлъ,—тогда въ Вѣтрищево полетѣло письмо, гдѣ уже прямо говорилось, что Пантелеймона Семеновича могутъ разжаловать въ солдаты или лишить всякихъ правъ, такъ какъ онъ, ничего не получивши за женою, спасая свою родную семью отъ голода, затратилъ казенныя суммы; на это письмо получился жёсткій отвѣтъ о томъ, что съ ворами и казнокрадами Марья Никоновна не желаетъ имѣть и не имѣетъ ничего общаго, такъ какъ въ ея роднѣ мошенниковъ, слава Богу, еще не бывало. Пантелеймонъ Семеновичъ, съ своей стороны, сдѣлалъ еще нѣсколько попытокъ уговорить содержателя банкирской конторы Джорджа Нури за большіе проценты ссудить ему необходимую сумму денегъ на день ревизіи, но Нури отказался наотрѣзъ; тогда Пантелеймонъ Семеновичъ заявилъ ему, что если Нури топитъ его, такъ и онъ не будетъ щадить Нури и на допросахъ заявитъ, что Нури, зная всѣ обстоятельства дѣла и помогая ему, Чупруненко, обманывать начальство, нѣсколько разъ выручалъ его за большіе проценты, пополняя его кассу во дни ревизій, всучивая ему при этомъ чуть не насильно билеты польской и другихъ лотерей, которые не были разрѣшены правительствомъ и которыми онъ все же торговалъ; угроза сильно испугала англійскаго еврея и, черезъ нѣсколько времени, разнесся слухъ объ исчезновеніи Нури и о крахѣ его конторы; были еще попытки Пантелеймона Семеновича со слезами просить о помощи тѣхъ людей, которые когда-то были причастны къ сдѣланнымъ имъ хищеніямъ; но эти люди изъ «порядочнаго круга» были уже теперь особами важными, стояли по своему положенію какъ бы внѣ закона и не сморгнули даже глазомъ, когда «этотъ дуракъ», — какъ они называли Пантелеймона Семеновича, — отъ унизительныхъ слезъ въ

объясненіяхъ съ ними перешелъ къ жёсткимъ, но никого не испугавшимъ угрозамъ. Послѣ этихъ объясненій, не было и соломинки, за которую можно было бы ухватиться. Оставалось только «добровольное» сознаніе.

— Ну, мамочка, мы все, со своей стороны, сдѣлали, что могли,—говорилъ онъ ночью наканунѣ дня, избраннаго для этого добровольнаго сознанія въ растратѣ, цѣлуя Вѣру Васильевну уже впотьмахъ. — Не на насъ грѣхъ, если эти ироды, и твоя мать, и Нури, и Бархатниковъ, и всѣ другіе щелкоперы изъ его компаніи, затянувшіе меня въ долгъ, толкаютъ насъ въ бездну и не хотятъ даже подать руки помощи...

— Да, ужъ хорошъ Бархатниковъ, отъ котораго ты и наслѣдовалъ первый казенный долгъ, покрывая его самого, но еще лучше моя милѣйшая матушка,—заявила съ ожесточеніемъ Вѣра Васильевна.—Смѣетъ еще съ презрѣніемъ писать, что съ казнокрадами не имѣетъ ничего общаго, что у нея въ роду мошенниковъ не было. Бунтовщики у нея въ роду были, а не только-что мошенники; не въ тюрьмѣ отсиживали, а въ каторгѣ гнили, — такъ не ей бы насъ попрекать. Ужъ молчала бы лучше! А кто и навелъ-то насъ на грѣхъ, если не она. Меня она развѣ для нищенской жизни воспитывала? Тебѣ она развѣ десятки тысячъ отвалила за мною, чтобы ты могъ меня и дѣтей прилично содержать? Отъ великаго богатства, что ли, ты тратилъ казенныя суммы?..

— Мамуля, не осуждай! Помни правило: «не судите да не судимы будете»,—сталъ въ минорномъ тонѣ уговаривать раздражившуюся жену Пантелеймонъ Семеновичъ.—Да проститъ имъ всѣмъ Господь Богъ. Я же съ чистой душой иду на судъ. Да, я бралъ, бралъ, но часть растраты сдѣлана до меня; Бархатниковъ первый тронулъ казенный сундукъ; я же если и бралъ еще, то по нуждѣ: семью нужно было содержать; шутка ли тоже,—то родины, то крестины, то похороны; безъ денегъ ничего тутъ не подѣлаешь,—тоже, пополняя деньги въ извѣстные сроки, еще болѣе запутывался... процентовъ однихъ сколько переплатилъ этому жиду Нури. А вѣдь вотъ выиграй я въ польскую лотерею—и все было бы покрыто!

— Нѣтъ, ужъ гдѣ намъ? мы такіе несчастные. Думалъ: вотъ выиграемъ, вотъ выиграемъ! Нѣтъ, не тутъ-то было. И во всемъ такъ! Матери-то моей вотъ который годъ, а все живетъ, и себѣ, и людямъ въ тягость... Умри она безъ ду-

ховной, все намъ бы досталось: другихъ наслѣдниковъ нѣтъ,— все еще такъ же раздражительно проговорила Вѣра Васильевна.

— Богъ съ ней, мамуля, Богъ съ ней, пусть себѣ живетъ! На все это Божья воля. Намъ же чужого не надо.

— Не чужое, а наше!—запротестовала Вѣра Васильевна.

— Не хочетъ отдавать намъ, ну, и значитъ чужое,—сокрушительнымъ тономъ настаивалъ Пантелеймонъ Семеновичъ.

У Пантелеймона Семеновича была такая тишина и покорность на душѣ; онъ былъ такъ настроенъ, какъ будто завтра непремѣнно долженъ былъ умереть и, покорившись Божьей волѣ, взявъ безропотно возложенный на него крестъ, онъ теперь долженъ только проститься съ тѣми, кого любилъ, и простить всѣмъ, кто его обидѣлъ. На первомъ планѣ была мамуля. Вся эта ночь, въ послѣдній разъ проводимая ими вмѣстѣ, въ сущности была однимъ трогательнымъ прощаньемъ. Когда настало утро, Пантелеймонъ Семеновичъ, не облачаясь, какъ бывало прежде, въ халатъ до чаю, началъ сразу приготовлять парадную форму. Довольно долго простоялъ онъ еще въ одномъ бѣльѣ на колѣняхъ передъ кіотомъ и, широко крестясь, дѣлалъ земные поклоны. Въ спальнѣ слышался только отрывочный шопотъ: «Господи, помяни царя Давида и всю кротость его»... «и остави намъ долги наша, яко же и мы оставляемъ должникомъ нашимъ»... Потомъ, одѣвшись, тщательно снявъ съ парадной одежды малѣйшую пушинку и еще не выходя изъ спальни, онъ обнялся и расцѣловался съ Вѣрой Васильевной, набожно перекрестившею его, смахнулъ слезу и вышелъ въ столовую.

— Ба! во всемъ парадѣ и при регаліяхъ!—воскликнулъ шутливо Евгеній, увидавъ отца.

— Все шутки, все шутки у тебя, Женюша! — не то съ сожалѣніемъ, не то съ ласкою вздохнулъ Пантелеймонъ Семеновичъ, по обыкновенію подставляя дѣтямъ руку для цѣлованія и съ особеннымъ чувствомъ цѣлуя ихъ въ щёки.— И я былъ молодъ, и я любилъ пошутить. Мать еще помнитъ, какой я шутникъ былъ. Душой общества слылъ, и каламбуришь, бывало, и вышучиваешь старушенцій разныхъ. Всего бывало! Кто Богу не грѣшенъ? Съ лѣтами это проходитъ. Съ лѣтами начинаешь понимать, что все прахъ и тлѣнъ, что все суета суетъ.

— Да, смолоду всѣмъ бы надо быть гусарскими корнетами, а подъ старость дѣлаться проповѣдниками-монахами,— вставилъ Евгеній.

— Подъ старость,—не обращая на него вниманія, продолжалъ Пантелеймонъ Семеновичъ:—видишь, какъ коротка жизнь, какъ мало остается прожить съ ближними, и начинаешь всѣхъ ихъ любить больше; при каждой встрѣчѣ только и думаешь: «а, можетъ-быть, завтра я вотъ и этого человѣка ужъ не увижу»...

Евгеній захихикалъ:

— Вотъ-то было бы счастье, если бы всегда можно было успокаивать себя этимъ при встрѣчахъ съ кредиторами...

Пантелеймонъ Семеновичъ пропустилъ, повидимому, и это замѣчаніе мимо ушей и снова вздохнулъ.

— Да, а вотъ когда чувствуешь, что, можетъ-быть, никогда не увидишь дѣтей и жены...—началъ онъ тѣмъ же тономъ.

Онъ не кончилъ фразы, опять смахнулъ рукою слезу съ дряблой щеки и, не допивъ кружки чаю, сталъ прощаться. Онъ прощался такъ, что Варвара вдругъ мимовольнымъ движеніемъ двинулась къ нему и спросила съ очевидной тревогой въ дрогнувшемъ голосѣ:

— Да развѣ ты надолго?

— Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ, всѣ подъ Богомъ ходимъ, Варюша,—уклончиво отвѣтилъ Пантелеймонъ Семеновичъ и заботливо перекрестилъ ее.—Береги мать, братьевъ, сестру...

Она нахмурилась и крѣпко стиснула зубы, точно стараясь подавить какую-то страшную внутреннюю, чисто физическую боль. Она, не зная вовсе, что совершается вокругъ нея, почувствовала, что вотъ-вотъ сейчасъ разразится какая-то роковая гроза.

VIII.

Однако неизвѣстность происходившаго вокругъ продолжалась еще не долго для семьи Чупруненко. Истиннаго положенія дѣлъ уже нельзя было скрывать дальше. Тотчасъ же послѣ ухода Пантелеймона Семеновича, Вѣра Васильевна начала распространяться о томъ, что никто о родителяхъ и не думаетъ, что отецъ вотъ всю жизнь изъ кожи лѣзъ, а его никто и не пожалѣетъ; что отецъ хоть погибни, никому до того и дѣла нѣтъ. Отъ дѣтей-то благодарности нечего ждать: они, какъ ихъ ни корми, все въ лѣсъ глядятъ, какъ волчёнки, прости Господи! Потомъ, кончивъ эту, высказанную жалующимся и въ то же время придирчивымъ тономъ, прелюдію объ отцахъ и дѣтяхъ вообще и ни къ кому въ осо-

бедности не обращаясь, она уже болѣе опредѣленно и ясно сообщила своимъ дѣтямъ, что съ ихъ папочкой вотъ несчастіе случилось—казенныя деньги у него пропали и что-то съ нимъ, голубчикомъ, будетъ, одному Богу извѣстно... Это извѣстіе для всѣхъ было нежданнымъ ударомъ грома... Она сама не могла бы опредѣлить, что заставляло ее и Пантелеймона Семеновича до послѣдней минуты скрывать отъ дѣтей настоящее положеніе дѣлъ: неодолимый ли стыдъ за свои проступки, или только вкоренившаяся въ плоть и кровь привычка не позволять дѣтямъ вмѣшиваться въ ихъ жизнь, совать носъ въ дѣла родителей. Но такъ или иначе, а все же признаніе теперь поразило всѣхъ своею неожиданностью. Это было уже не простое разореніе, а нѣчто похуже; не простое оставленіе за штатомъ, а отдача подъ судъ съ позорящимъ приговоромъ впереди. Всѣ были подавлены и молчали.

— Да вѣдь казенный сундукъ запечатанъ и стража при немъ есть? Какъ же могъ воръ украсть?—первый подалъ свой голосъ Данила, готовый, какъ всегда, недоумѣвать и требовать объясненій. — Никакъ воръ этого не могъ сдѣлать,—рѣшилъ онъ.

— Ахъ, держи хоть ты-то за зубами свой глупый языкъ!— раздражительно прикрикнула на сына Вѣра Васильевна.— Вотъ ужъ истинно послалъ Господь наказаніе...

— Я что же?.. я только говорю, какъ можно было украсть, когда и печати, и замки, и сторожа, — упрямо настаивалъ Данила на томъ, что онъ вполнѣ правъ, доказывая невозможность воровства денегъ изъ казеннаго сундука.

— Говорятъ тебѣ: замолчи, не надрывай мнѣ сердца!— опять прикрикнула на него мать, перемывая чашки.—Отца ужъ, можетъ-быть, арестовали, а ты пристаешь съ глупостями...

Евгеній молча заходилъ по комнатѣ, засунувъ въ карманы панталонъ руки, насупивъ густыя брови и что-то насвистывая, несмотря даже на присутствіе матери, въ обыкновенное время не допускавшей, чтобы свистали въ комнатѣ: ея мать Марья Никоновна тоже не допускала этого, считая свистъ въ комнатѣ неприличнымъ и говоря, что «комната не конюшня, а свищущій не кучеръ». Вѣра же Васильевна не любила свиста въ комнатѣ, ради какого-то суевѣрнаго страха—свистя, человѣкъ накликаетъ несчастіе на домъ. Теперь же она не замѣчала, свищетъ или нѣтъ Евгеній. Варвара сидѣла, не шевелясь, погруженная въ

горькія думы. Она въ душѣ никого не обвиняла, ни на кого не сердилась въ эту минуту: ей было просто страшно и совѣстно за семью и до боли жаль всѣхъ; она только сознавала одно,—что теперь ей нужно поддерживать семью. Какъ? чѣмъ? уроками, какъ Амалія Карловна содержала свою мать? идти въ гувернантки, какъ mademoiselle Жубеѣъ? много ли все это дастъ?

Она не замѣтила даже, какъ Вѣра Васильевна домыла чашки и вышла изъ комнаты, и только вздрогнула, неожиданно услышавъ голосъ Евгенія.

— Дотанцовались, почтенные жизнедавцы!—сквозь зубы, хрипло проговорилъ онъ, думая вслухъ.—Теперь спасайся, кто можетъ... Безъ министерства финансовъ жить нельзя, ни одно государство этого не можетъ; а наше министерство финансовъ, какъ видно, окончательно лопнуло... самимъ надо будетъ изыскивать средства.

Онъ щелкнулъ пальцами.

— Эхъ, кабы найти какую-нибудь дойную корову! Безъ дойной коровы никакъ тутъ не вывернешься. Говорилъ я сотни разъ отцу, что надо было бросить лишнихъ сотни рублей, чтобы добыть мнѣ свидѣтельство объ окончаніи курса ученія и найти хлѣбное мѣсто... Такъ нѣтъ, жаль было денегъ, жаль было единовременно значительную затрату сдѣлать,—ну, и заставлялъ тянуть канитель ученья у разныхъ Николаевъ Ивановичей. А будь у меня свидѣтельство о выдержаніи экзамена — давно бы я на штатномъ мѣстѣ состоялъ. Были прежде и протекціи, а теперь гдѣ ихъ найдешь? Ищи вѣтра въ полѣ... Грошевики!—по грошамъ готовы были десять лѣтъ платить за уроки, а разомъ нѣсколько сотъ рублей жаль было выдать. Вотъ я теперь и продавай слоновъ... Нечего сказать, славное и прибыльное занятіе! Точно не все равно ему было, сколько онъ украдетъ изъ казеннаго сундука—десять или двѣнадцать тысячъ.

— Такъ это, значитъ, онъ сцапалъ?—проговорилъ почти радостно Данила.—Я такъ и говорилъ, что никто чужой не можетъ украсть: на сундукѣ замки, печати; часовой сторожитъ...

Въ его широкомъ скуластомъ лицѣ, съ большими, немного торчащими въ сторону ушами и со стоявшими щетиной густыми коротко остриженными волосами на головѣ, отразилось выраженіе торжества.

— Ужъ что и говорить: уменъ, все сейчасъ сообразишь,— подшутилъ надъ нимъ презрительно Евгеній.

Затѣмъ, не обращая болѣе вниманія на брата, онъ обернулся къ Варварѣ.

— И тебя точно пришибло, — сказалъ онъ. — Вишь, и дипломъ не радуетъ. Прежде-то только и носилась съ нимъ... «я, молъ, нигдѣ не пропаду; у меня права есть; съ дипломомъ я всегда могу быть самостоятельной»... Ишь, матушка, ты хоть тысячи дипломовъ имѣй, а волкомъ завоешь, какъ спутаютъ тебя канатами по рукамъ и ногамъ, ну, вонъ хоть такіе геніи, какъ нашъ смѣтливый Данила или вотъ сія дѣвица...

Онъ съ насмѣшкой обернулся къ Евгеніи, облокотившейся обѣими руками на столъ и, поддерживая ими голову, читавшей французскую книгу:

— А вы, барышня, совсѣмъ зачитались романчикомъ, такъ вамъ и дѣла нѣтъ, что нашъ папаша воромъ объявился?

Евгенія зѣвнула, равнодушно взглянула на брата и неспѣшно поднялась съ мѣста, закрывъ томикъ, лежавшій передъ нею.

— Что-жъ... развѣ дѣти за отцовъ отвѣтчики? я выйду замужъ за Василія Артемьевича, — промолвила она.

Братъ захихикалъ:

— Да вашъ жандармъ, милочка, вамъ затылокъ теперь покажетъ, какъ только узнаетъ, что вы нищая...

— Василій Артемьевичъ меня не разлюбитъ!—съ увѣренностью возразила она.—Что папа попался, такъ это только заставитъ Василія Артемьевича ускорить свадьбу. Онъ и на мои лѣта не посмотритъ. Для него, по протекціи, все сдѣлаютъ. Не оставитъ же онъ меня терпѣть нужду.

— А вотъ увидимъ, какъ-то вы еще потомъ поскачете!..

— Ты только и умѣешь всѣхъ выпучивать и обижать... Я и слушать-то тебя не желаю...

Она раздражительно и, чуть не плача, ушла съ книгой въ свою комнату.

— Вотъ и еще одинъ изъ канатовъ, отъ которыхъ волкомъ будешь выть при своемъ дипломѣ,—сказалъ Евгеній Варварѣ, указывая на удалявшуюся Евгенію.

Варвара продолжала молчать и передумывала свои скорбныя думы. Она вообще обращала мало вниманія на болтовню Евгенія, всегда уснащенную разными пошлыми шуточками и гаерствомъ. Евгеній захихикалъ, видя, что сестра упорно молчитъ:

— Да, голубушка, у тебя вотъ, еще ничего не видя,

языкъ отнялся, а потомъ и совсѣмъ подавишься, когда имъ однимъ закусывать воду придется. Это не сладкіе и не питательные завтраки и обѣды...

Въ эту минуту, въ столовую вошелъ какой-то посторонній человѣкъ средняго роста, не особенно красивой наружности, въ золотыхъ очкахъ на довольно толстомъ короткомъ носу. Онъ былъ уже далеко не юноша. Его неправильное и уже не отличавшееся юношеской свѣжестью чисто русское лицо поражало только выраженіемъ ума и добродушія, сказывавшихся и въ пристальномъ взглядѣ ясныхъ глазъ, и въ слегка ироническій улыбкѣ, скользившей по его губамъ. Варвара, увидавъ его, вся зардѣлась до корней волосъ и быстро встала къ нему навстрѣчу.

— У насъ несчастіе, дорогой Николай Ивановичъ!—проговорила она, здороваясь съ нимъ и крѣпко пожимая его широкую руку съ короткими пальцами.—Отецъ растратилъ казенныя деньги... это ужасно!..

У нея брызнули слезы изъ глазъ.

— Ахъ, вы, бѣдная!—просто проговорилъ онъ мягкимъ, ласковымъ голосомъ, не сразу выпустивъ ея руку изъ своей мягкой руки.

Это былъ Николай Ивановичъ Нащокинъ, явившійся, по обыкновенію, на утренній понедѣльничный урокъ къ Евгенію.

IX.

— Сегодня, Николай Ивановичъ, вы ужъ меня отъ урока увольте! Если у меня что и было въ головѣ, то все выскочило, какъ шарахнули меня этой новостью,—заявилъ тотчасъ же Евгеній, съ видомъ фамильярности здороваясь, въ свою очередь, съ Нащокинымъ.

Нащокинъ насмѣшливо отвѣтилъ:

— Горе въ радость обратить хотите?... Ну, да Богъ съ вами. Теперь, вѣроятно, и совсѣмъ придется ученье бросить... хлѣбъ нужно будетъ трудомъ добывать.

Онъ началъ участливо разспрашивать у Варвары и у Евгенія подробности: за что арестовали Пантелеймона Семеновича? велика ли растрата? какъ все случилось? когда обнаружилась растрата? Ни Евгеній, ни Варвара не могли отвѣтить ничего опредѣленнаго. Они ровно ничего не знали. Отъ нихъ скрывалось и скрывается все. Точно спустилась на нихъ страшная туча и стоятъ они впотьмахъ, не видя ни входа, ни выхода.

— Знаемъ только, что крахъ пришелъ,—сказалъ насмѣшливо Евгеній:—вверхъ тормашками полетимъ...

— Васъ и это, кажется, больше забавлятъ, чѣмъ печалитъ,—рѣзко сказалъ Нащокинъ.

— За себя лично, Николай Ивановичъ, я не боюсь: у меня свои планы,—бойко отвѣтилъ Евгеній.

— Должно-быть, великіе,—усмѣхнулся Нащокинъ, хорошо знавшій легкомысленныя отношенія Евгенія ко всему.

— Великіе—не великіе, а все же знаю, что дѣлать,—сказалъ Евгеній, сердито насупивъ брови: онъ былъ изъ тѣхъ, которые подшучиваютъ надъ другими и не терпятъ шутокъ надъ собой.—Слава Богу, не куриный мозгъ! Вотъ какъ-то другіе вывернутся...

— У кого руки есть, тотъ и вывернется,—увѣренно проговорилъ Нащокинъ.—Работать будутъ, какъ милліоны людей работаютъ... Это только баклушниковъ горсть, а работниковъ—массы...

Варвара обратилась къ нему съ серьезнымъ лицомъ.

— Вотъ этотъ вопросъ о работѣ меня больше всего и заботитъ... Что дѣлать и какъ взяться на первыхъ порахъ за дѣло?.. Растерялась я. До сихъ поръ все масленица была...

— А вы, Варвара Пантелеймоновна, раньше времени не думайте объ этомъ,—посовѣтовалъ Нащокинъ.—Все равно, ничего не рѣшите, а только даромъ волноваться будете. Надо выждать, какъ повернется дѣло вашего отца, и тогда будетъ ясно, что дѣлать... или—вѣрнѣе сказать—какъ приняться за дѣло. У васъ вѣдь выбора въ профессіяхъ нѣтъ, дорога одна лишь открыта: учительствовать только и можете. Но какъ? Вопросъ весь въ этомъ, а его-то теперь не рѣшите никакъ... Я бы на вашемъ мѣстѣ болѣе всего напиралъ на открытіе школы... трепаться по урокамъ не сладко вообще, а дѣвушкѣ вашего круга, вашихъ привычекъ, въ особенности, жить въ гувернанткахъ еще того хуже: къ какимъ-нибудь вислоухимъ да толстокожимъ попадете—заѣдятъ!.. Школа же—разлюбезное дѣло: школъ у насъ мало, добросовѣстно поставленныхъ еще меньше; лучше сказать—совсѣмъ нѣтъ...

— А вы думаете, что я непремѣнно добросовѣстно поставила бы школу?—спросила она.

— Что мы пустыя-то рѣчи будемъ съ вами говорить?—коротко и чуть-чуть недовольнымъ тономъ замѣтилъ онъ, и, не обративъ вниманія на смущеніе Варвары, вызванное его

замѣчаніемъ, продолжалъ:—Но, конечно, школа потребуетъ затратъ на первое время, а объ нихъ можно говорить только тогда, когда выяснится, въ какомъ положеніи останется ваша семья, будетъ ли хоть что-нибудь на первое время...

— То-есть какъ это: будетъ ли хоть что-нибудь на первое время?—спросила Варвара, недоумѣвая.

— Да вы же говорите, что вашъ отецъ затратилъ казенныя деньги,—значитъ, у васъ все отнимутъ и возьмутъ въ казну,—пояснилъ Нащокинъ.

У Варвары, даже не подозрѣвавшей ничего подобнаго, брызнули слезы, и она сквозь зубы отрывисто проговорила:

— Ничего не знаю, ничего не понимаю; точно дура я въ практической жизни...

Нащокинъ поспѣшилъ дружески пожать ей руку и откланяться, сказавъ, что онъ заверпетъ къ нимъ на-дняхъ же узнать, какъ пойдутъ дѣла. Въ дверяхъ ему встрѣтилась Вѣра Васильевна. Она заговорила въ минорномъ тонѣ:

— Вы слышали, Николай Ивановичъ, у насъ несчастіе?

— Да, да,—отвѣтилъ онъ, торопясь уйти.

— Такъ вы ужъ извините насъ и не притѣсняйте, если мы позадержимъ деньги за послѣдніе уроки,—начала она извиняться.

— Да развѣ я когда-нибудь притѣснялъ васъ?—спросилъ онъ и, пожавъ плечами, раскланялся.

Едва онъ скрылся за дверью, какъ она заговорила въ раздраженіи, уже совсѣмъ инымъ тономъ:

— Не притѣснялъ, не притѣснялъ. Еще бы! Богаты были, уроками-то нашими дорожилъ, такъ и не смѣлъ притѣснять. А теперь пороги обобьетъ, если не заплатимъ...

— Какъ вамъ не грѣхъ, мама, такъ говорить?—упрекнула Варвара.

— А ты думаешь, не станетъ теперь ломаться надъ нами каждая мразь?—сказала мать.—Всѣ, всѣ, каждый оселъ лягнетъ копытомъ, благо мы нищими стали... всего еще насмотришься да натерпишься, матушка!..

И, не дожидаясь отвѣта, она, брюзжа на подлыхъ людей, вышла изъ комнаты.

— Вотъ такъ фунтъ!—проговорилъ Евгеній, насмѣшливымъ взглядомъ провожая мать.—Славную шутку отмочилъ Николай Ивановичъ: отбирать все будутъ. Такъ, значитъ, для предупрежденія этого, мамахенъ все и припрятывала. А я-то думалъ, что закладываетъ...

Онъ посвисталъ.

— Значитъ, дѣло—табакъ! И какое счастье, что у меня точно нарочно на черный день разныя монеты старинныя скоплены. Вотъ ужъ не думалъ никогда, что сей металлъ пригодится мнѣ на бѣгство отъ убогихъ Лазарей...

— Отъ какихъ убогихъ Лазарей?—почти безсознательно спросила задумавшаяся Варвара.

— Отъ нашихъ... вѣдь ты слышала сейчасъ, какъ мать убогаго Лазаря поетъ... Такъ это еще цвѣточки, а погоди, что за ягодки будутъ... оскомину набьютъ. На край свѣта убѣжишь, только бы не слышать этого нытья и жалобъ... Хорошо еще, что твой Николай Ивановичъ кстати сказалъ, что все могутъ обобрать... хоть мѣры и намъ можно будетъ принять,—съ озабоченнымъ видомъ перешелъ онъ къ другой темѣ.—Надо будетъ поскорѣй припрятать кое-что, а то, пожалуй, доберутся и до меня... отецъ воровалъ—сына грабить начнутъ... Ну, а безъ денегъ всѣ мои планы—тю-тю!.. Прибрала бы и ты свои белендрясы... пригодятся!..

Онъ пошелъ въ свою комнату собирать свои золотыя монеты, часы и разныя бездѣлушки, чтобы припрятать все это въ надежное мѣсто.

Варвара не тронулась съ мѣста. Она точно замерла, стоя у окна и тупо глядя въ пространство. Впереди ее ждалъ трудъ,—трудъ изъ-за куска хлѣба, трудъ не ради одной себя, а и ради всей семьи, такъ какъ ни мать, ни сестра, ни Данила не умѣли работать. Что же за жизнь ожидаетъ ее впереди? Достанетъ ли физическихъ силъ, достанетъ ли умѣнья работать? Прежде, когда было не нужно работать изъ-за куска хлѣба, трудъ манилъ, какъ какая-то увеселительная прогулка; теперь, когда нужно добывать имъ хлѣбъ и притомъ не для себя одной, а для нѣсколькихъ ртовъ, онъ пугаетъ, какъ страшное бремя, которое непремѣнно нужно поднять и навалить на себя, а внутренній голосъ подсказываетъ: не поднимешь, не снесешь этого бремени. «У кого руки есть, тотъ и вывернется!»—мелькнула въ ея головѣ фраза Николая Ивановича. Счастливый человѣкъ—никогда не унываетъ, всегда ровенъ и спокоенъ, а работаетъ, какъ волъ. Она не знаетъ хорошо его жизни,—очень ужъ не любитъ онъ говорить о себѣ, да и съ ней онъ точно боится говорить, точно сторонится,—а все же по двумъ-тремъ, сорвавшимся у него съ языка, фразамъ она узнала, что ему приходится черезчуръ много работать — давать уроки, писать статьи по разнымъ вопросамъ, работать въ какихъ-то комиссіяхъ. «Очень ужъ много денегъ мнѣ нужно»,

какъ-то разъ вырвалось у него признаніе, и въ голосѣ послышалась горечь. На что ему нужно много денегъ? Кажется, не пьетъ онъ, не кутитъ... Одѣвается просто, ходитъ всегда пѣшкомъ. Можетъ-быть, жена... Что у него за жена? Подруги школьныя ее видѣли, говорили, что очень красивая...

И вдругъ, какъ-то раздражительно тряхнувъ головой, Варвара почти вслухъ проговорила:

— Да что мнѣ-то за дѣло? У самой несчастіе, а я о другихъ думаю!

И она опять перешла къ подавляющимъ думамъ о несчастіи своей семьи. Но она и представить еще не могла всѣхъ размѣровъ этого несчастія.

X.

— Не знаешь ли, любезный, какъ пройти въ квартиру господъ Чупруненко?— спрашивалъ Нащокинъ дворника, подметавшаго дворъ.

— Вотъ туда ступайте,—указалъ дворникъ на дверь въ нижнемъ этажѣ надворнаго флигеля, не выпуская метлы изъ рукъ.

Дворъ былъ довольно просторный и между двумя строеніями—деревяннымъ двухъэтажнымъ домомъ съ мезониномъ, выходившимъ на улицу, и точно такимъ же другимъ строеніемъ, стоявшимъ на дворѣ,—было разбито нѣчто въ родѣ садика; послѣдніе пожелтѣвшіе листья съ деревьевъ безшумно падали теперь на миньятюрныя его аллеи, усыпанныя толченымъ кирпичомъ, и на булыжную мостовую двора. Осень уже близилась къ концу. Домъ находился въ одной изъ ротъ Семеновскаго полка. Воздуху здѣсь было въ тѣ времена еще много, такъ какъ большихъ каменныхъ домовъ въ этихъ ротахъ насчитывалось мало, особенно въ концѣ улицъ, примыкавшихъ къ Обводному каналу. По берегу канала тянулись сплошь длинные заборы и кое-гдѣ виднѣлись деревянные домишки. Между деревянными домами ротъ шли тоже или длинные заборы, или виднѣлись то тутъ, то тамъ сады и палисадники съ группами густыхъ, часто чуть не столѣтнихъ, деревьевъ.

— Да гдѣ же тутъ лѣстница къ квартирѣ господъ Чупруненко?—спросилъ Нащокинъ, выходя снова во дворъ изъ темнаго коридора, указаннаго дворникомъ.

— Какая лѣстница? никакой лѣстницы къ нимъ нѣтъ,— отвѣтилъ дворникъ, сгребая смѣтенные листья въ одну кучу.—Вотъ ихъ окна въ подвалѣ...

— Въ подвалѣ! почти крикнулъ удивленный Нащокинъ.

Но въ эту же минуту послышался за его спиной голосъ Даніилы. Онъ спрашивалъ Нащокина:

— Это вы насъ ищете, Николай Ивановичъ? Мы вотъ тутъ живемъ! — И совсѣмъ радостно пояснилъ: — Я увидалъ васъ. Вижу, ходите по двору, съ дворникомъ говорите, и думаю: «чего глазѣетъ во всѣ стороны? Вѣрно же, насъ разыскиваетъ». Оно такъ и вышло. Я сейчасъ понялъ.

— Къ вамъ можно войти? — спросилъ Нащокинъ, дружески пожимая ему руку.

— Съ чего-жъ нельзя? Голову только наклоните при входѣ, дверь низенькая... такъ хлопнуться можно, что искры изъ глазъ посыплются... Нашъ вонъ баринъ, чернобровый Евгеній-то, разъ лобъ здорово раскваснлъ, шишку набилъ себѣ на лбу, а потомъ кланяться дверямъ не захотѣлъ и уѣхалъ... спесивъ тоже...

Онъ засмѣялся, вспомнивъ о шишкѣ на лбу брата Евгенія.

— Мнѣ такъ удобно, не доросъ еще до притолоки... хожу, не кланяясь ей...

Онъ былъ бодръ и веселъ.

Они вошли въ темный коридоръ и, нащупавъ дверь на лѣвой сторонѣ его, очутились въ довольно свѣтлой и просторной подвальной квартирѣ. Ея полъ, впрочемъ, былъ не особенно много ниже уровня двора; нижняя часть оконъ, въ четыре довольно большихъ стекла, возвышалась надъ землею слишкомъ на четверть аршина. Чтобы попасть въ комнаты, нужно было пройти черезъ кухню съ огромной русской печкой. Снявъ пальто въ кухнѣ, Николай Ивановичъ прошелъ въ комнату и столкнулся лицомъ къ лицу съ Варварой, поспѣшно накидывавшею на себя большой платокъ. Выраженіе ея сильно похудѣвшаго лица было смущенное и сконфуженное. Оно заливалось теперь яркимъ румянцемъ, но Николай Ивановичъ все же сразу былъ пораженъ тѣмъ, насколько измѣнилась Варвара. Поражали особенно ея чудесные темно-сѣрые глаза: они сильно впали и, казалось, сдѣлались глубже и темнѣе. Дѣвушка какъ будто выросла и сдѣлалась старше на нѣсколько лѣтъ.

— Эхъ, вы, упрекнулъ онъ ее: переѣхали и не написали... я же просилъ хоть Евгенія, чтобы онъ далъ знать о дѣлахъ...

— Евгеній уѣхалъ,—тихо отвѣтила она.

— А вы не хотѣли и слова черкнуть!

— О чемъ писать? Да я и нездорова была...

Онъ быстро спросилъ:

— Что-нибудь серьезное? Теперь, надѣюсь, здоровы?

— Лихорадка еще осталась... впрочемъ, маленькая...

Онъ оглядѣлся.

— Вы, кажется, однѣ съ Данилой?

— Да, мать почти цѣлый день не бываетъ дома... то у арестованнаго отца, то по разнымъ присутственнымъ мѣстамъ ходитъ,—пояснила она.—Евгеній куда-то уѣхалъ... а Женя... молода она, тяжело ей здѣсь... гоститъ то у одной подруги, то у другой.

— Молода она!.. А вы?—сорвалось восклицаніе съ языка у Николая Ивановича.

Онъ взглянулъ на Варвару и испугался. Она сидѣла, понуривъ голову, и по ея лицу текли неудержимыя слезы. Она плакала беззвучно, тихо, въ какомъ-то безсиліи, въ сознаніи своей полной безпомощности. Въ этомъ сказывались полный упадокъ силъ, полная безнадежность.

— Нервы расходились...—какъ бы оправдываясь, прошептала она.—Болѣзнь эта несносная...

— Голубушка, полноте!—съ особенной нѣжностью проговорилъ Нащокинъ.

До этой поры онъ никогда не говорилъ съ ней такимъ тономъ.

— Заплачешь тутъ! — произнесъ сердитый голосъ Данилы.—Все обобрали; какъ собакъ, выгнали на улицу. А развѣ мы воровали? Мы даже не знали, что отецъ крадетъ... Никто не зналъ, что онъ воръ, а всѣхъ затаскали... Амальхенъ наша чуть съ ума не сошла. За всѣхъ насъ поплатилась. Мѣщанка она простая, такъ съ нею не церемонятся. Вы думаете что: ее, говорятъ, сѣкли, допрашивая...

— Данила, что вы говорите!—остановилъ мальчугана Николай Ивановичъ.

— Да, вотъ же вамъ крестъ!—перекрестился Данила.—Она стала сама на себя не похожа... краше въ гробъ кладутъ... Теперь выслали ее на мѣсто родины...

— Да, все это такъ ужасно, такъ ужасно! Разсказать этого нельзя, пережить это надо, чтобы понять,—прошептала Варвара, въ отчаяніи рыдая.

Было что-то надрывающее сердце во всемъ ея, полномъ безнадежности, существѣ, въ ея неутѣшныхъ слезахъ. Казалось, въ ней не осталось и тѣни прежней бойкой и смѣлой Варвары.

Болѣе часу просидѣлъ около нея Николай Ивановичъ,

стараясь успокоить и ободрить. Онъ точно преобразился. Всегда сдержанный, немного сухой и даже рѣзкій въ разговорахъ съ ней, онъ былъ теперь и ласковъ, и нѣженъ: говорилъ, точно съ милымъ сердцу, совсѣмъ больнымъ ребенкомъ. Впрочемъ, эту перемѣну въ его отношеніяхъ къ ней было легко объяснить. То, что онъ услышалъ въ этотъ день отъ нея, было вполнѣ неожиданно и надрывало душу. Ему и въ голову не приходило до этой минуты, до какихъ размѣровъ могло дойти несчастіе этой семьи ничтожнаго казнокрада.

XI.

То было время всякихъ великихъ упованій, неутомимой ожесточенной борьбы съ царившимъ въ обществѣ зломъ. То было время горячихъ, безпощадныхъ обличеній, того, что всѣ знали давно, можетъ-быть, задолго до временъ «Ябеды» Капниста, и о чемъ поневолѣ молчали въ теченіе десятковъ и десятковъ лѣтъ. Пришла пора, про которую вѣрно сказалъ поэтъ-публицистъ:

Слава намъ! Въ поганой лужѣ
Мы давно стоимъ
И чѣмъ далѣе, тѣмъ хуже
Все себя грязнимъ...

Наивные и недалекіе идеалисты мечтали о честныхъ становыхъ, о безсребренникахъ-чиновникахъ, объ истребленіи посредствомъ газетныхъ обличеній взяточниковъ и казнокрадовъ. Люди, попавшіеся въ эту пору подъ судъ за поползновеніе очистить карманы стригомыхъ ими овецъ-просителей и ввѣренные ихъ надзору казенные сундуки, дѣлались козлищами отпущенія новыхъ вѣяній, жестоко преслѣдовались для того, чтобы человѣкъ «не баловался» или, по крайней мѣрѣ, прилежно и толково учился на будущее время съ бо́льшею ловкостью обдѣлывать свои темныя дѣлишки и прятать концы. Понятливые, конечно, и научились.

Понятно, что и пострадавшій, то-есть пойманный за казнокрадство, Пантелеймонъ Семеновичъ Чупруненко сдѣлался козлищемъ отпущенія для разыскивателей лихоимствъ, мздоимствъ и тому подобныхъ, вышедшихъ тогда на время изъ моды, способовъ наживы. Его арестовали и стали доискиваться, не припрятала ли чего-нибудь его семья, не скрыла ли капиталовъ движимаго и недвижимаго имущества.

Розыски не остались безплодными. Было дознано, что въ послѣдніе дни передъ арестомъ Пантелеймона Семеновича

его жена часто выносила изъ дому что-то подъ бурнусомъ; далѣе узнали, что изъ квартиры Чупруненко еще выносились какія-то вещи неизвѣстной небогато одѣтой женщиной, оказавшейся, послѣ допроса слугъ, ревельской мѣщанкой Амаліей Карловой Лустигъ. Взялись за мѣщанку Амалію Карлову Лустигъ, допрашивали и въ сыскномъ, и въ третьемъ отдѣленіяхъ. Начались отношенія одного высокоблагородія къ другому высокоблагородію съ просьбами сдѣлать распоряженіе «о наисекретнѣйшемъ дознаніи о всѣхъ лицахъ, къ коимъ возила укрываемыя вещи вышепоименованная мѣщанка города Ревеля, Амалія Карлова Лустигъ». Наисекретнѣйшія дознанія запутали въ дѣло десятокъ лицъ и, въ концѣ концовъ, разныя высокоблагородія добились того, что разыскали укрывателей золотыхъ, серебряныхъ и другихъ драгоцѣнныхъ вещей, принадлежавшихъ семьѣ Чупруненко. Не могли только узнать, куда дѣвались деньги, вырученныя за мѣсяцъ до катастрофы отъ продажи коляски и пролетки Чупруненко, а также двухъ лошадей. Этого не зналъ никто и въ семьѣ Чупруненко, быть-можетъ, за исключеніемъ Вѣры Васильевны да ея стараго тюфяка, который она часто переворачивала позднимъ вечеромъ, замкнувшись предварительно въ комнатѣ...

Чѣмъ больше находилось свидѣтельствъ о скрытіи имущества, тѣмъ строже были допросы, тѣмъ ужаснѣе было положеніе такихъ непривилегированныхъ лицъ, какъ мѣщанка Амалія Карлова Лустигъ, съ которою не церемонились, которой говорили «ты», которую стращали даже тѣлеснымъ наказаніемъ, а, можетъ-быть,—какъ ходили слухи,— не только стращали, но и подвергли ему.

Среди извѣстныхъ кружковъ петербургскаго общества, любящаго ловить и раздувать всякіе сенсаціонные слухи, начались самые преувеличенные толки о дѣлѣ Чупруненко, и нѣкоторые все знающіе, и притомъ знающіе непремѣнно изъ первыхъ источниковъ, люди разсказывали о размѣрахъ кражи чуть не въ милліонъ, о причастности къ этому дѣлу чуть не коронованныхъ лицъ Европы, о принадлежности бѣжавшаго Нури къ тайнымъ политическимъ агентамъ Англіи, получавшимъ субсидіи одновременно и отъ Франціи; однимъ словомъ, говорилось все, что могутъ говорить «достовѣрно знающіе» обстоятельства дѣла и притомъ глубокомысленные люди, трактуя даже о выѣденномъ яйцѣ. Тогда еще ничего не приписывали Бисмарку: за все еще отвѣчали Наполеонъ III и Пальмерстонъ.

Семья Чупруненко, жившая до этого времени на казенной квартирѣ, была,—какъ выразился Данила,— выброшена на улицу съ оставленнымъ ей хламомъ, кроватями, поломанными стульями и табуретками, однимъ словомъ, со всѣмъ тѣмъ, что было строго необходимо для спанья, сидѣнья и приготовленія себѣ пищи, если только такъ сильно пострадавшіе люди имѣли еще возможность спать и ѣсть.

Среди этого разгрома не растерялась одна Вѣра Васильевна. Она грызлась съ какимъ-то остервенѣніемъ за каждую вещь и отстаивала свои права на все припрятанное съ такимъ ожесточеніемъ и упорствомъ, точно надъ ней не было ни властей, ни законовъ, точно она была совершенно права въ своихъ поступкахъ. До этой катастрофы, даже зная, какъ она сѣкла дѣтей и какъ била по щекамъ денщиковъ, нельзя было и предполагать въ ней столько энергіи, сколько она проявила теперь, отстаивая свое имущество, обивая пороги всѣхъ канцелярій, засыпая просьбами разныхъ должностныхъ лицъ, являясь раннимъ утромъ съ прошеніемъ и бросаясь на колѣни передъ самимъ государемъ на Зимней канавкѣ во время его обычныхъ утреннихъ прогулокъ. Набѣгавшись, она находила еще силы ежедневно относить судки съ ѣдою «заключенному» папочкѣ, котораго она питала очень сносно даже тогда, когда морила чуть не голодомъ своихъ дѣтей. У нея не прорывалось ни слова упрека папочкѣ, ни одной жалобы; за него, главнымъ образомъ, нападала она на дѣтей, попрекая ихъ за неблагодарность, за безсердечіе, и эта грызня, это «поѣдомъ ѣстъ», — какъ выражался Данила, — съ каждымъ днемъ дѣлались все ожесточеннѣе и ожесточеннѣе, по мѣрѣ того, какъ терялись все болѣе и болѣе надежды сберечь хоть что-нибудь изъ скрытаго имущества и облегчить хоть немного участь папочки. Слушая, до какихъ униженій доходила мать, какія испытанія перенесла изъ-за ихъ семьи Амалія Карловна, Варвара иногда приходила положительно въ отчаяніе.

Къ счастію Варвары и Данилы, Вѣра Васильевна теперь почти никогда не бывала дома. Безъ нея дышалось легче.

— Ну, ушла, наконецъ!—грубовато говорилъ Данила, какъ только за матерью закрывалась дверь.

Варвара, съ трудомъ преодолѣвшая свою лихорадку, начавшуюся со дня катастрофы, даже не пробовала останавливать брата, понимая, что и ему тяжело, какъ всѣмъ въ домѣ, и чувствуя признательность къ нему за то, что онъ является главнымъ ея тѣлохранителемъ и помощникомъ въ

ихъ новой неказистой обстановкѣ. Онъ таскалъ со двора ведра воды, выносилъ помои; онъ кололъ дрова и, когда она начинала мыть посуду, отталкивалъ ее отъ лаханки, грубо говоря:

— Ужъ гдѣ тебѣ, бѣлоручка!..

Потомъ, перемывая тарелки, ножи и вилки, съ перекинутымъ черезъ плечо полотенцемъ, какъ настоящій кухонный мужикъ, отирая засученнымъ рукавомъ рубашки потъ со лба, онъ продолжалъ ворчать:

— Вотъ все дуракомъ да мужикомъ ругали за то, что я плохо учусь да все на кухнѣ сижу, а на что бы мнѣ ваши географіи да лопотанье по-французски пригодились, когда и дрова наколоть надо, и полы вымести, и посуду вымыть?..

— Милый, это и безъ тебя сдѣлали бы!—отозвалась Варвара.

— Это не ты ли? Нашлась тоже помощница!

— Ты же ворчишь, что тебѣ тяжело!

— Оглупѣла ты! Развѣ я тебя ругаю, а вотъ они... Чего они хотѣли изъ меня ученаго сдѣлать, когда нищими мы должны были остаться? И охоты у меня не было къ ихъ ученью, и на какой чортъ оно мнѣ пригодилось бы теперь?

У него была своя грубая логика недалекаго практика-мальчугана, и онъ стоялъ за нее съ непобѣдимымъ упрямствомъ. Впрочемъ, Варвара даже и не пробовала съ нимъ спорить въ эти дни несчастія и совсѣмъ измучившей ее лихорадки. Неожиданно обрушившееся на семью несчастіе сбило ее съ толку. Покуда у нихъ были слуги, она и понятія не имѣла о томъ, сколько нужно хлопотъ и заботъ, чтобы ежедневно была выметена квартира, приготовленъ обѣдъ, вымыта посуда и бѣлье, вынесены помои, принесена вода, куплены и наколоты дрова, затоплена печь, закуплена на рынкѣ и въ лавкѣ провизія, свѣчи, мыло... Она видѣла, что все это дѣлалось въ домѣ, но не останавливалась на мысли, насколько это трудно и хлопотливо. Теперь она видѣла, что безъ помощи Данилы они насидѣлись бы въ грязи и въ холодѣ, можетъ-быть, даже безъ свѣчей и хлѣба, если бы онъ не напоминалъ, что нужно сбѣгать въ лавку, купить то-то и то-то... Что-жъ было спорить съ этимъ главнымъ помощникомъ въ семьѣ? Кромѣ того, ей было больно хоть чѣмъ-нибудь раздражать этого своеобразнаго мальчугана, привязаннаго къ ней, несмотря на всю внѣшнюю грубость, какъ можетъ быть привязанъ только вѣрный сторожевой песъ.

Она же такъ нуждалась въ привязанности теперь, когда она съ Данилой въ сущности остались одни на свѣтѣ: отецъ сидѣлъ подъ арестомъ, мать отсутствовала почти постоянно, являясь домой всегда раздраженною; Евгеній куда-то уѣхалъ, коротко объявивъ дома, что не такое теперь время, чтобы сидѣть на шеѣ у семьи; Евгенія же, дѣлая гримасы на окружавшую ее обстановку и постоянно повторяя, что она не привыкла къ такой грязи, гостила въ чужихъ домахъ, у подругъ, даже не замѣчая, что ею иногда тяготятся, что она становится приживалкой...

Скорбныя подробности всей этой исторіи еще не были вполнѣ переданы Николаю Ивановичу, когда вернулась домой Вѣра Васильевна. Нащокинъ не узналъ бы ея, встрѣтивъ ее на улицѣ,—до того она осунулась въ одинъ—въ два мѣсяца. Ея лицо обвѣтрилось отъ постоянной бѣготни по улицамъ, давно не помадившіеся волосы выбивались сухими прядями изъ-подъ заношенной шляпки. Всегда франтовато и нѣсколько пестро одѣтая, теперь она смотрѣла салопницей въ слишкомъ короткомъ ситцевомъ платьѣ и какой-то кацавейкѣ на легкой ватѣ. Какъ прежде въ ея нарядѣ сказывалось желаніе «пустить пыль въ глаза», такъ теперь въ ея костюмѣ не трудно было подмѣтить желаніе разжалобить людей, отстранить подозрѣніе въ томъ, что у нея есть хоть грошъ за душой. Казалось даже, что она, исхудавшая и осунувшаяся, стала ниже ростомъ...

— Что, батюшка, понавѣдаться пришли?.. полюбуйтесь, полюбуйтесь, до чего довели насъ добрые люди,—сказала она съ горькой ироніей.

Онъ пожалъ ей руку, не говоря ни слова. Она ожесточенно начала ругать людей. Все злодѣи и аспиды, по-міру семью пустили, издыхать съ голоду заставили. Николай Ивановичъ слушалъ и молчалъ, и, видя скорбное выраженіе лица Варвары, прислушивавшейся молча къ рѣчамъ матери, ждалъ только удобной минуты, чтобы откланяться, какъ вдругъ произошла неожиданная сцена. Среди жалобъ Вѣры Васильевны на людей, раздалось невольно сорвавшееся съ языка, по обыкновенію, рѣзкое замѣчаніе Данилы:

— Извѣстно, воровъ по головкѣ не гладятъ!—проворчалъ онъ, не удержавшись.

— Да ты это кого воромъ-то называешь, мерзавецъ?—крикнула Вѣра Васильевна и, прежде чѣмъ кто-нибудь успѣлъ опомниться, въ комнатѣ раздались звуки двухъ пощечинъ.

Данила какъ-то отчаянно тряхнулъ головой, крякнулъ и проговорилъ:

— Здорово!

Мать начала ругаться, какъ базарная торговка...

Варвара только стиснула зубы и опустила безпомощно руки съ судорожно сжатыми кулаками.

XII.

— Ну, а что же ваши планы относительно занятій? Остановились вы на чемъ-нибудь опредѣленномъ или все на точкѣ замерзанія? Начата работа?—допрашивалъ черезъ нѣсколько дней Нащокинъ Варвару, сидя у нея утромъ въ воскресенье, когда не было дома Вѣры Васильевны.

Варвара покраснѣла.

— Работы много, едва успѣваемъ съ Данилой справляться,—глухо отвѣтила она.

— Ради этой работы не стоило и учиться... за три рубля въ мѣсяцъ ее любая деревенская баба исполнитъ,—сказалъ Нащокинъ.

Варвара не стала спорить съ его замѣчаніемъ и только вздохнула.

— Во мнѣ все точно перевернулось со дня этой катастрофы! Точно руки отнялись!—пояснила она коротко.

— Отъ опусканья рукъ дѣло не поправится,—замѣтилъ онъ серьезно, почти строго.—Теперь-то и нужна энергія. Теперь руки отнялись съ отчаянья, а потомъ не будутъ дѣйствовать отъ привычки къ праздному нытью... Оно съ теченіемъ времени въ плоть и кровь всасывается... Встряхнуться надо, благо вы можете покуда распоряжаться сами собою, такъ какъ ваша мать думаетъ не о васъ, а вся поглощена заботами объ отцѣ: хоть въ прачки идите—не обратитъ вниманія... Теперь-то я бы на вашемъ мѣстѣ и открылъ приготовительную дешевую школу. Скоро наступитъ зима, станутъ отдавать дѣтей въ школы, учениковъ нахлынетъ много, если плата будетъ дешева да ученье хорошо. Вопросъ объ ученьи входитъ въ моду, а вы можете сразу открыть школу да еще притомъ и съ учителями.

— Съ учителями?—спросила въ недоумѣніи Варвара.—Безъ денегъ-то?

— Ну да, говорю я вамъ, что вопросъ объ образованіи, объ обученіи—модный вопросъ. Это вамъ и на руку. У меня найдутся разные знакомые изъ молодятины, которые охотно пойдутъ въ даровые помощники вамъ... браковать, пожалуй,

придется, столько ихъ явится... Наконецъ, я самъ удѣлю нѣсколько часовъ въ недѣлю на помощь доброму дѣлу,— пояснилъ Николай Ивановичъ.

— На благодѣяніе бѣдной семьѣ?—начала съ горечью Варвара.

Ее еще колола мысль, что ей, какъ нищей, могутъ помогать ближніе.

— Что вы глупости говорите!—перебилъ отрывисто Нащокинъ. — Не на благодѣяніе бѣдной семьѣ, а на доброе дѣло — на устройство хорошей дешевой школы для небогатыхъ дѣтей. Хорошихъ первоначальныхъ школъ такого рода мало, почти вовсе нѣтъ, а вы съ помощью преданной своей идеѣ молодежи можете поставить свою школу дѣйствительно хорошо, если не сложите рукъ...

— Поставлю хорошо безъ средствъ...—начала опять Варвара.

— Да вы совсѣмъ не знаете или не хотите понять сущности положенія, сущности вопроса! опять перебилъ онъ. — И средства, и помощники найдутся, только бы вы сами проявили энергію въ дѣлѣ. Увидятъ потомъ, что вы плохо ведете дѣло, что вы не умѣете приносить пользы дѣлу дешеваго и толковаго обученія дѣтей — ну, понятно, тогда и помощники оставятъ васъ одну эксплоатировать чужіе карманы для наполненія своего! А что касается первоначальной организаціи дѣла, то въ этомъ случаѣ всѣ вамъ помогутъ, за это я ручаюсь.

Онъ ни словомъ не обмолвился о томъ, что имъ за послѣдніе дни была уже подготовлена почва и матеріалы для предлагаемаго дѣла.

— Отчего же помогутъ именно мнѣ? — спросила она и едва удержалась отъ вопроса: «не оттого ли, что я ужъ очень жалка?»

— Ну, хоть бы оттого, что вы имѣете дипломъ на право открытія школы, оттого, что вы нуждаетесь въ трудѣ, а не по прихоти беретесь за него, и потому можно болѣе или менѣе надѣяться на вашу добросовѣстность въ отношеніи къ своему дѣлу...

И уже совсѣмъ раздражительно, точно сердясь на то, что онъ долженъ высказаться поневолѣ, закончилъ:

— Наконецъ, оттого, что я поручусь за васъ...

Она подняла на него глаза, въ которыхъ выразилась признательность.

— Какой вы добрый человѣкъ! — сердечно сказала она.

— Не сентиментальничать нужно, Варвара Пантелеймоновна, а дѣло дѣлать! — проговорилъ онъ, поймавъ ея взглядъ.—Я поручусь за васъ, я обхлопочу устройство дѣла, потому что вопросъ устройства дешевой и въ то же время порядочной приготовительной школы мнѣ лично близокъ къ сердцу: мнѣ же приходится биться въ гимназіяхъ съ поступающими туда, ничего не вынесшими изъ первоначальныхъ школъ олухами, созидать зданіе, подъ которое не заложили фундамента, а только нелѣпо исковыряли еще нетронутую почву... Научатъ дѣтей съ азбуки ненавидѣть науку, какъ страшное пугало, а ты изволь превращать эту ненависть въ любовь. Это зло искоренить надо. Надо искоренить въ дѣтяхъ самую мысль о томъ, что корень ученія горекъ, а сладки только его плоды. Вотъ о чемъ я хлопочу. Васъ же я знаю за хорошо-подготовленную въ хорошей нѣмецкой школѣ дѣвушку—недаромъ же я былъ тамъ тоже въ числѣ вашихъ наставниковъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ,—пошутилъ онъ:—и думаю, что вы не только по своей подготовкѣ, по усвоенной вами со школьной скамьи аккуратности и добросовѣстности, но даже вслѣдствіе вашего тяжелаго настоящаго положенія вложите въ свой трудъ всю душу, вотъ почему я готовъ хлопотать за васъ, Варвару Пантелеймоновну, а не за какую-нибудь неизвѣстную мнѣ Матрену Сидоровну или Соломониду Савишну, однимъ словомъ, за первую встрѣчную...

Онъ говорилъ грубовато, стараясь отклонить малѣйшій поводъ къ изліянію благодарностей, стараясь выяснить только то, почему онъ хлопочетъ объ устройствѣ школы, почему надѣется на помощь другихъ этому дѣлу: помогать будутъ не ей, Варварѣ Пантелеймоновнѣ, а самому дѣлу. Онъ нѣсколько разъ повторилъ, между прочимъ:

— Бѣдныхъ очень много, но за добросовѣстность ихъ въ трудѣ можно поручиться изо ста за одну. Если же дѣло попадетъ на первыхъ порахъ въ недобросовѣстныя руки— это будетъ значить, что мы губимъ ради глупой филантропіи святую идею—губимъ ее въ самомъ зародышѣ. Только отдавшись всею душою этому дѣлу, ставъ лицомъ къ лицу съ несчастной дѣтворой всѣхъ этихъ мелкихъ чиновниковъ, купцовъ и мѣщанъ, вы вполнѣ оцѣните все значеніе взятыхъ вами на себя обязанностей, — я говорю «несчастной дѣтворой», потому что она дѣйствительно несчастна: она рано узнаётъ всю грязь жизни; ее рано губятъ физически, губя въ то же время нравственно; ее рано отупляютъ не-

лѣпымъ началомъ ученья, дѣлая неспособной къ дальнѣйшему развитію. Кто не стоялъ къ ней близко, кто не вникалъ серьезно и съ любовью въ ея жизнь, тотъ и представить не можетъ, каково ея положеніе. Если кому удастся устранить хоть частицу золъ, опутывающихъ ее въ дѣтствѣ, то и это сознаніе дастъ ему въ награду глубокое святое чувство удовлетворенія. Меня лично съ дѣтскихъ лѣтъ болѣе всего трогали—трогали до слезъ кроткія слова Спасителя: «не гоните отъ меня дѣтей». Это и до сихъ поръ любимое мое мѣсто въ евангеліи. А мы ихъ гонимъ и гонимъ...

Онъ на минуту смолкъ, взволнованный, съ навернувшимися на глаза слезами. Варвара никогда еще не слыхала, чтобы онъ говорилъ такъ нѣжно, глубоко растроганно, безъ малѣйшей шутливости въ тонѣ.

Варвара дослушала его горячую и взволнованную рѣчь уже почти молча. Ее волновали различныя чувства—необычайный подъемъ духа въ виду возможности примѣнить къ дѣлу свои силы и доказать своимъ трудомъ, что на нее недаромъ возлагаетъ крупныя надежды этотъ человѣкъ, а въ то же время она ощущала такое глубокое и нѣжное чувство къ этому человѣку, что, кажется, въ эту минуту она пошла бы за него въ огонь и въ воду, сложила бы свою голову. Въ душѣ она давала себѣ клятву употребить всѣ усилія, чтобы отплатить за его довѣріе къ ней, чтобы не заставить его никогда раскаиваться въ томъ, что онъ повѣрилъ въ ея силы и выбралъ именно ее для исполненія того дѣла, которое было такъ дорого ему.

— Такъ какъ же рѣшите? — прервалъ онъ ея думы неожиданнымъ вопросомъ.

— О, я все, все сдѣлаю, чтобы вы не краснѣли за меня!— горячо воскликнула она.

— Ну, вотъ и молодецъ! — весело и бодро проговорилъ онъ, пожимая ея руку.—Съ этого и надо было начать!

Она, съ горящими румянцемъ щеками, молча отвѣтила рукопожатіемъ на его рукопожатіе и въ ея головѣ мелькнула мысль:

«Какъ счастлива его жена, имѣя возможность опираться на эту твердую, мужественную руку».

XIII.

Не мало толковъ, переговоровъ и хлопотъ пришлось пережить Варварѣ, прежде чѣмъ окончательно выработались

программа и условія, на которыхъ возникнетъ школа, прежде чѣмъ получилось разрѣшеніе открыть ее. Во всемъ этомъ дѣлѣ явился дѣятельнымъ помощникомъ молодой дѣвушки Николай Ивановичъ. У него были и знакомства, и связи, чтобы не затормозилось дѣло. Не щадили своихъ языковъ и какіе-то молодые люди изъ новоиспеченныхъ учителей, и три-четыре барышни изъ скучающихъ богатыхъ институтокъ, только-что сошедшихъ со школьной скамьи. Все это были люди непрактичные, неопытные, но горячіе, желавшіе дѣлать что-то полезное обществу. Споры вкривь и вкось, казалось, не кончатся никогда и, въ концѣ-концовъ, отъ вопроса о маленькой школѣ въ Петербургѣ заведутъ чуть ли не къ вопросу о переустройствѣ всей Европы. Эта говорливая компанія задавалась самыми высокими планами и цѣлями, и мечтала поставить школу на самую широкую ногу. Отъ первоначальной приготовительной школы, видимо, ждали чего-то такого, что если не изумитъ міръ, то все же сразу подвинетъ общество на десятокъ лѣтъ впередъ. Кто-то предлагалъ, не шутя, даже съѣздить сначала въ Англію и Швейцарію, чтобы лучше ознакомиться съ положеніемъ первоначальнаго обученія въ цивилизованномъ мірѣ.

— Что намъ за указъ гнилая Европа! Въ Америку надо махнуть, увидѣть новое дѣло въ новыхъ мѣстахъ!—храбро рѣшилъ кто-то.

— То-есть, сперва собрать повсемѣстно справки при помощи свѣдущихъ людей, потомъ просмотрѣть ихъ отчеты и сдать ихъ въ комиссію для составленія по этимъ отчетамъ проекта школы, при чемъ строго разработать правила для комиссіи, чѣмъ она должна руководствоваться при составленіи проекта школы; затѣмъ разсмотрѣть ея докладъ въ общемъ собраніи и избрать новую подкомиссію для составленія смѣты суммъ, какихъ потребуетъ предпріятіе...

Говорившій это насмѣшливымъ тономъ Николай Ивановичъ коротко закончилъ:

— Лѣтъ черезъ десять, когда пропадетъ охота къ дѣлу и выйдутъ всѣ средства, проектъ школы будетъ, вѣроятно, утвержденъ.

Затѣмъ, когда перешли къ вопросу о томъ, кто будетъ учить,—желающими отдать свой трудъ на пользу ближнихъ явились чуть не всѣ.

— По два и по три учителя на каждый часъ назначимъ,— опять проговорилъ Нащокинъ:—тогда хоть надежда будетъ, что, по крайней мѣрѣ, кто-нибудь не окажется манкирующимъ.

— Если съ этого начинать, такъ ни за какое дѣло и браться нечего! — раздалось чье-то недовольное замѣчаніе.

— То-есть съ чего «этого»? — спросилъ, щурясь, Нащекинъ. — Съ манкировки?

— Нѣтъ, не съ манкировки, а съ твоего убѣжденія, что никто ничего не будетъ дѣлать! — пояснилъ ѣдко говорившій.

— Я въ этомъ вовсе не убѣжденъ, а просто боюсь этого,— спокойно пояснилъ Николай Ивановичъ:—боюсь, чтобы мы не оказались крыловскими «синицами»...

И онъ началъ говорить о томъ, что дѣло, затѣянное нами, вовсе не такъ легко и забавно, какъ кажется, а напротивъ того, довольно скучно и, главное, незамѣтно, совсѣмъ незамѣтно. Если кто-нибудь хочетъ поиграть въ школу, какъ дѣти играютъ въ папу и маму,—тотъ лучше и не берись за дѣло: броситъ его на первыхъ порахъ.

— Игра выйдетъ плохая,—продолжалъ онъ.—Говорятъ, что первый блинъ всегда выходитъ комомъ. Я не согласенъ съ этимъ. Неудачный первый блинъ въ попыткахъ подобнаго рода просто заставляетъ вовсе не приниматься за печенье второго блина: изъ этого, молъ, тѣста, кромѣ комьевъ, ничего не выйдетъ... Повторяю: кто хочетъ только поиграть въ школу, тотъ лучше не берись за это, тѣмъ болѣе, что и завѣдующая школой, Варвара Пантелеймоновна, я надѣюсь, будетъ, несмотря ни на какіе соображенія и расчеты, подтягивать учащихъ еще строже, чѣмъ учащихся,—закончилъ онъ, улыбаясь:—чтобы оказаться «на высотѣ своего призванія», выражаясь высокимъ слогомъ... Нѣтъ, шутки въ сторону, — я серьезно буду очень настаивать, чтобы дѣло наше не превратилось въ пустую игру, а стало твердо на ноги; этого же можно достигнуть только самымъ строгимъ отношеніемъ къ своимъ обязанностямъ всѣхъ участниковъ дѣла—такимъ отношеніемъ, какъ будто бы каждый изъ насъ сознавалъ, что онъ лишится куска хлѣба и умретъ съ голоду, если дѣло лопнетъ.

Варвара покраснѣла: ей показалось, что это было сказано именно для нея. Онъ еще не вполнѣ увѣренъ въ ней. Онъ хочетъ помочь ей, но боится, что она можетъ не оправдать его довѣрія. Но она докажетъ ему, что онъ не ошибся въ выборѣ.

Однако, такъ или иначе, и матеріальныя средства школы, то-есть, плата за квартиру, за полгода, и деньги на покупку необходимой школьной мебели, были обезпечены, и явились

надежды, что помощниковъ, хотя на первое время, будетъ не мало.

Варвара возвращалась совсѣмъ радостная съ послѣдняго собранія молодежи, когда вопросъ о школѣ былъ окончательно рѣшенъ, и даже не воображала, что ей придется еще выдержать дома какія-нибудь сцены изъ-за желанія открыть школу. Однако, буря разразилась на другой же день утромъ, когда всѣ сидѣли за чаемъ. Первою возстала мать, услышавъ о школѣ.

— Совсѣмъ по-міру насъ хочешь пустить, что ли! — заговорила она.—Коли есть еще ложка да плошка, такъ и тѣхъ не будетъ, когда въ долги залѣземъ. Ужъ это тебя не Николай ли Ивановичъ подбиваетъ. Уроковъ мало, такъ новые изобрѣсти хочетъ. Ужъ, вѣрно, онъ надоумилъ это. Недаромъ у меня никогда не лежало сердце къ этому грабителю.

— Мама, что вы говорите! — воскликнула Варвара, не выдержавъ.—Онъ—грабитель!

— Да какъ же не грабитель?—загорячилась мать.—Бралъ, бралъ деньги за ученье Женьки, а что тотъ знаетъ? никакого диплома не получилъ.

— Да развѣ Николай Ивановичъ виноватъ, что Евгеній не хотѣлъ учиться!—возмутилась Варвара.—Николай Ивановичъ двадцать разъ отказывался отъ этихъ уроковъ, и вы же говорили прежде, что Евгенію спѣшить некуда...

Въ разговоръ вмѣшалась неряшливо одѣтая въ юбку и кофту Евгенія, которую съ каждымъ днемъ одолѣвала все бо́льшая и бо́льшая лѣнь, когда дѣло шло о штопаньѣ какой-нибудь дыры на чулкѣ или подшивкѣ обившагося подола. Она уже съ недѣлю дулась на Варвару за то, что та гдѣ-то пропадала два-три вечера и потому некому было даже разливать чай.

— А куда же мы дѣнемся? Или вы наймете отдѣльную квартиру для своей школы?—спросила она, «изъ колкости» говоря Варварѣ «вы», то-есть сердясь на нее.—Я впередъ говорю, что я не намѣрена вставать для вашихъ мальчишекъ или дѣвчонокъ въ шесть часовъ утра и слушать ежедневно ихъ пискъ и визгъ.

— Это ужъ будетъ вполнѣ зависѣть отъ мамы, вмѣстѣ ли мы переѣдемъ, или мнѣ придется переѣхать одной,—сказала Варвара.

— Да кто же тебѣ позволитъ отдѣльно-то отъ матери жить?—воскликнула Вѣра Васильевна.—Сперва выйди замужъ,

а потомъ ужъ и живи отдѣльно. Кто же тутъ безъ тебя прибирать и смотрѣть за всѣмъ будетъ? Данила, что ли? У меня и безъ хозяйственныхъ хлопотъ забота полонъ ротъ.

- - Ну, значитъ, переѣдемъ вмѣстѣ,—сдержанно сказала Варвара.—Я уже присмотрѣла подходящее для школы помѣщеніе...

— Значитъ, мнѣ бѣжать изъ родного дома надо, у чужихъ людей спокойствія искать! — жалобно заговорила Евгенія.—Хорошо будетъ житье, когда своего угла спокойнаго не будетъ. Принять никого нельзя будетъ, когда это столпотвореніе вавилонское въ квартирѣ будетъ.

- - Кого намъ принимать-то?— спросила Варвара, пожимая плечами.

— Ахъ, Боже мой, вы думаете, что, кромѣ вашего Николая Ивановича, такъ-таки никто къ намъ и не заглянетъ? Я на-дняхъ Василія Артемьевича видѣла и, конечно, если бы у насъ не въ подвалѣ жилище было—онъ сейчасъ же навѣстилъ бы насъ по первому приглашенію...

Варвара невольно усмѣхнулась.

- - Ну, вотъ, значитъ, и къ лучшему. Когда мы переѣдемъ, можешь пригласить его!

— Это чтобы онъ въ школу-то нищенскую сталъ ходить, гдѣ будутъ десятки головорѣзовъ орать, а у насъ угла не будетъ, куда уединиться? — воскликнула Евгенія. — Ни за что!

— Дѣлай, какъ знаешь, меня твои соображенія не интересуютъ,- -холодно отвѣтила Варвара.—Вѣчно сидѣть, сложа руки, въ нашемъ положеніи нельзя... такъ съ голоду умереть можно...

Казалось, вопросъ былъ исчерпанъ, какъ вдругъ раздался строгій вопросъ Вѣры Васильевны:

— Да ты прежде всего скажи мнѣ, гдѣ ты деньги-то взяла, чтобы школу открывать? А... говоришь: школу открываю, квартиру присмотрѣла, а объ главномъ—объ деньгахъ—ни слова.

— Мнѣ даютъ на это дѣло деньги?—коротко отвѣтила Варвара, не желая распространяться болѣе.

— Кто даетъ?

- - Не все ли равно вамъ?

- - Нѣтъ, матушка, не все равно, далеко не все равно! Я мать, я должна знать все. Или ты думаешь, что матери-то все равно, если дочь опозоритъ ея сѣдую голову?

Варвара сдѣлала рѣзкое движеніе.

— Ужъ болѣе опозорить себя трудно, чѣмъ мы опозорены,—глухо проговорила она и вышла изъ комнаты.

— Ай да дочь, ай да дочь!—воскликнула ей вслѣдъ Вѣра Васильевна.—Спасибо, матушка, спасибо... и за себя, и за папочку благодарю!.. Мы для нихъ все сдѣлали, всѣмъ жертвовали, а она—вотъ чѣмъ отплачиваетъ!

Таскаясь ежедневно въ передникъ разныхъ канцелярій и милостивцевъ, среди профессіональныхъ просительницъ и черносалопницъ, она падала все ниже и ниже, теряя всякіе слѣды порядочнаго воспитанія и пріобрѣтая вульгарныя привычки, вульгарныя манеры. Она ежедневно находила причины для жалобъ всякимъ старушонкамъ на «нынѣшнихъ» дѣтей, на старшаго сына, который, какъ только ихъ погубили люди, какъ въ воду канулъ, пропалъ, Богъ вѣсть куда; на старшую дочь, которая все «въ свой носъ дуетъ»; на младшую дочь, которая только привередничать умѣетъ да отъ дому отбилась, все по гостямъ шляется; на младшаго сына, который выросъ мужикъ-мужикомъ. Вотъ вѣдь наказаніе-то Божіе! И за что? Ужъ она ли съ мужемъ не жертвовали всѣмъ для дѣтей; жили, какъ у Христа за пазухой, ни въ чемъ не нуждаясь: и няньки, и гувернантки, и учителя, все у нихъ было, птичьяго молока развѣ недоставало... Затѣмъ, исчерпавъ вопросъ о дѣтяхъ, она быстро переходила къ жалобамъ на свою мать.

— Вѣдь бываютъ же такія изувѣрки!—восклицала она про Марью Никоновну, и затѣмъ лились уже потоки страшныхъ жалобъ на эту изувѣрку, лишающую ее, свою единственную дочь всякой помощи...

XIV.

Открытое на Вознесенскомъ проспектѣ, близъ Большой Садовой улицы,—то-есть въ довольно густо населенной бѣдняками мѣстности,—приготовительное училище Варвары почти сразу наполнилось учениками, такъ какъ плата за ученье была ниже той, которая въ то время взималась въ другихъ мелкихъ школахъ, и дѣло обученія сразу было поставлено лучше, чѣмъ въ этихъ школахъ. Эти школы со стереотипными вывѣсками—«Школа, Ecole, Schule»—помѣщались въ нищенскихъ квартирёнкахъ съ запахомъ кухни, съ угарными печами; брали въ нихъ обыкновенно съ учениковъ по три рубля въ мѣсяцъ и обучали крайне плохо; не имѣя никакихъ лишнихъ средствъ, ихъ содержательницы не могли сдѣлать даже приличной обстановки для училища:

тутъ не было ни удобныхъ школьныхъ столовъ, ни скамеекъ; объ географическихъ атласахъ, картахъ и глобусахъ, о какихъ-нибудь картинахъ по исторіи и картинахъ по естествознанію нечего было и думать, такъ какъ по самымъ этимъ предметамъ не давалось никакихъ даже элементарныхъ свѣдѣній; учила только сама содержательница той или другой школы, зарабатывая при этомъ недостающія на прожитіе деньги и швейной работой, и вышивками, и волейневолей во время уроковъ то и дѣло заботясь о стряпнѣ въ кухнѣ, такъ что ученики и ученицы по цѣлымъ часамъ оставались одни, якобы занятые списываньемъ съ книгъ или прописей, или рѣшеніемъ задачъ; почти единственными помощниками содержательницъ школъ являлись батюшка и танцмейстеръ—первый часто только на бумагѣ изъ благодушнаго состраданія къ «мадамъ», а второй, получая грошевую плату за уроки, являлся довольно аккуратно, если былъ несовсѣмъ ужъ горькій пьяница; сами «мадамы» были положительно отребьемъ человѣчества, неудачницами-гувернантками, старыми дѣвами, съ романами въ прошломъ или даже въ настоящемъ, обремененными семьей, то-есть древними матерями, младшими сестрами, пропойцами-братьями и такими же любовниками-дармоѣдами; нѣкоторыя изъ нихъ успѣли уже «прогорѣть» на содержаніи меблированныхъ комнатъ, другія подъ конецъ жизни, уже разорившись на содержаніе школы, пошли въ теперши въ веселые дома. Держались эти школы «мадамами» не ради призванія, не ради надежды на доходъ, а лишь бы не умереть съ голоду. Но что и за участь ждала ихъ. Ихъ обманывали родители, не доплачивая за ученье дѣтей; ихъ третировали, какъ нищихъ, какъ служанокъ, иногда гораздо даже хуже, при первомъ столкновеніи, и ломаться надъ ними считалъ своимъ долгомъ каждый лавочникъ. Чего можно было насмотрѣться и наслушаться въ этихъ школахъ,—это трудно представить. Присмотръ за этими вертепами былъ тогда, въ сущности, только на бумагѣ, и теперь человѣку, незнакомому съ этимъ вопросомъ практически и всесторонне, плохо вѣрится въ то, что дѣлалось въ нихъ въ тѣ времена.

Школа Варвары сразу стала въ иное положеніе: люди, приводившіе въ нее дѣтей, видѣли, что тутъ есть и обстановка порядочная, и учителя-мужчины, и барышни-помощницы и, можетъ-быть, болѣе всего вліялъ тотъ тонъ, которымъ разговаривалъ Нащокинъ съ людьми, приходившими по воскресеньямъ отдавать своихъ дѣтей въ школу.—

Въ другіе дни, кромѣ воскресеній, о пріемѣ новыхъ учениковъ переговоровъ не велось.

— Здѣсь не толкучій рынокъ и потому здѣсь не торгуются,—сухо замѣчалъ Николай Ивановичъ при первой попыткѣ родителей выторговать хоть грошъ изъ назначенной за ученье платы.

— Да вѣдь деньги-то мои, такъ вотъ я и хочу торговаться,—отвѣчалъ какой-нибудь мелкій бородачъ-купецъ изъ Апраксинскаго рынка.

— А я повторяю, что здѣсь не торгуются и времени у насъ для праздныхъ разговоровъ нѣтъ. Дорога цѣна за ученье вамъ кажется—идите въ другую школу. Вѣдь мы васъ не зазывали къ себѣ, а вы сами пришли.

Нѣсколько разъ Николай Ивановичъ слышалъ сопровождаемыя вздохомъ восклицанія:

— А ужъ и упрямъ же ты, ваше благородіе!

Его благородіе былъ серьезенъ и строгъ. Онъ являлся всегда утромъ въ воскресные дни, когда велись переговоры съ родителями о пріемѣ учениковъ въ школу, въ форменной одеждѣ, «съ ясными пуговицами», какъ выражался онъ. Эти «ясныя пуговицы» производили свой эффектъ: простоватые люди чувствовали, что тутъ есть что-то офиціальное, и не мало робѣли.

— Этотъ народъ тоже себѣ на умѣ,—шутилъ про своихъ посѣтителей Николай Ивановичъ.—Ему пальца въ ротъ не клади—откуситъ, а держи его въ респектѣ, чтобы всегда о смертномъ часѣ помнилъ и на шею тебѣ не садился... Посмотрите на этихъ же людей передъ директорами казенныхъ гимназій: шелковые тамъ, въ поясъ кланяются! Ужъ такой это народъ: либо самъ на тебя верхомъ сядетъ, либо тебя возить станетъ, а о простыхъ человѣческихъ отношеніяхъ и понятія не имѣетъ...

Большинство и чувствовало особенное уваженіе и къ вицмундиру съ ясными пуговицами, и даже къ очкамъ Нащокина.

Приходилось объясняться, хотя и рѣдко, и въ другомъ родѣ съ родителями дѣтей изъ привилегированныхъ классовъ общества. Такъ, баронъ Нольде, очень милый флотскій капитанъ, отдавая въ школу Варвары своего сына, ужасно стѣснялся тѣмъ обстоятельствомъ, что рядомъ съ его мальчикомъ будетъ сидѣть какой-нибудь сынъ лабазника.

— Можетъ-быть, даже старшаго дворника, капитанъ,— невозмутимо пояснилъ Нащокинъ.—Спѣшу васъ предупредить заранѣе объ этомъ...

— Да, да... Вотъ это-то, знаете, меня и смущаетъ,—добродушно согласился морякъ. — Вы бы хоть особые стулья какіе-нибудь для привилегированныхъ приставляли...

— У насъ классная мебель вся одного типа, капитанъ,— серьезно проговорилъ Николай Ивановичъ.—Выбрали такой, какой нашли болѣе удобнымъ для дѣтей извѣстнаго возраста... Условія гигіены и педагогики... объ этомъ теперь говорятъ...

— Да, да... Это такъ, но, знаете, для привилегированныхъ... — засмѣялся морякъ.

— Мы принимаемъ въ расчетъ только возрастъ,— послышался серьезный отвѣтъ.

— Конечно, конечно...—теперь объединеніе сословій, но мальчикъ-то у меня такой молодецъ.

— Ну, вотъ и отлично; онъ, по крайней мѣрѣ, будетъ всѣмъ примѣромъ служить... привилегированнымъ будетъ...

Баронъ помялся-помялся и рѣшилъ все-таки отдать своего сына въ эту школу, гдѣ всѣ сидѣли вмѣстѣ.

Больше возни, чѣмъ съ родителями учениковъ, было съ помощниками. Учителя, изъ недавно окончившихъ курсъ студентовъ, оказались серьезными помощниками Николая Ивановича и Варвары, такъ какъ всѣ они еще во времена своего студенчества уже привыкли учить. Но ученье— ученью рознь: они учили не въ школахъ, а давали частные уроки на дому, по большей части въ болѣе или менѣе интеллигентныхъ семьяхъ. Здѣсь же въ школѣ у каждаго учителя была подъ рукою цѣлая группа самыхъ разношерстныхъ дѣтей и нужна была привычка, чтобы справиться съ ними. Юныхъ учителей приходилось часто сдерживать относительно излишней раздражительности и невыдержки, то-есть полнаго неумѣнья обращаться разомъ съ цѣлой толпой малолѣтнихъ учениковъ, по большей части изъ простонародья; приходилось придерживать и отъ высказыванья нѣкоторыхъ взглядовъ во время субботнихъ чтеній по русской исторіи и естествознанію, входившихъ по программѣ въ число учебныхъ занятій по субботамъ. Не то было съ барышнями-помощницами изъ институтокъ: онѣ сразу внесли извѣстныя пристрастныя отношенія къ однимъ дѣтямъ, въ ущербъ другимъ, раздѣливъ мысленно и, можетъ-быть, помимо своей воли, дѣтей на «душекъ» и «противныхъ»; кромѣ того, онѣ чаще всего оправдывали справедливость опасеній Нащокина насчетъ манкировки и то страдали мигренями, дѣлавшими невозможнымъ посѣщеніе классовъ, то бранили ужасную

погоду, мѣшавшую имъ являться въ назначенные часы въ школу, то ихъ задерживали неожиданно явившіеся гости,— женщинъ-служакъ тогда еще почти не было, развлекавшихся же отъ скуки работой былъ уже непочатой уголъ; институты не могли пріучить барышень къ работѣ внѣ дома, не взирая ни на погоду, ни на состояніе здоровья, ни на назойливыхъ праздношатающихся гостей, не умѣющихъ понять, что у людей дѣла, въ извѣстные часы, можетъ быть «служба».

Не могъ Николай Ивановичъ пожаловаться только на Варвару: она, дѣйствительно, работала такъ, какъ могъ работать человѣкъ, сознающій, что онъ останется безъ куска хлѣба и умретъ съ голоду, если его дѣло лопнетъ. Тутъ былъ скорѣе пересолъ въ энергіи, чѣмъ недосолъ.

— Для нихъ вѣдь это игра въ занятія, а не вопросъ о жизни и смерти, какъ для меня, — замѣтила она какъ-то Нащокину, разсердившемуся на двухъ институтокъ-помощницъ, манкировавшихъ въ теченіе цѣлой недѣли изъ-за какого-то флюса.

— Э! что вы мнѣ говорите? — рѣзко отвѣтилъ онъ, еще не остывшій отъ раздраженія на плохихъ работницъ. — И для васъ не только свѣту въ окошкѣ, что школа... Лопнетъ она, явится другое дѣло.

Она отрицательно покачала головой.

— Вы ошибаетесь,—сказала она.—Это пробный камень для меня: ужъ если на этомъ дѣлѣ я окажусь неспособной, обману довѣріе ко мнѣ, то, значитъ, ни на что не гожусь.

— Вотъ какъ! — какъ-то неопредѣленно замѣтилъ онъ, взглянувъ на нее пристально черезъ очки.

— Сюда же я душу свою положила,—закончила она.

Ей хотѣлось сказать много — хотѣлось сказать, что она душу положила на это дѣло, потому-что оно — любимое его дѣло, потому-что это дѣло такъ тѣсно связало ихъ. Но она не сказала ничего. Не смѣла даже намекнуть на свои чувства къ нему. И для чего нужны были какія-нибудь признанія, когда оба были довольны своею судьбою, тою близостью, которая возникла между ними? Цѣлые часы въ свободное время проводили они вмѣстѣ, и передъ Варварой точно новый міръ открылся. Пришлось ей поразмыслить о цѣломъ рядѣ общественныхъ вопросовъ, о взаимныхъ людскихъ отношеніяхъ, о больныхъ мѣстахъ нашей тогдашней жизни. Вокругъ нея шла ломка стараго и созданіе чего-то новаго, и все это наводило на новыя мысли, какъ навело

ее на мысль о положеніи крѣпостныхъ время ея пребыванія у бабки, какъ навело ее на мысль о семейномъ строѣ несчастіе, постигнувшее ея семью. По поводу всего этого много переговорено было ею съ Николаемъ Ивановичемъ, и эти бесѣды породили между ними такую духовную связь, какая рѣдко бываетъ даже между самыми близкими родными. Ей казалось, что болѣе ничего и не нужно, болѣе ничего и не можетъ быть.

XV.

Какъ-то разъ Николай Ивановичъ завернулъ въ субботу вечеромъ по дѣламъ школы къ Варварѣ. Ни Вѣры Васильевны, ни Евгеніи не было дома, и Варвара сидѣла вдвоемъ съ Данилой за чаемъ.

— Ну, вотъ и хорошо, что чай засталъ, хоть горло промочу у васъ и отдохну съ полчаса, — проговорилъ Нащокинъ, дружески здороваясь съ Варварой и Данилой, который, несмотря на разницу ихъ лѣтъ, развитіе и положеніе, сошелся съ нимъ просто и безцеремонно, совершенно на пріятельскую ногу и даже покровительственно одобрялъ его: «сейчасъ видно, что не прохвостъ».

— Совсѣмъ, какъ почтовую лошадь, загоняли,—замѣтилъ Николай Ивановичъ, усаживаясь къ чайному столу.—Только кончилъ уроки, на засѣданіе пришлось ѣхать. Едва перекусить сегодня удалось...

— Да, вы черезъ силу, кажется, работаете, — замѣтила Варвара.

— Да теперь, почитай, всѣ такъ работаютъ. Дѣла много, а привычныхъ къ работѣ мало... вотъ и работаетъ каждый за двоихъ.

— Ну, а вы, кажется, за троихъ работаете...

— Денегъ, денегъ надо, такая ужъ утроба у меня ненасытная,—по обыкновенію пошутилъ онъ.

Она взглянула на него серьезнымъ взглядомъ и спросила:

— Зачѣмъ вы всегда клевещете на себя?

— Да въ самомъ дѣлѣ, мнѣ прорва денегъ нужна!—подтвердилъ онъ.

— Вамъ? — спросила она съ особеннымъ удареніемъ и прибавила:—Зачѣмъ шутить такими вещами?

Въ ея голосѣ слышался дружескій укоръ.

— Ну, если не мнѣ лично,—началъ онъ:—то... какъ вамъ это попонятнѣе объяснить, Варвара Пантелеймоновна?.. Ну,

положимъ, что я всю жизнь дорого плачусь за то, что она дала мнѣ урокъ... дорогой она учитель...

Онъ оборвалъ самъ себя и съ досадой закончилъ:

— И чего тутъ прибѣгать къ иносказаніямъ! Не умѣю я обиняками говорить! Да къ тому же мы настолько дружески связаны вмѣстѣ, что передъ вами нечего скрываться. Плачусь я за опрометчивый свой бракъ, за то, что связалъ свою судьбу или, вѣрнѣе сказать, связалъ съ собою судьбу другого человѣка, совсѣмъ не понимающаго ни моего положенія, ни моихъ интересовъ; надѣлъ на этого человѣка тяжелые кандалы и таскаю его за собою, какъ каторжника, не умѣя даже рѣшить, кому изъ насъ тяжелѣе, — мнѣ ли, пріученному съ дѣтства ко всякимъ горестямъ и невзгодамъ, или этому человѣку, испытавшему только сладость баловства и привередничанья?

Въ разговоръ, къ величайшей досадѣ Варвары, развязно вмѣшался Данила.

— А вы, должно-быть, здорово натерпѣлись въ юности?— спросилъ онъ.

— Да, пріятель,—ласково отвѣтилъ Нащокинъ, называвшій всегда этимъ прозвищемъ Данилу. — Какъ и ты, я и дрова таскалъ, и помои выносилъ въ твои годы.

— Ну, теперь-то я этого не дѣлаю. Это только тамъ, въ подвалѣ, приходилось... и то не долго... А вотъ мать все еще плюхами кормитъ... Правды ей не говори! — сказалъ Данила.—Чуть сказалъ—сейчасъ въ морду... А развѣ я виноватъ, что лгать не умѣю?..

— Ну, моя мать и отецъ меня не били,—пояснилъ Николай Ивановичъ.—Чуть не молились на меня старики... И это-то хуже всякихъ брани и попрековъ заставляло работать... Изъ кожи лѣзъ...

И, угадывая, что Данила несовсѣмъ понимаетъ его, спросилъ:

— Ты вотъ, пріятель, поди, въ огонь и въ воду полѣзъ бы за Варвару Пантелеймоновну?

— Еще бы!—отвѣтилъ Данила съ гордостью.

— Ну, вотъ такъ и я за отца и мать готовъ былъ въ петлю лѣзть! И ужъ какъ же я былъ радъ каждый разъ, когда удавалось тѣмъ или другимъ способомъ дать имъ возможность отдохнуть...

— Померли, вѣрно, теперь?—спросилъ Данила.

— То-то и бѣда, что померли,—отвѣтилъ Нащокинъ.

Варвара спросила:

— Послѣ ихъ смерти и женились?

— Ну, да! Одиноко, пусто, холодно показалось житье—и женился. Трудно передать, что приходится испытывать человѣку, привыкшему жить съ семьей, жить душа въ душу, когда онъ вдругъ останется одинъ. Я спѣшилъ съ уроковъ домой, потому что хотѣлось скорѣй подѣлиться съ матерью впечатлѣніями дня, разсказать, какіе успѣхи дѣлаютъ мои ученики и ученицы, услышать отъ отца какія-нибудь новости по части того, что новаго затѣваетъ министерство народнаго просвѣщенія... Я вѣдь жилъ только этими интересами, и ими же жили они... хорошіе старики были... У насъ, знаете, песъ старый въ домѣ долго жилъ, такъ вотъ онъ, когда мои отецъ и мать на одной и той же недѣлѣ умерли, заболѣлъ нарывомъ на печени и издохъ... Я не издохъ, не запилъ даже, а взялъ да и женился...

Онъ перевелъ духъ, потомъ продолжалъ:

— Взялъ миленькое личико, веселенькій характеръ, ребенка по развитію, — пояснилъ Нащокинъ. — И вотъ уже восемь лѣтъ ребенокъ такъ и остается ребенкомъ, веселенькій характеръ превращается въ легкомысленное капризничанье, миленькое личико все болѣе и болѣе желаетъ нравиться всѣмъ и каждому.

Данила, на правахъ пріятеля, перебилъ разсказъ глубокомысленнымъ замѣчаніемъ:

— Я, Николай Ивановичъ, никогда не женюсь!

— И отлично сдѣлаешь,—разсѣянно замѣтилъ Нащокинъ.

— Во-первыхъ, всѣ барышни—это дрянь порядочная,— рѣшилъ Данила.

— Ого! — усмѣхнулся Нащокинъ. — Рѣшительный приговоръ!

— А, во-вторыхъ, по нашему столярному дѣлу тоже не очень разбогатѣешь, если не станешь мошенничать, а имъ хоть умри—давай тряпки да шляпки...

Данила, рѣшительно не желавшій продолжать свое ученье, былъ пристроенъ Нащокинымъ въ качествѣ ученика въ одну изъ мастерскихъ, гдѣ молодые люди начали на артельныхъ началахъ заниматься производствомъ школьной мебели, фребелевскихъ игръ и тому подобнаго. Изъ-за этого поступленія Данилы въ ученики мастерской происходило не мало сраженій между Варварой и Вѣрой Васильевной. Долженъ былъ воевать и Николай Ивановичъ. Эта словесная война, въ сущности, была похожа на сказку о бѣломъ бычкѣ. Начиналось съ того, что доказывалась неспособность Данилы

изучать какія-нибудь науки. Вѣра Васильевна соглашалась, что онъ, извѣстно, дуракъ. Тогда ей начинали толковать, что надо научить его хотя ремесленному труду. На это Вѣра Васильевна начинала кричать, что ея сына «мужикомъ хотятъ сдѣлать». Приходилось опять доказывать, что онъ все равно ни латыни, ни греческаго языка, ни высшей математики не изучитъ. Слѣдовало опять полное сознаніе насчетъ его тупости, а затѣмъ шелъ вопросъ о ремесленномъ образованіи и упреки за то, что Данилу мужикомъ хотятъ сдѣлать. «До седьмого пота измучила», говорилъ про Вѣру Васильевну въ этихъ случаяхъ Николай Ивановичъ и ругалъ барыню «Коробочкой». Но, какъ бы то ни было, побѣда осталась не за Коробочкой, а за покровителями Данилы, и онъ «записался въ мужики», какъ выразилась Вѣра Васильевна... Мастерство пришлось по вкусу мальчугану, и онъ очень гордился тѣмъ, что «у насъ, — какъ онъ говорилъ про артельную мастерскую,—дѣла идутъ здорово. Видятъ люди, что не жульё дѣло дѣлаетъ. Наклейку за чистый орѣхъ не продастъ».

— Да ужъ, пріятель, шляпки да тряпки — послѣднее дѣло. На эту помойную яму не напасешься хламу, какъ на кабакъ для нашего брата,—согласился Николай Ивановичъ съ Данилой, осуждавшимъ барышень.—Это то же женское пьянство, какъ кабакъ у мужчинъ.

— Да мужчина хоть работаетъ, — замѣтилъ авторитетно Данила.

— Ну, и женщины иногда... Вонъ Варвара Пантелеймоновна работаетъ же?..

— Такъ сестра потому работаетъ, что вы научили...

— Ну, сморозилъ тоже!

Варвара серьезнымъ тономъ вступилась за Данилу:

— Нѣтъ, онъ это правду сказалъ. Вы и въ школѣ первый научили меня любить науку и трудъ, а потомъ, послѣ несчастія въ нашей семьѣ, вы же первый пробудили во мнѣ снова энергію къ труду, вывели изъ позорной спячки, охватившей меня тогда... Этого я никогда, никогда не забуду...

Нащокинъ нахмурился, спѣша перебить ее.

— Одного я не сумѣлъ сдѣлать, — пробормоталъ онъ. — Склонности къ чувствительностямъ не могъ истребить въ васъ... Чуть что—и расчувствуетесь... Ну, пріучилъ васъ къ труду, пробудилъ энергію, пріучилъ гнуть горбъ, сохнуть надъ работой, экое диво! Вѣдь вонъ не изливается же въ чувстви-

тельностяхъ Данила за то, что онъ по своей милости научится мозоли наживать столярною работою.

— А что вы думаете, я ужъ и натеръ ихъ!—похвалился Данила и показалъ свои руки.—Вонъ ладони-то какія!

— И отлично! Еще поработаешь — еще больше будетъ мозолей! — пошутилъ Нащокинъ и сталъ торопливо собираться домой.

Когда онъ ушелъ, Варвара долго не могла успокоиться... «Такъ вотъ въ чемъ несчастіе его жизни,—думалось ей,—вотъ почему ему надо столько денегъ. Господи, чего бы я не сдѣлала, чтобы облегчить ему жизнь! Но что же я могу? Я не смѣю высказать ему даже участія. Онъ такъ не любитъ этого! Да почему же? Почему онъ сердится при малѣйшемъ выраженіи моей признательности къ нему? Вѣдь мы же друзья? Вѣдь радъ былъ бы онъ, если бы были живы его отецъ и мать, и если бы въ ихъ сердцахъ нашелъ онъ сочувствіе къ своимъ печалямъ, участіе въ постигнувшей его злой долѣ? И что за дурная должна быть эта женщина, его жена, не умѣющая цѣнить и беречь такого мужа!..»

XVI.

Евгенія Пантелеймоновна принадлежала къ той породѣ барышень, которыя будутъ дуться, ныть и жаловаться цѣлые дни, цѣлыя недѣли, на то, что у нихъ «проклятый» рукавъ отпоролся или «несносный» корсетъ изломался, но все же пальцемъ о палецъ не стукнутъ, чтобы вшить этотъ «проклятый» рукавъ или починить этотъ «несносный» корсетъ. Онѣ будутъ съ плаксивымъ раздраженіемъ швырять грязное бѣлье и платки, хныкать о томъ, что «у другихъ» половики чище, но не сдѣлаютъ шага къ корыту, чтобы выстирать это грязное бѣлье. Онѣ рождены для того, чтобы кто-нибудь ихъ кормилъ и поилъ, одѣвалъ и обувалъ; эти обязанности выпадаютъ обыкновенно на долю ихъ родителей, старшихъ родственниковъ и потомъ мужей. Безъ понльцевъ и кормильцевъ, онѣ погибаютъ въ лохмотьяхъ, въ грязи и съ голоду. Какъ бы то ни было, отъ нихъ менѣе всего можно ждать благодарности, такъ какъ ихъ тяготятъ какія бы то ни было «обязанности». Отличаясь тѣмъ физическимъ, чисто животнымъ здоровьемъ, которымъ такъ часто цвѣтутъ выросшія на булкахъ и пирогахъ дочери разныхъ лабазниковъ, Евгенія Пантелеймоновна, вылитая въ отца въ этомъ отношеніи, была флегматична и лѣнива. Спать до полудня, грѣться безцѣльно на солнцѣ, читать вялo романъ, ходить

изъ угла въ уголъ, жалуясь на скуку,—въ этомъ проходили ея дни, на которые она жаловалась за то, что имъ конца нѣтъ. «Опара хорошая»,—говорилъ про нее когда-то Евгеній, и выраженіе было довольно вѣрное. Это была медленно и широко поднимавшаяся въ теплѣ рыхлая опара, но стоило дать ей толчокъ, поставить ее въ холодъ—и она могла опасть.

Измѣненіе въ положеніи семьи повліяло на молодую дѣвушку удручающимъ образомъ: дома все опротивѣло,—и нищенская обстановка, и недостаточное питаніе, и все усиливавшаяся сварливость матери. Но Евгенія ровно ничего не сдѣлала для того, чтобы все это улучшилось: она, правда, не говорила такъ цинично-откровенно, какъ сбѣжавшій куда-то изъ родного дома братъ Евгеній: «корабль тонетъ—спасайся, кто можетъ», но тѣмъ не менѣе она, чтобы не видѣть, что дѣлается дома, пропадала по цѣлымъ днямъ у болѣе счастливыхъ подругъ, гдѣ были уютнѣе комнаты, гдѣ была слаще ѣда и не было слышно брюзжанья матери, раздраженной бѣдностью. Въ этихъ домахъ на дѣвушку, быть-можетъ, косились, но она не замѣчала этого, пока ей прямо не говорили, что она въ тягость. Съ нѣкоторыхъ поръ Варвара стала даже замѣчать, что Евгенія возвращается домой то въ новой кружевной пелеринкѣ, то въ новомъ платьѣ изъ тарлатана, муслинъ-де-лэня или барежа. Какъ-то разъ, она спросила:

— Откуда это платье у тебя, Женя?

— Маруся Фокина подарила!—отвѣтила небрежно Евгенія.

— Съ чего это?

— Господи, съ чего! потому что мое люстриновое по швамъ стало разлѣзаться, ну, она и подарила это: все же оно новѣе!

Варвара только вздохнула.

— Я бы ужъ лучше въ заплатахъ ходила!—сказала она.—За эти обноски дорого платить приходится... Сегодня подарятъ, завтра подарятъ, а тамъ и станутъ смотрѣть, какъ на салопницу и приживалку...

— Это вы не нравоученія ли хотите мнѣ читать? Мало одной maman, которая поѣдомъ ѣстъ!—обидчиво сказала Евгенія и надулась.

Но особенно сильно была она возбуждена, когда Варвара рѣшила открыть школу. Нечего было и думать уговорить ее принять хоть какое-нибудь участіе въ дѣлѣ, хотя бы обучать первоначально азбукѣ малыхъ ребятишекъ. Отвѣтъ

былъ одинъ: «Ваша школа у меня вотъ гдѣ сидитъ» и при этомъ проводилось рукой по горлу. На школу слышались жалобы за все: мальчики рано собираются и не даютъ спать; кричатъ такъ, что голову разломило. Иногда происходили непріятныя сцены. Въ стоптанныхъ туфляхъ, въ неряшливо надѣтой юбкѣ, въ плохо застегнутой кофтѣ, Евгенія Пантелеймоновна врывалась въ школьныя комнаты, чтобы прикрикнуть на расшалившихся во время рекреаціи шалуновъ. Варвара останавливала ее. Какъ ей не стыдно неряхой такой ходить? Вѣдь это отвратительно. Наконецъ, мальчики вовсе не такъ малы, чтобы ихъ не стѣсняться! И какой это примѣръ для нихъ? Дѣвушка, не имѣющая средствъ, только и можетъ быть привлекательна своею опрятностью.

Евгенія раздражалась:

— Прописи-то я и безъ васъ знаю. Очень мнѣ нужно для вашей дряни одѣваться! Это вы только съ ними обнимаетесь. Для меня они—дрянь и больше ничего... Для какихъ-то оборванцевъ, подумайте, лучшія двѣ комнаты отвели.

— Да ты же пойми, что мы только тѣмъ и живемъ, что̀ приноситъ школа—эти самые оборванцы, какъ ты ихъ называешь!—пояснила Варвара.—Если бы въ кухнѣ пришлось всѣмъ намъ жить, то и за то спасибо!

— Ну, нѣтъ-съ, покорно благодарю за это!—проговорила, стараясь быть колкою, Евгенія.—Вотъ Василій Артемьевичъ прошлый разъ зашелъ въ кои-то вѣки и то удивился, какъ у меня тѣсно... «Неужели,—говоритъ,—у васъ своего будуара нѣтъ»...

— Ты бы ему и сказала, что у тебя нѣтъ средствъ жить просторнѣе...

— Такъ бы онъ и повѣрилъ, когда у васъ тамъ кагалъ былъ: вамъ вѣдь просторно, когда вы въ классахъ вечера свои да сходки устраиваете.

— Какія сходки?—спросила Варвара хмуро.

— Извѣстно, какія! Студенты теперь ничего не дѣлаютъ, а только сходки устраиваютъ. Горло драть привыкли. Василій Артемьевичъ сейчасъ догадался. «У васъ,—говоритъ,—что̀ же это за бурная сходка? Государственные вопросы рѣшаютъ въ школѣ?..»

— Глупъ твой Василій Артемьевичъ!—оборвала ее строптиво Варвара.—И удивляюсь я тобѣ, какъ ты принимаешь этого человѣка. Пока жили мы въ подвалѣ—нога его не

была у насъ; переѣхали мы въ квартиру съ парадным ходомъ—сталъ онъ чуть не каждый день бывать... ради квартиры, вѣрно, ходитъ...

Евгенія перебила ее:

— А вамъ завидно?

— Что за пошлости ты говоришь!—сказала Варвара.

— Я же не такая ученая, какъ вы; гдѣ же мнѣ умныя рѣчи говорить... Я только знаю, что ко мнѣ съ чистыми и благородными намѣреніями ходитъ человѣкъ, а не какъ къ другимъ какой-нибудь соблазнитель...

— Соблазнитель?— переспросила, хмурясь, Варвара.— Какой соблазнитель и къ кому?

— Ну да, ты думаешь, я не понимаю, что недаромъ Николай Ивановичъ, несмотря что женатъ, содержитъ тебя.

Варвара вспылила:

— Какая ты гадкая, гадкая дѣвчонка!—воскликнула она.

— Какъ ты смѣешь ругаться? какъ смѣешь?—закричала Евгенія, раскраснѣвшись до корней своихъ бѣлокурыхъ волосъ.—Я вотъ еще maman пожалуюсь, тогда тебѣ достанется... Василій Артемьевичъ мнѣ говорилъ, что нынѣшняя молодежь гражданскій бракъ выдумала—сойдутся между собою и хвастаютъ: «мы въ гражданскомъ бракѣ живемъ»... Этакъ-то хоть по семи женъ и мужей заводи, все можно... Вѣрно, и вы этого желаете... Maman такой гражданскій бракъ вашему Николаю Ивановичу покажетъ, что...

— Замолчи, если не хочешь, чтобы я тебя выгнала!— крикнула Варвара.

— Очень я васъ боюсь!

— Что-жъ, ты умереть съ голоду на улицѣ хочешь, что ли? Вѣдь, если я не стану содержать тебя своимъ трудомъ, у тебя угла не будетъ,—сказала Варвара и стиснула зубы, досадуя на себя за эту скверную выходку.

Однако, Евгенія не унялась.

— А ты думаешь, что maman позволитъ вамъ кого-нибудь изъ ея дѣтей вышвырнуть изъ ея дома? Вотъ вашего Николая Ивановича она вытолкастъ, какъ только ей глаза откроютъ на дѣло.

— Ты сама не знаешь, что говоришь!—коротко сказала Варвара, уже недоумѣвая, чего больше въ сестрѣ—злобы или глупости.

По ея губамъ даже скользнула улыбка, такъ какъ въ головѣ мелькнула смѣшная, напоминавшая вопросъ о томъ, что было прежде: яйцо или курица, ходячая фраза того

времени: «оттого ли мы бѣдны, что глупы, или оттого мы глупы, что бѣдны»?..

Разговоръ кончился, но душевное спокойствіе Варвары было нарушено.

Варвара смутно чувствовала какую-то еще невѣдомую грозу, уже собиравшуюся надъ ея головою. «Сходки?» Дѣйствительно, не слишкомъ ли часто собираются въ квартирѣ участники школы и не много ли они говорятъ о вопросахъ, вовсе не касающихся школы? Для чего многіе изъ нихъ приводятъ и своихъ знакомыхъ на эти собранія? А фраза Евгеніи о гражданскомъ бракѣ?.. По глупости сказала это Евгенія или точно кто-нибудь подозрѣваетъ, что она, Варвара, живетъ съ Николаемъ Ивановичемъ? До этой поры ей и въ голову ничего подобнаго не приходило...

XVII.

— Николай Ивановичъ, вы на меня не разсердитесь, если я, быть-можетъ, покажусь вамъ... ну, трусихой или не въ мѣру мнительной, что ли?—обратилась какъ-то особенно несмѣло Варвара къ Нащокину, въ одну изъ первыхъ удобныхъ минутъ послѣ разговора съ Евгеніей.

— Ого, съ предисловіями говорить начинаемъ!—пошутилъ онъ дружески.—Вѣрно, дѣло первостепенной важности...

— Я вѣдь давно привыкла ничего не скрывать отъ васъ,—пояснила она:—а потому должна и теперь сказать, что меня тревожитъ...

Она передала ему сущность разговора, который имѣла съ сестрой о шумныхъ сходкахъ, о замѣчаніи знакомаго сестры насчетъ стремленія современной молодежи устраивать сходки, говорить о не касающихся ея государственныхъ вопросахъ.

— Я сама, со своей стороны, замѣчаю, что у насъ говорится много лишняго, не идущаго къ нашему прямому дѣлу, что всѣ говорящіе и шумящіе на нашихъ собраніяхъ на дѣлѣ являются самыми плохими помощниками, съ которыми дѣло едва ли пойдетъ хорошо. Поставлено оно было отлично, но теперь рвеніе къ нему, за исключеніемъ васъ, меня да, пожалуй, Ануфріева и Мельникова, во всѣхъ значительно охладѣло, а это можетъ сильно повредить, — пояснила Варвара и вдругъ, какъ бы вспомнивъ что-то и почти испугавшись своихъ словъ, закончила:—но, ради Бога, не думайте, что всѣ эти сомнѣнія и опасенія пришли мнѣ въ голову только ради того, что я боюсь за свой кусокъ насущнаго хлѣба...

— Что вы выдумали!—воскликнулъ нетерпѣливо Николай Ивановичъ.—Не знаемъ мы другъ друга, что ли!..

Онъ до этой минуты все время въ раздумьи ходилъ по комнатѣ, съ серьезнымъ выраженіемъ на лицѣ слушая и не прерывая Варвару. Теперь, ласково положивъ свою руку на ея руку, онъ сталъ разъяснять свои думы, бродившія въ его головѣ при ея объясненіи.

— Знаете ли что?—началъ онъ.—Вы сказали то, что уже давно безпокоитъ меня, и безпокоитъ гораздо болѣе, чѣмъ васъ, можетъ-быть, видящую въ школѣ только кусокъ насущнаго хлѣба...

Въ его голосѣ послышалась легкая добродушная иронія.

— Вы-то кусокъ хлѣба съ гибелью школы потеряете, а я—все... послѣднее свое прибѣжище потеряю...

Онъ закончилъ это раздражительнымъ тономъ, точно сердясь на какую-то невѣдомую силу, заставлявшую его высказаться противъ воли. Тѣмъ не менѣе, онъ продолжалъ:

— Я, какъ пьяница, втянулся въ это дѣло... въ эту квартиру... гдѣ я толковалъ объ этомъ дѣлѣ съ вами... Вы вѣдь видите, что даже усталый отъ каторжнаго труда, бѣготни по урокамъ къ какимъ-то чуждымъ мнѣ по душѣ людямъ—бѣготни только изъ-за денегъ, я иду отдыхать къ вамъ... Нельзя же изъ часу въ часъ, изо дня въ день, изъ года въ годъ, все камень бить на большой дорогѣ ради денегъ, денегъ и денегъ... нужна же хоть какая-нибудь, ну, грошевая, гармоника, что ли, для своего утѣшенія... для душевнаго отдыха, для удовлетворенія неодолимой внутренней потребности проиграть или пропѣть ту жалкую «лучинушку», которую лютая свекровушка водой залила... Глупо это, безсмысленно, сентиментально... Да, чортъ возьми, чѣмъ же виноваты люди, что они люди, а не псы!

Онъ говорилъ отрывисто, страстно, нервно и вдругъ круто закончилъ:

— Ну, вотъ, моя гармоника—это школа...

— Вмѣстѣ со мною?—тихо и ласково закончила вопросомъ Варвара.

— Вмѣстѣ съ вами!—какъ эхо, отозвался онъ глухо и отрывисто, стараясь не глядѣть на нее.

Она вдругъ оживилась, заговорила смѣлѣе, бодрымъ тономъ:

— Такъ будемъ же спасать вашу и мою гармонику. Я на всѣ жертвы пойду, себя лишу всего, лишь бы выкупить школу въ нашу собственность. Иначе ей не сдобровать. Вы вѣдь знаете, съ какимъ трудомъ разрѣшили намъ и

дешевую плату взимать, и наши субботнія чтенія устраивать... Вѣдь намъ никогда бы такой программы не утвердили, если бы добрѣйшій Андрей Степановичъ не довѣрялъ вамъ... Но вѣдь Андрей Степановичъ не вѣченъ, сегодня на мѣстѣ, завтра въ отставкѣ,—и не всемогущъ,—первое подозрѣніе, которое падетъ на школу, заставитъ его потребовать у насъ измѣненія программы...

Общими силами они стали придумывать, много ли потребуется денегъ для «выкупа» школы. Въ томъ, что участники дѣла согласятся на выкупъ, не могло быть сомнѣній. Во-первыхъ, большинство, за какіе-нибудь два-три года, сильно охладѣло къ дѣлу, такъ какъ малолѣтніе ученики— это текучая вода и не даютъ возможности видѣть какіе бы то ни было блестящіе результаты хорошаго обученія, не даютъ возможности учителю гордиться очевидными плодами своего дѣла, а, во-вторыхъ, многихъ, еще не охладѣвшихъ къ школѣ, участниковъ дѣла можно было подцѣпить и на иную удочку—объяснить имъ, что, поставивъ на ноги одну школу, слѣдуетъ на деньги, полученныя отъ ея выкупа, создать другую и такъ далѣе, чуть не сотни подобныхъ школъ...

— Покривимъ душой, а свое дѣло отстоимъ, — сказалъ Нащокинъ.

— Да въ сущности и кривить душой не придется: если выкупимъ школу — у нихъ будутъ деньги для открытія другой,—замѣтила Варвара.

— Только едва ли теперь на это обратятъ они деньги... Мелко ужъ очень это дѣло кажется... Больно широкія мы натуры... Хватаемся горячо за все, быстро охладѣваемъ и, не додѣлавъ начатаго, требуемъ все бо́льшаго и бо́льшаго...

— Вѣчное повтореніе сказки о золотой рыбкѣ: «не хочу быть столбовою дворянкой, а хочу быть вольною царицей»,— закончила Варвара.

— А бодливой коровѣ Богъ и не даетъ рогъ,—сказалъ онъ.

Никогда не чувствовали они себя такъ хорошо, такъ спокойно...

Былъ уже довольно поздній часъ. Нащокинъ взглянулъ на часы, поморщился и проговорилъ:

— А теперь пора и домой. Еще нужно будетъ апробовать, хорошо ли сшито новое платье жены...

Онъ усмѣхнулся.

— Я вѣдь хоть надорвись надъ работой, хоть съ ума сойди отъ непріятностей и горя, а она все же придетъ въ новомъ платьѣ пожаловаться мнѣ на портниху за дурной

фасонъ или сообщить мнѣ свою радость по поводу удачно сдѣланной шляпки... и если бы вы видѣли, какъ это наивно дѣлается, съ какимъ отсутствіемъ сознанія, что я живу вовсе не этимъ, что мы бы подохли съ голода, если бы я жилъ этими интересами, а не затягивался въ каторжномъ трудѣ.

Вмѣсто всякихъ выраженій участія и сожалѣнія, Варвара ласково проговорила ему съ привѣтливой, ободряющей улыбкой:

— Да, да, намъ, во что бы то ни стало, надо отстоять вашу гармонику!

Они невольно разсмѣялись и крѣпко пожали другъ другу руки на прощанье.

— А ты засидѣлась сегодня со своимъ Николаемъ Ивановичемъ,—язвительно замѣтила Евгенія, когда Варвара вошла въ ихъ общую спальню и стала раздѣваться.—Недаромъ его жена бѣгаетъ справляться, часто ли онъ у насъ бываетъ и долго ли сидитъ.

— Что за глупости ты выдумываешь!—отозвалась Варвара.

— Спроси у нашей Аксиньи или у швейцара. Скажутъ, что какая-то бѣлокурая дама ходитъ справляться. Ну, а кому же охота, кромѣ жены, слѣдить за нимъ,—насмѣшливо пояснила Евгенія.

— И пусть слѣдитъ, если есть свободное время,—спокойно сказала Варвара, ложась спать.

Она была такъ хорошо настроена въ этотъ вечеръ, что ее даже не взволновала эта новость.

XVIII.

Для Варвары и для Николая Ивановича стало совершенно яснымъ безъ всякихъ любовныхъ объясненій, что они взаимно любятъ другъ друга,—любятъ не со вчерашняго дня, а давно.

Варвара въ душѣ ясно сознавала, что нѣтъ такой жертвы, которой бы она не могла принести ради этого человѣка, и была, повидимому, совершенно спокойна, не задавая себѣ никакихъ вопросовъ о томъ, какъ дѣло пойдетъ дальше, что скажетъ ея мать, что скажетъ его жена. Не то было съ нимъ: онъ сталъ неровенъ въ обращеніи съ нею, иногда точно сердился на нее за что-то, и только ея безмятежное спокойствіе, ея всегда ровное, ни въ чемъ не измѣнившееся и теперь, обращеніе съ нимъ приводили его снова въ себя, заставляли сдерживаться и не показывать, какія пытки не-

реживалъ онъ въ борьбѣ съ самимъ собою. Неоткровенный и несообщительный прежде, онъ теперь откровенничалъ съ нею, можетъ-быть, даже больше, чѣмъ нужно, посвящая ее въ тайны своей жизни, и словно хотѣлъ запугать ее тѣмъ положеніемъ, которое она можетъ создать при малѣйшемъ неосторожномъ шагѣ.

— Да, вотъ часто мы слышимъ, какъ ужасно положеніе каторжниковъ, скованныхъ вмѣстѣ на всю жизнь, а представить себѣ настоящій ужасъ этого положенія все-таки никакъ не можемъ, не испытавъ его. Зубную, вотъ, боль такъ нельзя представить, пока не болятъ у самого зубы,—говорилъ онъ какъ-то, сидя съ Варварой.—А я вотъ отчасти это понимаю,—положеніе каторжника этого, скованнаго съ другимъ, понимаю, потому что самъ нахожусь въ такой каторгѣ: добровольно сковалъ себя цѣпью со своей Марьей Алексѣевной или, если хотите, сковалъ ее съ собою, и оба не знаемъ, когда смерть освободитъ одного изъ насъ.

— Ну, не такъ же ужъ мрачно ваше положеніе... конечно, тяжело жить вмѣстѣ, если нѣтъ любви, но...—начала Варвара.

— Нѣтъ, нѣтъ, Варвара Пантелеймоновна,—торопливо перебилъ онъ.—Тутъ дѣло не въ томъ, что мы уже не любимъ другъ друга, а въ томъ, что мы говоримъ на разныхъ языкахъ, что у насъ все разное: привычки, вкусы, развитіе, стремленія... ни одной точки соприкосновенія... Я готовъ жить съ послѣднимъ негодяемъ, только бы онъ не притворялся святымъ: негодяй—такъ негодяй, такъ и сознавайся, такъ и будемъ знать; а у нея лицемѣріе вездѣ и всюду, шагу безъ лицемѣрія не сдѣлаетъ... считай, молъ, меня за святую мученицу, да и баста!.. Я люблю людей, и черненькихъ, и бѣленькихъ люблю, просто потому, что знаю, что они такіе же точно люди, какъ и я, а не безсловесныя животныя, и что я, можетъ-быть, болѣе или менѣе лучше нѣкоторыхъ изъ нихъ только по одной счастливой случайности, не болѣе того; а она любитъ только одну себя—и молоко дойныхъ коровъ.

— Не слишкомъ ли сгущаете вы краски?—замѣтила Варвара, съ сомнѣніемъ качая головой.

— Ахъ да, вы воображаете, что я хочу изобразить злодѣйку изъ кровавой мелодрамы? Нѣтъ, вы ошибаетесь, я вамъ изображаю просто безпомощную дурочку изъ обнищавшихъ институтокъ-недоучекъ, и не болѣе того. Закричите на нее—она расплачется, потомъ будетъ дѣлать то же,

за что ее сейчасъ бранили, но уже тайкомъ, обманнымъ образомъ, то-есть еще хуже, еще больше заслуживая брани. Я ей выяснилъ разъ, что не могу тратить много денегъ на ея щегольство, — тогда она надѣлала тайкомъ долговъ по магазинамъ; я разбушевался и за это,—тогда она...

Онъ оборвалъ на минуту рѣчь и стиснулъ зубы.

— Какой-то мерзавецъ въ теченіе полугода дарилъ ей золотыя вещи,—отрывисто закончилъ онъ: — можетъ-быть, даже не одинъ мерзавецъ, а нѣсколько...

— Это возмутительно! — вырвалось у Варвары восклицаніе.

— Она валялась у меня въ ногахъ, чтобы я простилъ ее... цѣловала полы моего платья...

Онъ всталъ и заходилъ по комнатѣ, взволнованный и раздраженный.

— Вы попробуйте избить собаку, которая будетъ вамъ во время побоевъ лизать руки и дѣлать жалкіе глаза, виляя хвостомъ...

Онъ опять перевелъ на минуту духъ.

— Я пробовалъ разъѣзжаться съ нею: она ходила вездѣ и всюду, и плакала, плакала у всѣхъ знакомыхъ, прося «помирить» меня съ нею, объясняя, что ей не такъ страшенъ голодъ, какъ то, что я «поссорился» съ нею, — и добрые люди старались «помирить» насъ, признавая меня въ душѣ извергомъ... Еще бы! ангела кротости и невинности обижаю!.. О, если бы вы слышали, какъ сладко говоритъ эта ходячая глупость и какъ жалобно плачетъ эта воплощенная ложь... Я голоса ея не могу слышать; для меня каждая его сладенькая нотка говоритъ: «слышите ли, какъ я хорошо лицемѣрю и лгу».

Онъ снова перевелъ духъ и продолжалъ:

— До встрѣчи съ нею я не воображалъ, что совсѣмъ глупые люди могутъ лгать. Я думалъ, что на это все же нуженъ умъ. Я не задумывался до женитьбы о врожденности, о наслѣдственности лжи... Теперь я сдѣлалъ не мало наблюденій надъ этимъ вопросомъ; мнѣ удалось даже найти цѣлую семью, гдѣ ложь является повальной болѣзнью всѣхъ членовъ семьи: умные и глупые, молодые и старые, еще бѣдные и уже разбогатѣвшіе ея члены, всѣ лгутъ повально, безъ цѣли, безъ нужды... Живя съ Марьей Алексѣевной, я убѣдился, что лгунами и лгуньями, и даже довольно ловкими, могутъ быть и круглые дураки, такъ какъ ума здѣсь не нужно... Она разъ даже разыграла комедію самоубійства

черезъ утопленіе, чтобы сильнѣе разжалобить меня и постороннихъ людей. Правда, избранныя ею мѣсто и время дня были не таковы, чтобы можно было утонуть безъ помощи, и ее, разумѣется, спасли, — спасли, даже не замѣтивъ впопыхахъ, что и спасать-то ее было не отъ чего, и, конечно, приложили всѣ старанія, чтобы облегчить участь спасенной ими жертвы... Вѣдь самою любимою собачонкою бываетъ та, которую мы избавили отъ голодной смерти или вытащили еще слѣпымъ щенкомъ изъ помойной ямы...

Варвара слушала его серьезно, не прерывая. Но тутъ у нея вырвалось невольное восклицаніе:

— Изъ какой же ямы вытащили вы ее?

— Послѣ смерти отца и матери,—сталъ разсказывать Нащокинъ:—я столовался у какой-то не то нѣмки, не то польки, содержавшей меблированныя комнаты и кухмистерскую въ томъ самомъ домѣ, гдѣ я жилъ... У нея была хорошенькая шестнадцатилѣтняя племянница, не окончившая курса въ институтѣ по болѣзни... всѣ лѣнтяи не кончаютъ курса «по болѣзни»... Я познакомился съ нею или, лучше сказать, она познакомила меня съ собой во время моихъ обѣдовъ у ея тетки... Черезъ недѣлю или черезъ двѣ мы были уже друзьями, то-есть она называла бѣлымъ то, что я признавалъ бѣлымъ, и находила пятна тамъ, гдѣ видѣлъ ихъ я, такъ какъ соглашаться со всѣмъ и со всѣми ей ровно ничего не стоило; но главное, что меня тронуло, такъ это то, что она уже черезъ недѣлю не иначе, какъ со слезами на глазахъ, говорила мнѣ: «А вашъ папочка былъ старенькій?.. не тотъ ли это милый старичокъ съ сѣденькой французской бородкой, что всегда по нашей лѣстницѣ ходилъ?.. Я его помню, онъ всегда кланялся со мною... И привѣтливый, привѣтливый такой былъ вашъ старичокъ, и глаза голубые, ясные—ясные... вамъ тяжело, я думаю, теперь возвращаться въ свою квартиру, зная, что ни мать, ни отецъ не ждутъ васъ»... И мнѣ захотѣлось перемѣстить ее въ свою квартиру, гдѣ теперь уже никто не ждалъ меня и гдѣ въ будущемъ меня будетъ ждать это прелестное дитя, готовое интересоваться всѣмъ, чѣмъ интересуюсь я, готовое безъ конца разспрашивать и слушать о моихъ отцѣ и матери... Тогда я еще могъ жалѣть, что болѣзнь помѣшала ей доучиться въ институтѣ, не подозрѣвая, что она всегда болѣла одной только лѣнивой лихорадкой; тогда я еще могъ считать ее не круглой дурой, а только наивной дѣвочкой съ чудесными задатками, такъ какъ ея взгляды и вкусы

сходились съ моими взглядами, съ моими вкусами; тогда я еще могъ предполагать въ ней доброе, мягкое сердце, не замѣчая безграничнаго лицемѣрія и лживости, той врожденной лживости, которая граничитъ съ наслѣдственнымъ умопомѣшательствомъ...

Онъ остановился и рѣзко прибавилъ:

— Иногда теперь мнѣ хочется просто убить ее...

— За то, что вы ее погубили?—строго спросила Варвара.

Онъ опустилъ голову и не возражалъ. Прошло нѣсколько минутъ, прежде чѣмъ онъ снова заговорилъ. Видимо, ему трудно было высказать то, чего онъ рѣшился коснуться теперь:

— Какъ всѣ глупые и лицемѣрные люди, она воображаетъ себя вѣчно ни въ чемъ не виноватою и ищетъ вездѣ тѣхъ, кто, по ея мнѣнію, виноватъ во всѣхъ ея несчастіяхъ, шпіонитъ за каждымъ моимъ шагомъ, подозрительно смотритъ на всѣхъ мнѣ знакомыхъ женщинъ, дѣлаетъ изо всего свои умозаключенія и...

Варвара закончила недоговоренную имъ фразу:

— Уже ревнуетъ васъ даже ко мнѣ?

Онъ едва слышно, подавленнымъ голосомъ, отвѣтилъ:

— Да, вы угадали.

Варвара подняла голову и рѣшительнымъ взглядомъ взглянула прямо ему въ лицо.

— Мнѣ все равно... За себя я ничего и никого не боюсь,—отвѣтила она.

— Но вы не знаете, на что способна эта женщина,—началъ Нащокинъ.

— Въ жизни вѣчно приходится бороться,—твердо отвѣчала Варвара, перебивая его. — Радости и счастье рѣдко даются даромъ.

Она была совершенно спокойна и безмятежна. Не желая еще болѣе волновать его, она даже не сказала ему, что его жена уже и теперь, не имѣя еще никакихъ поводовъ, шпіонитъ за ними, справляется у кухарки, швейцара и дворника, какъ часто и подолгу ли бываетъ онъ здѣсь въ школѣ.

Онъ взялъ ея руку и горячо прижалъ къ своимъ губамъ.

— Дорогая моя, если бы вы знали, какъ я счастливъ съ вами!—вырвалось у него невольное восклицаніе.

— А я—развѣ я не счастлива?—горячо проговорила она.

— Я такъ долго боролся со своими чувствами,—сказалъ онъ тихо.

— Я это знаю, — отвѣтила она. — Сперва не понимала, теперь понимаю...

XIX.

Для семьи Чупруненко настало тяжелое время всякихъ тревогъ и волненій.

Долго тянувшееся дѣло Пантелеймона Семеновича приходило къ концу и, несмотря на то, что Вѣра Васильевна вездѣ и всюду обивала пороги, вездѣ и всюду валялась въ ногахъ, — конецъ ожидался нехорошій. Прежде всего, вѣроятно, угадалъ этотъ нехорошій конецъ самъ подсудимый и поспѣшилъ ускользнуть изъ рукъ правосудія: онъ умеръ чуть не наканунѣ рѣшенія дѣла, почти внезапно. Въ извѣстныхъ кружкахъ въ городѣ по поводу этой смерти ходили смутные, нелѣпые толки, какъ это всегда бываетъ при неожиданныхъ смертяхъ, случившихся какъ нельзя болѣе кстати: одни изъ проницательныхъ практиковъ предполагали, что этотъ недалекій по уму, совсѣмъ уже облысѣвшій и оплывшій жиромъ, похожій на резиновый мячъ, чиновникъ изъ бурбоновъ совершилъ подвигъ самопожертвованія — ловко отравился ради того, чтобы не оставить безъ всякихъ правъ, безъ всякой пенсіи семью; другіе изъ числа романтиковъ, подозрѣвающихъ вездѣ таинственность и злодѣяніе, разсказывали за достовѣрное, что онъ наканунѣ смерти имѣлъ съ «кѣмъ-то» крупное объясненіе и грозилъ выдать головою «кого-то», если его разжалуютъ и лишатъ всякихъ правъ, и будто бы этотъ «кто-то» предательски рѣшился навсегда зажать этотъ опасный для него ротъ; третьи, изъ вѣчно даже и не по разуму протестующихъ крикуновъ, просто-напросто объявляли, что его убили «наша милая медицина» и «наши чудесные тюремные порядки», и радовались возможности, придравшись къ счастливому случаю—къ чужой смерти, покричать и противъ положенія подсудимыхъ въ Россіи, и противъ современнаго устройства тюремъ, и противъ врачебныхъ средствъ въ нашихъ больницахъ. Никто не говорилъ только о томъ, что съ такимъ короткошеимъ человѣкомъ при сидячей жизни въ тюрьмѣ легче всего могъ случиться ударъ. Такимъ образомъ, воруя всю жизнь, Пантелеймонъ Семеновичъ Чупруненко былъ почти никому не извѣстенъ, но, скончавшись почти скоропостижно, чуть не наканунѣ рѣшенія дѣла, тотъ же Пантелеймонъ Семеновичъ Чупруненко сдѣлался на время чуть не знаменитостью.

Какъ и слѣдовало ожидать, Вѣра Васильевна была совершенно убита горемъ и ежеминутно твердила дѣтямъ:

— Голубчикъ-то нашъ папочка всю жизнь для насъ жилъ

и умеръ-то до конца слѣдствія, точно нарочно для того, чтобы мы несовсѣмъ безъ правъ, несовсѣмъ нищими остались... Я вотъ справлялась, говорятъ: «что-жъ, онъ былъ не лишенъ еще правъ состоянія, вамъ, вѣрно, часть пенсіи дадутъ, хлопочите. Это только съ Политковскаго послѣ смерти мундиръ срывали да орденовъ всѣхъ лишили, такъ это самъ государь Николай Павловичъ приказалъ, а вашъ мужъ не разжалованнымъ умеръ».

И совсѣмъ озлобленнымъ тономъ она добавила:

— Да, теперь и подлецъ Бархатниковъ на радостяхъ, что папочка уже не выдастъ его, станетъ о насъ хлопотать. Теперь онъ отъ меня не увильнетъ, заставлю его хлопотать о семьѣ, по его же милости чуть не по-міру ходившей... У него, у подлеца, теперь въ рукахъ сила и связи громадныя, такъ его и нужно за бока... Попляшетъ еще по моей дудкѣ.

Вѣра Васильевна не ошиблась: Бархатниковъ, чувствуя ли себя точно виновнымъ въ дѣлѣ этого «дурака», какъ онъ называлъ покойнаго Чупруненко, или просто, не чувствуя особеннаго удовольствія вооружать противъ себя эту «торговку съ Сѣнной», какъ онъ называлъ Вѣру Васильевну, поплясалъ по дудкѣ послѣдней, то-есть приложилъ всѣ старанія, чтобы семья не осталась нищей. Ей была дана небольшая, но приличная пенсія, несмотря на то, что отецъ семьи растратилъ довольно большую сумму казенныхъ денегъ, и прежде всего, послѣ полученія пенсіи Вѣрой Васильевной, она совсѣмъ новымъ тономъ заговорила о перемѣнѣ квартиры.

— Я, матушка, не намѣрена цѣлый день пискъ да визгъ слушать здѣсь! — заявила Вѣра Васильевна Варварѣ. — Прежде-то меня по цѣлымъ днямъ не было, у папочки, бывало, все сижу или о его дѣлахъ хлопочу... Это, вѣдь, вы только для него пальца о палецъ не стукнули, да и навѣщали-то его въ кои вѣки разъ, и то на минуту... Такъ вотъ теперь и покой мнѣ нуженъ, слава Богу, не дѣвчонка, а здѣсь голову разломило... да и жаться намъ троимъ въ одной комнатѣ не сладко... ты вонъ сестру поѣдомъ ѣшь, зачѣмъ въ юбкѣ да въ кофтѣ распустихой ходитъ, зачѣмъ не при корсетѣ спозаранку; можетъ, еще и отъ меня потребуешь, чтобы я въ разныя фурофурми съ самаго ранняго утра наряжалась. Такъ я, матушка, стара стала для этого и ради твоихъ поросятъ себя стѣснять не буду...

— Да я, мама, и не требую,—начала Варвара.

— Не требую! не требую! — загорячилась Вѣра Васильевна.—Да кто это и позволилъ бы тебѣ чего-нибудь требовать отъ матери. А я просто говорю тебѣ, что стара я стала, чтобы жить въ этомъ вертепѣ...

Она говорила все такъ же вульгарно, какъ привыкла говорить въ дни несчастія, но въ ея тонѣ уже слышались нотки той Вѣры Васильевны, дѣтямъ которой не въ учителя и не въ гувернантки предстояло идти, потому что ихъ отецъ не кто-нибудь, а на «линіи генерала» стоитъ.

— У насъ же лишней комнаты негдѣ взять,—отвѣтила ей Варвара:—а перевести школу въ другое мѣсто—значитъ потерять разомъ множество учениковъ.

— Ну, ужъ ты какъ знаешь, такъ и рѣшай, а я тебѣ сказала, что такъ жить, какъ мы въ эти годы жили, я не могу.

Варвара обрадовалась: представлялся удобный предлогъ разъѣхаться и не быть подъ надзоромъ домашнихъ шпіоновъ.

— Вамъ придется пріискать квартиру для себя и Жени,— сказала она.—Данила можетъ остаться при мнѣ.

Евгенія сидѣла тутъ же и была блѣдна, какъ приговоренная къ смерти.

— Да ты что это выдумала? Такъ я и позволю тебѣ, дѣвушкѣ, безъ матери жить!—воскликнула Вѣра Васильевна.

— Мама, вы забываете, что я давно совершеннолѣтняя,— спокойно, но твердо замѣтила Варвара.

— А какъ я на тебя-то, на совершеннолѣтнюю, жалобу куда слѣдуетъ подамъ,—пригрозила Вѣра Васильевна.

— Жалобу?—усмѣхнулась Варвара и пожала плечами.

— Ну да, жалобу! Смѣяться-то, да плечами пожимать нечего! Меня этими фокусами не смутишь! Ты думаешь, я не вижу и не слышу ничего? Ты школу-то держишь, а что въ ней творится? Ты полагаешь, что никто ничего не замѣчаетъ? Ты бы послушала, что Василій Артемьевичъ намъ говорилъ, противъ разныхъ негодяевъ меня предостерегая... разбой нынче среди бѣла дня идетъ... и жгутъ, и рѣжутъ... все изъ вашихъ, изъ умниковъ... Когда это онъ говорилъ-то?..

Вѣра Васильевна съ этимъ вопросомъ обратилась къ Евгеніи. Та сидѣла, потупившись, и молчала.

— Женя, я тебя спрашиваю. Когда онъ былъ-то у насъ въ послѣдній разъ?

— Не помню!—коротко отвѣтила Евгенія, не поднимая своей кукольной бѣлокурой головы.

— Надулась-то чего, какъ мышь на крупу? — спросила Вѣра Васильевна и, по своему обыкновенію, ворча и жа-

луясь безъ толку и смысла, продолжала:—Тоже и про пьянье къ тебѣ твоего Николая Ивановича стоитъ сказать кому слѣдуетъ, такъ и школу твою прикроютъ! Ты полагаешь, жена-то его пороговъ не обиваетъ, справляясь о насъ?

— Оставьте вы эту грязь,—сказала Варвара.—Николай Ивановичъ ходитъ въ школу по обязанности и никому до этого дѣла нѣтъ. Я, слава Богу, не ребенокъ. Да вѣдь и не говорили же вы, да и теперь не говорите о томъ, зачѣмъ, напримѣръ, зачастилъ ходить къ намъ Василій Артемьевичъ, когда мы сюда переѣхали...

— Василій Артемьевичъ человѣкъ молодой и холостой, такъ онъ, матушка, можетъ-быть, съ благородными цѣлями ходитъ,—проговорила Вѣра Васильевна.—Да и не обиваетъ онъ ежедневно пороговъ. Вонъ, почитай, что мѣсяца два уже не былъ... Ну, что, все еще не вспомнила, когда онъ былъ въ послѣдній разъ?—обратилась Вѣра Васильевна къ Евгеніи.—Вѣрно, не вспомнила... Все еще дуешься... Сердце-то по миломъ болитъ... Или повздорили, такъ давно не бывалъ?

Наворчавшись, накричавшись вволю, она вышла.

Варвара, все время слѣдившая не столько за безсвязной рѣчью матери, сколько за страннымъ, подавленнымъ состояніемъ всегда задорной сестры, прямо и неожиданно спросила послѣднюю:

— Ты больна?

Евгенія закрыла лицо руками, и изъ ея груди, помимо ея воли, вырвался точно стонъ:

— Ахъ, Господи, что я буду дѣлать... переѣдемъ однѣ— все она узнаетъ, все узнаетъ тогда!

У Варвары опустились руки.

Она участливо и со страхомъ стала разспрашивать: что случилось, какъ, когда?

Евгенія не могла даже объяснить толкомъ, какъ она пала: была она мѣсяца три тому назадъ гдѣ-то въ гостяхъ, танцовали, играли въ фанты, ужинали; послѣ ужина Василій Артемьевичъ предложилъ отвезти ее домой, дурачились, цѣловались они во время дороги, и оба безъ всякаго повода смѣялись до слезъ. Потомъ она сама не знаетъ, куда заѣхали, для чего заѣхали, долго ли были вмѣстѣ, какъ она «пала»... ничего, ничего не знаетъ и не помнитъ. А онъ— онъ съ тѣхъ поръ и глазъ не кажетъ. Пересталъ бывать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они встрѣчались прежде. Она ему нѣсколько разъ писала, онъ не отвѣчаетъ. Разъ встрѣтила

она его у знакомыхъ, онъ какъ будто едва узналъ ее и, когда на минуту они остались вдвоемъ, сказалъ ей:

— Я просто краснѣю за нашу послѣднюю встрѣчу. Это что-то невозможное, чудовищное! Напились по-мальчишески, какъ послѣдніе хамы, до невмѣняемости. Я не помню даже, какъ я потомъ домой доѣхалъ.

И больше ни слова.

— А я... я чувствую, что я беременна!—воскликнула Евгенія, съ рыданіями заканчивая разсказъ.

— Какъ предупредить мать, какъ объяснить ей!—задумчиво, дрогнувшимъ голосомъ, проговорила Варвара.

Ей было жаль сестру, жаль мать. О себѣ она вовсе не думала въ эту минуту.

— Что ты! что ты! Ни за что я не скажу матери,—вскричала Евгенія въ ужасѣ.—Я какъ-нибудь все сама устрою... уѣду куда-нибудь, будто бы къ подругѣ гостить... Ахъ, зачѣмъ я и тебѣ-то сказала! Разболтаешь еще? Вотъ-то несчастіе!

— А ребенокъ?—воскликнула Варвара.

— Куда-нибудь отправятъ... въ Воспитательный домъ, что ли!.. Только бы скорѣе все это кончилось... не узнала бы мать... Ты, ради Бога, не говори ни слова... Ахъ, зачѣмъ я и тебѣ-то сказала!—повторила она снова въ отчаяніи.

— Несчастная дѣвочка!—пожалѣла сестру Варвара.

XX.

— Варя, голубка, что съ тобою?—озабоченно, шопотомъ допрашивалъ Варвару Николай Ивановичъ, оставшись съ нею на нѣсколько минутъ, въ сторонѣ отъ класса у черной доски, стоявшей въ углу комнаты.

Это было дня черезъ три послѣ ея разговора съ Евгеніей.

Онъ, въ эти три дня, встрѣчаясь съ нею только во время школьныхъ занятій, тревожно приглядывался къ ней, ясно замѣчая въ ней необычайную перемѣну. Она видимо только машинально исполняла свои обязанности по классамъ, думая совсѣмъ о другомъ. Всегда бодрое выраженіе ея лица исчезло; она смотрѣла теперь то разсѣянной, то подавленной, очевидно, переживая какія-то тяжелыя минуты. Съ нимъ, когда ей нужно было перекинуться дѣловыми фразами, она была сдержанна и почти холодна. Къ величайшей досадѣ его, онъ, внѣ классныхъ занятій, не могъ провести съ нею вдвоемъ ни одной минуты: и Евгенія, и Вѣра Васильевна, какъ мелькомъ сообщила ему Варвара, проводили эти пе-

чера, какъ нарочно, дома, а при нихъ, сидя въ общей комнатѣ, нечего было и думать объ откровенныхъ разговорахъ. Наконецъ, Варвара на его, шопотомъ сдѣланный во время занятій, вопросъ о томъ, когда можно увидать ее вечеромъ, мелькомъ, тоже шопотомъ, сказала:

— Наши переѣзжаютъ сегодня.

— Переѣзжаютъ? Какъ? Куда?—удивился онъ и заговорилъ даже громко въ забывчивости.

— Послѣ, послѣ, вечеромъ!—тихо отвѣтила она, немного нетерпѣливымъ тономъ, и отвернулась.—Нельзя же объясняться здѣсь въ классѣ.

Онъ не зналъ, что дѣлать до вечера, сгорая отъ нетерпѣливаго желанія скорѣе выяснить все. Что съ нею случилось? Отчего переѣзжаетъ ея семья? Куда переѣзжаетъ? Не узнала ли мать ихъ отношеній? Не подняла ли какой-нибудь исторіи Марья Алексѣевна? Отъ нея можно ждать всего! Ворвалась въ домъ и насплетничала Вѣрѣ Васильевнѣ, и та подняла бурю. Что вынесла Варвара? Старуха вѣдь не изъ тѣхъ, которые деликатничаютъ и щадятъ!.. Вопросы хаотическіе лѣзли ему въ голову, а отвѣтовъ приходилось ждать до вечера.

Наконецъ, желанный вечеръ насталъ, и Нащокинъ чуть не бѣгомъ отправился къ Варварѣ и, встрѣтившись съ нею, засыпалъ ее вопросами. Прежде всего ему пришла въ голову мысль о томъ, что Вѣра Васильевна дѣйствительно подмѣтила связь съ нимъ Варвары и, сдѣлавъ ей дикую сцену, разругавшись съ нею и проклявъ ее, выѣхала вонъ изъ квартиры дочери. На эту мысль наводила и пустота въ комнатѣ, которую до этого дня занимала семья Чупруненко. Вѣра Васильевна, переѣзжая отъ дочери, обобрала все, что могла, и оставила Варварѣ только кровать, столъ и два стула изъ мебели, находившейся въ ихъ общей комнатѣ, заявивъ, что если дочь хочетъ непремѣнно жить одна, то пусть и обзаводится всѣмъ сама. О нѣкоторыхъ вещахъ она даже забыла, что онѣ куплены Варварой, и укладывала ихъ къ себѣ въ сундуки и ящики, благо Варвара не спорила, не останавливала, желая только одного скорѣйшаго переѣзда матери и сестры. Николай Ивановичъ рѣшилъ сразу, что именно этотъ переѣздъ матери и этотъ раздѣлъ скарба такъ удручающе подѣйствовалъ на Варвару, и даже попробовалъ утѣшить ее:

— Голубка, вѣдь этого надо было ожидать. Всегда вы

на разныхъ берегахъ стояли... Такъ даже лучше, ты хоть вздохнешь свободнѣе...

Она покачала отрицательно головою.

— Меня вовсе не это мучило всѣ эти дни!—сказала она.

— Такъ что же?—спросилъ онъ съ видимымъ недоумѣніемъ.

— Жизнь болѣе тяжелый урокъ дала,— серьезно отвѣтила она ему.—И еще хорошо, что не совсѣмъ поздно... не тогда, когда было бы поздно и обдумывать...

Она стала разсказывать ему подробно, что случилось съ сестрой.

— А еще негодяй упрекалъ нынѣшнюю молодежь, что она какіе-то гражданскіе браки выдумала,—обругалъ Николай Ивановичъ Василія Артемьевича.

— Что-жъ, онъ и правъ, если дѣло можно упростить,— замѣтила Варвара брезгливо.

И перешла къ главному вопросу:

— Меня точно кипяткомъ обварило, когда я услыхала отъ Жени, въ какомъ она положеніи, и когда она сказала, что скроетъ и броситъ своего ребенка. Я цѣлую ночь заснуть не могла, мучась мыслью, что будетъ съ этимъ маленькимъ существомъ, обреченнымъ матерью на гибель еще до своего появленія на свѣтъ, мучась угрызеніемъ совѣсти за себя. Вѣдь и мы все передумали, все обсудили, прежде чѣмъ сойтись, о разныхъ испытаніяхъ и жертвахъ своихъ толковали, все вынести рѣшились... и забыли только одно: задать себѣ вопросъ и отвѣтить на него, что мы будемъ дѣлать, если и у насъ будутъ дѣти? Своихъ дѣтей я не брошу, конечно: не скрою, что я мать...

— Голубка, да развѣ можетъ быть иначе!—воскликнулъ онъ.—Ни я, ни ты не откажемся отъ нихъ...

Она подняла на него глаза.

— А школа?—серьезно спросила она.

— Что же школа?—растерянно переспросилъ онъ.

— Какъ что? Не придется ли мнѣ разстаться съ нею: Ты знаешь, что ей грозятъ со всѣхъ сторонъ. Толки такихъ болтуновъ, какъ Василій Артемьевичъ, безтактности самихъ нашихъ компаньоновъ, возможные доносы на насъ со стороны моей матери и твоей жены...

— Ты, вѣрно, уже слышала, что она шпіонитъ за мной?— перебилъ онъ ее.

— Давнымъ-давно!—отвѣтила Варвара.

— И ты ни слова не сказала объ этомъ?

— Мало развѣ у тебя неудовольствій и безъ меня?.. Ну, такъ вотъ при этомъ-то положеніи школы недостаетъ только того, чтобы ея содержательница-дѣвушка сдѣлалась матерью... и чтобы это дошло, куда слѣдуетъ, черезъ мою мать или твою жену... Вотъ что въ эти дни, какъ кошмаръ, давило мой мозгъ...

Нащокинъ глубоко задумался въ свою очередь. Ему тоже не приходилъ въ голову вопросъ о томъ, что у нихъ могутъ быть дѣти, или, вѣрнѣе сказать, онъ скользилъ по этому вопросу: «будутъ, Богъ дастъ, дѣти,—они, онъ и Варвара, будутъ няньчить ихъ, сдѣлаютъ все, чтобы дѣти не пострадали за свою незаконнорожденность, дадутъ имъ самое тщательное и разностороннее образованіе,—главное: разностороннее, чтобы послѣ была возможность выбора профессій,—вырастятъ ихъ добрыми и честными, способными ко всякому труду». Всѣ эти благія намѣренія, общія мѣста благородныхъ помысловъ, пустыя фразы желаній добра вытѣсняли и заслоняли собою чисто-практическія соображенія, какъ исполнить всѣ эти прекрасныя мечтанія. Такъ бѣдняки утѣшаютъ себя размышленіями о томъ, что они сдѣлаютъ, сколько добра натворятъ, сколькихъ облагодѣтельствуютъ, если будутъ богаты, и обходятъ одинъ только вопросъ: какимъ образомъ они сдѣлаются богатыми? Николая Ивановича, если что и мучило до этой минуты, то только мысль, что онъ, женатый, испортитъ жизнь Варвары, поставитъ ее въ ложное положеніе въ семьѣ и въ обществѣ, заставитъ ее перенести не мало непріятностей и отъ ея матери, и отъ своей жены, сойдясь съ ней безъ возможности жениться на ней, безъ возможности ввести ее въ общество на законномъ основаніи, какъ свою жену, безъ всякихъ оговорокъ, не кривя душой, не скрывая сущности дѣла,—и это заставляло его долго бороться съ собой. Но какъ только Варвара дала ему понять, что ни ея мать, ни его жена, ни разные толки и сплетни постороннихъ людей, ни ложность положенія въ обществѣ, ни необходимость отказаться отъ нѣкоторыхъ, можетъ-быть, и очень хорошихъ, но слишкомъ пуританскихъ знакомствъ въ тѣхъ домахъ, гдѣ нейдутъ ни на какіе компромиссы въ вопросахъ о внѣбрачныхъ сожительствахъ, не смутятъ ее и не помѣшаютъ ей быть счастливой съ нимъ, такъ тотчасъ же кончились въ немъ всѣ колебанія. Эгоистичная жажда неизвѣданнаго счастія любить и пользоваться взаимной любовью взяла верхъ надъ всѣмъ въ его душѣ, какъ и въ душѣ Вар-

вары. Только теперь передъ ними всталъ новый вопросъ, забытый въ мечтахъ о счастіи, и съ языка невольно сорвалось пугливое восклицаніе:

— Что же дѣлать?

— Я тотчасъ же сама откажусь отъ школы, какъ только это будетъ неизбѣжно нужно,—сказала Варвара.—Я это теперь рѣшила. Скрывать свое дитя, лгать и притворяться, хотя временно, я не стану. Пусть мнѣ будетъ страшно тяжело, но все же я ни на минуту не откажусь отъ правъ матери и не стану въ то же время ставить на карту общее дѣло — ждать, когда у меня отнимутъ право содержать школу... не допущу, чтобы изъ-за меня набросили тѣнь и на другихъ... всѣ, молъ, онѣ такія, ищутъ самостоятельнаго труда, чтобы съ женатыми сходиться...

— Варя!—остановилъ онъ ее.

— Ахъ, разумѣется, скажутъ, именно это скажутъ!—раздражительно проговорила она.—Потому я и рѣшила бросить школу, какъ только это будетъ нужно... Я знаю, что это рѣшеніе грозитъ мнѣ чуть не нищетою, но...

— Варя, ты совсѣмъ оставляешь меня въ сторонѣ въ дѣлѣ заботъ о тебѣ и ребенкѣ!—упрекнулъ ее Николай Ивановичъ.

— Я думала только о себѣ, потому что мнѣ было нужно знать заранѣе, на что я должна рѣшиться, что именно я должна сдѣлать,—твердо заявила Варвара.—О тебѣ я не говорю, потому что ты будешь, само собою разумѣется, помогать мнѣ, насколько можешь и пока можешь... Намъ же нечего увѣрять въ чемъ бы то ни было другъ друга... Мнѣ надо было только выяснить программу своихъ собственныхъ дѣйствій... это я и сдѣлала... и успокоилась... А до тѣхъ поръ—будь, что будетъ...

— Будемъ пользоваться счастіемъ подъ дамокловымъ мечомъ?—сказалъ Николай Ивановичъ съ горечью.

— А развѣ и вся жизнь протекаетъ не подъ дамокловымъ мечомъ смерти? Однакоже, люди наслаждаются ею, не ходятъ, повѣся носъ, отъ сознанія, что ихъ ждетъ смерть?—сказала Варвара.—Я тебѣ сообщила все, что тревожило меня всѣ эти дни, сообщила только для того, чтобы ты не удивлялся, что я теперь отказываюсь выкупать школу и что я могу вдругъ вовсе отказаться отъ нея... деньги придется копить, чтобы не остаться въ тяжелую минуту на мостовой или только на твоей шеѣ съ ребенкомъ.

XXI.

Никогда не смотрѣла такою бодрою и энергичною Варвара, какъ теперь. Въ ея характерѣ не трудно было подмѣтить одну черту: она не выносила неопредѣленности положенія, ненамѣченной цѣли, непринятаго рѣшенія; во время разныхъ сомнѣній и колебаній она чувствовала, что у нея какъ бы исчезаетъ изъ-подъ ногъ почва, и это смущало ее болѣе, чѣмъ смутило бы самое большое, но опредѣленное несчастіе. Но, разъ принявъ то или другое рѣшеніе, она становилась спокойною и энергичною, хотя бы само принятое ею рѣшеніе и сулило впереди много труда и хлопотъ и не обѣщало особенныхъ удовольствій. Теперь она знала, какъ она поступитъ, если ей судьба велитъ быть матерью, и не боялась, что ее застанетъ врасплохъ эта участь, готовясь встрѣтить ее во всеоружіи.

Кромѣ школьныхъ занятій, она нашла себѣ нѣсколько частныхъ уроковъ, зная, что можетъ настать для нея время, когда пригодится каждый грошъ. Ея трудовая жизнь пошла теперь правильнѣе и ровнѣе: утромъ занятія въ школѣ, потомъ два-три часа частныхъ занятій послѣ обѣда и, наконецъ, вечеръ въ обществѣ Николая Ивановича, тихій, спокойный, безъ дрязгъ съ матерью, съ сестрою. Если что и огорчало Варвару, такъ это то, что мать не позволила Данилѣ остаться у сестры: это было со стороны Вѣры Васильевны мелочное желаніе досадить непокорной дочери, лишивъ ее общества любимаго брата. Но Данила былъ не изъ тѣхъ людей, которые покоряются кому бы то ни было; мать могла его «здорово» нахлестать по щекамъ, но заставить перемѣнить принятое имъ разъ рѣшеніе было невозможно. Переѣхать съ матерью онъ переѣхалъ, но рѣдкій день не забѣгалъ къ Варварѣ послѣ занятій въ артельной мастерской. Въ квартирѣ матери онъ только спалъ, говоря, что спать-то ему все равно гдѣ, хоть въ конюшнѣ. Это былъ уже совсѣмъ взрослый, широкоплечій молодой человѣкъ съ коротко остриженными темными волосами, съ загорѣлой кожей на широкомъ лицѣ, съ здоровенными красными кулаками, ходившій постоянно въ рабочей сѣрой или черной блузѣ, подпоясанной ремнемъ. Онъ все попрежнему былъ грубоватъ и тупо прямолинеенъ, если можно такъ выразиться: для него не существовало, при его сужденіяхъ о людяхъ, поступкахъ и событіяхъ, смягчающихъ обстоятельствъ, роковыхъ случайностей, историческихъ причинъ:

кто укралъ—тотъ подлый воръ, кто пьетъ—тотъ негодный пьяница. Что довело до воровства, до пьянства,—ему до этого не было дѣла. Станешь разбирать—всѣхъ оправдывать станешь, а станешь всѣхъ оправдывать—всѣ подлецами сдѣлаются, честнымъ не для чего будетъ быть. Въ этомъ онъ былъ твердо убѣжденъ, и это убѣжденіе дѣлало его иногда довольно жесткимъ, по крайней мѣрѣ на словахъ. Онъ, напримѣръ, серьезно негодовалъ, когда прощали и миловали разныхъ преступниковъ, и говорилъ: «Все подлецовъ милуютъ да снисхожденія имъ даютъ, а честнымъ-то что же?» Тѣмъ не менѣе Варвара очень любила его за его безусловную искренность и честность, за его поразительную выносливость и нетребовательность. Иногда ее просто поражала его способность безропотно дѣлать самую черную работу и довольствоваться самой скудной обстановкой и пищей, говоря, что мужикамъ еще хуже живется. Онъ былъ тоже сильно привязанъ и къ ней, и къ Николаю Ивановичу, относясь къ нимъ съ тѣмъ оттѣнкомъ простодушнаго покровительства, съ которымъ онъ относился ко всѣмъ людямъ, называя всѣхъ «слабѣхами», пренебрежительно замѣчая про нихъ: «силёнки ни на что нѣтъ, а все имъ сладкіе пироги подавай!» Объ отношеніяхъ Варвары къ Николаю Ивановичу онъ догадывался, но никогда даже не задумывался объ этихъ отношеніяхъ, такъ какъ «это ихъ дѣло, чего тутъ другимъ свой носъ совать».

Забѣгая къ Варварѣ «полакать» чаю, какъ онъ говорилъ, онъ приносилъ иногда изъ дому вѣсти, здоровы ли мать и сестра Евгенія, хорошо ли они помѣстились на новой квартирѣ... Только черезъ него и узнавала Варвара, что дѣлается въ домѣ матери, разъѣхавшейся съ нею съ грубою бранью и дикою ссорой.

— Тебя костятъ,—разсказывалъ онъ: — благо нашлась такая подлянка, которую хлѣбомъ не корми, а только тебя ругай!

Варвара пожимала плечами.

— И у меня тоже враги нашлись!

— Еще бы! Кусокъ пирога у нея отняла. Жена Николая Ивановича это.

Варвара удивилась. Какъ могла мать познакомиться съ нею?

— Сплетницы на навозной кучѣ и то спокоятся. А тутъ кофеи да чаи—лапочи за чашечкой сколько въ душу влѣзетъ, благо языкъ безъ костей. Теперь же матери не съ

кѣмъ особенно ругаться да судачить; скучно тоже: тебя нѣтъ, я цѣлый день за своимъ дѣломъ, а сестра дохнетъ, еле ноги волочитъ, только и бредитъ о томъ, что весной къ какой-то подругѣ лѣчиться поѣдетъ, а не то зачахнетъ здѣсь...

Среди этихъ разсказовъ, самой сенсаціонной новостью было совершенно неожиданное сообщеніе Данилы:

— А у насъ новый гость проявился — съ того свѣта Евгенъ свалился.

— Да неужели?—воскликнула Варвара.—Всѣ эти годы не только пропадалъ Богъ вѣсть гдѣ, но почти и не писалъ мальчишка и вдругъ явился.

— Мальчишка! толкуй тоже!.. Вчера онъ, что ли, уѣхалъ? Посчитай-ка, сколько времени прошло!.. За это время вонъ и у меня усы и борода показались, а онъ... Посмотрѣла бы на него, не то бы сказала: баринъ чернобровый первый сортъ, женатъ, ребенокъ, говоритъ, уже есть...

Данила сдѣлалъ презрительную гримасу.

— Фертъ онъ. Бахвалится, ломается и ужъ больно рѣчистъ сталъ... и все съ вывертами... Послушала бы, какъ онъ бабку, матери подпѣвая, ругаетъ—животы надорвешь отъ смѣху.

Варвара не знала, чему больше удивляться—неожиданному ли возвращенію почти потерявшагося изъ виду брата, ранней ли женитьбѣ его, или тому, что онъ почему-то ругаетъ бабку. Развѣ онъ ее знаетъ? Не былъ ли онъ у нея? Не потому ли и скрывалъ свое мѣстопребываніе, что жилъ у нея? Съ какой цѣлью?

Всѣ эти вопросы разрѣшились скоро.

Евгеній, узнавъ отъ Данилы адресъ сестры, навѣстилъ ее. Онъ немного выросъ и сильно возмужалъ. Его загорѣлое румяное лицо было очень красиво, хотя почти сросшіяся на переносьѣ густыя черныя брови немного портили его и придавали выраженію лица немного суровый, жёсткій оттѣнокъ. Маслившіеся черные глаза, смотрѣвшіе съ выраженіемъ наглости и плотоядности, и не въ мѣру крупныя алыя губы, изъ-за которыхъ виднѣлись здоровенные бѣлые зубы, ясно говорили о его животныхъ, сластолюбивыхъ наклонностяхъ. Одѣтъ онъ былъ франтовато и пестро, говорилъ крайне цвѣтисто, еще съ бо́льшимъ апломбомъ, чѣмъ прежде, и видимо не стѣснялся высказывать свои воззрѣнія, какъ бы ни возмущали они другихъ своимъ откровеннымъ цинизмомъ.

— Когда погрызешься съ людьми не на животъ, а на смерть за право существованія, такъ миндальничать съ ними не станешь,—объяснялъ онъ Варварѣ, развалившись у нея на денежевенькомъ рыночномъ диванѣ, пріобрѣтенномъ ею на Никольскомъ рынкѣ, и играя массивной золотой цѣпочкой. — Я вѣдь, матушка, послѣ погрома-то нашего направилъ свои стопы прямо къ бабкѣ. Слава Богу еще, что было нѣсколько скопленныхъ грошей въ карманѣ, да мозги въ головѣ. Сообразилъ я, что ее тронетъ смазливый дворянчикъ-внучокъ, оставшійся безъ крова, безъ хлѣба, изъ-за воровства своего недостойнаго родителя, котораго кстати ненавидѣла и она. Не ошибся. Тронулась фразами о томъ, что не идти же мнѣ по стопамъ отца воровать и не налагать же рукъ на свою цвѣтущую жизнь. Ей вѣдь, какъ я сообразилъ, только и нужно было, чтобы я не одобрялъ своихъ отца и мать и глубоко скорбѣлъ о томъ, что они пошли противъ ея воли. Хотя и на эту удочку ее было не легко поймать. Ехидная тоже была баба! Раза два даже замѣтила съ ироніей: «да, не пошли бы они противъ моей воли, не имѣла бы я удовольствія и тебя видѣть здѣсь»... Я вѣдь не дуракъ и тоны-то разные понимаю, — понялъ, что никакого удовольствія въ моемъ пребываніи она не видитъ, а терпитъ меня покуда у себя, боясь, что я, чего добраго, у окна ея спальни повѣшусь. Ну, и сталъ я оріентироваться въ своемъ мѣстопребываніи, и нашелъ, что можно будетъ такъ или иначе извлечь пользу изъ пребыванія у бабушки въ деревнѣ въ качествѣ ея главнаго наслѣдника... Она ужъ и тогда на ладанъ дышала. Твой отъѣздъ уходилъ ее. А потомъ подбавилось недуговъ отъ извѣстія, что нашъ отецъ проворовался.

— Ты говоришь такъ, какъ будто ея уже нѣтъ на свѣтѣ,— сказала Варвара.

— Ахъ, я и забылъ сообщить, что она отошла къ праотцамъ,—проговорилъ небрежно Евгеній. — Я ради этого и пріѣхалъ сюда. Хочу хлопотать о непризнаніи дѣйствительнымъ ея духовнаго завѣщанія. Доказать можно, что она не въ своемъ умѣ завѣщала все, помимо прямыхъ наслѣдниковъ, своимъ крестьянамъ. Еще хорошо, что я успѣлъ въ это время, до ея смерти, подцѣпить жену съ деньгами и теперь могу вести процессъ изъ-за наслѣдства, а то вѣдь вышелъ бы изъ ея дома на палочкѣ верхомъ... Кстати она и надъ тобой въ своей духовной подшутила: завѣщала значительный капиталъ на устройство для крестьянъ богадѣльни

и больницы во имя св. великомученицы Варвары. Мать обрадовалась, какъ я сказалъ, что хочу вести процессъ... Совсѣмъ она у насъ «того» стала — изъ ума выжила: радуется не тому, что деньги большія можно добыть, а тому, что... смѣхъ просто!.. говоритъ: «вотъ увидитъ, каково законныхъ наслѣдниковъ лишать наслѣдства, каково говорить, что съ ворами у нея нѣтъ ничего общаго»... точно бабка изъ земли-то узнаетъ, кто получилъ ея капиталы и земли!..

— Твоя жена здѣсь съ тобою?—спросила Варвара, которую коробилъ весь этотъ разсказъ.

— Развѣ она можетъ хоть однѣ сутки пробыть безъ своего Женюши!—отвѣтилъ онъ съ пренебрежительной гримасой.—Я тебя съ нею не знакомлю — ты вѣдь эмансипированная барышня, а сіе тѣло для васъ, современныхъ дѣвицъ, интереса не представитъ. Да, признаюсь, и она... какъ тебѣ сказать это... брезгливо она смотритъ на барышень, которыя не то среди студентовъ въ университетѣ толкаются, не то по урокамъ да акушерствамъ треплются...

Варвара безмолвно улыбнулась.

— Значитъ, ты-то самъ заѣхалъ ко мнѣ только изъ личнаго родственнаго чувства...

Онъ развязно отвѣтилъ:

— Ну, конечно...

И уже какъ-то менѣе самоувѣренно прибавилъ:

— Да и мать, знаешь, просила заѣхать, поговорить съ тобою... Впрочемъ... я вполнѣ согласенъ въ этомъ съ Даниломъ... въ сущности, какое мнѣ дѣло, какъ ты живешь?.. Мать, конечно, любитъ носъ вездѣ совать, а мнѣ что?.. Слава Богу, ты великовозрастная... не вѣковать же въ старыхъ дѣвахъ... Ну, живешь съ Николаемъ Ивановичемъ, такъ и живи съ Николаемъ Ивановичемъ, а не съ Иваномъ Николаевичемъ... Конечно, было бы удобнѣе, если бы онъ былъ не женатъ и съ благословенія церкви скрутилъ бы... Ну, да это дѣло ваше... Конечно, скверно, что нужно будетъ ребятишекъ...

Варвара встала.

— Пожалуйста, ни слова болѣе объ этомъ! — рѣзко сказала она.

— Да чего ты кипятишься?.. Я вѣдь самъ человѣкъ безъ предубѣжденій... всего тоже попробовалъ... Я только заговорилъ, потому что мать просила. Говоритъ: «прокляну, если узнаю, что у нея дѣти будутъ».

Варвара пошатнулась, блѣдная, какъ полотно, точно ее ножомъ кольнули.

— Да ты плюнь на это!—проговорилъ онъ съ гримасой.— Во-первыхъ, для ребятъ Воспитательный домъ есть, а во-вторыхъ, всѣ эти материнскія проклятія яйца выѣденнаго не стоятъ.

XXII.

Настало время, когда Варвара оставила школу...

Оставляя ее ради того, что она готовилась быть матерью, она даже и не подозрѣвала, что невольное удаленіе изъ знакомаго кружка было, въ сущности, ея избавленіемъ отъ многихъ непріятностей. Задолго до наступленія весны, отказавшись отъ школы, она Перебралась въ одинъ изъ маленькихъ захолустныхъ городовъ Петербургской губерніи: побудило ее къ этому переселенію желаніе скрыться на время отъ всѣхъ знакомыхъ и, главнымъ образомъ, отъ Вѣры Васильевны; манила также и дешевизна жизни въ захолустномъ городкѣ, дававшая возможность просуществовать нѣсколько мѣсяцевъ безъ работы на скопленныя деньжонки и на тѣ гроши, которые могъ удѣлять ей Николай Ивановичъ. Нащокинъ сначала возсталъ противъ этого переселенія, противъ этой разлуки изъ-за ребенка, но Варвара настойчиво и твердо доказала ему, что ея здоровье и здоровье ихъ будущаго ребенка нуждаются прежде всего въ спокойствіи, а объ этомъ нечего было и думать въ Петербургѣ, гдѣ, съ одной стороны, идетъ вѣчная сутолока и бѣготня другъ къ другу разныхъ праздныхъ болтуновъ, и гдѣ, съ другой стороны, ежеминутно можно бояться появленія и дикихъ выходокъ Вѣры Васильевны, и не меньшихъ непріятностей отъ его жены. Кромѣ того, въ маленькомъ городишкѣ, при дешевой жизни, она можетъ дольше безъ посторонняго заработка продержать ребенка подъ своимъ неусыпнымъ надзоромъ.

— Правда, мы лично немного поскучаемъ, немного погорюемъ, но вѣдь нельзя же вѣчно только и думать, что о своихъ удобствахъ и удовольствіяхъ,—замѣтила, между прочимъ, она и тутъ же шутливо прибавила: — Зато какой я здоровой и бодрой вернусь. Вдвое больше прежняго любить будешь!

Онъ смотрѣлъ, однако, не весело.

— Вѣрь, голубчикъ, что я знаю, какъ тебѣ тяжело остаться безъ меня,—сказала она заботливо и ласково:—и

я никогда не уѣхала бы изъ Петербурга, если бы нужно было уѣхать только для себя... но я боюсь за свое дитя...

Она точно предчувствовала, что здѣсь, въ Петербургѣ, ей и ея ребенку грозитъ что-то, и она не обманулась.

Начиналось у насъ то лихорадочное время, когда многіе люди теряютъ голову и одни бросаются въ одну крайность, другіе въ другую, негодуя на обычное поступательное теченіе жизни — одни за то, что она не превращается во всесокрушающій Ніагарскій водопадъ, другіе за то, что она ни на минуту не течетъ вспять и иногда смываетъ въ своемъ теченіи всякую гниль. Не прошло и полугода послѣ переселенія Варвары изъ Петербурга, какъ исчезло нѣсколько сотрудниковъ школы, а вскорѣ прекратила свое существованіе и самая школа, послѣ ареста новой ея содержательницы. Такъ какъ дѣла, послужившія поводомъ къ этимъ арестамъ и взысканіямъ, были въ сущности ничтожны и относились только къ послѣднимъ днямъ существованія школы, въ которой за это время дѣлались сходки по вопросамъ, уже нисколько не касавшимся дѣла обученія, то Варвара и не была потревожена кѣмъ бы то ни было. Ее даже не разыскивали. Узнала она обо всемъ случившемся только изъ писемъ Николая Ивановича, котораго разъ пять призывали къ допросу. Первое полученное отъ него письмо, гдѣ сообщались печальныя новости, настолько сильно встревожило ее, что она готова была ѣхать въ Петербургъ со своей новорожденной Зоей. Но Николай Ивановичъ, получивъ ея тревожное письмо, поспѣшилъ ее успокоить. Онъ написалъ ей, что все дѣло—пустяки, выѣденнаго яйца не стоитъ, и потому тревожиться и волноваться нечего. Онъ даже описалъ юмористически свою случайную встрѣчу со своимъ «своякомъ», какъ онъ назвалъ шутливо Василія Артемьевича Иванова, и не безъ комизма описалъ, какъ, встрѣтившись на допросѣ съ этимъ господиномъ, онъ неожиданно спросилъ его: «Давно ли тотъ имѣлъ извѣстія о Евгеніи Пантелеймоновнѣ Чупруненко?» и еще болѣе неожиданно заставилъ его поблѣднѣть, какъ полотно, заявивъ ему: «Ея старшій братъ какое-то громкое дѣло въ судѣ поднять собирается».

«Я не добавилъ, что дѣло поднимается о наслѣдствѣ,— заканчивалъ Нащокинъ:—а блудливый котъ уже вообразилъ и скандалъ, ожидающій его, и, можетъ-быть, потерю мѣста, и чуть не упалъ въ обморокъ. Картина вышла презабавная»...

Это письмо, пересыпанное шутками и пустячками, до-

стигло своей цѣли и отлично обманую Варвару относительно настоящаго положенія дѣлъ.

А между тѣмъ въ Петербургѣ, среди знакомаго Варварѣ и Николаю Ивановичу кружка, попадались то тѣ, то другія личности, кто за какіе-то неосторожные разговоры, кто за держанье запрещенныхъ книгъ, кто за участіе въ какихъ-то сходкахъ и зловредныхъ планахъ. Не только закрылась школа — любимое дѣтище Николая Ивановича, — но и онъ самъ не отдѣлался одними призывами къ допросамъ, а нѣсколько времени находился даже подъ арестомъ. Правда, арестъ былъ не дологъ и было вполнѣ признано, что Нащокинъ не можетъ быть привлеченъ за что бы то ни было къ суду, но дома Николая Ивановича ждала не лучшая участь, чѣмъ въ тюрьмѣ.

— Я предвидѣла, я предвидѣла, что эта негодница погубитъ тебя! — рыдала, бросаясь къ нему на шею, Марья Алексѣевна.

Несмотря на то, что они были давно чужими другъ другу, она при каждомъ удобномъ случаѣ разыгрывала сцены вѣрной и нѣжной супруги.

— Не смѣй говорить ни слова о томъ, чего не знаешь!— прикрикнулъ на нее Николай Ивановичъ, отталкивая ее отъ себя, и закашлялся отъ волненія.

Этотъ раздражавшій его за послѣднее время кашель мучилъ его уже недѣли двѣ.

— Она мало что отняла у меня твою любовь, она загубить тебя самого хотѣла! — слезливо жаловалась, не унимаясь, Марья Алексѣевна.—Негодница! змѣя!..

— Я тебѣ говорю: замолчи! Не смѣй рта открывать объ этой женщинѣ, у которой ты недостойна развязать ремень у сапога,—крикнулъ онъ и, крѣпко стиснувъ ея крошечную ручку, съ силой отшвырнулъ плачущую женщину въ сторону, какъ гадину.

Она дѣйствительно, какъ гадина, возбуждала въ немъ теперь даже физическое отвращеніе, несмотря на свое херувимское, замѣчательно моложавое личико съ наивными голубыми глазами и сладкимъ голоскомъ. Почти съ омерзѣніемъ и ненавистью слѣдилъ онъ за каждымъ ея шагомъ и съ ужасомъ думалъ, что она вѣчно будетъ стоять на его дорогѣ, не брезгуя никакими средствами, чтобы жить у него на содержаніи, чтобы не отрываться отъ своего законнаго поильца и кормильца.

Не успѣло успокоиться волненіе, вызванное въ немъ его

женою, какъ неожиданно нагрянула въ его домъ Вѣра Васильевна. Это была все та же «торговка съ Сѣнной», какъ ее прозвалъ Бархатниковъ, но торговка въ шёлковомъ платьѣ и въ пляпкѣ съ перьями. Она явилась спеціально къ Николаю Ивановичу и заговорила ехидно вѣжливымъ тономъ:

— А я къ вамъ, достоуважаемый Николай Ивановичъ,— начала она. — Потрудитесь сообщить мнѣ, что вы сдѣлали съ моей дочерью и гдѣ изволите укрывать ее? Я, кажется, мать и имѣю полное право требовать отчета...

Николай Ивановичъ съ трудомъ собрался съ силами, чтобы говорить спокойно.

— На вашъ вопросъ я могу не отвѣчать,—сказалъ онъ:— такъ какъ я не знаю, желаетъ ли сама Варвара Пантелеймоновна, чтобы ея адресъ былъ сообщенъ вамъ.

— Что же, вы хотите, чтобы я черезъ полицію или черезъ третье отдѣленіе дѣйствовала?—ѣдкимъ тономъ спросила Вѣра Васильевна.

— Это ужъ какъ вамъ будетъ угодно,—сдержанно отвѣтилъ онъ, хотя сердце его сжалось.

— Да ужъ, конечно, какъ мнѣ угодно, а не такъ, какъ вамъ было бы угодно... Только помните, что вы у меня еще попляшете...

Началась безобразная сцена безчисленныхъ угрозъ глупой и вульгарной женщины, которая никакъ не могла понять, что она готова заварить кашу, которую придется расхлебывать ни въ чемъ неповиннымъ людямъ. Она приплела кстати и школу, въ которой будто бы только вывѣска школы была, а въ сущности происходили «заговоры», она перешла тутъ же и къ ни въ чемъ неповинной артельной мастерской, гдѣ работалъ Данила и гдѣ, по ея словамъ, будто бы уже обыски были, такъ какъ тамъ не работаютъ, а разбойниковъ-бунтовщиковъ готовятъ, въ родѣ ея «милаго сынка-мужлана». Было невозможно услѣдить за логикой этой женщины и добиться опредѣленно, чего она собственно хочетъ Отрывки слышанныхъ ею въ разныхъ мѣстахъ толковъ, свои собственныя измышленія, фразы, подсказанныя злобою, все перемѣшалось въ ея головѣ и приводило къ какимъ-то дикимъ выводамъ. «Перехватать васъ всѣхъ надо, на цѣпь посадить!»—кричала она и даже испугала Марью Алексѣевну, слушавшую все въ сосѣдней комнатѣ и отчасти науськавшую Вѣру Васильевну на своего мужа. Едва успѣла она уйти, какъ начались рыданія Марьи Алексѣевны:

— Погубитъ она, всѣхъ погубитъ! И, дѣтей своихъ, и

тебя! Ей ничего не стоитъ на всѣхъ донести. Что я-то тогда буду дѣлать?

Сжимая голову руками и глухо кашляя, Николай Ивановичъ скрылся въ свой кабинетъ отъ этого «ада». Этихъ пытокъ онъ не предвидѣлъ, не ожидалъ. Въ его головѣ мелькала одна мысль о томъ, какое великое счастье, что всего этого не знаетъ, не видитъ Варвара...

XXIII.

— Коля, голубчикъ! Вотъ неожиданный сюрпризъ! — вскричала Варвара, бросаясь съ раскрытыми объятіями навстрѣчу Николаю Ивановичу.

И тотчасъ же, почти въ ужасѣ, взглянувъ на его лицо, отступила съ вопросомъ:

— Да что съ тобой?.. Ты хворалъ?.. И ни слова не написалъ объ этомъ!.. Не грѣхъ ли?

Онъ самъ не замѣчалъ до этой минуты, насколько онъ измѣнился, похудѣлъ, осунулся, посѣдѣлъ.

— Ничего, ничего, голубка,—успокоивалъ онъ ее, слегка покашливая.—Зоя гдѣ?

— Спитъ! сейчасъ покажу!.. Да ты еще и кашляешь? Съ чего? Простудился? Что сказалъ докторъ? Вѣдь ты, вѣрно, совѣтовался съ кѣмъ-нибудь?

Онъ засмѣялся, обнимая и цѣлуя ее.

— Ахъ, ты, хлопотунья! Кашель... докторъ! Да кто же въ Петербургѣ не кашляетъ? Такой ужъ климатъ чудный!.. Гриппъ у всѣхъ... Вотъ погощу здѣсь и все, какъ рукой, сниметъ...

Онъ былъ счастливъ, какъ никогда. Его тѣшило все: и черноглазая Зоя, которая, по его мнѣнію, чутьемъ узнала, что онъ ей отецъ, и потому не боится его, и маленькія комнатки Варвары съ хозяйскими украшеніями изъ лубочныхъ картинъ на стѣнахъ и съ дешевыми жасминами и геранiумами на окнахъ, и Алена Митревна, ея квартирная хозяйка-мѣщанка необъятныхъ размѣровъ и такой же необъятной добродушной простоты и, главнѣе всего, то, что впервые въ жизни онъ можетъ прожить съ Варварой нѣсколько дней, какъ настоящій мужъ съ женою, подъ одной кровлей, никого не боясь, ни отъ кого не прячась.

— Хоть день да мой,—повторялъ онъ весело, въ сильномъ нервномъ возбужденіи ходя по комнатѣ и радостно потирая руки.—А это что за песъ?—спрашивалъ онъ Варвару, указывая на вахластую, толстоногую, рыжую собаку,

безъ церемоніи отворившую широкою мордой дверь и подошедшую къ нему, привѣтливо виляя огромнымъ хвостомъ съ всклоченною, какъ войлокъ, шерстью.

— А это Валетка — нашъ другъ и сторожъ, — отвѣтила Варвара.

— Валетка, Валетка! молодецъ ты!

Онъ началъ ласкать собаку.

— Ты и представить не можешь, до чего я счастливъ!— вырвалось у него невольное восклицаніе.

— Милый мой! — растроганно проговорила Варвара, цѣлуя его.

И никогда еще на крошечную Зою не сыпалось столькихъ поцѣлуевъ, какъ теперь. Отецъ положительно осыпалъ ее ими, и тутъ же мимоходомъ цѣловалъ Варвару. Никогда она не думала, что онъ такой нѣжный и страстный человѣкъ, точно впервые влюбленный юноша. Она была гораздо сдержаннѣе его, не проявляла такихъ бурныхъ порывовъ теперь, когда для нея уже существовала въ мірѣ не одна привязанность къ нему, а привязанность и къ нему, и къ Зоѣ. Тѣмъ не менѣе, ее не тяготили его радостныя ласки, и она была довольна, тронута до глубины души тѣмъ, что могла дать малѣйшею своею ласкою, однимъ нѣжнымъ словомъ столько счастья человѣку. Онъ забылъ даже о своемъ проклятомъ кашлѣ и смѣялся, когда она спрашивала, чѣмъ онъ лѣчится, что̀ принимаетъ: да какихъ же еще лѣкарствъ нужно ему, если около него она?

— И Зоя,— добавляла она.—Ты зачѣмъ Зою пропускаешь?

— Ну, да, да, и Зоя, и всѣ, всѣ добрые простые люди, и Алена Митревна, и Валетка!—какъ мальчикъ, смѣялся и шутилъ онъ.— Ахъ, Варя, Варя, какъ хороша иногда бываетъ жизнь!

Только мало-по-малу, обрывочно, мимоходомъ, точно что-то ничтожное и не заслуживающее вниманія, передалъ онъ все то, что̀ произошло съ нимъ и около него за время ихъ разлуки и о чемъ онъ не говорилъ совсѣмъ или говорилъ только вскользь въ своихъ письмахъ къ ней. Она ужасалась, возмущалась и, понимая, съ какой заботливостью онъ оберегалъ ея спокойствіе, въ порывѣ благодарности сжимала его руки, подносила ихъ къ губамъ, со слезами на глазахъ. Разсказывая объ угрозахъ ея матери, онъ разсказалъ ей, что ему съ трудомъ удалось образумить безумную старуху:

— И то, знаешь ли, при помощи кого? При помощи Евгена. Не вмѣшался бы онъ,—наварила бы она каши! Еще

какъ бы удалось расхлебать... Спасибо, онъ уладилъ все! Это теперь ея кумиръ и оракулъ. Что онъ сказалъ, то и свято. Прежде папочка, теперь онъ. И все это ради того, что онъ ведетъ процессъ по поводу завѣщанія бабки. Это ея мститель! Онъ за тебя вступился по моей просьбѣ. Ты вѣдь знаешь его терпимость — чтобы не сказать больше — по нѣкоторымъ вопросамъ. «Я, говоритъ, либеральныхъ взглядовъ держусь по вопросу объ отношеніяхъ мужчинъ и женщинъ. Слава Богу, самъ прошелъ эту школу, недаромъ же рыломъ вышелъ, отъ бабъ отбою не было. Такъ до этого и дѣла никому нѣтъ. Великовозрастные люди тутъ сами за себя отвѣчаютъ. Нельзя же требовать, чтобы мужчины и женщины дѣвственниками и дѣвственницами оставались. Это анормально!» Шутъ гороховый, туда же новыя слова гдѣ-то не то подслушалъ, не то понадергалъ: анормальность, негигіеничность, атрофированье... Ну, да все же спасибо ему—остановилъ мать отъ жалобъ и доносовъ на тебя и меня. А то бы такую кашу шальная баба могла заварить...

Онъ воздержался передать ей, что Вѣра Васильевна отказалась отъ доносовъ на дочь, но пригрозила ей заочно, что «умирать будетъ, а дочь на глаза не пуститъ, завѣщаетъ, чтобъ въ церковь на похороны матери ее не пускали».

— Вотъ Евгенію, такъ ту онъ не одобряетъ! — шутливо продолжалъ Николай Ивановичъ.

— А кстати, что она? — спросила Варвара. — Я и не спросила...

— Второй разъ ѣхать собирается, опять лѣчиться къ подругѣ!—сказалъ Нащекинъ.

— Развѣ помирились съ Василіемъ Артемьевичемъ? — удивилась Варвара.

— Нѣтъ, теперь юнкеръ какой-то на улицѣ познакомился,—коротко объяснилъ онъ.

— Ну. и что же мать?

— Мать жалѣетъ, что у нея Женюша стала такая слабенькая...

— Господи! что же ждетъ ее впереди?..

— Что?.. Это только Данила и рѣшается говорить откровенно вслухъ,—проговорилъ Нащекинъ.

— Онъ все такой же, какъ былъ? Вотъ кого хочется поскорѣй увидать!

— Да, вотъ еще увидишь его... если не пріѣдешь скоро въ Петербургъ, онъ собирался весной къ тебѣ придти пѣшкомъ... Странный человѣкъ онъ!.. Будь онъ уменъ, образо-

ванъ, начитанъ, я бы не такъ удивлялся въ немъ всему, что въ немъ есть... Людей опростѣлыхъ по принципу, смѣшно противорѣчащихъ самимъ себѣ на каждомъ шагу, ходящихъ въ смазныхъ сапогахъ и валяющихся въ нихъ на бархатныхъ диванахъ, много и теперь, и прежде не мало бывало... говорятъ какой-то графъ или князь въ ямщицкомъ костюмѣ еще при Николаѣ Павловичѣ ѣздилъ, пока какой-то фельдегерь не избилъ его за плохую ѣзду... А у Данилы все это не надуманное, не навѣянное книгами, а такъ отъ природы, точно врожденное... и, присмотрѣвшись къ нему, видишь во всемъ логичность, послѣдовательность.

Казалось, Варвара и Николай Ивановичъ не наговорятся, если бы ихъ оставить вдвоемъ однихъ на десятокъ дней: то и дѣло вспоминались мелочи и крупныя происшествія, бывшія во дни разлуки, дорогія и враждебныя имъ личности, шутки чередовались съ серьезнымъ, — и надъ ними во все это время не пролетѣло бы ни облачка, если бы не этотъ кашель, начинавшій уже серьезно безпокоить Варвару.

Она встревожилась бы еще сильнѣе, если бы узнала, что отъ времени до времени у Николая Ивановича стала показываться горломъ кровь...

Праздники, однако, летѣли быстро, и Николаю Ивановичу приходилось все чаще и чаще возвращаться къ тяжелой мысли: «скоро пора и въ Петербургъ».

— Не только тебя и Зою жаль оставить, — говорилъ онъ:—а даже полногрудую Алену Митревну жаль, и виляющій рыжій войлокъ Валетки жаль покинуть.

Онъ по обыкновенію шутилъ или, вѣрнѣе сказать, уже «старался» шутить. Онъ строилъ вмѣстѣ съ Варварой планы насчетъ того, что въ близкомъ будущемъ тронется отсюда въ Петербургъ и Варвара съ Зоей, такъ какъ пора ей и за свою работу приниматься. Мечтали опять о школѣ. Какъ только Зоя будетъ отнята отъ груди, такъ тотчасъ же Варвара и вернется въ Петербургъ. Нельзя же вѣчно проживать, какъ здѣсь, на гроши, или добывать достаточно денегъ какими-нибудь вязаньями да шитьемъ, какъ это она дѣлаетъ тутъ. Наконецъ, и здѣсь, какъ ни дешева жизнь, а все же скопленныя деньжонки уплываютъ незамѣтно. Да, да, скоро они встрѣтятся!

— Вотъ только бы теперь не разставаться ни съ Аленой Митревной, ни съ Валеткой, — шутилъ Нащокинъ: — а то ужъ больно я привязался къ нимъ... И вѣдь что въ нихъ такого особеннаго? Люди, какъ люди...

— Это Валетка-то?..—смѣялась Варвара.

— Умный ужъ очень онъ, чуть не говоритъ, — шутилъ Николай Ивановичъ:—потому и смѣшиваю его съ людьми... Тоже и подлецъ-человѣкъ, только позволь ему—сейчасъ разсибаритничается... не хочу, молъ, больше работать, хочу, задравши ноги вверхъ, на пуховикахъ валяться. Прежде это я только теоретически зналъ, а теперь—вотъ дай мнѣ волю, сложилъ бы ручки на животѣ и пальца о палецъ не стукнулъ бы. Ей-Богу!

И хотя онъ шутилъ — Варвара чутьемъ угадывала, что ему серьезно тяжело опять приниматься за обычную работу, что у него надорваны силы, что отдыхъ былъ слишкомъ кратковременный, что и кашель, и легкіе приступы лихорадки не только не прошли во время его кратковременнаго пребыванія у нея, но, пожалуй, и усилились, хотя онъ, все время радостно возбужденный, и не обращалъ на это никакого вниманія, даже смѣялся, когда она спрашивала:

— А у тебя, Коля, лихорадка?

— Еще бы, когда влюбленъ въ тебя, какъ мальчишка,— пояснялъ онъ.—Это любовная лихорадка!

— Да ты, милый, не шути этимъ!..

— Сохрани меня Богъ, чтобы я шутилъ такимъ святымъ чувствомъ, какъ любовь къ тебѣ...

— Нѣтъ, ты просто невозможенъ!

— Съ ума сошелъ отъ счастья, что-жъ мудренаго.

«О, если бы хоть годъ, хоть полгода онъ могъ прожить внѣ Петербурга, безъ обязательныхъ занятій, безъ домашнихъ дрязгъ», — мелькало въ ея головѣ, и тутъ же съ горечью она сознавала, что объ этомъ нечего и мечтать, что этого никогда не будетъ.

Честные труженики, какъ почтовыя лошади, должны затягиваться въ работѣ, работать черезъ силу вплоть до той минуты, когда подломятся ноги и когда настанетъ пора умереть. Въ ея сердцѣ пробуждалась глубокая жалость къ нему, къ себѣ, ко всѣмъ обездоленнымъ, и, разстроенная, она становилась еще нѣжнѣе съ нимъ, точно инстинктивно желая вознаградить его за невзгоды жизни. И на всю жизнь потомъ сохранились въ ея памяти звуки его голоса, шептавшаго ей:

— Ты и представить не можешь, сколько счастья дала ты мнѣ въ жизни... Да, да, ты не въ состояніи даже и представить, какъ я благодаренъ тебѣ за все... Ты вознаградила меня за все, что̀ переносилось въ жизни...

И она всю жизнь почерпала силы въ этомъ воспоминаніи, гордясь тѣмъ, что онъ, ея мужъ, не унесъ изъ союза съ ней въ душѣ ничего, кромѣ любви и благодарности къ ней. Въ этомъ было не только ея счастье, но и сила, и гордость.

Слушая его теперь, она бывала тронутою до слезъ выраженіемъ его признательности, но у нея не было въ головѣ даже подозрѣнія, что все это слышится ею въ послѣдній разъ, что этотъ милый ей голосъ уже никогда не назоветъ ее ласкательными именами.

XXIV.

— Береги себя, Коля! Когда пріѣдешь въ Петербургъ, сейчасъ же иди къ доктору! Такъ шутить своимъ здоровьемъ—грѣхъ!

Этими словами напутствовала Варвара Николая Ивановича, а вслѣдъ ей необъятная Алена Митревна напутствовала его благимъ совѣтомъ:

— Свиной жиръ съ медомъ, батюшка, варите да кушайте по чайной ложечкѣ, да сальной свѣчкой грудку на ночь растирайте, и всякій кашель, какъ рукой, сниметъ!

— Хорошо, хорошо, Варя, всѣхъ докторовъ на консиліумъ созову,—увѣрялъ Николай Ивановичъ Варвару и утѣшалъ Алену Митревну. — Цѣлый пудъ сальныхъ свѣчей съѣмъ и весь медомъ со свинымъ жиромъ намажусь!

— Ты все шутишь! — качала съ упрекомъ головой Варвара, а Алена Митревна добродушно улыбалась и отстаивала свое средство:

— Да, да, смѣйтесь, Миколай Ивановичъ! Ужъ только дѣлайте, какъ я сказала, а тамъ спасибо скажете. У меня свекоръ-то съ этого самаго лѣченья до девяноста лѣтъ жилъ, ажно опостылѣлъ всѣмъ!..

Не улыбались и не шутили только петербургскіе доктора, когда, въ концѣ-концовъ, Нащокинъ рѣшился обратиться къ нимъ: для нихъ сразу стало ясно, что у человѣка злая чахотка, при которой теченіе болѣзни считается не годами, а мѣсяцами и недѣлями. Они не сказали ничего самому больному, но не скрыли положенія дѣла отъ его жены. Этого было довольно, чтобы начались слезы и причитанія.

Если бы кто пожелалъ умышленно уморить своего ближняго, тотъ могъ бы только дѣйствовать такъ, какъ дѣйствовала Марья Алексѣевна, и результаты оказались бы блестя-

щими. А между тѣмъ, она боялась именно его смерти, зная, что у нея, въ случаѣ его смерти, не будетъ никакихъ средствъ къ жизни: ни умѣнья работать, ни умѣнья даже пріобрѣтать деньги беззастѣнчивымъ развратомъ — два-три раза во время супружеской жизни она уже заводила легкія интрижки и всякій разъ ее обманывали въ денежныхъ отношеніяхъ «противные мужчины». Тѣмъ не менѣе, просто вслѣдствіе своей глупости, она сама изводила своего мужа, то плача въ его присутствіи, какъ по покойникѣ, то причитая о томъ, что она теперь, несчастная, будетъ дѣлать, то скрывая приходившія къ нему отъ негодяйки Варвары, какъ она догадывалась по почтовому штемпелю, письма, то уничтожая его письма, адресованныя подъ извѣстными литерами въ провинцію до востребованія...

Онъ волновался, сердился и бранился ежедневно, страдая отъ разстройства нервовъ, сознавая, что онъ слабѣетъ съ каждымъ днемъ...

Прекратилось это тягостное положеніе незнанія, что дѣлается съ милыми сердцу людьми, только тогда, когда по письменной просьбѣ Варвары къ Николаю Ивановичу зашелъ Данила.

Съ свойственной ему прямотою, онъ выяснилъ Николаю Ивановичу суть дѣла: Варвара безпокоится, такъ какъ не получаетъ писемъ отъ Николая Ивановича, хотя она уже нѣсколько разъ писала ему. Больной взволновался. Онъ позвалъ служанку:

— Вы куда отправили письма, которыя я давалъ вамъ? Вы мнѣ отчего не подавали письма, которыя приносилъ почталіонъ?

— Барыня... барыня,—начала, заикаясь, служанка, испуганная видомъ больного.

— Я и васъ, и барыню... вонъ! вонъ отсюда!

Нащокинъ сдѣлалъ усиліе, поднялся во весь ростъ съ большого кресла, въ которомъ онъ полулежалъ въ халатѣ, и изъ его горла хлынула кровь. Онъ безъ силъ, съ широко открытыми глазами, опустился на мощныя руки Данилы.

— Уходили!—сквозь зубы проворчалъ Данила и бережно понесъ умирающаго больного на кровать.

XXV.

Для Варвары настали тяжелые дни...

Ее постигло не одно сердечное горе, но и застала врасплохъ та нужда, при которой не приходится разбирать, за

какое дѣло желательно взяться, къ чему лежитъ душа, а нужно только справляться, какая работа есть въ данную минуту, и браться за нее, хотя бы къ ней не было никакой любви и призванія. Это и есть то положеніе, когда говорится, что человѣкъ готовъ хоть камни ворочать, лишь бы не умереть съ голоду. Шить, вязать, дѣлать искусственные цвѣты, разные абажуры, давать уроки музыки, учить дѣтей у себя на квартирѣ и бѣгать по урокамъ въ чужіе дома,— она все готова была дѣлать, лишь бы не лишать никакихъ удобствъ свою дѣвочку. Тысячу разъ благословляла она въ душѣ нѣмецкую школу, гдѣ не только развили ея умственныя способности, но и сдѣлали рукодѣльницей. Иногда какой-нибудь затѣйливый абажуръ приносилъ ей больше выгоды, чѣмъ какая-нибудь серьезная работа. Ей удалось достигнуть не только того, что ея дѣвочка не нуждалась ни въ чемъ, но лѣтъ въ восемь упорнаго труда и всякихъ лишеній удалось даже прикопить кое-какія деньжонки, съ которыми она могла уже безъ особеннаго страха перебраться въ Петербургъ и начать хлопотать о дозволеніи открыть здѣсь снова школу—самую обыкновенную приготовительную школу, со взиманіемъ по три рубля въ мѣсяцъ съ каждаго ученика. Объ устройствѣ школы, выдающейся по дешевизнѣ, о какихъ-нибудь сотрудникахъ, о назначеніи часовъ на чтеніе популярныхъ статей по исторіи и географіи—не могло быть и помину. Надо было благодарить Бога, если ей разрѣшатъ открыть школу съ самой обыкновенной программой. Она знала только одно, что она всю свою душу вложитъ въ свое дѣло, лишь бы оно поставилось добросовѣстно, лишь бы никто не могъ упрекнуть ее за небрежность. Школу открыть разрѣшили. Этой удачей, какъ и всѣми другими удачами, она была обязана не одной себѣ, — по крайней мѣрѣ, въ этомъ была твердо убѣждена она сама, — а людской добротѣ, людской снисходительности. Вообще людскую доброту и людскую снисходительность она встрѣчала вездѣ! Во-первыхъ, какъ она сама говорила, ни одна мать родная не могла отнестись къ ней лучше, чѣмъ отнеслась къ ней Алена Митревна въ трудные дни потери Николая Ивановича. Во-вторыхъ, никто не швырнулъ въ нее, дѣвушку съ ребенкомъ, грязью, а, напротивъ того, всѣ принимали въ ней участіе, то-есть давали ей въ тяжелые для нея дни работу, какая была у нихъ подъ руками, и не только не дали ей умереть съ голоду, а даже помогли выбиться изъ крайней нужды.

Со времени постигшаго ее горя,—съ того времени, когда появились на ея лицѣ преждевременныя морщины, а въ темныхъ волосахъ заблестѣли серебряныя нити сѣдыхъ волосъ,—въ ея характерѣ произошла сильная перемѣна, какія происходятъ въ людяхъ только вслѣдствіе сильныхъ нравственныхъ потрясеній: ея энергія къ труду не только не пропала, но даже усилилась; пропала только молодая самоувѣренность, пропала гордость собою, и на смѣну этихъ чувствъ явилось, можетъ-быть, преувеличенное сознаніе всѣхъ своихъ прошлыхъ вольныхъ и невольныхъ ошибокъ; покорно перенося всякія невзгоды и обиды, какъ нѣчто заслуженное ею, она вездѣ и всюду видѣла и цѣнила теперь только участіе людей къ ней,—цѣнила его выше всего, такъ какъ именно оно было ей теперь нужнѣе всего, — цѣнила его, ни на минуту не задумываясь о томъ, что, можетъ-быть, это участіе оказывается ей потому, что она вполнѣ заслужила его своими личными достоинствами, что люди не отказываютъ ей въ работѣ вовсе не по своей добротѣ, а потому, что она превосходно работаетъ и беретъ самую ничтожную плату, боясь назначить высшую изъ страха потерять работу...

Потомъ, спустя долгіе годы, уже въ Петербургѣ, имѣя опять школу, находясь около своего милаго Данилы, грубо разругавшагося съ матерью изъ-за сестры, не принятой ею, и жившаго теперь съ Варварой, когда Варварѣ приходилось почему-либо вспомнить прошлое, все то, что когда-то пережилось ею — она никогда не могла опредѣлить, какъ могла она пережить время смерти Николая Ивановича, не сойти съ ума и не наложить на себя рукъ. Иногда ей казалось даже, что нѣкоторое время она страдала тихимъ умопомѣшательствомъ, и люди не замѣчали этого только по своей снисходительности, да потому, что она сохраняла еще способность работать, какъ машина, какъ автоматъ. Не будь добрыхъ людей, — она не пережила бы этого времени. Она не могла опредѣлить даже того, думала ли она въ то время о Зоѣ, которую оставила на нѣсколько недѣль на попеченіи Алены Митревны, какъ чужую, какъ собачонку, ускакавъ неожиданно въ Петербургъ при первой страшной вѣсти, полученной отъ Данилы, — вѣсти о томъ, что Николай Ивановичъ очень плохъ. «Дочь даже могла забыть, вотъ до чего дошла!»—мысленно упрекала она себя потомъ и, какъ бы искупая этотъ грѣхъ передъ ребенкомъ, удвоивала свои заботы о немъ... Можетъ-быть, впервые въ

жизни Данила тогда покривилъ душой, не сказалъ правды,— не сказалъ, боясь убить сестру роковой вѣстью о томъ, что Николай Ивановичъ не плохъ, а уже умеръ на его рукахъ. Она совсѣмъ смутно помнила, какъ пріѣхала въ Петербургъ, въ какомъ мѣстѣ ее встрѣтилъ поджидавшій ее Данила, куда онъ повелъ ее на ночь, не пустивъ сразу къ Николаю Ивановичу, и какъ, уложивъ ее на постель и гладя по головѣ и по щекѣ мозолистою рукою, какъ больного ребенка, подготовлялъ постепенно къ роковой вѣсти о томъ, что завтра утромъ назначены похороны Нащокина... Врѣзались въ ея память только двѣ сцены, бывшія въ это роковое утро: первая, какъ какая-то женщина чуть не около ея уха у гроба покойника рѣшилась шипящимъ тономъ назвать ее, рыдавшую надъ прахомъ и чуть не потерявшую разсудка, «безстыдницей», и какъ въ этомъ голосѣ съ ужасомъ она узнала голосъ родной своей матери, и вторая — это внезапное умиленіе, охватившее ее, когда гробъ дорогого друга понесли плачущія дѣвушки, его бывшія ученицы, никому не позволившія тратиться на его похороны и хоронившія его на свой счетъ, и это умиленіе заставило ее на время забыть и злобу матери, и свое положеніе незаконной жены, и вспомнить только одно, что этотъ, такъ горячо любимый сотнями молодежи, покойникъ былъ счастливъ только ея ласками, черпалъ силы на свою дѣятельность только въ ея привязанности...

Разсказъ объ этихъ похоронахъ былъ любимымъ ея разсказомъ, и часто потомъ она повторяла его своей Зоѣ, показывая той на кладбищѣ роскошный бѣлый мраморный крестъ съ лаконической надписью позолоченными буквами: «Дорогому учителю благодарныя ученицы».

Съ какой гордостью говорила она:

— Такой почести удостоивается одинъ изъ тысячи!

И при вопросѣ дочери, разсѣянно смотрѣвшей по сторонамъ и скучавшей на кладбищѣ:

— Мама—мы теперь домой пойдемъ?

Она тихо вздыхала и прибавляла какъ бы въ раздумьѣ:

— Какое великое несчастіе, что ты его не знала!

И затѣмъ много-много говорила о томъ, какъ онъ любилъ свою крошечную Зою, — теребившую его густые волосы и тянувшуюся за его очками, — любилъ, серьезно воображая, что она — еще безсмысленное дитя въ то время — уже сознаётъ, что онъ ея отецъ.

— Это, мама Варя, было, когда мы еще у той толстой бабы жили?—спрашивала Зоя разсѣянно.

— Да, Зоечка, у Алены Митревны, — отвѣчала мать. — Но зачѣмъ ты ее зовешь всегда толстой бабой?.. Точно выражаешь этимъ пренебреженіе или насмѣшку...

— Ахъ, мама Варя, вѣдь она же и точно баба! — говорила Зоя.

— Это добрѣйшее существо... и я, и ты такъ много обязаны ей,—поясняла мать.

— Да ты же, мама Варя, всѣмъ считаешь себя обязанной,—вскользь замѣчала дочь.

— Она положительно выходила тебя, — поясняла опять Варвара.

Зоя не возражала: она съ самыхъ раннихъ лѣтъ поняла, что у доброй мамы Вари есть одна слабость — сентиментальность и, какъ слѣдствіе ея, склонность преувеличивать разныя людскія добродѣтели, видѣть чуть не во всѣхъ людяхъ своихъ помощниковъ и благодѣтелей, точно въ мірѣ не идетъ вѣчная борьба за существованіе, точно человѣкъ человѣку—не волкъ! Мама Варя—такая труженица, такая самоотверженная, и потому, конечно, съ нею нечего спорить по этому вопросу, нечего ее огорчать... Хотя это иногда и бѣситъ: все кажется, что у нея нѣтъ чувства собственнаго достоинства или что всѣ ей какія-то милости оказываютъ.

— Финтитъ она у тебя очень!—замѣчалъ Данила, отдыхая съ Варварой въ маленькой уютной гостиной за вечернимъ чаемъ, послѣ цѣлаго дня работы, и слѣдя глазами за граціозной фигуркой черноокой красавицы Зои, удалявшейся изъ комнаты, напѣвая себѣ подъ носъ что-то веселенькое, какъ весенняя пѣсня беззаботной птички.

— То-есть, какъ это финтитъ, голубчикъ?—съ ласковой улыбкой спрашивала въ недоумѣніи Варвара.

— Да такъ: дѣвчонкѣ едва четырнадцать лѣтъ, а она взрослую барышню разыгрываетъ,—поясняла Данила:—ходитъ—бедрами вертитъ, подумаешь, испанка какая-нибудь; говорить станетъ—все приговоры...

— Да вѣдь и ты самъ въ этомъ грѣшенъ, — замѣчала Варвара.

— Такъ я, слава Богу, пожилъ, говорю о томъ, что знаю, — возражалъ онъ. — А у нея твое молоко на губахъ не обсохло...

Онъ оскорблялся за Варвару, когда съ ней спорила Зоя.

Впрочемъ, Зоя спорила рѣдко: изречетъ свой приговоръ и замолчитъ, не то щадя бѣдную маму Варю, не то признавая вообще всякіе споры излишними.

— Одна росла — развилась рано, самостоятельно, — поясняла Варвара Данилѣ.—Я все за работою, я все въ хлопотахъ, ну, она и... развилась рано, по-своему... Горько вспомнить иногда: придешь, бывало, вечеромъ, она ласкается, а я ни рукъ, ни ногъ, ни головы не чувствую отъ усталости, говорю: «Зоечка, спать, милочка, пора! Мама Варя устала»... А ребенку, можетъ-быть, поболтать о чемъ-нибудь хотѣлось, тоже мыслишки разныя въ головѣ бродили; развѣ она была виновата въ томъ, что я устала?

— А ради кого же уставала-то? — спрашивалъ Данила рѣзко.

— Ради себя... ради себя, Данила,—торопливо говорила Варвара.—Не ей же было платиться за то, что и я хотѣла когда-то быть счастливою... я наслаждалась счастіемъ, ну, мнѣ слѣдовало и платиться за это...

Варвара въ смущеніи путалась, не зная, какъ объяснить, что ея дѣвочка иногда смотритъ ужъ черезчуръ самостоятельной для своего возраста. Впрочемъ, вѣдь это такъ просто; она и физически развилась очень рано; всѣ принимаютъ ее чуть не за семнадцатилѣтнюю дѣвушку, балуютъ похвалами ея красотѣ, мальчишки разные на улицѣ, когда она изъ гимназіи идетъ, поджидаютъ, засматриваются... И что нынче за молодежь: ни увлеченія добромъ и правдою, ни возвышенныхъ стремленій, ни великихъ задачъ; одна чувственность, одно желаніе насладиться жизнью для себя, и только... Впрочемъ, ихъ осуждать не приходится, сами мы во всемъ виноваты... да потомъ, и дурная это привычка у отживающихъ—бранить всѣхъ, кто начинаетъ жить. Это первый признакъ старости. Въ нихъ, въ этихъ юнцахъ, можетъ-быть, въ сущности ничего нѣтъ дурного, а просто: въ нихъ естественная заносчивость молодости, а мы—говорить мы съ ними не умѣемъ, все хотимъ менторствовать... Варвара конфузилась, все больше и больше путаясь въ своихъ объясненіяхъ.

— Набаловала ты ее, вотъ и финтитъ!—рѣзко и коротко объяснялъ Данила.

— Ужъ очень не сладко ей жилось,—горячо вступалась за дочь Варвара:—такъ нельзя же было иногда и не побаловать!.. По опыту мы знаемъ съ тобою, каково жить безъ радостей въ жизни, да еще и безъ любви матери...

— Ну, мнѣ-то на это наплевать!- вставлялъ Данила. — Матери же хуже, если злоба на родныхъ грызетъ, а у меня совѣсть чиста... мнѣ что?

Но Варвара, не слушая его, продолжала защищать Зою:

— Я рада, что у Зои, по крайней мѣрѣ, сердце доброе... задоръ же пройдетъ...

— Ну, да, ничимъ готова отдать послѣдній свой грошъ,— вставилъ Данила:—чтобы не надоѣдали ей нытьемъ... звали ее доброй барышней.

— Она же знаетъ, что все, что мое, то ея... слава Богу, еще не считаемся грошами,—кончала тревожившій ее разговоръ о дочери Варвара.

Это были легкія облачка въ ея жизни, и они набѣгали на свѣтлый горизонтъ этой трудовой будничной жизни только потому, что у Данилы были ужъ такіе странные прямолинейные взгляды. Чѣмъ старше становился онъ, тѣмъ нетерпимѣе относился къ людямъ, особенно къ молодежи, точно всѣ могли такъ жить, какъ онъ. «Финтятъ», «носъ задираютъ», «пустозвонные хлыщи», «пакостники развратные, развратить ребенка каждаго готовы, лишь бы удовлетворить свое сластолюбіе», «за новые штаны да модные галстучки не то, что отца съ матерью, а Бога продадутъ», «кто не пьяница, да не развратникъ, тотъ, по ихъ мнѣнію, смѣшонъ и глупъ, потому что жизнью не умѣетъ пользоваться»,— всѣ эти приговоры слетали съ его губъ все чаще и чаще. Самъ же онъ жилъ попрежнему столярной работой, неприхотливо, сводя свои потребности чуть не къ нулю. «Меньше нужно человѣку—меньше у него горестей»,—пояснялъ онъ...

— Это кто у васъ въ домѣ мужчина?—спрашивали знакомые гимназисты и гимназистки у Зои, видя сторонившагося отъ нихъ и угрюмо проходившаго въ свою каморку Данилу въ его неизмѣнной рабочей блузѣ.

— Это маминъ молочный братъ!—находчиво отвѣчала Зоя, краснѣя до ушей.

— Изъ крѣпостныхъ?—спрашивали ее.

— Теперь же нѣтъ крѣпостныхъ,—отвѣчала она, уклоняясь отъ прямого отвѣта.

XXVI.

Красавица Зоя очень рано,—съ той поры, какъ она начала помнить себя и сколько-нибудь ясно сознавать окружающее—поняла, что ея мама Варя,—милая, добрая, бѣдная мама Варя,—дѣлаетъ глубокую ошибку: благодаритъ тѣхъ.

кто наваливаетъ на нее работу, и надрывается надъ добросовѣстнымъ исполненіемъ этой работы, которую оплачиваютъ грошами.

Трудно сказать, что впервые навело юную головку на эти мысли.

Можетъ-быть, испытываемая ею въ дѣтствѣ скука одиночества, когда она оставалась по цѣлымъ часамъ на попеченіи глупой «толстой бабы» во время отсутствія матери, дававшей въ городѣ уроки, и до зѣвоты разсматривала книжечки съ глупыми картинками, какими-то небывалыми добрыми феями и такими же небывалыми волшебными дворцами, тогда какъ кругомъ въ плоскомъ, не живописномъ русскомъ уѣздномъ городишкѣ, какъ она знала, нигдѣ не было ни фей, ни дворцовъ, а были только толстые, малоподвижные купцы и купчихи, жалкіе, обтерханные мужики и бабы, убогіе, покосившіеся на бокъ, домишки и длинные-длинные деревянные заборы, окаймлявшіе грязныя улицы со свиньями, курами и дворняжками, сжившимися съ этой родной грязью?.. Можетъ-быть, вздохи этой же глупой «толстой бабы», нерѣдко жалостливо говорившей, что «наша-то голубушка Варвара Пантелеймоновна ночей не доспитъ, а работу свою исполнитъ, только люди-то этого цѣнить не умѣютъ; сколько ни бейся—спасибо не скажутъ; недаромъ говорится, что отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ!..» Можетъ-быть, горькое чувство, закрадывавшееся въ душу ребенка при видѣ того, какъ дорогая мама Варя дни и ночи корпѣла надъ шитьемъ какого-нибудь наряднаго платьица неуклюжей купеческой дочери къ предстоящему храмовому празднику и, вырабатывая этимъ каторжнымъ трудомъ гроши, не могла сдѣлать своей собственной дочери даже простенькаго наряда къ тому же празднику, чтобы и ея дочь появилась въ новомъ платьицѣ у обѣдни рядомъ съ этой расфуфыренной лабазницей?.. Можетъ-быть, раздражительныя слова двѣнадцатилѣтняго Ваньки-лоботряса, племянника глупой «толстой бабы», который озлобленно «жаловался» ей, маленькой барышнѣ, на то, что «толстопузый»-то, то-есть его хозяинъ-лавочникъ, лопнуть отъ жиру готовъ, а ихъ, мальчиковъ да подручныхъ, впроголодь держитъ продъ и хоть бы въ церковь, а не то что погулять или въ бабки поиграть, когда-нибудь отпустилъ,—такъ нѣтъ и того?.. Можетъ-быть, сладкія рѣчи того гимназиста, покручивавшаго пальцами около того мѣста, гдѣ впослѣдствіи должны были вырасти у него усы,—рѣчи о томъ, что она

Зоя—счастливица, можетъ одной своей красотой затмить всѣхъ нарядныхъ барышень, при чемъ онъ даже пояснилъ, что онъ лично промѣняетъ сотни расфуфыренныхъ красавицъ на одну Венеру Медицейскую?.. Трудно разобраться въ сложныхъ жизненныхъ вліяніяхъ, формирующихъ съ дѣтства тотъ или другой характеръ. Можно было сказать только одно, что Зоя уже на пятнадцатомъ году говорила матери, работавшей въ своей школѣ:

— Мама Варя, вѣдь ты убиваешь себя, распинаясь такимъ образомъ за всю эту мелкоту!

— Да развѣ можно, Зоечка, кое-какъ свое дѣло дѣлать?— возражала Варвара.—Это мой святой долгъ...

— А ты помнишь, что̀ сказалъ инспекторъ училищъ, когда ты, по своему обыкновенію, волновалась и возмущалась тѣмъ, какъ трудно искоренять дурные привычки и пороки, развившіеся въ дѣтяхъ дома въ жалкой средѣ?— спрашивала Зоя, щуря свои большіе, черные, чуть-чуть близорукіе глаза.—«Ваша школа,—сказалъ онъ тогда, какъ ты сама потомъ говорила дядѣ,—отлично идетъ, она лучшая въ моемъ участкѣ, но напрасно вы хотите придать ей воспитательное значеніе: ваши ученики—текучая вода. Сегодня здѣсь, завтра—въ другомъ мѣстѣ. Вы только измучите себя, исправляя ихъ нравы»...

— Ну, и Богъ съ нимъ,—отвѣчала Варвара.—Сотню не исправлю, такъ хоть одинъ скажетъ мнѣ спасибо потомъ за мое вліяніе. Да и своя совѣсть спокойна будетъ.

— А здоровье?—спрашивала Зоя.—Ты забываешь, что твое здоровье нужно и тебѣ, и мнѣ?

Варвара умилилась.

— Милая, ты все о моемъ здоровьѣ безпокоишься! Я обтершѣлась, я оббилась! А, знаешь, битая посуда два вѣка живетъ!..

Она цѣловала свою прелестную Зою.

— О, если бы ты знала, какъ я ненавижу всѣхъ людей, заставлявшихъ и заставляющихъ тебя работать, отнимавшихъ и отнимающихъ у меня маму Варю!—произносила Зоя страстно.

Мать даже не упрекала ее за это, зная, что эти горькія фразы вырываются изъ груди дочери только ея горячею любовью къ матери. Вѣдь и точно трудъ всегда отвлекалъ ее отъ дочери. Сколько разъ въ теченіе цѣлаго дня онѣ не могли провести вдвоемъ какого-нибудь часа времени. Но что же дѣлать, если онѣ не могутъ жить безъ этого упое-

наго труда? Трудъ цѣнится такъ дешево, оплачивается такъ скудно, а сколько нужно денегъ, чтобы хорошо, гигіенично обставить ребенка и обучить его такъ, чтобы онъ потомъ могъ быть полезнымъ работникомъ! Бѣдная дѣвочка не знаетъ, какъ дорого стоитъ жизнь, и ея любящее сердце требуетъ только одного, чтобы ея мама Варя была всегда съ нею! Ахъ, если бы это было возможно! Какое это было бы счастіе. Но бѣднымъ счастье дается только на минуты за долгіе дни лишеній. И они большею частью благодарятъ судьбу за эти минуты... Ей вспомнился тогда ея незабвенный другъ. Какъ онъ ликовалъ, когда и ему судьба дарила эти минуты счастія!.. Какая дѣтски-чистая радость наполняла тогда его душу!..

Можетъ-быть, она умилилась бы еще болѣе любовью къ ней Зои, если бы узнала, что однажды, уже на пятнадцатомъ году, возвращаясь съ матерью съ кладбища, Зоя задумалась надъ однимъ обстоятельствомъ: почему ея отецъ носилъ фамилію Нащокина, а она носитъ фамилію Чупруненко, какъ и мама Варя, и дядя Данила? Неужели мама Варя—дѣвица? Неужели она, Зоя—незаконная дочь? Смутно, крайне смутно начали ей вспоминаться слова глупой «толстой бабы» о томъ, «что у мамы Вари и пенсіи-то нѣтъ», что и пенсію-то «та, другая, подлянка», получаетъ даромъ, что «она убила мужа». Что это бредъ или дѣйствительность? Не воспоминанія ли это о какомъ-нибудь снѣ, видѣнномъ въ дѣтствѣ? Нѣтъ, не можетъ быть. Чѣмъ болѣе напрягала она память, тѣмъ яснѣе воскресали въ ней всѣ эти фразы «толстой бабы». Наконецъ, она поняла вполнѣ, что дѣйствительно ея мать—дѣвушка, что она сама—незаконнорожденная. Это открытіе сильно поразило ее. Но состраданіе къ матери заставило ее промолчать объ этомъ и, не шокируя мать разспросами, только мысленно повторить нѣсколько разъ:

— Жалкая, жалкая мама Варя!

Она окончательно почувствовала, что она стоитъ выше бѣдной и жалкой мамы Вари. Та, вѣрно, и всегда была такою... она не могла сразу подыскать подходящаго выраженія: въ головѣ вертѣлись смутно какія-то опредѣленія, какіе-то эпитеты, но изъ этого ничего не выходило...

XXVII.

Зоя ни слова не проговорилась матери о томъ, что она догадывается, что мать никогда не была замужемъ,—но

проговорилась даже и тогда, когда случайно при ней зашелъ щекотливый разговоръ о Вѣрѣ Васильевнѣ.

Какъ-то разъ Данила, вернувшись съ работы домой и сидя за чаемъ, проговорился неосторожно при Зоѣ, которая сидѣла въ уголкѣ, на маленькомъ угловомъ диванчикѣ за отдѣльнымъ столикомъ, читая при свѣтѣ лампы книгу и по глотку прихлебывая чай:

— Сейчасъ Евгена встрѣтилъ: говоритъ, что мать очень больна... Исповѣдывалась и пріобщалась...

— Ахъ, Боже мой! Неужели и теперь не пустятъ къ ней?—воскликнула взволнованная Варвара.

— Ну, чего тамъ!.. Не зачѣмъ и идти, разстраивать себя,—сказалъ Данила.— И я-то глупъ, что некстати проговорился...

— Но ты-то вѣдь пойдешь къ ней?—спросила Варвара.

— Завтра передъ работой обѣщалъ зайти,— неохотно отвѣтилъ онъ.- Хотя, признаюсь, охоты большой нѣтъ: Господь ее знаетъ—обрадуется ли приходу, или только еще пуще раздражится да еще, чего добраго, хуже ей станетъ... Кто ихъ знаетъ, взбалмошныхъ-то людей!

Варвара стала разспрашивать, чѣмъ больна мать. Она уже нѣсколько лѣтъ не видалась со своими родными и не знала почти ничего, что у нихъ дѣлается. Слышала только мелькомъ, что Евгеній хотя и проигралъ дѣло о духовномъ завѣщаніи, но сдѣлался банковскимъ дѣльцомъ и живетъ припѣваючи со своей богатой женой. Евгенія сперва раза три ѣздила къ никому невѣдомой подругѣ поправляться отъ невѣдомой болѣзни, а потомъ, должно-быть, окрѣпла и уже не имѣла надобности ѣздить для поправленія здоровья, а просто веселилась, то съ офицерами, то съ юнкерами, и это, очевидно, уже не приносило вреда ея здоровью. О матери Варвара старалась совсѣмъ не говорить, чтобы не бередить сердечныхъ ранъ. Теперь ее удивило и опечалило извѣстіе о серьезной болѣзни матери. Она спросила:

— Да чѣмъ же она больна?

— Ракъ въ печени, что ли, или въ желудкѣ, не знаю хорошенько... Пьянство-то до добра видно не доводитъ,— пробормоталъ онъ.

— Пьянство? что ты говоришь!—воскликнула она въ ужасѣ.—Ты мнѣ ничего прежде объ этомъ не говорилъ!

— Чего-жъ судачить про мать?.. Давно это началось... сперва тайкомъ... пивко тянула... потомъ водочку отъ желудка... Дѣло извѣстное, какъ привыкаютъ къ этому без-

образію: однѣ съ горя, другія съ радости, третьи для поправленія здоровья... Не она первая, не она послѣдняя...

— Я никогда этого прежде не замѣчала, — замѣтила Варвара.

— Да это послѣ тебя началось... какъ разъѣхались, тогда и началось,—пояснилъ онъ.

— Послѣ меня?.. Господи, еще, можетъ-быть, я была причиною... я никогда этого не прощу себѣ!..—воскликнула Варвара, блѣднѣя.

— Ну, вотъ еще, выдумывай!.. Мало горя—изобрѣти новое... Съ такой-то жизни, какъ ея жизнь была, сопьешься... Однако, мнѣ и на боковую пора... завтра пораньше встать придется, чтобы къ нашимъ забѣжать до работы... или во время работы... рабочихъ-то часовъ ради болѣзни матери не убавятъ...

Когда Данила ушелъ, Варвара совсѣмъ забылась. Тысячи скорбныхъ думъ проходили въ ея головѣ. Опустивъ голову, вспоминая прошлое, то горько упрекая себя, то признавая себя правой и съ горечью обвиняя мать, она водила по подносу чайной ложкой, по пролитой на него водѣ, и даже не замѣчала, что по ея морщинистому лицу текутъ одна за другой обильныя слезы. Ставя на столъ свою чашку и видя, что лицо матери все въ слезахъ, Зоя мелькомъ спросила:

— О комъ это говорилъ дядя, что кто-то умираетъ?

— Твоя бабушка! — грустно сказала Варвара. — Моя родная мать!

— Я даже и не знала, что она еще существуетъ!—замѣтила Зоя.

— Сердита на меня была... Противъ ея воли я поступила...—начала Варвара и смутилась еще болѣе: «не настала ли тяжелая минута исповѣди и покаянія передъ дочерью?.. Господи, какъ начать?» Всю жизнь она старалась обходить этотъ вопросъ...

Но, прежде чѣмъ она успѣла открыть ротъ, Зоя проговорила:

— Ты, мама Варя, еще чайную посуду перемывать будешь... а я пойду спать... Устала сегодня что-то.

И, совершенно спокойная, равнодушная къ слезамъ матери о какой-то невѣдомой ей бабкѣ, она поцѣловала мать и направилась въ спальню.

«Слава Богу, слава Богу, что она ничего не знаетъ, не понимаетъ и не можетъ интересоваться мамой, которую никогда не знала и о которой я ничего ей прежде не гово-

рила,—думалось Варварѣ.—А то ужъ я чуть не созналась во всемъ... Господи, одну ошибку сдѣлала, а годы цѣлые плачусь за нее... не тѣмъ плачусь, что самой тяжело, а тѣмъ, что Зоя упрекнуть можетъ, что она несчастлива отъ этого»...

На третій день, у Варвары было неожиданное свиданіе съ Евгеніемъ Пантелеймоновичемъ по поводу смерти Вѣры Васильевны. Онъ пріѣхалъ не только извѣстить сестру о смерти матери, о чемъ она могла узнать наканунѣ и отъ Данилы, но и сказать ей, что онъ рѣшилъ пригласить ее на похороны. Онъ, съ обычной своей развязностью, небрежно объяснилъ ей:

— Она, положимъ, запретила пускать тебя на похороны къ ней...

— Господи, уносятъ ненависть даже въ могилу!—воскликнула Варвара.

— Но это пустяки, всѣ эти посмертныя воли, материнскія проклятія,—рѣшилъ Евгеній.—Я же стою выше всего этого, и потому ты можешь зайти сегодня на панихиду и завтра на похороны.

Варвара не удержалась и заплакала.

— Неужели даже за гробомъ мы будемъ врагами?—вырвалось у нея стономъ.

— Все это предубѣжденія и предразсудки!—замѣтилъ онъ, дѣлая гримасу и пожимая плечами.—А что твоя дочь! говорятъ, уже большая! Ты меня извини, что я не бывалъ у тебя... Но вѣдь ты знаешь, у меня столько дѣла, въ трехъ банкахъ въ правленіи числюсь... потомъ и думскія дѣла, и дѣла по своему дому... Конечно, я могъ бы познакомить тебя со своею женою, но; право, это обѣимъ вамъ не принесло бы особеннаго удовольствія... разныхъ полюсовъ люди... Ты волей-неволей гнешь горбъ надъ глупѣйшей работой, а она—ей нужны выѣзды, общество...

Въ комнату вошла Зоя и въ недоумѣніи остановилась въ дверяхъ, видя плачущую мать и незнакомаго ей, небрежно развалившагося въ креслѣ, богато одѣтаго и очень краснваго господина.

— Бабушка вчера умерла,—наконецъ, пояснила сквозь слезы мать, замѣтивъ Зою, стоящую въ дверяхъ.—Это твой дядя Евгеній!

Зоя сдѣлала чуть замѣтный церемонный реверансъ и слегка наклонила головку. Въ ея манерахъ было много граціи и сознанія своего достоинства.

— Ого, портретъ почтенной Марьи Никоновны,—сказалъ Евгеній Пантелеймоновичъ, разглядывая замаслившимися глазами племянницу съ ногъ до головы. — Ея портретъ, снятый съ нея масляными красками въ дни молодости, я видѣлъ у нея въ домѣ... Позвольте же съ вами познакомиться, прелестная племянница!

Онъ протянулъ Зоѣ руку. Та протянула свою и, поднявъ скромно опущенныя до сихъ поръ густыя черныя рѣсницы, взглянула на Евгенія Пантелеймоновича и съ улыбкой спросила:

— А кто же эта Марья Никоновна, на которую, по вашимъ словамъ, я такъ похожа?

— Вы не знаете Марьи Никоновны, прелестная племянница? возможно ли это? Это ваша прабабка, покойная княгиня Стронина, урожденная княжна Волховская.

Зоя пожала плечами, съ пренебрежительной гримасой на лицѣ.

— Мама Варя никогда не считала нужнымъ знакомить меня съ кѣмъ бы то ни было изъ своихъ родныхъ.

Это было сказано спокойно, совершенно равнодушно, какъ подтвержденіе простого существующаго факта, безъ какого бы то ни было оттѣнка одобренія или неодобренія этому факту; но въ сердцѣ Варвары въ этихъ словахъ послышался упрекъ. О, если бы Зоя знала, почему она, Варвара, избѣгала говорить ей о своихъ родныхъ. Вѣдь ея родные—вовсе не родные Зоѣ; каждый изъ нихъ могъ отказаться отъ родства съ этой незаконнорожденной!..

XXVIII.

Зоя была на одной изъ вечеринокъ, въ кружкѣ знакомой зеленой молодежи—выпускныхъ гимназистовъ и гимназистокъ—и десятка тѣхъ людей, перешедшихъ предѣлъ среднихъ лѣтъ, которые кокетливо желаютъ молодиться и, жалко лакействуя и лицемѣря, панибратствуютъ съ безусыми юнцами, подсмѣивающимися исподтишка надъ ними, какъ подсмѣиваются цвѣтущія молодостью и здоровьемъ дѣвушки надъ втирающимися въ ихъ кружки, подрумянивающими свои морщины, старыми дѣвами.

Какъ во всякомъ слишкомъ юномъ обществѣ, уже причисляющемъ себя, по покрою сшитаго имъ отцами платья, къ интеллигенціи, къ привилегированнымъ людямъ, къ соли земли,—кромѣ бойкихъ танцевъ, легкой выпивки и флирта, въ болѣе или менѣе позволительныхъ въ обществѣ предѣ-

лахъ. тутъ шли неизбѣжные въ томъ возрастѣ, когда еще идетъ броженіе мысли, толки и споры вкривь и вкось чуть не о міровыхъ вопросахъ, поражавшіе той смѣлостью, которою поражаютъ и пугаютъ дѣти, безпечно готовыя тянуться за цвѣтами, растущими надъ пропастью, и пуститься въ оставленномъ на берегу дырявомъ челнокѣ въ открытое море. Съ годами, эта, пугающая взрослыхъ, ребяческая отвага проходитъ вмѣстѣ съ другими дѣтскими болѣзнями, въ родѣ скарлатины, коклюша и кори. Она часто уступаетъ мѣсто такой удручающей и въ то же время комической старческой запуганности, глядя на которую чувствуешь, что пуганая ворона и куста боится. Эта болѣзнь уже неизлѣчима. Одни изъ безусыхъ крикуновъ рѣшали, что и вся европейская, и наша литературы ни къ чорту не годятся, такъ какъ всѣ онѣ состоятъ изъ перепѣвовъ и пересказовъ старыхъ буржуазныхъ взглядовъ и прописной морали; другіе приканчивали однимъ безапелляціоннымъ приговоромъ безсодержательную живопись, держащуюся условныхъ, давно отжившихъ свой вѣкъ формъ; третьи осуждали на смерть въ одинаковой степени и стоящихъ за теорію: «держи и не пускай», и стоящихъ за теорію: «ломай все, и пусть созидается все снова»; отъ четвертыхъ одинаково доставалось и Дарвину, и Шопенгауэру, и Виктору Гюго, и Эмилю Золя. Со всѣхъ сторонъ такъ и сыпались фразы: «узкость взглядовъ», «буржуазная нравственность», «банальность содержанія», «отсутствіе настроенія», «недостаточность образности». Каждый старался щегольнуть чѣмъ-то новымъ и оригинальнымъ, и никто не подозрѣвалъ, что онъ только повторялъ старыя глупости. Среди этой безтолковой болтовни дѣтей безъ опыта, безъ знаній, безъ серьезной мысли, но съ запасомъ большей беззастѣнчивости и храбрости, чѣмъ беззастѣнчивость и храбрость дикарей, лѣзущихъ нагишомъ на заряженныя армстронговы пушки,—скучавшая отъ шума и гама Зоя, за которой въ этотъ вечеръ еще не ухаживалъ ни одинъ гимназистъ, тихо, но съ убѣжденіемъ вполнѣ взрослой, замѣтила сидѣвшему около нея, попавшему не въ свое общество и потому тоже скучавшему, молодому человѣку:

— Мнѣ лично болѣе всего жалки только однѣ тафтяныя души, которыя линяютъ и съеживаются, какъ тафтяные искусственные цвѣты, попавшіе подъ первый ливень.

Словечко «тафтяныя души» пришлось по вкусу собесѣднику, и онъ усмѣхнулся. О «кисейныхъ барышняхъ» онъ

уже слышалъ; о «тафтяныхъ душахъ» ему не приходилось еще говорить. Теперь надо было только разузнать, какіе это такіе люди съ тафтяными душами, чтобы имѣть возможность кстати примѣнять словечко въ разговорахъ. Это былъ господинъ, недавно соскочившій со школьной скамьи высшаго привилегированнаго учебнаго заведенія и уже начинавшій удачно дѣлать карьеру при помощи денегъ и связей, безшабашныхъ кутежей у татаръ съ нужными людьми и благоговѣйнаго цѣлованья сморщенныхъ ручекъ вліятельной бабушки.

— А вы много встрѣчали подобныхъ тафтяныхъ душъ?— спросилъ онъ, щуря глаза на красивую собесѣдницу.

— Встрѣчала не особенно много, но слышала о нихъ до зѣвоты... Моя мать такъ много говорила мнѣ о шестидесятыхъ годахъ,—отвѣтила Зоя.

Разговоръ завязался.

Зоя съ милой ироніей передавала, что она слышала объ этихъ людяхъ, хотѣвшихъ все создать для другихъ, забывая о себѣ, когда многіе дворяне распинались за то, чтобы крестьяне были вольными, когда многіе привилегированные хлопотали о равенствѣ всѣхъ предъ закономъ, когда многіе мужчины сражались за равноправность съ ними женщинъ,— не малое число этихъ людей потерпѣло на разныхъ поприщахъ фіаско, разочаровалось во многомъ и опустило, въ концѣ концовъ, крылья.

— Тутъ пришлось только полинять и сморщиться,—закончила она:—а между тѣмъ своя жизнь была испорчена, изломана, явились «охи» и «вздохи» о прошлыхъ промахахъ и ошибкахъ, не столько печальные, сколько смѣшные, потому что, право, смѣшно плакать по волосамъ, когда снята голова...

— Время такое было тогда—всѣ увлекались разными идеями,—неопредѣленно отвѣтилъ молодой человѣкъ, вертя въ рукѣ золотое pince-nez.

Онъ любилъ и умѣлъ отвѣчать неопредѣленно, ни за, ни противъ, ни да, ни нѣтъ, такъ какъ у него былъ умъ дипломатическій. Такъ его вліятельная бабушка Татьяна Петровна всѣмъ объясняла.

— Смѣшнѣе всего, что эти люди говорили о реализмѣ, проповѣдывали крайній эгоизмъ, а сами, въ сущности, менѣе всего были и реалистами, и эгоистами... Напускное все это—заботы о какомъ-то Иванѣ, голодающемъ гдѣ-то въ настоящую минуту, или объ Иванахъ, которые будутъ го-

лодать черезъ тысячу лѣтъ послѣ насъ въ какомъ-то невѣдомомъ царствѣ...

— Вы, значитъ, сами объ этомъ никогда не думаете?— спросилъ онъ.

— Думаю, но это не мѣшаетъ мнѣ заботиться только о томъ, чтобы не быть самой въ положеніи и этого Ивана, и этихъ Ивановъ,—съ гримасой отвѣчала Зоя.—Да вѣдь и всѣ поступаютъ такъ, и вы, и другіе, если не напускаютъ на себя блажи, не юродствуютъ... Мы вотъ здѣсь всѣ веселимся, а вѣдь навѣрное даже въ этомъ домѣ есть какая-нибудь семья, погибающая отъ разныхъ общественныхъ или семейныхъ неурядицъ и голода, но мы не пойдемъ же сейчасъ выручать ее, бросивъ танцы? Это очень печально, но это—фактъ.

— Вы съ характеромъ!—процѣдилъ сквозь зубы молодой человѣкъ, не то одобряя, не то не одобряя: она поняла въ первомъ смыслѣ: другіе, слыша этотъ разговоръ, могли понять въ томъ смыслѣ, въ какомъ имъ было по вкусу.

Они заслышали музыку и стали на свои мѣста, чтобы участвовать въ кадрили. Среди танцевъ случайно заговорили о разныхъ знакомыхъ лицахъ, и Зоя какъ-то мелькомъ замѣтила, что у нея въ Петербургѣ есть дядя Евгеній Пантелеймоновичъ Чупруненко. Говорить объ этомъ дядѣ было не стыдно: это не Данила!

— Это хорошій знакомый моего отца. Мой отецъ состоитъ юрисконсультомъ въ банкѣ, гдѣ вашъ дядя директорствуетъ.—сообщилъ молодой человѣкъ.—Можетъ-быть, еще когда-нибудь встрѣтимся у почтеннаго Евгенія Пантелеймоновича на четвергахъ?

— Я у дяди бываю очень рѣдко... была два-три раза въ этотъ годъ, коротко сказала Зоя, умолчавъ, что до этого года она не была у него ни разу.

— Счастливцы иногда даже въ благотворительныхъ лотереяхъ выигрываютъ,—сказалъ онъ, улыбаясь.

— А вы себя причисляете къ нимъ?—спросила она, свысока взглянувъ на него.

— Иногда удавалось желаемое...

Она въ душѣ назвала все это «банальностями»—любимое ея словечко—и перемѣнила разговоръ...

Она, дѣйствительно, послѣ смерти бабки была у дяди всего два-три раза, и то по настоятельной его просьбѣ. Его жена, Олимпіада Кирилловна, чопорная и въ то же время легкомысленная женщина, сразу пришлась не по

вкусу Варварѣ, и та неохотно соглашалась на настоянія брата, просившаго отпускать къ нему племянницу и безцеремонно заявлявшему, что ее, Варвару, онъ и не приглашаетъ къ себѣ, такъ какъ ей и дѣлать-то у нихъ нечего среди всякихъ денежныхъ тузовъ, а Зоя, все же свѣтъ увидитъ и—кто знаетъ?—можетъ-быть, еще партію приличную сдѣлаетъ... У него уже явилось желаніе, покровительствовать хорошенькой племянницѣ, при видѣ которой у него разгорались глаза.

Возвращаясь съ гимназической вечеринки, Зоя только на минуту задумалась о молодомъ Кривскомъ-Долининѣ, который бесѣдовалъ съ нею въ этотъ вечеръ. Онъ былъ довольно красивъ, молодъ, развязенъ, достаточно баналенъ,— и она съ гримасой подумала:

«Карьеру сдѣлаетъ, благо и деньги, и связи есть».

И тотчасъ же ея мысли вернулись къ разговору, который они вели съ Кривскимъ-Долининымъ. «Тафтяныя души»— это выраженіе совершенно случайно подвернулось ей на ея бойкій языкъ, какъ подвертывалось на него и многое другое; ей теперь показалось, что это именно тотъ эпитетъ, который она напрасно искала въ разговорѣ съ матерью,—разговорѣ, послѣ котораго она назвала въ душѣ маму Варю «жалкою». Да, мама Варя именно такая тафтяная душа—полинявшая и сморщившаяся послѣ жизненнаго ливня. Точно провинилась она передъ всѣмъ міромъ, точно люди только изъ милости ее не добиваютъ. И вѣдь что обиднѣе всего, такъ это то, что она продолжаетъ умѣло работать, что она остается неутомимою, даже энергично хлопочетъ за какихъ-то мальчишекъ, пристраивая ихъ въ корпуса и гимназіи. Вся бѣда въ томъ, что прошлыхъ ошибокъ она забыть не можетъ: и о прежней школѣ вздыхаетъ, и о ссорѣ съ матерью слезы готова проливать и, кажется, ежеминутно дрожитъ, что дочь спроситъ: «почему я незаконнорожденная?»

«Да, у мамы Вари именно тафтяная душа... и, Боже мой, какъ она жалка мнѣ, бѣдная!»—закончила Зоя.

XXIX.

— Я правду говорилъ, что счастливцы даже въ благотворительныхъ лотереяхъ выигрываютъ!—весело замѣтилъ Владиміръ Александровичъ Кривскій-Долининъ, встрѣчая Зою, послѣ гимназической вечеринки, на первомъ же изъ слѣдующихъ четверговъ у Евгенія Пантелеймоновича Чупруненко.

— Да, если имъ поблаговолятъ дамы-патронессы,—отвѣтила развязно Зоя.

— А-а!— протянулъ онъ и, кажется, сейчасъ же понялъ значеніе ея словъ.

Но, должно-быть, для того, чтобы «глупый мальчишка» не возмечталъ много, Зоя въ теченіе всего этого вечера относилась къ нему довольно небрежно и кокетничала съ какимъ-то пожившимъ и покутившимъ на своемъ вѣку биржевикомъ, у котораго изсиня-красный носъ очень напоминалъ зрѣлый и уже засыхающій плодъ стручковаго перца. Она вычитала въ какомъ-то послѣднемъ прочитанномъ ею французскомъ романѣ, что такъ поступаютъ барышни, когда хотятъ, чтобы «онъ» былъ у ихъ ногъ: подать чуть-чуть на бѣжду, немного вскружить голову, потомъ дѣлать небрежный и безразличный видъ и кокетничать съ какимъ-нибудь богатымъ чучелой. Держать себя въ большомъ обществѣ она только могла по романамъ да по пьесамъ, видѣннымъ ею въ Александринскомъ и Михайловскомъ театрахъ: мама Варя никуда не выѣзжала сама и не вывозила ее. У Евгенія же Пантелеймоновича Чупруненко собиралось если не «высшее», то во всякомъ случаѣ многолюдное и «пестрое» общество, совершенно подходящее къ пестрой роскоши его квартиры, переполненной и старой бронзой, и саксонскимъ фарфоромъ, и Айвазовскими, и Клеверами, купленными на аукціонахъ разныхъ ломбардовъ. На такихъ неопытныхъ людей, какъ Зоя, эта пестрая роскошь дѣйствовала подавляющимъ образомъ и заставляла теряться, придумывать, какую героиню романа принять за образецъ...

Впрочемъ, Зоя не всегда подражала въ обществѣ какой-нибудь героинѣ прочитаннаго романа или пьесы, а иногда, съ досадою чувствуя, что она почему-либо конфузится и смущается, раздражалась и дѣлалась самой собою, то-есть бойкою вчерашнею гимназисткой, отбрасывала «допотопныя китайскія церемоніи» и «банальныя условности», становилась рѣзкою, заносчивою и несдержанною, какъ избалованная дочь, любимица матери, какъ слишкомъ рано развивавшаяся барышня-красавица, которая давно привыкла смотрѣть сверху внизъ на своихъ безусыхъ ухаживателей и командовать гимназистами, уже находящими наслажденье въ бѣганьи за женскими юбками. Пренебрежительно вздергивая плечиками, она сыпала направо и налѣво фразами: «Что вы за глупости говорите!..» «Отъ васъ только и можно услышать пошлыя банальности!» Она была твердо увѣрена,

что она—человѣкъ вполнѣ самостоятельный, опытный и практичный, во всякомъ случаѣ болѣе практичный, чѣмъ мама Варя, которая готова распинаться за работой, воображая, что если она не будетъ этого дѣлать, то онѣ насидятся безъ хлѣба.

Къ ея счастію, въ этомъ случаѣ у нея явился единомышленникъ, и притомъ очень авторитетный единомышленникъ: дядя Женя держался тѣхъ же реалистическихъ взглядовъ, какіе были у нея. Онъ смѣялся одинаково и надъ дядей Данилой, и надъ мамой Варей. Надъ Данилой—потому, что тотъ проповѣдуетъ благоглупости въ родѣ того, что жизнь у насъ отъ того дорого стоитъ, что мы ее будто бы слишкомъ усложнили, завели цѣлую прорву якобы потребностей—обѣда намъ мало, такъ выдумали завтраки и ужины, домотканный холстъ грубымъ нашли, такъ голландское полотно да батистъ придумали; свои ноги есть, а мы нанимаемъ извозчика и трехъ улицъ пройти не можемъ. Надъ мамой Варей дядя Женя шутитъ потому, что она воображаетъ, что за трудъ только тогда и платятъ, когда онъ хорошо исполненъ. А дядя Женя говоритъ:

— За трудъ платятъ хорошо только тогда, когда казовымъ концомъ умѣешь его людямъ показать, когда и свое дѣло, и свое значенье взмылить умѣешь! Кто самъ о себѣ кричитъ, только тотъ и славенъ. За добросовѣстность же гроша ломанаго не дадутъ, такъ какъ она—дѣло условное. У одной сынъ идіотъ, а она тебя недобросовѣстной вездѣ ославлять будетъ за то, что ты его геніемъ не сдѣлала; у другого сынъ провалился на экзаменѣ, потому что экзаменаторъ былъ пьянъ и провалилъ его, злясь на свое пьянство, а родитель будетъ ругать тебя, что ты его сына приготовить не умѣла. Вотъ тебѣ и добросовѣстность твоя хваленая!

Дядя Женя всегда находчивъ и оригиналенъ. Недаромъ дядя Женя и богатъ! Зоя на всѣ лады раздумывала о дядѣ Женѣ, находя все болѣе и болѣе общаго въ своихъ взглядахъ съ его взглядами. Какъ бы она была рада, если бы и ей такъ повезло въ жизни, какъ ему!

Нигдѣ онъ не получилъ образованья, ничего не изучалъ, а богатъ. И о чемъ, о чемъ онъ ни говоритъ, и какъ еще смѣло говоритъ, хотя не читалъ ничего, а если и читалъ что, то развѣ только газеты да заглавія книгъ.

— Дарвинъ,—говоритъ,—только подтверждаетъ то, что народъ своимъ трезвымъ умомъ подмѣтилъ давнымъ-давно и даже въ побасёнкахъ выразилъ, какъ въ природѣ все и всѣ

пожираютъ другъ друга: зайчикъ—капусту, зайчика—волки; борьба за существованіе вездѣ!

О Спенсерѣ даже недавно говорилъ:

— Всѣ эти вопросы соціологіи—глубокіе и великіе вопросы. Со Спенсеромъ можно, конечно, спорить, но нельзя оспаривать то, что онъ многое прочелъ и взвѣсилъ... Къ сожалѣнію, какъ бы ни были велики и глубоки эти вопросы, они не даютъ опредѣленной программы дѣйствій въ данную минуту. А мы, русскіе, нуждаемся именно въ программахъ дѣйствій въ данную минуту. Не страсбургскіе мудреные пироги намъ теперь нужны, какъ бы они ни были вкусны, а хлѣбъ—простой ржаной хлѣбъ нуженъ!

И можно голову прозакладывать, что дядя Женя не только не читалъ, но даже не видалъ ни сочиненій Дарвина, ни трудовъ Спенсера: заглавія книгъ только въ газетахъ вычиталъ, вотъ и все. Она же, Зоя, не только сходилась въ мнѣніяхъ съ дядей Женей, но и читала и Дарвина, и Спенсера, а потому имѣла право считать себя даже выше дяди Жени: у него только здравый природный умъ, у нея же и здравый природный умъ, и большая начитанность. Всѣ удивляются, какъ она много успѣла прочитать. Мама Варя говоритъ: «ты не читаешь, а глотаешь книги», и ужъ, конечно, у нея сейчасъ начинаются какія-то опасенія на этотъ счетъ... Неужели же это все не поведетъ ни къ чему? Съ бою она, Зоя, можетъ взять у судьбы счастье...

Недаромъ же дядя Женя оцѣнилъ и полюбилъ ее сразу.

— Ты, моя волшебница, далеко пойдешь, только не надо зарывать въ землю данные тебѣ природою дары,—еще надняхъ говорилъ онъ, чисто по-родственному, цѣлуя ее въ кокетливо подставленную щеку.

Онъ, кажется, немного влюбленъ въ нее. Что-жъ, это не опасно и мило...

Это она замѣтила послѣ того, какъ за нею увивались и тотъ биржевикъ съ красносизымъ носомъ, и Владиміръ Александровичъ Кривскій-Долининъ. Дядя Женя все слѣдилъ за нею, а у самого такъ и горѣли глаза. Ужасно много мужчинъ ухаживаетъ за нею!..

Владиміръ Александровичъ все приставалъ къ ней, бываетъ ли она гдѣ-нибудь въ обществѣ, кромѣ дяди, гуляетъ ли въ какіе-нибудь опредѣленные часы, и гдѣ именно? Она необдуманно сказала, что по воскресеньямъ иногда гуляетъ въ три часа по Большой Морской, и ей теперь было досадно вспомнить, какъ она смутилась и покраснѣла, выска-

завъ сгоряча эту невинную ложь. Ей тотчасъ же пришло въ голову, что ей одной въ три часа дня въ воскресный день было бы неловко гулять по Большой Морской; кромѣ того, у нея нѣтъ даже приличнаго костюма для подобной прогулки. Правда, мама Варя давно обѣщала заказать ей новый весенній нарядъ. Но у нихъ вышла размолвка по поводу этого. Мама Варя высказала тутъ вполнѣ свою непрактичность. Она требуетъ, чтобы нарядъ былъ сдѣланъ изъ прочной, добротной матеріи, но попроще фасономъ. А между тѣмъ Зоя стояла именно за самый модный покрой, не придавая никакого значенія добротности матеріи. Во-первыхъ, самая добротная матерія не имѣетъ виду, если покрой не модный. Кромѣ того, нельзя же десять лѣтъ носить одну и ту же верхнюю одежду, ожидая, когда она износится. Фасоны же одежды мѣняются гораздо скорѣе, чѣмъ успѣваетъ износиться даже самый плохой матеріалъ, употребленный на эти наряды. Мама Варя ничего этого не понимаетъ и носитъ даже лѣтомъ свою фетровую шляпку, превознося ее за прочность: «дорогой матеріалъ, зато и прочно». А между тѣмъ такого фасона фетровыя шляпки даже зимой уже никто не носитъ!.. Мамѣ Варѣ, конечно, это все равно... въ ней ужасно много общаго съ Данилой... Теперь придется еще серьезнѣе повоевать съ нею изъ-за того, чтобы нарядъ былъ сшитъ по модѣ...

— Тогда можно будетъ идти на прогулку въ Морскую, взявъ съ собой хоть Колю. Все же буду не одна,—рѣшила Зоя.

Коля былъ одинъ изъ трехъ пансіонеровъ Варвары, сирота, остававшійся въ пансіонѣ даже на праздники и потому часто гулявшій съ Зоей. Но эти прогулки ограничивались площадью церкви Николы Морского, кусочкомъ Екатерингофскаго проспекта и Екатерининскимъ каналомъ и никогда не простирались до Большой Морской или Невскаго проспекта. Теперь рѣшено было при первой возможности, то-есть тотчасъ по приготовленіи новаго наряда, прогуляться по Большой Морской...

XXX.

— Что это вы сегодня такъ загулялись?—спрашивала Варвара Зою и Колю.—Ужъ я безпокоиться начала,—думала, не случилось ли чего. Все къ обѣду перепрѣло и пережарилось...

— А мы все по Большой Морской сегодня гуляли,—отвѣтилъ мальчикъ.—Зоѣ знакомый господинъ попался, такъ все ходилъ съ нами... Хорошо въ Морской...

— Охота было такъ далеко идти,—сказала Варвара и

мысленно съ горечью рѣшила:—«бѣдная дѣвочка,—хочется пофрантить, вотъ и пошла новый нарядъ показывать; молода еще, интересовъ особенныхъ теперь въ обществѣ нѣтъ—тяжело жить»...

И вслухъ мелькомъ спросила дочь:

— Изъ моихъ бывшихъ учениковъ кто-нибудь попался? Знакомыхъ у нихъ было мало, всѣ наперечетъ.

— Нѣтъ, у подруги на вечеринкѣ да потомъ у дяди познакомилась... Владиміръ Александровичъ Кривскій-Долининъ,—отвѣтила Зоя.—Отецъ его вмѣстѣ съ дядею служитъ...

Они уже сидѣли за столомъ и интересовались больше ѣдою,—чѣмъ разсказами о томъ, кого встрѣтили на улицѣ, что это за человѣкъ, долго ли съ нимъ гуляли. Мелькомъ, уже за вторымъ блюдомъ, Варвара сообщила Зоѣ, что безъ нея и Николая заходила одна знакомая старушка, учительница музыки, и говорила, что ей поручили найти въ одинъ домъ на лѣто гувернантку,—такъ вотъ она хотѣла предложить это мѣсто Зоѣ.

— Только я за тебя отвѣтила, что въ гувернантки ты не пойдешь ни въ какомъ случаѣ и что вообще до осени отдыхать будешь, и только осенью за школьныя занятія примешься,—пояснила Варвара.

— Да ужъ въ гувернантки-то я ни за какія блага не пойду!—горячо воскликнула Зоя.—Ни за что!

— Да я такъ и сказала,—спокойно отвѣтила Варвара.

Но Зоя уже не могла унять душевнаго волненія. Кончивъ обѣдъ, она заходила по комнатѣ, раздумывая и передумывая о будущемъ. Осенью кончится ея годовой отдыхъ: въ прошломъ году весною она доучилась сама, въ нынѣшнемъ году осенью придется приняться за ученье другихъ. Быть гувернанткой или учительницей? Не все ли равно? И въ томъ, и въ другомъ случаѣ придется вѣчно возиться съ чужими дѣтьми. Будь они физическіе или нравственные уроды, а ты все-таки учи ихъ. Разбирать нельзя. Да если и выпадетъ на долю счастье—хорошія дѣти попадутся, то что-жъ изъ этого? Привяжись къ нимъ всею душою, а они все-таки уйдутъ, какъ только доучатся у тебя,—потому что ты имъ чужая. Платятъ деньги, пока нужна, будешь не нужна—и уходи. Ты только наемница изъ бѣдныхъ! Такъ на тебя будутъ смотрѣть и ихъ родители, и окружающіе. Богатые не возьмутся за этотъ каторжный трудъ; за него берутся только бѣдные, изъ нужды... И это на всю-то жизнь: вставай съ пѣтухами, повторяй изо-дня въ день одни и тѣ же зады, приноравливайся сегодня къ одному характеру, завтра

къ другому, надрывай грудь и горло, сперва запасайся школьнымъ горловымъ катаромъ, потомъ медленной чахоткой— и такъ до могилы, вплоть до могилы!..

Безсознательно взглянула она на мать: та сидѣла и исправляла ошибки въ дѣтскихъ тетрадяхъ. Худая, малокровная, съ лицомъ, покрытымъ сѣткою мелкихъ-мелкихъ морщинъ, съ посеребренными ранней сѣдиной волосами, она казалась уже совсѣмъ старухой и ни въ ея дрябломъ лицѣ, ни въ ея согнутой фигурѣ съ ввалившеюся грудью, нельзя было подмѣтить слѣдовъ былой красоты, былой бодрости.

— Ахъ, бѣдняга, бѣдняга этотъ Фокинъ! Никакъ не можетъ привыкнуть отличать букву *к* отъ буквы *т*. Какъ говоритъ, такъ и пишетъ. Опять написалъ: «солнце зататываётся»... «тутлы пляшутъ», — разсуждала сама съ собой Варвара, не замѣчая даже, что она говоритъ уже вслухъ.— На экзаменѣ въ гимназіи за одно это провалятъ.

«Бѣдная, бѣдная мама Варя!»—вздохнула Зоя, мелькомъ взглянувъ на забывшуюся мать.

— Ты что это вздыхаешь? — очнулась Варвара, ласково глядя на дочь.

— О тебѣ, мама!—сказала Зоя.

— Обо мнѣ?.. Да почему же обо мнѣ, дѣточка?—растерянно взглянула на дочь Варвара, видимо недоумѣвая.

— Да вѣдь это же убійственно тяжело и скучно... весь вѣкъ биться изъ-за того, чтобы одинъ не писалъ «тутлы» вмѣсто «куклы», другой не говорилъ «гадость» вмѣсто «радость», а третій отучался отъ выраженій «евойный» и «евойная»... и такъ весь вѣкъ, весь вѣкъ...

— Всякая работа затягиваетъ... привыкаешь къ ней постепенно,—конфузливо пояснила Варвара.

— Въ машину человѣкъ обращается?—горько усмѣхнулась Зоя.

— Пожалуй, что отчасти и такъ, что касается выносливости,—согласилась Варвара.—Перестанешь даже сознавать, что это и скучно, и мелко... Ты вотъ увидишь...

— Никогда! никогда!—страстно воскликнула Зоя.

«Бѣдная дѣвочка,—мелькнуло въ головѣ Варвары.—Слишкомъ тяжело ей было смотрѣть на эту оборотную сторону медали, такъ сказать, на прозу учительскаго труда, на наши недостатки, на однообразіе нашей жизни, на неустанный мой трудъ... Радостей же моихъ, душевнаго моего спокойствія, моего сознанія своей независимости... молода она, чтобы все это видѣть, понимать, оцѣнить».

XXXI.

Владиміру Александровичу Кривскому-Долинину предстояло скучное лѣто: всѣ люди его круга разъѣхались, кто въ деревню, кто за границу, кто куда-нибудь подальше отъ Петербурга на дачу. Его собственная семья—мать, отецъ и сестры—тоже отбывали изъ столицы: женщины въ свое имѣніе, отецъ за границу лѣчиться, — «отъ скуки у французскихъ кокотокъ»,—какъ язвительно пояснилъ крайне недовольный легкомысленнымъ поведеніемъ своего отца Владиміръ Александровичъ.

Самому же молодому человѣку приходилось прожить все лѣто въ Петербургѣ, не имѣя права на отпускъ,—толочься днемъ по нѣсколько часовъ въ министерской канцеляріи, а вечера коротать гдѣ-нибудь въ загородныхъ кабачкахъ, слушая избитыя оперетки и шансонетки съ разными безголосыми diseuses и смотря, какъ на краснорѣчивыя иллюстраціи къ фривольному тексту, на пріѣвшееся поднимание ногъ выше головы. Онъ захандрилъ отъ одного предчувствія, каково будетъ это лѣто, и брюзжалъ и на министра, остававшагося на все лѣто «на болотѣ петербургскихъ острововъ» и державшаго, даже не подозрѣвая этого, точно на привязи при своей особѣ, его, младшаго чиновника особыхъ порученій, стремившагося сдѣлать карьеру и потому старавшагося «быть на виду»,—и на своего отца, проявлявшаго всегда особенную скупость передъ своими поѣздками «лѣчиться» и особенно строго, — вѣроятно, вслѣдствіе разстройства печени,—осуждавшаго молодежь за швырянье денегъ на шалопайство и бездутства.

— Вы жалуетесь, точно капризный мальчикъ, наказанный безъ третьяго блюда! — небрежно смѣялась Зоя надъ брюзжаньемъ Владиміра Александровича, гуляя съ нимъ, въ сопровожденіи Коли, въ одно изъ весеннихъ воскресеній по Большой Морской.—Что же остается дѣлать намъ, остающимся каждое лѣто въ Петербургѣ?

— Да развѣ вы никуда не ѣдете на лѣто!—изумился онъ.

— У моей же матери и лѣтомъ занятія, — небрежно пояснила Зоя.

— Хоть это утѣшеніе остается—надежда на встрѣчи съ вами у Евгенія Пантелеймоновича. Онъ вѣдь, по обыкновенію, перебирается на Каменный островъ.

— Да, но я не знаю, буду ли я бывать у дяди лѣтомъ.

— Можетъ-быть, на мое счастье!

— Зачѣмъ эти пустыя банальности? Никакого счастья вамъ нѣтъ въ томъ, буду ли я бывать у дяди, или нѣтъ.

— Вы не вѣрите мнѣ?

— Не сердите меня общими мѣстами любезностей! Это и приторно, и пошло!

Онъ вздохнулъ и замолчалъ.

Тѣмъ не менѣе, общія мѣста любезностей, несмотря на свою приторность и пошлость, продолжались и лѣтомъ...

Евгеній Пантелеймоновичъ переѣзжалъ на Каменный островъ на свою дачу и наканунѣ своего переѣзда заѣхалъ пригласить свою «волшебницу» бывать у него. Варвара немного сухо поблагодарила его за приглашенія, но тутъ же прибавила, что едва ли ея дѣвочка будетъ бывать у него на дачѣ: это такъ далеко и неудобно—по вечерамъ возвращаться дѣвушкѣ одной. Евгеній Пантелеймоновичъ объяснилъ, что у него домъ большой и всегда можно переночевать, и, наконецъ, всегда найдется кто-нибудь, кто проводитъ Зою, если ужъ ей такъ необходимо ночевать дома. Разговоръ кончился ничѣмъ, и Варвара рѣшила въ душѣ, что Зоя лѣтомъ не поѣдетъ къ дядѣ.

— Дядя Женя всегда милъ и всегда вспомнитъ обо мнѣ!— сказала, не подозрѣвавшая ничего о рѣшеніи матери, Зоя, когда Евгеній Пантелеймоновичъ уѣхалъ. — Я на будущей же недѣлѣ воспользуюсь его приглашеніемъ...

— Ну, Богъ съ нимъ!—коротко отвѣтила Варвара. — У Олимпіады Кирилловны, говорятъ, лѣтомъ на дачѣ дымъ коромысломъ идетъ...

— Я же не на нее и ея селадоновъ поѣду смотрѣть, а подышать, хотя немного, свѣжимъ воздухомъ, — замѣтила, уже раздражаясь, Зоя и выяснила матери ея непослѣдовательность.—Ты вотъ, мама, такъ много говоришь и читаешь и о педагогикѣ, и о гигіенѣ, а не можешь понять, что весь вѣкъ дышать одной извесгкой человѣку нельзя... то-есть, правда, можно, но только въ томъ случаѣ, если человѣку очень хочется пораньше покончить со своею жизнью...

— Зоя, что за мелодраматическій тонъ! — остановила ее недовольнымъ тономъ Варвара. — Въ Петербургѣ на лѣто остается, вѣроятно, не менѣе трехъ четвертей его населенія... нельзя ѣхать на дачу и не ѣдутъ. И отъ того, что одинъ день въ недѣлю ты побываешь на островахъ, — твое здоровье не сдѣлается ни лучше, ни хуже...

Въ это время вернулся съ работы Данила, и всѣ усѣлись

за чай. Варвара, между прочимъ, сообщила брату, что заѣзжалъ Евгеній; завтра на дачу переѣзжаетъ.

— Да, теперь на островахъ хорошо, благораствореніе воздусей, — сказалъ Данила. — Мы вотъ съ дѣтворой изъ мастерской тоже собираемся въ воскресенье на лодкѣ на Крестовскій съѣздить.

Зоя сдѣлала насмѣшливую гримасу.

— Вотъ даже такіе аскеты считаютъ позволительнымъ желаніе подышать воздухомъ, — замѣтила она, мелькомъ взглянувъ на мать.

— Это ты меня, что ли, хочешь чѣмъ-нибудь уколоть?— спросилъ Данила, вопросительно взглянувъ на нее. — Такъ ты говори просто. Я обиняковъ не понимаю.

— Я мамѣ Варѣ сказала, а не тебѣ... — отвѣтила Зоя строптивымъ тономъ: — потому что вотъ мама Варя находитъ, что мнѣ вовсе не нуженъ свѣжій воздухъ и что вовсе безполезно, если мнѣ имъ только разъ въ недѣлю можно подышать...

— Что за чепуху городишь!—спросилъ Данила и обратился къ сестрѣ.—Съ чего ты это? Какъ не нуженъ свѣжій воздухъ?

Зоя, не дожидаясь отвѣта матери, вышла.

Варвара начала объяснять:

— Раздражилась дѣвочка. Я это понимаю. Не о свѣжемъ воздухѣ тутъ рѣчь, а не хочу я пускать Зою къ Евгенію... Не могу же я ей всего говорить; Олимпіада Кирилловна окружена всякой дрянной молодежью, она развратничаетъ; Евгеній самъ ведетъ не лучшую жизнь.

— Два сапога пара,—вставилъ Данила.

— Что же за общество тамъ для молодой дѣвушки? — продолжала Варвара. — Зимой еще на ихъ четверги я пускала три-четыре раза ее, а лѣтомъ... на тони они ночью ѣздятъ, какъ я слышала, и Богъ знаетъ, что тамъ творятъ...

— Гнать его спервоначалу надо было, Евгена-то,—рѣзко сказалъ Данила.—Я тогда же совѣтовалъ тебѣ, когда мать умерла: не ходи!.. Поревѣть и дома могла бы...

Варвара вспомнила, что Данила, дѣйствительно, совѣтовалъ ей не ходить даже на похороны матери, мотивируя свой совѣтъ тѣмъ, что она только себя разстроитъ, увидавъ и Евгенію, и Евгенія, и Олимпіаду Кирилловну. Онъ тогда даже прибавилъ:

— Да и Зоѣ чего ихъ видѣть?.. Меньше видитъ, меньше бредитъ.

Зою она и не взяла тогда на похороны, а сама поѣхала, не послушавшись его. Оказалось, что онъ былъ правъ.

— Не знала никого изъ нихъ и слава Богу, а теперь...— началъ онъ и сурово закончилъ:—Вонъ еще Зоя спроситъ, пожалуй: «а гдѣ тетя Женя?..» Поди, разсказывай ей, что вчера тетю Женю въ больницу свезли?

— Въ больницу? Что̀ съ ней?—воскликнула Варвара.

— Что съ ней! А то, чего и надо было ждать. Допрыгалась до чахотки!—угрюмо пояснилъ Данила.

Варвара закрыла лицо руками и заплакала. Данила всталъ, махнувъ рукою.

— Ты мнѣ завтра утромъ вынь пять рублей изъ моихъ денегъ, что̀ спрятать я тебѣ далъ,—коротко сказалъ онъ, выходя изъ комнаты.

XXXII.

Май мѣсяцъ въ тотъ годъ былъ жаркій и душный, весна была изъ раннихъ и замѣчательно хорошихъ.

Въ Петербургѣ начинались починки мостовыхъ, ремонтъ старыхъ домовъ, постройка новыхъ. Это вѣчная работа Сизифа, дѣлающая такой неприглядной, такой неуютной жизнь въ Петербургѣ, который постоянно не то достраивается, не то разрушается. Въ узенькихъ, похожихъ на коридоры, многолюдныхъ улицахъ, въ центрѣ города, въ родѣ Вознесенскаго и Екатерингофскаго проспектовъ, воздухъ становился невыносимо тяжелымъ. Людямъ, неимѣющимъ средствъ для переѣзда на дачи, волей-неволей приходится дышать этимъ воздухомъ, запахомъ извести, дымомъ насыпаннаго въ котлы асфальта, копотью пароходиковъ, бороздящихъ грязную жидкость, называемую водою петербургской Фонтанки и Екатерининскаго канала. Особенно тяжело въ эту пору взрослымъ смотрѣть на любимыхъ ими дѣтей и на цвѣтущую молодость, обреченныхъ дышать этимъ воздухомъ, вдали отъ душистыхъ лѣсовъ и полей, ютясь гдѣ-нибудь въ пятомъ этажѣ каменной громады съ дворами въ видѣ глубокихъ вонючихъ колодцевъ.

Варвара положительно изнывала, глядя на Зою, по цѣлымъ днямъ сидѣвшую у окна съ книгой въ рукахъ и нерѣдко не читавшую ни строки, часто, можетъ-быть, даже и не видѣвшую буквъ.

— Ты бы пошла погулять!—совѣтовала она Зоѣ.

— Куда, мама? По улицамъ, гдѣ все чинятъ и красятъ?—говорила Зоя, пожимая плечами.—По тротуарамъ и десяти шаговъ не пройдешь—вездѣ баррикады, а по нашимъ проклятымъ булыжникамъ въ тонкихъ ботинкахъ просто больно ходить... Да и жарко днемъ. А вечеромъ вездѣ пьяная масте-

ровщина... чуть не ночи проводить на улицѣ... И то сказать, нужно же когда-нибудь пользоваться жизнью и этому люду...

И Зоя опять дѣлала видъ, что читаетъ...

«А когда же она будетъ пользоваться жизнью?—спрашивала себя Варвара, глядя на дочь.—Это послѣднее лѣто ея отдыха. Хорошъ отдыхъ, нечего сказать!.. Хороша мать, не могла скопить настолько денегъ, чтобы дочь перевезти хоть на дачу... любить умѣла, а предусмотрѣть, какъ-то будетъ жить ребенку, не потрудилась... А потомъ еще съ осени настанутъ для Зои дни труда... И какого труда! Бѣдная моя дѣвочка не любитъ учить дѣтей, а безъ любви къ этому дѣлу—это каторжный трудъ... Для меня это наслажденіе слѣдить за каждымъ успѣхомъ дѣтей, чувствовать ихъ умственный ростъ, видѣть, какъ они развиваются,—для нея это будетъ пытка, безъ призванія-то къ дѣлу... И придется тянуть эту лямку, можетъ-быть, всю жизнь... Замужъ развѣ выйдетъ... на чужой шеѣ сидѣть...»

А дни шли за днями, ясные, солнечные, душные... Какъ-то разъ Варвара нашла на полу скомканное письмо. Она подняла его, узнала почеркъ брата Евгенія и прочла. Онъ писалъ къ Зоѣ, что ее съ нетерпѣніемъ ждутъ на дачѣ, что сирень, пожалуй, отцвѣтетъ, если она не пріѣдетъ скоро; теперь же воздухъ удивительный...

— Ты получила письмо отъ дяди Жени? — спрашивала Варвара дочь.

— Да,—отвѣтила она.

— Что же ты мнѣ не сказала?

— Да вѣдь дядя ровно ничего не пишетъ новаго!

— Напоминаетъ, вѣрно, чтобы пріѣхала къ нимъ?

— Конечно...

— Надо будетъ собраться.

Зоя слегка пожала плечами.

— Какая ты странная, мама Варя: то не слѣдуетъ ѣздить, то надо собраться! Я вовсе не желаю огорчать чѣмъ бы то ни было тебя: не слѣдуетъ ѣздить—я и не ѣзжу!

— Голубчикъ, зачѣмъ ты принимаешь этотъ тонъ угнетенной дочери! Ты знаешь, я для тебя дѣлаю все, что могу,—ласково проговорила Варвара.

— Развѣ же я на что-нибудь жалуюсь? — почти съ удивленіемъ проговорила Зоя.—Я сыта, одѣта, обута! Мнѣ ничего больше и не надо...

Зоя опять принялась за книгу.

— Ты, Зоя, дуешься,—тихо сказала Варвара, и въ тонѣ

ея голоса чувствовалось, что она задѣта за самое больное мѣсто.—Ты знаешь, я не люблю этого. Я сама—прямой и откровенный человѣкъ.

— Тебѣ непріятно, мама, что я читаю? — спросила Зоя, оставляя книгу и глядя пристально на мать.—Да? Я должна дѣлать что-нибудь другое? Скажи, что... я готова...

— Я тебѣ сказала: не дуться и быть откровенной со мною!—отвѣтила Варвара съ легкимъ раздраженіемъ.—Вотъ все, чего я желаю...

Зоя пожала плечами.

— И это все изъ-за того, что я, не желая огорчать тебя, не показала письма дяди!.. Другой разъ буду сжигать письма, чтобы нельзя было поднять ихъ съ полу и прочитать.

— Это упрекъ?

— Ахъ, оставимъ, ради Бога, этотъ разговоръ! Мы же не какія-нибудь старыя дѣвы, придирающіяся къ каждому слову и срывающія другъ на другѣ мелкую злобу посредствомъ разныхъ колкостей и шпилекъ... Когда я по цѣлымъ днямъ молчу и читаю, удовлетворяя хоть эту свою страсть, — думаютъ, что я дуюсь; когда же я, не будучи истуканомъ, сильно взволнуюсь — будутъ упрекать меня за рѣзкость... Ну, да, я говорю откровенно, что мнѣ душно, тяжело здѣсь въ городѣ, смотрѣть на растерзанныхъ кухарокъ, перекликающихся изъ оконъ на дворѣ съ ухаживающими за ними мастеровыми, и слушать заунывное нытье или безцеремонную брань маляра, висящаго въ своей люлькѣ подъ кровлей... Но разъ ты полагаешь, что я насмотрюсь у дяди на что-нибудь болѣе неприличное, чѣмъ на этомъ дворѣ, и потому не желаешь, чтобы я хоть разъ въ недѣлю отдохнула на свѣжемъ воздухѣ, — то что же мнѣ дѣлать?.. Кричать, капризничать, топать ногами, биться въ истерикѣ, настаивая на своемъ?.. О, Боже, недоставало только этого семейнаго ада!.. Я говорю тебѣ это потому, что притворяться не умѣю и не хочу... Говорить, что я очень довольна и этимъ дворомъ, и разговорами этихъ кухарокъ, и пѣніемъ этого маляра, и его бранью,—это было бы уже слишкомъ нагло и глупо... а роптать... Кажется, я тебя-то никогда не огорчала никакими упреками за то, какъ ты находила нужнымъ поступать въ своей жизни...

Послѣднія слова были сказаны такимъ тономъ, что Варвара совершенно безсознательно вздрогнула. У нея чуть не вырвалось восклицаніе: «да ты и не имѣла на это права», и тутъ же мелькнула мысль: «что если она давно подозрѣваетъ или даже знаетъ, что я никогда не была замужемъ?»

На слѣдующій же день вечеромъ она замѣтила Данилѣ:

— А мы сегодня одни... Зою я отпустила къ Евгенію...

Данила только промолвилъ, тономъ упрека и сожалѣнія:

— Эхъ, Варвара! Варвара!

И прибавилъ грубовато:

— Ты бы хоть, какъ мать, разъяснила ей сперва, чтобы она не очень позволяла ему въ щеки ее цѣловать!

— Голубчикъ, что ты!—упрекнула она его.

— А то, что будь у меня едва умѣющая ходить дочь—я и къ той не позволилъ бы ему прикоснуться, — объяснилъ онъ.—Не самъ погубитъ, такъ другихъ натолкнетъ.

— Ты слишкомъ не любишь его.

— А чего любить-то его? Ты вотъ часто говоришь, что Олимпіада—разгульная баба, а кто же ее довелъ до этого... Онъ! Надоѣло ему ее любить, захотѣлось смѣны, онъ ее оттолкнулъ въ сторону, благо капиталы ея уже прибралъ къ рукамъ.

— Что ты говоришь?

— А то, что понимаю! Не желалъ бы онъ этого, не говорилъ бы такъ весело о томъ, что она пошаливаетъ теперь. О своемъ позорѣ такъ не говорятъ! И что за слова такія: пошаливаетъ!.. Да за такое-то пошаливанье въ народѣ мужья бабъ въ гробъ заколачиваютъ, ножами въ бокъ пыряютъ тѣхъ, кто смѣетъ съ ихъ жёнами такъ пошаливать. А тутъ, на-те, мужъ самъ радуется, что ему руки развязали... тоже пошаливать...

Варвара вздохнула.

— Развратъ-то вездѣ!—замѣтила она.

— Знаю, что среди людей на землѣ живемъ, а не на небѣ среди ангеловъ безтѣлесныхъ, — отвѣтилъ Данила. — Только ужъ больно вы, барыни, боитесь говорить о немъ прямо, предостерегать-то противъ него стѣсняетесь: лѣзь, молъ, на стѣну—разобьешь лобъ, тогда и узнаешь, что это стѣна, а не перина пуховая...

Она промолчала. Она очень любила Данилу, но разговоръ съ нимъ всегда въ концѣ концовъ волновалъ и тревожилъ ее. Очень ужъ прямолинеенъ и несложенъ этотъ человѣкъ. Не понимаетъ онъ никакихъ сложныхъ чувствъ, никакихъ щекотливыхъ положеній, никакихъ психологическихъ тонкостей.

XXXIII.

— Ты на конкѣ вернулась?—спрашивала Варвара у Зои, когда та пріѣзжала домой отъ дяди Евгенія.

— Нѣтъ, Владиміръ Александровичъ проводилъ,—коротко

и просто отвѣчала Зоя.—Ему по дорогѣ. Въ конкѣ неудобно ѣхать вечеромъ одной... съ гуляній много ѣдетъ подозрительныхъ личностей...

И Варвара успокаивалась. О Владимірѣ Александровичѣ, за исключеніемъ этихъ случаевъ, Зоя никогда не говорила... Очевидно, онъ ее очень мало интересовалъ, какъ заключала Варвара, никогда не видавшая этого человѣка. О тѣхъ людяхъ, которые интересуютъ насъ почему-нибудь, мы говоримъ постоянно, не можемъ не говорить, потому что ихъ имена всегда вертятся у насъ на языкѣ... «Мамѣ Варѣ вовсе не слѣдуетъ говорить о Владимірѣ, а то и этого единственнаго наслажденія лишишься», рѣшала въ то же время Зоя, знавшая натуру своей мнительной мамы Вари, готовой сдѣлать изъ каждой мухи слона и «притомъ преогромнаго», какъ шутливо заканчивала свои размышленія Зоя. И чѣмъ глубже начинало испытываться это единственное наслажденіе, чѣмъ чаще мечтала Зоя уже не о Владимірѣ Александровичѣ, даже не о Владимірѣ, а просто о Володѣ, тѣмъ упорнѣе она хранила свою тайну...

«Кто не испыталъ любви—тотъ еще не жилъ. Онъ пилъ, ѣлъ, спалъ, но не жилъ. О ѣдѣ, питьѣ и спаньѣ не мечтаютъ, а ѣдятъ, чувствуя голодъ; пьютъ, чувствуя жажду; ложатся спать, когда клонитъ ко сну; наѣлся, напился, выспался человѣкъ, и у него прекращаются позывы къ удовлетворенію этихъ потребностей; любовь же поглощаетъ все существо человѣка—и душу, и сердце, и умъ, и не только въ то время, когда онъ еще не испыталъ любви, не насладился ею, но и тогда, когда уже вполнѣ извѣдалъ ее: только-что услышавъ послѣднюю клятву любимаго лица, хочется слышать еще и еще новыя клятвы; только что сорвавъ съ любимыхъ устъ жгучій поцѣлуй, начинаешь мечтать о новыхъ и новыхъ, еще болѣе жгучихъ поцѣлуяхъ, и представляешь себѣ новыя, еще неизвѣданныя ощущенія, которыя принесутъ они съ собою».

Если не этими словами, то въ этомъ смыслѣ, безконечно варьируя одну и ту же тему, говорилъ Владиміръ Александровичъ, гуляя съ Зоей по Каменному и Елагину островамъ или отвозя ее домой, точно соперничая съ соловьями острововъ, которые тоже пѣли однѣ и тѣ же пѣсни, и тоже разнообразили ихъ безчисленными варіаціями. «Вы удивительно начитались разныхъ банальностей современныхъ поэтовъ, не умѣющихъ воспѣвать ничего, кромѣ любви и неизмѣнныхъ ея спутниковъ,—соловьевъ, луны, звѣздъ и вздоховъ. Все это ужасно однообразно и потому ужасно надоѣло».

Опять-таки, если не этими словами, то въ этомъ смыслѣ насмѣшливо бравировала она, глумясь надъ нимъ, когда онъ дѣлался особенно краснорѣчивымъ, и въ ея голосѣ слышалась все чаще и чаще нервность, чуть не истеричность.

Но когда онъ однажды, въ глухомъ уголку Елагинскаго парка, неожиданно обнялъ ее и осыпалъ жгучими поцѣлуями, а она, не успѣвъ увернуться, гнѣвно вскрикнула: «какъ вы смѣете?»—и онъ же рѣзко, почти злобно отвѣтилъ: «Вы не понимаете, что въ порывѣ страсти убить можно и себя, и другого, а не то что осмѣлиться поцѣловать любимую дѣвушку»,—тогда она вдругъ совсѣмъ присмирѣла, дошла съ нимъ молча до Каменнаго острова, до дачи дяди, и почти съ ужасомъ начала думать о томъ, какъ они поѣдутъ вечеромъ домой одни.

— Вы на меня сердитесь?—холодно спросилъ онъ ее, провожая вечеромъ съ дачи и сидя съ нею въ наемной колясочкѣ.

— Мнѣ только обидно, что вы такъ безцеремонно воспользовались моею безпомощностью,—тихо отвѣтила она.

— Вамъ, можетъ-быть, будетъ еще обиднѣе, когда вы доведете меня своею холодностью до самоубійства,—съ ироніей проговорилъ онъ.

— Что же, вы думаете запугать меня?—спросила она.

— О, чего же вамъ бояться за человѣка, который говоритъ вамъ только банальности, и для старой, какъ Божій міръ, любви не находитъ какихъ-то новыхъ модныхъ словечекъ!—воскликнулъ онъ, и что-то холодное, равнодушное и насмѣшливое послышалось въ его тонѣ.

Она испугалась, что уже потеряла его любовь, что сама оттолкнула его, что, можетъ-быть, дѣйствительно навела его даже на мысль о самоубійствѣ — это такъ часто бываетъ! Вѣдь въ нее же такъ не трудно влюбиться! За нею ухаживаетъ все больше и больше мужчинъ. Ей, кажется, даже завидуетъ легкомысленная и всѣмъ доступная Олимпіада Кирилловна. Да, наконецъ, не доказываетъ ли увлеченья ею, Зоею, что Кривскій-Долининъ проводитъ цѣлые дни на дачѣ у дяди Жени, когда бываетъ тамъ она? Не увлекался бы ею, проводилъ бы время гдѣ-нибудь въ Аркадіи или Акваріумѣ съ кутящей компаніей... И на этотъ разъ ей на языкъ не подвертывалось ея любимое словечко. Она даже и не подозрѣвала, что именно сегодня весь разговоръ Кривскаго-Долинина, все его поведеніе съ нею было сплошною банальностью—самымъ нехитрымъ способомъ ухаживанья, если и не очень изобрѣтательнаго, не очень умнаго, то все же весьма опытнаго Донъ-Жуана.

Въ ней были задоръ и самомнѣніе дѣвочки; а рядомъ съ этимъ—неопытность и довѣрчивость дѣвочки.

Владиміръ Александровичъ промучилъ ее двѣ недѣли: въ первую недѣлю тѣмъ, что не явился къ дядѣ Женѣ въ четвергъ, а во вторую—своей ледяной и изысканной вѣжливостью въ тѣ минуты, когда ея губы уже горѣли отъ жажды поцѣлуевъ,—тѣхъ страстныхъ мужскихъ поцѣлуевъ, которые она впервые испытала двѣ недѣли тому назадъ. Онъ это чувствовалъ и думалъ:

«Вотъ вѣдь и съ норовомъ эта дѣвочка, а всѣ онѣ, въ концѣ концовъ, на одинъ ладъ... каждая готова разыграть роль вороны изъ крыловской басни «Ворона и лисица»... Только ужъ рѣдко такую красоту встрѣтишь... Эхъ, если бы она не изъ порядочныхъ барышень была!»

Послѣднее обстоятельство усложняло ухаживанья, внушало опасенія. Его колебанія и нерѣшительность истолковывались ею тѣмъ, что онъ все еще сердится на нее, и она была готова броситься ему на шею, только бы онъ пересталъ сердиться на нее... Такъ любитъ ее—и дуется! Это вѣдь невыносимо!..

XXXIV.

Приближалось время осени—той осени, съ которой должны были начаться скучныя школьныя занятія Зои: Варвара не видала другого исхода для дочери, какъ занятія въ ея школѣ—привыкнетъ сначала къ дѣлу при ней, при Варварѣ, подъ ея руководствомъ, а потомъ, если Варвара умретъ, ей уже не трудно будетъ продолжать начатое дѣло въ насиженномъ гнѣздѣ, съ прочно установившейся репутаціей. Школу госпожи Чупруненко зналъ весь околотокъ. Ей покровительствовали офиціальныя лица, наблюдавшія за ходомъ школьнаго дѣла и признававшія ее за одно изъ лучшихъ учебныхъ заведеній этого рода... Какъ ни трудно это занятіе, но все же оно облегчается сознаніемъ приносимой пользы; все же это не трудъ какой-нибудь портнихи, не трудъ человѣка-машины, все же тутъ нѣтъ зависимости отъ какихъ-нибудь столоначальниковъ, командующихъ писцами. Такъ разсуждала Варвара, но все же она не безъ боязни думала о тѣхъ дняхъ, когда Зою нужно будетъ окончательно усадить за занятія въ классахъ. У Варвары дѣло велось правильно, умѣло и даже немного педантично, согласно съ указаніями новѣйшихъ педагоговъ, за произведеніями которыхъ усердно слѣдила Варвара.

«Мама такъ учитъ азбукѣ, точно міръ спасти думаетъ этимъ! — пренебрежительно шутила Зоя надъ излишнею

щепетильностью и требовательностью матери. — Бѣдная, бѣдная, ей такъ хотѣлось бы быть дѣятельницей, приносить кому-то пользу, что она старается обмануть себя, черпая рѣшетомъ воду! Вѣдь вотъ, сдѣлайся я богатой—она и тогда не броситъ своего «святого» дѣла—обученія дѣтей лавочниковъ, какъ мошенничать на счетахъ»...

Варвара ясно сознавала, что ей, не отступавшей ни на іоту отъ своихъ правилъ, на первыхъ порахъ придется «повоевать» со своей дѣвочкой и что та не скоро еще «втянется» въ дѣло, а потому ее, волновавшуюся уже отъ одного предчувствія предстоящей войны съ дочерью, не мало удивляли полное спокойствіе и даже какая-то небывалая веселость Зои, несмотря на приближеніе учебныхъ дней.

— Ты, Зоя, не боишься, что скоро нужно будетъ засѣсть за дѣло?—спросила какъ-то мелькомъ Варвара у дочери.

— Засѣсть за дѣло?.. Ахъ, это мы про школу? я теперь вовсе объ этомъ и не думаю!—весело воскликнула Зоя и, охваченная ощущеніемъ счастія, не удержавшись, разоткровенничалась:

— Ахъ, мама Варя, какъ я счастлива, какъ я счастлива, какъ меня любитъ Володя!

— Любитъ? Володя? Какой Володя?—изумилась Варвара, останавливая недоумѣвающій взглядъ на дочери.

Она не была бы такъ удивлена, такъ поражена, если бы при вполнѣ безоблачномъ небѣ грянулъ громъ.

— Видишь ли, мы до поры—до времени не хотѣли ничего говорить,—начала докторально разъяснять Зоя.—Любовь теряетъ всю свою прелесть, когда она выставляется напоказъ всѣмъ...

— Но...—начала Варвара.

— Я знаю, знаю, милая мама Варя, ты скажешь, что *ты не всѣ*,—ласково перебила слова матери Зоя, какъ взрослая, знающая впередъ все, что можетъ сказать ей ребенокъ.—Я согласна съ этимъ вполнѣ, но позволь и мнѣ хоть въ этомъ случаѣ быть эгоисткой! Ты бы сейчасъ начала разспросы: «достойный ли это человѣкъ, богатъ ли онъ, кто его родители, гдѣ служитъ, какихъ взглядовъ»?.. Когда на аршины и на фунты начнешь мѣрять и взвѣшивать человѣка, тогда ужъ прости всякое чувство, всякая страсть, всякая беззавѣтная любовь... Вмѣсто поэзіи является простое прозаическое опредѣленіе: «у него двѣ руки, одна голова, одно сердце, такое же, какъ у всѣхъ»...

— Но кто же онъ?

— Мой Володя? мой Владиміръ Александровичъ? Ты же

не разъ слышала о немъ, о Кривскомъ-Долининѣ... Онъ служитъ младшимъ чиновникомъ особыхъ порученій при министрѣ... Ахъ, если бы ты знала, какъ онъ меня любитъ, какъ онъ меня любитъ!.. Мнѣ иногда совѣстно, стыдно дѣлается: до того онъ мой рабъ. Я прежде никогда и не воображала, что можно до такой степени любить... Его отецъ и мать теперь не здѣсь и повѣнчаться мы покуда не можемъ... Но онъ мнѣ наймetъ покуда квартиру...

— Что? квартиру? Постой, постой, Зоя!—едва переводя духъ, въ ужасѣ остановила ее Варвара, дѣлая знаки рукою, чтобы дочь замолчала.

Казалось, что Варвара увидала страшный призракъ и отмахивается отъ него руками.

— Ну, да!—совершенно просто, почти удивляясь ужасу матери, пояснила Зоя.—Нельзя же ему поселиться здѣсь, въ школѣ, или мнѣ жить у него до пріѣзда его отца и матери...

— И ты рѣшаешься мнѣ говорить объ этомъ? Переѣхать вмѣстѣ съ чужимъ молодымъ человѣкомъ до свадьбы!—вскричала Варвара, сжимая крѣпко ея руку около локтя.

Зоя съ недовольной гримасой освободила свою руку и проговорила:

— Ахъ, мама Варя, какая ты странная! вѣдь жила же ты съ папой, не вѣнчанная.

Варвара побѣлѣла, какъ полотно. Этого оборота бесѣды она не ожидала. Такъ вотъ когда настала расплата за прошлое! У нея опустились руки.

— Ты... ты знаешь?—обрывающимся голосомъ прошептала она.

Зоя пожала плечами.

— Развѣ же это можно было скрыть: ты и, по твоей просьбѣ, mademoiselle Сикаръ—назвала она начальницу гимназіи, гдѣ училась,—прятали отъ меня уже слишкомъ заботливо всякія офиціальныя бумаги, всякіе документы, но я же читала когда-то фамилію отца на могилѣ... и знаю твою и свою фамилію... Я тебя, дорогая мама Варя, никогда не упрекала за это и не упрекаю... Люди живутъ, какъ имъ удобнѣе, какъ позволяютъ обстоятельства... Это въ порядкѣ вещей и нужно быть большой буржуазкой, чтобы осуждать за это. Я тоже беззавѣтно отдалась Володѣ...

Варвара совсѣмъ похолодѣла. Нечего было и разспрашивать дальше. Нечего было предостерегать. Все кончено, рѣшено: всякія предостереженія и наставленія будутъ напрасными, запоздалыми. Упавшимъ голосомъ она заговорила:

— Но развѣ ты могла сравнивать свое положеніе съ моимъ? Я тебѣ говорила сто, тысячу разъ, что за человѣкъ былъ твой отецъ...

— При живой женѣ, онъ не могъ даже обѣщать жениться на тебѣ,—равнодушно вставила Зоя.

— Ты и это знала!—простонала Варвара, сжимая болѣзненно руки.—Неужели Евгеній рѣшился?..

— Ахъ, оставь въ покоѣ дядю Женю!—остановила ее Зоя.—Ты и Данила готовы всякую грязь вылить на дядю Женю...

Она пояснила дѣло.

— Еще тамъ, въ нашемъ захолустьѣ, та глупая толстая баба разсказывала мнѣ, ребенку, что-то о законной женѣ моего отца... Тогда, конечно, я ничего не понимала... Потомъ я все уже вспомнила и, мало-по-малу, поняла все,—сказала Зоя.—Такъ ты даже не могла разсчитывать на замужество... А Володя сказалъ, что онъ пулю въ лобъ пуститъ себѣ, если бы отецъ или мать воспротивились нашему браку... или принудили его жениться на какой-то кузинѣ, которую ему прочили въ жены...

— Негодяй! нашелъ чѣмъ подкупить глупую дѣвочку!—воскликнула, не выдержавъ, Варвара.—Пулю въ лобъ пустить...

— Ахъ, мы правду говорили съ Володей, что не слѣдуетъ ничего разсказывать тебѣ, мама Варя, до поры до времени,—видимо раздражилась Зоя, задѣтая за самое больное мѣсто.—Кромѣ брани и обидныхъ словъ, нечего было и ожидать отъ тебя.. Еще не видавъ его, не поговоривъ съ нимъ, ты уже зовешь его негодяемъ... Что же было бы, еслибъ тебѣ такъ назвали моего отца?.. Или твоя мать тоже называла моего отца негодяемъ, а тебя—глупой дѣвчонкой... Не оттого ли вы и разошлись съ нею на всю жизнь?..

Варвара поднялась съ кресла, на которомъ сидѣла, открыла ротъ, чтобы сказать что-то рѣзкое, зашаталась и, какъ подкошенная, упала во весь ростъ на полъ.

— Ахъ, Боже мой, и зачѣмъ это люди вмѣшиваются въ чужія дѣла!—раздражительно бормотала Зоя, въ то же время заботливо приводя въ чувство и лаская маму Варю.—Только счастье другъ другу отравляютъ... Правду говорилъ Володя, что любовь не терпитъ соглядатаевъ. Милая мама Варя, очнись же... Ахъ, какое горе!..

XXXV.

Долго не знала Варвара, какъ сообщить Данилѣ, что Зоя переѣхала на отдѣльную квартиру. Но лгать, что Зоя оста-

лась погостить на дачѣ у Евгенія, можно было только день или два—не болѣе; да и не легко было Варварѣ скрывать отъ Данилы опухнувшіе отъ слезъ глаза и эти слезы, постоянно навертывавшіяся противъ ея воли на глаза. Жить съ человѣкомъ въ одной квартирѣ, жить душа въ душу и притворяться, лгать,—это было выше силъ для Варвары. Наконецъ, она рѣшилась заговорить:

— У меня, Данила, большое горе... Зоя... ушла моя Зоя..

Слезы прервали ея слова.

— Куда ушла? вѣрно, Евгенъ негодяй?..—сжимая кулаки, спросилъ Данила и не кончилъ фразы.

— Нѣтъ, нѣтъ... встрѣтила одного молодого человѣка... влюбилась. Ну, обѣщаетъ жениться, когда отецъ и мать пріѣдутъ откуда-то... Къ нему ушла. На колѣняхъ я ее просила не уходить... руки ей цѣловала... Но что же я могу сдѣлать... мать-дѣвушка, мать, жившая съ женатымъ человѣкомъ? Ушла... къ нему ушла... Да не женится онъ на ней... такіе никогда не женятся.

— Ну, это посмотримъ еще!—сказалъ мрачно Данила.— Я его своими руками задушу, если вздумаетъ улизнуть, подлецъ... Эхъ, Варвара, Варвара, говорилъ я!

Онъ заходилъ тяжелой поступью по комнатѣ, взволнованный, огорченный за любимую сестру. Варвара беззвучно рыдала. Ей вспомнилось все. На колѣняхъ она молила Зою не уходить, руки ей цѣловала. Ничего не послушала ея дѣвочка. Чуть начинала мать бранить его,—этого негодяя,— Зоя точно тигрицей дѣлалась, грудью защищая человѣка, котораго «*она,* поймите вы,—выкрикивала Зоя,—*она* любитъ». Никогда не знала Варвара, что ея дѣвочка такъ самолюбива. Кажется, если бы она и видѣла, что онъ негодяй, то и тогда бы защищала его, не потому что *онъ* достоинъ защиты, а потому, что *она* его любитъ. Чуть заводилась рѣчь о позорѣ, на который идетъ дѣвушка, живя съ постороннимъ мужчиной,—начинались колкости насчетъ того, что она, Варвара, жила же съ постороннимъ мужчиной, да еще съ женатымъ, не имѣя никакихъ основаній даже и думать о бракѣ съ нимъ. И сколько безсердечности, безжалостности было въ этихъ словахъ, точно она, Зоя, даже и не замѣчала, что ея слова рѣжутъ мать по сердцу. И то сказать, развѣ мать не заслужила этого? Когда же, вспыливши на минуту за оскорбленіе памяти Николая Ивановича, она, Варвара, рѣзко говорила, что его, этого человѣка, тайкомъ обольстившаго дѣвушку, и сравнивать нельзя съ

покойнымъ Николаемъ Ивановичемъ,—благороднѣйшимъ и честнѣйшимъ человѣкомъ, Зоя насмѣшливо спрашивала о томъ, съ разрѣшенія ли бабушки, или безъ ея разрѣшенія сошелся ея отецъ съ Варварой, и опять кипятилась, защищая благородство и честность своего возлюбленнаго. Мать не знаетъ его и потому не имѣетъ права говорить о томъ, что онъ менѣе благороденъ и честенъ, чѣмъ ея отецъ. Можетъ-быть, онъ въ тысячу разъ благороднѣе и честнѣе всѣхъ этихъ женатыхъ людей, обольщающихъ молодыхъ дѣвушекъ, зная навѣрное, что они ничѣмъ не рискуютъ при этомъ... Нужно было много силы воли, много горькаго сознанія своей собственной виновности, чтобы вынести всю эту бурю и сохранить къ дочери хоть каплю любви.

— Полно, Варвара, снявши голову, по волосамъ не плачутъ!—раздался надъ ней голосъ Данилы, и грубая мозолистая рука коснулась ласково ея волосъ.

Онъ подсѣлъ къ ней и, какъ тогда, во время смерти Николая Ивановича, неловко и неуклюже, гладя ее мозолистой рукою по головѣ и по лицу, какъ малаго больного ребенка, сталъ говорить:

— Я вотъ сегодня къ сестрѣ Евгеніи заходилъ... не пускаютъ туда не въ пріемные дни и часы... Конечно, будь я баринъ, можетъ, и повѣрили бы, что я братъ, и пустили бы... Ну, да я не къ тому, а вотъ ты сходи къ ней... все же, какъ-ни-какъ, а сестра намъ... У тебя большое горе, ну, вотъ и пособолѣзнуешь ей, безъ попрековъ встрѣтитесь... денегъ-то я ей пять рублей тогда просилъ тамъ передать... ты, если надо, прихвати изъ моихъ еще... извѣстно, сухая ложка ротъ деретъ, при деньгахъ и въ больницѣ легче...

— Но... На тулупъ вѣдь ты откладывалъ...—замѣтила Варвара.

— А старый-то на что?—спросилъ Данила.—Не баба, чтобы франтить. Да тулупъ и не уйдетъ. Много ихъ на рынкѣ.

На другой день Варвара отправилась въ больницу къ сестрѣ. Никогда еще въ жизни не видала и даже не представляла она въ своемъ воображеніи ничего подобнаго этой обители скорби, этому пріюта, гдѣ въ злой чахоткѣ угасаютъ десятки жертвъ трудовой жизни, крайней бѣдности и всѣхъ ненормальныхъ условій жизни...

Евгенія встрѣтила Варвару равнодушно, безъ какого бы то ни было изліянія родственныхъ чувствъ и благодарностей. Она довольно циничнo, не воздержавшись отъ брани, разсказала, какъ она доплясалась и попала на эту боль-

ничную койку. Вообще ей не везетъ въ послѣднее время. Нужда была крайняя, а хлопоты о пенсіи не повели ни къ чему. Раздражившись, она озлобленно проклинала жизнь, проклинала мужчинъ.

— А что-жъ станешь дѣлать, когда не проживешь безъ нихъ, поганыхъ? Всѣхъ бы ихъ на одну висѣлицу повѣсить!—сиплымъ голосомъ говорила она, мучительно кашляя.— Твой Николай по крайности не обманывалъ тебя, ты такъ и знала, что онъ женатъ, что съ него взятки гладки. Конечно, бѣда, что умеръ рано. Предвидѣть бы это, не оставила бы на своихъ рукахъ обузы. Тоже не сласть было одной дитя растить. Да еще мучься о томъ: что̀ съ нею будетъ? Спасибо еще, что нашъ юродивый съ тобою живетъ. Все же защита—чуть что, и вышибетъ непрошенныхъ гостей. Отъ нихъ только кулаками и отбояришься, если гдѣ дѣвчонка смазливая завелась.

Варвара слушала молча: ничего у нея не было общаго съ сестрой ни прежде, ни теперь, но тѣмъ не менѣе ее охватывалъ какой-то невольный ужасъ при видѣ этого умирающаго падшаго созданія. И вдругъ, помимо своей воли, Варвара вспомнила то время, когда и сестра Женя была молода, смѣла и задорна, какъ ея Зоя; когда и она говорила, что ее посѣщаетъ Василій Артемьевичъ съ благородными намѣреніями, хочетъ на ней жениться—и чуть не вслухъ, въ страстномъ порывѣ горя, подумала про дочь:

«Господи, лучше смерть, лучше теперь же видѣть ее въ гробу!»

Она и не подозрѣвала, что исполнится именно это ея страстное обращеніе къ Господу...

XXXVI.

Упорно, какъ всегда, работала Варвара въ школѣ, и говорили про ея горе, можетъ-быть, только лишнія морщины, появившіяся на ея лицѣ, новыя пряди сѣдыхъ волосъ, заблестѣвшія на ея головѣ, да тотъ тупой, безцѣльно устремленный въ пространство, взглядъ, который порою можно было подмѣтить въ ея глазахъ и который дѣлалъ ее похожею на помѣшанную. Въ эти минуты нѣмого оцѣпенѣнія она передумывала свое прошлое—дни счастія и дни несчастія—и провѣряла свои поступки въ настоящемъ. Права ли она, нейдя къ дочери, которая такъ строптиво, такъ жёстко сказала ей, уѣзжая отъ нея:

— Только ты, ради Бога, не вмѣшивайся въ нашу жизнь и не мѣшай нашему счастію!

И потомъ, равнодушнымъ тономъ, прибавила:

— Володя нѣсколько разъ мнѣ говорилъ: «Охъ, ужъ эти маменьки и тещи, недаромъ ихъ, какъ огня, боятся!» И, дѣйствительно, тутъ всегда примѣшивается глупая материнская ревность, невольное стремленіе внушить подозрѣніе другъ къ другу любящимъ.

Но вѣдь что бы она ни говорила,—она все же дѣвочка. Какъ же дѣвочку покинуть одну? Разъ Варвара не вытерпѣла и пошла къ своей дѣвочкѣ, но та встрѣтила ее непривѣтливо, напомнивъ, что вѣдь она же просила ее, Варвару, не мѣшать ея счастью. Да точно ли она счастлива? Этотъ вопросъ видимо раздражилъ Зою, и она рѣзко отвѣтила матери:

— А ты еще напророчь несчастіе! Отрави мою жизнь, чтобы я дѣйствительно почувствовала, что я несчастна.

Варвара даже испугалась.

— Зоя, зачѣмъ же такъ волноваться, если ты такъ счастлива?—проговорила она, пристально глядя на дочь.

— А потому, что недостаетъ того, чтобы Володя засталъ тебя здѣсь и заподозрилъ, что за нимъ шпіонятъ, что это я тебя пригласила,—строптиво произнесла Зоя.

— Чего же ему бояться шпіонства, если ты счастлива?—опять спросила Варвара.

— Ахъ, Боже мой, ну да, я счастлива, счастлива, и не прошу никого вмѣшиваться въ мои дѣла, спасать меня!—воскликнула истерическимъ голосомъ Зоя.

— Полно, полно, дѣточка!—съ участіемъ сказала Варвара.—Развѣ можно такъ нервничать отъ счастья?

— Уйди, уйди, мама!—уже съ рыданіями заговорила Зоя.

Варвара ее уговаривала, успокаивала, но та повторяла одно:

— Уйди, уйди!

Въ тотъ же день Владиміръ Александровичъ Кривскій-Долининъ съ грустнымъ выраженіемъ лица разсказывалъ Зоѣ, что его отецъ становится на дыбы и никакъ не даетъ своего согласія на его женитьбу, что остается только одно—уговорить мать и ждать того времени, когда она уломаетъ отца.

— Или пустить пулю въ лобъ?—нервно засмѣялась Зоя.

— То-есть, какъ это?—растерянно спросилъ онъ, пораженный ея зловѣщимъ смѣхомъ.

— Ну, да, ты же хотѣлъ это сдѣлать, если тебѣ не позволятъ на мнѣ жениться!—объяснила она.—Но я не допущу до этого...

Она перевела духъ.

— Я только теперь поняла, что мнѣ-то будетъ не легче, если ты даже и пустишь себѣ пулю въ лобъ... Я вѣдь все равно не верну своей чести, не дамъ имени своему будущему ребенку, который все же будетъ незаконный...

— Это ужасно, но что же дѣлать? Надо ждать!—нерѣшительно проговорилъ онъ.

Она съ негодованіемъ взглянула на него и бросила ему въ лицо, какъ пощечину, рѣзкую фразу:

— Твоей свадьбы?

Онъ поблѣднѣлъ, какъ мертвецъ.

Онъ не оправдывался, и только тутъ ей стало вполнѣ ясно, что какіе-то анонимные доброжелатели,—можетъ-быть, такіе же негодяи, какъ и онъ; можетъ-быть, желавшіе быть его преемниками,—не обманывали ея, предупреждая о предстоящей его свадьбѣ на той кузинѣ, о которой онъ когда-то говорилъ ей.

— Ступайте вонъ!.. Какой вы ничтожный, какой вы жалкій человѣкъ!—проговорила она, стискивая зубы, точно отъ физической боли, и показывая на дверь.

Она въ душѣ еще ждала чего-то,—оправданій, увѣреній въ любви... Онъ же почти обрадовался: она знаетъ уже все и не дѣлаетъ ему сценъ,—просто назвала ничтожнымъ и жалкимъ, и только... Это не такъ страшно: онъ ждалъ худшаго. Теперь только одно опасно: не узнала бы ея мать и дяди обо всемъ прежде времени, то-есть до его свадьбы. Чортъ возьми эти интрижки съ барышнями! Никогда человѣкъ не можетъ быть спокоенъ за себя...

Но не прошло и четырехъ дней, какъ онъ успокоился...

Черезъ два дня онъ обвѣнчался съ богатой дѣвушкой изъ своего круга и тотчасъ же уѣхалъ въ свадебное путешествіе, а на третій день Варвара уже безъ всякой помѣхи обнимала и цѣловала, обливая слезами, холодный трупъ своей бѣдной самонадѣянной и гордой дѣвочки: та отравилась въ тотъ же вечеръ, когда ея Володя женился.

— Можетъ-быть, и къ лучшему,—апатично рѣшила Евгенія, узнавъ о смерти племянницы:—тоже еще Богъ знаетъ, что за жизнь была бы... Нашей-то сестрѣ не легко жить на бѣломъ свѣтѣ.

Варвара, въ тупомъ оцѣпенѣніи, съ поникшей головой, слушала сиплый голосъ умирающей сестры, и какое-то жуткое чувство охватывало ее, леденило кровь въ этомъ пріютѣ заживо погребенныхъ жертвъ ненормальныхъ условій жизни.